
*Дом русского зарубежья
имени Александра Солженицына*

*К 50-летию публикации рассказа
Александра Солженицына
«Один день Ивана Денисовича»*

«Ивану Денисовичу» полвека

Юбилейный сборник
1962–2012

МОСКВА
Русский путь
2012

УДК 82.0
ББК 83.3(2Рос)6
И-11

ISBN 978-5-85887-403-4

Составители П.Е. Спиваковский, Т.В. Есина

Вступительная статья П.Е. Спиваковского

Художник И.И. Антонова

© Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2012

© Русский путь, 2012

© П.Е. Спиваковский, вступительная статья, 2012

ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА

Это произведение потрясло современников. Рассказ внезапно выявил совершенно новое, дотоле невиданное измерение бытия. Как будто окружающий мир раздвинулся, и стало возможно увидеть судьбу России в XX веке совсем иначе и намного глубже, чем раньше. Стройность и кажущаяся непротиворечивость советской тоталитарной мифологии оказались опровергнуты самым, казалось бы, элементарным образом — обращением к тому, чего, согласно этому мифу, не только не было, но и *в принципе быть не могло*... И совсем рядом, в опасной близости с уже почти построенным коммунистическим «раем», вдруг открылся рукотворный лагерный ад, вполне реальный и пугающе «обыкновенный». Он давно уже существовал, ещё с 1918 года, но всегда был окружён глухим молчанием, — и вот теперь, с появлением солженицынского рассказа, реальность этого ада стало невозможно отрицать. Разумеется, уже прогремели хрущёвские разоблачения «культы личности» Сталина на XX съезде КПСС, да и без того многие знали или слышали о концлагерях в СССР, но магия тоталитарного мифа продолжала действовать, и в «заколдованное сознание» советского человека эта пугающая действительность по-прежнему не вмещалась.

И вдруг в ноябре 1962-го, когда вышел в свет 11-й номер журнала «Новый мир» с «Одним днём Ивана Денисовича», целостность советского мифа оказалась разрушена. Нет, он не рухнул, однако его «истинность» в одночасье была поставлена под сомнение...

Рассказ был задуман в 1950–1951 годах, когда Солженицын, в то время политзаключённый, работал в Экибастузском Особом лагере каменщиком, написан же после освобождения, в 1959-м, в Рязани, меньше чем за полтора месяца, с 18 мая по 30 июня. Публикация и самому автору тогда казалась чем-то заведомо невозможным, однако после сокрушительной критики Сталина в речи Хрущёва на XXII съезде КПСС (1961) решение было принято, и в том же году Солженицын через друзей передал в редакцию самого свободомыслящего по тем временам журнала «Новый мир» машинопись «Щ-854 (Один день одного зэка). Рассказ». «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь»¹ — с этими словами Анна Самойловна Берзер, редактор отдела прозы «Нового мира», вручила рукопись никому не известного автора главному редактору журнала Александру Трифоновичу Твардовскому.

¹ Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни. М.: Со­гласие, 1996. С. 25.

Слова эти выявили то главное, что сблизило (по крайней мере, на время) таких разных людей, как Солженицын, Твардовский и Хрущёв, по личному распоряжению которого «крамольное» произведение и было опубликовано (правда, для этого понадобилось ещё и специальное решение Политбюро ЦК КПСС). Позже писатель охарактеризует эту ситуацию так: «Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв. Так и сбылось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот эта его доконная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелома, да и поранее»¹.

Так удивительно точно сошлось. Потому и случилось, казалось бы, невозможное.

Готовя «Щ-854» к публикации, Твардовский предложил изменить название на «Один день Ивана Денисовича» и, вопреки автору, определил жанр этого произведения как повесть. В 1973 году Солженицын, готовя заграничное издание, восстановил исходную авторскую редакцию текста и своё жанровое определение (рассказ), однако новое название счёл удачным.

Первоначально многие восприняли «Один день...» как критику «культы личности», причём критику «с партийных позиций». Именно так понимал солженицынский рассказ Хрущёв, так же *старались понимать* и в редакции «Нового мира». Это было вполне в русле их тогдашней журнальной тактики (ведь нелегко пытаться быть свободомыслящим в тоталитарном государстве!). Даже в талантливой статье В.Я. Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги»² это произведение интерпретировалось в рамках чуждой Солженицыну идеологии «социализма с человеческим лицом», а религиозные мотивы осмысливались сугубо атеистически. Вместе с тем критик достаточно точно и убедительно проанализировал психологию персонажей «Одного дня...», подчёркивая, что автор не идеализирует «даже тех лиц, которых он любит...»³. И всё же оставалось в этом рассказе что-то непонятное, не дающее покоя. Он не укладывался в систему тогдашних представлений о целях и задачах художественной литературы (ведь «настоящее» советское литературное произведение должно «поучать», оно призвано демонстрировать некие идеализированные образцы жизненных ситуаций и «образцово-показательных» героев, с которых обычные граждане могут брать пример). Более того, шокирующе непривычным был и сам выбор главного героя. Многие недоумевали: почему вдруг мужик? Почему не партийный работник, невинно пострадавший в годы ныне осуждённого партией «культы личности» и демонстрирующий окружающим свою коммунистическую идейность? Подобного рода концеп-

¹ Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом. С. 25.

² См.: Новый мир. 1964. № 1; см. также с. 176–216 наст. изд.

³ См. с. 200 наст. изд.

ции в те времена ещё не казались пародийными. Но, впрочем, в рассказе есть и кавторанг Буйновский, бросающий в лицо охранникам обвинения в советском духе: «— Вы п р а в а не имеете людей на морозе раздевать! Вы д е в я т ю статью уголовного кодекса не знаете!..»

Имеют. Знают. Это ты, брат, ещё не знаешь»¹, — думает Иван Денисович. Наивные представления Буйновского о принципах устройства жизни в СССР разбиваются о бесчеловечную реальность лагерного бытия. «Вы не советские люди!»² — громогласно обличает охранников кавторанг, однако обличения эти неадекватны, потому что лагерные охранники как раз *вполне советские люди*, и лишь Буйновский пока не понял, что он сам для «гуманной» советской власти всего лишь «винтик», лишь орудие для построения тоталитарного социума, не более, поэтому «как к человеку» никто из лагерного начальства к нему относиться заведомо не собирается. Иначе говоря, то, что вполне ясно простому мужику Шухову, для «образованного» кавторанга пока непонятно.

Но были и другие читатели, недоумевавшие, почему главным героем «Одного дня...» не стал интеллигент. О судьбах репрессированных крестьян в годы сталинского террора в те времена ещё не принято было задумываться. Однако в душе автора жила и рвалась наружу острейшая внутренняя потребность отдать свой писательский голос тем, кто сам о своей беде громко и внятно рассказать не мог, — это стержневая этическая мотивация всего солженицынского творчества: «<...> мужики — народ безсловесный, безписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров. С ними и следователи по ночам не корпели, на них и протоколов не трагили — довольно и сельсоветского постановления. Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нём почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже и не поранил»³, — с болью и горечью скажет об этом писатель позже, в книге «Архипелаг ГУЛАГ».

В ноябре 1962-го Шаламов в письме к Солженицыну, отмечая многочисленные художественные достоинства «Одного дня...», утверждал, что изображённый в этом произведении лагерь «“лёгкий”, не совсем настоящий»⁴, потому что здесь нет тех ужасов, которые в 1930-е годы пережил в колымских лагерях он сам. Однако Солженицын, в отличие от тяготевшего к экзистенциалистски безысходной картине мира автора «Колымских рассказов», отнюдь не стремился «потрясти» читателя изображением физических мучений своих героев. Напротив, его как художника интересовала самая «обычная» жизнь советского каторжного лагеря, именно в неё он вглядывается, именно здесь видит, ощущает глубину и тайну человеческого бытия.

¹ Солженицын А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2006. Т. 1. С. 32.

² Там же. С. 33.

³ Солженицын А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2010. Т. 4. С. 40.

⁴ Шаламов В.Т. Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М.: Эксмо, 2004; см. также с. 50 наст. изд.

Эта жизнь целенаправленно организована таким образом, чтобы подавить человеческую индивидуальность. Заметим и то, что первоначальное авторское заглавие рассказа, «Щ-854», вольно или невольно отсылает читателя к роману Замятина «Мы», где граждане единого тоталитарного государства обозначены такими же обезличивающими номерами вместо имён. Однако лагерники и здесь, несмотря на все усилия начальства, остаются людьми. Они не только не превращаются в послушных «винтиков» государственного механизма, но и оказываются способны на скрытые формы сопротивления насилию: от воды, выливаемой Иваном Денисовичем зимой на дорожку, по которой ходит начальство, до таинственных убийств лагерных стукачей. Но важнее всего для главного героя рассказа «просто» выжить в лагере, «всего лишь» сохранив и здесь чувство собственного достоинства. Например, он не может есть в шапке, а плавающие в баланде рыбы глаза, несмотря на голод, оставляет нетронутыми (по какой-то удивительной крестьянской мифологической логике они кажутся ему живыми). Шухов воплощает многие лучшие черты простого русского крестьянина: совестливость, доброту, мягкость, покладистость, терпеливость, способность понять беду другого и прийти на помощь. Тем не менее Иван Денисович отнюдь не «идеальный» праведник: он по-своему расчётлив, не чужд простодушного крестьянского лукавства, а в некоторых случаях проявляет жёсткость и недоверчивость. Однако этот его «заземлённый» взгляд на окружающее оказывается этически чище и интеллектуально трезвее наивно-эгоистического эстетства советского интеллигента Цезаря Марковича.

В рассказе затрагивается множество тем и проблем: лагерные порядки, вера в Бога, история России, судьбы конкретных лагерников, проблема выживания в нечеловеческих условиях (воспоминание об Усть-Ижменском лагере), национальные взаимоотношения, «чистое» искусство, тирания, «культурный барьер» между крестьянством и интеллигенцией (по Солженицыну, это два важнейших слоя общества) и многое-многое другое. Причём почти каждая из этих проблем раскрывается не в каком-то одном месте рассказа, она «рассеяна» по небольшим фрагментам текста, и лишь встречная активность читателя, во многом зависящая от круга его интересов, позволяет этим вопросам «открыться», стать явными и лично значимыми. Фактически «Один день Ивана Денисовича» — подлинная энциклопедия жизни советского каторжного лагеря начала 1950-х годов, спрессованная в сотню страниц книжного формата.

Прототип главного героя рассказа, Ивана Денисовича Шухова, — солдат Шухов, вместе с которым Солженицыну довелось воевать и который никогда не был в заключении, но образ этого солдата настолько завладел художественным воображением писателя, что он сохранил даже его фамилию: любая другая «мешала», казалась неестественной... У всех остальных персонажей есть конкретные лагерные прототипы, причём в рассказе сохранены

их подлинные биографии. Документальная конкретность в изображении людей и событий никогда не мешала Солженицыну: этот «тайнозритель социального и исторического»¹, как, развивая мысль А.Ф. Лосева, назвала писателя О.А. Седакова, всегда умел в самых, казалось бы, обычных деталях и подробностях увидеть целую художественную вселенную, связанную с первоосновами человеческого бытия.

Материалы сборника охватывают период с 1961-го, когда речь шла о судьбе пока ещё не изданной машинописи «Щ-854», до 2009 года. Это архивные документы, литературно-критические и научные статьи, дневниковые записи, письма и воспоминания людей, так или иначе соприкоснувшихся с произведением, которое Чуковский назвал *литературным чудом*². Немало места в книге уделено первым отзывам на публикацию «Одного дня...». Яростная литературная полемика тех лет производит обжигающе сильное впечатление и сегодня. Наряду с этим в сборник включено немало ценных аналитических материалов как российских, так и зарубежных исследователей творчества Солженицына, причём подавляющее большинство этих материалов не знакомы или мало знакомы современному читателю.

Особого внимания заслуживает статья известного литературоведа-зарубежника С.Д. Артамонова³ «О повести Солженицына»⁴, опубликованная в 1963 году, когда первоначальные положительные отзывы о солженицынском рассказе, часто мотивированные искренним восхищением, но нередко и политической конъюнктурой, желанием соответствовать «новому курсу партии», сменяются откровенной травлей, так что лишь немногие смельчаки решаются выступить в защиту этого произведения, стремительно вытесняемого из советской официальной культуры. Тема лагерей якобы «исчерпана» и должна быть как можно скорее закрыта... И именно в это время Артамонов не просто пишет об «Одном дне Ивана Денисовича» положительно, но и берётся его анализировать, воспринимая как подлинно классический литературный текст. Интересны замечания об «отсутствии» сюжета (вернее, об отказе писателя от сюжета в его традиционном понимании —

¹ См.: Седакова О.А. Маленький шедевр: «Случай на станции Кочетовка» // Между двумя юбилеями (1998–2003): Писатели, критики и литературоведы о творчестве А.И. Солженицына: Альманах. М.: Русский путь, 2005. С. 322.

² См.: Чуковский К.И. Литературное чудо // Собр. соч.: В 15 т. Т. 10: Мастерство Некрасова; Статьи (1960–1969); см. также с. 20–21 наст. изд.

³ Сергей Дмитриевич Артамонов — литературовед, доктор филологических наук, профессор, специалист по истории французской литературы Возрождения и Просвещения. Работал в Литературном институте имени А.М. Горького, зав. кафедрой зарубежной литературы (1953–1989), автор многочисленных учебников и учебных пособий по истории западноевропейской литературы Средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.

⁴ См.: Артамонов С.Д. О повести Солженицына // Писатель и жизнь. М., 1963; см. также с. 142–156 наст. изд.

завязки, кульминации, развязки и т.п.). Привлекает внимание и мысль о том, что «нет умнее человека»¹, чем Иван Денисович, это парадоксально, спорно и интересно. Очень точно говорится в статье и о вере Солженицына «в человека цельного, “нераздвоенного”, “неразлаженного”»². И хотя объяснение дано в псевдосоветском духе: Солженицын якобы считает, что человек является наивысшей ценностью, но очень хорошо заметно, что автор статьи скрыто иронизирует над этой антропоцентрической концепцией, ставящей человека выше всего существующего (т.е. и выше Бога). Артамонов приводит цитату из шекспировского «Гамлета»: «Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движеньям! В поступках как близок к ангелу! В воззрениях как близок к Богу! Краса вселенной! Венец всего живущего!»³ «Куда же, кажется, скромнейшему Ивану Денисовичу до полёта таких идей»⁴, — иронично замечает автор. И здесь «как бы случайно» опущено продолжение монолога Гамлета, хорошо известное не только Артамонову, но и его читателям, не оставляющее камня на камне от псевдоантропоцентрической риторики шекспировского персонажа: «А что мне эта квинтэссенция праха?»⁵ — говорит Гамлет, очевидно вовсе не считающий человека «венцом всего живущего». Знаменательно и то, что автор статьи не только выступает в защиту уже полуопального Солженицына, но и цитирует Шекспира в переводе всё ещё опального в то время Пастернака: даже и после смерти имя автора «антисоветского» романа «Доктор Живаго» оставалось под строгим запретом. Артамонов ссылается на шекспировский двухтомник, вынужденно не приводя полное название этой книги: «Вильям Шекспир в переводе Б. Пастернака» (в настоящем издании оно восстановлено), однако гражданская позиция автора статьи и без того была выражена вполне определённо.

Не менее значима и знаменитая статья «О языке и стиле повести А.И. Солженицына “Один день Ивана Денисовича”»⁶, написанная замечательным лингвистом Т.Г. Винокур⁷ и опубликованная в 1965 году, когда по-

¹ См. с. 145 наст. изд.

² См. с. 156 наст. изд.

³ Вильям Шекспир в переводе Б. Пастернака: В 2 т. М.; Л.: Искусство, 1949. Т. 1. С. 490–491.

⁴ См. с. 153 наст. изд.

⁵ Вильям Шекспир в переводе Б. Пастернака. Т. 1. С. 491.

⁶ Винокур Т.Г. О языке и стиле повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» // Вопросы культуры речи / Ин-т русского языка АН СССР. М., 1965. Вып. 6; см. также с. 294–308 наст. изд.

⁷ Татьяна Григорьевна Винокур — лингвист, доктор филологических наук, работала в Институте русского языка АН СССР, специалист в области стилистики художественной речи, лингвостилистики, современной разговорной речи и истории языка, автор нескольких научных монографий, посвящённых истории языка, лингвостилистике и теории речевой коммуникации.

ложительные отзывы об этом произведении уже, казалось бы, полностью исчезли из советской печати (для её обнародования в то время требовалось немалое мужество). Статья Винокур, в которой на высоком филологическом уровне анализируется язык рассказа и показано виртуозное мастерство Солженицына-рассказчика, по праву считается классической, однако её книжного переиздания до сих пор не было¹.

В нынешнем сборнике соседствуют отклики простых читателей и всемирно известных деятелей литературы и культуры — всех, для кого оказались небезразличны боль и тяготы простого русского мужика. А рядом — яростное, ненавистническое письмо А.Ф. Захаровой², бывшей лагерной охранницы, негодующей на то, что крамольное произведение Солженицына вообще разрешили печатать...

Отклики из русского зарубежья полны сочувствия и понимания. Там никогда не переставали надеяться на появление в СССР правдивого и вольного русского слова и наконец дождались. Особенно интересна статья Романа Гуля «А. Солженицын и соцреализм: “Один день Ивана Денисовича”», в которой выявлены «несоветские» истоки художественной манеры писателя и показано, что автору «Одного дня...» близок синтез модернизма и реализма в духе «школы Ремизова».

В работах зарубежных славистов: Майкла Николсона, Ричарда Темпеста, Алексея Климова, Леоны Токер и др. — проявляется глубина и нетривиальность подходов, способность в полной мере оценить сложность и красоту солженицынского художественного замысла. Особо выделяется здесь статья британского литературоведа М. Николсона «Иван Денисович: мифы происхождения». Это, быть может, лучшее на сегодняшний день исследование солженицынского рассказа. Но, впрочем, очень хороших статей об «Одном дне...» множество, и они часто антиномически дополняют друг друга.

В целом настоящее издание призвано расширить и углубить представление о том, как менялось восприятие этого произведения за полвека, прошедшие с его первой публикации. Каждая эпоха воспринимала «Один день Ивана Денисовича» по-своему, и это естественно: такова судьба всех классических литературных текстов.

Павел Спиваковский

¹ В 1991 г. Винокур опубликовала новую версию этой статьи: *Винокур Т.Г.* С Новым годом, шестьдесят вторым... // Вопросы литературы. 1991. № 11/12. С. 48–69. Её текст не вошёл в данный сборник, но опубликован на официальном сайте А.И. Солженицына: URL: http://solzhenitsyn.ru/o_tvorchestve/articles/works/index.php?ELEMENT_ID=1483.

² См.: *Захарова А.Ф.* Главному редактору «Известий» // Слово пробивает себе дорогу: Сб. ст. и документов об А.И. Солженицыне, 1962–1974. М.: Русский путь, 1998; см. также с. 276–285 наст. изд.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Настоящий сборник посвящён полувековой истории читательского восприятия «Одного дня Ивана Денисовича». Откликов на рассказ так много, что для их переиздания понадобилось бы несколько томов, поэтому при отборе статей составители ограничились лишь самыми характерными, позволяющими услышать голоса как сторонников этого произведения, так и его противников — тех, кто увидел в лагерной теме опаснейшую идеологическую крамолу.

Статьи даются под оригинальными заглавиями, со ссылками на источники.

Отдельные статьи печатаются с сокращениями, либо уже имеющими место в цитируемых источниках, либо вызванными ограничением объёма сборника, а также тем, что сокращённые места не имеют непосредственного отношения к «Ивану Денисовичу». Купюры обозначаются в тексте знаком <...>. Цитируемый текст рассказа выверен по наиболее авторитетным изданиям. Значительные расхождения помечаются в примечаниях составителей. Некоторые из не вошедших в данный сборник по вышеназванным причинам материалы читатель может найти на официальном сайте А.И. Солженицына: <http://solzhenitsyn.ru>.

Сборник состоит из нескольких разделов.

В первый раздел — «Перед публикацией (1961–1962)» — входят первые рецензии на рукопись ещё не известного автора.

Раздел — «Борьба за “Ивана Денисовича” (1962–1965)» — документальная история того, как это произведение, восторженно принятое большинством читателей, постепенно выдавливалось из советской официальной культуры, чему не помешало даже первоначальное заступничество Н.С. Хрущёва.

Документы раздела «Из партийных и правительственных архивов (1963–1974)» говорят об истинном отношении советской партийной верхушки к «Одному дню Ивана Денисовича» и к его автору.

Статьи, помещённые в разделе «“Один день Ивана Денисовича” глазами русской эмиграции (1962–1984)», дают представление о том, как воспринимала это произведение русская диаспора на Западе.

Раздел «Преодолевая запреты (СССР, 1988–1989)» связан с возвращением имени Солженицына в перестроечном СССР и с борьбой свободного слова против постепенно слабеющего натиска коммунистов-ортодоксов.

Завершает сборник раздел «Свободное обсуждение (с 1990)», представляющий статьи зарубежных и российских исследователей, а также личные воспоминания, не стеснённые запретами и умолчаниями.

Перед публикацией

(1961–1962)

В. Радзишевский

ИЗ ИСТОРИИ ПУБЛИКАЦИИ

«ОДНОГО ДНЯ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹

Почти треть тюремно-лагерного срока — с августа 1950 по февраль 1953 г. — Александр Исаевич Солженицын отсидел в Экибастузском особом лагере на севере Казахстана. Там, на общих работах, и мелькнул долгим зимним днём замысел рассказа об одном дне одного зэка. «Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днём, — рассказал автор в телеинтервью с Н.А. Струве (март 1976 г.). — Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там всю историю лагерей, — а достаточно в одном дне всё собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет всё»².

Рассказ написан в Рязани, где А.С. поселился в июне 1957 г. и стал учителем физики и астрономии в средней школе № 2. Начат 18 мая 1959 г., закончен 30 июня. Работа заняла меньше полутора месяцев. «Это всегда получается так, если пишешь из густой жизни, быт которой ты чрезмерно знаешь, и не то что не надо там догадываться до чего-то, что-то пытаться понять, а только отбиваешься от лишнего материала, только-только чтобы лишнее не лезло, а вот вместить самое необходимое», — говорил автор в радиоинтервью для Би-би-си (8 июня 1982 г.), которое вёл Барри Холланд³.

Если в лагере, чтобы сохранить сочинённое в тайне и с ним самого себя, А.С. вынужден был полагаться только на собственную память, то в ссылке, а затем и реабилитированным он мог работать, не уничтожая отрывок за отрывком, но таиться приходилось по-прежнему, чтобы избежать нового ареста. После перепечатки на машинке рукопись сжигалась. Сожжена и рукопись лагерного рассказа. А поскольку машинопись нужно было прятать, текст печатался на полулистах с обеих сторон, без полей и почти без пробелов.

¹ Радзишевский В.В. Комментарии. Рассказы 1959–1966 // Солженицын А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2011. Т. 1. С. 574–579.

² Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1996. Т. 2. С. 424.

³ Там же. 1997. Т. 3. С. 21.

Только через два с лишним года, после внезапной яростной атаки на Сталина, предпринятой его преемником Н.С. Хрущёвым на XXII съезде партии (17–31 октября 1961 г.), А.С. рискнул предложить рассказ в печать. «Пещерная машинопись» (из осторожности — без имени автора) 10 ноября 1961 г. была передана Р.Д. Орловой, женой тюремного друга А.С. — Льва Копелева, в отдел прозы журнала «Новый мир» Анне Самойловне Берзер. Машинистки переписали оригинал, у зашедшего в редакцию Льва Копелева Анна Самойловна спросила, как назвать автора, и Копелев предложил псевдоним по месту его жительства — А. Рязанский.

8 декабря 1961 г., едва главный редактор «Нового мира» Александр Трифонович Твардовский после месячного отсутствия появился в редакции, А.С. Берзер попросила его прочесть две непростых для прохождения рукописи. Одна не нуждалась в особой рекомендации хотя бы по наслышанности об авторе: это была повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна». О другой же Анна Самойловна сказала: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь»¹. Её-то Твардовский и взял с собой до утра. В ночь с 8 на 9 декабря он читает и перечитывает рассказ. Утром по цепочке дозванивается до того же Копелева, расспрашивает об авторе, узнаёт его адрес и через день телеграммой вызывает в Москву. 11 декабря, в день своего 43-летия, А.С. получил эту телеграмму: «Прошу возможно срочно приехать редакцию нового мира зпт расходы будут оплачены = Твардовский»². А Копелев уже 9 декабря телеграфировал в Рязань: «Александр Трифонович восхищён статьёй»³ (так бывшие зэки договорились между собой шифровать небезопасный рассказ). Для себя же Твардовский записал в рабочей тетради 12 декабря: «Сильнейшее впечатление последних дней — рукопись А. Рязанского (Солонжицына), с которым встречу сегодня»⁴. Настоящую фамилию автора Твардовский записал с голоса.

12 декабря Твардовский принял А.С., созвав для знакомства и беседы с ним всю головку редакции. «Предупредил меня Твардовский, — замечает А.С., — что напечатания твёрдо не обещает (Господи, да я рад был, что в ЧКГБ не передали!), и срока не укажет, но не пожалеет

¹ Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996. С. 25.

² Решетовская Н.А. Александр Солженицын и читающая Россия. М.: Советская Россия, 1990. С. 53.

³ Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом. С. 23.

⁴ Твардовский А.Т. Новомирский дневник: В 2 т. М.: ПРОЗАиК, 2009. Т. 1: 1961–1966. С. 67.

усилий»¹. Тут же главный редактор распорядился заключить с автором договор, как отмечает А.С., «по высшей принятой у них ставке (один аванс — моя двухлетняя зарплата)»². Преподаванием А.С. зарабатывал тогда «шестьдесят рублей в месяц»³.

Первоначальное название рассказа — «Щ-854 (Один день одного ээка). Рассказ». Окончательное заглавие сочинено в редакции «Нового мира» в первый приезд автора по настоянию Твардовского «переброской предположений через стол с участием Копелева»⁴.

По всем правилам советских аппаратных игр, Твардовский стал исподволь готовить многоходовую комбинацию, чтобы в конце концов заручиться поддержкой главного аппаратчика страны Хрущёва — единственного человека, который мог разрешить публикацию лагерного рассказа. По просьбе Твардовского, для передачи наверх письменные отзывы об «Иване Денисовиче» написали К.И. Чуковский (его заметка называлась «Литературное чудо»), С.Я. Маршак, К.Г. Паустовский, К.М. Симонов... Сам Твардовский составил краткое предисловие к повести и письмо на имя Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущёва. 6 августа 1962 г. после девятимесячной редакционной страды машинопись «Одного дня Ивана Денисовича» с предисловием и письмом Твардовского была отправлена помощнику Хрущёва — В.С. Лебедеву, согласившемуся, выждав благоприятный момент, познакомиться патрона с необычным сочинением. Твардовский писал:

«Дорогой Никита Сергеевич!

Я не счёл бы возможным посягать на Ваше время по частному литературному делу, если бы не этот поистине исключительный случай.

Речь идёт о поразительно талантливой повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Имя этого автора до сих пор никому не было известно, но завтра может стать одним из замечательных имён нашей литературы.

Это не только моё глубокое убеждение. К единодушной высокой оценке этой редкой литературной находки моими соредакторами по журналу «Новый мир», в том числе К.А. Фединым, присоединяются и голоса других видных писателей и критиков, имевших возможность ознакомиться с нею в рукописи.

Но в силу необычности жизненного материала, освещаемого в повести, я испытываю настоятельную потребность в Вашем совете и одобрении.

¹ Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом. С. 28.

² Там же. С. 29.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 28.

Одним словом, дорогой Никита Сергеевич, если Вы найдёте возможным уделить внимание этой рукописи, я буду счастлив, как если бы речь шла о моём собственном произведении»¹.

Спустя месяц Лебедев на досуге начал читать Хрущёву рассказ.

Параллельно с продвижением рассказа через верховные лабиринты в журнале шла рутинная работа с автором над рукописью. 23 июля состоялось обсуждение рассказа на редколлегии. Член редколлегии, вскоре ближайший сотрудник Твардовского Владимир Лакшин записал в дневнике:

«Солженицына я вижу впервые. Это человек лет сорока, некрасивый, в летнем костюме — холщовых брюках и рубашке с расстёгнутым воротом. Внешность простоватая, глаза посажены глубоко. На лбу шрам. Спокоен, сдержан, но не смущён. Говорит хорошо, складно, внятно, с исключительным чувством достоинства. Смеётся открыто, показывая два ряда крупных зубов.

Твардовский предложил ему — в максимально деликатной форме, ненавязчиво — подумать о замечаниях Лебедева и Черноуцана (сотрудник ЦК КПСС, которому Твардовский давал рукопись Солженицына. — В.Р.). Скажем, прибавить праведного возмущения кавторангу, снять оттенок сочувствия бандеровцам, дать кого-то из лагерного начальства (надзирателя хотя бы) в более примирённых, сдержанных тонах, не все же там были негодяи.

Дементьев (заместитель главного редактора “Нового мира”. — В.Р.) говорил о том же резче, прямолинейнее. Яро вступился за Эйзенштейна, его “Броненосец ‘Потёмкин’”. Говорил, что даже с художественной точки зрения его не удовлетворяют страницы разговора с баптистом. Впрочем, не искусство его смущает, а держат те же опасения. Дементьев сказал также (я на это возражал), что автору важно подумать, как примут его повесть бывшие заключённые, оставшиеся и после лагеря стойкими коммунистами.

Это задело Солженицына. Он ответил, что о такой специальной категории читателей не думал и думать не хочет. “Есть книга, и есть я. Может быть, я и думаю о читателе, но это читатель вообще, а не разные категории... Потом, все эти люди не были на общих работах. Они, согласно своей квалификации или бывшему положению, устраивались обычно в комендатуре, на хлебобрезке и т.п. А понять положение Ивана Денисовича можно, только работая на общих работах, то есть зная это изнутри. Если бы я даже был в том же лагере, но наблюдал это со стороны, я бы этого не написал. Не написал бы, не понял и того, какое спасение труд...” <...>

¹ Письмо (под № 175) цит. по: «Аппарат ЦК КПСС и культура. 1958–1964: Документы». М.: РОССПЭН, 2005. Л. 50.

В ходе разговора Твардовский неосторожно упомянул о красном карандаше, который в последнюю минуту может то либо другое вычеркнуть из повести. Солженицын встревожился и попросил объяснить, что это значит. Может ли редакция или цензура убрать что-то, не показав ему текста? «Мне цельность этой вещи дороже её напечатания», — сказал он.

Солженицын тщательно записал все замечания и предложения. Сказал, что делит их на три разряда: те, с которыми он может согласиться, даже считает, что они идут на пользу; те, о которых он будет думать, трудные для него; и наконец, невозможные — те, с которыми он не хочет видеть вещь напечатанной.

Твардовский предлагал свои поправки робко, почти смущённо, а когда Солженицын брал слово, смотрел на него с любовью и тут же соглашался, если возражения автора были основательны¹.

15 сентября Лебедев по телефону передал Твардовскому, что «Солженицын (“Один день”) одобрен Н<икитой> С<ергееви>чем»² и что в ближайшие дни шеф пригласит его для разговора. Однако и сам Хрущёв счёл нужным заручиться поддержкой партийной верхушки. Решение о публикации «Одного дня Ивана Денисовича» принято 12 октября 1962 г. на заседании Президиума ЦК КПСС под давлением Хрущёва. И только 20 октября он принял Твардовского, чтобы сообщить о благоприятном результате его хлопот. О самом рассказе Хрущёв заметил: «Да, материал необычный, но, я скажу, и стиль, и язык необычный — не вдруг пошло. Что ж, я считаю, вещь сильная, очень. И она не вызывает, несмотря на такой материал, чувства тяжёлого, хотя там много горечи»³.

Прочитав «Один день Ивана Денисовича» ещё до публикации, в машинописи, Анна Ахматова, описавшая в «Реквиеме» горе «сто-миллионного народа» по сю сторону тюремных затворов, выговорила: «Эту повесть о-бя-зан прочи-тать и выучить наизусть — *каждый гражданин* изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза»⁴.

Рассказ, для весомости названный редакцией в подзаголовке повестью, опубликован в журнале «Новый мир» (1962. № 11. С. 8–74; подписан в печать 3 ноября; сигнальный экземпляр доставлен главному редактору вечером 15 ноября; по свидетельству Владимира Лакшина,

¹ Лакшин В.Я. «Новый мир» во времена Хрущёва: Дневник и попутное: 1953–1964. М.: Книжная палата, 1991. С. 66–67.

² Твардовский А.Т. Новомировский дневник. Т. 1. С. 111.

³ Там же. С. 123.

⁴ Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Согласие, 1997. Т. 2: 1952–1962. С. 512.

рассылка начата 17 ноября; вечером 19 ноября около 2 000 экз. завезены в Кремль для участников пленума ЦК) с заметкой А. Твардовского «Вместо предисловия». Тираж 96 900 экз. (по разрешению ЦК КПСС 5 000 были отпечатаны дополнительно). Переиздан в «Роман-газете» (М.: ГИХЛ, 1963. № 1/277. 47 с. 700 000 экз.) и книгой (М.: Советский писатель, 1963. 144 с. 100 000 экз.). 11 июня 1963 г. Лакшин записал: «Солженицын подарил мне выпущенный “Советским писателем” на скорую руку “Один день...” Издание действительно позорное: мрачная, бесцветная обложка, серая бумага. Александр Исаевич шутит: “Выпустили ‘в издании ГУЛАГа’”»¹.

«Для того чтобы её (повесть. — В.Р.) напечатать в Советском Союзе, нужно было стечение невероятных обстоятельств и исключительных личностей, — отметил А.С. в радиointerview к 20-летию выхода “Одного дня Ивана Денисовича” для Би-би-си (8 июня 1982 г.). — Совершенно ясно: если бы не было Твардовского как главного редактора журнала — нет, повесть эта не была бы напечатана. Но я добавлю. И если бы не было Хрущёва в тот момент — тоже не была бы напечатана. Больше: если бы Хрущёв именно в этот момент не атаковал Сталина ещё один раз — тоже бы не была напечатана. Напечатание моей повести в Советском Союзе, в 62-м году, подобно явлению против физических законов, как если б, например, предметы стали сами подниматься от земли кверху или холодные камни стали бы сами нагреваться, накаляться до огня. Это невозможно, это совершенно невозможно. Система была так устроена, и за 45 лет она не выпустила ничего — и вдруг вот такой прорыв. Да, и Твардовский, и Хрущёв, и момент — все должны были собраться вместе»².

К. Чуковский

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧУДО³

Шухов — обобщённый характер русского простого человека: жизнестойкий, «злоупорный», выносливый, мастер на все руки, лукавый — и добрый. Родной брат Василия Тёркина. Хотя о нём говорится здесь в третьем лице, весь рассказ написан ЕГО языком, полным юмора,

¹ Лакшин В.Я. «Новый мир» во времена Хрущёва. С. 133.

² Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. С. 24–25.

³ Чуковский К.И. Собр. соч.: В 15 т. Т. 10: Мастерство Некрасова; Статьи (1960–1969). Здесь и далее текст рассказа выверен по изд.: Один день Ивана Денисовича // Новый мир. 1962. № 11. — Примеч. сост.

колоритным и метким. Автор не щеголяет языковыми причудами (как Даль, Мельников-Печерский, Ал. Ремизов), не выпячивает отдельных аппетитных словечек (как безвкусный Лесков); речь его не стилизация, это живая органическая речь, свободная как дыхание. Великолепная народная речь с примесью лагерного жаргона. Только владея таким языком, и можно было прикоснуться к той теме, которая поднята в этом рассказе. Тема эта — злое мучительство, ставшее нормой людских отношений, многолетние страдания ни в чём не повинных людей, оказавшихся во власти организованных и вооружённых мерзавцев.

Шухов, как и его товарищи по каторге, не совершил никаких преступлений. При помощи лютых побоев и пыток следователи принудили его объявить себя изменником родины. Остальные «зэки» (за исключением одного) тоже не знают за собой ни малейшей вины: «шпионы деланные, снарошки. По делам проходят как шпионы, а сами пленники просто». Другой, более слабый автор непременно ударился бы в публицистику, стал бы проклинать и вопить. Но А. Рязанский — и в этом его величайшая сила — ничем не выражает своего страстного гнева. Он не публицист, а летописец. Ровным голосом, неторопливо, спокойно он изображает час за часом все поступки и мысли Шухова, который, благодаря своему цепкому, гениально-злоупорному характеру, чувствует себя даже счастливым среди ежеминутных беззаконий, насилий, глумлений над его человеческой личностью. В сущности, рассказ можно бы назвать «Счастливый день Ивана Денисовича». Впрочем, трагическая ирония автора и без того ощутима на каждой странице.

Словом: с этим рассказом в литературу вошёл очень сильный, оригинальный и зрелый писатель. Уже одно описание работы Ивана Шухова, его упоения работой кажется мне классическим. В каждой сцене автор идёт по линии наибольшего сопротивления и всюду одерживает победу. Конечно, было бы ужасно, если бы редакция вздумала «исправлять» его текст. Если в тексте встречаются такие, например, конструкции, как «не угостит ли его Цезарь покурить», «кружь <...> пошла по телу», — здесь сила, а не слабость писателя. Мне даже страшно подумать, что такой чудесный рассказ может остаться под спудом. Ничего нецензурного в нём нет. Он осуждает *прошлое*, которого, к счастью, уже нет. И весь написан *во славу* русского человека. Очень жалко, что приходится выбрасывать такие слова, как «смефуёчки», «фуяслице», «фуёмник». Здесь они хороши и уместны.

Украинские фразы Павла следует, мне кажется, проверить.

Апрель 1962

С. Маршак

ПРАВДИВАЯ ПОВЕСТЬ¹

Автор повести «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицын рассказывает нам чуть ли не обо всех минутах этого дня, и каждая из них оставляет глубокий след в душе читателя.

Повесть написана с тем чувством авторского достоинства, которое присуще только большим писателям. Никакой литературщины, никаких, якобы обязательных, внешних примет героев или описаний природы. Сказано только, что солнце «с краснинкой заходит и в туман вроде бы седенький», — и вы видите этот морозный закат. Так же метко и лаконично показаны люди.

Начинается повесть безо всяких вступлений — с удара молотка о рельс за окнами барака и с музыкальной фразы: «Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стёкла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих <...>».

Действие происходит в одном из лагерей того времени, которое было отмечено культом личности Сталина.

Странное чувство испытываешь, читая эту волнующую хронику одного дня. Сначала будто перед глазами мрак, а потом он постепенно рассеивается, или глаза привыкают к нему, и всё яснее, всё отчётливее различаешь обстановку и людей. В большинстве это хорошие люди, обыкновенные советские люди, умеющие находить и в таком суровом, угнетающем лагерном режиме минуты покоя и даже душевного удовлетворения, без которого и жить на свете невозможно.

«Засыпал Шухов, вполне удовлетворенный. На дню у него выдалось сегодня много удач <...>». А эти «удачи» заключаются всего только в том, что его в карцер не посадили, в обед ему досталась лишняя миска баланды, на работе он стену «клат весело», на обыске не попался, подработал вечером и табачку купил. «И не заболел, перемогся». Казалось бы, удачи не слишком велики, и всё же веришь заключительным словам: «Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый».

Автор — очевидно, намеренно — выбрал для своей повести один из наиболее спокойных и сравнительно (конечно, только сравнительно) благополучных дней в лагере. Но тем достовернее его повесть.

И в герои свои он взял скромного, выносливого и неунывающего Шухова.

Иван Денисович ничуть не идеализирован. Он может иной раз слухавить — спутать счёт во время выдачи каши или баланды и «закусить»

¹ Внутренняя рецензия. Опул.: Правда. 1964. 30 января.

лишнюю миску-две для своей бригады, в том числе и для себя лично, и в то же время с каждой страницей всё больше видишь, как он порядочен, деликатен, горд, спокойно рассудителен. Другие заключённые относятся к нему с уважением. Он «сумел себя поставить», чего не удалось, например, его собрату по несчастью Фетюкову, который был на воле «большим начальником» какой-то конторы, а здесь потерял себя и сделался попрошайкой, выгребаящим из плевательницы окурки.

Но лучше всего показан Иван Денисович на работе, во время кладки стены, которую за несколько месяцев до того довела до второго этажа да так и оставила другая бригада.

Класть шлакоблоки Шухову приходится второпях, «на глаз», пока раствор морозом не схватило.

«<...> Работу эту он правил лихо, но вовсе не думая. А думка его и глаза его вычували из-под льда саму стену, наружную фасадную стену ТЭЦ в два шлакоблока».

И дальше: «Шлакоблоки не все один в один. Какой с отбитым углом, с помятым ребром или с приливом — сразу Шухов это видит, и видит, какой стороной этот шлакоблок лечь хочет, и видит то место на стене, которое этого шлакоблока ждёт».

«Глазом по отвесу. Глазом плашмя. Схвачено. Следующий!

Пошла работа. <...>

Шухов и другие каменщики перестали чувствовать мороз».

В этом метком и точном изображении жаркой, «захватчивой» работы на морозе чувствуешь и мастерство Ивана Денисовича, который «два дела руками знает», а потому может ещё и «десять подхватить», и мастерство самого автора повести.

Автор владеет тем подлинным народным языком, богатства которого ещё далеко не исчерпаны литературой.

Нельзя заменить в его повести слово «удовольствованный» словом «удовлетворённый» или «довольный». Невозможно заменить слово «глушь» словом «глухота» в том месте повести, где один из заключённых, глухой Сенька Клевшин, сквозь свою «глушь» слышит обрывки долетающего до него разговора.

Повесть правдива, строга и серьёзна. Потому-то мы узнаём из неё столько нового и важного о людях, о человеческих характерах и свойствах.

Многие попали в лагерь так неожиданно, словно в люк провалились, — и на первых порах ещё не вполне осознают, чем они стали.

Капитан второго ранга Буйновский («Кавторанг») ещё сохраняет прежнюю выправку и говорит тем звучным, металлическим голосом,

каким командовал на корабле. Как человек, потерявший ногу, чувствует ещё пальцы, которых уже нет, так и этот бывший капитан ещё чувствует свои погоны на плечах и ордена на груди. Но понемногу он как-то обмякает, становится вялым.

Когда, разомлев от работы и каши, он не находит в себе силы и решимости встать из-за стола, чтобы уступить место другим, автор говорит:

«Такие минуты, как сейчас, были (он не знал этого) особенно важными для него минутами, превращавшими его из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного зэка (заключённого. — С.М.), только этой малоподвижностью и могущего пережить отвёрстанные ему двадцать пять лет тюрьмы».

Однако даже в угнетённом состоянии духа и Кавторанг, и многие другие заключённые полностью сохраняют человеческое достоинство и — несмотря на то что они лишены прав — чувство гражданственности.

Когда при обыске на лютном морозе начальник режима лейтенант Волковой велит распахнуть бушлаты, «где каждый тепло барачное спрятал», и расстегнуть рубахи, Кавторанг не выдерживает и бросает Волковому слова:

— Вы не советские люди! <...> Вы не коммунисты!

А Волковой отвечает по-своему:

— Десять суток строгого!

Это значит — в карцер, в каменный мешок, откуда, по словам заключённых, прямая дорога в «деревянный бушлат».

Судьбы Кавторанга и рядового Ивана Шухова, при всём различии их образовательных цензов и положений, очень похожи. Оба они попали в лагерь по ложному обвинению в измене и шпионаже. Кавторанг во время войны был назначен связным при английском флоте, а Шухов всего несколько дней провёл в германском плену, бежал и вышел к своим. Этих обстоятельств было достаточно, чтобы оба оказались в лагере, в одном бараке.

В то время, о котором идёт речь в повести, Кавторанг только начал свой лагерный стаж, а Шухов уже восемь лет из положенных ему десяти отсчитал и многому научился.

И прежде всего он научился ценить самые малые и простые блага жизни: часок «своего, не казённого времени», миску баланды, пайку — ломоть хлеба.

О том, как надо есть хлеб, хорошо знает Иван Денисович.

«<...> Понял Шухов в лагерях. Есть надо — чтоб думка была на одной еде, вот как сейчас эти кусочки малые откусываешь, и языком их мнёшь,

и щеками подсасываешь — и такой тебе духовитый этот хлеб чёрный сырой. Что Шухов ест восемь лет, девятый? Ничего. А ворочает? Хо-го!»

В сущности, Александр Солженицын написал повесть не о лагере, а о человеке. О самых обыкновенных советских людях, но в таких обстоятельствах, при которых человека можно увидеть без покрова каких-либо условностей, во всей наготе его характера, чувств и побуждений.

Люди как бы держали труднейший экзамен. Выдержат — выживут. Испытанию подвергались их терпение, воля, выносливость, человеческое достоинство и чувство товарищества, без которого и в лагере не проживёшь.

В этом значительность повести А. Солженицына. В такие глубины человеческих чувств и ощущений мог заглянуть только пристальный и вдумчивый писатель, сам переживший всё то, что пережили его герои.

Когда закрываешь эту повесть, жалеешь о том, что никогда больше не встретишься ни с Шуховым, ни с могучим бригадиром Тюриным, ни с Кавторангом, которого в конце повести увели в замороженный карцер. Даже не узнаешь, что с ними со всеми стало.

Ну, Иван Денисович, если только он жив-здоров, конечно, давно уже реабилитирован и работает. Ведь о нём и в повести говорится: «<...>неуж он себе на воле ни печной работы не найдёт, ни столярной, ни жестяной?»

Нашёл, конечно. А Кавторанг?

Капитан второго ранга (только не Буйновский, как он назван в повести, а Буковский) вернулся на флот и служит на легендарном крейсере «Аврора» начальником филиала Центрального военно-морского музея.

Недавно в «Известиях» появилась беседа с ним («Здравствуйте, кавторанг»)¹.

В беседе приводится отзыв о повести одного и главных героев.

Вот что сказал корреспонденту Кавторанг: «<...> это хорошее, правдивое произведение. Любому, кто читает повесть, ясно, что в лагере, за редким исключением, люди остались людьми именно потому, что были советскими по душе своей, что они никогда не отождествляли зло, причинённое им, с партией, с нашим строем. <...> И ещё одно ценю я в повести Александра Исаевича: как правдиво описан наш труд. Он был тяжёл, изнурителен, но не унижал нас. Ведь подспудно мы сознавали, что и здесь работаем для Родины».

Словами капитана, сама жизнь отозвалась на эту замечательную, полную веры в людей повесть.

¹ Известия. 1964. 14 января. См. также с. 157–161 наст. изд. — *Примеч. сост.*

М. Лифшиц

**О ПОВЕСТИ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹**

Мне кажется, что только человек, у которого совесть заросла диким мясом, может пройти равнодушно мимо этого произведения. В нём есть нечто большее, чем литература. Но это не жалоба, а спокойное и глубоко взвешенное изображение трагедии народа. Где написано, что великие испытания, из которых складывается история, могут происходить только от внешнего угнетения, войны, голода, эпидемии? Это было бы слишком просто. Рассказ бригадира Тюрина, в котором я вижу кульминационный пункт всего повествования, объясняет нам, что это не так. Здесь целая философия истории.

Мне нравится, что автор не изображает никаких чрезвычайных ужасов. Он никому не подражал, но его Иван Денисович как будто вышел из произведений классической русской литературы, чтобы жить в наше время. На этого «работягу» можно положиться, и он многому может научить — более важному, чем то, что можно извлечь из произведений Хемингуэя и Камю. Как ни тяжело всё, что описано в повести «Один день...», она вызывает не сомнение, а прилив мужества. Мне она напомнила слова Энгельса, обращённые к русскому народнику Н. Даниэльсону, которые я привожу в плохом переводе Политиздата: «Великая нация, подобная вашей, переживёт любой кризис. Нет такого великого исторического бедствия, которое бы не возмещалось каким-либо историческим прогрессом. Лишь *modus operandi* (способ действия) изменяется. Пусть же исполнится предопределённый жребий!»

Много нужно было бы написать, чтобы перечислить все замечательные черты реальности, как бы врезанные ножом мастера-художника в его небольшое произведение. Но я не могу пройти мимо чисто литературной стороны. Эта повесть — убедительный пример того, как большая правда переходит в множество малых правд, именуемых художественной формой. Автор так же умен и глубок в своей психологической живописи и в своём выборе каждого слова, как и в общем взгляде на жизнь.

Было бы преступлением оставить эту повесть ненапечатанной. Она поднимает уровень нашего сознания. Советская власть от этого не пострадает, а только выиграет.

<1961>

¹ Внутренняя рецензия. Опул.: Вопросы литературы. 1990. № 7.

**Борьба
за «Ивана Денисовича»**

(1962–1965)

К. Симонов

О ПРОШЛОМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО¹

О небольшой повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», только что опубликованной в 11-й книжке «Нового мира», наверное, будет написано много статей. А пока, только что перевернув её последнюю страницу, мне хочется высказать лишь несколько мыслей вслух.

Александр Твардовский в своём предпосланном повести кратком слове справедливо подчеркнул, что это не документ в мемуарном смысле, а произведение художественное. Действительно, хотя ни один человек, прочитавший повесть, не усомнится, что за плечами у её автора тяжкий личный жизненный опыт, но сама эта повесть об одном дне лагерной жизни — не страницы воспоминаний, а лаконичная и отточенная проза больших художественных обобщений. В ней изображён всего один день, но в этот один день вложено всё самое главное, что хотел сказать автор о горьких и чёрных страницах периода культа личности Сталина.

Солженицын не нагромождает в своём повествовании ужасов, взяв один день, он не выбирает дня особенно ужасного. Напротив, он выбирает день, в который, по лагерным нормам, как бы не произошло ничего особенного, — день как день. Но как раз это и потрясает в его повести больше всего. Как могло случиться, что герой его повести, хороший, добрый, душевный русский человек Иван Денисович Шухов был обречён прожить в лагерях три тысячи шестьсот пятьдесят три дня, считая лишних три дня в високосные годы? Как могло случиться, что столько же, а то и много больше таких же лагерных дней были обречены прожить все другие герои повести, соседи Шухова по бараку, по лагерю, и бесчисленные честные люди, разделявшие их судьбу в других лагерях? Чья злая воля, чей безграничный произвол могли оторвать этих советских людей — земледельцев, строителей, тружеников, воинов — от их семей, от работы, наконец, от войны с фашизмом, поставить их вне закона, вне общества?

¹ Известия. 1962. 17 ноября.

Солженицын создаёт один человеческий портрет за другим. Среди героев повести есть люди замечательных человеческих качеств, есть люди просто хорошие, есть люди со слабостями, может быть, с заблуждениями, есть люди более сильные и более слабые. Но, когда все они силою художественной кисти Солженицына превращаются в многолюдный групповой портрет, написанный на свинцово-сером фоне одного дня будничной лагерной жизни, ты, читатель, начинаешь чувствовать: да ведь эти люди, все вместе взятые, — это же не что иное, как просто-напросто часть нашего общества, с кровью выдранный из этого общества и засаженный в лагерь! Это такие же люди, как ты, как твои близкие, родные, друзья, соседи, сослуживцы... Ты легко представляешь на их месте совершенно других людей, которых обошёл этот произвол и не постигла эта судьба, но которые точно так же могли быть вырваны из общества и жить той почти невыносимой жизнью, которой живут в повести Иван Шухов и его соседи по бараку, которые, несмотря ни на что, в подавляющем большинстве своём остаются тем, кем они были до лагеря, — настоящими советскими людьми.

Солженицын нигде не делает этого вывода прямо, в упор, потому что это не нужно ему как художнику. Но, не тыча пальцем, он даёт это почувствовать, пережить, понять. И именно с этим чувством, покорённый силой его правды и силой его таланта, закрывал я последнюю страницу повести.

Тема повести связана с такой страшной и кровоточащей раной, что по-настоящему поднять её мог лишь крупный художник, органически чуждый соблазну создавать литературу ужасов и сенсаций. Такую тему мог поднять на подлинную высоту лишь художник, безгранично любящий людей своей Советской страны и безгранично верящий в их нравственную силу.

И, я думаю, не лишним будет вспомнить здесь, — если на минуту отвлечься от литературы и обратиться к политике, — что бесстрашно сказать об этом страшном прошлом у нас нашли в себе решимость люди, безгранично любящие свой народ и безгранично верящие в его нравственную силу и красоту, а ожесточённо сопротивлялись этому люди, не любившие своего народа и не верившие в его нравственную силу.

Мне хочется вслед за Твардовским вспомнить слова Н.С. Хрущёва на XXII съезде: «Наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью. Пройдёт время, мы умрём, все мы смертны, но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу... Это

надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

Партия назвала писателей своими помощниками. Думается, что А. Солженицын проявил себя в своей повести как подлинный помощник партии в святом и необходимом деле борьбы с культом личности и его последствиями.

Рано или поздно и история, и литература не оставят в тени ни одной из сторон деятельности Сталина. Они уже начали это делать, и они честно и до конца расскажут и о том, каким в разные времена своей жизни казался нам Сталин, и о том, каким он был на самом деле. Но, как бы ни взвешивать в уме разные стороны его государственной деятельности, в нашей душе уже сейчас не осталось места для какого бы то ни было оправдания его злодеяний. Утешительные мысли, которые раньше иные из нас насильственно пытались внедрять в себя, — что Сталин не ведал, что творится, — оказались рухнувшей легендой. И это тяжкое, но трезвое чувство с новой силой вспыхивает в душе, когда читаешь повесть Солженицына, хотя я даже не могу вспомнить сейчас, упоминается ли в ней имя Сталина.

Повесть «Один день Ивана Денисовича» написана уверенной рукой зрелого, своеобразного мастера.

В нашу литературу пришёл сильный талант. У меня лично не остаётся в этом никаких сомнений.

Г. Бакланов

ЧТОБ ЭТО НИКОГДА НЕ ПОВТОРИЛОСЬ¹

Среди ежемесячного, ежедневного потока литературных произведений, в разной степени талантливых, отвечающих различным читательским вкусам, являются вдруг книги, знаменующие собой гораздо больше, чем даже появление нового яркого писателя. Эти книги призваны оказать влияние на то, что пишется сейчас, на то, что будет написано после них. Они всегда появляются как бы вдруг. На самом же деле появление их подготовлено всем ходом развития жизни. И читатель их ждёт, не зная ещё, какая это будет книга, кто написал её, зная только, что она нужна ему. Потому, что она нужна, потому, что она предугадана, книга эта появляется на свет. После неё становится совершенно очевидно, что писать так, как писали ещё недавно, нельзя

¹ Литературная газета. 1962. 22 ноября.

уже. Не в том смысле нельзя, что теперь всем вместе срочно надо кинуться разрабатывать ту же тему, от себя пересказывая сказанное, а в смысле том, что возник другой уровень разговора с читателем, и на этом уровне многое, что недавно ещё могло удовлетворить, становится просто неинтересным, устаревшим.

Такой книгой, которую читатель ждал, появление которой он предугадывал, стала маленькая повесть с непритязательным названием «Один день Ивана Денисовича», только что напечатанная в журнале «Новый мир». Имя её автора — А. Солженицын — в литературе не встречалось до сих пор и само по себе пока ещё читателю ничего не говорит. Верится, однако, что человеку этому предстоит многое сказать людям.

Жизненный материал, положенный автором в основу повести, — беззакония, которым подвергались советские люди в годы, когда в полную меру сиял культ личности Сталина, — этот жизненный материал пока ещё для нашей литературы нов. Не факты сами по себе новы — сегодня они известны достаточно хорошо. От той поры, когда «сама с собой — и то не смела душа ступить за некий круг», до наших дней страна прошла огромный путь развития, означенный XX и XXII съездами партии. Изменились люди, привыкнув верить своему чувству, своему разуму, и это залог того, что старое не повторится. Настала пора осмысления.

Когда человеку больно, особенно больно впервые, душа его кричит. И чем слабее душа, тем громче кричит он сам. Но, испытав многое, что, поначалу казалось, и перенести невозможно, он постепенно твердеет духом, потому что он — человек. И за своей болью он начинает различать и понимать боль других. И если он сильный человек, у него ещё находится для других, для тех, кто слабее его, часть души. Странное дело: отдавая, ты, оказываешься, приобретаешь больше.

Вот с этой позиции умудрённого тягчайшими испытаниями человека написана повесть А. Солженицына. Это не крик раненой души, не первый крик боли — повесть написана спокойно, сдержанно, с юмором даже, — эта житейская простота изложения действует значительно сильнее.

Один день «эков», заключённых особого лагеря, где люди от прошлой жизни только между собой сохранили фамилии и имена, как между собой сохранили они и человеческие отношения. Официально каждому на лоб, на грудь, на спину и на колено для удобства конвоя и надзирателей дано по номеру — у иных он превышает многие сотни. Под этими номерами и одинаковыми лагерными бушлатами — люди. И люди удивительные.

Капитан второго ранга Буйновский, в прошлом — военный моряк, ходивший и вокруг Европы, и Великим Северным путём, жизни себе не мысливший без морской службы, властный, звонкий офицер, человек беспредельной преданности. Угораздило же английского адмирала, с которым вместе в войну Буйновский сопровождал морской конвой, прислать ему памятный подарок. «Удивляюсь и проклинаю!..» — говорит по этому случаю недоумевающий капитан. Он недавно в лагере, он ещё не научился жить — резок слишком такой переход для него, — он ещё борется с несправедливостью. И так наивно, такой горькой иронией звучит его крик начальнику режима и надзирателям:

«Вы права не имеете <...>! Вы не советские люди! <...> Вы не коммунисты!»

Выживет капитан, поймёт, что на всё они имеют право. Сенька Клевшин, у которого ещё в сорок первом году лопнуло одно ухо, — этот давно понял. Путь его долгий: в плену был, три раза из Бухенвальда убегал и три раза был пойман и всё равно пронёс в зону оружие, пытали его немцы, за руки подвешивали, чудом смерть обманул, а теперь здесь досиживает, что там недосидел, — за плен же. Этот многое понял и ничего из душевных качеств не растерял — полуглухой горюн, недобытчик, удивительный человек. Сказано о нём в повести всего-то несколько слов, но с такой силой таланта, что стоит он живой перед глазами. А рядом с ним — Гопчик, мальчишка совсем. Носил он бендеровцам молоко в лес, как носил бы в лес молоко нашим партизанам. Из него ещё всё можно было сделать — и бандита, и человека. Сделали лагерника.

Но наибольшая удача автора — бригадир Тюрин, «сын ГУЛАГа», отсидевший к 1951 году в общей сложности уже двадцать один год, и Шухов Иван Денисович, главный герой повествования. Столько перенесено за эти годы, что, казалось, мог бы уже Тюрин потерять человеческий облик, а вот смотрите: «Тоже он в шапке есть не научился, Андрей Прокофьич. Без шапки голова его уже старая. Стрижена коротко, как у всех, а и в печном огне видать, сколь седины меж его сероватых волос рассеяно».

Ивана Денисовича стаж меньше: он с фронта взят. Однако и за этот срок мог бы уже он возненавидеть подневольный, унижительный, часто бессмысленный труд. «Но так устроен Шухов по-дурацкому, и за восемь лет лагерей никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули».

Всё испытав, сохранили люди эти и суровую доброту, и уважение к человеку, и такт удивительный, и редкое по условиям жизни достоинство.

Нет смысла пересказывать повесть, её надо читать. А пока все эти различные по своим характерам и душевным качествам люди, мужественные и слабые, ничем не виноватые в своей судьбе, бредут по морозу в колонне, рассчитанные по пятёркам, означенные номерами, с руками за спиной. «Идут эки размеренно, понурясь, как на похороны». А в двадцати шагах от них, через десять шагов друг от друга, наставив автоматы, — конвой. Тоже в большинстве своём люди, хоть, может, и не советские, поскольку судить надо по их делам, но всё же люди. Недокормленные, чтоб злей стерегли, напуганные ответственностью: «Человек — дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет — свою голову туда добавишь», стоящие по уровню своего развития куда ниже тех, кого ведут они под дулами своих автоматов. И о них, о них тоже с большим пониманием, человечно пишет Солженицын, сам в прошлом прошедший под дулами их автоматов не одну сотню дорог. Если вдуматься даже только в этот один факт, гордостью наполняется душа за человека. Повесть А. Солженицына, по времени вместившая в себя всего один день лагерной жизни, вместила в себя огромное содержание.

Впрочем, стоит ли беречь старые раны? Нужно ли это сейчас? Старые, зажившие раны не болят. А рана, которая кровоточит ещё, — эту рану лечить нужно, а не обходить её трусливо. И лечение есть одно — правда. На этот путь правды зовёт нас партия.

«Пройдёт время, мы умрём, все мы смертны, но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу... — сказал на XXII съезде в своём заключительном слове Никита Сергеевич Хрущёв. — Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись». Каждое честное, мужественное сердце с благодарностью откликнулось на этот призыв.

Среди прочих условий, помогавших Сталину, творя беззакония, оставаться непогрешимым, было и то, что сами мы верили, убеждали себя верить не очевидным фактам, не себе, а ему. Он знает, он — мудрый; если так делает он, значит, в этом есть высший смысл. Эта слепая вера не только поддерживалась, но возводилась в некую заслугу. Сделать впредь подобную слепоту невозможной, вытравить из душ остатки того, что поселил в них культ личности, — задача не лёгкая и не быстрая. И тут огромную роль должна сыграть наша литература, литература, говорящая народу правду. Свежий тому пример — повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Автору её не придётся, оправдывая внутренний компромисс, говорить знакомым: «Понимаете, я хотел больше сказать, но не напечатают же...» Рязань

ский учитель, в прошлом боевой офицер Советской Армии, а между двумя этими этапами своей биографии — заключённый, Солженицын написал суровую, мужественную, правдивую повесть о тяжком испытании народа, написал по долгу своего сердца, с мастерством и тактом большого художника. Читая её, испытываешь многие чувства. Среди них боль, но это очищающая боль. И испытываешь гордость. Гордость за народ наш. Все эти люди, точные, живые характеры, с такой силой правды и человечностью написанные Солженицыным, — это ведь народ, кровная часть его, вырванная насильственно, бессмысленно изолированная от общества. Народ строил, создавал, но такой ли могла быть наша страна сегодня, если бы во все её славные и тяжёлые годы и эти люди были бы с нами! Последствия огромных событий сказываются не сразу. И когда мы думаем о нашей стране, о том непомерном, что было воздвигнуто и сделано за короткий срок истории, мы должны помнить, что было бы сделано гораздо больше, если бы не годы тяжкого произвола. И жизнь была бы человечней, лучше. Когда мы думаем о недостатках и нехватках сегодняшних дней, мы тоже должны помнить, что корни их выросли и укрепились в те годы, именуемые сейчас годами культа личности.

Самой лучшей доли достоин народ, столько вынесший на своих плечах, сохранивший в неприкосновенности мужество и бодрость духа, перенёсший главную тяжесть небывалой войны и пришедший в мир освободителем народов и стран. Он достоин великого уважения и светлого своего будущего.

В. Ермилов

ВО ИМЯ ПРАВДЫ, ВО ИМЯ ЖИЗНИ¹

Наша советская литература, литература социалистического реализма, стремится идти в ногу с развитием общества, с его жизненными потребностями.

Социалистическому обществу в его поступательном историческом развитии присуще стремление к очищению от всего наносного, враждебного и чуждого его природе. Это один из признаков неодолимой силы и жизненности самого передового и самого справедливого общественного строя. Буржуазное общество боится будущего и поэтому боится правды. Хорошо было сказано в поэме Александра Твардов-

¹ Правда. 1962. 23 ноября. Печатается в сокращении.

ского «Василий Тёркин», вдохновлённой героическими испытаниями всенародной Отечественной войны:

...Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька...

Процесс восстановления ленинских норм в жизни партии и страны, развёртывания социалистической демократии оказывает благотворное влияние на развитие художественной литературы. Она всё более активно участвует в очищении нашей жизни от влияний и последствий культа личности, всё глубже раскрывает суровую, прямо в душу бьющую правду о сравнительно недавнем прошлом, о тех искажениях и тяжёлых явлениях, которые были связаны с периодом культа. Это особенно относится к произведениям, появившимся в только что вышедших номерах литературно-художественных журналов. Вдохновляющими для писателей являются исторические решения XX и XXII съездов партии, слова товарища Н.С. Хрущёва: «Наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью. Пройдёт время, мы умрём, все мы смертны, но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу. Мы обязаны сделать всё для того, чтобы сейчас установить правду... Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

Пристальное внимание читателя вызовет повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», напечатанная в № 11 журнала «Новый мир». В нашу литературу пришёл писатель, наделённый редким талантом, и, как это свойственно истинным художникам, рассказал нам такую правду, о которой невозможно забыть и о которой нельзя забывать, правду, которая смотрит нам прямо в глаза.

Иван Денисович Шухов, герой повести, — колхозник, солдат Отечественной войны, человек уже немолодой, отбывающий десятилетний срок заключения в лагере. Какое же преступление он совершил? В начале войны попал он в немецкое окружение, пробыл два дня в плену, бежал, крался по болотам, чудом добрался до своих и вот за это приговорён.

Вопиющие беззакония подобного рода связаны не только с судьбой главного героя, но и с другими судьбами, проходящими перед нами в повести. Это в большей части «работяги», как говорят в лагере, про-

стые люди, часто великолепные мастера и умельцы, золотые руки, призванные к настоящему, созидательному, свободному труду, люди с рабочей совестью, с истинно народным презрением ко всякому захребетничеству, показухе, к набиванию брюха за чужой счёт. Сам Иван Денисович — истовый, строгий мастер, он и здесь, в лагере, остаётся верен себе, человек с истинной рабочей совестью. Но как жестоко противостоит весь режим этого лагеря человечности, труду, рабочей совести!

Повесть А. Солженицына, порою напоминающая толстовскую художественную силу в изображении народного характера, особенно замечательна тем, что автор целиком сливается со своим главным героем, и мы видим всё изображаемое в произведении глазами Ивана Денисовича.

Нет никакого сомнения в том, что борьба с последствиями культа личности Сталина, развёрнутая партией и советским народом после XX и XXII съездов КПСС, будет и в дальнейшем способствовать появлению произведений, отличающихся всё более высокой художественной ценностью, всё более глубокой народностью, отражающих нашу современность, созидательный труд народа.

Народный склад мышления, речи, пронизывающий всю повесть А. Солженицына, с особенной убедительностью подчёркивает противонародную направленность извращений, связанных с культом личности. Произвол и жестокость, спутники культа, были направлены против людей труда, против народа: вот о чём прежде всего говорит повесть «Один день Ивана Денисовича». Сталин не верил в массы, пренебрежительно относился к ним.

Перед нами проходит всего лишь один день лагерной жизни. Но поразительная насыщенность повести множеством конкретных жизненно-художественных деталей, редкостная густота подробностей, зоркость взгляда писателя, цепкость наблюдений — всё это даёт широко объёмляющую картину. Ни автор, ни Иван Денисович Шухов не унижают себя жалобами, стенаниями, расписываниями страданий. Перед нами высокое эпическое повествование. Это не значит, что здесь взят тон нарочитой бесстрастности, которая хочет оставаться на почве «фактов, и только фактов». Перед нами предстают живо воплощённые индивидуальные характеры, их много, что удивительно для небольшой повести, и секрет этой художественной победы заключён в той сдержанной и изнутри трепещущей человечности, которая наполняет и Ивана Денисовича, и всё авторское изображение людей и их отношений. Но это строгая человечность, проникнутая достоинством.

Об одном из героев, рассказывающем собригадникам о своей горькой жизни, говорится: «Рассказывает без жалости, как не об себе <...>» Как не об себе — это не значит, конечно, не об себе, это значит, что человек уважает себя, уважает человека в себе и не позволяет сентиментально жалеть себя, ни тем более разжалобливать других. Это относится и ко всему тону повествования. Строгая точность изображения, как будто не вызывающая к комментариям читателя, передаёт с особенной силой реальную обстановку мрачной жизни лагеря. И тем более становятся нам дороги эти люди, тем более любим мы их и тем больше страдаем за них. Думается, что такая художественная и человеческая позиция писателя — высокая, благородная художественная и человеческая позиция.

В повести А. Солженицына, действие которой относится к концу сороковых — началу пятидесятых годов, показано, что люди начинают понимать: Сталин знает о том, что происходит, а не просто обманут своим окружением. В одном из барачков идёт общий разговор (выпала такая минута, вообще-то разговаривать нет времени, да и желания).

«А в комнате орут:

— Пожалее-ет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!»

Недоверие к людям, неверие в людей — характерная черта культа личности Сталина. И сколько по-народному насмешливой и горькой иронии в этой характеристике: «батька усатый»! Да, верили в него, как в батьку родного, а он всё дальше и дальше отходил от народа, злоупотребляя доверием партии и народа, попирая революционную законность.

Но почему же не только горе сжимает сердце при чтении этой замечательной повести, но и свет проникает в душу? Это от глубокой человечности, оттого, что люди оставались людьми и в обстановке глумления. Таков Иван Денисович. Иные «ошакаливались». Иван Денисович «не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался». Это не просто сказано, это показано всем ходом повести, как Иван Денисович утверждался в своей человечности. Он знает, что — по-людски и что — не по-людски, и строго следует своему человеческому чутью. Это может прозвучать парадоксально, принимая во внимание всю данную обстановку и условия, но в повести показаны удивительный душевный такт Ивана Денисовича, его тонкое и точное знание людей, своеобразие каждого, понимание их обстоятельств и переживаний, непоколебимость его нравственных устоев, его знание, как и с кем надо говорить, поступать, кого надо

любить и кого не следует любить. Повесть очень глубоко утверждает народное начало, народный склад души.

И ещё потому читатель чувствует свет при чтении этого трагического произведения, что сказана правда, что всем ходом жизни нашей страны за последние годы партией и народом утверждается возможность сказать эту правду. <...>

П. Косолапов

ИМЯ НОВОЕ В НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ¹

В одиннадцатом номере журнала «Новый мир» опубликована повесть «Один день Ивана Денисовича». Сам факт появления подобного произведения — красноречивое свидетельство того, что времена культа личности Сталина ушли безвозвратно. Коммунистическая партия, смело разоблачившая последствия культа личности, сделала всё, чтобы времена эти никогда не повторились.

Имя автора повести — А.И. Солженицына — новое в нашей литературе. «Один день Ивана Денисовича» — первое его произведение. Кто же он, автор этой правдивой, вызвавшей большой интерес читателей повести?

Александр Исаевич Солженицын родился в 1918 году в семье служащего. Потеряв отца, с ранних лет воспитывался матерью. Детство и юность провёл в Ростове-на-Дону. Там окончил среднюю школу, а в 1941 году — физико-математический факультет университета. Специального литературного образования не получил. Лишь последние два предвоенных года одновременно с университетом учился на заочном отделении филологического факультета Московского института истории, философии и литературы.

В 1941 году призван в Советскую Армию рядовым. В 1942 году по окончании артиллерийского училища назначен командиром артиллерийской батареи и в этой должности непрерывно находился на фронте до февраля 1945 года. Награждён двумя орденами². В феврале 1945 года уже на территории Восточной Пруссии в звании капитана Солженицын был арестован по необоснованному политическому обвинению и приговорён к восьми годам заключения. Отбыл их

¹ Московский комсомолец. 1962. 28 ноября.

² А.И. Солженицын был награждён орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды. — *Примеч. сост.*

полностью, затем был направлен в ссылку, из которой возвратился в 1956 году. В 1957 году полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Сейчас он работает преподавателем математики и физики в школе.

В ближайшее время журнал «Новый мир» предполагает напечатать два новых рассказа А. Солженицына.

А. Дымшиц

ЖИВ ЧЕЛОВЕК¹

На повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» появились уже сочувственные отклики в печати. Но ими, разумеется, сказано далеко не всё об этом произведении, его духовное и художественное содержание будет ещё долго занимать читателей и критиков, будить у них всё новые и новые мысли. Некоторые мысли хочется высказать и мне, прочитавшему «Один день Ивана Денисовича» с глубоким сердечным волнением.

А. Солженицын — человек сильного и смелого художественного таланта. Он открыл завесу над таким участком недавнего прошлого, о котором не было написано до него. Он рассказал об одном дне особого лагеря — одного из подлейших лагерей, существовавших в годы культа личности Сталина, во времена чудовищных сталинско-бериевских преступлений.

Многие люди не знали о том, о чём с полной объективностью рассказывает в своей повести Солженицын, — эти страшные факты были скрыты от них. Но многие другие не только знали о лагерях, но познали их на собственной горькой участи. Об этом уродливейшем проявлении культа личности, его тиранической сущности и беззаконных дел, советские люди узнали с чувством гнева и негодования благодаря открытому и мужественному политическому курсу партии, обозначенному материалами и решениями XX и XXII съездов КПСС. Партия вскрыла преступления перед человечностью, совершённые в эпоху культа Сталина, осудила их, положила непроходимую грань между чёрными явлениями прошлого и нашей современностью. Повесть Солженицына в яркой, беспощадно правдивой форме рисует гнусности сталинско-бериевской карательной практики. Уже одним этим она помогает партийному делу — обличению пороков прошло-

¹ Литература и жизнь. 1962. 28 ноября.

го, их суровому осуждению во имя торжества светлых и гуманных ленинских государственных, общественных, нравственных принципов. Перефразируя известные слова Герцена, скажу об этой повести, что она всегда будет красоваться над выходом из мрачного прошлого.

Вместе с тем повесть Солженицына — не только книга горечи отрицания — она и книга сочувствия и уважения к человеку. В шестидесятых годах прошлого века, отзываясь о «Записках из Мёртвого дома» Достоевского, Писарев замечал: «Человеческая природа до такой степени богата, сильна и эластична, что она может сохранять свою свежесть и свою красоту посреди самого гнетущего безобразия окружающей обстановки». Эти верные слова вспоминаются, когда читаешь Солженицына. Они вспоминаются с существенной коррекцией — с поправкой, которая внесена в них нашим временем. Дело в том, что в повести «Один день Ивана Денисовича» человеческая природа выступает в своей борьбе как природа советских людей.

Создавая образ Ивана Шухова, рисуя ряд эпизодических фигур заключённых, А. Солженицын показал не только гнетущие безобразия окружающей их обстановки, но и духовную стойкость этих рядовых советских людей, терзаемых тягчайшими испытаниями. «Поверишь ли, — писал Достоевский брату Михаилу, приступая к работе над «Записками из Мёртвого дома», — есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото». Если так мог писать Достоевский, то тем более так мог бы сказать Солженицын.

Один день Ивана Шухова — всего один длинный, страшный (хотя для Шухова далеко не худший) день — представил нам Солженицын. Какое жестокое бытие, какая «грубая кора»... Люди под номерами, которых гонят под конвоем, обыскивают, обворовывают, истязают голодом... Режим, рассчитанный на то, чтобы поставить человека на карачки, убить в человеке человеческое... Но — жив человек. Жив и не сдаётся. Униженный, он отстаивает пядь за пядью каждую возможность сохранить себя, свою личность. Некогда Писарев говорил о заключённых в «мёртвом доме», что «при таком разнообразии стремлений, понятий, воспоминаний и надежд... не может проявляться особенно сильная склонность к взаимному сближению. Корпоративный дух в остроге должен быть очень слаб». В лагере, обрисованном Солженицыным, всё делалось для того, чтобы разобщить заключённых, исключить возможность их взаимного сближения. Людей невинных «перемешивали» с завзятыми мерзавцами, такими, как «шакал» Фетюков, «стукач» Пантелеев, Дэр — «сволочь хорошая», мошенники —

повар и завстоловой, бывший румынский шпион — «молдаван» — и другие. В охране держали немало лютых негодяев вроде лейтенанта Волкового и других, о которых Шухов думает: «<...> только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись». И всё же полностью порвать связи честных людей ничто не могло. И всё же вопреки всему связи эти сохранялись — в труде, в той «быстрой захватчивой работе», описания которой относятся к самым сильным и поэтичным страницам повести.

Иван Шухов — человек, несущий в себе много товарищеского тепла и участия, бывший землепашец и воин. Невинно заключённый, он долгие годы борется с окружающим его гнётом, трудится и мечтает о доме, о свободном труде. «Руки у Шухова ещё добрые...», душа чистая, «лёгкие деньги» ему не нужны. Многие замерло в сердце его, но человек в нём не убит, не сломлен. Мельком показаны два эстонца, латыш Кильгас, Сенька Клевшин, бывший кавторанг Буйновский, — в каждом живёт душа человеческая. «Никогда Клевшин в беде не бросит. Отвечать — так вместе». Он — «тихий, бедолага», глухой, изувеченный, а работник прекрасный. «На глазах доходит капитан, — думает Шухов о Буйновском, — щёки ввалились, — а бодрый», «кавторанг-то, может, и устоит...», «он и на лагерную работу как на морскую службу смотрит <...>».

Отдельными штрихами запечатлены в повести образы идейно стойких людей, коммунистов. Капитан Буйновский в гневе бросает конвойным: «Вы не советские люди! <...> Вы не коммунисты!» Эпизодически показан высокий старик, многие годы томящийся в заключении, несломленный, сумевший сохранить своё достоинство. «Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного». О людях — носителях идейного протеста — Солженицын пишет не много. И что не удивительно: ведь лагерь у него показан глазами Ивана Шухова, простого крестьянина, которому «некогда было долго разглядывать» мужественного высокого старика, но который заметил его, понял силу его духа, почувствовал в нём старшего друга.

«Один день Ивана Денисовича» — повесть небольшая по объёму, но необыкновенно насыщенная событиями, изобилующая деталями, вплоть до мельчайших душевных движений героя. Солженицын — повествователь строгий, его авторского голоса в рассказе не слышится. Он не «называет» проблем, но подводит нас к ним самой сутью изображаемого. Читаешь его — и словно слышишь мучительный вопрос Достоевского: «...погибли даром могучие силы, погибли ненормально,

незаконно, безвозвратно. А кто виноват?» Читаешь его — и кажется, что раздвигаются рамки повествования об одном дне одного лагеря, и встаёт вопрос о природе того явления, на котором лежит вина за преступные уродства в недавней жизни нашего общества.

Культ личности породил беззакония (закон стал «выворотным»), поставил карательные органы над партией, стремился подчинить им государство и общество. Культ личности искал при этом определённых средств идеологического воздействия: он «пересматривал», извращал, разрушал ленинские принципы демократизма и гуманизма, он старался притупить в людях общественное самосознание, подавить основные нравственные понятия, связывающие людей друг с другом и обществом. Почему лагерная охрана, показанная Солженицыным, за вычетом отдельных лиц («сержант черноокий», Полтора Ивана, — «из всех дежурняков покладистей», и некоторые другие), так легко и бездумно преступала законы человечности? Не потому ли, что «власть» их над заключёнными была бесконтрольна и безгранична, что их «освободили» от сознания общественной ответственности, что в них заглушили голос совести? Духовное развитие невинно пострадавших людей было искусственно прервано; несправедливыми приговорами и бесчеловечным режимом заключения в них стремились угасить все человеческие стремления. На трагической истории Ивана Денисовича мы видим, сколько возможностей пропало у этого человека. Но человек в нём не пропал. И в этом сказалась не только сила человеческой природы, но сила общественных традиций нашей революционной эпохи, воспитавшей человека в тех общественных связях, от которых не мог до конца оторвать его даже лагерь. В редкие мгновения, когда его посещали мысли о прошлом и мечты о будущем, Иван Денисович думал с тревогой и беспокойством о родной деревне, о колхозе, жаждал возвращения домой. Духовный мир этого рядового русского крестьянина и солдата, подавленный, но не убитый, Солженицын показал превосходно. И, рассказывая об одном дне в лагере, об одном дне Ивана Шухова, он заставил нас ещё и ещё раз задуматься о том, как велика задача и обязанность нашего общества, ведущего борьбу за ликвидацию всех и всяческих последствий культа личности. Восстановление ленинских норм — это процесс всеобъемлющий, захватывающий в том числе и область психологическую, помогающую исцелению израненных, искалеченных душ. Таков ещё один вывод, напрашивающийся из повести Солженицына.

Не могу не сказать и о том, что делает «Один день Ивана Денисовича» выдающимся художественным произведением. Повесть эта «анти-

культува» и по своей эстетической сущности. Она явление литературы органически народной — литературы, которую занимает жизнь, народные массы, народные характеры, а не апофеоз «героя», вознесённого над «толпой».

В эпоху культа личности, когда, несмотря на все трудности, не смолкала подлинная литература, было создано и немало произведений громогласно одического плана, патетических величаний, в которых экзальтация заменяла чувство, разного рода книг, где правда жизни и правда истории уступали место расчётливому вымыслу и предвзятой тенденции. С такого рода «творчеством» давно покончено. Но остались явления пережиточного типа, в частности схематизм и иллюстративность, порождаемые недостаточной близостью писателя к жизни народа. Есть у нас ещё произведения, которые пишутся по заранее разработанной автором схеме, затем «утепляемой» эмоционально, «обогащаемой» иллюстрациями и примерами, добываемыми в результате «рейдов в жизнь». Такой литературе, в которой отсутствие глубокого знания действительности вуалируется более или менее искусными литературными «приёмами», решительно противостоит литература серьёзного изучения жизни, вдумчивого проникновения в народные характеры, в диалектику души простого и прекрасного человека.

За последнее время у нас появляется всё больше произведений, выросших из глубинного изучения народа, из постижения новых черт народного самосознания. Не берусь составлять перечень таких произведений, но назову среди них романы В. Фоменко «Память земли» и М. Алексеева «Вишнёвый омут», повести Вл. Фёдорова «Сумка, полная сердец» и Вл. Максимова «Жив человек», «Рассказы бабки Василисы о чудесах» Г. Николаевой. В этом ряду я воспринимаю и повесть А. Солженицына — писателя, который, начиная свой литературный путь, нарисовал картину народных страданий и рассказал о духовной самообороне простых людей, попавших в горчайшую беду. Надо думать, что у этого писателя появятся и новые темы, непосредственно современные, но столь же пристально и вдумчиво изученные.

Традиции, от которых идёт, на которых учится Солженицын, — прекрасны. Это традиции Толстого, Достоевского — традиции, которые поднял на новую ступень своим творчеством (и воспитывал у многих писателей) Горький, которые в наше время связаны прежде всего с именем Шолохова. Думаю, что Солженицыну близки эти писатели. В связи с его повестью я не раз упоминал имя Достоевского. Но надо сказать, что Солженицын не только учится у Достоевского, но и

спорит с ним. Разница между «Одним днём Ивана Денисовича» и «Записками из Мёртвого дома» велика и принципиальна: Достоевский поэтизировал героя-смирненника, Солженицын развенчивает такого «героя» в образе баптиста Алёшки, «философия» и «агитация» которого иронически парируются Шуховым.

Повесть Солженицына — оgranённый талантом художника кусок жизненной правды. Всё в ней строго реалистично, без мелодраматических эффектов, сурово, порою грубо, но без надрывов и сентиментальности. Эта подлинная трагедия действует на читателя с какой-то пронзительной силой. Мы идём за автором по кругам лагерного ада, идём потрясённые и... просветлённые.

Мы знаем: так было тогда.

Мы верим: так никогда не будет.

И. Кашицкий

«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

*[Критика и библиография]*¹

В цикле стихотворений Эдуардаса Межелайтиса, которым открывается одиннадцатый номер журнала «Новый мир», есть стихи о ржавой колючей проволоке.

На любых путях моей души
Вырастала всюду выше ржи
Ты, колючая проволока!
...Обвила зелёные леса,
В синие вонзилась небеса,
О колючая проволока!
...Нравилось тебе живую плоть
Жалить, рвать, терзать, кусать, колоть,
О колючая проволока!

Эти стихи, звучащие как крик души, больно уколовшейся о клубок проволоки, полны драматизма и сурового мужества. Обращённые в прошлое, взволнованные строфы Межелайтиса рождены думой и заботой о будущем. Поэт не ворошит ржавую, с колючими шипами проволоку прошлой беды, навсегда отброшенную прочь. Он вспоминает

¹ Советская Литва. 1962. 30 ноября.

о ней для того, чтобы никогда больше её побеги «не расцвели из кровотока земли», чтобы никому не удалось больше цинично и кощунственно заставлять верить Человека в то, что ржавая колючая проволока — это ветка розы, без шипов которой немислимо человеческое существование.

Мы бросаем проволоку прочь,
Ветку ржавую и неживую.
И уходим, покидая ночь,
На дорогу, солнцем залитую.

(Перевод С. Куняева)

Стихи Э. Межелайтиса — поэта глубоких раздумий, ярких эмоций и философских обобщений — могут служить своеобразным эпиграфом к напечатанной вслед за ними в том же номере журнала «Новый мир» повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Это тоже рассказ о колючей проволоке и о тех, кому не по собственной воле пришлось «ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих натягивать — чтоб не убежать». Это очень честный и очень правдивый рассказ о трагических судьбах людей, лишённых свободы без каких-либо на то законных оснований, о последствиях, вызванных недоверием к человеку. Но повесть А. Солженицына отнюдь не является «списком злодеяний», регистрацией фактов вопиющего беззакония. Как подлинный художник и зрелый мастер, писатель обратил свой талант не на воссоздание и фиксацию явлений жестокости и произвола, а на раскрытие человеческих характеров, высветляя ими мрачную обстановку жизни «зэков» — заключённых.

В предисловии к повести А. Твардовский справедливо указывает, что жизненный материал, положенный в основу произведения А. Солженицына, необычен в советской литературе. Эта повесть, как и некоторые другие произведения, вызвана к жизни могучей и несокрушимой силой социалистического строя, процессом восстановления ленинских норм в жизни партии и страны, одухотворена историческими решениями XX и XXII съездов КПСС, определившими новый этап нашего развития. Советский писатель, обращаясь в своём творчестве к тяжёлому периоду культа личности, делает это не для того, чтобы посыпать солью уже зарубцевавшиеся раны или по-обывательски посмаковать недостатки, о которых партия, уверенная в своих силах, прямо и открыто рассказала народу. Нет, настоящий советский литератор, гордый тем, что партия называет его своим помощником,

всей душой стремится помочь народу глубже постичь значение ликвидации последствий культа личности и тех подлинно революционных преобразований, которые проведены за последние годы в стране ленинской партией.

На XXII съезде КПСС, в своём заключительном слове, товарищ Н.С. Хрущёв говорил: «Наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью. Пройдёт время, мы умрём, все мы смертны, но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу... Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись». Этой благородной задаче отвечает и повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

В первых пяти строках, прежде чем познакомить читателя с Иваном Денисовичем Шуховым, автор очень лаконично и в то же время исключительно образно и впечатляюще рисует обстановку, окружающую «зэков». Эта картина набросана штрихом, и там, где художник-график употребил бы резкие и энергичные линии, А. Солженицын употребляет слова «барак», «надзиратель», «параша», «зона», «лагерь», и эти пять слов, ритмически чередующиеся в пяти строках, как бы вместе с колючей проволокой очерчивают круг жизни Шухова и его товарищей по несчастью.

Иван Денисович Шухов — в прошлом колхозник, солдат Советской Армии — осуждён на десять лет только за то, что два дня пробыл в плену. Это случилось в 1943 году, а встречаемся мы с Иваном Денисовичем в 1951-м, когда за плечами этого немолодого человека восемь лет отбытого срока. Спокойный, рассудительный, честный и чистый душой, очень русский всем складом своего характера, он ничем приметным не выделяется из массы других заключённых. Не злоба и ожесточение владеют им, а трепетное, неизбывное чувство человеческого достоинства, потеря которого означает нравственную смерть. В особом лагере — строгий режим, но ещё строже этого режима человеческие сердца попавших в беду людей. В них беспощадная строгость к себе и к соседу по нарам, к «работяге» из своей бригады, строгость, измеряющая взаимоотношения между людьми не красивыми словами и сентиментальными переживаниями, а самой главной мерой моральной ценности человека — его честностью, стойкостью, целеустремлённостью.

Казалось бы, как всё это сочетать с той конкретной обстановкой, в которой разворачиваются события повести? В том и жизнеутверждающая сила, и беспощадная правда повести А. Солженицына, что,

рисуя лагерный быт, лагерную жизнь, он с большой любовью показал людей, которые в иных условиях могли стать героями труда, прославленными воинами, а здесь, за проволокой, приноровясь к жестокой для них действительности, не утрачивают своих драгоценных качеств. В этом отношении многое может рассказать читателю глава, показывающая бригаду Тюрина на строительстве ТЭЦ.

Жмёт мороз, забираясь под худую одежку заключённых, и вот вначале так, скорее всего, чтоб разогреться, Иван Денисович Шухов, его напарник Иоганн Кильгас, бывший капитан 2-го ранга Буйновский, бригадир Тюрин, бывший солдат Семён Клевшин всё убыстряют и убыстряют ритм работы. И труд, такой привычный, такой желанный для этих людей, отгоняет грустные мысли и тяжёлые раздумья, завладевает всеми помыслами, подчиняет себе. Красиво и артистично ведут кладку стены Шухов и его напарник Кильгас. Это для них уже не подневольный труд, а настоящее творчество, духом которого заражается вся бригада. В этом контрасте поступков людей и их положения с особой остротой и рельефностью подчёркивается чудовищная несправедливость, жертвой которой они стали. Ни в коем случае не стремясь разжалобить читателя, автор очень скупыми и очень точными изобразительными средствами помогает ему глубоко проникнуть в психологию героев повести, полюбить их. В этом подлинно новаторское значение повести А. Солженицына. В ней сплавлены воедино жизненная достоверность и высокая художественность.

Мысли, рассуждения, раздумья Ивана Денисовича Шухова тесно слиты с мыслями, рассуждениями, раздумьями самого автора. Этим единством определяется особый «настрой» повести: читатель вместе с автором смотрит на всё глазами Ивана Шухова, чувствует его сердце. Вместе с ним он симпатизирует бригадиру Тюрину, олицетворяющему в себе суровые законы лагерной жизни, моряку Буйновскому, ходившему вокруг Европы и Великим Северным путём, не испугавшемуся отстаивать свои человеческие права перед начальником режима, потерявшим человеческий облик. И вначале с жалостью, потом с презрением относится читатель к тем, кто не выдержал, «ошакалился», к тем, кто «миски лижет», как жалкий человечико Фетюков. «Человека можно и так повернуть, и так...» — думает Шухов. Эта мысль ярко раскрыта на конкретном материале повести, она проектируется и далеко за её пределы. Поверни в своё время людей, о которых рассказал А. Солженицын, на правильный путь, наставь их, — и сколько добрых дел совершили бы они.

В повести показан только один день лагерной жизни, но эти двадцать четыре часа благодаря множеству конкретных, впечатляющих деталей, перенесённых писателем на страницы повести, благодаря остроте наблюдений, переданных образным, эмоционально взволнованным языком самобытного рассказчика, превратились в многоплановую картину, каждая фигура которой живёт, дышит. Верность жизненной правде водит пером писателя, сообщая каждой строке динамическую силу. Эта сила раскрывается в столкновении характеров, в напряжённой работе мысли. Люди начинают понимать, что не окружение Сталина ответственно за весь вопиющий произвол, а сам Сталин, поставивший себя над народом, противопоставивший себя народу. Об этом говорит всё содержание повести, хотя буквально сказано всего лишь несколько слов. Вот разговор в одном из барачков:

«А в комнате орут:

— Пожалейте вас батяня уса́тый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!»

Недоверие к человеку привело Сталина к той бездонной пропасти, что пролегла между ним и народом.

Повесть А. Солженицына ещё раз показала, что для нашей литературы нет «запретных» тем, что писатель, стремящийся правдиво ответить на волнующие современность вопросы, твёрдо стоящий на партийных позициях в оценке самых острых явлений действительности, верно служит Человеку. Об этом с большой художественной силой говорит «Один день Ивана Денисовича», произведение, вставшее нынче вровень с лучшими книгами советских писателей.

В. Шаламов

ПИСЬМО А.И. СОЛЖЕНИЦЫНУ¹

Ноябрь 1962

Дорогой Александр Исаевич!

Я две ночи не спал — читал повесть, перечитывал, вспоминал...

Повесть — как стихи — в ней всё совершенно, всё целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что «Новый мир» с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного

¹ Шаламов В.Т. Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М.: Эксмо, 2004. .

не печатал. И столь нужного — ибо без честного решения этих самых вопросов ни литература, ни общественная жизнь не могут идти впереёд — всё, что идёт с недомолвками, в обход, в обман, — приносило, приносит и принесёт только вред.

Позвольте поздравить Вас, себя, тысячи оставшихся в живых и сотни тысяч умерших (если не миллионы), ведь они живут тоже с этой поистине удивительной повестью.

Позвольте и поделиться мыслями своими по поводу и повести, и лагерей.

Повесть очень хороша. Мне случалось слышать отзывы о ней — её ведь ждала вся Москва. Даже позавчера, когда я взял одиннадцатый номер «Нового мира» и вышел с ним на площадь Пушкинскую, три или четыре человека за 20–30 минут спросили: «Это одиннадцатый номер?» — «Да, одиннадцатый». — «Это где повесть о лагерях?» — «Да, да!» — «А где Вы взяли, где купили?»

Я получил несколько писем (я это говорил Вам в «Новом мире»), где очень-очень эту повесть хвалили. Но, только прочтя её сам, я вижу, что похвалы преуменьшены неизмеримо. Дело, очевидно, в том, что материал этот такого рода, что люди, не знающие лагеря (счастливые люди, ибо лагерь — школа отрицательная — даже часа не надо быть человеку в лагере, минуты его не видеть), не смогут оценить эту повесть во всей её глубине, тонкости, верности. Это и в рецензиях видно, и в симоновской, и в баклановской, и в ермиловской. Но о рецензиях я писать Вам не буду.

Повесть эта очень умна, очень талантлива. Это — лагерь с точки зрения лагерного «работяги» — который знает мастерство, умеет «заработать», работяги, не Цезаря Марковича и не кавторанга. Это — не «доплывающий» интеллигент, а испытанный великой пробой крестьянин, выдержавший эту пробу и рассказывающий теперь с юмором о прошлом.

В повести всё достоверно. Это лагерь «лёгкий», не совсем настоящий. Настоящий лагерь в повести тоже показан и показан очень хорошо: этот страшный лагерь — Ижма Шухова — пробивается в повести, как белый пар сквозь щели холодного барака. Это тот лагерь, где работяг на лесоповале держали днём и ночью, где Шухов потерял зубы от цинги, где блатари отнимали пищу, где были вши, голод, где по всякой причине заводили дело. Скажи, что спички на воле подорожали, и заводят дело. Где на конце добавляли срока, пока не выдадут «весом», «сухим пайком» в семь граммов. Где было в тысячу раз страшнее, чем на каторге, где «номера не вёсят». На каторге, в Особла-

ге, который много слабее настоящего лагеря. В обслуге здесь в/н надзиратели (надзиратель на Ижме — бог, а не такое голодное создание, у которого моет пол на вахте Шухов). В Ижме... Где царят блатари и блатная мораль определяет поведение и заключённых, и начальства, особенно воспитанного на романах Шейнина и погодинских «Аристократах». В каторжном лагере, где сидит Шухов, у него есть ложка, ложка для настоящего лагеря — лишний инструмент. И суп, и каша такой консистенции, что можно выпить через борт, около санчасти ходит кот — невероятно для настоящего лагеря — кота давно бы съели. Это грозное, страшное былое Вам удалось показать, и показать очень сильно, сквозь эти вспышки памяти Шухова, воспоминания об Ижме. Школа Ижмы — это и есть та школа, где и выучился Шухов, случайно оставшийся в живых. Всё это в повести кричит полным голосом, для моего уха, по крайней мере. Есть ещё одно огромное достоинство — это глубоко и очень тонко показанная крестьянская психология Шухова. Столь тонкая высокохудожественная работа мне ещё не встречалась, признаться, давно. Крестьянин, который сказывается во всём — и в интересе к «красилям», и в любознательности, и природном цепком уме, и умении выжить, наблюдательности, осторожности, осмотрительности, чуть скептическом отношении к разнообразным Цезарям Марковичам, да и всевозможной власти, которую приходится уважать, умная независимость, умное покорство судьбе и умение приспособиться к обстоятельствам, и недоверие — всё это черты народа, людей деревни. Шухов гордится собой, что он — крестьянин, что он выжил, сумел выжить и умеет и поднести сухие валенки богатому бригаднику, и умеет «заработать». Я не буду перечислять всех художественных подробностей, свидетельствующих об этом. Вы их знаете сами.

Великолепно показано то смещение масштабов, которое есть у всякого старого арестанта, есть и у Шухова. Это смещение масштабов касается не только пищи (ощущение), когда глотает кружок колбасы — высшее блаженство, а и более глубоких вещей: и с Кильгасом ему было интереснее говорить, чем с женой, и т.д. Это — глубоко верно. Это — одна из важнейших лагерных проблем. Поэтому для возвращения нужен «амортизатор» не менее двух-трёх лет. Очень тонко и мягко о посылке, которую всё-таки ждёшь, хотя и написал, чтоб не посылали. Выживу — так выживу, а нет — не спасёшь и посылками. Так и я писал, так и я думал перед списком посылок.

Вообще детали, подробности быта, поведение всех героев очень точны и очень новы, обжигающе новы. Стоит вспомнить только не -

в ы ж а т у ю тряпку, которую бросает Шухов за печку после мытья полов. Таких подробностей в повести — сотни — других не новых, не точных вовсе нет.

Вам удалось найти исключительно сильную форму. Дело в том, что лагерный быт, лагерный язык, лагерные мысли немислимы без матерщины, без ругани самым последним словом. В других случаях это может быть преувеличением, но в лагерном языке — это характерная черта быта, без которой решать этот вопрос успешно (а тем более образцово) нельзя. Вы его решили. Все эти «фуяслице», «...яди», всё это уместно, точно и — необходимо. Понятно, что и всякие «падлы» занимают полноправное место и без них не обойтись. Эти «паскуды», между прочим, тоже от блатарей, от Ижмы, от общего лагеря.

Необычайно правдивой фигурой в повести, авторской удачей, не уступающей главному герою, я считаю Алёшку, сектанта, и вот почему. За двадцать лет, что я провёл в лагерях и около них, я пришёл к твёрдому выводу — сумма многолетних, многочисленных наблюдений, — что если в лагере и были люди, которые, несмотря на все ужасы, голод, побои и холод, непосильную работу, сохранили и сохраняли неизменно человеческие черты, — это сектанты и вообще религиозники, включая и православных попов. Конечно, были отдельные хорошие люди и из других «групп населения», но это были только одиночки, да и, пожалуй, до случая, пока не было слишком тяжело. Сектанты же всегда оставались людьми.

В Вашем лагере хорошие люди — эстонцы. Правда, они ещё горя не видели — у них есть табак, еда. Голодать всей Прибалтике приходилось больше, чем русским, — там всё народ крупный, рослый, а паёк ведь одинаковый, хотя лошадям дают паёк в зависимости от веса. «Доходили» всегда и везде латыши, литовцы, эстонцы раньше из-за рослости своей, да ещё потому, что деревенский быт Прибалтики немного другой, чем наш. Разрыв между лагерным бытом больше. Были такие философы, которые смеялись над этим, дескать, не выдерживает Прибалтика против русского человека — эта мерзость встречается всегда.

Очень хорош бригадир, очень верен. Художественно этот портрет безупречен, хотя я не могу представить себе, как бы я стал бригадиром (мне это предлагали когда-то неоднократно), ибо хуже того, что приказывать другим работать, хуже такой должности, в моём понимании, в лагере нет. Заставлять работать арестантов — не только голодных, бессильных стариков, инвалидов, а всяких — ибо для того, чтобы пройти при побоях, четырнадцатичасовом рабочем дне, многочасовой выстойке, голоде, пятидесяти-шестидесятиградусном морозе, надо

очень немного, всего три недели, как я подсчитал, чтобы вполне здоровый, физически сильный человек превратился в инвалида, в «фитиля», надо три недели в умелых руках. Как же тут быть бригадиром? Я видел десятки примеров, когда при работе со слабым напарником сильный просто молчал и работал, готовый перенести всё, что придётся. Но не ругать товарища. Сесть из-за товарища в карцер, даже получить срок, даже умереть. Одного нельзя — приказывать товарищу работать. Вот потому-то я не стал бригадиром. Лучше, думаю, умру. Я мисок не лизал за десять лет своих общих работ, но не считаю, что это занятие позорное, это можно делать. А то, что делает кавторанг, — нельзя. А вот потому-то я не стал бригадиром и десять лет на Колыме провёл от забоя до больницы и обратно, принял срок десятилетний. Ни в какой конторе мне работать не разрешали, и я не работал там ни одного дня. Четыре года нам не давали ни газет, ни книг. После многих лет первой попалась книжка Эренбурга «Падение Парижа». Я полистал, полистал, оторвал листок на сигарку и закурил.

Но это — личное мнение моё. Таких бригадиров, как изображённый Вами, очень много, и вылеплен он очень хорошо. Опять же, в каждой детали, в каждой подробности его поведения. И исповедь его превосходна. Она и логична. Такие люди, отвечая на какой-то внутренний зов, неожиданно выговариваются сразу. И то, что он помогает тем немногим людям, кто ему помог, и то, что радуется смерти врагов, — всё верно. Ни Шухов, ни бригадир не захотели понять высшей лагерной мудрости: никогда не приказывай ничего своему товарищу, особенно — работать. Может, он болен, голоден, во много раз слабее тебя. Вот это умение поверить товарищу и есть самая высшая доблесть арестанта. В ссоре кавторанга с Фетюковым мои симпатии всецело на стороне Фетюкова. Кавторанг — это будущий шакал. Но об этом — после.

В начале Вашей повести сказано: закон — тайга, люди и здесь живут, гибнет тот, кто миски лижет, кто в санчасть ходит и кто ходит к «куму». В сущности, об этом — и написана вся повесть. Но это — бригадирская мораль. Опытный бригадир Кузёмин не сказал Шухову одной важной лагерной поговорки (бригадир и не мог её сказать), что в лагере убивает большая пайка, а не маленькая. Работаешь ты в забое — получаешь килограмм хлеба, лучшее питание, ларёк и т.д. И умираешь. Работаешь дневальным, сапожником и получаешь пятьсот граммов, и живёшь двадцать лет, не хуже Веры Фигнер и Николая Морозова держисься. Эту поговорку Шухов должен был узнать на Ижме и понять, что работать надо так — тяжёлую работу плохо, а лёг-

кую, посильную — хорошо. Конечно, когда ты «доплыл» и о качестве лёгкой работы не может быть речи, но закон верен, спасителен.

Каким-то концом эта новая для Вашего героя философия опирается и на работу санчасти. Ибо, конечно, на Ижме только врачи оказывали помощь, только врачи и спасали. И хотя поборников трудовой терапии и там было немало, и стихи заказывали врачи, и взятки брали — но только они могли [спасти] и спасали людей.

Можно ли допустить, чтобы твоя воля была использована для подавления воли других людей, для медленного (или быстрого) их убийства. Самое худшее, что есть в лагере, — это приказывать другим работать. Бригадир — это страшная фигура в лагерях. Мне много раз предлагали бригадиром. Но я решил, что умру, но бригадиром не стану.

Конечно, такие бригадиры любят Шуховых. Бригадир не бьёт кавторанга только до той поры, пока тот не ослабел. Вообще, это наблюдение, что в лагерях бьют лишь людей ослабевших, очень верно, и в повести показано хорошо.

Тонко и верно показано увлечение работой Шухова и других бригадников, когда они кладут стену. Бригадир и помбригадиру размяться — в охотку. Для них это ничего не стоит. Но и остальные увлекаются в горячей работе — всегда увлекаются. Это верно. Значит, что работа ещё не выбила из них последние силы. Это увлечение работой несколько сродни тому чувству азарта, когда две голодных колонны обгоняют друг друга. Эта детскость души, сказывающаяся и в рёве оскорблений по адресу опоздавшего молдавана (чувство, которое и Шухов разделяет всецело), всё это очень точно, очень верно. Возможно, что такого рода увлечение работой и спасает людей. Надо только помнить, что в бригадах лагерных всегда бывают новички и старые арестанты — не хранители законов, а просто более опытные. Тяжёлый труд делают новички — Алёшка, кавторанг. Они один за другим умирают, меняются, а бригадиры живут. Это ведь и есть главная причина, почему люди идут работать в бригадиры и отбывают несколько сроков.

В настоящем лагере на Ижме утреннего супа хватало на час работы на морозе, а остальное время каждый работал лишь столько, чтобы согреться. И после обеда также хватало баланды только на час.

Теперь о кавторанге. Здесь есть немного «клюквы». К счастью, очень немного. В первой сцене — у вахты. «Вы не имеете права» и т.д. Тут некоторый сдвиг во времени. Кавторанг — фигура тридцать восьмого года. Вот тогда чуть не каждый так кричал. Все, так кричавшие,

были расстреляны. Никакого «кондея» за такие слова не полагалось в 1938 году. В 1951 году кавторанг так кричать не мог, каким бы новичком он ни был. С 1937 года в течение четырнадцати лет на его глазах идут расстрелы, репрессии, аресты, берут его товарищей, и они исчезают навсегда. А кавторанг не даёт себе труда даже об этом подумать. Он ездит по дорогам и видит повсюду караульные лагерные вышки. И не даёт себе труда об этом подумать. Наконец, он прошёл следствие, ведь в лагерь-то попал он после следствия, а не до. И всё-таки ни о чём не подумал. Он мог этого не видеть при двух условиях: или кавторанг четырнадцать лет пробыл в дальнем плавании, где-нибудь на подводной лодке, четырнадцать лет не поднимаясь на поверхность. Или четырнадцать лет сдавал в солдаты бездумно, а когда взяли самого, стало нехорошо. Не думает кавторанг и о бендеровцах, с которыми сидеть не хочет (а со шпионами? с изменниками родины? с власовцами? с Шуховым? с бригадиром?). Ведь эти бендеровцы — такие же бендеровцы, как кавторанг шпион. Его ведь не кубок английский угробил, а просто сдали по развёрстке, по следовательским контрольным спискам. Вот единственная фальшь Вашей повести. Не характер (такие есть правдолюбцы, что вечно спорят, были, есть и будут). Но типичной такая фигура могла быть только в 1937 году (или в 1938 — для лагерей). Здесь кавторанг может быть истолкован как будущий Фетюков. Первые побои — и нет кавторанга. Кавторангу — две дороги: или в могилу, или лизать миски, как Фетюков, бывший кавторанг, сидящий уже восемь лет.

В тридцать восьмом году убивали людей в забоях, в бараках. Нормированный рабочий день был четырнадцать часов, сутками держали на работе, и какой работе. Ведь лесоповал, бревнотаска Ижмы — такая работа — это мечта всех горнорабочих Колымы. Для помощи в уничтожении пятьдесят восьмой статьи были привлечены уголовники — рецидивисты, блатари, которых называли «друзьями народа», в отличие от врагов, которых засылали на Колыму безногих, слепых, стариков — без всяких медицинских барьеров, лишь бы были «спецуказания» Москвы. На градусники в 1938 году глядели, когда он достигал 56 градусов, в 1939–1947 — 52°, а после 1947 года — 46°. Все эти мои замечания, ясное дело, не умаляют ни художественной правды Вашей повести, ни той действительности, которая стоит за ними. Просто у меня другие оценки. Главное для меня в том, что лагерь 1938 года есть вершина всего страшного, отвратительного, растлевающего. Все остальные и военные годы, и послевоенные — страшно, но не могут идти ни в какое сравнение с 1938 годом.

Вернёмся к повести. Повесть эта для внимательного читателя — откровение в каждой её фразе. Это первое, конечно, в нашей литературе произведение, обладающее и смелостью, и художественной правдой, и правдой пережитого, перечувствованного — первое слово о том, о чём все говорят, но ещё никто ничего не написал. Лжи за время с XX съезда было уже немало. Вроде омерзительного «Самородка» Шелеста или фальшивой и недостойной Некрасова повести «Кира Георгиевна». Очень хорошо, что в лагере нет патриотических разговоров о войне, что Вы избежали этой фальши. Война полностью говорит там трагическим голосом искалеченных судеб, преступных ошибок. Ещё одно. Мне кажется, что понять лагерь без роли блатарей в нём нельзя. Именно блатной мир, его правила, этика и эстетика вносят растление в души всех людей лагеря — и заключённых, и начальников, и зрителей. Почти вся психология рабочей каторги внутренней её жизни определялась, в конечном счёте, блатарями. Вся ложь, которая введена в нашу литературу в течение многих лет «Аристократами» Погодина и продукцией Льва Шейнина, — неизмерима. Романтизация уголовщины нанесла великий вред, спасая блатных, выдавая их за внушающих доверие романтиков, тогда как блатари — не люди.

В Вашей повести блатной мир только просачивается в щели рассказа. И это хорошо, и это верно.

Вот разрушение этой многолетней легенды о блатарях-романтиках — одна из очередных задач нашей художественной литературы.

Блатарей в Вашем лагере нет!

Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не отвечает за план, не выбывает его прикладами.

Кот!

Махорку меряют стаканом!

Не таскают к следователю.

Не посылают после работы за пять километров в лес за дровами.

Не бьют.

Хлеб оставляют в матрасе. В матрасе! Да ещё набитом! Да ещё и подушка есть! Работают в тепле.

Хлеб оставляют дома! Ложками едят! Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в своё время.

Сразу видно, что руки у Шухова не отморожены, когда он съёт пальцы в холодную воду. Двадцать пять лет прошло, а я совать руки в ледяную воду не могу.

В забойной бригаде золотого сезона 1938 года к концу сезона, к осени, оставались только бригадир и дневальный, а все остальные

за это время ушли или «под сопку», или в больницу, или в другие ещё работающие на подсобных работах бригады. Или расстреляны: по спискам, которые читались каждый день на утреннем разводе до глубокой зимы 1938 года, — списки тех, кто расстрелян позавчера, три дня назад. А в бригаду приходили новички, чтобы, в свою очередь, умереть, или заболеть, или встать под пули, или издохнуть от побоев бригадира, конвоира, нарядчика, надзирателя, парикмахера и дневального. Так было со всеми забойными бригадами у нас.

Ну, хватит. Поехал я в сторону, не удержался. Пересчёт бесконечный — всё это верно, точно, знакомо очень хорошо. Пятёрки эти запомнятся навек. Горбушки, серединки не упущены. Мера рукой пайки и затаённая надежда, что украли мало, — верна, точна. Кстати, во время войны, когда шёл белый американский хлеб, с подмесом кукурузы, ни один хлеборез не резал загодя, трёхсотка за ночь теряла до пятидесяти граммов. Был приказ выдавать бригаде хлеб весом не резаный, а потом стали резать перед самым разводом.

Именно КЭ-460. Все в лагере говорят «кэ», а не «ка». Кстати, почему «зэк», а не «зэка». Ведь это так пишется: з/к и склоняется з/к, зэки, зэкою. Невыжатая тряпка, которую Шухов бросает на вахте за печку, стоит целого романа, а таких мест сотни.

Разговор Цезаря Марковича с кавторангом и с москвичом очень уловлен хорошо. Передать разговор об Эйзенштейне — не чужеродная для Шухова мысль. Здесь автор показывает себя как писателя, чуть отступая от шуховской маски.

Обеднён язык, обеднено мышление, смещены все масштабы дум.

Произведение чрезвычайно экономно, напряжено, как пружина, как стихи.

И ещё один вопрос, очень важный, решён Шуховым очень верно: кто находится на дне? Да те же, что и наверху. Ничем не хуже, а даже, пожалуй, получше, покрепче!

Очень правильно подписал Шухов на следствии протокол допроса. И хотя я за свои два следствия не подписал ни одного протокола, обличающего меня, и никаких признаний не давал — толк был один и тот же. Дали срок и так. При том на следствии меня не били. А если бы били (как со второй половины 1937 года и позднее) — не знаю, что бы я сделал и как бы себя вёл.

Отличен конец. Этот кружок колбасы, завершающий счастливый день. Очень хорошо печенье, которое нежадный Шухов отдаёт Алёшке. Мы — зарабатываем. Он — удачлив. На!..

Стукач Пантелеев показан очень хорошо. «А проводят по санчасти!» Вот что такое стукач, вовсе не понял бедняга Вознесенский, который так хочет шагнуть в ногу с веком. В его «Треугольной груше» есть стихи о стукачах, американских стукачах, ни много ни мало. Я сначала не понял ничего, потом разобрался: Вознесенский называет стукачами штатных агентов наблюдения, «филеров», так их зовут в воспоминаниях.

Художественная ткань так тонка, что различаешь латыша от эстонца. Эстонцы и Кильгас — разные люди, хоть и в одной бригаде. Очень хорошо. Мрачность Кильгаса, тянущегося больше к русскому человеку, чем к соседям прибалтийцам, — очень верна.

Великолепно насчёт лишней пищи, которую ел Шухов на воле и которая была, оказывается, вовсе не нужна. Эта мысль приходит в голову каждому арестанту. И выражено это блестяще.

Сенька Клевшин и вообще люди из немецких лагерей, которых обязательно сажали после, — их было много. Характер очень правдив, очень важен.

Волнения о «зажиленных» воскресеньях очень верны (в 1938 году на Колыме не было отдыха в забое. Первый выходной получил я 18 декабря 1938 года. Весь лагерь угнали в лес за дровами на целый день). И что радуются всякому отдыху, не думая, что всё равно начальство вычтет. Это потому, что арестант не планирует жизнь дальше сегодняшнего вечера. Дай сегодня, а что там будет завтра — посмотрим.

О двух потах в горячей работе — очень хорошо.

О сифилисе от бычков. Никто в лагере не заразился таким путём. Умирили в лагере не от этого.

Бранящиеся старики — парашники, валенок, летящий в столб. Ноги Шухова в одном рукаве телогрейки — всё это великолепно.

Большой разницы в вылизывании мисок и в отирании дна коркой хлеба нет. Разница только подчёркивает, что там, где живёт Шухов, ещё нет голода, ещё можно жить.

Шёпот! «Продстол передёрнули» и «у кого-то вечером отрежут».

Взятки — очень всё верно.

Валенки! У нас валенок не было. Были бурки из старой ветоши — брюк и телогреек десятого срока. Первые валенки я надел, уже став фельдшером, через десять лет лагерной жизни. А бурки носил не в сушилку, а на починку. На дне, на подошве, наращивают заплаты.

Термометр! Всё это прекрасно!

В повести очень выражена и проклятая лагерная черта: стремление иметь помощников, «шестёрки». Работу по уборке в конце концов делают те же работяги после тяжёлой работы в забое подчас до утра.

Обслуга человека — над человеком. Это ведь и не только для лагеря характерно.

В Вашей повести очень не хватает начальника (большого начальника, вплоть до начальника приисковых управлений), торгующего среди заключённых махоркой через дневального-заключённого по пять рублей папироса. Не стакан, не пачка, а папироса. Пачка махорки у такого начальника стоила от ста до пятисот рублей.

— Дверь притягивай!

Описание завтрака, супчика, опытного, ястребиного арестантского глаза — всё это верно, важно. Только рыбу едят с костями — это закон. Этот черпак, который дороже всей жизни, прошлой, настоящей и будущей, — всё это выстрадано, пережито и выражено энергично и точно.

Горячая баланда! Десять минут жизни заключённого за едой. Хлеб едят отдельно, чтобы продлить удовольствие еды. Это — всеобщий гипнотический закон.

В 1945 году приехали репатрианты сменить нас на прииск Северного управления на Колыме. Удивлялись: «Почему ваши в столовой съедают суп и кашу, а хлеб берут с собой. Не лучше ли...» Я отвечал: «Не пройдёт и двух недель, как вы это поймёте и станете делать точно так же». Так и случилось.

Полежать в больнице, даже умереть на чистой постели, а не в бараке, не в забое, под сапогами бригадиров, конвоиров и нарядчиков — мечта всякого <заключённого>. Вся сцена в санчасти очень хороша. Конечно, санчасть видела более страшные вещи (например, стук о железный таз ногтей с отмороженных пальцев работяг, которые срывает врач щипцами и бросает в таз, и т.д.).

Минута перед разводом — очень хороша.

Холмик сахару. У нас сахар никогда не выдавался на руки, всегда в чаю.

Вообще, весь Шухов в каждой сцене очень хорош, очень правдив.

Цезарь Маркович — вот это и есть герой некрасовской «Киры Георгиевны». Такой Цезарь Маркович вернётся на волю и скажет, что в лагере можно изучать иностранные языки и вексельное право.

«Шмон» утренний и вечерний — великолепен.

Вся Ваша повесть — это та долгожданная правда, без которой не может литература наша двигаться вперёд. Все, кто умолчат об этом, исказят правду эту, — подлецы.

Очень хорошо описана предзона и этот загон, где стоят бригады одна за другой. У нас такая была. А на фронтоне главных ворот (во всех отделениях лагеря по особому приказу сверху) цитата на красном сатине: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и героизма!» Вот как!

Традиционное предупреждение конвоя, которое всякий заключённый выучил наизусть. Называлось (у нас): «Шаг вправо — шаг влево считаю побегом, прыжок вверх агитацией!» Шутят, как видите, везде.

Письмо. Очень тонко, очень верно.

Насчёт «красилей» — ярче картины не бывало.

Всё в повести этой верно, всё правда.

Помните, самое главное: лагерь отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку — ни начальнику, ни арестанту не надо видеть. Но уж если ты видел — надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Шухов остался человеком не благодаря лагерю, а вопреки ему.

Я рад, что Вы знаете мои стихи. Скажите как-нибудь Твардовскому, что в его журнале лежат мои стихи более года, и я не могу добиться, чтобы их показали Твардовскому. Лежат там и рассказы, в которых я пытался показать лагерь так, как я его видел и понял.

Желаю Вам всякого счастья, успеха, творческих сил. Просто физических сил, наконец.

В 1958 году (!) в Боткинской больнице у меня заполняли историю болезни, как вели протокол допроса на следствии. И полпалаты гудело: «Не может быть, что он врёт, что он такое говорит!» И врачиха сказала: «В таких случаях ведь сильно преувеличивают, не правда ли?» И похлопала меня по плечу. И меня выписали. И только вмешательство редакции заставило начальника больницы перевести меня в другое отделение, где я и получил инвалидность.

Вот поэтому-то Ваша книга и имеет важность, не сравнимую ни с чем — ни с докладами, ни с письмами. Ещё раз благодарю за повесть. Пишите, приезжайте. У меня всегда можно остановиться.

Ваш В. Шаламов

Со своей стороны я давно решил, что всю мою оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде. Я написал тысячу стихотворений, сто рассказов, с трудом опубликовал за шесть лет один сборник стихов-калек, стихов-инвалидов, где каждое стихотворение урезано, изуродовано.

Слова мои в нашем разговоре о ледоколе и маятнике не были случайными словами. Сопrotивление правде очень велико. А людям ведь не нужны ни ледоколы, ни маятники. Им нужна свободная вода, где не нужно никаких ледоколов.

В.Ш.

Г. Скульский

ВСЯ ПРАВДА¹

Настоящая правда — это вся правда: неумело выхваченные из потока и препарированные факты, хотя бы самые достоверные, а сам поток жизни со всеми его противоречиями, по крайней мере, на том участке, который решил освоить художник. А литература в целом только тогда выполняет своё высшее предназначение, когда освещает все стороны действительности, когда для неё нет запретных тем.

В период культа личности такие темы существовали. И немаловажные. И конечно же, под особым запретом находилось всё то, что позволило бы читателям увидеть и понять трагедии, порождённые злоупотреблениями личной властью «хозяина» — Сталина.

И в тридцатых, и в сороковых годах у нас были отличные книги, посвящённые подвигу народа. Мы хорошо знали, например, и шолоховского Давыдова, и фадеевских молодогвардейцев. Но многое от нас было скрыто, и в частности, и в особенности, — безвестные герои — советские люди, ушедшие в тьму лагерей, потерявшие имена и ставшие «зэками».

Ныне все запреты сняты. Естественно, то, что было скрыто за семью печатями, вызывает особый интерес. Законный интерес. И не только интерес.

В своём заключительном слове на XXII съезде партии Н.С. Хрущёв сказал справедливо и мудро:

«Наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью. Придёт время, мы умрём, все мы смертны, но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу... Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

Чтобы не повторялись! Чтобы выбить навсегда почву из-под ног у последних мамонтов культа — «наследников Сталина».

То, что копилось под замками долгое время в душах художников, вырвалось наружу неудержимо. Хлынул поток стихов, рассказов, повестей, пьес — разных по таланту, силе, глубине, но одинаково направленных против культа. Некоторые из них уже привлекли внимание читателей (роман Бондарева «Тишина», стихи Евтушенко, Мартынова, Слуцкого и др.).

На днях вышла в свет повесть особой силы и значения — повесть, написанная человеком, испытавшим на своей шкуре «прелести»

¹ Советская Эстония. 1962. 1 декабря.

особого лагеря заключения и ныне дебютирующим в литературе, — «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына («Новый мир», № 11, 1962 г.).

Повесть написана в традициях толстовской прозы. Она невелика по объёму (66 журнальных страниц), но кажется добросовестно подробной, потому что автор с сугубым вниманием следит за переживаниями людей и умеет видеть характернейшие детали быта.

В повести нет сюжетных ухищрений, её композиция незамысловата, как композиция очерка, однако читается эта повесть с неослабным вниманием, потому что каждая её страница обогащает пониманием глубин человеческих душ.

По манере изложения повесть может показаться поначалу бесстрастно объективной, даже «объективистской». Присутствия автора, его лирического «я» в ней не замечаешь. А. Солженицын нигде не выражает прямо своего гнева, нигде не обращается и к чувствительности читателя. Тем не менее «объективизм» повести, её «холодность» — явления только кажущиеся. Тут действует другой закон зрелого мастерства: чем внешне спокойней, тем действенней и страшней по существу! (Правда, не могу не оговориться, приём, на мой взгляд, не всюду сработал точно. Автору, думается, не удалось провести достаточно чёткой границы между сотнями невинно осуждённых и немногими действительно виновными в преступлениях перед Советской властью. И хотя главная тема повести иная, мне эта частная неточность кажется существенным недостатком.)

Язык повести своеобразен. Автор смело уходит от общепринятой литературной фразеологии. Читатель встретится здесь с чисто разговорными народными речениями, областными словами и, конечно же, с грубоватыми приговорками лагерной среды. Может быть, это и покорило литературных пуритан. Ну и бог с ними! Когда же не коробило любителей заранее заготовленных «мер» и «мерочек» свежее слово.

Своеобычен и ритм прозы А. Солженицына: неожиданный порядок слов, особая напевность фразы. К этому ритму надо привыкнуть, тогда он захватывает.

Я начал не с содержания повести, а с её художественного своеобразия. И сделал это потому, что она представляет интерес не только и даже не столько как человеческий документ, — эта повесть прежде всего явление литературное. В нашей прозе появился новый значительный мастер.

Сюжет повести — события одного обыденного лагерного дня — от побудки до отправления ко сну. А в этом дне — унижительные обы-

ски, смертоносные карцеры, оскорбление человеческого достоинства, самодурство начальства, каторжный труд на страшном морозе. В событиях этого дня раскрываются люди — разные, хорошие и плохие, потерявшие себя и сохранившие гордость, отупевшие и думающие, — люди, как и всюду на земле. Потому что лагерь, каков бы он ни был, тоже часть жизни. И какой бы безнадежной ни казалась судьба, какой бы убийственной иронией ни были проникнуты слова: «Чем в каторжном лагере хорошо — свободы здесь от пуза», или вот другие: «Пожале-ет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!» — всё равно люди думают о жизни, хотят жить, всё равно в них теплится надежда на лучшее будущее.

Какие портреты, какие характеры нарисованы автором! Вот символ лагерной жестокости — лейтенант Волковой:

«...Бог шельму метит, фамильцу дал! — иначе, как волк, Волковой не смотрит. Тёмный, да длинный, да насупленный — и носится быстро. Вынырнет из-за барака: “А тут что собрались?” Не ухоронишься. Поперву он ещё плётку таскал, как рука до локтя, кожаную, кручёную. <...> подкрадётся сзади да хлесь плетью по шее: “Почему в строй не стал, падло?”»

И вот эта гадина была поставлена вершить жизнью и смертью многих отличных, ни в чём не повинных людей: Ивана Шухова, простого, доброго, влюблённого в труд русского колхозника, которому не поверили, что он бежал из немецкого плена, и объявили шпионом, двух неразлучных друзей-эстонцев, из которых один был «виноват» только в том, что он рыбак с побережья, а другой в том, что, увезённый малым ребёнком в Швецию, вернулся на родину институт кончать. Сколько их ещё — тихий бедолага Сенька Клевшин, ранее чудом обманувший смерть в Бухенвальде, кавторанг Буйновский, отличный моряк, не желающий сгибаться перед несправедливостью, молодой киношник Цезарь, который и здесь, в камере, более всего думает о манере Эйзенштейна и режиссуре Завадского... Всех не перечесать.

Есть в повести одна, на мой взгляд, особо важная для понимания сущности советских людей сцена. Бригада, в которую входил Иван Денисович, на стройке кладёт стену. «Шухов и другие каменщики перестали чувствовать мороз. От быстрой захватчивой работы прошёл по ним сперва первый жарок — тот жарок, от которого под бушлатом, под телогрейкой, под верхней и нижней рубахами мокреет. Но они ни на миг не останавливались и гнали кладку дальше и дальше. И часом спустя пробил их второй жарок — тот, от которого пот высыхает. В ноги их мороз не брал, это главное, а остальное ничто, ни ветерок лёгкий, потягивающий — не могли их мыслью отвлечь от кладки».

Работа увлекла. Заставила забыть о каторге. Работа наполнила смыслом существование, словно обмыла чистой водой загрязнённую гордость, человеческое достоинство.

Да, эта сцена важна принципиально, потому что она позволяет читателю представить себе «зэков» вне лагеря, помогает понять, какими чудесными, настоящими людьми они были бы в иных, нормальных условиях.

И именно из понимания этого вырастает наиболее глубокое и непримиримое осуждение злодеяний культа Сталина.

Необъятное, как известно, объять нельзя. Повесть А. Солженицына ограничена и местом действия, и временем, и кругозором её главного героя. Но о том, что стало темой и материалом повести, сказана вся правда, новая правда, и правда художественная. А это главное!

Е. Бройдо

ТАКОМУ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ БЫВАТЬ!¹

*Заметки о повести А. Солженицына
«Один день Ивана Денисовича»*

Необычна судьба одиннадцатого номера журнала «Новый мир». Иные книжки толстых журналов неделями, а то и месяцами лежат в киосках «Союзпечати». А этот, как рассказывают мурманские киоскёры, был раскуплен буквально за несколько минут. В библиотеках на последний номер «Нового мира» стали занимать очереди.

Что же привлекло в нём в первую очередь внимание читателей? Повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». По размеру повесть эта невелика — около 70 журнальных страниц. Но можно с уверенностью сказать, что появление её — значительное событие в нашей литературе. Ведь значимость того или иного произведения, ценность его определяются не числом страниц, а актуальностью темы, постановкой вопроса, художественными достоинствами, правдивым отображением действительности.

Тема повести А. Солженицына — беззакония, которые допускались в годы культа личности Сталина, жизнь в лагере, где отбывали наказание ни в чём не повинные труженики. Автор пишет о том времени, которое осталось далеко в прошлом, о горьких и чёрных страницах периода этого культа. И об этом прошлом писатель рассказывает по-

¹ Полярная правда. Мурманск, 1962. 2 декабря.

тому, что оно не безразлично для настоящего, рассказывает во имя будущего. «Наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью, — говорил товарищ Н.С. Хрущёв в заключительном слове на XXII съезде КПСС. — Пройдёт время, мы умрём, все мы смертны, но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу. Мы обязаны всё сделать для того, чтобы сейчас установить правду, так как чем больше времени пройдёт после этих событий, тем труднее будет восстанавливать истину. Теперь уже, как говорится, мёртвых не вернёшь к жизни. Но нужно, чтобы в истории партии об этом было правдиво рассказано. Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

И вот со страниц повести предстаёт эта суровая, горькая правда. А. Солженицын изображает один день лагерной жизни, самый обычный, ничем особым не отличающийся от других дней. Но в нём, как в капле воды, все злоупотребления властью, всё беззаконие, всё неуважение к человеку, отсутствие доверия к нему, весь произвол, которые допускались во время культа личности Сталина.

Здесь, в лагере, люди только сами друг друга называли по фамилии, по имени и отчеству. Для лагерной администрации существовали лишь их номера. Иван Денисович Шухов — Щ-854, капитан второго ранга Буйновский — Щ-311. Для того чтобы как можно больше унижить зэков — такое было название у лагерников, — латки и лоскуты с номерами заставляли пришивать и на спину чёрного бушлата, и на ватные брюки, и дважды на телогрейку — на грудь и на спину, — и на шапку.

Что же это за люди? Почему оторвали их от работы на заводах, в колхозах, от воинской службы, от защиты Родины в суровую годину Великой Отечественной войны?

Вот главный герой повести, Иван Денисович Шухов. Это немолодой уже человек. До войны он был колхозником. Как только фашисты напали на нашу страну, стал солдатом. Теперь — лагерник, зэк. В течение десяти лет должен отбывать заключение. Считается по делу, что Шухов за измену Родине сел.

«И показания он дал, что таки да, он сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое ж задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание.

Расчёт был у Шухова простой: не подпишешь — бушлат деревянный, подпишешь — хоть поживёшь ещё малость. Подписал».

А вот что было на самом деле. После того как в феврале 1942 года на Северо-Западном фронте окружили всю армию, в которой был Шухов, стали бродить наши солдаты по лесам. Немцы поймали. С одной группой пробыл Шухов в плену пару дней. Потом убежали они впятером. Дошли до наших: только вдвоём. Спросили их: откуда? Они открылись: мол, из плена немецкого. И этого достаточно было для того, чтобы не дать больше Шухову в руки винтовку, а осудить на десять лет.

В одном бараке с Иваном Денисовичем — глухой Сенька Клевшин. О себе рассказывает очень коротко: «Я из плена три раза бежал. И три раза ловили». Лагерники знают о нём только то, что он в Бухенвальде сидел, там в подпольной организации был, носил в зону оружие для восстания. Немцы его за руки сзади спины подвешивали и палками били.

А вот ещё один зэк — кавторанг Буйновский. Быть может, он наш земляк, наверно, на Северном флоте служил. Ведь ходил Буйновский и вокруг Европы, и Великим Северным путём. Был советским офицером связи на английском крейсере, сопровождал морской конвой. А лагерником он стал потому, что английский адмирал, с которым на крейсере плавал, после войны прислал памятный подарок.

И таких — людей труда, честно воевавших, по-настоящему любящих свою Родину, — здесь, в лагере, много. Автор мастерски лепит их образы, рассказывает об Иване Денисовиче и других зэках, хотя и кратко, но ярко, убедительно, по-настоящему талантливо.

Перед нами разные по своему характеру, по своим душевным качествам люди. Мужественные, как Шухов, Тюрин, слабые — как Фетюков. Но все ничем не виноватые в своей судьбе. А судьба эта очень тяжёлая. Ещё не начинает светать, а они уже с руками за спиной бредут по морозу. «Идут зэки размеренно, понурясь, как на похороны». И они, эти люди, не стонут, не хнычут. Как правило, высоко держат голову и отдают себя работе. Они и здесь, в лагере, остаются советскими людьми. Пусть иногда они вынуждены прятать своё человеческое достоинство, но они его никогда не теряют.

Действие повести относится к концу сороковых — началу пятидесятых годов. Нет уже в лагере слепой веры в Сталина, в его непогрешимость. Люди понимают, что именно он повинен в беззакониях, благодаря ему находятся они в этом каторжном лагере.

Автор рисует такую картину. Сидят в комнате усталые зэки, нарабатывшие за день, промёрзшие на морозе, и орут:

— Пожале-ет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!

Читаешь эти строки и вспоминаешь слова Н.С. Хрущёва, сказанные на днях, на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС. Слова о Сталине. «Он не испытывал потребности в общении с массами — отгородился от крестьян, отгородился от рабочих. Поэтому он и не опирался на партию. Ему нужны были государственные карательные органы. Вот что ему нужно было!»

И эти карательные органы, выполняя волю Сталина, заполняли лагерь хорошими, честными советскими людьми. Побывал здесь и автор повести, А. Солженицын. В феврале 1945 года он был арестован по необоснованному политическому обвинению и приговорён к восьми годам заключения. Отбыл их полностью. И нынешний преподаватель математики и физики А. Солженицын, полностью реабилитированный пять лет назад за отсутствием состава преступления, сам прекрасно знает лагерную жизнь, пройдя не один десяток километров в колонне с другими зэками под дулами автоматов конвойных.

Пересказать содержание повести «Один день Ивана Денисовича» трудно. Её обязательно надо прочесть. И, читая это правдивое произведение о тяжёлых годах, о чёрных днях, проникаешься не печалью, а оптимизмом.

Потому, что эта повесть о несгибаемости наших людей. Потому, что времена культа личности Сталина ушли безвозвратно. Потому, что такому, о чём рассказано в повести, больше никогда не бывать! Ведь жизнь наша теперь строится по-ленински. И партия коммунистов ведёт страну вперёд, к победе коммунизма, по ленинскому пути.

И. Чичеров

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО¹

Появление повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» («Новый мир», № 11) является событием нашей литературной жизни. Она, несомненно, имеет большое литературно-политическое значение для нашего многомиллионного читателя.

О чём же рассказал в своей повести Солженицын? И как он рассказывал? В повести этой высокохудожественно раскрыт один день лагерной жизни заключённых — жертв беззакония, без вины виноватых!..

Да, это была действительно страшная жизнь, полная бесправного, каторжного труда, жизнь, полная жестоких унижений, попрания всех

¹ Московская правда. 1962. 8 декабря. Автор — литературный обозреватель «Московской правды».

человеческих достоинств. Людей старались превратить в послушных скотов, особи которых стремятся только к одному: как бы в этом каторжном аду *выжить!*

И выживают, конечно, самые крепкие, не только здоровьем, но прежде всего крепкие духом. Обо всём этом в повести рассказывает и думает вслух бывший колхозник, простой когда-то солдат (только два дня пробывший в плену и честно сказавший об этом правду и жестоко поплатившийся за неё) — Иван Денисович Шухов. Он мужичок умный, с долей хитринки и по-мужицки расчётливый. Он сумел приспособиться к этой страшной жизни, не потеряв своего человеческого достоинства. Но он, в сущности, примирился с этой бедой, несчастьем. И нет в нём яростной злобы, ненависти, которая вдруг вырывается у бригадира Тюрина в его разговоре с десятником Дэрром, которого он грозит убить; или у новичка ещё в лагере, у честнейшего коммуниста Буйновского, капитана второго ранга.

Шухов многого не понимает. Беда его придавила, пригнула, но не сломила. Шухов — умелец. У него золотые руки. Он и каменщик, и штукатур, и плотник. Это, как в лагере таких зовут, — «бедолага-работяга»... Когда он работает — работает и здесь, в лагере, ударно! Одна из лучших сцен повести — сцена кладки кирпично-блочной стены ТЭЦ.

Шухов обладает внутренним душевным тактом, не навязчив и не требователен в дружбе. Он умеет, когда надо, и баретки из лохмотьев смастерить, чтобы заработать лишний рубль и на него купить стакан запашистой латвийской махорки.

«<...> Кряхти да гнись, а упрёшься — переломишься», — говорит Шухов. И в этом суть его жизненной философии.

Параллельно рассказу — думам Шухова — идёт скупой, точный, предельно художественно сильный писательский комментарий, но почти нет в нём авторских раздумий и отступлений.

Но что же главное? Все эти люди — не быдло, а люди, которых сплачивает общая беда. В значительной части это хорошие, в сущности, люди. Вы читаете повесть, и незримо на ваших глазах возникает образ коллектива. Это лагерная трудовая бригада со своими мудрыми, жестокими, но и добрыми нормами бытия, работы и скудного отдыха. Бригада противостоит всему жестокому лагерному порядку разъединения людей, она сплачивает людей в трудовой коллектив, а труд цементирует их. И это и есть то *просветляющее начало*, которое помогает нам не задохнуться в смрадной атмосфере этой каторги с её бессмысленной жестокостью, с её страшным

обворовыванием заключённых, взятками и подхалимским услужением. Наиболее слабые (прежде всего духом) согнуты и раздавлены. Из них вербуются доносчики, добровольные помощники лагерного зверского режима.

Как тонко отточен писателем зловещий образ лейтенанта Волкового — начальника лагерного режима! В повести показано, как в этот один день жизни Ивана Денисовича действует страшная, так хорошо даже в мелочах отработанная машина беззакония, со всей сложной её системой зубчатых колёс, из-под которых порой брызжут и пот, и слёзы, и кровь...

И над всем этим — ряды колючей проволоки, тысячи и тысячи пудов стали! Стали, которая в докладах Сталина уже тогда высчитывалась на душу нашего населения! И здесь, в повести этой, колючая стальная проволока становится уже страшным символом культа, и сталь эта, и оружие охраны не на оборону шли от врага внешнего, а против самого народа были направлены!

В повествовании нет жалоб, стенаний, мелодраматического надрыва, но подлинно трагическая сущность происходящего нарастает от страницы к странице.

Один день Ивана Денисовича в лагере — это один обыкновенный день зэка в бесконечной череде страшных дней заключения. У одних это 10 лет, то есть 3653 дня, как у Шухова. У других — 15–20 лет, у третьих — бессрочно, до смерти, как у седого старика под номерам X-123, очевидно, старого коммуниста, чудом ещё оставшегося в живых. Ибо если выходил срок отсидки, то без суда «наваривались» новые годы каторжной муки.

Пожалуй, этот один обыкновенный день, от ранней побудки до столь желанного часа короткого и мёртвого сна, этот один обыкновенный день, в котором нет нагнетения сверхужасов, нет описания десятидневного пребывания в карцере, описания порок, избиений, расстрелов, — всё-таки страшнее в своей жесточайшей повседневной неизбежности, чем могли быть самые яркие и ужасные описания какой-либо исключительной жестокости.

Отношение к этой повести, мне думается, своего рода лакмусовая бумага. Тот, кто её не принимает (а уже слышатся голоса в спорах: «А зачем это вообще?.. Мы ведь всё это знаем! Зачем об этом писать, ведь это материал для наших врагов! То-то они уж обрадуются...») Или ещё острее: «Это спекуляция на разоблачении культа личности. Зачем конъюнктурно смаковать то, что смаковать ни к чему? Знай себе и помалкивай...»), тот, по моему мнению, не видит её огромного художе-

ственно-политического значения в деле морального оздоровления народа и должен спросить себя: а не сидят ли ещё во мне остатки культа личности?

В повести нет эпического спокойствия. Она вся накалена страстью и болью писателя, пронизана его ненавистью к тому, что было, чего не должно было быть в нашем социалистическом обществе...

Если говорить о сильном и слабом в образе Ивана Денисовича Шухова, — а об этом тоже надо говорить, — то, с моей точки зрения, весьма примечательна именно толстовская, каратаевская интонация в раскрытии его духовного, и всё же бедного, мира. Да, что-то при-ниженно-каратаевское звучит иногда в его раздумьях и проявляется в его поведении, только, пожалуй, без каратаевского утешительства. Таков авторский замысел. Можно спорить с этой авторской позицией, но она может быть и такой.

Мне хотелось бы сделать писателю критическое замечание более существенное: повесть была бы ещё сильнее, ещё крупнее и значительнее, если бы в ней более подробно и глубоко был развернут образ-характер кавторанга Буйновского или «высокого старика».

Может быть, этот старик и не был коммунистом. Но он был интеллигентом. И уж наверное старым коммунистом был тот, кто спорил с Цезарем. Но трагедия таких людей почему-то мало интересовала писателя.

Для коммуниста, отдавшего свои молодые годы и всю зрелую жизнь свою революции, партии, народу, строительству фундамента социализма, тоже очень тяжкими были побои при допросах, пытки жаждой, голодом и холодом. Но гораздо большей трагической пыткой была пытка для их разума, сердца, воли: «За что? Почему?» Что произошло в их партии, которой было бескорыстно отдано всё? Как может революция, ими подготовленная, с их активным участием совершённая, так казнить их, жестоко и несправедливо? И революция ли казнит их? Где же тогда правда? Неужели правы Шуховы, когда говорят: «Как же, пожале-ет вас батька усатый! Он и брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!» Как же, не знает он. Он всё знает. Он, за всем этим, что у нас делается, сам стоит.

Существенным недостатком повести, на мой взгляд, является то, что в ней не раскрыта эта интеллектуальная и моральная трагедия людей остро думающих, и не только о том, что стряслась «бьяда», а и о том, как и почему всё это произошло?!

Беспокоит меня в повести и отношение простого люда, всех этих лагерных работяг к тем интеллигентам, которые всё ещё переживают и

всё ещё продолжают, даже в лагере, спорить об Эйзенштейне, о Мейерхольде, о кино и литературе и о новом спектакле Ю. Завадского... Порой чувствуется и авторское ироническое, а иногда и презрительное отношение к таким людям. Очевидно, были в лагерях интеллигенты-бедолаги, которые были достойны такого отношения, но ведь были и другие.

Я понимаю, что в одной книге невозможно сказать всю правду о лагерной жизни. Но и та правда, которая сказана писателем, ужасна.

Солженицын в тончайших деталях лагерной жизни, и подневольной работы, и «домашнего» быта в казарме, показывает, что у многих, у лучших всё-таки оставалось человеческое, что они не «ошакаливались», не «шестерили» и уж, конечно, не только ненавидели стукачей, но, когда следовало, не боялись обогреть свои чистые, честные руки чёрной кровью этих негодяев... Всё это было! И не могло не стать главным лейтмотивом. Но необходимы для более мощного звучания повести и другие звучания, другие мелодии. Какие же?

Старые коммунисты, мои друзья, немногие из вернувшихся живыми из мест, столь отдалённых от Москвы, рассказывали, что настоящие коммунисты, будучи заключёнными, оставались коммунистами! Да, они не собирали партийных взносов, но проводили ночью тайные партийные собрания, обсуждали политические внутренние и международные новости, тайно праздновали революционные праздники. И только за пение шёпотом «Интернационала» по доносам стукачей гноились в карцерах... Ведь была и в лагерной обстановке, которая описывается Солженицыным, линия классового размежевания. Но о ней ничего не сказано. Уголовная шпана, бендеровцы, власовцы издавались над настоящими коммунистами, били их, калечили заодно с лагерным начальством и даже убивали партийных вожakov. И это тоже было. Но всего этого нам Солженицын не показал. Не хотел показать? Не думаю. Наверное, что-то в этой страшной жизни он не сумел рассмотреть. А жалко! Этой мелодии явно не хватает в его трагическом хорале...

Мои критические замечания никак не порочат книгу, не снижают её высокого художественного и литературного значения.

Но разве может критик умолчать о том, что подсказывает ему совесть, что требует его художественный вкус, что беспокоит его политическое чутьё?!

По-разному можно подходить к оценке этой книги. Но мне странна позиция А. Дымшица в его статье в газете «Литература и жизнь»¹,

¹ См.: Дымшиц А. Жив человек // Литература и жизнь. 1962. 28 ноября. См. также с. 40–45 наст. изд. — *Примеч. сост.*

который свой восторженный разбор повести Солженицына включает в «список», перечисляя разные и по мастерству, и по тематике книги. Мне кажется, что сопоставлять явления литературы следует прежде всего по их значению — литературному и литературно-политическому. Повесть А. Солженицына во всех смыслах явление выдающееся. В стремлении Дымшица растворить эту повесть в перечне книг с его вечным «и др.» я вижу попытку вместе с тем ослабить, умалить заслугу журнала «Новый мир», опубликовавшего повесть.

Решительно нельзя согласиться с утверждением (напрасно взятым у Герцена), что повесть Солженицына будет всегда (!) красоваться над выходом из мрачного прошлого... Зачем такая гипертрофия похвалы? Выход из мрачного прошлого периода культа личности уже обозначен решениями XX и XXII съездов партии.

В заключение мне хочется высказать опасение. Хуже всего, когда к таким огромным темам стараются примазаться ремесленники-иллюстраторы. Они могут скомпрометировать любую тему своей ремесленно-иллюстративной и всегда конъюнктурной «вышивкой». В этом отношении наша критика должна быть бдительна и высоко требовательна. Стремлениям поживиться на такой острой теме, омытой кровью и слезами народными, должен быть дан своевременный отпор.

Партия бесстрашно говорит правду народу, только правду, всю правду. Партия учит и нашу литературу говорить правду, только правду. Враги могут использовать это против нас. На то они и враги, чтобы клеветать на нас. Но правда повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», бесстрашие этой правды приносит нам огромную пользу.

А. Чувакин

СУРОВАЯ ПРАВДА¹

О повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»

Небольшая по объёму повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», опубликованная в одиннадцатом номере журнала «Новый мир», вызвала многочисленные одобрительные отклики читателей. Она получила положительную оценку и в печати как незаурядное явление в нашей советской литературе, как произведение суровой, неприкрашенной жизненной правды. Читая эту повесть, прежде всего

¹ Приокская правда. 1962. 9 декабря.

думаешь о великом значении решений XX и XXII съездов КПСС, о мужестве, принципиальности Никиты Сергеевича Хрущёва и членов Центрального Комитета партии. Они по-ленински принципиально выступили против культа личности Сталина, против произвола и беззакония, решительно пресекли преступные злоупотребления властью.

Всем памятны слова товарища Н.С. Хрущёва, сказанные на XXII съезде партии: «Наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью. Пройдёт время, мы умрём, все мы смертны, но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу. Мы обязаны сделать всё для того, чтобы сейчас установить правду, так как чем больше времени пройдёт после этих событий, тем труднее будет восстанавливать истину... Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

Исторические решения XX и XXII съездов партии, вскрыв и осудив уродливые явления периода культа личности, восстановив справедливость, раскрыли великие творческие силы народа. Они оказали самое благотворное влияние на все стороны нашей жизни, на развитие нашей литературы и искусства, которые призваны верно изображать жизнь, показывать подлинную жизненную правду, как бы сурова она ни была.

Появление повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — вполне закономерное явление. Это — свидетельство того, что для литературы, для честного и правдивого слова в настоящее время открыты все двери. Подлинно народная, правдивая литература в период культа личности не только не поддерживалась, но была в загоне, под жестоким запретом. Поддерживалась в основном только та литература, которая отражала жизнь в кривом зеркале, воскуривала фимиам земному богу — «батшке с усами».

Конечно, и в то время мужественные и честные писатели оставались верны народу и партии, верны жизненной правде. Прекрасный тому пример — подлинно народные, правдивые произведения нашего любимого писателя Михаила Александровича Шолохова. Собственно, и тема, разработанная А. Солженицыным, была впервые поднята в рассказе Михаила Шолохова «Судьба человека». Андрей Соколов, этот мужественный, нестигаемый русский человек, впервые в литературе был показан как жертва культа личности.

Гневное возмущение против произвола и беззакония, горькая боль и тревога за трагическую судьбу «без вины виноватых» людей, заключённых за колючую проволоку, и в то же время неиссякаемая вера в

стойкость и мужество советского человека, который и в условиях жестоких испытаний сохранил твёрдость духа, чистоту совести, честь и достоинство, наполняют сердце, когда читаешь повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», хотя повесть написана в спокойных, сдержанных тонах.

Автор описывает один, самый обычный день заключённых Особого лагеря от подъёма до отбоя, описывает с детальной достоверностью и подлинностью. И эта суровая, несколько не прикрашенная правда, без нарочитого нагнетения ужасных фактов, придаёт повести сильное звучание. Реализм повествования производит неотразимое впечатление. Физически чувствуешь те жестокие испытания, которые выпали на долю заключённых. Повесть воспринимается как подлинно человеческий документ, обличающий преступные злоупотребления властью в период культа личности.

Кто такой Иван Денисович Шухов — главный герой повести? Это простой, трудолюбивый крестьянин. С первых дней войны ушёл на фронт. И вот он в Особом лагере. И, как все заключённые, числится под номером «Щ-854», который нашит на шапке, на груди и спине телогрейки и даже на ватных брюках. По имени и отчеству его зовут только такие же, как и он, заключённые.

А как случилось, что честный и трудолюбивый человек попал в лагерь и к нему относятся как к преступнику?

«А было, — читаем в повести, — вот как: в феврале сорок второго года на Северо-Западном окружили их армию всю, и с самолётов им ничего жрать не бросали, а и самолётов тех не было. Дошли до того, что строгаги копыта с лошадей околевших, размачивали ту роговицу в воде и ели. И стрелять было нечем. И так их помалу немцы по лесам ловили и брали. И вот в группе такой одной Шухов в плену побыл пару дней, там же, в лесах, — и убежали они впятером. И ещё по лесам, по болотам покрались — чудом к своим попали. Только двоих автоматчик на месте уложил, третий от ран умер, — двое их и дошло. Были б умней — сказали б, что по лесам бродили, и ничего б им. А они открылись: мол, из плена немецкого».

Так за «измену» Родине и сел. И показания дал из простого расчёта: не подпишешь, что изменил, вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки, — «бушлат деревянный», «подпишешь — хоть поживёшь ещё малость. Подписал».

Лагерь. Здесь закон — тайга. Вольно, без опаски шага не ступишь. Встаёшь по команде, ложишься по команде, ешь тоже по команде, ну, на работу ходишь, с работы возвращаешься и работаешь, конечно, под командой.

«А конвоиров понатыкано! Полукругом обняли колонну ТЭЦ, автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы оскалила, как смеётся над зэками».

Суровые моральные и физические испытания не убили в Иване Денисовиче его задушевной чистоты, не убили человека. Его трудолюбие и в лагере, подневольном режиме, — яркое тому подтверждение. «<...>Так устроен Шухов по-дурацкому, и за восемь лет лагерей никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули».

Так просидел он в лагерях три тысячи шестьсот пятьдесят три дня, просидел за свою честность и доверчивость, человеческую простоту... И понимал, конечно, что сидит напрасно, без вины, да что ж, сам подписал себе приговор... А понимал, глубоко в душе понимал... И каким обличающим, гневным протестом звучат его простые, мягкие, но полные человеческой горечи и печали слова: «А я за что сел? За то, что в сорок первом к войне не приготовились, за это? А я при чём?»

Образ Ивана Денисовича Шухова наиболее ярко и глубоко психологически выписан в повести. Его видишь, чувствуешь, как живого, русского крестьянина-хлебопашца, руки которого не могут быть без дела, душа которого всегда беспокойна и терпелива...

Вместе с Иваном Денисовичем отбывает срок в лагере Сенька Клевшин. А он за что?

Три раза бежал Сенька Клевшин из немецкого плена, и три раза ловили. В Бухенвальде сидел и там в подпольной организации был, оружие в зону носил для восстания. Немцы его за руки сзади спины подвешивали и палками били... Но попробуй докажи, что ты не продавал своей совести в немецком плену... И Сенька уже не доказывает, он почти всё время молчит, терпельник, в разговор не вмешивается...

Бригадир сто четвёртой Тюрин, которого особенно уважает Иван Денисович, отсидел к 1951 году в общей сложности уже двадцать один год, столько перенёс испытаний и невзгод, что, казалось, мог бы потерять человеческий облик, стать зверем. Но он уважительно относился к заключённым, трудолюбив и человечен во всём...

А где же борьба, где же протест? — спросит читатель. Была борьба, был протест, протест души, протест сердца. Капитан Буйновский, ещё молодой, смелый моряк, попавший в особый лагерь из-за того, что во время войны с группой советских офицеров конвоировал английские суда и в благодарность за это получил от английского адмирала подарок и дружественное поздравление за мужество и честь, как-то крикнул надзирателям:

«— Вы п р а в а не имеете людей на морозе раздевать! <...> Вы не советские люди! <...> Вы не коммунисты!»

Но этот голос тонул, как в пустыне. Лагерные держиморды на всё имели право. И кричать, что-то доказывать им было бесполезно.

И хотя в то время не было известно, что Сталин знает о жестоких нравах в лагерях, заключённые говорили, что писать жалобы так же бесполезно, как возносить молитвы богу:

«— Пожалее-ет вас батька усатый. Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!»

Повесть А. Солженицына написана народным языком. Это подлинно народное произведение. Дело другое, может, автор не сумел возвыситься до ещё больших обобщений или специально ограничил повесть заранее задуманными и отведёнными рамками.

Мы все благодарны партии за то, что теперь каждый честный труженик, как Иван Денисович и другие невинно осуждённые, возвращены к свободному, благородному труду на благо Родины, участвуют в строительстве коммунизма. Во имя этого и написана повесть рязанского учителя А. Солженицына.

В. Литвинов

ДА БУДЕТ ПОЛНОЙ ПРАВДА¹

О повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» («Новый мир», № 11, 1962) много пишут, много говорят. Такие произведения берут за живое каждого: сколько читателей, столько и «дней», прожитых вместе с героем повести в лагере — от подъёма до отбоя.

Один лишь день одного «зэка» в одном лагере. Но повесть словно собрала в фокусе всё чудовищное, что нёс нашему народу культ личности.

Крестьянин, солдат Иван Денисович Шухов безвинно, как и многие другие, был брошен в годы войны за колючую проволоку и вот восемь лет, день в день, спасается от «деревянного бушлата», старается выжить, не пропасть. Не надо идеализировать Шухова. Да, он не стал подонком, вроде Фетюкова, или «стукачом», вроде Пантелеева. Он сохранил в себе человечность, и жажду доброго труда, и какое-то даже собственное достоинство — и это в лагере, в том голодном, измордованном, иступлённом житье! В утверждении этого — высокая оптимистическая нота всего повествования: бессилён был культ против главного в человеке.

¹ Труд. 1962. 12 декабря. Печатается в сокращении.

Но разве вместе с тем лагерь не перекроил что-то на свой лад и в психике Ивана Денисовича, разве можно без боли и обиды видеть, до каких унижений опускается порой этот мастер — золотые руки ради лишней пайки хлеба, как ввелись в него инстинкты звериной борьбы за существование, как в конечном счёте страшна его примирённая мысль, завершающая этот мучительный день: показался он Ивану Денисовичу «почти счастливым», «засыпал Шухов вполне удовлетворённый¹»... Вполне удовлетворённый — что может быть горше этого!

Он выживет, Иван Денисович. Однако глубоки душевные раны, нанесённые человеку культом, им не зарубцеваться сразу, в одночасье.

Писатель как бы проделал психологический, нравственный анализ последних лет культа Сталина: оттуда в нынешние дни вернулись и Фетюковы с Пантелеевыми, вернулись и подобные кавторангу, капитану второго ранга Буйновскому, который и в лагере не смиряется, бунтует против беззакония (хочется верить, что выживет и Буйновский, увидит сегодняшнюю новь, как ни труден будет каторжный его путь). И такие, и иные придут оттуда, говорит автор, не желая подслащать правду о своих героях, узниках лагеря. Даже в характере Ивана Денисовича, как видим, уживаются и начала высокие, светлые, и низменное, привитое непреодолимыми обстоятельствами той жизни.

С каким же вниманием обязаны мы относиться к каждому человеку, прошедшему через жестокие испытания времени культа личности, как бережно должны помогать расцвету, распрямлению в нём всего чистого и человеческого, способствовать избавлению от тёмного и наносного! Вот о чём прежде всего заставляет задуматься повесть А. Солженицына.

<...>

Л. Афонин

«ЧТОБ ВДАЛЬ ГЛЯДЕТЬ НАВЕРНЯКА»²

Когда я прочитал повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»³ — прочитал, как говорится, не переводя дыхания, не замечая, как идут часы, — то благодарно подумал об авторе: «Вот человек, который эти страницы, обжигающие правдой, написал потому, что не мог не написать их, потому что это ему велел сделать долг граж-

¹ В тексте: «удоволенный». — *Примеч. сост.*

² Орловская правда. 1962. 14 декабря.

³ См.: Новый мир. 1962. № 11.

данина, потому что он помнит о тех, кто вместе с ним был в каторжном лагере и, может быть, не дожил до наших дней, до восстановления справедливости, попранной Сталиным».

Повесть А. Солженицына бесстрашно достоверна, неопровержима, как документ, в котором ничего нельзя «ни убавить, ни прибавить», потому что именно «так это было на земле». Но у автора нет намерения пугать читателя ужасами, тешить душу обывательскую всякого рода «разоблачениями». Он не опускается до этого, потому что за его плечами слишком тяжёлый, очень дорого оплаченный жизненный опыт, который не позволяет ему разменивать на дешёвые сенсации высокое чувство гражданина и большой талант художника. Именно поэтому рассказанное А. Солженицыным действует столь неотразимо, каждой строкой своей.

Всего один день от подъёма до отбоя — «будничным» день начала зимы 1951 года в каторжном лагере — «сфотографировал» автор. «В сроке» героя повести — Ивана Денисовича Шухова — таких дней было три тысячи шестьсот пятьдесят три («Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...»). И вот этот один день, в который, собственно говоря, ничего «особенного» не произошло, оказался настолько ёмким, что через него ощущаешь размеры народной трагедии в годы культа личности Сталина. В этом как раз и проявилось незаурядное мастерство А. Солженицына, который пишет предельно «густо», «с подтекстом», дающим читателю видеть куда больше, чем рассказывает автор.

Иван Денисович — человек ничем не примечательный, «работяга», один из тех, кого при Сталине величали «простыми людьми». И судьба у него простая. Колхозник. Воевал. Попал в плен. Бежал. Пришёл к своим, чтобы снова воевать против фашистов. И вот «считается по делу, что Шухов за измену родине сел. И показания он дал, что таки да, он сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое ж задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание.

Расчёт был у Шухова простой: не подпишешь — бушлат деревянный, подпишешь — хоть поживёшь ещё малость. Подписал».

Рядом с Иваном Денисовичем «отбывают срок» разные люди. Среди них есть хорошие и похуже, есть думающие очень ясно и есть в чём-то заблуждающиеся, в какой-то момент своей жизни даже оступившиеся. Автор весьма скуп на характеристики. Бросит будто невзначай несколько слов о прошлом человека, добавит к ним самую «малость» случившегося за «один день», а уж там дело читателя — домысливай,

раздумывай над судьбой мальчишки Гопчика («Посадили <...> за то, что бендеровцам в лес молоко носил. Срок дали как взрослому. Он — телёнок ласковый, ко всем мужикам ластится»), или «кавторанга» (капитана второго ранга Буйновского, который ещё «не привык» к лагерю и может «долбануть» надзирателей словами: «Вы не советские люди! <...> Вы не коммунисты!»), или двух эстонцев-побратимов («Они так друг за друга держались, как будто одному без другого воздуха синего не хватало. <...> А были они вовсе не братья и познакомились уж тут, в 104-й. Один, объясняли, был рыбак с побережья, другого же, когда Советы усталились, ребёнком малым родители в Швецию увезли. А он вырос и самодумкой назад — в Эстонии институт кончат!»).

Конечно, каторга есть каторга. Порою тут действует закон жестокий: кто кого сможет, тот того и словет. И неудивительно, что среди «зэков» попадаются такие, что «миски лижут», и в «сексоты» к «оперу» идут, и в «начальники» над своим же братом-заключённым лезут. Этого не скрывает А. Солженицын.

Но он говорит и о другом. Люди обездоленные, оторванные от семей, постоянно находящиеся на грани жизни и смерти, сохраняют в большинстве своём не только человеческое достоинство, но и высокое гражданское чувство. О многих из этих людей можно, пожалуй, сказать то же, что говорит Александр Твардовский о человеке одинаковой с ними трагической судьбы:

...вседневно и всечасно
Его любовь была верна.
Винить в беде своей безгласной
Страну?
При чём же здесь страна!
Он жил её мечтой высокой,
Он вместе с ней глядел вперёд.
Винить в своей судьбе жестокой
Народ?
Какой же тут народ!..

Автор повести проявил несомненный такт художника, не назвав даже имени того, кто является виновником бед, случившихся с Иваном Денисовичем и его товарищами. Ему оказалось достаточным привести всего только одно ядовитое замечание кого-то из лагерных жителей:

«— Пожалее-ет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!»

И всё ясно, без многих слов...

Те же, кого не жалеет «батька усатый», и в самых тяжёлых испытаниях не перестают оставаться советскими людьми. В этом убеждают нас и страницы, рассказывающие о строительстве ТЭЦ, и раздумья Ивана Денисовича, вызванные безрадостными вестями из родного колхоза, и сохранённое наперекор всему убеждение «жилистого» старика, носящего на каторге номер X-123, — «гении не подгоняют тракторку под вкус тиранов»... Таких «просветов» в «Одном дне Ивана Денисовича» немало, и они, в конечном итоге, определяют жизнеутверждающий характер этого до конца бескомпромиссного произведения.

Повесть А. Солженицына читать тяжело, больно, горько. Не менее тяжело было, наверное, и автору рассказывать о пережитом, глубоко выстраданном морально и физически.

Недруг наш на этом произведении политического капиталца не наживёт, ибо ясны и определены позиции автора — советского писателя, бесстрашно разоблачающего злодеяния Сталина с принципиальной, партийной позиции.

И всё же порою слышится шепоток:

— Зачем, мол, ворошить пережитое? Кому это нужно?

Что ж, можно ответить.

Народу нашему, партии нашей, молодому поколению. Им надо знать всю правду о Сталине, о его злоупотреблениях властью, чтобы это не повторилось никогда, чтобы мы могли, как говорит Александр Твардовский, «вдаль глядеть навстречу».

А. Астафьев

СОЛНЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ¹

О повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», напечатанной в одиннадцатом номере журнала «Новый мир», много говорят и спорят. Такой интерес не вызывают произведения литературы, обычные по содержанию и форме. Это произведение, действительно, выходит из ряда вон. В основу повести положен жизненный материал, связанный с временем культа личности, отрицательному действию которого долго подвергалась вся наша жизнь и с последствиями которого наша партия ведёт борьбу. Решения прошедшего Пленума ЦК КПСС — живейшее тому свидетельство. Потому-то слово мужественной правды о той поре находит отклик в душе каждого.

¹ Ульяновская правда. 1962. 18 декабря.

И вот перевернуты последние страницы. Книга производит глубокое впечатление. Нет, не сенсационными разоблачениями. Кто рассчитывает на это, может заранее не брать журнал в руки. Автор бесстрастно (разумеется, насколько позволяет предмет описания) повествует об одном дне заключённого особого лагеря Ивана Денисовича Шухова. Впрочем, так его называют только товарищи по бригаде. Для лагерного начальства он «Щ-854».

Шухов не какой-нибудь политический деятель крупного масштаба, которые обычно фигурируют в качестве примеров невинно пострадавших. Рядовой колхозник, представитель той громадной безвестной когорты тружеников, чьих имён не помнит история.

Двадцать третьего июня сорок первого взяли в армию, а в феврале сорок второго угодил за проволоку. Считается: «За измену родине». И показания дал, что сдался в плен, желая изменить Родине.

Вернулся из двухдневного плена-де потому, что выполнял задание немецкой разведки. «Какое ж задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание. <...> не подпишешь — бушлат деревянный, подпишешь — хоть поживёшь ещё малость. Подписал».

Шпионов в каждой лагерной бригаде по пять человек, «но это шпионы деланные, снарошки». Сенька Клевшин, «тихий бедолага», однобригадник Шухова, тоже шпионом по делу проходит. Также в плену был. Трижды бежал. Излавливали. В Бухенвальде был. Оружие для восстания проносил в лагерь. Гестаповцы подвешивали за руки, били. Чудом смерть обминул. Теперь отбывает срок здесь.

Капитан второго ранга Буйновский. Командовал отрядом миноносцев. В войну был связным офицером при английском адмирале. Тот в знак дружбы прислал ему после войны письмо и памятный подарок. Этого было достаточно, чтобы обвинить человека в измене Родине и заключить на двадцать пять лет.

Перед нашими глазами проходит вереница людей, выступающих в трагической роли «зэков». Все они поданы через восприятие Шухова, и оценка их даётся чаще с его позиций. «Снаружи вся бригада в одних чёрных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неравно — ступеньками идёт».

Выше тот, кто с помощью воли, энергии, ума и не прибегая к подлости (что подчёркивается многократно) сумел в этих нечеловеческих условиях сохранить человеческое достоинство.

Все остальные мерки (социальное происхождение, образование, прошлый служебный пост — анкета), которым в обычных условиях

люди придают большое и часто решающее значение, в лагере отменяются, как шелуха. Фетюков на воле развезжал в персональной машине. Тут он блюдолиз, вызывающий презрение и жалость за то, что не сумел «поставить себя».

Форма, избранная автором, сначала кажется произвольной. Думается, много не увидишь за один день глазами человека с ограниченным кругозором. Автор, правда, изредка вмешивается, но его дополнения служат лишь естественным продолжением того, о чём думает герой, и поэтому будто бы существенно не раздвигает рамок изображаемых событий.

Обобщая, можно было легко впасть в преувеличение. Невольно стугнуть краски. Тем более что автор всё это испытал на себе. Однако А. Солженицын сумел избежать этой опасности, проявив большой художественный такт и чувство меры.

В качестве образца взят день, «ничем не омрачённый, почти счастливый», в который «выдалось <...> много удач» на долю Шухова. Однако, взглянув на эти удачи, вы увидите, что все они основаны на уверенности, что могло быть гораздо хуже. В карцер его не посадили, хотя надзиратель и дал ему трое суток с выводом на работу за то, что он не встал по подъёму вместе со всеми. Был болен.

На «соцгородок» бригаду не выгнали работать. Пришлось бы больному, плохо одетому «вкалывать» на тридцатиградусном морозе в чистом поле. В обед он «закосил» лишнюю порцию каши. Бригадир удачно закрыл процентовку. Значит, будет ещё три дня надбавка в пайке. Вечером подработал миску баланды. И не заболел, перемогся.

Невольно задаёшь вопрос — если этот день был счастлив для Шухова, то каковы остальные три тысячи шестьсот пятьдесят три из его срока? И тут только вполне начинаешь чувствовать глубокий, трагический пафос, которым пронизана повесть.

Однако пафос этот не внушает чувства обречённости. Автор силой своего человеческого таланта и широкого, независимого от мелкой злободневности взгляда на жизнь сумел подняться до большой правды. Поэтому и высказанные им горькие истины очищают душу от всего мелочного и наносного, утверждают веру в добро и справедливость, как бы на них ни посягали.

Солнце даже во мгле остаётся солнцем. Именно на этой параллели и основана композиция повести. Утро в бараке началось неудачно. Не лучше оно и на улице выдалось. Лагерные фонари «засветляли звёзды». Трещит мороз. Завтрак. Идут на работу. «<...>Солнце встаёт <...> красное, как бы во мгле». Потом солнце «уже поднялось, но было без

лучей, как в тумане <...>». Шухов указывает на столбы тумана возле солнца. Латыш Кильгас мрачно шутит — смотри, мол, как бы и на них проволоку не натянули.

Новичок Буйновский, не знавший ещё лагерных порядков, во время обыска крикнул конвойным: «Вы п р а в а не имеете людей на морозе раздевать! <...> Вы не советские люди! <...> Вы не коммунисты!» И ему дали десять суток карцера. Немного спустя, под влиянием этого случая, он саркастически заметил, что и дневное светило, повинуюсь приказу, выше всего стоит не в двенадцать, а в час дня.

Но Шухов усомнился в этом: «Неуж и солнце ихим декретам подчиняется?»

Он ещё не раз по наивности возвращался к этой мысли, пока не отверг её бесповоротно. Правду не убьёшь.

И не зря Иван Денисович на попытки баптиста Алёшки обратить его в свою веру отвечает отказом, потому что «молитвы те, как заявления, или не доходят, или “в жалобе отказать”». Да и сам Алёшка со своей слепой преданностью Евангелию вызывает у него лишь сожаление.

Чувство уважения и восхищения пробуждает бригадир Тюрин. Не согнулся человек. В нём живёт дух протеста и готовность отстаивать правду. Перечитайте сцену на стройке ТЭЦ, когда десятник Дэр пытался угрожать ему. И ест Тюрин, снимая шапку. А ведь за девятнадцать лет можно было опуститься. Выстоял.

Все, кто читал повесть, говорят, что язык её производит неотразимое впечатление. Он живой и полнокровный. Изображённые им предметы кажутся объёмными, и их можно потрогать с любой стороны, как скульптуру.

Необычность языка, на наш взгляд, объясняется тем, что нас приучили (и это тоже пережиток культа) к литературе, отражающей жизнь с позиций должного и желаемого. Иные способы изображения рассматривались как еретические. Отсюда и ведёт своё происхождение приглаженный, обтекаемый язык. Многие беллетристы до сих пор так и катятся по этой торной дороге, не умея, а подчас и не желая менять позиций, которые принесли им лавры.

А если заглянуть поглубже в историю литературы, то мы найдём там немало примеров бесстрашия мысли и любви к честному, мужественному слову. Поэтому, говоря, что А. Солженицын порвал с традициями, нужно уточнить, какими именно. Отвергнув в своём произведении худшие традиции нашей жизни, он отказался и от эстетики, восхваляющей их. А. Солженицын продолжает лучшие традиции ве-

ликой русской литературы. Поэтому один из героев его повести в ответ на заявление — искусство — это не «что», а «как» — заявил: «Нет уж, к чёртовой матери ваше “как”, если оно добрых чувств во мне не пробудит!»

Н. Кружков

ТАК БЫЛО, ТАК НЕ БУДЕТ¹

О повести А. Солженицына

«Один день Ивана Денисовича» («Новый мир», № 11)

Всё, что написано в этой повести, — чистая правда, ничем не украшенная: ни побочными рассуждениями автора, ни обобщениями, ни восклицаниями, ни ахами, ни вздохами. Взят кусок жизни, неотёсанный, простой, грубый, и положен на стол: разглядывайте, размышляйте. Так было!

Так было, но так больше никогда не будет. Это — прошлое, совсем недавнее прошлое, но оно навсегда кануло в вечность. Имени Сталина вы не встретите на всём протяжении повести, только в одном месте, в описании лагерного вечера после рабочего дня, мелькнула как бы случайно брошенная реплика: «Пожале-ет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!» — и только! Но вся повесть, с первой строки до последней, — суровое, беспощадное осуждение того — увы, далеко не короткого — отрезка нашей жизни, который вошёл в историю под названием культа личности, когда произвол и беззаконие сделали явления настолько обычными, что многие наивные (или злонамеренные) люди всерьёз думали, что так должно и быть, что без этого, как говорится, не проживёшь. Лес рубят — щепки летят. Но ведь летели не щепки, а люди, человеческие жизни. Те самые люди, о которых с высочайшей трибуны было объявлено, что они и есть наиценный капитал — дороже золота и серебра. Не осмеливаясь сомневаться, веря и вместе с тем содрогаясь, люди шептались по углам, именно шептались, а не говорили: «Он ничего не знает». Но он знал всё!

Читая эту суровую и честнейшую в своей суровости повесть, некоторые готовы проливать сентиментальные слёзы: «Ах, колючая проволока!», «Ах, конвой!», «Ах, параша и баланда!»... Дело не в этом. Тюрьма, как известно, не ресторан, тюрьма по сути своей — вещь жестокая,

¹ Огонёк. 1962. № 49.

даже если в камерах или лагерных бараках стоят цветочки. Дело в том, что за колючей проволокой, отрезанные от всего мира, от жизни и света, сидели люди, ни в чём не повинные, такие же честные, как и те, кто жил на воле, — такие же коммунисты или беспартийные, труженики, солдаты. Они были жертвами, а не преступниками, их покарал не закон, а беззаконие. Если человек сидит в тюрьме за то, что он убил или украл, — он знает, за что он сидит, как бы он ни был развращён или озлоблен, понимает, что иначе нельзя. Человек невинный страдает вдвойне, и страдания его ужасны.

Иван Денисович Шухов, простой крестьянин, герой повести, получил десять лет за то, что попал в окружение и, выйдя оттуда, сдуру брякнул: в плену был. А он и в плен-то не успел попасть, да разве ему поверили? «Считается по делу, что Шухов за измену родине сел. И показания он дал, что таки да, он сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое ж задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание».

И поволокли его, беднягу, «по кочкам», как говорят в лагерях. Да и товарищи его такие же «преступники», как он сам; их тоже «поволокли по кочкам» за здорово живёшь, неизвестно за что: Сенька Клевшин, предварительно отсидевший в Бухенвальде; морской офицер — кавторанг; Цезарь Маркович, интеллигент, — догадаться можно, что он что-то невпопад сказал да и попал в сеть, как пескарь; бригадир Тюрин, виновный в том, что был он сын кулака, неизвестно ещё какого...

В тюрьме и лагере человек предстаёт перед нами как бы в раздетом виде. Всё наносное спадает с него, весь он виден насквозь, просвечивает, как стёклышко. Вот и Иван Денисович Шухов, простой русский человек, крестьянин и солдат, тоже виден насквозь, как стёклышко. И какая же чудесная душа у этого человека, на плечи которого свалилась самая тягчайшая беда, какая только может быть! Он, безвинный арестант, каторжник, жертва произвола, сохранил в кромешном аду и физические силы, и моральную опрятность, и человеческое достоинство. Он не жалуется, не взывает к небесам, не сетует на судьбу-злодейку, не посылает проклятия тем, кто уготовил ему, безвинному, столь горькую участь. Он борется за жизнь, за кусок хлеба, за лишние двести граммов — а лишних двести граммов — это и есть средство выжить, — не унижая себя, не пачкая душу: он работает, в труде привычного работника черпая моральные силы и забвение. Когда на строительной площадке, обдуваемой студёным ветром, он начинает укладывать шлакоблочную стену, то «и не видел больше Шухов ни озора

дальнего, где солнце блеснуло по снегу, ни как по зоне разбредались из обогривалок работяги — кто ямки долбать, с утра недоделанные, кто арматуру крепить, кто стропила поднимать на мастерских. Шухов видел только стену свою — от развязки слева, где кладка поднималась ступеньками выше пояса, и направо до угла, где сходилась его стена и Кильгасова. Он указал Сеньке, где тому снимать лёд, и сам ретиво рубил его то обухом, то лезвием, так что брызги льда разлетались вокруг и в морду тоже, работу эту он правил лихо, но вовсе не думая. А думка его и глаза его вычувивали из-под льда саму стену, наружную фасадную стену ТЭЦ в два шлакоблока». Кончил работать Шухов и, «хоть там его сейчас конвой псами травил, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал — и через стенку, слева, справа. Эх, глаз — ватерпас! Ровно! Ещё рука не старится».

Арестант Шухов искренне радовался делам своих подневольных рук. Он работал и был в это время счастлив, хоть и стегали его злые ветры, и в животе бурчало от вечной голодухи, и мысли вертелись вокруг того, как бы ещё добыть хоть маленький кусок хлеба для того, чтобы пережить этот день и припасти силы для следующего.

Даже когда Иван Шухов «шестерит» для богатенького, получающего посылки Цезаря, то всё равно ясно понимаешь и чувствуешь, что делает он это от тугой нужды, и делает так, что человеческое достоинство его остаётся незапятнанным, непоколебленным и что он вовсе не несчастней счастливого Цезаря, который может, подмазав сальцем начальство, устроиться на время в конторе. Недолговечно такое лагерное счастье: пройдёт год, другой, третий — забудут тебя, оборвутся твои связи с внешним миром. И горе тебе, если ты не нашёл места под тусклым лагерным солнцем, не нашёл своего дела, которому можешь отдаться и в нём черпать и забвение, и вдохновение, без чего нельзя прожить, как без птюхи — пайки тюремного хлеба! Фетюков, лижущий миски, конечно, пропадёт. Пропадёт и кавторанг — старается он, а сил и навыков мало, мерещится перед его глазами прежняя жизнь, не приходит забвение, и не уходит тоска — самый лютый враг «зэка», хуже любого свирепого конвоя.

А Шухов восемь лет уже отсидел и не погиб и не погибнет — в это веришь, потому что веришь в силу его духа, показанного писателем с такой любовью и талантом. И Тюрин не погибнет: он нашёл своё место, сильный человек, закалённый двумя сроками, досконально, напрожёт, знающий лагерную жизнь. И, наверное, не пропадёт и тот железный безымянный старик, как бы мимоходом названный в повести «Ю-81», сидевший по лагерям несчётно, с лицом «до камня тёсаного,

тёмного» («трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в роспесках, а — на тряпочку стирающую»).

Я не знаю А. Солженицына, но наверняка угадаю его судьбу: только тот, кто был там, кто пережил всё это каждой жилкой своего естества, мог дать такую исчерпывающую и точную панораму жизни заключённых в ежовско-бериевское время, создать волнующий документ обвинения канувшего в прошлое периода культа личности. Но это не только документ. Это — художественное произведение, написанное рукой великолепного мастера, умеющего коротким, как бы случайно брошенным мазком, точно подмеченной деталью, выразительной репликой, двумя-тремя обронёнными словами дать законченную характеристику человека и его чувствований во всём их своеобразии и своеобразности.

Пришёл в литературу новый большой писатель.

Как это ни покажется странным, несмотря на трагичность всей обстановки, в которой протекает повесть, она оставляет впечатление оптимистическое, ибо укрепляет в вас веру в нашего человека, в его моральную силу и чистоту.

Несомненно, кое-кто, прочитав повесть А. Солженицына, скажет: «Зачем понадобилось ворошить ушедшее, растравливать, всё это было и прошло». Нет, нужно! Нужно и для нашего настоящего, и для будущего. Как точно выразился в своём предисловии к повести А. Твардовский, появление её «как бы освобождает душу от невысказанности того, что должно было быть высказано, и тем самым укрепляет в ней чувства мужественные и высокие». Появление этой повести важно ещё и потому, что она наглядно показывает, что для нашей литературы нет и не может быть запретных тем, недоступных участков жизни. Любая правда, какой бы суровой она ни была, лучше сладенькой лжи. Ложь или утаивание правды, что одно и то же, несовместимы с искусством, с достоинством художника.

Повесть «Один день Ивана Денисовича», написанная в тональности её героя, ограниченная местом действия и коротким отрезком времени, не претендует и не может претендовать на исчерпывающее изображение всего пережитого нами в период культа личности. Несомненно, придёт время, и литература наша осмыслит и расскажет всё. Для этого потребуются сильные таланты, истинно шекспировские краски.

А. Солженицын имел моральное право написать свою повесть. Именно это моральное право автора придало произведению мужество и красоту, наделило его, насытило знанием жизни, правдой, честностью.

Повесть «Один день Ивана Денисовича» — глубоко партийное произведение. Мастерство писателя, его талант служат партии, с трибуны XX и XXII съездов вскрывшей и разоблачившей преступления, беззакония, произвол периода культа личности.

М. Нольман

СЧЁТ ТЯЖКИХ ДНЕЙ¹

Тут ни убавить,
Ни прибавить, —
Так это было на земле...

А. Твардовский

Одиннадцатый номер «Нового мира» с первой повестью доселе никому не известного А. Солженицына, учителя из Рязани, ни в киоске, ни в библиотеке захватить почти невозможно.

Быстрый и шумный успех этого небольшого по объёму произведения — факт отрадный и знаменательный. Нельзя не увидеть в нём свидетельства того, что процесс преодоления последствий культа личности вступил в новую стадию, когда нахлынувшая вдруг горечь откровенного и пережитого становится, по выражению поэта, «ясною, осознанною болью». Лирическую исповедь и публицистические выпады закономерно сменяет трезвая, «нагая» проза.

Интерес читателей и внимание критики к литературному дебюту А. Солженицына не покрываются «экзотической» свежестью и недавней запретностью самой сферы повествования о «зэках» (заключённых). Дело в свежести и глубине художественной трактовки этого «первобытного» материала.

Даже к жизни того, кто не миновал лагерей, «Один день Ивана Денисовича» добавляет многое. И не потому лишь, что на долю Шухова выпали особые, строгорегимные «каторжные лагеря»... Повесть, отличающаяся проникновенной силой обобщения, отвечает моральной потребности каждого советского человека и всего нашего народа в окончательном расчёте с прошлым во имя будущего.

У освобождаемых из заключения бралась подписка о «неразглашении» лагерных «тайн». «Исправители» «по чину» тщились обязательством молчания наложить вечное клеймо на совесть своих жертв

¹ Северная правда. 1962. 20 декабря. Автор — кандидат филологических наук, старший преподаватель Костромского пединститута им. Н.А. Некрасова.

и отвести от себя грозный суд истории. Не вышло! Посягая на роль исполнителей воли партии и государства, они выполняли злую волю самовлюбленных карьеристов, ханжей и лицемеров. Украсив ворота «зоны» «крылатым» изречением о «деле чести, славы, доблести и геройства», они то цинично бросали: «Не нужен ваш труд, нужно ваше мученье», то вкрадчиво «разъясняли»: «Вы не заключённые, вы временно изолированные». Но никого эта мрачная бутафория не могла обмануть. «Вы не советские люди! <...> Вы не коммунисты!» — убеждённо и страстно «долбает их» «кавторанг» Буйновский, платясь за возмущение карцером.

Мотив большого счёта проходит через всю повесть от числительного в её заглавии («Один день...») до заключительной фразы: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...» Неоднократно описываемый счёт «голов», мисок, дней имеет два адреса: «законный» произвол «начальников» и «зверехитрое племя», «стадо чёрное этих эзков». Но первые даны почти недифференцированно, эски же «проинвентаризированы» все наперечёт.

Тонко умеет А. Солженицын отделять в безликой, занумерованной массе её становой хребет — безотказных, честных «трудяг», подобных Ивану Денисовичу, и паразитическую головку «придурков», вроде десятника Дэра, малограмотных колхозников и всё знающих «москвичей». С ещё большим художественным тактом совмещаются в повести два однородных, но не однозначных угла зрения: шуховский и авторский. «Работяга» Шухов повёрнут всем своим существом к «злобе дня». «Жизнь проклятая» диктует ему свои непреложные аксиомы: «человека можно и так повернуть, и так»; «<...> кряхти да гнишь. А упрёшься — переломишься»; «и так всё смешалось, кислое с пресным»; «кто арестанту главный враг? Другой арестант». Вместе со всеми Иван Денисович переживает «заячью радость» при мысли, что другим ещё хуже; свои «святые минуты» связывает с «черпаком», что «дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни»; крохи «последней свободы» кажутся ему «свободой от пуза», а «ничем не омрачённый» «удачливый» день — «почти счастливым». Вёрткое шуховское «переживём!» исключает угловатую непримиримость «новичка» Буйновского и благородную худобу «камня тёсаного, тёмного» — «старика высокого Ю-81», лагерного старожила. «Шухов понимает жизнь» как задачу не уподобиться «фитилю» Фетюкову, «себя поставить», не измениться «в нутре своём». «<...> И чем дальше, тем крепче утверждался он в этом «символе веры» надёжного самосохранения.

Пожалуй, ни в чём грань между героем и автором не проступает так отчётливо, как в представлении о будущем. Для Шухова то, что будет, скрыто за грубой «корой» насущного, повседневного. Это освобождает его от «мук познания» и проблесков прозрения. А. Солженицын видит на скрещении лагерных дорог контуры «будущего города»: «Если по этим всем дорогам да застраивать улицы, так не иначе на месте этой вахты и шмона (обыска. — *М.Н.*) в будущем городе будет главная площадь. И как теперь объекты со всех сторон прут, так тогда демонстрации будут сходиться».

В повествовании о беспросветной лагерной ночи ни на минуту не смолкает светлая симфония жизни. Эпизод за эпизодом убеждают в правоте слов, «крепко запомнившихся» Шухову: «Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут». Вот омертвевший, заброшенный, занесённый снегом «объект». «А всё же прошла 104-я — и опять жизнь начинается». Всепобеждающей поэзией труда проникнуто описание самой большой, центральной части «Одного дня Ивана Денисовича». Шухов, Кильгас, Тюрин кладут стену будущей ТЭЦ в каком-то самозабвенном порыве, отстраняющем на задний план бедственно-унизительную сторону их бытия. Этот ничем не истребимый порыв человеческой души к жизни и работе, к справедливости и самоутверждению и есть та крепость и стойкость характера советских людей, которая всё пересилила и перед всем выстояла, не сломившись и не помрачнев.

Благодаря незримо присутствию автора бесхитростный рассказ о русском мужике-солдате Иване Шухове, в годы незаконных массовых репрессий спознавшемся с колючей проволокой на своей родной советской земле, достигает подлинно трагедийного звучания. Это наше сегодня с вышки исторических партийных съездов ярким проектором правды пронзает злые потёмки прошлого. Но полный счёт его тяжких дней должно возместить будущее.

Об этом А. Солженицын, наверное, ещё успеет рассказать.

В. Ильичёв

БОЛЬШАЯ ПРАВДА¹

Советская литература, правдиво отображающая многогранную жизнь социалистического общества, является самой богатой и полнокровной, самой передовой в мире, новаторской литературой. Ей принадлежит весьма почётная роль в коммунистическом воспитании трудящихся.

¹ Уральский рабочий. 1962. 26 декабря.

Ныне, когда под руководством ленинской партии наш многомиллионный народ самоотверженно трудится над претворением в жизнь величественной программы коммунистического строительства, начертанной XXII съездом КПСС, наша художественная литература призвана ещё более поднять свою воспитательную роль среди советских людей. Для этого ей необходимы не только дальнейшее повышение идейных и художественных достоинств произведений, но и расширение их тематики, включение в поле зрения литераторов и таких объектов советской действительности, которых наши писатели в силу исторически сложившихся обстоятельств не имели возможности даже касаться. Речь, в частности, идёт об отображении в произведениях словесного искусства фактов, людей и событий, так или иначе связанных с болезненными явлениями недавнего прошлого, теми самыми, что наиболее остро обнаружили себя в 1937 году и были порождены культом личности Сталина.

После того как на XX, а затем на XXII съезде КПСС культ личности Сталина и обусловленные им злоупотребления властью подверглись решительному осуждению, после того как были восстановлены ленинские нормы партийной и государственной жизни, советская литература неминуемо должна была обратиться к разработке тем, разоблачающих произвол, обнажающих строгую истину, раскрывающих железное мужество наших людей, тем острых и суровых. И ныне она обратилась к ним.

В разное время появились и продолжают появляться в свет такие, например, произведения поэзии и прозы, как глава о Сталине в известной поэме А. Твардовского «За далью — даль», стихотворения «Наследники Сталина» Е. Евтушенко и «Верность Ленину» Н. Асеева, рассказ Г. Шелеста «Самородок» и многие другие. В одиннадцатой же книжке журнала «Новый мир» за текущий год опубликована целая повесть, посвящённая одной из этих, прямо скажем, трагических тем.

Повесть эта называется «Один день Ивана Денисовича» и принадлежит перу А. Солженицына, неизвестного доселе, но обладающего самобытным почерком писателя. С беспощадной правдой он изображает скованную жёстким режимом, весьма примитивную и скорбную жизнь политических заключённых в особом лагере, расположенном где-то на далёком и холодном Севере. При этом автор впечатляюще ярко рисует суровые превратности человеческих судеб, глубоко раскрывает подлинные характеры самых разных людей, ставших в большинстве своём жертвами необоснованных репрессий, униженных и оскорблённых, страдающих и в то же время мужественно сохраняющих собственное достоинство...

О повести А. Солженицына уже сказано много хорошего в предисловии к ней, написанном А. Твардовским, а также в статьях В. Ермилова и К. Симонова, что были опубликованы в «Правде» и «Известиях». Высокую оценку «Одному дню Ивана Денисовича» дал недавно секретарь ЦК КПСС Л.Ф. Ильичёв в своей речи на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. Попробуем же и мы познакомиться с людьми, событиями и фактами, изображёнными на страницах этого волнующего произведения. Попытаемся осмыслить и оценить его идейно-художественные качества.

В повести почти осязаемо изображён от подъёма до отбоя один из трёх тысяч шестисот пятидесяти трёх дней, которые во всём похожи друг на друга и которые должен был коротать в лагерном заключении простой советский человек Иван Денисович Шухов.

Что же с ним такое приключилось и как он угодил в лагерь особого назначения?

Иван Денисович — это бывший руководитель¹ колхоза, затем рядовой защитник Родины, ушедший на фронт в первые же дни после разбойничьего нападения фашистской Германии на Советский Союз и попавший в феврале 1942 года вместе со всей армией в окружение, а затем — в немецкий плен. Пленным он был всего лишь два дня, так как, рискуя жизнью, бежал к своим. После же этого, как пишет автор, Иван Денисович «за измену родине сел» на десять лет. Вот и вся невесёлая история, которая сделала активного строителя социализма и смелого защитника его завоеваний безвестным заключённым, именуемым просто «зэк».

Мы застаём Ивана Денисовича в повести уже отбывшим в заключении восемь лет. Притерпевшийся за это время ко всему и приспособившийся к строгому режиму лагеря, он стойко переносит все невзгоды своей воистину нелёгкой жизни. «<...> Шухов привык, — пишет автор, — только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись». И он действительно был зорек и осмотрителен, не давая себя в обиду и не обижая других. Иван Денисович ловко принаравливался к повадкам каждого из надзирателей и вёл себя с ними так, чтобы избегать дополнительных репрессий, не попадать в карцер. Вместе с тем он научился, как добывать у повара лишние порции баланды; как прятать на ночь инструмент на стройке, чтобы завтра снова работать тем же полюбившимся мастерком; как перехитрить бывалого охранника и принести в лагерь пучок дровишек или приглянувшуюся на стройке полоску железа для изготовления ножа; как изловчиться, чтобы заработать у за-

¹ В тексте — рядовой колхозник. — *Примеч. сост.*

ключённых, получающих посылки, лишнюю пайку хлеба или щепоть табаку. Иван Денисович всё время действует, проявляет предприимчивость, не сдаётся. Он встаёт перед нами как живой, этот негибаемый русский человек, сильный духом, не сидящий сложа руки, а борющийся, всегда смекалистый и цепкий, неутомимый трудолюбец.

Писатель скупо, но с большой силой изобразительности показывает, как бригада заключённых, в которую входит и Иван Денисович, трудится на кладке стен строящейся теплоэлектроцентрали. Истосковавшие по настоящему делу, люди под умелым руководством бригадира Титова¹, став на рабочие места, преображаются. Забывая о своём бесправном положении «зэков» и помогая друг другу, они трудятся ото всей души, выкладывают себя на работе полностью, трудятся, как и все советские люди, горячо, не за страх, а за совесть. И первым среди этих тружеников — Иван Денисович, искусный умелец, мастер на все руки, большого обаяния простой человек.

И не случайно тянутся к Ивану Денисовичу многие другие заключённые, такие, например, как Сенька Клевшин, Алёшка-баптист, совсем ещё юный Гопчик и другие. По-отцовски жалеет их Иван Денисович, понимая, что в лагерь они угодили в результате произвольных действий каких-то судебных инстанций, что ребята эти сильно нуждаются в присмотре и помощи старших. И он старается помочь им, как может. Особенно «этого Гопчика, плута, любит Иван Денисович», жалеет и Сеньку Клевшина: «<...> он тихий, бедолага. <...> всё молчит больше <...>». Жалеет и вместе с тем уважает Иван Денисович и многих других заключённых, а они, в свою очередь, уважают и ценят его, учтиво называя по имени и отчеству.

Так вот и несёт, не сгибаясь, своё незаслуженное наказание честный труженик и воин, а рядом с ним — и все остальные, произвольно обвинённые, своей жестокой судьбой похожие на его не менее жестокую и прихотливую судьбу. Взять того же Сеньку Клевшина. «<...> Он, — пишет автор, — в Бухенвальде сидел и там в подпольной организации был, оружие в зону носил для восстания. <...> его немцы за руки сзади спины подвешивали и палками били». Сеньку надо было награждать за такое мужество. Но вместо награды он получил строгое наказание и стал молчаливым «зэком». Взять также капитана второго ранга Буйновского, сопровождавшего во время войны морской конвой союзников и жившего в связи с этим почти целый месяц на английском крейсере, за что, в конце концов, уже в послевоенные годы и был осуждён. Взять хотя бы ещё солдата Ермолаева, о котором писатель говорит со-

¹ В тексте: Тюрин. — *Примеч. сост.*

всем немного: «здоровый сибиряк», «тоже за плен десятку получил». Поставленные в результате произвола в жестокие условия лагерного режима, все они были и остаются настоящими советскими людьми, полными горячей веры в свою правоту и счастливых надежд на торжество справедливости, на своё лучшее будущее.

Есть среди заключённых в лагере и люди сломленные, опустившиеся, такие, например, как Фетюков, у которого животные инстинкты возобладали над человеческими, и он начал «шакалить». Есть среди них и просто затаившиеся люди, и «стукачи», которых надо опасаться, и скептики. Последние прямые и откровенные, говорят вслух то, что думают. Одному из таких скептически настроенных заключённых автор и вкладывает в уста весьма красноречивую реплику: «Пожале-ет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!»

Дорого обошлось это неверие советскому народу, о чём и рассказывает так откровенно А. Солженицын в своей повести, смело, с высоты большой правды разоблачая злоупотребления властью, допускаясь в период культа личности Сталина. При этом писатель выпукло обрисовывает не только жертвы таких злоупотреблений, но и живых носителей их: начальника режима, лейтенанта Волкового, о котором автор замечает: «Вот бог шельму метит, фамильицу дал! иначе, как волк, Волковой не смотрит», его помощника Пряху, надзирателей Татарина да Курносенького, а также «выдвинувшихся» из среды заключённых дневального по столовой Хромого и старшего барака, матёрого уголовника, того самого, что «инвалид считается <...> а мордой — урка». Пожалуй, самым употребительным словом среди тех, которыми они достаивают заключённых при разговоре, является презрительное: «Падло!» Надо сказать, что даже это слово вполне характеризует идейный и моральный уровень этих ограниченных людей, простирающих свои интересы не дальше лагерной зоны и продовольственного пайка.

Обращает на себя внимание и своеобразная манера письма А. Солженицына. Простая, свежая, далёкая от словесных излишеств, ёмкая и точная, близкая к разговорной речи, она напоминает собою манеру письма Л. Толстого, особенно проявившуюся в его рассказах из «Новой азбуки» и «Русских книг для чтения», и в частности в знаменитом «Кавказском пленнике». Некоторые фразы в повести «Один день Ивана Денисовича» воспринимаются как яркие афоризмы.

В заключительном слове на XXII съезде КПСС Никита Сергеевич Хрущёв, разоблачая культ личности Сталина и высказывая необходимость решительного искоренения его последствий, подчёркивал: «Наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода де-

лах, связанных со злоупотреблением властью... Мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу». Это должна быть большая и суровая правда. И вот какую-то долю такой правды и раскрывает перед читателями талантливая повесть А. Солженицына, находящаяся в русле здорового, жизнеутверждающего критического направления советской литературы, поднимающая и вдохновляющая читателей на борьбу с недостатками во всех сферах вашей жизни.

«Один день Ивана Денисовича» относится к сильным в художественном и политическом смысле литературным произведениям. Его с интересом и пользой прочтёт каждый, кому попадёт оно в руки. Жаль только, что маловат тираж журнала «Новый мир», приходящийся на долю уральцев, которые хорошо знают цену той большой правды, что легла в основу этой волнующей повести.

Ф. Самарин

ТАК НЕ БУДЕТ!¹

Повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», опубликованная в одиннадцатой книжке журнала «Новый мир», вызвала огромный интерес читателей. Такой успех не всегда сопутствует первым произведениям даже весьма одарённых писателей.

Чем же он вызван? Новизной и значительностью поставленной в повести темы. Покоряющей правдой изображаемых событий. Выразительностью авторского почерка. Читаешь повесть и невольно остаёшься на мысли: да, об этом только так и можно рассказать. Автор слит с героями своего произведения, живёт их мыслями и думами, вместе с ними противостоит тем диким и чуждым нашему образу жизни силам, во власти которых они оказались.

Повесть посвящена жизни заключённых одного из лагерей, осуждённых на большие сроки за «политические преступления». Какая суровая, страшная правда в ней рассказана! Правда о том, каким неслыханным глумлениям подвергались многие советские люди, оклеветанные в «измене Родине» и других тяжких преступлениях, которых они не совершали.

Перед читателями проходят колхозник Иван Денисович Шухов, капитан второго ранга Буйновский («кавторанг»), Коля Вдовушкин, бывший студент литфака, Сенька Клевшин, участник Великой Оте-

¹ Пензенская правда. 1963. 5 января.

чественной войны, узник Бухенвальда, бригадир Тюрин, в 30-х годах изгнанный из армии за кулацкое происхождение, эстонский крестьянин Кильгас и другие. И каждый из них запоминается. Две-три сказанные человеком фразы, только ему присущий жест и взгляд — и вот он весь перед вами как живой. Таково подлинное мастерство художника.

Судьба Ивана Денисовича, стоящего в центре повествования, его поведение в рамках исключительного по жёсткости лагерного режима заставляют нас ещё раз по-новому переосмыслить и прочувствовать поистине трагические судьбы тысяч ни в чём не повинных советских людей, ставших жертвами административного произвола, беззакония, грубого надругательства над человеческим достоинством, порождённым культом личности Сталина.

В одной из сцен повести убедительно показано, что заключённые всё больше и больше убеждались, что они стали жертвами не только отъявленных негодяев из окружения Сталина, но и преступления самого «усатого батьки».

Сталин, уверовав с некоторых пор в свою непогрешимость, всё больше отходил от ленинских норм партийной жизни, нарушал принципы коллективного руководства, отрывался от масс, злоупотребляя своим положением. Всё сильнее проявлялись отрицательные черты его характера — нетерпимость к критике, игнорирование коллективного мнения, администрирование — черты, на которые В.И. Ленин указывал ещё в письме к XII партсъезду (1923 г.).

Особенно уродливые формы культ личности приобрёл после убийства С.М. Кирова, обстоятельства которого ещё выясняются. О произволе и злоупотреблениях Сталина тогда не было известно партии и народу, а такие близко стоявшие к нему люди, как Молотов, Каганович, Маленков, знавшие обо всём этом, не только не принимали мер к предотвращению произвола, но и сами активно содействовали нарушениям партийных и государственных законов.

«Сталин не верил в массы, — заявил в докладе на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС Н.С. Хрущёв. — Он состоял членом рабочей партии, но не уважал рабочих. О людях, вышедших из рабочей среды, он пренебрежительно говорил: этот из-под станка! Куда, мол, он суётся».

Шухов — рядовой колхозник. Его мирный труд, семейное счастье в сорок первом году оборвали фашистские орды, вторгшиеся на нашу родную землю. На третий день войны он стал солдатом.

За какое же «преступление» ему дали «десятку» и бросили за колючую проволоку на Крайнем Севере?

«Считается по делу, — говорится в повести, — что Шухов за измену родине сел. И показания он дал, что таки да, он сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое ж задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание».

Но Шухов фактически не был в плену у немцев. Он, как и тысячи других солдат, оказался в окружении, из которого, преодолевая величайшие муки, выбрался к своим. При выяснении обстоятельств возвращения его в ряды своих воинов правда была отвергнута, и его репрессировали. Так он стал «зэком» — заключённым.

Иван Денисович мучительно переживал несправедливое к себе отношение. Он жаловался, бился за правду, но его заявления или не доходили по назначению, или возвращались с резолюцией «В жалобе отказать». Его настроения очень точно переданы в беседе с Алёшкой, молодым баптистом, осуждённым к двадцати пяти годам пребывания в лагерях «за веру».

«Вишь, Алёшка, — говорит Иван Денисович, — у тебя как-то ладно получается: Христос тебе сидеть велел, за Христа ты и сел. А я за что сел? За то, что в сорок первом к войне не приготовились, за это? А я при чём?»

Как известно, одной из решающих причин неудачи советских войск в первые месяцы войны против гитлеровской Германии явились ошибки Сталина как главы государства и главнокомандующего вооружёнными силами в оценке военно-стратегической обстановки, сложившейся накануне войны, и в руководстве военными операциями. И в трагической судьбе солдата нельзя не видеть прямой связи с этими ошибками Сталина.

Как и другие «зэки», много горького и оскорбительного перенёс солдат в лагерях. От тех, в чьи руки была отдана их жизнь, за восемь лет он ни разу не услышал своего имени достойно произнесённым.

Как-то Иван Денисович сильно занемог и после звонка к подъёму на несколько секунд запоздал спрыгнуть с нар. В камеру ворвался надзиратель Татарин.

«— Ше-восемьсот пятьдесят четыре! — прочёл он с белой латки на спине чёрного бушлата Шухова. — Трое суток кондея с выводом!»

Кондей — карцер. Сырой каменный мешок без света. С холодным цементным полом. Триста граммов хлеба без горячей пищи... Вот что означает кондей.

Олицетворение глумления над заключёнными — лейтенант Волковой, начальник режима. Тёмный, длинный, насупленный, ни на

кого не смотрящий иезуит с плёткой. Ею он сёк заключённых. «А тут что собрались?», «Почему в строй не стал, падло?» — то и дело кричал он.

Содержавшихся на предельно голодном «пайке» — баланде и каше из магары, — при варварских условиях подневольного, часто бессмысленного, никому не нужного труда узников на каждом шагу обворовывали и объедали многочисленные паразиты — повара, кладовщики, надзиратели, конвоиры. Даже щепки, собранные заключёнными, чтобы обогреть промёрзшие камеры, отбирались конвоирами и уносились по своим квартирам.

Правда нашей жизни с трудом пробивалась за колючую проволоку лагеря, оберегаемую вышками с безмолвными «попками» и сворой собак. Переписка с «волей», по существу, была запрещена. Одно-два письма в год, посланные через руки охраны, — многое ли расскажет в них узник о своей жизни, многое ли узнает от родных и друзей? Но и по тем редким, просеянным цензурой письмам они старались понять, что же делается в родных им краях. Иные вести ставили в тупик. Не потому только, что сказывались долгие годы изоляции от общества, человеческих условий жизни. Нет, что-то и там, в родных местах, творилось неладное.

Вот и Иван Денисович повергнут в недоумение письмом жены.

...Шёл 1951 год. Давно уже отпыхало зарево войны. Оттремели пушки. Трудись! Создай! Расти богатые урожаи. Украшай родную землю садами, множь колхозное богатство. Но что же происходит в родном селе? Не узнаёт он земляков. Не те они, что были, когда он находился среди них.

«Председатель колхоза-де новый, — размышлял Шухов, — так он каждый год новый. Колхоз укрупнили — так его и раньше укрупняли, а потом мельчили опять. Ну, ещё кто нормы трудодней не выполняет — огороды поджали до пятнадцати соток, а кому и под самый дом обрезали».

Но чего Шухов никак не мог понять из письма жены, так это того, что с самой войны ни одна живая душа в колхоз не добивалась: парни и девки, кто ухитрится, уходят в город на завод или на торфоразработки. Половина мужиков с войны не вернулась, а какие вернулись — в колхозе не работают, занялись «весёлым и безумно доходным промыслом» — раскрашиванием ковров через трафаретки. «Тянут же колхоз, — писала она, — те бабы, какие ещё с тридцатого года».

«Вот этого-то Шухову и не понять никак: живут дома, а работают на стороне. Видел Шухов жизнь одиноличную, видел колхозную, но

чтобы мужики в своей же деревне не работали — этого он не может принять».

Автор не говорит о подлинных причинах разброда и упадка дел в колхозе. Через мучительные раздумья героя он показывает лишь их губительные последствия. Но кому же теперь не понятно, что в этом нашли отражение ошибки и недостатки в руководстве сельским хозяйством, грубые нарушения Сталиным и его ближайшими единомышленниками ленинских норм партийной жизни, экономических законов социализма? Сталин не знал сельского хозяйства, пренебрежительно относился к нуждам и запросам колхозного крестьянства.

Партия решительно отвергла порядки периода культа личности, подняла на щит славы труд хлебороба. Забота о сельском хозяйстве, его процветании стала всенародным делом. И колхозная деревня пошла в гору. Плоды забот партии и созидательного труда хлеборобов радуют всех советских людей.

...Всего лишь один день из жизни узников лагеря, от подъёма до отбоя, показал писатель. Тяжёлой болью отзываются в сердце муки дорогих и близких нам людей, томящихся за колючей проволокой. Не все из них вынесут жестокие физические и моральные испытания. Ранено и мужественное сердце Ивана Денисовича, настоящего советского человека. Но, когда мы закрываем книгу, нас наполняет оптимистическое чувство. Правда восторжествует. Безвинно наказанные обретут своё счастье.

Быть может, найдутся и такие, кто скажет: стоило ли ворошить раны прошлого? Да, стоит! Как справедливо заметил А. Твардовский в предисловии к повести: «<...> прошлое, каким бы оно ни было, никогда не становится безразличным для настоящего. Залог полного и бесповоротного разрыва со всем тем в прошлом, чем оно было омрачено, — в правдивом и мужественном постижении до конца его последствий».

Правдивое и смелое произведение А. Солженицына — достойный вклад советской художественной литературы в дело окончательного искоренения вредных последствий культа личности Сталина. Партия горячо поддерживает тех художников, произведения которых написаны с позиций социалистического реализма — с позиций художественной и жизненной правды, какой бы суровой ни была эта правда.

— Да, так было, — говорим мы, прочтя «Один день Ивана Денисовича». — Но так больше не будет. Никогда!

Л. Фоменко

БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ¹

Заметки о художественной прозе 1962 года

Кого не взволнует пробуждение природы? Когда взламываются, трещат глыбы льда, а воды, освободившись от долгой зимней скованности, бегут, дыбятся, рокочут, словно споря, переговариваясь, обгоняя друг друга, человек не может оставаться равнодушным. Он знает, что воды эти родились не заново, что они жили своей жизнью и там, под кромкой льда, но блеснуло солнце, повеяло весенним воздухом, и вырвались они из своего заточения и буйно-радостно понеслись навстречу вечно обновляющейся жизни.

Думаю, не надо особой смелости, чтобы сравнить с этим торжеством раскрепощения бытие советского искусства последних лет. Его овеял тот «тёплый ветер», та творческая атмосфера времени, что определилась в результате глубоко человеческих идей двух партийных съездов. И чем глубже проникают в жизнь восстановленные ленинские нормы, тем разлив живительных вод в искусстве становится всё шире, всё могущественнее.

Оглядывая художественную прозу, напечатанную в журналах 1962 года, не можешь не ощутить, каким буйным потоком хлынули в литературу новые силы и какой свежестью отмечены произведения тех, кто уже давно связал свою жизнь с искусством. Герои, с которыми ты знакомишься в течение всех 12 месяцев, будто сошли со страниц журналов, обступили тебя, стали плотной стеной и властно потребовали: «Пойми нас хорошенько, вдумайся в нашу судьбу, посочувствуй нам, рассуди нас». Они все очень разные, эти герои, и всё же строй их един, монолитен: Василий Мартьянов и Сергей Крылов, Владимир Завьялов и Сергей Вохминцев, Иван Шухов и Иннокентий Седых, другие их сверстники и единомышленники, оставаясь самими собой, вдруг оказались тесно спаянными воедино чем-то очень значительным. И это цементирующее средство — атмосфера времени восстановления ленинских норм.

Без ощущения оздоровляющего дуновения исторических решений XX и XXII съездов партии не могли быть написаны ни «Совесть» Доры Павловой («Москва»), ни «Иду на грозу» Даниила Гранина («Знамя»), ни «Свет далёкой звезды» Александра Чаковского («Октябрь»), ни «Тишина» Юрия Бондарева («Новый мир»), ни «Один день Ивана

¹ Литературная Россия. 1963. 11 января.

Денисовича» Александра Солженицына («Новый мир»), ни «Татьяна Тарханова» Михаила Жестева («Звезда»), ни «Повесть о радисте Камушкине» Виктора Конецкого («Нева»), ни «Сирень» Петра Сажина («Наш современник»).

Как правило, произведения минувшего года не похожи друг на друга. «Лица необщее выраженье» отличает и мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» («Новый мир»), и повесть Чингиза Айтматова «Первый учитель» («Новый мир»), и «Через кладбище» Павла Нилина («Знамя»), и «Марс над Козачьим Бором» Владимира Фёдорова («Октябрь»), и «Жив человек» Владимира Максимова («Октябрь»), и «Сироту» Александра Яшина («Москва»). Эта непохожесть — в строительном материале и в методах кладки. Одни вещи повествовательны, с уклоном в эпос, другие — лиричны, овеваны романтической озарённостью, третьи — исповеди, обнажённая правда сердца.

Значителен художественный труд Эренбурга. Его мемуары в высокой степени лиричны. Та часть записок, которая опубликована в 1962 году, по жанру синтетична. Сердечность и искренность, предельная душевная обнажённость соединены здесь с искусством поистине героическим. Это эпос о неповторимом мужестве и скорбных днях отважного испанского народа, созданный не просто очевидцем, а непосредственным участником событий Ильёй Эренбургом. Открывается ещё один пример высокого патриотического подвига народа, величие чувства братской нерушимой дружбы воинов, представляющих почти все страны мира, бившихся за свободу Испании от лица всех народов.

Доминирующая черта литературы года — социальная чуткость, гражданская направленность. Порыв войти в темп «дня летящего» охватил всех авторов книг 1962 года. И одна из важнейших политических и нравственных проблем времени — борьба с наследием недавнего трагического прошлого. Романы, повести выходят какие угодно, только не равнодушные, не малокровные, они все — со страстью, с гневом обличения, с огнём желания «рваться в завтра, вперёд», очищенными от вчерашних ошибок. В иных книгах эта проблема ставится в прямой форме: «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, «Самородок» Георгия Шелеста («Известия», 6/XI), «День летящий» Вадима Кожевникова («Знамя»), «Тишина» Юрия Бондарева («Новый мир»); в других жизненная канва сюжета косвенно касается фактов, порождённых теми же суровыми обстоятельствами, однако прослеживаются остатки культа в сознании современника, в обстановке, в причинах тех или иных поступков: рассказы Сергея Воронина («Известия»), «Жив человек» Владимира Максимова («Октябрь»),

«Время нашей зрелости» Е. Ярмагаева («Звезда»), «Свет далёкой звезды» Александра Чаковского («Октябрь»).

Поставленная открыто или опосредствованно, проблема эта становится доминирующей. Ещё не отболела, не отжила трагическая тема, ещё нужно, необходимо осознать, «как это было на земле» и ещё... как не должно быть!

Неудивительно, что сегодня мы отмечаем углубление искусства, его повышающуюся проблемность. Человек и его связи. Гибельность индивидуализма, его разрушающая роль. Могучая сила общественно-го начала. Последняя проблема поднимает нашу литературу и снова ставит её в первую шеренгу искусства мирового. Высокое социальное начало, осознание исторической ответственности — эти свойства обладают особой притягательной силой.

Мне кажется очень сильным художественным произведением года повесть Владимира Максимова «Жив человек» («Октябрь»). Сергей Царёв, на глазах которого ещё до войны арестовали отца за какие-то тёмные махинации, убегает из дома, влачит жалкое существование бездомного бродяги, вора, контрабандиста.

Звериное существование Сергея замыкается на побеге из заключения с двумя уголовниками. Одного — Зяму, хрупкого и незащищённого, — он сам, Сергей Царёв, обрекает на одинокие скитания в тайге. Другой — Патефон — бросает на верную смерть самого Сергея. Закон — права сильного. Волчий закон.

Несчастно сложившиеся обстоятельства, а пуще всего полная рабская подчинённость им внушают Сергею мысль: человек человеку — волк. Слово бы он живёт и не в Советской стране.

Замерзающего в таёжном сугробе Сергея подбирает парень, приносит его в сельскую больничку. Приходя временами в сознание, Сергей ощупывает мысленным взором не только окружающее, но и всю свою жизнь. И хлопочущие вокруг него люди: курносенькая мед-сестра, отпускающая любимого, отца будущего своего ребёнка, в тайгу по лихим дорогам за доктором для чужого, никому не известного человека, и её Николай, погибающий в тайге, и фельдшерица Сима, и «старый», 35-летний доктор, способный мёртвого на ноги поднять, и бабка Силонна, сердобольная и мудрая старуха, — все они заставляют сопротивляющуюся память Сергея вызывать из прошлого не одни лишь вехи падения. На этом диком пути были и проблески света. Та же радость обладания — встреча с девчонкой Валькой, бунт против вызывающего гадливую ненависть бандита Альберта Ивановича и чувство глубокой, невысказанной боли, когда его, пленного, прогоняли

мимо русских женщин, а они стояли «чёрные, скорбные, безмолвные, как надгробные камни». Самое светлое пятно в памяти — товарищ по пленному строю, скорняк Семён Семёнович.

Как сама жизнь, как чистая, неразменная правда, слова Семёна Семёновича, убеждающего Сергея поверить в людей: «Ты лучше перемножь узелки при дороге на тех баб, что всей деревней их собирали, тебе, дураку, несли...»

Задал задачу Сергею Семён Семёнович, защитивший его от пули конвоира. Глядя на падающего товарища, Сергей, может быть, не отдавая сам себе отчёта, понял: прав был его взрослый друг, люди — не сволочи.

Жизнь насчитала ему много чёрных дней, но забываемы и светлые. Вот почему он кричит жителям таёжной слободки, отдавшим ему своё человеческое тепло, кричит, не таясь: «Я бежал из заключения... Моя фамилия — Царёв... Сергей Царёв... Сергей Алексеевич».

Мрачный, жестокий рассказ этот проникнут подлинным торжеством гуманизма, сбросившего с себя декларативные одежды, в которые рядилось в недавние годы это высокое понятие, выстраданное и добытое человечеством.

Стоило бы Максимову уступить, пойти на поводу у материала, где-то упустить самое важное, своё художническое мерило, — и повесть не поднялась бы до той оптимистически звонкой, искренней ноты, какой обрывается она в финале. Пусть Сергею предстоит всё же отбыть положенное ему наказание, но разве нравственная работа, происшедшая в нём, не оставит своей зарубки и разве жизнь его потом не пойдёт уже по-новому?

Если ко всему этому прибавить то, что в повести соблюдена строгая художественная пропорция, что вся она точно, прицельно сделана, мы снова можем сказать, что «Жив человек» — одна из настоящих художественных удач года.

В записках Виктора Некрасова «По обе стороны океана» приводят слова Твардовского: «В искусстве, в литературе, как и в любви, можно лгать лишь до поры — раньше или позже настанет время сказать всю правду».

Разумеется, в недавние годы писатели — в подавляющем своём большинстве — не лгали, они, скорее всего, заблуждались. Сам же Твардовский очень ярко рассказал, «как это было на земле». И теперь уже не нужно «ни прибавлять, ни убавлять». Трагедия и заключалась в том, что «так», а не иначе «было на земле». Трагедия — в людях, цепеневших при одном имени Сталина, относивших все ужасы на счёт

кого-то, кто обманывает Сталина, и свято веривших в его непогрешимость против коммунизма.

Борьба с последствиями культа нужна для нас самих, для решения не только политических, идеологических, но и внутренних психологических задач.

В прессе уже широко и по достоинству отмечена повесть никому доселе не известного Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Произведение это поистине трагическое, причём автор нигде не подчёркивает трагизма, а, напротив, рисуя один день лагерной жизни, педалирует на удачливости этого дня.

Лаконизм повседневности, однообразие чудовищной пытки монотонностью повторяющегося чуть ли не звериного бытия, животной борьбы за существование, за лишнюю ложку баланды или корку хлеба — вот это и есть трагедия. Трагедия человека вообще. Но если, как это ни странно и ни больно, понимать, что всё это, всё «благополучие» эзков, происходит при *социализме*, тогда трагедия усиливается во много раз. Она превращается в кричащие противоречия, которые рано или поздно должны были разрешиться правдой XX съезда партии. Той самой правдой, которая может быть скрыта «лишь до поры». Сейчас настала пора говорить правду вслух. Для того чтобы подобное не повторялось.

В повести Солженицына, написанной языком народным, с самобытными местными речениями, сквозь всю муку бесчеловечного, приниженного существования встаёт образ глубокой гуманности. Люди, согнанные со всех концов советской земли в лагерь, «зэки», оказались на высоте человечности. Большинство из них несут «свой крест» с достоинством. Они не потеряли гордости, самоуважения. Солженицын обладает искусством характера. Средства его минимальны, но островыразительны.

Взять хотя бы зэка Ю-81.

«Камень тёмный, тёсанный» — таким видит Иван Шухов несгибающегося человека, которому «совали» за десяткой десятку. Человек вымотанный, но не сломившийся. Кто он? Невольно угадываешь в этом облике то одного, то другого известного тебе человека, скорее всего военного, — вон выправка какая, и лагерь не пригнул его! Непримиемого, углублённого в себя.

Невыносимо больно становится и за кавторанга Буйновского, уходящего в карцер. «Десять суток! Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, — это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулёз, и из больничек уже не вылезешь.

А по пятнадцать суток строгого кто отсидел — уж те в земле сырой. Пока в бараке живёшь — молись от радости и не попадайся».

Лаконизм образов убеждает больше, чем самое велеречивое описание. Строить городок — только вдумать! — соцгородок! — самое жестокое наказание. Да, так было в 30-е и 40-е годы. Строили социалистические города, поднимали экономику, возводили здание счастья и... губили массы людей, невинно приговорённых к мукам. Зону сами для себя обносили колючей проволокой — такого нравственного садизма не сыщешь у Данте.

Повесть Солженицына при всей её художественной отточенности и жестокой, горькой правде всё же не раскрывает всей диалектики времени. Здесь выражено страстное «нет!» сталинскому порядку. В Шухове и других сохранена человечность. Но повесть не поднялась до философии времени, до широкого обобщения, способного обнять противоборствующие явления эпохи. Нельзя видеть в прошлом только чудовищные злодеяния. В том-то и счастье, что культ не так всемогущ, как сам он, Сталин, об этом думал, как думали почти все тогда. Одному человеку приписывалась могучая сила народа. А эта неиссякаемая творческая сила делала своё большое историческое дело.

«Один день Ивана Денисовича» лишь приблизился к трагическому произведению полной, всеобъемлющей правды. Может быть, менее глубоко и художнически точно, однако объективно, с выверенной мыслью написан рассказ Георгия Шелеста «Самородок». Это рассказ человека, просидевшего много лет, «десятку за десяткой», в тюрьмах и лагерях. В лагере встречаются те, кто в прошлом были социально и политически активными людьми. Они так же, как и у Солженицына, полуголодны, неизлечимо больны, переносят нечеловеческие лишения, но они не могут, органически не могут перестать быть комсомольцами и коммунистами.

По-видимому, непросто выступить с разоблачительными произведениями, если даже такое талантливое творение самородка, как повесть Солженицына, ещё не даёт всей правды о тех временах.

Сильнее всего пока что в таких произведениях мир эмоциональный. Ещё трудно, по-видимому, отрешиться от непосредственного чувства гнева, горя, ненависти, чтобы полно и объективно передать в образах *и созидание, и беззакония того времени.*

Сейчас думается только о разрушении, о поруганных жизнях, о тех, кто понёс незаслуженное наказание.

Настало время от разоблачений и констатации переходить к исследованию психологических процессов минувшей трагедии.

И, разоблачая прошлое, не упускать самого важного, нового в современности. Наши дни ещё очень тесно связаны с прошлым, ещё много его живучих остатков. Но время наше повзрослело, оно перерастает ошибки и пороки прошлого. И если не увидим мы этой радости нашего дня, мы превратимся лишь в присяжных отпевал.

Для литературы нашей наступила пора больших перспектив. Отходит в прошлое описательность и иллюстративность, которой переболели авторы романов и повестей в пятидесятые годы. Не такое время, чтобы плыть за событиями и фиксировать их. Время требует мысли, споров, поисков и решений.

Г. Ломидзе

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ¹

Я не собираюсь оценивать статью Л. Фоменко «Большие ожидания»². Есть в ней немало интересного, есть и мысли, на мой взгляд, спорные. Быть может, сложность задачи определила в какой-то мере некоторые общие слабости её заметок. В самом деле, трудно дать в одной статье ясное представление о тех примечательных явлениях, которые происходили в прозе 1962 года.

И всё-таки меня удивили некоторые оценки, некоторые мысли, имеющиеся в статье. Они в какой-то степени затрагивают методологические основы анализа литературных произведений. Потому-то я и решил высказать несколько своих соображений.

Л. Фоменко высоко оценивает повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вначале в адрес автора справедливо сказано: «В повести Солженицына, написанной языком народным, с самобытными местными речениями, сквозь всю муку бесчеловечного, приращенного существования встаёт образ глубокой гуманности. Люди, согнанные со всех концов советской земли в лагеря, “зэки”, оказались на высоте человечности. Большинство из них несут “свой крест” с достоинством. Они не потеряли гордости, самоуважения. Солженицын обладает искусством характера. Средства его минимальны, но остро-выразительны».

Но, похвалив повесть, отдав должное бесстрашной, мужественной правде, запечатлённой в ней, Л. Фоменко затем высказывает автору

¹ Литературная Россия. 1963. 18 января.

² См. с. 100–106 наст. изд. — *Примеч. сост.*

немало серьёзных упреков. Чего недостаёт, по мнению Л. Фоменко, повести А. Солженицына? Ей, оказывается, недостаёт полноты правды, философского обобщения жизненных явлений, ясного понимания сложной диалектики времени. Вот послушайте:

«Повесть Солженицына при всей её художественной отточенности и жестокой, горькой правде всё же не раскрывает всей диалектики времени. Здесь выражено страстное “нет!” сталинскому порядку. В Шухове и других сохранена человечность. Но повесть не поднялась до философии времени, до широкого обобщения, способного обнять противоборствующие явления эпохи. Нельзя видеть в прошлом только чудовищные злодеяства».

Далее читаем:

«По-видимому, непросто выступить с разоблачительными произведениями, если даже такое талантливое творение самородка, как повесть Солженицына, ещё не даёт всей правды о тех временах.

Сильнее всего пока что в таких произведениях мир эмоциональный. Ещё трудно, по-видимому, отрешиться от непосредственного чувства гнева, горя, ненависти, чтобы полно и объективно передать в образах *и созидание, и беззакония того времени*».

Мысли, изложенные в этих выдержках, кажутся правильными. Но они не имеют точного адреса. Кто будет спорить, и об этом ясно и чётко сказано устами нашей партии: надо глубже разобраться в трагических противоречиях периода культа личности. Остро критикуя уродства, беззакония, связанные с культом личности, видеть вместе с тем героическую работу советского народа по построению социалистического общества. Всё это святая истина, и Л. Фоменко права, говоря о ней. Но нельзя же забывать, что «Один день Ивана Денисовича» — повесть, а не роман-эпопея. В силах ли повесть вобрать всю ту громадную проблематику, о которой пишет Л. Фоменко?

Повесть есть повесть. Для художественного решения важнейших нравственных, человеческих вопросов, связанных с судьбами нашей страны и нашего народа в период культа личности, стартовой площадки повести явно недостаточно. Повесть фиксирует всего лишь один день жизни Ивана Шухова. Один день! Как это в одном дне жизни заключённого можно схватить диалектику всех связей, борений и противоречий эпохи! Да и у Ивана Денисовича просто не хватило бы единицы времени, чтобы представить читателю требуемую от него «диалектику времени». «Нельзя видеть в прошлом только чудовищные злодеяства», — замечает критик. Хорошие слова. Но опять-таки А. Солженицын ведь не затрагивает всех сторон и опосредствований

жизни того периода. Он выхватил из прошлого такой кусок действительности, в котором наиболее обнажённо и беспощадно проявились антигуманистические стороны культа личности. Конечно же, нельзя видеть в прошлом только злодеяния, нельзя замечать только тень и закрывать глаза на свет. Верно. Тысячу раз верно. Ну, а как быть не с прошлым вообще, а с теми явлениями прошлого, в которых преобладало именно злодеяние? Уравновешивать свет и тень, сглаживать остроту реальных исторических фактов, представлять дело не так, как оно было в данных конкретных жизненных обстоятельствах? Тогда уж лучше не писать вовсе. А. Солженицын видит в прошлом не одни только злодеяния. Он видит злодеяния там, где они имели место. В этом же номере «Литературной России» обнародована «Записка Бориса Горбатова» Галины Серебряковой. Дрожь пробегает по телу при чтении записок писательницы, чуть приоткрывшей завесу над своим бытом — политической заключённой. Это была правда — горчайшая, неприятная, но правда. Не скрыться от неё. Тот материал жизни, с которым соприкоснулся А. Солженицын, не давал никакого повода «передать в образах и созидание, и беззакония того времени». Об этом, очевидно, будут написаны другие произведения. А. Солженицын показал нравственную устойчивость советского человека в условиях, почти исключаящих всё нравственное и человеческое. Человек победил обстоятельства. В этой трудной, драматической победе его поддерживал моральный опыт прошлых лет и ощущение того, что существует добрый советский мир, который, в конце концов, одолеет злые силы культа личности, сконцентрированные на этом участке советского бытия. Иван Денисович не согнулся, не ожесточился на свою страну, на свой народ. Горестная жизнь в лагере не убила в нём доброту, честность, бескорыстие. В поведении, поступках, раздумьях таких людей, как Шухов, Буйновский, есть правда о созидательной стороне социалистического общества, придавшей этим людям стойкость, защитившей их от моральной смерти и падения. В диалектике их чувств и борений в какой-то мере выражены диалектика и противоречия того времени. Полагаю, что на этом материале нельзя было иначе ставить вопросы созидания и отвержения. Писатель правомерно переносит центр тяжести в нравственную сферу. Жизненный объект, выбранный им, давал чрезвычайно ограниченные ресурсы для решения многочисленных проблем, обнимающих различнейшие стороны деяний советского человека.

Г. Минаев

В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»¹

Уважаемый товарищ редактор! Прочитав в «Новом мире» повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», я был настолько потрясён, что едва смог в тот день отработать своё рабочее время.

В те годы, один день из которых описан А. Солженицыным, я тоже был там. Нет, не безвинно. Вор. Законнейший рецидивист.

Но не об этом речь. В лагерях и тюрьмах, в которых мне довелось побывать, я встречал многих Иванов Денисовичей, Тюриных, Клевшинных, Фетюковых и кавторангов. Я и мои дружки называли их «фашистами». Для вора в лагере всякий не вор — это «фраер», «чёрт» и т.д., то есть лицо, достойное презрения. Но «фашистов» мы ещё не видели. Понимаете, я даже гордился тем, что хотя я и вор, хотя я ем ту же пайку, но всё-таки я не изменник и не предатель. Сразу же оговорюсь: настоящих изменников и предателей я в лагерях в те годы встречал тоже немало. Но разницы между этими фашистами и теми «фашистами» мы тогда не видели и не понимали. Да никто нам и не старался объяснить. Наоборот: постепенно при каждом удобном случае нам, ворам, старались дать понять, что мы для Родины всё-таки ещё не потерянные, так сказать, хоть и блудные, но всё-таки сыновья. А вот «фашистам» на этой брэнной земле места нет и не будет во веки веков.

У воров смелость не на последнем счету. Но я и не подозревал тогда, какие мужественные люди находятся рядом со мной, сохраняя свою честь, достоинство и жизнь.

Нет, не повесть Солженицына раскрыла мне глаза на всё это, а сама жизнь. Я уже давно не вор. Я начальник цеха. У меня есть жена, сын, я живу в благоустроенной квартире со всеми удобствами. По вечерам учусь. Всё это мне дал честный труд. А труд этот и пути к нему мне помогли найти партия, наш советский строй и те, которых я когда-то называл «фашистами». Найдутся люди, которые сочтут эти слова пышной фразой. Нет, эти слова для меня кровные.

В моей жизни был один эпизод, который я буду помнить всегда.

Случилось это в 1949 году, зимой, по пути из Воронежа в Котлас, везли нас в теплушках. Впрочем, слово «теплушка» звучало тогда злой иронией. От Воронежа до Котласа — три ведра угля. В лютый мороз. А коль мы воры, да ещё «законники», то наше место у печки, а «фраерам» и всяким прочим — у дверей и по углам. Одного, который не послушал мое-

¹ Литературная газета. 1963. 22 января.

го дружка, я отшвырнул на нары. Был он весь какой-то твёрдый, сухой, словно из дубовых щепок, в лагерном, выдавшем виды бушлате, немецких ватных брюках и резиновой обуви на босу ногу (тёплые портянки воры отняли). Я был молод, здоров, добротню одет (в карты выиграл). Грубая физическая сила и нахальство — лагерный неписанный закон — были на моей стороне. Я слышал: тот, которого я ударил, сидел в Бухенвальде. Но никакой жалости у меня к нему не было. Много их тогда было — бывших военнопленных, и «окруженцев», и из лагерей. Все считали их предателями. Я думал, что они просто ввали, изворачивались, чтобы скрыть свою измену. Но глаза того человека я запомнил. В них не было ни страха, ни ненависти, ни даже презрения. То были спокойные, грустные глаза очень усталого, но честного и непоколебимого в своей вере человека. Это на меня подействовало, и я сказал «дружкам», чтобы они дали ему хлеба и масла. И допустил его к печке. Он взял еду, сел к печке и стал не торопясь есть. Но, сколько я ни пытался с ним заговорить, он остался нем.

Ночью почти на каждой остановке нас будили молотками. У конвоиров были деревянные молотки с очень длинными ручками. Этими молотками простукивалась каждая доска вагона: не было ли побега на ходу поезда. Потом дверь с грохотом отодвигалась, в вагон влезали конвоиры, сгоняли всех на одну половину вагона и начинали считать, перегоняя в другую. Бухенвальдец, зацепившись за угол печки, упал посреди вагона. Конвоир, злой и промёрзший (на тормозе тоже несладко, даже в тулупе), ударил его молотком по боку. До сих пор не знаю, как это случилось, но я вдруг оказался рядом, вырвал молоток из рук конвоира, переломил палку о колено и вышвырнул её за дверь. Я рисковал быть застреленным на месте. Но этого, к счастью, не случилось. На моих руках щёлкнули «браслеты», и меня «понесли» в вагон-карцер.

Этого человека я больше никогда не встречал и не знаю, какова его судьба. Даже имени его не знаю. Но с тех пор моя воровская карьера пошла на убыль. Когда мне бывало очень трудно, я вспоминал спокойные и грустные глаза измождённого, сухого человека. Не могли быть у предателя такие глаза. В тюрьме глаз не спрячешь. Всё, что было написано о фашистских лагерях, я достал и прочитал. Не одного ещё такого «предателя» я потом встречал. Но никогда больше не называл их фашистами. И только будучи уже на воле, после XX съезда партии, я понял окончательно, кого я тогда ударил и за что едва не заплатил жизнью. А когда я прочитал повесть А. Солженицына, то, как наяву, увидел человека, которого я когда-то накормил. Это был Сенька Клевшин. Да, я верю, что это был он, хотя в повести о нём сказано мало...

Человеком стать мне помогли многие. И надо сказать, что на это ушло немало сил и энергии. Доля безымянного бухенвальдца в этом тоже есть. Когда-то я его ударил и отогнал от тепла. А повесть Солженицына ударила меня прямо в сердце.

Я не знаю адреса А. Солженицына, поэтому прошу Вас, товарищ редактор, передать ему от меня спасибо за повесть, за удар в сердце.

И ещё хочу сказать в заключение. Мне очень хотелось бы прочитать как можно больше других повестей, рассказывающих, как наша партия и наш народ, ликвидируя последствия культа личности, строят светлое, справедливое коммунистическое общество. Со времени XX съезда партии прошло уже семь лет, и за эти годы так много сделано, чтобы уничтожить несправедливость, чтобы восстановить полностью ленинские законы нашей советской жизни. Надо, чтобы больше писалось книг об этих славных, благородных делах.

Ваше дело — печатать или не печатать моё письмо, но не написать я не мог.

С приветом,

Г. Минаев

СОСНОГОРСК Коми АССР

Ф. Кузнецов

ДЕНЬ, РАВНЫЙ ЖИЗНИ¹

Чем глубже и сильнее боль, тем труднее говорить о ней. Особенно если речь идёт не о беде одного или нескольких человек, но о трагедии многих. Такой трагедией для советских людей были события, связанные с культом личности Сталина.

Деятельность партии, её борьба с культом Сталина и его последствиями дала возможность А. Солженицыну, автору повести «Один день Ивана Денисовича», глазами художника взглянуть на события минувших лет. Высокая гражданская честность и немалый художественный талант помогли А. Солженицыну создать произведение большой впечатляющей силы и достоверности.

Автор повести «Один день Ивана Денисовича» при всей необычности её ситуации выбрал для изображения очень обычного, заурядного героя. Почему?

¹ Знамя. 1963. № 1.

Кто такой «Щ-854», заключённый «особлага» Иван Денисович Шухов?

Колхозник, русский мужичок из деревни Темгенёво, что в средней полосе России. Солдат, попавший в окружение, в плен, через два дня бежавший оттуда и чудом пробившийся к своим, чтобы снова стать в строй.

Он в строю: «Идут эки размеренно, понурясь, как на похороны». А по бокам — через каждые десять шагов — с автоматами, с овчарками — конвой. От жизни отлучённые. Жизнью проклятые. «Враги народа».

«Считается по делу, что Шухов за измену родине сел. И показания он дал, что таки да, он сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое ж задание, ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание.

Расчёт у Шухова был простой: не подпишешь — бушлат деревянный, подпишешь — хоть поживёшь ещё малость. Подписал».

И вот он живёт. Без стенаний, вез сетований. Стараясь как можно реже возвращаться в мыслях к несправедливости, учинённой над ним. «А я за что сел? За то, что в сорок первом к войне не приготовились, за это? А я при чём?»

Сталинская политика репрессий против честных советских граждан обрекала на жестокие страдания немалое число ни в чём не повинных людей. Сколько таких Иван Денисовичей — честных, работающих, трудолюбивых — томились в лагере?

Глухой богатырь Сенька Клевшин, который трижды из немецкого лагеря бежал, — это ж родной брат Ивана Денисовича по духу, по характеру.

«Сенька, терпелик, всё молчит больше: людей не слышит и в разговор не вмешивается. Так про него и знают мало, только то, что он в Бухенвальде сидел и там в подпольной организации был, оружие в зону носил для восстания. И как его немцы за руки сзади стали подвешивать и палками били».

Удивительно сдержанно написана эта повесть. Но тем большая внутренняя сила спрессована в её аскетически сжатых строках.

И всего-то несколько строк об этом «горюне», «недобытчике», истинно русской душе, который никого никогда «в беде не бросит», а стоит он перед глазами точно живой. Так же, как и кавторанг Буйновский — «капитан второго ранга бывший», «властный звонкий морской офицер» (как сказано, вслушайтесь!). Во время войны жил он месяц на английском крейсере, сопровождал морской койвой, и до-

велось ему получить после войны «в знак благодарности» подарок от английского адмирала. Этого оказалось достаточно для несправедливого обвинения.

Иван Денисович Шухов, Сенька Клевшин, кавторанг Буйновский — да разве только они? — без вины, без суда, без следствия как «изменники Родины» брошены волей Сталина в концентрационные лагеря.

Но такова сила духа у этих людей, что даже после совершённой над ними страшной несправедливости они не изменили Родине и всем сердцем преданы ей.

«Вы не советские люди! <...> Вы не коммунисты!» — бросают они в лицо своим тюремщикам.

В повести только один-единственный раз, в одной фразе зайдёт речь о Сталине: «Пожале-ет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!» И тем не менее главное, о чём ведёт автор разговор, — это жизнь людей во времена культа Сталина, безмерность обрушившейся на них несправедливости.

Аресты и истязания ни в чём не повинных людей были следствием политики массовых репрессий, которые применялись Сталиным. Эта беда затронула не только тех, кто попал в лагеря, но и их родственников и близких. Культ личности отягощал жизнь народную, тормозил строительство нового общества. При всей трудности испытаний годы культа личности, конечно, не могли изменить социальной природы нашего строя. Но культ личности Сталина нанёс обществу, народу немалый ущерб. Отзвуки этого доносятся в лагерь в редких письмах родных: «Чему Шухову никак не внять, это пишет жена, с войны с самой ни одна живая душа в колхоз не добавилась: парни все и девки все, кто как ухитрится, но уходят повально или в город на завод, или на торфоразработки. Мужиков с войны половина вовсе не вернулась, а какие вернулись — колхоза не признают: живут дома, работают на стороне. Мужиков в колхозе: бригадир Захар Васильич да плотник Тихон восьмидесяти четырёх лет, женился недавно, и дети уже есть. Тянут же колхоз те бабы, какие ещё с тридцатого года».

Вот этого-то Шухову и не понять никак... Как не понять и другого: почему брошены в лагеря честные советские люди — такие, как Семен Клевшин или кавторанг Буйновский?

Обширный поток мыслей и чувствований вызывает повесть. И хотя она никак не претендует на всеобъемлющее воспроизведение всех проявлений культа личности, будучи ограничена и временем, и местом действия, и кругозором главного героя, в ней сказано многое.

Культ личности, его идеология и практика ревизовали основу социалистического гуманизма.

Для социалистического учения Маркса, Энгельса, Ленина человек был самоцелью исторического развития. «Всё для человека, для блага человека!» В этих словах новой Программы — центральная идея коммунизма.

Идеология культа личности рассматривала человека как средство, винтик, безгласное орудие для достижения цели.

Содержание повести внешне соответствует её названию: с предельной точностью, предметностью и достоверностью представлен в ней один день жизни Ивана Денисовича Шухова, «эзка Щ-854». Точнее, о дне своей жизни — а таковых в его сроке «от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три», — рассказывает устами А. Солженицына сам Иван Денисович Шухов.

Вся жизнь лагеря показана в повести глазами Ивана Денисовича — через его восприятие и осмысление. Сделано это мастерски: с абсолютной точностью характера восприятия, стиля мышления, изложения. Автор как бы перевоплощается в своего героя и ведёт повествование от его имени, его языком, создавая уже этим — интонациями и красками народной речи — законченный, чётко очерченный характер. Характер человека умудрённого, знающего жизнь с самой тяжёлой её стороны и тем не менее на удивление сдержанного, спокойного, твёрдого.

Замечательна мужественная интонация повести: рассказ о тяготах лагерной жизни ведётся с большим человеческим достоинством, даже с юмором, с поражающей сдержанностью. В повести нет того нагнетания, смакования ужасов, нет надрыва — она нетороплива, повествовательна. За внешней сдержанностью ощущается огромная нравственная сила автора.

А. Солженицын обладает такой точностью художественной памяти и даром пластического воспроизведения действительности, что мы воочию переносимся в условия далёкого, тягостного прошлого, въявь ощущаем быт «особлага». Полная достоверность и подлинность изображаемого при внешней сдержанности и даже будничности повествования сообщают повести редкую впечатляющую силу.

В повести как бы намеренно выбран для описания «счастливый» день. В конце его Шухов засыпает, «вполне удовлетворенный». Собственно, и задумана композиционно повесть именно так: в ней рассказывается — одна за другой — об «удачах» Ивана Денисовича. Расчёт автора безошибочно прост: «почти счастливый», полный «удач» день жизни

Ивана Денисовича, воспроизведённый талантом художника в его достоверной, предметно-зримой реальности, создаёт картину невыносимого бесправия и бесчеловечности. Что особенно поражает в лагере, как он описан А. Солженицыным? Голод, когда «двести грамм жизнью правят»? Суровость надзора и обращения — «шаг вправо, шаг влево — считается побег, конвой открывает огонь без предупреждения!»?..

Нет, не только это, но стремление отнять у невиновных всё: имя, заменив его номером, волю, стремление изуродовать человеческую душу, сломать её.

Всем строем своим повесть доказывает: для того чтобы устоять, необходимо было сохранить то, что делало человека человеком, — душу, гордость, достоинство.

Не случайно на первой же странице повести звучит крепко запомнившееся Шухову предостережение старого лагерного волка Кузёмина: «В лагере вот кто погибает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать».

Солженицын показывает людей, поддавшихся лагерному режиму, потерявших чувство внутреннего достоинства, нравственно и физически опустившихся. Таков Фетюков, в прошлом — крупный начальник, а теперь — по-собачьи выпрашивающий окурок и вылизывающий чужие миски.

Чрезвычайно ясно, наглядно и достоверно передано бесправное положение, в котором оказывались честные советские люди, попавшие в лагерь.

«— Вы п р а в а не имеете людей на морозе раздевать! Вы д е я т у ю статью уголовного кодекса не знаете!..» — кричит наивная душа Буйновский («на миноносцах своих привык, а в лагере трёх месяцев нет»).

«Имеют. Знают. Это ты, брат, ещё не знаешь», — с убийственно-грустной иронией комментирует про себя слова Буйновского Шухов.

Таковы порядки в лагере, что блюстители его любое право имеют. Любую статью знают. Только статьи эти для них не закон.

Что же противостояло этому сталинскому беззаконию и произволу?

Характер русского, советского человека Ивана Денисовича Шухова, его душевная сила, его убеждённость, внутреннее достоинство.

А в конечном счёте — характер народа, его душевная сила, его достоинство.

Нет, не случайно поставил А. Солженицын в центр своей повести не кого-нибудь, а именно Ивана Денисовича Шухова. В строе мыслей, переживаний, чувствований, поступков, даже в красках и интонациях

речи своей, с такой живописной точностью переданной А. Солженицыным, Иван Денисович Шухов — характер воистину народный. Иван Денисович — живое олицетворение трудового народа, который вынес многое, в том числе и эту страшную, нелепую, беспощадную беду, и не сломался, не согнулся, души своей не растратил, ни в чём нравственно не уступил.

Твардовский прав, когда пишет в своём вступлении к повести о некоторой ограниченности кругозора главного героя произведения. А так как повесть передаёт восприятие мира глазами Ивана Денисовича Шухова, ограниченность кругозора героя не может не проявляться в произведении.

Однако нельзя не считаться с авторской задачей, которая в том и заключалась, чтобы взглянуть на злодеяния Сталина глазами Ивана Денисовича Шухова, осмыслить трагедию периода культа личности с точки зрения народной.

Талант и чуткость большого художника помогают А. Солженицыну точно и ёмко передать духовный мир Ивана Денисовича, его внутреннее отношение к происходящему. Характеру Шухова сообщена впечатляющая подлинность и верность действительности, верность самому себе. Писатель улавливает и с большой тонкостью воссоздаёт редкую по многообразию гамму интонаций в мыслях и чувствах героя. Кажущаяся простота и внешняя непритязательность формы — результат большого художественного мастерства и художественного такта писателя.

Вот одна сцена в конторе лагеря, куда Шухов принёс кинорежиссёру Цезарю, который купил себе в счёт посылок привилегированное место нарядчика, его обед: «Цезарь трубку курит, у стола своего развалясь. <...>

А против него сидит X-123, двадцатилетник, каторжанин по приговору, жилистый старик. Кашу ест.

— Нет, батенька, — мягко этак, попуская, говорит Цезарь, — объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. “Иоанн Грозный” — разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!

— Кривлянье! — ложку перед ртом задерживает, сердится X-123. — Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба настоящего! И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трёх поколений русской интеллигенции! (Кашу ест ртом бесчувственным, она ему не впрок.)

— Но какую трактовку пропустили бы иначе?..

— Ах, пропустили бы?! Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!»

Страница текста, а сколько пластов содержания спрессовано в ней! Здесь каждая фраза несёт совершенно определённую идейно-эмоциональную нагрузку, каждая интонация выверена, каждое слово существенно.

Невозможно не заметить расслоения, существующего в лагере, о чём Шухов ещё раньше размышляет: «Снаружи бригада вся в одних чёрных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неравно — ступеньками идёт». Расслоение, корни которого кроются и в разнице условий лагерного существования, и в разном уровне сознания людей, попавших в лагерь.

Обращает на себя внимание внутренняя деликатность, природная тактичность Шухова. («— Гм, гм, — откашлялся Шухов, стесняясь прервать образованный разговор».) И особенно то, насколько далёк Шухов внутренне от Цезаря и его собеседника, от столь жгучих для них проблем «образованного разговора»:

«Цезарь оборотился, руку протянул за кашей <...> и за своё:

— Но слушайте, искусство — это не ч т о , а к а к .

Подхватился Х-123 и ребром ладони по столу, по столу:

— Нет уж, к чёртовой матери ваше “как”, если оно добрых чувств во мне не пробудит!»

Но всей атмосферой этого разговора автор подводит нас к неумолимому выводу: всё, что говорит заключённый «Х-123», этот жилистый старик, «двадцатилетник», имеет прямое отношение к Ивану Денисовичу, его сознанию, его духовному развитию, его жизненной судьбе.

Пожалуй, с особой силой и очевидностью народные качества характера Ивана Денисовича Шухова, насильственно и несправедливо оторванного от большого созидательного дела народа, проявляются в его отношении к труду.

«И не видел больше Шухов ни озора дальнего, где солнце блеснило по снегу, ни как по зоне разбредались из обогревалок работяги — кто ямки долбить, с утра недодолбленные, кто арматуру крепить, кто стропила поднимать на мастерских. Шухов видел только стену свою — от развязки слева, где кладка поднималась ступеньками выше пояса, и направо до угла, где сходилась его стена и Кильгасова».

Вот она, извечная власть умелого, увлечённого человеческого труда: кто работу крепко тянет, тот уж и здесь вроде бригадира стано-

вится. Такой силой повеяло от страниц, где показан Шухов в работе, что дала она окраску всей повести, предельно ясно высветила характер Ивана Денисовича. И мы верим автору, скупыми, бережными штрихами воссоздающему облик этого удивительного человека, который не только не стал «шакалом» после восьми лет «общих», но «чем дальше, тем крепче утверждался» в своём человеческом достоинстве. Восемь лет лагерей не убили в нём свойственного народу, по-особому уважительного отношения к труду: «всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули».

Труд помогает Шухову сохранить не только душу, но и жизнь. Ибо не может Иван Денисович, как некоторые, обороняться от лагерных невзгод тем, чтобы «кому-то на лапу совать». И не только потому, что нечего: много лет назад попросил жену посылок ему не слать, жалкое пропитание у детей не отрывать. Дело в другом. Сорок лет топчет Шухов землю, уж зубов нет половины, а «никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился».

Человеком щепетильной честности и большой гордости предстаёт перед нами в повести Шухов. И если при этом всё-таки «добытчик», то добывает он прибыль в лагере своей мастеровитостью. Золотые руки да умная голова — вот что помогает Ивану Денисовичу держаться в том «жилистом, не голодном и не сытом состоянии», в каком только и можно провести в лагере отпущенный от звонка до звонка срок.

Трудовой советский человек, он привлекает сердца не только чувством внутреннего достоинства, самоуважения, но и свойственным народу глубоким, органичным и естественным уважением к чужой личности, к чужой беде. Испытания не ожесточили душу Ивана Денисовича, не сделали его человеконенавистником. Сердце его сохранило всю щедрость участия, природную доброту в отношениях с людьми, — будь то «терпельник», «недобытчик» Сенька Клевшин, кинорежиссёр Цезарь, который, на взгляд Ивана Денисовича, хоть «много <...> об себе думает, <...> а не понимает в жизни ничуть», или капитан второго ранга Буйновский. Внутреннее отношение Шухова к этому в недавнем прошлом блестящему морскому офицеру, для которого превращение в бесправного зэка даётся особенно тяжело, трогает глубиной понимания и какой-то особой теплотой. И хоть в повести о судьбе кавторанга сказано очень немного, кажется, будто Шухов ни на минуту не сводит с него своих пристальных тревожно-вопросительных глаз: устоит или не устоит? Всей душой хочется Шухову помочь «устоять» кавторангу, чтобы человек не надломился, чтобы произошло наконец превращение этого властного, звонкого офицера «в малоподвижного осмотри-

тельного зэка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отвёрстанные ему двадцать пять лет тюрьмы».

Да, существовала в лагере — в этом сложном и несправедливом мире со своими неумолимыми законами и обычаями — труднейшая из наук: как устоять, как остаться самим собой? Духовная сила Шухова помогла ему освоить эту науку в совершенстве. «<...> Переживём! Переживём всё, даст бог, кончится!» — думает он. И стремится помочь «пережить всё» каждому, кто эту сложную лагерную науку пока ещё не освоил, жить в лагере не научился. Вот почему Шухову радостно, что лишнюю чашку жидкой овсяной каши, которую удалось ему «закосить» для бригады благодаря рассеянности повара, отдают не кому-нибудь, но кавторангу Буйновскому. «Придёт пора, и капитан жить научится, а пока не умеет».

Это принципиально важно: лагерная «наука жизни» в представлении Ивана Денисовича Шухова отвергала всякие компромиссы с совестью, с честностью, с чувством внутреннего достоинства. Шухов — человек строгой народной нравственности. Вспомним, с какой разящей, я бы сказал, классовой ненавистью относится он к паразитам, которые ценой нравственного предательства встают над своим же братом заключённым. С каким презрением смотрит он на руки повара — «белые, холёные», руки не повара, а боксёра. Как отвратителен ему завстоловой — этот «откормленный гад», который «в одной руке тысячи жизнью держит». Для Шухова эти «лагерные придурки» — «первые сволочи», которых работяги считают «ниже дерьма».

Но истинная сила, сила убеждённости в своей правоте, воля к жизни — в характере тех, кто подобен Шухову. Нравственную, духовную победу в этой, казалось бы, неравной борьбе одерживают люди, подобные Ивану Денисовичу. Таких немало в лагере. Таков бригадир Тюрин, «сын ГУЛАГа», который отсидел уже двадцать один год и тем не менее тоже до сих пор «в шапке есть не научился». Два десятка лет провёл в лагерях Тюрин и не растратил немалой внутренней силы, чувства товарищества, строгой справедливости. Авторитет его в бригаде беспрекословен, потому что смысл его бригадирства в том, чтобы помочь людям выстоять.

Галерея несгибаемых духом характеров — Ивана Денисовича Шухова, бригадира Тюрина, «терпельника» Сеньки Клевшина, эстонца Кильгаса, кавторанга Буйновского — сообщает повести, несмотря на трагизм ситуации, силу и мужественность, порождает суровую, гордую веру в советских людей. Веру в наш народ, в наш строй, выдержавший испытание такой непомерной бедой. И — какова сила художни-

ка! — пожалуй, наиболее впечатляющим характером, раскрывающим нестигаемое мужество народа, является в повести образ безымянного старика, вырубленный А. Солженицыным буквально в десятке строк:

«Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчётно и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали.

Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изю всех приговоренных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он ещё сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего — волосы все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще упёрлись в своё. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщерблённой, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие дёсны жевали хлеб за зубы. Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нём, не примирится: трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в роспесках, а — на тряпочку стирающую».

Нет, не мог примириться советский народ с тем страшным, бесчеловечным, что пытался навязать нашему обществу Сталин.

Значение повести А. Солженицына — в глубоком осмыслении трагических событий, связанных с культом личности, в беспощадной достоверности правды о тех репрессиях и беззакониях, которым подвергались в ту страшную пору безвинные советские люди. Сегодня всё это в прошлом. Партия и народ навсегда похоронили то тягостное, враждебное основам нашего общества, что было порождено культом личности. Но мы обязаны помнить об этой беде. Мы не имеем права забывать об ущербе, который нанёс нашему обществу культ личности Сталина. «Наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью, — говорил на XXII съезде партии Н.С. Хрущёв. — Пройдёт время, мы умрём, все мы смертны, но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу... Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

Повесть «Один день Ивана Денисовича» — произведение именно такой правды — трудной, ленинской, революционной.

Ф. Чапчахов

НОМЕРА И ЛЮДИ¹

О страшном, очевидно, надо говорить не крикливо, а с той суровой сдержанностью и внешним спокойствием, за которыми легко угадываются беспокойная пламенная мысль, глубокое искреннее чувство, большая нравственная сила. Это хорошо понимал Лев Толстой, иронически отозвавшийся об истеричной взвинченности андреевского «Красного смеха»: «Он пугает, а я не боюсь!»

А. Солженицын — автор повести «Один день Ивана Денисовича» — менее всего озабочен желанием «пугать», поразить воображение нагнетанием всевозможных «ужасов». Неторопливо, спокойно и обстоятельно повествует он об одном — только об одном! — дне в Особлаге — Особом лагере. На протяжении всей повести автор нигде не вмешивается в события, сам ничего не объясняет.

Один из героев повести А. Солженицына — бригадир сто четвёртой Андрей Прокофьевич Тюрин, «ломающий спину» второй срок, о своей горькой судьбе «рассказывает без жалости, как не об себе». Вот так же «без жалости, как не об себе» написана вся повесть «Один день Ивана Денисовича».

И в этом, мне кажется, одно из её несомненных достоинств.

Характерные особенности «места действия» выявляются в скупых и ёмких деталях, говорящих неизмеримо больше пространных, скрупулёзных описаний.

Вот, например, красноречивая принадлежность лагерного «интерьера»: «Два больших прожектора били по зоне наперекрест с дальних угловых вышек. Светили фонари зоны и внутренние фонари. Так много их было натыкано, что они совсем засветляли звёзды». Или такой колоритный пейзаж: «Напересек через ворота проволочные, и через всю строительную зону, и через дальнюю проволоку, что по тот бок, — солнце встаёт большое, красное, как бы во мгле».

Мерцание звёзд, перечёркнутое тревожным бьющим светом прожекторов... Красное зимнее солнце, продирающееся через колючую — в несколько рядов — проволоку... Сшибка подобных образов создаёт определённую тональность повествования, помогает отыскать его главные акценты, так естественно сопрягается с будничными, примелькавшимися героям повести приметам лагерного быта.

¹ Дон. 1963. № 1.

Вопиющая противоестественность есть в сближении этих резко контрастных образов. Звёзды и солнце отняты у советских людей — вчерашних рабочих и колхозников, интеллигентов и воинов, насильственно и незаконно оторванных от любимого дела, от дома и семьи, от родной природы. И в этом же лагере отбывают наказание предатели и пособники врага, которые совершенно справедливо, по всем законам человеческим, лишены радостей жизни.

Горький парадокс заключается в том, что неестественное давно уже стало естественным, аномалия — нормой, исключительное — обыденностью. И мало кто удивляется тому, что «в затишке, чтоб не показывал слишком низко, весь обмётанный инеем, висел термометр», никто не замечает наледь и иней на стенах барака, не возмущается несправедливостью надзирателей.

Чего стоит такой эпизод. Недовольный работой Шухова, которого заставили вымыть пол в надзирательской, один из надзирателей раздражается тирадой: «Так вот они моют... Ничего, падлы, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоят, что им дают». Шухова, как и любого другого заключённого, давно уже не принимают за человека, не обращают внимания на его переживания и «журят» даже не «для порядку», а по давней, укоренившейся привычке.

Во многих сценах повести А. Солженицына в скупых штрихах раскрываются особенности той системы издевательства над человеком, которая была характерна для сталинско-бериевской карательной политики и которая определяла «нормальный» режим тюрем и лагерей, где вместе с опасными преступниками томились настоящие советские люди, оклеветанные, оболганные в гнусных доносах.

И равнодушно-презрительное ворчание надзирателя, и номера, носимые заключённым почти на всех деталях его незатейливого туалета, и ежедневная, набившая оскомину утренняя «молитва» начальника конвоя, и долгими годами выработанная привычка — «стараться надо, чтоб никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только» — всё это звенья одной системы надругательства над человеком.

Вполне закономерно, что в этой иерархии произвола каждому уготовлено своё место: и начальнику лагеря, специальным приказом вменившему заключённым даже в уборную ходить группой в четырёх-пять человек, и конвойным — вчерашним городским и деревенским ребятам, надевшим солдатские шинели и хорошо усвоившим непреложный закон их нелёгкой службы.

Новичок в лагере, бывший капитан второго ранга Буйновский ещё наивно считает, что лейтенант Волковой не имеет права обыскивать

людей на морозе, что лейтенант не знает соответствующей статьи Уголовного кодекса. Но в оценке Волкового и его подручных бывший кавторанг абсолютно прав:

«— Вы не советские люди! <...> Вы не коммунисты!»

Русская литература, одним из драгоценных качеств которой всегда был гуманизм — действенная любовь к людям, любовно-бережно отыскивала «душу живу» в отверженном, выброшенном за борт общества человеке, человеке вне закона.

И всё же мне кажется, что нет надобности тревожить тени Толстого и Достоевского, — тенденция эта заметна у иных критиков А. Солженицына. Во-первых, ни Толстой, ни Достоевский не имели дела с подобным жизненным материалом. А во-вторых, честное слово, как-то неловко отыскивать литературную родословную человеческого страдания, память о котором ещё очень свежа.

А. Солженицын идёт не столько от литературы, сколько от действительности, от своего жизненного опыта. Это подсказывает и решение основной темы повести «Один день Ивана Денисовича». Пафос повести — не в сентиментальном сочувствии обездоленным, не в смаковании страданий, которых было немало в годы культа личности, а в утверждении внутренней силы и духовной красоты нашего советского человека, остающегося человеком вопреки бесчеловечию.

Не все выдержали тяготы лагерного режима, не у всех хватало сил бороться за право оставаться человеком. Пантелеев стал «стукачом» — доносителем на своих же товарищей-заклужённых. Морально опустился Фетюков, вечно кланчивший то объедки, то крохотный, на две-три затяжки, окуроч. Нашлись и ловчицы, и пройдохи, которые всеми правдами и неправдами выбились в «придурки», — такие, как завстоловой, как дневальный Хромой.

Но среди «зэков» — подавляющее большинство «работяг» — тех, кто «вкалывает» на стройке, кто честно ест свой нелёгкий хлеб. С неприкрытой симпатией выписаны характеры бригадников из сто четвёртой. Почти в каждом из них — таких разных, не похожих один на другого — есть и гордость, и собственное достоинство, и такое человеческое желание не уронить себя в глазах товарищей.

Вот Сенька Клевшин — мытарь, человек трагической судьбы. Раненный, он попал в фашистский плен, бежал несколько раз, в Бухенвальде был членом подпольной организации и теперь, в лагере, не сломился, не согнулся, остался настоящим человеком, которому присущи и обострённое чувство справедливости, и верность товарищу. И пусть

грозят Клевшину большие неприятности: побои, карцер, — «никогда Клевшин в беде не бросит. Отвечать — так вместе».

Кавторанг Буйновский — всего лишь третий месяц в лагере. Но недёшево достались ему эти месяцы: «На глазах доходит капитан, щёки ввалились, — а бодрый». Он и на лагерную работу смотрит как на морскую службу: серьёзно и добросовестно. И хотя крепко подался кавторанг, но работает наравне со всеми, не ловчит, не увиливает от трудностей, блюдет своё человеческое достоинство. Это он, Буйновский, изругал Фетюкова, давно уже махнувшего на себя рукой, не побоялся бросить гневную правду самому Волковому.

Он остался сильным и волевым человеком, этот храбрый боевой офицер, ходивший и вокруг света, и Северным морским путём, сопровождавший военные грузы на транспортах союзников в минувшую войну.

Но всё же есть в этом весьма выразительном образе чёрточки, которые диссонируют с самой его сущностью. Я понимаю некоторую театральность Буйновского, мне не кажется наигранным его патетическое восклицание, выпадающее из общего стиливого рисунка повести: «Удивляюсь и проклинаяю!..» Всё это хорошо объяснил Шухов: «<...> на миноносцах своих привык, а в лагере трёх месяцев нет...»

Мне кажется странным и труднообъяснимым другое: неужели эти три месяца в лагере уже надломили капитана, как-то уравнили его в самом образе мыслей с Фетюковым. Ведь когда Буйновский обсуждает вместе с бывшим кинорежиссёром Цезарем Эйзенштейновский «Броненосец “Потёмкин”», он, как бы сам того не замечая, высказывает чисто «фетюковское» желание: «Думаю, это б мясо (речь идёт о червивом мясе, которое пошло на обед матросам «Потёмкина». — Ф. Ч.) — к нам в лагерь сейчас привезли вместо нашей рыбки, да не моя, не скребя, в котел бы ухнули, так мы бы...»

Многозначительное многоточие, многозначительное и обидное. Мне кажется, это многоточие — не в образе Буйновского, такого, какого я узнал и полюбил. Я думаю, что кавторанг скорее умер бы, чем высказал такое постыдное для него желание.

Немало рассыпано в повести примеров силы человеческого духа, его стойкости и несгибаемости. На какой-то миг появляется безымянный старик-заключённый, носящий номер Ю-81, но фигура эта накрепко остаётся в памяти: «Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком». Или другой старик, за но-

мером X-123. Как яростно спорит он с Цезарем, защищающим культовые идеи фильма «Иван Грозный». У этого человека есть свои твёрдые взгляды на искусство, страстная убеждённость в том, что «гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов», что прекрасное должно будить «чувства добрые».

В центре повести А. Солженицына — образ её главного героя, Ивана Денисовича Шухова.

Из лапидарной, как и у всех героев А. Солженицына, предыстории Ивана Денисовича мы узнаём самые общие черты его биографии. Колхозник, потом — солдат, он только два дня был в плену у немцев, бежал и пробился к своим. К этому простому русскому человеку нагрянула беда. И вот, осуждённый на десять лет как «немецкий шпион», пробыл Шухов в Усть-Ижменском лагере, затем его перевели в Особлаг.

Всего один день показан в повести. Но день этот вместил столько событий, так насыщен необычными ситуациями, что и за такой короткий в обычных условиях срок характер героя обнаруживает такие свои грани, которые нелегко познать и за долгие месяцы.

С первых же дней своего пребывания в лагере по достоинству оценил Шухов справедливые слова первого своего бригадира: «В лагере вот кто погибает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к кому ходит стучать». Напутствие это вполне соответствовало нравственному кодексу Ивана Денисовича. Не случайно «придурки» вызывают у Шухова какую-то презрительную жалость: люди потеряли себя, поступились своим достоинством, уронили свою гордость.

«Но он не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался». Вот почему недоумевает Иван Денисович, получив письмо жены, где, рассказывая о трудностях в родном колхозе, советует она, как только он вернётся, стать красилём — творцом рыночных «шедевров»: ковров с трафаретными рисунками. «Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры братья. Для них развязность нужна, нахальство, кому-то на лапу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился».

Конечно, восемь лет не прошли для героя бесследно, не могли не сказаться на его психологии, вкусах и привычках, его образе мыслей. Взять хотя бы одну особенность повести, о которой несколько извинительно, учитывая «особо привередливый вкус», упоминает в своём предисловии А. Твардовский: использование жаргонных слов и речений. Я думаю, что без ущерба для дела можно было бы и поубавить бранные выражения. Однако нередко встречающиеся в повести

А. Солженицына «технические термины» и бытовые словечки «блатной музыки» представляются мне необходимым элементом повествования. И дело здесь не в создании «специфического» колорита и не в столь любезных сердцу филолога «речевых характеристиках». Жаргон становится средством психологического анализа, играет не последнюю роль в утверждении общей обличительной тенденции повести.

Любопытно, что Иван Денисович почти не употребляет жаргонных слов в своей речи, они неизменно присутствуют в его раздумьях. За восемь лет лагерей человек начал забывать некоторые слова родного языка — это ли не страшно? Иван Денисович, к примеру, не помнит уже слова «обыск», хотя постоянно в мыслях у него — «шмон».

А сколь многозначителен такой штрих: любуясь ловкостью и весёлым озорством юного «зэка» Гопчика, Шухов восхищённо думает: «<...> правильный будет лагерник. Ещё года три подучится, подрастёт — меньше как хлеборезом ему судьбы не прочат». Таковы лагерные масштабы: хлеборез — это персона, это — аристократ в условиях, где «двести грамм жизнью правят». И какая горькая ирония слышится в этих восторженных словах: самое большее, что может достигнуть юноша, только начинающий жить, — быть хлеборезом.

Ярче всего то хорошее, что заложено в характере Ивана Денисовича, раскрывается в кульминационной сцене повести — в сцене кладки стены строящейся ТЭЦ. Здесь особенно зримо обнаруживаются те качества умельца, мастерового человека, которых не в состоянии вытравить никакие трудности и лишения.

«Шухов видел только стену свою — от развязки слева, где кладка поднималась ступеньками выше пояса, и направо до угла, где сходилась его стена и Кильгасова». Эта истовость, самозабвенность, наслаждение трудом прекрасно переданы А. Солженицыным.

Таков Иван Денисович Шухов — заключённый за номером Щ-854. Строго следует он своему человеческому чутью.

И всё же хочется спросить: правы ли некоторые наши критики, безоговорочно принимающие образ Шухова таким, каким он дан в повести?

И автор, и его герой прекрасно знали, что в годы культа были репрессированы не только честные советские люди, но и враги нашего государства, действительные, а не мнимые враги народа: различные шпионы и диверсанты, бургомистры и полицаи, власовцы и бендеровцы. Об этом, кстати, возмущённо говорит в повести Буйновский: «И вот — всех в кучу одну... С бендеровцами тут сидеть — удовольствие маленькое».

Да и сам Иван Денисович видел «настоящего шпиона» — маленького молдаванина, и хорошо знал, за что отбывает срок бойкий, весёлый и уважительный помбригадира Павло: «Стрелял Павло из-под леса, да на районы ночью налёгивал». Попросту — убивал из-за угла Шуховых. Так почему же Шухов, человек большой справедливости, не видит разницы между героем Бухенвальда Клевшиным и бандитом Павло? Почему он, схлестнувшийся в словесном поединке с баптистом Алёшкой, исповедующим евангельское всепрощение, сам невольно разделяет Алёшкину точку зрения?

Неужели лагерь так уравнивает, нивелирует всех людей, что сущность человека определяется лишь мерой переносимых им страданий? Но даже если исходить из «общечеловеческой» справедливости, то и тогда предпочтение должно быть отдано осуждённым не за действительную, а за мнимую вину — Буйновскому и Клевшину.

Эти нотки абстрактного «общечеловеческого» гуманизма, невольная подмена социально-классовых критериев оценки человека отвлечённо-этическими представляется мне уязвимым местом повести А. Солженицына.

В. Ермаков отметил «народный склад мышления, речи, пронизывающей всю повесть А. Солженицына». Если это так, то мне бы хотелось видеть образ главного героя обогащённым именно теми качествами, которые могли быть порождены только нашим, советским временем. Ведь народность — не застывшее вневременное понятие. Разные признаки и оттенки народности отмечаем мы, говоря о толстовском Поликушке, о персонажах «Кому на Руси жить хорошо», о Ниловне или о героях Шолохова и Фадеева. Я думаю, что историзм, характерные приметы времени в самом психологическом и интеллектуальном складе героев не с должной ясностью выявлены в повести «Один день Ивана Денисовича». На мой взгляд, сама манера мыслить у главного героя, сам лексический строй раздумий Ивана Денисовича местами отдают архаичностью, заставляющей вспомнить фразеологию героев Лескова или Мельникова-Печерского. Архаичность же не способствует воссозданию тех конкретных черт русского национального характера, которые были рождены или развиты нашей эпохой.

Мне также кажется, что повесть А. Солженицына только выиграла бы, если характер Шухова был бы отмечен высокой идейностью и гражданственностью — более ясным взглядом на время и события.

То же можно сказать и о ближайшем окружении героя повести. В Особлаге, где томятся Шухов и его товарищи, конечно же, можно было встретить людей, которые и в этих условиях продолжали оста-

ваться мужественными гражданами своей Родины, не растерявшими веры в неминувшее торжество великой правды партии и народа, не утратившими убеждённости в том, что «человек — это звучит гордо» и что жив он не только хлебом единым...

* * *

Времена культа личности канули в невозвратное прошлое и никогда не воскреснут и не повторятся. Порукой тому — мудрость партии, уверенно ведущей наше общество ленинским курсом.

В той праведной борьбе, которую ведут партия и народ со всем мертвящим, косным, вредящим великому делу — со всем, что порождено было культом, многое может сделать и делает наша литература.

Хотелось бы только, чтобы наши писатели в своём обращении к событиям прошлого, серьёзным и ответственным темам, связанным с разоблачением культа личности, не теряли бы перспективы — уверенно смотрели бы вперёд. Вряд ли можно принять «кокетничанье» иных литераторов с этой огромной трагедийной темой, выстраданной всеми нами.

Партия учит не обходить отрицательные явления жизни, а искоренять их. Мне думается, что стоит более сдержанно и спокойно подходить к достаточно ясно обозначившейся в нашей литературе тенденции, когда разоблачение культа начинает занимать едва ли не доминирующее положение. Не надо забывать, что главной задачей литературы по-прежнему остаётся глубокое и многогранное художественное изображение нашей современности, страстное утверждение силы и красоты советского человека — главного героя жизни и литературы.

И в оценке произведений о прошлом нельзя, мне кажется, быть неразборчивым. Необходимо чётко и ясно видеть разницу между жизнеутверждающими книгами, помогающими строить коммунизм, и упадническими, паникёрскими произведениями, сеющими уныние, неверие в богатырские силы партии и народа.

Нам нужны настоящие книги, повествующие суровую правду о трудных и сложных годах культа личности.

«Наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью. Пройдёт время, мы умрём, все мы смертны, но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу. Мы обязаны сделать всё для того, чтобы сейчас установить правду... Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

Эти слова Н.С. Хрущёва, сказанные на XXII съезде партии, глубоко запали в душу современной советской литературы. Они ясно ориентируют советских писателей, стремящихся разобраться в событиях недавнего прошлого. Слова эти помогают по достоинству оценить и незаурядную повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Н. Сергованцев

ТРАГЕДИЯ ОДИНОЧЕСТВА И «СПЛОШНОЙ БЫТ»¹

Годы, которые мы называем периодом культа, были весьма сложными и противоречивыми. С одной стороны — практическая деятельность народных масс, строящих социализм, преобразующих общество на новых началах, меняющих облик родной земли; с другой — авторитарная воля одного человека, которая часто действовала вопреки народной практике. Это не раз подчёркивалось в решениях XX и XXII съездов партии и в речи Н.С. Хрущёва на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года. В постановлении ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» даётся подлинно марксистский анализ причин возникновения культа личности Сталина. «При рассмотрении этого вопроса, — говорится в постановлении, — надо иметь в виду как объективные, конкретные исторические условия, в которых происходило строительство социализма в СССР, так и некоторые субъективные факты, связанные с личными качествами Сталина». Следовательно, писатель, который взялся сказать правду о временах культа, не может не учитывать этого. Он должен ясно видеть в жизни действие главных, определяющих сил. Субъективные факты, взятые сами по себе, без учёта реальных условий, не могут правдиво объяснить события тех лет, тем более если эти факты принять за единственно могущественную реальность. «Это значило бы, — подчёркивается в постановлении, — приписывать отдельной личности такие непомерные, сверхъестественные силы, как способность изменить строй общества, да ещё такой общественный строй, в котором решающей силой являются многомиллионные массы трудящихся».

В своё время Сталин выдвинул ошибочную формулу о том, что по мере продвижения к социализму классовая борьба всё более обостряется. Таким образом, массовые репрессии и беззакония выдавались

¹ Октябрь. 1963. № 4. Печатается в сокращении.

за объективно действующую закономерность. Это было грубейшим извращением ленинизма, ибо гуманистическая природа советского общества исключает такую закономерность. Тем не менее вследствие культа личности сложилось положение, породившее немало трагических ситуаций. Сущность трагедии времён культа заключалась в том, что воля одного человека насильствовала действительность, обрушивала на головы тысяч и тысяч честных советских людей репрессии, тюрьмы, ссылки. Это насилие прикрывалось широковещательными формулами и декларациями, его трудно было распознать, что ещё более усугубляло трагизм положения. Это была трагедия особого рода. Она-то и приковала к себе в последнее время внимание некоторых писателей.

А. Солженицын знаком нашему читателю по трём произведениям. Но мы уже смело можем сказать, что наиболее заметная и вместе с тем наиболее спорная сторона его творчества — трагедийное. Это сказало не в выборе темы (все три вещи А. Солженицына написаны на разные темы), а в социальном и философском осмыслении жизни, во взгляде на конфликт и на героя.

Повесть «Один день Ивана Денисовича» — не только картина лагерной жизни, не только резкий протест против беззакония периода культа личности. Замысел писателя значительно сложнее и, на мой взгляд, содержит в себе немало глубоких противоречий.

Герой повести, Иван Денисович, не является исключительной натурой: это «рядовой» человек, притом «рядовой» в самом точном смысле этого слова. Его духовный мир весьма ограничен, его интеллектуальная жизнь не представляет особого интереса. Но в целом Иван Денисович в немалой мере интересен. Чем же?

Прежде всего тем, что именно «рядовой», обыкновенный человек поставлен в центр трагических событий, что все события переданы сквозь «призму» его восприятий. Хочется знать, как же простой человек, выдвинутый автором в качестве глубоко народного типа, будет осмысливать ту потрясающую обстановку, которая его окружает.

И по самой жизни, и по всей истории советской литературы мы знаем, что типичный народный характер, выкованный всей нашей жизнью, — это характер борца, активный, пытливый, действенный. Но Шухов начисто лишён этих качеств. Он никак не сопротивляется трагическим обстоятельствам, а покоряется им душой и телом. Ни малейшего внутреннего протеста, ни намёка на желание осознать причины своего тяжкого положения, ни даже попытки узнать о них у более осведомлённых людей — ничего этого нет у Ивана Денисовича. Вся его жизненная программа, вся философия сведена к одному: вы-

жить! Некоторые критики умилились такой программой: дескать, жив человек! Но ведь жив-то, в сущности, страшно одинокий человек, по-своему приспособившийся к каторжным условиям, по-настоящему даже не понимающий неестественности своего положения. Да, Ивана Денисовича замордовали, во многом обезчеловечили крайне жестокие условия — в этом не его вина. Но ведь автор повести пытается представить его примером духовной стойкости. А какая уж тут стойкость, когда круг интересов героя не простирается далее лишней миски «баланды», «левого» заработка и жажды тепла.

Повторяю: я не собираюсь строго судить героя А. Солженицына, мой жизненный опыт не даёт мне на это права. Та суровая действительность, в которой жил Шухов, могла по-всякому изуродовать человека. Были там и Шуховы, но были и кавторанги Буйновские. Всё могло быть. Но я решительно не согласен ни с автором повести, ни с его критиками, которые стремятся представить Ивана Денисовича типичным народным характером. Если в Шухове и есть черты такого характера, то они скорее унаследованы не от советских людей 30–40-х годов, а от того патриархального мужичка, который нашёл своё законченное воплощение в образе Платона Каратаева.

Не надо искать в образе Ивана Денисовича то, чего в нём нет. Достаточно того, что он вызывает в нас протест против тех, кто поставил невинного труженика в жесточайшие условия, планомерно вытравляя в нём всё человеческое. Слабость его в том, что он отнюдь не может быть примером духовной стойкости, как это стремятся представить некоторые критики.

Узость «жизненной программы» Ивана Денисовича привела к тому, что он, в сущности, одинок. Ни Алёша-баптист, ни кавторанг Буйновский, ни Цезарь — его соседи по бараку — не смогли стать близкими ему людьми. Автор не раз подчёркивает, что Иван Денисович не понимает многих своих собратьев по несчастью. Вспомните, например, разговор Цезаря и бухгалтера, при котором присутствует Шухов. Здесь особенно отчётливо видно, как далёк он от понимания тех вопросов, которые, наверное, многих волнуют в лагере. Или сцена в посылочной: «Они, москвичи, друг друга издаля чувят, как собаки. И, сойдясь, всё обнюхиваются, обнюхиваются по-своему. И лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда лопочут, так редко русские слова попадают, слушать их — всё равно как латышей или румын».

Не понимает Иван Денисович и жизнь, которая осталась за колючей проволокой. «<...> Жизни их не поймёшь», — думает он. Более

того, лагерная жизнь для Ивана Денисовича представляется единственной реальностью, а всё остальное отошло в прошлое и как бы умерло. Временами он и сам не знает, хотелось бы ему вырваться на свободу или уж по привычке коротать свой век от подъёма до отбоя за колючей проволокой... Нет, не может Иван Денисович претендовать на роль народного типа нашей эпохи.

<...>

ЛИТЕРАТУРА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА ВСЕГДА ШЛА РУКА ОБ РУКУ С РЕВОЛЮЦИЕЙ¹

Из интервью главного редактора журнала «Новый мир» А.Т. Твардовского корреспонденту Юнайтед Пресс Интернейшнл в Москве Г. Шапиро

Повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», которой дебютировал в «Новом мире» этот ещё вчера никому не известный учитель из Рязани, представляет собой, на мой взгляд, явление особо значительное и принципиальное. И дело не только в том, что она основана на специфическом материале и показывает антинародный характер тех явлений, которые связаны с последствиями культа личности, но также и в том, что всем своим художественным строем она утверждает непреходящее значение традиций правды в искусстве и решительно противостоит мнимому новаторству формалистического, модернистского толка.

По-моему, «Один день» — из тех явлений литературы, после которых невозможно вести речь о какой-либо литературной проблеме или литературном факте, так или иначе не сопоставив их с этим явлением.

И я никогда не забуду, с какой теплотой отзывался Н.С. Хрущёв об этой повести Солженицына, о её герое, сохранившем достоинство и красоту трудового человека и в нечеловеческих условиях, о правдивости изложения, о партийном подходе автора к явлениям столь горькой и суровой действительности. На первом из нынешних совещаний Никита Сергеевич, назвав по ходу своей речи Солженицына, представил его всем присутствовавшим в зале Дворца встреч на Ленинских горах...

Если бы нужно было доказывать широту взглядов Центрального Комитета нашей партии на литературу и искусство, то одного факта одобрения им этой повести А. Солженицына было бы более чем до-

¹ Правда. 1963. 12 мая.

статочно. Кстати, этот факт лишний раз неопровержимо указывает на полную несостоятельность враждебных нам толков об «ограничениях» и «регламентациях», которые якобы кем-то предписываются советской литературе.

К. Чуковский

ВИНА ИЛИ БЕДА?¹

Вы входите в зал суда. Разбирается громкое дело. Публика взволнованно слушает пылкую речь прокурора. Но что это? На скамье подсудимых, оказывается, не спекулянт, не грабитель, но заслуженный, почтенный переводчик.

Прокурор мечет в него громы и молнии.

— Преступнику, — говорит он, — нет и не может быть никаких оправданий. Он обеднил, опреснил, обесцветил нашу богатую простонародную речь, смыл с неё все её чудесные краски, лишил её тонких оттенков, живых интонаций и тем самым наклеветал на неё. Превратив художественную, колоритную прозу в бездушный канцелярский протокол, он — и это отягощает его преступление — даже не уведомил о своём самоуправстве читателей, так что многие из них вообразили, будто перед ними точная копия подлинника, будто убогий, мертвенный стиль перевода в точности соответствует стилю оригинального текста. Это я и называю клеветой.

Тут прокурор торопливо хватает у себя со стола книжки — одну русскую, другую английскую, — жёлчно перелистывает их и с гневом обращается к преступнику:

— Вот они, улики вашей тяжкой вины! Написано у русского автора: «Ой, лютъ там сегодня будет: двадцать семь с ветерком, ни укрыва, ни грева!»

А в вашем переводе читаем: «О, сегодня там (будет) жестоко: двадцать семь градусов мороза и ветрено. Ни убежища. Ни огня».

Перевод этот вопиюще неточен. Ведь стиль русского подлинника простонародный, крестьянский: тут и *лютъ*, и *укрив*, и *грев* — слова своеобразные, редкостные, никогда не входившие в так называемую литературную лексику.

Тот перевод, в котором *лютъ* воспроизведена как *жестокость*, *укрив* — как *убежище*, *грев* — как *огонь*, не даёт своим читателям ни

¹ Литературная газета. 1963. 3 августа.

малейшего представления о подлиннике. Ибо художественно точным может называться лишь тот перевод, в котором воспроизводится *стиль* оригинального текста.

(Текст, о котором говорит прокурор, — повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Повесть вышла в английском переводе Ральфа Паркера у лондонского издателя Виктора Голленца.)

Если переводчик принимал специальные меры, чтобы смазать, стереть, уничтожить всё стилистическое своеобразие подлинника, необходимо признать, что он блистательно достиг этой цели.

В подлиннике, например, сказано: «И сразу *шу-шу-шу* по бригаде».

А в переводе: «И сразу по бригаде пошёл шёпот».

В подлиннике: «Повар взял здоровый *черпахище*».

В переводе: «Повар взял ложку больших размеров».

В подлиннике: «Небо белое, *аж с сузеленью*».

В переводе: «Небо было зеленовато-белое».

В подлиннике: «Фетюков... *подсосался*».

В переводе: «Фетюков подошёл ближе».

Всюду свежие, сверкающие народные краски подменяются банальными и тусклыми. Художественное своеобразие подлинника не передано ни в единой строке. Словно не с русского языка переводили на английский, а с богатого на нищенски бедный.

Когда в подлиннике я, например, встречаю слова: «*конвоиров по-натякано*», я могу заранее сказать, что у переводчика мы непременно прочтём: «Здесь *повсюду кругом* конвоиры», а когда в подлиннике мне попадает такая простонародная форма: «своё брюхо *утолакивать*», я могу держать пари на что угодно, что в переводе будет написано: «*удовлетворять* свой желудок».

Особенно мне жаль «*деревянного бушлата*». В народе с незапамятных времён так называется гроб. «Деревянная шуба», «деревянный тулуп» — обычная метафора в речи крестьян. Казалось бы, трудно ли перевести:

«Не подпишешь — бушлат *деревянный*».

Но переводчик и здесь оказался верен своей установке: долой образную народную речь! — и заменил её пресной банальщиной:

«Если бы он не подписал (признания в своей мнимой вине), его расстреляли бы».

Текст русской повести весь построен на внутреннем монологе деревенского человека, бывшего колхозника, солдата. И не нужно отличаться слишком изысканным слухом, чтобы заметить, что этот текст подчинён ненавязчивому сказовому народному ритму:

«Ой, лють там сегодня будет: двадцать семь с ветерком, ни укрыва, ни грева!»

Даже это дважды повторенное *ва* (в последней строке) подсказывает напевность повествования. Но у переводчика нет даже намёка на ритм.

Если бы английский перевод перевести обратно на русский язык, автор не узнал бы своей повести: переводчик-опреснитель планомерно и систематически вытравил из неё все особенности её терпкого стиля и перевел её на химически чистый — без всякого цвета и запаха — язык учебников и классных упражнений.

Словом, только те читатели, у которых нет ни художественного чутья, ни любви к своему языку, скажут, что перевод этот точен. Но всякий, кто не совсем равнодушен к искусству, увидит здесь беспощадное искажение подлинника...

...Прокурор делает короткую паузу и с новым ожесточением, ещё более бурным, обрушивает на подсудимого свой праведный гнев.

— Чтобы суд, — говорит он, — мог яснее представить себе, какой убыток приносит читателям отказ переводчиков от воспроизведения простонародного стиля, приведу один из наиболее наглядных примеров — перевод «Ревизора», исполненный в США мистером Бернардом Гилбертом Герни.

(Этого подсудимого усаживают на ту же скамью — рядом с его английским коллегой.)

— Стиль Гоголя, — продолжает свою речь прокурор, — характеризуется раньше всего буйными словесными красками, доведёнными до такой ослепительной яркости, что радуешься каждой строке, как подарку. И хотя знаешь весь текст наизусть, невозможно привыкнуть к этому неустанному бунту против серой банальности привычной штампованной речи, против её застывших, безжизненных форм.

Отвергая «правильную» бесцветную речь, Гоголь расцвел всю комедию простонародными формами лексики.

Не «бей в колокола», говорят в «Ревизоре», но «валяй в колокола».

Не «заботы меньше», но «заботности меньше».

Не «получить большой чин», но «большой чин зашибить».

Не «пьяница», но «пьянюшка».

Этой простонародностью и должен был окрасить свой перевод мистер Герни.

Если он стремился к тому, чтобы его перевод был художественным, он должен был так или иначе сигнализировать англо-американским читателям, что в подлинном тексте написано:

Не «обида», но «обижательство».

Не «сойти с ума», но «свихнуть с ума».

Не «истратил денежки», но «профинтил денежки».

Не «привязался к сыну купчихи», но «присыкнулся к сыну купчихи».

Он должен был ввести в свой перевод экспрессию простонародного стиля.

Не мог же он не заметить, что унтер-офицерша, повествуя о том, как её высекли, говорит не «высекли», но «отрапортовали»:

— Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схвати меня, да так отрапортовали: два дня сидеть не могла.

Не «подрались», но «задрались», не «схватили», но «схвати» и так далее.

Весь этот бунт против мертвенной гладкописи непременно должен был отразить мистер Герни в языке своего перевода, потому что здесь-то и заключается самая суть гоголевской чудотворной стилистики. Не воспроизвести этой сути — значит не дать иностранным читателям ни малейшего представления о Гоголе.

Кто из русских людей, говоря о «Ревизоре», не вспомнит с восхищением таких «гоголизмов», без которых «Ревизор» — не «Ревизор»: «не по чину берёшь», «бутылки толстобрюшки», «эй, вы, залётные!», «вам всё — финтифлюшки», «жизнь моя... течёт... в эмпириях», «эк куда метнул!», «в лице этакое рассуждение», «ах, какой пассаж!», «в комнате такое... амбре», «а подать сюда Ляпкина-Тяпкина!», «Щицрон с языка» и так далее и так далее, — недаром все эти крылатые слова и словечки тотчас же после появления «Ревизора» в печати демократическая молодёжь того времени ввела в свой языковый обиход.

А мистер Герни лишает их всякого подобия крылатости.

Когда, например, у Гоголя один персонаж говорит: «Вот не было заботы, так подай!» — мистер Герни обволакивает эту лаконичную фразу-поговорку такой тягучей и тяжеловесной канителью:

— Ну, в последнее время у нас было не так уж много забот, зато теперь их очень много, и с избытком.

Там, где у Гоголя сказано: «Эк куда хватили!» — у мистера Герни читаем:

— Конечно, вы захватили значительную часть территории.

Мудрено ли, что, читая такой перевод, иностранцы при всём желании не могут понять, почему же русские люди считают этого унылого автора одним из величайших юмористов, какие только существовали в России, почему, хотя николаевская кнутабойная Русь отодвинулась

в далёкое прошлое, «Ревизор» воспринимается нами не как исторический памятник, а как живое произведение искусства.

Как бы для того, чтобы окончательно уничтожить в своём переводе колорит эпохи и страны, переводчик заставляет Хлестакова сказать об одном из тогдашних романов: «Бест-селлер!»

Мистер Герни далеко не всегда понимает идиомы переводимого текста, но, повторяю, если бы даже он не сделал ни единой ошибки, если бы он даже не прибегал к отсебятинам, всё равно это был бы ошибочный перевод «Ревизора», так как в нём не передан *стиль* гениальной комедии.

Я нарочно взял для примера работу одного из наиболее квалифицированных мастеров перевода.

Кроме «Ревизора», мистер Герни перевёл «Отцов и детей», «Трёх сестёр», «Слово о полку Игореве», «Шинель», «Гранатовый браслет», «На дне», стихотворения Пушкина, Маяковского, Блока, а в последнее время в Нью-Йорке вышла составленная им «Антология советских писателей». Повторяю: это деятельный и дельный литературный работник, и показательно, что даже он спасовал, когда дело дошло до воссоздания просторечного стиля.

Вообще, иностранные переводчики русских писателей не выработали до настоящего времени сколько-нибудь устойчивых принципов для воспроизведения на своём языке тех разнообразных систем просторечия, с которыми им приходится сталкиваться при переводе Гоголя, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Леонова, Шолохова.

Что, например, могут подумать французы о чародее русского языка Николае Лескове, если им случится прочитать его шедевр «Тупейный художник» в переводе на французский язык, исполненном в 1961 году Алисой Оран и Гарольдом Люстерником? (Тут на скамью подсудимых усаживают и этих мастеров перевода.)

А прокурор между тем продолжает:

— Пусть подсудимые не вздумают сослаться на то, что их языки не имеют ресурсов для перевода русской поэзии и прозы. Этот довод очень легко опровергнуть, отметив те несомненные сдвиги, которые в последнее время происходят в практике английских и французских мастеров перевода, пытающихся воссоздать на своём языке произведения русской словесности. Стихотворения Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого в переводе покойного Мориса Бэринга, строфы «Евгения Онегина», чудесно переведённые Реджинальдом Хьюиттом, Блок и Валерий Брюсов в переводе профессора Баура, Шолохов, Бабель и Зощенко в переводе даровитой плеяды молодых переводчи-

ков — всё это является бесспорным свидетельством, что в Англии уже приходит к концу период ремесленных переводов российской словесности, от которых в своё время пришлось пострадать Льву Толстому, Достоевскому, Чехову. Все эти новые переводы показывают, что английский язык вовсе не так неподатлив для перевода русской поэзии и прозы, как можно подумать, читая торопливые изделия иных переводчиков...

Горячая речь прокурора произвела впечатление. Уж очень неопровержимы те факты, которые она изобличает. Многим из публики даже почудилось, будто дело подсудимых проиграно. Что может сказать адвокат в их защиту?

Но адвокат нисколько не смущён. Вид у него уверенный, бодрый... Да и подсудимые не падают духом.

Адвокат начинает свою речь издалека.

— Лучшие наши мастера перевода, — говорит он, — грешат тем же самым грехом, в каком прокурор обвиняет их зарубежных собратьев.

Вспомните забавного и милого Джима из романа Марка Твена «Гекльберри Финн»¹. В подлиннике вся его речь — наисильнейшее отклонение от нормы. На каждую сотню произнесённых им слов приходится приблизительно четыре десятка таких, которые резко нарушают все нормы грамматики.

— Как прикажете воспроизвести эти искажения по-русски? — язвительно обращается адвокат к прокурору. — Каким образом дать русскому читателю представление о том, что речь простодушного Джима вся разукрашена яркими красками живого и живописного простонародного говора? Неужели ввести в перевод такие словечки, как *очинно, ась, завсегда, жисть, куфарка, калидор, обнаковенно, идёт*?

Это было бы нестерпимой безвкусицей.

Н. Дарузес, переводчица романа, уклонилась от такого варварского коверканья слов — и хорошо поступила, так как все эти «ась» и «куфарка» придали бы Джимовым речам какой-то рязанский или костромской колорит, нисколько не соответствующий лексике и фразеологии негров, проживавших в XIX веке на берегах Миссисипи.

Джим в переводе Дарузес владеет вполне интеллигентской, безукоризненно правильной речью, и, право, советские читатели ничего не потеряли от этого.

(Голоса в публике: «Нет, нет, потеряли!..», «Нет, не потеряли!». Звонк председателя.)

Но адвокат по-прежнему невозмутимо спокоен:

¹ Полное название: «Приключения Гекльберри Финна» (1884). — *Примеч. сост.*

— Прокурору очень легко говорить: «переводите просторечие просторечием», но пусть попробует применить этот демагогический лозунг на практике. У него решительно ничего не получится или получится вздор. Как, в самом деле, должны были поступить те мастера перевода, на которых он обрушился с таким неистовым пафосом? Передать крестьянско-солдатско-тюремный жаргон «терпельника» Ивана Денисовича жаргоном уэссекских фермеров Томаса Харди? Или наречием валлийских крестьян?

И как поступить переводчикам рассказов Лескова? Передать озорные причуды лесковского стиля жаргоном провансальских виноделов?

И можно ли надеяться, что найдётся искусник, способный правильно воссоздать в переводе стилистику «Трёх солдат» Редиарда Киплинга, из которых один говорит на англо-шотландском наречии, другой — на англо-ирландском, а третий — на уличном жаргоне Восточного Лондона?

Нет, вопрос о воспроизведении на родном языке чужих жаргонов, диалектов, аргю — вопрос очень трудный и сложный, и его не решить с кондачка, как хотелось бы моему оппоненту. И я приглашаю его всмотреться в это дело поглубже. И тогда ему станет понятно... Но об этом — в следующий раз.

В. Иванов

НЕ ПРИУКРАШЕН ЛИ ГЕРОЙ?¹

Письмо в редакцию

Вы должны понять меня, моё беспокойство. Дело не только во мне — многие думают так же.

Жизненная правда, сама протокольная документальность бьёт из повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Особый лагерь «особых» времён, невинные люди там, наши, советские. И страдания. Так было. Так случилось. Пришло время, и мы сказали об этом, как мужественные борцы, революционеры.

Култ Сталина — явление не литературное. Это было в жизни нашей. Солженицын дал нам правдивую картину из прошлого. Горько, тяжело узнавать или вспоминать ту действительность. Так, может быть, и не

¹ Известия. 1963. 26 декабря (вечерний выпуск). Автор — рабочий завода им. Воровского (г. Мелитополь).

нужно ворошить старого, не ковырять булавочкой старые раны? Нет! «Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись» — так сказал о целях и смысле изображения правды Никита Сергеевич Хрущёв. В этом — оправдание самому «горькому» произведению о прошлом, когда правда жизни даётся не ради самой себя, не так просто — пощипать нервишки обывателю.

Правда в художественном произведении, в отличие от правды в документах, протоколах, фотографиях и прочих свидетельствах, должна быть освещена идеей. Ибо художественная литература, мыслящая образами, в отличие от документа, не только информирует, учит, но ещё и главным образом воспитывает.

«Один день Ивана Денисовича» — произведение ярко художественное. И всё-таки первое, что было дружно отмечено всеми — критиками и некритиками, — это правдивость материала, документальность повести.

Нужна ли, дорога ли нам повесть Солженицына сама по себе, как узнавание «той жизни»? Несомненно! Солженицын дал нам горькую бочку дёгтя. И мы принимаем эту горечь и говорим: ничего, умнее будем, эта правда, эта память — «зарубка на века!» И сам Иван Денисович — правда, умён он или глуп, сложный он интеллект или примитив, симпатичен кому или нет, — он правдив и воспринимается как часть той правды, которую мы узнали.

Очень ценная книга в этом смысле! Такой её оценили и отметили в нашей стране. Однако некоторым из критиков этого почему-то оказалось мало. Для «полноты» впечатления, что ли, или по какой другой причине они принялись поднимать повесть, как они считают, ещё выше — тем, что в Иване Денисовиче начали во что бы то ни стало искать того, чего в нём нет, стараясь неоправданно обобщить и типизировать его образ.

«Я думаю, — писал В. Чалмаев в статье “Я есть народ...” (“Литературная газета” № 37 за 1963 г.), — что А. Солженицын верно схватил в Иване Денисовиче некоторые подлинные черты русского народного характера в их исторически сложившемся качестве».

«<...>Иван Денисович Шухов — характер воистину народный»¹, — вторит ему на страницах журнала «Знамя» Феликс Кузнецов. И подчёркивает: «удивительный человек...»²

Народность, народные черты... Пожалуй, заманчивый комплимент литературному герою, если задаться целью представить его положи-

¹ См. также с. 116 наст. изд. — *Примеч. сост.*

² См. также с. 118 наст. изд. — *Примеч. сост.*

тельным. Хорошо. Ну, а какие же они, эти «некоторые черты»? В. Чалмаев пишет:

«А. Солженицын честно, правдиво, в пределах собственного жизненного и общественного опыта, воссоздал человека, который шёл через все рубежи исторической своей жизни, уцелел и на войне, и в мрачных пропастях земли, полагаясь на неиссякаемую свою любовь к труду как к первой потребности человека, на веру в справедливый общественный смысл труда, на непритязательность своих жизненных запросов, выносливость, терпенье».

Я не выписываю слишком много у названных критиков. Но и не хочу злоупотреблять выхваченными из контекста словами и фразами. Для меня ясно, что героизация героя идёт путём приписывания ему некоторых черт характера русского народа вообще. Любовь к труду — это верно, очень верно! Но, кроме того, подчёркивается «непритязательность жизненных запросов, терпенье».

Я думаю об Иване Денисовиче. Да, его поведение, симпатии, размышления направлены к тому, чтобы сохранить себя, выжить. Пусть даже иногда «выжить физически» побеждает в нём «выжить духовно». Но дело сейчас не в этом, а в том, оправдано ли это реальной жизнью, условиями тех лет. Было ли так? Да, было — «тут ни убавить, ни прибавить». В «тех» условиях, видимо, не одному Шухову пришлось зарабатывать в себе до совершенства такие «удивительные черты характера народного», как терпение, непритязательность.

Но если я не сомневаюсь, что правда о прошлом, о людях, занурованных в особлаге, справедливо перекочевала в повесть Солженицына, то говорит ли это о том, что мы должны также без сомнения видеть в Иване Денисовиче олицетворение народа, положительного героя? Нет! Потому что терпение, непритязательность — негожие комплименты народу, который доказал, что он умеет не только и не столько терпеть. Разве русский народ за всю историю свою не доказал, что это не главное в нём, что он народ-борец, народ-революционер прежде всего?

Когда же среди прочих «замечательных» черт упоминается ещё и непритязательность к жизни, то это уже звучит почти как оскорбление! Именно притязательность — тот рычаг, который поднимал народ на борьбу, на победы. В наши дни именно притязательность питает трудовую битву народа за материальное и духовное благосостояние, битву за претворение в жизнь величественной Программы Коммунистической партии!

Правда, в борьбе этой иногда бывает трудно, иногда нужно идти на риск, что-то потерять, что-то перетерпеть, с кем-то подражаться, ибо

мы боремся не только за качество продукции, но и за качество руководства хозяйством, людьми. Но мы всё-таки действуем! Бывает, что и шепнет тебе кто-то из угла, незаметный такой: «Молчал бы, затрут», «Не плюй против ветра» и т.д. Вот она, философия положительного терпеливца!

Допустим, в каждом из нас, от рядового коммуниста до члена ЦК, от стоящего у станка до министра, победил бы Иван Денисович. Разве возможны были бы тогда огромные сдвиги в нашей духовной и материальной жизни за последнее десятилетие? Возможен ли был бы XX съезд нашей партии и победа его линии в дальнейшем, съезд, мужественно покончивший с духом культа личности в стране?

Нет, конечно!

Итак, спасибо А. Солженицыну за художественную правду о прошлом. А что касается товарищей критиков, натужно делающих из Шухова положительного героя, — увольте. Мы предпочитаем путь борьбы за свои идеалы, за коммунистическое общество!

А вот нам хотят представить Ивана Денисовича как идеал народного героя. Как всё это принять нам?

Уже после того, как было написано это письмо, мне позвонили из редакции и сообщили, что повесть «Один день Ивана Денисовича» выдвинута на соискание Ленинской премии. Я искренне рад за талантливого автора, я лишь возражаю против неправомерного, с моей точки зрения, расширительного толкования центрального образа повести некоторыми критиками.

С. Артамонов

О ПОВЕСТИ СОЛЖЕНИЦЫНА¹

Я с большим предубеждением открывал повесть. Думалось, не спекуляция ли здесь на политической теме, не сенсация ли?

Кругом говорили о повести. Называли просто: «Одиннадцатый номер» («Новый мир», № 11). Знаменитый номер журнала! Его искали, просили у знакомых.

Говорили разное: «Читается без отрыва», «Страшно», «Особый язык», «Ермилов сравнил с Толстым» или: «Вообще-то ничего особенного, каждый это смог бы написать, кто был “там”» (а «там» были многие), «Ермилов перехвалил» и т.д. и т.п.

¹ Писатель и жизнь. М., 1963.

И вот журнал в моих руках. Девушка-библиотекарь сберегла. Шепнула, что можно продержат до понедельника. Целых два дня. Вступительные строки Твардовского пробежал глазами почти без мысли. Солженицын! Фамилия непривычная. Не сразу входит в память. Кто он? — Этого никто путно не знал. Говорили: учитель где-то в Рязани. Скромный человек.

И вот вхожу в повесть, и всё окружающее унеслось, ни кабинета, ни московского шума за окном, и только — снежные равнины, мороз, колючая проволока, тёмная толпа «зэков» и жизнь их, такая страшная, что и в бреду горячечном не явится воображению. Страницы уходят за страницами, их не замечаешь. Но на душе светло, чувства ужаса нет. Уж и улыбка готова появиться на лице. Как же он хорош, как обаятелен этот милый, такой чистый, такой целомудренный Иван Денисович!

Сюжета нет. Никаких атрибутов повествовательных жанров: завязки, кульминации, развязки — ничего этого нет. Просто жизнь за один день, с подъёма до отбоя, дела — маленькие, прямо-таки мизерные, — заботы, опасения, волнения, — но нельзя оторваться, и всё кажется значительным.

Последняя страница! Неужели уже всё? Закончился один день в жизни Ивана Денисовича, а их было «там» 3653, их будет ещё много, много таких дней. Но зачем же не рассказал нам автор о каждом из них? Как же он может увести от нас своего героя? Мы уже не в силах забыть его. Кажется, он вошёл в нашу жизнь, — добрый, терпеливый, мужественный русский человек.

Повесть Солженицына — не только крик гневного сердца (гневаться есть чему), не только боль о поруганном человеческом достоинстве (для такой боли есть большие основания), — повесть Солженицына — гимн человеку. От первой до последней страницы, подобно лирическому рефрену, проходит скромное и вместе с тем сильное и гордое слово Ивана Денисовича — «не уронить себя».

Он слышит первое наставление бывалого человека, «старого лагерного волка», и помнит его как «Отче наш».

«— Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто погибает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется («роняет себя». — С.А.) да кто к куму ходит стучать (доносчики. — С.А.).

Насчёт кума — это, конечно, он загнул. Те-то себя сберегают. Только береженьё их — на чужой крови».

Не хочет такого «береженья» Иван Денисович, ой как не хочет, да и не позволит себе никогда такого, что бы с ним ни делали, и мы верим этому.

Мал с виду Иван Денисович, робок, услужлив. Но не обманитесь. Не слишком-то полагайтесь на первое впечатление. Спросите лучше у Солженицына, он его очень хорошо знает. Писатель вам покажет в этом человеке многое такое, что наполнит ваше сердце гордостью не только за обаятельного героя повести, но и за человека русского, за человека советского.

Горд Иван Денисович, совести своей ничем никогда не запятнал. Трудился всегда честно и превыше всего для себя почитал нравственное удовлетворение. «Лёгкие деньги — они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал». Так рассуждает он. Так и поступает. Никогда бы не позволил себе Иван Денисович вступить в недостойную сделку с кем бы то ни было. На то у него есть своя гордость.

«Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился».

Труден каждый шаг ээка. «<...> Только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись». Немудрено в этих условиях надломиться, потерять себя, свою гордость, свою честь, своё достоинство, как надломился «шакал» Фетюков. Недаром Фетюков многозначительно пророчит нравственное падение недавно прибывшему в лагерь кавторангу: «Гордей тебя <...> приходили...»

Да, да! Были и гордые, и смелые, и в сердце большие идеалы питали, но вот дали человеку номер вместо его человеческого имени, и стал он предметом неопределённым, всем похожий на человека, но не человек, с умом и с сердцем, но как бы неодушевлённый. К номеру прибавили ещё общую для всех позорную и грязную кличку «падло». Хочет вчерашний «человек» гордо распрямиться, вскинуть голову да взглянуть на небо, а его за это в ледяной карцер, в каменный мешок. И опускаются у вчерашнего «человека» плечи, и перестаёт он в себе видеть человека, а только номер да бранную кличку и, голодом доведённый до одурения, начинает лизать миски. Был человек, и не стало его.

Но Иван Денисович не надломился, не растерял своих нравственных достоинств, а может быть, даже и приобрёл и крепче утвердился в своём человеческом качестве. «<...> Он не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался». Вот в чём смысл всей повести. Вот почему такие светлые чувства рождает в нас каждая её страница. И мы с неослабным вниманием, интересом, симпатией следим за каждым шагом, каждым движением её героя. И удивительно, в вещах обыденных и простых мы обнаруживаем значительность больших идей.

Кажется, очень несложна, незатейлива, небогата думка этого человека, а — глядишь, до всего дошла и так это ловко охватила всю ширь земную и проникла в каждую извилинку вещей. Не философ Иван Денисович и отродясь слова-то такого не говаривал, не мыслитель он, не грамотей. Кое-кто из читателей даже брезгливо поморщился: «Отчего автор взял такого, почему не изобразил интеллигента? Тогда бы...» — А что тогда бы? Что тогда бы?..

А ведь, думается, нет на свете умнее человека, чем Иван Денисович. Всё он понимает, и так это тонко, так пронизательно, что диву даёшься, и мысли его — большие и до каждого человека доходят, и до общечеловеческой высоты поднимаются. Вот о чём думает Иван Денисович, когда увлечённо занят работой. (И сейчас, сейчас, когда руки его привычно и ловко укладывают кирпич в стенку, он мыслит.)

«— Ребята! Ребята! — Шухов тербит. — Вы бы мне шлакоблоки на стенку! на стенку подымали!

Уж кавторанг и рад бы, да нет сил. Непривычный он».

Всё видит, всё замечает Иван Денисович и хоть увлечённо занят кладкой стены, но видит человека, и сейчас мысль его — о кавторанге, смелом и стойком, но больном, тающем на глазах. Да, да, не раз замечал Иван Денисович, глядя на бывшего капитана второго ранга, что на глазах доходит человек, — и неприметно жалеет его, болеет за него душой, как вот и сейчас. Рядом с кавторангом — Алёшка, второй подручный, тоже лагерный, тоже зэк. Кавторанг смелый и решительный, коммунист, и убеждённый коммунист. Он ещё хочет увидеть коммунистов в тех людях, которые держат лагерный режим, даже в том страшном лейтенанте, имя которого Волковой.

Алёшка иной. «Безотказный этот Алёшка, о чём его ни попроси. Каб все на свете такие были, и Шухов бы был такой. Если человек просит — отчего не пособить?»

Вот ведь о чём думает Иван Денисович — не философ, не мыслитель, не грамотей.

В другой раз он задумался о вражде, корысти людской, лихой беде человеческой и горестно вздохнул: «Кто кого сможет, тот того и гложет». А то о своих товарищах по несчастью: «Кто арестанту главный враг? Другой арестант. Если б арестанты друг с другом не сучились — э-эх!..» И широкий символический смысл имеет эта думка Ивана Денисовича.

Добр и чуток Иван Денисович. Он служит Цезарю, но не лакействует, не «шакалит» — он работает и за труд свой получает, да, да, это — работа. Взгляните на дело без ханжества, и вы поймёте это. Нет, не роняет себя Иван Денисович. И скромн он.

«Толкнул Шухов Сеньку под бок: на, докури, мол, необычник. С мундштуком ему своим деревянным и дал, пусть пососёт, нечего тут. Сенька, он чудак, как артист: руку одну к сердцу прижал и головой кивает. Ну, да что с глухого!»

Стесняется Иван Денисович и Сеньку «чудаком» называет, хоть и знает, что значит лагерному человеку глоток табачного дыму, да неловко ему принимать благодарность. В другой раз добыл Иван Денисович два печенья. А уж сколько ума, сноровки да героизма надо было проявить, чтобы заслужить такую награду, и одно печенье отдал он Алёшке. «Неумелец он, всем угождает, а заработать не может». Так рассуждает про себя чуткий и внимательный Иван Денисович. И опять неловко ему от благодарности людской.

«Улыбится Алёшка.

— Спасибо! У вас самих нет!

— Е-ешь!

У нас нет, так мы всегда зарабатываем».

И другим, многим помогает Иван Денисович. Сейчас на вечерней поверке он стоит босиком на голом полу. Валенки сушатся, и жалко их снимать с печки, авось обойдётся и быстро отпустят. «Под ногами его пол был мокроват, и ледяно тянуло низом из сеней». Иные были в тапочках. Иван Денисович тоже мог бы иметь их, но... «Сколько он тапочек перешил — всё другим <...>. Да он привычен, дело недолгое». Скромнен Иван Денисович, даже в мыслях своих преуменьшает заслугу свою: дело недолгое! И так непритязателен, так мало значения придаёт самому себе, что, кажется, отказывает себе в праве иметь и обычные человеческие слабости.

«<...> Я вроде это... болен... — совестливо, как будто зарясь на что чужое, сказал Шухов». А ведь тоскует и по вниманию, и по ласке, и по доброму слову. Как хочется ему услышать: Шухов, что ж ты не идёшь, ведь тебе посылка! — Но знает, как тяжело там, в его родном Темгенёве, собрать посылку, и сам отказался от неё и не желает такой жертвы от родных. Сердце человеческое! Оно же просит молчаливо и затаённо этой жертвы, как дальнего привета, как дара любви, и само же оно, это благородное русское сердце, отклоняет решительно и бесповоротно такую жертву. Автор чутко уловил эту внутреннюю борьбу чувств.

Не подобоострастен Иван Денисович, гордость свою имеет, но людей уважает, и чуткость, гуманность его от этого приобретает тот особый отпечаток, который сразу отделяет его от всепрощающего вегетарианства толстовского Платона Каратаева. Смотрим мы на людей

всепонимающими глазами Ивана Денисовича: какие богатыри встают перед нами!

«И хочется Шухову спросить бригадира, там же ли работать, где вчера, на другое ли место переходить — а боязно перебивать его высокую думу».

Высокую думу!

Всякое бывает в жизни: вчера человек тянул баржу, сегодня взвалил на свою богатырскую спину судьбы людские. Поди угадай, что человеку по плечу.

А ведь не мелок этот «зэк», на которого смотрит сейчас Иван Денисович, право, не мелок. «Стоит против ветра — не поморщится, кожа на лице — как кора дубовая».

И второго богатыря отмечает Иван Денисович, Сеньку Клевшина. Мал рассказ о нём, да бесконечен смысл этого рассказа.

«Сенька, терпельник, всё молчит больше: людей не слышит и в разговор не вмешивается. Так про него и знают мало, только то, что он в Бухенвальде сидел и там в подпольной организации был, оружие в зону носил для восстания. И как его немцы за руки сзади спины подвешивали и палками били».

А вот и третий богатырь. Здесь уже не рассказ, не повествование, это уже поэма, и каждое слово — крепкое, объёмное, крупное русское слово — полно патетической силы и славит подвиг жизни.

«Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчётно и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали».

Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изю всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он ещё сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего — волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще упёрлись в своё. Он мерно ел густую баланду ложкой деревянной, надщерблённой, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие дёсны жевали хлеб за зубы. Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нём, не примирится: трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а — на тряпочку стирающую».

Много говорят о специфике каждого вида искусства, а здесь, право, не знаешь, что же создало этот зримый, живой образ: то ли слово писателя, то ли кисть живописца, то ли резец скульптора.

Но не о мастерстве только хочется говорить здесь, — о великой нравственной силе идей автора. Некоторых смущает внешнее сходство. Кое-кто склонен привязать А. Солженицына к Достоевскому. Вот, мол, ничего нового, почти как «Записки из Мёртвого дома». Пустое! Солженицына от Достоевского отделяет многое, и прежде всего 1917 год.

Достоевский, великий мастер и гуманист, жалел человека, плакал о нём и спасение человека видел в «смирении». Если вспомнить Платона Каратаева, то, думается, и Лев Толстой не далеко уходит от подобных воззрений.

Как далёк от этого Солженицын! Он славит гордые силы человека («засело-таки в нём, не примирится»), а ведь и он, автор, испытал сам всё то, что с такой правдой описал. Значит, и он не сломился, как и его герои.

Откуда это идёт? Только ли от индивидуальных качеств человека, от его натуры, характера? — Нет. Главное здесь в эпохе, в тех идеях, которые витают в воздухе и подчас незримо питают нас.

Вся философия нашего времени утверждает право человека на свободу, утверждает человеческое достоинство, славит силу духа, красоте подвига. Эту философию не мог уничтожить Сталин. Может быть, много было лицемерия, но люди верили в буквальный смысл слова. И рабов по духу, по чувствам, по мыслям не было у нас. Разве только Фетюковы, и лагерные, и «вольные», — карьеристы и приспособленцы.

Очень показателен в книге протест моряка Буйновского. Он запальчиво защищает права человека, он верит в эти права.

«— Вы п р а в а не имеете людей на морозе раздевать! Вы д е в я т у ю статью уголовного кодекса не знаете!..»

<...>

— Вы не советские люди! — долбает их капитан. — Вы не коммунисты!»

Это идёт от духа времени, от тех идей, которые впитал в себя Буйновский. Потому и несгибаем он нравственно. Он, конечно, погибнет, это ясно, но не смирится, «не уронит себя». Видит его Иван Денисович, знает: «На глазах доходит капитан, щёки ввалились, — а бодрый». Когда уходит капитан в ледяной карцер, идёт на явную смерть, видит Иван Денисович, что богатырски ведёт себя этот человек. Ни жалобы, ни стоны!

«Только вздохнул капитан да крякнул. <...>

— Ну прощайте, братцы, — растерянно кивнул кавторанг 104-й бригаде и пошёл за надзирателем».

Красив протест капитана Буйновского, да безумен, всё равно что головой об стену. Походит на самоубийство. Так решают бывалые лагерники. «<...> Кряхти да гнись. А упрёшься — переломишься».

Что же это? Уж не философия ли это *приспособленчества*? И брезгливо морщатся некоторые читатели. Тут вспоминают и услужливость Ивана Денисовича, и те две миски баланды, которые он ловко «косанул».

Всякое бывает приспособление. Одни идут на компромисс со своей совестью, а то и вовсе отбрасывают её, роняют человеческое достоинство. Таков Фетюков. Вот это и называется приспособленчеством. Но кого же, кроме Фетюкова, мы можем назвать в повести именем приспособленца? — Никого. Путь Фетюкова ведёт к гибели. Сильно презирает Иван Денисович Фетюкова, но как-то, задумавшись над его судьбой, решает с великой печалью, что погибнет он, погибнет, потому что уронил себя.

Есть второй путь — учёт реальных условий жизни, окружающей обстановки. Если перед нами пропасть, мы же не бросаемся в неё и не отступаем перед ней, а перекидываем через пропасть мост. И делаем это с умом, технической сноровкой. И никому в голову не придёт обвинить нас в приспособленчестве.

Так «приспосабливаются» к своим условиям жизни и герои повести А. Солженицына. Мы были бы поистине ханжами, если бы стали осуждать добрейшего, честнейшего и гуманнейшего Ивана Денисовича за ту долю лукавства, хитрости, изворотливости, которую он проявляет, подчас даже не только ради себя, но и ради своих товарищей по несчастью.

Образованный да учёный капитан Буйновский, а в жизни что дитя малое, думает Иван Денисович. Другой бы слукавил да отсиделся хоть до утра. «Темнит» за него бригадир, чтобы хоть как-нибудь облегчить его участь, а он сам тут как тут, сам в омут головой.

«— А? Я! — отозвался кавторанг из-под шуховской койки, из укрыва.

Так вот быстрая вошка всегда первая на гребешок попадает».

Неказиста, грубовата речь Ивана Денисовича, иной брезгливо и поморщится от неэстетичного лексикона его, да человечна, гуманна его мысль и так чиста, как, думается, чист снег, запорошивший просторы той далёкой и страшной округи, где затерялся обнесённый колючей проволокой лагерь эков.

Вот второй зэк, тоже образован да учён, но и он в делах житейских неловок. «<...> Небось много он об себе думает, Цезарь, а не понимает в жизни ничуть <...>», — решает общий печальник Иван Денисович. Видит он каждое движение души человеческой, каждая её забота ему понятна. Вот и сейчас приметил он, как заметался Цезарь, как неожиданно и врасплох застаёт его команда выйти в строй, и жалко Ивану Денисовичу человека, и как не помочь человеку в беде и советом, и добрым словом, и практическим делом.

Каждый миг жизни Ивана Денисовича — упорная, мужественная борьба за существование. Фигаро у Бомарше заявляет: «Ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомлённость и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления всеми Испаниями». Не меньшую осведомлённость и находчивость приходится проявлять ради своего пропитания и Шухову. Автор высмотрел душой доброй и чуткой самые малые дела своего героя. Но малые ли эти дела?

«Доел Шухов пайку свою до самых рук, однако голой корочки кусок — полукруглой верхней корочки — оставил. Потому что никакой ложкой так дочиста каши не выешь из миски, как хлебом. Корочку эту он обратно в тряпицу белую завернул на обед, тряпицу сунул в карман внутренний под телогрейкой, застегнулся для мороза и стал готов (как хорошо это русское, народное, некнижное, но живое, обаятельное «стал готов». — С.А.), пусть теперь на работу шлют. А лучше б ещё помедлили». И это последнее «лучше б ещё помедлили!» Ну кто же, кроме большого мастера, сердцеведа, увидит всё это, поймёт и так чутко, сердечно поведает о том миру?

Или о том, как покупает Иван Денисович табак у латыша, как спрят продавец и покупатель. Здесь психологически тонко отработана каждая деталь сцены.

«— Да ты ж пригнетай, пригнетай! <...>

— Я сам знай! — сердито отрывает латыш стакан и сам пригнетает, но мягче».

На всё это нужен глаз, глаз большого наблюдателя и художника.

Таких сцен, таких деталей — множество в повести. Они составляют основной материал, из чего строится она. Разве не изумительна, например, история о том, как доставал Иван Денисович деньги из телогрейки.

«А Шухов тем временем телогрейку расстегнул и нащупал изнутри в подкладочной вате ему одному ощутимую бумажку. И двумя руками переталкивая, переталкивая её по вате, гонит к дырочке маленькой,

совсем в другом месте прорванной и двумя ниточками чуть зашитой. Подогнав к той дырочке, он нитки ногтями оторвал, бумажку ещё вдвое по длине сложил (уж и без того она длинновато сложена) и через дырочку вынул. Два рубля. Старенькие, не хрустящие».

Всё здесь верно, тонко подмечено и увлекательно рассказано.

Борется за свою жизнь Иван Денисович, но не роняет себя. И это главное в нём. Добр и отзывчив, наблюдателен и по-своему горд, но скажите ему сейчас, что нет, кажется, на свете ничего светлее и богаче его души, он застесняется. Вот, мол, чудак! И всё это, мол, от книг да от учёности. Все они, учёные, такие! Чудаки! А я? Что ж я, так! Ничего себе... «Учёных» он наблюдал, слушал разговор их, да ничего не понял. Но не мог не заметить чуткий Иван Денисович, что очень охочи до этих разговоров образованные люди. Ему кажется это и странно, и «чудно», но не может он не видеть, не ценить того, что «расцветают» они «друг другу, как маки». И уважает он непонятный, загадочный их учёный разговор.

«— Гм, гм, — откашлялся Шухов, стесняясь прервать образованный разговор. <...>

Постоял Шухов ровно сколько прилично было постоять <...>».

Есть у него свои радости: и пригреться, хоть на минуту укрыться от лютого мороза, и съесть миску горячей «баланды», и покурить, чтоб «благодать» разлилась по всему телу, но самая большая радость, которая отвлекает его от всех невзгод его горемычной жизни, — труд.

Здесь он преображается. Он мастер, почти художник. Он снова обретает чувство своей значительности, снова становится человеком. Увлечённость работой до самозабвения. Пожалуй, здесь он и счастлив, потому что получает самое большое, что есть в жизни, — нравственное удовлетворение. «И — как вымело все мысли из головы. Ни о чём Шухов сейчас не вспоминал и не заботился, а только думал — как ему колена трубные составить и вывести, чтоб не дымило».

Труд нравственно окрыляет и других. Люди работают с увлечением, кроме, конечно, Фетюкова. Этот и в труде не находит радости, ибо опустился до состояния животного.

* * *

Милый, обаятельный, добрый — трудовой человек Иван Денисович. Автор заставил нас его глазами посмотреть на мир. И мы увидели многое такое, что не сумели бы рассмотреть сами. Что же это за волшебник, автор? Ведь это он, автор, такой чуткий, такой внимательный ко всему и ко всем. И как это ловко он спрятался за своего

героя. Речь автора и речь литературного персонажа слились, перемешались. Но какая в том беда? Этот единый поток так светел, так прекрасен!

Идеи, за которые ратует передовое человечество, нашли в Солженицыне горячего распространителя. Без помпы и парадности, без громких слов, без позы и рисовки автор вкладывает в сердца читателей благородные чувства.

— Любить и уважать человека, и самого простого, самого незаметного с виду — человека-труженика. Искать и находить в человеке высокое и достойное, не гнушаясь его видом и состоянием, помогать человеку.

— Отбросить все националистические предрассудки, видеть только брата в сыне другого народа, другой нации.

Ивана Денисовича окружают люди самых различных национальностей: здесь и эстонцы, и латыши, и западные украинцы, и Цезарь, — в ком «всех наций намешано: не то он грек, не то еврей, не то цыган», и все они люди достойные, и Шухов дивится каждому из них и в каждом видит человека.

— Любить труд и уважать его. Ценить творения рук человеческих, как это делает Иван Денисович: «<...> всякую вещь и труд всякий жалует он, чтоб зря не гинули».

Перед нами — гуманизм высокого полёта.

Мне приходилось слышать толки о том, что де нельзя говорить о гуманизме героя повести, что гуманизм — это философия, доктрина, а какая же может быть «философия», «доктрина» у неграмотного человека. Здесь всего лишь гуманность.

Спору нет, гуманизм и гуманность — не одно и то же, и в простом акте сострадания или жалости нельзя усматривать того высокого и принципиального отношения к миру и людям, что со времён Возрождения называют «гуманизмом».

Основоположники гуманизма не жалели человека, они дивились ему, восхищались им. Человек для них — властелин природы. Он наделён разумом, тончайшим инструментом познания мира. Физическая природа человека являет собой высшее совершенство красоты и гармонии. Человек создан для разумной деятельности, в этом залог его счастья. Так понимали гуманизм великие умы эпохи Возрождения.

Послушаем шекспировского Гамлета.

«Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по скла-

ду и движеньям! В поступках как близок к ангелу! В воззрениях как близок к богу! Краса вселенной! Венец всего живущего!»¹

Куда же, кажется, скромнейшему Ивану Денисовичу до полёта таких идей. Но ведь он не просто Иван Денисович Шухов, колхозник из деревни Темгенёво, он сейчас на такую трибуну поднялся, что голос его слышат миллионы людей и у нас, и за рубежом. Такова сила искусства. И каждое слово его, каждый жест полны значения. Прост, далёк от культуры и образованности этот человек. «Невежество!» — возмущается в разговоре с ним капитан Буйновский. И справедливо. Но не прост человек, который вылепил этот образ, не прост автор великолепной повести. Не подкрашивает писатель живую правду действительности, но не всё из жизни переносит в свою книгу. Кажется, что мелки, незначительны детали однодневной истории героя повести, а пораздумаешь, сравнишь, сопоставишь, соединишь одно с другим, и создаётся картина достойная, создаётся и «философия», и «доктрина». И не филантропическая жалость к человеку возникает в вашей груди, а великая гордость за человека, за его стойкость, мужество, за его богатырские нравственные силы.

Зачем бы, кажется, автору останавливать своего героя перед «высокой думой» бригадира, перед Сенькой-«терпельником», перед мужественным протестом Буйновского, перед «безотказным» «недобытчиком» Алёшкой, перед стариком с лицом, вымотанным «до камня тёмного, тёмного»? — Да для той же «философии», «доктрины», какую называют гуманизмом. Зачем бы автору рассказывать о том, как работает его герой, увлечённо и радостно в самых страшных, самых нечеловеческих условиях? — Всё для той же самой «доктрины» и «философии».

Груба, корява, «неинтеллектуальна», хоть и выразительна чрезвычайно фраза Ивана Денисовича: «Что, гадство, день рабочий такой короткий? Только до работы припадёшь — уж и съём!» А ведь за ней, за этой фразой, целая философия, доктрина жизни, своё понимание ценности жизни.

* * *

Нельзя особо не поговорить о языке повести. Это что-то новое и очень значительное в нашей литературе. Можно слышать от некоторых изустных критиков, что вот, мол, опять в литературу хлынули, как в тридцатых годах, жаргонные, областнические словечки, всевозможные выверты и пр. и пр.

¹ Вильям Шекспир в переводе Б. Пастернака: В 2 т. М.: Искусство, 1949. Т. 1. С. 490–491. — *Примеч. С. Артамонова.*

Да, конечно, в повести есть жаргонные словечки: «шмон», «падло», «кондей», — но без них не получилось бы картины, они были в лагерном быту, их нельзя было обойти в «летописи» событий даже одного дня. Но их немного, они нисколько не засорят наш литературный язык. Никуда дальше страниц повести они, конечно, не пойдут.

Но язык повести богат иными словами, — яркими, сочными, красочными. Как много их собрал автор, как раздвинул он этим возможности художественного изображения. Часто это — старые русские слова, но взятые в необычной форме, необычном сочетании.

«Гордей¹ тебя <...> приходили...» Как великолепно это слово «гордей», как вяло в сравнении с ним наше литературное «более гордый!» Это слово писатель не выдумал. Так говорят люди некнижные.

«<...> Медленно, *внимчиво*». Можно было бы сказать «внимательное», но потускнела бы мысль. «<...> Он Фетюкова-шакала *пересёк* <...>». Можно было бы сказать «опередил», но это было бы и вяло, и неточно. И опять слово не выдуманно. Прислушайтесь к речи людей некнижных, они говорят именно так, и речь их очень выразительна.

Великолепный народный, просторечный язык, которым некогда восхищался Пушкин, легко и свободно живёт на страницах Солженицына, в этом просторечье — и наш XX век, и даль историческая, русская, давняя.

«Ой, *лють* там сегодня будет: двадцать семь с ветерком, ни *укрыва*, ни *грева!*»

«Может, сегодня обманули меня *не круто?*»

«Минутка короткая, *разморчивая*».

«Теперь и в больничке *отлёжу* нет».

«А для других это *сласть*».

«Шухов *доспел* валенки обуть на две портянки».

«Своё брюхо *утолакивать*».

«Ложкою *обтронул* кашу с краёв».

«Дверь *недоприкрыта*».

«Небо белое, аж *с сузеленью*».

Иногда слышится что-то исконное, былинное: «<...> *не так* разговор гудёт, *как* снег скрипит», и сравнения — то ли от песни старорусской, то ли от сказки или былины: «Глаза, как свечки две, теплятся».

Язык повести очень лаконичен, да и вся она сжата до предела, а между тем, кажется, ощущаешь её мир всеми пятью чувствами, и всё врзается в память. В чём же тайна этого письма? — В необыкновенной выразительности народного, просторечного слова, в динамике самой речи.

¹ Здесь и далее курсив С. Артамонова. — *Примеч. сост.*

* * *

Писатель многое сказал в своей повести, сказал он и о своих эстетических принципах, — коротко, но предельно ясно. Их три, этих эстетических принципа.

Первый. Художник не имеет права на ложь. Никакие смягчающие обстоятельства здесь не принимаются в расчёт.

(«Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трёх поколений русской интеллигенции! <...>

— Но какую трактовку пропустили бы иначе?..

— Ах, п р о п у с т и л и бы?! Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!»)

Второй. Содержание — вот главный элемент искусства. Формалистические изощрения лишь губят его.

(«— Кривлянье! <...> Так много искусства, что уже и не искусство...» — говорит страстно («сердится») и мудро X-123.)

Третий. Искусство призвано будить добрые чувства; следовательно, созидать добро.

(«— Но слушайте, искусство — это не что, а как.

Подхватился X-123 и ребром ладони по столу, по столу:

— Нет уж, к чёртовой матери ваше “как”, если оно добрых чувств во мне не пробудит!»)

* * *

У нас много говорят о проблеме традиций и новаторства. Много уже сказано в печати, но пока ещё немного додуманного, верного, прочного. Кое-кто даже досадливо отмахивается от XIX века, сетуя на то, что вот, мол, хотят сделать «гоголевскую “Шинель” несменяемой одеждой русского искусства»¹.

А ведь повесть Солженицына являет собой достойный образец органического единства традиций и новаторства.

Это внимание к заурядному человеку, без титулов и рангов, идёт от «Медного всадника» Пушкина (чиновник Евгений), от «Шинели» Гоголя (вот вам и «несменяемая одежда русского искусства», тов. Караганов!).

В XVIII веке в Западной Европе широко обсуждался вопрос о трагическом герое. Кто может быть удостоен такой чести? Классицисты полагали, что — только выдающаяся личность — и по общественному

¹ Караганов А. Правда условного приёма // Вопросы литературы. 1962. № 6. С. 30. — Примеч. С. Артамонова.

положению (бог, мифический герой, царь, вельможа), и по интеллектуально-нравственным качествам. Просветители говорили иное: довольно о королях! Сострадания заслуживает и простолюдин.

Трагический герой — простолюдин в просветительской литературе предстал в сентиментальном ореоле, и это значительно ослабило художественный эффект предпринятой просветителями литературной реформы. Только в XIX веке и в русской литературе так называемые «маленькие люди» поднялись на высокую сцену трагического искусства. Пушкин открыл им дорогу. Теперь уже не было и тени сентиментальности. Суровая, жестокая и сильная правда зазвучала в русской литературе о трагедиях «маленьких людей» — чиновник Евгений в «Медном всаднике», станционный смотритель, а потом Башмачкин Гоголя, «Бедные люди», «Униженные и оскорблённые» Достоевского.

Эту благородную традицию русского классического искусства продолжает Солженицын.

Но не только в теме дело. Сам метод художественного видения мира идёт от образцов великой нашей литературы.

Но вместе с тем повесть Солженицына уже что-то иное сравнительно с литературой XIX века. Это — детище наших дней.

Как уже говорилось, некоторые изустные критики видят в повести чуть ли не подражание «Запискам из Мёртвого дома» Достоевского. Как это неверно! Сходство темы не даёт права на подобные толкования, здесь всё иное, и прежде всего, я бы сказал, нравственный «базис» иной. Достоевский — великий живописец трагических душевных конфликтов. Весь смысл трагедии для него в душевном конфликте, в разладе души. Внешние жизненные обстоятельства подчас только лишь причина этого разлада. Художник, едва сославшись на причину, всё своё великое мастерство обращает на детальную обрисовку «следствия» — страшной болезни человеческого самосознания.

Эта тема (разлад души) — вне поля зрения Солженицына. Вот почему, я думаю, современная буржуазная критика не примет писателя, как бы заманчива ни была для неё политическая сторона вопроса.

Солженицын с его верой в человека, цельного, «нераздвоенного», «неразлаженного» человека, вряд ли сыщёт себе похвал у последователей Шопенгауэра и Бергсона.

Около года прошло со времени выхода в свет повести А. Солженицына. За это время он опубликовал несколько рассказов, которые вызвали критические отзывы в печати. Думается мне, что писатель торопится. Серьёзный труд требует времени.

В. Паллон

ЗДРАВСТВУЙТЕ, КАВТОРАНГ¹

Не раз приходилось мне бывать на борту легендарного крейсера «Аврора», поставленного на вечный прикол на Неве. И всегда я обращал внимание на худощавого, среднего роста офицера, подтянутого, с красноватым, обветренным лицом и седыми висками. На синем сукне кителя офицера — два ряда орденских ленточек. У него спокойные манеры, скупые жесты, точная речь.

Однажды я не выдержал и обратился к нему.

— Капитан второго ранга в запасе Бурковский Борис Васильевич. Начальник филиала Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора», — представился он.

Так мы познакомились. Разговорились.

— Помните ли вы кавторанга Буйновского? — спросил меня Борис Васильевич. — Одного из персонажей повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича»?

Я вспомнил, как кавторанг Буйновский рассказывал о своей печальной истории:

«— Да, видите ли, я прожил почти целый месяц на английском крейсере, имел там свою каюту. Я сопровождал морской конвой. Был офицером связи у них. И ещё, представляете, после войны английский адмирал, чёрт его дёрнул, прислал мне памятный подарок. “В знак благодарности”! Удивляюсь и проклиная!.. И вот — всё в кучу одну... С бендеровцами тут сидеть — удовольствие маленькое».

В повести мы расстались с Буйновским при обстоятельствах, для него печальных. Помощник начальника лагеря по режиму Волковой отправил моряка на десять суток в БУР — карцер, за то, что он протестовал против издевательского раздевания заключённых на морозе. Автор повести ознакомил нас с тем, что представлял собой этот карцер, — промёрзший каменный мешок, после которого многих навсегда одевали в «деревянный бушлат». Поэтому понятна та тоскливая тревога, с которой мы расстались с бывшим офицером флота. Не знаю, как кто, но, раздумывая над судьбой героев повести Солженицына, я часто вспоминал о Буйновском. Дальнейшая участь его мне представлялась трагической...

И вот он передо мной. Здесь, на «Авроре».

Чтобы быть хорошим моряком, мало иметь знания, надо любить море, корабли, морскую службу. Эту любовь к морю Борис Бурков-

¹ Известия. 1964. 14 января.

ский питал с детства. Отец мальчика служил на флоте, был представителем той лучшей части офицерства, которая безоговорочно перешла на сторону революции. Он сражался на фронтах Гражданской войны, штурмовал Красную Горку, ходил по льду Финского залива против кронштадтских мятежников, потом участвовал в создании военно-морского флота страны, обучал офицеров.

Моряки окружали Бориса с детства. Живя в Кронштадте, он постоянно видел матросов и командиров, серые громады крейсеров и линкоров на рейде, слышал хрустальный звон корабельных склянок, отбивавших время. Мудрено ли, что в шестнадцать лет он надел форму курсанта Высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе. Потом учёба в классах старинного здания на набережной Невы, практические плавания на учебном судне «Комсомолец», на крейсере «Аврора». Горячие комсомольские собрания. Потом торжественный выпуск в огромном училищном зале, который в советское время был назван залом Революции, — здесь выступал В.И. Ленин. В этом зале получали путёвки на флот выпускники училища. В 1933 году среди них был и Борис Бурковский.

Молодой командир служил на Чёрном море, в бригаде торпедных катеров. Он был командиром катера, потом звена катеров. К началу Великой Отечественной войны Бурковский закончил командный факультет Военно-морской академии. Возвратившись из Ленинграда с учёбы, Бурковский закончил командный факультет Военно-морской академии. Возвратившись из Ленинграда с учёбы, Бурковский продолжал службу на полюбившихся ему стремительных торпедных катерах. Незадолго до войны его приняли в партию.

Молодой моряк в военное время испытал то, что испытали тысячи его сверстников: обидное недоумение при долгом отступлении, горечь оставления родного Севастополя, ярость торпедных атак, гордую радость первых побед.

А дальше было почти так, как мы знаем это из повести «Один день Ивана Денисовича»... Только события жизни Бурковского, перенесённые писателем на Север, происходили на Чёрном море. Во время Ялтинской конференции в феврале 1945 года в Севастополь прибыли американские военные корабли. Капитан третьего ранга Б.В. Бурковский, хорошо владеющий английским языком, был назначен на эти корабли офицером связи. По службе он почти всё время должен был находиться на этих кораблях, постоянно общаться с американскими офицерами, с адмиралом. Задание командования было выполнено, и Бурковский, отмеченный благодарностью командования, возвратился к своей службе.

Прошло четыре года. Борис Васильевич продолжал служить. Ходил в море. Совершенствовал свои офицерские знания. В короткие часы отдыха возился с дочерью и сыном.

А в это время готовилось гнусное преступление. Бурковского постигла трагическая участь многих. Приговор — 25 лет. Бурковскому казалось: прощай навсегда партия, флот, семья. Что же делать? Отчаяться, пасть духом? Нет! Недаром Бурковского воспитывали партия, комсомол, флотская семья. Он нашёл в себе силы остаться человеком.

— Вы спрашиваете, что было потом... Было, в общем, так, как в повести, — говорит мне Борис Васильевич. — Ну, конечно, не точь-в-точь. Но общая картина лагерной жизни, да и многие детали были именно такими.

Мы сидим в каюте Бурковского. В медном круге иллюминатора видны зимнее, невысокое солнце, угловатый лёд, в котором стоит корабль. Капитан второго ранга курит, встаёт, делает два-три шага, потом опять садится в кресло.

Я спрашиваю Бурковского о персонажах повести «Один день Ивана Денисовича». Он говорит о том, что некоторые, как, например, бригадир Тюрин, сам он, Буйновский-Бурковский, кинорежиссёр Цезарь Маркович, баптист Алёша, дневальный лагерной столовой, очень напоминают конкретных людей. Другие — в меньшей степени. Заключённого, который послужил прототипом Ивана Денисовича, капитан второго ранга не помнит. Должно быть, потому, что подобных было много, говорит он. В общем, все персонажи повести в той или иной степени — типы собирательные.

— Около четырёх лет я прожил в одном бараке с Солженицыным. Это был хороший товарищ, честный человек. Он был молчалив, не ввязывался в шумные разговоры. Мне запомнилось, что он часто, лежа на нарах, читал затрёпанный том словаря Даля и записывал что-то в большую тетрадь.

Меня сейчас часто спрашивают товарищи о моей истории с карцером. Действительно, я сидел в промёрзшем каменном мешке. Вышел я из БУРа, как говорили заключённые, «прозрачным и звонким». Меня шатало. И вот, когда я возвратился в барак, десятки рук потянулись ко мне с кусками хлеба, сахара, закрутками табака. Я подумал: а людей-то в нас не затоптали...

Таким образом, Буйновский — это не точно я, а лишь тип, имеющий некоторые мои черты, — добавил Борис Васильевич. — Это стало мне ясно сразу же, как только я прочёл повесть Солженицына. Это же подтвердил писатель в своём письме, которое я получил.

Сидя в лагере, многие отвыкли загадывать наперёд, — продолжает Борис Васильевич. — Вероятно, потому, что хорошего впереди не ждали. Думали лишь о дне завтрашнем — какая будет работа, как достать табачку, чем починить изорвавшиеся рукавицы. И когда Александр Исаевич Солженицын, взяв свой мешок, покинул лагерь — он вышел раньше меня, — я как-то не подумал, встретимся ли мы когда-нибудь.

Уже во второй половине 1953 года заключённые почувствовали, что бездушная система, рассчитанная на подавление в репрессированных всего человеческого, дала трещину. Нам разрешили читать газеты, чаще получать и писать письма. Заметно улучшилось отношение к нам лагерной администрации.

Читая газеты, мы узнали о той огромной работе по восстановлению ленинских принципов социалистической законности, которую повела партия.

Летом 1956 года я предстал перед комиссией, состоявшей в основном из партийных работников, которые приехали в лагерь пересмотреть наши дела. Впервые за долгие годы со мною говорили по-человечески. Через 45 минут после беседы меня вновь пригласили и сказали, что я полностью реабилитирован и пользуюсь такой же свободой, как все советские граждане.

Я не говорю о том, что пережил при этом, не рассказываю о том, как чувствовали себя другие заключённые, получившие свободу. Мне об этих переживаниях не рассказать, а вы не сможете, вероятно, понять этого в полной мере. Как коммунист, душой никогда не порывавший с партией, всегда безгранично веривший ей, я испытывал чувство гордости: правда, наша, большевистская, ленинская правда, восторжествовала!

Возвратившись в Ленинград, я был восстановлен в партии. За время, проведённое в заключении, я сильно отстал от современной военной техники, да и здоровье моё пошатнулось. Но расставаться с родным флотом не хотелось. И я начал работать в Центральном военно-морском музее, а потом возглавил его филиал на крейсере «Аврора».

Много людей приходит к нам на корабль революции. И вот однажды летом 1962 года я поднялся по трапу на верхнюю палубу, чтобы встретить новую группу экскурсантов. Мне кажется, что я прежде почувствовал, а уже потом увидел, что один из гостей, сухощавый, среднего роста человек, пристально смотрит на меня. Я поднял глаза и увидел знакомое лицо. Где мы виделись — оба поняли одновременно.

Шагнув друг к другу, мы негромко сказали: «Борис!», «Саша!», обнялись и крепко расцеловались. На прощанье мы обменялись адресами. Я дважды писал Солженицыну и получал ответ.

Недавно я прочитал в газетах о том, что повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» выдвинута на соискание Ленинской премии 1964 года. Это взволновало меня. Ведь отображённый в повести лагерный день — это день и моего бытия.

Я не литературовед и не возьмусь разбирать повесть. Мною она воспринимается иначе, чем другими читателями. Но, если бы меня просили дать ей оценку, я бы сказал: это хорошее, правдивое произведение. Любому, кто читает повесть, ясно, что в лагере, за редким исключением, люди остались людьми именно потому, что были советскими по душе своей, что они никогда не отождествляли зло, причинённое им, с партией, с нашим строем. И я, и тысячи подобных мне были физически отторгнуты от партии и народа, а мысли и сердца наши были с ними. И ещё одно ценю я в повести Александра Исаевича: как правдиво описан наш труд. Он был тяжёл, изнурителен, но не унижал нас. Ведь подспудно мы сознавали, что и здесь работаем для Родины.

...Такова история кавторанга Буйновского. Он вернулся на корабль.

А. Ставицкий

ЗА МАЛЫМ — МНОГОЕ¹

Надо отдать справедливость: за прошедший год ни одно литературное произведение не вызывало столько споров и откликов, как небольшая повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Находятся люди, которые говорят, что это — «шум», и притом «нездоровый»: всё, дескать, идёт исключительно от темы... Один мой знакомый, прочитав повесть, сказал раздражённо: «Не понимаю, что вы тут особенного нашли? Это мы и без него знали».

Да, знали. Знали, что были такие лагеря. XX и XXII съезды партии открыли нам правду о культе личности Сталина, обо всём том, что было с культом связано. Думаю, за то и обиделся на Солженицына мой знакомый, что тот не «открыл» ему ничего неведомого, никаких там особенных тайн или ужасов, а всё остальное его просто не заинтересовало. Но дело-то как раз в этом «остальном»!

¹ Литературная газета. 1964. 23 января.

А. Солженицын, сам пройдя сквозь суровые условия лагерной жизни, написал о них честную, талантливую книгу, далёкую от сенсационности, от расчёта на ажиотаж.

Среди критиков повести есть и такие, — в общем люди серьёзные и доброжелательные, — кто винит Солженицына лишь за одно: за неправильный выбор героя.

Да, конечно, Иван Денисович Шухов — совсем не положительный герой в прямом смысле слова. Есть в нём нечто от «каратаевщины». Но, с другой стороны, как велик творческий заряд, заложенный в скромном незаметном «зэке» Шухове! Именно благодаря этому повесть Солженицына постепенно из мрачно-трагической перерастает в подлинный гимн трудовой совести, человеческому достоинству и мужеству. Невольно думаешь: до чего же сильны духом наши люди, если там могли так работать!

А. Солженицын заявил о себе как писатель сложный, противоречивый. И всё-таки литературный успех его бесспорен, потому что он не просто что-то «отразил» или «заострил», а дал нам галерею живых людей, своих современников — Ивана Денисовича, Буйновского, Сеньку Клевшина, Цезаря. Как бы мы ни относились к каждому из них, воспринимаешь их как социально определённые типы. И тут хочется подчеркнуть, на мой взгляд, самую сильную сторону дарования Солженицына — его умение через малое сказать многое.

Думаю, это очень хорошо, что мы снова обсуждаем повесть А. Солженицына «Один День Ивана Денисовича», — теперь уже в связи с выдвижением её на Ленинскую премию.

В. Сурганов

А НАДО ПОМНИТЬ...¹

<...>

III

В самом начале апреля, в солнечный полдень, у переправы через разлившуюся степную речонку сошлись ненароком два повидавших виды фронтовика и шестилетний мальчуган. Малыш убежал к воде. Взрослые, присев на поваленный плетень, неспешно свернули самокрутки...

¹ Москва. 1964. № 1. Печатается в сокращении.

Так Михаил Шолохов встретился с Андреем Соколовым.

Встреча произошла весной 1946 года.

В ту пору Иван Денисович Шухов — будущий герой солженицынской повести — отсчитывал всего лишь четвёртый год своего лагерного срока — тысяча сто девяностый или, может, тысяча двухсотый день из трёх тысяч шестисот пятидесяти трёх, которые ему надо было отбыть в лагере «от звонка до звонка». Трудно сказать, чем именно занимался он в этот апрельский полдень там, на Севере. Возможно, всё было точно так же, как и в тот день предпоследнего в шуховском «сроке» тысяча девятьсот пятьдесят первого года, о котором потом рассказал Александр Солженицын.

Обе книги — «Судьба человека» и «Один день Ивана Денисовича» — явились итогом многолетних испытаний и раздумий. Для каждого из двух писателей решающим творческим толчком, разом прояснившим и отлившим в единый образ всё услышанное, увиденное и пережитое, стали события 1953–1956 годов и перевальная их точка — Двадцатый партийный съезд. Речь идёт не просто об открывшейся после этого возможности написать и опубликовать книгу, подобную солженицынской, хотя и это обстоятельство говорит само за себя. Имеется в виду нечто несравненно большее, без чего немислимо было создать не только «Один день», но и «Судьбу человека».

Ленинский революционный порыв и мужество, не отступающее перед самой трудной правдой, ленинская ненависть к страданию и несчастью, ленинская вера в Человека-труженика и победителя, в творческую силу народных масс — всё, что одушевляло Партию в те памятные годы, было щедро передано ею своим художникам. И тот, кто сумел пойти в ногу с распрямившимся Современником, показал в своих книгах, как «становилось иным» ускорившее бег наше Время. Образ борца, коммуниста, распутывающего той трудной весной культовые тугие узлы, направляющего созидательные силы народа в очищенное взрывами русло, со всей закономерностью оказался в центре внимания каждого из писателей, кто, вслед за Партией, повёл подлинную битву в пути против всего, что мешало нам в жизни.

Андрей Соколов вошёл в самое кипение этой битвы неторопливой, усталой и твёрдой походкой хозяина, держа за холодную ручонку вновь обрётённого сына — завтрашнюю смену и надежду свою. В кругу обступивших его литературных сверстников человек в повидавшем виды солдатском ватнике, с большими тёмными руками выделился сразу же.

Не только непревзойдённая пластичность и драматическая выразительность шолоховского рисунка, не только мускулисто-напряжённая неспешность его повествования, осязаемо, на последнем пределе сдерживающая бешеное клочкотание мысли и чувства, явились тому причиной.

«— Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на неё глядел, а в упор», — говорит Андрей о своей жене Иринке. Вот так — в упор — сумел разглядеть Шолохов и самого Андрея, так и показал его. Есть в нём необычная простота и некое глубинное зеркало, позволяющие понимать и воспринимать как свои собственные каждое душевное движение, каждую мысль этого человека, а значит, и вытекающую из них глубочайшую обоснованность совершаемых им поступков. В простоте этой — ничего общего с примитивом, она — классическая простота художественной завершенности. И отсюда — её внутренняя наполненность и многозначность. Отсюда — ощущение давней близости, давнего, хотя и полузабытого знакомства с Андреем Соколовым. Словно встречались мы с ним где-то и не однажды встречались: то ли в толпе героев «Тихого Дона», где-то рядом со Штокманом и Бунчуком, то ли среди таманцев у Кожуха, то ли у гладковского Глеба Чумалова на цементном заводе... Потом как-то исчез он из виду — гулом катилось время, выплёскивая иные лица, иные имена. Грохали взрывы у Днепровских порогов, гудели паровозы на Турксибе, топоры стучали близ горы Магнитной и в Приамурье, и на зов этой трудовой музыки спешили молодые и старые художники — каждому хотелось рассказать о самом что ни на есть переднем крае большого наступления. Так ведь оно и сегодня — звёздные старты Байконура, целина, Красноярск или Куба, — где ещё можно скорее отыскать настоящего героя Времени! Не искать же его в воронежской автоколонне или, скажем, среди текстильщиц Ярославля! Об этом охотнее всего пишут — и правильно делают! — очеркисты и поэты, и вездесущие в таких местах киношники не жалеют на это километры драгоценной плёнки...

Но мало кто из них возвращается к готовой плотине, когда уходят с неё далеко вниз по реке строительные бригады. Спокойно водное зеркало, глухо шумит водосброс, глубоко запрятанные в бетонном теле, неслышные снаружи, гудят огромные турбины: праздник покорения стихии кончен, потянулись рабочие будни. И не всегда, не сразу приходит в голову романтикам и непоседам, что как раз это вот и есть самая основа нашей жизни, что во имя этого рычали здесь самосвалы и шёл Большой бетон и что тихую на вид глубину колышет добрая великанья силища, в тысячу раз больше той, которая мячиками крути-

ла летящие в проран многотонные пирамиды. И каждая капля здесь, прозрачная как слеза, несёт в себе частицу её могучего и верного дыхания, в каждой — скрытые до поры, но уже работающие киловатты: тепло, свет, энергия, жизнь на многие годы...

«... — Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестрёнкой дома померли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати, нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатёнку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошёл на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился...»

Не в «обыкновенной» ли жизни этой первоистоки соколовского характера? Простой парень крестьянского корня из чернозёмных воронежских краёв, красноармеец, батрак, рабочий — он с первых шагов по земле вобрал в себя огненное дыхание своего ровесника — века, принимая как нечто своё, кровное и революцию, и ярость открытой классовой схватки. Многим зарубежным братьям и сёстрам, пережившим фашистскую чуму и сознающим ужас нависшей над миром новой угрозы, стал близок Андрей Соколов своей болью, своей судьбой. Но, наверное, никто, кроме его российских сверстников, не смог бы понять до конца источников его нестигаемой душевной силы, прочувствовать всю не сознающую себя гордую сдержанность лаконизма, с которым он говорит о своей «обыкновенной» молодости. Она воистину обыкновенна, его судьба, ибо в ней — судьба всего народа, взявшего на свои плечи тяжкий и солнечный груз идущего впереди.

Сверстник и соратник пастуха Метелицы и кочегара Корчагина, во многом разделивший с ними «обыкновенную» их жизнь, он принял у них эстафету Революции и пронес её через труды и годы вплоть до фронтов Отечественной войны. Здесь вновь «отыскался след Тарасов».

Сейчас, оглядываясь на события, вчитываясь в книги того времени, мы понимаем, что Соколов мог быть тем безыменным пожилым солдатом, который отходил на восток вместе с младшим своим однополчанином Васей Тёркиным и которому привелось провести прощальную горькую ночь в родном доме. Он мог быть и среди тех, кто более чем сочувственно, более чем понимающе слушал рассказ Егора Дрёмова: русский воинский характер этого толстовского героя породственному близок самому Соколову. И уж конечно совсем рядом, буквально плечом к плечу, шёл Андрей в колонне военнопленных

вместе со своим шолоховским предшественником — лейтенантом Герасимовым, постигая одну и ту же науку ненависти.

Не проявилась ли здесь одна из интереснейших закономерностей нашего литературного развития, примечательный параллельный процесс? Лучшие качества современника, кристаллизуясь и воплощаясь в характерах ведущих литературных героев на каждом из «этапов большого пути», пройденного народом, одновременно и до поры неприметно складывались, сплавлялись в некий будущий «завтрашний» характер. И разумеется, пришло время, когда новый герой со всей неизбежностью должен был занять предназначенное ему место в боевом строю. Андрей Соколов дождался своего «звёздного часа», выступив вперёд в самую пору, когда загудел над страной ветер новых больших скоростей и снова, в который уже раз, понадобилось советским людям взглянуть в самих себя, понять свою главную силу.

Совсем не случайным представляется возвращение Шолохова в его рассказе в первую послевоенную весну, на крутой перевал сорок шестого года. Именно в те дни впервые во всей трудной и могучей полноте предстал перед народом совершённый им всечеловеческий подвиг. Не пережитой до конца радостью, в слепящем сиянии славы и торжества вознеслась тогда над страной Победа, и не высохли ещё счастливые слёзы на глазах у людей, завоевавших мир. Но ещё тянуло гарью и страшным сладковатым тленом от закопчённых развалин, и кровоточили раны, и другие слёзы ещё были обильны в тот год — те, от которых не просыхала по ночам соколовская подушка...

Цена мира, облик победителя и открытые им пути! — не одного писателя привлекла и вдохновила тогда эта тема, и немало отличных книг вышло из-под их пера. Да и сам Шолохов снова и снова задумывался над нею, работая над романом о войне и переживая памятную встречу близ хутора Моховского. Но связанная с культом личности литературная обстановка тех лет создавала трудноразрешимые противоречия. Возникшая в фимиамах тенденция облегчённости суживала размах всенародного подвига, снимала диалектическую глубину и сложность художественного восприятия.

И только к пятьдесят шестому году, когда вновь восторжествовали ленинские нормы партийного руководства, появилась возможность и потребность по-настоящему взглянуть в самый грозный из пройденных перевалов, чтобы увидеть наконец победившего Человека во всей его простой, трудной и гордой судьбе, в его доподлинной жизнеутверждающей народной силе.

Самое главное и важное в Соколове — *общенародность социально-психологической основы* его характера. Он прежде всего — рабочий

человек. Но живёт в нём и могучий крестьянский корень — его облагороженная и очищенная социализмом сила, живёт всё, что растила Партия год за годом в каждом из советских людей, постоянно имея перед собою вдохновляющий пример ленинского облика, черты воспетого в нём Горьким и Маяковским Человека с большой буквы. И это не умозрительно сконструированный писателем образ «идеального героя», но подсказанный Шолохову самой жизнью характер, в котором всё лучшее, усвоенное им от двух классов-братьев, уже слилось в неразличимом и неразделимом сплаве.

Отсюда в Соколове всё: исполненное сдержанной силой достоинство Хозяина державы, уважение к своему брату-труженику, простая и ясная житейская мудрость, богатство души и речи. Отсюда большая его любовь: «Не было для меня красивей и желанней её, не было на свете и не будет!..» И отсюда же ведущая, *партийная* черта его характера — та самая, которую ещё Горький назвал «воинствующим оптимизмом материалиста».

Пройдя через страдания, наполнившие его глаза неизбывной смертной тоской, до конца жизни неся в сердце страшный след, он не тащит свою боль напоказ людям, не нянчит её. По отношению к фигурам многочисленных героев западной и некоторым персонажам нашей литературы, в изображении которых на первый план выступила «гуманистическая» тема «маленького человека», шолоховский Соколов занимает совершенно определённую позицию:

«Тошное время было, не до писания было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, жёнам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабёнкам и детишкам не слаще нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась!.. Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы всё вытерпеть, всё снести, если к тому нужда позвала...»

Он и теперь «не играет на жалобных струнах» — слишком далеко от жалости чувство, которое вызывает его исповедь. Устав от невыносимого груза гнетущей его тоски, он лишь на час-два оперся на дружеское плечо своего же брата-фронтовика, отослав на ту пору подальше маленького сынишку, чтобы не обжечь его душу нечаянной мужскою слезой. А потом он вновь возьмёт его за руку и поведёт дальше, терпя и снося без стола всё, чем его «исказнила жизнь», потому что он по-прежнему мужчина и солдат — опора державы, опора растущей юности.

А главное — не в терпении доблесть и становая жила его характера! Она в активной ненависти к самому страданию, в том презрении, с которым относится он к нытикам и малодушным, в ярости, с которой встречает всё, что приносит людям боль и унижение. И чем тяжелее раны, наносимые ею, тем крепче, упорнее, злее, тем бесстрашнее его отпор. Коммунист по высшему праву строителя жизни и её защитника, он словно заговорён своей неизбывной действенной любовью — к детям, к Иринке, к Родине, к Человеку в себе и товарищах своих. И потому он всегда побеждает — ему просто иначе нельзя!..

По той же причине самая исповедь его в первую очередь — рассказ об этих победах. Нигде не задерживаясь на подробностях своих мук, он всякий раз со всей обстоятельностью разворачивает перед молчаливым слушателем исчерпывающую картину пережитых схваток: будь то казнь предателя в ночной церкви, могучий выплеск мужества, патриотизма и русской солдатской удали в смертном поединке с Мюллером или похищение фашистского майора. И конечно, не из похвальбы останавливается он на этом, а потому, что этим живёт и дышит, на том стоит.

И оно, это главное, несравненно больше, необъятнее чисто солдатских, мужских качеств Андрея, громаднее его личной судьбы. Не случайно центральной, самой потрясающей сценой рассказа, сообщившей ему поистине всечеловеческое дыхание и бессмертный взлёт, стала не воинская, а иная, самая большая победа:

«...Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: “Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?” Он и спросил, как выдохнул: “Кто?” Я ему и говорю так же тихо: “Я — твой отец”.

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щёки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: “Папка, родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдёшь! Всё равно найдёшь! Я так долго ждал, когда ты меня найдёшь!” Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьёт, и руки трясутся...»

IV

«В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стекла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать.

Звон утих, а за окном всё так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три жёлтых фонаря: два — на зоне, один — внутри лагеря...»

День Ивана Денисовича начался... Примечательно прежде всего, что выдался он «ничем не омрачённый, почти счастливый», и поздним его вечером Шухов, скорчившись на своей «вагонке», засыпал «вполне удовлетворённый!». И было отчего — сплошные удачи: «в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся».

Другими словами, Солженицын тоже ведёт своего героя от «победы» к «победе», не задерживая читательского внимания на его несчастьях, но зато во всех подробностях разворачивая историю каждой из многочисленных его удач. И всё же трудно подобрать более резкий контраст к повествованию о судьбе Андрея Соколова: самые несомненные шуховские «победы» — та же «закошенная» каша или подработанная «пайка» — отдают терпкой горечью человеческой боли и унижения.

Иной характер, иная судьба раскрылась здесь, тем более трагическая, что в лице Ивана Денисовича предстал перед нами простой труженик и младший современник Андрея.

Подобно Соколову, он не расположен «играть на жалобных струнах» и убеждён в том, что перетерпит, передождит навалившуюся на него беду. В это — веришь, потому что главным источником «стихийного» шуховского оптимизма была и остаётся живинка умельца-труженика, бьющая в его душе неиссякаемым родничком. Благодаря этой живинке подневольный горький труд то и дело оборачивается для Ивана Денисовича подлинным упоением.

Но есть в Шухове и другое,стораживающее: чрезмерная душевная гибкость, приспособляемость, безответность, которые навряд ли можно объяснить одной лишь психикой «зэка». Нельзя объяснить только ею и равнодушие к тому хорошему и плохому, что происходит в стране.

Иногда хмурое, чаще насмешливо-доброжелательное, но всё-таки именно равнодушие, или, точнее, социальная инертность, — не просто свойство, «благоприобретённое» Иваном Денисовичем за восемь лет «срока». Здесь ощущается нечто более органичное, природное, нечто слишком своё, разве что получившее большие возможности для своего расцвета в условиях лагеря. Может быть, трагически-пре-

¹ В тексте: «удоволенный». — *Примеч. сост.*

ступная, вопиющая несправедливость лагерной повседневности так и помешала бы понять эти шуховские качества, если б не привёл нас Солженицын некоторое время спустя на Матрёнин двор и не показал бы те же самые черты в ином человеке, в иной обстановке. Ещё более безответная Матрёна помогла гораздо больше узнать и Шухова.

«<...> Кряхти да гнись. А упрёшься — переломишься» — вот жизненное кредо Ивана Денисовича. С сочувственным неодобрением и сознанием собственного превосходства наблюдает он, как «упирается» только что попавший в лагерь кавторанг Буйновский: может, и устоит моряк, а скорее всего, «жить научится». И опять же, по Матрёне судя, с достаточной уверенностью можно предполагать, что и до лагеря, до войны, в «обыкновенной жизни», придерживался Шухов всё той же «мудрости» и пробавлялся бы ею даже в том случае, если б миновала его стороной горькая лагерная судьба. А попади он вместе с Соколовым в немецкий лагерь, навряд ли пришло бы ему в голову душить мордатого «стукача», выручая партизана-командира. Точно так же, как не пришло ему в голову встать с занесённой лопатой рядом со своим бригадиром и товарищами-«зэками» против «стукача» Дэра. И уж конечно бы поостерёгся, не высказался бы вслух Иван Денисович, в отличие от Соколова, насчёт «четырёх кубометров и верной мотылы», хоть, может, и подумал бы про себя то же.

Но в том-то и дело, что самая попытка хотя бы на миг поменять местами Шухова и Соколова, по меньшей мере, наивна. Литературный персонаж, пусть даже выписанный с предельной степенью мастерства, всё-таки остаётся персонажем, и любая «смена прописки» ему противопоказана. Более того — чем сильнее талант художника, тем органичнее связь его героя со всей обстановкой и временем, в котором развёртывается действие книги. Это даже не связь, а слияние: одно без другого теряет всякое содержание и смысл.

Художественное произведение — это прежде всего акт познания человека и Времени, социально-психологический анализ воссоздаваемых в нём жизненных явлений, вскрывающий закономерности их рождения и развития. Правильный выбор самого явления, степень воплощения в нём наиболее яркой вспышки исторического конфликта — первый решающий шаг в этом исследовании. Шаг второй, тоже решающий: выбор центрального характера, концентрирующего в себе этот конфликт, — именно здесь прежде всего сказывается могущество писательского таланта. И чем глубже проникновение к первоистокам избранного характера, чем больше вложенная в него сила образного художественного воплощения, тем полнее и убедительнее выражает

он в неразрывном диалектическом синтезе причины и следствия изображаемого и писательский ему приговор.

Снова и снова вдумываясь в решения Двадцатого партсъезда, в который раз убеждаешься в том, насколько по-ленински глубоко и диалектично были определены этими решениями наши ошибки и успехи. Только с этой мерой и возможно подходить к оценке событий, положенных в основу шолоховского рассказа и в основу повести А. Солженицына, к пониманию выхваченных из жизни и воссозданных этими писателями типических характеров.

Мы уже видели: никто, кроме Соколова, не мог с большей силой воплотить подвиг советского человека, который ценою невиданных усилий и жертв сокрушил фашизм, отстоял жизнь и счастье будущих поколений. Шолохов ответил Соколовым на самые волнующие, самые важные для нас вопросы: что помогло народу выдержать и преодолеть тягчайшие испытания времени и в чьих руках, в чьём сердце и разуме находится сегодняшняя и завтрашняя судьба страны, судьба ленинских замыслов!

Тем самым Шолохов ответил и на вопрос о том, что сокрушило и отбросило с нашего пути культ личности и его последствия. Мужество и решимость свою Партия и в этом случае почерпнула в народе, его интересы отстаивала она, опиралась на его поддержку, на неизменное его свойство — всегда смотреть прямо в глаза самой нелёгкой жизненной правде и бесконечно верить человеку труда, носителю и защитнику ленинских основ нашей жизни.

Солженицын не ставил и не пытался ставить своей повестью подобного вопроса. В «Одном дне» он прежде всего показал не то, что сокрушило культ, а то, что порождалось его атмосферой: человеческую инертность и человеческую трагедию. И поскольку то и другое, по тому времени, было явлением достаточно распространённым и отразилось на судьбах многих людей, а значит, в известной мере, и на судьбе народа, — воплотить и выразить всё это должен был характер уже иного, не соколовского склада.

Стоит ещё раз попристальнее взглядеться в те черты, которые вначале так неприятно насторожили нас в Шухове, и мы увидим, как тесно связаны они с пережитками патриархальной крестьянской психики, с мировоззрением тех социальных элементов, которые, даже будучи увлекаемы массой непосредственных свершителей и участников революции, говоря словами Ленина, «...явно не понимали происходящего... отстранялись от настоящих исторических задач, поставленных перед ними ходом событий».

Не случайно и то обстоятельство, что сразу же по выходе «Одного дня» многие наши критики начали вспоминать Платона Каратаева. Дело, конечно, не в каких-то внешних приметах, якобы сближающих Шухова с этим толстовским персонажем, а в ощущении известной близости идей, воплотивших «отражение мягкотелости патриархальной деревни и заскорузлой трусливости хозяйственного мужичка» с некоторыми из характерных качеств Ивана Денисовича.

Идущая от той же старины социальная инертность вносит особую окраску в шуховское долготерпение. Оно совсем, совсем иного порядка, нежели терпеливость Соколова!.. Андрей переносит свои муки во имя борьбы и ненависти к врагу, во имя действенной любви к Родине и близким людям. Терпеливость его имеет свои точно очерченные и рассчитанные задачи — это необходимое качество бойца, человека, идущего впереди. А долготерпение Шухова где-то неуловимо переходит в примирение с нескладной судьбой и со всей культовой неурядицей.

Кругозор Ивана Денисовича предельно ограничен: он реагирует лишь на факты, имеющие к нему непосредственное отношение, и никогда не выносит своих обобщений за пределы «зоны», как Матрёна своих — за пределы своей деревни. Он понимает, что случившееся с ним и его товарищами жестоко и несправедливо, но ему, прожившему почти всю свою сознательную жизнь при советской власти и ушедшему на фронт, защищать эту власть, *ни разу* не приходит в голову мысль о вопиющем противоречии, о враждебности того, что с ним произошло, всему, что начертала Республика на своём знамени. Он вообще не даёт себе труда задуматься ни над причинами этой несправедливости, ни над возможностями её устранения. В лагерь приходят иной раз посылками и бандеролями свежие газеты, но... трудно представить себе что-либо более несообразное, чем номер «Вечёрки» в руках Ивана Денисовича, — он первый рассмеялся бы самой возможности подобного предположения...

И конечно же, всё это опять не столько лагерь, сколько всё то же Темгенёво, тот же Матрёнин двор!.. Ведь и жизнь родной деревни — ненормальная, непонятная жизнь, о которой Шухов узнаёт из писем жены, — отсюда, на расстоянии, воспринимается им тем же порядком: труженик и умелец в нём протестует против откровенно халтурного «коврового» промысла — и мы верим, что не захватит Ивана Денисовича это «огневое» поветрие, но дальше раздумий о собственных личных планах и возможностях на этот счёт он, разумеется, не идёт.

Работящий, честный, хозяйственный и добрый мужик, он так и не стал и — по мысли тех, кто водворил его за колючую проволоку, — не

должен стать никогда хозяином в своей стране. И сам он в этом случае вроде бы со всей охотой готов согласиться с ними: «По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что завтра, что через год да чем семью кормить. Обо всём за него начальство думает — оно, будто, и легче».

V

Шуховское «начальство» просчиталось. Обновляющийся день ото дня уклад нашей жизни, устремлённой в коммунизм, смахнул навсёгда, вместе со всем прочим, и паутину колючей проволоки, окружавшей «зоны». Свобода и справедливость ворвались сюда именем Партии, именем Советской власти, именем Человека — хозяина державы. И разве могло быть иначе!..

Но как раз поэтому всё, что тревожит нас в Шухове и ему подобных, заслуживает сейчас самого пристального внимания. Ведь эти свойства ещё живут среди нас, питая и плодя житейскую «правдочку» маленьких людей, апеллируя к якобы «общечеловеческим» началам, прорываясь в нашу литературу то убогой философией юных претендентов на звёздные билеты, то живописными и трогательными, почти этнографическими фигурами престарелых деревенских «праведников».

Они не выдуманы, эти «герои», нет! Они действительно существуют, и писать о них необходимо. Трудности заключаются лишь в том, как писать, как видеть и понимать этих людей, как определить их место в нашей современности, в её движении, развитии, росте.

Сложнее всего обстоит в этом случае дело с изображением тех крестьянских характеров, которые один за другим начали выступать за последние годы на страницах наших «толстых» журналов, в повестях и рассказах Алексея Некрасова, Владимира Тендрякова, Александра Яшина, Юрия Казакова, Павла Ребрина и в особенности у А. Солженицына: его «Матрёнин двор» стал своеобразной квинтэссенцией всего, что так или иначе проявляется у остальных.

В истории нашей литературы подобные характеры — явление отнюдь не новое, но давно не наблюдавшееся. Так давно, что выглядит оно едва ли не воскресшим из мёртвых. Уже высказана на этот счёт интересная мысль о том, что в лице героев подобного склада можно увидеть возвращение к двум традиционным типам русского крестьянского характера, прошедшим через всю дооктябрьскую литературу — от Тургенева до Льва Толстого, от Лескова и Глеба Успенского до Буни-

на и Горького включительно. Безответные страдальцы-праведники и непоседливые бродяги перекаати-поле: странники, богомольцы, правдоискатели, кочуя из книги в книгу, подошли к огненному октябрьскому порогу весьма внушительной толпой.

Подошли и остановились и затеснились испуганно, отодвигаемые на задний план другими, более энергичными фигурами, поднявшимися из их же мужичьих рядов.

В этом была своя историческая закономерность. Почва, на которой выросли и сложились эти характеры, долгое время питала своими соками то общество, на штурм которого повели пролетарские полки Ленин и его Партия. Раскорчёванная на рубеже столетия могучими силами рабочего движения, орошённая кровью последних бесславных войн российского царизма, она была глубоко перепахана стальными лемехами Октября и надёжно проборонована в годы коллективизации, дав обильные ленинские всходы.

Именно тогда, начиная с первых послеоктябрьских десятилетий вплоть до Великой Отечественной войны, распрямлялся и рос новый крестьянин — борец и строитель социализма, брат и соратник восставшего рабочего класса. Верность ленинскому знамени, накопленная веками ненависть к богатым-эксплуататорам, любовь к труду навеки скрепили братский союз серпа и молота. И когда Партия указала мужику иной, не дедовский путь к счастью и достатку, он пошёл по этому пути, подавляя в себе извечное недоверие ко всему исходящему от «власти», изживая и собственнические инстинкты, нищенское смиренномудрие, пресловутую «терпеливость», которую так долго и упорно славилы иные литераторы-«народолюбцы» прошлого века.

Он шёл через распаханые межи, чувствуя, как год от году растёт в нём новый большой Хозяин: не на собственном — три шага в ширину — клочке, но на всей завоёванной и вынянченной огромной земле. Такими шагнули в нашу литературу партизаны Всеволода Иванова и сейфуллинская Вириная, Кондрат Майданников и Кирилл Ждаркин, таким поднялся из снега в атаку за населённый пункт Борки рядовой Василий Тёркин, соки тех же могучих корней впитал в себя Андрей Соколов. И не в современных ли, подлинно *народных* колхозных семьях на Смоленщине и близ Ярославля родились и подрастали до поры мальчик и девочка с ещё небывалой звёздной судьбой: само Будущее сделало вместе с ними их первый шаг в рассветные деревенские росы, через потёртый сенной порожок родной избы!.. Так наметилось, утвердилось, устремилось в завтрашний день магистральное развитие крестьянской, колхозной темы в нашей литературе.

И вот рядом с нею, сперва на просёлках и обочинах, а потом всё ближе к большаку, стали появляться одна за другой давненько не виданные фигуры. Иные из них уже вступили и на самый большак, настойчиво подталкиваемые своими авторами.

Если и есть в этом определённая закономерность (а она, очевидно, есть, ибо для случайности слишком много примеров такого рода!), то заключается она, видимо, в тех коренных революционных преобразованиях, которые с такой настойчивостью и энергией проводит Партия в нашей деревне. В глубокой вспашке оставленных культом и войной залежей и огрехов, в подъёме тех глубинных вековых пластов, до которых не удалось достать за два довоенных десятилетия.

Но в таком случае и литературное отражение этих примечательных процессов должно развиваться по тому же партийному пути, помогая дальнейшему становлению труженика земли, множа и укрепляя в нём качества, необходимые для победы нашего дела и уничтожая сорняки, мешающие этой победе.

Вот почему такую законную тревогу наших критиков и читателей вызывает всякая попытка найти какие-то принципиально иные подходы к решению этой задачи, ограничиться жалостью и сочувствием к мытарствам и нескладной судьбе «бродяг» и «праведников», окружить их ореолом святости или увенчать терновым венцом. В конце концов ведь не столько облик солженицынской Матрёны вызывает у нас внутренний душевный отпор, сколько откровенное авторское любованье нищенским бескорытием и не менее откровенное стремление возвести и противопоставить его хищности собственника, гнездящейся в окружающих её, близких ей людях. Но ведь оба эти качества — лишь две стороны одной медали: одно вытекает из другого!

«Праведнические» черты Ивана Денисовича, ввиду пребывания его за колючей проволокой «зоны», ещё не вызвали такого чувства: они слишком сливались с её мрачной атмосферой, казались исключительно её порождением, которое навсегда осталось позади вместе с нею самой. Положительным идеалом писателя, противостоящим этой атмосфере и отрицавшим её, выступала сама наша современность, выступали непреложные ленинские критерии. Иное дело Матрёна, обитатели ребринского Головырина и прочие «праведники» этого рода. В отличие от Ивана Денисовича, они остались, что называется, «один на один» с сегодняшней действительностью, сохранив, однако, все шуховские качества — и любовь к труду, и... социальную инертность, причём с явным преобладанием последней.

О том, что такое преобладание весьма опасно как для самих носителей этого свойства, так и для окружающих, знают и сами авторы. Не случайно один из больших наших писателей, весьма сочувствующий Матрёне, сравнил фатальную её гибель с гибелью... Анны Карениной — «мне отмщение, и аз воздам!». Но что касается той жизненной силы, того идеала, который можно было бы противопоставить этим качествам и этой судьбе, отыскав и указав его в самой действительности, в самих людях, о которых с таким сочувствием рассказывают названные литераторы, то здесь дело обстоит сложнее!

Когда читаешь эти книги, не раз приходит мысль о том, что не художник ведёт такого героя через жизнь, помогая ему видеть дальше и шире деревенской околицы, а наоборот, — мировоззрение самого «праведника» очерчивает заколдованным кругом писательский горизонт: тараканы, шуршащие за обоями, засиженные мухами плакаты и божницы, тяжёлая липкая грязь из-под тележных колёс...

— А ведь это не вся правда! — звучит голос Алексея Максимовича. — Не вся. И — не главная. Не унижать человека жалостью, а уважать его надобно как хозяина своей земли. Это вот, знаете, забываем мы порой... А надо помнить.

В. Лакшин

ИВАН ДЕНИСОВИЧ, ЕГО ДРУЗЬЯ И НЕДРУГИ¹

1

Трудно представить себе, что ещё год назад мы не знали имени Солженицына. Кажется, он давно живёт в нашей литературе и без него она была бы решительно не полна. Каждый новый его рассказ — хвалит, ругает ли его критика — не оставляет читателя безучастным. О нём говорят, его цитируют, судят его с какой-то особой, необычной для наших литературных споров требовательностью, которая есть первый знак того, что мы по-настоящему задеты и взволнованы. Заурядность располагает к благодушию оценок, но тот, кто поразил нас при первом своём появлении, не может рассчитывать на снисходительность. И таков уж закон читательской психологии или, если угодно, предрассудок её, что, какие бы новые темы и формы ни разрабатывал Солженицын в «Матрёнином дворе» или рассказе «Для пользы дела», ему не избе-

¹ Новый мир. 1964. № 1.

жать сравнений с его первой повестью — к выгоде или невыгоде для неё. Так или иначе, но повесть «Один день Ивана Денисовича», с которой А. Солженицын вошёл в литературу, остаётся для большинства читателей как бы эталоном его деятельности художника. Тем полезнее сейчас, когда в критике уже высказаны различные точки зрения на талант Солженицына, оглянуться назад и пристальнее всмотреться в эту маленькую повесть.

«Один день Ивана Денисовича» был прочитан даже теми, кто обычно повестей и романов не читает. Один такой «нерегулярный» читатель сказал мне: «Я не знаю, плохо или хорошо это написано. Мне кажется, иначе и написать нельзя».

Повесть поражала жестокостью и прямоотой своей правды.

Это был тот редкий в литературе случай, когда выход в свет художественного произведения в короткий срок стал событием общественно-политическим.

Н.С. Хрущёв дал высокую оценку этой повести, тепло отозвался о её герое, сохранившем достоинство и красоту трудового человека и в нечеловеческих условиях, о правдивости изложения, о партийном подходе автора к явлениям столь горькой и суровой действительности. Сам факт появления повести был воспринят людьми как подтверждение воли партии навсегда покончить с произволом и беззакониями, омрачавшими недавнее наше прошлое. И понятно, что гражданская смелость автора была отмечена прежде и повсеместнее, чем его художественная смелость.

Иной склонен был думать, что успех писателю принесла сама тема — острая и новая, и ещё что Солженицыну ничего не стоило написать свою повесть, потому что Иван Денисович — это он самый и есть — просто сел за стол да написал бесхитростно историю одного своего дня. Мнение лестное для автора, до такой степени слившегося в нашем сознании с героем, но наивное и несправедливое. Правдиво рассказать о жизни заключённых в лагере ничуть не проще, чем написать, скажем, о буднях войны, о стройке или колхозе. Дело здесь не в теме, а в таланте, то есть в чувстве правды автора и умении нам эту правду передать. Что же касается простодушной догадки, что сам Солженицын и есть Иван Денисович, оттого и авторская задача его была легка, то последние рассказы многим помогли разубедиться в этом. Подобно автору «Мадам Бовари», говорившему «Эмма — это я», Солженицын мог бы сказать о себе, что он — это и старуха Матрёна, и молоденький лейтенант Зотов, и партийный работник Грачиков, то есть все те лица, которые изображены в его рассказах с такой высокой

объективностью и знанием человеческого сердца, но в которых вовсе не растворяется без остатка личность писателя.

Художественная смелость Солженицына в его первой повести сказалась уже в том, что он не потворствовал обычным нашим понятиям об украшениях художественности. Он не построил по существу никакого внешнего сюжета, не старался покруче завязать действие и поэффектней развязать его, не подогревал интерес к своему повествованию ухищрениями литературной интриги. Замысел его был строг и прост, почти аскетичен — рассказать час за часом об одном дне одного заключённого, от подъёма и до отбоя. И это была тем большая смелость, что трудно было себе представить, как можно остаться простым, спокойным, естественным, почти обыденным в такой жестокой и трагической теме.

Солженицын разочаровал тех, кто ждал от него рассказа о злодеяниях, пытках, кровавых муках, об эксцессах бесчеловечности в лагере, о мучениках и героях каторги. Странно признаться, но первое впечатление, которое мы испытали, начавши читать повесть, было: и там люди живут. И там работают, спят, едят, ссорятся и мирятся, и там радуются малым радостям, надеются, спорят, бывает, подшучивают друг над другом...

Как нарочно (не сомневаюсь, что нарочно), автор выбрал для рассказа относительно благополучную пору в лагерной судьбе своего героя. Ведь было и так, что на Севере, в Усть-Ижме, куда поначалу попал Иван Денисович, зиму без валенок ходили, есть же совсем было нечего, и «доходил» уже Шухов кровавым поносом. Да и режим там был не в пример суровой. «В усть-ижменском скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар что хошь <...>». Но о той поре жизни Иван Денисович вспоминает вскользь, к случаю и обычно для того только, чтобы подчеркнуть преимущества нынешнего Особлага — «здесь поспокойней, пожалуй».

Самое же парадоксальное и смелое, что и в этой сравнительно лёгкой полосе лагерного срока автор выбирает из длинной череды дней, проведённых Иваном Денисовичем за колючей проволокой, день не просто рядовой, но даже удачный для Шухова, «почти счастливый». К чему это? Не хочет же он в самом деле уверить нас, что и в лагере «жить можно»?

Что пользы в праздных вопросах. Вспомним лучше, какие чувства пережили мы, открыв впервые повесть Солженицына и начавши читать эту, казавшуюся неуклюжей, грубовато-небрежной и в то же

время подчинявшую нас какому-то своему могущественному ритму, прозу:

«В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака. Перерываемый¹ звон слабо прошёл сквозь стёкла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать.

Звон утих, а за окном всё так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три жёлтых фонаря: два — на зоне, один — внутри лагеря.

И барака что-то не шли отпирать, и не слышать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палки — выносить».

Веско, тяжело, как отрубленные, падают эти слова, и вот уже отодвигается, расплываясь в очертаниях, только что окружавший нас привычный, живой и вольный мир, и мы оказываемся где-то за огромным снежным голым полем, за двумя рядами колючей проволоки, за предутренней тьмою, раздираемой накрест двумя прожекторами с угловых вышек. Вот сейчас мы очнёмся вместе с Шуховым на клопанной вагонке в деревянном, с паутиной инея по стенам бараке. С ним вместе, закутавшим ноги в телогрейку, натянувшим на голову одеяло, еле угревшимся и нездоровым, будем тянуть эти минуты после подъёма, пока власть имеющая рука Татарина не сбросит Шухова с нар. И потом выйдем из барака и пойдём за ним по двору, где бегают, запахнувшись в бушлаты и дрожа от мороза, зэки, мимо столба с термометром и рельса на толстой проволоке — в надзирательскую, мыть пол. А после, кое-как управившись с этой работой, опять на мороз...

Так, миновав лишь несколько первых страниц, мы побываем вместе с Шуховым в штабном бараке, санчасти, столовой, а потом вернёмся ненадолго к его вагонке — вот уже и весь лагерь как на ладони, кроме разве что БУРа, который стоит за дощатым заплотом в центре лагеря и будет стоять каким-то мрачным наваждением до конца повести, когда туда поведут погорячившегося на «шмоне» кавторанга.

Солженицын делает так, что мы видим и узнаём жизнь зэка не со стороны, а изнутри, «от него». Старый лагерник Шухов живёт в тех особых условиях, когда все вещи и отношения получают иную, чем обычно, цену: то, что казалось важным и значительным на свободе, здесь часто выглядит мешающим и лишним, зато другие вещи, прежде мало замечаемые, приобретают ни с чем не сравнимую важность. Надо знать эту иную шкалу ценностей, чтобы понять Шухова. А для этого Солженицыну очень важно рассказать о том, что и как едят его

¹ В тексте: «Перерывистый». — *Примеч. сост.*

герои, что курят, где работают, как спят, во что обуваются и одеваются, чем укрываются на ночь, как говорят между собою и как с начальством, что думают о воле, чего сильнее всего боятся и на что надеются. Тут как бы полный лексикон подробностей лагерного быта, описанного художником с социально-этнографической точностью, и, наверное, всякому, кто будет писать об этом после Солженицына, невольно придётся ступать в его след.

В лагере всё делается по своему чину и ряду, в согласии с неизвестными на воле понятиями обо всём — об удаче и неудаче, о чести и бесчестии, о приличии и неприличии. И разве когда забудешь, раз прочитавши, такую, например, подробность: за едой косточки рыбки из баланды зэки плюют на стол, собирают их в кучку, а потом смахивают со стола, и они на полу дохрустывают. «А прямо на пол кости плевать — считается вроде бы неаккуратно».

Такое внимание ко всему обиходу жизни лагеря художественно оправдано ещё тем, что Иван Денисович, которого автор дал нам в проводники по каторжному аду, человек, по-крестьянски дотошный и практичный, а восемь лет лагеря ещё приучили его быть внимательным ко всякой мелочи, ибо от этого зависит благополучие, здоровье и самая жизнь лагерника. Вот он, воспользовавшись оплошностью повара, ловко «закосил» две лишние миски каши; вот подобрал по дороге кусок ножовки: заточить её — ножичек сапожный выйдет, ему в бараке цены нет — обувь починяя, подработать можно...

Автор задерживается всё время на маленьких удачах Шухова, точно старается растянуть счастливые для него минуты, а драматические моменты его лагерной жизни как бы отводит в тень.

Но ведь и о мере несчастья человека можно дать понятие, рассказав о том, что кажется ему счастьем. Всё, к чему давно притерпелись глаза Ивана Денисовича, что вошло в его быт и стало казаться обычным, по существу своему страшно и бесчеловечно. И когда мы читаем в конце повести, что Шухов засыпал «вполне удовлетворенный», потому что на дню у него выдалось много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он «закосил» лишнюю кашу и т.д., — это приносит нам не чувство облегчения, но чувство щемящей, мучительной боли.

О том, что день этот для Ивана Денисовича был «почти счастливым», автор говорит без тени саркастической усмешки, со спокойной серьёзностью. Шухов в самом деле доволен своим днём, хотя удачи его большей частью проявились, так сказать, в негативной форме; они состояли в том, что на этот раз он избежал обычных лагерных напастей:

«не посадили... не выгнали... не попался... не заболел». И если всё-таки сквозь строгую объективность рассказа проступает здесь горькая ирония, то это ирония самого положения вещей, самих обстоятельств, в которых такой день может считаться счастливым. В этом и состоит сила автора, что он смотрит на жизнь одновременно, вместе со своим героем и дальше, глубже его.

Если бы Солженицын был художником меньшего масштаба и чутя, он, вероятно, выбрал бы самый несчастный день самой трудной поры лагерной жизни Ивана Денисовича. Но он пошёл другим путём, возможным лишь для уверенного в своей силе писателя, сознающего, что предмет его рассказа настолько важен и суров, что исключает суетную сенсационность и желание ужаснуть описанием страданий, физической боли. Так, поставив себя как будто в самые трудные и невыгодные условия перед читателем, который никак не ожидал познакомиться со «счастливым» днём жизни заключённого, автор гарантировал тем самым полную объективность своего художественного свидетельства и тем беспощаднее и резче ударил по преступлениям недавнего прошлого. Сила этого простого эпического рассказа об одном обычном дне лагерного срока ещё и в том, что, когда мы читаем, как Шухов встаёт, как завтракает, как ведут его на работу, как он работает, как обедает в перерыв, как возвращается с работы, — когда проходит перед нами весь этот обычный порядок трудового дня, мы не можем не думать о том, что и как делал бы Шухов, будь он на воле, и ещё о том, чем тогда, в эти дни и часы, были заняты мы сами.

В повести точно обозначено время действия — январь 1951 года. И не знаю, как другие, но я, читая повесть, всё время возвращался мыслью к тому, а что я делал, как жил в это время. Помню, ходил в университет на Моховой по утреннему скрипучему снежку мимо Кремля, любил смотреть на его красивые, недоступные, чуть подбелённые изморозью стены, сдавал зимнюю сессию, зубрил только что введённый курс «сталинского учения о языке», сочинял сценарий студенческого капустника, бегал на дружеские вечеринки... В том январе газеты писали о прокладке русла Волго-Дона и о скоростных плавках стали, об укрупнении колхозов и продвижении на север культуры грузинского чая, о близких выборах и о войне в Корее, о юбилее Алишера Навои и финальных играх на кубок по хоккею. Страна жила своими большими и малыми заботами, и мы жили всем этим вместе с нею.

Но как же я не знал об Иване Шухове? Как мог не чувствовать, что вот в это тихое морозное утро его вместе с тысячами других выводят под конвоем с собаками за ворота лагеря в снежное поле — к объекту?

Как мог жить я тогда так мирно и самодовольно? Вроде тех девушек-студенток, что повстречались бригадиру Тюрину в поезде: «Едут мимо жизни, семафоры зелёные...»

Вот от каких мыслей труднее всего отвязаться.

2

Но тут я слышу голос, заставляющий меня вздрогнуть. «И всё же хочется спросить: правы ли некоторые наши критики, безоговорочно принимающие образ Шухова таким, каким он дан в повести?» Это спрашивает Ф. Чапчахов из журнала «Дон» (№ 1, 1963)¹. Немного озадачивает сама форма вопроса: можно подумать, что критик был коротко знаком с Иваном Денисовичем Шуховым ещё прежде, чем прочёл о нём в повести. Такой Иван Денисович, каким мы вместе с миллионами читателей узнали его из книги Солженицына, оказывается, не сходится с тем Иваном Денисовичем, каким рисует его воображение критика. Сугубо профессиональный феномен восприятия! Подобное раздвоение впечатлений вряд ли возможно у обыкновенного читателя, но в критике оно встречается.

Как тут не вспомнить о старом-престаром различии двух способов критики — нормативного и аналитического. Коротко говоря, нормативный подход состоит в том, что у критика ещё до знакомства с произведением, о котором он будет судить, готовы понятия обо всём, что касается этого произведения. Критик заранее знает, как должен выглядеть основной герой, чем должен завершаться конфликт, в каких пропорциях должны находиться светлые и тёмные краски, каков при этом должен быть «фон» и т.п. Читая затем книгу, он производит несложную работу, в чём-то схожую с портняжным ремеслом: накладывает готовые мерки, прикидывает, соответствует ли результат прежним измерениям, закреплённым в своде правил, и если нет — находит произведение неудачным, если да — отходит удовлетворённый. Хуже всего, когда такой критик начинает советовать автору одно укоротить, другое «припустить», прикидывая при этом платье на себя или, что не лучше, на того стандартного «болвана», который торчит в углу прихожей в ателье.

В противоположность нормативному аналитический способ критики состоит в том, чтобы подходить к произведению как к отражению живой, противоречивой, непрестанно меняющейся жизни и, исходя из свидетельства художника, выносить суд о самом произве-

¹ См. также с. 126 наст. изд. — *Примеч. сост.*

дени и о жизни, в нём изображённой. Всё это — азы материалистической эстетики, которые были провозглашены ещё Добролюбовым и научное подтверждение которым мы находим в ленинской теории отражения. Если их приходится повторять, то лишь потому, что нормативная критика, не слишком обнажающая свою уязвимость, пока она имеет дело с книгами, написанными по нормативным же правилам, становится крайне беспомощной и неумелой, попросту теряет-ся, когда ей приходится столкнуться с произведением, возникшим из глубины жизни, передающим её сложную диалектику, открывающим что-то действительно новое, прежде в литературе не испробованное.

Отношение критики к повести «Один день Ивана Денисовича» сложилось не просто. Горячо поддержанная при появлении печатью (рецензии в «Правде», «Известиях», «Литературной газете»), повесть позднее в некоторых журнальных статьях получила не сходную с первоначальной, осторожно скептическую и даже откровенно отрицательную оценку. Никто, впрочем, не выражал сомнения в пользе открытого обсуждения в литературе столь острой темы. Критика повести пошла по другому руслу.

Выступившая с обзором прозы Л. Фоменко нашла, что повесть Солженицына «ещё не даёт всей правды о тех временах». «Повесть Солженицына при всей её художественной отточенности и жестокой, горькой правде,— писала она в «Литературной России» (11 января 1963 года)¹, — всё же не раскрывает всей диалектики времени. Здесь выражено страстное “нет!” сталинскому порядку. В Шухове и других сохранена человечность. Но повесть не поднялась до философии времени, до широкого обобщения, способного объять противоборствующие явления эпохи». Вскоре на страницах того же издания («Литературная Россия», 18 января 1963 года) это утверждение было оспорено. Г. Ломидзе здраво рассудил, что нельзя требовать от автора объять необъятное. Он обратил внимание Фоменко на то, что Солженицын написал не роман-эпопею, а всего лишь маленькую повесть. «Как это в одном дне жизни заключённого возможно схватить диалектику всех связей, борений и противоречий эпохи!»² — возражал Г. Ломидзе.

Сочувствуя второму критику, нельзя, однако, признать сильным его аргумент. Сам того не желая, он принял какой-то извиняющийся тон и невольно прибег к той же нормативной системе понятий, что и его оппонент, пытаясь установить некую иерархию жанров, согласно

¹ См. также с. 105 наст. изд. — *Примеч. сост.*

² Ломидзе Г. Несколько мыслей // Литературная Россия. 1963. 18 января. См. также с. 107 наст. изд. — *Примеч. сост.*

которой роман-эпопея в отношении правды изображения заранее получает преимущество перед повестью. Но разве нельзя и в маленьком рассказе «подняться до философии времени, до широкого обобщения»? Разве это не аксиома, что художник, если он художник истинный, способен в малой капле отразить целый мир?

Что же до повести Солженицына, то удивляться надо, на наш взгляд, не тому, что он чего-то «не отразил» и «не обобщил», а тому, напротив, как широко захватил он жизнь, как много сумел рассказать в столь малых пределах, как один день одного лагерника. В самом деле, мы не только узнали обиход жизни заключённых, их подневольную работу и скудный радостями быт. Мы узнали там людей, в каждом из которых отозвалось что-то типическое, существенное для понимания времени.

Герои Солженицына, разделившие одну судьбу с Иваном Денисовичем, появляются в повести незаметно и просто, словно переступают бесшумно порог, не требуя особого представления со стороны автора; они не позируют перед читателем, погружённые в свои дела и заботы, часто всего лишь несколькими словами перекинутся с Шуховым и уступят место другим, а потом в течение этого долгого дня появятся ещё не однажды, уже как хорошо знакомые и близкие нам чем-то люди, — бригадир Тюрин, кавторанг Буйновский, герой Бухенвальда — Сенька Клевшин, Цезарь Маркович, мальчонка Гопчик... Крестьяне, солдаты, люди интеллигентного круга, они думают о многом по-разному и говорят о разном — не только о повседневном лагерном быте, но и о том, с чем связано их прошлое: о коллективизации, о войне, об искусстве, о том, как живёт деревня, — и это очень важные страницы книги. Чего стоит одна история жизни бригадира Тюрина, рассказанная им самим, — поразительное по своей глубине и силе место повести!

Так можно ли упрекать писателя за бедность и неполноту его изображения? Перед нами предстал мир многосторонний и живой, со множеством своих связей, качеств, отношений, не сводимых к одной лишь специфике «лагерной темы». Потому что, заклеив произвол, Солженицын показал и то, как люди, в обычной, «вольной» жизни различные между собою, в этих исключительных условиях с особой резкостью и открытостью проявляют заложенные в них и прежде свойства — будь то сила духа, уважение к труду, внутренняя честность или приспособленчество, жалкий паразитизм. В лагере Солженицына интересовал не только лагерь — его интересовали люди и эпоха, или, если сказать конкретнее, советские люди в эпоху культа личности. «Многих людей,

обрисованных здесь в трагическом качестве “зэков”, — замечал Твардовский, — читатель может представить себе и в иной обстановке — на фронте или на стройках послевоенных лет. Это те же люди, волею обстоятельств поставленные в особые, крайние условия жестоких физических и моральных испытаний»¹. Не в этом ли истинный масштаб повести, широта её обобщения?

Нельзя упускать из виду и то, что в художественном произведении, в отличие, скажем, от статистического справочника, достоинство полноты и многосторонности определяется не количеством затронутых тем, а качеством самого изображения. У настоящего художника в одной беглой, вскользь оброненной детали жизнь предстанет более многообразно, чем в торопливом отражении десятков тем в каком-нибудь пухлом иллюстративном романе.

Иначе считают авторы мелькающих время от времени в некоторых журналах придирчиво раздражённых отзывов о повести Солженицына. Отзывы эти обычно носят характер булавочных уколов исподтишка, и их вовсе не стоило бы замечать, если бы они не стали в последнее время слишком назойливыми. Критику «Огонька» ничего не стоит, например, расхваливая новый роман И. Лазутина — автора популярного детектива «Сержант милиции», с младенческой литературной безответственностью заметить: «В отличие от повести А. Солженицына “Один день Ивана Денисовича” роман И. Лазутина поворачивает перед нашими глазами множество граней жизни» («Огонёк», № 39, 1963). Так и сказано, как о вещи само собой разумеющейся, что в отличие от повести Солженицына роман И. Лазутина многогранен. Что поделаешь, если автору этой заметки недорого его критическая репутация, но зачем он ставит в неловкое положение автора книги, которую хочет похвалить, и журнал, где он это печатает?

Вообще говоря, когда Солженицына упрекают в том, что он рассказал в своей повести не всё, что можно было бы рассказать о лагерях тех лет и о жизни страны в целом, удивляет искусственный характер этих требований, род странной неблагодарности по отношению к писателю. Вместо того чтобы подивиться его таланту и гражданскому мужеству, тому, как глубоко и правдиво всё в нарисованной им картине, где не найдёшь, кажется, ни одной точки, ни одного штриха вымученного и фальшивого, — автора начинают укорять в том, что и за пределами его картины осталось немало предметов и лиц, достойных изображения. Такая ненасытная требовательность ещё понятна, когда она есть

¹ Твардовский А. Вместо предисловия // Новый мир. 1962. № 11. — *Примеч. сост.*

часть признательности художнику за его работу и поощрение к новым трудам, но она мелка и неумна, когда с помощью такого приёма хотят бросить тень и на само произведение как на что-то неполноценное, недовершённое. И скверно выглядит тот критик, который, узнав от Солженицына о трагедии жизни Ивана Денисовича, пережив первое потрясение и едва дав ему устояться, спешит учить писателя, как надо было рассказать об этом, чтобы удовлетворить его сполна.

Тут надо сделать оговорку. Мы принимаем как нечто безусловное, что первым движением души любого читателя повести будет горячее сочувствие её герою, чувство горечи и возмущения при виде безвинно осуждённых на жесточайшие муки людей, негодование по поводу злодеяний поры культа личности. И трудно представить себе такого читателя, который в качестве главного впечатления от повести вынесет недовольство самим Иваном Денисовичем, его характером, образом мыслей, поведением в лагере и т.п. Трудно, но не вовсе невозможно, потому что такой читатель существует. Это критик Н. Сергованцев, написавший для журнала «Октябрь» статью «Трагедия одиночества и “сплошной быт”» (№ 4, 1963)¹.

Указав вначале, что, на его взгляд, повесть Солженицына «содержит в себе немало глубоких противоречий», Н. Сергованцев предъясняет Ивану Денисовичу Шухову настоящий обвинительный акт, составленный по всем правилам нормативной критики и напоминающий о тех показательных судах, какие устраивались у нас в двадцатые годы в школах над литературными героями Онегиным и Печориным, когда ученики, поощряемые наставниками-педологами, учились искусству общественного поношения. Я приведу это рассуждение Н. Сергованцева возможно полнее, позволив себе лишь выделить в тексте некоторые места, на которые хочется обратить специально внимание читателя:

«Герой повести, Иван Денисович, не является исключительной натурой: это “рядовой” человек, притом “рядовой” в самом точном смысле этого слова. Его духовный мир весьма ограничен, его интеллектуальная жизнь не представляет особого интереса. Но в целом Иван Денисович в немалой мере интересен. Чем же?

Прежде всего тем, что именно “рядовой”, обыкновенный человек поставлен в центр трагических событий, что все события переданы сквозь “призму” его восприятий. Хочется знать, как же простой человек, выдвинутый автором в качестве глубоко народного типа, будет осмысливать ту потрясающую обстановку, которая его окружает.

¹ См. также с. 129–132 наст. изд. — *Примеч. сост.*

И по самой жизни, и по всей истории советской литературы мы знаем, что типичный народный характер, выкованный всей нашей жизнью, — это характер борца, активный, пытливый, действенный. Но Шухов начисто лишён этих качеств. Он никак не сопротивляется трагическим обстоятельствам, а покоряется им душой и телом (?). Ни малейшего внутреннего протеста, ни намёка на желание осознать причины своего тяжкого положения, ни даже попытки узнать о них у более осведомлённых людей — ничего этого нет у Ивана Денисовича. Вся его жизненная программа, вся философия сведена к одному: выжить! Некоторые критики умилились такой программой: дескать, жив человек! Но ведь жив-то, в сущности, страшно одинокий человек, по-своему приспособившийся к каторжным условиям, по-настоящему даже не понимающий неестественности своего положения. Да, Ивана Денисовича замордовали, во многом обесчеловечили крайне жестокие условия — в этом не его вина. Но ведь автор повести пытается представить его примером духовной стойкости. А какая уж тут стойкость, когда круг интересов героя не простирается дальше личной миски “баланды”, “левого” заработка и жажды тепла.

Здесь критик прерывает свой прокурорский монолог, чтобы сообщить читателю, что он не собирается «строго судить героя А. Солженицына». «...Мой жизненный опыт не даёт мне на это права», — спохватывается он. Но, разделавшись с литературными приличиями при помощи этой фигуры вежливости, молодой критик с удвоенной энергией обличает Ивана Денисовича, черты характера которого, как считает он, унаследованы «не от советских людей 30–40 годов», а от патриархально-го мужичка. «Не от советских людей...» — критический приём, слишком хорошо известный, но в последние годы не практиковавшийся в литературе. Н. Сергованцев снова вводит его в оборот.

Даже когда Н. Сергованцев вспоминает, что с Шуховым мы знакомимся в условиях, мягко говоря, необычных, в каких мы впервые видим героя советской литературы, он делает это так, что все камешки опять-таки летят в огород Шухова: «Та суровая действительность, в которой жил Шухов, могла по-всякому изуродовать человека». Бросается в глаза, что, говоря о «суровой действительности», в которой «жил» Иван Денисович, критик выбирает здесь слова эпически спокойные, зато уж с Шуховым не церемонится — суровая действительность его «изуродовала», «планомерно вытравляя в нём, — как пишет дальше критик, — всё человеческое».

Особенно настаивает Н. Сергованцев на «трагедии одиночества», якобы определяющей образ Ивана Денисовича. «Узость “жизненной

программы” Ивана Денисовича, — пишет критик, — привела к тому, что он, в сущности, одинок. Ни Алёша-баптист, ни кавторанг Буйновский, ни Цезарь — его соседи по бараку — не смогли стать близкими ему людьми. Автор не раз подчёркивает, что Иван Денисович не понимает многих своих собратьев по несчастью... Не понимает Иван Денисович и жизнь, которая осталась за колючей проволокой. “<...> Жизни их не поймёшь”, — думает он».

И как окончательный вывод: «Нет, не может Иван Денисович претендовать на роль народного типа нашей эпохи».

Весьма необъективно расценив далее рассказы Солженицына «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кречетовка» (в последнем критик усмотрел идею «сострадания к предателю»), Н. Сергованцев отнёс произведения писателя к числу тех, которые «оставляют чувство глубокой неудовлетворённости, поскольку воссоздают жизнь односторонне, без исторической перспективы», и тут же заодно отказал им в художественности, поскольку «истинно художественное произведение открывает перед читателем необозримые горизонты жизни», а у Солженицына он этого не обнаружил.

Пусть не сердится читатель, что мы так подробно цитируем и пересказываем суждения Н. Сергованцева. Они интересны по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, статья Н. Сергованцева единственная, в которой выражено прямое и безусловное осуждение всего творчества Солженицына в целом. Во-вторых, потому, что в своём отношении к образу Шухова он с наибольшей резкостью и определённой выразил то, что высказывалось более смутно и осторожно в некоторых других статьях вроде уже упомянутой выше статьи в журнале «Дон». Таким образом, точка зрения Н. Сергованцева не является сугубо индивидуальной, субъективно исключительной. И хотя я не думаю, чтобы среди читателей нашлось много её сторонников, она заслуживает внимания как выражение некоторой позиции, пусть не очень прочной, но упорной в своих пристрастиях, унаследованных от вчерашнего дня нашей жизни.

Пожалуй, первое, что отмечаешь в рассуждениях Н. Сергованцева, это его небрежно-ироническое отношение к самой задаче изображения «рядового» человека-труженика, «интеллектуальная жизнь» которого не представляет для критика интереса. Снисходительно, свысока отзываясь о духовном мире Ивана Денисовича, он выговаривает ему за невнимание к мнению людей «более осведомлённых». Сам Иван Денисович выглядит здесь как безнадежно тупое и ограниченное существо, которому, по его крестьянской темноте,

остаётся лишь внимать людям «активным» и «пытливым». Критик досадует, что у героя Солженицына не возникает даже потребности получить у этих людей необходимые указания и разъяснения насчёт своей судьбы.

Что могли ответить на вопросы Ивана Денисовича «осведомлённые люди» в Особлаге зимой 1951 года — об этом ещё следует подумать. Для нас несомненно другое — заслуга писателя, выбирающего своим героем человека, условно говоря, рядового и обыкновенного.

Впрочем, рядовым человек кажется тому, кто торопливо проходит перед фронтом, не заглядывая в лица. Тому же, кто сам стоит в ряду, его положение не кажется ни рядовым, ни обыкновенным.

Появление в литературе такого героя, как Иван Денисович, — свидетельство дальнейшей демократизации литературы после XX съезда партии, реального, а не декларативного сближения её с жизнью народа. Чехов говорил, что о Сократе легче писать, чем о барышне или кухарке. Опыт показывает, что легче писать и об академиках-селекционерах, о секретарях райкома, о главных агрономах и директорах МТС, чем об Иванах Денисовичах и тётках Матрёнах. В годы культа личности многие литераторы привыкли больше интересоваться тем, что происходит в комнате правления колхоза, чем под всеми остальными крышами деревенских изб. Не оттого ли изображение Солженицыным героя рядового, обыкновенного воспринимается критиком как опасная новизна?

Спору нет, для советской литературы, как ни для какой другой, важна тема руководителей, организаторов и вдохновителей. Однако, если исходить из марксистско-ленинского взгляда на вещи, эта тема по меньшей мере неполна без изображения людей руководимых и организуемых, людей самых обыкновенных, несущих ношу каждодневного труда, составляющих, по выражению Ленина, «самую толщу широких трудящихся масс». Так что ирония по поводу «рядового», обыкновенного человека тут ни к чему.

«Рядовой» герой Солженицына кажется Н. Сергованцеву незаконно пробравшимся в литературу, и он старается возможно гуще очертить его, чтобы отказать ему в народности. Если подытожить кратко суждения критика о Шухове, то они сводятся к тому, что, во-первых, Иван Денисович примирился, приспособился в лагере, утерять человеческие черты; во-вторых, что животные интересы целиком подчинили его себе и не оставили места для сознательного, духовного; в-третьих, что он трагически одинок, разобщён с другими людьми и едва ли не враждебен им.

Такое толкование повести не должно удивлять, поскольку Н. Сергованцев, верный приёмам нормативной критики, рассуждает как бы вне и вопреки тексту книги. Следя за его рассуждениями, в которых странное раздражение и демагогический пафос в избытке возмещают логику, начинаешь думать даже, что он перепутал и прочитал по ошибке другую вещь, а не ту, что написана Солженицыным и называется «Один день Ивана Денисовича».

Ведь в этой повести о Шухове и его судьбе говорится совсем иначе.

3

О прошлом Ивана Денисовича знаем мы мало, но и того, что знаем, достаточно, чтобы понять, каков он есть человек. Жил Шухов до войны в маленькой деревне Темгенёво, работал в колхозе, кормил семью — жену и двух девочек. Началась война — на войну пошёл и воевал честно: был ранен на реке Ловать, ему бы в медсанбат, а он «доброй волею в строй вернулся». Потом армию окружили, многие попали в плен, но Шухов из плена бежал и по болотам да по лесам к своим выбрался. А тут обвинили его в измене: мол, задание немецкой разведки выполнял. «Какое ж задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание».

Сказано это со спокойным и горьким юмором, но, признаться, от юмора такого — мурашки по коже. Словно сидят они со следователем рядком и беседуют дружелюбно, как дело обставить поудобнее, что Шухов-де родине изменил, за которую кровь пошёл проливать и столько вытерпел. В самом же деле знал Шухов, что, если не подпишешь — расстреляют, и хотя можно представить себе, что он в те минуты пережил, как внутри горевал, удивлялся, протестовал, но после долгих лет лагеря он мог вспомнить об этом лишь со слабой усмешкой: на то, чтоб всякий раз возмущаться и удивляться, не хватило бы никаких сил человеческих.

Умирать ни за что ни про что было глупо, бессмысленно, противостоительно. Шухов выбрал жизнь — хоть лагерную, скудную, мучительную, но жизнь, и тут задачей его стало не просто выжить как-нибудь, любой ценой выжить, но вынести это испытание судьбы так, чтобы за себя не было совестно, чтобы сохранить уважение к себе. Может быть, Иван Денисович и не рассуждал так заранее, даже наверное не рассуждал, но сердцем именно так чувствовал и руководился этим чувством.

Упрекают Ивана Денисовича в том, что он будто бы примирился с лагерем, «приспособился» к нему. Но не то же ли это самое, что

упрекать больного за его болезнь, несчастного за его несчастье! Конечно, опыт восьми лет каторги в Усть-Ижме и Особлаге не прошёл для Шухова даром, он выработал в себе некоторые внешние реакции, которые тут есть как бы условие существования: соблюдай лагерный режим, поклонись надзирателю, не пускайся в препирательства с конвоем — ведь «качать права» перед Волковым не только опасно, но бессмысленно. И можно лишь удивляться, в какой целостности остаются при этом основные его нравственные понятия, как мало поступается он своей гордостью, совестью, честью. Его житейская мудрость и практическая сметка, лукавство и знание что чего стоит — эти свойства, которые в крови у русского крестьянина и рождены опытом не одного дня, сохраняют в Шухове силу жизненности, помогающую ему перенести тяжелейшие страдания и остаться человеком.

И ведь это при том, что такое большое, порой всепоглощающее значение имеют для Ивана Денисовича в лагере две заботы — не ослабеть от голода и не замёрзнуть. В условиях, чем-то схожих с изначальной борьбой за существование, заново обнаруживается ценность простейших «материальных» элементов жизни, того, что всегда и бесспорно необходимо человеку — еды, одежды, обуви, крыши над головой. Лишняя пайка хлеба становится предметом высокой поэзии. Новым ботинкам Ивана Денисовича автор слагает целую оду: «<...> в октябре получил Шухов (а почему получил — с помбригадиром вместе в каптёрку увязался) ботинки дюжие, твердоносые, с простором на две тёплых портянки. С неделю ходил как именинник, всё новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели — житуха, умирать не надо. Так какой-то чёрт в бухгалтерии начальнику нашептал: валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, непорядок — чтобы зэк две пары имел сразу. И пришлось Шухову выбирать: или в ботинках всю зиму навыйлет, или в валенках, хошь бы и в оттепель, а ботинки отдай. Берёт, солидолом умягчал, ботинки новёхонькие, ах! — ничего так жалко не было за восемь лет, как этих ботинков».

И с той же доброй крестьянской обстоятельностью и даже с ноткой нежности говорится о табаке, который продаёт латыш: «Хороший у него самосад, крепкий в меру и духовитый. Буроватенький такой». И о каше: «<...> ложкою обтронул кашу с краёв. Вот эту минуту надо было сейчас всю собрать на еду и, каши той тонкий пласт со дна снимая, аккуратно в рот класть и во рту языком переминать».

Еду автор описывает особенно подробно, основательно, можно даже сказать — любовно, потому что это желанная, поэтическая минута в жизни лагерника: ведь он живёт здесь «для себя». «Не считая

сна, лагерник живёт для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином». Так что, как ни странно это прозвучит, за едой он больше всего чувствует себя личностью, человеком, который над собою волен. Тут уж его интерес, его право распоряжаться собой.

Важно и другое. Лишняя пайка хлеба, которой так дорожит Иван Денисович и о которой так много думает, — не просто поддержка и утеха для вечно ноющего желудка, но средство независимости от начальства, «кума», богатого лагерника, первое условие внутренней самостоятельности. Пока сыт и силы ещё есть для работы — и в голову не придёт унижаться, выпрашивать, «шестерить». Шухов всегда рад разжиться хлебом, добыть табачку, но добыть не как «шакал» Фетюков, рыскающий по тарелкам и униженно засматривающий в глаза, а так добыть, чтобы не сронить себя, соблюсти своё достоинство.

Солженицын очень тонко и последовательно отмечает эту связь материальной, так сказать, и нравственной стороны дела. Шухову на всю жизнь запомнились слова первого его бригадира, старого лагерного волка Кузёмина: «В лагере вот кто погибает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать». Эти три выхода ищут для себя нравственно слабые люди, их-то и ждёт в самом деле позорное приспособление. Слова Кузёмина верны уже в том прямом и простом смысле, что, выбирая лёгкое, человек теряет сопротивляемость, и это часто приводит к физической гибели. Но ещё важнее и безусловнее тут некий нравственный закон: Кузёмин предупреждает против гибели моральной. Здоровая народная нравственность запрещает такое самоунижение, как миски лизать, — человек не должен превращаться в животное, не должен терять чувство достоинства. То же и с санчастью. Начнёшь надеяться на болезнь — глядишь, и совсем расклеился, раскис... Я уж не говорю о третьем — кто ходит к «куму», оперуполномоченному, «стучать»: тот вовсе погибший человек, хоть в обыденном смысле его судьба может сложиться благополучно. «Насчёт кума — это, конечно, он загнул, — поправляет Кузёмину Иван Денисович. — Те-то себя берегают. Только береженье их — на чужой крови».

Шухова не берут все эти низкие соблазны, потому что другая у него основа жизни, другой, неписанный кодекс нравственности — нравственности трудового человека. Эта внутренняя основа крепка и строга у него настолько, что не расшатала и не погубила её долгие годы каторги. Он не махнул на жизнь рукой и не опустил, остался тем же работающим и честным крестьянином, солдатом, мастеровым.

И когда автор вскользь замечает о Шухове, что «не мог он себя допустить есть в шапке», — за этой одной подробностью возникает целый мир представлений, нравственных понятий, стойко охраняемых в себе Иваном Денисовичем. Тут не только верность добрым обычаям и традициям «нормальной», вольной жизни, а пронесённое через все муки, не потерянное в унижениях лагеря человеческое достоинство.

При всей объективности своего художественного письма, Солженицын умеет сказать о герое прямо и ясно, не оставляя повода для двух толкований. С уважением и даже какой-то гордостью за своего героя говорит автор о бессребреничестве Ивана Денисовича, его неумении и нежелании ловчить: «Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился».

Иван Денисович не считает грехом подработать, услуживая товарищам по бараку: сшить богатому бригаднику чехол на рукавички или в посылочную за Цезаря Марковича постоять — тут его труд, его руки, его расторопность, и стыда в этом нет. Но, получая для Цезаря посылку, он не выпрашивает у него свою долю и даже не завидует ему. Это уже больше, чем просто выжить, выжить любой ценою. «Но он не был шакал даже после восьми лет общих работ, — говорит о нём автор, — и чем дальше, тем крепче утверждался». Слово «утверждался» не требует тут дополнений — «утверждался» не в чём-то одном, а в общем своём отношении к жизни.

И это при том, что Шухов слишком хорошо знает цену пайке хлеба и тёплой одежде и поневоле постоянно привязан мыслями к тому, как бы не пропал припрятанный им в матрасе кусок или как удобнее приспособить на лицо тряпочку с «рубезочками», чтобы не обморозиться на ходу.

Конечно, все эти заботы легко можно счесть прозаическими, мелкими и высокомерно пожурить Ивана Денисовича за узость его кругозора и за то, что интересы его не простираются дальше лишней миски баланды и жажды тепла. Можно, уподобившись птицам небесным, которые не сеют, не жнут, а сыты бывают, презирать в душе разговоры о голоде, холоде, пайке хлеба, о какой-то тряпочке с рубезочками, о магаре. Можно, не ведаясь с такими бедами, как недоедание, недосыпание, пронизывающий до костей холод, относиться к этому слегка брезгливо: зачем вспоминать о неприятном — давайте говорить о высоком, о жизни духа, о сознательности... Но чего стоит такое фальшивое идеальничанье? И не кажется ли оно смешным перед мужественной правдой и большой идейностью повести Солженицына?

Что-то похожее на эти сентенции внушает Ивану Денисовичу Алёшка-баптист: «Молиться не о том надо, чтобы посылку прислали или чтоб лишняя порция баланды. Что высоко у людей, то мерзость перед богом! Молиться надо о духовном <...>». Слова Алёшки как будто и бескорыстны и искренни, но как наивна и бессильна его вера по сравнению с мужицким здравым смыслом Ивана Денисовича.

У Шухова — такая внутренняя устойчивость, вера в себя, в свои руки и свой разум, что и бог не нужен ему. И тут уже несомненно, что эти черты безрелигиозности в широком смысле слова — вопреки мнению критиков, твердящих о патриархальности Шухова, — не из тех, что бытовали в народе от века, а из тех, что сформировались и укрепились в годы советской власти.

По инерции Иван Денисович ещё иной раз перекрестится — но в ад и в рай он не может верить и не верит. Он верит в себя, в свой труд, верит в товарищей по бригаде, в бригадира Тюрина, а мы верим в него как в живую частицу народа. И это самая материальная и в то же время самая духовная вера.

В том и заключается для нас оригинальность и высокое значение Солженицына как художника, что духовное содержание он открывает не вне своего «рядового» героя и его бедного, страшного быта, не поверх его, а в нём самом, в трезвой и точной, без прикрас, картине лагерной жизни.

Шухов рассуждает и в самом деле мало, не философствует, не умствует специально, но ведь почти всё, что мы узнаём из повести, — это от него, Ивана Денисовича, мы узнаём, и можно только подивиться тому, какой у него острый, чуть ироничный и по-народному точный взгляд на вещи. Вот думает он, например, о строительстве нового объекта Соцгородка в снежном голом поле, где заключённые должны, прежде чем строить, «ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от самих себя натягивать — чтоб не убежать». Сказано — как припечатано. И хоть и повод для этой мысли был совсем конкретный — очень уж не хотелось Шухову, чтобы их с утра на тот новый объект погнали, — но стоит за этим и более общее сознание бессмыслицы и бесчеловечности всей системы репрессий против ни в чём не повинных советских людей как против врагов советской власти, иначе сказать, против себя же самих.

Шухову нету времени на праздные мысли; все его заботы так истинны и неотложны, что ему не приходится их выдумывать, они сами за ним идут и требуют постоянной сообразительности, постоянного напряжения сил — физических и духовных. А духовное для Шухова,

как я уже сказал, это не абстрактное философствование, а непосредственное отношение к жизни, к людям и к труду, — к труду, может быть, прежде всего.

В сцене кладки стены здания ТЭЦ Шухов проявляется весь, и обойти эти страницы — значило бы не понять самого главного в Иване Денисовиче. Уж и когда, не запомню, читали мы в нашей прозе такое поэтическое и одухотворённое описание простого рабочего труда; автор так окунает нас в его ритм и лад, что, кажется, сам чувствуешь напряжение всех мышц, и тяжесть, и утомление, и дружный азарт работы. После «производственных» романов, где внутренняя, личная жизнь героя легко отслаивалась от описаний самого процесса труда и где нам становилось невыносимо скучно, как только автор с самоуверенностью дилетанта начинал щеголять подробностями технологии производства, эти страницы Солженицына удивляют как открытие. Оказывается, можно самым подробным образом, с дотошной обстоятельностью описывать работу каменщика и не только не наскучить, но полностью захватить внимание читателя, увлечь и растрогать.

Чтобы лучше понять Шухова, когда он работает на кладке стены, надо помнить, что он не так прост, чтобы ко всякому труду, какой он ни будь, относиться без разбора. Погнали его в надзирательскую пол мыть, а он протёр его слегка, тряпку, не выжав, за печку бросил, а воду на дорожку, где начальство ходит, плеснул. «Работа, — рассуждает Иван Денисович, — она как палка, конца в ней два: для людей делаешь — качество дай, для дурака делаешь — дай показуху». Та работа, что зазря или по пустому принуждению, — не по душе Шухову.

Другое дело на «объекте», где бригадир его да латыша Кильгаса поставил, как мастеров, на каменную кладку. И тут не только в том причина, что это общий труд бригадный, где нельзя подвести, иначе плохо закروют процентовку. Для Ивана Денисовича в этой работе нечто большее — радость мастерства, полного и свободного владения своим делом, то вдохновение работы, которое пробуждает в голодном, оборванном эке человеческую гордость и чувство достоинства.

У Ивана Денисовича руки рабочего человека, а глаз мастера, повадка мастера. Вот он срубает лёд, намёрзший на старой кладке, сам же свою работу обдумывает: «А думка его и глаза его вычувывали из-под льда саму стену, наружную фасадную стену ТЭЦ в два шлакоблока. Стену в этом месте прежде клал неизвестный ему каменщик, не разумея или халтуря, а теперь Шухов обвыкал со стеной, как со своей. Вот тут — провалина, её выровнять за один ряд нельзя, придётся ряда за три, всякий раз подбавляя раствора потолще. Вот тут наружу стена

пузом выдалась — это спрямить ряда за два. И разделил он стену невидимой метой — до коих сам будет класть от левой ступенчатой развязки и от коих Сенька направо до Кильгаса». По мере того как Шухов «обвыкает со стеной, как со своей», подневольный труд мало-помалу начинает превращаться в труд независимый, самостоятельный. Зачем, казалось бы, Солженицыну этот парадокс? Но, пока мы недоумеваем, автор продолжает и развивает эту тему.

Раствор, который подносят в носилках из обогревалки, сразу схватывает на морозе. Чуть зазевался, положил шлакоблок неровно, а он уже косо примёрз, не поправишь. «Но Шухов не ошибается. Шлакоблоки не все один в один. Какой с отбитым углом, с помятым ребром или с приливом — сразу Шухов это видит, и видит, какой стороной этот шлакоблок лечь хочет, и видит то место на стене, которое этого шлакоблока ждёт». Здесь точно камень оживает под руками Шухова. Шлакоблок, который «лечь хочет», и стена, которая его «ждёт», внезапно делают этот мир тёплым, обжитым, домашним, послушным увренному мастерству.

И ещё одна неожиданная подробность: Шухову даже жаль, что время быстро идёт и пора кончать работу. Вот уже к вахте все побежали, домой собираются. А Шухов, разгорячившись, всё подгоняет своего напарника: «Раствор. Шлакоблок. Раствор. Шлакоблок...» Пока раствор есть, не хочет Шухов работу бросить. «Кажется, и бригадир велел — раствору не жалеть, за стенку его — и побегли. Но так устроен Шухов по-дурацкому, и за восемь лет лагерей никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули». И с той же бережностью относится Шухов к своему инструменту — мастерку, который тщательно припрятывает в растворяной. То, что Шухову не всякий мастерок сойдёт, а нужен именно этот, облюбленный им, потому что лёгок и по руке, — в этом тоже чувствуешь не только крестьянский бережливый разум, но и гордость рабочего человека — печать его личности, творческого начала в нём.

Вот тут и проясняется смысл этого парадокса, его связь с общей идеей повести. Когда на картину труда жестоко-принудительного как бы наплывает картина труда свободного, труда по внутреннему побуждению — это заставляет глубже и острее понять, чего стоят такие люди, как наш Иван Денисович, и какая преступная нелепость держать их вдали от родного дома, под охраной автоматов, за колючей проволокой.

Невольно начинаешь думать о том, как нужен, просто необходим был бы Шухов в своей деревне, в колхозе, где после войны мужики

наперечёт. Как бы он со своей совестью и рабочей хваткой помогал бабам тянуть колхоз и свою семью вытащил бы из нужды...

Из скупых строчек писем, приходивших два раза в год, Иван Денисович мог лишь догадываться об истинной мере неблагополучия в родной деревне; ещё меньше мог знать он о том, что Темгенёво вовсе не было исключением в последние годы жизни Сталина. Шухову горько подумать, что его деревня живёт тяжело, бедно. Но когда он говорит: «жизни их не поймёшь», он не только жалеет своих близких и односельчан, но в чём-то и недоумевает, недоумевает, как человек с рабочей совестью: «Видел Шухов жизнь одиночную, видел колхозную, но чтобы мужики в своей же деревне не работали — этого он не может принять. Вроде отхожий промысел, что ли? А с сенокосом же как?» В этом тревожном вопросе «А с сенокосом же как?» слышим мы голос беспокойства Ивана Денисовича, крестьянской его души. Как можно забросить такое серьёзное дело, как сенокос, ради пусть лёгкого и «огневого», но какого-то сомнительного промысла красилёй?

Писала Ивану Денисовичу жена, что красилí эти, что ковры по трафареткам делают, ездят по всей стране и деньги гребут тысячами, пообстроились все. Но не по душе Ивану Денисовичу братья за те ковры. «Для них развязность нужна, нахальство, кому-то на лапу совать». Есть что-то нечистое, мало почтенное в самой лёгкости этого занятия.

Было бы уместно вспомнить тут Салтыкова-Щедрина, сказавшего как-то, что народ верует в три вещи: «в свой труд, в творчество природы и в то, что жизнь не есть озорство». Хоть и мог выглядеть соблазнительно для Ивана Денисовича заработок красилей, но и стыден был ему этот промысел как озорство. «Лёгкие деньги — они и не весят ничего, — рассуждает Шухов, — и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова ещё хорошие, смогают, неуж он себе на воле ни печной работы не найдёт, ни столярной, ни жестяной?»

Шухов с подозрением относится к лёгким деньгам, к тому, что сулит выгоду без усилий и труда, потому что в нём глубоко укоренено чувство нравственного долга, которое в конечном счёте основывается на смутном сознании того, что если тебе блага жизни стали даваться слишком легко — значит, есть кто-то, кто принял теперь на свои плечи твою долю труда и ему стало тяжелее.

Шухов ни на кого не станет перекладывать свою ношу, он знает силу и умение своих рук и оттого сохраняет ту внутреннюю устойчивость, душевное здоровье, которое в жестоких условиях лагерного произво-

ла позволяет ему не обессилеть, не надломиться, не получить равнодушия ко всему, а верить в жизнь, в её перемены к лучшему. И сколько нужно народного оптимизма, чтобы в самую тяжёлую минуту думать: «<...> переживём! Переживём всё, даст бог, кончится!» Может быть, в таком роде оптимизма нет слишком большой определённости, может быть, надежда эта на лучший исход родилась не из твёрдого знания и предвидения — откуда бы им и взяться? — а скорее из интуитивного чувства, что должна же в конце концов правда восторжествовать над несправедливостью, но как отрадно, что не смял, не погубил лагерь в Шухове эту надежду.

Кроме труда, другая внутренняя опора Ивана Денисовича, помогающая ему жить и «утверждаться», — это его отношения с людьми — соседями по вагонке, товарищами по бригаде. Едва ли не на каждой странице мы убеждаемся, что годы каторги не заставили Шухова озлобиться, ожесточиться, за что, случись даже так, трудно было бы его винить. Но в нём сохранились вопреки всему доброта, отзывчивость, сердечное, благожелательное отношение к людям, за которое ему в бригаде платят тем же. Разве не уважают его бригадир и кавторанг, разве не связан он крепким рабочим товариществом с Кильгасом и Сенькой Клевшиным, разве не «ластится» к нему привязчивый мальчонка Гопчик? «Этого Гопчика, плута» любит Иван Денисович, может быть, тем сильнее, что собственный его сын помер маленьким, две дочери дома остались, и теперь чувствует он временами в себе эту нестраченную нежность отцовства.

А какую симпатию внушают Шухову два эстонца, оба белые и длинные, похожие друг на друга, как братья родные. Это о них думает он с таким добросердечием и наивностью: «Вот, говорят, нация ничего не означает, во всякой¹, мол, нации худые люди есть. А эстонцев сколь Шухов ни видал — плохих людей ему не попадалось». Педант поторопится оспорить эту мысль, но разве не важнее то, с какой стороны проявился здесь сам Шухов?

И так ко многим людям в бригаде, кроме, конечно, тех, кто мало этого заслуживает, испытывает Иван Денисович чувства уважения и товарищества.

Вообще говоря, после Шухова бригада — второй главный герой повести Солженицына. Бригада как нечто пёстрое, шумное, разнородное, но в то же время и как одна большая *семья*. Это слово не нами выдуманно, оно взято из повести. Когда в перерыв, сгрудившись у огня в обогривалке, примолкнувшие бригадники слушают рассказ Тюрина о своей жиз-

¹ В тексте: «в каждой». — *Примеч. сост.*

ни, Шухов думает: «Как семья большая. Она и есть семья, бригада». Эти люди могут казаться со стороны жестокими, грубыми, но они никогда не откажут в поддержке, товарищеской солидарности. И о какой «трагедии одиночества» может идти речь, когда даже свой труд, своё умение и мастерство, к признанию которого Иван Денисович относится ревниво, он ценит и как часть общего, артельного труда бригады? «Стояла ТЭЦ два месяца, как скелет серый, в снегу, покинутая. А вот пришла 104-я. И в чём её души держатся? — брюхи пустые поясами брезентовыми затянуты; морозняка трещит; ни обогревалки, ни огня искорки. А всё ж пришла 104-я — и опять жизнь начинается». Разве не слышна здесь гордость трудом именно как трудом *общим*, коллективным?

Конечно, важную роль играет тут материальная сторона дела: при общей оплате за труд возрастает и взаимозависимость («Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду?»). Но возникающее в бригаде чувство трудового товарищества не сводится только к этому. Ловчить для себя на общих работах никто, кроме разве «шакала» Фетюкова, не решится. Тут правит своего рода сознательная дисциплина с полным доверием друг к другу и к своему бригадиру. В 104-й ни ссор, ни вздору, ни препирательств — дружная, спорая работа. «Вот это оно и есть — бригада, — удовлетворённо замечает Шухов. — Начальник и в рабочий-то час работягу не сдвинет, а бригадир и в перерыв сказал — работать, значит работать». Шухов принимает как закон жизни эту трудовую солидарность и — пусть это выглядит ещё одним парадоксом — стихийно рождающееся чувство коллективизма. В отношениях людей точно сами собой возникают черты и свойства, характерные для свободного социалистического общества, и всё это вопиёт против несправедливости и нелепости произвола, жертвой которого стали простые люди труда.

Но не только в работе, а в самых обычных нуждах и превратностях лагерной жизни закон товарищества позволяет ээку Щ-854 не чувствовать себя одиноким и беззащитным. Когда Татарин стаскивает его с нар и уводит мыть пол в надзирательской, Шухов ни минуты не сомневается в том, что хоть он и не успел шепнуть, а товарищи приберегут ему завтрак, догадаются. Или потом, на объекте, когда, увлечшись работой, он опаздывает к воротам, а надо ещё мастерок припрятать, и Шухов забегает в растворную, Сенька Клевшин ждёт его у дверей, и Шухов благодарно думает: «Никогда Клевшин в беде не бросит. Отвечать — так вместе».

Иван же Денисович в свою очередь не жалеет, что вторую миску каши, которую он «закошил» и которая принадлежит ему по праву, от-

дают кавторангу. И не жмётся, когда эстонец Эйно делится с ним табачком, сам оставляет Сеньке Клевшину: «<...> на, докури, мол, недобычник». Диву даёшься, как, каким усилием души сохранилась в этих измученных людях живая человечность, желание поддержать друг друга — ведь крошка табака для Ивана Денисовича дороже золота.

А когда на последних страницах книги кавторанга уводят в БУР — сколько сердца, сколько неподдельного сочувствия проявляют к нему товарищи по несчастью. Бригадир Тюрин пытается отвести от него беду, хитря с надзирателем. Шухов волнуется за него, прислушиваясь к спорящим голосам у себя на вагонке, а Цезарь тайком суёт Буйновскому сигареты. «Крикнули ему в несколько голосов, кто — мол, бодись, кто — мол, не теряйся, — а что ему скажешь?»

И как смешно и неуместно выглядят после всего этого рассуждения критика о «трагедии одиночества» Ивана Денисовича; слишком явно, что речь в повести идёт о другой трагедии — трагедии честных советских людей, ставших жертвами произвола и насилия.

В литературной критике есть разные способы выразить своё недовольство тем или иным героем, тем или иным произведением, точно так же, как в жизни есть разные манеры выказать свою неприязнь к человеку. Можно открыто осудить книгу, а можно с видом полного участия к её замыслу попробовать развенчать близкого автору героя и тем самым опять-таки поставить под сомнение истолкование писателем явлений жизни.

По поводу Ивана Денисовича в той части критики, которая отнеслась к повести Солженицына скептически, сложился своего рода штамп. Критик подходил к повести осторожно, словно примериваясь, сожалел о горькой судьбе зэка и тут же спрашивал: но идеальный ли герой Иван Денисович? Сам себе спешил ответить «нет» и начинал сетовать на то, «до каких унижений опускается порой этот мастер — золотые руки ради лишней пайки хлеба, как въелись в него инстинкты звериной борьбы за существование, как в конечном счёте страшна его примирённая мысль, завершающая этот мучительный день...» (я цитирую одну из газетных рецензий)¹. Такую вольную трактовку образа Шухова можно было бы ещё раз оспорить, но нам важнее сейчас обратить внимание на другое.

А почему, собственно, Иван Денисович должен быть идеальным героем? Мы видим достоинство Солженицына как художника как раз в том, что у него нет псевдонароднического сентиментальничанья, на-

¹ Имеется в виду ст. В. Литвинова «Да будет полной правда» // Труд. 1962. 12 декабря. См. также с. 77 наст. изд. — *Примеч. сост.*

сильственной идеализации даже тех лиц, которых он любит, трагедии которых сочувствует¹. У Шухова при желании можно насчитать немало реальных, а не выдуманных недостатков. Взять хотя бы то, как робко, по-крестьянски почтительно относится Иван Денисович ко всему, что представляет в его глазах «начальство», — нет ли тут чёрточки патриархального смирения? Можно, вероятно, найти у Шухова и иные несовершенства. Но недостатки Ивана Денисовича не таковы, чтобы переносить упор с его трагического положения на его якобы слабость и несостоятельность, с беды его на вину.

Тут пора внести одно уточнение. «Замечали ли вы, — писал в своё время Чернышевский, — какую разницу в суждениях о человеке, которому вы симпатизируете, производит ваше мнение о том, можно ли или нельзя выбиться этому человеку из тяжёлого положения, внушающего вам сострадание к нему? Если положение представляется безнадёжным, вы толкуете только о том, какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно он страдает, как злы к нему люди, и так далее. Порицать его самого показалось бы вам напрасною жестокостью, говорить о его недостатках — пошлою бесчувственностью. Ваша речь о нём должна быть панегириком ему, — говорить в ином тоне было бы вам совестно». Другое дело, продолжал свою мысль Чернышевский, если страдающий человек сам может изменить свою судь-

¹ Рабочий Мелитопольского завода В. Иванов, письмом которого «Известия» (№ 306, 1963) открыли недавно обсуждение повести «Один день Ивана Денисовича» в связи с выдвижением её на Ленинскую премию (см. также с. 139–142 наст. изд. — *Примеч. сост.*), прав, отмечая путаницу в суждениях о творчестве А. Солженицына некоторых критиков, в частности В. Чалмаева. Следует согласиться, что в Шухове нелепо видеть «идеал народного героя». Сам писатель не претендовал на создание такого рода «идеала», хотя и показал в своём герое народные черты нравственной стойкости, трудолюбия, товарищества и т.п.

Удивляет только, что, признавая повесть «произведением ярко художественным», «очень ценной книгой», В. Иванов в то же время сводит значение образа Шухова к некой документальной его правдивости. Ему кажется, что «обобщают и типизируют» образ Ивана Денисовича — и притом ложно — критики, а не сам его создатель. Но такого в литературе не бывает. Ни одному критику не удалось ещё «типизировать» нетипичный образ. И хотя письмо В. Иванова оснащено литературоведческой терминологией, а также теоретическими определениями и оговорками, по тону скорее профессиональными, чем любительскими, он, борясь с критической путаницей, только усилил её.

Жаль также, что открытое письмо под броским заголовком «Не приукрашен ли герой?» лишь в малой мере посвящено самой книге Солженицына, а ведь на Ленинскую премию выдвинута именно повесть, а не критические статьи о ней. Правда, о выдвижении повести В. Иванов, как он сам сообщает, узнал лишь по экстренному звонку из редакции, когда уже закончил своё письмо. Но поспешность публикации и неудачный заголовок усугубили двойственный характер письма, так как создали ложное впечатление, что речь идёт о недостатках повести Солженицына, а не о промахах её толкователей. — *Примеч. В. Лакишина.*

бу, но не пользуется своими правами и возможностями, — тогда не лишними будут укоризны ему.

Приняв этот критерий Чернышевского, что можем мы сказать о положении Ивана Денисовича? Если бы Шухов знал, в чём причина его трагедии, мог бороться со злом, сопротивляться незаконному и не сделал этого — тогда счёт к нему был бы, естественно, строже. Но что он мог знать, чему сопротивляться, с чем бороться?

Вся система заключения в лагерях, какие прошёл Иван Денисович, была рассчитана на то, чтобы безжалостно подавлять, убивать в человеке всякое чувство права, законности, демонстрируя и в большом, и в малом такую безнаказанность произвола, перед которой бессилён любой порыв благородного возмущения. Администрация лагеря не позволяла энкам ни на минуту забывать, что они бесправны и единственный судья над ними — произвол. Им напоминала об этом плётка Волкового, который сёк людей в БУРе, им напоминали об этом, лишая их отдыха в воскресенье и выгоняя на работу в неурочный час.

Попадая в лагерь и не зная со свежа всей меры произвола и собственной незащитности перед ним, считая происшедшее с тобой лично недоразумением, ошибкой, люди могли, как кавторанг Буйновский, горячо возмущаться происходящим. Вместе с Иваном Денисовичем мы сочувствуем этому взрыву протеста кавторанга, ощутившего в себе оскорблённое достоинство советского гражданина. «Вы не советские люди! <...> Вы не коммунисты!» — кричит Буйновский, в запале ссылаясь и на «права», и на девятую статью Уголовного кодекса, которая запрещает издевательство над заключёнными. Но вместе с волной горячего сочувствия к этому чистому, идейному человеку приходит и острое чувство жалости.

При всём благородстве его порыва есть в нём что-то беспомощное. На Волкового выкрики кавторанга не производят впечатления, а сам Буйновский ещё отсидит за это в БУРе. Тут даже не наказание горько, а полная бесцельность и бессмысленность протеста. Поэтому Иван Денисович и жалеет кавторанга как дитя малое, неразумное.

Солженицын не был Солженицыным с его жестокой реалистической правдой, если бы он не сказал нам о том, что кавторанг — этот «властный звонкий морской офицер» — должен превратиться в малоподвижного, осмотрительного энка, чтобы пережить двадцать пять лет отвёрстанного ему срока.

Неужели так? Как мучительно верить этому. Ах, как хотелось бы нам, чтобы он протестовал каждый день и каждый час, без усталости об-

личая своих тюремщиков, не думал бы о холоде и о миске с кашей, ждал бы в один комок нервов — и всё-таки продолжал борьбу.

Но есть ли в этом реальность? Не одно ли это благодушное пожелание?

Чтобы бороться, надо знать, во имя чего и с чем бороться. Сенька Клевшин знал, с кем он боролся в Бухенвальде, когда готовил восстание в лагере против немцев, а что ему делать здесь, если администрация Особлага — и в этом трагический парадокс — представляет его же родную советскую власть? Как разобраться в этом клубке противоречий?

За восемь лет лагерей Шухов, как и его товарищи по несчастью, мог убедиться, что его судьба — не исключение, не случайная ошибка: рядом сидело множество безвинных людей — коммунистов, простых тружеников, людей, преданных советской власти. Попытки добиться восстановления справедливости, письма и прошения, которые посылались заключёнными в высшие инстанции, вплоть до адресованных лично Сталину, смягчения участи никому не приносили, оставались без ответа. А домой из лагеря никто не возвращался даже после конца срока. Для всех заключённых рано или поздно становилось очевидным, что закон «выворотной», что справедливости не докличешься, сколько ни кричи, и что, стало быть, тут система репрессий, а не отдельные ошибки. Так возникал вопрос: кто же виноват во всём этом?

У иного мелькала дерзкая догадка о «батяке усатом», другой гнал от себя, наверное, эти крамольные мысли и не находил ответа. Не в том ли и была для Ивана Денисовича и его товарищей главная беда, что на вопрос о причинах их несчастья *ответа не было*. Были догадки, но догадки не вооружают — вооружает знание. И потому, когда утихла первая боль обиды и оскорблений, оставалось только неотступное чувство совершённой над ними несправедливости.

Критики, которые хотели видеть Шухова «пытливым» и «активным», упрекали его в том, что он мало говорит и думает о причинах своего положения. Но зачем ему после восьми лет заключения устраивать самому себе безысходную нравственную пытку? Что он знал, то знал твёрдо, а чего не знал, того, к нашей общей беде, и не мог знать.

Конечно, и нам хотелось бы, чтобы Шухов и его товарищи осознали бы природу и последствия культа личности, сидя в лагере, и даже вступили бы с ним в борьбу. Но не выглядит ли это применительно к реальным условиям, о которых идёт речь, самой беспочвенной утопией?

Вот почему упрекать Ивана Денисовича в том, что он не борется, не отстаивает свои права, что он «примирился» со своим положением ээка и не хочет думать о причинах своего несчастья, — значит проявить, говоря словами Чернышевского, «пошлую бесчувственность».

Достаточно и того, что в Иване Денисовиче с его народным отношением к людям и труду заложена такая жизнеутверждающая сила, которая не оставляет места опустошённости и безверию. И этот оптимизм тем более зрел и реален, что рассказ о судьбе Шухова вызывает в нас самое живое и глубокое возмущение преступлениями поры культа личности.

4

Наше представление об Иване Денисовиче как народном характере было бы, пожалуй, неполным, если бы Солженицын показал нам только то, что сближает Шухова с его товарищами по несчастью, и не увидел в лагерной среде своих противоречий и контрастов. Я говорю сейчас не о том очевидном различии, какое существует между «шпионами делаными», которые лишь по делам «проходят как шпионы, а сами пленники просто», и настоящими шпионами вроде маленького «молдавана», получившего законное возмездие. Я не имею здесь в виду и тайной вражды заключённых со «стукачами», подобными некоему Пантелееву, которого оставляют днём под видом больного в бараке и который внушает Ивану Денисовичу насторожённое и брезгливое чувство.

Сложнее и деликатнее вопрос о взаимосвязях, внутреннем соотношении фигуры Шухова и таких значительных в художественной концепции повести лиц, как Цезарь Маркович или кавторанг. Тут светотени возникают так органически и ненавязчиво, что надо получше вслушаться и вдуматься в рассказанное, чтобы верно истолковать замысел автора.

Соблазнительно лёгким решением было бы противопоставить Ивана Денисовича, как человека с небогатой душевной жизнью, людям интеллигентным, сознательным, живущим высшими интересами. Такому соблазну поддался в своей статье «Во имя будущего» («Московская правда», 8 декабря 1962 года) П. Чичеров¹. С сожалением отметив, что «Шухов многого не понимает», указав на «каратаевскую интонацию в раскрытии его духовного, и всё же бедного, мира», критик дал писателю несколько советов, как ему улучшить

¹ См. также с. 67–72 наст. изд. — *Примеч. сост.*

свою повесть. «...Повесть была бы ещё сильнее, ещё крупнее и значительнее, — писал И. Чичеров, — если бы в ней более подробно и глубоко был развёрнут образ-характер кавторанга Буйновского или “высокого старика”. Может быть, этот старик и не был коммунистом. Но он был интеллигентом». И, перейдя от добрых советов к квалификации промахов автора, критик заявил без обиняков: «Существенным недостатком повести, на мой взгляд, является то, что в ней не раскрыта эта интеллектуальная и моральная трагедия людей остро думающих, и не только о том, что стряслась “бяда”, а и о том, как и почему всё это произошло?!»

Не думаю, чтобы И. Чичеров всерьёз рассчитывал на то, что Солженицын возьмётся дополнять и поправлять повесть согласно его конструктивным предложениям. Эти советы и нарекания надо рассматривать скорее как риторическую фигуру, своеобразный приём критической укоризны, который всё ещё никак не выйдет из употребления, несмотря на давнее предостережение Добролюбова: «Если в произведении есть что-нибудь, то покажите нам, что в нём есть; это гораздо лучше, чем пускаться в соображения о том, чего в нём нет и что бы должно было в нём находиться». Жаль, что слова эти редко вспоминают. Не вспомнились они критику и на этот раз. Представляет, однако, интерес, что, рассуждая о том, как надо было Солженицыну написать повесть, И. Чичеров ясно выразил своё понимание её конфликта, противопоставив Шухова людям «остро думающим».

Чтобы у нас не оставалось никаких сомнений в том, что именно не понравилось ему у Солженицына, критик объяснил: «Беспокоит меня в повести и отношение простого люда, всех этих лагерных работяг к тем интеллигентам, которые всё ещё переживают и всё ещё продолжают, даже в лагере, спорить об Эйзенштейне, о Мейерхольде, о кино и литературе и о новом спектакле Ю. Завадского... Порой чувствуется и авторское ироническое, а иногда и презрительное отношение к таким людям».

Итак, с одной стороны, «простой люд», «лагерные работяги», с другой — «переживающие» интеллигенты; с одной стороны, надо понимать, Тюрин, Шухов, Клевшин, с другой — кавторанг, Цезарь Маркович, «высокий старик».

Есть в таком подходе к делу что-то от старого и пошлого предрассудка, согласно которому «простые люди» — люда труда — и думают и чувствуют беднее, чем мы сами, рассуждающие о них с таким уверенным чувством превосходства. Вряд ли сам И. Чичеров, додумав свою мысль до конца, стал бы на ней настаивать. Более того, я думаю, что

в применении к Солженицыну решительно непригодна сама попытка искать противопоставление в плоскости «народ — интеллигенция» и видеть в Иване Денисовиче героя «от сохи», суждения которого придают, так сказать, «антиинтеллигентский» оттенок повести.

Взгляд на вещи у Солженицына не просто другой, но в принципе отличный от этого, возникающий на иной глубине понимания явлений жизни, исходящий из другой системы измерения, чем та, какой пользовался критик. Для Солженицына не существует деления на «простой люд» и «интеллигентов», в лагере он видит более общее и важное различие — людей трудовых и людей, сознательно или бессознательно паразитирующих на чужом труде. Ту же мысль можно выразить и на более привычном для Ивана Денисовича лагерном жаргоне: речь идёт, условно говоря, о работягах, «вкалывающих» на *общих* работах, и о *придурках*.

О работягах, изображённых Солженицыным, мы говорили как будто достаточно. Но несправедливо мало внимания уделили до сих пор «придуркам». А между тем эта часть заключённых и сама по себе сильно занимает автора повести, и позволяет бросить как бы дополнительный свет на фигуру Ивана Денисовича.

Мы помним, что Шухова на все лады упрекали в «приспособлении» к горестным обстоятельствам. Но критики почти не обратили внимания на манеру приспособления «придурков», выделяющихся из «серой массы» работяг и становящихся своего рода аристократией лагеря.

Таким «аристократом» среди эзков был дневальный по штабному бараку, за которого Ивану Денисовичу с утра пришлось мыть пол. Этот «придурок» имел доступ в кабинет майора и начальника режима, служивал им «и с некоторых пор посчитал, что мыть полы для простых надзирателей ему приходится как бы низко».

В людях, презирающих общий труд и выбирающих любой ценой долю полегче, развивается самоуверенное и хамоватое лакейство. Получая высокую пайку, ухитряясь жить в сносных условиях даже в лагере, «придурки» чувствуют за собой право третировать работяг как людей второго сорта.

Вот гвоздём торчит за спиной кладущего стену Шухова десятник Дэр, который на воле в министерстве работал и здесь «дозорщиком» устроился. Этот бездельник горазд советы давать и покрикивать на каменщиков, а когда сам стал однажды показывать, как кирпичи класть, «так Шухов обхохотался». В таких же «наблюдателях», как окрестил их Иван Денисович, ходит другой «придурок» — Шкуропатенко. От него тоже добра не жди. И мало чем лучше их те, кто услугами и под-

ношениями начальству добился тёплого местечка внутри лагеря, пристроился на кухне, в конторе или на складе.

Вспомним хотя бы, как в посылочную, куда изо всех сил поспешал по поручению Цезаря Иван Денисович, зашли, никого не спросясь, оттолкнув переднего в очереди, парикмахер, бухгалтер и один из КВЧ. Тут в обычно ровном, беззлобном тоне рассказа прорываются нотки ненависти: «Но это были не серые зэки, а твёрдые лагерные придурки, первые сволочи, сидевшие в зоне. Людей этих работяги считали ниже дерьма (как и те ставили работяг). Но спорить с ними было бесполезно: у п р и д у р н и меж собой спайка и с надзирателями тоже». Слова эти звучат резко и непримиримо. Они естественны в устах раздосадованного, обиженного Ивана Денисовича.

Это не значит, конечно, что автор не допускает, чтобы среди «придурков» — в конторе или на кухне — начисто не встречались достойные люди, которым просто-напросто в какую-то минуту повезло или помогла их прошлая профессия, как, например, художникам, которых подряжали обновлять зэкам номера и писать надзирателям картины. Да и в санчасти, бывало, работали самоотверженные врачи и фельдшеры, которые спасали людей, бескорыстно помогали заключённым и которых язык не повернётся назвать «придурками». Точно так же не значит, что всякий вышедший на общие работы — уже тем самым хороший трудовой человек. «Шакал» Фетюков и в бригаде «придуривается», старается прожить на чужой счёт. Прежде Фетюков в какой-то конторе большим начальником был, на машине ездил, а теперь он одна обуза для 104-й. Ставит его бригадир носилки с раствором подносить — на это ума вроде не надо. Но Фетюков и тут ловчит, носилки тихонько наклоняет, раствор выхлупывает, чтобы легче нести.

Всё это так, и, однако, не только различия в объективном положении, но в самих внутренних побуждениях, моральных стимулах людей делают достаточно чёткой границу, отделяющую «работяг» от «придурков».

С этой точки зрения полезно взглянуть и на Цезаря Марковича, за которого как будто слегка обиделся И. Чичеров. В самом деле, мягкий, интеллигентный человек, кинорежиссёр, трубку курит, рассуждает об Эйзенштейне — к чему тут ирония? Справедливость требует заметить, что автор не говорит о Цезаре лично ничего худого, есть даже что-то располагающее в этом вежливом, незлобивом человеке, так занятом воспоминаниями и интересами своей прежней профессии. Жаль, конечно, его, как жаль и других безвинно пострадавших, оторванных от дома, от любимого дела.

Но есть одно, чего не обойдёшь. Только что все шли в одной колонне, равные друг другу, и Цезарь угощал Шухова недокурком от сигареты, но вот показались ворота зоны, а потом и сам объект, и Цезарь отделяется от общего строя, не спеша идёт к конторе. Можно рассудить и так: кому какая судьба, ведь он человек образованный, интеллигентный. Но кавторанг тоже человек образованный, а работает с бригадой на объекте, таскает носилки, «как мерин добрый», и на судьбу не жалуется, хоть валится от усталости к концу дня.

Причина столь приятных привилегий Цезаря проста. Два раза в месяц он получает из дому богатые посылки, «всем сунул, кому надо», получил освобождение от общих работ, устроился помощником нормировщика в контору. Иван Денисович не слишком осуждает за это Цезаря, хотя сам он, как помним, «давать на лапу» не умел и в лагере не научился. Великодушно относясь к людским слабостям, Шухов не может винить Цезаря и за то, что, «подмазав» кому-то, тот получил право носить меховую шапку. В этой меховой шапке, с трубкой во рту Цезарь выглядит, должно быть, совсем не по-лагерному импозантно. И хоть ничего протivoестественного нет в том, что люди цепляются за всякую возможность, чтобы облегчить свою участь, но Шухову как-то ближе кавторанг, который работает с ним «на общих», и мы тоже чувствуем за Буйновским это преимущество непререкаемой нравственной силы.

Изящный эстетизм Цезаря, его интеллигентные манеры, то, как он курит трубку, «чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то», — всё это находится в резком противоречии с низкой прозой тех усилий, какими добываются в лагере относительное благополучие и покой, дающие выход приятным воспоминаниям и милым сердцу разговорам.

Цезарь как должное принимает услуги Шухова, за которые иной раз по неписаному условию отблагодарит его своей пайкой. Во время обеда Иван Денисович спешит с миской в контору. «<...> Цезарь сам никогда не унижался ходить в столовую ни здесь, ни в лагере <...>», — как бы между прочим замечает автор. А едва вернувшись с работ в лагерь, Шухов несётся занимать Цезарю очередь в посылочной, сам же Цезарь, «себя не роняя, размеренно» идёт в другую сторону, чтобы сменить Ивана Денисовича, когда дело приблизится к выдаче.

Цезарь Маркович смотрит на Шухова несколько по-барски, замечает его существование только тогда, когда он оказывается для чего-то нужен ему. Духовная жизнь Ивана Денисовича его вовсе не интересует по её видимой примитивности. То, что Шухов не способен

обсуждать с ним мастерство монтажных стыков или крупный план у Эйзенштейна, уже ставит его в глазах Цезаря неизмеримо ниже того круга людей, с которыми молодой кинорежиссёр привык считаться, — людей интеллигентных, или, говоря словами наших критиков, «остро думающих», «осведомлённых». Повстречай он Ивана Денисовича на свободе — и ему не о чем будет сказать с ним двух слов.

Цезарь искренне увлечён кинематографом, но в том, как он говорит о своём кумире Эйзенштейне, в самом способе разговора есть что-то от слишком знакомых, ходовых мнений, с принудительностью моды господствующих по временам в узком кружке людей, связанных с искусством, где иные имена звучат заклинанием и паролем. И. Чичеров заступился перед Солженицыным за тех интеллигентов, которые «всё ещё продолжают в лагере спорить об Эйзенштейне, о Мейерхольде...». О Мейерхольде в повести не сказано ни слова, но психологически понятно, почему он мог залететь здесь к Чичерову: Мейерхольд так Мейерхольд — не всё ли равно, если это лишь знак особо утончённых духовных интересов, своего рода свидетельство об интеллигентности.

В искусстве Цезаря больше всего интересует, как это сделано, он привык дорожить формой, приёмом, самой атмосферой творчества. Цель искусства, то, пробуждает ли оно в людях добрые чувства, кажется ему делом второстепенным. В этом суть его спора с жилистым стариком каторжанином в конторе. Развалившись у стола и покуривая трубку, Цезарь благодушествует.

«— Нет, батенька, — мягко этак, попуская, говорит Цезарь, — объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. “Иоанн Грозный” — разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!

— Кривлянье! — ложку у рта задержа¹, сердится X-123. — Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба настоящего! И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании».

Спор разгорается сильнее, и старик, возмущённый ссылкой Цезаря на то, что иной трактовки «не пропустили бы», гневно возражает: «Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!»

Почти в каждой статье о повести Солженицына приведена эта действительно замечательная сцена, где старик каторжанин, побивая слабые аргументы Цезаря, произносит слова, исполненные высокого гражданского достоинства. Но мало кто из критиков заметил присутствие в этой сцене третьего лица — молчаливо стоящего с миской в

¹ В тексте: «задержа перед ртом». — *Примеч. сост.*

руках, принесённой в контору, Ивана Денисовича. Шухов терпеливо ждёт, потом откашливается, желая обратить на себя внимание, и наконец Цезарь замечает его. Но как замечает!

«Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала, по воздуху, — и за своё:

— Но слушайте, искусство — это не что, а как».

Способ, каким Цезарь принимает от Шухова кашу, пожалуй, больше развенчивает его, чем поражение в споре об искусстве.

Шухов не торопится уходить из уютной конторы, где так приятно стоять у раскалённой докрасна печки, он ещё надеется, что Цезарь угостит его куревом. «Но Цезарь, — говорит Солженицын, — совсем об нём не помнил, что он тут, за спиной. И Шухов, повернувшись, ушёл тихо». Становится горько-горько за Ивана Денисовича после этих слов, и возникает невольная неприязнь к такому вежливому и симпатичному Цезарю Марковичу. Он может ещё позволить себе роскошь поспорить вволю о пляске опричников с личиной, а Шухову пора на объект, к своим.

Я не сомневаюсь в законности тех интересов, которые занимают Цезаря. Я мог бы даже посочувствовать его одержимости мастерством Эйзенштейна, как всякому живому человеческому пристрастию. Но я признаю бóльшую, так сказать, существенность за тем, что волнует Ивана Денисовича, что составляет его заботы. Как не подумать о том, что Цезарю Марковичу не пришлось бы рассуждать в конторе, в тепле, за миской с кашей, которую принёс ему Шухов, о сцене в соборе, если бы целый день в здании ТЭЦ не работала бы бригада, проценты выработки которой он, по счастливому своему положению, определён подсчитывать.

В Цезаре нет хищного своекорыстия, его наивный эгоизм чаще вызывает у нас улыбку, чем досаду и негодование. Но, ища себе долю полегче, Цезарь приобрёл своего рода глухоту к тому, что волнует окружающих его людей. Попытка остаться в кругу привычных «московских» интересов есть способ самозащиты против тяжких впечатлений лагеря. Но эти же разговоры об Эйзенштейне, о кино как бы отстраняют его от таких людей, как Шухов, изолируют от них и лишают ответственности перед ними. «Высшие» интересы искусства не сопрягаются с «низшими», прозаическими интересами жизни, которыми поневоле заняты Иван Денисович и его товарищи. И если Шухов твёрдо верит в то, что жизнь не есть озорство, то этой веры не хватает, похоже, Цезарю Марковичу, как не хватало её «красилям», основавшим новый «весёлый» промысел в родной деревне Ивана Денисовича.

В самом главном, в отношении к жизни и к труду, что-то неожиданно сближает утончённого Цезаря Марковича с красилями из деревни Темгенёво. И точно так же вопреки ожиданию у интеллигентного, идейного человека Буйновского находится больше общего с Иваном Денисовичем, чем с Цезарем, несмотря на то, что тот в бригаде «одного кавторанга и придерживается», видя лишь в нём достойную себе компанию. Одно это начисто отвергает мысль о каком-либо противопоставлении народа и интеллигенции у Солженицына. Принцип деления тут другой.

Кавторанг не «придуривается», не ищет, как обойти беду легче, миновать жребий работяг. И хоть туго приходится ему без привычки к физической работе, он безропотно выполняет приходящуюся на его долю часть общего труда бригады. «Осунулся крепко кавторанг за последний месяц, а упряжку тянет» — одно это вызывает у Ивана Денисовича молчаливое уважение к нему и чувство внутреннего родства, какого он не может испытывать к Цезарю.

И чтобы у нас не оставалось сомнений в том, чем и как различны между собою Цезарь и кавторанг, Солженицын сводит их вместе на вахте перед возвращением домой после долгого трудового дня. «И Цезарь тут, от конторских к своим подошёл. Огнём красным из трубки на себя попыхивает, усы его чёрные обындевели, спрашивает:

— Ну как, капитан, дела?

Гретому мёрзлого не понять. Пустой вопрос — дела как?

— Да как? — поводит капитан плечами. — Нароботался вот, еле спину распрямил.

Ты, мол, закурить догадайся дать».

Цезарь догадывается, даёт капитану закурить и начинает отводить с ним душу в любимом разговоре.

«Уговаривает Цезарь кавторанга:

— Например, пенсне на корабельной снасти повисло, помните?

— М-да... — Кавторанг табачок покуривает.

— Или коляска по лестнице — катится, катится.

— Да... Но морская жизнь там немножко кукольная.

— Видите ли, мы избалованы современной техникой съёмки...

— И черви по мясу прямо как дождевые ползают. Неужели уж такие были?

— Но более мелких средствами кино не покажешь!

— Думаю, это б мясо к нам в лагерь сейчас привезли вместо нашей рыбки, да не моя, не скребя, в котёл бы ухнули, так мы бы...»

Один критик увидел в этом разговоре некий нравственный урон для кавторанга, которого автор якобы уравнил в самом образе мыс-

лей с «шакалом» Фетюковым, заставив говорить о сомнительном мясе так, как будто и он не отказался бы его отведать. Подробность в самом деле не слишком эстетичная. Но нельзя сказать, что она не у места. Автор резко спустил Цезаря с небес на землю, разбил условно-эстетическое восприятие им мира, иронически соотнеса пусть самый удачный кинематографический приём с неподдельной и грубой реальностью. Способ не новый, много раз с успехом служивший Толстому, но и здесь оказавшийся кстати. Прислушиваясь к разговору Цезаря и кавторанга, мы чувствуем особенно остро различие их положения: один из собеседников только что вернулся из жарко натопленной конторы в созерцательно-благодушном настроении, другой же отработал целый день на жестоком морозе и, естественно, несколько грубее и проще смотрит на жизнь.

С Иваном Денисовичем Цезарь не станет говорить об Эйзенштейне, о котором тот, наверное, даже и не слышал. Но кавторанг, которого Цезарь по образованности и кругу интересов считает ровней себе, выражает тот взгляд на вещи, который, без сомнения, должен был бы одобрить и разделить Шухов. Хотелось бы, конечно, чтобы Иван Денисович стоял на более высокой ступени культуры и чтобы Цезарь Маркович, таким образом, мог бы говорить с ним решительно обо всём, что его интересует, но, думается, и тогда взгляды на многое были бы у них различны, потому что различен сам подход к жизни, само её восприятие.

Иное дело кавторанг или тот высокий молчаливый старик, которого с уважением рассматривает Шухов за ужином. Старик этот был интеллигентом, по догадке И. Чичерова, и, должно быть, крепко воевал за справедливость, потому что сидел он по лагерям да по тюрьмам несчётно и ни одна амнистия его не коснулась. Но достоинства своего не утратил, себя не потерял. «Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фтиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком».

Отношение Шухова к «придуркам», точно так же, как его недоумение по поводу лёгкого промысла красилей, имеет в своей основе народное отношение к труду и к моральному долгу совместно работающих людей друг перед другом.

Обо всём этом стоит говорить подробнее, потому что, как ни удивительно, «придурки» тоже не остались в литературе без защиты и покровительства. В повести Б. Дьякова «Пережитое» («Звезда», № 3, 1963), написанной, видимо, не без влияния Солженицына и с внеш-

ним усвоением некоторых её интонаций, по одному вопросу — вопросу о «придурках» — идёт нескрываемая полемика с «Иваном Денисовичем».

Героя повести Б. Дьякова, собравшегося в первый день своего лагерного срока выйти на общие работы, урезонивает более опытный инженер. Он дружески советует ему поскорее устроиться руководителем художественной самодеятельности при лагере, чтобы избежать общих работ. Инженер предупреждает новичка, что в лагере сидят не только жертвы беззакония, но и «настоящие мерзавцы», с ними-то и предстоит борьба. Сам же лагерный режим может показаться не слишком тяжёлым, если вести себя умело: «В шахматы играете? Очень хорошо! Тогда вам известно: иной раз кажется — мат неизбежен, но... напряжение мысли, расчёт, ход конём или рокировка, или пешку в ферзи и — жизнь выиграна!.. Вы, разумеется, понимаете аллегории?»

Эти аллегории понимают все. Но Шухова почему-то невозможно представить делающим «ход конём». И Тюрина. И кавторанга. Вспомним, что о своей болезни Шухов говорит в санчасти «совестливо, как будто зарясь на что чужое», и присаживается с градусником под мышкой на самый край лавки, «неволью показывая, что санчасть ему чужая». Герой же Б. Дьякова — мы не осуждаем его за это, а лишь констатируем — сначала лечит в лагерной больнице свою застарелую грыжу, потом устраивается библиотекарем, затем инсценирует роман для художественной самодеятельности и организовывает подписку на заём среди заключённых. Словом, заботы эти иного сорта, чем те, что волновали Ивана Денисовича.

Что ж, разные, вероятно, были лагеря, разные люди в них сидели, и по-разному переживалось происходившее. Но вот прямое рассуждение, вложенное Б. Дьяковым в уста одного из героев повести: «Придурками в лагере называют тех заключённых, которые выполняют хозяйственные или канцелярские работы. Правда, есть зэки, считающие, что придурки — особо привилегированные, подхалимы и доносчики... Это неверно. Конечно, попадают и такие. А в основном придурок — знаете кто? Умный заключённый *при* дураке начальнике».

Наконец-то слово найдено, и сомнению не остаётся места. «Придурок» — умный заключённый, устроившийся при дураке начальнике, — должен чувствовать своё несомненное превосходство и над теми дураками работягами, которые на ледяном ветру, в мороз тяжёлым трудом зарабатывают свою скудную пайку. Его душу не только

не будет царапать совесть, но он испытает прямо-таки самодовольство при мысли, что придумал ловкий «ход конём», а какой-нибудь Шухов никогда до этого не додумается, так и будет таскаться на работу с бригадой, бедолага. Шкуропатенко, Дэр, разъевшийся завстоловой, я не говорю уж о нашем безобидном и добродушном Цезаре Марковиче, — все они будут выглядеть в таком случае «умными заключёнными» при дураках начальниках, а Тюрин, Клевшин, кавторанг — недалёкими зэками, которым поделом, что они трудятся «на общих», если приспособиться половчее ума не хватило. Но думать так можно, лишь вовсе не предполагая в человеке других интересов, кроме шкурных, и других побуждений, кроме тех, что подсказывает инстинкт самосохранения, какими бы высокими соображениями это ни маскировалось.

У Ивана Денисовича и у кавторанга, у Тюрина и у Клевшина иное отношение к людям и к труду, отношение, которое мы вправе назвать народным вне зависимости от того, принадлежат ли эти люди к «народу» или к «интеллигенции» в старом понимании слова. Это народность не внешняя, не показная, а глубоко коренящаяся в них, внутренняя, стойкая, которая особенно дорога Солженицыну и которая сообщает его книге тон мужественного оптимизма.

Солженицыну близки заветы русской литературы прошлого века — народность Некрасова и Щедрина, Толстого и Чехова. Но тот взгляд на народ, какой выражен в его повести, характерен именно для советского писателя и, больше того, для писателя, вошедшего в литературу в последние годы, ознаменованные важными переменами в нашей жизни.

В различных областях духовной деятельности, в том числе в литературе и искусстве, тоже есть свой тяжёлый и серьёзный труд сенокоса и свой прибыльный и лёгкий промысел красилей, работающих по модному трафарету. Отношение к труду может объективно сближать и разделять людей, независимо от того, колхозники они или интеллигенты, Шуховы или кавторанги. И Солженицын с новым правом мог бы повторить замечательные слова Чехова: «Все мы народ, и всё то лучшее, что мы делаем, есть дело народное».

Народному отношению к труду противостоит ещё ныне мещанское желание прожить полегче, устроиться поприбыльнее, пожить на чужой счёт. Но в каких бы формах ни проявляло себя мещанство — в грубо-корыстных или возвышенно-интеллектуальных, в раболепно-смирных или начальственно-повелительных, мы всегда в конечном счёте распознаём его по отношению к труду и трудовым людям. Зна-

чение повести Солженицына в том, в частности, и состоит, что оно помогает ясно понять это.

Разоблачая беззакония, ставшие возможными при Сталине и противоположные всей природе социалистического общества, повесть «Один день Ивана Денисовича» отвергает и то отношение к народу, на котором основывалась идеология культа личности. Сталин отгораживался от народа государственными карательными органами и, хотя в своих речах часто поминал и хвалил народ, сам относился к трудовым людям с плохо скрытым презрением. «Сталин не верил в массы, — говорил на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС 1962 года Н.С. Хрущёв. — Он состоял членом рабочей партии, но не уважал рабочих. О людях, вышедших из рабочей среды, он пренебрежительно говорил: этот из-под станка! Куда, мол, он суется!» Слово «народ» превращалось в устах Сталина в пустую абстракцию. Словно бы все вместе — были народ, а каждый в отдельности уже не имел к народу отношения.

Восстанавливая социалистическую законность, ленинские нормы общественной жизни, партия придала новую значительность и такому понятию, как «народность». С этой точки зрения появление в литературе повести Солженицына было заметным событием.

Солженицын написал эту повесть, потому что не мог её не написать. Он писал её так, как исполняют долг — без всяких уступок неправде, с полной открытостью и прямоотой. И потому его книга, при всей жёсткости её темы, стала партийной книгой, воюющей за идеалы народа и революции.

Нас могут спросить: а где же анализ мастерства автора, формы произведения? В самом деле, мы не говорили отдельно, как это обычно принято, о «художественных особенностях» повести, но убеждены, что мы всё время говорили о них, едва лишь заходила речь об Иване Денисовиче, Цезаре, кавторанге, о самой атмосфере «счастливого дня» или о сцене работы на ТЭЦ, потому что искусство Солженицына — это не то, что выглядит как эффектное внешнее украшение, пристёгнутое где-то сбоку к идее и содержанию. Нет, это как раз то, что составляет плоть и кровь произведения, его душу. Неискушённому читателю может показаться, что перед ним кусок жизни, выхваченный прямо из недр её и оставленный как он есть — живой, трепещущий, с рваными краями, сукровицей. Но такова лишь художественная иллюзия, которая сама по себе есть результат высокого мастерства, умения художника видеть людей живыми, говорить о них незахвантан-

ными, точно впервые рождёнными на свет словами и так, чтобы у нас была уверенность — иначе сказать, иначе написать было нельзя.

Повесть «Один день Ивана Денисовича» прожила в нашей литературе всего год и вызвала столько споров, оценок, толкований, сколько не вызывала за последние несколько лет ни одна книга. Но ей не грозит судьба сенсационных однодневок, о которых поспорят и забудут. Нет, чем дальше будет жить эта книга среди читателей, тем резче будет выясняться её значение в нашей литературе, тем глубже будем мы познавать, как необходимо было ей появиться. Повести об Иване Денисовиче Шухове суждена долгая жизнь.

ОБЩИЙ ТРУД КРИТИКИ¹

Редакционный дневник

Всякий, кто с вниманием следит за развитием нашей критики, не может не отметить серьёзный и углублённый характер её сегодняшней работы, её хозяйский, конструктивный подход к важнейшим проблемам развития искусства социалистического реализма. И в этой истинно творческой атмосфере, когда советские литераторы, объединённые общей целью, делают одно большое, народной важности дело, невозможно остаться незамеченным любому выступлению, «вдохновлённому» субъективистскими представлениями. Можно сказать, что в литературной критике сегодня необъективность, безответственность на глазах отступают под напором здоровых сил, сплочённых единым устремлением, заботой о процветании родной литературы.

В разделах критики первых, январских номеров наших «толстых» литературных журналов иные статьи читаются с не меньшим интересом, чем «сами» проза и поэзия. И страстность литературных оценок при этом не только не заслоняет, но ещё отчётливее высвечивает стремление критиков бережно и любовно поддержать каждый заметный талант, каждое новаторское явление в литературном процессе. Всё чаще конкретное рассмотрение произведений опирается на серьёзную научную основу; поверяется жизнью.

Именно с позиций жизни подходят к явлениям литературы и искусства авторы наиболее интересных статей в январских номерах журналов.

¹ Литературная газета. 1964. 22 февраля. Печатается в сокращении.

<...>

Требование обстоятельности, доказательности в выступлениях по важным и острым проблемам литературы возникает в нашем обзоре не случайно. При этом надо помнить, что и обстоятельность обстоятельности — рознь. <...>

О том, что порой кроется за внешней «обстоятельностью» критики, свидетельствует статья «Иван Денисович, его друзья и недруги», принадлежащая перу В. Лакшина («Новый мир»)¹. Статья посвящена повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и некоторым критическим отзывам о ней. Вот уж, казалось, всё здесь — и пространность рассуждений, и дотошность в цитировании, и обращение к классикам отечественной критики, к документам последнего времени — располагало к тому, чтобы статья получилась по-настоящему убедительной. Однако на недавних творческих обсуждениях в московской писательской организации эта статья была подвергнута довольно резкой критике в выступлениях Л. Фоменко, А. Тодорского, А. Дымшица, И. Астахова, Б. Дьякова, В. Назаренко, С. Трегуба именно за недоказательность, субъективистский подход к общественно-творческим проблемам, за узость взгляда на литературный процесс.

Нет слов, этой новой работе молодого критика, уже приметившегося читателям своим живым пером, не откажешь в остроумии отдельных реплик в адрес тех, с кем он полемизирует; содержит статья и ряд дельных наблюдений над повестью «Один день Ивана Денисовича». Совершенно справедливо утверждение, что это произведение представляет собой в литературе последнего времени явление значительное и по-своему знаменательное: «...сам факт появления повести был воспринят людьми как подтверждение воли партии навсегда покончить с произволом и беззакониями, омрачавшими недавнее наше прошлое». Говоря так, критик здесь же делится следующим наблюдением: «И понятно, что гражданская смелость автора была отмечена прежде и повсеместнее, чем его художественная смелость».

Казалось бы, такое наблюдение, такие бесспорно верные посылки естественно предопределяют всё дальнейшее развитие статьи: критик попытается вдумчиво исследовать, в чём же состоит «гражданская смелость» писателя, в чём проявилась его «художественная смелость». Казалось бы, рассуждая о повести, он постоянно будет иметь в виду

¹ См. также с. 176–216 наст. изд. — *Примеч. сост.*

ту насквозь оздоровлённую общественно-политическую атмосферу, в которой появилось такое произведение. Это ожидание, а точнее, это требование к статье носит отнюдь не формальный характер: только такой подход к своей задаче, только такая магистраль и могли уберечь молодого критика от «перекоса», который получила его работа в настоящем виде.

Неуклонное следование этой магистрали, надо думать, не дало бы критику отступить в рассуждениях о писательском таланте на такие позиции, которые сегодня представляются, по меньшей мере, архаичными.

Утверждение автора статьи о доминирующем значении таланта выглядело бы бесспорным, если бы понятие таланта в его представлении необходимо включало в себя мировоззренческий элемент, мысль об объективных общественно-исторических условиях, неизменно способствующих рождению того или иного новаторского произведения искусства. Но что получается у В. Лакшина? Кажется, куда как он прав в своём резонном и выстраданном гневе против «нормативной» критики, у которой «готовы понятия обо всём», что касается разбираемого произведения. Однако задуматься глубже, попытаться «вышелушить» смысл из множества слов и саркастических экивоков, рассыпанных по статье: какую же роль критике «при таланте» отводит В. Лакшин, если эта критика не будет иметь насчёт предмета, талантом исследуемого, ни твёрдых объективных знаний и убеждений, ни ясных путей решения изучаемой проблемы?

С другой стороны, так ли плодотворна критика, которую автор статьи называет «аналитической» и которая, по его словам, стремится «подходить к произведению как к отражению живой, противоречивой, непрестанно меняющейся жизни и, исходя из свидетельства художника, выносить суд о самом произведении и о жизни, в нём изображённой»? Разве и в этой формуле, как она изложена В. Лакшиным, мировоззренческое и объективное в таланте художника не отеснено на задний план, разве произведение искусства не понимается здесь как «контактное», объективистское «зеркало» действительности, как простейшее «свидетельство», не контролируемое ни убеждениями, ни творческой индивидуальностью, ни жизненным опытом художника?

Бог весть по какому праву определив себе роль единственного защитника и приверженца повести «Один день Ивана Денисовича», В. Лакшин пытается поделить с помощью этого произведения всех критиков, писавших о книге, на «друзей» и «недрузгов».

Собственно, о «друзьях» в статье речи нет, упоминание о них здесь скорее средство сделать более «полным» заголовок статьи. Впрочем, без особого труда можно понять, что «друзья», по В. Лакшину, это те критики, которые приняли повесть «как данное», восторженно, кто хотел бы видеть её главного героя именно таким (и только таким!), каким он нарисован у А. Солженицына.

«Недрузи» — это те авторы, кто обронил в адрес повести хоть слово критики, позволил себе рассуждать на темы, казалось бы, столь естественные и привычные при рассмотрении всякого литературного произведения: о типичности героя, о полноте изображённых обстоятельств, о неиспользованных возможностях темы и т.д. Это критики, которые увидели в облике Ивана Денисовича черты примиренчества, пассивности, некоей «каратаевщины», считающие, что тема, поднятая А. Солженицыным, могла быть решена ещё более ярко и убедительно, если бы нашим проводником по бериевскому аду оказался человек, схожий с кавторангом Буйновским — героем, только намеченным в этой повести.

Повесть А. Солженицына никак не отнесёшь к ординарным явлениям литературы. В статье В. Лакшина о ней верно сказано: «Это был тот редкий в литературе случай, когда выход в свет художественного произведения в короткий срок стал событием общественно-политическим». К этой повести читатель подходил как к первому художественному произведению на тему, которая для нас открылась лишь после XX съезда партии. И подходил, если угодно, как к художественному документу, сопрягая чтение книги со всем личным, выстраданным, что так или иначе отложилось в его собственной судьбе от времён культа личности. Ещё только раскрывая первую страницу повести, читатель уже знал много страшного и мучительного о беззакониях тех лет.

Однако знал, знает он и о другом — о мужестве и стойкости многих из тех, кто был незаслуженно репрессирован, дожил до праведного часа освобождения, вернулся в наш рабочий строй, свято сохранив веру в партию, в народ, в социализм. Это видные общественные деятели, учёные, военачальники, писатели, люди, чьи жизни являют нам всем пример, достойный восхищения и подражания. И гражданский их подвиг, их судьбы говорят нам не только о замечательных личных качествах отдельных людей — они много и прежде всего говорят о народе, их взрастившем, о том, что культ личности не убил в советских людях советского, коммунистического, как о том злобно кричали наши враги. Это ведь так важно: и в таких трагедийных судьбах мы

видим торжество нашей социалистической системы, ни на час не обрывавшегося нашего движения к коммунизму!

Кто знает, возможно, В. Лакшину все эти соображения в связи с повестью и покажутся второстепенными, — в самые суровые и сложные годы он, как пишет в статье, «сочинял сценарий студенческого капустника, бегал на дружеские вечеринки». Но для тех, кто уже жил тогда полноценной «взрослой» жизнью, эти годы — частица собственной судьбы. Для них такое убеждение, такое ощущение историзма необыкновенно дорого: речь идёт о стране, и речь идёт о них самих! Естественно, что для них вовсе не безразлично, какого героя выбрал художник для рассказа о нашем личном и общественном опыте...

Однако следует ли из всего этого, что мы должны упрекнуть А. Солженицына за его выбор героя для его повести? Ни в малейшей мере! На этот вопрос мы должны ответить со всей определённойостью. Многочисленные свидетельства читательской благодарности писателю за его повесть общеизвестны.

Но, с другой стороны, означает ли это, что любого критика или читателя, помывлившего о возможности и другого героя для решения этой большой и сложной темы, следует немедленно зачислять, как это сделал В. Лакшин, в «недрузи», требовать на его голову критической анафемы?! Не кажется ли молодому критику, что уже сама его постановка вопроса о «друзьях» и «недрузьях» таит в себе некий дурной подтекст? Ведь критиков, чьи имена называются в статье, он аттестует не только как «недругов» повести, но и как «недругов» её героя, жертвы культа личности, Ивана Денисовича, который, говоря словами статьи, являет собой «народный характер», олицетворяет многих рядовых людей, составляющих «самую толщу широких трудящихся масс» и сосредоточивших в себе «народные черты нравственной стойкости, трудолюбия, товарищества и т.п.». Не нужно прибегать к сложным логическим построениям, чтобы, идя за мыслью В. Лакшина, понять, кому и чему «недрузи» эти неосторожные критики... Вот до чего, оказывается, можно договориться в пылу литературной полемики!

Этот пыл и торопливость в обличении «инакомыслящих» не однажды заводят Лакшина в дебри, в которые он, по-видимому, и не стремился, заставляя его то «усекать» цитаты из других статей, то делать из них совершенно произвольные выводы, приписывая одним критикам любовь к пресловутому «идеальному герою», других приравнивая к Алёше-баптисту, персонажу из повести А. Солженицына.

В. Лакшин способен одёрнуть рабочего В. Иванова, который в «Известиях» позволил себе написать что-то не так, как того хотелось бы критику¹; он грубо «сталкивает лбами» разные книги на одну тему, с оскорбительной уничижительностью пишет о повести Б. Дьякова «Пережитое»...

Повесть «Один день Ивана Денисовича» дорога нам всем, — не одному только В. Лакшину. Тем более нельзя превращать это произведение в предмет размежевания литераторов, нельзя делать из книги некий «феномен», выводить его за пределы естественно развивающегося литературного процесса, насильственно догматизируя и регламентируя всякую творческую мысль о данном произведении.

Ведь как ни старался В. Лакшин «учесть» в своей статье все критические отзывы о повести, все их опровергнуть, заявить на будущее, что такие отзывы есть «род странной неблагодарности к писателю», но вот вышла его статья, и вместе с ней в журнале «Москва» появилось новое выступление, которое, надо думать, вызовет гнев В. Лакшина. Критик В. Сурганов в статье «А надо помнить...»², высоко оценивая повесть А. Солженицына, вместе с тем пишет о «стихийности оптимизма» Ивана Денисовича, о чрезмерной его приспособляемости, о его социальной инертности, «равнодушии к тому хорошему и плохому, что происходит в стране». Статья написана остро, возможно, и вокруг неё разгорится спор. Но справедливо ли будет, если вместо вдумчивой творческой полемики В. Сурганов завтра получит в ответ на своё выступление то, что получили от В. Лакшина его предшественники: «голос, заставляющий меня вздрогнуть», «булавочные уколы исподтишка», «с младенческой литературной безответственностью», «прокурорский монолог», «разделавшись с литературными приличиями», «пристрастия, унаследованные от вчерашнего дня нашей жизни» и т.д. и т.п.?!

Когда в статье В. Лакшина этот окрик «как посмел?» и эти «пристрастия от вчерашнего» встают рядом, право же, они оборачиваются против самого критика, пользующегося такими вот приёмами в творческом споре...

<...>

¹ Иванов В. Не приукрашен ли герой? // Известия. 1963. 26 декабря. См. также с. 139–142 наст. изд. — *Примеч. сост.*

² Сурганов В. А надо помнить... // Литературная газета. 1964. 23 января. См. также с. 162–176 наст. изд. — *Примеч. сост.*

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!¹

К годовщине встречи руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства

Никита Сергеевич Хрущёв, выступая 5 марта 1963 года на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, сказал:

«Народ и партия глубоко заинтересованы в том, чтобы художественное творчество развивалось у нас в правильном направлении. Линия развития литературы и искусства определена Программой партии, которая обсуждалась всенародно и получила всеобщую поддержку и одобрение рабочих, колхозников, интеллигенции.

А как лучше и правильнее претворить эту линию в художественном творчестве, решает каждый из вас в соответствии с пониманием своего долга перед народом и особенностями своего таланта, своей художественной индивидуальности.

Встречи руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, критика недостатков, взаимное определение новых задач, которые выдвигаются жизнью, откровенные беседы, которые происходят во время этих встреч, — всё это показывает, что мы с вами единомышленны в оценке успехов и недостатков литературы и искусства. Думаю, что и сегодняшний обмен мнениями будет иметь важное значение для дальнейшего развития литературы и искусства».

Прошёл год с тех пор, как состоялась историческая встреча. Только один год. Но даже и за этот короткий срок видно, сколь благотворное влияние оказала она на творчество писателей, художников, композиторов, деятелей кино и театра, как оживила она всю практическую работу творческих союзов.

В конце февраля состоялось расширенное заседание секретариатов правления Союза писателей РСФСР и правления московской писательской организации, посвящённое итогам литературного года. На этом заседании выступили Л. Соболев, Л. Якименко, В. Панков, И. Гринберг, В. Друзин, И. Мотяшов, Д. Стариков, С. Трегуб, Д. Ерёмин, А. Прялков, А. Турков, Н. Яновский (Новосибирск), С. Гайсарьян, Н. Кладо, Л. Фоменко, Б. Соловьёв, В. Лукьянин (Свердловск), С. Ба-

¹ Литературная Россия. 1964. 6 марта. Печатается в сокращении.

руздин, С. Бабаевский, С. Поделков, О. Резник, П. Строков, В. Трушкин (Иркутск), В. Баранов (Уфа), В. Гура (Вологда), И. Золотусский (Владимир), Т. Батурина (Ставрополь), В. Ардаматский, В. Сурганов, П. Куприяновский (Иваново), П. Глинкин, А. Хватов (Ленинград) и Е. Аксёнова (Владимир).

Сегодня мы рассказываем о том, какие проблемы были затронуты в выступлениях, как оценили участники заседания то, что сделано писателями России за литературный год.

<...>

* * *

<...> Д. Ерёмин, секретарь правления московской писательской организации, обратил внимание на необходимость размышлять над проблемой социально-классового подхода к каждому произведению. У нас, к сожалению, критика и литературоведение подчас растворяются в общекультурной системе суждений. Между тем социально-классовый подход имеет колоссальное партийное значение.

Дмитрий Ерёмин затронул важнейшую тему современности, равно имеющую и общеполитическое, и литературное значение. Речь шла о восстановлении ленинских норм нашей жизни в свете решений XX и XXII съездов КПСС. В литературе есть немало произведений, в которых авторы страстно размышляют над явлениями недавнего прошлого. Но и в художественной прозе, и особенно в литературной критике проявляется ещё тенденция свести этот многомерный вопрос только к фактам нарушения законности. Критик В. Лакшин, выступивший на страницах «Нового мира» со статьёй «Иван Денисович, его друзья и недруги», как бы аккумулировал эти неверные и узкие тенденции.

Роман А. Солженицына — художественно сильный и глубоко правдивый, но «возведение его в некий эталон рождается из неправильного убеждения, будто ликвидация последствий культа личности и восстановление ленинских норм касаются только вопроса о нарушениях законности. Нет же! Это охватывает все области нашей жизни — и внутреннюю, и международную политику Коммунистической партии и коллегиальность в работе: это охватывает все отрасли экономики...».

<...>

Теперь уже вряд ли найдёшь скептиков, которые не видели бы наглядных успехов критики за последние годы. Они несомненны. Но

несомненно и то, что эти успехи ощутимы более всего на отдельных участках: в разработке частных тем искусства художественного слова. Выше уже шла речь о недостаточной теоретической оснащённости литературной критики. Многие ораторы на заседании секретариатов говорили о необходимости поднять историзм критических статей и оценок. Отмечалось, что в критике в минувшем году встречались иногда путанные высказывания и весьма сомнительного свойства суждения о социалистическом реализме. В частности, критиковалась опубликованная в «Новом мире» статья Ю. Манна «Художественная условность и время», из которой напрашивается вывод, будто жизнь реализма кончилась, наступает век условностей в искусстве.

Вместо того чтобы анализировать самый процесс литературы социалистического реализма, вместо того чтобы соотносить этот процесс с историческим движением советского общества, некоторые критики замыкаются в узколитературном ряду, поступаясь принципами марксистско-ленинской теории. Снова и снова говорилось о связи критики с жизнью. Выше уже упоминалась статья В. Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги». Нельзя не увидеть в методе этого молодого литератора дурную тенденциозность, нетерпимость к инакомыслящим. Вспоминалось недавнее обсуждение итогов года по литературной критике в московской писательской организации. Атака, которой подверглась поразительно камерная статья В. Лакшина, была подкреплена прицельным огнём жизненных фактов. Генерал А. Тодорский и писатель Б. Дьяков, сами прошедшие «круги ада», понёсшие в годы культа суровую, несправедливую кару, дали объективную, непредвзятую оценку повести А. Солженицына. Позиция критика, холодными руками прикоснувшегося к столь трепетной теме, привела к большой ошибке. Фактически В. Лакшин призвал не к объединению усилий критиков, а к размежеванию их, назвав недругом Ивана Денисовича (литературного персонажа!) каждого, кто хоть сколько-нибудь критично подошёл к этой повести. Но разве настоящая, деловая, непреднамеренная критика ограничивается лишь дифирамбами?

Правомерно суждение Д. Ерёмкина, который усмотрел в статье В. Лакшина порочную исходную позицию.

— У Лакшина есть утверждение, которое методологически надо оспорить. Критик говорит: к произведению надо подходить «как к отражению живой, противоречивой, непрестанно меняющейся жизни и, исходя из свидетельства художника, выносить суд о самом произ-

ведении и о жизни, в нём изображённой». Это означает, что каждого писателя надо рассматривать в его собственном мире, в мире, им созданном. Верно, что, не зная мира писателя, ничего не поймёшь в его творчестве. Но из этого не следует, что каждое произведение надо анализировать, только «исходя из свидетельства художника», то есть из того, что заложено *внутри* самого произведения. Это утверждение идеалистическое. Марксистский принцип заключается в том, чтобы произведение рассматривалось, исходя из действительности, из объективных законов общественного развития.

Участники заседания резко осудили объективистские тенденции и абстрактно-гуманистические рассуждения, всё ещё встречающиеся в литературной критике и литературоведении. И было сказано веское слово. Оно прозвучало как требование: необходим широкий фронтальный подъём общественных наук, философии искусства и литературной теории.

<...>

Н. Сергеев

ПРЕДДВЕРЬЕ...¹

Правильно ли рассказ, роман или повесть выдвигать на соискание Ленинской премии лишь потому только, что это хорошие работы? Я думаю, что Ленинские премии следовало бы присуждать не просто хорошим или даже лучшим работам, а в какой-то мере выдающимся, исключительным и уж если не составляющим эпоху, то хотя бы наиболее полно отражающим какой-то исторический период, какую-то сторону общественной жизни, человеческого бытия.

Как свидетель пережитого (я долгие годы был в заключении), могу подтвердить, что повесть А. Солженицына, конечно, правдива. Но ведь правдивым должно быть всякое повествование в нашей литературе.

Повесть, безусловно, интересна. Из числа других произведений её выделяет новизна темы. Но когда начинаешь разбираться более внимательно в произведении Солженицына, то становится ясно, что в этой значительной повести есть нечто, снижающее её общественное звучание.

¹ Литературная Россия. 1964. 27 марта. Автор — преподаватель истории из Москвы.

Мне хочется сказать лишь о главном её недостатке. Иван Денисович Шухов, как собирательный образ, действительно отражает значительную часть жертв сталинского произвола. В этом правда. Но Шухов не герой истории. Этот образ не отражает действительных героев. Шухов — герой-страдалец, но не борец. Он трудолюбив, дружелюбен, терпелив. Но психология его мелка: приспособление к обстоятельствам, отсутствие воли к борьбе за общее дело. Сила духовного возмущения, сила протеста против несправедливости подменяется в нём силой духа потребительского.

Настоящие герои-борцы, действительные выразители исключительных черт народного характера, активного протеста против великой несправедливости, были и в условиях сталинского произвола, в условиях лагерных режимов. Это, например, старик Ю-81. Заметил его и автор повести. Но лишь мимоходом. Он не раскрыл этого характера. А именно старик Ю-81 и должен быть главным героем в *такой* повести. Сила народная именно в нём.

Конечно, борьба была гигантски трудна. Но ведь она была! Именно потому страна не останавливалась в своём развитии, партия оставалась Ленинской партией и выполнила и такую историческую миссию, как разоблачение культа Сталина.

В словах Павла Постышева: «Я большевик!» — или Александра Косарева: «Незаслуженных репрессий не поддерживаю» — заключалась борьба.

Учёный Вознесенский и народный комиссар Брюханов после их дискредитации Сталиным продолжали научные исследования по вопросам социалистической экономики, финансовой политики. В этом тоже выражалась борьба.

Старик Ю-81 не согнул спины под огромным грузом. Именно тут вот и раскрыть бы автору повести силу воли вот этого человека-гиганта, и повесть приобрела бы иной смысл, возможно, такой, который давал бы ей полное право на завоевание Ленинской премии.

В дни моего пребывания в лагере передо мной много раз сидел за столом старик Сыромяцкий с Одесщины. Это не литературный герой, а живое, реальное лицо. Он тоже «сидел бессчётно» по лагерям да по тюрьмам. И оставался советским человеком. Постоянно убеждал окружающих, что «покуда существует Советская власть и Ленинская партия, то рано или поздно правда восторжествует». Он тоже не сгибал спины, не лез в чужую миску и своей неиссякаемой энергией спас многих от духовной гибели. Вот что такое борьба. А не в том, чтобы «жить, сжав зубы» или думать только о баланде.

Повторяю, она (повесть. — *Сост.*) относится к числу хороших, талантливых произведений художественной литературы последнего времени, но является лишь преддверием к той большой литературной работе, которая отразит глубже правду периода культа личности Сталина, отразит подлинную героиню борьбы этого периода, полнее раскрывает содержание общественной жизни в те тяжёлые времена.

ВЫСОКАЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ¹

Из редакционной почты

С каждым годом всё более широкие круги читателей участвуют в обсуждении произведений литературы и искусства, выдвигаемых на соискание Ленинской премии. Советские люди, для которых создаются эти произведения, высказывают своё мнение о них, оценивают их достоинства и недостатки. Большой интерес представляет огромный поток читательских писем. Пишут со всех концов страны люди самых различных профессий.

В нашей редакционной почте много писем посвящено повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Как и следовало ожидать, повесть эта по-разному воспринята разными читателями. Есть письма, в которых «Один день Ивана Денисовича» характеризуется только положительно, и авторы их одобряют выдвижение повести на соискание Ленинской премии. И есть письма, в которых столь же определённо высказывается противоположная точка зрения, повесть выносится целиком отрицательная оценка. При чтении и тех и других писем сразу обращает на себя внимание односторонность во взгляде на разбираемое произведение, авторы таких писем в полемическом запале не заботятся об объективности своих суждений, о точности доводов и оценок. Но таких писем немного.

Объективное читательское мнение о повести А. Солженицына несомненно выражает третья, самая большая группа писем. В них ведётся серьёзный, по-хозяйски строгий и взыскательный разговор о путях развития советской литературы, содержится глубокий и беспристрастный анализ произведения, определяется его место в ряду других, созданных и опубликованных в минувшем году. Эти письма наглядно демонстрируют, какой зрелой и квалифицированной стала критическая мысль массового читателя, как выросли его эстетические вкусы и запросы.

¹ Правда. 1964. 11 апреля.

Отмечая бесспорные достоинства повести, отдавая им должное, авторы писем указывают и на её существенные недостатки, проявляя высокую требовательность, живейшую заинтересованность в повышении идейно-художественного уровня нашей литературы. Все они приходят к одному выводу: повесть А. Солженицына заслуживает положительной оценки, но её нельзя отнести к таким выдающимся произведениям, которые достойны Ленинской премии.

Приток таких писем особенно усилился после появления за последнее время рецензий и статей, где хорошему и полезному произведению писателя давались явно завышенные оценки, настойчиво подчёркивалось, что оно бесспорно достойно самой высокой награды.

Большинство наших читателей отмечает, что в своё время о произведении А. Солженицына было сказано в нашей печати немало добрых слов. Но эта справедливая поддержка никак не означает, что всё в повести безоговорочно хорошо, что она может служить высоким образцом, чуть ли не эталоном литературного творчества. Ценные качества повести «Один день Ивана Денисовича» очевидны, и их немало. Однако она, разумеется, не принадлежит к числу тех произведений, на которые призвана равняться вся наша литература и которые обозначают собою, как вехи, путь всего советского искусства. И это хорошо понимают читатели, обращающиеся в «Правду» со своими письмами.

Что является самым характерным и примечательным в этих письмах? Ответить на это можно одной фразой: глубочайшее понимание всей ответственности выдвижения произведений на соискание Ленинской премии. Вот как говорят об этом сами читатели:

«Тема повести нужная, своевременная, — пишут в своём письме *Л. Спиридонов* и *Н. Власенко* (г. Витебск). — Есть в повести и сильные стороны. Но ведь это ещё не значит, чтобы каждому более или менее удачному произведению непременно присуждалась Ленинская премия». Об этом же говорится и в письме читателя *В. Субботина* из г. Куйбышева: «Нельзя за каждое хорошее произведение присуждать Ленинскую премию». О необходимости более взыскательного подхода к выдвижению произведений на Ленинскую премию пишет и член КПСС с 1919 года *Л. Крацкин* (г. Свердловск).

Читатели призывают к всестороннему глубокому анализу произведений, выдвинутых на всенародное обсуждение. «По поводу произведений, выставленных на соискание Ленинской премии, принято писать хорошее. Нам кажется, этого совершенно недоста-

точно. Надо посмотреть также и другую — отрицательную сторону произведения», — замечает инженер *Д. Лебедев* из г. Сарапула, высказывая ряд критических замечаний по повести «Один день Ивана Денисовича».

Доцент Московского библиотечного института *А. Поликанов*, характеризуя повесть как книгу «самобытную, по-своему талантливую, но противоречивую», напоминает при этом, что «Ленинская премия даётся не за один только талант, а за высокие художественные творения, духовно обогащающие нашего человека, просветляющие его разум и чувства, вливающие в душу живительную энергию и бодрость». А этих качеств в данной книге он не находит.

Слесарь *И. Сибгатуллин* из г. Казани в присланном им пространном письме, положительно оценивая повесть «Один день Ивана Денисовича», в то же время задаёт вопрос: «Не поспешно ли она выдвинута на соискание Ленинской премии? Произведение, претендующее на такую высокую премию, должно вдохновлять читателя на борьбу за идеи добра, социалистической нравственности и справедливости, оно призвано выразить идеал (идеал — это не обязательно идеальный герой), стремление к которому облагораживало бы человека и делало его сильным. Вот этим-то требованиям не отвечает “Один день Ивана Денисовича”».

«Повесть действительно за душу берёт, ни одну строчку в ней нельзя читать без волнения, — делится своими впечатлениями заслуженная учительница БССР *Е. Вичуро* (г. Могилёв). — Может быть даже, я особенно остро восприняла всё, что в ней излагается, потому что и сама потеряла мужа (а мои трое детей — отца) в 1938 году. Но к Ленинской премии книгу эту я бы не представляла. Ей не хватает тех художественных достоинств, которые так необходимы произведениям, представляемым к этой большой награде». Эту же точку зрения подерживает и читатель *И. Быстров* (Мурманская область). «Достоинства повесть имеет, — заявляет он, — но литературные её качества не на уровне произведения, которое можно было бы поставить на красную полку книг, удостоенных Ленинской премии».

Почему с такой определённой читатели настаивают на этом своём мнении? Причин здесь много.

Серьёзный недостаток повести некоторые читатели видят в упрощённом подходе к обрисовке характера советского человека, его духовного мира. Этот характер, даже в тех тяжелейших условиях, которые описывает автор, проявлялся значительно полнее, содержательнее, сильнее, чем это показано в повести.

Об этом пишут в «Правду» ветеран Великой Октябрьской революции А. *Конторициков* из г. Электрогорска, учительница Нижне-Шунской школы Кировской области Ф. *Агламзянова*, считающая, что писатель «обеднил духовный мир своего героя, он как бы не решается показать высокую идейность в рядовом советском человеке. Нужно быть более высокого мнения о нём, показать его духовное богатство». Вслед за этими читателями «довольно примитивный внутренний мир героя повести» отмечает москвич С. *Савин*, член КПСС с 1919 года. Эти же мысли высказывают в своих письмах участник Великой Отечественной войны врач С. *Смирнов* (г. Сочи), журналист К. *Смальцев* (г. Фрунзе) и многие другие читатели.

Заведующий коммунальным отделом исполкома Красноярского горсовета В. *Голицын* считает, что в образе Ивана Денисовича не выражен светлый идеал народного героя, который увидели в нём некоторые литературные критики.

Читатели не могли не заметить в повести и очевидной противоречивости авторских позиций. Она сказывается прежде всего в подчёркнуто добреньком, жалостливом и уравнительном гуманизме, при котором у автора заслуживают одинакового сердечного сочувствия и честные, хорошие люди, ставшие жертвой несправедливости и беззакония, и преступники, предатели, получившие заслуженное ими наказание. Словом, как пишет А. *Красносельский* (г. Москва), автор будто не различает среди своих героев «благородных и жуликов, хороших и плохих людей». В уже упомянутом письме И. *Быстрова* отмечается как одна из основных черт героев повести всеобщее «праведничество страдальцев».

Почти в каждом читательском письме содержатся весьма серьёзные критические замечания и по поводу языка повести А. Солженицына. Надо прямо сказать: автор не встречает здесь поддержки читателей, которые выражают большую неудовлетворённость тем, что писатель не следует в своём творчестве лучшим традициям русского литературного языка, забывает о его весьма важной эстетической воспитательной роли.

Получаемые редакцией письма свидетельствуют, с каким вниманием к процессу развития нашей литературы, с каким уважением к писательскому творчеству принимают участие советские люди в обсуждении волнующих их проблем дальнейшего развития нашей художественной культуры.

В. Лакшин

В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»¹

«Литературная газета» уже не раз писала о моей статье «Иван Денисович, его друзья и недруги» («Новый мир», № 1, 1964), выдвигая против неё самые разнообразные аргументы. Оставляя за собою право вернуться к существу этой полемики, я хочу лишь дать читателям необходимое разъяснение по поводу некоторых приёмов спора, использованных критиком Юрием Барабашем в статье «“Руководители”, “руководимые” и хозяева жизни» («Литературная газета», № 56).

Можно было думать, что в большой статье, развёрстанной на трёх газетных полосах, Юрий Барабаш найдёт место для того, чтобы хотя бы один раз, хотя бы одну фразу критика, с которым он спорит, привести целиком, без изъятий, усечений и вольных переложений. Однако он ограничился таким пересказом:

«Суть дела, в представлении В. Лакшина, сводится, коротко говоря, к следующему: если в период культа личности наша литература занималась преимущественно изображением “руководителей, организаторов и вдохновителей”, то в последние годы, после XX съезда партии, она обратилась к изображению “людей руководимых и организуемых”, людей самых обыкновенных».

Изложив таким образом за меня мои «представления», Юрий Барабаш начинает полемизировать с созданным им призраком. Но сначала он старается сделать его более опасным в глазах читателей, чтобы победа над ним принесла ему больше чести. Своё переложение моих мыслей Юрий Барабаш называет «схемой развития советской литературы до и после XX съезда», концепцией, «претендующей на объяснение процессов, происходящих в нашей литературе после XX съезда», наконец, теорией «руководителей» и «руководимых», которая «не так уж безобидна» и находится «в глубоком принципиальном противоречии» с «нашей концепцией человека».

Все эти «схемы», «теории» и «концепции» приписываются мне. Это вынуждает меня напомнить читателям то небольшое место моей статьи, какое послужило поводом для «заметок» Юрия Барабаша. Вот оно в его подлинном виде:

«Появление в литературе такого героя, как Иван Денисович, — свидетельство дальнейшей демократизации литературы после XX съезда

¹ Литературная газета. 1964. 4 июня.

партии, реального, а не декларативного сближения её с жизнью народа. Чехов говорил, что о Сократе легче писать, чем о барышне или кухарке. Опыт показывает, что легче писать и об академиках-селекционерах, о секретарях райкома, о главных агрономах и директорах МТС, чем об Иванах Денисовичах и тётках Матрёнах. В годы культа личности многие литераторы привыкли больше интересоваться тем, что происходит в комнате правления колхоза, чем под всеми остальными крышами деревенских изб. Не оттого ли изображение Солженицыным героя рядового, обыкновенного воспринимается критиком как опасная новизна?

Спору нет, для советской литературы, как ни для какой другой, важна тема руководителей, организаторов и вдохновителей. Однако, если исходить из марксистско-ленинского взгляда на вещи, эта тема по меньшей мере не полна без изображения людей руководимых и организуемых, людей самых обыкновенных, несущих ношу каждодневного труда, составляющих, по выражению Ленина, “самую толщу широких трудящихся масс”. Так что ирония по поводу “рядового”, обыкновенного человека тут ни к чему».

Я прошу читателей сравнить этот подлинный мой текст с тем, как он изложен у Юрия Барабаша, и воздерживаюсь от комментариев.

Отмечу только, что в другом месте своей статьи Юрий Барабаш сам неожиданно высказывает согласие с моими мыслями. Он пишет:

«Критика не раз уже справедливо выражала глубокое удовлетворение по поводу того, что в нашу прозу, наряду с другими, пришли и такие во многом новые для неё образы, как солженицынские Иван Денисович Шухов и тётка Матрёна. Этот факт — яркое свидетельство благотворного воздействия на нашу литературу той атмосферы, которая сложилась у нас после XX и XXII съездов партии».

Помилуйте, о чём же тогда спор? А вот о чём.

«Существует, — продолжает Юрий Барабаш, — определённая логика эстетической концепции: если критик усматривает суть процессов, происходящих в советской литературе последнего десятилетия, в некоем повороте от изображения “руководителей” к изображению “руководимых” (такой вид получает теперь под пером Ю. Барабаша “моя” концепция. — В.Л.), он непременно должен прийти — и, как видим, приходит — к выводу о том, что не кто иной, как Иван Денисович, стал теперь подлинным героем нашей литературы, что именно Шухов есть воплощение народного характера, своего рода эталон народности».

С кем спорит здесь критик? Кто это считает Шухова «эталонном народности» или, как ниже говорится, «воплощением современного народного характера, героем-эталонном, с которым якобы и связано всё то новое, знаменательное, истинно живое и народное, что пришло в нашу литературу после поворотного XX съезда партии»?

Трудно сказать. Во всяком случае, открыв мою статью, читатель прочтёт:

«Следует согласиться, что в Шухове нелепо видеть “идеал народного героя”. Сам писатель не претендовал на создание такого рода “идеала”, хотя и показал в своём герое народные черты нравственной стойкости, трудолюбия, товарищества и т.п.».

Считая Ивана Денисовича в главном — в отношении к людям и труду — реальным, а не «идеальным» народным характером и видя как раз в этом принципиальную удачу Солженицына-художника, я ставил, в частности, в заслугу писателю отсутствие ложной идеализации Шухова. «Но недостатки Ивана Денисовича не таковы, — писал я, — чтобы переносить упор с его трагического положения на его якобы слабость и несостоятельность, с беды его на вину». В этом-то и состоит подлинная суть спора.

Я считал и продолжаю считать, что не просто бестактно, но кощунственно упрекать Ивана Денисовича, отбывающего безвинно восьмой год в бериевском лагере, за то, что он не чувствует себя «хозяином жизни», кощунственно называть трудовых людей, подобных Шухову, «бездумными роботами», кощунственно приписывать Шухову «жертвенность» на том основании, что он оказался *жертвой* репрессий периода культа личности.

Таковы мои подлинные представления, и, как легко убедиться, они существенно отличаются от тех, что навязаны мне Юрием Барабашем, обнаружившим в моей статье догматическую «теорию», смыкающуюся с идеологией и практикой культа личности.

Последнее время «Литературная газета» часто призывает к доброжелательности, объективности в спорах, протестует против наклеивания ярлыков, ложной подозрительности и проработочного тона. Я бы прибавил к этому минимально необходимое требование добросовестности в цитировании и изложении взглядов своего оппонента.

Но как в свете всего изложенного расценить приёмы полемики, к которым прибегаю в своих «заметках критика» Юрий Барабаш?

14 мая 1964 г.

От редакции

В. Лакшин упрекает своего оппонента в том, что последний не процитировал, а лишь «пересказал» его, В. Лакшина, мысль, чем исказил саму мысль.

Есть ли основания для подобного упрека? Давайте разберёмся.

В чём заключается смысл утверждения В. Лакшина, если судить по статье Ю. Барабаша «“Руководители”, “руководимые” и хозяева жизни»? В том, что наша литература, в период культа личности занимавшая якобы преимущественно изображением «руководителей», «организаторов» и «вдохновителей», после XX съезда КПСС обратилась наконец к изображению «руководимых» и «организуемых».

В. Лакшин утверждает в своём письме, что эта мысль ему приписана. Что реальный, во крови и плоти В. Лакшин заменён здесь призраком, которому и объявляет борьбу автор «Литературной газеты». В качестве доказательства В. Лакшин приводит соответствующий отрывок из своей статьи целиком.

О чём же идёт в этом отрывке речь, применительно к предмету спора? О том, что, хотя «для советской литературы, как ни для какой другой, важна тема руководителей, организаторов и вдохновителей», «эта тема по меньшей мере не полна без людей руководимых и организуемых». Не так ли? Согласен ли Лакшин, что именно эта мысль является главной, решающей в его «расширенной» цитате?

Если так — о чём же тогда спорить?!

Далее. Имел ли право критик назвать приведённое выше утверждение В. Лакшина «концепцией», «претендующей на объяснение процессов, происходящих в нашей литературе после XX съезда»? Имел. А почему бы и нет? Утверждение автора статьи «Иван Денисович, его друзья и недруги» носит отнюдь не частный характер. Оно явно претендует на обобщение. И высказал его не «призрак», а реальный критик В. Лакшин.

Так обстоит дело с «приёмами спора», которые считает предвзятельными В. Лакшин.

В чём же, однако, существо вопроса? Смысл статьи Ю. Барабаша — прежде всего в протесте против насковозь ложного разделения советских людей на «руководителей» и «руководимых», «организаторов» и «организуемых», против своего рода «табели о рангах». Подобное разделение в применении к советскому обществу является антимарксистским. Оно игнорирует как лежащий в основе социальной структуры социалистического строя коллективизм и творческую, коммунистическую активность масс, так и социальную при-

роду подлинного руководителя ленинского типа, который есть плоть от плоти народа.

Ссылка В. Лакшина на Чехова лишь ещё более наглядно иллюстрирует всю ложность, «призрачность» его концепции. Ведь и В. Лакшин, и Ю. Барабаш пишут о современной, о советской литературе с её принципами, с её критериями!

В. Лакшин пишет: «...в годы культа личности многие литераторы привыкли больше интересоваться тем, что происходит в комнате правления колхоза, чем под всеми остальными крышами деревенских изб».

Конечно, в те годы выходило немало книг, кинокартин и полотен, отмеченных печатью отрицательного, сковывающего воздействия культа личности на наше искусство. Но ведь дело в другом — утверждение В. Лакшина игнорирует *главные* отличительные черты советской литературы, черты, характерные для неё во все периоды её развития.

Если бы советскую литературу тех лет действительно отличал главным образом интерес к «происходящему в комнате правления» (то есть к «руководителям», пользуясь терминологией В. Лакшина), если бы она игнорировала тех, кто живёт «под крышами деревенских изб», то её вдохновляющее значение было бы сведено до минимума, если не к нулю; миллионы людей во всём мире отвернулись бы от такой литературы.

Надо ли говорить, что дело обстояло не так, и об этом писалось в статье «“Руководители”, “руководимые” и хозяева жизни».

Для советской литературы в целом, создавшей образы Левинсона и Морозки, Чапаева и Павлика Корчагина, Давыдова и Кондрата Майданникова, Кирилла Извекова и Василия Тёркина, молодогвардейцев и Хомы Хаецкого, Серпилина и Марка Бессмертного, никогда, в том числе и в трудный период культа личности, не существовало «табели о рангах», «должностного» подхода к человеку. Её всегда и неизменно волновала проблема героя, хозяина и преобразователя жизни, где бы он ни был: под крышей ли деревенской избы, в комнате ли правления колхоза или в райкомовском кабинете... XX съезд партии, решительно развенчавший культ личности и ознаменовавший новый этап во всей идейной, духовной жизни страны, создал все условия для того, чтобы эта определяющая черта литературы социалистического реализма в её дальнейшем развитии нашла своё наиболее полное выражение.

Читаешь письмо В. Лакшина в редакцию, и создаётся впечатление, что его автор не слышит, «не замечает» существа адресованных ему упреков. А жаль. Глухота, позволительная «призраку», является серьёзным недостатком для полемизирующего критика...

В. Лакшин утверждает далее, что автор «Литературной газеты» не прав, упрекая его в том, что в герое повести А. Солженицына он видит «идеал народного героя»; не прав, поскольку сам он, В. Лакшин, соглашается, что видеть в Шухове такой идеал «нелепо».

Разумеется, можно спорить о терминологии. Но никакие оговорки не меняют существа вопроса. Неужели В. Лакшин хочет всерьёз убедить читателя, что есть принципиальная разница между героем, воплотившим в себе, как пишет критик в статье «Иван Денисович, его друзья и недруги», «народные черты нравственной стойкости, трудолюбия, товарищества и т.п.», и упомянутым «идеалом», даже если не расшифровывать это самое «и т.п.»?

Что же получается? В. Лакшину говорят о ложности, неправомерности разделения советских людей на «организаторов» и «организуемых». О том, что такое разделение в основе своей очень близко к пресловутой теории «винтика». Он же в письме в редакцию повторяет свой тезис и тут же... жалуется на «искажения».

Внимание критика обращают на то, что советская литература, вопреки его утверждению, никогда не занималась только «сократами». Он проходит мимо этого замечания с незаинтересованностью призрака.

«Я считал и продолжаю считать...» — вот лейтмотив письма В. Лакшина.

Приведя цитату из своей статьи, В. Лакшин величественно заявляет, что «воздерживается от комментариев». Что ж, это дело ваше, тов. Лакшин. А вот нам воздерживаться от комментариев трудно.

Поскольку речь идёт не просто о частной полемике двух критиков, а о принципиальной позиции, изложенной в статье «Иван Денисович, его друзья и недруги», у нас есть все основания повторить, что «считала и продолжает считать» в этой связи редакция.

Так вот, мы считаем и продолжаем считать, что приём, посредством которого ставится знак равенства между реальным человеком с реальной судьбой и героем художественного произведения, есть рецидив догматической критики, с которой нередко приходилось сталкиваться в период культа личности. Подобного рода приём открывает широкие возможности для шельмования каждого, кто высказывает своё, не совпадающее с мнением того или иного критика, мнение об этом литературном герое.

Понятно ли нашему оппоненту, что мы имеем в виду? Нужны ли разъясняющие аналогии?

Допустим, не в столь давние времена литературный персонаж той или иной книги был наделён автором рядом отличных качеств, но тем

не менее вызвал противоречивые оценки. Как бы вы, тов. Лакшин, отнеслись к критику, который на журнальных страницах стал бы упрекать своих оппонентов в том, что они критикуют этот персонаж лишь потому, то не приемлют его... преданности делу партии, его патриотических убеждений и т.д.? Как бы вы отнеслись к критику «тех времён», который озаглавил бы подобного рода статью, скажем, так: «Друзья и враги советского человека»?

Надо думать, вы не пожалели бы слов для достойной характеристики такого «приёма».

Как же можете вы сегодня обличать тех, кто, признавая несомненные достоинства талантливой и своевременной повести А. Солженицына, высказывает, однако, по её адресу критические замечания? Как можете объявлять их «недрузьями» «Ивана Денисовича, отбывающего безвинно восьмой год в бериевском лагере»?

Как можете вы под флагом защиты хорошего произведения возрождать методы, страстному осуждению которых это произведение посвящено?

Спор вокруг повести А. Солженицына совсем иного рода. Речь идёт о совершенно закономерном желании многих читателей и критиков, глубоко убеждённых в том, что вера в Коммунистическую партию, в Советскую власть никогда не покидала советских людей, прочесть книгу, герой которой даже в самых жестоких условиях бериевского террора всем своим существом активно утверждал эту веру, — желании тем более оправданном, что в жизни таких примеров было немало.

Иван Денисович, как и всякий художественный образ, разумеется, есть результат обобщения, выражение позиции художника.

Почему же, будучи благодарным автору за то, что его произведение вносит свой вклад в борьбу против произвола культа личности, читатели и критики вместе с тем не вправе мерить героя этого произведения теми мерками, которые подсказывает им наша жизнь? Почему они не вправе, наконец, мечтать и об ином герое, показанном в тех же жестоких обстоятельствах?

Что отвечаете вы, тов. Лакшин, этим читателям и критикам?

Если пользоваться вашей терминологией, вы кощунственно бросаете тень на отношение каждого своего оппонента не к герою художественного произведения, нет, а к реальным жертвам сталинского произвола.

В своём письме в редакцию вы пишете: «Последнее время “Литературная газета” часто призывает к доброжелательности, объектив-

ности в спорах, протестует против наклеивания ярлыков, ложной подозрительности и проработочного тона».

Мы готовы вновь повторить этот наш призыв с некоторым, на этот раз, дополнением — и против рецидивов демагогической критики, идущей вразрез с задачей сплочения всех сил советской литературы, пути дальнейшего развития которой определены XX и XXII съездами КПСС.

Ю. Карякин

ЭПИЗОД ИЗ СОВРЕМЕННОЙ БОРЬБЫ ИДЕЙ¹

Речь идёт о полемике, вызванной повестью А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и ставшей звеном идеологической борьбы на международной арене. Два факта предопределили особую остроту этой полемики. Во-первых, открытое выступление руководителей КПК против мирового коммунистического движения (прежде всего против КПСС), их стремление использовать сегодня те самые «аргументы», которые вчера были монополией антикоммунистов. Во-вторых, разоблачение в повести некоторых крайних проявлений того, что названо «культом личности».

1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЧУТЬЁ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Для определения социального смысла полемики вокруг повести обратимся сначала к такому объективному критерию, как «практическое чутьё самих заинтересованных лиц» — представителей различных направлений, партий и классов (см.: *Ленин В.И.* Соч. Т. 13. С. 335). Антикоммунистам и раскольникам их практическое чутьё продиктовало здесь ту же самую реакцию, что и по отношению к политике искоренения культа личности. О преступлениях, разоблачённых в повести, одни говорят: было *только* это, другие — этого *не* было. Одни — это *вся* правда о коммунизме, другие — это никакая *не* правда. Одни кощунственно спекулируют на этой трагедии, другие скрывают, что культ личности и означал такую трагедию. Одни злорадствуют, другие — боятся.

Антикоммунистическая пресса уверяет: повесть — беспросветна, природа русского народа — в долготерпении, у Ивана Денисо-

¹ Новый мир. 1964. № 9. Перепеч. из: Проблемы мира и социализма. 1964. № 9.

вича Шухова нет ничего советского, лагерь — вот воплощение коммунизма.

Антикоммунисты восхваляют повесть как «победу литературы над политикой». Эти утверждения опровергаются как содержанием самой повести, так и отношением к ней ЦК КПСС. Н.С. Хрущёв говорил, что повесть написана «правдиво, с партийных позиций» и что «партия поддерживает подлинно правдивые художественные произведения, каких бы отрицательных сторон жизни они ни касались, если они помогают народу в его борьбе за новое общество, сплачивают и укрепляют его силы». Такая оценка высказывается и коммунистами других стран. Сэм Рассел свидетельствует, к примеру: хотя буржуазная печать и надеялась нажать политический капитал на публикации повести, «этим надеждам не суждено сбыться. Ибо сама публикация этого произведения является частью гарантий того, что ни советский народ, ни весь мир никогда больше не испытают нарушений социалистической законности» («Дейли уоркер», 31 января 1963 года).

Но вот что говорят некоторые люди, также называющие себя «коммунистами»: «Эта повесть написана, чтобы лишь угодить вкусу тех, кто ратует за ликвидацию последствий культа личности и клеветает на социалистическое общество и руководство партии». Это — «декадентское», «контрреволюционное произведение», в котором «отрицается сама советская власть». Подчёркивая связь появления повести с политикой КПСС, с курсом XX съезда (и в этом они, несомненно, правы), они и выступают против повести, против этой политики, лично против Н.С. Хрущёва, одобрявшего такие произведения, которые якобы «распространяют яд буржуазной идеологии». В этот «чёрный список», кроме «Одного дня Ивана Денисовича», входят поэмы А. Твардовского «За далью — даль», «Василий Тёркин на том свете», фильмы «Чистое небо» и «Тишина» и т.д.¹

У всех тех, кто фальсифицирует и ненавидит повесть, есть очень веские «основания» делать это. Можно сказать, что у них есть для этого даже значительно больше «оснований», чем подсказывает их чутьё, которое отнюдь не способствует просветлению их разума или приобретению таких качеств, как объективность, добросовестность и пр.

¹ См.: Зери и популит. 1964. 12–14 июня; Чхоннен мунхак. 1963. № 12, и пр. Позиции раскольников, как это часто теперь случается, совпадают с позициями троцкистов: «Читая Солженицына, можно подумать, что выживали только те, кто умел гнуть спину». Троцкисты объявляют Ивана Денисовича «антигероем» и в итоге заключают, что повесть порождает лишь «горький пессимизм...» (см.: Partisans. 1963. № 12. Pp. 163, 165). — Примеч. Ю. Карякина.

2. АНТИНАРОДНОСТЬ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ

Антинародность культа личности — такова основная идея повести А.И. Солженицына. Речь идёт, следовательно, не только о трагедии людей, но и — это главное — о тех силах, которые позволяют преодолеть эту трагедию, об изживании культовых иллюзий и о вызревании народного приговора произволу и беззаконию. И всё это, разумеется, обращено не только в прошлое. Повесть разоблачает те самые «идеалы» и порядки, которые и сегодня насаждаются защитниками культа личности — маоистами, их сторонниками и последователями.

С чем покончил XX съезд и что защищают его противники

Если один человек полагает, что у другого не может быть собственных убеждений, а этот последний стыдится своего мнения, боится его высказать, старается избавиться от него (следовательно, слепо верит кому-то), перед нами — элементарная предпосылка отношений культа личности. «Малейший отрыв от идей Мао Цзэ-дуна, то есть субъективное стремление сделать что-либо по-своему, может привести к неудаче, провалу», — учат ныне в Китае. Но теперь хорошо известен предел таких отношений. Он выражен в словах из инструкции, которую, как ежедневную «молитву», читает в повести А.И. Солженицына начальник караула. Эти слова звучат символически: «Шаг вправо, шаг влево — считается побег, конвой открывает огонь *без предупреждения!*...»¹

«Нельзя, чтобы все были рулями», нужны «нержавеющие винтики» — внушают маоисты китайскому народу. Но они скрывают, к чему *в конце концов* приводит такая «философия»: человек перестаёт быть человеком с фамилией и именем, он становится не личностью, а пронумерованным «зэком». Мало того, и номер-то надо скрывать, «стараться надо, чтоб никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только».

Славить Мао, славить «рядовых» его армии, «выпестованных идеями Мао», — так формулируется сегодня официальная задача искусства в Китае. Реально это направлено на *унижение* великого народа и его искусства. Народ хотят (но никогда не смогут) превратить в стадо, блеющее от радости при одном упоминании о пастыре. А стадо считают «по головам». И вот к чему в конце концов сводится роль художников: «Художников в лагере трое, пишут для начальства картины бес-

¹ Здесь и далее в цитатах курсив Ю. Карякина. — *Примеч. сост.*

платные, а ещё в черёд ходят на развод номера писать. Сегодня старик с бородкой седенькой. Когда на шапке номер пишет кисточкой — ну, точно как поп миром лбы мажет». (Картины для «начальства» и о «начальстве», а для народа — номера — не таков ли идеал искусства, «оплодотворённого идеями председателя Мао»?)

Сторонники культа личности стремятся всё регламентировать, а на деле содействуют расцвету произвола. И вот правдивая картина *крайнего* произвола: «Свистит над голой степью ветер — летом сухойвейный, зимой морозный. Отроду в степи той ничего не росло, а меж проволоками четырьмя — и подавно. Хлеб растёт в хлеборезке одной, овёс колосится — на продскладе. И хотя спину тут в работе переломи, хоть животом ляжь — из земли еды не выколотишь, больше, чем начальничек тебе выпишет, не получишь. А и того не получишь за поварями, да за шестёрками, да за придурками. И здесь воруют, и в зоне воруют, и ещё раньше на складе воруют. И все те, кто воруют, киркой сами не вкальвают. А ты — вкальвай и бери, что дают. И отходи от окошка.

Кто кого сможет, тот того и гложет».

Кто не работает, тот не ест — это убеждение в крови у трудящегося человека, и он с неискоренимой силой презрения и ненависти относится к паразитам, которых питала обстановка беззаконий. На это кровное убеждение масс и опираются коммунисты в борьбе за построение истинно человеческого общества.

Культ личности извращает все принципы социализма. И вот перед нами ещё одно такое *предельное* извращение: для того чтобы построить «Соцгородок», сначала «надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих натягивать — чтоб не убежать. А потом строить»... Но среди строителей — масса людей, самоотверженно строивших социализм на воле и больше всего мечтающих строить его — *добровольно*.

Люди — «самый ценный капитал», кадры — «золотой фонд партии» (*Сталин*)... Но вот документально точная и одновременно глубоко символическая сцена — выход на работу:

«Стоят ээки перед воротами, застёгиваются, завязываются, а снаружи конвой:

— Давай! Давай!

И нарядчик в спины пихает:

— Давай! Давай!

Одни ворота. Предзонник. Вторые ворота. И перила с двух сторон около вахты.

— Стой! — шумит вахтёр. — Как баранов стадо. Разберись по пять!
Уже рассмеркивалось. Догорал костёр конвоя за вахтой. Они перед
разводом всегда разжигают костёр — чтобы греться и чтоб считать
виднее.

Один вахтёр громко, резко отсчитывал:

— Первая! Вторая! Третья!

И пятёрки отделялись и шли цепочками отдельными, так что хоть
сзади, хоть спереди смотри: пять голов, пять спин, десять ног.

А второй вахтёр — контролёр, у других перил молча стоит, только
проверяет, счёт правильный ли.

И ещё лейтенант стоит, смотрит.

Это от лагеря.

Человек — дороже золота. Одной головы за проволокой недоста-
нет — свою голову туда добавишь.

И опять бригада слилась вся вместе.

И теперь сержант конвоя считает:

— Первая! Вторая! Третья!

И пятёрки опять отделяются и идут цепочками отдельными.

И помощник начальника караула с другой стороны проверяет.

И ещё лейтенант.

Это от конвоя.

Никак нельзя ошибиться. За лишнюю голову распишешься — сво-
ей головой заменишь».

Кажется, ты видел всё это своими глазами...

Это случилось не со всеми. Счастье для тех, кто этого не испытал.
Но тем более каждый обязан знать:

Вот с чем покончил XX съезд КПСС.

Вот что защищают его противники.

Вот каких разоблачений они боятся.

И вот почему они так люто ненавидят повесть, срывающую с них
все и всяческие маски.

«Чем дальше, тем крепче утверждался»...

Подчеркнём ещё раз: А.И. Солженицын даёт социально-художественный материал для решения вопроса о культе личности в его *самом крайнем*, поистине *предельном* выражении. Если даже в лагере (с массой невинно заключённых) есть такие силы, которые могут противостоять нечеловеческим условиям существования, — значит, тем более нет оснований для вывода о «беспросветности», «пессимизме» и т.д.

Французский писатель-коммунист П. Дэкс отмечал: «Солженицын не из тех, кто царапает раны для того, чтобы их бередить... Этот лагерь несёт в себе самом своё собственное разрушение с того самого момента, когда люди могут здесь побеждать... “Один день Ивана Денисовича” — это составная часть нынешних усилий, очищающих революцию от тех преступлений, которые её грязнят, и более того: эта книга нацелена на то, чтобы вернуть революции всё её значение...» («Леттр франсэз», № 967, февраль-март 1963 г.).

Одних жестокость истины закаляет, поднимает на борьбу. Других расслабляет, пугает, принижает. А третьи закрывают на неё глаза или объявляют её ложью и клеветой.

В повести нет ни одной нотки жалобы, никакого малевания ужасов. «Рассказывает без жалости, как не об себе <...>» — эти слова Ивана Денисовича относятся ко всему произведению.

Художественность в повести гармонически соединяется с документальностью, символика — с предельной конкретностью. «Что» и «как» здесь слиты абсолютно. А.И. Солженицын вместе со своим героем презирает лёгкий промысел, вроде раскраски ковриков («наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки. <...> Заработок, видать, лёгкий, огневой»). Перед нами живой протест против той небывалой инфляции слова, которая принимает размеры настоящего бедствия и развращает и писателей, подчас малюющих книги, как красилá — ковры, и читателей, скупающих эти поделки. Художник словно подключился к незатейливому, но по-своему глубокому и последовательному ходу мыслей Шухова. Так подслушивает иногда народный напев музыкант и очень осторожно, редкими, искусными аккордами начинает его сопровождать, выявляя всё, что хотел выразить певец, и в то же время несравненно больше. Автор ничего не навязывает читателю, а предоставляет ему возможность *свободного* размышления, трудную радость *сотворчества* — надёжный признак настоящего искусства, которое делает из человека не потребителя, а будит в нём творца.

А.И. Солженицын не идеализирует никого из своих героев. Иван Денисович и в бога верует («Как громыхнёт — пойди не поверь!»). «Обо всём за него начальство думает — оно, будто, и легче». Он соглашается: «Это верно, кряхти да гнись. А упрётся — переломишься». Все эти качества — не только одно из следствий культа личности, но и одно из его условий.

Однако характер Шухова ни в коем случае нельзя свести к «долготерпению» и к «выживанию». Всё дело для него не просто в том, чтобы выжить, а в том, как и для чего выжить. Он выживает не за счёт других, а в труде и для труда.

Идут «зэки» из лагеря на работу, «как на похороны». Идут обратно — тот же мотив: «как на похороны». Но даже тяжёлый труд для большинства из них — это как *воскрешение*: «Стояла ТЭЦ два месяца, как скелет серый, в снегу, покинутая. А вот пришла 104-я. И в чём её души держатся? — брюхи пустые поясами брезентовыми затянуты: морозняка трещит; ни обогревалки, ни огня искорки. А всё ж пришла 104-я — и опять жизнь начинается». Так думает про себя Иван Денисович. Кладка стены — это символ самоутверждения человека в самых нечеловеческих условиях. В работе Шухов и с бригадиром — на равных, он и с десятником разговаривает «с насмешечкой», он — снова человек! Он делает, а не с ним делают. Вот почему, когда окончилась работа, Шухов, «хоть там его сейчас конвой псами травы, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал — и через стенку, слева, справа. Эх, глаз — ватерпас! Ровно! Ещё рука не старится».

В таких, как Шухов, не только сила, но и слабость народа. Однако главное, решающее, обнадёживающее заключается в том, что Шухов «не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался». Это сказано не о нём. Это он сам о себе так думает. Это — его самосознание.

Конечно, народ далеко не исчерпывается шуховыми, но можно ли противопоставлять шуховых советскому народу, как это делают маоисты? Да, можно, если забыть о его человечности, о его труде, об отсутствии малейшей национальной нетерпимости, о его вражде к паразитам, о том, что он сумел себя поставить. Можно, если проглядеть неслучайную близость Шухова кавторангу Буйновскому: в главном — в сохранении человеческого достоинства, в отношении к труду — капитан для него — *свой*, таких коммунистов он уважает и признаёт. Можно, если отбросить то, какую власть защищал на войне, почему он после ранения «доброй волею в строй вернулся». Да, всё это можно. Но это уже один раз было: его уже однажды не признали за советского. Расправа над Шуховым в жизни и попытка лишить его советского гражданства в качестве литературного образа — это два крайних звена одной цепи. Ненависть нынешних защитников культа личности к Шухову имеет социальное происхождение. Они относятся к нему так именно потому, что он начал ставить опасные для них вопросы, и они боятся этих «наивных» (и убийственных) вопросов со стороны своих шуховых.

Однако народ в повести представлен не одним Шуховым. Не народное ли пророчество звучит в словах Тюрина, бригадира, обращённых к «наблюдателю» — десятнику: «Прошло ваше время, заразы, срокá давать!»

А «терпельник» Сенька Клевшин, словно продолжавший судьбу шолоховского Соколова из «Судьбы человека»? Герой бухенвальдского подполья, незаконно попавший в лагерь на родине, он и здесь человека «никогда <...> в беде не бросит».

Или тот, неназванный «зэк», который развеивает все иллюзии об «отце народов»: «Пожале-ет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!» Вот оценка молитв-жалоб, обращённых к тому, с чьей воли и совершались беззакония. Эта короткая фраза не случайна, она тоже концентрирует итог огромного народного опыта...

Или кавторанг Буйновский. Он произносит по адресу лейтенанта Волкового, издаваемого над заключёнными, всего несколько слов, которые едва не стоили ему жизни: «Вы не советские люди! <...> Вы не коммунисты!» Недавно мы узнали, что жив кавторанг. Сейчас он (его подлинная фамилия Бурковский Б.В.) начальник филиала Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора». Вот его отзыв о повести: «А людей-то в нас не затоптали... Как правдиво описан наш труд... Это хорошее, правдивое произведение». А вот ещё отзыв, тоже коммуниста, но из другой страны. Витторио Страда (Италия) пишет о «неотразимой силе», с которой А.И. Солженицын рассказал о народной трагедии: «Побеждённые оказываются победителями... Гранитная тяжесть культа Сталина не уничтожила, не раздавила то лучшее, что было в массах...»; «Солженицын... не провозглашает вечных добродетелей, абсолютное благо, абстрактную положительность. Он хорошо знает, что от начальника лагеря до чемпиона бюрократии тянется невидимая, но прочная нить и что страдает от этого только социализм». Что заставляет Шухова так вдохновенно трудиться? — спрашивает В. Страда и отвечает: «Как можем мы определить его сознание, если не социалистическим, социализмом “в самом сердце”!.. Книга эта непонятна для тех, кто ставит её в ряд литературы только о концлагерях... На страницах произведения Солженицына я снова открываю ту истину, что причины превосходства социализма кроются лишь в нём самом. Я, может быть, “советизировался” настолько, что читаю Солженицына, как его читает большинство советских читателей? Тем лучше» («Ринашита», 6 июля 1963 года; «Еуропа леттерариа», № 26, 1964).

Если появление повести немыслимо без XX съезда, то, прочитав её, мы ещё раз убеждаемся, что этот съезд имеет глубочайшие корни в народе: партия выразила то, что народ уже начал сознавать.

Революции критикуют себя, чтобы уяснить собственное содержание

Указывая на факты произвола, беззакония, разоблачённые на XX и XXII съездах, антикоммунисты заявляют: вот наилучшее доказательство того, что такое коммунизм на практике. Они испытывают удовлетворение: мы, мол, всегда говорили, что натура человека заражена первородным грехом и нет такого строя, при котором можно было бы изжить этот грех. Единственным «нормальным» земным обществом является общество буржуазное.

Марксисты отвечают на это: вот доказательство того, что «мёртвый хватает живого». Старый мир как бы мстит новому за свою неизбежную гибель. Не о «первородном грехе» идёт речь, а о «грехах» — пред-рассудках, привычках, страстях, рождённых тысячелетним антагонизмом социальных отношений. Эти болезни тяжелы. Но если буржуазная идеология и религия признают их врождёнными, неизлечимыми и в конечном счёте смертельными, то марксизм устанавливает их социальные источники и находит средства избавления от них.

Можно объяснить появление культа личности (это — особый вопрос), но ничем нельзя *оправдать* его, нельзя признать фатальную неизбежность его *победы*, нельзя, наконец, *свести* к нему сложную многолетнюю историю целого народа. Главное было не в культе личности. *Вопреки* ему была — и в этом вся суть дела — борьба советского народа за социализм. (Не забываем мы об этом и при ссылках на современный Китай.) И советский народ *построил* социализм. Иначе — на какой почве мог вырасти курс XX съезда? Иначе — почему коммунисты сами разоблачили культ личности, чуждый природе социализма?

Маоисты апеллируют к истории: она, мол, «всё спешет». Это только сейчас царит «увлечение критикой», а потом станет ясно, что культ был необходимой платой за великие победы, одержанные социализмом...

Да, победы были. Но не благодаря культу, а вопреки ему. (Концепция маоистов по существу тождественна основному аргументу всей антикоммунистической пропаганды: социализм немислим без насилия над массами.)

Марксистская критика культа личности не имеет ничего общего с самобичеванием, с религиозным покаянием, которое от экстаза быстро переходит к апатии. Она мужественна, а не истерична. Она ведётся с позиций научного коммунизма, во имя коммунизма и противостоит всяким спекуляциям на его трудностях. Она порождает уверенность,

основанную на знании, а не бесплодный скептицизм. Короче говоря, она есть проявление действительной силы коммунизма и умножает эту силу. И значение XX и XXII съездов КПСС не только в том, что они разоблачили беззакония, а главным образом в том, что они мобилизовали силы, способные покончить с этими беззакониями. Их значение не только в *восстановлении* социалистической законности, но и в её *развитии*, в выработке *новых* перспектив борьбы советского народа за коммунизм.

Маркс писал о том, что революции пролетарские постоянно критикуют сами себя, чтобы уяснить своё собственное содержание и отбросить то, что противоречит их сущности. Они «...то и дело останавливаются на ходу, возвращаются к тому, что кажется уже выполненным, затем, чтобы ещё раз начать это сызнова, с жестокой основательностью высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность своих первых попыток...» (*Маркс К. и Энгельс Ф.* Избр. произв. М., 1952. Т. I. С. 215). «Мы теперь уже знаем, — предупреждал Маркс, — какую роль в революциях играет глупость и как негодяи умеют её эксплуатировать». В.И. Ленин выписал и особо подчеркнул это высказывание (см.: *Ленин В.И.* Конспект «Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса. 1844–1883 гг.». М., 1959. С. 310).

Марксистская критика созидательна, именно поэтому она направлена на то, чтобы вырвать культ личности с корнем. И тайна открытой или скрытой вражды служителей этого культа к курсу XX съезда заключается в том, что они не в состоянии решать новые задачи по-новому. Они — *бесплодны*. Они только кажутся сильными в своих «убеждениях». На самом деле они боятся. За их самодовольством скрыта *слабость*. А поэтому они грозят, запугивают: критика культа подрывает «основы», а мы — последние защитники этих «основ»... Но о каких «основах» реально идёт речь? Они защищают основы казарменного коммунизма. Они действительно «последние защитники» *этих* основ. За их демагогией скрывается стремление к узурпации власти над партией и над народом.

Марксизм выдвинул задачу: сократить и смягчить муки родов нового общества. Никогда реально не было столь много для этого сделано, как за последнее десятилетие. Представители же казарменного коммунизма — маоисты с религиозным фанатизмом доказывают, что «чем хуже — тем лучше». Они унаследовали от старого общества строй сознания, которое по существу является своеобразным суррогатом, светским вариантом религиозного.

3. СВЕТСКИЙ ВАРИАНТ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ

«Интереснейшая рецензия»

Вернёмся к повести. Вспомним разговор «чудака в очках» с кинорежиссёром Цезарем в очереди за посылками:

«— А у меня “Вечёрка” свежая, смотрите! Бандеролью прислали.

— Да ну?!

— Тут интереснейшая рецензия на премьеру Завадского!...»

Действие в повести происходит в январе 1951 года, а в декабре 1950 года в «Вечерней Москве» была опубликована рецензия на премьеру пьесы А. Сурова «Рассвет над Москвой». Случайно или нет это совпадение, неизвестно. Но перечитать пьесу и рецензию параллельно с «Одним днём» небезынтересно.

В пьесе поднимают бокалы «за любимого человека, за того, кто сделал будущее — настоящим, кто вернул старикам юность и юношам дал мудрость...». Глядя на светящееся ночью окно в Кремле, герои пьесы восклицают в религиозном экстазе: «Если свет горит, значит, его окно». «Мы так думаем потому, что не представляем его спящим... Мне кажется — это он всякий раз рассвет над Москвой своей рукой включает!»

В спектакле «живёт настоящая правда», писал рецензент, однако «с недостаточной силой звучит тема рассвета»...

Читать это сегодня и смешно, и горько. Не верится, что так было, но это доказывает, насколько далеко мы ушли от тех времён и порядков. Однако это не только было, это *есть*: достаточно познакомиться с китайской литературой, прославляющей того, кто своей рукой включает рассвет над Пекином: «Два красных солнца — одно на небе, а второе среди людей»... И ещё: «Говорят, что произведения председателя Мао — это солнце. Я бы не сравнил их с солнцем, ибо солнце всходит и заходит, а произведения председателя Мао всегда излучают свет».

«Разоблачить самоотчуждение в его несвященных образах» (Маркс)

По Марксу, «...религия есть самосознание и самочувствование человека, который или ещё не обрёл себя, или уже снова себя потерял... Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть *опиум* народа. Упразднение религии, как *иллюзорного* счастья народа, есть

требование его *действительного* счастья. Требование отказа от иллюзий о своём положении есть *требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях...* Религия есть лишь иллюзорное солнце, движущееся вокруг человека до тех пор, пока он не начинает двигаться вокруг себя самого» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 414–415).

Однако строй сознания, основанный на поклонении и слепой вере, на самоотчуждении, не исчерпывается его «традиционными», «чисто» религиозными формами, так или иначе связанными с церковью, с верой в бога, будь этот бог Христом, Буддой или Иеговой. Имеются и его светские модификации — от преклонения перед бюрократом до преклонения перед «демоническими» силами современной техники. *«Задача истории... — писал Маркс, — с тех пор как исчезла правда потустороннего мира, — утвердить правду посюстороннего мира. Ближайшая задача философии, находящейся на службе истории, состоит — после того как разоблачён священный образ человеческого самоотчуждения — в том, чтобы разоблачить самоотчуждение в его несвященных образах... Критика религии завершается учением, что человек — высшее существо для человека, завершается, следовательно, категорическим императивом, повелевающим ниспровергнуть все отношения, в которых человек является униженным, порабощённым, беспомощным, презренным существом...»* (там же. С. 415, 422).

Превратное, религиозное сознание во всех его разновидностях исчезает лишь по мере того, как отношения практической повседневной жизни людей выражаются во всё более прозрачных и разумных связях их между собой и с природой, в связях, устанавливаемых и регулируемых на основе научного знания.

В светском варианте религиозного сознания сменяется предмет, объект поклонения, но само поклонение сохраняется и совершенствуется. «Невежество — это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной ещё многих трагедий», — писал Маркс. Невежество, незнание, неинформированность — всё это и одно из следствий, и одно из условий распространения «светской религии».

Идол, подобно богу, ненасытен ни в славе, ни в жертвах, которые ему приносятся невежественными идолопоклонниками. Вера враждебна знанию, и она стремится учинить расправу над знанием. Все массовые психозы основаны на какой-либо слепой вере.

«Истина» для верующих преподносится лишь как откровение свыше, как чудесный дар, а ещё чаще — как приказ, требующий беспрекословного повиновения. Предел подобных взаимоотношений между

«пастырями» и «овцами» характеризуется библейским изречением — «слепые вожди слепых».

Мы видели уже, какие заповеди чтятся ныне в Китае: ни малейшего отрыва от идей Мао Цзэ-дуна... Так учат смотреть на нового бога «снизу». А вот откровение «сверху». Мао Цзэ-дун сравнивает китайский народ с «листом чистой бумаги». «На первый взгляд — это плохо, на самом деле — хорошо... На листе чистой бумаги ничего нет, но на нем можно писать самые новые, самые красивые слова, можно рисовать самые новые, самые красивые картины».

«На первый взгляд» это сказано «хорошо», на самом деле — это оглушение народа, унижение его, презрение к нему. Известно, что за «картины» были нарисованы, например, во время предпринятого руководителями КПК «большого скачка» и кто платил за эти «художества».

Марксизм как наука заменяется ныне в Китае маоизмом как своеобразным суррогатом религии. Самый худший враг не сможет нанести такого ущерба идеям коммунизма, как те, кто превращает эти идеи в разновидность религиозных догматов (питая тем самым «аргументами» многих антикоммунистов). Что может быть противоестественнее, чем слепо верующий коммунист и коленопреклонённый перед идолом марксист?

Спор Ивана Денисовича с Алёшей-баптистом

Обратимся теперь к спору Шухова с Алёшей. Перед сном Иван Денисович бросает фразу:

«—<...> Слава тебе, господи, ещё один день прошёл! <...>

Услышал Алёшка, как Шухов вслух бога похвалил, и обернулся.

— Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится богу молиться. Почему ж вы ей воли не даёте, а? <...>

— Потому, Алёшка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или “в жалобе отказать”. <...> Я ж не против бога, понимаешь. В бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите? Вот что мне не нравится».

Алёша уговаривает прославлять бога за тяжёлую участь: это, мол, испытание веры. В ответ Шухов говорит: «Вишь, Алёшка <...> у тебя как-то ладно получается: Христос тебе сидеть велел, за Христа ты и сел. А я за что сел? За то, что в сорок первом к войне не приготовились, за это? А я при чём?» Когда Алёша убеждает Ивана Денисовича молиться только о хлебе земном, цитируя Евангелие: «Хлеб наш насущ-

ный даждь нам днесь!», тот с убийственной иронией переводит эти слова на язык реальной жизни. «— Пайку, значит? — спросил Шухов».

И Шухов, и Алёша остаются при своих убеждениях. Но Иван Денисович побеждает в этом споре, хотя бы потому, что начинает преодолевать свои собственные предрассудки. Бог без своих владений уже не бог. Религиозное сознание ещё далеко не преодолено, но уже начинает раскалываться. Это важнейшая предпосылка конца всякого культа — небесного или земного. Рассуждения Ивана Денисовича выражают несравненно больше, чем просто отношение к религии. В его словах — итог его жизни. И подлинный смысл спора сильнее всего выражен в мыслях Ивана Денисовича о баптистах: «С них лагеря, как с гуся вода».

Небезынтересно сопоставить этот спор с центральной главой «Братьев Карамазовых» Достоевского («Pro и contra»), в которой рисуется спор другого Ивана с другим Алёшей. Трудно сказать, «запланировал» ли автор эту ассоциацию, но совпадения здесь (даже с учётом всего различия ситуаций) весьма многозначительны. Иван Карамазов говорит брату: «Я не бога не принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться принять... Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию... Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу вернуть обратно... Не бога я не принимаю, Алёша, а только билет ему почтительнейше возвращаю».

Как видим, только один диалог Ивана Денисовича с Алёшей (настоящий идейный финал повести) поднимает массу «проклятых вопросов», старых и новых. И все эти вопросы остались для «критиков» повести — из числа антикоммунистов и догматиков маоистов — тайной за семью печатями. Политическая примитивность делает их абсолютно невосприимчивыми к общей социально-художественной, философской проблематике повести. Они могут барахтаться только на поверхности. Они либо и не подозревают о глубине и остроте поставленных вопросов, либо боятся заглянуть в эту глубину.

В.И. Ленин: ни слова на веру, ни слова против совести...

Коммунист не может уподобиться тем, для которых «лагеря, как с гуся вода». Слишком дорогая цена уплачена, чтобы в конце концов ограничиться *лишь* сохранением тех убеждений, с которыми комму-

нисты начинали труднейшее дело строительства нового мира. Это необходимо, но недостаточно. И если уже такая цена уплачена, надо извлечь из пережитого опыта всё возможное.

Одно из главных следствий разоблачении культа личности заключается в чрезвычайном обострении чувства ответственности каждого человека (и в особенности коммуниста, марксиста) за всё, что его окружает, за всё происходящее в мире. Мало признаться: «Не знал, а потому слепо верил». Труднее и несравненно важнее спокойно разобратся в том механизме собственного сознания, который «срабатывал» определённым образом в те годы и который надо перестроить так, чтобы он уже никогда больше таким образом не «срабатывал». Освобождение от предрассудков культа личности — это не только правда о Сталине, но и правда о себе, о своих иллюзиях. Это — не копание в себе, а самокритика по-марксистски.

В своих последних статьях В.И. Ленин связывал судьбу России, судьбу революции с такими людьми, «...за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести», которые «не побоялись признаться ни в какой трудности и не побоялись никакой борьбы для достижения серьёзно поставленной себе цели» (Соч. Т. 33. С. 447). Ленинские идеи прямо противоположны «добродетелям» культового сознания: верить на слово, идти на сделки с совестью, скрывать трудности и дрожать всякий раз, когда нужно выбирать между борьбой, сопряжённой с риском, и приспособленчеством.

Культовое сознание по природе своей антигуманно. «Подлинная любовь к человеку возможна, — утверждает Мао Цзэ-дун, — но лишь после того, как во всём мире будут уничтожены классы». Опасная проговорка, особенно если сравнить с ней антигуманную практику китайских руководителей. Принципы коммунистического гуманизма должны осуществляться не только в отдалённом будущем, но и сегодня — иначе они не будут осуществлены никогда. Если они не реализуются ежедневно, они будут откладываться до бесконечности. Главное в том, чтобы эти принципы культивировались с *первых же* шагов человека. И если всем детям делают прививки от массы болезней, и делают успешно, то ещё важнее — с *детства же* предохранять людей от той психологии, которая царит в «городе одинаковых человечков», существующем, к сожалению, не только в известной сказке. Маоисты же дошли до того, что воспитание детей в духе гуманизма квалифицируют как «разложение» и «отравление сознания ядом буржуазной идеологии»...

Наступит время, когда все услышат голос китайского Ивана Денисовича: «Зачем вы нас за дурачков считаете?», когда и в Китае по своему пройдёт свой XX съезд и появятся свои художники, разоблачающие культ личности, когда и там смешно и горько будет перечитывать сегодняшние номера «Жэньминь жибао» и трудно будет поверить, что вообще было возможно такое.

Так, несомненно, будет. А пока разворачивается серьёзная борьба именно за то, чтобы так стало.

* * *

Повесть А.И. Солженицына, сам факт её публикации оцениваются коммунистами как ещё одна серьёзная победа курса XX съезда и поражение его противников. Издержки от публикации повести (спекуляция на ней со стороны антикоммунистов и нынешних защитников культа личности — маоистов) неизбежны, как неизбежны они при всякой критике и самокритике коммунистов. Но эти издержки остаются и останутся позади. «Отдача» повести несравненно больше, и она растёт. Марксистская критика разных стран всё глубже и всё успешнее разъясняет смысл повести. Она не требует восхваления, но опровергает злословие. Она не говорит, что тот, кто не признаёт повесть *выдающимся* произведением, тем самым оказывается сторонником культа личности, консерватором, ретроградом и т.д. Но она бескомпромиссно борется со всеми, кто уверяет, будто это — антисоветское, антисоциалистическое, антипартийное произведение. Логика реальной жизни, логика классово-борьбы показывает: чем дальше, тем больше повесть ненавидят и боятся, как ненавидят и боятся живого и сильного врага, — такой ненавистью к ней автор может только гордиться. Чем дальше, тем более деятельную роль играет она в борьбе и с антикоммунистами, и с маоистами — сторонниками казарменного коммунизма. Тем очевиднее становится её дальний прицел и дальний прицел её публикации, тем сильнее «обжигаются» на ней те, кто хотел бы на ней спекулировать. Никого повесть не оставляет равнодушным. А это самое главное. Как сказано у польского писателя Б. Ясенского: «Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство».

Д. Лукач

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ СЕГОДНЯ¹

1

Эстетические взаимоотношения новеллы и романа часто становились предметом научного исследования. Что же касается исторической связи между ними, их взаимовлияния в процессе исторического развития, то об этом говорилось гораздо меньше, в то время как проблема эта в высшей степени интересна и поучительна, и она имеет особенно большое значение именно в наше время. Я имею в виду тот часто обращающий на себя внимание факт, что новелла выступает или в качестве предвестницы освоения действительности крупными эпическими или драматическими формами, или возникает в конце такого периода как арьергардное явление, как отзвук; то есть она появляется или тогда, когда до тотального поэтического освоения мира очередь ещё не дошла, или тогда, когда о таком освоении речь уже не может идти.

Боккаччо и итальянская новелла, если рассматривать их под этим углом зрения, являлись предшественниками современного буржуазного романа: они изображали мир в эпоху, когда буржуазный образ жизни одерживал победу в самых различных сферах жизни, всё более вытесняя средневековые обычаи; однако в эту эпоху всеобщая связь предметов, человеческих взаимоотношений и форм поведения сформироваться ещё не могла; с другой стороны, новеллы Мопассана представляют собой лебединую песнь того мира, зарождение которого отразили Бальзак и Стендаль, а чрезвычайно богатую противоречиями зрелую эпоху — Флобер и Золя.

Такая историческая взаимосвязь может быть объяснена лишь жанровыми особенностями новеллы и романа. О тотальной связи предметов и явлений как наиболее характерной черте экстенсивной универсальности романа мы уже говорили; тотальность драмы обладает другим содержанием и другой конструкцией; но и та и другая направлены на всесторонний и полный охват изображаемой жизни. Новелла же исходит из частного случая и остаётся — насколько позволяет имманентная экстенсивность художественного творчества — в его пределах. Новелла не претендует на изображение общественной реальности в целом, не ставит она своей целью и всестороннее рас-

¹ Вопросы литературы. 1991. Апрель. Пер. Ю. Гусева. Печатается в сокращении.

крытие жизни хотя бы под углом зрения одной какой-либо важной и актуальной проблемы. Правда новеллы строится на том, что некий — чаще всего из ряда вон выходящий — частный случай вообще возможен на данной ступени развития данного общества и сама эта возможность характеризует данное общество. Именно поэтому новелла может отказаться от изображения общественного генезиса героев, их отношений и тех ситуаций, в которых эти люди действуют. Поэтому она не нуждается в передаточных механизмах, чтобы привести своих героев в движение, может отказаться также и от показа конкретной перспективы. Эти характерные свойства новеллы могут, естественно, воплощаться в творчестве разных писателей, от Боккаччо до Чехова, в бесконечном разнообразии вариантов; вместе с тем эти свойства дают возможности новелле выступать в историческом плане как в качестве предвестника, так и в качестве арьергарда крупных форм; новелла в равной степени может быть художественным выразителем состояний, когда тотальность *ещё не* может или *уже не* может быть отображённой.

В данной работе мы, конечно, не можем раскрыть эту историческую диалектику даже в самом сжатом виде. Но во избежание возможных недоразумений мы должны всё же сказать, что выдвинутая здесь и столь важная для дальнейших рассуждений альтернатива — «ещё не» или «уже не» — ни в коем случае не исчерпывает исторических взаимосвязей романа и новеллы. Существует множество других моментов, которыми мы не имеем возможности здесь заниматься. Чтобы дать представление о многообразии возникающих взаимосвязей, сошлёмся лишь на Готфрида Келлера. «Зелёный Генрих», чтобы развернуться в тотально-романическую форму, должен был покинуть Швейцарию молодого Келлера. «Люди из Зельдвилы», цикл резко отличающихся друг от друга рассказов, даёт перспективу такой не поддающейся изображению в форме романа тотальности. Ставшая капиталистической родина, в соответствии с келлеровским представлением о человеке, не может дать богатой и легко поддающейся анализу тотальности; в то время как спорящие друг с другом новеллы из сборника «Эпиграммы» («Sinngedicht»), помещённые в обрамляющее повествование, способны обрисовать ведущий вверх, потом вниз путь двух людей, поднимающихся до настоящей любви, и способны дать аргументы за и против этого пути; непосредственный жизненный материал доступного Келлеру мира, представленный в форме целостного романа, не дал бы писателю такой возможности. Речь здесь, таким образом, идёт об одновременном переплетении «ещё не» и «уже не» — переплетении,

которое, правда, не меняет в корне отмеченную здесь историческую связь романа и новеллы, но и не может быть безоговорочно отнесено на её счёт. История литературы знает множество взаимовлияний совсем другого характера, но в этой статье мы не можем их подробно анализировать.

Сделав эту оговорку, мы можем сказать относительно современной, а также относящейся к недавнему прошлому эпике, что в попытках изображения подлинной человеческой стойкости она часто обращается от романа к новелле. Сошлюсь на такие шедевры, как «Тайфун» и «Теневая черта» Конрада или «Старик и море» Хемингуэя. Отход от романической формы сказывается уже в том, что в этих произведениях отсутствует общественная база, общественная обстановка, обязательная для романа, и главные герои должны выдерживать борьбу с чисто природными явлениями. Поединок одинокого, предоставленного самому себе героя с природой — с бурей или со штилем — может завершиться победой человека, как это имеет место у Конрада; но борьба человека с противостоящими ему враждебными силами остаётся главным моментом новеллы даже в том случае, когда герой, как это происходит в рассказе Хемингуэя, терпит поражение. Если сопоставить эти новеллы с романами тех же писателей, то бросается в глаза резкий контраст между ними: в романах общественные условия поглощают, побеждают, ломают человека, искажают его сущность. В этой сфере, видимо, не существует достаточно эффективной противоборствующей силы — даже такой, которая могла бы привести к трагическому разрешению конфликта. А так как большие писатели ни в коем случае не могут отказаться от показа человеческой цельности, внутреннего величия человека, то у них и появляется этот тип новеллы — как арьергардный бой за спасение человека.

Силы прогресса и в современной советской литературе формируются — наряду с лирикой — вокруг новеллы. Солженицын здесь, конечно, не единственный, но всё же именно он является тем писателем, которому, насколько нам известно, действительно удалось разрушить идеологические бастионы сталинской традиции. В последующих рассуждениях мы хотим показать, что у него — как и у других, сходных с ним по тенденциям писателей — речь идёт о начале, о первых подступах к новой действительности, а не о завершении определённой эпохи, как у вышеупомянутых выдающихся буржуазных писателей.

2

Сегодня центральной проблемой социалистического реализма является критический пересмотр сталинской эпохи. Это, разумеется, главная задача всей социалистической идеологии; в данной работе я ограничусь сферой литературы. Если социалистический реализм, который, вследствие практики сталинской эпохи, даже в социалистических странах становился нередко объектом насмешек, намерен достигнуть того уровня, на котором он находился в 20-х годах, то он должен вновь найти путь к реалистическому изображению человека сегодняшнего дня. А вступить на этот путь и пройти по нему можно лишь при том условии, что писатель достоверно, правдиво изобразит сталинские десятилетия во всей их бесчеловечности. Сектанты-бюрократы противятся этому, говоря, что не стоит-де копаться в прошлом, нужно изображать только настоящее. Что прошло, то прошло, старое полностью преодолено и вычеркнуто из настоящего. Это утверждение не просто неверно (уже то, что оно могло прозвучать, свидетельствует о том, что сталинская культурная бюрократия существует и сохраняет своё влияние по сей день): оно полностью бессмысленно.

Когда Бальзак и Стендаль изображали эпоху Реставрации, они знали, что изображают таких людей, большинство из которых было сформировано революцией, Термидором и результатом Термидора — империей. Жюльен Сорель и отец Горио остались бы тенями, схемами, если бы писатели только изобразили их жизнь в эпоху Реставрации и ничего не сказали бы об их судьбе, развитии, об их прошлом. Такая же ситуация сложилась в литературе в период формирования социалистического реализма. Герои Шолохова, А. Толстого, молодого Фадеева и других вышли из царской России; читатель не смог бы понять их поведение во время Гражданской войны, если бы не пережил вместе с ними тот путь, по которому они из довоенной эпохи, через события империалистической войны и революции пришли туда, где сейчас находятся; не смог бы — и это самое главное — понять, чего они хотят, как относятся к происходящему.

В сегодняшней жизни социализма активное участие принимает очень немного таких людей, которые не пережили бы каким-либо образом сталинскую эпоху, облик которых — духовный, моральный и политический — сформировался бы не под влиянием впечатлений этого периода. Представление о «народе», который не был «затронут» извращениями «культы личности», развивался себе в направле-

нии социализма и строил социалистическое общество, — это представление никуда не годится даже как лживая иллюзия; именно те, кто защищает это представление и оперирует им, лучше всех, на собственном опыте знают, что сталинский режим без остатка пронизывал всю повседневную жизнь, что его влияние не коснулось, может быть, лишь каких-нибудь самых глухих деревень. Сформулированное в таком виде, это утверждение может показаться слишком общим. Однако реакции отдельных людей отражают бесконечное разнообразие позиций. Альтернативы многих западных идеологов — например, «Молотов или Кестлер» — лишь в нюансах отходят от действительности дальше, чем охарактеризованная выше бюрократическая точка зрения.

Если бы такая точка зрения действительно была критерием литературы, то мы имели бы сейчас дело с прямым продолжением «иллюстративной литературы» сталинской эпохи. «Иллюстративная литература» была грубой подделкой действительности: она возникла не из диалектического взаимоотношения прошлого и реальной действительности и реальных целей человека — её форма и содержание определялись очередными постановлениями. Так как «иллюстративная литература» родилась не из реальной жизни, а из комментирования этих постановлений, то искусственные герои-марионетки, созданные для этой цели, не нуждались в прошлом, да и не могли иметь его. Вместо этого у них были лишь «анкеты», которые заполнялись в соответствии с тем, должен был герой быть «положительным» или «отрицательным».

Грубая подделка прошлого — лишь часть имеющих место в «иллюстративной литературе» грубых подделок образов, ситуаций, человеческих судеб, перспектив и т.д. Именно поэтому отмеченное выше бессмысленное требование «не копать в прошлом» является «новейшим» вариантом, последовательным продолжением сталинско-ждановской литературной политики, новейшим препятствием на пути обновления социалистического реализма. Это требование направлено на то, чтобы помешать социалистическому реализму снова обрести способность изображать подлинные типы эпохи, изображать таких людей, которые, исходя из собственной индивидуальности и собственного жизненного пути, занимали бы свойственную им позицию по отношению к малым и большим проблемам эпохи. То обстоятельство, что их индивидуальность в конечном счёте определяется общественно-историческими условиями, наиболее ярко выражается именно в перспективе прошлого и настоящего. Взаимоотношения

между человеком и обществом, воплощающиеся в человеческой личности, в наиболее конкретной форме выходят на поверхность в тех случаях, когда писатель прослеживает, художественно осмысляет путь людей сегодняшнего дня на основе пережитого им, писателем, прошлого. Ведь одинаковое — в историческом плане — прошлое в жизни разных людей выливается в разные формы: одни и те же события людьми, различающимися происхождением, общественным положением, культурным уровнем, возрастом и т.д., переживаются по-разному. Даже влияние, которое оказывает на людей одно и то же событие, может быть очень разным; характер личного отношения к событиям, нахождение в центре их или на периферии, даже случайности — всё это ещё более расширяет диапазон вариаций. В эмоциональном же плане ни один человек не остаётся равнодушным к такого рода событиям — и потому постоянно оказывается перед необходимостью выбора, перед необходимостью ответа, реакции на то или иное событие, и ответы эти тоже разнообразны: от защиты своей позиции, от умного или глупого, правильного или ошибочного компромисса до крушения, до капитуляции.

Но речь в любом случае идёт не о простом, разовом случае и реакции человека на него, а о целой цепи реакций, причём более ранняя реакция обязательно играет существенную роль в последующих. Таким образом, не осветив прошлого, невозможно осветить, понять и настоящее. «Один день Ивана Денисовича» Солженицына является важным симптомом открытия литературой социалистического настоящего.

Причём разоблачение ужасов сталинской эпохи, концентрационных лагерей является здесь не решающим или, во всяком случае, не первоочередным фактором. В западной литературе это имело место уже давно. Кроме того, после XX съезда, выдвинувшего на повестку дня критику сталинской эпохи, эти ужасы перестали — прежде всего в социалистических странах — оказывать шоковое воздействие. Смысл художественного открытия, сделанного Солженицыным, заключается в том, что один-единственный, лишённый особых событий день одного произвольно взятого лагеря он возвел в символ ещё не преодолённого, ещё не отражённого писателями прошлого. Художественно — серым по серому — данный фрагмент жизни писатель превратил в символ обыденной (хотя сам по себе лагерь является наиболее крайним проявлением сталинской эпохи) жизни при Сталине. И это удалось ему именно благодаря поэтическому способу постановки вопросов: какие разрушения произвела эта эпоха в человеческой душе?

кто сумел остаться в ней человеком, сохранить человеческое достоинство и полноту? кто и как смог отстоять своё «я»? кто уберёт человеческую сущность? у кого она была извращена, сломана или уничтожена? Строгое ограничение повествования рамками лагерной жизни дало Солженицыну возможность поставить эти вопросы одновременно и в общем, и в конкретном плане. Разумеется, здесь не идут в расчёт постоянно меняющиеся общественные и политические альтернативы, перед которыми жизнь ставит людей, оставшихся на свободе, но сам факт отстаивания или сдачи позиций так тесно увязан здесь с вопросом жизни и смерти человека, что это поднимает каждое частное решение на высочайший уровень жизненно правдивого обобщения и типизации.

Этой цели служит вся композиция рассказа — на деталях мы остановимся позже. Частица будничной жизни лагеря, изображённая в рассказе, отражает один из «хороших», как говорит главный герой в концовке произведения, дней. И действительно, в этот день не происходит ничего чрезвычайного, никаких особых зверств. Читатель видит привычный порядок дня лагеря и типичные реакции его обитателей. Благодаря этому поставленные здесь проблемы носят локальный характер; автор предоставляет самому читателю домысливать, как влияют на людей более тяжёлые испытания. Таким образом, композиция строго сконцентрирована на главном, и этой важнейшей черте вполне соответствует чрезвычайная сдержанность в художественных средствах. Писатель рисует только те детали внешнего мира, которые необходимы для характеристики внутренней сущности людей; из мира душевных переживаний героев даются — тоже чрезвычайно скупое — лишь те реакции, которые прямо и непосредственно связаны с человеческой сущностью. Так произведение — которое было написано отнюдь не как символическое — приобретает символическое звучание; так рассказ получает возможность затрагивать широкие проблемы повседневной жизни в условиях сталинской действительности, хотя они и не имеют непосредственного отношения к жизни лагеря.

Уже эта чрезвычайно общая композиционная схема говорит о том, что произведение Солженицына в стилистическом плане — рассказ, новелла, а не роман (пусть какой угодно короткий), хотя конкретное изображение и направлено на достижение максимальной всесторонности, на взаимное дополнение человеческих типов и судеб. Солженицын сознательно отказывается от какой бы то ни было перспективы. Жизнь лагеря представлена как устойчивое состояние; разбросанные

кое-где упоминания о мере наказания, отбываемого тем или иным заключённым, весьма туманны — вопрос о ликвидации лагеря пока что не встаёт даже в мечтах. В связи с центральными героями писатель замечает, что родина за это время сильно изменилась, что возвращение в старый, привычный мир уже невозможно (этим он ещё более усугубляет впечатление изолированности лагеря). Так что будущее во всех отношениях скрыто мраком неизвестности. Впереди героев ожидают такие же, более трудные или менее трудные, дни. Столь же скупо Солженицын изображает прошлое. Некоторые сведения о причинах, по которым тот или иной из действующих лиц оказался в лагере, именно своей бесстрастностью и лаконичной немногословностью изобличают произвол судебных и административных, военных и гражданских приговоров. О важнейших политических вопросах — например, о нашумевших процессах — не говорится ни слова: эти вопросы канули во тьму прошлого. Писатель прямо не осуждает даже упоминаемый в нескольких случаях несправедливый характер наказания — это просто жизненный факт, одно из неизбежных условий лагерного бытия. Таким образом, Солженицын как художник вполне сознательно отсекает, удаляет всё, что может и должно стать задачей будущих больших романов и драм. В этом отношении, в стилистическом плане, рассказ похож — сходство, однако, здесь лишь формальное — на упомянутые выше новеллы. Но рассказ Солженицына представляет собой не отход от крупных форм, а скорее нащупывание пути, ведущего к действительности, в процессе поиска достойных его крупных форм.

Социалистический мир переживает сегодня канун возрождения марксизма; это возрождение призвано не только восстановить искажённые Сталиным методы, но и в первую очередь дать адекватное объяснение новым фактам действительности с помощью старых и в то же время новых методов подлинного марксизма. В литературе в аналогичной ситуации находится социалистический реализм. Продолжать и развивать то, что в сталинскую эпоху превозносилось и восхвалялось как социалистический реализм, — дело полностью безнадежное. Однако я полагаю, что ошибаются и те, кто хочет преждевременно похоронить социалистический реализм, кто все те явления, которые появились в Западной Европе после экспрессионизма и футуризма, нарекают реализмом, опуская при этом определение «социалистический». Если социалистическая литература снова обретёт себя, если она снова проникнется ответственностью перед великими проблемами современности, это высвободит могучие силы, которые по-

родят новую, подлинно современную социалистическую литературу. В этом процессе преобразования и обновления рассказ Солженицына означает резкий поворот от социалистического реализма сталинской эпохи, заметную веху на пути в будущее.

Подобные первые ласточки литературной весны в качестве предвестников обновления могут, конечно, стать очень важными факторами даже в том случае, если не представляют собой выдающихся художественных ценностей. Примерами здесь могут служить Лилло и затем Дидро, первооткрыватели буржуазной драмы. Что касается Солженицына, то у него положение другое. Когда Дидро в теоретическом плане поставил социальные отношения в центр внимания драматургии, он тем самым освоил круг тем, очень важный для трагедии; то обстоятельство, что пьесы его сами по себе посредственны, не наносит ущерба его роли первооткрывателя: оно лишь сводит эту роль к освоению новой тематики. Солженицын же ввёл в литературу жизнь концентрационного лагеря не как тематику. Напротив, сам метод изображения, с которым он подходит к повседневной жизни сталинской эпохи, к альтернативам, встающим перед человеком, к проблемам человеческой стойкости или падения, — этот метод показывает освоенную им область, концентрационный лагерь, как символ сталинских будней, взятый в ракурсе будущего, а сам по себе факт обращения к лагерной тематике становится чисто случайным в свете тотальности появляющейся сейчас литературы, становится лишь одним из эпизодов той тотальности, в которой всё, что имеет значение с точки зрения индивидуального и общественного бытия настоящего времени, должно изображаться как не подлежащая забвению история настоящего.

3

Один день из жизни Ивана Денисовича был воспринят читателями как символ сталинской эпохи. Однако в изобразительном методе Солженицына даже намёка нет на символику. Писатель даёт подлинный, достоверный фрагмент жизни, в котором ни одна деталь не выходит на передний план, не получает особого, подчёркнутого значения с целью выглядеть символической. Разумеется, в этом фрагменте запечатлены типические судьбы, типическое поведение миллионов людей. Однако та сдержанная верность натуре, что так свойственна Солженицыну, не имеет ничего общего ни с классическим, ни со стилистически изощрённым натурализмом. Дискуссии, ведущиеся в настоящее время во-

круг вопроса о реализме, и особенно о социалистическом реализме, часто упускают из виду главное, и это не в последнюю очередь происходит потому, что спорящие забывают о различии между реализмом и натурализмом. В «иллюстративной литературе» сталинской эпохи реализм был вытеснен своего рода казённым натурализмом, сочетающимся со столь же казённой, так называемой революционной романтикой. Конечно, чисто теоретически натурализм противопоставлялся реализму и в 30-е годы. Но противопоставление было абстрактным; конкретное же его воплощение видели в разногласиях между «иллюстративной литературой» и оппозиционно настроенными к ней течениями: фальшивая «иллюстративная литература» практически все не отвечающие её нормам факты искусства — и только такие факты искусства — объявляла натуралистическими. В соответствии с литературными канонами тех времён, преодолеть натурализм можно было лишь в том случае, если писатель выбирал предметом изображения тему, прямо или косвенно подтверждающую постановления, для иллюстрации которых должны были служить литературные произведения. Типизация тем самым превращалась в категорию чисто политической. Не обращая внимания на внутреннюю диалектику образов, на их человеческую сущность, «типизация» ограничивалась позитивной или негативной оценкой поведения героев, способствовавших или препятствовавших проведению в жизнь очередного постановления. Вследствие этого и сюжет, и образы оказывались в высшей степени искусственными — и тем не менее они по необходимости оставались натуралистическими, так как этот метод изображения был характерен тем, что детали не были органически связаны ни друг с другом, ни с действующими лицами, их судьбой и т.д. Они оставались бедными, абстрактными или чрезмерно конкретными — в зависимости от индивидуальных способностей писателя, — но никогда не сливались в органическое целое с образным материалом, так как были, как правило, привнесены в этот материал извне. Я могу напомнить стилистические споры о том, могут ли быть у положительного героя отрицательные черты и если могут, то в какой мере. За всем этим стояло отрицание того факта, что исходным и конечным пунктом творческого процесса в литературе, главной целью её является конкретный человек. Только приняв и поняв это, можно распоряжаться, манипулировать людьми и судьбами.

С другой стороны, очень многие хотят, чтобы теперь на смену устаревшему социалистическому реализму пришли современные западные методы изображения. При этом как сторонники этих ме-

тодов, так и их противники не принимают во внимание натуралистического характера господствующих в современной литературе течений. Я неоднократно и по разным случаям говорил о том, что различные «измы», которые в своё время пришли на смену собственно натурализму, сохранили в неприкосновенности как раз те черты, которые определяют его сущность: внутреннюю несвязанность, композиционную инкогерентность, распадение единства сущности и её внешнего выражения. Подняться над натуралистическим методом, пойдя дальше непосредственного наблюдения и заменив его односторонне объективными или односторонне субъективными проекциями, — ведь это ещё не затрагивает сути указанной проблемы (речь здесь идёт о литературной практике вообще, а не о произведениях отдельных выдающихся писателей). Герхарт Гауптман в пьесах «Ткачи» и «Бобровая шуба» не был натуралистом в эстетическом смысле слова, в то время как подавляющее большинство экспрессионистов, сюрреалистов и т.п. никогда не могло преодолеть натурализм. С этой точки зрения нетрудно понять, почему значительная часть литературы, оппозиционно настроенной к социалистическому реализму сталинской эпохи, ищет выход в модернистской литературе. Потому что этот переход не требует от читателя коренного изменения подхода к общественной действительности, преодоления склонности к натуралистическому изображению, пересмотра, переоценки больших вопросов современности, — переход этот совершается в плоскости чисто субъективной спонтанной переориентировки. В этом случае совсем необязательно порывать с «иллюстративной литературой»: уже в 30-х годах попадались такие, на «современном уровне» выполненные романы, которые использовали все достижения экспрессионизма, «новой предметности», монтажа и т.д., но лишь этой внешней, формальной стороной отличались от посредственной казённой литературы тех лет. И сегодня есть признаки того, что это явление может повториться. Здесь необходимо помнить, что в чисто субъективном плане отрицание ещё не означает идейного и художественного преодоления казённого одобрения.

Рассказ Солженицына резко отличается от всех направлений натурализма. Мы уже говорили о необычайной экономности его художественного метода; но именно поэтому особенную роль приобретают у него детали. Как во всяком истинно художественном произведении, эта роль получает специфический оттенок вследствие своеобразия самого материала. Мы находимся в концентрационном лагере: любой ломоть хлеба, любая тряпка, любой кусок камня или

железа, который может быть использован в качестве инструмента, — это шанс продлить свою жизнь; если же заключённый, отправляясь на работу, возьмёт какую-то из этих вещей с собой или где-нибудь спрячет, он рискует тем, что эта вещь будет обнаружена и отобра-на, а сам он попадёт в карцер. Любое выражение лица, любой жест надсмотрщика требуют немедленной и строго определённой реакции, — неправильная реакция также чревата серьёзными опасностями; с другой стороны, бывают ситуации — например, при раздаче пищи, — когда умелое поведение может принести хорошие результаты: вторую порцию еды и т.д. Гегель, говоря о гомеровских поэмах, подчёркивает в них, в качестве одной из опор эпической монументальности, важную роль точного описания процессов поглощения пищи, питья, сна, физического труда и т.д. В буржуазном укладе жизни эти процессы, как правило, утрачивают своё специфическое значение, и лишь величайшие художники, как, например, Толстой, способны воскресить эти сложные жизненные взаимосвязи. (Подобные аналогии, разумеется, служат лишь тому, чтобы лучше осветить рассматриваемую здесь проблему, и ни в коем случае не должны пониматься как ценностное сопоставление.)

У Солженицына детали получают совершенно особую — вытекающую из своеобразия материала — функцию: они позволяют ощутить удушающую стеснённость лагерного быта, постоянно грозящую опасностями монотонность, непрекращающееся капиллярное движение, которое служит цели элементарного сохранения жизни. Каждая деталь здесь содержит альтернативу: погибнуть или остаться в живых; каждая мелочь может вызвать цепь благоприятных или опасных событий. Вследствие этого существование отдельных объектов (само по себе случайное) неразрывно и наглядно связано с судьбами отдельных людей. Так из экономно расходуемых художественных средств возникает концентрированная тотальность лагерной жизни; сумма и система этих простых, даже бедных фактов порождает существенную с точки зрения человеческой жизни символическую тотальность, в которой сосредоточена сущность одной из важных эпох в жизни человека.

На таком жизненном материале возникает совершенно своеобразный тип новеллы; указанные выше черты сходства и различия её с выдающимися современными новеллами буржуазной литературы освещают историческое место обоих типов новелл. И там, и здесь человек вынужден бороться с могучей и враждебной средой, которая выступает против человека с такой целеустремлённой жестокостью

и бесчеловечностью, что заставляет видеть в ней одушевлённую стихию. У Конрада и Хемингуэя этой враждебной средой действительно является природа (у Конрада это буря и штиль; но даже там, где речь идёт исключительно о человеческой судьбе, — например, в «Заключённой песне», — старый капитан должен бороться со слепотой, олицетворяющей жестокость собственной биологической природы). Общественные человеческие связи отступают здесь на задний план, нередко совсем тускнеют и практически сходят на нет. Человек оказывается лицом к лицу с природой и должен или победить, опираясь на собственные силы, или погибнуть. Поэтому здесь важна каждая деталь, которая в объективном плане является решающей, а в субъективном — содержит альтернативу жизни или смерти. Поскольку же человек и природа непосредственно противостоят друг другу, то образ природы может обретать гомеровские масштабы, не утрачивая при этом своей роковой силы, так как именно благодаря этому вновь и вновь вырисовывается в ярком свете всё значение решений и поступков человека. И вследствие этого бледнеют или даже исчезают важнейшие общественные связи людей, вследствие этого рассматриваемый тип новеллы превращается в явление, завершающее этап литературного процесса.

В рассказе Солженицына тотальность изображённой действительности также обладает некоторыми чертами природной стихии. Она просто существует, как *factum brutum*¹, связь её с течением человеческой жизни, генезис её не прослеживается совсем, как не прослеживается и перспектива её перехода в другую форму человеческого бытия. И однако это всегда и во всём — «вторая природа», общественный комплекс. Хотя проявления её и кажутся совершенно «стихийными», неумолимыми, жестокими, бессмысленными, бесчеловечными, тем не менее это результат человеческой деятельности, и защищающиеся против них люди должны относиться к ним совсем не так, как если бы они имели дело с настоящей природой. Старый рыбак у Хемингуэя чувствует почти симпатию и восхищение перед громадной рыбой, упорное сопротивление которой едва не погубило его. К представителям «второй природы» такое отношение исключено. Солженицын, правда, избегает описания острых проявлений внутреннего недовольства, непослушания; однако сопротивление содержится — наличествует как само собой разумеющееся — в каждом высказывании, каждом жесте, пусть самом беглом. Потому что проявления физической, естественной жизни — как, например, ощущение голода и холо-

¹ Грубый факт (лат.). — Примеч. перев.

да — в конечном счёте выражаются через отношения между людьми. Успешное сопротивление человека или поражение его всегда имеет и непосредственный социальный смысл, если даже писатель об этом и не говорит, всегда имеет в виду будущую настоящую жизнь — свободную жизнь среди свободных людей. Разумеется, здесь также имеет место «природный» элемент непосредственного физического выживания или непосредственной физической смерти, однако социальный элемент всё же доминирует. Потому что природа действительно не зависит от нас, людей; человеческие знания и практика могут подчинить её, покорить, но сама суть её при этом не меняется. «Вторая природа», даже если она и производит впечатление настоящей природы, всё-таки представляет собой явление, возникшее из человеческих отношений, представляет собой дело наших рук. Поэтому единственной разумной реакцией по отношению к ней будет, несмотря ни на что, желание изменить её, исправить, сделать человеческой. Правда деталей, их сущность, их функции, взаимовлияние, взаимосвязь и т.д. также носят общественный характер, даже если общественные их корни и не бросаются сразу в глаза. Солженицын и здесь аскетически воздерживается от того, чтобы занимать какую-либо позицию. Но сама объективность изображения «естественной» жестокости и бесчеловечности данного общественного уклада содержит в себе обвинение более уничтожающее, чем любая патетическая декламация. Точно так же и в аскетическом воздержании от показа перспективы всё же таится перспектива. Каждый случай успешного сопротивления или падения человека внутренне соотносится — пусть об этом и не говорится прямо — с будущими нормальными человеческими отношениями, является — пусть невысказанно — увертюрой будущей настоящей жизни. Именно поэтому данный кусок жизни является не завершением, а открытием будущего общества. (В борьбе с подлинной природой также не исключено наличие воспитательного элемента, как, например, в «Теневой черте» Конрада, однако этот элемент касается лишь отдельного индивидуума. А в «Тайфуне» стойкость капитана, как подчёркивает сам Конрад, остаётся лишь интересным эпизодом и не ведёт к каким бы то ни было выводам.)

Этот факт снова возвращает нас к вопросу о символическом значении рассказа Солженицына: это произведение является — пусть невысказанно — предельно сжатой увертюрой к будущему поэтическому подведению итогов сталинской эпохи, в которой подобные детали действительно были символами повседневной жизни, увертюрой к изображению настоящего, к изображению мира тех людей,

которые прямо или косвенно, активно или пассивно, укрепившись в своей вере или потерпев крушение, прошли до конца ту школу, которая подготовила их к сегодняшней жизни, к деятельному участию в ней. В этом заключается парадоксальность литературной ситуации Солженицына. Лаконизм его языка, воздержание от всяких отсылок, которые выводили бы читателя за пределы непосредственной лагерной реальности, — эти особенности рассказа всё же дают возможность наметить контуры центральных проблем человеческой морали — тех проблем, вне которых люди сегодняшнего дня были бы объективно невозможны, субъективно непонятны. Данный, строго ограниченный участок жизни именно благодаря своей сжатой, экономной сдержанности становится увертюрой к будущей большой литературе.

Прочие известные новеллы Солженицына не обладают подобной символической силой. Однако в них столь же ясно — если не яснее — выражен тот факт, что писатель ищет путь к пониманию настоящего в прошлом. Наименее заметна эта обращённая в настоящее перспектива в великолепной новелле «Матрёнин двор». В ней Солженицын рисует забытую богом деревню, на жителей и образ жизни которой социализм и его сталинская форма оказали ничтожно малое воздействие. Новелла даёт портрет старой женщины, которая много пережила и много выстрадала, которую часто обманывали и постоянно эксплуатировали, но которая не утратила глубокой внутренней доброты и душевной ясности. Мы видим здесь образец такого человека, человечность которого не может быть сломлена или искажена никакими силами. Портрет этот выполнен в духе великих традиций русского реализма. Однако у Солженицына имеет место лишь верность традиции, но не стилистическое подражание какому-либо мастеру. В других новеллах эта связь с лучшими русскими традициями также заметна. Так, структура новеллы «Один день Ивана Денисовича» строится на моральном сходстве и различии нескольких главных героев. Умный, умеющий действовать тактически, никогда не торгующий своим человеческим достоинством крестьянин резко отличается, с одной стороны, от горячего бывшего капитана, который рискует жизнью, не желая терпеть унижение, и, с другой стороны, от хитрого бригадира, который умело защищает интересы бригады перед начальством, но в то же время использует членов бригады для того, чтобы укрепить своё относительно привилегированное положение.

Более динамичен и гораздо более связан с проблематикой сталинской эпохи рассказ «Случай на станции Кречетовка», в фокусе

которого находится вопрос об общественно-этическом явлении кризисного времени — «бдительности». Эта новелла, диалектически раскрывая две стороны медали, показывает, как рутинное воплощение сталинских лозунгов извращало любую подлинную жизненную проблему. Здесь также (типичный для новеллы приём) даётся лишь единичный, частный конфликт и его конкретное решение; писатель ни слова не говорит о том, какое влияние данное решение окажет на дальнейшую — вплоть до сегодняшнего дня — жизнь действующих лиц. Однако конфликт этот таков, что связанное с ним противоречие несёт в себе более серьёзные последствия, чем об этом можно судить по самой новелле. Требование «бдительности», навязываемое людям, было острой проблемой не только в те, ставшие далёкими, дни: последствия его ощущаются и сегодня, являясь такой силой, которая сформировала моральный облик очень многих людей. Рассказ о лагере с философской смелостью мог отказаться от показа всяческих перспектив, от всякого намёка на настоящее — здесь же, в конце этой новеллы, писатель с намеренной и острой откровенностью спрашивает себя и нас: как решится этот вопрос в душе молодого, чистого сердцем офицера?

Этот тип новеллы, который и с художественной, и с формальной стороны так же оправдан, как и описанный выше, с ещё большей интенсивностью представлен в последней работе Солженицына — рассказе «Для пользы дела», который в советской критике встретил и восторженное признание, и резкое осуждение. В этом рассказе писатель смело поднимает перчатку, которую сектанты бросили сторонникам прогрессивной литературы; он как бы откликается на требование изображать энтузиазм строящих социализм масс, имевший место и в эпоху «культы личности», «независимо» от него.

Речь идёт о строительстве техникума в одном провинциальном городке; старое помещение было тесным, в нём невозможно разместить студентов, а власти, прибегая к бюрократическим уловкам, оттягивают строительство нового здания. Здесь, однако, существует сплочённый коллектив преподавателей и студентов, связанных подлинным взаимным доверием и дружбой; во время каникул они добровольно берут на себя львиную долю работ и к началу нового учебного года заканчивают строительство. Новелла живо и красочно изображает завершение работы, доверительные отношения преподавателей и студентов, откровенные споры, радость в надежде на более устроенную жизнь, созданную собственными руками. Но внезапно появляется правительственная комиссия и, более чем поверхностно осмотрев

старое помещение, находит, что там «всё в порядке», а новое помещение передаёт другому учреждению. Отчаянные усилия директора, которому хочет помочь доброжелательный работник из партийного аппарата, остаются, разумеется, безуспешными, борьба против бюрократического произвола аппарата, порождённого сталинской эпохой, совершенно тщетна, если даже речь идёт о самой очевидной несправедливости.

Всё это является убедительным опровержением сектантско-бюрократической легенды о подлинном, активном энтузиазме, якобы имевшем место в сталинскую эпоху. Что энтузиасты были всегда, не отрицает ни один разумный человек. Легенда начинается там, где утверждают, что социалистический энтузиазм расцветал рядом с «культом личности», не затронутый им и даже отчасти благодаря ему. Мы видим в рассказе Солженицына подобную вспышку энтузиазма — видим вместе с тем типичным исходом, который подготовил для этой вспышки сталинский аппарат. На этом новелла кончается, как и другие произведения Солженицына, — кончается в тот момент, когда проблема встаёт перед нами во всей её глубине. Рамки экстенсивности — это тоже типично для новеллы — и здесь узки: ни саботирование властями строительства, ни конечный произвольный акт аппарата не помогают конкретизировать описанный — разумеется, очень убедительный сам по себе — факт. Солженицыну и здесь удалось с помощью скупых и объективных изобразительных средств, исключая всякое комментирование, показать типичность этого факта. Это, конечно, не только вопрос писательской техники, — эту важную задачу удалось осуществить только потому, что Солженицын всех своих героев и все ситуации — с помощью указанного изобразительного метода — представил как типические. Возникновение и внутренние перипетии бюрократической волокиты, личные карьеристские интересы, прячущиеся за ширмой «высокой» объективности «дела», — всё это находится вне рамок новеллы. Правда, писатель очень выпукло даёт фигуры бюрократов, прячущих свою бесчеловечность за ссылками на объективные причины, но не освещает их изнутри ни в общественном, ни в человеческом плане. Более индивидуализированным (разумеется, также в пределах этого новеллистического лаконизма) представляется воодушевление педагогов и студентов — настолько, что даже всплывающее иногда воспоминание о «коммунистических субботниках» времён Гражданской войны не кажется пустой фразой. Однако концовка рассказа не производит впечатления внезапности (оправданной с точки зрения

новеллистической формы): занавес падает сразу после изложения событий, а возникающие острые вопросы: как повлияли эти и подобные события и впечатления на преподавателей и студентов? как сформировали они их дальнейшую жизнь? какими людьми они стали сегодня? — остаются открытыми. Концовка рассказа способствует конкретизации проблемы лишь в том смысле, что заставляет тех, кто правильно прочитал рассказ, поставить эти вопросы перед собой. Таким образом, здесь снова возникает — в этом случае гораздо более конкретно — настойчивое указание на центральные проблемы сегодняшнего дня, проблемы, доставшиеся нам от сталинского прошлого; указание это является здесь более ясным, более острым, чем во всех предыдущих рассказах. Эта новелла, таким образом, не обладает такой внутренней завершённой и совершенством, которые свойственны рассказу «Один день Ивана Денисовича», и поэтому в чисто художественном отношении стоит на более низком уровне. Но как попытка заглянуть в будущее рассказ «Для пользы дела» представляет собой существенный шаг вперёд по сравнению с другими произведениями Солженицына.

4

Нельзя сказать заранее, чем завершится это развитие, сделает ли Солженицын или кто-либо другой следующие необходимые шаги. Ведь Солженицын — не единственный, кто исследует взаимосвязь вчерашнего и сегодняшнего дня. Достаточно, например, сослаться ещё на В. Некрасова. К какому результату приведёт попытка понять сегодняшний день через освещение сталинской эпохи, которая содержит в себе человеческую и этическую предысторию любой действующей сейчас личности, — этого пока никто сказать не может. Решающее слово в этом процессе будет принадлежать развитию самой общественной реальности, обновлению и укреплению социалистического сознания в социалистических странах, и прежде всего в Советском Союзе, в период, когда каждый марксист должен учитывать такую закономерность, как неравномерное развитие идеологии, и прежде всего литературы и искусства.

В наших рассуждениях мы вынуждены, таким образом, ограничиться выводом о невозможности обойти решение этой проблемы; вопросы «как?» и «что?» мы оставляем открытыми. Ясно одно: на пути развития социалистического реализма стоят серьёзные препятствия и помехи. Прежде всего мы имеем в виду сопротивление тех,

кто сохранил верность сталинскому учению, сталинским методам — или, по крайней мере, делает вид, что сохранил. Правда, открытая оппозиция всяческому обновлению была основательно подавлена в результате многих событий, но сторонники этой оппозиции научились в сталинской школе тактической ловкости, и разные косвенным путём созданные препятствия в определённых условиях могут нанести новым явлениям, часто ещё лишённым внутренней уверенности, вреда больше, чем грубые административные меры в духе прежних времён (разумеется, и такие методы ещё живут и могут принести много вреда).

С другой стороны, на пути литературы к новому качеству могут стоять, увлекая её в ложном направлении, и выдвинувшиеся сегодня на первый план, пропитанные духовным провинциализмом дискуссии о модернизме. Мы уже не раз говорили о путях, на которых невозможно достичь существенных результатов, так как в художественном отношении решающую роль должно играть преодоление того — в самом широком смысле взятого — подхода к жизни, из которого исходит большинство стоящих на основе натурализма изобразительных методов. До тех пор пока многие писатели следуют таким техническим решениям, очень легко может повториться описанная нами ситуация 30-х годов, чему будет способствовать и в определённой мере более гибкая деятельность сектантских последователей Сталина, которые, например, использовали даррелловский¹ стиль для того, чтобы отвлечь внимание от подлинных проблем эпохи. Разумеется, и в этой области имеются явления, к которым следует относиться серьёзно. Сталинская эпоха во многих людях подорвала веру в социализм. Сомнения и разочарование, возникшие на этой почве, могут быть субъективно вполне искренними и откровенными, но в поисках своего выражения они легко могут привести художника к простому подражанию западным направлениям. И если даже с чисто художественной точки зрения такие произведения интересны, они всё же не способны освободиться от печати эпигонства. Скажем, видения Кафки действительно выражали мрачную пустоту гитлеровской эпохи как нечто фатальное, но реально существующее; пустота же Беккета является бесцельной игрой, фикцией глубины, игрой, которая в исторической действительности не имеет никакого объективного соответствия. Я знаю: скепсис и пессимизм

¹ Лоренс Даррелл (1912) — английский писатель. Служил дипломатом в странах Востока. Основное произведение «Александрийский квартет» (1960) характеризуется пристрастием к экзотике и причудливым стилем. — *Примеч. перев.*

в интеллигентских кругах вот уже более ста лет считаются чертами более аристократическими, чем вера в великое дело прогресса человечества, — если даже формы проявления этого прогресса пока что весьма проблематичны. Тем не менее слова Гёте при Вальми более ясно относятся к будущему, чем то, что женщины превращаются в гиен, и эти слова в произведении Гёте соотносятся с последним монологом Фауста. Шелли более оригинален и более долговечен, чем Шатобриан; Келлер больше почерпнул из 1848 года, чем Штиффер. Сегодня — в равной степени с точки зрения и мировой истории, и мировой литературы — всё зависит прежде всего от тех, для кого сталинская эпоха послужила стимулом, чтобы углубить и осовременить свои социалистические убеждения. Те же, пусть самые честные и самые талантливые, кто утратил эти убеждения и, следуя в хвосте западных направлений, тщится создать нечто «необычное», — со временем, с развитием пока скрытых, пока что грядущих сил будут выглядеть как заурядные эпигоны.

Повторяю: у меня нет намерения снова поднимать вопрос об авангардизме. Мы знаем, что такие писатели, как Брехт, поздний Томас Вулф, Эльза Моранте, Генрих Бёлль и другие, создали важные, своеобразные и, насколько можно судить, долговечные произведения. Речь здесь идёт лишь о том, что если разочарование в социализме встретится со стилевыми формами западного скепсиса, то из этого в конечном счёте родится лишь эпигонство. Излишне, пожалуй, повторять, что честные люди своё разочарование в старой жизненной форме могут преодолеть, пересмотреть лишь в практике, в своей собственной жизни, сопоставляя её с общественно-исторической действительностью. Литературные аргументы и дискуссии здесь неминуемо останутся безрезультатными, а административные меры приведут лишь к тому, что ещё более утвердят тягу к модным течениям как искусству избранных и ещё более оттолкнут от социализма тех, кто искренне ищет дорогу к нему.

Солженицыну и ему подобным всегда чуждо такое формальное экспериментаторство. В человеческом и философском, социальном и художественном смыслах они пытаются переделать себя применительно к действительности, которая всегда была исходной почвой для подлинного обновления формы искусства. Такой вывод позволяют сделать все произведения Солженицына, и нетрудно установить, как тесно они связаны с проблемами подлинного обновления марксизма. Все дальнейшие попытки судить о стиле грядущей эпохи, пытающиеся предварить будущее, будут представлять собой в тео-

ретическом отношении пустую схоластику, а в художественном отношении — критику любой ценой всего существующего. Если сегодня что-либо уже является несомненным, то это следующее: будущая большая литература социализма, находящегося сегодня в стадии обновления, ни в коем случае не может быть — в главнейших, решающих вопросах формы — простым продолжением первого взлёта литературы 20-х годов или возвращением к этому периоду. Потому что с тех пор коренным образом изменилась природа конфликтов, изменилось качественное своеобразие людей и их отношение друг к другу. Каждый подлинный стиль строится на том, что писатели подмечают в жизни такие специфические формы движения и структуры, которые наилучшим образом характеризуют эту жизнь; только в этом случае писатели способны — в этом и проявляется подлинная оригинальность — найти адекватную форму отражения всех структур, такую форму, в которой должным образом будут выражены самые глубокие и самые характерные черты.

Писатели 20-х годов изображали бурный переход от капиталистического общества к социалистическому. Люди стояли лицом к лицу с драматическими проблемами, должны были сами выбирать, куда идти, и нередко — часто весьма драматическим образом — им приходилось переходить из одного социального класса в другой. Такие и подобные жизненные факты определили стиль социалистического реализма 20-х годов. Структура и динамика нынешних конфликтов имеют совсем другую природу. Внешние драматические конфликты являются сегодня редчайшим исключением. Поверхность общественной жизни как будто бы очень слабо меняется на протяжении долгого времени, видимые изменения происходят медленно, постепенно. Однако во внутренней жизни людей уже в течение десятилетий происходят коренные изменения, которые, естественно, и сейчас влияют на поверхность общественной жизни, а позже, в процессе формирования нового жизненного уклада, станут играть всё более важную роль. Акцент, однако, и в прошлом, и в будущем перемещается на внутреннюю, нравственную жизнь, на этические проблемы, которые иногда едва заметны на поверхности. Было бы ошибкой видеть в этой гегемонии внутренней жизни в искусстве аналогию некоторым западным направлениям, в которых кажущаяся абсолютной власть отчуждения вызывает по видимости ничем не ограниченную, а в действительности беспомощную духовную деятельность. Мы здесь говорим не о такой лжедеятельности, а о цепи внутренних решений, подавляющая часть которых не может или лишь в исключительных случаях может вы-

литься — по крайней мере, на данном этапе — в видимое действие. Сущность их, однако, — это драматическая ситуация, которая часто перерастает в трагедию. Всё зависит от того, как быстро и как глубоко осознают люди опасности сталинской эпохи, как будут реагировать на них и как будет влиять накапливаемый таким путём опыт: победы или поражения, гибель или приспособление и капитуляция — на сегодняшнюю деятельность человека. Ясно, что подлинное мужество и стойкость заключаются в том, чтобы, отвергнув сталинские извращения, укрепить и углубить подлинно марксистские, подлинно социалистические убеждения, повернуть их к новым проблемам.

Нет необходимости продолжать дальше, так как я не намереваюсь здесь охарактеризовать, пусть даже бегло, всю современную эпоху, её исторический генезис, типичные варианты человеческих позиций. Я хотел лишь показать тот реальный базис, который сегодня настойчиво предписывает социалистическому реализму выработать другой стиль, отличающийся от стиля, продиктованного действительностью 20-х годов литературе того времени. Мне бы хотелось лишь добавить, что форма рассказов Солженицына действительно выросла из этой почвы; где будут искать точки соприкосновения другие, будущие писатели — это их дело.

«Je prends mon bien ou je le trouve»¹ — таков был всегда девиз всех оригинальных и значительных писателей; они всегда с сознанием ответственности и радостью брали на себя риск решать (в любом решении есть элемент риска), действительно ли «mon bien»² представляет собой настоящую ценность; у более мелких писателей этот риск может быть лёгким и поверхностным. Насколько теория способна намечать самые общие общественные контуры подобных происходящему изменений, настолько же она вынуждена о каждом конкретном факте искусства говорить лишь *post factum*.

<1964>

¹ Все хорошее я беру там, где нахожу (фр.). — Примеч. перев.

² «Хорошее» (фр.). — Примеч. перев.

А. Захарова

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ «ИЗВЕСТИЙ», гор. МОСКВА¹

Я, Захарова Анна Филипповна, сотрудник Министерства Охраны общественного порядка с 1950 года. Была комсомолкой, с 1956 г. — коммунист. Прочитав произведение А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», была возмущена до глубины души так же, как, я думаю, все читатели — сотрудники МООП. Я хотела сразу писать в Государств. Изд-ство Худ. Литературы в Москву о своём возмущении, но всё как-то времени не было свободного. А прочитав ещё произведение Б. Дьякова о том же самом — «Повесть о пережитом», — решила написать, хотя и дорого время. Обсуждая статью, вернее, данные произведения с читателями — работниками МООП, я слышала ото всех только возмущение, горячее, негодующее. И у меня уже не стало терпения молчать.

Ну, поймите, чем виноваты сотрудники, офицерский состав, которых так порочат бывшие заключённые, хотя они и были невинно осуждены? Тем, что они призваны партией и народом нести самое тяжёлое бремя нашего времени — работу с преступным миром? Мы, сотрудники, живя на периферии, лишены всех элементарных человеческих условий против жителей городов и районов. У нас подчас нет достаточного питания, жилья, не говоря уже о благоустроенных квартирах. Настоящих школ, библиотек. О театрах и различных спортивных учреждениях уж и речи не надо вести. Это для нас роскошь.

Мы работаем, собственно, с отходами общества — преступниками. Ведь представьте себе. Работает в одном из коллективов человек. Пьянствует, дебоширит, ворует, грабит, убивает и т.д. С ним коллектив помучается, помучается и как худшего из худших, мешающего нормально жить и работать, передаёт его в суд. И вот эти «сливки» общества в лагере, можете себе представить, каково с ними работать? А нам приходится. А мы что, не такие же советские люди, чтобы нормально жить и работать? Разве мы не такие же, как все, не должны пользоваться благами, которые завоевали наши отцы и деды? Мы тоже хотим жить спокойно, красиво, среди нормальных условий, среди нормальных советских людей, но нас призвала партия, народ вверил нам наитяжелейшую участь, и мы несем её ради блага всего народа, ради

¹ Слово пробивает себе дорогу: Сб. ст. и документов об А.И. Солженицыне, 1962–1974. М.: Русский путь, 1998.

спокойствия его. Так почему же нас чернят? И почему наши органы разрешают издеваться над работниками МООП? Втаптывать в грязь все их заслуги? Это нечестно! Ведь у нас многие офицеры — старые коммунисты, отслужили своё и ушли на пенсию с инвалидностью от этой ужасно трудной работы. И вот оскорбляют теперь его благородный труд, на котором он оставил своё здоровье, да и собственно — жизнь, да за что?

Если бы это был уже пройденный этап — тогда другое дело. Но ведь и в настоящее время ещё преступность не ликвидирована. Сейчас также наказывают преступников, также есть лагеря, только не политические, а бытовые. Также есть охрана, работники лагерей, зоны и т.п.

При чём здесь, скажем, сотрудники? Они только выполняли, что с них требовали положения, инструкции, приказы и т.д., как в любом учреждении, на фабрике, на заводе. От себя, на месте, ничего не придумывали, пользуясь бесконтрольностью или временем культа личности. Это не наша вина, не вина рядовых работников, офицеров, коммунистов и т.д., что велась такая политика. Так за что же их оскорблять? За то, что нам здесь с каждым годом становилось всё труднее работать с преступным миром? Так как они (заключённые), пользуясь гуманностью нашей политики, стараются всячески поиздеваться над сотрудниками лагерей и колоний. Они в любое время и любого работника могут оскорбить при всех, и им за это ничего не будет, кроме того, что предусмотрено небольшими возможностями начальника подразделения. Заключённые могут каждого из нас свободно обозвать берицецем, наговорить такое в адрес коммунистов, что и передать нельзя. И к ним меры не принимают, нужно действовать путём разъяснения. И ему разъясняют. Но разве закоренелый преступник поймёт? Есть, конечно, часть осуждённых, которые ведут себя примерно. Но в основном они все настроены враждебно.

В моём письме невозможно всё рассказать, как нам с ними трудно работать. А благодарности, получается, никакой. Наоборот. Напишет один из заключённых письмо и такое насочинит на администрацию, так все события одно с другим сложит, что вышестоящее руководство принимает это всё за чистую правду. Посылают комиссии, представителя от прокуратуры и проч., которые всё на месте проверяют, берут объяснительные с сотрудников, допрашивают и т.д. Этим самым нервнируют работников, а после выяснения получается, что — факты не подтвердились, представляете? Как здесь можно нормально работать? И таких писак много. И так вот, в лихорадке почти всё время приходится работать. Да разве можно всё описать, объяснить? И может

только тот понять, кто сам поработает с преступным миром хотя бы год-два.

Я уверена, что все сотрудники, кто прочитал эти произведения, возмущены до глубины души. Но не откликаются или потому, что, как и я, не могут выразить это на бумаге, или некогда, так как работа по перевоспитанию осуждённых занимает очень много времени. Ведь у нас многие сотрудники работают не по семь часов в сутки, как предусмотрено законом о труде, а по 10–12–14 часов в сутки. Иначе не перевоспитаешь тех закоренелых преступников, которые находятся у нас. Всё своё и рабочее, и личное время сотрудники почти целиком отдают зоне, большая часть, как я ранее сказала. Я 13 с половиной лет на трассе работаю с заключёнными, так же как и мой муж майор Захаров, он уже здоровье потерял, работая с преступным миром, так как здесь вся работа поставлена на нервах. Мы бы и рады уже отдохнуть, так как муж уже отслужил своё, но не отпускают. Коммунист-офицер, долг службы обязывает. А разве мы не имеем права жить и трудиться среди положительных советских людей? Разве мы не имеем права дать своим детям настоящего воспитания, если сами ничего не видели? У меня две дочери учатся в шестом классе. Я бы хотела, чтобы они занимались — одна в балетной, другая в музыкальной школе, участвовали в различных спортивных школах, т.е. воспитывались в ногу с нашим временем. Но здесь ничего подобного нет. И нам приходится мириться. Сознание того, что ты коммунист и должен работать там, где тебя партия найдёт нужным поставить, заставляет мириться с недостатками.

А нас теперь за все наши невзгоды чернят, отбивают нам руки в дальнейшем работать. Как это несправедливо!

Перейду непосредственно к произведению Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Солженицын называет оперативного уполномоченного «кумом». Что это значит? — кто ему дал право оскорблять должность, названную по штатам МООП РСФСР? Или так положено у писателей — искажать? На этой должности кто-то обязательно офицер, большей частью коммунист. И в настоящее время они есть. И действительно он насчёт «кума» загнул, как сам писатель выражается. По Солженицыну выходит, что если кто-то из заключённых более сознательных и осознал свою вину перед Родиной, сделает, как ему совесть позволит, т.е. скажет оперативному уполномоченному, что кто-то из преступников замышляет или побег, или убийство, или ещё какое преступление,

то Солженицын считает, что это «береженье на чужой крови». Вот это патриот, нечего сказать.

Я работала с контингентом 58-й статьи, и ничего подобного не было, как пишет Солженицын. Только то и было, что некоторые заключённые, как я выше сказала, более сознательные, вскрывали оперативному уполномоченному ещё ряд преступлений перед Родиной — убийц, полицаев, предателей и т.д. Так за это советский народ должен сказать только спасибо этим осознавшим заключённым. А Солженицыну, видите ли, это не нравится.

Теперь о подъёме и отбое. Подъём и отбой — это распорядок дня, и без этого в лагере нельзя. Не будет распорядка дня — не будет и порядка в лагере. Распорядок дня также предусмотрен определённой инструкцией, и как было раньше, так продолжается и теперь. Да иначе и нельзя. А Солженицын хотел, вероятно, чтобы в лагере был хаос, не существовало никакого порядка. Такого быть не может.

А вот насчёт градусника Солженицын часть правильно написал. Заключённые только и поглядывают на градусник, чтобы их побольше было, на работу не ходить. Это точно. А почему же вольные граждане и в 40–45 градусов работали? А заключённые уже знали, что им положено в 40 градусов не выходить на работу, и отступлений не было. Многие саботировали, не хотели вообще трудиться, честно искупать свою вину перед Родиной. Они знают, что хоть и пролежат, но их накормят. Страна наша богатая, даст хлеба, хоть и не заработанного, что его ещё трудом зарабатывать. И конечно, абсурд, что в зоне обязательно администрация повесит плохой градусник. Это выдумки заключённых.

А насчёт надзирателей, как Солженицын отзывается. «Раздевшись до грязных своих гимнастёрок». Можно подумать, что это были не в формах, предусмотренных МООП РСФСР, а какие-то бродяги, которые живут на необитаемом острове без начальства, командиров и т.д.

И что значит «надзиратели — дураки»? Они службу несут, и что от них требуют, они обязаны выполнять.

А что представляет собой герой произведения? Сразу можно догадаться, кто был этот Шухов, когда он, вымыв полы в надзирательской, бросил невыжатую тряпку за печь, а грязную воду вылил на дорожку, туда именно, где ходило начальство. Это говорит о том, как он уважает советских людей — коммунистов, и как он бережёт социалистическую собственность. Если каждый заключённый будет так в бараках воду лить, что останется через пять лет от него? Погнёт всё, и государство опять строй, готовь народные денюжки. А Солженицын доволен.

Понятно, что герои произведения Шухов с таким настроением к советским людям только и надеется на санчасть, чтобы как-то увильнуть от работы, от искупления своей вины перед Родиной. А ведь он находится в исправительно-трудовых лагерях, пусть даже и невинный, так он должен, как настоящий советский человек, как коммунист, показать всем пример, зажечь остальных, а не разлагаться и других не разлагать. Да и почему, собственно, человек должен увильнуть от физического труда, пренебрегать им? Ведь у нас основа советского строя — труд, и только в труде человек познаёт настоящую свою силу. А здесь, как мы видим, герои этих произведений боятся труда, со страхом к нему относятся, им кажется страшным идти на лесоповал. Миллионы наших советских людей трудятся на лесоповале и восхваляют этот труд, и не под винтовкой идут, а по велению сердца идут на этот тяжёлый, но благородный труд.

Теперь о «шмоне», или обысках, как правильно нужно выражаться. Они и сейчас есть, иначе нельзя. Ведь заключённые всё, что можно, стремятся унести за зону и продать или променять на чай, водку и т.д. Вокруг нас работают разные вольные люди, чаще всего такие же бывшие заключённые, и они любыми средствами хотят помешать лагерной администрации строить правильную работу в лагере. Поэтому заключённые стремятся унести лагерное имущество, а ведь оно государственное, разные письма с клеветническим характером на коммунистическую партию и советское правительство, а также по разным преступным связям и т.д. И администрация обязана оградить от этого, иначе она свою миссию не выполнит, не выполнит те указания, которые predeterminedены о режиме и содержании заключённых. А если бы это разрешили и не делали обыска, то заключённые бы наделали таких преступлений, что народ долго бы помнил о своей ошибке всё разрешать заключённым. Ведь сами авторы пишут, что были и преступники в лагере — грабители, убийцы, контрреволюционеры и невинные, а как администрация должна была отличать, кто виноват, а кто нет? Сейчас вон у нас сидят такие закоренелые преступники, по несколько судимостей, а спроси у них, за что они сидят, они вам скажут и не моргнут, что осуждены невинно, что это суд напридумывал им преступления. И 10% примерно из всех скажут честно, что он осуждён за дело. Администрация имеет приговор и обязана ему верить, только приговору, который, собственно, и исполняет.

Солженицын так в своём произведении описывает всю работу лагеря, как будто бы там и партийного руководства не было. А ведь и ранее, как сейчас, существовали партийные организации и направля-

ли всю работу согласно совести. Ведь никто не знал, что велась неправильная политика, проводимая Сталиным, это отражалось только на суды, что невинно осуждали по 58-й статье, и на режим содержания: были решётки на окнах, замки на бараках, номера на одежде, а сотрудники здесь при чём? Эти же люди, что работали тогда, в основном работают и сейчас, добавилось, может быть, процентов 10, и всё. И за хорошую работу поощрялись не раз. Являются на хорошем счету как работники. Вот хотя бы взять т. Лихошёрстова, о котором пишет автор статьи «Повесть о пережитом». В настоящее время тов. Лихошёрстов — капитан, секретарь парторганизации, трудится на сельхозе, выполняет намеченное партией мероприятие по крутому повышению сельского хозяйства. И представляете, как ему трудно сейчас работать, когда о нём такое пишут?

Вот сейчас, например, идёт такой разговор, что Лихошёрстова будут разбирать, чуть ли не привлекать. Да за что? Хорошо, если это только разговор, а не исключена возможность, что и додумаются до этого. Вот уж это произведёт настоящий «фурор» среди сотрудников МООП, если можно так выразиться. Разбирать за то, что он выполнял все указания, которые давались сверху? А теперь он должен отчитываться за тех, кто давал эти указания. Вот это здорово!

Получается как в русской поговорке: «Всегда стрелочник виноват!»

И какой вздор пишет Солженицын, что начальник режима носил плётку, чтобы бить заключённых! Не знаю, где такое было. Я с 1950 года до 1954-го работала с политзаключёнными, и у нас, наоборот, с ними только гуманные отношения были. Попробуй только кто из администрации скажи что-нибудь на них грубое, так сразу с работы снимут или ещё что, не то что телесные наказания. Ведь мы все прекрасно знаем, что телесные наказания отменены с приходом советской власти, а здесь Солженицын придумывает такое, что в лагерях было такое беззаконье, бесконтрольность и издевательства, как будто бы здесь работали не советские люди. Надо понимать так, что он специально натравливает народ на органы МООП, будучи сам озлобленным на них.

Или о конвое что пишет? Да как же иначе? Ему бы доверили этот участок, он точно так же нёс бы службу, а если бы распустил всех с лагеря, значит, оставил бы партбилет, отдали бы под суд и т.д. Это вполне понятно. Конвою поручена охрана преступников, и за каждого человека он несёт ответственность. Над чем здесь издеваться? Каждый советский человек на своём посту и обязан отвечать за это. По Солженицыну должно быть, чтобы конвой распустил всех на волю, а

сам сел на их место. А народ страдай. Что бы тогда было, если бы всех преступников распустили?

Или солдат он называет «попками». Да что это значит? Советский солдат — и попка. Да что это за издевательство? Их призвали в ряды советской армии, одних направили в авиацию, других во флот, этих в охрану. Не по их воле или желанию. Им зачитан устав, и они как военнослужащие обязаны подчиняться воинскому уставу, где бы они ни были. А Солженицын над ними насмехается. И сейчас также существуют конвойные войска, также несут службу по охране преступников. Выходит, солдаты виноваты в том, что их при распределении направили в лагеря? Всё равно кто-то должен здесь быть. Да и мне кажется, не позорно охранять мирный труд советских людей. А по Солженицыну получается, что ниже позора быть не может.

Как Солженицын унижает ряды советской армии? И почему это ему позволили? Наши доблестные советские войска, как их народ возвеличал, у Солженицына стали попками. Народ гордится своими солдатами, а Солженицын ненавидит их, унижает, оскорбляет. Патриот Родины!

И почему так агрессивно настроены авторы этих произведений на администрацию лагерей? Они, видимо, сами не особенно отличались здесь. Ведь не особенно нужно ума, чтобы понять, что администрация не виновник того произвола, что творился во времена культа личности. И разве авторы и их герои не могли себя поставить на место администрации? Ведь и они точно так же исполняли бы те указания, которые поступали свыше. А у этих писателей получается опять по русской пословице: «Стрелочник всегда виноват».

Или ещё один момент хочется отметить по произведению Солженицына. Как он говорит о питании заключённых? «Из земли еды не выколотишь, больше, чем начальник тебе выпишет, не получишь». Пишет так, как будто бы начальник лагеря в этом хозяин. Существует единая норма всесоюзная, и начальник здесь никакого отношения не имеет, ему самому сколько выпишут на заключённых, столько он и получит. Будет вдвое больше норма, будет и начальник выписывать вдвое больше. Неужели, ещё раз повторяю, здесь нужно иметь очень умную голову, чтобы додуматься хотя бы до этого?

Просто удивляешься, сколько жёлчи в этом произведении против администрации лагеря, насмешек, издевательств, унижений и т.д. Дальше об этом же. «<...> Здесь воруют, <...> и ещё раньше на складе воруют»... Как будто бы вольнонаёмные, советские люди, работающие в лагере, все собрались вору, как будто бы здесь и честных людей нет,

контроля и т.д. Здесь, наоборот, каждый работает и знает, с кем имеет дело. И сам никогда на это не пойдёт, потому что уверен, что и сам там же будет. Если кто и своровал где-то, может, и были такие случаи по Союзу, в Озёрном, я знаю, не было, там такие работники давно сами за проволоккой. А Солженицын всех подряд обливает грязью и называет ворами.

Немного о произведении Б. Дьякова.

1. Петров — начальник лагеря дал работу писателю ассенизатором, который задал вопрос: «Думаете сломить?» Да кто их хотел ломать? Да и зачем, для чего, спрашивается? Это выдумки, домыслы самих заключённых. Они всегда всё стараются по-своему понять, всё перевернуть. Просто необходимо было дать работу всем осуждённым, как требует того политика трудовых исправительных лагерей. А ведь в лагере нет таких работ, чтобы с ручкой сидеть или речи держать. В основном там всё физические работы. А некоторые тунеядцы, приспособленцы старались местечко выбрать тёпленькое, поэтому все старались попасть в хозяйственную службу. Но ведь туда всех не пристроишь, больше положенного процента нельзя в хозлагодолужде держать, а заключённые этого не понимали. И обязательно думали, что если на физические работы послали, значит, злы на них администраторы, сломить хотят, — какой вздор!

2. Подъём один из надзирателей делал на час времени раньше — опять вздор! Существует распорядок дня, всё рассчитано по часам и минутам, и попробуй только надзиратель или кто другой нарушить этот распорядок, так за это понесёт суровое наказание. На 5–10 минут — допускаю. Может, на вахте часы испортились, но чтобы на час и сознательно — вздор!

3. Обыск под праздник, как Дьяков выражается, тоже «шмон», и ругает надзирателей, администрацию. Детство просто, и всё! А при чём здесь те и другие? Это приказ, единый по всему Союзу. И попробуй не выполни его. Так же, как и любой директор завода не выполнит правительственное задание.

А для чего обыск нужен? Обычно в праздничные дни заключённые, которые особенно враждебно настроены, всегда старались делать провокации, разного рода преступления именно в праздничные дни, чтобы показать свою враждебность к советскому строю. Поэтому они заранее приготавливали разные инструменты, оружие, вот поэтому необходимо было всё лишнее изымать, чтобы предупредить те преступления, которые готовили заключённые. И что здесь удивитель-

ного, что администрация требовала всё по инструкции? Если что не положено хранить, изымалось. Не администрацией это было придумано, и они не от советских стражей прятали, не от работников, как он выражается о работниках лагеря. «Ведь они, советские стражи, называют себя коммунистами, комсомольцами». Они и были ими. Был бы Дьяков на месте администрации, что ж, он не стал бы подчиняться приказу? Так, что ли, надо понимать? Если бы по всей стране так не выполняли указания, приказы, то что ж бы получилось — анархия?

4. Пишет Дьяков о начальнике управления Озерного лагеря тов. Евстигнееве.

Всеми уважаемый начальник Управления бывшего Озерного лагеря, полковник Евстигнеев сейчас демобилизовался, работает заместителем начальника Братской ГЭС. Замечательный руководитель, с высшим образованием журналиста, скромный, выдержанный товарищ. О нём все сотрудники лагеря отзываются только с величайшим уважением. Тов. Евстигнеев всегда подтянутый, внешне и внутренне. А Дьяков пишет о нём, что он приехал в расстегнутой шинели, в заломленной папаше набекрень, — вздор! Если уж он хотел писать правду, так пусть придерживается её. Наш начальник управления перед сотрудниками, тем более перед заключёнными, никогда не позволит себе вольности, особенно в форме.

Всего, что есть отрицательного в произведениях Солженицына и Дьякова, не опишешь в моём письме, а у Солженицына почти всё отрицательное. У них, особенно у Солженицына, скрытая ненависть к коммунистам, к работникам лагеря злоба. У него в каждой строке залита такая жёлчь, что сразу бросается в глаза, как он агрессивно настроен против всего порядка в лагере. Над этим произведением нужно сидеть специально долгое время. Для меня, конечно, и высказывать своё мнение. Я и так пишу это письмо около двух месяцев, ухватывая ежедневно по полчаса, от силы по часу в день, иногда и в неделю. Но я хочу всё-таки написать, высказать, хоть и не могу, как писатель, высказать своё мнение складно, красиво, я чувствую эту несправедливость сердцем, возмущаюсь, но высказать стройно не могу вкратце. Я в своём большом письме не высказала ещё и тысячной доли, что бы хотела высказать.

Я так понимаю. Критиковать период культа личности нужно и необходимо, что мы все и делаем сейчас. Но не нужно затрагивать тех, кто совершенно никакого отношения к этому не имеет. Все советские люди одинаково ощущали этот период, так зачем же некоторую часть людей

винить за это? Вполне понятно, что этот период — результат политики определённой категории людей, а не всего народа. Так и нечего позволять порочить МООП таким писателям, как Солженицын и Дьяков.

Прошу редакцию «Известий» поместить мою статью в газету или в журнал «К новой жизни» МООП и призвать работников МООП на обсуждение произведений «Один день Ивана Денисовича» и «Повесть о пережитом».

Я почему-то уверена, что все работники МООП чувствуют именно так, как я, в чём я убедилась, беседуя с очень многими и многими. И все, с кем мне приходилось беседовать, только одного мнения — авторитет МООП окончательно подорван перед народом, и теперь его не восстановить.

Прошу редакцию «Известий» извинить меня за моё, может быть, нескладное письмо и не по адресу, но мне не приходилось ещё с таким вопросом встречаться, так что, если что не так, прошу поправить меня и подсказать, куда обратиться.

С глубоким уважением к Вам

А. Захарова

Мой адрес: Иркутская область, Чунский район, пос. Лесогорск, ул. Чкалова, 9. Захарова, Анна Филипповна

PS. Ещё хочу добавить один момент. Зачем, спрашивается, такие произведения в нашей литературе с лагерным жаргоном, который просто ухо режет? Сейчас мы должны пропагандировать всё самое красивое, лучшее, чистое, чтобы прививать эстетические вкусы, коммунистическую мораль нашей молодёжи. А мы поднимаем из глубины всю эту грязь о преступниках, просто неприятно читать все эти лагерные выражения, клички.

В настоящее время передают часто по радио, печатают в газетах лекции и беседы на тему: «За чистоту русского языка», предлагают пользоваться языком, каким разговаривал В.И. Ленин, Горький, Пушкин и др. А мы предлагаем в наше время в произведениях лагерный жаргон. Какое воспитательное значение имеют эти произведения? Да, молодёжь или дети, прочитав эти произведения, обязательно будут пользоваться этим жаргоном, ссылаясь на эти произведения. Они обязательно скажут — раз есть в литературе, значит, можно им пользоваться в своей речи. Вот тебе и чистота русской речи и культура.

1 октября 1964 года

Е. Гнедин

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА¹

В редакцию журнала «Новый мир»

...Моё письмо — попытка добросовестно свидетельствовать о собственном опыте. Это моё свидетельство, хотя бы уже в силу его краткости, я не рассматриваю как вклад в мемуарную литературу, а как форму участия в дискуссии сегодняшнего дня, и именно по определённому вопросу, о котором я сейчас скажу.

Проблема, которую я попытаюсь осветить в своём письме, это — положение и роль интеллигенции в сталинских лагерях. По моему мнению, эта проблема при обсуждении повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» не получила полного и достоверного освещения. Между тем недавно опубликовано произведение, всецело посвящённое этой теме: «Повесть о пережитом» Бориса Дьякова («Октябрь», 1964, № 7). Но именно некоторые стороны повести Дьякова побуждают меня высказаться и, если угодно, выступить в защиту интеллигенции от её критиков и ложных апологетов.

Солженицын по праву большого художника ввёл в своё повествование те типы интеллигентов в лагере, образы которых соответствовали его общему замыслу. Однако — хотел он этого или не хотел — могло создаться такое впечатление, будто тяготы лагеря и каторжная работа вместе с рядовыми тружениками лагеря были уделом лишь отдельных неудачников из среды интеллигенции, а большая её часть порой даже паразитировала за счёт массы.

В моей памяти предстают совершенно другие образы интеллигентов в лагере. Вот три женщины в самый канун ледохода везут на себе через реку по мокрому льду, рискуя жизнью, сани, гружённые мукой, и делают это по собственной инициативе, чтобы накормить застрявшую в поле бригаду весьма смешанного состава. Все эти три женщины — «высоколобые интеллигентки», две из них кандидаты наук, и две из них коммунистки. Я вспоминаю другую, уже немолодую женщину, беспартийную, жену инженера: она и в лагере, и в ссылке состояла в рабочей бригаде, во вредном цехе с необыкновенной дисциплинированностью и вниманием выполняла свои обязанности. Она подорвала своё здоровье и погибла в ссылке. Я вспоминаю, как интеллигент, которого с благословения начальника-майора травил начальник из уголовников, стал откидчиком у пилорамы и перевыполнял норму

¹ Выход из лабиринта. Е.А. Гнедин и о нём: Мемуары, дневники, письма. М., 1994.

вместе с другими рабочими. Студент, попав в лагерь, сделался дорожным рабочим и потом бригадиром, и его бригада была на лесозаготовках чем-то вроде «спасательной команды», когда работа срывалась из-за бездорожья. Эти интеллигенты действительно способствовали выполнению плана, в отличие от героя повести Дьякова, который видел свою доблесть в том, чтобы на собрании начальства и служащих больницы декламировать о необходимости организовать среди измученных и бесправных заключённых социалистическое соревнование, то есть высшую форму сознательного отношения к труду свободного человека. Среди заключённых было много сознательных людей, но нельзя же утверждать, что они были свободными людьми...

Я, естественно, могу здесь приводить лишь отдельные примеры участия интеллигентов в производственной работе, но речь идёт о массовом явлении. Оно не могло не быть массовым просто по закону больших чисел: в сталинских лагерях томилось такое множество интеллигентных и квалифицированных людей, что только малая часть могла избежать общей участи, общих работ. Вместе с тем я должен решительно отвести возможные попытки сделать из сказанного мной вывод, будто лагерный труд был не так уж тяжёл, если с ним справлялись люди, не приспособленные к физическому напряжению. Одно из действующих лиц в повести Б. Дьякова рассуждает так: «Всякая работа сначала трудна, но только сизифовы камни перетаскать невозможно». Эти слова могли быть продиктованы личным мужеством человека, не пасовавшего перед трудностями. Однако они не применимы к каторжному труду в ежовских и бериевских лагерях. В тех условиях на общих работах крепкий человек мог именно сначала, затрачивая большие усилия, выполнять норму, но потом надрывался, и его ждала дистрофия или пеллагра. В конечном счёте уже из-за нестерпимого лагерного режима, столь красочно и верно описанного Солженицыным, работяга либо выбывал из строя, либо его работа, действительно, превращалась в сизифов труд. Лагерные начальники не прочь были разглагольствовать о том, что к работе можно «привыкнуть», — надо только перевыполнять нормы и получать повышенный паёк. За подобными рассуждениями скрывалось либо беспощадное отношение к людям, готовность обречь их на гибель, либо в лучшем случае — равнодушно-барское: «мужик, он же привык». Интеллигенты, связанные с массой работяг, не рассуждали так, как рассуждали героини Дьякова.

Для понимания взаимоотношений между различными категориями лагерного населения существенно, что людей могло сблизить или разделять не только их отношение к труду, но и их различное

отношение к жестокой лагерной действительности, их отношение к окружающим, чувство товарищества или его отсутствие. А его бывали лишены и люди умственного, и люди физического труда. Мало кто становился лучше в лагерных условиях, и, увы, как много людей становилось хуже в сталинских «исправительно-трудовых» лагерях, где имела хождение поговорка: «Умри ты сегодня, а я завтра!» Человек, не помышлявший о взятке на воле, мог в лагере стать мелким взяточником; человек, кичащийся своей идейностью, мог, растерявшись, вступить в сделку с уголовниками. Ханжа становился бесстыдным лжецом. Человек, прежде лишь проявлявший осторожность в отношениях с начальством, превращался в жалкого подхалима. Мещанин, в обычных условиях ограничивавшийся мелочными склоками, преобладался в лютого волка, опасного для окружающих. Какой-нибудь политиканствующий начётчик, который в прошлом бессознательно придерживался антимарксистского принципа: «цель оправдывает средства», теперь уже сознательно руководился этим иезуитским правилом, становился даже доносчиком или провокатором. Приходилось наблюдать, как, поддакивая собеседнику, и не слыжавшему о Дарвине, образованный человек, ссылаясь на Дарвина, рассуждал о том, что «жизнь — это борьба за существование» и, следовательно, каждый заботится только о своём благе. Забавно было слушать, как бывший крупный партийный администратор, поддерживавший себя в лагере мелким посредничеством в обменных операциях (что само по себе было делом незазорным), стал рассуждать о благотворной роли частной торговли в обществе.

Жертвой порчи могли стать и рабочие, и интеллигенты, и крестьяне. Именно поэтому в размежевании между людьми огромную роль играла моральная устойчивость людей, моральное начало. С этой точки зрения лагерный опыт имеет большую ценность. Именно в тех условиях, в которых циники и трусы, оправдывая своё поведение, провозглашают лозунг «человек человеку — волк», люди находят опору друг в друге, если они соблюдают «простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица».

Обаяние образа Ивана Денисовича как раз и заключается в том, что он сохранил способность соблюдать законы нравственности, сохранил чувство справедливости. Мне пришлось работать много лет в качестве простого рабочего и бригадира, и я встречался с Иваном Денисовичем — в разных его обличьях. Светлый характер, выдержка в отношениях с людьми, мастерство и изобретательность в рабо-

те Ивана Денисовича напомнили мне черты характера и поведение разных моих помощников и товарищей по работе; в одной бригаде это был белорус, в другой — кубанский казак, в третьей — западный украинец. Именно на таких людей опирался бригадир или десятник (не всегда, но часто квалифицированный интеллигентный человек), когда он старался выполнить производственное задание и получше накормить бригаду. Правда, среди бригадиров и десятников попадалось немало жестоких и корыстных людей из числа уголовников или таких лиц, которые в прошлом были причастны к злоупотреблению властью. Такие бригады вступали в сделку с паразитировавшими, но имевшими деньги уголовниками и одновременно вытягивали из работяг жилы, чтобы потрафить начальству. На такой почве и происходил процесс размежевания между лагерниками: водораздел проходил не между трудовой массой и квалифицированной верхушкой (интеллигенцией), а между тружениками и нравственными людьми — с одной стороны, и трутнями, надсмотрщиками, бесчестными людьми — с другой.

Если не ошибаюсь, понятие «придурок» фигурирует в повести Солженицына трижды. Иван Денисович упоминает о том, что Цезарь «п р и д у р к о м в конторе работает, помощником нормировщика», далее говорится о том, что «придурку из штабного барака смотреть на вал входящих зэков — страшно», наконец, нагло шагающих — парикмахера, бухгалтера и работника КВЧ Шухов называет «твёрдыми лагерными придурками», которых работяги за людей не считают, — «у п р и д у р н и между собой спайка и с надзирателями тоже». Со всем иную точку зрения вкладывает Дьяков в уста интеллигентного врача; откликаясь на упоминание о «придурках», он говорит: «Не обращайте внимания на эту кличку! Она ещё с тридцатых годов повелась от уголовников. К вашему сведенью: в лагере должностей не раздают. Кого куда — решают статья обвинения и срок. Тут действует особая «номенклатура»!»

Это верно, что в лагере действовала особая «номенклатура», но именно такая, из-за которой и могла образоваться прослойка «придурков».

К этой привилегированной прослойке не обязательно принадлежали интеллигенты, находившиеся в лагерной зоне и по слабости здоровья не выходившие за зону; они работали по десять часов в конторе и получали меньший паёк, чем рабочие.

Кроме того, к категории «придурков» не принадлежали те врачи, инженеры, агрономы, которые самоотверженно занимались своим де-

лом. Надо иметь в виду, что в лагерях и на многих предприятиях в местах скопления ссыльных производство вообще держалось на труде и изобретательности специалистов из числа репрессированных. Но это особая тема.

Тем не менее, независимо от только что сказанного, надо определённо подчеркнуть, что такие рассуждения, какие приписал своему собеседнику Б. Дьяков, извращают существо дела и запутывают читателя. На первый взгляд эти рассуждения как будто защищают от обидной клички тех, кто по характеру своей работы не был вынужден выходить за зону. На деле такие попытки обелить «придушков» равносильны защите порядков, с помощью которых ежовские и бериевские ставленники и в лагерях продолжали преследование честных советских людей. Вся система организации лагеря была направлена к тому, чтобы не давать хода невинно осуждённым коммунистам и вообще сохранившим своё лицо советским работникам, интеллигентам. Проявление ими патриотизма объявлялось провокацией. Как часто по требованию, поступившему из «хитрого домика» — резиденции особо уполномоченных лиц, по статейному признаку снимались с должности и отправлялись на общие работы честные и дельные люди, после чего на их место назначались тёмные личности. (Вот она, «особая номенклатура», в действии!) Чтобы не быть голословным, приведу два примера из огромного числа аналогичных случаев. В тот самый день, когда был лишён индивидуального пропуска на производственную зону интеллигент, ведавший агрегатом по выкатке леса, дали пропуск для свободного хождения и по посёлку бывшему конокраду. Квалифицированный интеллигент был вынужден проводить на производственном участке две смены от рассвета до позднего вечера, а «придушок» из конокрадов вскоре совершил побег. В совсем другом месте и в другом году, когда во время посевной нужен был честный заведующий столовой, на эту должность, несмотря на его протесты, был назначен популярный бригадир из интеллигентов. После того как столовая прославилась небывалой «содержательностью» супов и выдачей пирожков, каких работяги никогда не получали, интеллигент в соответствии с «особой номенклатурой» по требованию начальника лагеря был снят с должности, а на его место назначен мошенник, осуждённый за службу у немецких оккупантов. Мне известен случай, когда заключённый из бывших гестаповцев не только командовал, но измывался над бригадой, сплошь состоявшей из занумерованных ни в чём не повинных советских граждан, в основном интеллигентов.

Мне пришлось быть на огромном пересыльном пункте крупнейшего лагеря (Карабас) в Казахстане, который полностью находился под управлением группы бандитов; надзиратели появлялись в бараках только в часы проверки. Свежий, прибывший с воли человек попадал в зависимость от такого «начальства», а независимость сохранял тот, кто понимал, где проходит водораздел в лагерной обстановке.

Прошло много лет, но я и сейчас помню имена и наружность тех, кто использовал свою власть для издевательства над интеллигенцией в лагере. Участие в этой травле некоторых заключённых — особенно постыдная сторона. Много верного в замечании Ивана Денисовича: «Кто арестанту первый¹ враг? Другой арестант. Если бы арестанты друг с другом не сучились...»

Однако будущий исследователь сделал бы ошибку, если бы, вскрывая причины особого притеснения интеллигенции в сталинских лагерях, не понял бы, что действия низового начальства и произвол со стороны «придурков», коррумпированных элементов из числа заключённых, были частью самой системы управления лагерями...

Не сомневаюсь, что в огромной армии лагерной администрации имелись честные работники, которые тяготились тем, что им пришлось выступать в роли надсмотрщиков над невинно осуждёнными людьми. Были специалисты, занимавшиеся исключительно производством. Однако и на их поведении сказывалось то, что они привыкли командовать бесправными людьми. Такая порча была, пожалуй, ещё более опасной, чем та, жертвой которой становились заключённые. Любопытно, что подлинный характер ежовской и бериевской администрации виден как раз из опубликованных недавно рассказов о гуманных начальниках: добрые дела отдельных лиц предстают как героический и опасный подвиг одиночки.

...В то же время невинно осуждённые люди вовсе не считали, что им «положено» стоять навтыяжку перед лагерным начальством. Пропасть отделяла бериевский лагерь от армии. Во всяком случае, лагерный работяга, в том числе и интеллигент, стремился не заметить проходящего начальника, углублялся в свою работу, что давало ему независимость от тюремщика и избавляло от необходимости отвечать на грубые и оскорбительные вопросы и замечания...

...Для того чтобы по возможности объективно осветить тему, которой посвящено это письмо, я должен ответить самому себе и воображаемому читателю вот на какой вопрос: <...> в повседневной жизни рядовые рабочие отличали командира-специалиста от коман-

¹ В тексте: «главный». — *Примеч. сост.*

дира-тюремщика, интеллигента от «придурка»? ...Для того, кто знает и помнит лагерную жизнь, ясно, что бригадир Тюрин не один «кормил» бригаду, но значительная заслуга в том, что Тюрин, как рассказано у Солженицына, «хорошо закрыл процентовку», принадлежала члену бригады Цезарю Марковичу, который, когда бригада в целом не могла в лагерных условиях выполнять норму, должен был брать на себя ответственность за выписку «высоких паек» хлеба. Я высказываю такое предположение не в качестве бывшего нормировщика — им я никогда не был, — а в качестве бригадира с многолетним опытом. Я хорошо запомнил и тех нормировщиков, которые помогали обеспечить бригаду хлебом, и тех, кто старался заслужить благоволение начальства, игнорировал тяжесть повседневного труда заключённых.

Но, несколько расходясь с Иваном Денисовичем в оценке личности Цезаря Марковича, как я её понимаю, должен подтвердить, что для большей части работяг «конторские» были чужаками. Однако эмоциональное отношение, ненависть они испытывали к «придуркам», находившимся, по слову Ивана Денисовича, в спайке с начальством, а женщин, якшавшихся с надзирателями, просто презирали.

Рабочие умели устанавливать различие и между им лично не знакомыми людьми интеллигентных профессий. Я помню, каким уважением пользовался инженер, занимавший благодаря своей одарённости руководящую должность на производстве и спасавший работяг от придирок и преследований со стороны лагерной администрации. Я вспоминаю одного агронома, который в поле орал на рабочих, отчасти по свойству характера, отчасти потому, что он был энтузиастом своего дела и добивался высоких урожаев; несмотря на свою требовательность, он, в отличие от других руководителей, был уважаем рабочими, которые знали, что «Давид накормит», не побоится начальства. Рабочие видели разницу между «твёрдыми придурками», занимавшимися махинациями в бухгалтерии и, например, работавшим в бухгалтерии скрупулёзно честным и благожелательным учителем из Риги, светлым идеалистом.

Рабочая масса умела видеть различие и между отдельными представителями такой важной группы интеллигенции, как медицинские работники. К сожалению, и среди них попадались «придурки» и карьеристы. Сцена в амбулатории, описанная Солженицыным, глубоко правдива. Всякий, кто бывал на общих работах, испытывал чувство горечи, возмущения и просто страха, когда плёлся больной в колонне, потому что против него сработала бюрократическая статистика в руках равнодушного или трусливого человека. Но не сомневаюсь, что и

Ивану Денисовичу на протяжении его лагерного срока «медицина» не раз протягивала руку помощи. Мужество и гуманность врачей и других медицинских работников спасли жизнь и вернули бодрость духа многим страдальцам.

Если существовала «спайка» между «придурками» и начальниками, то, как я уже говорил, существовало товарищество и между заключёнными различных категорий. Лагерные работяги уже потому не чуждались интеллигентов, что были свидетелями того, как те работали, страдали и погибали рядом с ними. Рабочие бывали свидетелями столкновений между начальством и независимыми, «нерапортующими» интеллигентами. Помню случай, когда бригадира-интеллигента прямо с вахты уволакивали в изолятор за то, что он решительно выступал в защиту бригады от придурок надзирателей. Приведу ещё только два сравнительно безобидных примера. Десятник на производстве в спокойную минуту при слабом свете костра листал книгу и не заметил, как подошёл начальник работ. Возмущённый тем, что ээк читает книгу (это, конечно, было нарушением режима), начальник гневно пригрозил посадить десятника на трое суток, если план в эту смену не будет выполнен. Вряд ли члены бригады когда-нибудь работали с таким рвением, как в тот раз, когда надо было избавить десятника от наказания. Бригадир смешанной бригады, состоявшей частично из уголовников, чечен, плохо говоривший по-русски, рассказал однажды своему мастеру, что незаметно для него бригадники заглянули в его вещевой мешок, который всегда был туго набит. «Мы думали, что там пайки хлеба, которые ты набрал, а там оказались одни лишь книги. Мы поняли, что ты не придурок, а учёный человек, и решили тебя не подводить, а на работу нажать».

Лагерные работяги не считали, что размышляющий человек опасен, и уважали мысль, если замечали, что она придаёт человеку силу. Но именно проявления этой силы не желало лагерное начальство, оно считало враждебным элементом идейного человека, сохранившего в заключении способность рассуждать. В самой природе лагерного режима были заложены предпосылки того, что не могло быть водораздела между незаконно осуждёнными интеллигентами, рабочими или крестьянами, если они оставались нравственными людьми, проявлявшими стойкость и чувство товарищества в часы испытаний и перед лицом тюремщиков. И наоборот, естественная грань отделяла массу заключённых от «придурков» и от аналогичных проводников беззаконий, проводников и защитников продиктованного Сталиным ежовско-бериевского режима в лагерях.

...Рассказываем мы о прошлом ради живых и ради тех, кто будет жить. Это обязывает к сугубой самокритичности. Лев Толстой в одном из набросков к «Анне Карениной» писал: «Она именно умела забывать. Она... как бы прищуриваясь глядела на прошедшее с тем, чтобы не видеть его всего до глубины, а видеть только поверхностно. И на так умела подделаться к своей жизни, что она так поверхностно и видела прошедшее». В произведениях, опубликованных после повести «Один день Ивана Денисовича», заметно стремление «подделаться к своей жизни» и поверхностно глядеть на лагерное прошлое, на наше прошедшее. Нам не нужны подделки. Нам нужен чистый звук. Мы должны помнить, что сейчас, более чем когда-либо, правильное освещение прошлого — необходимое оружие в борьбе, которую надо вести в настоящее время.

12 декабря 1964 г.

Т. Винокур

О ЯЗЫКЕ И СТИЛЕ ПОВЕСТИ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹

Стилистическое и языковое мастерство А.И. Солженицына, отмеченное редким своеобразием, не может не привлечь внимания языковедов. А парадоксальность отрицательного отношения к нему многих читателей обязывает дать характеристику языка и стиля хотя бы одного из произведений этого автора, основанную прежде всего на фактах.

Далеко не для каждого, кто берётся судить о достоинствах и недостатках языка художественного произведения, ясна во всём объёме теснейшая связь и взаимообусловленность стиливых приёмов и речевых средств, в каких эти приёмы воплощаются. Анализируя с этой точки зрения повесть «Один день Ивана Денисовича», необходимо показать точную, последовательную мотивированность и внутреннее единство её словесно-образного состава, при котором возникает, как говорил Л.Н. Толстой, «единственно возможный порядок единственно возможных слов» — примета истинной художественности.

Солженицын поставил перед собой сложную стилистическую задачу. Слив воедино образ автора и героя, он был обязан создать совершенно отчётливо очерченную речевую маску, которая соединяла бы

¹ Вопросы культуры речи / Ин-т русского языка АН СССР. М., 1965. Вып. 6.

в себе: 1) индивидуальные особенности речи героя в соответствии с его характером, 2) более широкие приметы его родного темгенёвского говора (а вернее — общие черты диалектно-просторечного «говорения», характерные для современного крестьянина) и 3) речевой колорит среды, окружающей его в заключении. В последней нельзя было также забыть об индивидуализации речи всех других персонажей повести, пусть даже показанных через одноплановое восприятие героя. Трудность синтетического использования этих разнородных и разномасштабных речевых пластов состояла ещё и в том, что по замыслу автора они должны были быть заключены не в более естественную для «сказовой» манеры форму повествования от первого лица — лица рассказчика, а в синтаксическую структуру несобственно-прямой речи:

«Шёл Шухов тропую и увидел на снегу кусок стальной ножовки, полотна поломанного кусок. Хоть ни для какой надобности ему такой кусок не определялся, однако нужды своей вперёд не знаешь. Подобрал, сунул в карман брюк. Спрятать её на ТЭЦ. Запасливый лучше богатого».

Несобственно-прямая речь часто, но по-разному используемая в литературе, открывает большие характерологические возможности. В данном случае она даёт автору большую свободу, основания для большей (по сравнению с прямой речью) объективизации изображаемого. ещё один последовательный шаг в этом направлении — и в некоторых эпизодах происходит прямой вывод повествования из «авторской шуховской» в «авторскую солженицынскую» речь:

«...А вблизи от них сидел за столом кавторанг Буйновский. <...> Он также занимал сейчас незаконное место здесь и мешал новоприбывающим бригадам, как те, кого пять минут назад он изгонял своим металлическим голосом. Он недавно был в лагере, недавно на общих работах. Такие минуты, как сейчас, были (он не знал этого) особо важными для него минутами, превращавшими его из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного эка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отвёрстанные ему двадцать пять лет тюрьмы».

Сдвинув границы шуховского жизнеощущения, автор получил право увидеть и то, чего не мог увидеть его герой. Для Солженицына это было необходимо, например, при мимолётном (но оттого не менее значимом) прикосновении к духовному миру лагерной интеллигенции в тех случаях, когда оно должно быть освобождено от чуть снисходительной улыбки человека сугубо «земного» — крестьянина

Шухова, т.е. когда речь идёт о вещах, находящихся, так сказать, вне шуховской компетенции:

«А... Вдовушкин писал своё. Он, вправду, занимался работой “левой”, но для Шухова непостижимой. Он переписывал новое длинное стихотворение, которое вчера отделал, а сегодня обещал показать Степану Григорьичу, тому самому врачу, поборнику трудотерапии».

Как видим, едва намеченное композиционно-стилистическое перемещение сразу расширяет тематические, а следовательно, образные и языковые сферы повести. «Властный звонкий морской офицер», «трудотерапия», сложный «толстовский» синтаксический период: «такие минуты <...> были (он не знал этого) особо важными» и т.д. — всё это уже выходит за рамки речевой маски главного героя.

Но соотношения авторского и прямого речевых планов (если за отправную точку принимать несобственно-прямую речь) могут быть сдвинуты и в обратном направлении. Таким обратным сдвигом является непосредственное столкновение косвенной и прямой речи в пределах одного предложения, периода, иногда шире — эпизода:

«Как хвост (колонны ээков. — *Т.В.*) на холм вывалил, так и Шухов увидел¹: *справа от них*, далеко в степи, чернелась ещё колонна, шла она *нашей* колонне наперекос и, должно быть увидав, тоже припустила.

Могла быть эта колонна только мехзавода <...>.

Дорвалась *наша* колонна до улицы, а мехзаводская позади жилого квартала скрылась. <...>

<...> Тут-то *мы* их и обжать должны!»

Здесь возникает та высшая ступень в слиянии героя и автора, которая даёт ему возможность особенно настойчиво подчёркивать их сопереживания, ещё и ещё раз напоминать о своей непосредственной причастности к изображаемым событиям. Эмоциональный эффект этого слияния исключительно действен: раскрывается добавочная острота, предельная обнажённость иронической горечи, с какой в данном, например, эпизоде описан жуткий «кросс» обгоняющих друг друга обветренных, вымерзших, выголодавших арестантов. На финише кросса — не кубок, а черпак... Черпак баланды, которая сейчас для ээка «дороже воли, дороже жизни, всей прежней и всей будущей жизни».

Не меньшей выразительности достигает и другой стилистический сдвиг — непосредственная передача прямой речи на общем фоне несобственно-прямой. Прямая речь других персонажей экс-

¹ Здесь и далее в цитатах курсив Т. Винокур. — *Примеч. сост.*

прессивно-стилистически интерпретируется шуховским речевым обрамлением:

«Кладёт Шухов (кирпичи. — Т.В.), кладёт и слушает.

— Да ты что?! — *Дэр кричит, слюной брызгает.* — Это не карцером пахнет! Это уголовное дело. Тюрин! Третий срок получишь!

<...>

Ух, как лицо бригадирово перекосило! Ка-ак швырнёт мастерок под ноги! И к Дэру — шаг! Дэр оглянулся — Павло лопату наотмашь подымает.

<...>

Дэр заморгал, забеспокоился, смотрит, где пятый угол.

Бригадир наклонился к Дэру и *тихо так совсем, а явственно здесь наверху:*

— Прошло ваше время, заразы, срокá давать. Ес-сли ты слово скажешь, кровосос, — день последний живёшь, запомни!

Трясёт бригадира всего. Трясёт, не уймётся никак».

Этот сдвиг приобретает особую окраску там, где при его помощи автор сталкивает психологические результаты противоположного жизненного опыта. Здесь иногда используется и приём так называемого остранения, который позволяет видеть вещи с новой и неожиданной стороны. Именно им Солженицын передаёт, например, добродушно-ироническое отношение Шухова к интересам Цезаря и его собеседников, к их, на взгляд Шухова, непонятному и какому-то ненастоящему «законному» миру:

«Цезарь Шухову улыбнулся и сразу же с чудачком в очках, который в очереди всё газету читал:

— Аа-а! Пётр Михалыч!

И — расцвели друг другу, как маки. Тот чудак:

— А у меня “Вечёрка”, свежая, смотрите! Бандеролью прислали.

— Да ну? — И суется Цезарь в ту же газету. А под потолком лампочка слепенькая-слепенькая, чего там можно мелкими буквами разобрать?

— Тут интереснейшая рецензия на премьеру Завадского!..

Они, москвичи, друг друга издаля чуют, как собаки. И, сойдясь, всё обнюхиваются, обнюхиваются по-своему. И лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадают, слушать их — всё равно как латышей или румын».

Вот в соотношении и пропорциях всех этих способов «речеведения», благодаря которым Солженицын всегда умеет показать ровно столько, сколько нужно, и именно так, как нужно для его художе-

ственного замысла, и заключается «новый блеск старого приёма», отмеченный современной критикой¹.

Стилистически безукоризненно выполненное переплетение прямой, несобственно-прямой и косвенной речи накладывается на общую для всей повести «разговорную» речевую канву. И это определяет ещё одну интересную особенность повествовательного стиля Солженицына. Максимально детализованное, дробящее факт на простейшие составные элементы описание каждого (внешне незначительного, а на самом деле исполненного глубокого смысла) события² не замедляет, как можно было бы ожидать, темпа повествования. Так же и ритм (а ритм повести необычайно интересен и символичен) не становится от этого слишком однообразным и размеренным. Характерные особенности разговорной речи допускают совмещение указанной детализации с экспрессивной стремительностью рубленной фразы, с обилием эмоционально окрашенных вопросительных и восклицательных фигур, с синтаксическими повторами, с необычайной выразительностью вводных слов и оборотов, со своеобразным порядком слов, с контаминацией разных по синтаксическому строению предложений и т.д.

Стихия разговорной речи в творчестве Солженицына — это вообще отдельная, большая проблема, при изучении которой надо подробно рассматривать каждое из перечисленных (а также целый ряд других) явлений. В то же время большинство из них можно показать на любом куске текста повести. Возьмем ли мы, например, шуховские рассуждения про арестантскую думу («Дума арестантская — и та несвободная, всё к тому же возвращается, всё снова ворошит: не нащупают ли пайку в матрасе? в санчасти освободят ли вечером? посадят капитана или не посадят? и как Цезарь на руки раздобыл бельё своё тёплое? Наверное, подмазал в каптёрке личных вещей, откуда ж?») или про то, как хлеб распределить («Вот хлеба четыреста, да двести, да в матрасе не меньше двести. И хватит. Двести сейчас нажать, завтра утром пятьсот пятьдесят улупить, четыреста взять на работу — житуха!»), возьмем ли мы другие отдельные фразы («Не санчасть его теперь манила — а как бы ещё к ужину добавить?»; «Цезарь богатый, два раза в месяц посылки, всем сунул, кому надо, — и п р и д у р к о м работает в конторе <...>» и пр.), — во всех этих примерах преобладает

¹ См.: Мотылёва Т. В спорах о романе // Новый мир. 1963. № 11. С. 225. — *Здесь и далее примеч. Т. Винокура.*

² Например, как Шухов ужинает («С той и с другой миски жижицу горячую отпив <...>») или как тряпочку (намордник дорожный) надевает и т.д.

концентрированная разговорно-просторечная интонация, как нельзя лучше гармонирующая с обликом рассказчика. Именно она создаёт характерную для повести атмосферу «внешней непритязательности и естественной простоты» (А. Твардовский), которая возникла, конечно, не сама по себе, а как реализация блестящего стилистического и языкового чутья художника.

Итак, «единственно возможный» словесный порядок для повести — это тот синтаксико-стилистический строй, который сложился в результате своеобразного использования смежных возможностей сказа, сдвигов авторского и прямого высказывания и особенностей разговорной речи. Он наилучшим образом соответствует её идейно-сюжетным и композиционным принципам¹. И, очевидно, ему, в свою очередь, таким же наилучшим образом должны соответствовать «единственно возможные слова», что, как мы дальше увидим, действительно составляет одну из самых интересных художественных сторон повести.

Но именно эти слова, «единственно возможные» и объективно, и субъективно, вызывают сомнения, а иногда и прямое возмущение пуристически настроенной части читательской общественности, представителей которой мало заботит вопрос о том, как лексический отбор связан с общим художественным замыслом произведения. Между тем только серьёзное и, главное, непредубеждённое отношение и к самой повести, и к выразительным средствам художественной речи, и к русскому языку вообще может способствовать формированию объективного взгляда на предмет.

Как уже было сказано выше, язык повести «Один день Ивана Денисовича» многопланов, и планы эти тонко, подчас еле уловимо переплетены. Однако с точки зрения лексической её составные элементы выделяются более или менее чётко.

¹ Композиционный принцип повести: намеренная бессюжетность; строго последовательное во времени, равномерное в тщательной детализации разнохарактерных явлений описание событий одного дня, трагедийный масштаб которых разрастается в сознании читателя, как организм чудовищного насекомого под сильным микроскопом. Не будь этой безжалостной, как свидетельское показание, строгости в воспроизведении мельчайших бытовых и психологических подробностей лагерной жизни, не будь обусловленной ею абсолютной художественной точности языкового прицела — не было бы в повести и «своего» поворота идеи при изображении: неброского, будничного мужества народа, который хотел жить, когда естественнее было хотеть умереть; его суровой и мудрой чистоты, внутренне всегда противостоящей беззакониям разнузданной власти; его скрытой духовной силы, позволяющей человеку оставаться человеком в условиях нечеловеческих; одним словом, не было бы настоящей, жестокой правды, тем более страшной, чем проще и сдержанней она изображена.

Основной лексический пласт — это слова общелитературной речи, хотя на первый взгляд может показаться иначе. Но иначе быть не может. Мы знаем немало писателей в истории русской литературы, которым свойственна «внелитературная» форма языкового употребления. Вспомним хотя бы Гоголя и Лескова, а в советской литературе — раннего Леонова, Бабеля, Зощенко¹. Но всегда, при любой (диалектной, просторечной, жаргонной) направленности в стилизации речи опорной точкой, нейтральным фоном служит литературный язык². Написанное целиком на жаргоне, диалекте и т.д. произведение не может стать общенациональным художественным достоянием.

В повести «Один день Ивана Денисовича» диалектная и жаргонная лексика играет традиционную роль наиболее ярких стилистических речевых средств. Количественная соразмерность этой лексики с лексикой литературной достаточно наглядна в пользу последней. Правда, только количественное преобладание ещё ничего не говорит о месте в повести литературной лексики, так как она нейтральна и, следовательно, мало заметна по сравнению с «окрашенными» внелитературными словами. Но если мы просто ещё раз обратим взгляд читателя на любой взятый наугад отрывок из повести, то увидим, что вовсе не только какими-то необычайными словарными «экзотизмами» создаёт автор выразительную речь героя и его окружения, а главным образом умело используемыми средствами общелитературной лексики, наслаивающейся, как мы уже говорили, на разговорно-просторечную синтаксическую структуру:

«Из рыбки мелкой попадались всё больше кости, мясо с костей сварилось, развалилось, только на голове и на хвосте держалось. На хрупкой сетке рыбьего скелета не оставив ни чешуйки, ни мясинки, Шухов ещё мял зубами, высасывал скелет — и выплёвывал на стол. В любой рыбе он ел всё: хоть жабры, хоть хвост, и глаза ел, когда они на месте попадались, а когда вываривались и плавали в миске отдельно — большие рыбьи глаза, — не ел. Над ним за то смеялись».

Или: «Снуют ээки во все концы! Одно время начальник лагеря ещё такой приказ издал: никаким заключённым в одиночку по зоне не ходить. А куда можно — вести всю бригаду одним строем! А куда всей бригаде сразу никак не надо — скажем, в санчасть или в уборную, — то сколачивать группы по четыре-пять человек, и старшего из них на-

¹ См.: Виноградов В.В. О художественной прозе. М.; Л., 1930. С. 50.

² «Формы... “внелитературного” речеведения в художественной литературе... всегда имеют за собой, как второй план построения, смысловую систему “общелитературного” языка данной эпохи» (там же).

значать, и чтобы вёл своих строем туда, а там дожидался, и назад — тоже строем».

Убийственный сарказм этого последнего отрывка, например, обостряется именно подчёркнутой нейтральностью словесного подбора, ещё более «остраняющей» бессмысленность и тупость изображаемых лагерных порядков. Новый просторечно-«боевой» фразеологизм «сколачивать группы» лишь усугубляет обыденную «деловитость» сделанного как бы мимоходом пояснения.

В третьем, четвёртом и т.д. взятом нами отрывке — аналогичное явление: нелитературные слова не определяют общего лексического состава повести.

Второй пласт лексики, очень важный для Солженицына, — это лексика диалектная. Сделав центральным героем своей повести крестьянина и «перепоручив» ему авторскую функцию, Солженицын сумел создать на редкость выразительную и нешаблонную диалектную характеристику его речи, категорически исключившую для всей современной литературы эффективность возврата к затасканному репертуару «народных» речевых примет, кочующих из произведения в произведение (типа *апося, надьсь, милок, глянть-кось* и т.п.).

В большей своей части эта диалектная характеристика формируется даже не за собственно лексический счёт (*халабуда, наледь, гунявый, ухайдакаться*), а за счёт словообразования: *укривище, недотыка, на-скорях, удовлетенный, смогать, обневолю*. Такой путь приобщения диалектизмов к художественной речевой сфере обычно вызывает у критики заслуженно одобрительную оценку, так как он обновляет привычные ассоциативные связи слова и образа¹.

В этом же ключе лежит использование и не специфически диалектной, а вообще просторечной лексики. В речи современного крестьянства та и другая практически неотделимы друг от друга. И восходят ли такие, предположим, слова, как *духовитый, хреновый, подхватиться, самодумка* и другие, к какому-нибудь определённом говору и именно потому употреблены или же они воспринимаются в общепросторечных своих качествах — для речевой характеристики Ивана Денисовича совершенно не важно. Важно то, что с помощью и первых, и вторых речь героя получает нужную эмоционально-стилистическую окраску. Мы слышим живую, свободную от легко приобретаемого в недавние времена на различных сомнительных поприщах стандарта, щедрую на юмор, наблюдательную

¹ Ср., например, восторженный комментарий И. Гуро к таким словам, как «шлепо-ток», «пригревные полянки», «первенькая черёмуха», в прозе С. Сартакова (см.: Литературная Россия. 1963. 27 декабря).

народную речь. Солженицын её очень хорошо знает и чутко улавливает в ней малейшие новые оттенки. Интересно, например, в этом смысле употребление Шуховым глагола *страховать* в одном из новых (производственно-спортивных) значений — предохранять, обеспечивать безопасность действия: «Шухов <...> одной рукой поспешно благодарно брал недокурок, а вторую *страховал* снизу, чтоб не обронить». Или же стяжённое употребление одного из значений глагола *состоять*, которое могло войти в народную речь только в наше время: «Привёз кто-то с войны трафаретки, и с тех пор пошло, пошло, и всё больше таких мастаков — к р а с и л ё й набирается: нигде не *состоят*, нигде не работают <...>».

Знание народной речи дало писателю и нелёгкий жизненный опыт, и, без всякого сомнения, активный профессиональный интерес, побудивший его не только наблюдать, но и специально изучать русский язык.

Как показало сопоставление основного круга внелитературной лексики, использованной в повести, с данными «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля, Солженицын, стремясь прежде всего к достоверности словесного отбора, выверял по словарю каждое слово, заимствованное не из своего собственного, личного словарного запаса, а извне. Причём цель, с какой Солженицын изучал словарь Даля¹, была именно проверить действительное существование услышанного слова, его значение, а не выискать слово «почудней». Об этом убедительно говорит тот факт, что диалектная и обиходно-просторечная лексика у Солженицына, как правило, не идентична соответственным словам у Даля, а лишь сходна с ними. Например, *доболтки*, *зяблый*, *захряток* — в повести; *доболтка* (только в ед.ч.), *зябливый*, *захрястье* — у Даля.

Может быть, как раз потому, что элементы народной речи даны Солженицыным нешаблонно, некоторым читателям (закалившимся на словесных штампах, бойко рисующих разбитных «дедов» и отсталых старушек) его авторская манера представляется «излишне стилизованной». Дело же заключается только в желании или нежелании признать за писателем право на самобытность в истинном смысле этого слова.

Ещё одним из лексических пластов, на совокупности которых строится речевой костяк повести, являются отдельные слова и обороты (очень немногочисленные — около 40 слов) тюремного жаргона. Солженицын употребляет их исключительно тактично, с чувством «соразмерности и сообразности».

¹ См. рассказ его соседа по бараку, кавторанга Бурковского (Известия. 1964. 17 января). (Текст статьи опубликован на официальном сайте А.И. Солженицына: <http://solzhenitsyn.ru> — Примеч. сост.)

Полное отсутствие этих слов в повести заразило бы её одной из тех мелких неправд, которые в конце концов образуют большую неправду, на корню подрывающую художественное доверие к литературному произведению. Возможно ли изображать лагерь, не употребляя лагерных выражений, тем более что рассказывает о лагере сам лагерник? Возможно ли, в самом деле, заменить, как предлагает один из московских читателей¹, режущие слух стыдливым блюстителям нравственности «блатные» слова другими — «приличными»?

Если встать на этот сомнительный путь, то вместо слова *параша* придётся написать нечто типа *туалетная бочка*; вместо *падлы* — тоже что-нибудь «безукоризненно нежное», например, *дурные люди*. В последнем случае речь надзирателя будет выглядеть так: «Ничего, дурные люди, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоят, что им дают»...

Тех, кому подобный текст покажется очень «красивым», вряд ли волнуют подлинность и жизненность художественного повествования.

Но, даже если мы отбросим эти нарочно взятые крайности и подставим не жеманные выражения, а «средние», нейтральные слова (например, вместо пары *шмон—шмонять* возьмём пару *обыск—обыскивать*), даст ли это полноценный художественный результат? Конечно, нет, и не только потому, что утратится «локальный колорит». Ведь между «шмоном» и «обыском» — пропасть неизмеримо большая, чем обычное стилистическое различие. Шмон — это не просто обыск, малоприятная, но имеющая всё же какие-то логические основания процедура. Шмон — это узаконенное издевательство, мучительное и нравственно, и физически:

«Поздней осенью, уж земля стужёная, им всё кричали:

— Снять ботинки, мехзавод! Взять ботинки в руки!

Так босиком и шмоняли.

А и теперь, мороз не мороз, ткнут по выбору:

— А ну-ка, сними правый валенок! А ты — левый сними!

Снимет валенок зэк и должен, на одной ноге пока прыгая, тот валенок опрокинуть и портянкой потрясти <...>».

Вот что такое «шмон». И едва ли какая-либо замена окажется здесь удачной, не говоря уже о том, что для неё нет вообще никаких логи-

¹ В его письме, как и ещё в нескольких письмах, полученных Институтом русского языка АН СССР, выражается недовольство нравственной и эстетической «неразборчивостью» Солженицына. При этом в списке слов, которые рекомендуется изгнать из повести, чтобы «получилась хорошая вещь», в одном ряду находятся: *укривище, удовлетонный, падло, зэк* и др.

ческих оснований. Доводы же, которые выдвигают сторонники такой «замены», признать обоснованными нельзя.

Один из доводов — это критерий «понятности». «Тюремные слова непонятны, их никто не знает», — говорят некоторые читатели. Но это не так. Во-первых, потому, что многие слова (или, вернее, значения слов), жаргонные искони, широко известны и часто используются далеко за пределами тюремных стен и лагерных ворот (*стучать* в значении «доносить», *смыть*, *доходить* — доходяга, *заначить*, *темнить* и др.). Лексику, принадлежащую собственно тюремному жаргону, не всегда можно отделить от общей вульгарно-просторечной речевой стихии, так как та и другая подвижны и находятся в состоянии постоянного взаимопополнения.

Во-вторых, отдельные слова тюремного жаргона автор комментирует, иногда в тексте, иногда прямой сноской (*кум*, *БУР*). Смысл некоторых из них с достаточной ясностью раскрывается самим контекстом, без специальных пояснений. В частности, это касается и аббревиатур (*гулаг*, *зэк*). Сложносокращённые и просто сокращённые слова понятны безусловно — *начкар*, *опер*. Очень прозрачна и тюремная фразеология — *качать права*, *совать на лапу*, *травить бдительность*, *от звонка до звонка*.

В-третьих, неясно, на какого читателя должен ориентироваться автор произведения, чтобы быть уверенным в том, что все употреблённые им слова известны каждому, кто захочет прочесть его книгу.

Читатели бывают разные, с разной культурой и опытом, с разным индивидуальным словарным запасом. И увеличение этого словарного запаса после знакомства с очередным произведением художественной литературы, несомненно, окажется только полезным, поскольку всё-таки не «всё то вздор, чего не знает Митрофанушка».

Второй довод, следуя которому надо очистить повесть от тюремных и вообще от вульгарных, иногда прямо ругательных слов, содержит ложно понятый критерий «нравственности»¹. Здесь речь идёт не о малоизвестных, а, наоборот, об очень хорошо всем известных словах,

¹ «...Третья болезнь, от которой пытаются вылечить русский язык всевозможные лекари и целители, — такая же мнимая, как и первые две.

Я говорю о засорении речи якобы непристойными грубостями, которые внушают такой суеверный, я сказал бы, мистический страх многим ревнителям чистоты языка.

Страх этот совершенно напрасен, ибо наша литература — одна из самых целомудренных в мире. Глубокая серьёзность задач, которые ставит она перед собою, исключает всякие легковесные, фривольные темы...

Но одно дело — целомудрие, а другое — чистоплюйство и чопорность» (Чуковский К.И. Живой как жизнь. М., 1963. С. 105–106).

осведомлённость в которых считается необходимым скрывать. И протест против их художественно оправданного употребления в повести связан не с чем иным, как с ханжескими представлениями о том, что «искусство существует не для осмысливания жизни, не для расширения взглядов, а для обезьяньего подражания»¹.

Настоящее искусство — это прежде всего правда. Правда в большом и малом. Правда в деталях. В этом смысле для языка художественного произведения нет никаких псевдоэтических норм, нет фарисейских правил, что можно и чего нельзя. Всё зависит от того, зачем употребляется в литературе то или иное речевое средство.

Рецидивом самого мрачного догматизма явилось бы сейчас утверждение, что литература вообще не должна изображать отрицательные стороны нашей действительности. А если должна, то, естественно, такими художественными приёмами, которые вызваны к жизни требованиями эстетически осмысленной типизации.

Таким образом, пока существует тюремный жаргон (а он умрёт сам собой, когда исчезнут преступления и тюрьмы), одинаково бесполезно и закрывать глаза на его реальное существование, и возражать против его использования в реалистической художественной литературе.

В повести «Один день Ивана Денисовича» есть и тот (представляющий несколько иную словесную категорию, чем уже названные) лексический круг, которым всегда бывает отмечено произведение мастера. Это — индивидуальное словоупотребление и словообразование. У Солженицына оно больше всего характеризуется полным и совершенно естественным совпадением со структурными и выразительными свойствами народной речи, лежащей в основе его стилистики. Благодаря этим качествам словотворчество Солженицына совсем не воспринимается как инородная струя в общем потоке очень тонко дифференцированных — но при этом взаимно друг друга дополняющих и именно тем создающих картину исключительной достоверности изображения — средств общенародного языка.

Ни в одном конкретном случае мы не можем с уверенностью сказать, что перед нами слова, которые автор повести «взял да и придумал». Больше того, вряд ли сам автор решился бы точно определить границу между созданным и воспроизведённым, настолько близка ему и органична для него та речевая среда, которую он изображает и членом (а следовательно, в какой-то мере и творцом) которой он является. Поэтому особенности «собственно солженицынских» и «не-

¹ Лиходеев Л. Клешня // Юность. 1964. № 1.

собственно солженицынских», но им отобранных слов одинаковы. Это обновлённый состав слова, во много раз увеличивающий его эмоциональную значимость, выразительную энергию, свежесть его узнавания. Даже один пример — *недокурок* (вместо привычного *окурок*) — говорит обо всём этом сразу и очень явственно.

Такова же функция необычайно динамичных, показывающих сразу целый комплекс оттенков, в которых и проявляется самый характер действия (темп, ритм, степень интенсивности, психологическая окраска) глагольных образований, например: *обоспеть* (всюду ловко успеть), *додолбать*, *вычуивать*, *пронырнуть*, *ссунуть* (с лица тряпочку), *сумутиться* (суетиться), *засавывать*. Ими, как и другими «обновлёнными» словами и значениями слов, достигается живой контакт с текстом, имитирующий непосредственность физического ощущения. Вот несколько примеров.

Зримый и осязаемый образ «уютя» арестантской столовой, сконцентрированный в одном слове: косточки рыбы из баланды выплёвывают прямо на стол, а потом, когда целая гора наберётся, смахивают, и они *«дохрястывают на полу»*.

Высшая степень эмоциональной насыщенности слова, в котором, как в едином порыве смутной надежды и тоски, выражает себя сразу весь лагерный народ: очень ждут бурана. В буран не выводят на работу.

«— Эх, буранов давно нет! — вздохнул краснолицый упитанный латыш Кильгас. — За всю зиму — ни бурана! Что за зима?!

— Да... буранов... буранов... — *перевздохнула* бригада.

Наиболее категоричная и экономная характеристика степени питательности лагерного рациона: каша «безжирная», где ни нейтральный словообразовательный синоним («нежирная»), ни синонимичная грамматическая конструкция («без жира») не покроют полностью выразительного смысла этого слова.

Очень точно выраженная смесь ненависти и фамильярного презрения в наименовании дежурного надзирателя: *дежурняк*.

Неожиданной экспрессией оборачиваются:

1) использование забытого исходного значения слова (например, *тленный* — «гниющий», «гнилой»), которое сейчас малоупотребительно и во всех других своих значениях: «разварки *тленной* мелкой рыбёшки»;

2) просто необычное для данной контекстной ситуации словоупотребление: «До обеда — пять часов, *протяжно*». То же самое — в чудесном образе «ботинки <...> с простором»;

3) неупотребительные формы слов, например, деепричастия *ждя*, *проля*, которые расширяют диапазон сопоставительных возможностей называемых ими побочных действий с основными действиями: «— Фу-у! — выбился Шухов в столовую. И не ждя, пока Павло ему скажет, — за подносами, подносы свободные искать». Здесь это *ждя* цементирует всю фразу, выстраивая действия Шухова в один временной ряд и подчёркивая их стремительность в ответственный момент: с боем прорваться в столовую, сразу сориентироваться и, хоть надо бы для порядка помбригадира сначала спросить, нести за подносами, добывая их в схватках с зэками из других бригад.

* * *

Здесь названы лишь некоторые формы проявления своеобразной интерпретации автором словотворческого процесса. Остальные из них должны быть впоследствии изучены более детально.

Также необходимо в дальнейшем обратиться и к наиболее традиционной части анализа языка художественного произведения — к наблюдению над специальными образно-метафорическими речевыми средствами, которыми пользуется писатель.

Метафорический строй повести Солженицына во многих отношениях интересен: и действенным применением исключительности словесного образа, бытующего в среде (*бушлат деревянный* — гроб), и грубовато-юмористическим ассоциированием, лежащим в основе авторского тропа (*намордник дорожный* — тряпочка, надеваемая на лицо для защиты от ветра), особенно характерного в метонимических находках («И понял Шухов, что ничего не сэкономил: *засосало его сейчас ту пайку съест в тепле*»), и многим другим.

Но общая стилистическая направленность произведения определяется как раз крайней скупостью автора на использование переносно-фигуральных свойств слова. Его ставка в достижении высшей художественной цели — это, как мы могли увидеть, ставка на обратное явление — на образную весомость первоначального, прямого значения слова во всей его простоте и обыденности.

Таким образом, сложность языка повести «Один день Ивана Денисовича» — сложность мнимая. Язык повести прост. Но прост той отточенной и выверенной простотой, которая действительно может быть только результатом сложности — неизбежной сложности писательского труда, если этот труд честен, смел и свободен.

Не случайно поэтому спокойную и горькую квинтэссенцию всего того, что говорит нам Иван Денисович, автор заключает не в специ-

альные, архитектурноски многосоставные отступления, а в уникальные по своей ёмкой немногословности и прямолинейному аскетизму заметки, сделанные как бы вскользь:

«Работа — она как палка, конца в ней два: для людей делаешь — качество дай, для дурака делаешь — дай показуху»; «Вроде не обидно никому, всем ведь поровну <...>»; «А разобраться — пять дней работаем, а четыре дня едим»; «Сколь раз Шухов замечал: дни в лагере катятся — не оглянешься. А срок сам — ничуть не идёт, не убавляется его вовсе»; «Закон — он выворотной. Кончится десятка — скажут, на тебе ещё одну. Или в ссылку»; «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три лишних дня набавлялось...».

Сосредоточенный в этих замечаниях лаконичный итог невесёлых размышлений героя — стилистический ключ ко всей повести, помогающий читателю открыть её точную правдивость и неповторимую выразительность, которые не терпят в литературе никаких языковых компромиссов.

Москва

**Из партийных
и правительственных
архивов**

(1963–1974)



№ 195

**ЗАПИСКА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР
О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ
ЭКРАНИЗАЦИИ В США
ПОВЕСТИ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹**

[Не ранее 6 марта 1963 г.]

Секретно

ЦК КПСС

6 февраля с.г. посол СССР в США т. Добрынин сообщил, что в Советское посольство обратился американский кинопродюсер Л. Коэн с информацией о предполагаемой некоторыми американскими кинокомпаниями экранизации повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Коэн заявил, что он знаком с людьми, намечающими осуществить эту экранизацию, и что следует изучить возможность повлиять на содержание фильма, чтобы он не был использован во враждебных нам целях. В связи с этим он хотел бы дать свои предложения по этому вопросу и обсудить их во время его пребывания в Москве, ориентировочно в марте, когда будет обсуждаться литературный сценарий фильма «На далёком меридиане».

Министерство культуры СССР считало бы целесообразным дать указание советскому посольству о принятии всех возможных мер для предотвращения экранизации повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Желательно, чтобы советское посольство ознакомилось с характером предложений Л. Коэна до его приезда в Москву.

При беседе с Л. Коэном в посольстве можно было бы подчеркнуть, что советская сторона не заинтересована в создании такого фильма на какой бы то ни было совместной основе, объяснив при этом, что повесть имеет сугубо специфический

¹ Аппарат ЦК КПСС и культура. 1958–1964: Документы. М.: Росспэн, 2005. (Сер. «Культура и власть: от Сталина до Горбачёва».) С. 590.

характер и ярко выраженные национальные особенности, что любая экранизация повести вне пределов Советского Союза не сможет объективно и достоверно воспроизвести содержание повести.

Просим рассмотреть.

*Министр культуры СССР
Е. Фурцева*

Ф. 5. Оп. 55. Д. 52. Л. 36. Подлинник

№ 203

**СПРАВКА ГЛАВНОЙ РЕДАКЦИИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ АПН
О ЗАРУБЕЖНЫХ ОТКЛИКАХ
НА КНИГУ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹**

[17 апреля 1963 г.]

*Некоторые органы американской печати
о повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»*

Повесть Александра Солженицына вышла в США в конце января 1963 г. сразу двумя изданиями и привлекла общее внимание органов печати. Уже сам факт одновременного издания повести двумя крупными издательствами — Даттон и Прэгер — совершенно необычен, Даттон опубликовал повесть в переводе английского журналиста Ральфа Паркера, живущего постоянно в Москве. Это — авторизованный перевод; гонорар за американское издание повести получает автор. Издательство Прэгера рекламирует своё издание как «не авторизованное каким-либо официальным советским органом» и отказывается платить автору на том основании, что СССР не является членом международной конвенции по охране авторских прав. Весь доход от этого издания поступает в фонд помощи беженцам из социалистических стран. Переводчиком этого из-

¹ Аппарат ЦК КПСС и культура... С. 611–617.

дания является Макс Хэйуард (переводчик романа Пастернака «Доктор Живаго») и Рональд Хингли.

Интерес к повести в США был настолько велик, что издательство Даттон подало в суд на Прэгера под предлогом того, что Прэгер не имел права публиковать повесть, когда выходит авторизованный вариант. Из процесса ничего не вышло, но тем самым повести была сделана дополнительная реклама. Кроме того, одна из голливудских кинокомпаний собирается сделать фильм по повести.

Наибольший интерес представляют те статьи об «Одном дне Ивана Денисовича», которые были напечатаны в наиболее «солидных» американских журналах и газетах. Ниже приводятся краткие резюме статей, опубликованных в «Нэйшн» от 2.02.1963, «Сэтердей Ревью» от 9.02.1963 г. и «Нью-Йорк Таймс» (европейское издание) от 2.02.1963 г. Из этих изданий наиболее либеральным считается «Нэйшн».

«Нэйшн». Статья, озаглавленная «Торжество выживания», написана Эрнстом Пауэлом, вначале говорится о самом Солженицыне, за биографической справкой следует несколько строк, в которых подчёркивается популярность повести в СССР и то обстоятельство, что выход двух изданий одновременно в США — беспрецедентный случай. Далее автор статьи говорит: «Одних лишь выдающихся качеств мало для такого ажиотажа и внимания; и хотя славословы Москвы и Мэдисон Авеню отдадут смиренную дань толстовской силе произведения, его мощное воздействие, очевидно, связано с причинами в основном не литературного характера, уходят корнями в советскую политику и в напряжённость холодной войны». Перечисляя эти причины, автор называет тот факт, что «Один день...» — первое художественное произведение о лагерях, когда-либо опубликованное в России; по его мнению, Солженицын не только открыл «новый путь», но его стиль революционен для советской литературы: его проза самостоятельная, но имеет нечто общее с прозой Чехова и Хемингуэя; совершенно новым для «пролетарской литературы» является использование автором лагерных выражений, которые порой необходимы и способствуют реалистичности произведения. Специалисты по СССР в США связывают выход повести в свет с новой волной «антисталинского» наступления, развернувшегося вслед за кубинским кризисом. Говорят, продолжает автор, что сам Хрущёв пошёл против мнения ЦК и позволил опубликование

повести. Что же до предисловия, написанного А. Твардовским, «отважным редактором “Нового мира”, поэтом и лидером “либеральной фракции”, и опубликованного в обоих американских изданиях, то в нём содержится обожание радужного будущего для советской литературы». Твардовский намекает на то, говорит Пауэл, что «отныне ни одна область жизни не будет закрыта для советских писателей».

Далее автор говорит, что при всей шумихе нельзя забывать о том, что произведение Солженицына — литературный шедевр. Это подлинное произведение искусства — в этом его сила и ценность. Много десятков книг было опубликовано в США об ужасах лагерей, но «все они вместе взятые дают в сумме лишь слабую и не соответствующую истине картину, потому что правда о жизни и смерти в лагерях недоступна простой документации. Повесть Солженицына находится в совершенно другой категории; он использует факты в качестве начала, а не конца».

Далее вновь описывается жизненный путь Солженицына — три года на фронте, восемь лет лагерей, три года ссылки. «Солженицын говорит от своего имени и не поёт с чужого голоса, по крайней мере когда говорит “по-русски” (здесь намёк на плохой перевод, о котором подробнее сказано ниже).

Далее идёт разбор самой повести и краткий пересказ её содержания. Повесть «содержит много фактических данных, но рассматривать “Один день Ивана Денисовича” лишь в качестве ещё одного показа советского концлагеря примерно то же самое, что читать “Божественную комедию” как политический трактат».

Главное достоинство повести, по мнению автора статьи, заключается в том, что «человек выдерживает один день в аду и остаётся человеком». В статье подчёркивается, что мастерство Солженицына наиболее выпукло проявляется в образе самого Ивана Денисовича: «Инстинкт и опыт заставили его усвоить один великий урок: хоть искусство выжить может потребовать хитрости, гибкости и смелости, главным орудием остаётся человеческое достоинство». Короткий пересказ содержания повести Пауэл заканчивает словами: «Своей книгой Солженицын создал незабываемую картину лагеря, мира, связанного с ним, и людей, которые не только выжили в этом мире вопреки логике и, не имея на то шансов, дожили и сохранили страстное желание жить».

Автор заканчивает статью разбором обоих переводов, которые он считает неудовлетворительными. В заключение говорится: «Очень возможно, что подлинная прелесть оригинала недоступна в переводе; она тем более недоступна переводчику, имевшему дело со сжатыми сроками. Несмотря на очевидные недостатки переводов, они всё же дают приблизительное и очень волнующее представление о таланте Солженицына и широте его кругозора».

«Нью-Йорк Таймс». Статья написана видным журналистом, признанным специалистом по Советскому Союзу, Харрисоном Салисбэри. Он начинает с того, что сообщает, будто все писатели Москвы жаждут писать о «сталинских концлагерях», почему Л.Ф. Ильичёв был «вынужден в довольно жалобной речи в адрес молодых писателей» просить писать о чём-нибудь другом, кроме лагерей. Всему причиной, говорит Салисбэри, — повесть Солженицына. «Нет почти ни одной детали в рассказе Солженицына, которая была бы новой сама по себе. Жестокость, ложность обвинения; звериная борьба за существование, унижение, циничное взяточничество, зверства, сроки заключения, уходящие в бесконечность или кончающиеся смертью, голод, страдания, холод — всё это известно». Однако, говорит автор, то же самое можно было бы сказать об условиях в России до написания Достоевским «Записок из Мёртвого дома». Положение политзаключённых в Сибири было известно и до написания журналистом Джорджем Кэнноном книги «Сибирь и система ссылки» в 1891 году. «Но каждая из этих книг изменила лишь взгляд на известные факты. Дело обстоит именно так с удивительной повестью Солженицына». Естественно, говорит Салисбэри, что повесть была сенсацией в России, ибо до неё никто о лагерях не писал, и кроме того, потребовалось личное вмешательство Хрущёва, чтобы её напечатали. Все 95 тысяч экземпляров «Нового мира» были расхвачены за несколько часов, и «теперь один такой номер стоит 10 долларов».

«Солженицыным написан не простой пропагандистский памфлет. Солженицыным создан маленький классик, в котором почти нет изъянов, сдержанность и подчёркнутый спокойный тон повествования настолько красноречивы, что даже спотыкающийся и торопливый перевод не в силах это скрыть». Далее говорится о центральной фигуре повести Шухове, «преступление» которого заключалось в том, что он попал в плен к немцам и су-

мел вырваться обратно к своим. «Не скажи он, что был у немцев, он получил бы медаль. За то, что он сказал правду, его приговорили к лагерному заключению, как шпиона». Затем автор статьи кратко знакомит читателя с другими заключёнными: «Один из них — капитан первого ранга. Его несчастье заключается в том, что английский адмирал прислал ему подарок на Рождество, другой — баптист. Его преступление? То, что он баптист. Ещё один — мальчишка — принёс ведро молока украинским бандитам — и получил 25 лет». Далее Салисбэри говорит: «Этот мир сложен для американского восприятия. Как говорит Иван, “сытый голодного не разумеет”». Салисбэри кончает разбор повести словами: «Этот спокойный рассказ нанёс мощный удар возвращению ужасов сталинской системы. Ибо слова Солженицына сжигают, как кислота». Последний абзац статьи посвящён разбору английских переводов, о которых автор очень невысокого мнения. Однако он отдаёт предпочтение переводу Паркера (авторизованный перевод).

«Сэтердей Ревью». Непосредственно на обложку журнала вынесены три заголовка, каждый из которых посвящён наиболее значительным статьям данного номера. Один из заголовков гласит: «Один день Ивана Денисова». Сенсационный антисталинский роман.

Обзор. Редакционная статья. Выдержки.

Редакционная статья «Слушай Ивана Денисовича» написана главным редактором журнала Норманом Казинсом. Казинс пишет:

«Возможно, самое значительное в опубликовании в Советском Союзе “Одного дня Ивана Денисовича” заключается в том, что русский народ сегодня готов поверить тому, что написано в нём». Далее автор говорит о том, что десять лет назад это считалось бы злостной клеветой, пять лет назад вызывало бы сомнения, а сегодня воспринимается как истинная правда. Вот это изменение в психологии русского народа, продолжает Казинс, — результат страшных душевных мук. «Установившийся мир личной веры разбит». Далее автор приводит разговор, который он имел «с одним московским писателем», сказавшим, что хотя «факты о Сталине потрясли нас, но не сделали нас циниками по отношению ко всему остальному».

Казинс пишет, что еще в 1959 году советская интеллигенция не осознала до конца всех ужасов сталинского режима и что рус-

ский народ совсем не был затронут разоблачением Сталина на XX съезде. «Не было в этом ничего удивительного. В течение жизни целого поколения нация была на замке. Контакт с иностранцами, будь то в стране или вне её, был настолько мал, что фактически его и не было. То же можно сказать об обмене мнениями. У людей выработался рефлекс против любопытства: вопросы не приводили к добру. И они научились не смотреть слишком глубоко в суть вещей. Они были идеологически и эмоционально воспитаны так, чтобы полагаться на верховное политическое существо».

Окончательный удар Сталину, говорит Казинс, был нанесён Хрущёвым на XXII съезде. Почему, спрашивает Казинс, было необходимо развеять миф о Сталине? Ведь он умер; какой вред мог нанести он из Мавзолея, где он лежал до решения съезда? «Будучи в Москве, я имел возможность обсудить этот вопрос с Председателем. Господин Хрущёв объяснил, что трудно превратить страну в действенный механизм, если не будет покончено со сталинскими методами — не только в государственном аппарате, но в стране в целом. Ибо Сталин не был только тираном, принёсшим власть террора и подавления русскому народу. Он имел сильное влияние на форму и направление движения Коммунистической партии, на подход к различным важным вопросам, на образ мышления людей. И прежде чем могли быть удалены последствия, нужно было чётко определить их причину». Эта работа очень трудна, но необходима. И хотя теперь люди знают о том, что было, они в курсе дела, но «почти каждый день он (Хрущёв) встречал умных людей, которые всё ещё верили тому, что Сталин был психически нормальным человеком». «Есть любопытная разница, сказал господин Хрущёв, между Лениным и Сталиным. Ленин прощал своих врагов; Сталин убивал своих друзей».

Казинс говорит, что если русским понадобилось много времени, чтобы понять коренные изменения, происшедшие в их стране, то это относится в равной мере и к остальному миру. «В Соединённых Штатах наблюдается любопытное отношение к сообщениям о кампании десталинизации в Советском Союзе». Американцы склонны считать всё это пропагандой, каким-то коварным обманом, направленным на то, чтобы усыпить их бдительность и повредить Америке. «Однако особенно вредит Америке её неспособность понять, что вызов, брошенный сегодня Советским Союзом, не может

быть принят устаревшими понятиями или оперируя давно прошедшими данными».

Дальше Казинс пишет:

«В сущности, вызов СССР сегодня связан с мировым лидерством. Мы можем встретить этот вызов, если то, чем мы являемся, то, что мы говорим и делаем, покажется правильнее и больше будет греть сердца большинства людей этой планеты, чем то, что любая другая нация или идеология говорит и делает. Более того, будем действительно сильны только в том случае, если мы используем свои идеологические ресурсы. Что же до остального, нам нечего бояться, будто не патриотично признавать улучшение во внутренней жизни страны, противоположной нам. Любое улучшение человеческих условий, где бы то ни было, полностью соответствует американской истории... Ибо Соединенные Штаты — это не просто страна национальной независимости. Это революционная идея, направленная на улучшение человечества».

Непосредственному разбору повести посвящена статья под названием «Теперь об этом можно рассказать в Москве». Во врезке к статье говорится о решении ЦК КПСС и лично Н.С. Хрущёва опубликовать повесть в «Новом мире», о том, что в США вышло два разных издания, о том, что повесть в СССР имела огромный успех и «забила ещё один политический гвоздь в гроб Сталина». Автор статьи Джордж Риви — специалист в области русской литературы. Им написан труд «Советская литература сегодня», переведены «Мёртвые души» Гоголя и стихи Бориса Пастернака. Сейчас он заканчивает биографию Максима Горького.

«Эта книга, — начинает свою статью Риви, — больше, чем сюрприз. “Один день Ивана Денисовича” — это событие социальной, политической и литературной важности. Его последствия трудно предвидеть, ибо автор, Александр Солженицын, начисто разрушает накопившуюся мифологию сталинской эры». Наконец, продолжает Риви, из замёрзших, но теперь тающих глубин России раздался голос правды. Далее автор обращает пристальное внимание на предисловие А. Твардовского к повести: оно расценивается им как «чрезвычайно удивительное», ибо Твардовский «как будто бы признаёт необходимость публичного раскаяния властей, т.к. господин Твардовский пользуется поддержкой самого господина Хрущёва». Риви находит такое раскаяние «достоевщиной» и поражается тому со-

впадению, что почти сто лет назад вышла книга Достоевского «Записки из Мёртвого дома».

Риви пишет о том, что Солженицыну удалось передать читателю мысль, что коррупция и унижение «не характеризовали только тюремный мир, проглотивший Шухова и миллионы ему подобных, но стали частью советского общества». Риви пишет, что заключённые — и в этом трагизм положения — больше других беспокоились о нарушенных нормах жизни, существующих на воле. Риви далее восхищается мастерством Солженицына, его умением замечать детали, лепить характеры. Он подчёркивает, что повесть — не просто памфлет, сделанный в художественной форме. Он видит в повести дальнейшее развитие великой реалистической традиции русской литературы и видит корни повести в «Шинели» Гоголя и «Бедных людях» Достоевского.

Как пишет Риви, автор «касается свободы и тирании. Но больше всего в повести речь идёт о несправедливости». Далее Риви говорит о действующих лицах повести. Затем следует разбор перевода (в журнале дана целая страница выдержек из повести в двух переводах) и отдаёт предпочтение неавторизованному варианту. Далее Риви сообщает известные ему данные биографического характера о Солженицыне. Статья заканчивается словами: «Нужно многое еще сказать об Александре Солженицыне и его повести. Одержана своего рода победа. Автор реабилитирован. Он сообщил свои показания, и они дороги многим другим Иванам, освобождённым из лагерей. Мы благодарны ему за это и за его незабываемую повесть, которую я без всяких сомнений советую самой широкой публике. Я надеюсь, она будет прочитана всеми с большим вниманием».

Примечание: Что касается печати стран Западной Европы — Франции, Англии, ФРГ, Италии, — то она фактически повторяет то, что говорится в американской прессе. Во всех этих странах книга Солженицына вышла огромными тиражами, включая так называемые «карманные» издания.

Резолюция: «Ознакомить секретарей ЦК КПСС. Л.Ф. Ильичёв».

Ф. 5. Оп. 55. Д. 44. Л. 39, 40–51. Подлинник

№ 209

**ЗАПИСКА ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ЦК КПСС
ОБ ОТСУТСТВИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
СО СТОРОНЫ Л. КОЭНА
ОБ ЭКРАНИЗАЦИИ ПОВЕСТИ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹**

23 мая 1963 г.

ЦК КПСС

Министр культуры СССР т. Фурцева сообщает, что американский кинопродюсер Л. Коэн хотел бы внести свои предложения об экранизации повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» во время своего пребывания в Москве.

Л. Коэн был в Москве в мае месяце. Он вёл переговоры с генеральным директором «Мосфильма» т. Суриным о совместной советско-американской постановке фильма «На далёком меридиане». Он также имел встречу с председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по кинематографии т. Романовым А.В.

За всё время пребывания в Москве Л. Коэн никаких предложений об экранизации повести Солженицына не выдвигал. В связи с этим считаем вопрос о совместной советско-американской постановке этого произведения снятым.

Тов. Фурцевой об этом сообщено.

*Зам. зав. подотделом кинематографии
Идеологического отдела ЦК КПСС
Г. Куницын*

*Зав. сектором Отдела
Ф. Ермаин*

Помета: «Архив. В. Евдокимов. 27.05.1963 г.».

Ф. 5. Оп. 55. Д. 52. Л. 37. Подлинник

¹ Аппарат ЦК КПСС и культура... С. 633.

№ 231

**ЗАПИСКА ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ЦК КПСС
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КОМИТЕТА
ПО ЛЕНИНСКИМ ПРЕМИЯМ
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА¹**

[18 апреля 1964 г.]

ЦК КПСС

Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР докладывает о результатах рассмотрения кандидатур, представленных на соискание Ленинских премий в области литературы и искусства.

К участию в конкурсе всего было допущено 46 кандидатур. Из них 27 оставлено Комитетом для дальнейшего рассмотрения. В список для тайного голосования было включено 19 кандидатур.

В результате тайного голосования присуждены шесть Ленинских премий 1964 года: Гончару А.Т. за роман «Тронка»; Пескову В.М. за книгу «Шаги по росе»; Дейнеке А.А. за комплекс мозаических работ «Красногвардеец», «Доярка», «Хорошее утро», «Хоккеисты»; Плисецкой М.М. за исполнение ролей в балетах советского и классического репертуара; Ростроповичу М.Л. за концертно-исполнительскую деятельность; Черкасову Н.К. за исполнение роли Дронова в кинофильме «Всё остаётся людям».

В ходе работы Комитета обнаружались весьма существенные недостатки. Они проявились особенно резко при обсуждении повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». В дискуссиях на секционных и пленарных заседаниях с большой активностью навязывались односторонние суждения об этой повести, делались попытки противопоставить повесть всей советской литературе как действительное выражение главной линии её развития в настоящий период. Такую точку зрения особенно активно проводил А. Твардовский.

¹ Аппарат ЦК КПСС и культура... С. 704–705.

В выступлениях А. Твардовского, Н. Зарьяна, М. Ульянова выразилось стремление придать дискуссии определённый политический характер. Необходимо заметить, что ход обсуждения стал известен за пределами Комитета, породив различного рода кривотолки и инсинуации среди некоторой части художественной интеллигенции.

Споры вокруг повести А. Солженицына приняли ненужную остроту и затянулись, а обсуждение остальных кандидатур проходило поспешно, поверхностно, вследствие чего в список для тайного голосования было внесено неоправданно большое число работ. При баллотировке голоса разделились, и Комитету пришлось провести переголосование трёх кандидатур — В. Пескова, А. Гончара, А. Дейнеки.

Недостатки в работе Комитета во многом объясняются слабой деятельностью его аппарата, который не обеспечил спокойного, нормального хода дискуссий. Обзор откликов был составлен тенденциозно, особенно по отношению к повести А. Солженицына.

На заключительном пленарном заседании многие члены Комитета критиковали деятельность аппарата и, в частности, учёного секретаря т. Васильева.

По окончательным результатам голосования замечаний не имеем. Полагали бы целесообразным лишь сформулировать решение Комитета о присуждении Ленинской премии Плисецкой М.М. следующим образом: «За исполнение ролей в балетах советского и классического репертуара на сцене Государственного Академического Большого театра Союза ССР».

Просим разрешить Комитету направить в ТАСС информацию о присуждении Ленинских премий для широкой публикации в печати.

Идеологический отдел ЦК КПСС дополнительно изучит итоги нынешней сессии Комитета по Ленинским премиям и доложит о мерах, необходимых для коренного улучшения его деятельности.

*В. Снастин
В. Кухарский*

Резолюция: «Ознакомить секретарей ЦК КПСС. *Л.Ф. Ильичёв*. «Разослать членам Президиума ЦК КПСС и кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС + секретарям ЦК. *В. Малин*. 18.04.1964».

Пометы: «ЦК КПСС. О согласии с решением Комитета и на его публикацию в печати поставлены в известность председатель Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства т. Тихонов и зам. генерального директора ТАСС т. Вишневский. *Зав. сектором Идеологического отдела ЦК КПСС В. Кухарский*. 21.04.1964»; «Хранить в архиве два листа. *В. Евдокимов*. 22.04.1964».

Ф. 5. Оп. 55. Д. 99. Л. 30, 31–32. Подлинник.

**ЗАПИСКА ПРОКУРАТУРЫ СССР
И КГБ ПРИ СМ СССР О МЕРАХ
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
АНОНИМНОГО ДОКУМЕНТА
С АНАЛИЗОМ ПОВЕСТИ
«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹**

20 августа 1965 г.

Секретно

ЦК КПСС

Докладываем, что с осени 1964 года стало фиксироваться распространение среди некоторых групп творческой интеллигенции и молодёжи анонимного документа, извращённо анализирующего основные идеи повести СОЛЖЕНИЦЫНА «Один день Ивана Денисовича». Имела место также попытка передать содержание этого документа за границу.

В анонимном документе автор стремится доказать, что повесть «Один день Ивана Денисовича» имеет важное значение, т.к. раскрывает не только жизнь конкретного исправительно-трудового лагеря, а является по существу отражением одного дня жизни советского общества. Он проводит прямую аналогию взаимоотношений, с одной стороны, между руководителями лагеря и заключёнными, а с другой — между руководящими деятелями страны и населением; между положением заключённых и жизнью советских людей, непосильным трудом заключённых и «рабским» трудом советских трудящихся и т.д. Всё это маскируется под изображение периода культа личности, хотя фактически налицо — явная критика социалистической системы.

Принятыми мерами установлено, что автором анонимного документа является ТЕУШ В.Л., 1898 года рождения, беспартийный, пенсионер, работавший ранее преподавателем математики, поддерживающий близкие отношения с писателем СОЛЖЕНИЦЫНЫМ, его родственниками и окружением.

Проверка показала, что как ТЕУШ, так и его связи враждебно настроены по отношению к Советской власти и про-

¹ Континент. 1993. Январь/март. № 75.

являют большую активность по перепечатке, хранению и распространению идейно порочных произведений писателя СОЛЖЕНИЦЫНА. Последний, как выяснилось в ходе проверки ТЕУША, является убеждённым врагом нашего строя и идейным противником марксизма-ленинизма. Занимаясь изготовлением антисоветских рукописей, он вынашивает намерение опубликовать их в дальнейшем за границей или же распространять на территории Советского Союза нелегальным путём.

Вместе с тем принятие мер по линии КГБ непосредственно в отношении СОЛЖЕНИЦЫНА политически неоправданно, т.к. вызовет нежелательную для нас активность антикоммунистических элементов на Западе.

С учётом этого представляется целесообразным возбудить уголовное дело по факту распространения указанного выше анонимного документа, провести допросы ТЕУША и его связей, обыски в местах хранения рукописей ТЕУША и неопубликованных произведений СОЛЖЕНИЦЫНА и другие следственные действия, а затем решить вопрос о судебной или иной ответственности ТЕУША.

Такая мера позволит пресечь вредную деятельность ТЕУША и связанных с ним лиц, неизбежно приведёт к общественной изоляции СОЛЖЕНИЦЫНА, после чего можно будет решить вопрос о мерах по локализации его идейно-порочного влияния.

Просим рассмотреть.

*Генеральный прокурор Союза ССР
Р. Руденко*

*Председатель Комитета госбезопасности при СМ СССР
В. Семичастный*

Резолюция: Согласиться. П. Демичев. А. Шелепин (думаю, что на это решение ЦК не требуется). Д. Устинов. Н. Подгорный. Ю. Андропов. А. Рудаков.

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 47. Д. 485. Л. 40-41. Подлинник

**ПРИКАЗ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАЙН В ПЕЧАТИ¹**

д<ля> с<лужебного> п<ользования> от 14.02.74 г.

Об изъятии из библиотек общественного пользования произведений А.И. Солженицына: «Один день Ивана Денисовича» («Новый мир», № 11, 1962; Роман-газета, М., № 1 (227), 1963; «Советский писатель», 1963); «Случай на станции Кречетовка» («Новый мир», № 1, 1963); «Матрёнин двор» («Новый мир», № 1, 1963), «Для пользы дела» («Новый мир», № 7, 1963); «Захар-Калита» («Новый мир», № 1, 1966).

*Нач. Главного Управления
по охране государственных тайн в печати
Романов*

¹ Слово пробивает себе дорогу: Сб. статей и документов об А.И. Солженицыне. 1962–1974. М., 1998.

**«Один день
Ивана Денисовича»
глазами русской эмиграции**

(1962–1984)

Е. Гаранин

«ПОВЕСТЬ, ПОСЛЕ КОТОРОЙ ПИСАТЬ ПО-СТАРОМУ НЕЛЬЗЯ...»¹

Об «Одном дне Ивана Денисовича» А. Солженицына

О том, что в ноябрьском номере «Нового мира» будет напечатана какая-то необыкновенная повесть о советских концлагерях, в писательских кругах было известно заранее. И вот журнал вышел. В Москве его рвали из рук. В библиотеках сразу же образовались тысячные очереди. Иностранцы передали об этом в свои издательства и агентства, а через неделю перевод повести уже стал печататься в парижском журнале «Пари матч».

В советских газетах почти тотчас же после выхода журнала появились рецензии на сенсационную повесть. Писатель Григорий Бакланов пишет, что теперь, после опубликования этой повести, стало совершенно ясно, что писать так, как писали ещё недавно, уже нельзя...²

Повесть называется «Один день Ивана Денисовича». Её автор — Александр Солженицын. Ему 50 лет. Он работает преподавателем математики в школе небольшого местечка под Рязанью, где Трубеж вливается в Оку. Там он и написал свою повесть и оттуда переслал её Твардовскому в «Новый мир».

По Москве ходят слухи, что когда Твардовский прочёл рукопись, то схватился за голову. Такого печатать ещё не приходилось. Не думалось даже, что так скоро придёт *тот* день, когда *такая* повесть появится на его редакторском столе. Никто из редакторов, не спросясь, печатать повесть не стал бы. Слишком большой риск. Твардовский обратился к самому Хрущёву, и тот разрешил. По слухам, Хрущёв на ноябрьском Пленуме ЦК в заключительном слове говорил о свободе печати и сослался на повесть Солженицына. При этом он якобы сказал, что её прочли члены Президиума ЦК, но не были единодушны в её оценке. Но правду от народа скрывать-де не следует, какая бы она ни была, и повесть решили опубликовать...

¹ Посев. 1962. 23 декабря.

² Бакланов Г. Чтоб это никогда не повторилось // Литературная газета. 1962. 22 ноября. См. также с. 31–35 наст. изд. — *Примеч. сост.*

* * *

Журнал получен, повесть прочтена. С огромным волнением, без отрыва. И если нужно сразу высказать своё впечатление в одной-двух фразах, то оно таково: хорошая, талантливая вещь, созданная рукою мастера, и значительное политическое явление.

Пусть эта повесть и не документ и не мемуары. Читатель убеждается, что материалом для неё была сама жизнь сибирских каторжных лагерей, которую автор знает на собственном горьком опыте...

Повесть не охватывает всего исторического периода, именуемого ныне годами культа личности Сталина. Она рассказывает о впечатлениях и переживаниях политического заключённого в течение одного только дня. Но и то, что увидят читатели *его глазами*, позволит им по-новому взглянуть на великую трагедию нашего народа.

Правда, для тех, кто читал вышедшие за рубежом книги: «Россия в концлагере» И. Солоневича (издана в тридцатых годах), «Завоеватели белых пятен» М. Розанова (изд. «Посев», 1951 г.), «Путешествие в страну Зэ-ка» Ю. Марголина (изд. им. Чехова, 1952 г.), «Восемь лет во власти Лубянки» Ю. Трегубова (изд. «Посев», 1957 г.), в самих фактах, рассказанных Солженицыным, нового ничего нет. Знают их и многие на родине. Миллионы побывали в тюрьмах и лагерях, и кому из них довелось вернуться домой, рассказывали, пожалуй, побольше и пострашнее, чем узнали мы из повести Солженицына.

Но одно дело, когда свидетельское показание очевидца передано в узком интимном кругу или написано за границей эмигрантом или иностранцем, и другое, когда о том же вы читаете в советском журнале.

Нашёлся мужественный человек и рассказал правду о жизни в советских концлагерях не бывших партийных вельмож, а рядовых советских граждан, больше и горше всего испытывавших на себе страшный гнет сталинщины. Пусть рассказана ещё не вся правда. Другие её доскажут. Но уже теперь о том, что творилось в местах заключения, люди будут говорить во весь голос. В этом большое, но не единственное политическое значение повести «Один день Ивана Денисовича». Написав её, автор совершил подвиг мужества и обогатил нашу литературу. Спасибо ему за это.

Написана повесть живым, образным языком. Можно спорить о некоторых выражениях и словообразованиях, использованных автором, но вряд ли кто усомнится в её талантливости. Нет в ней и стремления сгустить краски, накрутить побольше ужасов и зверств. Наоборот, рассказ ведётся в спокойной манере, с юмором, и выбран-то для пове-

сти даже не один из обычных дней, а один из *удачных* дней заключённого Шухова. Это, возможно, не всем понравится. Иные могут упрекнуть автора в том, что тон его повести не соответствует содержанию, смягчает и ослабляет его. Слишком велика была трагедия, слишком было много жертв и горя, чтобы писать о них в тоне лёгкой иронии и примирения... Но творческий приём, выбранный автором, имеет свои основания: спокойный тон и юмор не ослабляют, а лишь усиливают впечатление от рассказанного.

Из повести мы узнаём об одном дне — от подъёма до отбоя — заключённого Ивана Денисовича Шухова. И этот морозный январский день 1951 года был прожит Шуховым вполне благополучно: в карцер его не посадили, а посадить могли, на голый снежный пустырь и ветер ямы рыть и проволоку тянуть бригаду его не погнали, а работали они живо и даже весело в укрытии, в обед удалась стянуть лишнюю порцию баланды, ножовку, найденную на дороге, Шухов протащил в лагерь, а вечером опять посчастливилось подстрельнуть вторую порцию щей и табачку покурить. Так что день был почти счастливый, и засыпал Шухов удовлетворённый¹. Однако и этот удачный день оставляет у читателя щемящее чувство боли за несчастных узников, негодование к тем, по чьей злой воле они страдают на каторге.

...Никаким политическим преступником Шухов не был. Измену родине ему пришили зря, как и многим другим. В феврале сорок второго года на Северо-Западном фронте немцы окружили их армию. Еды не было. Не было и патронов. Люди расползались кто куда, и немцы их ловили и сажали в лагерь. В одной такой группе попал в плен и Шухов. Но пробыл в плену лишь пару дней и бежал с приятелями. С великим трудом пробрались они к своим и сказали правду, что из плена. И вот за это получил Шухов десятку. Ещё счастливо отделался. Полоса была в то время такая: всем по десять лет давали, «А с сорок девятого <...> всем по двадцать пять, невзирая. Десять-то ещё можно прожить, не околев, — а ну, двадцать пять проживи?!» Воевал Шухов честно. Однажды в боях на реке Ловать пришёл на перевязку в медсанбат «и — недотыка ж хренова! — доброй волею в строй вернулся. А мог пяток дней полежать».

Восемь лет уже Шухов по лагерям. Вначале в Усть-Ижме, в общем лагере, а потом сюда, в каторжный, перегнали, где сидят только осуждённые по 58-й статье за государственные преступления. Как и у всех других, нет у него здесь имени, а только номер — Щ-854. Номер на лбу, на груди, на спине и на колене. Осталось сидеть как будто не так мно-

¹ В тексте: удовлетворенный. — *Примеч. сост.*

го: два года всего. Но не верится, что выпустят на волю. Ещё *никто, ни один человек из этого лагеря на волю не уходил*. В войну, у кого срок кончался, оставили до сорок шестого года.

«У кого и основного-то сроку три года было, так пять лет пересидки получилось. Закон — он выворотной. Кончится десятка — скажут, на тебе ещё одну. Или в ссылку».

Много жестокого и злого пережил Шухов в лагерях. Голодал, холодал, но как-то выкручивался. Одному сошьёт что-нибудь, за другого в очереди постоит, третьему ещё как-то услужит, и что-то ему за это дадут. Робкий по характеру, он не смел, конечно, *качать правду*, против начальства идти, но и более слабого не пригибал, не подличал, не огрубел окончательно. Сколько лагерей прошёл, в каких только условиях ни жил, а не научился унижаться, окурки выпрашивать, шакалить, чужие тарелки вылизывать, как Фетюков (а на воле-то директором был) и другие.

Шухов — не герой и не борец. Его помыслы — всё больше вокруг баланды, пайки хлеба, обуви (ничего так не было жалко за восемь лет, как дюжих ботинок, что сдать пришлось в обмен на валенки). Но человек он хороший, добрый, услужливый. Он может дать покурить товарищу, поделится с ним съестным, даже и без всякой его просьбы, без выгоды для себя, а только по доброте сердца. Кто хоть раз побывал в таких лагерях, тот знает полную этому цену.

И чем больше сидит Шухов, тем больше утверждает в нём доброе, и можно заранее сказать, что развращающий режим лагерей хуже его не сделает.

И не один тут Шухов такой. Вот Сенька Клевшин: три раза из немецкого плена бежал и за это угодил в Бухенвальд. Пытали его там немцы, сзади за руки подвешивали, чудом выжил. А теперь здесь за плен досиживает, что у немцев недосидел. Этот понял, что не след в одиночку на рожон против надзирателей идти. Погибнешь зазря. Но товарища он в беде не оставит, не продаст и не предаст. Полуглухой горюн, недобытчик.

В той же бригаде работает мальчишка Гопчик. Когда его судили, ему ещё и четырнадцати не было, а срок дали, как взрослому. Вся вина на его в том, что носил бандеровцам молоко в лес. Теперь он каторжник, зэка. Быстрый, сообразительный, ловкий. Предсказывают ему большое будущее: хлеборезом при столовой годика через два-три...

Недавно, месяца три всего, как попал в лагерь капитан второго ранга Буйновский. Требовательный, властный офицер. Завидная ему карьера намечалась: не мыслил себе жизни без золотых погон, да слу-

чилось иное. Во время войны служил связным офицером от нашего командования при английском адмирале и плавал месяц на их крейсере. А после войны угораздило адмирала прислать ему памятный подарок «в знак благодарности». И вот проклинает и этот подарок, и этого адмирала кавторанг, а изменить уж ничего нельзя. Он ещё не вжился в лагерную жизнь, не привык к унижению, грубости, которыми пропитан весь лагерный быт. Когда в то утро колонна заключённых выходила на работу, у них во время обыска стали отбирать всё, что было одето сверх нормы. У Буйновского был жилетик ещё из дома, и, видя, как раздевают людей на морозе, возмущённый, он закричал надзирателям:

«— Вы п р а в а не имеете людей на морозе раздевать! Вы д е в я т у ю статью уголовного кодекса не знаете!..

<...>

— Вы не советские люди! <...> Вы не коммунисты!»

Не знал тогда ещё кавторанг Буйновский, что всё они могут, на всё имеют право — и на саму его жизнь. Получил он за этот протест от начальника режима Волкового десять суток строгого карцера. А десять суток, если их отсидеть до конца, — значит на всю жизнь здоровья лишиться. «А по пятнадцать суток строгого кто отсидел — уж те в земле сырой».

И вот выйдет капитан из карцера, многое пересмотрит и поймёт, как в каторжном лагере нужно жить, чтобы выжить.

Сосед Буйновского по койке Цезарь Маркович, молодой ещё кинорежиссёр, попал в лагерь, видимо, за какой-то идеологический промах. Даже первой картины недоснял, как посадили. И хоть числится он в той же бригаде, что и Шухов, а на общие работы не ходит. Устроился *придурком* в конторе. Пришлось за это многих подмазать. Благо есть чем: посылки каждые две недели с воли приходят.

Цезарь держит себя особняком и сближается лишь с такими же, как он. И идут тогда между ними разговоры:

«— Нет, батенька, — <...> говорит Цезарь, — объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. “Иван¹ Грозный” — разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!

— Кривлянье! — ложку перед ртом задерживает, сердится Х-123. — Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трёх поколений русской интеллигенции! <...>

¹ В тексте: «Иоанн». — *Примеч. сост.*

— Но какую трапезку пропустили бы иначе?

— Ах, пропустили бы?! Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполняю. Гении не подгоняют трапезку под вкус тиранов!

<...>

— Но, слушайте, искусство — это не что, а как.

Подхватился Х-123 и ребром ладони по столу, по столу:

— Нет уж, к чёртовой матери ваше “как”, если оно добрых чувств во мне не пробудит!»

И, читая такой диалог, проникаешься большой симпатией к жилистому старику, двадцатилетнику, каторжанину с номером Х-123. Конечно, он прав. Подлинный художник, если он хочет, чтобы его творчество не превратилось в блестящие или в тусклые однодневки, не должен плестись в плену обстоятельств. Долг художника — найти в себе мужество и решительно осудить то, что заслуживает осуждения. Не может быть гениального художника, если его произведения воспитывают ненависть, жестокость и покорность судьбе или злой воле сильного негодяя. Искусство лишь тогда выполнит свою главную цель, если оно будет пробуждать у других добрые чувства, возвышать человека, делать его чище, лучше и свободнее.

Очень удался автору один из главных героев — бригадир, дитя ГУЛАГа, Андрей Прокофьевич Тюрин. В тридцатом году его, тогда ещё двадцатидвухлетнего паренька, выгнали из армии как сына раскулаченного. Содрали зимнее обмундирование, дали старое летнее и куцую шинельку. И волчий билет: «Уволен из рядов... как сын кулака». Без денег, без билета на проезд, без еды выпихнули за ворота. Иди, устраивайся на работу с такой справочкой.

На Котласской пересылке встретил Тюрин в тридцать восьмом своего бывшего комвзвода и от него узнал, что и комполка, и комиссар расстреляны в тридцать седьмом. Перекрестился Андрей Прокофьич и сказал: «Всё ж ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь».

Получил Тюрин вначале десятку. Отсидел. Дали ещё одну. К 1951 году просидел он в общей сложности уже двадцать один год, а когда конец будет, никому не известно. Каким же нужно быть цельным и мудрым, чтобы и после всего, что довелось перенести за эти годы, остаться порядочным и справедливым человеком. Он распределяет работу в бригаде и заботится о своих людях, как родной отец о семье. А если приходится с начальством столкнуться при этом, Андрей Прокофьич не сдрейфит и не продаст. Всякое пережил человек, а когда ест — шапку снимает. Волосы как мукой присыпаны...

Одно за другим мелькают лица заключённых, с которыми так или иначе встретился в этот день Шухов. Об ином Солженицын лишь несколько слов сказал, но сразу видишь человека всего и знаешь, каков он. Рядом с Шуховым на барачной верхотуре лежит Алёшка-баптист с Кавказа. Всякий свободный час читает свою книжечку, где от руки половина Евангелия переписана. Всей их группе баптистов только за то, что Богу молились, дали вкруговую по двадцать пять. Но и в лагере не теряют они друг друга, по совести живут и на других стараются повлиять...

Разные люди, разные судьбы. Многие попали сюда ни за что, как Шухов, и без всяких оснований носят позорное клеймо шпионов. В лагере, впрочем, оно не позорное: таких шпионов в каждой бригаде по пять человек. По делам проходят как шпионы, а сами — просто несчастные жертвы режима. И вот удивительно: никакими жестокостями, никаким их унижением так и не удалось власти вытравить из многих человеческое.

Лагерь, который описывает Солженицын, особый, политический. Читатель ожидает встретить там убеждённых и непримиримых врагов, а находит почти сплошь невинно пострадавших. Это может удивить и обескуражить. Как же так? Неужели в советских концлагерях не было активных противников режима, которые попали за проволоку не по дутому делу, а за свои убеждения и дела? Такие, конечно, были. Хотя автор и не осветил их полным светом, а нужно бы. Нужно бы Шухову присмотреться к тем, кто попал в лагерь не за плен только и хорошо знает — за что сидит и чего хочет. Но и то понять надо, что это не история лагерной жизни, а всего день один одного зэка.

О противниках режима у Солженицына вскользь, пунктиром. Не раз в разговорах упоминаются бандеровцы, а когда вечером зашёл Шухов в соседний барак, услышал, как с верхней полки недобрым словом поминают «батьку усатого» — в каторжном лагере, не в пример другим местам, свобода от пуза: кричи что хочешь, стукачи всё равно не донесут. Чекисты давно рукой махнули.

А перед тем была у Шухова встреча. Сидел он в столовке и доедал баланду. Когда заканчивал, заметил, что сел против него старик с номером Ю-81. Был он из той бригады, которая вместо них на ветру, без обогрева, в снегу ямы долбила — сама себе загородку строила, чтоб не убежать. Слышал Шухов, что старик этот по тюрьмам и лагерям сидит несчётно и ни одна амнистия ни разу его не коснулась. Когда одна десятка кончалась, ему сразу другую давали.

И вот сидит этот старый, замученный человек против Шухова — в отличие от всех других прямо, не гнётся над миской, глазами по сторо-

нам не бегают, а мерно ест деревянной, надщерблённой ложкой окостеневшими деснами пустую баланду. Глаза его упёрлись в своё и окружающего не видят. Лицо как из тёмного камня вытесано, а по большим, в трещинах рукам видно, что тяжело ему досталось и придурком он не отсиживался. Такой человек ни в чём не уступит и ни с чем не примирится. Сколько прошёл, а ведь и хлеба кусок не положит на нечистый стол, а на стираную тряпочку.

Непримирившиеся люди, закалённые и твёрдые как кремень или такие, как Тюрин, Алёшка-баптист, помбригадир Павло, конторщик, что с Цезарем спорил, а потом и капитан Буйновский, если после карцера выживет, — все они люди одного, в общем, склада, и если до лагеря и не все были противниками власти, то теперь они ими стали.

Потому зорко стерегут их те, кому поручено. Вышки, прожектора, надзиратели, конвой, обыски, вскинутые на изготовление автоматы. Идут заключённые на работу, колышется колонна, а в двадцати шагах от них конвой с собаками, через десять шагов один от другого. Иди, заложив руки за спину, и ни шагу вправо или влево. Иначе смерть — конвойные будут стрелять без предупреждения. У них жизнь тоже не мёд. Держат их на полуголодной пайке, чтоб злей были и строже стерегли: «Человек — дороже золота. Одной головы за проволокой недостанет — свою голову туда добавишь». И они стараются, знают, что, если убежит зэка (а бегут ведь!), не будет им тогда жизни. Знают об этом и надзиратели, и начальник лагеря и лютуют, мучают людей.

Так уж устроено человеческое общество, что на такую собачью работу подбираются и люди другие. И не люди порой, а звери. Мелкие, жестокие тираны, как Волковой. Но у Солженицына и для них находится слово понимания и даже сочувствия, хотя редко бывает в жизни, чтобы жертва пожалела своего палача.

Но не одни надзиратели и конвой отравляют жизнь зэка. Есть и другие, что из их же среды поднимаются вверх: старший в бараке, «откормленный гад» завстоловой, дневальный Хромой, стукачи, которых заключённые боятся и ненавидят. Бывает, что приходит и их терпению конец. Были случаи — находили стукачей зарезанными, а виновных не нашли...

* * *

Талантливая повесть Александра Солженицына, сказавшая о советских кацетах так, как никем ещё не было сказано, несомненно, оставит большой след в сознании читателей. Пробудит у них новые чувства и мысли. Думая над прочитанным, многие невольно зададут

себе вопрос: а кто же всё-таки за всё это должен быть в ответе? Кто виноват в том, что миллионы невинных людей были брошены в концлагеря? Кто виноват в преступной политике в отношении военнопленных? Кто должен понести наказание за доносы, по которым хватили людей и на долгие годы, а нередко и навсегда отрывали от близких, от семьи, от работы, от жизни?

К. Симонов в статье о повести Солженицына («Известия» от 18 ноября)¹ отвечает на эти вопросы одним словом: Сталин. Он виноват во всём. Сейчас уже не осталось места для оправдания его злодеяний.

Но Сталин умер, и с ним ушло тяжёлое прошлое. Спрашивать, выходит, не с кого...

Симонов — человек конъюнктурный. Не так давно он, как, впрочем, и многие другие, славословил Сталина, делая это с той же лёгкостью, с какой готов сегодня его поносить. Стоит ли удивляться, что, почуяв некую новую линию верхов, он поторопился поставить под ней свою подпись. А линия та проста: всё, что было в прошлом скверного, — валить на одного Сталина, а разоблачение его злодеяний ставить всегда в заслугу Хрущёву.

Положение в стране нелёгкое. Власть испытывает большие и разные трудности и нуждается в общественной поддержке. Поэтому со стремлениями общества Хрущёв вынужден считаться. Он отлично знает силу и широту антисталинских настроений и вынужден идти им навстречу. Всякий раз, когда общественная атмосфера сгущается и антисталинские настроения требуют каких-то новых разоблачений или гарантий, он наносит по мёртвому тирану очередной удар. Хрущёв надеется, что этим путём ему удастся укрепить свои позиции и отвести опасное движение антисталинизма от жгучих вопросов настоящего.

В наши дни идёт очередная кампания разоблачений. На этот раз она захватила и тему концлагерей. Появились очерки, рассказы, статьи, выходят даже книги об арестах, об унижении человека и его достоинства, о тюрьмах и лагерях. Талантливая и правдивая повесть Солженицына попала в благоприятную струю и только поэтому, видимо, увидела свет. Но, читая её, люди совсем необязательно ответят на возникающие у них при этом вопросы так же, как ответил на них К. Симонов. Разве один Сталин, каким бы извергом он ни был, мог совершить всё то, что стыдливо прячется сегодня под понятием культа личности? Разве осуждение преступлений одного диктатора — достаточная гарантия, что они не будут совершены другим?

¹ Симонов К. О прошлом во имя будущего // Известия. 1962. 18 ноября. См. также с. 29–31 наст. изд.

Когда рухнул нацистский режим, за преступления гитлеризма несли личную ответственность не только ближайшие помощники безумного фюрера, но и все те, кто в них соучаствовал.

Сталин опирался на своё окружение, а не только на одни карательные органы. Окружавшие его люди ему помогали, одобряли его решения, поддерживали все его желания и с готовностью шли им навстречу. Кое-что рассказал об этом XXII съезду партии сам Хрущёв. Почему же эти люди не несут за свои преступления уголовного наказания? Почему одни из них преспокойно подстригают розы и ждут своего часа, а другие до сих пор находятся на самой вершине власти? Почему?

Не можем мы забыть и о тех, кто строчил доносы, по которым сажали людей. О тех палачах и садистах (похуже и пострашнее солженицынского Волкового), которые глумились над своими жертвами. Где они? Что они сейчас делают? Может, тихо сидя в своей щели, — время такое! — они всё ещё ждут, что их услуги опять понадобятся? Почему же всё-таки их не судят, не публикуют их списки, не создают вокруг них атмосферу общественного презрения?

Нас хотят уверить, что сталинщина — это только прошлое. Тяжёлое, трагическое, но всё же ушедшее навсегда. Стоит ли беречь уже заживающие раны? Не только стоит, но жизненно необходимо. Во имя будущего. Раны ещё не закрылись — они кровоточат, они болят. И лечить их нужно правдой и такими делами, которые не только закрыли бы старые раны, но и охранили нас от новых. Нужно бороться не только с последствиями болезни, но и с самой первопричиной её. Сталинщина это не только прошлое, но и настоящее. Посмотрите вокруг, и вы повсюду в нашей стране увидите её отвратительные черты. Сталинщина — сидит во многих, в образе их мыслей, в отношении к людям, в их поведении...

Чтобы прошлое не вернулось, одних заклинаний недостаточно, как недостаточно и проклятий на голову умершего тирана. Нужны радикальные меры. Нужны большие преобразования во всей нашей общественной жизни. Нужно освободить её от всего того, что порождает диктатуры и делает возможным всё то, о чём рассказано в повести «Один день Ивана Денисовича».

Всех этих больших и сложных вопросов автор «Одного дня» не касался. Но они невольно возникли при чтении его повести. Думая над ними, мы должны были несколько отступить от литературы к вопросам политики, надеясь, что читатели не будут за это в претензии. Литература, говорящая народу всю правду, влияет и на нашу жизнь,

и на политику. А без решения больших политических проблем мы не можем сделать жизнь чище, светлее, человечнее.

Этого светлого будущего достоин народ, перенёсший такие испытания, о которых пусть не полностью, но честно и с большим мастерством рассказал Александр Солженицын.

Д. Шагаров

ПИСАТЕЛЬ НЕКРАСОВ О «РАДОСТНОЙ ВЕСТИ»¹

От спец. корреспондента «Посева»

В «Посеве» от 7 декабря сообщалось о выезде в Париж группы советских писателей в составе: К. Паустовского, В. Некрасова, А. Вознесенского и литературоведа И. Огородниковой.

Недавно в Париже перед демонстрированием фильма «Евгений Онегин» произнёс слово Виктор Некрасов — автор книги «В окопах Сталинграда», «Кира Георгиевна» и др.

— Когда я улетал из Москвы, — сказал В. Некрасов, — она была покрыта лёгким белоснежным инеем. Париж встретил меня зелёной травкой, и в этом я увидел как бы привет от всех русских, живущих здесь.

Нужно сказать, что мой первый язык был французский. Вышло так, что моя мать окончила Лозаннский университет и, будучи ребёнком, я играл здесь в парке Монсури. Только в 5 лет начал говорить по-русски.

Я приехал к вам, чтобы поделиться радостной вестью. В 11-м номере «Нового мира» появилось произведение Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Александр Исаевич Солженицын — учитель математики из Рязани.

Вы знаете, обо мне принято говорить, что я никогда не вру, и мне обычно люди верят. Так вот я вам скажу откровенно, что в моей вещи «В окопах Сталинграда» я старался показать только правду, но всё же её там только на 80–90%. А вещь Солженицына — это стопроцентная правда. Я прочёл её в рукописи — 130 стр. на машинке — и понял: родился великий писатель. Он очень правдиво, серьёзно и умно говорит о самом тяжёлом периоде в прошлом — о лагерях. Кроме того, что в своей книге он говорит о том, о чём не было принято говорить, она написана очень талантливо. С точки зрения искусства чтение этой книги — великое наслаждение, хотя, конечно, читать о лагерях неве-

¹ Посев. 1962. 23 декабря.

село. То, что он написал, — это стопроцентная правда. Эта книга будет переведена на все языки. Не только из-за сенсации, но и потому, что это — великий писатель.

Я встретился с ним, говорил. Это — человек большого достоинства.

В появлении этой вещи есть ещё одна радость: кроме нескольких стилистических поправок, вещь не подверглась никаким изменениям по политическим соображениям.

Голос из публики: — Кто он такой?

— Ему 44 года. Родился под Ростовом, окончил математический факультет Ростовского университета. Говорят, что он выдающийся педагог.

Небольшого роста, спокоен. Говорит, что был болен раком, но вылечился. Отпуск проводит далеко от знакомых мест. В этом году объездил на велосипеде Прибалтику. Отдав свою рукопись, как-то мало заботился о её судьбе. Не сидел у порога редакции, а уехал в отпуск, не оставив адреса.

Достать «Новый мир» с повестью Солженицына в Москве невозможно. Этот номер журнала был разослан подписчикам. Остальные экземпляры были брошены на Пленум ЦК. В киоски этот номер не поступал. Из-под полы продаётся в 10 раз дороже стоимости.

Голос из публики: — Где он сидел?

Некрасов пытается уйти от ответа, но потом говорит:

— Не знаю, в каком лагере сидел. Провёл там 8 лет — с 1945 по 1953 год. Он написал вещь давно, но боялся обращаться куда-либо. Дал Твардовскому, который, прочитав её, сказал: «Цель моей жизни — опубликовать эту книгу».

Второе радостное событие, которым хочу поделиться: 20 декабря должна быть сдана в прокат кинокартина «Застава Ильича». Это, быть может, ещё большее событие. Режиссёр — М. Хуциев. Его прежние картины: «Весна на Заречной улице» и «Два Фёдора». Это и есть неореализм. Я написал о нём хвалебную статью, и меня критиковали...

«Застава Ильича» — это фильм о нашей молодёжи. Её вопрос: что же дальше? как жить, чтобы не врать? В этом фильме — вся правда. Актёры играют самих себя. Это молодые, начинающие, никому не известные актеры...

Я приехал в Париж с радостным чувством, сравнивая эту поездку со своими предыдущими поездками за границу. В Италию я попал в 1957 году, сразу после событий в Венгрии. Далеко не на все вопросы мог тогда ответить. Я — коммунист, настоящий, честный, и мне было трудно объяснить, какие сложности в нашей стране. Сегодня мне ра-

достно. Всё у нас идёт по-другому. Есть театры, куда никогда нельзя достать билета. Молодёжь живёт, как ей хочется. У них настоящая демократия. Живут весело, работают, спорят до утра. Они неутомимы. Я это наблюдаю особенно среди артистов театра «Современник», который сейчас готовит к постановке пьесу Евгения Шварца «Дракон» — сказку, говорящую о серьёзных вещах. Была уже читка пьесы в театре, и все в полном восторге.

Незадолго до отъезда в Париж я был на выставке живописи в Москве, где представлены все направления. В зале выставки — дискуссии. Говорят что хотят и что думают. Раньше это не было возможно. Я слышал, как какой-то молодой человек открыто защищал абстрактное искусство, которое у нас не в почёте.

* * *

В. Некрасов — писатель гуманистического направления, стремящийся идти в творчестве своим независимым путём, и понятна его радость по поводу опубликования повести Солженицына.

Однако его разговор о наступившей в стране свободе явно преждевременен. Вот, например, о той же выставке художников в Москве, упоминанием о которой Некрасов закончил своё слово: всем ведь известно, что изрёк Хрущёв при осмотре работ художников-абстракционистов. Хрущёв сказал, и газеты это напечатали: «Такое “творчество” чуждо нашему народу, и он отвергает его». Разве проводился всенародный референдум, чтобы Хрущёв мог заявлять такое? Разве не произвол то, что все советские газеты начали по сигналу Хрущёва травить абстракционистов, а художникам абстракционистского направления и их приверженцам не дают высказаться в печати?

Не свидетельство ли о продолжающем существовать произволе само упоминание В. Некрасовым, что рукопись А. Солженицына не подверглась никаким изменениям по политическим соображениям? Значит, могла и подвергнуться?

О многом, многом другом можно было бы наполнить Некрасову, и всё это никак не подтверждало бы его «тезиса» о закончившемся в стране произволе власти.

А так слышать его очень приятно. Приятно слышать подтверждение тому, что народ и его честная, совестливая интеллигенция ведут наступление на реакционную, обанкротившуюся власть и завоёвывают себе позиции для решительной битвы за свободу.

Париж

Р. Гуль

**А. СОЛЖЕНИЦЫН И СОЦРЕАЛИЗМ:
«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹**

1

На Западе повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» пошла по пути романа Дудинцева «Не хлебом единым», романа Пастернака «Доктор Живаго» и таких политических стихов Евгения Евтушенко, как «Наследники Сталина». Вокруг повести начался «мировой шум». Её перепечатывают по-русски, она уже вышла на иностранных языках². О ней много пишут и говорят. Оправданно ли всё это? Я думаю — да. Это произведение заслуживает большого внимания. И не столько с точки зрения политической, сколько в смысле литературном.

Так же, как стихи Евтушенко, повесть Солженицына и некоторые другие произведения советской литературы — и внутри страны и во вне — сейчас «взяты на вооружение» Хрущёвской пропагандой. Внутри страны «Один день Ивана Денисовича» явно выпущен против внутренних «китайцев». Этот опасный для него клапан Хрущёв открыл ещё на XX съезде партии: запугать партию и население «призраком Сталина», призраком чисток, крови, террора времён «культы личности». И (наряду со многим другим) Хрущёв пугает и «Одним днём Ивана Денисовича». Вовне же эта якобы «разоблачительная» повесть по заданию пропаганды, вероятно, должна показать либерализм Хрущёва: поддерживайте его, а то придут консерваторы-сталинцы. И западные попутчики трактуют повесть Солженицына в нужном Хрущё-

¹ Первая публикация: Гуль Р.Б. А. Солженицын, соцреализм и школа Ремизова // Новый Журнал. Нью-Йорк, 1963. № 71. Печатается по последней авторской редакции: Гуль Р.Б. А. Солженицын и соцреализм: «Один день Ивана Денисовича» // Гуль Р.Б. Одвуконь: Советская и эмигрантская литература. Нью-Йорк, 1973. В наст. ст. текст рассказа приводится в авторском написании и выверен по изд.: Солженицын А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2006. Т. 1. — *Примеч. сост.*

² Здесь не обошлось и без «скверного анекдота». По-французски повесть Солженицына должна выйти с предисловием Пьера Дэкса. Того самого, который в 1950 г. на одном процессе в Париже — как пишет Морис Надо в «Экспресс» — выступал, утверждая, что в Советском Союзе никаких концлагерей нет, а есть трудовые колонии для уголовных, являющиеся гордостью страны социализма. По горькой иронии судьбы Александр Солженицын как раз в это время (как и миллионы других заключённых) отбывал в концлагере свой срок в восемь лет. Теперь Дэкс пишет предисловие к его повести о концлагере. Об этом бесстыдстве не стоило бы упоминать, если бы оно не было характерным для множества «прогрессивных» интеллектуалов на Западе, идущих в фарватере компартии. — *Здесь и далее примеч. Р. Гуля.*

ву направлении. Причём «установка» дана уже главным редактором «Нового мира» А. Твардовским в его предисловии к «Одному дню Ивана Денисовича»: «Эта суровая повесть, — пишет Твардовский, — ещё один пример того, что нет таких участков (!) или явлений действительности, которые были бы в наше время исключены из сферы советского художника». Какой либерализм! Так «Один день Ивана Денисовича» и вошёл в генеральную линию пропаганды Хрущёва вместе с стихами Евтушенко о мавзолее Сталина и прочем. Всё это — в плане партийных директив «на данном этапе развития», что официально и подтверждает статья В. Кожевникова в журнале «Коммунист» (№ 17). Кожевников пишет, что характерная черта советской молодой литературы — это «активное утверждение того нового, что внесли в нашу жизнь XX и XXII съезды КПСС, в том числе решительное разоблачение всех и всяческих последствий культа личности».

А «Известия» даже назвали Солженицына «подлинным помощником партии в святом и необходимом деле».

Утверждается, что эта повесть разоблачительная. Но для кого? И что она разоблачает? Для нас, людей Запада (есть и русские люди Запада), она не разоблачает решительно ничего. Правду о принудительном рабском труде и о концлагерях люди Запада знают уже несколько десятилетий. Книг, *действительно разоблачивших* эту правду, в зарубежной русской литературе много. И среди них были замечательные. Отмечу Ю. Марголина «Путешествие в страну зека», И. Солоневича «Россия в концлагере», Г. Андреева «Трудные дороги», Иванова-Разумника «Тюрьмы и ссылки». Были и другие ценные воспоминания о советских концлагерях: Безсонова, Никонова-Смородина, Чернавиных, Бойкова, Розанова, Ширяева, Петруся. На иностранных языках — Иосифа Чапского, Гёрлинга, В. Петрова, Бубер-Нейман, Сурена Саниняна и многие другие¹. Говорила о концлагерях и нашумевшая на весь мир книга Виктора Кравченко «Я выбрал свободу». Я не даю сейчас список концлагерной литературы. Я только хочу указать, что о массовых убийствах в концлагерях и о рабском труде давно известно на Западе, и в этом смысле повесть Солженицына — чрезвычайное запоздание. Правда, когда при Сталине на Западе советские концлагеря были разоблачены, Хрущёв и другие утверждали, что всё это «брехня буржуазной печати». Теперь, опубликованием повести Солженицына,

¹ В Израиле только что вышла книга бывшего видного коммуниста Иосифа Бергера «Свет в полночь». Автор провёл 20 лет в советских концлагерях. Судя по отзывам в печати, эта книга — потрясающая в смысле разоблачения коммунистических зверств.

Хрущёв берёт эти утверждения назад. Он соглашается с тем, что концлагеря *были*. Но ведь они и *есть*! Да ещё как есть! Только ещё сильнее засекречены! Где, как не в концлагере в Потьме, отбывает сейчас свой срок больная Ольга Ивинская? И сколько таких, как она, томятся в теперешних концлагерях? Сотни тысяч? миллион? миллионы? Хрущёв об этом молчит. И западный, «прогрессивный» интеллектуал, вероятно, скажет, что вопросы об этом задавать Хрущёву бестактно.

Но если людям Запада повесть Солженицына тематически ничего нового не даёт, то появление её в Советском Союзе — это совсем другое дело. Там, конечно, она сыграет свою роль потому, что в СССР до сих пор никакой правды о концлагерях не печаталось. В предисловии к этой повести А. Твардовский правильно отмечает: «Жизненный материал, положенный в основу повести, необычен в советской литературе». Да. За последние годы были кое-какие испуганные намёки и неясные бормотания на эту тему. Но сейчас есть подлинное художественное произведение — о ээка, о концлагерях. Для населения СССР в этом большое значение повести Солженицына: железный занавес над концлагерями официально приподнят. И повесть будет способствовать накоплению подспудного взрывчатого вещества в душах людей. И именно поэтому пропагандистам и журналистам Твардовский сразу же даёт «линию» для объяснений появления столь странного произведения. Непонятливым людям, оказывается, надо объяснить, что «горечь и боль» от этой повести, говорит Твардовский, «ничего общего не имеют с чувством безнадежной угнетённости». И вправду, отчего же тут угнетаться? Наоборот, повесть о массовой гибели людей, по Твардовскому, оказывается, «укрепляет чувства мужественные и высокие». Партия, стало быть, даёт разрешение: угнетайтесь, граждане, но чтобы не очень.

2

Перейдём теперь к чисто литературному разбору повести. Может быть, многие со мной не согласятся. Но мне кажется, что эта повесть заставляет всякого прийти к большим и неожиданным выводам. И самый неожиданный из них тот, что произведение рязанского учителя Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» как бы зачёркивает весь соцреализм, т.е. всю советскую литературу. Эта повесть не имеет с ней ничего общего. И в этом её большое литературное (и не только литературное) значение. Повесть Солженицына — как предвестник, как указание пути для русской литературы.

Когда я читал эту вещь, во мне всё сильнее нарастало удивление. Да откуда же она родилась, вся эта повесть? Да что это такое за чудо? И как это могло произойти? Но это произошло — повесть передо мной, я держу в руках этот ультрасоветский журнал, но читаю её. Так думал я, с интересом читая повесть Солженицына. И происхождение её для меня становилось всё яснее. Это произведение появилось в свет, минуя советскую литературу, оно вышло прямо из дореволюционной литературы. Из — «серебряного века». И в этом её сигнализирующее значение. Она, как «спутник», молниеносно прошла сквозь безвоздушное пространство сорока пяти лет советской литературопропаганды и своим появлением доказала, что, когда русская проза станет опять искусством слова, она неминуемо начнётся с момента, когда была задушена доктриной Ленина. А советская литература, отойдя в прошлое, будет только петитным комментарием для изучающих историю диктатуры.

Что же я разумею под советской прозой? Я разумею — «Разгромы», «Цементы», «Железные потоки», «Поднятые целины», «Леса», «Бури», «Хлеба», «Далеко от Москвы», «Секретаря обкома», «Как закалялась сталь» и как она не закалялась, вообще все тысячи романов и повестей, написанных с учётом требований партии и правительства. Т.е. с учётом тех заветов Ильича, которые уничтожили русскую литературу как искусство, превратив её в огазетченную литературопропаганду.

«Позиция нашей партии по идейно-художественным вопросам известна. Она изложена в трудах В.И. Ленина, в Программе КПСС и в выступлениях Н.С. Хрущёва... Партия активно проводит ленинскую политику в искусстве...» — так недавно заявил вдохновитель и покровитель искусств в Советском Союзе, теперешний идеолог Л.Ф. Ильичёв.

Эту ленинскую политику мы знаем давно. Но мне всё-таки хочется сейчас остановиться на одном трагическом эпизоде, происшедшем при самом её зарождении. Больше полувека тому назад, в 1905 году, в легальной петербургской «Новой жизни», в небольшой статейке «Партийная организация и партийная литература», Ленин так формулировал свои взгляды на литературу: «Новые условия социал-демократической работы, создавшиеся в России после Октябрьской революции, выдвинули на очередь вопрос о партийной литературе... Литература должна стать партийной... Социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип партийной литературы, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме... Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов-сверхчеловеков! Литературное дело

должно стать частью общепролетарского дела, “колёсиком и винтиком” одного единого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью партийной работы...»

Было ли это случайностью или у Валерия Брюсова был зорче глаз, но именно он тогда ответил Ленину в журнале «Весы». Брюсов писал: «“Долой писателей беспартийных!” — восклицает Ленин. Следовательно, беспартийность, то есть свобода мысли, есть уже преступление. Но в нашем представлении свобода слова неразрывно связана со свободой суждения и с уважением к чужому убеждению. Для нас дороже всего свобода исканий... Утверждаются основоположения социал-демократической доктрины как заповеди, против которых не позволены никакие возражения... Итак, есть взгляды, высказывать которые воспрещено... Тех, кто отваживаются на это, надо “прогнать”. В этом решении — фанатизм людей, не допускающих мысли, что их убеждения могут быть ложны. Отсюда один шаг до заявления халифа Омара: “Книги, содержащие то же, что Коран, — лишние, содержащие иное — вредные”... Многим ли отличается новый цензурный устав, вводимый социал-демократической партией, от старого царившего у нас до последних времён... Новый строй грозит писателям-радикалам гораздо больше: изгнанием за пределы общества, ссылкой на Сахалин, одиночеством... Такая свобода не может удовлетворять нас... “Коран социал-демократии” столь же чужд нам, как и “коран самодержавия”...»

И поскольку вы требуете ВЕРЫ в готовые формулировки, поскольку вы считаете, что истину уже нечего искать, ибо она у вас, — вы враги прогресса, вы наши враги...»

Эта переписка Ленина с Брюсовым для русской литературы была предвестником её гибели. Неожиданно для России Ленин победил. И Брюсов, как старый больной лев под ударом хлыста укротителя, полёлся в клетку партии, чтобы стать «колёсиком и винтиком». Позднее из «партийности в литературе» родился соцреализм. И на протяжении сорока пяти лет, говоря о литературе, Сталин, Жданов, Пospelов, Хрущёв, Ильичёв повторяют всё ту же затасканную, пошлую плоскопартийную мысль Ленина, по всей своей природе чуждую искусству и убивающую его, ибо (как это ни банально) искусство к политике не имеет отношения и без свободы художника не живёт.

Но, казалось бы, Ленин, Хрущёв, Ильичёв победили прочно и у Валерия Брюсова сторонников в России нет. Я говорю об открытых сторонниках, ибо тайные сторонники Брюсова в России — это всё люди подлинного искусства. Но они безмолвствуют. А вот не так дав-

но «Известия» и «Советская Россия» выступили против подпольных литературных журналов молодёжи. Это уже — открытые сторонники. И один из таких журналов — «Феникс» прорвался даже на Запад. Что в нём? Оказывается, что часть советской литературной молодёжи говорит об искусстве именно языком Брюсова. В «Открытом письме Евгению Евтушенко» А. Каранин пишет: «Всякое служение народу — осознанная или неосознанная ложь. Этим мерилом правильности пути поэта, его идейной чистоты выгодно пользоваться всяким проходимцам государственной власти, которая очень умело отождествляет себя с народом. Сколько талантов обмануто и погублено!.. Поэт не должен сливаться с государственной властью. Сливаясь с ней, он теряет свою индивидуальность, превращается в работника стандартного конвейера, цель которого — прямая апологетика государственной власти, а следовательно, и всех пороков, которые она в себе несёт...»

И словно стихами раннего Валерия Брюсова Каранину вторит известный молодой поэт:

Пускай нас мало! Мы ждём!
Мы верим! Пусть мы погибнем!
Наш час настанет!

Приведу здесь одно воспоминание. Оно относится ко второй половине двадцатых годов. Я жил в Берлине. И встретился там с приехавшей Лидией Сейфуллиной. Она тогда была в зените славы. В СССР вышло её собрание сочинений. Читали её нарасхват. Писали о ней много. На Западе её переводили. Сейфуллина действительно была талантлива. И я думаю, у неё были все данные стать в нормальное (не-революционное) время интересной писательницей. Лидия Николаевна была человеком независимым, с умом острым и резким. И вот как-то мы разговорились о «путях» советской литературы. Мало зная Сейфуллину, я всё же — очень мягко — хотел провести свою мысль о том, что настоящей литературы в советской литературе, в общем, очень мало. Сейфуллина слушала меня с недовольным лицом, и это заставило меня в своих формулировках быть ещё мягче. Но вдруг она не выдержала и раздражённо перебила: «Так что же вы думаете, что мы не понимаем, что мы только навоз для какой-то будущей литературы? — сказала она. — Что ж вы думаете, мы этого не понимаем?» Признаюсь, я был поражён определённой фразой. И я увидел, что живущая «там» Сейфуллина ощущает это гораздо острее и, конечно, гораздо сильнее, чем люди, живущие вдали. И ту же мысль, выражен-

ную гораздо легче и ироничнее, я услышал позднее от приезжавшего в Берлин Юрия Тынянова.

Со времени разговора с Сейфуллиной прошёл большой срок, без малого сорок лет. Но вот после последней войны на Запад пришла вторая, уже советская эмиграция, и среди неё писатели. И некоторые из них о советской литературе сказали то же, что в двадцатых годах сказала Сейфуллина. Поэт и беллетрист Глеб Глинка в «Новом Журнале» (кн. 35), в статье «На путях в небытие», писал: «Несомненно, что в советской литературе, начиная с периода создания Союза писателей, не найдётся такого художественного произведения, которое сам автор (оказавшись на свободе, например, перекочевав каким-либо чудом в Европу или Америку) не пожелал бы хотя бы частично выправить, переделать либо переписать заново, освободив его от той лжи, которая неминуемо присуща в той или иной дозе каждой книге в условиях сталинской диктатуры». И дальше: «С точки зрения самих авторов, в теперешней советской литературе нет ни одного полноценного произведения». А Н.И. Ульянов в «Новом Журнале» (кн. 36) в статье «После Бунина» писал: «Русская литература чувствует себя так, как, вероятно, будет чувствовать последний человек на земле, когда останется совершенно один перед лицом наступающих ледников». И о том же «пути в небытие» и о тех же «наступивших ледниках» думал М.А. Алданов, когда в «Ульмской ночи» писал: «Советская литература элементарна до отвращения». Все эти мысли о советской литературе сжал в одно Евгений Замятин, сказавший: «Я боюсь, что будущее русской литературы — это её прошлое». Именно эту правильную формулу и подтверждает повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Как литературное произведение она вся — из «прошлой русской литературы». Поэтому-то она и доказывает обречённость так называемой литературы советской.

Совершенно естественно, что за многие десятилетия ленинской «партийности в литературе», то есть нарочитого насильственного вливания в литературу некой политической «ильичёвки», писатель потерял и язык, и стиль, и свой, одному ему присущий взгляд на мир. Он пишет огазетченным языком, своих мыслей высказать не имеет права и должен подходить к миру «в общем и целом — с позиций марксизма-ленинизма».

«Наше искусство призвано вдохновлять народ на труд во имя коммунизма... и без промаха разить врагов коммунизма...» — вот, оказывается, в чём задача искусства по формулировке теперешнего идеолога при ЦК КПСС Леонида Ильичёва.

Как художник, советский писатель за эти десятилетия уничтожен. Вся советская литература пришла к элементарности, к однодумью, к одностилию, к одинаково ровному «пульсу покойника».

И вдруг в этом мире плоского однообразия рождается повесть Солженицына, по всей своей фактуре и по своему подходу к миру совершенно отличная от социалистического реализма. С кем же она смыкается? С дореволюционной прозой. И в ней не с Горьким, Буниным, Куприным, Андреевым, Зайцевым — что было бы всё-таки вероятнее. Нет, Солженицын смыкается с писателями ремизовской школы. Я отношу к ней Пильняка, Замятина, Шишкова, Пришвина, Клычкова. Это он, забеглый канцелярист и изограф Ремизов (а по советской терминологии, «мракобес», «упадочник», «декадент», «белогвардеец»), отозвался в Александре Солженицыне. Оговорюсь сразу же: я не большой поклонник этой школы и музы Алексея Михайловича. Я не его читатель, он не мой писатель. В Ремизове я любил только его аскетически-страстную посвящённость литературе. В мире для него, кроме искусства слова, ничего не было. И тут была его сила. Но чтоб ценить его, как ценили многие, — я не из их числа.

А потому мои мысли о ремизовской школе в Солженицыне лишены всякого личного пристрастия. В этой тематически страшной повести я бы больше хотел почувствовать, например, отзвуки Достоевского. Но их нет. Проза Солженицына какими-то неисповедимыми путями пришла к ремизовскому сказу. Думаю, что Ремизову было бы дорого прочесть эту превосходную русскую вещь, где бы он сразу почувствовал свои корни:

«А конвоиров понатыкано! Полукругом обняли колонну ТЭЦ, автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы оскалила, как смеётся над зэками».

«Было время, так так этого хлеба боялись, кусочка двухсотграммового на обед, что был приказ издан: каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан и в том чемодане носить весь хлеб бригадный, все кусочки от бригадников собирать. В чём тут они располагали выгадать — нельзя додуматься, а скорей чтобы людей мучить, забота лишняя: пайку эту свою надкуси, да заметь, да клади в чемодан, а они, куски, всё равно похожие, все из одного хлеба, и всю дорогу об том и думай и мучайся, не подменят ли твой кусок, да друг с другом спорь, иногда до драки».

«Вот этой минуты горше нет — на развод идти утром. В темноте, в мороз, с брюхом голодным, на день целый. Язык отнимается. Говорить друг с другом не захочешь».

«В толчее такой и одну-то миску, не расплескавши, хитро пронести, а тут — десять. И всё же на освобождённый Гопчиком конец стола поставил подносик мягонько, и свежих плесков на нём нет».

«Шухов ничего не ответил и не кивнул даже, шапку нахлобучил и вышел.

Тёплый зяблого разве когда поймёт?»

Можно удвадцатерить эти примеры совершенно ремизовского общего тона, его напева, его «наклона гласных и согласных», его конструкции фразы. И всегда, конечно, без «что», «который», «как», «которые»; очень часто с тире, для многих непривычно разрывающим фразу; и очень часто с тяжёлым словесным узлом в конце фразы, которым Ремизов (как и Солженицын) любил её завязать. Например, так: «В коечку больничную лечь бы сейчас — и спать. И ничего больше не хочется. Одеяло бы потяжелше».

Словесная ткань повести Солженицына родственна ремизовской своей любовью к словам с древним корнем и к народному произношению многих слов, как произносили их няньки, бабки, пушкинские просвирни, — *потяжелше, попустя, вдлинь, перепозднился, наоткрыте, эстолько* и пр. И ещё одно сходство: Ремизов шёл от сказа, поэтому и любил старинное слово, но он необычайно любил и уродливые, а иногда пронзительные новообразования, словосокращения — *ревком, ревтрибунал, губчека, наркомпрос, командарм, конармия*. Всё это Ремизов сразу же подхватывал в своё большое литературное хозяйство, которым прекрасно распоряжался. Недаром даже свою Обезьянью Великую Вольную палату Ремизов тут же превратил в ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛ, а её членов производил из кавалеров — в *полпреды*. Так, полпредом всея Евразии был Пётр Сувчинский. В полпреды Англии и Мексики был возведён князь Дмитрий Святополк-Мирский. И я храню, подписанную собственноручно царём обезьяньим Асыкой, грамоту в знак возведения в кавалеры обезвелволпала 1-й степени с васильками и назначения берлинским полпредом.

В словаре Солженицына — очень выразительный сплав архаики с ультрасоветской разговорной речью, смесь сказочного с советским:

«Писать теперь — что в омут дремучий камешки кидать. Что упало, что кануло — тому отзыва нет. Не напишешь, в какой бригаде работаешь, какой бригадир у тебя Андрей Прокофьевич Тюрин. Сейчас с Кильгасом, латышом, больше об чём говорить, чем с домашними». Обратите внимание на это типичное для Ремизова и его школы — «больше об чём говорить».

А вся история с коврами? Эта превосходная история рассказана очень по-ремизовски. Вот она:

«Отхожие промыслы, жена ответила, бросили давно. Ни плотники не ходят, чем сторона их была славна, ни корзины лозовые не вяжут, никому это теперь не нужно. А промысел есть-таки один новый, весёлый — ковры красить. Привёз кто-то с войны трафаретки, и с тех пор пошло, пошло, и всё больше таких мастаков — к р а с л ё й набирается: нигде не состоят, нигде не работают, месяц один помогают колхозу, как раз в сенокос да уборку, а за то на одиннадцать месяцев колхоз ему справку даёт, что колхозник такой-то отпущен по своим делам и недоимок за ним нет. И ездят они по всей стране и даже в самолётах летают, потому что время своё берегут, а деньги гребут тысячами многими, и везде ковры малюют: пятьдесят рублей ковёр на любой простыне старой, какую дадут, какую не жалко, — а рисовать тот ковёр будто бы час один, не более. <...>

Просил он тогда жену описать — как же он будет красилём, если отроду рисовать не умел? И что это за ковры такие дивные, что на них? Отвечала жена, что рисовать их только дурак не сможет: наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки. А ковры есть трёх сортов: один ковёр “Тройка” — в упряжи красивой тройка везёт офицера гусарского, второй ковёр — “Олень”, а третий — под персидский. И никаких больше рисунков нет, но и за эти по всей стране люди спасибо говорят и из рук хватают. Потому что настоящий ковёр не пятьдесят рублей, а тысячи стоит.

Хоть бы глазом одним посмотреть Шухову на те ковры...»

Эта передача письма жены Шухова о коврах не только уж по своему сказовому напеву, поговору, но и по всей выдумке про эти фантастические ковры — «и под персидский», и «с офицером гусарским» — на любой дрянной простыне — совершенно ремизовская. Примеров такого тона, языка, напева, образов, архаичных слов, всего сказового повествования из повести Солженицына можно было бы привести великое множество. Она вся на этом стоит. Но я дам только ещё один: последний.

«Оглянулся — на бригадира лицом попал, тот в задней пятёрке шёл. Бригадир в плечах здоров, да и образ у него широкий. Хмур стоит. Смефуёчками он бригаду свою не жалуется, а кормит — ничего, о большой пайке заботлив. Сидит он второй срок, сын ГУЛАГ’а, лагерный обычай знает напрожог».

Тут и «на бригадира лицом попал», и «образ широкий», и «знает напрожог», и «смефуёчки» — всё это ремизовской школы, и всё это от её речи.

Но писательское сродство Солженицына со школой Ремизова не может, конечно, ограничиваться только формой: языковой музыкальностью повествования. Оно, вероятно, по-настоящему органически глубоко. Солженицын — талантливый своеобразный писатель, и, читая его, вы чувствуете, насколько форма его повествования сращена со всей его писательско-человеческой сутью. Она прирождена ему как артисту-человеку. Свою повесть — этот однодневный сказ об Иване Денисовиче — Солженицын ведёт путём подробностей, сгущения их, их нарастания. И рассказ не идёт по большой (скажем, толстовской) магистрали, — нет, он идёт, так сказать, по периферии. Это близко к тому, что многие называют орнаментальной прозой.

И этим повесть Солженицына схожа не с прозой русских классиков-реалистов, а с прозой опять-таки «серебряного века», с прозой русских символистов. Сгущением подробностей, их нанизыванием, нагнетением Солженицын достигает нужной ему большой изобразительности. У него нет, например, даже «классического» описания наружности своего героя. Неизвестно, собственно, каков же он на вид, этот Шухов, как он «выглядит». Но вместо такого описания есть подробность — Шухов почти все зубы в концлагере от цинги потерял, больше половины, он беззубый и, когда говорит, пришепётывает. И вот этого Шухова по этому пришепётыванию вы видите. Солженицын не говорит нам подробно не только уж о его биографии, но и о характере Шухова. Нет. Но вот каким приёмом он превосходно показывает всего Шухова. В своей концлагерной бригаде номер 104 Шухов работает, они выводят стену, и в этом сгущённом описании кладки стены вы вдруг видите весь характер этого живого русского безответного «работяги» Шухова. Из кладки шлакоблока, из вывода стены вырастает характер человека. Причём процесс этой работы Шухова дан тоже, конечно, совсем не натуралистически, т.е. не соцреалистически, а тоже в стиле ремизовской школы: «Шлёп раствор! Шлёп шлакоблок! Притиснули. Проверили. Раствор. Шлакоблок. Раствор. Шлакоблок...» В приёмах изобразительности у прозаика Солженицына нет ничего общего с огазетченным многословием (так часто и пустословием!) пресловутого соцреализма. Вот, например, как чудесно Солженицын рисует двух заключённых-эстонцев:

«Два эстонца, как два брата родных, сидели на низкой бетонной плите и вместе, по очереди, курили половину сигареты из одного мундштука. Эстонцы эти были оба белые, оба длинные, оба худощавые, оба с долгими носами, с большими глазами. Они так друг за друга держались, как будто одному без другого воздуха синего не хватало».

Обратите внимание на этот «синий воздух». Такой живописный портрет двух эстонцев — «оба белые, оба длинные...» — уж никак не похож ни на какую живопись соцреализма, а скорее на портреты Модильяни или Шагала.

Говоря об общем родстве прозы Солженицына с прозой ремизовской школы, хочется отметить даже такие мелочи. Например, выдумку интересно закрученных имён и фамилий: Шкуропатенко, синеаст Цезарь, мальчик Гопчик, Волковой. Всё это аксессуары опять-таки не соцреализма, а прозаиков-символистов. И ещё мелочь — ударения в словах. В своей прозе Ремизов придавал такое значение удареньям, что, бывало, по несколько раз писал нам в редакцию в Нью-Йорк из Парижа: чтобы, ради Бога, не забыли «проставить ударенья». И Солженицын, столь же бережно относясь к музыке русского языка, постоянно проставляет ударенья: издали попустя. Вообще, бережность к языку в этой повести — удивительная. И эта любовь к хорошему русскому языку опять-таки совершенно отрывает повесть Солженицына от газетно-обезличенного языка соцреалистической литературо-пропаганды, которая часто впадает и в «советский жаргон». Видно, современный язык режет душу Александра Солженицына, если он так говорит о теперешних москвичах: «Они, москвичи, друг друга издаля чувят, как собаки. И, сойдясь <...> лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадаются, слушать их — всё равно как латышей или румын».

У всякого настоящего писателя-художника в словарном хозяйстве всегда свой любимый подбор слов, ему более близких и дорогих. У Достоевского свой. У Бунина свой. У Ремизова свой. И у Солженицына свой, очень схожий с ремизовским: *изголится, спотычливо, гвоздить, быстрометчив, снарошки, каб, не знато, терпельник, ежедён, недобычник, обвыкать, перекособоченный, укривщице, дохрястывают, бедолага, мелочкий, чужевался* и пр. И всё это из собственного авторского словаря.

3

Казалось бы странным, что творчески чистая, искренняя повесть Солженицына, написанная без всякой «партийности в литературе», тем не менее «взята на вооружение» Хрущёвской пропагандой. Думаю всё-таки, что при внимательном рассмотрении тут ничего особенно странного нет. В журнале «Коммунист» В. Кожевников это объясняет так: «Повесть А. Солженицына, — говорит он, — глубоко и правдиво

раскрывает произвол и беззакония периода культа личности. Она выражает гуманизм нашего времени, знаменует восстановление ленинских норм жизни в нашей стране». Вот вам и Хрущёвская интерпретация. Точно так же разъясняет суть этой повести и А. Твардовский: «В этой повести нет нарочитого нагнетения ужасных фактов жестокости и произвола, явившихся следствием нарушения советской законности». Но гораздо лучше об этой повести сказал Л. Ильичёв в своём обращении к молодым писателям, художникам, композиторам, работникам кино и театра. Он сказал: «В повести, как известно, речь идёт о горьких вещах, но она написана не с упаднических позиций. Такие произведения воспитывают уважение к трудовому человеку, и партия их поддерживает». Здесь, как вы видите, партия вовсе и не осуждает концлагеря как таковые. «Так было — так будет».

И я думаю, что сейчас повесть Солженицына не только не страшна партии и правительству, напротив, до поры до времени она им даже удобна. Она искренняя, талантливая, она о страшном, всё это так, но дело-то в том, что она удобна потому, что она не о человеке. Она не об отдельном человеке с его страданиями под тоталитарной диктатурой, как у Пастернака — Юрий Живаго, плохо поддающийся «интерпретации» КПСС. Партия может смело «взять на вооружение» повесть Солженицына именно потому, что она не о личности, а о некой «массовке». Ведь Шухов — это вовсе не строптивая личность, это вовсе не потрясатель основ, вовсе не мыслящий тростник, возжелавший пуще всего по своей по глупой волюшке пожить. Нет, Шухов — это другая, старая и довольно страшная русская тема: «эти бедные селенья, эта скудная природа, край родной долготерпенья, край ты русского народа — изнурённый ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Вот она, вечная горькая русская тема, в её новом, «марксистском» варианте, воплощённая в «Одном дне Ивана Денисовича». Шухов — это тема отчаянного всенародного бедствия, но этот народ даже не ропщет, он ушёл в себя, в такую глубь себя, так зарылся туда, что ничего и не разглядишь в нём. Как будто и есть у него какой-то Бог, какая-то своя религия, а может быть, и нет её вовсе. Но если и есть, то эта своя религия очень темна, очень глуха и очень глубоко загнана внутрь, где она и светит убогим светильником только ему одному, самому Шухову.

«— Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится богу молиться. Почему же вы ей воли не даёте, а? (говорит Шухову молодой ээка, баптист Алёшка).

Покосился Шухов на Алёшку. Глаза, как свечки две, теплятся. Вздохнул.

— Потому, Алёшка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или “в жалобе отказать”. (Но Алёшка не сдаётся.)

— Вот потому, Иван Денисыч, что молитесь вы мало, плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва должна быть неотступна! И если будете веру иметь и скажете этой горе — перейди! — перейдёт.

Усмехнулся Шухов и ещё одну папиросу свернул. Прикурил у эстонца.

— Брось ты, Алёшка, трепаться. Не видал я, чтобы горы ходили. Ну, признаться, и гор-то самих я не видал. А вы вот на Кавказе всем своим баптистским клубом молились — хоть одна перешла?

Тоже горюны: Богу молились, кому они мешали? Всем вкруговую по двадцать пять сунули. Потому пора теперь такая: двадцать пять, одна мерка.

— А мы об этом не молились, Денисыч <...>.

— <...> Молиться надо о духовном: чтоб Господь с нашего сердца накипь злую снимал...

<...>

— Алёша, — отвёл он руку его, надымив баптисту и в лицо. — Я же не против бога, понимаешь. В бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите? Вот что мне не нравится.

Лёг Шухов опять на спину, пепел за головой осторожно сбрасывает меж вагонкой и окном, так чтоб кавторанговы вещи не прожечь. Раздумался, не слышит, чего там Алёшка лопочет.

— В общем, — решил он, — сколько ни молись, а сроку не скинут. Так от звонка до звонка и досидишь».

Вот она — философия Шухова. И когда, почти доходяга, этот человек-тень работает в своей бригаде № 104 — выводит стену — и вся бригада торопится закончить стену к обеду, Шухов даже загорается неким «пафосом работы». О нет, это, конечно, совсем не «пафос строительства коммунизма». Даже Ильичёв и Кожевников этот пафос так не комментируют. Нет, Шухов загорается подъёмом общей, мирской, соборной работы всем миром. Кто ж он, этот добрый, безответный, беззубый от цинги, шепелявый Шухов? Его предки давно бытуют в русской литературе — у Толстого, Некрасова, Тургенева, Григоровича, Никитина: «рад он жить — не прочь в могилку — русский мужичок». Шухов, пожалуй, даже немного Платон Каратаев. Новый Карата-

ев, с душой раздавленной и обезображенной революцией. О Шуховых Солженицын вскользь бросает очень характерное: «Там, за столом, ещё ложку не окунумши, парень молодой крестится. Значит, украинец западный, и то новичок. А русские — и какой рукой креститься, забыли». Обезображен Шухов тем, что чувства и мысли его придавлены немислимой тяжестью тоталитарного государства. «Не считая сна, лагерник живёт для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином». Но это не только ведь лагерник так живёт, это много и много шире. И стал Шухов подспуден, подполнен. Но на Шухове и Шуховых партии и правительству сидеть очень удобно: Шухов не восстанет — где там! — он не опасен лет на сто, а кто знает, может, и на все триста? «Что Шухов ест восемь лет, девятый? — пишет Солженицын. — Ничего. А ворочает? Хо-го!» А если ещё его в концлагере подкормить да дисциплину слегка спустить... хотя кто знает, может быть, «подкормить-то» как раз и опасней будет. Но Шухов и так, на голодное брюхо работает. Сорок пять лет тянут без подкорму, потянут и дальше, — вероятно, так думает «сын народа», первый секретарь и председатель совета министров.

3. Шаховская

О ПРАВДЕ И СВОБОДЕ СОЛЖЕНИЦЫНА¹

Только большое произведение может вызвать споры, и чем значительнее книга, тем значительнее разногласие по её поводу. Уже приуроченные к Солженицынскому «почерку» и к определённой тематике его творчества, многие читатели и критики были как-то захвачены врасплох тем, что им показалось в «Августе Четырнадцатого» нового или, вернее, отличного от прошлых повестей и романов. Они как-то связывали Солженицына с советской действительностью, плотью от плоти её или, вернее, духом от плоти её.

И вдруг Солженицын написал книгу о времени, которого он не знал, которого не был прямым свидетелем, да ещё модернизировал к тому же повествование, разбивая главы газетными вырезками, экранизированными иллюстрациями. И вот многие так растерялись, что не заметили, что и в «Круте первом», и в «Раковом корпусе», и в «Матрёнином дворе», и в «Одном дне Ивана Денисовича» персонаж всегда один и тот же, хоть и собирательный, — русский народ, один герой —

¹ Русская мысль (Париж). 1971. 18 ноября. Перепеч.: Слово. 1990. № 3.

Россия, одно направление: к просветлённой мудрости того, кто о них повествует.

Хотя «не нами неправда началась, не нами и кончится», но каждый из нас в этой неправде должен жить по правде, не втягиваясь душой в события, не поддаваясь чёрным страстям политики, сохраняя «живое сердце, ум свободный и правды пламень благородный» среди всех испытаний и всего зла, нас окружающего.

У Солженицына нет высокомерного желания укрыться в «башне под семью замками» и оттуда с презрением смотреть на заботы и горе людей. Наоборот, он в них всегда включён не только личной своей трагической судьбой, но и включает в них судьбу всякого человека. Кажется почти невероятным в наши дни, когда, живя иррационально, общество воображает, что оно нашло (или найдёт) разрешение всех вопросов в рациональном мышлении, что разум правит историей и законы человеческого строя независимы от законов мироздания. Солженицын утверждает обратное: «История не правится разумом», «законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей — в замысле мироздания и в назначении человека».

На личном и на всеобщем советском опыте познавший, что таит в себе неправильное и несправедливое понятие свободы, не веря, что власть или общество могут дать, или воспитать, в человеке ту внутреннюю свободу, которую никакое насилие не может от него отобрать, Солженицын образ этой внутренней и независимой от тирана свободы и несёт через все свои книги и показывает путь к ней.

Среди пустых слов и трескучих фраз о гражданских добродетелях, о революциях, о социальной справедливости, среди интриг начальства, соперничества и зависти, выступает, как антитеза, не только скромная и как будто бессильная честность и жертвенность отдельных лиц, но и весь русский народ как нечто цельное и в «темноте» своей инстинктивно ведущее свою собственную линию.

«Август Четырнадцатого» построен на свободе человека от событий. Свобода каждого в том, чтобы умно и верно, *духовно* откликнуться на эти события. Что означает разгром армии Самсонова в истории всего мира? Это только некий показатель человеческих ошибок в данном отрезке времени. И в каждую эпоху, каждую неделю, каждый день и час мы можем усмотреть такой же показатель ошибок частных лиц и правительств. Но война, как и всякий кризис (с греческого: суд), — экзамен для каждого человека. Во время кризисов вскрывается, обнаруживается истинная природа вещей и ценность или недостойность каждой личности.

Персонажи Солженицына — герои, не замеченные обществом. Они частицы главного персонажа его повестей и романов — русского народа. На вид эти частицы целого как будто ничем не отличаются от своих соседей. Они не принадлежат к тем, которые, как говорят, вершат судьбами страны и человечества. Власть их потаённая, как власть самого добра среди дерзко орущего зла. Они распространители истины и мудрости, сеятели духовных зёрен, праведники каждый в своём роде, будь то Матрёна или Костоглотов, Воротынец или Варсонофьев.

В «Августе Четырнадцатого» разрушаются современные мифы (вернее, старые мифы русских шестидесятых годов прошлого столетия, подхваченные по какому-то недоразумению западной молодёжью тех стран, где они не обнаружили ещё свою ложь). Солженицын показывает нам святое неравенство людей, неравенство выступающего в выборе каждого человека, избирающего низшую или высшую свободу, ограниченную деланием земным или неограниченную — в плане духовном.

Платон Каратаев Толстого не совсем живой человек, он — самой цельностью своего образа — литературный персонаж, праведники Солженицына никогда не литературные персонажи; как и все люди, даже святые, как апостолы Пётр и Павел, они не лишены недостатков и грехов, это тоже признак правды, а затем её антитеза: остро очерченная трагическая и вековая неправда политической жизни, её неглубинность. Вне партий, сословий и классов Солженицын показывает нам человека. Не по его политическим убеждениям судит он, а по его сущности. Есть добрые и светлые люди, есть худые и тёмные, но человек зависит не от тирана, власти или времени, а от направления своей души. Отказавшись от зависти, злобы, любостяжания, страха, человек становится свободным и облечён силой, даже если он одинок и обезоружен.

Идеи распыляются в столкновении с действительностью. В сущности, всякий, кто предпринимает какое-то дело, исхода его предвидеть не может... Беда, по Солженицыну, в том, что большинство не проникает в загадку миротворения, ограничивается словами или внешними действиями, не думая о своём собственном совершенствовании. Но только нравственным и духовным усилием открывается дверь к истине. «Познайте истину, и она сделает вас свободными».

Солженицын не навязывает читателям своего мировоззрения, об инакомыслящих он пишет мягко, скорее сожалая, что они до чего-то не дошли и поэтому не могут быть бесстрашны. Он предлагает нам

отгадать, почему «справедливость — недостаточный принцип для построения общества».

«Она не та — которую бы мы измыслили для удобного земного рая». И не важно, что «на главный вопрос и никто никогда не ответит», главное не в формулах, а в понимании тайны в ощущении её и жизни в ней.

Заслуга Солженицына в том, что он говорит нам о вечном *новыми* словами.

Мне не совсем понятно, как некоторые читатели не приняли и не поняли вот это новое звучание русского языка, пускай для нас непривычного, но творческого, — он тоже признак свободы. Не пушкинским и не советским пишет Солженицын, а тем живым, извечно меняющимся языком, который, не отрываясь от почвы, откидывая засорения советской эры, является доказательством, что жива душа русского народа, трагического, но тянущегося испокон веков к просветлению, то есть к правде и свободе.

Епископ Александр
(Семёнов-Тян-Шанский)

«ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹

27 февраля Р.С.Х.Д. устроило киносеанс, показав фильм «Один день Ивана Денисовича», сошедший с экранов в поразительно краткое время. Успех был огромный: кинотеатр был набит до отказа, многим пришлось отказать в местах.

Приводим ниже заметку, написанную епископом Александром Семёновым-Тян-Шанским для «Русской Мысли» после показа фильма.

Бывают происшествия, бывают и события. По существу, разницы между ними нет. Всё совершается, или допускается, по воле Божией, и ни один волос наш не упадёт без Божьего соизволения. Всё же в том, что мы зовём событием, легче усмотреть Божие намерение, чем в мелком происшествии.

Но мы часто настолько глухи и слепы духовно, что нужен пророческий глас, чтобы мы могли уловить промысел в происходящем. Несомненно, в творениях Солженицына слышится такой голос пророка. Поэтому его уверения сами являются событиями.

¹ Вестник Русского студенческого христианского движения (Париж; Нью-Йорк). 1972. № 106.

Событием явился и фильм — «День Ивана Денисовича». Он верен тексту Солженицына, но делает его ещё более громким.

В центре фильма прежде всего мимика прекрасного английского артиста, играющего Ивана Денисовича. На экране лицо, нет, не лицо, а лик очень среднего, самого обыкновенного человека, желания которого, вследствие долгих насилий над ним, свелись к тому, чтобы поесть, согреться, отдохнуть. Он почти всё время что-то жуёт. Но он несомненно самый подлинный человек, в котором светится образ Божий, особенно в его глазах. Можно ли забыть эти глаза? И поэтому так наглядно, так ясно становится, что этот человек, как и всякий человек в существе своём, свят, а всякое насилие над человеком — это святотатство.

Ясным становится и то, что самые простые человеческие потребности святы, т.к. свят человек. И вот поэтому, когда глядишь на экран, всматриваешься в лицо, нет, не в лицо, а в лик Ивана Денисовича, как огненная стрела пронзают сердце слова Спасителя, только что читанные в храмах в неделю «Страшного Суда», — слова о том, что благо, сделанное любому человеку, сделано действительно самому Господу, а отказ помочь человеку в его даже малой беде — это отвержение Бога.

Но в повести «День Ивана Денисовича» явлено ещё и прямое издевательство над человеком, которое (что так ярко чувствуется) есть поругание самого Христа, Его распятие.

Но мучат не одного Ивана Денисовича: хотят превратить в муравьёв, в роботов целую толпу людей, лишая этих людей не только обыкновенного хлеба, но почти и всякой возможности вкусить духовную пищу, забыв, что «не хлебом единым жив будет человек».

И вот на экране толпа таких мучеников-рабов, и всё это на фоне снежной пустыни обледенелого полярного круга. И, глядя на это, очевидным становится, что дьявол — хладен, как нам пишут святые отцы, а Бог — тепло, огонь и свет. Понятным становится и то, что даже физическое желание согреться — это уже жажда Бога и что первый человек, добывший огонь на земле, — называйте его Прометеем или иначе — был Предшественником Того, кто низвёл на землю небесный огонь в день Пятидесятницы. И это небесное пламя, пусть хотя бы в виде малого тепла, которое теплится в сердцах узников, полярный круг не угасит. Это их тёплая солидарность, которая всё же может стать жестокой в отношении доносчиков и предателей.

Всматриваясь в этот удивительный фильм, понимаешь также, что этот концентрационный лагерь, затерянный во льдах, это — образ современной России, в которой если даже теперь не все физически стра-

дают — то все обречены мёрзнуть духовно под властью оледеневших сердцем насильников. Но и больше того, весь мир, даже так называемый «свободный мир», становится постепенно снежной пустыней — мёрзнут души, замерзает совесть, об этом так громко сказал тот же Солженицын в своей Нобелевской «речи».

Но этот страшный фильм одновременно и утешает: он свидетельствует о том, что христианское искусство ещё возможно. Утешил и зрительный зал: он был полон и была в зале благоговейная тишина. А при выходе чувствовалось, как некая сердечная теплота переливалась от зрителя к зрителю. Тут были и стар и млад, люди разных организаций и церковных юрисдикций, и все молчаливо объединились, и показалось, что мы не только беженцы, а всё ещё другая, настоящая Россия, которая, может быть, ещё поможет и той России, что стала концентрационным лагерем, и, пожалуй, и стынущему во всякой неправде всему миру.

А. Оболенский

АЛЁША ДОСТОЕВСКОГО И СОЛЖЕНИЦЫНА¹

*Доклад, прочитанный 29 июня 1972 г.
на симпозиуме о Солженицыне
в Norvitch University (США)*

Приступая к обсуждению настоящей темы, я должен предупредить слушателей, что взгляды, излагаемые мной, не имеют абсолютного характера. В прямой речи автор повести «Один день Ивана Денисовича» не разъяснил подробно личность Алёши-баптиста, и поэтому я не решаюсь утверждать, что Солженицын признал бы мои доводы выражением своих мыслей. Но, несмотря на это, в чрезвычайно усечённой, схематически зарисованной личности молодого баптиста мне показалось возможным узреть образ Алёши Карамазова, попавшего в советскую действительность.

Натолкнуло меня на это и то обстоятельство, что в предисловии своего романа Достоевский говорит об Алёше как о герое будущего произведения, которое должно было, по плану автора, составить продолжение «Братьев Карамазовых».

Во-первых, я хочу коснуться самого имени «Алёша». Есть основание предполагать, что оно не случайно было дано Солженицыным

¹ Русская мысль. 1972. 7 сентября. Печатается в сокращении.

молодому баптисту. В повести многие имена наполнены смыслом: они определяют своих носителей, и этот выбор обусловлен определённым творческим процессом. Что самому художнику это было далеко не безразлично, видно из замечания Шухова: «<...> Бог шельму метит, фамильицу дал! — иначе, как волк, Волковой не смотрит!»

Возьмите Буйновского — капитан второго ранга, который буйно протестует против шмона, за что попадает в карцер. И ещё такие имена, как «шакал Фетюков» и Гопчик, который «как белка лёгкий». Все эти наименования, безусловно, подобраны автором с особым вниманием. Это даёт возможность утверждать, что и имя Алёши тоже подобрано не случайно. Оно выражает особый духовный тип человека: Человека Божьего, и этим скрепляет внутреннюю тождественность между Алёшей Карамазовым и Алёшей-баптистом, несмотря на их расхождение в пространстве и времени.

Всякое наименование, в конце концов, есть суждение, иначе говоря — всякое имя имеет свой смысл — это и составляет, как выражается отец Сергей Булгаков в своём богословском труде «Философия имени», «внутреннюю форму имени». Имя «Алёша» для юного Карамазова, так же как для молодого баптиста, облекается в одно общее понятие, перестаёт быть собственным и становится нарицательным: оно даёт особому виду человека.

О жизни героя Солженицына, в противоположность Алёше Карамазову, мы ничего не знаем. Автор нам его преподносит уже духовно сложившимся, религиозно готовым.

Относительно Алёши Карамазова мы знаем, что он стал собою только благодаря некоему духовному посвящению, озарению свыше, чуду в Кане Галилейской. Что касается баптиста, его жизнь нам представляется скорее как житие: биография, которая есть описание временного, отличается от жития, которое раскрывает духовный, вечный облик человеческого естества.

Перехожу теперь к более ощутительному сходству между этими двумя персонажами. Тон Достоевского наглядно повторяется в повести Солженицына. Порой мы находим прямое сходство в подборе прилагательных. Например, в начале повести «Один день» Алёша-баптист, «чистенький, приумытый, читал свою записную книжку, где у него была переписана половина евангелия». У Достоевского в четвёртой главе первой части (книги первой. — *Сост.*) «Братьев Карамазовых» мы находим следующие слова об Алёше: он «целомудрый и чистый». Оба автора употребляют то же качественное прилагательное для описания своих героев. Конечно, в обоих случаях мы имеем дело

с чистотой духовной, тем более что чистота в прямом смысле этого слова немыслима для Алёши-баптиста в лагерной обстановке. В той же, четвёртой главе Достоевский определяет Алёшу как «тихого мальчика», при этом он ставит эти слова в кавычки, придавая им особый переносный смысл. У Солженицына «Алёшка — тихий», но тут же автор даёт следующее пояснение: «над ним не командует только кто не хочет».

У Алёши-баптиста, как и у Алёши Карамазова, одинаково развита способность воспринимать красоту природы в религиозном смысле. Например, символика солнца имеет особое значение для обоих героев.

В своей обстоятельной статье «Преображение мира — природа в творчестве Достоевского» проф. Плетнёв, отводя значительное место символике солнца, пишет: «Изучая отзывы писателя о природе, прислушиваясь чутко к словам о мире-космосе и о человеке, мы приближаемся к глубине религии». И действительно, солнечный луч имеет религиозное значение для Алёши Карамазова. Вспомним его первое детское полусознательно-духовное переживание: «<...> он запомнил один вечер, летний, тихий, отворённое окно, косые лучи заходящего солнца (косые-то лучи и запомнились всего более)».

В пятой главе (книги первой. — *Сост.*), «Старцы», Достоевский возвращается к этому образу: «Может быть, подействовали и косые лучи заходящего солнца пред образом, к которому его притягивала его кликуша мать». Значение религиозно-космического образа солнца можно также подметить у Солженицына: «<...>солнце встаёт большое, красное, как бы во мгле. <...> Алёшка смотрит на солнце и радуется, улыбка на губы сошла».

И ещё одно сравнение. У Солженицына: «<...> и вышла колонна в степь, прямо против ветра и против краснеющего восхода. Голый белый снег лежал до края, направо и налево, и деревья во всей степи не было ни одного». Тут невольно приходят на ум слова Достоевского в главе «Кана Галилейская», когда Алёша засыпает в келье старца, у гроба его: «А дорога... дорога-то большая, прямая, светлая, хрустальная, и солнце в конце её».

И Алёша-баптист радуется солнцу, несмотря на холод, лёд и молчание. Он сияет любовью и кротостью сквозь муки и ужас лагерной жизни. Тут вспоминаются напутственные слова Зосимы молодому Карамазову: «Много несчастий принесёт тебе жизнь, но ими-то ты счастлив будешь, и жизнь благословишь». И действительно, мне чудится, что Алёша-баптист исполняет великое послушание, возложенное на Алёшу Карамазова. «Баптист, — пишет Солженицын, —

читает евангелие не вовсе про себя, а как бы в дыхание <...>» (вспомните слова, которые поют в церкви: «Всякое дыхание да хвалит Господа»). И Солженицын продолжает: «Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй бога за такую участь».

* * *

В седьмой главе (книги второй. — *Сост.*) «Братьев Карамазовых», «Семинарист-карьерист», Зосима в своём предсмертном напутствии опять обращается к Алёше: «Горе узришь великое, и в горе сем счастлив будешь. Около братьев будь. Да не около одного, а около обоих».

Относительно этих последних слов я вполне разделяю мнение, согласно которому образцы Димитрия и Ивана Карамазовых являются в какой-то мере воплощением всего русского народа в его безудержности, безбрежности, так же как и в его исканиях, падениях, сомнениях и муках.

Митя — заносчивый и кроткий, жалкий и дерзкий грубиян, минутами почти преступник, способный плакать, каяться и нести свой крест. Иван, прототип русского интеллигента и русских мальчиков, спорящих о Боге, о душе, о добре, о зле, — софист и диалектик, мученик идеи, и его атеистический аморализм: Иван, томимый постоянной и жгучей метафизической и религиозной жадой и которому дороги «клейкие распускающиеся весной листочки». Сколько в этих чертах есть общерусского!

Около них, своих двух братьев, и должен остаться Алёша. И тут приходит на ум, что и Алёша-баптист служит в лагере своим братьям во Христе и исполняет великое послушание, возложенное на юного Карамазова. «Безотказный этот Алёшка, — пишет Солженицын, — о чём его ни попроси».

Слово «безотказный» означает, что Алёша всегда живёт для других. Он преодолевает ограниченность личности самоотречением и тем самым обретает полную внутреннюю свободу.

Он разъясняет Шухову сущность своего отношения к свободе, и осторожный, осмотрительный Шухов, движимый утилитарной моралью лагерного общежития, в первый раз «раздумался», «уж сам он не знал, хотел он воли или нет». Солженицын прибавляет: «Не врёт Алёшка, и по его голосу и по глазам видать, что радый он в тюрьме сидит».

В образе Алёши Солженицын создал подлинного христианина, хотя его религиозность отправляется не от православного предания. Его духовное сознание не ограничивается рамками одного только из христианских исповеданий. Формально он принадлежит к баптистской общине, которая по своему существу является монашеской, если понимать это слово в его духовно-реальном, а не исторически-условном смысле. (Я говорю это на основании личных впечатлений — путешествуя по Советскому Союзу в 1969 году, мне довелось в этом убедиться.) И подвиг, который несёт баптист, обычно исходит от внутренних побуждений, а не из послушания правилу, кем-то когда-то принятому и кем-то когда-то утверждённому.

Он стоит очень близко к религиозному течению «Евангельских Христиан». И тут напрашивается вопрос: не является ли евангельским всякое христианство, поскольку оно основано на Евангелии и несёт миру благу весть? Вспомним прощальные слова Зосимы монахам: «Толкуйте народу Евангелие неустанно», и Достоевский тут же продолжает: «<...> многие дивились словам его и видели в них тьму». Эти слова, по-моему, не относятся исключительно к Ферапонту, а имеют более обобщающее значение.

Как пишет Н. Лосский в своём труде «Достоевский и его религиозное миропонимание»: «Без сомнения, Достоевский полагает, что единство Церкви должно основываться не на подчинении внешнему авторитету, а на принципе соборности». Тут можно заметить, что в известном смысле тема Евангелия — не одиночество, а община.

По характеру своей религиозности Алёша-баптист стоит очень близко к учению Зосимы и к вере молодого Карамазова. Этот религиозный образ стоит особняком от двух противоположных и весьма распространённых типов: с одной стороны, проповедников свободы совести из интеллигентного индифферентизма, с другой — насильников совести из религиозного фанатизма, способных во имя общего благочестия причинить зло личности.

И тут мы сталкиваемся с тем духовным движением, которое носит довольно расплывчатое, ещё не вполне оформленное название «христианский социализм». По этому поводу я должен сделать короткое отступление — я вполне понимаю, что многим представителям зарубежного русского общества, видящим цель своей жизни в протесте против коммунизма, слово «социализм» неприятно коробит слух. Но отказываться от традиционных словесных означенваний на том основании, что они были употреблены и по сей день употребляются в

ложном смысле, неправильно. Иначе пришлось бы отбросить многие определённые словесные концепты.

Идею религиозного социального служения можно найти в писаниях Достоевского. Н. Лосский говорит, что его «консерватизм как-то странно, причудливо переплетается в нём с мятежными и бунтарскими порывами». Н. Бердяев также отмечает, что «в теократической утопии Достоевского можно найти элементы христианского анархизма и христианского социализма».

Здесь, конечно, я не имею в виду тот слащавый, лицемерный и безбожный социализм, который исповедует, наподобие Руссо, что человек по природе добрый и что портят его лишь общественные условия.

Я также не говорю о том «розовом православии», которым, со злой насмешкой, К. Леонтьев укорял Достоевского. Грядущий религиозный социальный пафос прорывается в связи с Алёшей в следующих словах самого автора: «<...> и будут любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все как дети Божии. Вот что грезилось сердцу Алёши». Эта тема также проскальзывает и в Дневнике Писателя, от 1877 г., май—июнь, где можно найти следующие слова: «Человечество должно объединиться духовно и внутренне и только потом в Христе и социально».

Именно в образе и поучениях старца Зосимы и обрисовывается в общих чертах этот новый религиозный путь, путь иночества в миру, то есть путь социального служения. Руководящим началом для более точного обсуждения этого вопроса должны послужить слова Миусова, который говорит о том, как относится какой-то чиновник французской полиции к революционерам: «Мы, собственно, этих всех социалистов-анархистов, безбожников и революционеров не очень опасаемся. Но есть из них, хотя и немного, несколько особых людей: это в Бога верующие и христиане, а в то же время и социалисты. Вот этих-то мы больше всех опасаемся, это страшный народ. Социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника».

Тут напрашивается вопрос: каковы же мысли самого Достоевского? О них можно судить из ответа отца Паисия на слова Миусова: «<...> то есть вы их прикладываете к нам, и в нас видите социалистов? — прямо и без обиняков спросил отец Паисий». Достоевский обрывает этот разговор приходом Димитрия Карамазова. Но намёк дан, хотя писатель ничего не утверждает окончательно. Возможность разрешения этого вопроса остаётся открытой.

Богоборческое коммунистическое правительство, наподобие французского чиновника, поняло, что наибольшую опасность для его раз-

рушительной деятельности представляют не политические соперники, а смиренные праведники, которые борются силой Христовой любви, силой правды и молитвы. Этот религиозный социализм, к которому принадлежит Алёша-баптист, возникает как новое религиозное течение, не совсем сходное с прежним понятием о сектантстве. Это течение не связано ни с каким государственным иерархическим строем; оно и опаснее для правительства, чем угнетённое, но покорное иерархическое священство. У этого сравнительно нового религиозного течения нет духовного вождя, которым можно управлять, нет церковных представителей, которых можно обуздать, нет храмов, которые можно закрыть или уничтожить. В этом и состоит его опасность.

Перед тем как заключить, я коснусь разговора между Алёшей-баптистом и Шуховым относительно «попов» — только коснусь, так как не имею достаточно данных для его подробного рассмотрения. Это сложный и болезненный вопрос.

«Зачем ты мне о попе? — говорит Алёша-баптист. — <...> Их не сажают, потому что вера у них не твёрдая».

В России среди клира есть много мучеников и подвижников, но есть много отступников и предателей. К этим последним и относятся слова Алёши.

Состояние совести представителей государственной Церкви в СССР скрыто от нас. Только гонимые и преследуемые за веру, живущие в царстве красного мрака, имеют право на голос. Этим, мне кажется, и оправдываются слова баптиста, а тем более слова самого Солженицына, который в своём великопостном письме кладёт печать тяжёлого осуждения на главу внешнего церковного авторитета. Но мне представляется, что это письмо не есть расправа или отмщение, а скорее крик мирянской души, болеющей по Церкви.

Достоевский, как и Солженицын, в лице своих героев показывает нам, как чистое и высокое должно войти в соприкосновение с загрязнённым и низким. В этих образах раскрывается определённая связь, определённая соборность религиозной совести.

Да, как будто оправдались отрицательные пророчества Достоевского, попоран и поруган его идеал. Но, поскольку будут жить Алёши, Матрёны и сам Александр Исаевич Солженицын, багровая тьма не овладеет Светом. В этом мы можем найти и утешение, и надежду, и призыв.

Р. Плетнёв

ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА¹

Творчество Солженицына больше известно за границей, чем на родине писателя. Два главных, до сих пор, романа, «Раковый корпус» и «В круге первом», в СССР не были официально напечатаны. Есть сведения, вполне проверенные, что «В круге первом» было напечатано для членов КГБ в ограниченном числе экземпляров. Несколько раз в печати упоминался корреспондент советских газет Луи Виктор, тот самый, который продавал мемуары Светланы Аллилуевой немецкому журналу «Stern». Говорят, что против желания Солженицына Виктор Луи вывез за границу и рукопись «Ракового корпуса». Писатель протестовал против конфискации и вывоза на Запад, «усматривая в этом попытку провокации со стороны КГБ»². Рассказ «Правая кисть» не был напечатан в СССР и ходил в списках³. За границей он был напечатан в журнале «Грани» в 1968 г. и в «Новом Журнале» № 93 в 1969 г. Также и рассказы — стихотворения в прозе⁴, числом пятнадцать, ходили частью в списках и были напечатаны издательством «Посев» в книге «Сочинения Солженицына» во Франкфурте в 1966 г. В России известны в печатном виде — «Случай на станции Кречетовка», «Матрёнин двор», «Для пользы дела» и «Захар-Калита», благодаря редакции «Нового мира». По изумительной слаженности всех частей, по собранности силы языка, стилистическому мастерству и концентрации действия, пожалуй, выше всего «Один день Ивана Денисовича». Он принёс автору мировую известность, и он же начало его непреклонной борьбы с жестокостью и ложью сталинщины. С него и следует начать разбор и оценку творчества Солженицына.

Язык — плоть, облекающая скелет — структуру произведения. Идея — его душа, нервы и дух — стиль. Язык же есть прежде всего лексика, словарный состав и фразеология. Место и формы авторского голоса уже касаются стиля. Стиль должен быть индивидуален, язык — не всегда ярко личен. Но с первых же страниц повести мы в особой стихии языка героев и их автора. Поражает богатство, своеобразие, меткая точность и живая пластичность.

¹ Плетнёв Р. А. И. Солженицын. 2-е изд., доп. Paris: YMCA-Press, 1973. В наст. ст. цитируемый текст рассказа выверен по изд.: «Один день Ивана Денисовича» // Новый мир. 1962. № 11. — *Примеч. сост.*

² См.: Новое Русское Слово (Нью-Йорк). 1969. №. 3. — *Здесь и далее примеч. Р. Плетнёва.*

³ То же и рассказ «Пасхальный крестный ход».

⁴ Термин самого Солженицына.

«Искусство всегда современно и, действительно, никогда не существовало иначе и, главное, не может иначе существовать». Так сказал однажды в «Дневнике писателя» Ф. Достоевский. И язык Солженицына пропитан современностью, действительностью, токами своего времени. Характерная его черта — обилие просторечного народного элемента. В данном произведении, конечно, и языка, лексики каторжан-лагерников. В основном это язык Ивана Денисовича, одного из многих «русских Иванов», имя им — легион.

Следует различать в словарном составе русского языка шесть слоёв: 1) просторечно-разговорный; 2) специально-лагерный, 3) технический, 4) общелитературный, 5) архаическо-церковнославянский и 6) диалектически-местный.

Даже в тюрьме и лагерях Солженицын пристально и *вбирчиво* вникал в «Толковый словарь» В.И. Даля. Он отрицал язык штампов, язык, утративший прямую связь с народной стихией. Литературщина ему противна. Писателю хотелось знать, как народ по-своему, по чисто русскому обрабатывал, обтачивал и окатывал разные понятия и представления, описывал звуковую и вещную сторону явлений и предметов. О словаре Даля и его чтении говорит и Нержин в «Круге первом». Многие принял в свой язык писатель из литературы и прямо от народа на войне и в лагере. И вот, если сравнивать язык «Записок из Мёртвого дома» Достоевского и «Одного дня Ивана Денисовича», то сразу бросается в глаза бóльшая грубость языка в новых советских условиях каторги. И дело тут не в том, что Горянчиков у Достоевского человек интеллигентный, а в самой жизни, более трудной и нормированной. Ни о собаках, ни о бесчисленных обысках на морозе или в бараке при Николае I нет и помину. Помещения были тёплыми, работой, в общем, не угнетали. Водили и в церковь, а по пути можно было от населения и милостыньку получить. В советских условиях прежде всего чувствуются страшный *холод* и *холодная злоба*, непосильный труд, ненависть и особая ругань нового времени.

Из шести слоёв словарного состава русского языка для нас интересен первый в его связи со вторым и шестым. Повесть как бы ведётся не от имени, а через мировосприятие Ивана Денисовича Шухова¹ — простого полуграмотного лагерника из крестьян. По временам вступает авторский голос, дающий свои картинные определения. Так о кавторанге Буйновском², что это был «властный звонкий морской офицер», и подчёркивается в другом месте его *металлический* голос. Отсюда же

¹ Вероятно, Шухов от *шух*, *шуга* — мелкий лёд, сало.

² В жизни — Борис Бурковский (см.: Известия. 1964. 15 января).

и обилие народных пословиц, речений и формулировок: «бушлат» — верхняя одежда; «захватчивый» — увлекательный; «захалтырить» — удерживать, затерять; «заначить» — сделать сначала, устроить; «загнуть-ся» — умереть; «бушлат деревянный» — гроб; «загнуть» — выругать, солгать — преувеличить; «в охотку» — охотно, с радостью; «аж пока крикнет, кряхти да гнись, а упрёшься — переломишься»; «бегма бегут» — бегут во всю прыть; «балан» — бревно; «буркóтетъ» — ворчать; «баланда» — арестантская похлёбка; «блеснить» — сверкать; «блат, по блату» — протекция, благодаря связям; «бедолага» — бедняга; «вдлинъ» — вдоль; «вкалывать» — тяжело работать; «вспоясаться» — опоясаться; «грев» — огонь, тепло; «доходить, доходяга» — умирать, умирающий; «думка» — мысль; «дрын»¹ — клин, род сошника, кол; «пайка» — хлебная порция, паёк; «изгалиться» — унижить, поиздеваться; «испыток» — попытка; «качать права» — требовать законность, своё право; «гужеваться» — медлить; «кесь» — кажись, возможно; «с ей кормимся» — ею, с неё кормимся; «кондей» — арестантская тюрьма, карцер; «кум» — старший среди доносчиков, управляющий, кому доносят; «лапа, на лапу совать» — взятка, подкуп; «лезо» — лезвие, остриё; «лесоповал» — вырубка леса, работа в лесу; «магара» — восточное слово для наихудшего сорта крупы; «начкар» — начальник караула; «нажать» — съесть, проглотить; «наскорях» — в спешке; «напрожёт» — вполне, досконально; «обневолю» — невольно; «обутка» — обувь, тип лаптя; «озор» — видимая даль; «обая» — оба; «оттрагивать» — отходить, отдаляться; «паять» — ударить, дать продолжение срока каторги; «перепоздниться» — опоздать, задержаться; «падло» — гадина; «прогаркнуться» — прочистить горло, кашлянуть; «попка» — часовой на вышке; «от пуза» — сколько съешь, сколько влезет; «придурок» — бездельник, обычно по протекции; «разморчивая» — размаривающая; «рубезок, рубезочек» — тесёмка, завязка; «стучать, стукач» — доносить, доносчик; «смефуёчка» — усмешка, шутка; «самодумка» — самостоятельное решение; «тленная» — гнилая, полуистлевшая; «туфта» — жульническая видимость работы; «темнить» — путать, затемнять смысл; «ухайдакаться» — переутючиться; «фитиль, фитилёк» — ослабевший лагерник, инвалид; «чушкаться» — задерживаться, драться; «шмон» — обыск; «шурануть» — отпихнуть; «шалманом»² — беспорядочно.

Пословица, прибаутка к слову молвится, к мысли приходит и её оформляет. В меру и к месту пословицы и речения в повести «Один

¹ Редкое диалектное слово.

² Редкое слово, нет у Даля.

день Ивана Денисовича». Найдёт ли кусок старой ножовки Иван Денисович, вспомнит: «Запасливый лучше богатого». Крикнет начальство, и страх в костях: «Битой собаке только плеть покажи». Не весь хлеб сразу съест: «Брюхо — злодей, старого добра не помнит, завтра опять спросит». У В. Даля читаем: «Брюхо — злодей: старого добра не помнит, что ни день, то есть давай». Из Даля же, вероятно, и о «волчьем солнышке» — месяце. Спорит Шухов с капитаном Буйновским, куда старый месяц девается. Оглянулся как-то к ночи Шухов, «<...> а месяц-то, батюшка, нахмурился багрово, уж на небо весь вылез. И ущербляться, кесь, чуть начал. <...> старый месяц бог на звёзды крошит. <...> Звёзды-те от времени падают, пополнять нужно». У Даля — «ветхий месяц Бог на звёзды крошит... месяц светит — да не греет, только напрасно у Бога хлеб ест». Источник — Даль, но всё по особому, всё по Ивану Денисовичу: месяц — *батюшка, нахмурился багрово*, на небо *весь вылез*; Бог *пополняет* звёзды крошками от месяца. Всё задышало новой жизнью в словах простого, наивного лагерника. Иные пословицы получили переосмысление: не «Сытый голодного не разумеет», а «Тёплый зяблого разве когда поймёт?» Лютая стужа лагеря переделала поговорку в этом страшном каторжном мире, где «Кто кого сможет, тот того и гложет», — «Пожале-ет вас батька уса-тый!». А может быть, прав бригадир Тюрин? «Всё ж ты есть, создатель, на небе. Долго терпишь да больно бьёшь».

Ругань, брань — дело обычное. Теперь особенно часто в жизни, в войсках, на работах слышна непрерывная руготня, мат стоит в воздухе СССР. Но в общем Иван Денисович и его автор скупно передают, часто и эвфемистически, сочно-отвратительную брань: «сто тебе редек в рот!», «сволочь хорошая!» — отъявленная, «недотыка хренова», «чума», «шкодник», «сука позорная», «шушера», «мерзотина», «падло», «блевотина», «паскуда», «стервоза», «сучье вымя». Иногда матаются длинной фразой: «<...> и в мать их, и в отца, и в рот, и в нос, и в ребро. Как пятьсот человек на тебя разъярятся — ещё б не страшно!»

1. ЖИЗНЬ

Люта, страшна, голодна, томительна жизнь в холоде на изматывающей работе лагеря. И никто до Солженицына не сумел её описать так, что ощутимо близка стала и тому, кто в лагере полярном и не сидел. Прекрасно рассказал о лагерях Н. Краснов-младший в «Незабы-

ваемом», живо и много поведал Б. Ширяев в «Неугасимой лампаде», да есть и «сентименты». Нарисовал жизнь в Соловках и на Севере за ключей проволокой И. Солоневич, трагична и искренна повесть Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», а всё не то, нет этой особой концентрации¹, где всё, весь «счастливый» день русского Ивана перед нами, всё — до ошупи, до хруста снега, до своей, шуховской трагедии и до мук и боли его сотоварищей. Правдиво наивное окончание — мысли Ивана Денисовича — «<...> и: слава тебе, господи, ещё один день прошёл». Прошёл «счастливый», а каков же несчастливый? — думает читатель.

«Чудно. Чудно вот так посмотреть: степь голая, зона покинутая, снег под месяцем блещет», конвоиры — оружие на изготовку, собаки кругом. Царь царей — Голод. Он всем правит. Зэк после работы «<...> вымерз, выголодал — и черпак обжигающих вечерних пустых щей для него сейчас, что дождь в сухмень <...>². Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни». «<...> Вся зона вокруг заснеженная, пустынная <...> и вышки чёрные, и столбы заострённые, под колючку. Сама колючка³ по солнцу видна, а против — нет». Если в буран «замёрзнет арестант в снегу — так пёс его ешь», не важно, а вот если убежит! Запоздал, на работе замешкался не по своей вине Иван Денисович да думает: «Темно. Страшно. <...> недосчитаются его одного на вахте, и бить будет конвой». Утром тоже: «Вот этой минуты горше нет — на развод идти утром. В темноте, в мороз, с брюхом голодным, на день целый». Ветер. -27° по Цельсию — «ни укрыва, ни грева!». Руки держа сзади, а головы опустив, пошла колонна, как на похороны. Надсмотрщики говорят: «Ничего, падлы, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить». Этим словам надзирателя из «Одного дня» вторят позднее слова охранника — Ахмаджана из «Ракового корпуса»: кормят арестантов-де напрасно, «<...> а их бы говном кормить! А работать не работают»⁴. Да неправда это! И сам, работая каменщиком, Солженицын даёт замечательное описание работы соревнующихся не за страх, а за совесть Шухова и Кильгаса. Охранник, надзиратель, придурок — смотрят, лагерники вкалывают: «Это — как положено: один работает, один смотрит». Как же живо, ловко, умело на жестоком морозе и ветру

¹ Только разве рассказы В.Г. Шаламова о Колыме и священнике не уступают повести Солженицына (см.: Новый Журнал (Нью-Йорк). № 75, 86 и 89). Сходны у двух писателей и структурные особенности ряда фраз.

² Замечание в духе крестьянского мироощущения.

³ То есть колючая проволока.

⁴ Изд-во YMCA-Press, 1968. С. 384.

работают каменщики на кладке стен! Живой труд увлекает и Шухова, и Кильгаса, и Павло, и Буйновского, и глухого Сеньку. И тот «<...> кивает — мол, дадим огоньку? Не отстанем! Смеётся». И так описана эта работа Шухова и его смены, что, несмотря на термины и специальные выражения, не скучно. Мы с увлечением и следим за работой Шухова, и думаем: кто победит в соревновании? Обо всём этом помнит писатель. На морозе да на ветру плачет нос Шухова, а в спешке «недосуг носу утереть». Работают, вкалывают бедолаги, несчастные работяги и думают. «Дума арестантская — и та несвободная, всё к тому ж возвращается, всё снова ворошит: не нащупают ли пайку в матрасе? <...>» И эту законную, отложенную, могут или начальник взять, или свой арестант украсть. Получишь за пустяк, за одно слово десять суток карцера, как и получил Буйновский. Холоден каменный мешок. Темнота. Сырость. Просидеть десять суток — туберкулёз, «на всю жизнь здоровья лишиться». А получит кто из «зверохитрого племени» пятнадцать, тот уже из карцера в жизнь не выйдет. Работа же в каждой бригаде — круговая порука: не выработала нормы, не показала процента — нет питания, нет или урезан паёк хлеба. Кто и посылки получает, так всему начальству, всем служащим надо от посылки «давать, давать и давать». Много ль и останется? Шухов-то ради жены и детей, там в селе Темгенёве, отказался от посылок. Отрёкся, а всё ждёт, что придёт посылочка. Прибегут к нему, вызовут... «Но никто не прибежал...» Чужим помогал Иван Денисович посылки получать — за них в очереди стоял. И хоть и мороз, а всё он замечал: и как от месяца «фонари везде поблекли», и фонарик над крыльцом «побалтывается», визжит на морозе. «Радужно светятся лампочки, от мороза ли, от грязи». На их харче жиреют те, другие: «завстоловой — откормленный гад, голова как тыква, в плечах аршин. До того силы в нём избывают¹, что ходит он — как на пружинах дёргается <...>. Он в одной руке тысячи *жизней держит*²». Сам — мелкая сошка, хлеборез из эков, и он сила! Но «<...> Шухову давно понятно, что, честно вешая, в хлеборезке не удержишься. Недодача есть в каждой пайке <...>». От того, как есть, жизнь зависит. Иван Денисович от пайки малу корочку себе оставляет, чтобы уже начисто всю кашу выскрести, обтереть и ни крупиночки на миске не оставить. Оттого после побудки, если есть миг, эки не дремлют, они *обмирают*: «Аж пока бригадир крикнет: “Па-дъём!”» И думает Шухов: что ж, ещё жить можно! Вон в Усть-Ижме он и цингу на лесоповале получил — сколько зубов выпало. — Пока в бараке — «молись от радости».

¹ Избыток, через край (народное выражение).

² Курсив Р. Плетнёва. — *Примеч. сост.*

2. ШУХОВ И ДРУГИЕ

За что попал Шухов в лагерь? Он — не дурак, отлично знает: «За то, что в сорок первом к войне не подготовились <...>». Был он взят в плен. Бежал, попал к своим, да по глупости сказал, что был в плену, а не в окружении. Тогда многие в плен шли. Ему идиотское начальство не поверило. Дескать, он тайное задание от немецкой разведки получил, он — малограмотный солдатик! Какое же? Ну, этого ни сам следователь, ни Шухов не могли придумать. Так и решили: задание. Дали ему десять лет. Тогда давали десятку, потом давали двадцать пять лет. А выпустят ли, когда досидит свой срок? Это не известно. Многим продолжают сроки без суда. Шухов, конечно, надеется, да не очень.

Об Иване Денисовиче Шухове и в СССР, и за границей шёл спор в газетах и журналах. Тип очень ярко описан, стоит как живой, а какой он: положительный, отрицательный или ни то ни сё, ни рыба ни мясо? Шухов, разумеется, не великий герой, но и не шкурник. Автор особенно подчёркивает чувство собственного достоинства у Ивана Денисовича. Запомнил он хорошо некогда сказанные ему слова бригадира Кузёмина: «— Здесь, ребята, закон — тайга» — закон джунглей — умри ты сегодня, а я — завтра! Гибнет стукач, гибнет опустившийся мисколиз-попрошайка. Разумный работяга может и выжить. Шухов незащищен, жилист, да не очень могуч, да и не с чего сил набрать. Он имеет и золотые руки: тапочки ли кому сшить, вылатать ли телогрейку, сделать ли из обломка стали ножик, — всё может и хочет. «<...> Богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вкруг кучи <...>» валенок, в очереди постоять за Цезаря. Ну, тогда что-то получит с него. Лишнюю, Цезарю ненужную, при посылке порцию или два кусочка сахара, два печеньица, ломтик колбасы за то, что тайно услужил запрещённым в бараке, а необходимым ножичком. Всё нужно уметь, всё подметить, всё использовать. Шухов же и плотник, и каменщик, и жестянник. Искренно он любит труд, всё заработанное. Читая письма жены, как многие зарабатывают шутя — ковры рисуют по трафарету на всякой рвани, думает про себя: «за что не доплатишь, того не доносишь». Легко, задаром получишь, даром и просадишь. Не лучше ли быть печником? Он и это рукомесло знает. Боится же, что сошлют на поселение, а не дадут ему и после срока воли и после первой десятки лет «<...> скажут, на тебе ещё одну». Шухову доступно и чувство жалости. Он пожалел и пресмыкавшегося пройдоху Фетюкова; ради детей

он ведь и от посылок отказался, он и «богатого» Цезаря Марковича «пожалел от души». Любит он и ловкача юношу Гопчика — своих-то сыновей у Ивана Денисовича не было. Даёт печенье так, просто по доброте, баптисту Алёшке, смиренно-тихому и неумелому. Деликатный Алёшка отнекивается, хоть и голоден и устал. Иван Денисович уговаривает, замечая не без гордости: «У нас нет, так мы всегда заработаем». Но тут твёрдость, цепкость нужна, глаз расчёта. Алёшка — «неумелец», «всем угождает, а заработать не может». А религия? И говорит Шухов Алёшке: «Я ж не против бога, понимаешь. В бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите? <...> сколько ни молись, а сроку не скинут. Так от звонка до звонка и досидишь». Казалось бы, ясно, да сложнее душа человеческая. И слабость и сила, вера и сомнения в разные моменты различны. Знает об этом автор. Вот обыск — шмон. Найдут обломок ножовки у Ивана Денисовича, и карцера ему не миновать, да и мордобоя, может быть. Испуган Шухов и «<...> возносчиво помолился про себя: “Господи! Спаси! Не дай мне карцера!”». Спасся, обрадовался и... не возблагодарил Бога, а почему — «некогда было». Сколько тут правды ничем не приукрашенной! Да, Шухов не смиренный Алёшка, кому надо и можно, и сдачи даст. Порою от слабейшего и поднос вырвет. Но не предаст, не продаст и не продастся. Высмотрит, как с гущей в котле, какие порции баланды пустой, а где хоть картошинка да сыщется. И работа, просто спешная работа его до беззаветной отдачи увлекает. И на работе он даром «не залупается» (возмущается, бунтует), тянет, сколько может, бригаде помогает. Человечен, прост и ясен образ этого русского крестьянина-лагерника. Его и жалеешь, и невольно уважаешь.

Вокруг Ивана Денисовича кипит и бьётся чёрно-грязными волнами кипуче-ненужная жизнь лагеря. Лагерники все, все почти попали так, по несчастному случаю, да по воле СМЕРШа или эмгешников. В стаде зёков есть и из ранее привилегированных морских офицеров. Тут не знавший жизни «без золотых погонов <...>, с адмиралом английским якшался, а теперь с Фетюковым носилки таскает». А вины его нет, разве что после войны прислали ему англичане подарок «В знак благодарности» за службу на ихнем корабле связистом. Ну и сцапали капитана сталинисты. И слышен внезапно голос самого автора: «Человека можно и так повернуть, и так...», и он же так, словно вскользь, о перенапрягавшемся кавторанге: «Кто быстро бегаёт, тому сроку в лагере не дожить — упарится, свалится». Не падает духом несчастный Буйновский, хоть из сил выбивается. Встретив своего брата-

интеллигента, в спор вступает о новой (в газете «Вечёрка» из Москвы прочли они) премьере Завадского. Смотрит на него Шухов и жалеет, а не понимает их разговора, ни слов о кинокартине и о том, что «гении не подгоняют тракторку под вкус тиранов!». Или что морская жизнь на картине «немножко кукольная». Зато видит Иван Денисович, как «с ног уж валится кавторанг, а тянет. Такой мерин и у Шухова был. Шухов-то его приберегал, а потом подрезался он. Шкуру с его сняли». Не так же ли подрезался и Буйновский, отстаивая права свои и сотоварищей, да в ледяной карцер и угодил. Символ этот — мерин, не случайно автор его вспомнил.

Со зрелым мастерством, чуть слова, чуть жеста, немного рассказа, и образ бригадира Тюрина врезается в память. Отчего перешиблена, искажена навек жизнь некогда бравого отличника-пулемётчика? Видите ли, докопалось начальство, что он сын кулака¹. А кто кулак? — всякий зажиточный хлебороб. Ну не кулак, так подкулачник. Весь рассказ Тюрина — сплошная трагедия. И как его без билета и без тёплого обмундирования выгнали, и как ночью он братишку увёл, чтоб блатным да уркам «на воспитание» отдать, и как прятался, как гонимый зверь. Изумителен язык его поведения о себе. В поезде укрыли его на время студентки в своём купе. Рискнули, доброту показали. Постукивал поезд. Пробегали полустанки, семафоры. Вспоминает юных, неопытных девушек уже матёрый бригадир: «На столике у них маслице да фуяслице, плащи на крючках покачиваются, чемоданчики в чехолках. *Едут мимо жизни, семафоры зелёные²...*» Как всё чужим глазом подмечено и как зорко и метко о них — семафоры зелёные! В рассказе бригадира Тюрина есть одна мысль, близкая Солженицыну, — мысль об отмщении Бога ли, Судьбы ли злу, злодеям, палачам. Так вспоминается Тюрину, что и злого комиссара и командира полка в 1937–1938 годах смолола ежовская мясорубка. И тут вспоминает он изречение, как и долготерпеливый Создатель больно бьёт грешников. Эта мысль повторяется об отплате за зло, за богохульство в «Раковом корпусе», мелькает в «Правой кисти», где оплачено тому, кто в 1921 году³ «состоял в славном -овском губернском Отряде Особого Назначения имени Мировой Революции и *своей рукой* много порубил оставшихся гадов». Не спит Немезида и в «Круге первом».

¹ По советской статистике, в 1928 г. было 5 618 000 кулаков с семьями. В 1934 г. их насчитывали всего 149 000.

² Курсив Р. Плетнёва. — *Примеч. сост.*

³ Гражданская война окончилась осенью 1920 г.!

Описана и редко величаявая личность Старика, которому сидеть было навечно. Один срок кончил — другой «паяли». Старик — из непримирившихся, особенный, и о нём уже не раз Шухов слышал. Интеллигентный, гордо замкнутый. Подглядывает Иван Денисович, как Старик и ест с достоинством, чисто, красиво, как не юрит глазами, не смотрит по чужим мискам, а своё что-то видит, о чём думает. Описаны и его руки, и лысый череп. Образ незабываемо чётко и величав в трагизме неподклонности духа и тела среди пригорбленных лагерных спин.

Читатель почасту останавливается перед неожиданно метким сравнением автора. За столом ээки в своих чёрных бушлатах «<...> сидят один к одному, как семечки в подсолнухе <...>». Солнце и то разное: на морозище «играет» зло, а в тёплой конторе через окна — весело. Много их вертится вокруг Шухова, и у многих имена не случайно подобраны, во многих спрятан символ. Для настоящего писателя всегда встаёт тревожно проблема имени, фамилии, прозвища героя. А.И. Куприн мучился, как подобрать фамилию для главного героя романа «Поединок». Фамилия не давалась в руки, не мог двинуться и сам роман. Но вот жена сказала, что заходил «какой-то Ромашёв», и всё было найдено, тип оформила сущность фамилии. Не все фамилии и прозвания равно важны. Об Иване и Шухе уже была речь, а подхалим, раскисший Фетюков и есть Фетюк! Злобный надзиратель — волк и по фамилии Волковой; буйный, гордый кавторанг — Буйновский; попрыгун, вертун, жуликоватый паренёк — Гопчик; худой да высокий — Полтора Ивана. Нет, не случайны многие имена в повести и её символах.

Интересно особенное внимание Солженицына к тире для сокращения фразы и изредка для связи, а ещё также разделение на фразы для поднятия внимания читателя и для оттенения того, что в живой речи называется мелодикой интонационного единства предложения. Когда речь о почти убийстве Дэра, но всё оканчивается мирно, спад напряжения дан во всей его медленности и в графическом разделении фраз:

«И Павло с лопатой медленно пошёл вниз.

Ме-едленно...»

Медленно ложится «Один день» на душу читателя и остаётся долго-жгучим, живучим и долгим воспоминанием. И не в одном Шухове и других горюхах и бедолагах лагеря дело. Сама ритмика фраз, музыка слов своя, особая, ни с чем не сравнимая — солженицынская и глубоко русская. «Это настолько жизнь, настолько боль, что кажется, может остановиться сердце».

Д. Безруких

ТРУД НАРОДА¹

«Парадокс Ивана Денисовича»

I

Говорят, что в современной России у некоторых людей, побывавших в лагерях, можно видеть такую наколку на груди: пограничный столб «СССР — Турция», человек с котомкой, идущий в сторону Турции, и надпись: «Иду туда, где нет труда».

Не будем говорить об обманчивости представления, что «за границей» будто бы «нет труда»: в действительности за рубежом, в том числе и в Турции, подавляющее большинство людей — как бедных, так и богатых — напряжённо трудится, и, если бы меня, попавшего весной 1945 года с 1-го Украинского фронта во Францию, сейчас спросили, чем отличается жизнь за рубежом от той жизни, которая окружала меня в Советском Союзе, я ответил бы — культурой труда.

Труд... Какое отношение к труду наиболее характерно для человека в России нашего времени? Какие перемены в отношении к труду произошли в психологии русского человека за десятилетия пооктябрьской жизни? Книги Александра Солженицына, Владимира Максимова, Андрея Амальрика и др. дают много материала для размышлений на эту тему. На мой взгляд, только что поставленные вопросы являются важнейшими вопросами современной русской жизни.

Прежде всего необходимо разобраться в одном парадоксе.

Когда читаешь «Пословицы русского народа» Владимира Даля, то поражаешься, как много там народных изречений, прославляющих не труд, а лень, безделье. «Послал Бог работу, да отнял чёрт охоту»; «Дело не малина, в лес не опадёт»; «От работы не будешь богат, а будешь горбат»; «Что дело, дело не сокол — не улетит»; «Отчего кот гладок? — Поел да и на бок»; «У Бога дней впереди много: наработаемся»; «Как ни мечи, а лучше на печи»; «Пилось бы да елось, да работа на ум не шла»... В.И. Даль собирал пословицы в сороковых–пятидесятых годах прошлого века, — его сборник был опубликован в 1862 году. Крепостное право, конечно, не могло быть школой труда. Недаром среди русских пословиц есть и такие: «Господской работы не переделаешь»;

¹ Русская мысль. 1975. 19, 26 июня.

«Дадут ломоть, да заставят неделю молоть». Но вот, читая «Архипелаг ГУЛАГ», мы чуть ли не на каждой странице наталкиваемся на такие слова: «мантулить», «кантоваться», «филонить», «темнить», «раскидывать чернуху». «Усвоили эки прочно: не делай сегодня того, что можно сделать завтра, — пишет А. Солженицын. — На ээка где сядешь, там и слезешь». И добавляет: «Через все светлые рубежи наших освободительных реформ, просветительства, революций и социализма екатерининский крепостной мужик и сталинский ээк, несмотря на полное несходство своего социального положения, пожимают друг другу чёрные корявые руки».

Наряду с приведёнными пословицами, однако, находим в сборнике Даля и другие: «Труд человека кормит, а лень портит»; «Без труда не вынешь и рыбку из пруда»; «Работай до поту, так поешь в охоту»; «Сегодняшней работы на завтра не покидай». Пословицы эти напечатаны в книге Даля не отдельно, а вперемешку с предыдущими, и понятия, которые они выражают, тоже нераздельны в русской жизни, что и составляет один из её удивительных парадоксов.

Пожалуй, его можно назвать «парадоксом Ивана Денисовича». Помните, как Иван Денисович Шухов, крестьянин из деревни Темгенёво и солдат Северо-Западного фронта, работал в каторжном лагере на строительстве электростанции? Помнится, многих смутила сцена кладки стены. Например, А.И. Поплюйко, известный зарубежный журналист, напечатал статью, утверждая, что повесть «Один день Ивана Денисовича» написана «по заказу», что она лжива «прославлением» каторжного, подневольного труда. Это свидетельствует о том, как трудно постичь глубину «парадокса Ивана Денисовича».

Двенадцать лет спустя, в 1974 году, во втором томе «Архипелага ГУЛАГ», Александр Солженицын вернулся к этому парадоксу. «Как же, — пишет он, — Ивану Денисовичу выжить десять лет, денно и нощно только проклиная свой труд? Ведь он на первом же кронштейне удавиться должен! ...Такова природа человека, что иногда даже горькая проклятая работа делается им с каким-то непонятным лихим азартом. Проработав два года и сам руками, я на себе испытал это странное свойство: вдруг увлечёшься работой сам по себе, независимо от того, что она рабская и ничего тебе не обещает. Эти странные минуты испытал я на каменной кладке (иначе б не написал), и в литейном деле, и в плотницкой, и даже в задоре разбивания старого чугуна кувалдой».

Разбор Владимира Лакшина

«Непонятный азарт»... «Странное свойство»... Вот эту «непонятность», эту «странность» попытался выяснить критик Владимир Лакшин в статье «Иван Денисович, его друзья и недруги», напечатанной в журнале «Новый мир» в январе 1964 года¹. Во втором томе «Архипелага ГУЛАГ» отмечается «общее верное направление» этой статьи, с замечанием, что, конечно, статья «подцензурная». Верное направление статьи В.Я. Лакшина в том, что в ней выявляется неразрывная связь материальной и нравственной стороны труда, работы, дела. В.Я. Лакшин пишет:

«Солженицын очень тонко и последовательно отмечает эту связь материальной, так сказать, и нравственной стороны дела. Шухову на всю жизнь запомнились слова первого его бригадира, старого лагерного волка Кузёмина: “В лагере вот кто погибает — кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать”. Эти три выхода ищут для себя нравственно слабые люди, их-то и ждёт в самом деле позорное приспособление. Слова Кузёмина верны уже в том прямом и простом смысле, что, выбирая лёгкое, человек теряет сопротивляемость, и это часто приводит к физической гибели. Но ещё важнее и безусловнее тут некий нравственный закон: Кузёмин предупреждает против гибели моральной. Здоровая народная нравственность запрещает такое самоунижение, как миски лизать, — человек не должен превращаться в животное, не должен терять чувства достоинства. То же и с санчастью. Начнёшь надеяться на болезнь — глядишь, и совсем расклеился, раскис... Я уж не говорю о третьем — кто ходит к “куму”, оперуполномоченному, “стучать”: тот вовсе погибший человек, хотя в обыденном смысле его судьба может сложиться благополучно...

Шухова не берут все эти низкие соблазны, потому что другая у него основа жизни, другой, неписанный кодекс нравственности — нравственности трудового человека. Эта внутренняя основа крепка и строга у него настолько, что не расшатала и не погубила её долгие годы каторги. Он не махнул на жизнь рукой и не опустил, остался тем же работающим и честным крестьянином, солдатом, мастеровым».

Но вот вопрос: откуда у Ивана Денисовича взялся этот «некий нравственный закон», этот «неписанный кодекс нравственности»? На этот вопрос В.Я. Лакшин не отвечает, да по цензурным условиям и не может дать ответа. Возражая критикам, которые утверждали, что Александр Солженицын нарисовал «искусственный, патриархальный

¹ См. также с. 176–216 наст. изд. — *Примеч. сост.*

образ», В.Я. Лакшин писал: «У Шухова такая внутренняя устойчивость, вера в себя, в свои руки и свой разум, что и Бог не нужен ему. И тут уже несомненно, что эти черты безрелигиозности в широком смысле слова — вопреки мнению критиков, твердящих о патриархальности Шухова, — не из тех, что бытовали в народе от века, а из тех, что сформировались и укрепились за годы советской власти.

По инерции Иван Денисович ещё иной раз перекрестится — но в ад и в рай он не может верить и не верит. Он верит в себя, в свой труд, верит в товарищей по бригаде...»

Правду сказать, читая эти строки, нельзя не проникнуться жалостью к Владимиру Яковлевичу Лакшину... Бесспорно, умный человек, а вынужден писать такую чепуху! «Нравственный закон», «кодекс нравственности трудового человека», оказывается, «сформировались и укрепились за годы советской власти»... — что за чушь! Неужели В.Я. Лакшин не помнит знаменитую сцену подъёма баржи в романе Горького «Фома Гордеев»? Там показано, как задолго до советской власти работали волгари. Правда, то были не эки, не каторжники, но всё же работали они не на себя, а на хозяина. И точно так же, как Иван Денисович на кладке стены кричал «Раство-ору!», они кричали: «Ребя-а-тушки, берё-ём, давай! Разо-ом... Разо-ом...»

«Невыразимая радость»

Напомню эту сцену: надо поднять затонувшую баржу. Фома Гордеев, хозяин, стоит тут же, и его подмывает включиться в работу. Горький пишет, что «Фомой овладело странное волнение: ему страстно захотелось влиться в этот возбуждённый рёв рабочих, широкий и могучий, как река». Наконец Фома Гордеев не выдерживает, бросается в гущу:

«Невыразимая радость бушевала в нём и рвалась наружу возбуждённым криком. Ему казалось, что он один, только своей силой ворочат рычаг, поднимая тяжесть, и что сила его всё растёт. Согнувшись и опустив голову, он, как бык, шёл навстречу тяжести, откидывавшей его назад, но уступающей ему всё-таки. Первый раз в жизни он испытывал такое одухотворяющее чувство и всей силой голодной души своей глотал его, пьянел от него и изливал свою радость в громких, ликующих криках в лад с рабочими:

— Ве-есь по-ошёл, весь по-ошёл, пошё-ол!»

Когда баржу подняли, «все вокруг были радостны и довольны. Говорили: “Сто семьдесят пять тысяч пудов ровно редьку из грядки вынули!”» Кому — вынули? Не себе, а хозяину... Но, поднимая баржу,

испытали «одухотворяющее чувство». Не то же ли самое и в каторжном лагере? Там и хозяин не человек, а безличная сила и потому особенно страшная; и вместо еды там баланда... — а всё же «Раство-ору! <...> Раство-ору!». Не на себя работают ээки, но, работая, тоже испытывают порой одухотворяющее чувство. Недаром Иван Денисович, когда он засыпал «вполне удовлетворённый¹», вспомнил, как «весело» он клал стену.

Какова же природа этого «одухотворяющего чувства» и «удовлетворения»? Если мы поймём «парадокс Ивана Денисовича», то нам станет понятнее трагедия России, на народном теле которой паразитирует антинародный режим. Для выяснения «парадокса Ивана Денисовича» требуется ещё одна статья.

II

В статье «Иван Денисович, его друзья и недруги» («Новый мир», январь 1964 г.) Владимир Лакшин пишет, что это именно парадокс, «когда на картину труда жестоко-принудительного как бы наплывает картина труда свободного, труда по внутреннему побуждению». Как мы уже видели, В.Я. Лакшин в подцензурной статье не был в состоянии выяснить смысл «парадокса Ивана Денисовича». Понять этот парадокс можно лишь при условии, если мы не будем чураться религиозной мысли, религиозной философии.

У о. С. Булгакова есть статья «Народное хозяйство и религиозная личность». Впрочем, это текст доклада, прочитанного им в Московском религиозно-философском обществе в 1909 году, когда он ещё не был священником, а был Сергеем Николаевичем Булгаковым, проф.-экономистом, правда, уже прошедшим через марксизм и преодолевшим ограниченность марксизма. В этой статье разбирается вопрос, как раз интересующий нас сегодня, — вопрос о *мотивации* человеческого труда.

«Хозяйственный труд, — пишет о. Сергей, — может выполняться и исключительно под давлением необходимости, как труд “в поте лица” для пропитания; но этим только редко исчерпывается отношение человека к своему труду. Труд есть не только подневольная тягота, но включает в себя в большинстве случаев и известный этический элемент: он может рассматриваться и как исполнение религиозных или нравственных обязанностей. В связи с религиозными представлениями труд, хотя и “в поте лица”, впечатлевается, например, в сознании

¹ В тексте: «удовольненный». — *Примеч. сост.*

русского крестьянства как особое религиозное делание (насколько можно об этом судить по разным исследованиям, между прочим, и по тому собранию сельскохозяйственных поговорок и примет, которые мы находим в четырёхтомном труде Ермолова¹).

В статье «Народное хозяйство и религиозная личность» о. Сергей Булгаков приводит знаменитое латинское выражение: «Laborare est orare» — «Трудиться — значит молиться». Конечно, Иван Денисович никогда и не слышал такого выражения, но... не впитал ли он с молоком матери, не перешло ли к нему от отца и дедов понятие, что труд — это молитва? Вслед за Ключевским Булгаков говорит в своей статье о роли монастырей в хозяйственной жизни России, — монастырей XIV и XV веков, когда монашеский труд преображал «обширные лесные дебри Средней и Северной России». В докладе, повторяю, прочитанном в 1909 году, он говорил, что «монастыри были и, насколько они не изменяют своему призванию, остаются и теперь прежде всего школой труда, где, по выражению одного западного монаха, “каждый должен быть своим собственным волом”». «Жизнеописания святых как восточных, так и западных церквей, — добавляет Булгаков, — дают многочисленные свидетельства воспитательного значения монастырей в этом отношении (достаточно вспомнить, какое место труд занимает в жизни преподобного Сергия Радонежского)». Вот эту-то школу труда и прошли отчичи и дедичи Ивана Денисовича, а через них и на него русские монастыри оказали своё воспитательное значение, и он, не знающий, что такое философия, чувствует то самое, что передаёт в своих размышлениях такой русский религиозный философ, каким был о. Сергей Булгаков.

«Хозяйство есть трудовая деятельность, — пишет о. Сергей. — Оно включает в себя человеческий труд во всех его применениях, от чернорабочего до Канта, от пахаря до звездочёта. Признак хозяйства — трудовое воспроизведение или завоевание жизненных благ, материальных или духовных, в противоположность даровому их получению. Это — напряжённая активность человеческой жизни во исполнение Божественного слова: “в поте лица своего снеси хлеб свой” — и притом всякий хлеб, т.е. не только материальную пищу, но и духовную. В поте лица хозяйственным трудом не только производятся хозяйственные продукты, но создаётся и вся культура. Мир как хозяйство — это мир

¹ Имеется в виду т. 2 (Всенародная агрономия) четырёхтомного труда Алексея Сергеевича Ермолова (1846–1917), министра земледелия и государственных имуществ (1894–1905): «Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах»: В 4 т. СПб.: Тип. А.С. Суворина. 1901–1905. — *Примеч. сост.*

как объект труда, а потому и как продукт труда. Всё хозяйственное в грубом или тонком смысле утилитарно, преследует практическую цель, ограничивается интересами земного бытия. Но это несколько не мешает тому, что “хозяйство” (в широком смысле) ощущает себя как творчество и на известной высоте достижений начинает стыдиться хозяйственности своей как клейма рабства».

Ключ к пониманию

Вот теперь-то, по-моему, и становится понятен «парадокс Ивана Денисовича». В труде человек выходит из состояния рабства и — во все об этом не думая, не размышляя об этом! — перестаёт быть рабом, а становится сотворцом Бога, помощником Бога в непрекращающемся творении мира. Вот откуда веселье — творческое веселье — при кладке стены у Ивана Денисовича! Вот откуда одухотворённое чувство у волжских рабочих при подъёме затонувшей баржи в горьковском «Фоме Гордееве».

Поняв это, мы многое поймём как в прошлом России, так и в её настоящем, и это может помочь нам представить её будущее. Это чувство свойственно не только Александру Солженицыну, написавшему повесть «Один день Ивана Денисовича», а также страницы в защиту Ивана Денисовича во втором томе «Архипелага ГУЛАГ», но, например, Владимиру Максиму, для которого тоже характерно стремление перекинуть мост от прошлого к будущему России. В романе «Семь дней творения» Владимир Максимов изобразил мастерового Горшкова, который «привык в любой работе находить особое, одному ему понятное удовольствие». В том же романе выведен плотник Ваня Лёвушкин, который согласился помочь водопроводчику построить домик в углу двора между котельной и стеной соседнего здания. Вот как он приступает к делу:

«Василий никогда не видел Ивана таким торжественно-серьёзным. Будто не траншею под фундамент собирался рыть Лёвушкин, а уходил в дальнюю-дальнюю и неверную дорогу, из которой хоть и надеялся вернуться, но не наверняка. Закладную пил, как причащался. Прежде чем взяться за лопату, он со строгой лаской оглядел всех и тихо заговорил:

— Божье дело начинаем, братцы: дом. Здесь шутки шутить никак нельзя. Такое дело недоделать — грех. И — тяжкий. — Он перекрестился. — С Богом.

Работал он молча, сжав зубы, ни на лопату не отставая от могучего водопроводчика. Тот лишь покряхтывал, стараясь не уступить дошному плотнику».

Вот так же Божье дело делал весь народ, строя свой дом — Россию, придавая ей «устойчивость и вполне сносную оснастку». Глядя на Горшкова, к которому относятся вот эти последние слова, Вадим Лашков, сосед Горшкова по больничной палате, думает: «Что держит таких людей?»

Как они ухитряются не сломаться после всего пережитого? Ведь это трёхжильным надо быть, чтобы такое выдержать! Да, надо быть трёхжильным народом, чтобы выдержать чуть ли не шесть десятилетий послеоктябрьской жизни!.. Что держит такой народ? Ответ на это может быть только один: труд народа! Как при царях, так и при комиссарах народ — как Горшков той колченогой тумбочке — придавал и придаёт своим трудом «устойчивость и вполне сносную оснастку» России.

Народ не сломлен

Большевизм паразитирует на труде народа. Как раз это свидетельствует о нравственном здоровье нашего народа. Если бы наш народ не был нравственно здоров, если бы он прогнил, то на гнили-то не долго бы прожили паразиты... У некоторых новоприбывших на Запад вошло в моду критиковать русский народ, изображать его вконец «спившимся», «разложившимся». Нет спору, народу приходится и «кантоваться», «филонить», «темнить», «раскидывать чернуху», «сачковать». В «Архипелаге ГУЛАГ» показано, как распространена «туфта». Андрей Амальрик в книге «Нежеланное путешествие в Сибирь» в высшей степени интересно и умно пишет о переменах в психологии крестьянина, «который перестал быть крестьянином, но не стал рабочим и которому всё равно, что будет с плодами его труда». Вопреки тому что писал Владимир Лакшин о советской власти, эта власть не приучает, а отучает людей от труда, — приучает, наоборот, к «туфте», и в этом, быть может, заключается самое главное преступление большевизма. Каким же крепким должно быть нравственное здоровье народа, чтобы не исчез «парадокс Ивана Денисовича».

Труд народа... Во всех его применениях — от пахаря до звездочёта, от чернорабочего до... Сергея Прокофьева! В 1937 году, в разгар ежовщины, где-то в театре к Илье Эренбургу подошёл Сергей Прокофьев и сказал: «Главное — работать. В этом спасение». Это верно для всех и на все времена. В труде — спасение народа. И в труде народа — спасение России. А паразиты... так и останутся? Если они за без малого шестьдесят лет не смогли истощить нравственную силу народа, то и не смогут, отвалятся, будут соскоблены с тела народа.

С паразитами надо бороться всячески, но их существование не должно ввергать нас в отчаяние. Народ же, народ Ивана Шухова и другого Ивана — Лёвушкина, не даёт оснований для того, чтобы в нём отчаиваться.

Г. Герлинг-Грудзинский

ЕГОР И ИВАН ДЕНИСОВИЧ¹

В одиннадцатом и последнем томе польского собрания сочинений Чехова (Варшава, 1962) находим мы «Остров Сахалин» — в первом (неполном) переводе Ирены Байковской. Послесловие Натальи Модзелевской рассказывает о возникновении этой книги.

Чехов решил ознакомиться с островом каторги в конце восьмидесятых годов. Находился он в то время в полном расцвете творчества и признания, и потому решение его удивило друзей и знакомых. Сегодня понятно, что сам писатель лучше всех видел признаки надвигающегося кризиса. Он писал и писал, но всё никак не мог достичь глубинной сути. Он чувствовал себя подобно пловцу, которого легко выносят и насильно удерживают на поверхности мелочи повседневной жизни. Он считал, что ещё не выработал себе политического, религиозного, философского мировоззрения, меняя его каждый месяц, и поэтому, по его словам, ему необходимо было перестать только описывать — как любят, женятся, рождаются, умирают, как говорят его герои. Вполне вероятно, что именно на Сахалине он надеялся дойти до сути современной российской жизни и жизни человеческой вообще. Если много лет спустя Лев Шестов был хотя бы отчасти прав, называя его рассказы «творчеством из ничего», то писателю предстояло докопаться до самых корней этого ничто. На каторге, — вроде бы говорил он перед отъездом на Сахалин, — быть может, существует одна из самых ужасающих бессмыслиц, на которые способен человек со своим предвзятым представлением о жизни и правде.

К путешествию он готовился с присущими ему добросовестностью и основательностью, слегка кокетничая «скромностью» своего писательского, врачебного и общественного положения: «Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку: не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий... Нужно

¹ Континент. 1978. № 18. Эссе Г. Герлинга-Грудзинского «Егор и Иван Денисович» было одним из первых иностранных откликов на выход «Одного дня Ивана Денисовича».

пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе». Однако он прекрасно понимал, зачем едет. В том же письме он добавлял, что «Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный или подневольный», и полагал «нас всех» ответственными за «каторжный остров». Следующее признание относится к тому же периоду подготовки к путешествию: «...благодаря тем книжкам, которые прочёл теперь по необходимости (а это были уголовные кодексы Российской империи, выписки из истории тюрем, документы о колонизации Сибири. — Г. Г.-Г.), я узнал многое такое, что следует знать всякому под страхом 40 плетей и чего я имел невежество не знать раньше».

Он выехал 21 апреля 1890 года. 10 июля он причалил к берегам острова.

Провёл он там три месяца. Почти невероятно, сколько успел он сделать за столь краткий срок. Осмотрел все тюрьмы и поселения, произвёл перепись населения острова, записал десятки разговоров, самолично организовал карточную систему опроса, которую в наши дни практикуют группы социологов и специалистов анкетирования. Доступ ему закрыт был только к политическим ссыльным. «Я... видел всё, кроме смертной казни... По воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым адом».

Он работал над книгой четыре года (с перерывами) и относился к ней как к исследованию, которым он собирался «немножко заплатить» в счёт своей задолженности перед медициной. Тем не менее «доктор» Чехов говорил, что перед отъездом «Крейцера соната» Толстого была для него событием, а теперь смешит и кажется чем-то бессмысленным. «То ли я благодаря поездке возмужал, то ли разума лишился — чёрт его знает». И в самом деле, эта смесь научного отчёта, инвентарной описи, ежегодника статистики, исследования на стыке психологии, социологии, медицины и права, которую представляет собой книга о Сахалине, могла ввести в заблуждение разве что цензора, но отнюдь не рядового читателя.

«В Корсаковском посту живёт ссыльнокаторжный Алтухов, старик лет 60 или больше, который убегает таким образом: берёт кусок хлеба, запирает свою избу и, отойдя от поста не больше как на полверсты, садится на гору и смотрит на тайгу, на море и на небо; посидев так дня три, он возвращается домой, берёт провизию и опять идёт на гору... Прежде его секли, теперь же над этими его побегамися только смеются. Одни бегут в расчёте погулять на свободе месяц, неделю, другим бывает достаточно и одного дня. Хоть день, да мой. Тоска по свободе овладевает некоторыми субъектами периодически и в этом отношении напомина-

ет запой или падучую; рассказывают, будто она является в известное время года или месяца, так что благонадёжные каторжные, чувствуя приближение припадка, всякий раз предупреждают о своём побеге начальство. Обыкновенно наказывают плетями или розгами всех бегунов без разбора, но уж одно то, что часто побег от начала до конца поражают своею несообразностью, бессмыслицей, что часто благоразумные, скромные и семейные люди убегают без одежды, без хлеба, без цели, без плана, с уверенностью, что их непременно поймают, с риском потерять здоровье, доверие начальства, свою относительную свободу и иногда даже жалованье, с риском замёрзнуть или быть застреленным, — уже одна эта несообразность должна бы подсказывать сахалинским врачам, от которых зависит, наказать или не наказать, что во многих случаях они имеют дело не с преступлением, а с болезнью.

Однако «болезнь свободы» не распространяется на всех сахалинских ссыльнокаторжных. Только один раздел книги озаглавлен, и это означает, что автор хотел как-то подчеркнуть его важность. Называется раздел этот «Рассказ Егора».

Чехов встретил каторжника Егора в доме одного чиновника, у которого снял комнату вскоре после приезда на остров. Это был сорокалетний крестьянин «с простодушным, на первый взгляд глуповатым лицом». В дом чиновника он приходил не по обязанности, но «из уважения», чтобы помочь прислуге, старухе. Мастер на все руки, он постоянно был чем-то занят, постоянно искал себе дела и спал лишь по два-три часа в сутки. Только в праздники видели его стоящим где-нибудь на перекрёстке, в пиджаке поверх красной рубахи, выпятившего живот и расставившего ноги. Это называлось у него «гулять».

Сослали его на Сахалин «за убийство». Из его простодушного и пузаного рассказа явствует, что обвинили его без всяких на то оснований и засудили безвинно, за отсутствием свидетелей. На суде ему сказали просто: «Тут все так говорят и глаза крестят, а всё неправда». На Сахалине он почти доволен своей участью. Когда его спрашивают, скучаешь ли по дому, он отвечает: «Нет. Одно вот только — детей жалко». О чём он думал, когда в Одессе его вели на каторжный пароход? «Бога молил». — «О чём?» — «Чтобы детям ума-разума послал». Почему не взял с собой на Сахалин жену и детей? «Потому что им и дома хорошо».

Наталья Модзелевская вполне справедливо пишет в послесловии: «Наитрагичнейший персонаж каторги мы встречаем в “Рассказе Егора”, записанном внешне бесстрастно. Егор — это в некотором роде собирательный образ этих нищих духом, которые не отличают уже справедливости от беззакония, которые утратили восприимчивость и к своим, и к

чужим страданиям и в ком не тлеет даже хотя бы искорки протеста. Они принимают свою участь с бесконечной покорностью; им даже удаётся быть довольными. Эта ужасающая сила инерции и покорности, как показывает Чехов, становится одной из опор, на которых держится каторга».

Для автора «Записок из Мёртвого дома» страдания осуждённых на каторгу имели характер ничем не объяснимый, были как бы ступком извечной человеческой доли; каторжники-поляки, как точно заметил Ежи Хостовец, раздражали Достоевского попытками рационального или мистического изъяснения этой доли. Для Чехова смиренное страдание Егора стало обвинением этому обществу; автор книги о Сахалине имел бы полное основание поместить на её титульном листе восклицание Маркса: «Сколь же убого общество, которое для своей защиты вынуждено звать на помощь палача!»

* * *

Шестьдесят лет спустя мы наблюдаем на каторге внука или правнука Егора, Ивана Денисовича Шухова. Послал ли ему Бог «ума-разума»? Помогла ли ему революция разобраться в своей доле? Выбил ли новый строй в нём «хотя бы искорку протеста»? Вернула ли ему новая власть «восприимчивость к своим и чужим страданиям», наделила ли его способностью «отличить справедливость от беззакония»?

Читая повесть Александра Солженицына, во всём этом можно усомниться. И самое страшное не то, что по сравнению с советским лагерем образца 1941 года, изображённым в моём «Ином мире», условия в лагере Ивана Денисовича к 1951 году значительно ухудшились, что *издевательство*¹, неслыханное и бесчеловечное издевательство над заключёнными откровенно вошло в обиход системы. Самое страшное — это короткие замечания, столь же бесстрастно записанные и мимоходом рассеянные в солженицынском тексте, как «Рассказ Егора» в книге Чехова. «Сколь раз Шухов замечал: дни в лагере катятся — не оглянешься. А срок сам — ничуть не идёт, не убавляется его вовсе». «— Подожди, кавторанг, восемь лет посидишь — ещё и ты собирать будешь» (окурки. — Г. Г.-Г.). Это верно, и «гордей» кавторанга «люди в лагерь приходили...». «Это полоса была раньше такая счастливая: всем под гребёнку десять давали. А с сорок девятого такая полоса пошла — всем по двадцать пять, невзирая. Десять-то ещё можно прожить, не околевав, — а ну, двадцать пять проживи?!» А вот фраза, завершающая повесть: «Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый». Ничем не омрачённый — это после 900 минут, из

¹ В оригинале: по-русски. — *Примеч. перев.*

которых каждая полна муки и унижения! Почти счастливый! Разве не слышатся здесь отголоски речей Егора? Только в одном его внук или правнук научился наконец «отличать справедливость от беззакония»: «А разобраться — для кого эти все проценты? Для лагеря. Лагерь через то со строительства тысячи лишние выпребает, да своим лейтенантам премии выписывает. Тому ж Волковому за его плётку. А тебе — хлеба двести грамм лишних в вечер. Двести грамм жизнью правят». Егор всё же не принуждён был отдавать жизнь за 200 грамм хлеба: в свободные минуты он стоял на перекрёстке выставив живот...

Иван Денисович «уж сам <...> не знал, хотел он воли или нет. Поначалу-то очень хотел и каждый вечер считал, сколько дней от срока прошло, сколько осталось. А потом надоело. А потом проясниться стало, что до-мой таких не пускают, гонят в ссылку. И где ему будет житуха лучше — тут ли, там — неведомо. Только б то и хотелось ему у Бога попросить, чтобы — домой. А домой не пустят...». «Отчего ты жену и детей не взял с собой на Сахалин?» — «Потому что им и дома хорошо». «Алёша <...> — говорит Иван Денисович молодому баптисту с соседней вагонки. — Я ж не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад». Раздражал немного его этот Алёша, как раздражали Достоевского каторжники-поляки: «Вишь, Алёшка, <...> у тебя как-то ладно получается: Христос тебе сидеть велел, за Христа ты и сел. А я за что сел?» Ни за что. По воле извечных страданий униженных.

В повести Солженицына только раз вспоминается о революции. Один из заключённых, кинорежиссёр Цезарь, разговаривает с товарищем по несчастью, морским капитаном Буйновским, о фильме Эйзенштейна «Броненосец “Потёмкин”». Речь идёт об известной сцене, где потёмкинцы поднимают сжатые по-бунтарски кулаки, увидев червей в мясе, — сцене, понятно, задуманной Эйзенштейном в качестве наглядной метафоры прогнившего царского строя. Буйновский говорит: «Думаю, это б мясо к нам в лагерь сейчас привезли вместо нашей рыбки говённой, да не моя, не скребя в котёл бы ухнули, так мы бы...» Так в году 1951-м новые «униженные и оскорблённые» комментируют события, из-за которых спустя пятнадцать лет после поездки Чехова на Сахалин пошатнулся царский режим.

Сколь же несчастно общество, которое для своей защиты вынуждено звать на помощь палача!

* * *

Чтение книги Чехова о Сахалине приводит нас теперь к дополнительным размышлениям. Что за поразительные времена, когда знаменитому и недужному писателю охота была целых три месяца доби-

раться к Богом и людьми забытому острову каторжников! «От Красноярска до Иркутска, — писал он с дороги, — страшнейшая жара и пыль. Ко всему этому прибавьте голодуху, пыль в носу, слипающиеся от бессонницы глаза, вечный страх, что у повозки (она у меня собственная) сломается что-нибудь, и скуку... Но тем не менее всё-таки я доволен и благодарю Бога, что Он дал мне силу и возможность пуститься в это путешествие... Многое я видел и многое пережил, и всё чрезвычайно интересно и ново для меня не как для литератора, а просто как для человека». Ещё больше увидел и пережил он «как литератор и просто как человек» на Сахалине.

В наше время обладание знанием не требует подобных усилий; тем не менее для современного «литератора и человека» оно не стало от этого делом более простым и лёгким. Десять лет тому назад в нашумевшей полемике с Камю на страницах «Тан модерн» Сартр писал: «И я считаю советские лагеря явлением недопустимым; но равно недопустимо, на мой взгляд, и то, как каждодневно использует их буржуазная пресса». Буквально то же самое сказал мне три года назад Владислав Броневский. На деле это означает, что «недопустимым» в равной мере является как существование лагерей, так и сведения о них, поскольку «не буржуазная» пресса, как правило, либо окружала их заговором молчания, либо считала вымыслом прислужников «холодной войны». Иван Денисович, таким образом, вынужден был дожидаться, когда его судьба предстанет перед трибуналом, заслуживающим большего доверия.

Благодаря повести Солженицына мы имеем сегодня такой трибунал — во главе с самим Хрущёвым. Наконец-то «единственно верная» пресса извлекает из лагерей «единственно верную» пользу. Но, хотя мы и с удовлетворением следим за заседаниями «единственно верного трибунала», — это ничего, что задержался он на четверть века, — мы не в состоянии сбить с глаз долой один давний фотоснимок 1935 года, который Борис Левицкий включил в свою прекрасную книгу «Vom roten Terror zur sozialistischen Gesetzlichkeit» («От красного террора к социалистическому благоденствию»). Книга является обзором лагерей Беломорканала (в которых, по приблизительным подсчётам, погибло триста тысяч заключённых). На первом плане — пара мастеров своего дела: Ягода с Кагановичем. Чуть сбоку, в кепке набекрень и рубашке навыпуск, с простодушным и на первый взгляд глуповатым лицом, с заложенными за спину руками и выпяченным животом, — подмастерье: Никита Сергеевич. Тоже, может стать, внук или правнук Егора.

М. Шнеерсон

ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДУШ¹

Не по рождению, не по труду своих рук и не по кры-
лам своей образованности отбираются люди в народ.
А — по душе.

Душу же выковывает себе каждый сам, год от году.
Надо стараться закалить, отграничить себе такую душу,
чтобы стать *человеком*. И через то — крупницей своего
народа.

А. Солженицын. «В круге первом»²

...«Новый мир». 1962 год. Одиннадцатый номер. Берёшь его с пол-
ки, и охватывает какое-то благоговейное чувство: в твоих руках — ча-
стица живой истории!

Одиннадцатый номер открывается стихами Межелайтиса. Там есть
такие строки:

И человек пробуждается.

.....

Ведь когда человек
хочет стать человеком,
он должен сначала проснуться...

В другом стихотворении из того же цикла речь идёт о колючей про-
волоке, которая «росла в окопах и во рвах», «вокруг тюрьмы», «над
концлагерями», которая опутала душу поэта, превратилась в его тер-
новый венок³.

Стихи Межелайтиса кажутся не случайными в журнале, где впер-
вые появилось дотоле незнакомое нам имя: *Солженицын*.

Это было поворотным событием не только в истории русской лите-
ратуры и общественной мысли, но и в истории духовного развития каж-
дого из нас. «Писать так, как писали ещё недавно, уже нельзя»⁴, — сказал

¹ Шнеерсон М. Александр Солженицын: Очерки творчества. Frankfurt a/M: Посев, 1984. С. 102–124.

² Солженицын А.И. Собр. соч.: В 20 т. Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1978–1991. Т. II. 1978. С. 133. — *Здесь и далее примеч. М. Шнеерсон.*

³ См.: Новый мир. 1962. № 11. С. 3–5.

⁴ Бакланов Г. Чтоб это никогда не повторилось // Литературная газета. 1962. 22 ноября. (См. также с. 31–35 наст. изд. — *Примеч. сост.*). Обзор критических статей о Солженицы-
не см.: Тарасова Н. Вхождение Солженицына в советскую литературу и дискуссии о нём
(Солженицын А.И. Собр. соч.: В 6 т. Frankfurt a/M: Посев, 1970–1973. Т. 6. 1973. С. 393–439).

Г. Бакланов в статье об «Одном дне Ивана Денисовича». Помнится, кто-то добавил: «И думать, как думали до Солженицына, больше невозможно!»

Многотрудный путь исканий русской интеллигенции начался, конечно, ещё раньше. Но именно «Один день Ивана Денисовича» стал новым днём для современников писателя. С тех пор прошло два десятилетия. А память о нашей первой встрече ним жива и поныне.

Когда впервые читали мы «Один день Ивана Денисовича», а затем рассказы «Случай на станции Кочетовка»¹ и «Матрёнин двор», появившиеся в первом номере «Нового мира» за 1963 год, нас втягивал в свою орбиту художественный мир каждого из этих рассказов, и связи между ними мы не ощущали. В каждом из них разворачивались настолько острые, настолько своеобразные драматические коллизии, что при первом чтении трудно было уловить какое-либо единство между ними. «Все три произведения были совершенно разными и как бы принадлежали к разным ветвям его творчества»², — писала Н. Тарасова вскоре после появления рассказов. Да и в дальнейшем вопрос об их единстве остался открытым. «Можно ли установить внутреннюю связь между этими тремя вещами? <...> — спрашивает Л. Ржевский и отвечает: — Можно, вероятно, только предположить этот путь»³.

Действительно, и герои, и события, и место действия в рассказах Солженицына совершенно различны. И всё же перед нами — как бы три акта единой драмы, связанные общим подводным течением, как бы своеобразный триптих; эти три рассказа похожи на трёхствольное дерево, корни которого переплетаются где-то в глубоких недрах земли.

Быть может, сам автор их так и не воспринимает. В третьем томе собрания сочинений он расположил все рассказы в хронологическом порядке. Поэтому «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кочетовка» и «Матрёнин двор» напечатаны не подряд, а в разных местах. Не исключено, что здесь перед нами один из тех случаев, далеко не редких, когда читательское восприятие не совпадает с авторским замыслом.

Но есть ли основания считать три рассказа Солженицына единым триптихом? Думается, есть.

Центральная тема рассказов — старая тема русской литературы: мёртвые души и души живые. «Один день Ивана Денисовича» —

¹ В журнале рассказ был озаглавлен «Случай на станции Кречетовка». В последнем собр. соч. писатель восстановил первоначальное название (см.: *Солженицын А.И.* Собр. соч.: В 20 т. Т. III. 1978. С. 328).

² *Тарасова Н.* По гоголевским заветам // *Посев.* 1963. № 39.

³ *Ржевский Л.* Творец и подвиг. Frankfurt a/M: Посев, 1972. С. 73.

рассказ о душах, оставшихся живыми даже в атмосфере Мёртвого дома. «Случай на станции Кочетовка» — рассказ о загубленных душах целого поколения, о возможности или невозможности их пробуждения. «Матрёнин двор» — поэма о душах праведных, о судьбе их в мире мёртвых душ.

Прослеживаются связи и иного рода: «Случай...» — рассказ о том, как неповинные люди попадали в лагерь; «Один день...» — о жизни в лагере; «Матрёнин двор» — о жизни после лагеря (рассказчик поселился у Матрёны, отбыв лагерный срок).

Есть и другие темы и мотивы, переходящие из рассказа в рассказ. Причём именно в «Одном дне Ивана Денисовича» можно обнаружить зёрна, из которых вырастают две другие части солженицынского триптиха. Повествование о ээке Шухове — его центральная часть.

Так, история Матрёны как бы вводит нас в мир шуховского Темгенёва, в мир колхозной деревни, который смутно рисовался в «Одном дне...» на заднем плане, где-то далеко за лагерной зоной.

Связан и «Случай...» с «Одним днём...»: и тут и там звучит тема войны. В первом из этих рассказов становится доминирующей ещё одна тема, лишь косвенно затронутая в рассказе о судьбе Ивана Денисовича. Трагическая история Тверитинова, как и история Шухова, обнажает язву, разъедающую души советских людей: язву подозрительности тотального недоверия всех ко всем.

Единую философскую основу первых трёх рассказов Солженицына заметил ещё Аркадий Белинков: «Талант и смелость Александра Солженицына проявились в том, что он <...> стал говорить голосом великой литературы, главное отличие которой от литературы незначительной в том, что она занята категориями добра и зла, жизни и смерти, взаимоотношений человека и общества, власти и личности. <...> Он написал повесть об “Одном дне” и рассказы об одном “дворе”, об одном “случае”. День, двор и случай Александра Исаевича Солженицына — это синекдохи добра и зла, жизни и смерти, взаимоотношений человека и общества»¹.

Сохранить душу живу...

Фет сравнивал поэзию Тютчева со звёздным небом: чем дольше в него вглядываешься, тем больше звёзд увидишь. Это сравнение приходит на память, когда перечитываешь «Один день Ивана Денисовича».

Впервые познакомившись с ним, мы были настолько потрясены картиной лагерной жизни, что она заслонила в нашем сознании многие другие стороны произведения. Перед нами вставали тени близких, замучен-

¹ Новый Журнал. 1968. № 93. С. 243.

ных в лагерях, мы только теперь начинали понимать всю меру их страданий, с новой остротой переживали их гибель. Ни одно произведение не вызывало такой острой боли, такого глубокого сопереживания.

Шли годы. Мы прочитали «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы» В. Шаламова. И трагедия, открытая Солженицыным в его первом печатном произведении, потускнела на фоне более страшных мартирологов. Но не только не потускнела художественная ценность «Одного дня Ивана Денисовича», — она стала со временем ещё более осязаемой. Перечитывая эту вещь, мы находим в ней такие глубины, каких не могли заметить при первом чтении.

Многое помогает понять история «Одного дня Ивана Денисовича». Вот рассказ самого Солженицына: «...как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником, и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днём. Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там всю историю лагерей — а достаточно в одном дне всё собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет всё. Это родилась у меня мысль в 52 году <...>. Ну конечно, тогда было безумно об этом думать. А потом прошли годы. Я писал роман, болел, умирал от рака». И лишь в 1959 году писатель вернулся к старому замыслу. «Сел, и как полилось! со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней»¹.

По сути дела, в воспоминаниях писателя об истории создания его произведения раскрывается одна из характерных черт поэтики Солженицына, о которой потом будут говорить многие критики: «необычайное уплотнение событий во времени»².

Черта эта особенно явственно проявилась в «Одном дне Ивана Денисовича». Сюжет рассказа ограничен узкими временными рамками: один день. Пушкин говорил, что в его «Евгении Онегине» время рассчитано по календарю. В рассказе Солженицына оно рассчитано по циферблату. Движение часовой стрелки на протяжении одного дня становится сюжетобразующим фактором.

¹ Вестник РХД. 1977. № 120. С. 136–137. Очевидно, дата 1952 г. указана здесь ошибочно. См. примеч. автора к рассказу (Солженицын А.И. Собр. соч.: В 20 т. Т. III. 1978. С. 327). (Далее ссылки на это издание приводятся в тексте в скобках с указанием на номер тома и страницы. — *Примеч. сост.*)

² См., например, статью Н. Пашина «Язык и структура “Августа Четырнадцатого”» // Новое русское слово. 1971. 21 ноября. О стремлении максимально «уплотнить материал» говорит и сам писатель (см.: Вестник РХД. № 120).

О неких временных категориях говорят и начало, и концовка рассказа. Его первые слова: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём <...>» (III, 7). Последние слова: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за вилокосных годов — три дня лишних набавлялось...» (III, 120).

То, что структура рассказа определяется движением времени, вполне закономерно. Ведь для ээка главное — срок. А срок состоит из сотен таких же дней, как и тот, что мы пережили вместе с героем рассказа. И хоть надоело ему их считать, но где-то подсознательно, в глубине души работал некий метроном, настолько точно отмерявший время, что даже три лишних дня он отметил среди сотен других.

В рассказе прослеживается жизнь ээка час за часом, минута за минутой. И — шаг за шагом. Место действия столь же важный фактор в этом произведении, как и время действия. Начало — в бараке, потом — в пределах зоны, переход по степи, строительный объект, снова зона... Движение, начатое на узком пространстве клопяной вагонки, завершается на ней же. Мир замкнут. Обзор ограничен.

Но весь этот предельно бедный микромир — только первый круг, расходящийся по воде от брошенного камня. За первым, всё дальше и дальше, расходятся другие. Время и пространство раздвигаются за пределы лагеря, за пределы одного дня. За днём встают десятилетия, за малой зоной зона большая — Россия. Уже первые критики подметили: «...лагерь описан так, что через него видна вся страна»¹. Да и судьба ээка Ц-854 становится (выражаясь словами Пушкина) воплощением «судьбы человеческой, судьбы народной».

Многочисленные детали, рассыпанные на страницах рассказа, воссоздают жизнь советской деревни². Прежде всего, мы убеждаемся, что в душе крестьянина Шухова навсегда засела неприязнь к колхозному строю и к тем, кто его навязал народу.

Вспоминает Иван Денисович, как лагерное начальство отобрало у него ботинки и как скинули их в общую кучу. И на память приходит стародавний боль: «Точно, как лошадей в колхоз сгоняли» (III, 13). Прямой оценки тут нет. Но чего стоит одно это словечко «сгоняли»! Здесь так сказано про лошадей, а в другом месте — про людей: «Тянут

¹ *Коряков Мих.* «Иван Денисович» // Новое русское слово. 1962. 23 декабря.

² На это впервые обратил внимание В. Завалишин в статье «Повесть о мёртвых домах и советское крестьянство» // Грани. 1963. № 54. Интересно отметить, что почти все приводимые далее детали не были включены автором в «облегчённый» для подцензурного издания текст и восстановлены лишь позднее в зарубежных изданиях.

же колхоз те бабы, каких ещё с тридцатого года загнали, а как они свалятся — и колхоз сдохнет» (III, 31). Выразительно и слово «сдохнет».

Немногими штрихами рисует Солженицын великую трагедию, которая обрушилась на народ в годы раскулачивания и сплошной коллективизации. Вспомним историю бригадира Тюрина. Вернувшись тайком в деревню, он узнаёт: «Отца уже угнали, мать с ребятишками этапа ждала» (III, 64). И стал сам Тюрин — работник, голова — лагерным волком, а братишка его меньшей сгинул среди блатных. Это не только трагедия одной семьи. Несколько слов — и перед нами картина общенародного горя: «Все привокзальные площади мужицкими тулупами выстланы. Там же с голоду и подыхали, не уехав» (III, 62).

Раскрывается в рассказе и современное положение деревни: «<...> жизни их не поймёшь, — размышляет Шухов. — Председатель колхоза де новый — так он каждый год новый, их больше года не держат. Колхоз укрупнили — так его и ране укрупняли, а потом мельчили опять» (III, 31).

Не только Шухов не приемлет колхозной жизни: «<...> с войны с самой ни одна живая душа в колхоз не добавилась: парни все и девки все, кто как ухитрится, но уходят повально. <...> Мужиков с войны половина вовсе не вернулась, а какие вернулись — колхоза не признают <...>» (там же).

Советские критики любили говорить, какой, мол, Иван Денисович замечательный труженик. Сцена кладки стены действительно самая светлая в рассказе. А по сути дела — едва ли не самая трагическая. Ведь в этой сцене раскрываются потенциальные силы народа, загубленные бессмысленно и жестоко. Страна теряла тружеников, на коих зиждилось её благополучие, погибал сельскохозяйственный народ. И Россия — житница Европы — превращалась в государство, импортирующее хлеб.

Ощущается какая-то дикая бессмыслица: кому, зачем надо было уничтожать тысячи людей, каков смысл этого бесовского глумления над страной, над народом?!

Столь же безумная нелепость обнажается в деталях, напоминающих о недавно отгремевшей войне (время действия в рассказе — начало 1951 года). Мы узнаём, что армия была обезглавлена ещё в конце тридцатых годов. Комвзвода, рассказывает Тюрин, получил десятку, комполка и комиссар расстреляны. Лагеря заглатывали и простых солдат. Показательна судьба самого Шухова, Сеньки Клевшина и других. «<...> Это шпионы деланные, снарошки. По делам проходят как шпионы, а сами пленники просто» (III, 81).

Отдельные детали воссоздают и первый период войны. Отчётливо проступает главное: в поражении, в гибели тысяч и тысяч повинна

сама советская власть. Шухов это прекрасно понимает: «<...> в сорок первом к войне не приготовились» (III, 118), — говорит он Алёшке. Вспоминает Иван Денисович и о событиях сорок второго: «<...> на Северо-Западном окружили их армию всю, и с самолётов им ничего жрать не бросали, а и самолётов тех не было. <...> И стрелять было нечем. И так их помалу немцы по лесам ловили и брали» (III, 49).

В этой трагической ситуации Шухов, как и Клевшин, проявил незаурядное мужество. Вместе с несколькими солдатами он убежал из плена. Вскользь, как бы мимоходом, в рассказе поднимается нравственная проблема, которая ляжет в основу «Случая на станции Кочетовка»: суть советского общества — недоверие к человеку. Чудом спасшегося из плена Шухова объявляют фашистским агентом и сажают за решётку.

Испытав невзгоды колхозной жизни до войны, узнав, почём фунт лиха на фронте, Иван Денисович теперь знакомится с советским «правосудием». Во время следствия он постигает простую истину: «Закон — он выворотной» (III, 50). И, понимая, что его забьют до смерти, он предпочитает признать себя шпионом.

Но для чего понадобилось «служителям закона» посылать солдата не на фронт, а на каторгу? Человек мудрый, Шухов не задаёт себе такого вопроса. Он понимает: так уж повелось.

Со страниц совсем небольшого рассказа, рисующего один день из жизни рядового зэка, встаёт история уничтожения народа — сперва в год Великого перелома, а затем в годы Великой Отечественной войны. И страницы эти проникнуты ненавистью и болью. Но чей голос мы слышим? Чьё сердце ненавидит и скорбит? Автора? Шухова?

Иные читатели недоумевали, почему в центре лагерной повести Солженицын поставил не интеллигента, а «простого» зэка — бывшего колхозника и солдата. Вот как объясняет это сам писатель: «Выбирая героя лагерной повести, я взял работягу, не мог взять никого другого, ибо только ему видны истинные соотношения лагеря (как только солдат пехоты может взвесить всю гирию войны...)» (VI, 235). Но важно и другое: Иван Денисович, по мнению автора, прекрасно разбирается и в том, что происходит за пределами лагеря. «Впрочем, Шухов не промах, — говорит Солженицын, — и судит обо всех событиях в стране посмелей генерала» (VI, 311). Не забудем и того, о чём уже говорилось в предыдущей главе: автору духовно близок его герой.

Весь рассказ строится как внутренний монолог Ивана Денисовича¹. На первый взгляд может даже показаться, будто писатель видит и

¹ О роли рассказчика в «Одном дне Ивана Денисовича» см.: *Ржевский Л.* Прочтенье творческого слова. Нью-Йорк: Univ. Press, 1970. С. 92.

знает лишь то, что видит и знает его Шухов. В действительности это, конечно, далеко не так. Мир автора — огромный, всеобъемлющий — лишь как некую часть вбирает в себя мир его героя. И об окружающей жизни, и о душевной жизни Шухова знает Солженицын куда больше, нежели сам Иван Денисович. Лишь создаётся иллюзия, будто не автор, а зэк Щ-854 ведёт повествование.

Однако в целом рассказ в первую очередь воспроизводит мир Ивана Денисовича, мир близкий, но не адекватный авторскому. Только в редких случаях, когда речь заходит о вещах, Шухову недоступных, включаются реплики других героев (например, Цезаря, его собеседника — московского интеллигента) или авторская речь выделяется с двух сторон многоточием, указывающим на некий разрыв повествовательной ткани.

Шухов — яркая индивидуальность, но, пожалуй, типологические черты в нём преобладают над личностными. В «Архипелаге ГУЛАГ», где не раз слышится голос Ивана Денисовича, Солженицын утверждает, что образ Шухова — обобщённый образ «народа в лагерях». Говоря о тысячах «погибших Иванов», писатель вспоминает свой рассказ: «В том-то и мина была “Ивана Денисовича”, что подсунули им просто Ивана» (VII, 477). А миной это оказалось, ибо «первая и главная их ложь в том, на *их* Архипелаге *не сидит народ*, наши Иваны...» (VII, 479).

Под народом писатель подразумевает крестьянство, интеллигенцию, рабочих. Их-то и не увидели писатели типа Б. Дьякова, Г. Шелеста, Г. Серебряковой, рисовавшие судьбу «партийных товарищей», лишь по ошибке попавших в лагерь. «Эти авторы, — говорит Солженицын, — *искренне не заметили своего страдающего народа!*» (там же).

Сам Иван Денисович бессознательно чувствует себя частью некоего целого. Не этим ли объясняется одна особенность повествования: в рассказ от третьего лица автор часто вводит формы первого лица, но взятого во множественном числе. «А миг — наш!», «Ладно, мы и тут...», «наши пошли». «Мы», «наш» — слышится постоянно, а вот «я», «мой» — ни разу. Голос Ивана Денисовича, врывающийся в повествование, — это голос его собригадников, рабочих, «Иванов», томящихся в советских лагерях. Это голос сотен и тысяч Шуховых. Каков же их мир?

В критической литературе не раз проводилось сопоставление Ивана Денисовича с Платоном Каратаевым. Так, Д. Благов писал: «...сравнение этих двух народных персонажей интересно и поучительно...»¹

¹ Благов Д. Солженицын и духовная миссия писателя // *Солженицын А.И. Собр. соч.*: В 6 т. Frankfurt a/M: Посев, 1970–1973. Т. 6. С. 522.

«Шухов, пожалуй, даже немного Платон Каратаев. Новый Каратаев, с душой, раздавленной и обезображенной революцией»¹, — утверждал Роман Гуль. Сближали Шухова с Каратаевым и В. Варшавский², и Ю. Большухин³. Гораздо реже встречались суждения иного рода. Так, А. Натов отрицал сходство этих героев на том основании, что якобы Иван Денисович, в отличие от Платона, был подхалимом. Впрочем, суждения этого критика вообще стоят особняком. Он увидел в Солженицыне верного помощника партии, а в рассказе — реализацию социального заказа Никиты Хрущёва⁴.

О «каратаевщине», присущей солженицынскому герою, не раз говорил журнал «Октябрь», доказывая «неполноценность» этого персонажа, да и всего произведения. Ведь в советском литературоведении принято было оценивать Каратаева как воплощение «реакционного» идеала непротivления, долготерпения. В действительности у Толстого его Платон выступает как «вечное олицетворение духа простоты и правды», «олицетворение всего доброго» — в отличие от Наполеона, для которого «нет простоты, добра и правды».

Проведение параллели между героями Толстого и Солженицына имеет некоторые основания. Оба персонажа противостоят «железному порядку» (так определил Толстой порядок, установленный Наполеоном). Оба при любых обстоятельствах в душе остаются крестьянами. Оба — неутомимые труженики, мастера на все руки. Оба обладают способностью приспосабливаться к самым невыносимым условиям.

Но в главном уподобление Шухова Каратаеву представляется сомнительным. Сошлюсь на слова самого Солженицына о критиках, толковавших про «каратаевщину»: «“Октябрь” по дурусти долго долбил пусто место “непротivленца”, думая, что бьёт меня»⁵.

Да и в самом деле: много ли общего между «непротivленцем» Каратаевым и Иваном Денисовичем? В душе Платона нет места злобе, презрению, «...он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком. <...> Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера...». В этой всеобъемлющей любви ко всему и ко всем на свете — самая суть толстовского героя.

А можно ли сказать об Иване Денисовиче, что он в равной мере любит всех, с кем сталкивает его судьба? Конечно, нет! В душе Шухова, в отличие от Платона, уживаются жалость к людям и жестокость, уважение и презрение, любовь и ненависть.

¹ Гуль Р. Солженицын: Статьи. Нью-Йорк, 1976. С. 92.

² См.: Новое русское слово. 1963. 5 февраля.

³ См.: Новое русское слово. 1963. 17 февраля.

⁴ См.: Новое русское слово. 1963. 24 февраля.

⁵ Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом. Paris: YMCA-Press, 1975. С. 96.

Он по-отцовски любит Гопчика-хлопчика, любит «тихого бедолагу» Сеньку Клевшина, особенно тепло, уважительно относится к Алёшке-баптисту.

Но умеет Иван Денисович ненавидеть, да ещё как! Яростно ненавидит он эзков, строящих своё благополучие на «чужой крови». Одобряет тех, кто режет стукачей. Гневом дышат его слова о придурках: «завстоловой — откормленный гад», «старший барака — вот ещё сволочь старшая». Такого рода характеристики встречаются постоянно. Нет нужды доказывать, что они совершенно несовместимы с мироощущением Каратаева.

Особенно остро ненавидит Иван Денисович всяческое начальство — будь то лагерные вертухаи и надзиратели или ээки, бывшие «начальнички».

Ненависть его к начальству проявляется, когда это возможно, и в активных действиях. Вспомним, как он мыл пол в надзирательской: сам разулся, чтобы не замочить валенок, и, «щедро разливая тряпкой воду, ринулся под валенки к надзирателям». А затем «тряпку невыжатую бросил за печку <...> выплеснул воду на дорожку, где ходило начальство...» (III, 13–14). Не так шил Каратаев рубаху французу: шил любовно, с охотой, рад был, что рубаха удалась на славу.

Нет, какой уж тут Каратаев! Вспоминая толстовского героя, так и видишь его склонившимся над работой, «круглыми», спорными движениями делающим что-то и сказывающим неторопливо мудрые сказки и были.

Иным запомнился Шухов. Он весь — движение, порыв: «наддал», «вбежал стремглав», «через скамью перемахнул», «бросился <...> меж барак», «метнулся <...> к своей койке».

В «Архипелаге» Солженицын ставит «вопрос самый высокий: если ничем ты не был дурён для арестантской братии — то был ли хоть чем-нибудь полезен?» (VI, 243).

Как бы мог ответить на этот вопрос Иван Денисович? Печку он отменную мастерит, «чтобы нам не замёрзнуть». Шлакоблоки кладёт быстро, чтобы бригада могла процентовку выгодней закрыть. И в столовой он захватывает места для своих сотоварищей.

Но что греха таить — в этой неустанной деятельности (не только для себя, но и для всей бригады) он истый лагерник: подозрительный, хитрый, порою и жестокий. Занимая места за столом, он двух доходяг согнал; в борьбе за поднос двинул того, кто щуплее его. Можно ли представить себе Платона Каратаева, так же действующего в подобной ситуации?!

Но не будем морализировать и упрекать Ивана Денисовича в жестокости. Мы в его шкуре ведь не были! Он же рассуждает просто:

«Да и никогда зевать нельзя» (III, 17). И если способен он в трудную минуту «двинуть» слабого, «закосить» лишнюю миску баланды, вы-брать ту из них, где больше гущи, то на подлость, на предательство он не пошёл бы и под страхом смерти.

Способность Шухова терпеть и приравниваться к трудным обстоятельствам на первый взгляд роднит его с Каратаевым. Однако терпят и приспособляются они каждый на свой лад. Платон терпит тихо, безропотно, ласково улыбаясь. Шухов сопротивляется обстоятельствам, ропщет, порою смотрит на лагерную жизнь, зло усмехаясь. Платон приспособляется — к смерти. Иван Денисович — к жизни. Даже — в каторжном лагере!

Нет, он не безразличен к страданиям, как покорный судьбе Каратаев! В минуту отчаяния в душе Шухова может вспыхнуть гнев: «Молдаван проклятый. Конвой проклятый. Жизнь проклятая...» (III, 83–84). Но, человек мудрый, обычно он воспринимает зло как нечто неизбежное и не берedit понапрасну свою душу бесполезными проклятиями.

«Тут — жить можно», — рассуждает он об Особлаге (III, 50). «Чем в каторжном лагере хорошо — свободы здесь *от пуза*. <...> кричи с верхних нар что хошь — стукачи того не доносят, оперы рукой махнули» (III, 105).

Какой душевной силой надо обладать, чтобы примириться с жизнью в каторжном лагере и даже видеть в ней какие-то преимущества! Но не забудем: жизнь эту хвалит Шухов потому, что «свободы здесь от пуза»...

Что спасает Шухова? Ведь не одна же потребность уцелеть, не животная жажда жизни? Одна эта потребность плодит таких, как завстоловой, как повара. Иван Денисович находится на другом полюсе Добра и Зла. В том-то и сила Шухова, что при всех неизбежных для зэка моральных потерях он сумел сохранить душу живу¹. Такие нравственные категории, как совесть, человеческое достоинство, порядочность, определяют его жизненное поведение. Восемь лет каторги не сломили тела. Не сломили и душу. Так рассказ о советских лагерях вырастает до масштабов рассказа об извечной силе человеческого духа.

Сам герой Солженицына вряд ли сознаёт своё духовное величие. Но детали его поведения, казалось бы, незначительные, таят в себе глубокий смысл.

Как бы ни был голоден Иван Денисович, ел он не жадно, «внимчиво», в чужие миски старался не заглядывать. И хоть мёрзла его бритая

¹ Это впервые отметил В. Лакшин в статье «Иван Денисович, его друзья и недруги» // Новый мир. 1964. № 1. Статья перепечатана в собр. соч. А. Солженицына (Солженицын А.И. Собр. соч.: В 6 т. Frankfurt a/M: Посев, 1970–1973. Т. 6). (См. также с. 176–216 наст. изд. — *Примеч. сост.*) См. там же вышеназванную статью Н. Тарасовой.

голова, во время еды он непременно снимал шапку: «<...> как ни холодно, но не мог он себя допустить¹ есть в шапке <...>» (III, 15). Или — другая деталь. Чует Иван Денисович духовитый дымок папиросы. «<...> Он весь напрягся в ожидании, и желанней ему сейчас был этот хвостик сигареты, чем, кажется, воля сама, — но он бы себя не уронил и так, как Фетюков, в рот бы не смотрел» (III, 24).

Глубокий смысл заключён в выделенных здесь словах. За ними кроется огромная внутренняя работа, борьба с обстоятельствами, с самим собою. Шухов «выковывал себе душу сам, год от году», сумев остаться человеком. «И через то — крупницей своего народа». С уважением и любовью говорит о нём автор: «Но он не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался» (III, 106).

Этим объясняется отношение Ивана Денисовича к другим энкам: уважение к тем, кто выстоял; презрение к тем, кто потерял человеческий облик. Так, доходягу и шакала Фетюкова он презирает потому, что тот миски лижет, что он «себя уронил»². Обостряется это презрение, быть может, и потому, что «Фетюков, кесь, в какой-то конторе большим начальником был. На машине ездил» (III, 44). А любой начальник, как уже говорилось, для Шухова — враг. И вот он не хочет, чтобы лишняя миска баланды досталась этому доходяге, радуется, когда того бьют. Жестокость? Да. Но надо понять и Ивана Денисовича. Немалых душевных усилий стоило ему сохранить человеческое достоинство, и он выстрадал право презирать тех, кто своё достоинство потерял.

Однако Шухов не только презирает, но и жалеет Фетюкова: «Разобраться, так жаль его. Срока ему не дожить. Не умеет он себя поставить» (III, 108). Зэк Щ-854 себя поставить умеет. Но нравственная победа его выражается не только в этом. Проведя долгие годы на каторге, где действует жестокий «закон-тайга», сумел он сберечь самое ценное достояние — милосердие, человечность, способность понять и пожалеть другого.

Все симпатии, всё сочувствие Шухова на стороне тех, кто выстоял, кто обладает сильным духом и душевной стойкостью.

Словно сказочный богатырь, рисуется в воображении Ивана Денисовича бригадир Тюрин: «<...> грудь стальная у бригадира. <...> боязно перебивать его высокую думу. <...> Стоит против ветра — не поморщится, кожа на лице — как кора дубовая» (III, 34). Таков же и зэк Ю-81. «<...> Он по лагерям да по тюрмам сидит несчётно, сколько советская власть стоит <...>». Портрет этого человека под стать портрету Тюрина. Оба они вызывают в памяти образы богатырей вроде Мику-

¹ Курсив М. Шнейерсон. — *Примеч. сост.*

² Интересные соображения о Фетюкове см. в статье Д. Благова (см.: *Благов Д.* Указ. изд. С. 525).

лы Селяниновича: «Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною <...>. Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного» (III, 102).

Да, трудно было на каторге сохранить жизнь. Но ещё труднее было (ещё важнее!) сохранить живую душу.

Так раскрывается в «Одном дне Ивана Денисовича» «судьба человеческая» — судьба людей, поставленных в нечеловеческие условия. Писатель верит в неограниченные духовные силы человека, в его способность выстоять перед угрозой озверения.

Перечитывая теперь рассказ Солженицына, невольно сравниваешь его с «Колымскими рассказами» В. Шаламова. Автор этой страшной книги рисует девятый круг ада, где страдания доходили до такой степени, когда, за редким исключением, люди уже не могли сохранить человеческий облик.

«Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего, — пишет А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ», — и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт» (VI, 196). Но, отдавая должное этой скорбной книге, Солженицын расходится с её автором во взглядах на человека.

Обращаясь к Шаламову, Солженицын говорит: «Может, злоба всё-таки — не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не опровергаете ли вы собственную концепцию?» (VI, 577).

По мнению автора «Архипелага», «и в лагере (да и повсюду в жизни) не идёт растрение без восхождения. Они — рядом» (VI, 580–581).

Отмечая стойкость и силу духа Ивана Денисовича, многие критики, тем не менее, говорили о бедности и приземлённости его духовного мира. Так, Л. Ржевский считает, что кругозор Шухова ограничен «хлебом единым»¹. Другой критик утверждает, что солженицынский герой «страдает как человек и семьянин, но в меньшей степени от унижения его личного и гражданского достоинства»².

Нет спору, Шухов — человек необразованный, он не мог бы сформулировать своей жизненной позиции, не мог бы объяснить, что разумеет он под понятиями «человеческое достоинство», «внутренняя свобода» и т.п. Но тем не менее он совершенно сознательно отстаивает именно это достоинство, именно эту свободу, и мир его не сводится к заботам о хлебе насущном.

¹ См.: Ржевский Л. Прочтение творческого слова. С. 52.

² Благов Д. Указ. изд. С. 520.

Думается, «дар духовного подвига», дар, которым так щедро наделён автор рассказа, в известной мере присущ и его герою. Не это ли их и сближает?

Если мы обратимся к пейзажу, который, как и всё в рассказе, дан в восприятии Ивана Денисовича, то убедимся, что сближает его с писателем сходное отношение к природе <...>.

Пейзаж в рассказе играет двоякую роль: с одной стороны, он помогает острее ощутить меру тоски подневольного человека, с другой — раскрывает богатый внутренний мир героя Солженицына.

Чувством безысходного отчаяния веет от многих картин природы. В них подчёркивается то, что кажется особенно безотрадным крестьянину, землепашцу: чужая земля бесплодна! «Свистит над голой степью ветер — летом суховеяный, зимой морозный. Отроду в степи той ничего не росло, а меж проволоками четырьмя — и подавно» (III, 52). В другом месте необычный порядок слов усиливает то же впечатление: «<...> и деревья во всей степи не было ни одного» (III, 31).

Но, как ни пустынна, как ни безрадостна чужая земля, Шухов не утрачивает связи с миром природы. И эта связь — источник его духовной силы, залог его внутренней свободы. Чувства простого крестьянина Шухова перекликаются с тем, что чувствовали и автор рассказа, назвавший себя в «Архипелаге ГУЛАГ» Межзвёздным Скитальцем, и Пьер Безухов в плену у французов.

Чужая земля бесплодна. Она напоминает о неволе. А вот небо над Особлагом такое же, как и над Темгенёвом. Крестьянин Шухов привык следить за его далёкой вечной жизнью, за меняющимся освещением, за движением светил.

И теперь, чем бы он ни был занят, Иван Денисович подмечает всё, что происходит на небе. В предутреннем мраке видит он, как восток зеленеет и светлеет, видит в степи краснеющий восход, видит, что солнце сперва поднялось, потом выше подтянулось, а потом «закрайком верхним за землю ушло».

На земле время идёт своей чередой, проходит день, наполненный обычной лагерной страдою. Двигается время и там, наверху, но переход от утра к полудню, от вечера к ночи совершается там по вечному распорядку, такому же, какой испокон веку определял дневные заботы и часы крестьянского досуга.

Вот почему, мне кажется, и любит так Иван Денисович этот мир. Когда Шухов всматривается в него, речь наполняется ласкательными формами: «<...> солнышко на заходе. С краснинкой заходит и в туман вроде бы седенький» (III, 73). Вспоминает Иван Денисович старинные

народные присловья: «В январе солнышко коровке бок согрело!» (III, 45). Месяц называет он шутивно, как в деревне его называли: «вольче солнышко». Говорит о нём, словно о живом, близком существе: «<...> а месяц-то, батюшка, нахмурился багрово, уж на небо весь вылез». Верит он и поэтическим рассказам дедов: «У нас так говорили: старый месяц Бог на звёзды крошит» (III, 78).

Жизнь неба, распростёртого над бараками, над вышками с часовыми, кажется свободной, неподвластной тем силам, которые душат человека. Солнце «ихим декретам» не подчиняется! И это подсознательно укрепляет в душе Шухова ощущение внутренней свободы. «И всё это моё, и всё это во мне, и всё это я!» — мог бы сказать и Иван Денисович словами Пьера, если бы умел анализировать свои чувства.

Как ни корёжил, как ни гибал людские души лагерный мир, как ни старались «начальнички» превратить человека в раба, живая душа оставалась свободной.

Но ведь не только система лагерей — вся система Советского государства направлена на подавление личности. Поэтому рассказ о ээке, который «не мог <...> себя допустить», «чем дальше, тем крепче утверждался», — приобретает всеобъемлющий смысл. В стране, где всё направлено на растление душ, сохранить душу живую — высокий духовный подвиг!

Раздумья об «Одном дне Ивана Денисовича» хочется закончить словами Милована Джиласа из его статьи «Несокрушимая вера». Вспоминая, как впервые прочитал он рассказ Солженицына в тюрьме, автор статьи продолжает: «...я начал понимать — через Солженицына — судьбу людей, осуждённых на самое страшное прозябание, но вопреки всему сохранивших в себе человечность. <...> Читая “Ивана Денисовича”, я также понял, что Солженицын вышел из смертельных ужасов невредимым и бесстрашным и всё ещё олицетворяет тот целомудреннейший русский дух, который — я опасался — подвергся извращениям, застыл в догмах, был искалечен идеологией и онемел от насилия. Дальнейшее поведение и гражданское мужество Солженицына подтвердили мою уверенность в неизменности и нерушимости этого духа. Присущие писателю глубоко русские качества поэта и прорицателя, наравне с его социальными и нравственными ценностями, и делают его творчество столь фундаментально важным как для его родной страны, так и для всего мира»¹.

¹ Джилас М. Несокрушимая вера. Цит. по: Новое русское слово. 1974. 2 июня.

Преодолевая запреты

(СССР, 1988–1989)

Л. Воскресенский

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ИВАН ДЕНИСОВИЧ!¹

Стою в толпе возле огромного полотна «Мистерия XX века» — это на выставке Ильи Глазунова, которая сейчас популярна в Москве. Люди расшифровывают картину, словно ребус.

— Видишь: это Мао Цзэдун, — объясняет своей подруге интеллигентный молодой человек лет 25–26. — Это, по-моему, Бунин. Там — Кеннеди. А это, кажется, сам художник.

— В гробу Сталин, да? А кто вон тот — шведская борода, лицо такое печальное?

— Это?.. Это...

— Это писатель Александр Солженицын, — прихожу на помощь молодому человеку. — Доводилось что-нибудь читать?

— Да что вы: где же достанешь?! Ну, положим, достать можно, было бы желание. Конечно, книги этого автора у нас не выдаются, но зато в библиотеках есть комплекты старого «Нового мира», и можно разыскать ноябрьскую книжку 1962 года.

«Оглядывая прозу 1962 года, — писал недавно в «Неве» (№ 6) критик В. Оскоцкий, — негоже, да просто несолидно прикидываться, лукаво делать вид, будто и слыхом в те времена не слыхивали о повести А. Солженицына “Один день Ивана Денисовича”».

Верно сказано! Повесть прозвучала, подобно грому при ясном небе, только и было о ней разговоров. Никому дотоле не известное имя 44-летнего жителя Рязани стало произноситься буквально на всех перекрёстках.

Тому из советских читателей, кто младше сорока и кому сегодня вполне доступны «Жизнь и судьба» В. Гроссмана и «Дети Арбата» А. Рыбакова, очень трудно понять, что означало в 60-х годах появление художественного произведения «о лагерях».

Представьте себе ситуацию начала шестидесятых. Тысячи и тысячи людей уже вернулись домой из Магадана и Норильска, из Воркуты и Дзезказгана, из Акмолинска и Ивделя... Снята колючая проволока, окружавшая строительные площадки Московского университета на

¹ Московские новости. 1988. 7 августа.

Ленинских горах, сибирских заводов, грандиозных ГЭС... Состоялись XX и XXII съезды партии. Исчезли статуи и бюсты, барельефы и горельефы, живописные и фотографические портреты вождя. Но никто ещё ни разу не обмолвился в художественной литературе о тех кругах сталинско-бериевского ада, по которым прошли миллионы соотечественников. Ни от замученных и казнённых, ни от погибших, ни от оставшихся в живых не донеслось ещё в те времена ни вздоха, ни сто-на, ни крика.

Солженицын — в «Новом мире» Александра Твардовского — был первым, кто открыто рассказал об этом. «Один день Ивана Денисовича» — так называлась эта повесть.

Герой Солженицына — Иван Денисович Шухов, заключённый Щ-854, деревенский мужик, а потом рядовой красноармеец, бежавший из двухдневного немецкого плена и схлопотавший за то десять лет срока в сталинских лагерях как «изменник родины», отвечает на вопрос, поставленный перед ним жизнью и злой судьбой: как выжить? Отвечает не словами, не мудрствуя: он просто-напросто работает от сна и до сна, не давая себе секундной поправки. Вот и весь его ответ: делать и делать полезное дело без передыха, что бы то ни было, — и всё. И больше ничего. А там — перемелется, перемается, перетерпится: жив будешь.

В этом смысле он кровный родственник таким замечательным персонажам современной прозы, как, скажем, беловский Иван Африканович («Привычное дело») или можаевский Фёдор Кузькин («Живой»): схожи и возрастом, и происхождением, и умением, и судьбой. Имеет ли, в сущности, какое-либо значение, что они живут (выживают), работают и мучаются по разные стороны колючей проволоки? В послевоенном ли колхозе, в лагере ли — везде не сахар.

Самое интересное то, что Солженицын, рисуя ад, показал живую жизнь. Он не ставил целью пугать читателя лагерными ужасами, хотя и мог бы сделать это без труда. Солженицын выступил прежде всего — художником. И поэтому трудно согласиться с В. Шаламовым, написавшим, что в лагерной теме «разместится сто таких писателей, как Солженицын, пять таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно». Не умаляя достоинств ни одной из книг на эту тему (и тем паче — достоинства их авторов), всё-таки не каждую поставишь рядом с «Одним днём». В том числе — все остальные книги того же автора.

Чего стоят хотя бы заключительные строки последней, 66-й страницы этой маленькой, просто-таки крохотной повести! Вот они:

«Засыпал Шухов вполне удовлетворенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся.

Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый.

Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три.

Из-за высокосных годов — три дня лишних набавлялось...»

В ту памятную осень 1962 года вместе с Шуховым в обиход вошли незнакомые для многих (а для многих, наоборот, очень памятные), никогда не употреблявшиеся в литературе слова: *зона, зэк, стукач, вертухай, придурак...*

Время действия «Одного дня Ивана Денисовича» и время публикации повести разделяло десятилетие с небольшим. А это означало, что в числе наиболее заинтересованных читателей были и вчерашние зэки, и вчерашние вертухай. Её читали, узнавая себя, те, кого автор назвал в повести Цезарем Марковичем и Кавторангом. Читали бывшие конвоиры и надзиратели, отставные начальники лагерей и стукачи. Описанный в повести лейтенант Волковой (или его прототип) не успел, должно быть, дослужиться даже до майорских звёздочек, а если был уволен из органов расформированного МГБ — ещё не доработал до гражданской пенсии. И он тоже читал «Один день». Кстати, вполне допускаю, что и этот номер «МН» застал бериевского лейтенанта в живых.

Словом, можете себе представить, насколько многоцветным был спектр читательских эмоций: от искреннего восхищения книгой и автором до самой лютой неприязни.

Потом прокатилась целая волна повестей, романов, мемуаров — в открытой периодике, а чаще в самиздатовском варианте. Одни авторы считали, что Солженицын не нарисовал картину в её подлинной жуткой яви, и старались восполнить пробел. Другие же, наоборот, подспудно, но настойчиво проводили мысль, что Колыма, конечно, не Лазурный берег, но и не так страшен чёрт, как его малюют, а среди следователей и надзирателей нередко встречались милейшие люди.

И мы, читатели, всегда сравнивали: «А это, знаете, посильнее, чем у Солженицына...», «Нет! Солженицын всё-таки...» и так далее.

В брежневские времена лагерная тема вновь оказалась под запретом: вроде бы ничего такого и не было — ни эзков, ни «Одного дня», ни его автора...

Сегодня, более четверти века спустя после появления знаменитой повести, понимаешь, насколько наивно мы пользовались ею в качестве «информационного эталона». Главное её достоинство вовсе не *тема*. К сожалению, очень немногие (и самый первый среди немногих — Твардовский) оценили «Один день» не только как «документ о лагерях», а как выдающееся событие литературной, нравственной, духовной жизни пробуждающегося общества. А тот, кто увидел в ней всего-навсего политическую сенсацию, «бомбу», нечто этакое «на злобу дня», многое недосмотрел и много потерял. И это особенно понятно именно сейчас, когда рассказами о эзках и зонах нас уже ни сколько не удивишь. Повесть оказалась намного масштабнее темы. Она её переросла. Лев Толстой высказал однажды примерно такую мысль: можно написать многотомную историю человечества, а можно (и даже лучше) написать историю обычного дня простого мужика — с утра до вечера. И будет равноценно, равнозначно, равновесомо. Он старался было и сам написать, но замысел так и не осуществился. Не знаю, задавался ли подобной целью Солженицын, но мысль Толстого он воплотил так совершенно и цельно, как это не удавалось, кажется, ещё никому в отечественной литературе.

Обычный день Ивана Денисовича ответил на самый мучительный вопрос нашего тревожного века: что надо сделать, чтобы, выражаясь словами Бориса Пастернака, «ни единой долькой не отступаться от лица»? Как надо жить, чтобы при любых обстоятельствах, пусть даже самых чрезвычайных, в любом круге ада остаться *человеком*, самостоятельно мыслящей и ответственно действующей личностью, не потерять достоинство и совесть, не предать и не сподличать — но и выжить при этом, пройдя через огонь и воду, выстоять, не перекаладывая ношу своей собственной судьбы на плечи идущих вслед потомков, — как?

«Новый мир» напечатал повесть с кратким напутствием главного редактора. Читая его, лишний раз убеждаешься, насколько далеко вперёд смотрел Александр Трифонович Твардовский:

«Эта суровая повесть — ещё один пример того, что нет таких участников или явлений действительности, которые были бы в наше время исключены из сферы советского художника и недоступны правдивому описанию. Всё дело в том, какими возможностями располагает сам художник.

И ещё один простой и поучительный вывод позволяет сделать эта повесть: истинно значительное содержание, верность большой жизненной правде, глубокая человечность в подходе к изображению даже самых трудных объектов не могут не призвать к жизни и соответствующей формы. В «Одном дне» она ярка и своеобразна в самой своей будничной обычности и внешней непритязательности, она менее всего озабочена самой собою и потому исполнена внутреннего достоинства и силы.

Я не хочу предвосхищать оценку читателями этого небольшого по объёму произведения, хотя для меня несомненно, что оно означает приход в нашу литературу нового, своеобразного и вполне зрелого мастера».

Не время и не место судить здесь о творчестве А.И. Солженицына в целом, а уж тем более о системе его воззрений. Утверждаю лишь только то, что, на мой взгляд, достаточно проверено и доказано минувшей четвертью века: «Один день Ивана Денисовича» — из ряда крупнейших, этапных свершений отечественной литературы.

Произведение истинной литературы всегда созвучно времени его прочтения. Вот, к примеру, эпизод из «Одного дня»: идёт Шухов в колонне эзков и, вспоминая письмо жены, размышляет о странном промысле «красилей», объявившихся в его родной деревне, — они рисуют ковры по трафаретам и заколачивают неплохие деньги. Не заняться ли, думает, и ему по выходе на волю таким делом?

«Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, кому-то на лапу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился.

Лёгкие деньги — они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не заплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова ещё хорошие, смогают, неуж он себе на воле ни печной работы не найдёт, ни столярной, ни жестяной?»

Читаешь и думаешь: до чего же нужны нам сейчас — в 80-х годах — здесь, на Родине, такие вот мудрые головы и *смогающие* руки. Так и просится сказать Шухову, как живому: «Здравствуйте, Иван Денисович! Долгие годы здравствуйте!»

«УЧИТЬСЯ ТЕРПИМОСТИ К ЖИВУЩИМ»¹

Отклики на статью Елены Чуковской

Отклики на любую задевающую социальный нерв публикацию центральных газет приходят в первую очередь от москвичей. Понятно: жители столицы в более выгодном отношении к редакциям с точки зрения времени и расстояния. Вот и на статью Елены Чуковской «Вернуть Солженицыну гражданство СССР» в прошлом номере «КО» отклики начали поступать прямо с утра в день выхода газеты. Читатели звонили, приходили сами, присылали телеграммы и письма...

В числе первых приехал в редакцию с откликом кандидат медицинских наук и литератор М. Буянов. Горячо поддерживая предложение о полной прижизненной реабилитации А. Солженицына, он вспоминает о своём письме писателю в 1969 г. в Рязань и его ответном письме. «Я горжусь этим письмом больше, чем всеми письмами, которые мне приходилось получать, вместе взятыми», — пишет М. Буянов.

Бывший осуждённый по 58-й статье и реабилитированный в 1957 г., сын бывшего «врага народа», Б. Файнерман написал: «Могу свидетельствовать со ссылкой на личный опыт: в описании лагерного и тюремного быта “врагов народа” у Солженицына — святая правда». И далее: «Если уж кого обвинять в антисоветчине, то не А.И. Солженицына, а тех, кто поливал грязью всемирно известного земляка, причём независимо от того, делали ли они это по заказу идеологов типа Жданова—Суслова или добровольно».

Много можно приводить взволнованных, искренних, идущих от души слов, скажем из писем М. Москвина-Тарханова, В. Светлова, телеграммы А. Оснача из Серпухова, Е. Литвин, М. Лебедева, В. Гопмана, В. Самусенко, А. Миллера из Москвы... Ограничимся лишь двумя выдержками.

Кандидат исторических наук К. Душенко:

«Наша история знает много, слишком много примеров отлучения художника от своего народа за высказывания и взгляды, не совпадающие с официальными. И рано или поздно за это приходится каяться — обычно после смерти художника. Надо учиться терпимости к живущим. Чтобы потомки не сказали про нас: “Они любить умели только мёртвых”».

¹ Книжное обозрение. 1988. 12 августа.

Читательница Л. Воробьёва:

«При обращении в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой об отмене Указа о лишении писателя Солженицына А.И. гражданства СССР (надеюсь, ваша редакция оформит такое официальное обращение) поставьте и мою подпись».

Мы много потеряли и теряем до сих пор людей, чей талант несомненен и необходим Отечеству. Недавно Виктор Астафьев в своём выступлении в Иркутске на встрече редколлегии журнала «Наш современник» с общественностью города сказал, какую вину чувствовал он, посетив могилу И. Бунина на кладбище Сент-Женевьев де Буа в Париже, — вину не только свою, но и всех русских людей. Сказал он, что такую же вину будет ощущать его внук, посетив и другую могилу, ещё одного великого русского писателя, изгнанного из страны. Но у нас есть возможность вернуть в Россию этого писателя... Я говорю об Александре Исаевиче Солженицыне, лишённом советского гражданства в тот период нашего времени, который мы называем сейчас застойным, от которого сейчас отказываемся, потому что характеризовался он не только застоєм в экономике, но и извращением всех нравственных понятий, коррупцией, взяточничеством, всесилием административного аппарата, нарушавшего беззастенчиво неотъемлемые права граждан. И было бы естественным, чтобы мы отказались от всех незаконных действий, совершённых в ту пору, и мы сделали это в отношении так называемых диссидентов, инакомыслящих, которых освободили из тюрем и лагерей, но, чтобы быть последовательными в этой справедливой политике, мы должны вернуть России имя русского писателя А.И. Солженицына, появление которого в 1962 году с повестью «Один день Ивана Денисовича» всколыхнуло всю читающую Россию, так как эта повесть была возвращением в нашу жизнь непреходящих ценностей нашей классической русской литературы, вся деятельность которой соответствовала великим пушкинским словам: «...что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал».

Эта повесть оказалась *первым* художественным словом, разоблачающим культ Сталина, и только сейчас стали появляться произведения на эту тему: роман А. Рыбакова, рассказы Л. Разгона и повесть «Чёрные камни» А. Жигулина... Но А. Солженицын был *первым*. Думается мне, что, не будь рассказа «Матрёнин двор», быть может, не появилась бы у нас та прекрасная и чистая деревенская проза, воздухом которой мы все дышали много лет.

Недавно в одном интервью на вопрос писателю, возможно ли возвращение его на Родину, Александр Исаевич ответил, что писатель возвращается на Родину сперва своими книгами. В другом интервью, более давнем, ещё до перестройки, Солженицын сказал, что он всё же предчувствует возможность побывать в России, а «мои предчувствия всегда сбываются», — добавил он. Дай Бог, чтобы это было так. Но одно его предчувствие как будто сбылось. В те годы, когда он жил в Рязани, я привёз ему свою пьесу о 56-м годе, в которой война была лишь в воспоминаниях персонажей. Около часа мне довелось поговорить с Александром Исаевичем. В частности, он сразу же спросил меня, что было в моей жизни. Я ответил, что лагерей не было, была война. «О, это уже много», — сказал Александр Исаевич и попросил рассказать о том, где и кем я воевал. Я рассказал. Пьесу он обещал быстро прочесть и написать своё мнение о ней.

Я очень скоро получил ответ, в котором Александр Исаевич высказал много критических замечаний о пьесе, но в заключение написал: «А вот что я предчувствую: ваша “ржевская проза” будет хороша и нужна. Займитесь ею серьёзно». Какую веру и прилив сил я почувствовал, нечего и говорить. Я действительно всерьёз стал заниматься «ржевской прозой», но «Сашку» написал уже тогда, когда Солженицына выдворили из страны. Не успел я показать «Сашку» и Виктору Некрасову — он тоже вскоре уехал. Я не знаю, дошёл ли до Александра Исаевича мой «Сашка», но если дошёл, то, хочется надеяться, это, быть может, в какой-то мере подтвердило его веру в свои предчувствия.

А. Солженицын нужен России и всем нам не только как писатель огромного таланта, но и как *личность*. Стоит только представить, какую силу, мужество надо было иметь писателю, чтобы в одиночку вступить в противоборство с могучей и жестокой административной системой, которая могла раздавить человека одним мановением. Кстати, тогда у него были уже маленькие дети, судьбу которых, а также и жены он вполне представлял, если с ним случилось бы непоправимое, а такое случиться могло.

В его письме «Правительству Советского Союза» выражена была огромная боль за происходящее в стране. И он верил, что к его словам прислушаются, иначе бы не писал. Верил, потому что просил он как раз о том, что мы сейчас осуществляем, — о гласности, о демократизации, о соблюдении прав человека...

На протяжении всей нашей истории мы слишком часто превращали союзников во врагов. А я убеждён, что А. Солженицын сейчас наш союзник, он должен радоваться всем тем преобразованиям, которые

происходят в стране, не может не радоваться, потому что в его патриотизме и любви к России сомневаться не приходится.

Нам сейчас необходимы и произведения А. Солженицына, и он сам. Потому что с такой силой, с такой мерой художественности о нашем прошлом не скажет никто. Нет сейчас у нас в России писателя такого уровня. Александр Исаевич должен быть с нами...

Вячеслав Кондратьев

* * *

Полностью поддерживаю предложение литературоведа Елены Чуковской о возвращении выдающемуся русскому писателю современности Александру Исаевичу Солженицыну гражданства СССР. Он был лишён его за свою борьбу против сталинизма, за права человека и гласность, демократические перемены в нашей стране. Сегодня особенно ясно, что всё творчество А.И. Солженицына развивалось под благотворным воздействием XX съезда, осудившего культ личности Сталина. «Один день Ивана Денисовича» мог появиться лишь в результате исторического поворота в 1956 г. Это было первое опубликованное в нашей стране высокохудожественное литературное произведение о сталинских лагерях.

Но писатель не остановился на этой книге, создав свой бессмертный труд «Архипелаг ГУЛАГ», в котором собрал и обобщил гигантский материал о чудовищных репрессиях Сталина и его клики. «Архипелаг ГУЛАГ» написан рукой не только талантливого писателя, но и блестящего историка-исследователя, мужественного гражданина своей страны. Книга, стиравшая одно из самых больших «белых пятен» в нашей истории, стала не только данью памяти миллионам людей, погибших в годы сталинского террора. Она явилась своего рода первым камнем в тот памятник жертвам беззакония и репрессий, решение о сооружении которого приняло недавно Политбюро ЦК КПСС в связи с высказанными на XIX партийной конференции предложениями. В 70-е годы писатель А.И. Солженицын и выдающийся учёный-гуманист академик А.Д. Сахаров олицетворяли дух сопротивления здоровых и демократических сил советского общества сталинизму и брежневизму. Ныне А.Д. Сахаров возвращён в Москву, он в числе тех, кто наиболее активно борется за новое политическое мышление во внутренних и международных делах, за демократизацию и гласность, успех перестройки и её необратимость.

Настало время исправить несправедливость и в отношении А.И. Солженицына. Во всём цивилизованном мире он давно уже

справедливо считается одним на крупнейших русских писателей XX столетия. Можно соглашаться или не соглашаться с идейно-философскими взглядами писателя, но он принадлежит России, горячим патриотом которой является всю свою сложную и трагическую жизнь.

Сейчас, когда стране возвращаются многие её политические деятели и военачальники, учёные, писатели и художники, необходимо, как пишет Елена Чуковская, «прекратить затянувшуюся распрю с замечательным сыном России, офицером Советской Армии, кавалером боевых орденов, узником сталинских лагерей, всемирно знаменитым русским писателем Александром Солженицыным...». Необходимо его вернуть стране, судьба которой всегда была и его личной судьбой. Не приходится сомневаться, что возвращение А. Солженицыну гражданства СССР с глубоким удовлетворением будет воспринято не только на его Родине, но и во всём мире. Такой шаг ещё выше поднимет в глазах мировой общественности авторитет процесса перестройки и гласности о Советском Союзе.

*Я. Этингер,
доктор исторических наук,
член оргкомитета добровольного Всесоюзного
историко-просветительного общества «Мемориал»*

* * *

«Кто просит слова?»

Я прошу!

Ибо разделяю позицию Елены Чуковской, ясно и чётко заявленную названием её статьи: «Вернуть Солженицыну гражданство СССР».

Так как одобряю честное и мужественное решение редакции «Книжного обозрения» не просто поставить назревший вопрос, но и вынести на открытое обсуждение.

Потому что считаю так же убеждённо, как считал тогда, в 1974 году, что лишение Александра Солженицына советского гражданства и насильственное выдворение писателя за пределы страны было противозаконным, антиконституционным деянием, позорным для брежневского режима и его главного идеолога М.А. Сулова. (Последний, к слову заметить, знакомясь с А. Солженицыным на встрече с представителями творческой интеллигенции в декабре 1962 года и лицедейски подлаживаясь под благожелательное отношение Н.С. Хрущёва к повести «Один день Ивана Денисовича», представился писателю как «поклонник Вашего таланта».)

Нынешние поколения молодёжи если и знают А. Солженицына, то лишь понаслышке и не столько по имени, сколько по сопровождающим это имя бранным и лживым эпитетам. Приходится поэтому, дополняя Е. Чуковскую, хотя бы вкратце напомнить, что значило оно для людей старших поколений, начиная с тех, кому сегодня перевалило за полвека, как много связывалось с ним в литературе 60-х годов.

Итак, повесть «Один день Ивана Денисовича» — памятно ошеломляющий дебют писателя, о котором вскоре и помыслить стало невозможно, будто было время, когда литература обходилась без него. На признании никому дотоле неведомого рязанского учителя, недавнего зэка, художником крупного, яркого, самобытного таланта сходились едва ли не все, зачастую включая и тех немногих, кто, подобно Б. Дьякову (как открылось недавно, осведомителю-доброхоту и только по совместительству писателю), яростно не принимал повесть. То был воистину триумф Главной Книги не одного 1962 года, всего «оттепельного» десятилетия, начавшего свой отсчёт с XX съезда партии. (О другой Главной Книге тех лет — романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» знали лишь близкие и «посвящённые», главным образом те, кто спровоцировал и произвёл арест рукописи.) Обнажённая, жестокая правда сталинских лагерей, бесправной жертвой которых выступал, как принято говорить, «простой человек из народа» — русский крестьянин, советский солдат, впервые получала в литературе права гражданства, потрясала как народная трагедия. Примечательно, что на защите её от догматических интерпретаций в закамуфлированном сталинистском духе нередко сходились даже такие критики крайних (тогда) воззрений, как покойный А. Дымшиц и здравствующий Ф. Кузнецов, позднее, правда, отрёкшийся от «заблуждений молодости» печатным осуждением А. Солженицына в «Литературной газете». «Иван Денисович, его друзья и недруги» — так назвал одну из лучших своих статей В. Лакшин. Стоило бы перепечатать её сейчас вместе с повестью...

Литературным, да и общественным, событием становилась каждая последующая публикация А. Солженицына. Воскрешая тогдашнее впечатление, не страшусь и сегодня назвать «Матрёнин двор» рассказом художественно совершенным, достойным стоять в ряду высших образцов отечественной и мировой классики. К лучшим современным относил рассказ «Для пользы дела» Даниил Гранин в литгазетовской статье, целиком посвящённой разбору этого шедевра.

С романами «Раковый корпус» и «В круге первом» вышло иначе: тоже принятые в «Новом мире» А. Твардовским, они так и остались неопубликованными. Неудивительно: недолгая «оттепель» сменялась устойчивыми заморозками, время снова клонилось к духовному застою, в охранительской атмосфере которого преступления сталинизма становились темой сначала нежелательной, затем вовсе запретной. Но, зная оба романа тогда и хорошо помня поныне, не могу заглушить в себе мысль, которая не даёт покоя вот уже два десятка лет: если б удалось «Новому миру» напечатать их, то, как знать, — не по-другому ли сложилась бы судьба не только писателя, но и самой нашей литературы?

Наконец, «Архипелаг ГУЛАГ». К тому, что сказано о нём Е. Чуковской, добавлю одно: при всём нынешнем обилии документальных публикаций о преступлениях сталинизма впечатляющие свидетельства, собранные и обобщённые А. Солженицыным, по-прежнему удерживают за собой значение самого фундаментального исследования.

К роману «Август Четырнадцатого» лично моё отношение более сдержанно: читая его, не мог подавить редакторского искушения «отжать» несколько торопливый текст, подсократить, сделать чуть лаконичнее и тем придать ему большую динамичность. О последовавших за ним романах того же цикла судить не могу — не читал. Как не читал и многого другого, написанного и изданного за границей. Допускаю, что когда (если) прочту, то приму не всё. Но это будет уже особая статья, другая сфера — моего, критика, профессионального спора с писателем, а никак не его гражданства.

О том, что предшествовало постыдному по существу и разбойному по исполнению изгнанию А. Солженицына из СССР, лишению его Родины, где он, как участник Великой Отечественной войны, удостоен боевых орденов, а как писатель был выдвинут на соискание Ленинской премии, рассказано в мемуарной книге «Бодался телёнок с дубом». Не всё в ней настраивает на согласие, и В. Твардовская, В. Лакшин, выступившие, соответственно, в итальянской «Унита» и французской «Юманите», оспорили кое в чём мемуариста, указав на субъективность некоторых суждений о «Новом мире», А. Твардовском, ряде конкретных фактов из литературного бытия 60-х — начала 70-х годов. Однако субъективность субъективностью, а развязанная и развязная кампания незаконных преследований инакомыслящего писателя, циничного нарушения его гражданских свобод и творческих прав, «методология» явных и

тайных провокаций, клеветнических слухов, рассчитанных на моральную компрометацию, воспроизведены куда как объективно — до поимённой и портретной узнаваемости вдохновителей и исполнителей разных чинов и рангов.

В канун Четвёртого съезда писателей СССР, на который А. Солженицын, конечно же, не был избран, он обратился к ряду делегатов с письмом, где открыто излагал программные требования демократизации и гласности, откровенно высказывал резко критическое отношение к застою в обществе и литературе и с надеждой на писательскую солидарность обращал внимание на свою личную участь: конфискацию архивов, травлю, клевету. Было с чего звать о помощи! В ту недоброй памяти пору собственными, как говорится, ушами не раз доводилось выслушивать с разных ответственных трибун: и родом-то А. Солженицын не то из помещиков, не то из фабрикантов, и в плен добровольно сдался, и с немцами в оккупации сотрудничал, и во власовской армии служил, и репрессировали его правильно, и не реабилитировали «за отсутствием состава преступления», а на беду себе же, поспешили великодушно амнистировать.

Как восприняли писатели обращение к ним А. Солженицына? Поразному. Непосредственно на съезде в его защиту сказала несколько слов В. Кетлинская. Неизменную поддержку находил он у К. Чуковского, Л. Чуковской, В. Каверина. Помню неофициальное — о нём даже оповещений не было — обсуждение романа «Раковый корпус» московскими писателями, взволнованные, заинтересованные, страстные выступления многих ораторов. Но они, к сожалению, Союзом писателей не руководили, в составе его секретариатов не значились. Когда же дошло до того, что «дело Солженицына» оказалось вынесенным на секретариат правления СП СССР, то заседание свелось преимущественно к авторитарному требованию покаянных самоотречений, которое и обратило к писателю, согласно указаниям, спущенным сверху. Правда, и среди тогдашних секретарей нашлось всё же несколько человек — среди них, немногих, К. Симонов, — которые вели себя в меру благородно, не разменивая своего профессионального достоинства на политиканство. Увы, не они решали спустя время вопрос о членстве А. Солженицына в Союзе писателей. Решение о его исключении секретариат правления СП РСФСР принял с келейным единогласием при одном строптиво воздержавшемся (Д. Гранине). Эта противоуставная и, значит, тоже противозаконная акция, как и последующее лишение советского гражданства, — взаимосвязанные звенья

одной цепи, последовательные акты одной драмы. Предполагая её финал, А. Солженицын отказался от поездки в Стокгольм на церемонию вручения Нобелевской премии, резонно опасаясь, что в возвращении домой будет тут же отказано. Однако, ожидая чего угодно, вплоть до ареста, судебного фарса, тюремного заключения, сумасшедшего дома и т.п., при всей своей пронизательности он, похоже, не подозревал, что гражданина СССР возможно выдворить из страны и без его согласия, насильно.

Когда А. Солженицына лишили советского гражданства, ничьих мнений, в том числе писательских, не запрашивали. Тем, стало быть, полезней обменяться ими сейчас, когда пришло время отметить противозаконный акт. А в том, что поступить так необходимо, сомневаться не приходится. Как иначе снять с человека клеветническое обвинение в измене Родине, которой он не изменял? Вернуть ей писателя, талант которого — её национальное достояние? Подтвердить это переизданием «Одного дня Ивана Денисовича», рассказов и публикациями «Ракового корпуса», «В круге первом», «Архипелага»?

Всё вместе нужно раньше и прежде всего нам самим. Не для дремотного успокоения, а для очищения нашей гражданской совести. Для утоления нравственного чувства справедливости. Для самоосвобождения от жгучего чувства стыда за позор противоправных действий, безгласными очевидцами которых нас сделали вопреки нашей воле. Так пусть же краснеют те, кому пристало краснеть как соучастникам. Назвать бы их, показать в лицо со всеми титулами да регалиями. Тех, кто, не зная запретных произведений «крамольного» писателя, угодливо бичевал их, послушно подписывал всевозможные индивидуальные и коллективные протесты. Кто лишал его сначала писательского билета, а затем гражданского паспорта. Кто дирижировал всем этим из своих престижных кабинетов. Неужто не потупят, не отведут очей, смиряясь с оглаской?

Впрочем, не о них печаль, а о судьбе ошельмованного ими, отторгнутого большого русского писателя. О том, чтобы дать ему наконец возможность поступить с возвращённым гражданством так, как сам сочтёт нужным. И не позволить сбыться горьким словам, которые он приводил в письме, разосланном делегатам IV писательского съезда:

— Они любить умеют только мёртвых...

Валентин Оскоцкий

* * *

Александр Герцен так и не увидел России. И не перестал от этого быть Герценом. Но русскому обществу разрыв с ним славы не прибавил.

Место Александра Солженицына в советской литературе не зависит от членства в Союзе писателей и даже от гражданства. Возврат ему официального доброго имени на Родине (неофициально оно всегда было добрым) нужен более всего нашему обществу для очистки совести и выпрямления литературного процесса.

Права Елена Чуковская: прежде чем вступать с Александром Исаевичем в переговоры о его публикациях, нужно, по-моему, извиниться и всё поставить на свои места.

Лариса Васильева

* * *

«Книжное обозрение» сделало благое дело, опубликовав замечательную статью Елены Чуковской «Вернуть Солженицыну гражданство СССР». При всей своей сжатости статья эта написана основательно. Её аргументы убеждают.

Как известно, Александр Исаевич Солженицын никогда не изъявлял желания покинуть наше Отечество. Напротив, ратуя за «гласность, честную и полную гласность» (тогда само это слово было как бы вне закона), за правду неотступающую — в пору, когда многие, может быть, большинство членов Союза писателей в лучшем случае помалкивали, а в худшем — лакействовали перед сильными мира сего, Солженицын, следуя традициям Льва Толстого и Фёдора Достоевского, готов был принять любые страдания за правду, нести свой крест до конца, оставаясь в родных пределах. И тогда-то его «за измену Родине» (сказать правду — значит, изменить Родине, так, что ли? — *В.Л.*) лишают гражданства СССР и насильственно выдворяют из нашей страны. Какой в этом официальном решении сказался изошрённый опыт, наработанный за годы репрессий теми, кто привык осознавать и ощущать себя рычагами волюнтаризма! Формы репрессий бывают разными. Клевета, угрозы, наращивание психоза ненависти вокруг имени неугодного писателя и гражданина и, наконец, отторжение его от Родины людьми, возомнившими, что именно они обладают чувством патриотизма во всей его полноте, — всё это, увы, имело место в истории Советского государства и до случая с Солженицыным. И потому требует глубокого осмысления и переосмысления. Между прочим, реабилитационное дело А.И. Солженицына, строки из которого

приводит Е. Чуковская, было запрошено в Верховном Суде СССР в связи с тем, что А.Т. Твардовскому пришлось бороться на заседаниях комитета по Ленинским премиям с фальшивкой, зачитанной высокопоставленным официальным лицом о якобы сотрудничестве Солженицына во время войны с оккупантами.

Пора положить конец всем этим жестоким играм, направленным против лучших и достойнейших деятелей нашей культуры, а значит, и против духовного здоровья всего народа. Чуковская справедливо пишет о циничном пользовании «плодами растоптанной жизни». Александр Солженицын всё-таки выдюжил. Бориса Пастернака, как мы знаем, сгубила травля. А сколько других мучеников было! Сейчас возвращаются к нам фильмы Андрея Тарковского. Надо бы вернуть отечественному читателю «Бабий Яр» Анатолия Васильевича Кузнецова и книги Виктора Платоновича Некрасова... И разумеется, опубликовать сочинения Солженицына. Наша литературная критика ещё не сказала своего слова о том большом, на мой взгляд, хотя и неназванном влиянии, которое оказал этот большой писатель на развитие отечественной правдоискательской прозы последнего двадцатилетия. Конечно, Солженицын никакого отношения к социалистическому реализму не имеет. Но мы хотим прочесть его, осмыслить, оспорить то, с чем не согласимся... Безусловно, поддерживаю предложение об отмене Указа 1974 года о лишении А.И. Солженицына гражданства СССР.

Писатель, художник, любой человек имеет право на бесстрашную мысль. Мы это выстрадали всем народом.

*Владимир Лазарев,
писатель*

* * *

Поскольку в редакционном послесловии к статье Е. Чуковской задан вопрос: «Кто просит слова?», позволю себе такое слово сказать. В том же послесловии вы пишете: «Мы не знаем, что он (Солженицын. — С.Б.) такого написал в изгнании, чтобы о нём не говорить на Родине». В рамках своей информации попробую на это ответить.

Александр Исаевич долгие годы работает над большим циклом произведений об Октябрьской революции и о событиях, ей предшествовавших. Да, в этих произведениях, в частности в повести «Ленин в Цюрихе», автор высказывает своеобразный, непривычный нам взгляд на революцию, на личность и деятельность Ленина, взгляд отнюдь не

«очернительский», а просто непредвзятый. Но, позвольте, ведь сам Ленин с неизменным уважением относился к своим политическим оппонентам, видел в них, так сказать, и негатив, и позитив. Троцкого, скажем, он называл и «иудушкой», и «самым способным человеком в настоящем ЦК» (в конце 1922 г.), хотя наши учёные мужи предпочитают помнить только первое. И уж во всяком случае, Ленин никогда не уничтожал своих оппонентов, не вышвыривал их за пределы Отечества. Что же получается: 70 лет назад, когда всё висело на волоске, такой подход к оппонентам не считался опасным, а теперь, худо-бедно став могущественной державой, на которую «косясь посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства», мы боимся человека, чьи мысли не во всём совпадают со старыми газетными передовицами? И готовы по-прежнему отказываться от него, держать его произведения, признанные и читаемые во всём мире, вне отечественной литературы, философии, истории? Нелепо. Неумно. И во вред себе же самим, потомкам нашим.

При всём несопадении тех или иных позиций Солженицына с господствующими в нашей стране сейчас, нельзя не признать, что в главном творчество Солженицына, его нравственно-этические, философские воззрения продолжают лучшие традиции передовой русской интеллигенции, мировой культуры в целом. Мы в своё время поспешили дружно заклеить «Архипелаг ГУЛАГ», которого никто в глаза не видел, но все твёрдо знали, что это «антисоветчина» и «клевета на Сталина». Приведу цитату из 1-й книги «Архипелага», который мне довелось прочесть вскоре после его выхода на Западе: «Самое главное в жизни, все загадки её — хотите, я высыплю вам сейчас? Не гонитесь за призрачным — за имуществом, за званием: это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью — не пугайтесь беды и не томитесь по счастью, всё равно ведь: и горького не довеку, и сладкого не до полна. Довольно с вас, если вы не замерзаете и если жажда и голод не рвут вам когтями внутренностей. Если у вас не перешиблен хребет, ходят обе ноги,гибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха — кому вам ещё завидовать? Зачем? Зависть к другим больше всего съедает нас же. Протрите глаза, омойте сердце — и выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их, не браните, ни с кем из них не расставайтесь в ссоре: ведь вы же не знаете, может быть, это ваш последний поступок перед арестом, и таким вы останетесь в их памяти!..» Какой порядочный, честный человек не подпишется под этой «клеветой»?

Не могу забыть и того, как в разгар «застойных» лет (если не пугаю, в 1973 г.) по рукам ходило обращение Солженицына «Жить не по лжи!». Характеризуя ту славную эпоху примерно так же, как о ней открыто пишут сейчас, Солженицын призывал не лгать, не принимать никакого участия в творимых повсюду лжи и несправедливости. «Жить не по лжи!» я держал в руках ровно столько времени, сколько понадобилось на его быстрое чтение, и выписок сделать не успел. Там были примерно такие слова: «Пусть кругом вершится ложь, пусть я не могу ей помешать, но пусть она вершится не через меня, не с моим участием!» Если бы тогда хоть сколько-либо значительная часть общества последовала этому мужественному призыву! Но и это обращение Солженицына под наше молчание было объявлено «враждебным», «антисоветским» теми, кто едва ли не открыто воровал, давал и брал взятки, строил себе загородные дворцы и виллы...

Сознаюсь: я никогда не был особенно горячим поклонником именно творчества Солженицына, порой непререкаемость его суждений отталкивала меня, находил я у него и исторические неточности (в частности, в том же «Архипелаге»), но его гражданскую позицию я глубоко уважал и уважаю. Неловко выставлять себя в качестве примера, но, думается, именно так и надо подходить к необычным, непривычным явлениям: их можно не во всём принимать (или совсем не принимать), но всегда помнить при этом, что такое неприятие — лишь твое собственное мнение, и ничего больше. Вершители наших судеб времён застоя решили иначе: не понимаем, не согласны — значит, нет места этому человеку на «нашей» земле. История быстро поставила всё на свои места: земля эта не их, и правду мы о них узнали и сказали всему миру гораздо раньше, чем надеялись даже самые рьяные оптимисты.

Так чего же мы боимся сейчас в творчестве Солженицына? «Архипелага»? Но те мемуары, исторические факты и произведения литературы, которые сейчас открыто публикуются, по силе разоблачения не уступают этой многотомной книге, а в чём-то даже идут дальше неё. Смысл же их, по сути дела, тот же, что и у Солженицына, только он высказал всё это первым и в беспощадных масштабах, с пугающими (но отнюдь не «очернительскими», не «клеветническими») обобщениями. Боимся образа Сталина-палача из «Круга первого»? Но рыбаковский Сталин, на мой взгляд, получился куда страшнее (он, впрочем, создавался примерно в одно время с солженицынским — в середине 60-х годов), однако же общество наше это выдержало. Или боимся последних произведений Александра Исаевича? Но, в конце концов,

никто нас не заставляет немедленно издавать «всего Солженицына». Что-то мы уже в состоянии принять сейчас, что-то — позже, с чем-то, возможно, и позже не согласимся, но разве это причина для сохранения нынешнего унижительного положения? Унижительного не для великого писателя, а для всех нас, для нашей культуры. «Пора прекратить затянувшуюся распрю с замечательным сыном России» — к этим словам Елены Чуковской я полностью присоединяюсь.

В наш век информация распространяется мгновенно. Если моё письмо будет опубликовано, Александр Исаевич, наверное, узнает о нём, как уже узнал о статье Е. Чуковской. Не дожидаясь той печальной возможности, о которой упомянул Астафьев, я хочу от имени множества своих единомышленников сказать: простите нас, дорогой Александр Исаевич, за то, что в своё время мы не вступились за Вас, смирились как с неизбежностью с теми мерзостями, которые о Вас писали, с Вашей высылкой из пределов Отечества. Мы Вас помним и любим. И ждём домой. Я верю, что москвичи придут однажды в аэропорт «Шереметьево-2». Вы сойдёте с трапа самолета, мы протянем друг другу руки и скажем:

— Здравствуйте!

А с произведениями Александра Исаевича Солженицына подлинная интеллигенция никогда и не прощалась, они всегда были с ней.

*Сергей Бурин,
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Института всеобщей истории АН СССР*

БОЛЬШЕ СДЕРЖАННОСТИ, МЕНЬШЕ ЭМОЦИЙ¹

*Что занимает взбудораженные умы взрослых людей:
диалоги в цифрах*

«Вы слышали? “Новый мир” хочет публиковать Солженицына!» — «Ерунда. Он враг народа и власовец». — «По телевизору редактор сказал».

Из разговора

«Алло, редакция? Вы вот печатаете материалы о честных людях системы НКВД. А есть издания, которые встали на защиту людей, раздавленных этой системой, не то, что вы. Эти люди пока ещё живы.

¹ Ленинская смена (Алма-Ата). 1988. 26 августа.

Вот и покажите объективность, скажите своё слово! Как меня зовут? Допустим, Игорь. Фамилия, скажем, Сиваков. Адрес? Ну, уж это...» (*Короткие гудки.*)

И так далее. «Сенсация» нарастала примерно с начала августа. Выяснилось, что толчком к росту числа взбудораженных умов послужила публикация в «Книжном обозрении» (№ 32, 5 августа 1988 года) статьи литературоведа Елены Чуковской под названием «Вернуть Солженицыну гражданство СССР».

В следующем номере (12 августа) в «Книжном обозрении» оперативно даны отклики на статью Е. Чуковской¹ — почти целиком две страницы.

В нашу задачу не входит давать оценки и обозначать акценты по двум причинам.

Причина первая. «В феврале 1974 года Указом Президиума Верховного Совета СССР лишённый гражданства СССР по статье 64 Уголовного кодекса “за измену Родине” А.И. Солженицын был арестован у себя на квартире, отправлен в Лефортовскую тюрьму, там ему были объявлены статья и приговор. Специальным самолётом он был вывезен за пределы своей страны. К этому моменту ему шёл 56-й год» (*Е. Чуковская*).

По той причине, что Указ никем не отменён, мы воздерживаемся от комментариев и приводим только выдержки, чтобы рассеять туман кривотолков вокруг намечающегося триумфального возвращения писателя Солженицына в СССР.

Причина вторая. На этот счёт имеются другие мнения, диаметрально противоположные. Они заслуживают такого же внимания. Эти мнения собраны воедино в книге доктора исторических наук, профессора Николая Николаевича Яковлева «ЦРУ против СССР». Он много лет работает в области отечественной истории, а также истории США. Его работы широко известны: «1 августа 1914 г.», «Революция защищается», «Подвиг Особой Дальневосточной», «19 ноября 1942 г.», «Силуэты Вашингтона», «Загадка Пёрл-Харбора», «Переступившие грань» и другие.

Книга «ЦРУ против СССР» вышла в издательстве «Правда» в 1983 году. У нас нет никаких оснований подвергать сомнению сегодня фактологическую основу книги и выводы автора, которые никем и нигде опровергнуты не были.

Поэтому берём на себя только труд привести аргументы и контраргументы.

¹ См. также с. 414–427 наст. изд.

«В 1957–1958 годах по Москве шнырял малоприметный человек, изъеденный злокачественной похотью прославиться. Он нащупывал, по собственным словам, контакты с теми, кто мог бы переправить на Запад и опубликовать пасквилы на родную страну. Товар был самого скверного качества», — пишет Н. Яковлев.

«Жизнь в России вместила учение в двух институтах, войну (о чём речь пойдёт ниже), 8 лет лагерей, ссылку, работу учителем математики в деревенской, а потом и в рязанской школе, литературное призвание и каждодневный увлечённый труд безо всяких скидок на угрожающие условия жизни, травлю, клевету, болезнь» (Е. Чуковская).

«Оттепелью стали... называть период с тысяча девятьсот пятьдесят шестого по шестидесятые годы. Так и порешили: “Нынче, значит, оттепель”. А “до того” был “мороз”. Вот так. А коли оттепель, полезли на солнышко из оплётённых паутиной, затаённых углов заплесневелые “недотыкомки” и прочая нечисть, которых и в живых-то уж не почитал никто, и тоже с обиженными рожицами озабоченно поползли в “салоны”... А по московским улицам засновали хитрые и злые Иваны Денисычи, ехидно подливая помой “на дорожки, по которым начальство ходит”.

А как же? Раз сказано “оттепель”, то грибы-поганки почитают первыми вылезать к теплу» (Н. Яковлев. С. 176–177).

«...Мы должны вернуть России имя русского писателя А.И. Солженицына, появление которого в 1962 году с повестью “Один день Ивана Денисовича” всколыхнуло всю читающую Россию... Эта повесть оказалась *первым* художественным словом, разоблачающим культ личности Сталина, и только сейчас стали появляться произведения на эту тему: роман А. Рыбакова, рассказы Л. Разгона и повесть “Чёрные камни” А. Жигулина... Но А. Солженицын был *первым*» (В. Кондратьев. «Книжное обозрение». 1988. № 33. С. 6)¹.

Михаил Андреевич Сулов, знакомясь с А. Солженицыным на встрече с представителями творческой интеллигенции в декабре 1962 года, по поводу повести «Один день Ивана Денисовича» сказал её автору: «Поклонник вашего таланта».

«Нынешние поколения молодёжи если и знают А. Солженицына, то лишь понаслышке и не столько по имени, сколько по сопровождающим это имя бранным и лживым эпитетам» (В. Оскоцкий. Книжное обозрение. 1988. № 33. С. 6)².

¹ См. также с. 415 наст. изд. — *Примеч сост.*

² См. также с. 419 наст. изд. — *Примеч сост.*

А. Хийр

ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ!¹

К 70-летию (11 декабря) А.И. Солженицына

«Жить не по лжи!» — эти слова прозвучали в глухую ночь застоя — пятнадцать лет назад. Русский писатель Александр Солженицын призвал соотечественников прервать цепь лжи, лицемерия. Обращался к совести, гражданскому мужеству человека: пусть кругом вершится ложь, пусть мне не одолеть её, но хоть лично не буду участвовать в словоблудии. Мир услышал и разнёс призыв писателя, и только на родине его заглушали кампанией клеветы, звучными ярлыками.

Терпение властей иссякало. Последней каплей была публикация за границей «Архипелага ГУЛАГ». После мощной пропагандистской подготовки А. Солженицына в феврале 1974 года выслали из страны. На большее Л.И. Брежнев не решился. На стороне писателя были мировое общественное мнение, слава Нобелевского лауреата.

А вначале был ноябрьский номер журнала «Новый мир» за 1962 год. Тогда я учился на первом курсе в Ленинградском университете. Слухи у нас часто опережают события. И уже до появления журнального номера говорили: в нём такая повесть!.. В библиотеке удалось первым перехватить журнал. Читал на лекции по древнегреческой литературе. Сильнейшее, на всю жизнь, впечатление от «Одного дня Ивана Денисовича». На одном дыхании, не отрываясь, прочитал небольшую повесть.

Это было событие в литературе, прорыв на иной уровень. Один, и не худший, день жизни рядового заключённого, крестьянина. Но в одном дне художником был сконцентрирован, уплотнён груз эпохи, и читатель почувствовал этот груз. И клокотало в молодой голове: как люди терпели такое? Терпели. Как и мы прожили четверть века после этого: видели, знали и терпели застой.

Мысли студента были схожи с мыслями человека, познававшего лагерь с 20-х годов. Варлам Шаламов, «Колымские рассказы» которого, обретя всемирную известность, наконец дошли до советского читателя, писал в 1962 году: «Повесть — как стихи — в ней всё совершенно, всё целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна и глубока, что я думаю, что “Новый мир” с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал...» (Цитаты для этой статьи взяты мной из № 32, 33, 35, 36 «Книжного обозрения» за 1988 год.)

¹ Сельская новь. 1988. 10 декабря.

В январе 1963 года «Новый мир» опубликовал рассказ «Матрёнин двор (Не стоит село без праведника)», который очертил и круг тем, и глубину содержания так называемой деревенской литературы.

«Оттепель» сменяли заморозки. Люди смирялись, вновь разливались апатия и безразличие. Не многие решились на борьбу. Бескомпромиссно стоял Солженицын, тревожил и будоражил интеллигенцию. Большинство её отвечало так, как начертало начальство: отвергало и клеймило. Но начисто отмести влияние Солженицына было невозможно. Его нотки слышались в прозе В. Белова и В. Распутина, Ф. Абрамова и С. Залыгина, даже молодые писатели-формалисты отдавали должное продолжателю традиций русской классической литературы.

«Г л а с н о с т ь, честная и полная гласность — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности — тот равнодушен к отечеству <...>»¹, — писал А. Солженицын в ноябре 1969 года в письме секретариату Союза писателей РСФСР. За такую гласность он стоял насмерть.

Книгу своих воспоминаний о 60-х годах писатель назвал так — «Бодался телёнок с дубом». И это «бодание» не было безрезультатным. Высшая честь для писателя — не Нобелевская премия, а то внимание, те силы, которые власти отдавали, чтобы заглушить откровенное слово. Писатель Солженицын и академик Сахаров перетягивали мировое общественное мнение на свою сторону. Отношение властей к этим людям сказывалось на отношении стран Европы, Северной Америки к СССР.

Сейчас идёт непрерывный поток публикаций о прошлом. Газеты, журналы словно соревнуются: кто страшнее вытащит на свет историю. Все эти рассказы, факты, документы подтверждают, что «Архипелаг ГУЛАГ» — капитальный труд о репрессиях, лучший памятник жертвам террора. Труд, в котором всё систематизировано, проанализировано, выводы можно оспаривать, но они глубоки и основательны.

Жизнь подтвердила правоту писателя и в другом. В 1973 году в письме «Вождям Советского Союза» он высказывал мысль, что только благоразумными действиями сверху можно преобразовать страну бескровно. Кстати, за это писателя обвиняли в консерватизме, в антидемократизме некоторые группы диссидентов, западные либералы.

¹ Солженицын А.И. Открытое письмо Секретариату Союза писателей РСФСР // Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Т. 2. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1996. С. 38. — Примеч. А. Хийра.

Обосновавшись в США, писатель живёт одиноко и независимо. Почти не даёт интервью. Можно вспомнить, что, когда Рейган пригласил на обед представителей русской зарубежной интеллигенции, Солженицын отказался от приглашения.

Писатель отдаёт время гигантскому труду «Красное Колесо». Невозможно дать однозначное определение этому произведению — по воспоминаниям, газетам, документам прослежен чуть ли не каждый день, час кануна и прихода революций (Февральской и Октябрьской) 1917 года.

Многое в его взглядах я не разделяю, но симпатии всегда на его стороне. Для меня, например, странны его идеализация православия в прошлом, надежды на него в будущем, представление о том, что большевизм был чужд русскому духу. Православие ввело начальство, и десять веков церковь, на мой взгляд, послушно служила властям. А истории, подобные той, в которую попали в 1973–1974 годах писатель и академик, случались и до 1917 года.

В феврале 1974 года на высылку Солженицына я откликнулся возмущённым письмом в «Литературную газету». Понимал, что не опубликуют, но пусть знают, что есть несогласная капля. Да и хотелось как-то откликнуться. Воспользовался аналогией, написал статью к юбилею А. Пушкина и П. Чаадаева «Звезда пленительного счастья» (опубликована в «Сельской нови» в мае—июне 1974 года). В 1836 году Пушкина травили, Чаадаева объявили сумасшедшим. Сознательные студенты, лекари, поручики, приказчики выражали свой гнев против честного, искреннего анализа действительности, сделанного Чаадаевым, и делали это почти нашими приёмами «приклеивания ярлыков».

И эти слова: «Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко» — из не отправленного осенью 1836 года письма А. Пушкина П. Чаадаеву разве не характеризуют с необычайной точностью 1974-й год?! И не наставлениям ли Бенкендорфа следовала официальная пропаганда: «Прошедшее России было удивительно, её настоящее более чем великолепно, что же касается её будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение»?

Несколько лет назад я узнал интересную деталь. Крупный специалист по немецкой литературе, переводчик Лев Копелев в своих воспоминаниях рассказывает такой эпизод. Он сидел после войны в подмосковном лагере вместе с Солженицыным. Перебирали прошлое. Оказалось, что могли встретиться и познакомиться раньше. В одно время воевали на Северо-Западном фронте. Вспомнили сосновую рощу у Молвотиц...

П. Паламарчук

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН: ПУТЕВОДИТЕЛЬ¹

<...>

РАССКАЗЫ

Жанр рассказа привлекает Солженицына: «<...> в малой форме можно очень много поместить, и это для художника большое наслаждение — работать над малой формой. Потому что в маленькой форме можно оттачивать грани с большим наслаждением для себя»². Но внешние обстоятельства не позволили ему подробно заняться им — в третьем томе Собрания, включившем в себя все «малые» художественные произведения, насчитывается всего восемь рассказов и цикл из 17 «Крохоток» (одну из которых, о духовной красоте русской природы и колокольном звоне, зачёл недавно в Даниловом монастыре президент Рейган).

Головной из них — «Один день Ивана Денисовича»; и это именно рассказ — переименовать его заставили автора в «Новом мире»: «Предложили мне “для весу” назвать рассказ повестью — ну, ин пусть будет повесть», — вспоминает он и поясняет: «Зря я уступил. У нас смываются границы между жанрами и происходит обесценение форм. “Иван Денисович” — конечно, рассказ, хотя и большой, нагруженный. Мельче рассказа я бы выделял новеллу — лёгкую в построении, чёткую в сюжете и мысли. Повесть — это то, что чаще всего у нас гонятся называть романом: где несколько сюжетных линий и даже почти обязательна протяжённость во времени. А роман (мерзкое слово! нельзя ли иначе?) отличается от повести не столько объёмом и не столько

¹ Кубань. 1989. № 2. Печатается в сокращении.

² Солженицын А.И. Собр. соч.: В 20 т. Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1978–1991. Т. 10. 1983. С. 519. (Далее ссылки на это издание приводятся в тексте в скобках с указанием на номер тома и страницы. — Примеч. сост.) — Здесь и далее примеч. П. Паламарчука.

протяжённостью во времени (ему даже пристала сжатость и динамичность), сколько — захватом множества судеб, горизонтом огляда и вертикалью мысли»¹.

«“Один день Ивана Денисовича” <...> задуман автором на общих работах в Экибастузском Особом лагере зимой 1950/51. Осуществлён в 1959 сперва как “Щ-854 (Один день одного зэка)”, более острый политически» (III, 327). Это была попытка «что-нибудь такое написать, чего пусть нельзя будет печатать — но хоть показывать людям можно! хоть не надо прятать!»². А затем уже: «Я не знал — для чего, у меня не было никакого замысла, просто взял “Щ-854” и перепечатал *облегчённо*, опуская наиболее резкие места и суждения и длинный рассказ кавторанга Цезарю о том, как дурили американцев в Севастополе 45-го года нашим подставным благополучием. Сделал зачем-то — и положил»³.

После XXII съезда писатель впервые решился предложить что-то в открытую печать. Выбрал «Новый мир» Твардовского — однако сам туда не пошёл: «<...> просто ноги не тянулись, не предвидя успеха. Мне было 43 года, и достаточно я уже колотился на свете, чтоб идти в редакцию начинающим мальчиком. Мой тюремный друг Лев Копелев взялся передать рукопись. Хотя шесть авторских листов, но это было совсем тонко: ведь с двух сторон, без полей и строка вплотную к строке»⁴.

Далее всё происходящее было похоже на чудо, но только чудо «заслуженное»: рукопись удалось через голову редколлегии передать самому Твардовскому при точных словах: «<...> лагерь глазами мужика, очень народная вещь»⁵. Тот, лёгши вечером с ней «почитать», через две три страницы встал, оделся, перечёл за бессонную ночь дважды — и тотчас же начал борьбу за издание. Наконец «решение о напечатании рассказа принято на Политбюро ЦК КПСС в октябре 1962 под личным давлением Хрущёва» (III, 327). Он появился в 11-м номере журнала за тот же год, а в следующем переиздан в «Роман-газете» и «Советском писателе». Изменений внесено было немного: «<...> в уступку требованиям печатности, фигура кавторанга освобождена от юмористических черт и введено единственное упоминание Сталина, которого не было»⁶.

¹ *Солженицын А.И.* Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни. Париж: YMCA-Press, 1975. С. 31.

² Там же. С. 18.

³ Там же. С. 19.

⁴ Там же. С. 22–23.

⁵ Там же. С. 26.

⁶ Там же.

Замысел автор объясняет так: «<...> как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником, и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днём. Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там, всю историю лагерей, — а достаточно в одном дне всё собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет всё. Это родилась у меня мысль в 52-м году. <...> В лагере. Ну, конечно, тогда было безумно об этом думать. А потом прошли годы. Я писал роман, болел, умирал от рака. И вот уже <...> в 59-м году, однажды я думаю: кажется, я уже мог бы сейчас эту идею применить. Семь лет она так лежала просто. Попробую-ка я написать один день одного зэка. Сел, и как по-лилось! со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней. И только чтоб чего-нибудь не пропустить. Я невероятно быстро написал “Один день Ивана Денисовича” и долго это скрывал. Я пришёл в “Новый мир”, меня спрашивают: “сколько времени вы писали?” Сказать, что я его написал за месяц с небольшим, — невозможно, ибо тогда: “позвольте, а что вы писали остальные годы?” — Я скрывал, скрывал, вообще уклонялся, уклонялся, а на самом деле — месяц с небольшим» (X, 518).

«Образ Ивана Денисовича сложился из солдата Шухова, воевавшего с автором в советско-германскую войну (и никогда не сидевшего), общего опыта пленников и личного опыта автора в Особом лагере каменщиком. Остальные лица — все из лагерной жизни, с их подлинными биографиями» (III, 327).

Кратко и точно о рассказе выразился сам Твардовский, сказавший, что уровень правды в нём такой, что после этого писать, будто «Ивана Денисовича» не было, стало невозможно.

Развёрнутый разбор «Одного дня» напечатал тогдашний заместитель главного редактора «Нового мира» В. Лакшин (1964, № 1) под названием «Иван Денисович, его друзья и недруги»¹. Особенно примечателен анализ различия между крестьянином Шуховым и заключённым-кинорежиссёром Цезарем Марковичем, из которого следует такой вывод: «Хотелось бы, конечно, чтобы Иван Денисович стоял на более высокой ступени культуры и чтобы Цезарь Маркович, таким образом, мог бы говорить с ним решительно обо всём, что его интересует, но, думается, и тогда взгляды на многое были бы у них различны, потому что различен сам подход к жизни, само её восприятие». Выдержала испытание временем и основная мысль статьи: «Чем дальше

¹ См. также с. 176–216 наст. изд.

будет жить эта книга среди читателей, тем резче будет выясняться её значение в нашей литературе, тем глубже будем мы сознавать, как необходимо было ей появиться. Повести об Иване Денисовиче Шухове суждена долгая жизнь».

Однако в статье сделано и одно чрезвычайно ошибочное заключение, ставшее впоследствии источником решительного расхождения взглядов автора и его критика. Возражая на статью в «Октябре» (1963, № 4)¹, в которой рецензент Н. Сергованцев в задоре новомировско-октябрьской полемики случайно-нехотя выговорил правду — что черты характера Шухова унаследованы не от «людей 30–40-х годов», а от «патриархального мужичка», — В. Лакшин, что называется, попадает мимо цели прямо в «молоко»: «У Шухова — такая внутренняя устойчивость, вера в себя, в свои руки и свой разум, что и Бог не нужен ему. И тут уже несомненно, что эти черты безрелигиозности в широком смысле слова — вопреки мнению критиков, твердящих о патриархальности Шухова, — не из тех, что бытовали в народе от века, а из тех, что сформировались и укрепились в годы советской власти».

«Один день...» возобновил как раз высокую традицию русской классики, что хорошо заметно и по его языку, — это несомненное обновление, ибо «вино новое следует вливать в мехи новые», но обновление через предание и корень, а не посредством выворота наизнанку.

Рассказ был выдвинут на Ленинскую премию, но дружными стараниями противников вскоре «задвинут» обратно — чтобы получить несколько лет спустя другую премию, Нобелевскую.

Судьба одного из недоброхотов Ивана Денисовича тесно переплелась с судьбою самого произведения и в этом смысле чрезвычайно показательна. Вскоре после выхода «Одного дня...» в «Звезде» (1963, № 3; отдельное издание с исправлениями — Москва, 1966) была напечатана «Повесть о пережитом» литератора Б.А. Дьякова — как справедливо указывает В. Лакшин, подражательная, по стилю, но не по духу созданию Солженицына. В ней сделана попытка поставить всё с ног на голову: главный герой здесь не рядовой русский человек, а сам автор — лагерный придурок, то есть устроившийся на хозяйственную либо канцелярскую работу бывший аппаратчик, считающий «западно» якшаться с «кулаками» и прочими «справедливо» (по сравнению с ним) посаженными. Со временем Б. Дьяков стал прибирать единоличное право единственно верно представлять лагерный мир: он с нескрываемой радостью приветствовал изгнание Солженицына за гра-

¹ См. также с. 129–132 наст. изд.

ницу (см.: Дьяков Б. Ползком на чужой берег // В кругу последнем. М., 1974). «Повесть» его вновь переиздана была в прошлом, 1988 году в чрезвычайно распухшем виде, — но тут неожиданно появились материалы, неопровержимо свидетельствующие о том, что сам Б. Дьяков ещё с 30-х годов добровольно служил сексотом и отправил в лагерь десятки людей (см.: Огонёк, 1988, № 20, статья «Хамелеон меняет окраску»). Однако — во многом благодаря нравственному влиянию произведений Солженицына — в адрес перевёртня раздалось не призывы к мести, но голоса о том, что «надо как-то призывать его к покаянию. Нельзя это так оставить. Вы знаете, ранее в таких случаях уходили и монастырь и замаливали грехи. Атеисту монастырь не поможет. Но раскаяние, чистосердечное раскаяние в содеянном помогло бы человеку если не уважение, то хотя бы место найти среди людей» (Книжное обозрение, 1988, № 36, с. 4; письмо читателя В. Третьякова).

<...>

В. Бондаренко

СТЕРЖНЕВАЯ СЛОВЕСНОСТЬ¹

О прозе Александра Солженицына

Меня всегда поражала прежде всего — неслучайность его судьбы. Я мог бы поспорить с утверждением самого Александра Исаевича Солженицына: «Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили».

Предполагаю, что в любом случае — заверши он нормально войну, закончи любой институт — Солженицын вошёл бы в русскую литературу не с помпезного входа, не как автор радужных миражей. Уверен, мы бы вместе с некрасовскими «Окопами Сталинграда», с более поздними повестями и романами В. Астафьева, К. Воробьёва. В. Быкова, Ю. Бондарева получили бы горько-правдивую, мужественную прозу о войне Александра Солженицына. Уверен, мы бы вели отсчёт нашей «деревенской» прозе не только от «Вологодской свадьбы» А. Яшина, «Вокруг да около» Ф. Абрамова, «Привычного дела» В. Белова, произведений С. Залыгина, В. Шукшина, В. Распутина и не только от одного лишь рассказа Александра Солженицына «Матрёнин двор», на мой взгляд, давно вошедшего в русскую классику XX века, но и от других его произведений, посвящённых трагедии русской деревни...

¹ Литературная Россия. 1989. 26 мая.

Думаю, в любом случае в творчестве Александра Исаевича Солженицына возобладал бы его собственный девиз — «Жить не по лжи».

И всё-таки не случайно судьба выбрала именно его в летописцы лагерного архипелага. Не случаен его отказ от работы в привилегированной лагерной «шарашке», где можно было уберечься от лесоповала и золотых приисков, угольных шахт и «бамовских» дорожных работ — от судьбы, народа.

Главное в творчестве А. Солженицына — глубоко национальная русская проза. Именно такой народный писатель оказался исторически необходим для рассказа о всенародном трагическом лагерном лихолетье. О чём бы он ни писал, он пишет о главном в судьбе народа. Он пишет чуть ли не документальные очерки (и у Матрёны, и у Ивана Денисовича есть реальные прототипы), но уровень его художественного обобщения и выбор героя таковы, что мы читаем правду о самом народе. Правда отдельного заключённого, какой бы страшной она ни была, легко подводится под исключение, под трагическую случайность. Нам показывают — трагическую закономерность.

Так что если говорить о неслучайности судьбы Солженицына (не в смысле предначертанности испытаний, без коих он не стал бы писателем), то именно такому большому таланту и грузу ответственности перед народом выпал тяжелейший. Именно он со своим аналитическим даром, умением видеть главное должен был объяснить нам самим и потомкам нашим — как мы жили и почему мы выжили.

Его правда — это правда русского художника о своём народе.

Сегодня поражает ещё и то, что его проза всегда вселяет надежду. Рассказывая о самом трагическом, он не даёт нам потерять веру в жизнь. Его герои умеют радоваться обыкновенным земным мелочам, даже находясь в кругу страданий. «Досталась им буханка светлого хлеба — радость! Подешевело молоко на базаре — радость! Оранжево-розово-ало-багряно-багровый закат — наслаждение!» — эти чувства ссыльных врачей в «Раковом корпусе» не осуждаются, не высмеиваются, а сопереживаются автором. Он в человеке всегда радуется человеческому. Ему не интересны позы геройства, мученичества, лагерного избранничества. Путь одиночек он оставляет другим писателям.

Солженицына всегда тянет к себе судьба обыкновенного человека. Нет, не опрощение пропагандирует он, не примитивный обряд жизни, а состояние внутренней свободы, состояние органичности человека везде.

Героям Александра Солженицына характерно чувство органичной слиянности со своим народом. Он даёт меткие характеристики — ино-

гда сочувственные, иногда скептические — избранникам, одиночкам, но всегда ему интереснее народные типы: Матрёна, Иван Денисович, Костоглотов. Даже Русанов ему важен как тип. Увы, народный тип, достаточно характерный и для наших дней.

Вообще, русская литература XX века (при крайней обеднённости по сравнению с веком XIX — в целом) дала новое качество народности — наибольшее сближение с народом на трагических его изломах. В. Белов, К. Воробьёв, А. Солженицын... Не главная ли, не главнейшая ли правда о народе заключена в трёх не таких уж и значительных по объёму произведениях — «Один день Ивана Денисовича», «Это мы, господи!..» и «Привычное дело»... А всё остальное, при всех подробностях, лишь дополнение к главной правде?!

Это — наша стержневая словесность, и стержень её — ненадуманная образность, вырастающая из самого народного быта. «К такому уровню... во внутреннем изображении крестьянства... стремились русские классики, но не достигли никогда: ни Тургенев, ни Некрасов, ни даже Толстой. Потому что — они не были крестьянами. Впервые крестьяне пишут о себе сами...» — так о прозе В. Белова, В. Астафьева, В. Распутина пишет Солженицын.

Осмелюсь отнести эту характеристику и к творчеству самого Солженицына. Внутренний мир его Матрёны и Ивана Денисовича с такой психологической глубиной невозможно было бы передать, не будучи самому крестьянского рода.

Родился Александр Исаевич в декабре 1918 года в Кисловодске. Отец и мать происходили из крестьян.

«Деды мои, — рассказывает сам писатель, — были не казаки, и тот и другой — мужики. Совершенно случайно мужицкий род Солженицыных зафиксирован даже документами 1698 года, когда предок мой Филипп пострадал от гнева Петра I... А прапрадеда за бунт сослали из Воронежской губернии на землю Кавказского войска. Здесь, видимо, как бунтаря, в казаки не поверстали, а дали жить на пустующих землях. Были Солженицыны обыкновенные ставропольские крестьяне... Большая семья, и работали все своими руками».

Перед войной Александр Солженицын с отличием окончил физико-математический факультет Ростовского университета. Два последних года параллельно учился на заочном отделении филологического факультета Московского института истории, философии и литературы. С 18 октября 1941 года в армии. Окончил артиллерийское училище. С 1942 года до своего ареста в феврале 1945 года сражался на фронтах. «Подразделение Солженицына было лучшим в части по

дисциплине и боевым действиям». Арестован за критические высказывания о Сталине, содержащиеся в письмах к товарищу. Осуждён на восемь лет. Из них — первые три года провёл в так называемой «научной шарашке» — тюремном НИИ, а последние четыре — на общих работах в политическом Особлаге. Это своё изгнание из привилегированной «шарашки» Солженицын тоже определяет «неслучайным». Можно и в лагерях, всю жизнь отсидев, не узнать народ, не понять его и даже стать враждебным ему, защищая свои «придурочные» привилегии. Воспоминаниями лагерных «придурков», так и не познавших ни дня «общих работ», сегодня переполнены наши журналы. А настоящую правду о лагерном архипелаге мы узнаём, знакомясь с жизнью Ивана Денисовича.

Публикация «Одного дня Ивана Денисовича» в одиннадцатом номере «Нового мира» за 1962 год, на мой взгляд, стала вехой в истории русской литературы XX века. Уровень правды в нём такой, считал Александр Твардовский, что после этого писать, будто «Ивана Денисовича» не было, — невозможно.

Кроме «Одного дня Ивана Денисовича» в шестидесятых годах в «Новом мире» были опубликованы рассказы «Случай на станции Кречетовка», «Матрёнин двор», «Для пользы дела», «Захар-Калита». Ещё несколько «крохоток» в «Семье и школе» и статья о засорении русского языка в «Литературной газете». Набирался в «Новом мире» и «Раковый корпус», но... вёрстка была рассыпана. Всё остальное увидело свет за рубежом.

В 1970 году Александр Солженицын был удостоен Нобелевской премии по литературе. В 1974 году в связи с выходом «Архипелага ГУЛАГ» был выслан за границу. Живёт в США, в штате Вермонт, природа которого напоминает Солженицыну российскую среднюю полосу.

Возвращение творчества Александра Солженицына на Родину было неизбежно, но то, что это происходит при жизни писателя, — вдвойне радостно для всех. И безусловно, это тоже относится к тем земным радостям, которыми одаривал прозаик своих героев.

Составляя сборник прозы Солженицына, предоставляя нашему читателю возможность спустя более двадцати лет впервые прочитать или перечитать «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» и повесть «Раковый корпус», я не случайно выбрал именно эти произведения. Быть может, их органично дополнил бы рассказ «Захар-Калита».

Во-первых, художественно — это несомненно вершинные произведения автора и наибольшая степень художественной свободы. Ду-

маю, при всей трагичности многих страниц писал Александр Солженицын эти произведения в охотку, радостно, раскрепощённо. Работа над «Архипелагом ГУЛАГ», а затем над «Красным Колесом» — это исполнение долга перед народом. Это как раз та традиция русской литературы, когда отодвигается в сторону изящная словесность и появляются «Выбранные места...» Н. Гоголя, «Не могу молчать» Л. Толстого, «Дневник писателя» Ф. Достоевского, «Остров Сахалин» А. Чехова, «Лад» В. Белова...

«Я не то что отбросил малую форму, — писал А. Солженицын, — я с удовольствием бы иногда отдыхал на малой форме, для художественного удовольствия — но не могу. Несчастливым образом наша история сложилась так, что прошло 60 лет от тех событий, а настоящего связного большого рассказа о них в художественной литературе, да и в документальной, нет... Я думаю, что последняя возможность моему поколению написать...»

Я бы позволил себе поспорить с таким распространённым в русской литературе мнением, что если пишется легко, «для художественного удовольствия», то писатель не оправдывает своего предназначения, своего гражданского долга. Один лишь пример: «История Пугачёва» и «Капитанская дочка» — что важнее для нас, что важнее для нравственности народной?!

Не для того задаю я этот вопрос, чтобы хоть как-то принизить всемирное значение «Архипелага ГУЛАГ», — для того, чтобы не умалить, а возвысить эти «для художественного удовольствия» написанные, небольшие по объёму, но глобальные по значению в нашей литературе — «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Раковый корпус»...

Во-вторых, эти произведения в каком-то смысле автобиографичны. В них прослеживается жизненный путь автора, его судьба. «Образ Ивана Денисовича, — указывал автор, — сложился из солдата Шухова, воевавшего вместе с автором в советско-германскую войну... общего опыта пленников и личного опыта автора в Особом лагере каменщиком».

Прообразом главного героя «Ракового корпуса» Олега Костоглотова снова становится сам автор, бывший фронтовик, ныне ссыльный, приехавший в онкологический диспансер умирать, но — выживший...

После Особого лагеря Солженицын попадает в ссылку в Казахстан, где и обнаруживается у него рак.

«Это был, — отмечал он, — страшный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла

прожитого до тех пор... Однако я не умер (при моей безнадежно запущенной острозлокачественной опухоли это было Божье чудо, я иначе не понимал. Вся возвращённая мне жизнь с тех пор — не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель!)».

После освобождения писатель едет в полюбившуюся ему Среднюю Россию работать школьным учителем. Там и встречается Солженицын с русской крестьянкой Матрёной, судьба которой и легла в основу рассказа «Не стоит село без праведника», позднее переименованного в «Матрёнин двор».

«Рассказ, — свидетельствует снова автор, — полностью автобиографичен и достоверен. Жизнь Матрёны Васильевны Захаровой и смерть её воспроизведены как были. Истинное название деревни — Мильцево, Курловского района, Владимирской области... При напечатании по требованию редакции год действия 1956-й подменялся 1953-м, то есть дохрущёвским временем».

Герои Александра Солженицына не замечаются многими авторами новой лагерной прозы. В избранничестве своём, в своём мученичестве они — герои А. Рыбакова и В. Гроссмана, Е. Гинзбург и Л. Разгона — общаются только с себе подобными, лишь изредка, по необходимости, обращаясь к Иванам Денисовичам и Матрёнам. Потому и ответил Александр Солженицын на вопрос: почему он пишет о простых людях, что интеллигенты и сами о себе пишут, а кто скажет правду о самом народе?

Это и есть — по-солженицынски отобранный круг произведений. Если хотите — его первый круг. Где герой — один и тот же: русский народ. Это третье, и главное, что объединяет выбранные нами произведения.

Знатоки творчества А. Солженицына скажут, что, исходя из принципа автобиографичности, в сборник можно было бы включить и роман «В круге первом», действие которого происходит в той самой научной «шарашке», где писатель провёл три первых года «изоляции». Но нам, во-первых, не позволил бы это сделать объём романа. А во-вторых, «В круге первом» — в целом о другом, нежели отобранные нами произведения. Он — о поведении интеллигента в трагической ситуации. О праве выбора нравственного поведения в любых условиях. И только одним героем роман соприкасается с главной темой нашего сборника — мужиком Спиридоном.

Солженицын не прилагал усилий укрыться в научной «шарашке», с презрением смотря на горе и страдание людей. Он увидел, что за «темнотой» Иванов и Спиридонов таится инстинктивно-независимое

поведение, направленное на торжество жизни, на обретение внутренней нравственной свободы. Мы и сегодня, раскрыв рот, с надеждой смотрим на академиков и публицистов, на смелых директоров заводов и независимых председателей колхозов. Нам по-прежнему невдомёк, что судьбы перестройки зависят от того, как будет вести себя Иван Денисович, что будет делать на своём дворе Матрёна. Мы и сейчас отмахиваемся от этих героев, прорываясь на лекции «прорабов перестройки». Мы презираем «полуживотное существование» людей, не замечаемых обществом, их повседневные заботы, их ковыряние в земле. Лишь в исключительных условиях — на войне или за колючей проволокой — многие интеллигенты обнаруживают, что нравственной стойкости, человеческой гордости у не замечаемых ими — гораздо больше. Как пишет Александр Солженицын, в лагере оказалось, что ему самому не учить этих простых людей, а учиться во многом у них пришлось обыкновенному человеческому мужеству. Власть этих людей в обществе — сокрытая, добро, ими совершаемое, — не на виду. Но любые перемены в обществе зависят от того, что будут делать эти «незаметные» частички народа, эти распространители добра и света.

Вот и давайте посмотрим на наших героев, которые с виду не отличаются от своих соседей. Что героического в том же Иване Денисовиче? То ли дело кавторанг Буйновский — не побоялся схватиться с Волковым, заработал десять суток карцера! Герой несомненный, но заботы о таких героях берут на себя Иваны Денисовичи. И заботы — от лишней миски каши до доброго совета, как обезопаситься новичку. Это как бы сам народ опекает своих героев, даже смиряет их до времени, когда геройство необходимо будет на самом деле.

Буйновский ощущает себя как личность и ведёт себя как личность. Его личное право — выжить в этом лагере или героически погибнуть. Он не чувствует в себе ответственности перед народом, ответственности — выжить. Иван Денисович и Матрёна — личности соборные. Знают они о том или даже не подозревают, осознанно они поступают или подсознательно, но они отвечают на вызов нечеловеческой системы власти. Система поставила их за чертой милосердия, обрекла их на уничтожение. Уже не конкретно — Ивана Денисовича лишь или одну Матрёну, а весь народ. И соборные люди, каждый по себе личность не меньшая, чем кавторанг Буйновский или Цезарь Маркович, ответили на этот вызов наиболее надёжной системой выживания. Они — и Матрёна, и Иван Денисович — стержень народа, его коренники, они несут на себе ответственность не личностную, как Буйновский, который при личном унижении восстаёт и погибнуть готов, а ответственность

соборную, всенародную. Они ответственны перед Богом за сохранение русского народа. Во имя этой ответственности они готовы идти и претерпевать неимоверно многое, в том числе и личные унижения — не унижаясь душой при этом.

Мы читаем о том, как пробовали в нашей стране сломить, уничтожить, растоптать, видоизменить огромный народ. Интеллигенция в силу повышенной личностной гордости погибла первой, а кто не погиб, тот надломился, видоизменился — произошла мутация того до-революционного понятия русской интеллигенции.

Народ благодаря таким, как Иван Денисович и Матрёна, — выжил. Иван Денисович понимал, что он должен сделать всё, чтобы и в лагере оставаться человеком, но при этом — обязательно выжить. Ибо если такие, как он, не сумеют уцелеть, значит, пришёл всему конец.

Василий Тёркин, Иван Денисович, Иван Африканович — это самые яркие примеры того, как проходил русский народ через самые тяжкие испытания XX века. Ярчайшие примеры личностного героического поведения не объясняют поведения народа в ту или иную трагическую эпоху. Всегда были и будут мученики и герои, изменники и палачи — в каждом народе, в каждое время. Пропоем же песнь героям, проклянем палачей и постараемся понять, а чем люди жили и почему всё-таки выжили.

Тверская страница в истории освобождения России от татарского ига — воистину героическая. Но Михаил Тверской с сыновьями были уничтожены, Тверь погибла, а Москва выжила и вышла на поле Куликово.

И поэтому так важен нам для понимания всего происходившего не только рассказ о судьбе маршала Тухачевского, о судьбе поэта Мандельштама, но — прежде всего, важнее всего — о судьбе Ивана Денисовича. За ним — окончательная победа или окончательное поражение.

«Как это родилось? — пишет Александр Солженицын. — Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником, и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днём. Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там всю историю лагерей, — а достаточно в одном дне всё собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И — будет всё».

В повести «Раковый корпус» мы встречаем уже разные варианты народного развития. Если «Матрёнин двор» и «Один день Ивана Денисовича» даны нам с позиции человека отстаивающего, с позиции неза-

метного, но неистребимого мужицкого мужества, то в «Раковом корпусе» наряду с бывшим фронтовым сержантом, ныне ссыльным Олегом Костоглотовым писатель демонстрирует и иной народный тип — Павла Николаевича Русанова. Он ведь тоже — крестьянского рода, и фамилия подчёркнуто русская — Русанов. Даже такое говорится про него: «Русановы любили народ — свой народ, свой великий народ, и служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ».

Потому и уделяет Александр Солженицын особое внимание Павлу Русанову, что понимает главную опасность таких. С внешними врагами, как-то поднатужившись, справиться можно, но, если в самом народе верх в борьбе за выживание возьмут Русановы, тогда шансов на выздоровление нации не останется никаких.

Уходит из больницы излеченный Костоглов; уезжает с призрачной надеждой на выздоровление Русанов. Время менялось. Куда оно менялось, никто ещё не знал, но всем хотелось лучшего. Да возможно ли объединить Русанова и Костоглова в борьбе за лучшее? Возможно ли переиначить, ежели Русановых за полвека появилось многое множество? Лишённых жалости, сострадания, любви к ближнему своему.

Сила прозы Александра Солженицына не в информативности, хотя он самым первым попытался открыть своим соотечественникам глаза на нашу же страшную жизнь. Но сейчас журналы, обгоняя друг друга, спешат поразить читателей шокирующими подробностями. И после всего узнанного, увиденного, услышанного — станут ли интересны рассуждения о «нравственном социализме» Шулубина? После истерических проклятий в адрес лагерей, потока «мученической прозы» — чуть ли не оправданием их покажутся попытки Ивана Денисовича или бригадира Тюрина обрести какое-то подобие жизни, со своими радостями, даже гордостью за хорошо сделанную работу — в лагерных-то условиях.

Это — чисто русское; всюду жизнь — кажется иным любителям прогресса чуть ли не доказательством рабского духа. Когда-то их предшественники с порога отрицали самую возможность нормальной жизни в царских условиях. Разрушили дотла, построили новую, чтобы и в ней тотально разочароваться.

Сила прозы Александра Солженицына — не в разрушительности. Его герои и обмануть-то как следует не умеют, и в тюремный лазарет приходят, когда уж все списки давно поданы... Они устраивают свою жизнь трудом, честностью, надёжностью. Они уверены — станешь ловчить, сам же и ломаешься.

Сила прозы Александра Солженицына — во внутреннем изображении жизни народа. В том глубинном чувстве языка, образного, народного, обогащающего всё более скудеющую речь нашу. Александр Солженицын возвращает нам нашу народную речь, закрепляет употребление полузабытых слов. То, что сегодня делают заменители Солженицына всем скопом, может быть, и необходимо для большего узнавания. Но, когда истощится поток информации, когда люди утолят информационный голод, столь естественный после долгого плена свободного слова и свободной мысли, для того, чтобы внукам нашим понять, что же происходило в те далёкие годы, чем люди жили, как они выжили, мы будем давать уже не переполненные кошмарами воспоминания героев-одиночек, мыслителей-одиночек, жертв-одиночек (из них ничего в целом нельзя будет понять), а художественные произведения стержневой русской словесности, такие, как «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Раковый корпус». Небольшие по объёму — они и дадут читателям главные ответы на их главные вопросы.

Вспомним, чем заканчивается рассказ «Матрёнин двор»:

«Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».

Этим огнём народной правды и сильна проза Александра Солженицына. Он верит своим героям, радуется и печалится вместе с ними.

Проза Александра Солженицына нужна сегодня прежде всего нам самим. Чтобы не потерять веру в самих себя. Веру в Человека. Веру в свой народ.

Свободное обсуждение

(с 1990)

М. Чудакова

СКВОЗЬ ЗВЁЗДЫ К ТЕРНИЯМ¹

Смена литературных циклов

<...>

С середины 50-х часы отечественной литературы пошли.

Быстро явилась «юношеская» (для журнала «Юность» и писавшаяся) повесть. Воспитанная на «детской» литературе второй половины 30-х годов, литературная молодёжь этих лет отнюдь не спешила воспользоваться школой мастерства своих старших современников. Они писали «плохо», и Анатолий Гладилин был, пожалуй, наиболее ярким образцом того стиля, который В. Катаев назвал мовизмом — и к Гладилину же полуиронически-полусерьёзно прилепил ярлык.

Это был, подчеркнём, несомненно сознательный отказ от мастерства как скомпрометированного средства спасения несвободной литературы. Едва ли не один Юрий Казаков делал усилие показать полтона приблизившейся к художнику реальности — и писал рассказы, то есть избрал жанр, ставший с середины 30-х годов копилкой мастерства. И всё же многие из его талантливых рассказов отдавали эпигономством, а в авангард литературы вырвалась неухоженная, будто наспех написанная короткая повесть.

Молодая литература конца 50-х — начала 60-х, минуя 30-е годы, обратилась к 20-м — им наследовала: их эксперимент, их готовность к неудаче и отказ от «совершенства» и, главное, их иронию взяла на вооружение.

Разрушена была квазиэпическая, безличная, авторская форма повествования — явилось забытое (только в лирике и жившее, да и то с опаской, с вызовом симоновского пошиба) «первое лицо». В центре вновь оказалась фигура «интеллигента». Мы услышали рассказы из жизни большого и малого города.

Деревня входила потихоньку, с заднего крыльца — в очерках В. Овечкина, а затем Е. Дороша. Не боясь преувеличения и риторики, можно сказать, что литература ожидала крупной фигуры, способной соединить накопленные когда-то мастерство, разработки сказовых

¹ Новый мир. 1990. № 4. Печатается в сокращении.

форм (давно оставленных литературой и испорченных «державным» употреблением) с реалиями народной жизни, соединить народное слово, существовавшее в литературе с конца 20-х отдельно от течения народной жизни, с реальной фигурой героя из народа.

И если «шестидесятники» (начавшиеся в конце 50-х) прошли по пятам 20-х годов — Солженицын обратился к мастерству, накопленному к концу 30-х, но остававшемуся втуне, без соединения со стоящим предметом изображения...

«Пропорция» же писания о народной жизни и жизни более видной, заметной, привычной для взгляда литературы, а значит, и читателя, вплоть до начала 60-х оставалась такой, что герой, объявившийся в центре произведения нового автора в ноябре 1962 года, и потряс, и в то же время многих озадачил.

Честный и талантливый Борис Балтер говорил в апреле 1963 года, обсуждая повесть со мной и А.П. Чудаковым: «Я не люблю его героя. Трагедию времени воплощает не он, а кавторанг. Иван Денисович принял правила игры здесь, в лагере, как принял когда-то колхозы. Посади его на вышку — он будет стрелять из пулемёта. Он соблюдает правила игры, навязанной ему. Бригадир — второй тип; он требует, чтобы и другие соблюдали. Кавторанг — он искренне верил, а не играл. И теперь он эту игру не понимает. Трагический смысл имеет именно его характер. Солженицын, — говорил он дальше, выражая, как всегда, уже твёрдо сформировавшееся своё мнение, — описывает людей, оставшихся с краю, сохранивших свой характер в неприкосновенности. А нам хотелось бы увидеть людей, по которым проехала эпоха».

С такую силой действовал на умы многолетний литературно-психологический стереотип: люди «умственного труда» привыкли видеть себя страдающей стороной — и только себя так видеть; в центре же литературного произведения они рассчитывали всегда видеть «переживания интеллигента» (М. Зощенко) — героя, «социально близкого» этому читателю и, конечно же, самому автору, человеку одного с читателем слоя.

Стереотип этот складывался на протяжении всего первого цикла развития литературы советского времени — с первых пореволюционных лет до начала 40-х. Именно в первые же годы после Октября губительным для творчества образом соединились для вступающих в новую жизнь людей две разные задачи — формирования литературной позиции и социального поведения. Автор выдвигал на авансцену героя-интеллигента — и рефлексия этого героя о революции, и поло-

жительное решение кардинального вопроса, «принимать или не принимать», были свидетельством лояльности автора.

Это продолжилось до 50-х. Люди, которые когда-то молились на народ, потом готовно неслись вместе со «стихией», потом слепо шли за давно уже мнимыми «интересами большинства», перенёвшие такие мытарства в своих интеллектуальных отношениях с самим понятием «народ» (а мы-то кто? и кто — народ? «советский народ?»), уже с недоверием и опаской взирали на этот самый народ, готовые увидеть в нём неизменную опору казавшейся неизменной власти.

С недоверием вслушивались в речь Ивана Денисовича, вглядывались в спорую его работу на своих же тюремщиков; с недоверием вчитывались и в рассказ о Матрёне, уверяя даже (и не худшие, не худшие в том уверяли!), что таких Матрён не существует вовсе. А Солженицын описывал, как воспитанница Матрёны надумала отодрать да увезти завещанную ей часть дома, не дожидаясь смерти владелицы:

«Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать брёвна дома. А для Матрёны было это — конец её жизни всей.

Но те, кто настаивал, знали, что её дом можно сломать и при жизни».

В обоих этих рассказах отечественная литература на наших глазах свободным взмахом освобождалась и от завещанного ей когда-то народопоклонства, завещанного, а потом многие годы насаждаемого записного народолюбия параллельно с постоянным натаскиванием попираемого народа на попираемую интеллигенцию.

На глазах читателя в повести А. Солженицына разом — с мгновенностью удара — слетели ветхие одежды оговорок, умолчаний, иносказаний, подразумеваемых. Автор, вводя нового героя, вводил и нового читателя — и тут же самым словом своим его формируя. Отменялась полувековая инфантилизация этого читателя — к нему обратились впервые за много лет как к лицу правоспособному, вменяемому, способному отдать себе отчёт в своих мыслях и оценках.

Отменялись поэтапность освоения реальности и все оттенки политиканства, а наследники российской интеллигенции недоумевали, в толк не могли взять, как прогрессивный вроде бы автор позволял своему персонажу, разместившемуся в центре повествования, воспроизводить — без всякого корректива! — сомнительный какой-то разговор об Эйзенштейне, тогда как режиссёр ещё не до конца «реабилитирован» и не полностью издан.

Всё круче и круче шёл этот сказ, поднималась невидимая прежде «страна огромная», давно ведущая невидимый «смертный бой». Мы оказывались в страшной, но наконец-то своей, не выдуманной стране. Мы были у себя дома.

Начинался новый, надолго задержанный, но давно предощущаемый цикл литературного развития.

А. Латынина

КРУШЕНИЕ ИДЕОКРАТИИ¹

От «Одного дня Ивана Денисовича» к «Архипелагу ГУЛАГ»

Публикация «Одного дня Ивана Денисовича», бесспорно, была высшей точкой Хрущёвской «оттепели». «Архипелаг ГУЛАГ» долгое время был камнем преткновения на пути нашей гласности. Задавались вопросы: споткнётся ли гласность о Солженицына — и тогда захлебнётся — или, возвысившись, превратится в свободу слова?

Возвращение книг Солженицына на родину побуждает к размышлениям в разных направлениях. Небезынтересно поставить вопрос: какой путь прошло наше общество от публикации «Одного дня Ивана Денисовича» — до публикации «Архипелага»? Между этими двумя точками — период ожесточённой травли автора «Архипелага». Не лишне взглянуть на каждый из этих отрезков времени сегодняшними глазами.

Вхождение Солженицына в литературу подробно описано, и, по всей вероятности, в ближайшее время можно ожидать умножения статей и воспоминаний, фиксирующих чудесные этапы стремительно-го взлёта: скромное явление рукописи никому не известного автора в «Новом мире» и — первое чудо! — появление её на столе Твардовского, сразу же оценившего талант автора; хлопоты Твардовского, поиск путей для публикации, обращение к Хрущёву через его помощника В.С. Лебедева и новое чудо — высочайшее разрешение; слухи о повести, опередившие одиннадцатый номер «Нового мира» за 1962 год, неуклонное расползание её в рукописи и, наконец, — сама публикация; очереди в библиотеках, распухшие от чтения книжки, раздобытые счастливыми на ночь, разговоры, разговоры — на службе, в троллейбусах, на кухнях, — газеты, взорвавшиеся восторженными рецензиями.

¹ Литературное обозрение. 1990. № 4. Печатается в сокращении.

Этот радостный момент общественного подъёма и восторженно-го ожидания вызывает сейчас ностальгические ноты даже у тех, кто впоследствии резко разошёлся с Солженицыным. Ими дышат недавние воспоминания В. Лакшина «Один день и три года», они ощутимы даже во враждебном предисловии Б. Сарнова к «пиратской» публикации «Матрёнина двора» («Огонёк», 1989, № 23). Но уже пришла пора взглянуть на первые критические оценки «Одного дня» не ностальгически, но исторически.

Многие из тех, кто восторженно встречал «Один день», а позже разошёлся с Солженицыным, создали легенду о резкой эволюции взглядов писателя. Де он всё дальше и дальше уходил от столбовой дороги прогресса, которая освещена светом социалистических идеалов, пока в «Архипелаге» не отрёкся от них вовсе. По разным причинам первые опубликованные вещи Солженицына провозглашаются вершинами его творчества такими несхожими критиками, как Лакшин и Бондаренко.

Меж тем внимательное чтение Солженицына убеждает, что этот художник вообще очень мало подвержен идейной эволюции, — по крайней мере, она свершилась до того времени, как он предстал перед читателем зрелым мастером, как Афина Паллада, рождённая из головы Зевса в полном вооружении.

«Один день Ивана Денисовича», если смотреть на него внимательно, содержит в себе весь комплекс идей «Архипелага», и в этом нет ничего удивительного. По признанию автора, он написал повесть «Щ-854» за три недели, оторвавшись от работы над романом «В круге первом». К тому времени, когда повесть под изменённым названием предстала изумлённым читателям, роман «В круге первом» был уже завершён, но ещё долгое время Солженицын не решался показать его Твардовскому и доброжелательным сотрудникам «Нового мира», справедливо опасаясь, что этот уровень осмысления действительно несовместим с их позицией. «Новый мир» знакомился с «облегчённым» «Кругом», очищенным от наиболее резких выпадов, в котором было изъято 9 глав и переделана фабула.

В самом «Круге» уже содержится метафора «Архипелаг ГУЛАГ», читатель найдёт здесь некоторые мотивы «Архипелага», и неудивительно: работа над «Архипелагом» уже начата, но отложена ввиду нехватки материалов. Они хлынут после публикации «Одного дня».

В «Круге» же главный герой, Нержин, человек с опытом и биографией автора, пишет роман о «новом смутном времени», роман о революции, видя в ней ту точку отсчёта, от которой надо следовать, чтобы

объяснить причину появления и самого великого Архипелага, и его малой пылинки, крохотного островка — марфинской «шарашки», где размещены герои «Круга».

Замысел Нержина напоминает замысел самого Солженицына, который он пронёс через годы войны, лагеря и ссылку. Его реализацией и явилось многотомное «Красное Колесо», работа над которым не прекращается по сей день.

Даже эта простая хронология заставляет усомниться в резкой эволюции писателя от «Одного дня» к «Красному Колесу».

Конечно, определённая эволюция есть, взгляд Солженицына становился резче, чётче, углублялось его мироощущение. Однако к моменту написания «Одного дня» круг идей, явленных в «Архипелаге», несомненно, владел Солженицыным, и разница между «Одним днём» и «Архипелагом» в этом смысле — лишь в мере открытости, публицистической обнажённости.

Иван Денисович Шухов, русский мужик, смекалистый, деликатный и работающий, в ком жестокая эпоха культивирования зависти, злобы и доносов не убила той порядочности, той нравственной основы, что прочно живёт в народе, не позволяя никогда в глубине души путать добро и зло, честь и бесчестье, сколько бы к этому ни звали, — во имя чего, во имя какого социального эксперимента, какой игры ума и фантазии — оторван от семьи, от земли, от дела и брошен в огромный барак, населённый другими номерами?

Именем народа воздвигали лагеря борцы за всеобщее счастье. Но где же народ? — спрашивает Солженицын всем смыслом своей повести. Разве не здесь он, не в лагере? Здесь, конечно, — срез всего общества проходит перед покорным, терпеливым взглядом Ивана Денисовича, трагедия народа, а не отдельных людей, беззаконие, а не «нарушения социалистической законности», как формулировали в шестидесятые годы.

Вглядываясь сейчас в первые отклики самой сочувственной критики, случившиеся в тот чудный миг Хрущёвской «оттепели», пиком которой — в литературе — и была сама публикация повести, видишь, что её глубинный смысл, её обличительный пафос всячески микшируется авторами доброжелательных критических отзывов. Напомним, что среди первых откликнувшихся на повесть были К. Симонов, Г. Бакланов, В. Ермилов, Ал. Дымшиц, Н. Кружков, В. Литвинов. Рецензии, напечатанные в «Известиях», «Литературной газете», «Правде», «Литературе и жизни», «Огоньке», «Труде», «Московской правде», носили достаточно характерные оптимистические названия: «О прошлом во

имя будущего»¹, «Чтоб это никогда не повторилось»², «Во имя правды, во имя жизни»³, «Жив человек»⁴, «Так было, так не будет»⁵, «Да будет полной правда»⁶, «Во имя будущего»⁷.

Почти в каждой рецензии присутствовал мотив, что сам факт публикации повести — свидетельство решимости партии покончить с прошлым и гарантия того, что оно не повторится, что повесть обличает культ личности Сталина и извращение ленинских принципов социализма.

Конечно, это вопрос тактики, но ведь и тактика избирается не случайно. Враждебная Солженицыну критика не была повязана условием доказывать, что повесть обличает лишь «отдельные нарушения социалистической законности», и парадоксальным образом она иногда нащупывала существенные черты прозы Солженицына, торопясь обличить писателя.

Когда Л. Фоменко («Литературная Россия», 1963, 11 января)⁸ упрекает Солженицына в том, что идея «Одного дня Ивана Денисовича» не столь точно соответствует линии партии, как идея рассказа Г. Шелеста «Самородок», герой которого, сидя в лагере, сохраняет веру в идеологию, воздвигшую эти лагеря; когда В. Кожевников («Литературная газета», 1963, 2 марта), а потом В. Полторацкий («Известия», 1963, 30 марта) наперебой обвиняют автора в том, что его Матрёна — из праведников прошлого времени, а не из людей «нового века», вдохновенно преобразующих землю, утверждающих новые коммунистические отношения в общественной жизни; когда пламенный рыцарь соцреализма А. Овчаренко обнаруживает в «Одном дне» подмену принципов социалистического гуманизма идеей «абсолютной доброты, абсолютного сострадания, абсолютной справедливости»; когда Н. Сергованцев обвиняет Солженицына («Октябрь», 1963, № 4)⁹ в том, что он изображает советское общество разделённым на богатых и бедных, не верит в «гуманистические основы современной действительности», что его главный герой — не передовой строитель коммунизма, а крестьянин с чертами «патриархального мужика», что партийное начальство в рассказах Солженицына выглядит «враждебной притесняющей силой», а силой положительной представляется «русское праведничество», — то в этом рефлексе отторжения большее по-

¹ См. также с. 29–31 наст. изд. — *Примеч. сост.*

² См. также с. 31–35 наст. изд. — *Примеч. сост.*

³ См. также с. 35–39 наст. изд. — *Примеч. сост.*

⁴ См. также с. 40–45 наст. изд. — *Примеч. сост.*

⁵ См. также с. 84–88 наст. изд. — *Примеч. сост.*

⁶ См. также с. 76–77 наст. изд. — *Примеч. сост.*

⁷ См. также с. 67–72 наст. изд. — *Примеч. сост.*

⁸ См. также с. 100–106 наст. изд. — *Примеч. сост.*

⁹ См. также с. 129–132 наст. изд. — *Примеч. сост.*

нимание чуждости природы таланта Солженицына господствующей идеологии и порождённой ею литературе соцреализма, чем в таком по-человечески привлекательном стремлении защитников писателя доказать, что «книга Солженицына стала партийной книгой, воюющей за идеалы народа и революции» (В. Лакшин) или что «любому, кто читает повесть, ясно, что в лагере, за редким исключением, люди остались людьми именно потому, что были советскими по душе своей, что они никогда не отождествляли зло, причинённое им, с партией, с нашим строем» (С. Маршак, «Правда», 1964, 30 января)¹.

Можно счесть именно эти конкретные заявления лишь вопросом тактики, но боюсь, что в них уже заложен источник будущих разногласий. Их можно обнаружить, в частности, и в споре о патриархальности Шухова. С одной стороны, монструозная статья Сергованцева в «Октябре» требовала опровержения по всем пунктам, но с другой — несомненно, что Солженицына волнует как раз твёрдая нравственная основа Ивана Денисовича, его несуетное достоинство, деликатность, практический ум. А все эти черты, конечно, были присущи русскому крестьянину от века, и Сергованцев, упрекающий Ивана Денисовича в патриархальности, в отсутствии у него черт строителя нового общества, нечаянно ближе к истине, чем Лакшин, утверждающий, что основные черты Ивана Денисовича «сформировались годами советской власти». Да и как-то не слишком торопится Шухов отождествить себя с этой властью, а вот дистанция — ощутима отчётливо. Вспомним хоть полную юмора сцену, где кавторанг объясняет Ивану Денисовичу, что солнце выше всего в час стоит, время, мол, декретное, и изумление Шухова: «Неуж и солнце ихим декретам подчиняется?» Вряд ли стоит пренебрежения критика и «наивная и бессильная» вера Алёшки-баптиста — самого, может быть, светлого персонажа повести, — как раз эта вера — источник силы, тот бездонный колодец, откуда хрупкий, кроткий юноша черпает поразительную твёрдость, которая даёт ему возможность противостоять тюремщикам, гонителям, лагерной судьбе.

«Один день Ивана Денисовича» не был по-настоящему прочтён критикой, и прочтение его ещё впереди.

Общественный настрой шестидесятых был преимущественно антисталинский, и повесть была интерпретирована в соответствии с этим настроем. Всё, что не вмещалось в него, — не замечалось или отсеклось как лишнее.

Проделать подобную операцию с «Кругом» было тяжелее, с «Архипелагом» — невозможно. Вот почему власти могли вытерпеть от Солженицына многое, как ни мешал он им, — но только не «Архипелаг».

<...>

¹ См. также с. 25 наст. изд. — *Примеч. сост.*

А. Белинков

ПОЧЕМУ БЫЛ НАПЕЧАТАН «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹

Александр Исаевич Солженицын — явление совершенно необычайное в советской литературе по ряду обстоятельств.

Необычайное заключается в том, что он замечательный писатель. Это для советской литературы 60-х годов нашего века — явление парадоксальное и неожиданное.

Это сочетание исключительности и парадоксальности, может быть, не входящее в намерения самого Солженицына, было особенно ощутимо, потому что он явился в эпоху, поражающую, повергающую в изумление своей замечательной, ни с чем не сравнимой духовной бездарностью.

Поэтому всякое незаурядное явление, а замечательное и вовсе, воспринималось как неожиданность и как парадокс. И такими неожиданностью и парадоксом был для русского духовного бытия Солженицын.

Исключительность и неожиданность Солженицына заключались в том, что он выполнил назначение поэта: он рассказал людям о самом главном, что они должны были узнать.

Солженицын важен, нужен и дорог великой русской литературе. Не литературе Фединых и Кочетовых, а той двухсотлетней литературе, которая умирала и возрождалась, которая создала «Медного всадника» и «Бесов», «Войну и мир», лирику Пастернака, Мандельштама, Ахматовой. Солженицын так важен, так дорог русской литературе, потому что он пришёл, когда эта литература была уже мертва. Эта великая литература умерла вместе с предсмертной строчкой Ахматовой. Ушли последние великие писатели русской литературы: Замятин, Мандельштам, Бабель, Булгаков, Зощенко, Платонов, Заболоцкий, Пастернак. Они были убиты, затоптаны, замучены, уничтожены, заперты, затравлены. Русская литература была исчерпана. Гладков и Панфёров могильными плитами лежали на искусстве страны. Появление «Одного дня Ивана Денисовича» было величайшим событием социальной жизни России. Это произведение приобрело историческое значение не только потому, что Солженицын первым рассказал о непомерном злодеянии, которое совершала десятилетиями советская социалистическая диктатура, хотя и этого было бы достаточно, чтобы совершить

¹ Звезда. 1991. № 9. Печатается в сокращении. Статья напечатана к 70-летию со дня рождения А.В. Белинкова.

подвиг, но потому, что в эту высохшую и отравленную литературную пустыню пришёл великий писатель *нового* поколения, когда казалось, что это поколение уже ничего не могло дать. Надо понять простую вещь. Всё, что было создано в 20-х годах, создавали писатели другого поколения, другой эпохи, другой концепции. Они были связаны с великой русской литературой начала века, непосредственной преемницей русской классики. Это были писатели *непрерванной* литературной традиции. Они ещё были свободными людьми и к советской власти отношения не имели. Те, которые по возрасту вошли с ней в непосредственное соприкосновение, оправдывались, как Пастернак. Другие, сначала ничего не подозревая, а потом предаваясь иллюзиям, неуверенно твердили, что террор, без которого революция существовать не может, но для которого, конечно, есть известное моральное оправдание в революционное время, непременно кончится, и тогда же придут, должны прийти свобода, справедливость, разум, гуманизм, материальное изобилие и духовное раскрепощение. Так думал, так говорил, что думает, так утешал себя Бабель. <...>

Значение Солженицына измеряется той же мерой, какой всегда мерилось явление духовной жизни людей: тем, что он написал о самых главных вещах, игравших самую важную роль в жизни людей. Я хочу пояснить, что значение художника, конечно, не меряется величиной описываемого им здания. Может быть величайшее произведение о тучке («Тучки небесные...») или о жуках («День гаснул...») и ничтожное — об индустриализации («Дорогой станочек мой...»).

Но материал, на котором работает художник, его выбор — есть акт художественного созидания, и по тому, каков он — значителен или ничтожен, — мы судим художника так же, как и за все другие его художественные проявления (метафоры, сюжет, язык).

Значение Солженицына не только в том, что он рассказал о самом важном, что пережили его современники, это делали и другие писатели, а в том, что он правильно понял происходящее.

Ни одно правительство в истории мира не уничтожило 18 миллионов своих подданных. Были разные преступные правительства, и они совершали ужасные преступления. Но если мы с вами согласны с тем, что убийство — а со времён Книги Бытия это сомнений не вызывало — самое страшное преступление, то самая преступная государственная, социальная и идеологическая система — советская, потому что она убила самое большое количество людей за всю мировую историю. О том, что это было убийство невинных людей, сообщила она сама. Если к этому прибавить, что ни одна страна в мире не дала

такого количества изгнанников, а изгнание даже по советскому законодательству считается самым тяжёлым после смертной казни наказанием (ст. 30 старого Уголовного кодекса РСФСР — ныне отменена), то мы получим достаточно полную и достаточно выразительную картину, которая, по моим наблюдениям, производит большое впечатление на всех, вплоть до племён, населяющих дельту реки Амазонки, кроме, конечно, людей, которые скромно именуют себя «либеральной западной интеллигенцией».

В советской литературе тюремную тему выдумал не Солженицын. Она была и до него. Солженицын догадался только, что и на эту тему надо писать хорошо.

Вот как писали на эту тему те, которые не догадались. Я прочитаю вам отрывок из повести А. Тарасова-Радионова «Шоколад». В этой повести рассказывается о председателе ЧК, которого в одном городе обвиняют в совершении преступления. Обвинение оказывается ложным, председатель ЧК чистым, как новорождённая девочка. Однако жителям города уже стало известно о том, что председатель ЧК — преступник. Положение в городе было напряжённым, и оправдание его могло вызвать неприятные для советской власти последствия. Председатель ЧК сидит в тюрьме, но он уже знает, что оправдан, и радуется предстоящему освобождению. Открывается тяжёлая тюремная дверь, председатель бодро вскакивает. Навстречу ему идёт член суда, только что оправдавший его. Бывший подсудимый и судья ведут оживлённый разговор, который оканчивается так: «Ну, а теперь о разных мелочах», — говорит судья и сообщает о том, что председатель ЧК, для того чтобы не дать повода для всяких толков, приговаривается к расстрелу. «Ну, а теперь о разных мелочах. Мы постановили не медлить и привести приговор в исполнение сегодня же вечером. Не так ли?» Председатель ЧК, невинный человек (так утверждает автор), в восторге от такого мудрого решения. Перед расстрелом он рассуждает так: «В этом упрямом и вечном движении вперёд, и только для будущего, и только для счастья несчастных — весь коммунизм, и ради этого стоит жить и погибнуть!» Зудин (председатель ЧК. — А.Б.) гордо и весело распрямился, сверкнул дерзко искрами глаз, быстро сев прямо на стол, стал от нетерпения барабанить по нему пальцами».

Солженицын догадался, что надо писать хорошо, поэтому он не писал о дегенератах, которых выдавал за нормальных людей, а если писал о дегенератах, то не выдавал их за нормальных. И поэтому его чекисты радуются не своей смерти на благо родины, а радуются, когда им на благо родины удаётся убить кого-нибудь другого.

Солженицын для советской литературы 60-х годов этого века — явление парадоксальное и неожиданное и поэтому в высшей степени для советской власти неприемлемое и ненужное явление, с которым успешно борются и, я думаю, в значительной степени уже победили. Я имею в виду чисто простую, формальную сторону дела: взять и уничтожить человека... В Советской России это делается просто. Из рассказов Солженицына очень хорошо известно, как это делается.

Но Солженицын кончил своё письмо Четвёртому съезду писателей фразой, с которой не может справиться даже страна, имеющая десяти-миллионную армию, громадный Военно-Воздушный Флот и танковые дивизии...

Не всегда она может справиться с бранным, жалким человеческим телом, с этим тростником, с этой человеческой, тёплой, тридцатисемиградусной плотью, которая пишет книги, создаёт идеи.

Солженицын закончил своё письмо Четвёртому съезду писателей такой фразой: «Что касается меня, то за свою писательскую судьбу я не беспокоюсь. Свой писательский долг я выполняю, и из могилы лучше, чем при жизни».

Солженицын замечателен не только тем, что он написал свои книги, но и тем, что всех нас ошеломил возможностью существования; доказал, что можно существовать.

Литература, работающая в русском языке, дала две литературы: *литературу советского периода* и *советскую литературу*. Я в этом убедился, когда попросил студентов в Йельском университете составить списки прочитанных ими советских книг. Там были писатели, никакого отношения к советской литературе не имеющие. Там была Ахматова, там был Пастернак, там был Булгаков, там был Платонов, и иногда вдруг появлялись имена, которые им самим казались случайными и которых студенты стеснялись: скажем, Новиков-Прибой, Фёдор Панфёров, Лебедев-Кумач и так далее... Люди не понимали, что вот это-то и есть советская литература. Академическая история советской литературы в этом отношении более поучительна. Если вы посмотрите на монографические главы, которыми удостоены лучшие, с точки зрения Центрального Комитета партии, советские писатели, то вы увидите, что Пастернак там появился только в последнем издании.

То, что в лице Солженицына пришёл писатель *нового* поколения, было не только важно для русской литературы, но и симптоматично. Это заставило задуматься над тем, что ещё не всё истреблено. Если невозможно всё истребить теми методами, к которым прибегали (а прибегали к совершенно тотальным, танковым методам), то нужно

думать, что при всей жестокости нынешних обстоятельств в современной России теперь так скоро всё уничтожить не удастся. Правда, так называемая литературная «оттепель» в России действительно кончилась... Но Александр Исаевич Солженицын никакого отношения к этой «оттепели», которая была августейше дарована XX съездом партии, — никакого отношения не имел... Никогда литературные «оттепели» не выходили за пределы списка более или менее охотно разрешаемых книг.

Александр Исаевич Солженицын — это неразрешённый писатель России. Это писатель из тех, которых когда-то убивали на дуэли, или сажали в тюрьму, или убивали из-за угла, или не давали писать. Это писатель из тех, чей творческий путь кончали пулей, камнем или стеной.

Поэтому мне кажется нерациональным сводить к чисто литературоведческому аспекту то, что я хотел бы сказать о Солженицыне.

История литературы не может быть изучаема только как остров. История литературы — это огромный архипелаг, как континент, который омывается морями других литератур. Произведение литературы связано с какими-то конкретными, реальными историко-литературными обстоятельствами.

Пушкин погиб не только потому, что у него была красивая и легкомысленная жена, но ещё и потому, что Пушкин не смог пережить свой третий литературный спад (их было три — мы их не замечаем, но они были). Одним из поводов к его дуэли, которая так похожа на самоубийство, было и то, что он оказался литературно для себя несостоятельным — не смог выполнить ту задачу, которую он себе поставил. Если бы не было Дантеса, то был бы кто-нибудь другой.

Мы знаем, что самоубийство Маяковского было связано с важнейшими историко-литературными причинами, которые погубили его, — он одним из первых понял, что пришёл термидор и что революционный идеал погублен, — и тогда понадобилась Лиля Брик, понадобилась простуда, чтобы человек дважды выстрелил в своё сердце.

Литература и литературоведение, как всё живое, существуют не в кабинете литературоведа, а в очень определённой и всегда чрезвычайно важной для писателя или художника, которые творят своё произведение, атмосфере.

Здесь допускают известную ошибку, занимаясь только кабинетным историко-литературным процессом, занимаясь вопросами, связанными только с абстракциями, в которых само по себе художественное произведение как бы не существует.

Я уверен — было бы интереснее и важнее, если бы я предложил вам не глубокий литературоведческий анализ, а один день, раковый корпус и в кругу первом советской литературы.

К этому методологическому заключению я пришёл, размышляя о том, что бы произошло, если бы в соседней аудитории студенты слушали курс греческой драмы золотого века афинской демократии и в аудиторию вошёл бы человек, который пил чай с Софоклом (496–406 до н.э.). Даже если бы он не был специалистом по греческой драме золотого века, нам было бы интересно, как же всё это происходило на самом деле. Не правда ли? Тем более, что греки той эпохи чая не пили.

Я четверть века (с тринадцатилетним перерывом) пил чай советской литературы, горький, мутный, невкусный, советский, отравленный чай.

Я думаю, что вам, людям, занимающимся советской литературой, именно потому, что она советская, то есть закрытая, запечатая, спрятанная, и вы ничего о ней не можете прочитать, важно узнать, о чём говорят за советским чайным столом.

О чём говорят за чайным столом советской литературы? О самых важных вещах: как её уничтожить, не напечатав всё лучшее, что написано, и как её спасти, пробравшись сквозь сомкнутый строй редакторов, рецензентов, цензоров, партийных надзирателей за искусством и майоров государственной безопасности.

Как говорят в России? Шёпотом и оглядываясь. Те, кто хочет русскую литературу спасти.

Что касается литературоведческого анализа трудов Солженицына, то они в большом количестве были написаны и без меня. Я расскажу вам о том, как появились эти книги и как они были важны в тех домах, в которых мы жили, пили чай, обменивались мнениями.

Началось это всё с того, что никому не ведомый человек на протяжении нескольких лет после того, как был освобождён, — а освобождён он в феврале 53-го года, за месяц до смерти Сталина, и отправлен в ссылку, — лихорадочно писал. То, что он писал тогда, считалось им самим не очень существенным для литературы. То, что он писал, он показывал своему в высшей степени учёному коллеге, с которым вместе работал в шарашке, описанной в «Круге первом». Я был с Солженицыным в одном лагере, но уже после его шарашки. Мы были в одном и том же лагере, том самом, который описан в одном из дней Ивана Денисовича. Мы познакомились с Солженицыным позже, когда я уже вернулся в Москву. И этому не стоит удивляться, потому что хотя это было и в маленьком лагере, но этот маленький лагерь был

расположен на территории, равной примерно Франции. Там от Балхаша до Акмолинска примерно столько же километров, сколько от Гавра до Марселя. Если не ошибаюсь, то тысяча восемьсот километров. Повторяю, это был паршивенький, обыкновенный, заурядный советский лагерь. Это вам не Колыма.

И даже в этом маленьком лагере мы с Солженицыным не встретились. А вот другой коллега — писатель, исключённый из Союза писателей, Лев Копелев — с ним встретился. Он к тому времени был серьёзным профессиональным литературоведом, специалистом по германистике. Александр Исаевич показывал ему свои рукописи, и Копелев их очень хвалил.

Затем события сложились таким образом, что с 56-го по 62-й год появилась некоторая возможность сделать что-то даже в литературе. «Даже в литературе» — поскольку литература является первейшим помощником партии, то, стало быть, за ней особый пригляд. И в связи с этим сделать что-либо в ней гораздо труднее, чем в какой-нибудь другой, менее наблюдаемой области.

И вот в это время начинаются события, которые привели к появлению Солженицына в русской литературе.

Один из самых замечательных периодов истории советской литературы начинался в журнале «Новый мир». (Вся моя жизнь до ареста прошла рядом с домом, где была расположена редакция «Нового мира», на Пушкинской площади, и я с детства знаю эти зелёные заплесневелые стены и остатки орнамента 10-х годов, эпохи модерна в русской архитектуре.) Летом 1961 года мы с женой жили в Доме творчества писателей в Переделкине. Говорят, что на Западе этот подмосковный посёлок известен чуть ли не как Ясная Поляна. Именно там и создаются все художественные ценности советской литературы. В это же время в Переделкине жил А.М. Марьямов, который работал в редакции «Нового мира». Он каждый день ездил на работу, днём общал краткие сводки по телефону, а вечером привозил развёрнутое коммюнике (я употребил этот военный термин не случайно, это было время, чрезвычайно напряжённое для «Нового мира»).

Однажды утром в конце июля 1962 года, за чайным столом в Переделкине, очень заспанный Марьямов подсел к нам и спросил привычно хриплым голосом:

— Как вы думаете, что я сегодня ночью делал?

Мы предположили два естественных обстоятельства: либо спал, либо лежал пьяным... может быть, у себя дома, а может быть, в доме самого Твардовского. Это в России, в русской литературе бывает.

— Нет, — оглядываясь, сказал Александр Моисеевич Марьямов. — Я занимался формированием литературного процесса.

Тут мы, с мало знакомым западной интеллигенции скепсисом, предположили, что он занимался этим делом в ресторане Союза писателей. Но оказалось, что мы ошиблись. Он действительно впервые принимал участие в формировании литературного процесса.

«Впервые» — потому что обычно этот процесс происходит с точки зрения советского редактора, то есть человека, который превращает хорошую рукопись в плохую книгу. Потому что все советские книги — это испорченные рукописи. Или уж это должна быть такая плохая рукопись, которую даже редактор, владеющий обыкновенной литературной речью, может превратить в нечто, что можно будет читать.

На каком уровне, какими людьми решается литературный процесс, видно из одного старого анекдота: «У министра здравоохранения были именины. И другие министры собрались обсудить — что же ему подарить на именины. И министр железнодорожного транспорта сказал: “Подарим ему книгу!” — “Нет, — сказал военный министр. — Книга у него уже есть”». Это старый анекдот, и это хорошо, что старый, — он говорит не только о нашей литературной и политической эпохе, но и о предшествующих. Надеюсь, что апелляция к анекдоту рассеяла ваше недоверие. Я понимаю, что анекдот — всего-навсего анекдот. Но в то же время анекдот всегда подразумевает некоторую приближённость к истине и если и удаляется от неё, то только на дистанцию гротеска.

Не хочу отвлекаться, поскольку дальше Софокла (496 год до н.э.) ещё не сдвинулся, но на пути мне вспомнился Пастернак.

Когда 31 октября 1958 года Белградское радио сообщило о присуждении Нобелевской премии Пастернаку, то тотчас же Хрущёв вызвал к себе Суркова — тогда первого секретаря правления СП СССР — и спросил его: «Что это такое?» Сурков очень подробно, очень обстоятельно, очень толково доложил Хрущёву о том, что Пастернак всегда был врагом Советской власти, Русской земли, русской литературы, Дмитрия Донского, Куликовской битвы, друг татарского нашествия... Со всей обстоятельностью он процитировал много строчек, которые считались советскими, антисоветскими, околосоветскими и так далее. Это был исчерпывающий доклад, поскольку Сурков — человек образованный, умный, хитрый, бездарный, ничтожный.

Но он забыл в этом докладе рассказать об одном: о том, что Пастернак был всемирно известный писатель. Это было чрезвычайно существенно. Если бы он сказал об этом, то никогда Хрущёв, а следом за ним «Литературная газета», а в «Литературной газете» покой-

ный Заславский и главный редактор, непокойный Косолапов, — ныне директор Гослитиздата — никогда бы не рискнули помещать письма товарища Токаря: «Вы вот Пастернак... Это такая овощь, вы знаете, а книга у него уже есть. Пастернак — такая овощь».

На этом же уровне были написаны все остальные статьи, на этом же уровне было выступление министра, председателя Комитета государственной безопасности товарища Семичастного, которого я не буду цитировать.

И тогда Хрущёв вызвал к себе Суркова и, топая ногами и визжа фальцетом, потребовал от него объяснения — не по поводу литературы, которая его мало занимала, а по поводу того, что Сурков не сообщил ему об этом чрезвычайном обстоятельстве. Дело Пастернака могло вызвать — и вызвало — международный скандал.

Дело Солженицына тоже может вызвать международный скандал. Я ещё недавно писал о том, что единственная гарантия свободы Солженицына — это его всемирная слава. Поэтому, когда меня спрашивают: «А можно ли писать о Солженицыне?», я отвечаю — ради Бога, ради Бога. Если вы не будете писать и печатать — могут быть неприятности. Чем больше вы о нём будете писать, чем больше вы о нём будете говорить, чем более вы будете присуждать ему премии, — может быть, его это уберёжет.

Я возвращаюсь к Переделкину.

Оказывается, Марьямов действительно занимался формированием историко-литературного процесса.

Ночью ему позвонил Твардовский... (Что не очень удивило Марьямова.)

— Как ты думаешь, что я делаю, Саша?

Марьямов предполагает два естественных обстоятельства.

— Знаю, либо спишь, либо пьянствуешь.

— Вот и неправда. Я читаю.

Это странно. Обычно писатели пишут, а не читают. Когда пишешь, то читать некогда.

— Читаешь?

— Я не просто читаю. Я встал с постели, надел чёрный костюм, галстук. Сажу за письменным столом. Читаю.

Наверно, это выдумка, тут же сочинённая Твардовским. Может быть, он читал, сидя в халате, может быть, лежал в постели. Но реплика о чёрном костюме кажется мне значительной. Чёрный костюм в России надевается в особо торжественных случаях и на похоронах. Чёрный костюм — это метафора похорон.

Рукопись, которую читал Твардовский, была обречена на гибель.

События развивались с бойкостью, не свойственной солидной медлительности толстого советского журнала.

В связи с этим я стремительно ввожу новое действующее лицо.

Новое действующее лицо зовут Ася, фамилия лица — Берзер. Всё вместе — лицо, имя и фамилия — вызывает ужас и отвращение у всех смрадных, бездарных деятелей министерства советской социалистической литературной промышленности, потому что Ася Берзер принадлежит к числу самых ядовитых, непримиримых, самых беспощадных, блестящих и талантливых критиков и литературоведов не сдавшейся, расстреливаемой, ссылаемой, уничтожаемой под улыбки наших западных коллег России. Ася Берзер заведует отделом прозы в «Новом мире». И в нём печатается лучшее, что сделано в советской литературе. «Новый мир» — журнал по преимуществу прозаический. Это очень просто — сам Твардовский — поэт и хорошие стихи печатать не захочет. То же делает Лакшин в отделе критики.

Ася Берзер с помощью Л. Копелева получила «самотёчную» рукопись, просмотрела её и была поражена. Это была настолько поразительная рукопись, что для человека, который 30 лет профессионально занимается литературой, это было то же, что вдруг взять в руки классическое произведение. Это надо представить себе картинно. Вообразите человека, который никогда не читал Толстого и вдруг увидел «Войну и мир». Она читала произведение не останавливаясь (как все мы, когда читали его в рукописи) и испугалась. Она поняла, что сейчас решается судьба новой русской литературы и что она решает эту судьбу. И от того, насколько она умна и тонка, деликатна и осторожна, зависит, что же с нами со всеми будет, потому что это всё должно создать прецедент.

«Самотёчная» рукопись — это рукопись, которую издательство или журнал не заказывали. Это — бедствие, это — несчастье всех литературных журналов и организаций Союза писателей, где даются литературные консультации.

Это обычно толстые многотомные собрания сочинений в стихах и прозе, и к «самотёку» относятся с привычным неуважением, презрением и скукой.

Начинающий автор такой рукописи, не дожидаясь просьбы редакции, берёт большой конверт, вкладывает в него своё творчество и пишет адрес «Нового мира», а внизу свой адрес: «Рязань, улица Ленина, дом № 6. Солженицын А.И.». Ну что такое для московского литературного комбината, где всё крутится, перепечатывается и уничтожается, рязанский Солженицын А.И.?

Ася Берзер получила «самотёчную» рукопись и отнесла её к пяти часам вечера злому Твардовскому, потому что до пяти часов вечера Твардовский 20 раз вызывался в ЦК, ему 30 раз звонил оргсекретарь Воронков, 40 раз звонили из «Правды», приходило 100 графоманов, приезжало 200 начальников, 300 чиновников. Раздражённый Твардовский собирает у себя заведующих отделами, членов редколлегии, и они ему рассказывают, что же произошло за день, и кладут рукописи, которые, с их точки зрения, могут быть или напечатаны, или представляют некоторый интерес, то есть такие, в ответ на получение которых можно написать: «Ваше произведение замечательное, однако мы напечатать его не можем, когда будет ещё замечательнее, пришлите, пожалуйста». Обычный разговор редакции и автора.

Анна Самойловна Берзер тихо положила на стол рукопись. Твардовский недовольно сунул её в портфель, потом сунул в портфель ещё одну рукопись и ещё выругался, потому что портфель стал очень толстым, и поехал домой. Выпил. Раскрыл портфель. Выпил. Лег спать. Положил на тумбочку рукопись. Листнул. Вскочил. Надел чёрный костюм и позвонил Марьямову.

Перед Твардовским лежало такое замечательное произведение, что даже и не историк литературы не мог не понимать, что это — новая эпоха. В истории русской литературы это был так называемый период «оттепели». И Твардовский, и Марьямов понимали, что хотя в это время и были замечательные вещи, но они утрачивали право на значительность в сравнении с тем, что сейчас лежало перед Твардовским.

Перед советским писателем стоит метафора, сложенная из очень простого камня в форме стены. Эта метафора реализуется в весьма вещественных камнях — тяжести, глухоте и толщине застенка. И писатель стоит перед ней. Но стены обладают одной особенностью, которую архитектор может предвидеть, но которую не может предотвратить: даже циклопические стены в какой-то момент дают трещину. И вот в эту трещину можно просунуть руку. В старой, дореволюционной России коммивояжёр знал один секрет: нужно постучать в дверь в тот момент, когда откроют, просунуть ногу, чтобы дверь не закрылась совсем, чтобы её не захлопнули. В эту маленькую щёлочку нужно успеть что-то сказать — и тогда, может быть, что-то получится.

Советская прогрессивная литература стоит перед циклопической стеной и ждёт, когда там образуется щёлочка. И вот те, у которых есть рукопись, надеются, и иногда это бывает не совсем необычным, что рукопись превратится в книгу. (В отличие от людей чрезвычайно предусмотрительных, которые всё хорошо знают, знают, что не будет

напечатано, знают, что стена глуха и непреодолима, и поэтому ничего не пишут или пишут обыкновенную советскую подлость.)

Солженицын стоял перед циклопической стеной с рукописью, которая в очень определённом аспекте открывала вещи, которые власть больше всего прячет. И все знали, что такую рукопись напечатать невозможно.

Но Твардовский снял чёрный костюм, надел обычный дневной, заверстал в очередной сентябрьский номер «Нового мира» повесть «Один день Ивана Денисовича» и, как будто ничего не происходит, вложив бомбу в номер, как бонбоньерку, отправил номер в Главлит. Но Главлит (советская цензура) — это не дамский будуар. Там эту бомбу увидели и решили немедленно обезвредить. Но такой силы взрывчатые вещества обезвреживает уже не Главлит, а ЦК. Рукопись отнесли в Центральный Комитет партии, в Отдел управления пропаганды и агитации Советского Союза тогда ещё живому Поликарпову. Товарищ Поликарпов чёрного костюма надевать не стал, а даже сбросил свой дневной и стал топтать ногами. Рукопись была зарезана.

Живя в то лето в Переделкине, мы с трепетом ожидали сводок и коммюнике из Москвы. После того как Поликарпов вернул рукопись с категорическим запрещением пытаться печатать её дальше, Твардовский (в 62-м году это было естественно; впоследствии, к сожалению, он вёл себя иначе) отнёс эту рукопись помощнику Хрущёва по литературе Лебедеву. У Хрущёва были разные помощники — по чугуну, по гвоздям и, конечно, по литературе. Иногда их меняли. Это никакого значения не имело. Я не шучу. Есть такое советское выражение: «Его бросили на чугун». Руководящий человек должен быть в номенклатуре, то есть в списке очень высоких сановников, и его бросают то на молоко, то на кукурузу, то на чугун. Они должны справляться с различными прорехами и прорывами на фланге вверенного им производства. А подобный человек, обладающий необычайными дарованиями в разных областях, естественно, может справиться как с чугуном, так и с литературой. А если он не справляется с литературой, то не справится и с чугуном. Я думаю, что замечательные успехи советского литературоведения, равно как и других видов искусства в стране, явным образом связаны с тем, что преобладают такого рода специалисты, которые не знают, что у фамилии Пастернак есть омоним. Специалист Лебедев был именно таким человеком, и от него зависели судьбы русской литературы.

Это был 62-й год, год Двадцать второго съезда. Но пока Съезда ещё не было, и о том, что будет на этом Съезде, решительно никто не

знал. Потому что знали другое: это будет время настоящей внутрипартийной баталии. А кто победит, было совершенно не ясно. Правда, предполагалось, что после исключения Молотова, Маленкова и Кагановича из партии могут выскочить как раз те, на кого на Западе возлагают наиболее оптимистические надежды, — молодое поколение. Надо сказать, что самый молодой в Политбюро ЦК — это товарищ Шелепин <...>.

Товарищ Шелепин занимался в то время тем, что стало очень определённым физиологическим комплексом в советской истории культуры, — завинчиванием гаек. Хрущёв занимался прямо противоположным — развинчиванием гаек. Начинали наседать неосталинисты, начинали овладевать страной. Теперь они овладеют миром помаленьку. Хрущёву нужно было что-то необычное, чтобы ударить. Надо думать, что Хрущёв, как всякий диктатор, стремился к абсолютной, безраздельной власти, а для этого нужно было сделать что-то такое, чтобы эта власть далась ему в руки. Самым испытанным, проверенным способом оказался сталинский: заставить людей трепетать и делать всё, что хочешь. Но Сталин уже пересажал всех, кого можно было пересажать, и довел до высокой степени разрушение хозяйства и экономики страны. Хрущёв уже не мог продолжать делать то, что делал Сталин. Кроме того, и силы не те, и человек не тот. И тогда Хрущёв по закону, который хорошо знают психологи, сделал нечто противоположное: он решил быть добрым.

Доклад Хрущёва на XX съезде представлял собой зрелище удивительное. Обычно такие вещи печатаются на гладкой веленовой бумаге в типографии ЦК, в лучшей типографии страны, в нескольких десятках экземпляров и представляют собой в высшей степени аккуратное полиграфическое произведение. Доклад Хрущёва представлял собой что-то похожее на неудачно склеенную лапшу (полоски бумаги). Есть такой полиграфический термин. Эта разнополосистая лапша была связана с тем, что на протяжении всех двух предшествующих суток пытались найти компромисс между молодым поколением и пожилым поколением (которое как раз выражало более либеральные тенденции). Компромисс сказался в том, что вместо Китая была названа Албания.

В этих обстоятельствах решались отнюдь не только дипломатические и общеполитические проблемы, но и вытекающие из них идеологические и в первую очередь литературные. Хрущёву нужен был союзник. Хрущёв, который знал не все буквы русского алфавита, советовался с людьми, которые знали тоже не намного больше,

но уж «аз», «буки», «веди» знали. Вот товарищ Лебедев буквы знал все. Кроме того, он обладал и другой замечательной анатомической особенностью: у него был необычайный нос. Нос этот мог вертеться с необычайной быстротой, откуда дует ветер. И вот Лебедев своим замечательным носом повертел и услышал, что ещё не всё совсем безнадежно. Кроме того, он посоветовался с Ниной Петровной Хрущёвой. Она была баба умная, целый день сажала помидорную рассаду и решала судьбы советской литературы. Лебедев поговорил с ней и про помидоры, а то и про грибки, выпили, и он ей сказал, что есть такая книжечка, которая очень может пригодиться при случае Никите Сергеевичу.

Нина Петровна всплакнула над печальными страницами рукописи. Ей стало очень жалко людей, которых так обижают, так обижали, а она и не знала, что обижали. И когда её супруг был секретарём Московского комитета партии в 37–38-м годах, тоже не знала.

В те годы без подписи секретарей (как партии, так и Союза писателей СССР, если дело касалось писателя) не арестовывали.

Поэтому, устыдившись прошлого, когда люди стали возвращаться из лагерей, застрелился известный писатель Фадеев, бывший тогда секретарём СП СССР. Другие же не обладали такими тонкими чувствами и не застрелились.

Кстати, я думаю, что если бы все обладали такими чувствами, то наступила бы катастрофа. Одна половина России, сажавшая другую половину России, должна была бы немедленно разрядить себе в сердце патрон. Но, к счастью, люди в России обладают очень хорошо закалённой нервной системой. Их часто бросают на чугун.

Нина Петровна в перерыве между помидорами и вышиванием читала рукопись и страдала. «Никита, — сказала она, — вот какие были безобразия, а мы и не знали».

«Какие? — спросил Хрущёв. — Да, да, действительно были злоупотребления. Я всегда говорил. Был культ личности».

Я говорю о Хрущёве в прошедшем времени, потому что из восьми Председателей Совета Министров великой державы шесть умерли, как тати. Это совершенно уникальный случай, как уникальна вся система, как уникально всё, что там происходит.

«Никита, — сказала Нина Петровна, — Никита, печатай ты эту рукопись. Это поможет тебе в борьбе с культом личности».

И тогда Хрущёв приказал отпечатать в типографии ЦК на великолепном вельюре 16 экземпляров повести «Один день Ивана Денисовича». Эти 16 экземпляров были розданы 16 секретарям партии на сле-

дующий день. Они читают очень медленно и, не дочитав, пришли на заседание.

«Ну как?» — спросил Хрущёв.

А кто же из секретарей скажет «как», пока не сказал сам Хрущёв? «Вот и хорошо, — сказал Хрущёв, — молчание — знак согласия. Будем печатать».

В. Акимов

«...НО ЛЮДИ И ЗДЕСЬ ЖИВУТ!»¹

(«Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына)

Всю жизнь свою я ощущаю как постепенный подъём с колен, постепенный переход от вынужденной немoty к свободному голосу.

А. Солженицын

Александр Солженицын впервые вошёл в наше сознание около тридцати лет назад. Читая тогда, в начале 60-х годов, «Один день Ивана Денисовича», большинство из нас, думаю, было потрясено прежде всего *знанием*, новым и страшным, о лагерной жизни при Сталине. Твёрдая рука разом сорвала завесу многолетней неприкосновенной лжи. Впервые открылся один из бесчисленных островков архипелага ГУЛАГ. Отброшенная завеса была хотя и совершенно реальной, но и как бы несуществующей. Одни из нас в самом деле ничего *такого* не знали и не могли даже представить, чтобы *такое* могло быть; другие догадывались, но отводили глаза, понимая, что посмевшийся увидет, взглянуть в упор — погибнет. Ну, а миллионы, что населяли *ту страну*, — те оставались в ней, как правило, пожизненно. «А конца срока в этом лагере ни у кого ещё не было», — думает про себя Иван Денисович.

Но тут пришёл неумолимый март пятьдесят третьего. Затем нагрянул неизбежный пятьдесят шестой. Тьма хоть и густо заволакивала ту жизнь, но уже заметно поредела. «Один день Ивана Денисовича» выставил её на свет божий.

«Слово правды весь мир перевесит»!

Ах, как бросились через несколько лет снова «темнить» и затыкать ложью и угрозами пробитую Солженицыным брешь! Изю всех

¹ На ветрах времени: Размышления о книгах. Л., 1991.

библиотек солженицынскую книгу — изъять! Считать за крамолу всякое неругательное упоминание о ней! А лучше всего — вообще ни слова, ни звука об «Одном дне»!.. И все остальные книги, ко времени насильственного изгнания писателя уже написанные калёным солженицынским пером, — «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ», — всё это преследовалось всей мощью государственной карательной машины.

Но правды Солженицына было уже не удержать. Стена запретов разваливалась быстрее, чем её воздвигали и подпирали. Русский писатель, вставший едва ли не в одиночку против злобного многоглавого чудовища тоталитарной лжи и насилия, — победил.

Думаю, полезно напомнить здесь краткую историю создания «Одного дня Ивана Денисовича», изложенную в работе одного из биографов писателя.

«Один день...» «задуман автором на общих работах в Экибастузском Особом лагере зимой 1950/51. Осуществлён в 1959 сперва как «Щ-854» (Один день одного зэка) <...>. После XXII съезда писатель впервые решился предложить что-то в открытую печать. Выбрал «Новый мир» Твардовского <...> рукопись удалось через голову редколлегии передать самому Твардовскому при точных словах: «<...> лагерь глазами мужика, очень народная вещь». Тот, лёгши вечером с ней «почитать», через две-три страницы встал, оделся, перешёл за бессонную ночь дважды — и тотчас же начал борьбу за издание. Наконец — «решение о напечатании рассказа принято на Политбюро в октябре 1962 под личным давлением Хрущёва». <...> Он появился в 11-м номере журнала за тот же год. <...> Замысел автор объясняет так: «<...> как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днём. <...> достаточно в одном дне всё собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет всё. Это родилась у меня мысль в 52-м году. <...> Семь лет она так лежала просто. Попробую-ка я написать один день одного зэка. Сел, и как полилось! со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней. <...> Я невероятно быстро написал «Один день Ивана Денисовича» <...>».

Образ Ивана Денисовича сложился из солдата Шухова, воевавшего с автором в советско-германскую войну (и никогда не сидевшего), общего опыта пленников и личного опыта автора в Особом лагере ка-

менщиком. Остальные лица — все из лагерной жизни, с их подлинными биографиями»¹.

Теперь, когда Солженицын вторично стал доступен отечественному читателю, у нас есть возможность заново вникнуть в «Один день Ивана Денисовича».

И, перечитывая повесть сегодня, ясно видишь: нет, всё же она несла не только знание, пусть даже новое и страшное. Это был не только портрет одного дня нашей истории. Это и книга о *сопротивлении человеческого духа лагерному насилию*. Собственно, она и могла быть написана, потому что пером её создателя водил несломленный дух.

Больше того, сюжет внутреннего сопротивления, сопротивления человека и ГУЛАГа заявлен на самой первой странице «Одного дня». Рано утром Иван Денисович Шухов, рядовой голодный лагерник, прикидывает, что накормить его могут в столовой, если собирать миски и носить их в посудомойку, но там — «если в миске что осталось, не удержишься, начнёшь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Кузёмина — старый был лагерный волк, сидел к девятьсот сорок третьему году уже двенадцать лет, и своему пополнению, привезённому с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал:

— Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто поддыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к кому ходит стучать».

Вот суть лагерной философии! А как сказано, какая точность русского слова! Какой опыт вместился в трёх фразах, определяющих границы человеческого выживания в лагере! *Погибает тот, кто падает духом*. Кто становится рабом больной или голодной плоти, кто не в силах укрепить себя изнутри, устояв и перед искушением подбирать объедки, и перед немощью тела, надеющегося на исцеление, которое придёт извне. А вернее всего погибает тот, кто нравственно падает ниже всех, кто губит свою душу, становясь доносчиком. («Те-то себя берегают, — думает Иван Денисович про себя. — Только береженьё их — на чужой крови».)

Что же такое *лагерь* у Солженицына в этой повести? И как в нём человеку жить и выжить?

Лагерь — образ одновременно реальный и — ирреальный, иррациональный, абсурдный. Это и обыденность, и — символ.

Воплощение вечного Зла и обычной низкой злобы, ненависти, лени, грязи, насилия, недомыслия, взятых на вооружение *системой*.

¹ Паламарчук П. Александр Солженицын: Путеводитель // Москва. 1989. № 9. С. 184–185. (См. также с. 434–435 наст. изд. — *Примеч. сост.*)

У А. Твардовского есть размышление об «изнанке» человека, побеждающей его в моменты помрачения души и разума:

Ты не явь, а только сон
 Дурной. Бездарность и безделье
 Тебя, как пугало земли,
 Зачав с угрюмого похмелья, —
 На белый свет произвели...
 Ты — только тень.
 Ты — лень моя.

И солженицынский каторжный лагерь, один из ГУЛАГовского архипелага, — при всей страшной и несомненной реальности его существования в нашей истории, в судьбах миллионов людей — тоже своего рода знак помрачения души и разума, извращение смысла жизни народа и общества. Бездарная, опасная, жестокая машина, перемалывающая всех, кто в неё попадает...

Каторжный лагерь взят у Солженицына не как исключение, а как порядок жизни.

С первых слов интонация повести — «эпическая»: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стёкла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать».

Человеку можно, собравшись с силами, сразиться с чрезвычайными обстоятельствами. Но как противостоять тому, что вошло в многолетнюю привычку?

В повести, однако, сталкиваются две «привычки»: вечная, народная, человеческая и — «временная», уродливо искажающая и ту и другую. Выжить можно, лишь сопротивляясь лагерному порядку принудительного, насильственного вымирания. Обречено всё живое, если оно связано общим кровообращением с этой — нет, всё-таки не жизнью, но — антижизнью. Назову условно этот порядок антижизни словом «Лагерь» — с большой буквы. И ему противостоит — Человек.

И весь сюжет, если всмотреться, — это сюжет сопротивления живого — неживому, Человека — Лагерю.

Лагерь создан ради убийства. Нацелен на погубление в Человеке его главного — внутреннего мира: мысли, совести, памяти. «И вспомнить деревню Темгенёво и избу родную ещё меньше и меньше было ему поводов... Здешняя жизнь трепала его (Ивана Денисовича. — В.А.) от подъёма и до отбоя, не оставляя праздных воспоминаний».

Так кто же кого: Лагерь — Человека? Или Человек — Лагерь? И многих, страшно многих Лагерь победил, перемолол в пыль. *Лагерную пыль.*

Сразу же, начиная повесть, расслаивает Солженицын два эти несовместимых мира.

«Шухов никогда не просыпал подъяма, всегда вставал по нему <...>». А почему не просыпал? Потому что «до развода было часа полтора времени своего, не казённого <...>». Рядом с мёртвым, убогим, убивающим человека «казённым» временем, его *неволей*, есть *свободное*, своё, время. Оно, собственно, и есть жизнь, потому что оно — вольное, своё.

С этих строк начинается сосредоточенное раздумье о главном, начинается состязание между волей и неволей, «своим» и «казённым».

Состязание это тяжёлое, потому что в Лагере всё перепутано: даже «своё» и «неказённое» по-настоящему далеко не всегда может быть названо вольным. В Лагере и своё зачастую тоже — не своё. Оно служит простому физическому выживанию (но может служить и духовному, если не переступать тех границ, которые точно и жёстко установлены в памятных словах «старого лагерного волка» Кузёмина).

Иван Денисович идёт через подлые искушения Лагеря, которые могут быть сильнее или слабее, но — неотступны. Через весь этот бесконечный *день* разыгрывается драма сопротивления Лагерю.

Одни побеждают в ней: Иван Денисович, кавторанг, каторжанин Х-123, споривший с Цезарем, Алёшка-баптист, Сенька Клевшин, Павло-помбригадира, сам бригадир Тюрин, фигура могучая и сложная...

Но судьба иных колеблется, а иные прямо обречены на погибель. Тут неопределённые или безотрадны многие прогнозы: чем кончат кинорежиссёр Цезарь Маркович, «шакал» Фетюков, десятник Дэр и другие ээки, особенно из «придурни»?.. А кое-кто если и сберегает себя, то береженье их на чужой крови — как у «суки» Пантелеева, живущего за счёт бригады, но «закладывающего» своих однобригадников...

Жизнь жестока. Здесь, в Лагере, она особенно беспощадно преследует всё человеческое. И насаждает нечеловеческое.

...Что же в людях, в их душах делает *выбор*? Об этом думаешь, читая «Один день», думаешь — прочитай.

С утра недомогает Иван Денисович: «Хотя бы уж одна сторона брала — или забило бы в ознобе, или ломота прошла. А то ни то ни сё». Но — как писал А. Твардовский: «Одно дело — просто тело, а тут — тело и душа». И это состояние внутренней борьбы (в которой у Ивана Денисовича, в общем, довольно легко побеждает душа) проходит через всю повесть — от первой до последней страницы.

Лагерь на каждом шагу и всеми способами пригнетает человека. Он обесмысливает любое здоровое и разумное человеческое действие. Скажем, ведёт Ивана Денисовича надзиратель Татарин мыть полы в надзирательской. Но сами же охранники почитают ненужной чистоту, а мытьё полов занятием излишним: «Ты вот что, слышь, восемьсот пятьдесят четвёртый! Ты легонько протри, чтоб только мокро было, и вали отсюда».

Что ж, думает про себя Иван Денисович: «Работа — она как палка, конца в ней два: для людей делаешь — качество дай, для дурака делаешь — дай показуху».

А иначе б давно все подошли, дело известное».

И таких уроков на каждом шагу — не счесть. Лагерный мир вообще несовместим с настоящей работой. Поэтому он всегда на работу покушается и постоянно её губит. Отношение к работе становится в повести одной из главных граней понимания человека, его оценки.

Это определяет взаимоотношения людей в Лагере, в шуховской 104-й бригаде. «Снаружи бригада вся в одних чёрных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неравно — ступеньками идёт».

На одной из нижних ступенек — Фетюков, на средних — Иван Денисович. Вообще говоря, иерархия есть в любом сообществе. Но здесь она — своя и, в общем, более истинная, чем на «воле». «Шакал» Фетюков, приспособленец и халтурщик, *там* на машине ездил, большим начальником был. Иван Денисович *там* — «серый мужик», с точки зрения начальствующих Фетюковых. Здесь их всех уравнила, а затем и перестроила другая жизнь, где меньше лжи и иллюзий, меньше условностей, мешающих видеть суть происходящего.

Отстаивать свободу в каторжном Лагере — значит как можно меньше внутренне зависеть от его режима, от его разрушительного «порядка». Принадлежать себе. «Не считая сна, лагерник живёт для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином». Поэтому ест Шухов «медленно, внимчиво». В этом тоже — освобождение. Человек может, должен отстаивать себя во всём, в каждом движении. Он воюет с Лагерем на любой «площадке», ибо и Лагерь повсюду отнимает у Человека свободу жить для себя, быть собою. «Не подставляться» Лагерю нигде — в этом тактика сопротивления. «Да и никогда зевать нельзя. Стараться надо, чтоб никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только». Ибо человеческий контакт: лицом к лицу — у Человека и Лагеря невозможен.

Но Шухову своё настоящее лицо скрывать всё же трудно. Тут, видимо, существует такая грань, за которой лагерная мимикрия, маски-

ровка могут привести к утрате лица. Поэтому — как ни себе на уме Иван Денисович — он и прост, и открыт, естествен, совестлив, привык «брать на себя», не утруждать других. Таким он и был — русский крестьянин, человек глубинной народной породы. Мы чувствуем, что он во многом близок самому Солженицыну. «Один день Ивана Денисовича» — вещь сказовая. Говорит, видит, думает, действует русский крестьянин Иван Денисович. Но слитно с ним, во внутреннем согласии звучит и голос писателя, которому не нужно было делать особого усилия, чтобы взглянуть на мир глазами мужика. И в этом обнаруживается их природная близость, сходство их по сути. И законы жизни Ивана Денисовича во многом, в главном, есть его, Солженицына, законы.

Крестьянская жизнь, её обычай, заложенный в генах ли, в душе ли, не дают, например, Ивану Денисовичу ссылаться на болезнь, «надеяться на санчасть».

Придя к фельдшеру, он о болезни говорит «совестливо, как будто зарясь на что чужое». «Шухов был не из тех, кто липнет к санчасти <...>».

И тем не менее — работа лагерная так тяжела и, главное, бессмысленна, что всякое освобождение от неё — благо: «Теперь вот грезится: заболеть бы недельки на две, на три, не насмерть и без операции, но чтобы в больничку положили, — лежал бы, кажется, три недели, не шевельнулся, а уж кормят бульоном пустым — лады».

Но не решился освободить Ивана Денисовича мнимый фельдшер, студент Литинститута Коля Вдовушкин («Тёплый зяблого разве когда поймёт?» — внутренне укорил его Шухов).

...И снова охватывает читателя чувство абсурдности, призрачности происходящего по воле Лагеря: и молодой поэт, почему-то в лагерной больничке дописывающий недописанные на воле стихи; и крестьянин Шухов, с фронта, с войны, привезённый когда-то на лесоповал... Да и сами охранники, конвойные, русские люди, которым в мороз стоять на вышках и охранять — кого? И зачем?

Какое расточительство народных сил, какая бессмыслица! Что за разбойничья орда захватила страну и натравила одну часть народа на другую?! (А ведь и «тоже им, — думает Иван Денисович об охранниках, — не масло сливочное в такой мороз на вышках топтаться». Вот именно: им-то особенно бессмысленно; работяги-то хоть делом как-никаким заняты, а они?!)

Вот бригадир 104-й Тюрин Андрей Прокофьевич, крестьянский сын, к началу 1951 года «девятнадцать лет сидит».

Первый шуховский бригадир Кузёмин к сорок третьему году уже двенадцать лет сидел.

А сам Шухов, у которого восьмилетняя «катушка» уже «на размоте»... Кто они такие? Враги? Да разве не видно, что все они из самой глубины русской народной жизни? Они и есть народ! Одни насильственно вырваны из жизни в годы кровавой «сплошной коллективизации». Другие — длинными руками ГУЛАГа выхвачены для рабского лагерного труда из военного потока.

Тем ли, своим ли делом заняты в Лагере крестьяне, землепашцы? А кавторанг Буйновский, «звонкий морской офицер»?

А что делают в Лагере художники (и их мы там встречаем)? «<...> пишут для начальства картины бесплатные, а ещё в черёд ходят на развод номера писать». Ещё одна абсурдная краска во всей картине лагерного абсурда. В том ли назначение художника?! «Велению Божию, о муза, будь послушна...!» Нет, писать начальству бесплатные картины — вот вам и всё искусство.

Бессрочный, бесконечный абсурд, тяжкий, страшный сон, через который прошёл многострадальный народ наш; тёмная ночь нашей истории, полная безумных кошмаров.

...Читаем дальше, идём следом за Иваном Денисовичем к «шмону», где всем выходящим из «зоны» устраивают обыск. Тут, на «шмоне», за пререкания с обыскивавшими надзирателями кавторанг Буйновский получает десять суток строгого карцера. Из-за чего же лейтенант Волковой, «как молния чёрная, передёрнулся»? Нет, не в том вовсе дело, что творящие произвол «статьи девятой» не знают. Не в законе дело, на закон им всем плевать. Прямого слова нравственного протеста они, как черти молитвы, не выносят. «Вы не советские люди! — долбает их капитан. — Вы не коммунисты!» Ах так! Людей тебе подавай! Вот и получай за это десять суток. Хорошо, если вынесет кавторанг, не «загнётся»...

Но именно *человеческие* оценки единственно значимы в том мире, который создал Солженицын. И нравственный, духовный суд над всем происходящим, думается, — его главная цель как художника.

Осознание подлинной ценности человеческой жизни противостоит жестокой бессмыслице, чудовищному в своей привычности надругательству над людьми, над жизнью, над здравым смыслом. Вот конвой ведёт тщательный пересчёт «по головам» всех заключённых: «Человек — дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет — свою голову туда добавишь». Что может быть большим издевательством над самим понятием о ценности человека? словно бы происходит возврат к допотопному варварству и людоедству.

...Идёт колонна эков на «объект», и все погружены в свои невесёлые мысли. Стал думать не о Лагере — о доме и Иван Денисович.

И выясняется, что на «воле» тоже нет прежнего порядка, а есть новый, в сущности, не столь уж отличающийся от лагерного. «Воля» тоже превращена в своего рода «зону». Настоящим делом мужики-односельчане не заняты; в колхозе работать некому — все любой ценой бегут из колхозной неволи. Но процветают халтурщики-«красилы». Нелепо всё это, совсем как в Лагере...

Как ни странно, но в Лагере Шухов чувствует себя душевно более твёрдым, чем на этой непонятной ему «воле», где «вольным» приходится изо дня в день кривить душой и изворачиваться, в то время как лагерник Шухов «никому никогда не давал и не брал ни с кого, и в лагере не научился». И лёгкий паразитический промысел «красилей», изготавливающих из простыни «ковры» по трафаретам, для него — дело крайнее: если уж из-за лишения прав никуда не пустят и настоящим делом не дадут заниматься — тогда впору хоть и за ковры.

Абсурдному, бессмысленному духу Лагеря — в «зоне» ли, на «воле» — может противостоять или здоровый народный инстинкт самосохранения, врождённое нравственное чувство, ещё не забитое, не замусоренное ложью и халтурой. Или — осознанное *личное* духовное сопротивление, берущее свою силу из тех же истоков, защита Человеком суверенности своего внутреннего мира. А духовная нестойкость, наивная, послушная приспособляемость и на «воле», и в Лагере одинаково опасны. Поклонение торжествующей догме, вера в миражи и там, и здесь не спасёт никого, но лишь погубит рано или поздно.

В не меньшей мере губит согласие с обесмысленным трудом.

Изо всего этого складывается «лагерный синдром», который всё время нужно преодолевать усилием души. («Ну скажи, Ваня, если бы начальство умное было — разве поставило бы людей в такой мороз кирками землю долбать?» — возмущается латыш Кильгас, напарник Шухова по каменщицкой работе.)

Но есть ещё, сохранился в Шухове народный «ген» трудолюбия. Вот не может он работать, как и все поколения его предков, спустя рукава, халтурно! Началась работа, и «как вымело все мысли из головы. Ни о чём Шухов сейчас не вспоминал и не заботился, а только думал — как ему колена трубные составить и вывести, чтоб не дымило».

И в этой работе — противостояние Лагерю. Шухов может поддакивать, когда слышит слова Сеньки Клевшина: «Будешь залупаться, <...> пропадёшь». Но перетолковывает их по-своему: «Это верно, кряхти да гнишь. А упрёшься — переломишься». «Кряхти да

гнись», — а для этого нужно больше силы и стойкости, чем для того, чтобы «упираться»...

Лагерь отбрасывает естественные человеческие отношения, выстраданные, выработанные тысячелетиями культуры. Он насаждает атавистические моральные и социальные формы. Уводит в первобытность, не в каменный век даже, а в джунгли. «Кто кого сможет, тот того и гложет». Разложение и распад — в самом основании Лагеря: «И здесь воруют, и в зоне воруют, и ещё раньше на складе воруют. И все те, кто воруют, киркой сами не вкалывают». И эта зараза, заложенная в системе ГУЛАГа, расплзается повсюду, давая свои отростки и метастазы далеко за пределы «зоны», утверждаясь на воле: в производстве, в культуре, в отношениях людей.

Так что «Один день Ивана Денисовича» — это, как говорится, срез через все главные узлы уродливой системы, созданной лжесоциализмом.

Лагерная система развращает людей и тем, что отказывает им в самостоятельном мышлении и поведении. «По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что завтра, что через год да чем семью кормить. Обо всём за него начальство думает — оно будто и легче».

Шло год за годом великое разорение и здравого смысла, и самого умения думать. Но, как многократно свидетельствует тот же *день*, — за «начальством» не заживёшься. Поэтому нужно всё время «кряхтеть да гнутья». И оставаться *собою*. И думать, и решать самому.

...А вопреки всей унижительной системе номеров — люди упорно называют друг друга по именам, отчествам, по фамилиям, пусть даже по кличкам. Встают перед нами *лица*, а не «винтики» и не лагерная пыль, в которую хотела бы превратить система людей. *Люди и здесь живут*, стремясь понять друг друга и поддержать, как могут.

Однако выживанию в Лагере нужно упорно учиться. Шухов, «закосивший» две миски каши, с удовлетворением видит, что одна из них пошла кавторангу. «А по Шухову правильно, что капитану отдали. Придёт пора, и капитан жить научится, а пока не умеет».

...И рядом со словами Шухова об этой миске насущной каши идёт — в следующем эпизоде — разговор о такой же насущности и неподменяемости хлеба духовного.

В прорабской между Цезарем Марковичем, кинорежиссёром, и Х-123, «каторжанином по приговору», «двадцатилетником», «жилистым стариком», идёт спор о фильме Эйзенштейна «Иоанн Грозный». «Кривлянье, — с презрением и гневом говорит Х-123. — Так много ис-

кусства, что уже и не искусство. <...> Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!» И — «подхватившись» — на слова Цезаря, что «искусство — это не ч т о, а как: «Нет уж, к чёртовой матери ваше “как”, если оно добрых чувств во мне не пробудит!» Такое искусство, говорит он, это «перец и мак вместо хлеба насущного!». Искусство не может замыкаться от мира людей в свои изыски. Существовать «мимо» реальной жизни.

И словно бы совершенно о другом (а в сущности — о том же) идёт разговор, когда вся бригада ненадолго сгрудилась вокруг печи, а бригадир Тюрин вспоминает свою жизнь. «Рассказывает без жалости, как не об себе». Он-то уже освободился от всех иллюзий и самообманов, постиг сущность той страшной системы, которая его, красноармейца, в 30-м году изгнала «из рядов», преследовала на каждом шагу, настигла и навсегда упекла в Лагерь (заметим, что и те военные, кто исполнял волю системы, тоже стали её жертвами, ибо она живёт насилием и питается людскими жизнями, душами, свободой)...

Освобождение от иллюзий, от самоослепления — вот что было необходимо и что ко многим пришло слишком поздно. Тюрин вспоминает ленинградских студенток-практиканток, приветливо отнёсшихся к нему: «Едут мимо жизни, семафоры зелёные»... Горькая и сочувствующая усмешка бывалого зэка, уже свободного от всеобщей слепящей лжи.

Так что особой ценностью, одним из главных инструментов освобождения становится *правда*. Сколько было их, обманутых, «едущих мимо жизни», полагающих при этом, что все пути им открыты?! В этом освобождении от духовной незрелости — «зелени» — ещё одна линия обороны от насилия Лагеря.

И по многим другим линиям идёт сопротивление: и в том, что стучащей резать стали; и в том, что в стычке с Дэрмом, охамевшим прислужником «системы», Тюрин заявляет: «Прошло ваше время, заразы, срокá давать».

Сопротивление и в том, чтобы «не залупаться» попусту (как это было у кавторанга) и научиться противостоять порядку лагерной жизни. Так смотрим мы глазами не то Ивана Денисовича, а скорее автора, на кавторанга, сидящего, разомлев с холода, в столовой. «Такие минуты, как сейчас, были (он не знал этого) особо важными для него минутами, превращавшими его из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного зэка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отвёрстанные ему двадцать пять лет тюрьмы».

Но, как уже говорилось: давление Лагеря на человека — его душу, его тело — непрерывно и смертельно. Всем укладом своим он стремится смять, растлить, высосать, как вампир обесмыслить существование, оставив людям только звериное цепляние за жизнь любой ценой: «Подохни ты сегодня, а я завтра!»

Но, вопреки всей этой порочной, поганой, порченной системе антижизни, *люди живут*. Работать в каторжном Лагере, на каторжный Лагерь, как говорилось, — бессмысленно, тем более работать хорошо, то есть для «системы», как для себя. Но тем, что Иван Денисович (а отчасти и вся бригада Тюрина) работает на совесть, умело и споро, они тоже сопротивляются, хоть на час, несвободе каторжного Лагеря. Идёт кладка стены; тут-то и выясняются настоящие отношения и «ценности». «Кто работу крепко тянет, тот над соседями тоже вроде бригадира становится». Одно дело — кавторанг, который упорно, запыхавшись, таскает носилки с раствором. И совсем другое — Фетюков, который, халтура, как «система» научила его, «носилки наклонит и раствор выхлюпывает, чтоб легче нести. <...>

Костыльнул его Шухов в спину разок:

— У, гадская кровь! А директором был — небось с рабочих требовал?»

Вообще, эпизод кладки описан так, будто перед нами поистине вольные люди, художники, настоящие мастера, слившиеся в одно с тем, *что* они делают и *как* они это делают. (Вот, кстати, ответ на вопрос о противоречиях «что» и «как» в споре Цезаря и X-123.)

В руках, в деле каменщика Шухова всё — не мёртвое, но живое. «Шлакоблоки не все один в один. Какой с отбитым углом, с помятым ребром или с приливом — сразу Шухов это видит, и видит, какой стороной этот шлакоблок лечь хочет, и видит то место на стене, которое этого шлакоблока ждёт».

А когда была закончена дневная работа — Иван Денисович переживает свой «момент истины», и никто на свете не может помешать ему: «А Шухов, хоть там его сейчас конвой псами травы, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал — и через стенку, слева, справа. Эх, глаз — ватерпас! Ровно! Ещё рука не старится».

Это — законная гордость внутренне свободного человека за дело, которое им выполнено, как надлежит мастеру. Более того, «так устроен Шухов по-дурацкому», и за восемь лет лагерей «никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули».

А за работой и всё остальное в Шукове устроилось: когда день в главном уже позади, Шухов совсем иначе думает и о «санчасти»: «Вре-

мя тратить! Перемогся без докторов. Доктора эти в бушлат деревянный залечат». Так завершается сюжет с «санчастью». Покончено с надеждой на то, что *твои* проблемы могут решить *другие* — доктора ли, начальники... Не решат! И за всё отвечает лишь сам Человек.

Чем ближе к концу повести, тем отчётливее становится для нас, что главное в повести — спор о духовных ценностях. И с этой точки зрения все люди, точнее, все зэки в Лагере, делятся на «работяг» и «придурков». Иван Денисович — твёрдый «работяга». «Придурки» же — это лагерная обслуга — парикмахеры, кухня, санчасть и т.п. «Людей этих работяги считали ниже дерьма (как и те ставили работяг). Но спорить с ними бесполезно: у п р и д у р н и меж собой спайка и с надзирателями тоже».

Без особого нажима, но заметно с этой частью лагерников, отноудь не вызывающих авторской симпатии, сближает Солженицын и тех интеллигентов, которые и в Лагере продолжают жить иллюзорными, долагерными впечатлениями, всё ещё уповать на фикции и призраков. Не раз уже в этой связи упоминался кинорежиссёр Цезарь Маркович. Встречается он в очереди за посылками (занятой для него Иваном Денисовичем) с неким знакомым — москвичом Петром Михалычем («И — расцвели друг другу, как маки», — не без иронии отмечает про себя Шухов). О чём же они принимаются тут же толковать с увлечением? Оказывается, обсуждают рецензию в свежей московской «Вечёрке» («Тут интереснейшая рецензия на премьеру Завадского!...»). Так, может, и в самом деле — «интереснейшая»? Подумаем... идёт январь 1951 года. В литературе, на сцене, в кино катится поток лакированной серости. Её ничто тогда не избежало, тем более театр, где царила сугубая казёнщина ромашовско-софроновского толка. Не обминул её и Ю. Завадский.

Именно об этом времени А. Твардовский писал в поэме «За далью — даль»:

И всё вокруг мертво и пусто,
И страшно в этой пустоте.

Так чем же наслаждаются наши интеллигенты? Опять «едут» мимо жизни? Правда, не все интеллигенты были такие, вспомним Х-123.

И тут же, уходя из посылочной, думает Иван Денисович о том, как лагерное начальство пыталось всё регламентировать, — уж до такой последней степени затянуть жизнь своей уздой, чтобы даже за колючей проволокой заключённые могли передвигаться лишь в строю, но

никак не поодиночке. «Приказом тем хотел начальник ещё последнюю свободу отнять, но и у него не вышло, пузатого».

И на «воле», и в Лагере шло с переменным успехом тотальное давление всего живого; намеренное, унижающее своей нарочитой бессмыслицей. Нужно было раздавить человека, вызвать отупение и послушание, заставить принять несвободу как образ жизни. И радоваться ей. И только постоянное преодоление несвободы могло спасти в человеке Человека.

Начиная, может показаться, с самого простого.

Вот, к примеру, слегка обшучиваемое Иваном Денисовичем удовольствие от того, что еда горячая, что можно истово вникнуть в баланду: «Как горячее пошло, разлилось по его телу — аж нутро его всё трепыхается навстречу баланде. Хор-рошо! Вот он, миг короткий, для которого и живёт зэк». Конечно же, это ирония, её нельзя не почувствовать... Но ведь и всерьёз!

И понять можно, почему тут же и как будто бы никакой внешней логикой не вызванное пришло к Ивану Денисовичу другое чувство: «Сейчас ни на что Шухов не в обиде: ни что срок долгий, ни что день долгий, ни что воскресенья опять не будет. Сейчас он думает: переживём! Переживём всё, даст бог, кончится!»

...И там же, в столовой, где сидит за своей баландой Шухов, получаем мы возможность ещё раз подумать о свободе и несвободе в каторжном Лагере.

Увидел вдруг Иван Денисович «старика высокого Ю-81» (собственно, мы не понимаем: он ли смотрит или — его глазами — сам писатель. По выразительности портрета, по интонации, ритму это место — единственное во всей повести).

Всмотримся и мы.

Мерно, замедленно, сурово, «внимчиво» ложатся слова:

«Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрмам сидит несчётно, <...> и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали.

Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изю всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он ещё сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего — волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще упёрлись в своё. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщерблённой, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. <...> Лицо его всё вымотано

было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что не много выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нём, не примирится: трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в роспесках, а — на тряпочку стирающую.

Однако Шухову некогда было долго разглядывать его».

Подумаем о том, что прочитали.

«Об этом старике говорили Шухову» — значит, старик этот всему лагерю введом, среди всех замечен и выделен. Этому можно поверить сразу: и отличен он ото всех своей нестигаемой твёрдостью. Своей цельностью. Верностью какой-то *идее*.

Ничего не забывший, ни от чего не отступившийся. Нет сомнения, что Шухов смотрит на него уважительно. И это чувство передаётся нам. И всё же... Есть всё же в этом старике *нечто* настораживающее. От портрета веет осязаемым холодком.

«Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще упёрлись в своё».

«Поверх Шухова»? «В своё»? А что для него — «своё»?

В вопросах этих, мне кажется, есть резон.

Может, и не стоит смотреть «поверх Шухова»? Ведь те, кто когда-то «сунул» самому Ю-81 первую десятку, тоже, скорее всего, «смотрели в своё» и «поверх него».

Видимо, всё же настоящий Человек и настоящая свобода несовместимы со взглядом, устремлённым лишь в *своё*, — каким бы стойким сам по себе человек ни был.

Хотя, повторяю, нет сомнения, что Шухов относится к нему не только с интересом, но и с уважением, даже почтительностью. А вот того понимания и отзывчивости, как в общении, скажем, с Алёшкой, Кильгасом, Тюриным, кавторангом, тут нет... Что, это недостаток Ивана Денисовича? А может, он как раз прав? Тем более что сам Шухов тоже сотворён из настоящего материала. Он тоже не особенно «юрил взглядом», «не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался».

Похоже, что, ненавидя *этого* Лагерь, сам Ю-81 внутренне, увы, живёт в *другом* Лагере. И смотрит оттуда поверх всех голов.

Допускаю, что это толкование фигуры Ю-81 — спорно. И всё же мне кажется, что в контексте духовного спора, идущего в повести, позиция Ю-81 своей утрированной непримиримостью, подчёркнутой отделённостью вряд ли близка позиции писателя. Впрочем, тут есть над чем подумать.

У Ивана же Денисовича нет ни к кому ненависти. Даже — страшно сказать — нет враждебного чувства к охране, к тем, кто их конвоирует, кто ими командует. Он видит в них тоже жертв Лагеря. Понимает и, как говорится, «где-то» жалеет их.

И даже «шакал» Фетюков вызывает у него отнюдь не одну неприязнь: «Разобраться, так жаль его. Срока ему не дожить. Не умеет он себя поставить».

И только лейтенант Волковой — один среди всех персонажей повести — целиком залит чернотой Зла. Это — воплощение Лагеря и его человеконенавистничества, особенно неутолимого там, где оно встречает открытое сопротивление Человека. Зло Волкового преследует и мстит кавторангу за вспышку искреннего человеческого протеста. И мстит жестоко: «Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, — это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулёз, и из больничек уже не вылезешь».

...Завершает повесть тоже спор. Его ведёт Иван Денисович с Алёшкой-баптистом.

Но сначала о самом финале повести: «Засыпал Шухов, вполне доволенный. <...> Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый». Не думается ли, однако, читателю, что здесь — горькая усмешка над жизнью в Лагере, над самой этой «удовольствием»? Перед нами прошёл день жизни в Лагере, вцепившемся лютой хваткой в Человека — не в одного, так в другого. Не в Шухова, так в кавторанга. На эту жизнь ни в чём положиться нельзя. Она враждебна Человеку в каждый миг, подстерегает его на каждом шагу.

«Спасибо, — говорит Иван Денисович, — что не в карцере спать, здесь-то ещё можно». Вот за что благодарит он свой минувший день...

И весь его завершающий спор с Алёшкой-баптистом идёт на этом фоне: спасения от карцера, от злобы Волкового, от голода...

Алёшка-баптист находит большое утешение в своём Боге. Но этого утешения нет для Ивана Денисовича, потому что «молитвы те, как заявления, или не доходят, или “в жалобе отказать”».

Конечно, прав Алёшка: молиться нужно не о том, «чтобы посылку прислали или чтоб лишняя порция баланды. Что высоко у людей, то мерзость перед богом! Молиться надо о духовном: чтоб господь с нашего сердца накипь злую снимал...».

Но ведь прав и Иван Денисович, перетолковывая все «символы» Алёшки на житейский лад: молитвы — заявления, хлеб насущный — пайка, а сами молящиеся уподобляются поломенскому попу, для которого бог был ширмой, прикрывавшей корыстные интересы. Да,

молитвы снимают с души злую накипь. Они облегчают жизнь *этого* человека. Но — общую жизнь не облегчают, не «снимают» с неё злую накипь Лагеря. «В общем, — решил он (Иван Денисович. — В.А.), — сколько ни молись, а сроку не скинут. Так от звонка до звонка и досидишь».

И проповедь Алёшки сама по себе хороша, и он — хороший, добрый человек, надёжный товарищ. Но есть в нём один изъян: он *принимает* Лагерь. Он его даже по-своему и укрепляет: «На воле твоя последняя вера терниями загложнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать!»

Но Иван Денисович — от мира сего, он не хочет, чтобы взамен реального тёплого дома, настоящей полнокровной жизни человек удовольствовался сознанием своей праведности в мученичестве. Чтобы *взамен* человека утверждалась идея страдающей избранности, которая хотя не замечает отдельных людей, но требует от них жертвоприношения.

Иван Денисович не согласен, что вина отделяется от человека, становится иррациональной, всеобщей. С этим крестьянин, земной человек Шухов согласиться не может.

«Идея» Алёшки, при всей своей чистоте, позволяет существовать Лагерю. Эта идея по-своему тоже смотрит «поверх» человека, тоже «невидяще упёрлась в своё». Тут ощутимо внезапное сближение двух крайностей: Алёшки и Ю-81.

Многое и разное, как видим, сошлось в ГУЛАГе...

Закрываешь повесть с ощущением незаконченного спора. Спора сильных сторон, мощных *доводов*. Лагерь собрал множество незаурядных людей со своими голосами и лицами. Лишь безликие оставались вне зловещего внимания ГУЛАГа.

Но именно многоликость и многоголосие Лагеря и лишают кого бы то ни было из персонажей повести права быть единственным полномочным выразителем правды о Лагере и о сопротивлении Человека.

Александр Солженицын — художник эпический. Ему для выражения и воплощения этой правды нужны были все голоса. Они, вместе взятые, и должны быть услышаны.

Хотя голос Ивана Денисовича имеет право быть выслушанным раньше других.

И все они, по мысли писателя, могут быть собраны в одном неподкупном всеобъемлющем голосе. Глеб Нержин из романа «В круге первом» думает о том, что со временем люди, прошедшие через Лагерь, «облегчённо затопчут своё тюремное прошлое... вывернут и даже ска-

жут, что это было разумно, а не безжалостно, — и, может быть, никто из них не соберётся напомнить сегодняшним палачам, что они делали с человеческими сердцами!.. Но тем сильнее за всех за них Нержин чувствовал свой долг и своё призвание. Он знал в себе дотошную способность никогда не сбиться, никогда не остыть, никогда не забыть».

Такой Человек создал «Один день Ивана Денисовича».

Л. Токер

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО МЕТОДА В «ОДНОМ ДНЕ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹

Публикация в «Новом мире» солженицынского «Одного дня Ивана Денисовича» стала одним из важнейших событий в литературе и истории Советского Союза². Тысячи выживших узников лагерей почувствовали, что их голос наконец услышан; миллионы других граждан узнали, каково это — побывать за колючей проволокой. Отреагировал на публикацию и западный читатель, хотя различные материалы о лагерях узким ручейком просачивались в прессу Запада давно — к тому времени уже более трёх десятилетий.

Как сейчас хорошо известно, впечатление, что рассказ дает надёжную и полную картину лагерного опыта, до некоторой степени обманчиво. И хотя всё, о чём в нём говорится, соответствует действительности, правда о лагерях этим не исчерпывается. Судя по безлесным степям, окружающим лагерь, он расположен в Казахстане, — впрочем, достоверно известно, что Солженицын писал о лагере в Экибастузе, где он отбывал последние годы заключения. Климат в этом регионе лучше, чем в Арктике, где страдали и погибали миллионы эков. Лагерь в рассказе относится к категории «Особых»: заключённые носят номера на одежде, но живут отдельно от уголовников. Обстановка на строительстве, где они работают, также отличается более челове-

¹ Печ. по изд.: Солженицын: Мыслитель, историк, художник. Западная критика: 1974–2008: Сб. ст. М.: Русский путь, 2010.

² О политической и литературной обстановке вокруг публикации рассказа см.: *Медведев Ж.А.* Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича». L.: Macmillan, 1973; рус. изд.: *Медведев Ж.А.* Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича» // Подъём (Воронеж). 1991. № 4–7. Подробный разбор рассказа в его контекстах дан мной в кн.: *Toker L.* Return from the Archipelago: Narratives of Gulag survivors. Bloomington: Indiana Univ. press, 2000. — *Здесь и далее примеч. Л. Токер.*

ческими условиями, чем на приисках по добыче золота или свинца в северных регионах, — неудивительно поэтому, что выкладывающий шлакоблочную стенку Иван Денисович может преисполниться трудового энтузиазма — достаточно истового, чтобы оправдать публикацию произведения в советском журнале¹. Что же касается упоминаемого в рассказе больничного кота, то в лагерях, где сидел Варлам Шаламов, его тут же убили бы и съели уголовники, да и о ложках там тоже речи идти не могло: заключённые пили свою жидкую баланду прямо из мисок². Как удивлённо отмечал Шаламов, в лагере Ивана Денисовича можно было бы прожить очень долго³. Учитывая время (примерно 1951 год) и место, так оно, скорее всего, и было на самом деле. Солженицын упоминает в рассказе о волне убийств доносчиков, которая, как он объясняет в «Архипелаге ГУЛАГ»⁴, явилась прелюдией к лагерным восстаниям середины 50-х годов.

Судя по свидетельствам других выживших заключённых, рассказ передаёт лагерную действительность без искажений, хотя и не включает самые худшие примеры жестокости. Автор и сам признавался, что представил материал «облегчённо», чтобы не упустить возможности публикации произведения⁵. Тем не менее рассказ создаёт впечатление всеохватывающего реализма. Мощь этого эффекта объяснима не столько неосведомлённостью читателей о жизни в лагерях, сколько особенностями парадигматического метода повествования. Рассказ, с виду разворачивающийся линейно, традиционно и целенаправленно,

¹ В действительности Солженицын строил не электростанцию, как герой рассказа, а лагерную тюрьму. Вероятно, прямой перенос этой жизненной ситуации в литературу мог бы показаться надуманно-претенциозным. (Первой работой бригады каменщиков было строительство лагерной тюрьмы, но затем, и куда дальше, они строили именно электростанцию, Экибастузскую ТЭЦ (прямые указания на работу *за зоной*, на выход и приход в колонне см. в третьем томе книги «Архипелаг ГУЛАГ», в главах «Поэзия под плитой, правда под камнем», «Когда в зоне пылает земля» и др.). Эта электростанция стоит и работает до сих пор, и на ней красуются зубцы, выложенные лично А.И. Солженицыным. — *Примеч. сост.*)

² «По мерке многих тяжких лагерей справедливо упрекнул меня Шаламов: “и что ещё за больничный кот ходит там у вас? Почему его до сих пор не зарезали и не съели?.. И зачем Иван Денисович носит у вас ложку, когда известно, что всё, варимое в лагере, легко съедается жидким, *через бортик?*”» // *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ. Собр. соч.: В 20 т. Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1978–1991. Т. 6: Архипелаг ГУЛАГ. Вермонт; Париж, 1980. С. 186 (примечание).

³ «...Сколько я ни расспрашивала о лагерях, живая зрительная картина создалась у меня только после того, как я прочла “Ивана Денисовича”. Шаламов обижался на меня за такую измену и объяснял, что в таком лагере, как Иван Денисович, можно провести хоть всю жизнь» (*Мандельштам Н.Я.* Вторая книга: Воспоминания / Подг. текста, предисл., примеч. М.К. Поливанова. М.: Моск. рабочий, 1990. С. 495).

⁴ См.: *Солженицын А.И.* Указ изд. Т. 7. С. 235–244.

⁵ См.: *Солженицын А.И.* Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни. Paris, YMCA-Press, 1975. С. 19.

представляет собой тщательно выстроенный текст, в котором выявляются черты, основанные на взаимозависимости функции и формы.

Парадигматический метод рассказа связан с последовательным повествованием об обыкновенном, хотя и сравнительно удачном дне, с рассвета до темноты. Текст пронизан указаниями на положение солнца или луны — по ним не имеющие часов заключённые определяют время. Рассказ начинается и заканчивается описанием тьмы, прорезаемой лучами прожекторов, а в середине дня заключённые работают в недостроенном здании, в окна которого не проникает свет, потому что они закрыты толем, чтобы было теплее. Эта игра света и тьмы вызывает в памяти каторгу Достоевского, «совершенно новый мир, до сих пор неведомый»¹, или библейский мотив тьмы днём (Иов 5:14), аллюзия к которому содержится в названии романа Артура Кёстлера «Слепящая тьма».

В повествовании соединяются отчёт об условиях лагерной жизни с описанием человеческой реакции на них — в частности, эмоциональные состояния заключённых. Солженицын мастерски приводит специфические «моменты» лагерной жизни, такие, например, как послеобеденное оцепенение Буйновского, — один из эпизодов, превращающих его «из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного эка»². Условия жизни в лагере представлены не в виде статических декораций, а как парадигма возможных событий, за которыми, затаив дыхание, следит читатель: удастся Шухову решить очередную встающую перед ним проблему или нет.

Чтобы донести до читателя максимум информации, не загромождая действие «сценическими ремарками», автор представляет нам различные стороны лагерной жизни в подходящие для этого, с точки зрения фабулы, моменты. Например, сразу же после пробуждения Шухова перечисляются все его возможные действия до утренней переключки, а в момент начала обыска — все возможные последствия этого ритуала. Более того, блоки информации подаются обычно тогда, когда Шухов чего-то ждёт, — например, своей очереди при обыске, — они как бы заполняют паузы в монотонных промежутках фабульного времени. Мы узнаём, как работает фельдшер в лагерной санчасти в то время, когда Шухов сидит в ней с термометром, надеясь на освобождение от работы, а процедура получения посылок из дома объясняется, когда Шухов стоит вместо Цезаря в очереди за ними; о положении семьи Шухова в его родной деревне мы узнаём, когда он думает об этом по дороге на

¹ См.: *Достоевский Ф.М.* Записки из Мёртвого дома. Введение // Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 3. С. 9.

² *Солженицын А.И.* Один день Ивана Денисовича // Собр. соч.: В 30 т. М., 2006. Т. 1: Рассказы и крохотки. С. 58–59. (Далее ссылки даются на это издание. — *Примеч. сост.*)

работу. Подробности о делах семьи Шухова даются не в традиционной форме мысленного перенесения в прошлое или сентиментальной ностальгии: Шухов должен обдумать, что сообщить домой жене в следующем письме. Описание лагерного быта (составляющее одну из главных целей рассказа), таким образом, почти всегда связано с проблемами или трудностями, которые предстоит преодолеть Шухову.

Парадигматический метод повествования удачно сочетается с выбранной точкой зрения, которая выгодно послужила и другой практической цели: описание лагеря «глазами мужика» понравилось выходцам из крестьянской среды — редактору «Нового мира» Александру Твардовскому, а впоследствии даже Хрущёву.

Кстати, крестьянская перспектива рассказа напоминает о том, что самыми многочисленными жертвами сталинских репрессий были не «старые большевики» или интеллигенция, а аполитичные крестьяне. Однако этически обусловленный выбор точки зрения оправдан и в художественном отношении.

В самом деле, характер Ивана Денисовича Шухова хорошо выражает диалектику индивидуального и коллективного, характерную для лучших произведений лагерной литературы и восходящую ещё к «Запискам из Мёртвого дома» Достоевского. Хотя Шухов показан разносторонне, это не усреднённый образ «обыкновенного человека», но в нём не много и эксцентричности, которая могла бы скомпрометировать его «типичность» в наших глазах. Его полная солидарность с общим уделом заключённых сочетается с постоянным поиском своей маленькой кровной выгоды, часть которой иногда перепадает и солдагерникам. Благодаря смекалке, мастерству, внимательности, хитрости, озорству, стойкости и добродушию деревенский плотник привлекает к себе симпатии читателей, и сочувствие распространяется на эков вообще. Тем не менее Солженицын наделяет Шухова забавными народными поверьями (что, например, Бог крошит убывающую луну на звёзды). Подобные детали подрывают тенденцию читателя отождествляться с героем и способствуют более критическому отношению: ясно видно, что чувство справедливости у Шухова не безукоризненно, а чувство сострадания весьма выборочно, да и поведение его не безупречно (в столовой он «по праву сильного» отбирает поднос у заключённого послабее). Солженицын трезво модифицирует толстовского Платона Каратаева¹; избегая идеализации эков, он усиливает достоверность рассказываемого.

¹ См.: Шнейерсон М. Александр Солженицын: Очерки творчества. Frankfurt a/M: Посев, 1984. С. 115–116. (См. также с. 401–402 наст. изд. — *Примеч. сост.*)

Повествование ведётся от третьего лица, но мир виден глазами Шухова¹. Авторский голос отчасти имитирует его простонародно-лагерную речь, хотя прибегает также к синтаксическим конструкциям и словарю, несвойственным необразованному человеку. Более того, по крайней мере, в одном эпизоде рассказано то, о чём Шухов знать не может, а именно факт, что лагерный врач взял фельдшером молодого поэта, чтобы уберечь его²: автор, по-видимому, намеренно нарушает последовательность «точки зрения» («фокализации»), чтобы напомнить нам о пропавшем в ГУЛАГе поколении молодых писателей³.

В целом, однако, Солженицын оформляет информацию о лагерном опыте с помощью двух версий фокусировки на герое: он представляет нам или то, что герой видит или думает в данный момент повествовательного времени, или то, что этот же персонаж знает о ситуации в целом. Таким образом, о переживаемых семьёй Шухова трудностях мы узнаём из мыслей самого Шухова, которые излагает автор, пока Шухов шагает в колонне к рабочему месту. И в противоположность этому возможные ингредиенты баланды, которой кормят заключённых в разные времена года, перечисляются, как в кулинарном рецепте, — когда Шухов ест это блюдо во время завтрака, — что отражает общие познания героя о предмете, но не его конкретные мысли в данный момент⁴.

Обстановка лагерной жизни, обрисованная специально для читателя, включает в себя много реалий, которые Шухову слишком хорошо знакомы, слишком привычны, чтобы он сознательно останавливал на них внимание. Когда эти реалии описываются, пусть и языком Шухова, повествование как бы предполагает, что именно таким образом Шухов передавал бы свой опыт новому заключённому. Подобный «новичок», кавторанг Буйновский, в рассказе действительно присутствует. Как свидетельствуют ошибки в его поведении, «инициацию» ээка он еще не прошёл. Ввиду социальной дистанции, отделяющей кавторанга от Шухова, советы со стороны последнего Буйновскому исключаются, но эквиваленты таких советов ставят самого читателя на место лагерного дебютанта.

¹ Шухов — «фокальный герой» — центр сюжетного видения. Об отличии фокуса повествования от «голоса» ведущего повествование см.: Genette G. Narrative discourse: An essay on method. Ithaca: Cornell univ. press, 1980. P. 186–189. В книге Женетта визуальная метафора повествовательной «точки зрения» дополняется слуховой метафорой «голоса».

² Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича. С. 26.

³ По Женетту, мы имеем здесь дело со случаем паралепсиса, т.е. с сообщением большей информации, чем это оправдано фокализацией. См.: Genette G. Op. cit. P. 195.

⁴ Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича. С. 22–23.

Когда речь заходит о мелких повседневных решениях, Шухов как бы разговаривает сам с собой. Сочетание его характерной речи с более литературным авторским стилем отражает частичную вербализацию размышлений героя, при помощи которой процессы его сознания «переводятся» для читателя.

Тематически-вариативный метод построения информационных блоков (например: тема — утро; вариации — возможные действия до первой переклички) предотвращает монотонность описаний. Рассказы о лагерных порядках всегда относятся к соответствующим частям дня Ивана Денисовича; они расположены и оформлены с педагогической доходчивостью и никогда не кажутся затянутыми. Их тесная связь с делами и внутренней жизнью героя ослабляет впечатление, что день Ивана Денисовича является лишь предлогом для информационного доклада о лагерном мире.

Важную роль в парадигматическом построении рассказа играет каталожная структура информационных блоков. Почти каждый блок содержит спектр альтернатив: что могут сделать заключённые, что могут сделать с ними надзиратели, что может ожидать заключённых в различных обстоятельствах и т.д. Поскольку в рассказе описан сравнительно удачный день (возможно, для того, «чтобы легче ввести» читателя в лагерную среду — не только чтобы провести материал через цензуру), реализуются самые благоприятные для Шухова потенциальные альтернативы. Однако читателю даётся понять, что худшие возможности тоже могут реализовываться: Шухова, как капитана Буйновского, могли посадить в карцер; его колонна после работы могла не обогнать колонну мехзавода по пути в лагерь; Цезарь мог не получить посылку... Автор как бы выбирает самый удачный исход ситуации, но у самого Шухова возможностей выбора мало: чаще всего он знает расклад шансов, но не может сказать, какой из них именно выпадет на его долю.

Парадигматический метод действует и как приём, создающий напряжение, интерес к развитию действия: мы ждём, чем закончится каждый из эпизодов, разделяя беспокойство Шухова. Маленькие радости удачного дня создают моменты временного облегчения, которые лежат в основе композиционной пульсации, характерной для лагерной литературы в целом: временное улучшение положения ещё сильнее выделяет следующие за ним новые удары, так что наша реакция на тяготы лагерной жизни не притупляется.

Парадигматический метод распространяется также на выбор персонажей: в совокупности ими представлен поперечный срез советско-

го общества, набор обвинений, по которым людей сажали в послевоенные годы, а также спектр типов поведения людей в лагере.

Наконец, о парадигматическом методе построения рассказа ещё раз свидетельствуют напоминания о том, что описанные в нём события представляют собой только вариант обычного положения вещей, даже если, благодаря энергии главного героя, его истории присущи пикарескные, плутовские чёрточки¹. Последний абзац текста помещает описываемый день Шухова в перспективу его десятилетнего срока. Первый же абзац рассказа подготавливает восприятие истории этого дня как типичной:

«В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стекла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать»².

Совершенный вид глагола, «пробило» (а не итеративная форма «пробивало») указывает, что описанное событие произошло в одном конкретном случае. Этому впечатлению способствует и точное указание на время — пять часов утра, но оно немедленно модифицируется вводным замечанием «как всегда». Час подъёма, более ночной, чем утренний, уже указывает на смещение норм, отделяющее лагерную вселенную от обычной каждодневной реальности. Тем не менее рассказ может быть прочитан как постмодернистская трансформация жанрового романа, показывающая, как круто общество, породившее лагерь, свернуло с пути устоев предыдущего века. Несмотря на колючую проволоку, лагерь не герметичен: надзиратели со всей их настроенностью и разговорами о кашах живут не намного лучше, чем заключённые; семья Шухова в деревне, наверное, голодает, почти как он сам, и о Большой Зоне вовне можно думать как о более мягкой версии лагеря³.

Нежелание надзирателя продолжать махать молотком в жестокий мороз сообщает российскому лагерю менее жестокую атмосферу, чем в нацистских концлагерях, где царил особо brutальная дисциплина. «Перерывистый звон» сигнала подъёма — он же и эмблема метода «пульсации», чередования поражений и мелких побед, страдания и

¹ Скэммел рассматривает Шухова как «героя плутовского романа в традициях русской народной культуры», своего рода «брата Василия Тёркина». См.: *Scammell M. Solzhenitsyn: A biography*. N.Y.: Norton, 1981. P. 383.

² *Солженицын А.И.* Один день Ивана Денисовича. С. 15.

³ Ср.: «...микрокосм этой сибирской исправительной колонии отражает макрокосм намного большей исправительной колонии, России» (*Rothberg A. Alexandr Solzhenitsyn: The major novels*. Ithaca: Cornell univ. press, 1971. P. 201).

отдушин в истории одного лагерного дня. Более явно автодескриптивная черта повествования обнаруживается в разговоре Цезаря с Х-123, «двадцатилетником, каторжанином по приговору, жилистым стариком»¹.

Цезарь хвалит сцену с пляской oprичников в фильме Эйзенштейна «Иван Грозный». Его суждения, оставляющие в стороне моральное значение этого исторического эпизода, подвергаются жёсткой критике со стороны старика Х-123. Последний осуждает банальную защиту принципа искусства ради искусства («искусство — это не *что*, а *как*»²) не только как выхолощенное бегство в эстетику («Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного!»³), но также как оправдание Лжи: «И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трёх поколений русской интеллигенции!» Когда Цезарь возражает ему аргументом, что только такую — сталинистскую — интерпретацию царствования Ивана Грозного «пропустили бы», Х-123 взрывается: «Ах, п р о п у с т и л и бы? Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют тракторку под вкус тиранов!»⁴

Автор рассказа, по-видимому, не полностью разделяет прямолинейное мнение Х-123 относительно Эйзенштейна: Х-123 неверно относится и к хлебу насущному, т.е. к лагерной каше, — Шухов молча думает, что старик кашу «ест ротом безчувственным, она ему не впрок». Виртуозность Эйзенштейна — «не впрок» Х-123 (старому эсеру, судя по его интеллекту, аскетическому идеализму, бескомпромиссной позиции и двадцати годам, проведённым в лагерях). Реплика старого зэка на тему соотношения в искусстве формы и содержания напрашивается на сравнение с советом Владимира Набокова критикам: «Во всём ставить “как” превыше “что”, не путать это с “ну, так что?”»⁵ «Так что?» — это вопрос об этической ответственности, отражающейся в функциональности художественных средств по отношению к предмету изображения.

Указание на еду, идущую «не впрок», служит и дополнительной цели: оно напоминает нам, что Шухов прислушивается к разговору интеллигенции только потому, что надеется, на сей раз понапрасну,

¹ Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича. С. 60.

² Там же. С. 61.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Interview with Alfred Appel // *Nabokov V. Strong opinions*. N.Y.: McGraw-Hill, 1973. P. 66. Солженицын неоднократно выражал своё восхищение творчеством Набокова.

что Цезарь вспомнит о своём обещании поделиться с ним табаком. Такое обрамление диалога частично скрывает его автодескриптивный намёк на собственное, солженицынское «облегчение» рассказа, с тем чтобы его «пропустили», — с той разницей, что в данном случае «облегчение» не препятствует честной интерпретации исторической действительности.

Мотив странных путей искусства в тоталитарном обществе также поднимается в пересказе размышлений Шухова о раскрашивании самодельных ковров, которое, как пишет ему жена, стало широко распространённым занятием в провинции: «<...> наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки. А ковры есть трёх сортов: один ковёр “Тройка” — в упряжи красивой тройка везёт офицера гусарского, второй ковёр — “Олень”, а третий — под персидский. И никаких больше рисунков нет, но и за эти по всей стране люди спасибо говорят и из рук хватают»¹.

В то время как, по словам жены Шухова, ходкие трафаретные ковры может изготавливать «каждый дурак», трое профессиональных художников в лагере приставлены выводить номера на одежде заключённых. Эти художники официально сведены до уровня живых трафаретов, а неофициально они пишут картины для лагерного начальства — и в последнем, конечно, должны угождать вкусу мелких местных тиранов.

Нежелание Шухова заниматься малеванием ковров отражает, автодескриптивно, отказ писателя творить согласно канонам трафаретного социалистического реализма. Солженицына заинтересовала мысль Толстого о том, что роман в качестве своей темы может взять жизнь всей Европы в течение века или же жизнь одного крестьянина в течение одного дня. Первоначально он подумывал об описании одного дня из жизни школьного учителя, но потом переключился на не дававший ему покоя лагерный материал и — обратно — на идею о дне крестьянина².

Но и Толстой не предоставил Солженицыну трафарета. Несмотря на хорошо известный интерес Солженицына к Толстому (философские идеи которого он с сожалением отверг), новый материал не вменялся в рамки традиционного реализма. «Один день Ивана Денисовича» описывает не возможное при обычном состоянии дел в обществе, но скорее то, что стало возможно, когда аномалия и искажение стали нормой. Рассказ Солженицына — как и большинство других его про-

¹ Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича. С. 37.

² См.: Scammell M. Op. cit. P. 382.

изведений — лишён герметической законченности, присущей классическому роману с его ревностно охраняемой драматической иллюзией. Он является «постмодернистским» произведением в том смысле, что не может, да и намеренно не ставит своей целью, сохранять полноту такой иллюзии. Внутренний мир рассказа слишком сильно связан с внетекстовой реальностью, «просачивается» в неё.

Эта связь находит своё выражение в автодескриптивных штрихах, в подразумеваемом приглашении оценить адекватность выстраиваемой модели и в отклонении от последовательной фокализации (угла зрения героя) под давлением сведений, герою не доступных (эпизод в санчасти), — то, что может показаться техническим недостатком, скорее является этическим решением. «Множественно-выборное» перечисление альтернативных исходов ситуаций также указывает на нарративное самоосознание и на функциональность «сюжета» — эту черту парадигматического метода «Одного дня Ивана Денисовича» можно считать солженицынской версией того, что после Борхеса называют структурой «расходящихся троп».

«Ну, так что?» — посоветует нам спросить Набоков.

В исторической обстановке, в которой создавался рассказ, структура «Одного дня Ивана Денисовича» служила этически ориентированным целям. Чтобы рассказ «пропустили», надо было, чтобы он содержал только часть правды. Тем не менее, учитывая воздействие на читателя самого факта публикации такого рассказа в ведущем советском журнале в 1962 году, подача истории Ивана Денисовича как *типичной*, парадигматичной, а не маргинальной или пикарескной, была глубоко оправданна: в восприятии читателей, репрезентативный характер опыта Шухова распространился на всю тему ГУЛАГа. Лагерный мир был с тех пор узаконен как материал литературного исследования; лагерная тема принялась, а последовавший вскоре мораторий на лагерную литературу, которая после «Одного дня Ивана Денисовича» потекла в редакции обильным потоком, был воспринят как насилие, обескровившее советскую литературу двух последующих десятилетий.

Таким образом, этический смысл формы этого рассказа состоит не в конкретных исторических и философских выводах, но в легитимации широкой сферы данного человеческого опыта как материала литературного творчества. Различие между пропагандистским произведением и полнокровным произведением нового жанра состоит, помимо прочего, в том, что первое является расширенным утверждением, а последнее — творящим пространство онтологическим событием.

С течением времени этическая ориентация произведения последнего рода теряет непосредственную злободневность, однако эстетическая ценность структур, первоначально вызванных к жизни этической ангажированностью, остаётся и выходит на первый план.

Авторизованный перевод с английского Б.А. Ерхова

Ю. Андреев

**РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОВЕСТИ А. СОЛЖЕНИЦЫНА
«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»
В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРЫ НАЧАЛА 60-Х ГОДОВ¹**

Сперва различают на слух
луч, в стёкла стучащийся звонко,
чистейший и утренний звук —
звук солнца — медного гонга...

И в мир является свет,
наваливается на окна,
и рвётся за светом вслед
звон солнца — медного гонга².

Так должно быть. Так было. Так есть и будет.

Но бывало и так: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стёкла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго звонить».

Что говорить, этот слабый звон во мраке, проникающий сквозь стёкла, совсем иной природы, чем «луч, в стёкла стучащийся звонко...».

И человек пробуждается.

Человек пробуждается и прежде всего улыбается.
Улыбка скользит по губам,
Как грань между ночью и днём,
Это улыбка сна,

¹ Радуга. Киев, 1991. № 6. Печатается в сокращении.

² *Межелайтис Э.* Стихотворения // Новый мир». 1962. № 11. Далее цитируются стихи Э. Межелайтиса из этого цикла. — *Здесь и далее примеч. Ю. Андреева.*

Убегающего вдаль,
лёгкий отзвук,
Эта улыбка — ещё продолжение сна.

Так должен начинаться день. А бывало, начинался и так: «Всегда Шухов по подъёму вставал, а сегодня не встал. Ещё с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то ломало. И ночью не угрелся. Сквозь сон чудилось — то вроде совсем заболел, то отходил маленько. Всё не хотелось, чтобы утро».

А человек,
перед тем как встать,
пробует вновь
человеком стать:
он к пахоте тянет
две длинных руки
и погружает в неё кулаки.

Иван Денисович, заключённый, лежит, слушает шумы пробуждающегося барака и думает: «Испыток не убыток, не попробовать ли в санчасти косануть, от работы на денёк освободиться», — к «пахоте» его не тянет.

Когда человек
хочет быть человеком,
он должен проснуться и заулыбаться.
Ибо слёзы — как мелкие капли дождя,
заволакивающие стёкла, —
и человек не видит своей дороги.

«И Шухов решился — идти в санчасть.

И тут же чья-то имеющая власть рука сдёрнула с него телогрейку и одеяло. Шухов скинул бушлат с лица, приподнялся. Под ним, равняясь головой с верхней парой вагонки, стоял худой Татарин.

Значит, дежурил не в очередь он и прокрался тихо.

— Ше-восемьсот пятьдесят четыре! — прочёл Татарин с белой латки на спине чёрного бушлата. — Трое суток к о н д е я с в ы в о д о м!»

Да, не «солнечным звоном» разбужен Иван Денисович и рукой прикоснулся не «к небесам окрылённым». И потянулся бесконечный день — весь так же, как утро, как пробуждение Шухова, бесчеловечный, противоестественный, полный унижения, день зэка Щ-854.

Татарин «простил» Шухова и велел ему вымыть пол в надзирательской.

«— Дверь-то притягивай, ты, падло! Дует! — отвлёкся один из них (надзирателей. — Ю.А.).

<...>

— Ты! гад! потише! — спохватился один, подбирая ноги на стул.

<...>

— Да ты сколько воды набираешь, дурак? Кто ж так моет <...> чушка?

<...>

— Ничего, падлы, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить».

Вымыл Шухов пол, вышел наружу, увидел надзирателя. Спрятался за угол барака. «Стараться надо, чтоб никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только. Может, он человека ищет на работу послать, может, зло отвести не на ком. Читали ж вот приказ по баракам — перед надзирателем за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть. Иной надзиратель бредёт, как слепой, ему всё равно, а для других это сласть. Сколько за ту шапку в кондей перетаскали! Нет уж, за углом перестоим».

А далее — санчасть. Там тихо, даже «ходики не стучали — заключённым часов не положено, время за них знает начальство».

На часы права нет и на освобождение по болезни права нет: норма для человека, и больше нельзя (а одно из мест уже занято Пантелеевым, чтобы он днём без свидетелей доносить оперу мог), и, если на хлеборезку пайку меньше выдали, тоже «шуметь и качать права он, как человек робкий, не смел <...>».

Мороз 27 градусов, а на выходе из лагеря — обыск (шмон) — смотрят, не надел ли кто на себя лишнего.

«— Ра-асстегнуть рубахи!

Волкового не то что зэки и не то что надзиратели — сам начальник лагеря, говорят, боится. Вот бог шельму метит, фамильицу дал! — иначе, как волк, Волковой не смотрит. Тёмный, да длинный, да насупленный — и носится быстро. Вынырнет из-за барака: “А тут что собрались?” Не ухоронишься. Поперву он ещё плётку таскал, как рука до локтя, кожаную, кручёную. В БУРе ею сёк, говорят».

Капитан второго ранга Буйновский возмущился:

«— Вы пр а в а не имеете людей на морозе раздевать! Вы де в я т у ю статью уголовного кодекса не знаете!..

Имеют, знают. Это ты, брат, ещё не знаешь.

— Вы не советские люди! — долбаёт их капитан. — Вы не коммунисты!

Статью из кодекса ещё терпел Волковой, а тут, как молния чёрная, передёрнулся:

— Десять суток строгого!»

Зона. Предзонник. Колючая проволока...

Будь же проклята
навсегда, навек,
колючая проволока —
я говорю, Человек!

Цикл Межелайтиса кончается мажорно:

Мы бросаем проволоку прочь,
ветку ржавую и неживую.
И уходим, покидая ночь,
на дорогу, солнцем залитую.

А повесть — она кончается не так, Ивану Денисовичу ещё долго смотреть на дорогу и на солнце из-за проволоки.

Ивана Денисовича в этот день не бьют. Но — всегда могут. «Темно. Страшно. Не то страшно, что темно, а что ушли все, недосчитаются его одного на вахте, и бить будет конвой».

Нет, не побили, обошлось. Вообще, день идёт благополучно. И повесть удалось, никто не помешал. «Человек выше сытости», говорят? Да, конечно, но вот: «<...> сквозь лагерные ворота возвращаясь, зэк за весь день более всего обветрен, вымерз, выголодал — и черпак обжигающих вечерних пустых щей для него сейчас, что дождь в сухмень, — разом втянет он их начисто. Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни».

И когда кончался этот бесконечный день (один из трёх тысяч шестисот пятидесяти трёх), «засыпал Шухов, вполне удовлетворенный. На дню у него выдалось сегодня много удач». А что же это за удачи для человека, которого стремятся свести до уровня бесправной скотины? В карцер не посадили, с ножовкой на шмоне не попался, подработал немного у богатого лагерника и т.д. И до какого же состояния надо довести человека, чтобы он, засыпая, вспоминал такой день как «<...> ничем не омрачённый, почти счастливый»!

А. Солженицын написал повесть, которая получила широкий общественный резонанс, наибольший из всех произведений, посвящён-

ных разоблачению нарушений социалистической законности, которые были связаны с культом личности Сталина. Ведь ещё в 1921 году, вскоре после завершения Гражданской войны, В.И. Ленин указывал на IX Всероссийском съезде Советов: «Чем больше мы входим в условия, которые являются условиями твёрдой и прочной власти, чем дальше идёт развитие гражданского оборота, тем настоятельнее необходимо выдвинуть твёрдый лозунг осуществления большей революционной законности и тем уже становится сфера учреждения, которое ответным ударом отвечает на всякий удар заговорщиков»¹.

Произведений, затрагивающих тему справедливости в период культа личности Сталина, появилось в течение двух-трёх лет — на стыке 50–60-х годов — несколько десятков, но «Один день Ивана Денисовича» оказался наиболее заметным (в 1964 году эта повесть была даже выдвинута на соискание Ленинской премии). Объяснить резонанс произведения следует прежде всего не его сенсационным материалом (хотя и это — немаловажное условие широкого интереса), но художественно впечатляющим раскрытием некоторых проблем, связанных с этой темой. А. Солженицын вскрывает противочеловечные следствия культа сверхчеловека.

Ещё только начинается день Ивана Денисовича, мы успели прочесть лишь несколько строк, но вот что-то особенно резануло по глазам: «<...> кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать: сшить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички; богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вокруг кучи, не выбирать <...>» «Богатому бригаднику»... — невыносимо чуждое для человека социалистического общества звучит в этом деловом рассуждении: бедный прислуживает богатому!

Не только, значит, уничтожались элементарные человеческие права, не только лишались люди свободы, но и создавались условия для возрождения органически чуждых нашей психологии отношений. Ээки в лагере не равны — там целая иерархия: кто как сумел себя поставить — деньгами, взятками начальству, силой, подлостью. Дело естественное — где волчьи законы, там надо стать волком. «Кто кого сможет, тот того и гложет».

Отстоял Шухов очередь за посылкой для Цезаря Марковича (авось перепадет что-либо за труд), бегом в столовую. А в столовую не пускают. Кто ещё не пускает? Из эзков дневальный, Хромой. «Прибитых бьёт. Шухова раз гвозданул.

¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 329.

Название — “дневальный”. А разобраться — князь! — с поварами дружит!» (с самими поварами!).

И сам Иван Денисович, уж на что хороший человек, тоже при случае «гложет, если может»: условия такие! «<...> Шухов схватился за поднос, а и тот набежал, кому обещано, за другой конец подноса тянет. А сам щуплей Шухова. Шухов его туда же подносом двинул, куда тянет, он отлетел к столбу, с подноса руки сорвались. Шухов — поднос под мышку и бегом к раздаче».

Что же это за порядки? Богатому угождай, сильного бойся, кто чуть больше прав имеет — берегись его... Нет, на таких началах «соцгородок» ещё можно построить («К вахте сходятся пять дорог <...>. Если по этим всем дорогам да застраивать улицы, так не иначе на месте этой вахты и шмона в будущем городе будет главная площадь с памятником. И как теперь объекты со всех сторон прут, так тогда демонстрации будут сходитьсь»), но социалистических отношений не создать. Такие порядки, такая мораль — не братские, но волчьи, и трудно придумать что-либо иное, что могло бы простых людей, философски не подкованных, больше и крепче оттолкнуть от такой власти.

Тут мы подходим к самой сути произведения А. Солженицына, ибо пока никто резче его не показал антинародного существа того положения, к которому приводил культ личности и характер репрессий, связанных с ним. Не приходится, например, удивляться, когда Шухов думает: «Неуж и солнце ихим декретам подчиняется?» «Ихим», чужим, не нашим. «Ихим» — значит чуждой, враждебной власти. Какой же действительно огромный вред принёс культ, если представитель народа так думает о советской — народной власти! И чего уж удивляться, если бригадир Тюрин после всех бед и несправедливостей, которые на него обрушились, втайне забрал из дому своего младшего братишку — и отдал его воспитывать не в интернат, не в колонию, не в советское какое-нибудь учреждение, нет. «Во Фрунзи асфальт варили в котле, и шпана кругом сидела. Я подсел к ним: “Слушай, господа бесштаные! Возьмите моего братишку в обучение, научите его, как жить!” Взяли...»

В 1960–1963 годах свет увидели десятки и десятки романов, пьес, повестей, рассказов, стихотворений, посвящённых критике культа личности, — хороших, средних, плохих, разных. Много писали и пишут. Интересно предварительно отметить, не анализируя эти произведения, что пишут преимущественно и главным образом о том, как репрессии коснулись интеллигенции, руководящих работников, деятелей искусства. На этом фоне повесть А. Солженицына выделяется

особенно резко — о репрессированном солдате, в прошлом рядовом колхознике. Кажется, каких возможностей лишил себя писатель, каких трагедий духа, каких противоречий!

Поставь он, например, в центр произведения капитана второго ранга Буйновского — и вылилось бы из-под его пера мрачное, торжественное повествование о настоящем, нестигаемом коммунисте в плену у своих.

Мог быть главным героем и X-123, «двадцатилетник, каторжанин по приговору, жилистый старик», который, в споре с Цезарем, с гневом говорит: «И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании». Если бы этот старик повёл развитие действия, мы получили бы яркую публицистическую повесть о невозможности убить мысль, убить идею, которой суждено будущее, получили бы книгу во славу мыслящей личности.

Много было возможностей у А. Солженицына, но он выбрал за главным героем именно крестьянина-солдата Шухова, и это решение — одно из самых глубоких. Что же это за условия, при которых слепой топор беспричинных репрессий начинает стучать по корням всей жизни общества, начинает рубить уже не только ветви, но крошит и уничтожает тех, на ком держатся и кем питаются все остальные части дерева!

Позиция писателя, понимание того, как должно быть и как было, определили выбор героя. И тогда получилось, что разоблачительное по своей сути, самое беспощадное и тяжёлое из всех произведений этого ряда — повествование А. Солженицына оказалось вместе с тем далёким от безнадёжности.

Характер отдельного типичного человека есть концентрированное выражение народного характера, вобравшего в себя историю народа. А путь русского народа, с тех пор как он много веков назад осознал себя единым народом, был настолько трудным и значительным, что даже бесчеловечные условия, порождённые болезненно подозрительным жестоким нравом Сталина, не явились той овчиной, что способна пугливому, слабому закрыть целое небо.

Татаро-монгольское иго, многовековое феодальное угнетение, кровавые войны — всё прошло, быльём поросло, но в спокойной уверенности народного характера осталось: всё перемололи, всё осилили и всё осилим. А. Солженицын воспроизвёл характер исторически оптимистичный. И думает Шухов: «<...> переживём! Переживём всё, даст бог, кончится!» Он может трудиться, он все умеет и, совершенно не-имуций, делится с другим: «У нас нет, так мы всегда заработаем».

И эта спокойная внутренняя сила делает его гордым человеком: он миски чужие лизать не будет и, хорошо потрудившись, даже к такому человеку, от которого вся жизнь зависит, запросто обращается на «ты» и называет его не уважительно «Андрей Прокофьевич», а как равный — «бригадир».

И не парадокс, не нечто удивительное, а как раз естественнейшее и закономерное, что наиболее ярким, эмоционально насыщенным местом в повести о незаконно репрессированных является трудовая поэма — этюд о строительстве ТЭЦ: ведь главным в Иване Денисовиче было то, что он вырос в труде и трудом живёт, — как народ в целом. Этот этюд — не только о талантливости труженика, не только о его мастерстве и о чутком взаимодействии с другими мастерами — нет, он посвящён и радости труда. Блестяще передан всё возрастающий ритм общей работы, переходящий в штурм, в аврал, когда вся бригада в бешеном темпе работает на каменщиков-укладчиков. Но вот уже отбой — надо быстро сдавать инструмент, бегом строиться на проверку. Опоздать — могут прибить, могут в карцер посадить. Но не может мастер бросить недоведённый ряд, стынувший раствор. «Шлёп раствор! Шлёп шлакоблок! Притиснули. Проверили. Раствор. Шлакоблок. Раствор. Шлакоблок...

Кажется, и бригадир велел — раствору не жалеть, за стенку его — и побегли. Но так устроен Шухов по-дурацкому, и за восемь лет лагерей никак его отучить не могут: всякую вещь и всякий труд жалеет он, чтоб зря не гинули.

Раствор! Шлакоблок! Раствор! Шлакоблок!

— Кончили, мать твою за ногу! — Сенька кричит. — Айда!

Носилки схватил и по трапу.

А Шухов, хоть там его сейчас конвой псами травы, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал — и через стенку, слева, справа. Эх, глаз — ватерпас! Ровно! Ещё рука не старится».

Повесть «Один день Ивана Денисовича» — крупное литературное и общественное событие нашей жизни. Разумеется, возможны книги, которые будут совершенней, чем эта. Ведь что ни говори, а повесть А. Солженицына — скорее предварительный этюд, чем широкое полотно.

Нужно согласиться с теми критиками, которые писали, что повесть А. Солженицына уязвима в некоторых существенных моментах авторской позиции. Можно было полагать первоначально (до появления двумя месяцами спустя рассказа «Матрёнин двор»), что авторский замысел глубже, чем оказалось. Что имеется в виду?

Иван Денисович — далеко не борец, не активная общественная натура. Это не тот деятельный, убеждённый человек, каким является, например, Андрей Соколов из «Судьбы человека» М. Шолохова — простой, рядовой человек, по которому тоже жестоко прокатилась судьба. В Иване Денисовиче много от патриархального крестьянства, что проявляется и в его органическом непонимании людей интеллигентных, и в его неразвитости, «темноте», как прежде говорили.

«— Слышь, кавторанг, а как по науке вашей — старый месяц куда потом девается?

— Как куда? Невежество! Просто не виден!

Шухов головой крутит, смеётся:

— Так если не виден — откуда ж ты знаешь, что он есть!

— Так что ж, по-твоему, — дивится капитан, — каждый месяц луна новая?

— А что чуждого? Люди вон что ни день рождаются, так месяцу раз в четыре недели можно?

— Тьфу! — плюнул капитан. — Ещё ни одного такого дурного матроса не встречал. Так куда ж старый девается?

— Вот я ж и спрашиваю тебя — куда? — Шухов зубы раскрыл.

— Ну? Куда?

Шухов вздохнул и поведал, шепелявя чуть:

— У нас так говорили: старый месяц бог на звёзды крошит.

— Вот дикари! — Капитан смеётся. — Никогда не слыхал! Так ты что ж, в бога веришь, Шухов?

— А то? — удивился Шухов. — Как громыхнёт — пойдя, не поверь!

— И зачем же бог это делает?

— Чего?

— Месяц на звёзды крошит — зачем?

— Ну, чего не понять! — Шухов пожал плечами. — Звёзды-те от времени падают, пополнять нужно».

То есть перед нами удивительная картина мышления, совершенно неразвитого в тех областях, которые для Шухова, собственно говоря, практического интереса не представляют. И думалось при появлении Ивана Денисовича, что писатель внутренне сожалеет об этих чертах и как-то связывает возможность культа личности с наличием в 20–30-е годы мощного слоя крестьянства, ещё не пробудившегося в первые десятилетия советской власти к активности после исторически обусловленного, длительнейшего во времени патриархального образа мышления.

Советские писатели, раздумывая о причинах культа личности Сталина, на первый план выдвигают безграничную веру людей, воспитанных на многовековой вере в «хорошего царя», в человека, чьё имя стало символом побед и общественных успехов, с кем связывали все наиболее знаменательные события государственной жизни. Не в общественной индифферентности, но напротив — в искренней преданности идеям справедливой жизни, как бы воплотившимся в личности одного человека, видит большинство литераторов диалектику появления и развития культа Сталина.

Дед Евмен, один из персонажей романа М. Стельмаха «Правда и кривда», так говорит об одном из своих односельчан: «Вот возьми нашего Зиновия Гордиенка — он как ударил в революцию в свой колокол, так и до сей поры стоит гордым звонарём, и не пошатнёшь его и на другое не склонишь. Скажи ему, что у нас в законе есть хоть одна кривоватая статья, он тебе горло перегрызёт. И это, с одной стороны, очень хорошо, а с другой — и не очень, потому что при Гордиенке, с его доверием ко всему хорошему, нетрудно какому-нибудь поганцу присосаться к нашему святому и кровному».

Что же касается «Одного дня Ивана Денисовича», где главный герой бесконечно далёк от какой бы то ни было «политики», то можно было полагать, что писатель с болью в душе выдвигает своё, особое понимание и объяснение причин народной трагедии, осуждая пассивность, гражданственную недалёкость как чреватое большими бедами явление.

Так думалось. Иначе какой же смысл был писателю, рисуя крестьянина, попавшего в лагерь политических заключённых, изображать в качестве главного героя именно такого правнука Платона Каратаева, а не представителей активного народного типа?! Именно для того, чтобы показать, к чему логически может привести рабья неразвитость политического сознания. Дать причины и следствия. Такая трактовка одной из основных причин возникновения культа личности могла показаться спорной, но она придавала повествованию особую глубину, делала почти неуязвимой для критики фигуру главного героя.

Но вот появился «Матрёнин двор» — и вызвал чувство досады и огорчения: не столько сам по себе, сколько за повесть «Один день Ивана Денисовича». Ведь «Матрёнин двор» при всей душевной боли, которую он несёт, — это апология той самой патриархальной неразвитости, кротости, которая и отличает и Ивана Денисовича! Значит, повесть «Один день Ивана Денисовича» отнюдь не была направлена на борьбу с забитостью, с темнотой сознания, нет, её дыхание короче —

она, как и «Матрёнин двор», рассказывает об ужасающей несправедливости, но истоков её, как оказалось, вскрывает и не пытается.

Спасибо А. Солженицыну и за то многое, что он сделал, но мы, читатели, имеем основание полагать, что тема, которую он решал, должна и может получить социологически более точное, философски более глубокое решение.

«— Вы не советские люди! <...> Вы не коммунисты!» — гневно «долбает» капитан второго ранга Буйновский охрану лагеря.

«— Как не стыдно! Как вам не стыдно! — сдерживая плач, кричит юная девушка Ася (роман Ю. Бондарева «Тишина») старшему лейтенанту МГБ, который глумится над её братом во время обыска. — Вы ведь советский человек!»

Так реагируют персонажи этих и многих других произведений на беззакония, с которыми им пришлось столкнуться.

Трудная и тяжёлая тема разоблачения культа личности проделала в литературе заметную эволюцию после XX и особенно XXII съезда КПСС, на которых партия с беспощадной правдивостью разоблачила беззакония, творившиеся Сталиным и теми преступниками, которые всячески раздували в нём подозрительность.

Вполне объяснимая робость, скованность, недостаточное знание или недостаточное понимание этой трагической страницы истории нашего народа проявились не в одном произведении, затрагивавшем эту страшную тему.

Так, например, в романе В. Кетлинской есть сцена, воспринимаемая, пожалуй, как кульминация: на заседании Политбюро рассматривается причина неудач в подземной газификации угля. Берия подготовил материалы так, что жизненный путь участников работ можно считать уже законченным. «И оттого, что это был конец и хуже того, что случилось, уже ничего не могло быть, оцепенение прошло и страх исчез. Поднявшись, Саша сказал высоким сильным голосом:

«— Товарищ Сталин, вас вводят в заблуждение! Всё совсем не так!

И остался стоять, глядя в лицо Сталину отчаянными и бесстрашными глазами.

— Даже совсем не так? — насмешливо переспросил Сталин и развёл руками. — Что ж, послушаем, как оно на самом деле. Говорите, товарищ... — Ему шёпотом подсказали, и он повторил: — Говорите, товарищ Мордвинов»¹.

¹ Кетлинская В. Иначе жить не стоит. Л.: Советский писатель, 1960. С. 644–645.

Мордвинову удалось сломить предубеждённость Сталина, вдохновенно и в то же время чётко объяснить, как действительно сложились обстоятельства. «Снимать, арестовывать хотели, — как бы про себя сказал Сталин. — А выходит, помогать надо. По-деловому помогать новому делу».

После XXII съезда стало ясно до конца, что подобная концепция злодея Берии и Сталина, якобы стоящего на страже справедливости, в общем плане неверна, хотя бы и были подобные частные факты в действительности (ведь роман — не фактографическая картина, а обобщённый взгляд на происходившее).

Та эволюция, которая совершилась за год-полтора в литературе, стала возможной лишь благодаря прямой, открытой критике культа личности, — критике, направленной на устранение всего того, что мешало нам в прошлом.

Увидели свет книги, авторы которых, обратившись к началу 30-х годов, сурово и горестно показали беззакония и нарушения ленинских заветов, проявившиеся ещё в период коллективизации, это — «Люди не ангелы» И. Стаднюка, «Хмель» А. Черкасова, «Разные судьбы» М. Обухова, «Татьяна Тарханова» М. Жестева, «На Иртыше» С. Залыгина, «В буче» А. Никулькова, «Родимый край» С. Бабаевского и др. Эти книги поведали то, о чём в силу многих причин раньше не говорили произведения о коллективизации, о первой половине 30-х годов.

Расчётам с прошлым, показу попра́ния норм социалистической законности посвящены произведения разных авторов. Некоторые вещи принадлежат перу людей, непосредственно испытавших на себе произвол (Б. Дьяков. «Повесть о пережитом», Л. Семин. «Один на один», А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», А. Алдан-Семёнов. «Барельеф на скале» и некоторые другие). Это, разумеется, заставляет по-особому относиться к их книгам. Но, конечно, не документальность характеризует силу впечатления в первую очередь, а художественное воплощение, глубина авторской мысли.

И вот непосредственно в связи с разговором о высокой авторской точке зрения хочется обратить внимание на следующее: на жанр произведений, посвящённых критике последствий культа личности.

Есть документальные материалы, такие, как «Дневники Нины Костериной», «Годы и войны» А. Горбатова или «Повесть о пережитом» Б. Дьякова. Есть пьесы — «Чёрные птицы» Н. Погодина или новая редакция «Метели» Л. Леонова. Есть рассказы, и первым по времени из них явился «Самородок» Г. Шелеста, напечатанный в 1962 году в

газете «Известия», есть повести — среди них одной из самых сильных и драматичных является «Возвращение Юрия Митрофановича», принадлежащая перу В. Старикова, появилось и множество стихотворений — в первую очередь Е. Евтушенко, — в которых находим немало ярких строк, клеймящих отрицательные явления, связанные с культом личности. Есть поэма, выдержанная в старинном жанре героико-комического путешествия, «Тёркин на том свете» А. Твардовского. Есть и романы, в которых много страниц отдано горестному и гневному повествованию об этом же, например «Трудные годы» Н. Сизова.

Но вот чего нельзя не отметить: если у нас имеются произведения малых и средних форм, художественные или документальные, целиком посвящённые этой теме, то нет романа или какого-либо другого многопланового произведения, где все линии были бы отданы целиком и исключительно теме культа и связанных с ним несправедливостей.

И это вполне естественно и закономерно, ибо широкое эпическое полотно, в том случае если его автор не захочет исказить историю, не может быть сведено к воспроизведению искривлений, которые были в нашем прошлом: это было бы неверно. В большом полотне честно и серьёзного советского писателя (например, в «Правде и кривде» М. Стельмаха, или «Диком мёде» Л. Первомайского, или «Тронке» О. Гончара) эта сюжетная линия не господствует безраздельно, не существует вне связи с теми факторами жизни нашего общества, которые всегда определяли его суть, его революционный характер. Сведение многопланового произведения о 30-х, 40-х или 50-х годах к теме несправедливостей явилось бы грубой фальсификацией истории.

Эти рассуждения перестают быть абстракцией, едва мы обращаемся к практике. Дело в том, что большие романы, посвящённые исключительно репрессиям, существуют — и во множестве. Их в изобилии издают на Западе. У нас пишут для того, чтобы избавиться от всего наносного, чуждого советскому обществу, у них — для того, чтобы опорочить советское общество.

Вот почему крайне неприятное впечатление производят истерические мальчишки из некоторых появившихся у нас в 1961–1962 годах произведений («А, Б, В, Г, Д...» В. Розова, «Белого флага» К. Икрамова и В. Тендрякова, например), которые при сочувствии их авторов отрицают всё, что было до них, истинное общественное пробуждение начинается именно с них, они же, отрёкшись от прошлого, идут своим путём, иным, чем шли их отцы и старшие братья.

«Не хочу быть его сыном! — кричит Ярик из «Белого флага». — Не хочу продолжать этот род! Быть другим! Только другим! Непохожим! Жить иначе, дышать иначе!»¹ Возможно, сын имел основания уйти от отца, но ведь пьеса — не милицкий протокол, а произведение, пытающееся обобщить взаимоотношения отцов и детей. И как же не отречься от таких отцов, по мысли автора, если все они — либо предатели, либо жертвы, либо подлецы?

Гневно споря со своим племянником Виктором (удивительно похожим на Ярика), лётчик Завьялов, сам испытавший на себе беззаконие, говорит: «Как я могу молчать о культе! Но для тебя “период культа” — это только “смутное время”, цепь преступлений и ошибок. А я убеждён, что не было в нашей истории такого периода, когда ошибки и преступления исчерпывали бы всё содержание эпохи. Вот в чём наше разногласие!»² Завьялова жестоко обидели, он это помнит, но он помнит и другое: «И как мы отца на работу в политотдел МТС провожали, и как Московский электрозавод первым в стране пятилетку в два с половиной года выполнил, и как челюскинцев спасали, и как Чкалов, Байдуков и Беляков после своего перелёта возвращались. От самого Белорусского вокзала до Кремля шпалерами стояли люди, бросали цветы, солнце сияло, по радио “Широка страна моя родная” пели — тогда эта песня только что появилась. Войну в Испании помню... Я всё, Виктор, помню, всё... Марину Раскову, Гризодубову видел, как Федосенко, Васенко и Усыскин в воздух на стратостате поднялись помню... А потом война. Гастелло и Матросов, Зоя и панфиловцы — они ведь тоже не за культ сражались. Да и я сам в те годы стал человеком...

— Но в те же годы, — прервал его Виктор, — вас лишили самого дорогого для вас права — летать!

— Верно. И всё же я не могу называть прожитые годы только двумя словами — “период культа”, как это делаешь ты, потому что и в те годы свершались подвиги, потому что миллионы людей, и я среди них, верили в святость того, что мы делали. Не из страха и принуждения, а потому, что иначе не могли жить!»

Отвечая Виктору, споря с ним, Завьялов говорит правду, но он и не ставит перед собой вопроса о причинах культа — он лётчик, преподаватель аэроклуба. Что же касается писателей, то они безусловно не имеют морального права братья за перо, прежде чем не уяснят для

¹ Икрамов К., Тендряков В. Белый флаг // Молодая гвардия. 1962. № 12. С. 234.

² Чаковский А. Свет далёкой звезды // Октябрь. 1962. № 11. С. 27. Далее цитируется это издание.

себя этот вопрос, решив говорить о «периоде культа». Ведь именно здесь проходит водораздел в понимании недавней истории.

Культ личности возник не из природы социализма, а вопреки всем основным положениям родоначальников марксизма.

Передавая разговор двух воинов о репрессиях тридцать седьмого года, М. Стельмах верно пишет, что его герои «коснулись тех страниц народной драмы, которые породить мог и трагедийный исключительный случай, но пережить и преодолеть лишь великий народ». К культу нельзя свести жизнь нашего общества в целом ни на один год и ни на один день: лучшим доказательством тому является победа советского народа в чудовищной войне с фашизмом, ибо никакой культ не мог изменить основ нашего народного строя. И спрашивается, какая другая партия смогла бы найти в себе силы, чтобы столь решительно вскрыть и осудить ошибки прошлого?

Писатели Б. Балтер («До свиданья, мальчики») и С. Баруздин («Повторение пройденного») великолепно показали, каких замечательных людей воспитывала наша страна именно в 30-е годы и на каких идеях. Эти парни выросли на героическом примере Павла Корчагина и его сверстников, их вели по жизни их отцы-революционеры, и, созрев для борьбы и суровых испытаний, мальчики и девочки 30-х годов оказались достойными своей великой страны и её идеалов.

Лётчик Завьялов говорит правду, когда показывает Виктору, какие великие, благородные дела свершались в 30-е годы народом. Он говорит истину и тогда, когда рассказывает: «...я верил Сталину. Верил в его тысячекратно повторяемые слова о том, что внутри нашей страны всё более обостряется классовая борьба. Не допускал и мысли, что могут арестовать и осудить невинного человека, — нет, не допускал!.. Я не мог бы себе тогда представить, что меч пролетарской диктатуры покарал невинного. Я не знал, не допускал и мысли о том, что этот меч может быть направлен в сердце своих».

Не знал, не допускал и мысли так же, как миллионы и миллионы других советских людей. Не знал, не допускал мысли так же, как советские писатели, рисовавшие жизнь нашего общества. Интересно, например, что Э. Казакевич, набрасывая в 1950 году план романа-хроники советской жизни за несколько десятилетий, отмечает в нём ряд особо важных событий 1930–1938 годов, но среди них нет темы репрессий!¹ Невозможно говорить в данном случае о фигуре умолчания, потому что речь идёт о записках, сделанных сугубо для себя таким тонким, социально чутким художником, каким был этот писа-

¹ См.: Казакевич Э. Новая земля // Литературная газета. 1963. 28 декабря.

тель. Всё дело в том, что план набрасывался до XX съезда КПСС, на котором впервые была сказана правда об этих тяжких страницах нашей истории. Конечно, можно говорить об ограниченности, о неполноте тогдашней концепции Э. Казакевича, который собирался писать о раскулачивании, индустриализации, Магнитогорске, Комсомольскена-Амуре, Хасане и не предполагал рисовать массовые нарушения социалистической законности, ни существа, ни масштабов которых он, как и весь советский народ, не знал, но нельзя упрекать его за сознательное утаивание тяжёлой истины: она была ему неведома.

А. Твардовский в 1954 году искренне утверждал:

Да, мир не знал подобной власти
Отца, любимого в семье.
Да, это было наше счастье,
Что с нами жил он на земле¹.

Лауреат Ленинской премии Расул Гамзатов в книге «Высокие звёзды» публикует восьмистишие, которое может отнести к себе каждый.

Ты, время, вступаешь со мной в рукопашную.
Пытаешь прозреньем, караешь презреньем,
Сегодня клеймишь за ошибки вчерашние
И крепости рушишь — мои заблужденья.

Кто знал, что окажутся истины зыбкими,
Чего же смеёшься ты, мстя и карая,
Ведь я ошибался твоими ошибками,
Восторженно слово твоё повторяя!²

Эти слова об «ошибках времени», о «пытке прозреньем» горьки, но справедливы, честны и лишены предвзятости и мнимо-значительной сенсационности.

Писатель Г. Коновалов, выступая на Всесоюзном совещании, посвящённом изучению проблем социалистического реализма, взволнованно говорил о том, что его тревожит появление вещей со спекулятивным оттенком, о том, что за темы шекспировской сложности писателю следует браться лишь тогда, когда он почувствует всю полноту своей ответственности. Об этом же, спустя несколько лет, с болью говорила Г. Серебрякова на встрече творческих работников с руководителями

¹ Твардовский А. За далью — даль // Новый мир. 1954. № 3. С. 5.

² Гамзатов Р. Высокие звёзды. М.: Сов. писатель, 1963. С. 181.

партии и правительства 17 декабря 1962 года. Она сказала, что у неё, потерявшей в заключении двадцать лучших лет жизни, нашлось бы более, чем у кого-либо, материала для трагического повествования, но она не торопится выступить с ним, потому что понимает, какого большого, поистине философского осмысления требует эта тема.

Борьба за правдивость, за постоянное совершенствование, борьба против показухи, выгодной, в конечном счёте, только врагам советской власти, разоблачение культа исключительной личности — всё это очень важные проблемы нашей жизни. И материал, и выводы авторов тем более серьёзны, что они — результат глубоких гражданственных раздумий над событиями, рассказывая о которых нельзя говорить легко: эти выводы вырастают из трагических страниц нашей истории.

В. Лакшин

ПЕРВОЕ СЛОВО О СОВЕТСКОЙ КАТОРГЕ¹

На памяти моего поколения не было такого мгновенного и ослепительного успеха книги. Это был акт высшей поэтической справедливости по отношению к миллионам погибших и к изломанным судьбам тех, кто имел удачу выжить и вернуться. Но повесть уцелела в литературе потому, что эти шестьдесят шесть журнальных страниц принадлежат не только политике. В момент, когда печаталась повесть, на Солженицына словно снизошла благодать высшей, лежащей вне заурядного человеческого размышления, художественной правды. И это сообщило повести гармонию содержания и средств выражения. Искусство выступило в одежде безыскусности. А привычная похвала «мастерству» ничего не стоит, так как само оно исчезает, растворяется в истине образов и картин.

Сжатая, как пружина, как сверхплотное вещество далёких звёзд, выверенная по точнейшему камертону, эта проза уже в момент рождения претендовала на то, чтобы стать классикой. От дебюта Солженицына ведёт свой отсчёт литература о советской каторге. Он родоначальник, он — исток. Но и в творчестве самого писателя, ныне столь объёмном и разнородном, эта маленькая повесть осталась одной из высших, если не высшей точкой его подъёма как бесстрашного художника и свободного творца.

¹ Московские новости. 1992. 15 ноября.

А. Немзер

НЕПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ГОЛОС¹

Тридцать лет назад в № 11 журнала «Новый мир» был напечатан рассказ Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Страна только что отметила 45-ю годовщину установления советской власти, многими почитавшейся властью на все времена.

То, что произносилось шёпотом, обкладывалось ватой удобных партийных оговорок, шелестело ещё редкими листами самиздата, приходило кружным путём с Запада, было произнесено ясно, бескомпромиссно и открыто. Публикация «Одного дня Ивана Денисовича» вернула словам их истинный смысл. В государстве вывернутых понятий, лгущих речей и зловещих недомолвок мир предстал миром, лагерь — лагерем, режим убийц — режимом убийц, а Россия — Россией. Из адской бездны, из ледяной тьмы, просвеченной лишь зонными фонарями, из толпы нумерованных и безымянных бушлатов выступил непредусмотренный человек. Тот, кто должен был сгинуть, рассыпаться, исчезнуть из памяти. Ибо, покуда был он жив, покуда оставалась душа его свободной, а совесть — чистой, не было (и не могло быть) окончательного, останавливающего и обесмысливающего историю торжества коммунизма над жизнью. Непредусмотренным человеком был заключённый «Щ-854», Иван Денисович Шухов. Непредусмотренным явлением — народ России, выдержавший, подобно Шухову, многолетние опыты подавления и растреления. Непредусмотренным писателем — бывший офицер, ощутивший неизбежность близящейся свободы в дни Великой войны и оплативший свой порыв лагерем, ссылкой, «раковым корпусом», бывший зэк, увидевший в своей беде и своём спасении высший смысл и осознавший, что ему поручено сказать за погибших и ослабевших, стать голосом непредусмотренного народа.

Рукопись ещё лежала в редакции «Нового мира», ещё известна была немногим интеллигентам столицы, ещё шла осторожная борьба Твардовского за публикацию, а Солженицын уже услышал главное суждение об «Одном дне...». Анна Ахматова сказала: «Это должны прочесть двести миллионов человек». Её поэзия — живое олицетворение непрерывности русской словесности — десятилетиями оставалась тайной (и не скоро ещё «Реквием» и иные стихи будут печататься на родине поэта). Ахматова, не понаслышке знавшая жуткую связь

¹ Независимая газета. 1992. 19 ноября.

тайнописания, немоты поэта, советской клеветы и молчания тех, к кому обращено (да не доходит) живое слово, пророчески чувствовала: слово услышанное не только открывает людям мир, но и даёт народу голос, сознание свободы, неотделимое от сознания ответственности за всё, что случается в отчем доме.

Как издание «Доктора Живаго» на Западе, заставившее весь мир плакать над поруганной красотой России, напомнило о единстве человечества, так прорыв солженицынского рассказа напомнил миллионам людей о том, что они живут в своей стране. Держатели власти (от надзирателей до «батьки усатого») здесь — самозванцы (оттого и лгут, оттого и насильничают). Настоящие же хозяева — Иван Денисович Шухов и написавший о нём (за него) Александр Исаевич Солженицын, а значит, и все те, кто погиб или выжил в лагерях, колхозах, на великих стройках и в забытых городишках. Свободный нрав героя, его тихое неслышимое чувство собственного достоинства, его умная человечность дали силу, свободу, неповторимую естественность голосу автора. Голос этот изменил саму общественную атмосферу, сам воздух культуры.

Читатели, пробудившиеся вместе с Шуховым от удара «молотком об рельс» и прожившие с ним «почти счастливый» день, каких «в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три», постепенно, соприкасаясь с Солженицыным и его героем, обретали внутреннюю свободу. Публикуя рассказ, писатель сделал почти неизбежным будущее возведение «дружного памятника всем замученным и убитым» — он пробудил своих соавторов по «Архипелагу...». Бирнамский лес пошёл. Люди, выросшие на книгах Солженицына, люди, знавшие, что однажды этот голос прозвучал здесь, в Отечестве, стали другими. Нам суждено думать и жить по-разному. Ошибаться, спорить, соблазняться, не всегда отдавать должное великому и верному себе писателю. Но не вытравишь из нашей духовной жизни, из нашей новейшей истории того духа, что живёт в рассказе, опубликованном тридцать лет назад: свобода существует; Россия существует; свобода России зависит от нас.

А. Молько

**ПОВЕСТЬ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ¹**

Стремительное, созидательное, хотя и во многом противоречивое углубление общественного самосознания оказывает ныне самое серьёзное влияние и на литературное образование. Уточняются, пересматриваются, а то и вовсе отвергаются многие казавшиеся неизблемыми представления, активно выдвигаются и оживлённо дискутируются новые идеи. Одна из важнейших особенностей данного процесса — включение в круг школьного изучения ярких произведений самобытных мастеров слова XX века, по разным причинам выпадавших из него ранее. В их ряду оказалась и повесть «Один день Ивана Денисовича»². Авторы новейших экспериментальных школьных программ единодушно рекомендуют названное произведение для анализа при рассмотрении историко-литературного процесса рубежа 1950–1960-х годов и творчества А.И. Солженицына³. Настоящая статья как раз и призвана помочь учителям-словесникам в решении этой достаточно сложной задачи.

В середине 1950-х годов чётко обозначилось наступление нового этапа исторического развития страны. Завершилась долгая «эпоха Сталина», и было положено начало постепенной гуманизации всей системы общественных отношений. И далеко не случайно предельно лаконичное название повести И. Эренбурга «Оттепель» (1954) стало своего рода символическим обозначением этого особого периода.

Естественно, что искусство весьма чутко отреагировало на эти реалии. Наметилась и стала набирать силу позитивная тенденция преодоления «авторитарного монологизма как нормы литературной жизни» и становления «полифонизма как основного качества художе-

¹ Изучение литературы XIX–XX веков по новой программе: Сб. науч.-метод. статей. Вып. 2. Самара, 1994. Вопросы и задания, а также список литературы в помощь учителю в публикации опущены. — *Примеч. сост.*

² Неслучайно весьма активно обсуждается вопрос о готовности школы к восприятию солженицынских книг. См., например: *Ильин Е., Муриков Г.* Уроки Солженицына: готова ли к ним школа? // Лит. Россия. 1990. 20 июня. — *Здесь и далее примеч. А. Молько.*

³ См., например: *Курдюмова Т.Ф. и др.* Программа по литературе для средней общеобразовательной школы (науч. ред. — Т.Ф. Курдюмова); *Мараницман В.Г. и др.* Программа по литературе XX века для XI класса средней школы; *Кутузов А.Г., Ладыгина М.Б., Есин А.Б.* Программа литературного образования для школ, гимназий и лицеев гуманитарного профиля // Литература в школе. 1989. № 5. С. 60, 65; 1991. № 4. С. 62, 63; 1992. № 1. С. 73.

ственного процесса»¹. Заметно обострилась социально-нравственная «чувствительность» литературы. Повесть «Один день Ивана Денисовича», впервые увидевшая свет на страницах журнала «Новый мир» в ноябре 1962 года, как раз и оказалась одним из ярких проявлений названных перемен.

Сложной, глубоко драматичной была история её создания. Само возникновение замысла, по единодушному мнению исследователей солженицынского творчества, относится к началу 1950-х годов, когда будущий писатель находился на так называемых «общих работах» в Экибастузском Особом лагере. Летом 1959 года А.И. Солженицын пишет произведение под названием «Щ-854»², а спустя два года вновь возвращается к его тексту. «Я не знал — для чего <...>, — отмечал позднее писатель, — просто взял “Щ-854” и перепечатал облегчённо, опуская наиболее резкие места и суждения. <...> Сделал зачем-то — и положил. Но положил уже открыто, не прятая. Это было очень радостное освобождённое состояние! — не ломать голову, куда прятать новозаконченную вещь, а держать её просто в столе — счастье, плохо ценимое писателями. Ведь никогда ни на ночь я не ложился, не проверив, всё ли спрятано и как вести себя, если ночью постучат»³.

Затем наступил черёд трудных и напряжённых размышлений о том, как распорядиться рукописью. И в результате А.И. Солженицын пришёл к твёрдому решению — начать борьбу за её публикацию. Немалое влияние на этот судьбоносный выбор оказала социально-политическая ситуация, сложившаяся под влиянием острой критики культа Сталина на XXII съезде КПСС, проходившем в октябре 1961 года. Обратимся вновь к воспоминаниям писателя: «Давно я не помнил такого интересного чтения, как речи на XXII съезде! В маленькой комнатке деревянного прогнившего дома, где все мои многолетние рукописи могли сгореть от одной несчастной спички, я читал, читал эти речи — и стены моего затаённого мира заколебались, как занавеси театральных кулис, и в своём свободном колебании расширялись и

¹ См.: *Казаркин А.П.* Русская советская литературная критика 60–80-х годов: Проблема самосознания литературы: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. Свердловск: Уральский гос. ун-т, 1990. С. 5.

² В это время А.И. Солженицын интенсивно работает над большим романом «В круге первом», связь которого со «Щ-854» несомненна. Более того, некоторые литературоведы вообще рассматривают названное произведение как «отросток» крупного полотна, как «сжатый», сгущённый, популярный вариант эзковской эпопеи. См.: *Нива Ж.* Солженицын: Главы из книги // Дружба народов. 1990. № 5. С. 207.

³ *Солженицын А.И.* Болдался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни // Новый мир. 1991. № 6. С. 14.

меня колебали и разрывали: да не пришёл ли долгожданный страшный радостный момент — тот миг, когда я должен высунуть макушку из-под воды?»¹

В ноябре 1961 года близкий друг А.И. Солженицына, критик и литературовед-германист Л.З. Копелев² передал рукопись редакции «Нового мира». Журнал возглавлял А.Т. Твардовский, высоко оценивший и активно поддержавший произведение дотоле совершенно неизвестного автора³. И это вполне закономерно. Ведь А.И. Солженицын «явился на готовую мечту Твардовского о художнике-свидетеле из каторжного ада, который показал бы, что для настоящего искусства нет запретных тем и правда победительна»⁴.

Да, А.И. Солженицын едва ли не первым в русской советской литературе открыто и страстно заговорил на языке искусства слова о массовых репрессиях, о суровых испытаниях, выпавших на долю миллионов людей в лагерях и ссылках. «Один день Ивана Денисовича» оказался прорывом в новый, практически ещё не тронутый к тому времени тематический пласт. Впечатление от повести усиливалось ещё и потому, что за плечами её автора стоял собственный, незаёмный жизненный опыт. Рождённые писательской фантазией ситуации и характеры привлекли внимание читателей предельной естественностью и достоверностью, они были словно выхвачены из самой действительности «скрытой камерой». А.И. Солженицын указывал: «<...> как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днём. Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там, всю историю лагерей, — а достаточно в одном дне всё собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательно-го человека с утра и до вечера. И будет всё»⁵.

¹ Там же.

² С Л.З. Копелевым писатель познакомился в тюремном научно-исследовательском институте (так называемой «шарашке»), где отбывал часть определённого приговором срока. См. об этом: *Копелев Л.* Утоли моя печали: Мемуары. М.: Слово, 1991.

³ Отмечу, что А.Т. Твардовскому и другим членам редколлегии «Нового мира» пришлось преодолеть немало трудностей, прежде чем было получено разрешение на публикацию. При этом вносились вынужденные изменения в первоначальный текст. По рекомендации Твардовского появилось и новое название, то самое, под которым повесть и вошла в художественную культуру XX века.

⁴ *Лакишин В.* Пути журнальные: Из литературной полемики 60-х годов. М.: Сов. писатель, 1990. С. 17.

⁵ Цит. по: *Паламарчук П.* Александр Солженицын: Путеводитель. М.: Столица, 1991. С. 13. (См. также с. 435 наст. изд. — *Примеч. сост.*)

Итак, вся лагерная жизнь — одним днём. В этой афористической формуле и заключается, пожалуй, ключ к пониманию и истолкованию внутреннего мира повести, насквозь пронизанного глубинными связями «со своими героями и языком»¹, реализующими не только конкретный замысел данного произведения, но и выражающими в той или иной степени взгляды художника на человека, природу, историю и Вселенную.

Обратимся вначале к пространственно-временной системе «Одного дня Ивана Денисовича», ибо субъективное пространство-время созданного писателем-творцом художественного мира во многом определяет всю его архитектуру. Главная и чрезвычайно ответственная функция пространства в повести — это его враждебное противостояние действующим лицам. При этом оно предельно ограничено и замкнуто. Замкнутость — его доминирующее качество, важнейшая характеристика, тождественная несвободе личности или даже смертельной опасности. Данное соотношение задаётся уже в самом начале произведения, в описании пробуждения центрального персонажа, заключённого № Ш-854 Ивана Денисовича Шухова. Окружающая среда отчётливо предстаёт как абсолютно враждебная герою и неодолимая сила, разрушающая блаженное забытьё: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стёкла, намерзшие в два пальца, и вскоре затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать. <...> Всегда Шухов по подъёму вставал, а сегодня не встал. Ещё с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то ломало. И ночью не утрелся. Сквозь сон чудилось — то вроде совсем заболел, то отходил маленько. Всё не хотелось, чтобы утро»². А затем следует лаконичное, но предельно выразительное и ёмкое описание интерьера лагерного барака, углубляющее и усиливающее это представление: «<...> на окне наледи намётано, и на стенах вдоль стыка с потолком по всему бараку <...> паутинка белая. Иней» (III, 6).

Из барака Иван Денисович попадает в надзирательскую — и здесь враждебность окружающего пространства подчёркивается полученным там заданием: вымыть полы. Затем — лагерная столовая: «Внутри стоял пар, как в бане, — напуски мороза от дверей и пар от баланды. Бригады сидели за столами или толкались в проходах, ждали, когда места освободятся. Прокликаясь через тесноту, от каждой бригады

¹ См.: Барлас Л.Г. Русский язык. Стилистика. М.: Просвещение, 1978. С. 129.

² Солженицын А.И. Малое собр. соч. Т. III. М.: Инком-НВ, 1991. С. 5. Далее все цитаты из повести приводятся в тексте по этому изданию с указанием тома и страниц.

работяги по два, по три носили на деревянных подносах миски с бандой и кашей и искали для них места на столах» (III, 12).

Дальнейшее движение героев — это лишь цепочка перемещений из одной клеточки герметического пространства в другую, обрывающаяся в финале там же, где и началась, — в бараке. Причём данная пространственная замкнутость как бы уравнивает и несчастных заключённых, и их безжалостных утеснителей — лагерное начальство, охрану и надзирателей, и так называемых вольнонаёмных работников. Никому в повести не дано преодолеть чётко проведённые границы. Так подчёркивается автором весь масштаб того социального зла, которое и породило лагерный мир.

Интересно, что и природа как бы деформируется под воздействием его особых закономерностей: она полностью лишена каких-либо позитивных, идеальных ценностей, в ней нет ни красоты, ни добра, ни истины. Это наглядно демонстрируют, в частности, пейзажные зарисовки, проходящие своеобразным лейтмотивом через всё произведение.

От структуры пространства неотделима организация художественного времени, устанавливающая особые связи между событиями и персонажами. Мир героев солженицынского произведения — это мир жёстких, неотвратимых закономерностей, тождественных самой логике тотального насилия над человеком, чья жизнь становится лишь ощущением неизбежности, запрограммированной этим насилием. И время выступает в качестве его специфического орудия. Отсюда — доминирование фабульного времени, которое отмечено предельно жёсткой хронологической последовательностью и дробностью. Вне зависимости, ведётся ли отсчёт повествователем или кем-то из действующих лиц, фабульное время течёт, неукоснительно повинуюсь лагерному распорядку. Отметим, что в него включается и природа: демонстративно точные указания на тот или иной момент суток неизменно соотносятся с положением Луны и Солнца, а также с другими астрономическими приметами. Достаточно вспомнить показательный диалог Шухова и Буйновского, развивающий рассматриваемый мотив (III, 43).

Этот постоянно воспроизводящийся¹ пространственно-временной круг, абсолютизирующий настоящее, предельно ограничивает и самосознание героев. Они помимо собственной воли отсекаются от Прошлого и Будущего, лишаясь тем самым полноты мировосприятия:

¹ Неслучайно А.И. Солженицын завершает произведение точным указанием на огромное количество дней, отмеренных Шухову.

«Так вот живёшь об землю рожей, и времени-то не бывает подумать: как сел? да как выйдешь?» (III, 44).

Подлинное раскрытие потенциала личности во многом зависит от её способности осмыслить своё место и самоопределиться в меняющемся мире не только в настоящем (а именно на это обречены солженицынские герои), но и в прошлом и в будущем.

А.И. Солженицын впечатляюще показывает, как социальная стихия разрушает гармонию этого трёхэлементного Времени, где, говоря словами известного американского писателя Т. Вулфа, «каждое мгновение — это плод сорока тысячелетий <...> и каждый миг — окно, распахнутое во все времена»¹. Приведу два примера.

Вот сам Иван Денисович Шухов. Автор следующим образом характеризует его поистине трагический разрыв с собственным прошлым: «И вспомнить деревню Темгенёво и избу родную ещё меньше и меньше было ему поводов... Здешняя жизнь трепала его от подъёма и до отбоя, не оставляя праздных воспоминаний» (III, 86). А что ожидает его? Авторский комментарий неутешителен: «По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что завтра, что через год да чем семью кормить. Обо всём за него начальство думает <...>. Шухову и приятно, что <...> на него все пальцем тычут: вот он-де срок кончается, — но сам он в это не больно верит. Вон, у кого в войну срок кончался, всех до особого распоряжения держали, до сорок шестого года. У кого и основного-то сроку три года было, так пять лет пересидки получилось. Закон — он выворотной. Кончится десятка — скажут, на тебе ещё одну. Или в ссылку» (III, 44).

А вот блестящий морской офицер, капитан второго ранга («кавторанг», как он постоянно именуется в тексте) Буйновский. В отличие от Ивана Денисовича, которому в лагере всё-таки помогает исконная крестьянская сноровка, Буйновский полностью лишён возможности хоть как-то опереться на свой прошлый опыт, что заметно осложняет его и без того нелёгкое положение. И в недалёком будущем героя ожидают ещё более тяжкие испытания. Ведь за отчаянную попытку отстоять справедливость в споре с лейтенантом Волковым, которого «не то что надзиратели — сам начальник лагеря, говорят, боится» (III, 22), Буйновского отправляют в страшный БУР — барак усиленного режима. Писатель отмечает: «<...> стены там каменные, пол цементный, окошка нет никакого, печку топят — только чтоб лёд со стенки стоял и на полу лужей стоял. Спать — на досках голых, если в зуботряске улежишь, хлеба в день — триста грамм, а баланда — только на третий, шестой и девятый дни.

¹ Писатели США о литературе. Т. 2. М.: Прогресс, 1982. С. 110–111.

Десять суток! Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, — это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Турберкулёз, и из больничек уже не вылезешь.

А по пятнадцать суток строгого кто отсидел — уж те в земле сырой» (III, 103).

Особое место в пространственно-временном континууме лагерного мира занимает Алёшка-баптист, сумевший вопреки строжайшим запретам сбересть «книжечку» с переписанными евангельскими текстами. Не случайно в повести настойчиво подчёркивается его отстранённость, отъединённость от повседневной обыденности. Ибо духовное общение с Евангелием означает своего рода прорыв в иное измерение, стремящееся к безграничному расширению до масштабов вечности, до охвата всего мироздания.

Как известно, литературное произведение обретает «всю свою жизненную одушевлённость и социально-историческую характерность, красочность и пластичность собственной пространственно-временной картины мира» в предметно-психологической детализации¹. Поэтому вполне понятна отмеченная многими исследователями и критиками своего рода одержимость А.И. Солженицына деталями, с помощью которых писатель убедительно раскрывает взаимосвязи человека с окружающим.

Даже незначительное, мелкое на первый взгляд обстоятельство сопровождается нередко развёрнутым комментарием. В этом плане весьма показателен уже упоминавшийся выше эпизод в надзирательской. Перед тем как приступить к мытью полов, подмечает писатель, Шухов «<...>проворно вылез из валенок, составил их в угол, скинул туда портянки <...>». Почему? Оказывается, мочить утром валенки было ни в коем случае нельзя, потому что «<...> переобуться не во что, хоть и в барак побеги. Разных порядков с обувью нагляделся Шухов за восемь лет сидки: бывало, и вовсе без валенок зиму перехаживали, бывало, и ботинок тех не видали, только лапти да ЧТЗ (из резины обутка, след автомобильный). Теперь вроде с обувью подналадилось: в октябре получил Шухов (а почему получил — с помбригадиром вместе в каптёрку увязался) ботинки дюжие, твердоносые, с простором на две тёплых портянки. С неделю ходил как именинник, всё новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели — житуха, умирать не надо. Так какой-то чёрт в бухгалтерии начальнику нашептал: валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, непо-

¹ См.: Тютя В.И. Художественность литературного произведения. Вопросы типологии. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1987. С. 81.

рядок — чтоб зэк две пары имел сразу. И пришлось Шухову выбирать: или в ботинках всю зиму навывлет, или в валенках, хошь бы и в оттепель, а ботинки отдай. Берёт, солидолом умягчал, ботинки новёхонькие, ах! — ничего так жалко не было за восемь лет, как этих ботинок. В одну кучу скинули, весной уж твои не будут. Точно как лошадей в колхоз сгоняли» (III, 10–11).

Иногда даже целую биографию А.И. Солженицын выстраивает только с помощью тщательно отобранных, предельно выразительных деталей. Именно так рисуется портрет безымянного заключённого Ю-81, прошедшего в ГУЛАГе около трёх десятков лет: «Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он ещё сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего — волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а <...> невидяще уперлись в своё. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщерблённой, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие дёсны жевали хлеб за зубы. Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что не много выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нём, не примирится: трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в роспесках, а — на тряпочку стирающую» (III, 94–95).

Многие критики и литературоведы, писавшие о повести «Один день Ивана Денисовича» в самом начале 1960-х годов, сразу после её первой публикации, и позднее, рассматривали произведение в первую очередь как обвинительный приговор преступлениям «эпохи Сталина». Такая трактовка, как представляется, вполне правомерна. И в то же время подобный подход явно упрощает социально-философскую концепцию повести. Ибо, справедливо указывает Т.Г. Винокур, писатель сумел также найти свой самобытный подход к художественному осмыслению «неброского, будничного мужества народа, который хотел жить, когда естественнее было хотеть умереть; его суровой и мудрой чистоты, внутренне всегда противостоящей незакониям разнузданной власти; его скрытой духовной силы, позволяющей человеку оставаться человеком в условиях нечеловеческих <...>»¹. Да,

¹ Винокур Т.Г. О языке и стиле повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» // Вопросы культуры речи. Вып. 6. М.: Наука, 1965. С. 21. (См. также с. 299 наст. изд. — Примеч. сост.)

не только обличительно-взыскующее начало задаёт тон у Солженицына. В фокусе авторского внимания находятся истоки и приметы нравственной стойкости и честности простых, «маленьких» людей, сумевших сохранить в себе доброту созидания вопреки жестокому воздействию социального зла, глубоко враждебного исконным народным представлениям о совести и морали. В этом плане показателен уже сам выбор А.И. Солженицыным Ивана Шухова в качестве центрального персонажа.

Иван Денисович — это своеобразное воплощение национального характера, достаточно многоликого и неоднозначного. Он предстаёт то как бескомпромиссный носитель твёрдых убеждений и моральных принципов, то как человек, гибко приспособившийся к обстоятельствам и сознательно уходящий от активного протеста, то как истовый приверженец патриархальных традиций народного жизнеустройства, то как скептик, бесстрашно оспаривающий евангельские заповеди. Но всё-таки главное, что выделяет А.И. Солженицын, — это недюжинная нравственная сила героя, позволяющая ему так или иначе преодолевать лишения и тяготы, из которых буквально соткано всё лагерное бытие. Шухов, «неразлично сливающийся с народной массой, при ближайшем рассмотрении оказывается человеком <...> прекрасным и полным необычайных возможностей»¹.

Да, хроника одного дня из жизни Ивана Денисовича Шухова — это и рассказ о трудном процессе борьбы за сохранение в сознании «массового человека» нравственных устоев, ориентированных на общегуманистические начала и в то же время соответствующих народным идеалам. Один из источников особого воздействия солженицынской прозы — в тонком умении писателя показать незримое присутствие этического абсолюта в той будничной реальности, где, на первый взгляд, ему нет места. И вместе с тем на примере шуховской судьбы А.И. Солженицын убедительно доказывает необходимость непрерывных внутренних усилий для того, чтобы этическое начало оставалось действенной нормой поведения.

Ключ к расшифровке сущностей ценности героя можно найти уже в начальном эпизоде повести. «Смысл экспозиции персонажа, — пишет Л.Я. Гинзбург, — состоит в том, чтобы сразу создать читательское отношение, установку восприятия, без которой персонаж не в состоянии выполнять свои функции. Поэтому самые первые его появления, первые сообщения о нём, упоминания чрезвычайно действенны, от-

¹ Днепров В. Черты романа XX века. М.; Л.: Сов. писатель, 1965. С. 183.

ветственны. Это индекс, направляющий, организующий дальнейшее построение»¹. Представляя читателю своего героя, приступая к его внешней и внутренней обрисовке, А.И. Солженицын особо подчёркивает:

«<...> Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Кузёмина — старый был лагерный волк, сидел к девятьсот сорок третьему году уже двенадцать лет, и своему пополнению, привезённому с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал:

— Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто поддыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать» (III, 5).

Настойчивое стремление сохранить человечность, избежать рабского подчинения беспощадным «законам тайги» как раз и определяет логику развёртывания образа Ивана Шухова.

А точкой опоры для него оказывается ремесло, доведённое до высокой степени совершенства. И потому одно из центральных мест в художественной структуре повести отведено эпизоду строительства ТЭЦ, в котором Шухов предстаёт перед читателем как искусный мастер-каменщик, всецело поглощённый созидательным преобразованием мира, самозабвенно увлечённый этим делом, находящийся в нём источник высокого вдохновения и душевной гармонии. О работе Ивана Денисовича и его 104-й бригады Солженицын повествует и с глубоким знанием её важнейших особенностей, и с неподдельным волнением. По существу, здесь мы встречаемся с поэтическим исследованием строительного ремесла.

При этом очень важно отметить, что мастерство в данном случае выступает как категория духовного порядка, очищенная от каких-либо конъюнктурно-политических наслоений. По точному определению современных исследователей, «повесть содержит едва ли не первое в русской литературе прославление именно профессионального труда, свободное от идеологических обертонов <...>. Человек должен заниматься своим делом, которое знает и любит, — не благодаря, не вопреки, а в независимости. В этом, кстати, главный пафос мемуаров писателя Солженицына “Бодался телёнок с дубом”. В этом смысл трудовых эпизодов в “Одном дне Ивана Денисовича”»².

Весьма определённо заявленный А.И. Солженицыным подход к художественному истолкованию типического народного характера в

¹ Гинзбург Л. О литературном герое. Л.: Сов. писатель, 1979. С. 18.

² Вайль П., Генис А. Поиски жанра: Александр Солженицын // Октябрь. 1990. № 6. С. 198.

чём-то предвосхитил позднейшие искания целого ряда отечественных писателей, и прежде всего представителей так называемой «деревенской» прозы. Даже беглое, конспективное, что называется, сопоставление солженицынского Шухова со многими героями произведений В.И. Белова, В.М. Шукшина, В.Г. Распутина, Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева выявляет их общность — при всём многообразии индивидуальных средств словесно-художественного воплощения. Это люди внутренне добропорядочные, по-своему правдивые, склонные к шутке и юмору, внешне непритязательные, но глубокомысленные и дальновидные. Если обратиться к языковой стихии повести, то перед нами раскроются разные социально-психологические типы, которые дополняют картину лагерного мира: московский интелlectual Цезарь Маркович и сельский паренёк Гопчик, угодивший в лагерь за то, что носил молоко в лес бандеровцам, степенный, основательный латыш Кильдигс и Дэр, бывший министерский чиновник, превратившийся в строительного десятника, и многие другие¹. Но особое место в этом ряду занимает Андрей Прокофьевич Тюрин, бригадир Шухова.

Подробный рассказ-исповедь Тюрина о своей судьбе, выполненный в нормах сказа, как бы разрывает повествовательную линию, представляющую собой строго последовательное описание работы 104-й бригады на строительстве ТЭЦ.

Драматическая история Андрея Тюрина — это история человека, попавшего в жернова насильственного переустройства общества. Череда его злоключений началась после того, как обнаружили кулацкие «корни» героя. Стрелка-пулемётчика, отличника боевой и политической подготовки Тюрина уволили из армии по безжалостному приказу командира полка с «лютой справочкой» в руках, «выпихнули из военного городка» в разгар зимы — без тёплой одежды, без денег, без продуктов, без железнодорожных документов. Так Тюрин стал изгоем, врагом народа. С огромными трудностями добрался он до отчего дома. «Отца уже угнали, мать с ребятишками ждала этапа, — вспоминает герой. — Уж была обо мне телеграмма, и сельсовет искал меня взять. Трясёмся, свет погасили и на пол легли под стенку, а то активисты по деревне ходили и в окна заглядывали» (III, 58).

¹ Обстоятельный анализ лингвистической реальности текста произведения содержится в вышеупомянутой статье Т.Г. Винокур «О языке и стиле повести А.И. Солженицына “Один день Ивана Денисовича”» и в её же статье «С Новым годом, шестьдесят вторым...» (Вопросы литературы. 1991. № 11/12. (Статья опубликована на официальном сайте А.И. Солженицына: URL: <http://solzhenitsyn.ru>). — *Примеч. сост.*).

Воссоздавая биографию Андрея Тюриня, столь типичную для периода «Большого террора», писатель выдвигает на первый план проявления деформации этического начала под чудовищным давлением жизненных реалий и в то же время свидетельствует о сохранении моральных принципов в непрекращавшемся калейдоскопе кровавых эксцессов. Не случайно Тюрин отвлекается от естественной хронологии событий своей жизни и замечает:

«...Между прочим, в тридцать восьмом на Котласской пересылке встретил я своего бывшего комвзвода, тоже ему десятку сунули. Так узнал от него: и тот комполка, и комиссар — обая расстреляны в тридцать седьмом. Там уж были они пролетарии или кулаки. Имели совесть или не имели... Перекрестился я и говорю: “Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь”» (III, 56).

Спустя несколько десятилетий тема, обозначенная рассказом Андрея Тюриня, получит развитие в повести В. Быкова «Облава», опубликованной в 1990 году. Быковский Хвёдор Ровба тоже оказался «вне закона» в ходе глобального раскрестьянивания и был выслан «под студеный Котлас» (интересная переключка с солженицынским текстом!). После нескольких неудачных попыток Хвёдор совершил всё-таки побег и возвратился в родные места, «добежал, дотянулся за три месяца невероятного пути, мук и терпенья...»¹. Но, увы, не встретил ни сострадания, ни помощи односельчан — некогда дорогих и близких людей. Более того, одним из предводителей охоты на беглеца, той самой «облавы», становится его сын Миколка. В. Быков заостряет ситуацию: если у Тюриня ещё остаются какие-то шансы на лучшую долю, то Хвёдор Ровба кончает жизнь самоубийством. «Эстетическая мысль обычно искала формулу высокой трагедии в судьбе и гибели героя, опередившего своё время, эпоху. Применимо ли это к Ровбе, смиреннейшему из смертных, терпеливцу, никогда не нарушившему ни одной из господних заповедей, не покусившемуся ни на одно из мирских установлений, ни разу не поднявшему гневного голоса? — справедливо подметил Александр Борщаговский. — Не знаю, но последние страницы повести, но страшная Боговизна, могильные бездны которой Ровба предпочёл жизни в уничтожившем его обществе, но само столкновение реального средневековья с удивительной нравственной высотой героя, его доброй и милосердной душой понуждают прочитывать финал, а значит и всю повесть как высокую, чистую <...> трагедию»².

¹ Быков В. Облава // Новый мир. 1990. № 1. С. 99.

² Борщаговский А. Жизнь и смерть Хвёдора Ровбы // Октябрь. 1990. № 4. С. 206.

Размышляя об «Одном дне Ивана Денисовича», вновь и вновь задаёшься вопросом: что же хотел сказать и сказал людям Александр Солженицын? Пожалуй, пронзительные и мудрые слова классика мировой литературы XX века У. Фолкнера могут в какой-то мере прояснить глубинный смысл повести: «Я отказываюсь принять конец человека. <...> человек не только выстоит: он победит. Он бессмертен не потому, что только он один среди живых существ обладает неизбывным голосом, но потому, что обладает душой, духом, способным к состраданию, жертвенности и терпению»¹.

А. Климов

ИВАН ДЕНИСОВИЧ И КРЕСТЬЯНСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ²

I

Солженицын довольно подробно рассказал об обстоятельствах, в которых задумывался «Один день Ивана Денисовича». Из пояснений к его тексту в Собрании сочинений мы узнаём, что мысль о написании произведения такого типа появилась у автора зимой 1950/51 года³, в то время, когда он был заключённым-разнорабочим советского Особого лагеря в Казахстане⁴. В интервью Би-Би-Си, приуроченном к двадцатилетнему юбилею публикации «Одного дня...» в 1982 году, Солженицын описывает этот момент подробнее:

«Я в 50-м году, в какой-то долгий лагерный зимний день таскал носилки с напарником и подумал: как описать всю нашу лагерную жизнь? По сути, достаточно описать один всего день в подробностях, в мельчайших подробностях, притом день самого простого

¹ Писатели США о литературе. Т. 1. М.: Прогресс, 1974. С. 299.

² Печ. по изд.: Солженицын: Мыслитель, историк, художник. Западная критика: 1974–2008: Сб. ст. М.: Русский путь, 2010 (с авторскими дополнениями).

³ Писатель сам вносит неопределённость относительно этой даты. В заявлении, сделанном в 1976 году (Телеинтервью на литературные темы с Н.А. Струве (март 1976) // *Солженицын А.И.* Публицистика: В 3 т. Т. 2. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1996. С. 424), он упоминает об этом моменте как о случившемся в 1952 году, в то время как в интервью Би-Би-Си (см. примеч. 5) он относит его к 1950-му. Следует полагать, что дата, указанная в Собрании сочинений, может считаться более достоверной. — *Здесь и далее примеч. А. Климова.*

⁴ См.: *Солженицын А.И.* Собр. соч.: В 20 т. Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1978–1991. Т. 3: Рассказы. Вермонт; Париж, 1978. С. 327.

работяги, и тут отразится вся наша жизнь. И даже не надо нагнетать каких-то ужасов, не надо, чтоб это был какой-то особенный день, а — рядовой, вот тот самый день, из которого складываются годы. Задумал я так, и этот замысел остался у меня в уме, девять лет я к нему не прикасался и только в 1959, через девять лет, сел и написал»¹.

Девять лет, о которых говорит Солженицын, были заполнены важными в его жизни событиями: освобождением из лагеря (1953), преодолением едва не ставшей смертельной болезни (1954), переездом после трёх лет ссылки в маленьком среднеазиатском ауле в европейскую часть России (1956) и последовавшей в 1957 году официальной «реабилитацией», снявшей все обвинения, по которым он был арестован в 1945-м за критические оценки Сталина.

Весной 1958 года, когда Солженицын преподавал физику и астрономию в средней школе в Рязани, каждую минуту свободного времени он посвящал своему подпольному творчеству, работая над романом «В круге первом». Тогда же он стал серьёзно обдумывать создание истории советской системы тюрем и лагерей и набросал в общих чертах предварительную схему того, что стало позже «Архипелагом ГУЛАГ». Написав начерно несколько глав этой работы, Солженицын пришёл к выводу, что из-за недостаточности собранного материала, которым он в то время располагал, её следует отложить². Отметим, что отложенный тогда проект явился уже четвёртой работой Солженицына на тему советского механизма репрессий. Иными словами, «Один день Ивана Денисовича», написанный в следующем году, следует считать частью развивающейся темы³.

Непосредственным импульсом к созданию рассказа явилась попытка Солженицына весной 1959 года изобразить жизнь школьного

¹ Радиоинтервью к 20-летию выхода «Одного дня Ивана Денисовича» для Би-Би-Си (8 июня 1982) // *Солженицын А.И.* Публицистика. Т. 3. Ярославль: Верхняя Волга, 1997. С. 21. Такого же рода заявление, сделанное по другому поводу, см.: Телеинтервью на литературные темы с Н.А. Струве (март 1976) // *Солженицын А.И.* Публицистика. Т. 2. С. 424–425.

² См.: *Солженицын А.И.* Собр. соч.: В 20 т. Вермонт; Париж, 1980. Т. 7: Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956: Опыт художественного исследования. С. 573.

³ Первое из произведений Солженицына, в котором речь идёт о лицах, арестованных по политическим мотивам, — это пьеса «Пленники» (1953). За ней следует пьеса «Республика труда» (1954), действие которой происходит в лагере. Следующий в хронологическом ряду — роман «В круге первом», существующий в нескольких редакциях начиная с 1957 года. Место действия романа — тюремный исследовательский институт. К тому же ряду можно причислить и раннюю пьесу «Пир победителей» (1951), её сюжет вращается вокруг фигуры агента СМЕРШа, рыщущего в поисках очередной жертвы.

учителя путём воспроизведения одного его дня¹. Это начинание, по-видимому, не осуществилось, и вместо него писатель взялся за произведение со столь же ограниченными временными рамками, задуманное в лагере много лет назад. Как он сформулировал это в своём вышецитированном интервью Би-Би-Си: «...только в 1959, через девять лет, сел и написал». В другом случае он эти сведения дополняет: «Сел — и как полилось! со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней. И только чтоб чего-нибудь не пропустить»².

Работа продвигалась быстро и заняла всего сорок дней³. Первоначально Солженицын дал рассказу название «Щ-854 (Один день одного зэка)», где буква и цифры обозначают лагерный номер заключённого. Центральную фигуру своего произведения писатель описывал так: «Образ Ивана Денисовича сложился из солдата Шухова, воевавшего с автором в советско-германскую войну (и никогда не сидевшего), общего опыта пленников и личного опыта автора в Особом лагере каменщиком»⁴.

Реальный Шухов служил в артиллерийской звуковой разведке под командованием Солженицына. Как указывал писатель, он не находился в особо дружеских отношениях с этим простым солдатом⁵. Тем

¹ См.: *Reshetovskaya N.A. Sanya: My life with Aleksandr Solzhenitsyn / Transl. E. Ivanoff. N.Y.: Bobbs-Merrill, 1975. P. 211; рос. изд.: Решетовская Н. В споре со временем. [М.]: АПН, 1975. С. 154.* Хотя к воспоминаниям первой жены Солженицына следует относиться с осторожностью, причин сомневаться в достоверности этой подробности, по-видимому, нет. См. также свидетельство об этом замысле в дневнике А.И. Солженицына, запись от 31 октября 1976 г.: «О, своевременность каждой вещи в возрасте писателя и в его жизненных обстоятельствах! Не написал любовных рассказов в юности — уже и не напишешь. <...> “Раковый” — уже был упускаем (как и не осуществлённый “Один день учителя”, многие рассказы) <...>» (Три отрывка из «Дневника Р-17» // Между двумя юбилеями (1998–2003): Писатели, критики и литературоведы о творчестве А.И. Солженицына: Альманах / Сост. Н.А. Струве, В.А. Москвин. М.: Русский путь, 2005. С. 28).

² *Солженицын А.И. Публицистика. Т. 2. С. 424.*

³ См.: *Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. С. 21.* Решетовская пишет, что начало и окончание работы приходится на 18 мая и 11 октября 1959 года, летние месяцы между этими числами были отведены другим занятиям (см.: *Решетовская Н. Указ. соч. С. 154–155*). «Один день Ивана Денисовича» был написан в период с 18 мая по 30 июня 1959-го (см.: Радиоинтервью к 20-летию выхода «Одного дня Ивана Денисовича» для Би-Би-Си (8 июня 1982) // *Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. С. 21.* Летом этого года А.И. Солженицын работал над рассказом «Матрёнин двор», который был закончен в декабре (см.: *Рассказы и крохотки // Солженицын А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2006. Т. 1. С. 594*). Сценарий «Знают истину танки» написан осенью 1959 г. (см.: *Солженицын А.И. Собр. соч.: В 20 т. Вермонт; Париж, 1980. Т. 8: Пьесы и киносценарии. С. 593*).

⁴ *Солженицын А.И. Собр. соч.: В 20 т. Т. 3. С. 327.*

⁵ См.: *Солженицын А.И. Публицистика. Т. 2. С. 427.*

более интересен его рассказ о таинственном творческом процессе, в результате которого черты человека, знакомого ему лишь поверхностно, отошли к главному герою «Одного дня...».

«<...> Когда я пришёл к мысли написать день одного зэка, ясно было, что это должен быть наиболее такой рядовой член армии ГУЛАГа. <...> кого же брать? Много бывало заключённых вокруг меня, я мог вспомнить многие десятки людей, которых я хорошо очень знал, и сотни. Вдруг, почему-то, стал тип Ивана Денисовича складываться неожиданным образом. Начиная с фамилии — Шухов, — влезла в меня без всякого выбора, я не выбирал её, а это была фамилия одного моего солдата в батарее, во время войны. Потом вместе с этой фамилией его лицо, и немножко его реальности, из какой он местности, каким языком он говорил. Вдруг, почему-то, вот этот рядовой солдат батареи советско-германской войны вдруг стал идти в повесть, хотя он не был заключённым.

<...>

И вдруг он сюда полез сам <...>»¹.

Эта фигура затем приобрела дополнительные биографические подробности и личностные черты, перенесённые Солженицыным на него от соллагерников; автор также наделил её своими собственными чувствами и представлениями. Другие персонажи «Одного дня...» менее «составны» по своей природе и непосредственнее связаны со своими прототипами. Все они, как сообщается в пояснениях, взяты «из лагерной жизни, с их подлинными биографиями»². В самом деле, из различных источников нам известно, что образ капитана Буйновского во многом срисован с соллагерника Солженицына, Бориса Бурковского, что Тюрин, крепкий бригадир Шухова, наделён опытом Николая Х-ва, о котором автор пишет в «Архипелаге ГУЛАГ», а Цезарь Маркович смоделирован по образу и подобию кинорежиссёра Льва Гроссмана; Алёшка-баптист и Сенька Клевшин оба тоже могут быть соотнесены с реально существовавшими лицами³.

Использование реальных прототипов — приём, широко применявшийся в русской литературе XIX столетия. В противоположность

¹ *Солженицын А.И.* Публицистика. Т. 2. С. 426–427.

² *Солженицын А.И.* Собр. соч.: В 20 т. Т. 3. С. 327.

³ О Буйновском см.: *Current digest of the Soviet press.* Columbus, OH, 1964. Vol. 16. № 3. 12 Febr. P. 12–13; *Solzhenitsyn A.I. The Gulag Archipelago: 1918–1956: An experiment in literary investigation.* [Vol. 1–3] / Transl. by Th.P. Whitney (Parts I–IV) and H. Willetts (Parts V–VII). N.Y.: Harper & Row, 1974–1978. [Vol. 3.] P. 54, 76. О Тюрине см.: *Ibid.* [Vol. 3.] P. 365. Прототип Алёшки упоминается в том же номере «*Current digest of the Soviet press.*». Связь образа Цезаря Марковича с фигурой Льва Гроссмана отмечена В. Лакшиным в кн.: *Лакшин В.* «Новый мир» во времена Хрущёва: Дневник и попутное (1953–1964). М.: Книжная палата, 1991. С. 191. О Сеньке см.: *Панин Д.М.* Лубянка—Экибастуз: Лагерные записки. М.: Обновление, РИК «Милосердие», 1990. С. 507–508.

западной традиции проведения резкого разграничения между вымыслом и действительностью великие русские прозаики гордились тем, что их произведения отражают исторические, социальные и моральные проблемы и реалии их родины. В России литература оценивалась не мерой способности писателя создавать при помощи своего мощного воображения живой и красочный мир *ex nihilo*¹, а скорее мерой его таланта к отбору, переиначиванию и упорядочению элементов действительности, приводящим к пересозданию её в художественно совершенной форме².

Солженицын открыто заявлял о своей приверженности этой традиции. Когда интервьюер заметил, что читатели воспринимают «Один день...» в основном как автобиографическое произведение, он ответил следующими словами: «Ничего не поделатъ, я действительно не вижу перед собой задачи выше, чем служить реальности, то есть воссоздавать растоптанную, уничтоженную, оболганную у нас реальность, а вымысел я не считаю своей задачей или целью. Я вовсе не хочу никогда блеснуть вымыслом, но просто вымысел есть для художника средство концентрации действительности»³.

Намерения автора изложены здесь с абсолютной ясностью: «Один день Ивана Денисовича» — это произведение, преследующее в равной степени познавательную, этическую и эстетическую цели и достигающее их способом, совершенно свободным от сознательных усилий, направленных на достижение художественного совершенства. В самом деле, здесь уместно было бы вспомнить, что жанр «Архипелага ГУЛАГ», своей монументальной работы о системе советских тюрем и лагерей, Солженицын определил как «Опыт художественного исследования» — смело объявив тем самым искусство литературы методом поиска познавательной цели. И хотя «Один день...» очевидно гораздо более скромно по своим масштабам, основной подход в нём очень схож с уже упомянутым и построен всецело на основе воссоздания средствами памяти полнокровного художественного образа столь долго скрываемой от общества действительности⁴.

¹ Из ничего (*лат.*). — *Примеч. перев.*

² Более подробный разбор см.: *Klimoff A. In defense of the word: Lydia Chukovskaya and the Russian tradition: Introduction // Chukovskaya L. The deserted house / Transl. A.B. Werth. Belmont, Mass.: Nordland, 1978. P. I–XLIV.*

³ *Солженицын А.И. Публицистика. Т. 2. С. 426.*

⁴ Надежда Мандельштам утверждала, что ни одно другое произведение, включая работы Шаламова, не доносило до неё реальность лагеря настолько осязаемо, как «Один день...». См.: *Мандельштам Н.Я. Вторая книга: Воспоминания / Подгот. текста, предисл., примеч. М.К. Поливанова. М.: Моск. рабочий, 1990. С. 495.*

«Один день...» весь переполнен информацией о жестоком мире советских лагерей подневольного труда, который от обычного человеческого опыта большинства современных читателей столь далёк, что требует некоторого исторического комментария.

Временные рамки известны точно. Действие рассказа происходит в начале 1951 года¹; Сталин, называемый «батькой усатым» (101), ещё у власти; в Корее идёт война (100). Место действия — так называемый Особый лагерь, расположенный где-то в Средней Азии. Хотя различные типы концентрационных лагерей существовали с самого начала советской власти, Особые лагеря были учреждены Сталиным только в 1948 году с целью отделения политических заключённых от якобы гораздо менее опасных обычных уголовников². В Особых лагерях вводились так настойчиво упоминающиеся в тексте нашивки с номерами и ещё некоторые правила, в число которых входили жёсткое ограничение числа писем, которые разрешалось писать (по два в год (35)), и отсутствие даже символического вознаграждения за принудительный труд, полагавшегося в большей части «обычных» лагерей (99).

Однако заключение в Особых лагерях имело одно парадоксальное преимущество. Поскольку все заключённые, содержащиеся в них, автоматически считались классовыми врагами — в отличие от обычных преступников, к которым режим относился как к «социально-близким»³, — лагерное начальство, по-видимому, не прилагало особых усилий для искоренения «антисоветских» разговоров, которые в лагерях других типов приводили к применению самых жестоких мер (101). Хотя лагерный офицер безопасности по-прежнему полагался на осведомителей среди заключённых — в бригаде Шухова «стукачом» считался человек по фамилии Пантелеев (29), — тем не менее, как мы узнаём из рассказа, в этом же лагере были убиты несколько доносчиков (100)⁴ и заключённые вели между собой достаточно вольные разговоры (53, 71). Мы становимся свидетелями того, как Тюрин открыто рассказывает солагерникам чудовищную историю репрессий, которые режим обрушил на него и его семью (62–65), как другие зэки оскорбительно высказываются о Сталине (101) и как они открыто спорят о войне в Корее (100).

¹ См.: Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича // Собр. соч.: В 30 т. М., 2006. Т. 1: Рассказы и крохотки. С. 35. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках страниц.

² См.: Солженицын А.И. Собр. соч.: В 20 т. Т. 7. С. 36.

³ См. там же. С. 394. Этот термин применялся при марксистско-ленинском классовом анализе.

⁴ Упоминания об убийстве осведомителей были изъяты из рукописи, предложенной Солженицыным «Новому миру»; они были вновь вставлены в последующих изданиях рассказа, вышедших на Западе в 1973 и 1978 годах.

В рассказе приводятся некоторые обвинения, из-за которых попали в лагерь многие заключённые; о большинстве других, неупомянутых, нам тоже догадаться нетрудно. Шухов во время войны ненадолго попал в плен к немцам, после чего его немедленно объявили немецким шпионом (51–52); той же самой параноидальной логикой объясняется десятилетний срок, отмеренный попавшему в плен Ермолаеву (96). Сеньку Клевшина и капитана Буйновского осудили за шпионаж всего лишь по причине контакта с иностранцами: Сеньку освободили из немецкого концлагеря американские военные, и он провёл среди них два дня, а капитан некоторое время находился в качестве офицера связи на одном британском военном судне. Этого оказалось достаточно, чтобы обвинить обоих в шпионаже и дать им по 25 лет (83). В лагере сидит так много псевдошпионов, что единственного настоящего все считают курьёзом (80).

К 1951 году Тюрин отсидел девятнадцать лет только за то, что его посчитали членом семьи кулака, то есть крестьянина, который выступил — или подозревали, что выступил, — против политики насильственной коллективизации в сельском хозяйстве, начатой в 1929 году и проводившейся в начале 1930-х с невообразимой жестокостью. Алёшку и других баптистов посадили на двадцать пять лет за одну их веру (38).

Однако среди осуждённых есть разные. Так, например, Павло, помощник начальника сто четвёртой бригады, был членом радикальной украинской националистической организации, возглавляемой Степаном Бандерой; в течение нескольких лет после Второй мировой войны бандеровцы проводили партизанские вылазки против советских военных частей на Украине (65). В этом отношении Павло и ещё несколько бандеровцев (21) вместе с так и не названным по имени настоящим шпионом образуют крошечную группу заключённых, осуждённых за настоящие враждебные действия против советского режима. Но никакой разницы между настоящими и воображаемыми врагами режим не проводил, и гротескная непропорциональность его карательной системы подчёркивается тем фактом, что украинский подросток Гопчик был приговорён к тому же самому двадцатипятилетнему сроку, что и настоящие боевики, в то время как на самом деле мальчишка только приносил им в их лесное убежище молоко (48).

Ещё одна выделяющаяся среди других группа заключённых, обвинения против которых не упоминаются, но подразумеваются из контекста, — это эстонцы и латыши, десятки тысяч которых были арестованы при акциях подавления «буржуазного национализма»,

направленных против лиц, связанных с досоветскими прибалтийскими режимами, или просто против людей, подозревавшихся в тайных надеждах на восстановление национальной независимости¹. Кинорежиссёр Цезарь Маркович был, по всей видимости, жертвой преследований «безродных космополитов» (клишированное определение русско-еврейской интеллигенции), чистки её проводились в Советском Союзе в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Нам даётся также короткая, но запоминающаяся зарисовка заключённого под номером Ю-81, человека с несломленным духом, о котором только известно, что «он по лагерям да по тюрьмам сидит несчётно, сколько советская власть стоит <...>» (98–99), — возможно, его посадили в лагерь только из-за нежелания скрывать презрение к режиму и его системе.

Выведа в своём рассказе галерею заключённых самых несходных типов, в подавляющем большинстве своём приговорённых к суровым срокам за несуществующие преступления, и наделил их историями жизни, составленными на основе биографий реальных людей, Солженицын нарисовал впечатляющую картину, которая шокировала описаниями монолитной несправедливости, но в то же время отражала действительность, до того огромным числом советских читателей на сознательном уровне не воспринимавшуюся. В 1962 году СССР был страной, десятки миллионов граждан которой либо сами сидели в лагерях, либо имели родственников или друзей, туда попавших (и, возможно, оттуда не вернувшихся). Тем не менее о существовании этих учреждений в произведениях, предназначенных для публикации или сцены, либо не упоминалось, либо упоминалось только самым косвенным или лживым образом. Обратившись к табуированной теме прямо и при этом ещё воплотив её средствами богатого и подчас приземлённого языка, находившегося в головокружительном контрасте со стандартными лингвистическими нормами того дня, «Один день...» не мог не вызвать со стороны читателей поистине обвальную реакцию. Без преувеличения можно сказать, что своим неопровержимым утверждением реалий действительной жизни «Один день...» послужил для общества некой «социальной терапией» (по выражению Дональда Фангера²) и в этом смысле освобождал читателей от удушливых ограничений и словесных уловок, характерных для официальной советской литературы в течение десятилетий. Действительно, многочисленные ком-

¹ Исключением среди них был эстонский солагерник Шухова, которого арестовали как иностранного шпиона, когда он, наивно поверив советским обещаниям, вернулся из Швеции в Эстонию.

² См.: *Fanger D. Solzhenitsyn: Art and foreign matter // Aleksandr Solzhenitsyn: Critical essays and documentary materials / Ed. J.B. Dunlop, R. Haugh, and A. Klimoff. 2nd ed. N.Y.: Collier books; L.: Collier Macmillan, 1975. P. 162.*

ментаторы, бывшие свидетелями появления в 1962 году «Одного дня...», подтверждают, что глубина общественной реакции на него была просто беспрецедентна и несопоставима с реакцией на любое другое литературное событие до этого или после¹. Свидетельством чувств, которые вызвала в обществе эта публикация, а также высокого мастерства писателя явился уже тот факт, что усложнённая литературная структура рассказа, по-видимому, так и осталась многими не осознанной, ибо они воспринимали его как своего рода свидетельство очевидца. Живой пример такого прочтения приводит российский политический деятель Григорий Явлинский, который вспоминает решительную оценку «Одного дня...» своим отцом как один из памятных моментов своей жизни: «Когда он [отец] пришёл, [я] подошёл к нему и спросил: “Что это такое?” Он мне сказал: “Это — правда!”»²

Слова старшего Явлинского, явно сказанные в похвалу Солженицыну наверняка не понравились бы. Традиция русской литературы, к которой принадлежит он, не одобряет взгляда на литературу как на самодовлеющее или же всего только декоративное действо, никак с поисками истины не соотнесённое. Она предполагает, что писатель, свидетель мук и несчастий своего общества, не должен растрачивать данный ему Богом талант на праздные выдумки. В то же время писатель должен оставаться верным принципам литературы как искусства и избегать чисто утилитаристских или пропагандистских задач. Идеалом русской литературы считается слияние высокой и серьёзной темы с соответствующей эстетической структурой.

«Один день Ивана Денисовича» служит подтверждением того, что эта цель достижима. Как указывает писатель в выше уже цитированных утверждениях, его желание описать мир лагеря с самого начала столкнулось с проблемой поиска подходящей повествовательной формы. Он решил взять за основу подробный рассказ о событиях одного-единственного дня. Что ещё более важно, он захотел представить лагерный опыт в основном, хотя и не полностью, пропустив его через сознание и язык необразованного заключённого-крестьянина, но в

¹ См.: Орлова Р. Воспоминания о непрошедшем времени. М.: Слово, 1993. С. 221; Альтиуллер М., Дрыжакова Е. Путь отречения: Русская литература 1953–1968. Tenaflu, N.Y.: Ermitazh, 1985. С. 158. Хорошо описывает атмосферу следующая подробность. Великий поэт Анна Ахматова, прочитавшая «Один день...» в рукописи, отложила свой отъезд домой в Ленинград потому, что ей захотелось увидеть вещь напечатанной. Она заявила, что не уедет из Москвы, «пока не подержит ноябрьскую книжку “Нового мира” в руках» (см.: Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Время, 2007. Т. 2: 1952–1962. С. 579).

² Россия после выборов: Беседа с Г. Явлинским // Русская мысль. Париж, 1996. 1–7 августа (прилож.).

то же время форму изложения от третьего лица сохранить. Такой род повествования передаётся немецким литературным термином *erlebte Rede*; Доррит Кон даёт ему английский эквивалент *narrated monologue*¹ и предлагает его следующее описательное определение: «передача мысли героя посредством его идиоматической речи при сохранении субъектности повествования от третьего лица и основного грамматического времени»². Такой метод разделяет с повествованием от первого лица способность передачи подчёркнуто субъективного взгляда на мир в неопосредованной манере с автоматически следующей из него самохарактеристикой, но в то же время делает решительный шаг к передаче субъективной точки зрения в грамматической форме, обычно ассоциирующейся с объективным повествованием. В теории это позволяет писателю легко перемещаться между индивидуальной перспективой какого-нибудь персонажа и более бесстрастным языком основного повествователя, каждый раз о таком перемещении формально не объявляя. Хотя в «Одном дне Ивана Денисовича» выявление такого основного повествователя, никак не связанного с Иваном Шуховым, всё же проблематично, поскольку нейтральные описательные отрывки передаются теми же самыми лексическими средствами, что и субъективные утверждения, недвусмысленно связанные с Шуховым. Это можно показать на материале почти каждой страницы текста.

«Взял [Шухов] с собой для лёду топорик и метёлку, а для кладки — молоточек каменотёсный, рейку, шнурок, отвес.

Кильдигс румяный посмотрел на Шухова, скривился — мол, чего поперёк бригадира выпрыгнул? Да ведь Кильдигсу не думать, из чего бригаду кормить: ему, лысому, хоть на двести грамм хлеба и помене — он с посылками проживёт» (65).

Хотя первое предложение в этом отрывке по сути описательное и не отличается оценочным тоном непосредственно следующих за ним фраз, оно содержит бросающуюся в глаза грамматическую неправильность (*для лёду* вместо *для льда*) и лексическую инверсию (*молоточек каменотёсный*), характерные для народного говора. И хотя на основе таких отрывков можно всё-таки утверждать, что открыто субъективное повествование Шухова (как в «ему, лысому» и т.д.) перемежается с голосом отличным от него, более нейтрального повествователя, язык кото-

¹ Букв. пересказанный монолог (англ.). — Примеч. перев.

² *Cohn D. Transparent minds: Narrative modes for presenting consciousness in fiction.* Princeton, N.J.: Princeton univ. press, 1978. P. 100. Другие критики предлагали иную терминологию: *indirect interior monologue* (букв. косвенный внутренний монолог) и *represented discourse* (букв. описанный дискурс). Русский эквивалент немецкого *erlebte Rede* звучит как «несобственно-прямая речь» или «косвенно-прямая речь».

рого всё же разделяет характерные лингвистические черты языка Шухова, проведение различий между этими голосами ничего не добавляет к тексту как к целому¹. Самая главная его черта — «Один день...» является практически непрерывным комментированием лагерного опыта с точки зрения, которую в целом можно определить как крестьянскую. В этом смысле индивидуальный голос Шухова является всего лишь особо выразительной формой господствующей в тексте модальности.

Прежде чем разобрать важность для всего текста этой точки зрения, отметим, что Солженицын выделил отточием три описательных отрывка, которые уходят от всего, что Шухов (или же обобщённый крестьянин-повествователь) мог в лагере видеть или слышать. Соответственно каждый из этих трёх отрывков выдержан в стандартном, «образованном» литературном стиле, резко отличающемся от идиоматического языка, которым написан рассказ в целом. В первом таком отрывке говорится о медицинском санитаре, занятом написанием стихов, работой «для Шухова непостижимой» (26), во втором даётся краткий экскурс в сознание Цезаря в то время, когда тот курит, «чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то» (30), и в третьем позволяет нам заглянуть в психологическое состояние Буйновского в тот момент, когда он начинает превращаться «из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного зэка» (58–59)².

Кроме этих трёх случаев, в тексте «Одного дня...» нет никаких формальных обозначений, которые бы выделяли разные повествовательные голоса, и за вербализациями размышлений Шухова следуют без всяких видимых швов высказанные в его присутствии суждения других персонажей, даже когда предмет разговора ему непонятен, как в случае, когда он молча слушает «образованный разговор» Цезаря с Х-123 об Эйзенштейне (60). Типографскими средствами, таким образом, выделены только те части рассказа, в которых Шухов (и представляемое им обобщённое крестьянское мировосприятие) не может считаться ни свидетелем, ни комментатором³.

¹ Владимир Дж. Рус признаёт, что эти два голоса «сливаются». См.: *Rus V.J.* «One day in the life of Ivan Denisovich»: A point of view analysis // *Canadian Slavonic papers*. Edmonton, Alberta, 1971. Vol. 13. № 2/3. P. 165–178.

² Писатель вставил также отточие перед рассказом Тюрина (62), но в данном случае оно просто означает, что Шухов не слышал его с самого начала.

³ В «Одном дне...» есть ещё один короткий абзац такого рода, относящийся к Буйновскому (начинается со слов «Виноватая улыбка...»). Абзац выделен отточием в оригинальной версии «Нового мира» (см.: *Новый мир*. 1962. № 11. С. 38), которое опущено в Собрании сочинений (см.: *Солженицын А.И.* Собр. соч.: В 20 т. Т. 3. С. 57) предположительно потому, что непосредственно из него следует пассаж, который может быть приписан Шухову.

В критической литературе, посвящённой интерпретации «Одного дня...», значение крестьянской точки зрения рассматривалось уже не раз. Некоторые из комментаторов утверждают, что, столь сильно опираясь на неё, Солженицын тем самым накладывает на текст нежелательные ограничения, поскольку интеллектуальная узость Шухова не позволяет ему понять, не говоря уже о том, чтобы выразить, внутренний смысл всего, что он в лагере видит¹. Таким критикам можно было бы возразить, что, показывая сталинский лагерь через заведомо зауженный фокус сознания Шухова, писатель сталкивает нас со своим материалом прямо, лишая возможности бегства в интеллектуальные обобщения². В частности, добавил бы я, такой способ подачи материала исключает прочтение «Одного дня...» как произведения о бессмысленности жизни в целом — в конечном итоге слишком легковесный для конкретных ужасов XX века ответ. Крестьянская натура Шухова его исключает, поскольку в основе её лежит крепкий и трезвый подход к действительности, подтверждающийся в тексте его зоркими наблюдениями и разумными комментариями. Так, например, Шухов признаёт *способность* власти подавлять всякое открытое сопротивление (42), и, поскольку гордому сопротивлению он предпочитает выживание (54), он подчиняется навязанным ему извне правилам. Тем не менее ничего сверх этого Шухов системе, чью жестокость и вопиющую ложь он осознаёт полностью, не уступает. Лагерь, каким он видит его, — это место организованной злобы и сознательно насаждаемого извращения настоящей жизни, а не непостижимое для человека следствие беспорядочности хаоса³.

Своё здоровое чувство моральной ориентации Шухов проявляет по-разному. Хотя задачей каждого своего дня он ставит выживание, он всё же просит жену не посылать ему передач с едой, потому что понимает: в таком случае семье пришлось бы жертвовать слишком многим (90). В отношениях с сокамерниками он неизменно честен, ответственно от-

¹ Виктор Эрлих, по-видимому, первым из западных критиков сформулировал эту точку зрения. См.: *Erllich V. Post-Stalin trends in Russian literature // Slavic review. Seattle, WA, 1964. (Sept.). Vol. 23. № 3. P. 410.* Это утверждение было подхвачено многими западными критиками.

² Суждение, высказанное Максом Хэйвордом в ответ на замечания Виктора Эрлиха. См.: *Hayward M. Solzhenitsyn's place in contemporary Soviet literature // Ibid. P. 435–436.* Соображения Солженицына по этому поводу приведены в книге Скэммела (см.: *Scammell M. Solzhenitsyn: A biography. N.Y.: Norton, 1981. P. 425–426.*)

³ Подобное чувство реальности свойственно и автору рассказа. См. об этом пронизательные замечания Джозефа Франка в его статье «От Гоголя до ГУЛАГа» («From Gogol to the Gulag») в кн.: *Frank J. Through the Russian prism: Essays on literature and culture. Princeton, N.J.: Princeton univ. press, 1990. P. 105.*

носится к своей работе и даже в унижительных обстоятельствах лагерной жизни умудряется сохранять человеческое достоинство.

В противоположность ему поведение интеллектуалов из его рабочей бригады, капитана Буйновского и Цезаря Марковича, показывает, что они во многом действительности лагерного мира не понимают. Так, например, заносчивый Буйновский, ставящий себя несопоставимо выше Шухова по развитию (77), ещё не ощутил всем своим существом несправедливость и коррупцию, которые окружают его со всех сторон, и в своём протесте против проводимого утром обыска, похоже, искренне убеждён, что «настоящие советские люди» уже по определению должны быть честными и лагерное начальство просто не знает Уголовного кодекса (32). Шухов про себя возражает ему: «Знают. Это ты, брат, ещё не знаешь». Позже Буйновский, по-видимому, с той же наивной искренностью, заявляет, что он лучшего мнения о советских законах (83), вызывая у Шухова только усмешку.

Критическое отношение Шухова к Цезарю Марковичу выражено менее прямо. Цезарю, благодаря посылкам, которыми он подкупает лагерное начальство, удаётся, в отличие от других членов его рабочей бригады, избегать физического труда, и он, по-видимому, наивно не осознаёт той меры моральной невосприимчивости, которую обнаруживает в своих эстетических рассуждениях. Особенно странно слышать, как он, заключённый сталинского полицейского государства, сидящий в лагере вместе с другими невинными жертвами беспорядочных репрессий, восторгается кинематографическим проходом, в котором Эйзенштейн эстетизирует институт опричнины, частную армию убийц, которую содержал Иван Грозный (60)¹. Шухов выступает во время панегирика Эйзенштейну всего лишь в качестве молчаливого и, предположительно, ничего в искусстве не смыслящего слушателя. Тем не менее построение самой этой сцены подчёркивает эгоцентризм Цезаря. Цезарь тянется за миской с кашей, которую не без труда припас для него Шухов, даже не замечая присутствия последнего. Для него «<...> будто каша сама приехала по воздуху<...>» (61)².

¹ Эта точка зрения опровергается Леоной Токер. См.: *Toker L. On some aspects of the narrative method in «One day in the life of Ivan Denisovich» // Russian philology & history: In honor of professor Victor Levin / Hebrew univ. of Jerusalem; Department of Russian and Slavic studies; Center for the study of Slavic languages and literature / Ed. W. Moskovich. Jerusalem: Praedicta, 1992. P. 277.* (См. также статью Л. Токер «Некоторые особенности повествовательного метода в «Одном дне Ивана Денисовича»» в переводе на русский язык на с. 488–498 наст. изд. — *Примеч. сост.*)

² Читатели заметят сходство этой сцены с толстовским изображением поведения Наполеона в Тильзите (см.: *Война и мир. Т. 2, ч. 2, гл. 21*).

Кроме Буйновского и Цезаря единственный другой образованный человек, с которым в течение дня общается Шухов, — фельдшер санчасти Вдовушкин. Бывший студент с мягкими манерами, изучавший ранее литературу, Вдовушкин лишь в малой степени наделён властью, позволяющей ему освобождать больных заключённых от работы. Он показан автором настолько поглощённым своим поэтическим творчеством, что его совет Шухову идти, как обычно, на работу, в общем-то в данных обстоятельствах разумный, тем не менее содержит явную нотку безразличия. Именно этот нюанс заставляет Шухова рывком подняться с места и выйти за дверь, даже на прощание Вдовушкину не кивнув (26). Мораль эпизода прямо выражена словами, следующими за выходом Шухова из санчасти: «Тёплый зяблого разве когда поймёт?» (там же). Краткий и отчётливо нелитературный стиль этой русской фразы афористичен и энергичен и служит особенно живым примером свойственного Шухову чувства реальности и крестьянского менталитета, который он представляет. Он также превосходно объясняет высказывание Твардовского, редактора «Нового мира», сделанное им во время его первой встречи с Солженицыным. «Один день...», как тогда заявил Твардовский, — это новое слово в русской литературе именно потому, что интеллигенция показана в нём глазами народа, а не традиционно, наоборот¹.

Солженицын утверждал, что именно эта особенность рассказа сыграла решающую, хотя и неожиданную роль в разрешении на его публикацию. В самом деле, мы знаем, что экземпляр рукописи «Одного дня...» привлёк внимание Твардовского в немалой степени из-за тактически верного, оброненного в его присутствии замечания о том, что это произведение — «лагерь глазами мужика, очень народная вещь»². Твардовский, как и расторопный Никита Хрущёв, был крестьянского происхождения, и Солженицын считает, что на решение Хрущёва разрешить публикацию «Одного дня...» в ведущем литературном журнале Советского Союза, чего так настойчиво добивался Твардовский, прямо повлияла инстинктивно-положительная реакция обоих на крестьянский взгляд на вещи, свойственный Шухову. Как пишет об этом Солженицын: «Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу

¹ См.: Scammell M. Op. cit. P. 416; Вече (М.). 1972. № 5. С. 87–88. См. также: Решетовская Н.А. Солженицын и читающая Россия. М., 1990. С. 54.

² Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996. С. 25. Этот эпизод подтверждает Виктор Некрасов, слышавший о нём непосредственно от Твардовского. См.: Некрасов В. Исаичу... // Континент. 1978. № 18 (4). [Спец. прилож.]

не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв»¹.

Солженицын потом предположил, что этим же объясняется и факт, что в течение нескольких месяцев 1962 года, когда рассказ, ожидая своей публикации в «Новом мире», распространялся в машинописных копиях, он так и не появился на Западе: «<...> он был слишком крестьянским, слишком русским, и оттого как бы зашифрован. Западные корреспонденты, может, и читали его в тот год, но не сочли перспективным к западному уху»².

Тем не менее никакого особого усилия, для того чтобы понять точку зрения Шухова, на наш взгляд, не требуется. Создавая своё произведение, Солженицын очевидно опирался на русскую традицию XIX века, взывавшую к «простому народу» как к носителю моральных ценностей³.

Собственное отношение Солженицына к этой традиции амбивалентно. В романе «В круге первом» анализу эволюции взглядов на неё Глеба Нержина, главного героя, отведена целая глава⁴. Пытаясь уяснить для себя народническую идею, которая в России XIX века стала почти навязчивой, Нержин знакомится с крестьянином, дворником Спиридоном, и пытается понять мотивацию его поведения. Как и ожидалось, он приходит к выводу, что Спиридон — отнюдь не фонтан мудрости, способный служить руководством к познанию сложного современного мира. Тем не менее в стойкой преданности дворника своей семье и в его поведенческой доморощенной морали многое Нержин находит достойным восхищения.

¹ Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом. С. 25. Конечно, Солженицын сознавал, что Хрущёв собирается использовать его рассказ как орудие в борьбе за контроль над партией. Он высказывает эту точку зрения в своём интервью Би-Би-Си (см.: Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. С. 22). Интересно отметить, что в своих мемуарах, которые Хрущёв надиктовал после смещения с должности, бывший первый секретарь этот аспект публикации «Одного дня...» затушёвывал, подчёркивая свои гуманные намерения (см.: Khrushchev remembers: The glasnost tapes / Transl. and ed. J.L. Schecter and V.V. Luchkov. Boston: Little, Brown & Co, 1990. P. 196–199).

² Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом. С. 477. О распространении рассказа в рукописи см. там же. С. 36.

³ Типичные примеры изображения русского крестьянина как носителя моральных ценностей — это толстовские образы Плагона Каратаева в «Воине и мире» и слуги Герасима в «Смерти Ивана Ильича». Отличный обзор этой традиции дан в работе Каги А. Фрайерсон (см.: Frierson C.A. Peasant icons: Representations of rural people in late nineteenth-century Russia. N.Y.: Oxford univ. press, 1993). Подозрительное сходство Шухова с Каратаевым стало основой для осуждения «Одного дня...» советской критикой. Это же сходство ставится под сомнение в работах Кристофера Муди и Марии Шнеерсон (см.: Moody C. Solzhenitsyn. N.Y.: Barnes & Noble, 1973. P. 40; Шнеерсон М. Александр Солженицын: Очерки творчества. Frankfurt a/M: Посев, 1984. С. 113–117. (См. также с. 392–406 наст. изд. — Примеч. сост.)

⁴ Глава имеет ироническое название «Хождение в народ».

Гораздо более значительная вариация на эту же тему представлена в рассказе «Матрёнин двор», который Солженицын начал писать во время паузы в работе над «Одним днём...». Заглавная героиня — пожилая женщина-крестьянка, достоинства которой настолько скрыты убожеством её непосредственного окружения, что становятся ясными только после её смерти. Сама неординарность Матрёны, избираемой бессовестными и жадными родственниками и презираемой односельчанами за непрактичную бескорыстность, выразительно указывает на характер господствующей в деревне морали. Постоянно унижаемая и не признанная при жизни, Матрёна воспринимается в конце рассказа как идеал, или, словами русской поговорки, как «праведник», без которого «не стоит село». Солженицын видит в ней отчётливое воплощение моральной идеи, провозглашаемой русской традицией, поэтому уже сам факт существования Матрёны представлен им как доказательство выживания ценностей, присущих этому идеалу, среди деградации советской жизни.

Созданный в хронологическом интервале между романом «В круге первом» и рассказом «Матрёнин двор», «Один день...», естественно, отражает часть затрагиваемых в них тем. Во-первых, следует отметить частичную, хотя и неоспоримую параллель между образами Спиридона и Шухова. Хотя герой «Одного дня...» несравненно шире воспринимает мир, чем подслеповатый дворник Спиридон, он разделяет с тем такие ключевые черты характера, как стойкая приверженность твёрдому, пусть и несколько своеобразному кодексу поведения и, видимо, полный иммунитет к любого рода идеологии. Хотя, конечно, Спиридону, как второстепенному персонажу, в романе уделяется лишь ограниченное внимание, и проводимая аналогия носит схематический, а не сущностный характер.

Связь «Одного дня...» с «Матрёниным двором» намного значимее. И она прослеживается, несмотря на тот очевидный факт, что важность, которую Шухов придаёт выживанию, находится в прямом противоречии с инстинктивной бескорыстностью Матрёны, а форма характеристики Матрёны от лица повествователя несопоставима с косвенно-прямым изложением мыслей Шухова в «Одном дне...». Сходность произведений — в их подчёркнутой сосредоточенности на фигурах главных героев, чьи действия и отношения к другим людям отражают определённые моральные качества, сохраняющиеся в русском крестьянском самосознании. Именно на этом уровне в них воплощён основной посыл русской литературной традиции XIX века: предполагается, что описываемое может самым сущностным образом рассматриваться как обра-

зец социальной или исторической действительности, а не как творческое самовыражение, не имеющее сколь-либо очевидного отношения к миру обычного опыта. С этой точки зрения все произведения Солженицына прочно укоренены в реалистической традиции: писатель немало потрудился над тем, чтобы представить нам сидящего в послевоенном советском лагере Шухова как фигуру типичную, а в случае с «Матрёнинным двором» нам сообщается в пояснении к рассказу, что жизнь и смерть героини «воспроизведены как были»¹.

Бедственное положение крестьянства как общественного класса тематически представлено в обоих текстах, хотя в «Матрёнинном дворе» — только косвенно. Зато эта тема прямо описывается в «Одном дне...», где кроме душераздирающего рассказа Тюриня о террористических методах, которыми проводилась коллективизация (64), нам передаются также печальные мысли Шухова о катастрофическом положении колхоза в его деревне (36) и его воспоминания о сельскохозяйственном изобилии в доколхозные времена (40).

В конечном счёте Солженицын пытается доказать, что, несмотря на все катаклизмы советской истории, люди, подобные Шухову, Тюрину и Матрёне, относятся к реально существующему типу национального русского характера, — типу, который так и не удалось выкорчевать. И каким бы шатким ни казалось под пером Солженицына выживание подобных героев, сам факт, что Солженицын в описанной им жизни обнаруживает такие качества, как честность, трезвомыслие, крепкая устойчивость и даже христианская кротость, равнозначен утверждению его веры в несломленный дух русского крестьянства. Именно это чувство автор предоставляет сформулировать Шухову, когда тому в конце долгого дня удаётся получить крупицу настоящего удовольствия от жалкой миски каши, заменяющей ему ужин: «<...> переживём! Переживём всё, даст Бог кончиться!» (98). Есть все основания полагать, что в этих словах Шухова звучит голос надежды, разделяемый также автором, который, хотя и по другому поводу, говорил о себе, что он тоже «сам в душе мужик»².

¹ См.: *Солженицын А.И.* Собр. соч.: В 20 т. Т. 3. С. 327. Публикуя фотографию Матрёны, стоящей перед своим домом, Солженицын тем самым указывает, что его сообщение следует воспринимать буквально. См.: *Солженицын А.И.* Бодался телёнок с дубом. Вклейка между с. 162–163.

² См.: *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ. Т. 2. ч. 3, гл. 9. С. 264. В своём интересном эссе Мария Шнейерсон утверждает, что Солженицын в своих поздних произведениях, включая «Архипелаг ГУЛАГ» и «Бодался телёнок с дубом», время от времени говорит голосом, замечательно похожим на шуховский (см.: *Шнейерсон М.* Голос Шухова в произведениях Солженицына // Грани. 1987. № 146. С. 106–133).

II

Ещё одна тема, послужившая предметом живого обсуждения в критике, — это отношение Шухова к труду. Шухов — бывший плотник, он очевидно любит своё ремесло и так умело справляется с различного рода практическими заданиями, что его считают в сто четвёртой бригаде одним из двух самых искусных её мастеров. В то же время его инстинктивно-положительное отношение к работе деформировано ненормальными условиями лагерного мира. Он с отвращением относится к тому, что новый лагерный доктор любит выгонять больных заключённых на работу, цинично считая её лекарством от всех болезней (25), и убеждён в том, что, работая на начальство (как в том случае, когда его заставили мыть полы в надзирательской), можно исполнять своё задание кое-как (21).

Неудивительно, что важнейшие стороны отношения Шухова к работе выявляются в его чувствах и делах, а не в чётко осознанных общих правилах. Первое, что мы замечаем, — погружённость в работу позволяет Шухову на время отвлечься от окружающей обстановки. Так, например, когда он прилаживает трубу к печи на стройке, «<...> как вымело все мысли из головы. Ни о чём Шухов сейчас не вспоминал и не заботился, а только думал — как ему колена трубные составить и вывести, чтоб не дымило» (47).

Для Шухова главное — «время за работой идёт!» (50), хотя, как горько замечает он, срок от этого не убавляется. И ещё, за работой он забывает о боли и недомогании, которые беспокоили его утром (84).

Но центральный эпизод, раскрывающий философию труда, — это, несомненно, пространное описание того, как Шухов с солагерниками строит стену (65–76). Эту сцену выделил в рассказе и похвалил сам Хрущёв, и её же некоторые из первых читателей осудили как типичный образец социалистического реализма¹. И в первом, и в остальных случаях очевидную преданность Шухова хорошей работе и его удовлетворение от неё приравнивали к так называемому трудовому энтузиазму — непременно компоненту бесконечной серии советских романов, прославляющих «социалистическое строительство».

¹ Хрущёву особенно понравилось то, что Шухов использовал весь приготовленный для него раствор (см.: *Солженицын А.И.* Бодался телёнок с дубом. С. 41). Среди первых читателей аналогию с социалистическим реализмом провели Лев Копелев и Илья Эренбург (см.: *Лакшин В.Я.* «Новый мир» во времена Хрущёва. Дневник и попутное (1953–1964). М.: Книжная палата, 1991. С. 56, 88). Виктор Эрлих повторил эту оценку, сравнив рассказ с советским производственным романом (см. его полемику с Максом Хейвордом: *Erlich V.* Op. cit. P. 440).

Для характеристики этой серии достаточно будет всего одного примера. Глеб Чумалов, герой весьма известного романа «Цемент» (1925), показан среди многих других рабочих во время их общей работы по восстановлению разрушенного завода. «Чувствовал Глеб не каждого отдельного человека, а всю людскую толпу и за собой, и впереди себя. Обливаясь потом, он выворачивал киркою цементный сланец и шпат. Муравейные толпы взмахивали тысячами кирок и накрывали всю гору — от труб и корпусов завода, от каменных отвалов до обелисков электропередачи»¹. Как и повсюду в «Цементе», здесь подчёркнута экстагическая утрата Глебом Чумаловым своей индивидуальности по мере того, как он, вдохновлённый общим видением коммунизма, сливается с пролетарскими массами. В полурелигиозном мире этого архетипического советского производственного романа Глеб должен отбросить свои личные чувства и амбиции, чтобы приобрести более высокое знание, мистическим средоточием которого является Партия.

Ничего даже отдалённо схожего с этим в «Одном дне...» не происходит. Нет никакой необходимости упоминать, что ни Шухов, ни любой другой работник его бригады не трудятся ради великой победы коммунизма. Они заняты принудительным трудом, и их дневной рацион как группы прямо зависит от выполнения установленной для них нормы задания (46–48), поскольку подкуп начальства, к которому они часто прибегают, чтобы немного её убавить, тоже имеет свои пределы. И всё же очевидно, что в процессе возведения стены несколько заключённых из сто четвёртой бригады трудятся с усердием, которое необходимостью выполнения установленной для них нормы объяснить нельзя. Мотивация этих работников по своему происхождению глубоко внутренняя: в лагерной атмосфере всеобъемлющего принуждения работа остаётся для заключённых единственным доступным и самым значимым средством самовыражения. Мастерство становится для них источником профессиональной гордости и самоуважения, и мысли Шухова, когда он осматривает результаты своей работы, прежде чем броситься вдогонку за бригадой, становятся тому прямым подтверждением. Самое важное здесь — контекст. Оставшись на стройке на несколько минут позже положенного срока, чтобы закончить укладку последнего ряда шлакоблоков, Шухов уже рискует быть за это наказанным. Однако внутренняя потребность заставляет его сделать ещё один шаг: «<...> хоть там его сейчас конвой псами травы, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал — и через стенку, слева, справа. Эх, глаз — ватерпас! Ровно! Ещё рука не ста-

¹ Гладков Ф.В. Цемент // Собр. соч.: В 5 т. М.: Худ. лит., 1983. Т. 1. С. 382.

рится» (76). Трудно представить себе более очевидное доказательство той важности, которую работа приобретает для Шухова: она укрепляет его веру в себя как в знающего и умелого человека.

В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын признаёт парадоксальность той ситуации, когда хорошая работа, выполненная в обстановке закрытой и принудительной системы, неизбежно служит усилению этой системы, несмотря на всё психологическое благо, которое она временно приносит работнику. Но автор энергично опровергает обвинения тех, кто в эпизоде возведения стены усматривает прославление рабского труда. По его мнению, вопрос в конечном счёте сводится к выживанию: «Как же Ивану Денисовичу выжить десять лет, денно и ночью только проклиная свой труд? Ведь это он на первом же кронштейне удавиться должен!»¹

Затем автор переходит к описанию того, как он сам во время отбывания срока в лагере испытывал радость от хорошо выполненной работы: «<...> такова природа человека, что иногда даже горькая, проклятая работа делается им с каким-то непонятным лихим азартом. Поработав два года и сам руками, я на себе испытал это странное свойство: вдруг увлечься работой самой по себе, независимо от того, что она рабская и ничего тебе не обещает. Эти странные минуты испытал я и на каменной кладке (иначе б не написал), и в литейном деле, и в плотницкой, и даже в задоре разбивания старого чугуна кувалдой. Так Ивану-то Денисовичу можно разрешить не всегда тяготиться своим неизбежным трудом, не всегда его ненавидеть?»²

Трезвый и здравомыслящий тон этого утверждения служит лишним примером того, как взгляд писателя на окружающий мир сливается с крестьянской точкой зрения его героя.

Перевод с английского Б. Ерхова

¹ Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 2. С. 242.

² Там же. С. 243–244. Солженицын говорил нечто подобное в интервью французскому телевидению (см.: Солженицын А.И. Выступление по французскому телевидению (9 марта 1976) // Публицистика. Т. 2. С. 390–391). В то же время важно отметить горечь, пронизывающую стихотворение Солженицына «Каменщик», в котором он отражает извращённость своей роли строителя лагерной тюрьмы (см.: Солженицын А.И. Собр. соч.: В 20 т. Т. 7. С. 76–77). Обсуждение этой же темы, включающее полезную ссылку на «Мост через реку Квай», см.: Kern G. Ivan the worker // Modern fiction studies. 1977. (Spring.) Vol. 23. № 1. P. 27–30. Отметим также, что даже Варлам Шаламов, непреклонный противник оправдания лагерного труда, соглашается с Солженицыным: «Возможно, что такого рода увлечение работой и спасает людей» (см. его письмо Солженицыну в кн.: Шаламовский сборник. Вологда: Изд-во Ин-та повышения квалификации и переподготовки педагогич. кадров, 1994. Вып. 1. С. 68. (См. также с. 51–62 наст. изд. — *Примеч. сост.*)

Дополнение к изданию 2012 г.

«Лагерь глазами мужика, очень народная вещь». Этими известными словами Анна Берзер, редактор отдела прозы в журнале «Новый мир», охарактеризовала полученное в редакции произведение А.И. Солженицына, предлагая рукопись на прочтение главному редактору А.Т. Твардовскому. «В шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского», писал в своих «Очерках литературной жизни» Солженицын. По его мысли, «не видать бы Ивану Денисовичу света, если б А. Берзер не пробилась к Твардовскому и не зацепила его замечанием, что это — глазами мужика»¹.

Начавшие выходить в 2000 г. дневниковые записи Твардовского позволяют сделать немаловажное добавление к оценке ситуации, предложенной писателем. Рукопись Солженицына попала в руки Твардовского в начале декабря 1961 г., а менее месяца ранее Твардовский встретился со своим младшим братом, Иваном Трифоновичем, потрясшим его рассказом о своём лагерном опыте. (Иван Твардовский был приговорён в 1947 г. к десяти годам лишения свободы.) «Вчерашняя встреча с братом Иваном, — записывает Твардовский 7 ноября 1961 г., — его порыв “высказаться”, беспредельный ужас, который он проходил на Чукотке, покамест я строил дачу, пьянствовал <...> и нёс на себе лишь “условную”, “духовную” нагрузку этих лет»².

Горькие слова Твардовского, занесённые в дневник незадолго до прочтения рассказа Солженицына, не позволяют сомневаться в том, что тюремно-лагерная тема, названная во фразе А. Берзер, послужила дополнительным стимулом к решению главного редактора лично ознакомиться с новинкой, поступившей в журнал.

¹ Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом. С. 25. О трагической судьбе крестьянства Твардовский знал не понаслышке: вся его семья была раскулачена и сослана к Уральскому хребту, где их «среди зимы выбросили в снег», как он рассказывал В.Я. Лакшину. См.: Лакшин В.Я. Указ. изд. С. 52. Сам Твардовский избежал этой участи лишь по причине того, что в это время проживал в Москве.

² Первая публ.: Знамя. 2000. № 6. С. 170. Перепеч. в кн.: Твардовский А.Т. Новомирский дневник: В 2 т. М.: ПРОЗАиК, 2009. Т. 1. С. 66–67.

Р. Темпест

**ГЕОМЕТРИЯ АДА:
ПОЭТИКА ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
В ПОВЕСТИ «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹**

Действие многих произведений Солженицына разворачивается в замкнутом, искусственно созданном пространстве — тюрьме, крестьянской избе, лагере, больнице, — имеющем собственную топографию, историю, а иногда даже флору и фауну. Каждый из этих изолированных миров населён группой людей, маленькой моделью человечества, с собственной социальной иерархией и человеческими взаимоотношениями. Герои «Одного дня Ивана Денисовича», «Ракового корпуса» и «В круге первом» страдают, чувствуют, передвигаются, работают, разговаривают, спорят, вспоминают и размышляют, находясь в неизменно геометрически правильных пространствах — кубах, параллелепипедах, призмах, цилиндрах. Их бытие физически ограничено и определено пространством, являющимся функцией таких констант человеческого существования, как одиночество, бедность, болезнь, неволя.

За пределами этого ограниченного и ограничивающего пространства, населённого героями Солженицына, расположено ещё одно — это посёлок Торфопродукт в «Матрёнинном дворе», город Москва «В круге первом», город Ташкент в «Раковом корпусе». Драматическое единство замкнутого пространства распадается, когда повествование прорывается в эту внешнюю, более открытую область. Дихотомия замкнутого и открытого пространства всегда соответствует важным оппозициям художественного мира Солженицына: ложь и правда, продажность и честность, болезнь и здоровье, тюрьма и свобода. Заключённые в «Одном дне...» не могут попасть во внешний, окружающий лагерь мир. Город и деревня становятся для них лишь воспоминаниями, похожими больше на сон, как, например, у Ивана Шухова.

События, описанные в повести, происходят внутри нескольких замкнутых пространств: в Особлаге, на стройке и в других пространствах, в них заключённых, — бараках, санчасти, столовой и авторемонтной мастерской. Только когда колонна зэков идёт на стройку и обратно, повествование охватывает открытую, ничем не ограни-

¹ Звезда. 1998. № 12. Перевод выполнен по изд.: «One day in the life of Ivan Denisovich: a critical companion» / Ed. by Alexis Klimoff. Illinois, Northwestern University Press, 1997. *Здесь и далее примеч. Р. Темпеста.*

ченную и не размеченную территорию. Но даже здесь зэки следуют установленному пути (*по прямой*), свернуть с которого в буквальном смысле слова означает смерть¹.

Иерархия и личные взаимоотношения заключённых Особлага представляют собой некое четвёртое измерение, дополняющее трёхмерное замкнутое пространство, в котором разворачивается действие. Я употребляю слово «измерение» сознательно, поскольку в описании социальной структуры лагерного сообщества и в постоянном подчёркивании геометрической структуры самого лагеря прослеживается единство авторского стиля, образности и художественной цели. Герои «Одного дня...» населяют не только определённое географическое и геометрическое пространство, но и особый тип пространства социального.

«Геометрический» аспект в произведениях Солженицына был отмечен самим же Солженицыным. В одном из интервью 1966 года он заявил: «При художественном подходе всякое частное явление становится, если пользоваться математическим сравнением, “связкой плоскостей” — множество жизненных плоскостей неожиданно пересекаются в избранной точке»².

Мудрец, портной, солдат, моряк, богач, воришка и бедняк — вся галерея социальных типов, перечисленных в этом детском стихике, обнаруживается на клочке степи, отгороженном от мира колючей проволокой. Лагерное сообщество в высшей степени иерархично. Оно, если говорить языком антропологии, поделено на разряды. В самом низу находятся подобные «шакалу» Фетюкову, опустившиеся до облизывания мисок в лагерьной столовой; ниже не бывает. Это парии, у которых один конец — смерть. За ними следуют заключённые, выполняющие общие работы — тяжёлый ручной труд на стройке за зоной. Эти люди, поделённые на бригады, образуют лагерное большинство. Затем идут помбригадиры, бригадиры, а за ними «придурки», выполняющие различные работы внутри лагеря: повара, парикмахеры, художники, медицинский персонал. Далее следуют ненавидимые всеми стукачи и провокаторы, такие, как злющий Дэр или старший барака, уголовник, который «не боится никого. Наоборот, его все боятся. Кого надзору продаст, кого сам в морду стукнет». Затем идут надзиратели и

¹ Каждое утро перед уходом на стройку начальник караула читает колонне заключённых арестантскую «молитву»: «Шаг вправо, шаг влево — считается побег, конвой открывает огонь без предупреждения!»

² Солженицын А. Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни. Paris: YMCA-Press, 1975. С. 484.

охранники. И наконец, на вершине этой социальной пирамиды стоит начальник лагеря, зловещая, одинокая и таинственная личность, чье-го имени мы так никогда и не узнаем.

Особый лагерь можно рассматривать как мрачную пародию на идеальное государство Каллиполис, описанное в «Республике» Платона. Греческий философ разделил население своей утопии на три класса: стоящие во главе государства правители; стражи или воины, исполняющие их волю; работники, наиболее многочисленный и наименее привилегированный класс. Эти параллели с Платоном могут быть продолжены. Существующее в Особлаге искусство, как и в платоновском Каллиполисе, призвано служить государству: стены в клубе, расписанные, надо полагать, тремя художниками-зэками, являются, как нам кажется, примером кича эпохи соцреализма, пропагандой, зовущей трудящиеся массы к всемерному повышению производительности труда¹. Кроме того, те же три художника рисуют заключённым их номера (ещё один вид *полезной* деятельности) и, работая на стороне, обеспечивают начальников подходящими слащавыми портретами, изображающими их самих и членов их семей, или же красивенькими пейзажами, приятными для начальственных глаз.

Шанс выжить у каждого заключённого напрямую зависит от типа пространства, в котором он работает. Обычные зэки трудятся в голой степи, где им приходится не только изнурять себя физически, но и терпеть непогоду: «Свистит над голой степью ветер — летом суховейный, зимой морозный». «Придурки» выполняют легкую работу *в помещении*, где тепло и довольно удобно, например в посылочной или столовой.

Кроме основной иерархии статусов или каст существуют и другие иерархии этой маленькой модели человечества, основанные на многочисленных различиях лагерных обитателей — по возрасту, тюремному опыту, характеру, национальности, профессии, религии, образованию, политическим взглядам, благосостоянию, здоровью.

Есть и ещё одно измерение в мире, описанном в этом рассказе, — творческое. Как и в других произведениях Солженицына, в «Одном дне...» перед нами выкладывается мозаика из историй человеческих жизней — биографий главных и второстепенных персонажей, которые неизменно помещаются в контекст эпических и трагических событий русской истории двадцатого века. Эти хроники выстраиваются вокруг того или иного политического греха — бессознательной оплошности или осознанного деяния, мысли или поступка, родствен-

¹ Отношения между художником и тоталитарным государством обсуждаются в беседе Цезаря и заключённого X-123.

ных или дружеских связей, приведших к аресту и заключению каждого «грешника».

В предисловии к «Архипелагу ГУЛАГ» Солженицын называет систему советских лагерей «удивительной страной... почти невидимой, почти неосозаемой страной, которую и населял народ эзков»¹. Как и трёхтомное «художественное исследование» этой странной и ужасной страны, «Один день...» был призван сделать невидимое видимым, неощутимое осязательным, а массы загнанных безымянных эзков превратить в конкретных живых и страдающих людей.

Впечатление, произведённое повестью на советских читателей, было таким сильным, что её автора, неизвестного провинциального учителя, многие стали называть вторым Толстым. Вот как описывает современник свои чувства после прочтения солженицынской повести: «Но вот я начал читать саму повесть и почувствовал, что постепенно переносюсь в другой мир. Но переносюсь не так, как это бывает при свободном погружении в мир приятных впечатлений или когда сильные впечатления сами вторгаются в твой мир и заполняют его собой. В этот другой мир я входил сам, медленно и трудно, продираясь через непривычные языковые формы и стилистическую структуру, прорывая разделяющую наши миры духовную ткань, оплетённую колючей проволокой и покрытую ледяными наростами, преодолевая шок и растерянность, вызванные необычностью этого мира, его обитателей, их поступков и мыслей, их жизни (*их не жизни!*). <...> Это было так трудно, что через некоторое время я почувствовал физически — дальше не могу. Я поднял глаза от книги и огляделся: тут тоже вокруг меня были огни и люди — но не освещённая прожекторами зона со снующими по ней эсками, а светлый читальный зал с задумчиво-спокойными читателями. Я не мог оставаться на месте и вышел из зала. <...> Я снова углубился в чтение и снова был вынужден прервать его через некоторое время, чтобы перевести дыхание. Так повторялось несколько раз»².

Читатель (или, если использовать современный термин, получатель информации) испытывает состояние, определённое Кольридом в его «Литературной биографии» как «сознательный отказ от неверия». Это такое основанное на доверии восприятие, при котором человек, читающий литературное произведение, готов поверить в реальность

¹ Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ: 1918–1956: Опыт художественного исследования. Т. 1. М.: ИНКОМ НВ, 1991. С. 6.

² Зильберберг И. Необходимый разговор с Солженицыным. Sussex, Great Britain, 1976. С. 51–52.

описанных в нём персонажей, событий и обстановки. Но воздействие повести Солженицына на этого читателя было столь сильным, что «сознательный отказ от неверия» стал для него слишком болезненным, почти невыносимым, хотя (а возможно, и потому что) он удобно устроился в специальном помещении — в читальном зале библиотеки, — созданном именно для того, чтобы способствовать возникновению у читателя такого восприятия.

Такой транслитературный опыт близок к воздействию, которое оказывает на верующего художественное описание апокалипсиса или ада. Если в знаменитой патриотической песне 1935 года Советский Союз изображён земным раем, где «так вольно дышит человек», то в «Одном дне Ивана Денисовича» он становится местом, где каждый вздох может оказаться последним.

Ад как образ, метафора, тема часто возникает в русской и западноевропейской литературе: «У ада нет границ... где мы — там ад» (*Марло*); «Моё “я” есть ад» (*Мильтон*); «Ад — это город, так похожий на Лондон» (*Шелли*); «Ад — это ты сам» (*Т.С. Элиот*); «Ад — это другие» (*Сартр*). Грозовой перевал в одноимённом романе Эмилии Бронте является жилищем дьявола; здесь чувствуется аллюзия на мильтоновский «Потерянный рай». У Гоголя в «Мёртвых душах» вся Россия изображена как некая серая преисподняя, где путешествующий Чичиков выторговывает себе право владеть душами умерших крестьян у галереи сменяющих друг друга скотоподобных, в чём-то даже дьяволоподобных помещиков. Гоголя вдохновила «Божественная комедия», его поэма задумывалась как первая часть будущей трилогии, в которой Россию предполагалось изобразить в виде ада, чистилища и рая. Роман Солженицына «В круге первом» содержит огромное количество аллюзий на знаменитую поэму Данте, начиная с названия, хотя здесь ад возникает как видоизменённый литературный образ, в котором религиозная составляющая заменена художественной.

Если в романе Солженицына секретная лаборатория со штатом учёных-зэков является первым кругом советского ада, то Особлаг — одно из его низших колец, хотя и не самое низшее, ибо существуют и более ужасные места в ГУЛАГе, как, например, лагеря, описанные Варламом Шаламовым в «Колымских рассказах» (или лагерь в Усть-Ижме, где Иван Денисович провёл первые годы заключения).

Из всех мучений, которые должны вытерпеть политические «грешники», главное — пытка холодом. Лёд и снег, без сомнения, являются важным элементом в традиционных описаниях ада. Так, в «Апокалипсисе Павла», раннехристианском тексте, относящемся ещё к римской эпохе,

мучения грешников изображены не только в огненных ямах, но и в ямах снеговых. В «Видении Тандала» (1149) герой Тандал, ирландский рыцарь, сошедший в ад, видит «гору, с огнём на одной стороне, льдом и снегом на другой и бурями с градом между ними»¹. В другой книге двенадцатого века, «Elusdarium», перечисляются девять мучений, которым подвергаются грешники, и одно из них — пытка невыносимым холодом. Эти и подобные им произведения сформировали определённую традицию, оказавшую влияние на Данте и позднее на Мильтона, чьи описания ада до сих пор остаются наиболее известными в западноевропейской литературе.

Особлаг в ледяных степях Казахстана напоминает области мильтоновского ада, описанные во второй книге «Потерянного рая». За четырьмя адскими реками — Стиксом, Ахероном, Коцитом и Флегетоном — по ту сторону Леты, реки забвения,

Простирается страна
Морозов лютых, — дикий мгlistый край,
Терзаемый бичами вечных бурь
И вихрей градоносных; этот град,
Не тая, собирается в холмы
Огромные, — подобие руин
Каких-то древних зданий. Толща льда
И снега здесь бездонна, словно топь².

У Мильтона грешников терзают в аду огнём и льдом попеременно. «И воздух здесь / Пронизывает стужей до костей / И словно пламя жжёт»³.

Самое страшное место в Особлаге — карцер: «<...> стены там каменные, пол цементный, окошка нет никакого, печку топят — только чтоб лёд со стенки стаял и на полу лужей стоял. Спать — на досках голых, если в зуботряске улежишь, хлеба в день — триста грамм, а баланда — только на третий, шестой и девятый дни». Десять суток карцера означают на всю жизнь здоровья лишиться. А пятнадцать суток всё равно что смерть. Вспоминаются слова Мильтона о мучениях грешников — «Из пламени бросают их на льды»⁴.

И всё же если Особлаг — ад, то именно советский, со всей продажнойстью, абсурдом и неэффективностью советской системы в целом. Началь-

¹ Turner A.K. A History of Hell. New York: Harcourt Brace, 1993. P. 98.

² Милтон Дж. Потерянный рай: Стихотворения. Самсон-борец. БВЛ. Т. 45. М., 1976. С. 68. Пер. А. Штейнберга под ред. С. Шервинского.

³ Там же.

⁴ Там же.

ники растрачивают, эски воруют; первые — чтобы разбогатеть, вторые — чтобы выжить. Качество работы в основном низкое, если не считать — что немаловажно — построенный на совесть карцер; заключённые, самые настоящие рабы, не имеют стимула к хорошей работе. Стройка с вялыми рабочими, полуразвалившимися сараями и брошенными материалами — картина, знакомая всем, кто хоть раз был в Советском Союзе.

Иногда абсурд лагерного режима носит интернациональный характер — он является одним из видов наказания. В особых лагерях, пишет Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ», надзиратели записывают номера заключённых, виновных в нарушениях правил, и требуют от них «объяснительных записок» — хотя ручка и чернила запрещены, а бумага не выдаётся¹. Именно такие записки должны предъявить Цезарь и Буйновский в конце дня, и именно так от имени эсков оправдывает перед надзирателем их отсутствие бригадир Тюрин.

«Кочевник постоянно находится в движении, ест и пьёт, когда может, обязан выстоять в любую погоду, радуется мелким подаркам судьбы, все его вещи должны складываться за минуту, его пища следует вместе с ним»². Правда, Шухов и другие заключённые не кочевники, хоть и живут в степи, традиционной среде обитания кочевых племён. Но, подобно последним, они в постоянном движении, вечно в пути, всегда готовы встретить ярость природы или человека. Как бедуин или индеец прерий, Шухов может определить время дня по солнцу. Отправляясь на стройку, он надевает на себя всю одежду, несёт запас еды (краюху хлеба, сэкономленную за завтраком) и все имеющиеся у него деньги, спрятанные в подкладке телогрейки.

Одежда для Шухова — как панцирь для черепахи. Словно этнограф, описывающий одеяния какого-нибудь неизвестного племени, Солженицын в мельчайших подробностях описывает покрой и назначение каждого куска ткани, покрывающего тело и даже лицо Шухова. Знающий читатель ощущает в описании этих истёртых тряпок связь с реальной жизнью самого Солженицына. Когда мы впервые встречаемся с героем, он лежит на вагонке, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, просунув обе ступни в подвёрнутый рукав телогрейки. Такая же тюремная телогрейка упоминается в рассказе «Матрёнин двор», когда Игнатич, alter ego автора, просто накрывает себе ноги этим ветхим одеянием: «Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжёлые годы»³. Изношенную телогрейку

¹ См.: Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 2. Ч. 3. «Один день...» можно рассматривать как дополнение к ч. 5, гл. 3 «Архипелага ГУЛАГ».

² Keegan J. A History of Warfare. New York: Knopf, 1993. P. 164.

³ Солженицын А.И. Малое собр. соч.: В 7 т. Т. 3. Рассказы. М.: ИНКОМ НВ, 1991. С. 135.

можно увидеть и на известной фотографии Солженицына в тюремной одежде — он сфотографировался после освобождения из особого лагеря в Экибастузе; в ней же он колот дрова для печки в Рязани, о чём рассказывается в очерках «Бодался телёнок с дубом»¹.

«Один день...» содержит полную космографию шуховского мира. История начинается с небольшого пассажа, «локализирующего» действие в пространстве и времени: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стёкла <...>. <...> за окном <...> была тьма и тьма, да попадало в окно три жёлтых фонаря, два — на зоне, один — внутри лагеря». Чтобы быть услышанным главным героем, звон молотка сначала проносится сквозь метры открытого пространства между штабным бараком и бараком Шухова. Затем проникает внутрь сквозь слой льда на окне. Резкий звук приглушает не расстояние, а оконная наледь². Упоминание льда на окне является первым свидетельством сурового климата и вводит одну из основных тем произведения — тему холода, снега и ветра, представляющих собой главную физическую угрозу здоровью и самой жизни заключённых.

Так устанавливается связь между пространством, временем, температурой воздуха и цветом — четырьмя физическими характеристиками, постоянно подчёркиваемыми в ходе повествования. По мере того как Иван Шухов выполняет необходимые дела внутри и вне зоны, автор определяет пространство, измеряет время, перечисляет цвета, отмечает воздействие холода и тепла на организм эзков.

Когда Шухов выходит из барака, перед нами возникает более широкая панорама лагеря: «Два больших прожектора били по зоне на перекрест с дальних угловых вышек. Светили фонари зоны и внутренние фонари. Так много их было натыкано, что они совсем засветляли звёзды». Перекрещивающиеся лучи соединяют между собой противоположные углы квадратной или прямоугольной территории лагеря. Три стоящих по периметру фонаря можно увидеть с места, которое занимает рассказчик у окна в бараке. Теперь мы понимаем, какой маленький участок зоны виден в это окно, и начинаем себе представлять местоположение шуховского барака.

¹ См.: Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом. Советский журналист, посетивший Солженицына зимой 1962 года в Рязани, писал, что тот был одет в телогрейку и меховую шапку-ушанку со спущенными, но не завязанными ушами, сходство с Иваном Денисовичем было поразительным. См.: Scammell M. Solzhenitsyn. N. Y: Norton, 1984. P. 457.

² Звонок на развод, донёсшийся до Шухова, сидевшего в санчасти, был еле слышен «сквозь двойные, непрозрачные от белого льда стёкла».

Шухов всё время чем-то занят. Утром и вечером он ходит по зоне, входит и выходит из разных помещений (при этом у него всегда есть на то определённая причина или цель). В колонне с другими эками он идёт на стройку и обратно. Там согревается в авторемонтных мастерских, ест в халабуде и кладёт кирпич на морозе. Передвижения Шухова в течение дня соотнесены с геометрией пространства, ограниченного периметром зоны и стройплощадкой. У читателя возникает нечто вроде воображаемой координатной сетки, сквозь которую он наблюдает за действиями героя. Заборы, вышки, бараки, двери, окна — вот её поверочные точки.

Лагерь расположен в голых степях Центрального Казахстана. Равнинность — отличительная черта окружающего пейзажа. Она подчеркивается позой эков: они съезжились и пригнулись от холода, колонна идёт на работу «<...> руки держа сзади, а головы опустив <...>». Пройдя мимо зданий, построенных ими ранее, заключённые выходят в открытую, заснеженную степь «прямо против ветра и против краснеющего восхода» (так нам становится известно, в каком направлении они движутся). Вспомним, каким видит ад Клавдио в шекспировской драме «Мера за меру»:

Но умереть... уйти — куда не знаешь...
 Лежать и гнить в недвижности холодной...
 Чтоб то, что было тёплым и живым,
 Вдруг превратилось в ком сырой земли...
 Чтоб радостями жившая душа
 Вдруг погрузилась в огненные волны,
 Иль утонула в ужасе бескрайнем
 Непроходимых льдов, или попала
 В поток незримых вихрей и носилась,
 Гонимая жестокой силой, вкрут
 Земного шара...¹

Когда колонна приходит на стройку, солнце уже поднялось, и мы можем рассмотреть местность: «Напересек через ворота проволочные, и через всю строительную зону, и через дальнюю проволоку, что по тот бок, — солнце встаёт большое, красное, как бы во мгле». Образ солнца, увиденного читателем через колючую проволоку, глубоко символичен и говорит о многом, учитывая, что автор предоставляет читателю самому закончить картину. Мысленно следя за тремя ухо-

¹ Шекспир В. Комедии и драмы-сказки / Сост. В.П. Комарова. СПб.: Лениздат, 1996. 480 с. Пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник.

дящими фигурами — двумя охранниками, отправляющимися каждый на свою вышку (вышки эти названы «дальними»), и начальником караула, идущим на вахту, — мы получаем представление о размерах и плане стройки.

Иногда разметка пространства происходит на очень небольшом участке — не в метрах, а в сантиметрах. В санчасти Шухов наблюдает за Колей Вдовушкиным, молодым фельдшером, который «<...> писал ровными-ровными строчками и каждую строчку, отступя от края, аккуратно одну под одной начинал с большой буквы. Шухову было, конечно, сразу понятно, что это — не работа, а по левой <...>». Ясно, что Коля пишет стихи. Догадливый читатель видит фельдшера глазами непонимающего Ивана Денисовича, и перед нами возникает пример толстовского тропа — остранения.

Временные параметры повествования заданы в самом названии. Хотя иногда сообщается о конкретном времени суток, в целом же время определяется распорядком лагерной жизни: подъём, вынос парашаши, завтрак, развод, уход колонны на стройплощадку, перерыв на обед, приход в лагерь, вечерний пересчёт, ужин, вечерняя проверка, отбой. У Ивана Денисовича инстинкт — «какими-то часами там, в нутре своём», он чувствует этот неизменный тюремный ритм.

Чтобы определить время, Шухов вынужден полагаться на естественный хронометр своего желудка (или на солнце), потому что привилегия знать время принадлежит начальству — «заклѳченнѳм часов не положено, время за них знает начальство». Зѳки смотрят не на часы, а на градусник: когда температура опускается ниже сорока градусов, они освобождаются от общих работ.

Опустошѳнный организм Ивана Денисовича стал своего рода календарѳм. Он замечает, как дни сменяют друг друга, по растущей бороде: «Свободной рукой ещѳ бороду опробовал на лице — здоровая выперла, с той бани растѳт, дней боле десяти. <...> Ещѳ дня через три баня будет». (Так мы узнаѳм, что заклѳченнѳм разрешено мыться два раза в месяц — пример характерной для Солженицына повествовательной экономии.) Тяжѳлые годы оставили след на лице и руках Шухова, челюсть была повреждена на реке Ловать, когда он сражался с немцами; немало зубов он потерял, болея цингой в 1943 году в Усть-Ижменском лагере; кожа на пальцах рук так огрубела, что он может держать сигаретный окуроч за самый огонь, не обжигаясь; лицо у него «ко всему притерпевшееся».

В Особлаге время — ценный товар; не деньги, а время является в зоне разменной монетой. Полтора часа между подъѳмом и разводом

Шухов использует, чтобы «подработать». Вечером он занимает очередь в посылочной, чтобы сэкономить Цезарю время. За что в благодарность Цезарь даёт ему хлеба. А вот один из обитателей лагеря украл время у других. Опоздав, ээк задержал колонну, возвращавшуюся в лагерь: «Да ведь шутка сказать, больше полчаса времени у пятисот человек отнял!» Умножив тридцать минут на пятьсот, получим двести пятьдесят часов: несчастный молдаванин виновен в краже целых десяти дней у своих солагерников!

Лагерная космография включает также описание запахов, красок, животной и растительной жизни. Запахи в этом мире зависят от температуры воздуха. В мороз они едва ощутимы. Только когда в конце дня Шухов оказывается в относительно тёплом бараке, он способен их различать: «быстрым взглядом и подтверждающим нюхом» он разведает, какую еду получил Цезарь в посылке; бурда в бочке лишь отдалённо напоминает чай, и пахнет она «древесиной пропаренной и прелью». Отметим, что ни разу не говорится о зловонии парашаи, стоящей в бараке: человек привыкает к самому ужасному смраду, если вынужден дышать им достаточно долго.

В тексте упоминаются девять цветов: чёрный, жёлтый, белый, голубой, зелёный, красный, коричневый, розовый и серый. Картина зоны решена в основном в следующих цветах — чёрная ночь, белый снег, множество ярких жёлтых огней, испещривших лагерь. Других насыщенных цветов немного. Рассвет какой-то туманный, каша, которую Шухов ест на завтрак, «жёлтая», стекло на столе в санчасти «зеленоватое»; голубые петлицы на шинели Татарина «замусленные»; электростанция похожа на «скелет серый», а солнце «мглистое».

Фауна этого пустынного места ограничивается сторожевыми собаками, наводнившими шуховский барак клопами и больничной кошкой. Что касается растительности, то мы узнаём, что «хлеб растёт в хлебрезке одной, овёс колосится — на продскладе». «<...> И деревца во всей степи не было ни одного». Вышки, а не деревья возвышаются среди снежных равнин.

В этом голом, равнинном, холодном, бесцветном аду научился выживать Шухов. «Выживание... это умение отказываться и сопротивляться, а способность человека выдержать нечеловеческие трудности, его маленькие победы над мощной разрушающей силой являются видом жизнеутверждающего упорства»¹, — пишет Теренс

¹ *Press T. des. «The Heroism of Survival»*, Alexandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials, ed. by John B. Dunlop, Richard Haugh, Alexis Klimoff, 2nd ed. New York: Collier, 1975. P. 46.

де Пре. Исследователь подробно разбирает нравственную и человеческую ценность благородного долготерпения в экстремальных условиях, демонстрируемого Иваном Денисовичем и другими героями Солженицына. Можно добавить, что найденные Шуховым способы выживания, как почерпнутые им у других, так и придуманные своим умом и основанные на собственных талантах, являются проявлениями неукротимости его духа, свидетельством его неизменной человечности. Есть странная поэтичность в описании того, как заключённый Щ-854 использует свою скудную пайку и ветхую одежду, чтобы выстоять наперекор стихиям. В одной из самых трогательных сцен романа Иван Денисович испытывает почти восторг, поглощая миску баланды. В книге 9 своей «Республики» Платон описывает процесс, посредством которого человек возвращается к своему естественному состоянию: он ест, когда голоден; спит, когда устал; восстанавливает здоровье в случае болезни. Такие чувственные удовольствия, объявляет Платон, «всего лишь тени и картины истинного», последнее же есть «мудрость и добродетель»¹. Сам того не ведая, Шухов опроверг древнего философа, ибо научился привносить в акт простого приёма пищи (или выздоровления от болезни) «мудрость и добродетель».

Ивану Денисовичу не присущ ни нравственный самоанализ, ни богословские размышления. В его сознании нет места теодицее — объяснению того, как безграничную доброту всемогущего Бога можно примирить с реальностью и преобладанием зла. Он никогда не задаёт вопроса Ханна Арендт: «Где был Бог в Аушвице?» Он скептически относится к действенности молитвы: «<...> молитвы те, как заявления, или не доходят, или “в жалобе отказать”», — говорит он баптисту Алёшке. Всем известно, что ад — это место вечного возмездия, где душа грешника не знает конца мучениям. Кажется, что, по крайней мере, для Шухова Особлаг и есть такое место, откуда молитвы не доходят до Бога.

На самом деле мировоззрение Шухова скорее иррационально и мифологично: он не похож на убеждённо верующего человека. О Боге он говорит Буйновскому, атеисту сто четвёртой бригады: «Как громыхнёт — пойдя не поверь!» А также сообщает своему учёному собеседнику, что крестьяне из его деревни уверены, что старый месяц Бог на звёзды крошит. Похоже, что в споре о степени истинной религиозности русского народа, начатом склонявшимся к мистицизму

¹ См.: *The Republic of Plato*, 2 vols. Oxford: Clarendon, 1908, 2: 585 D.

Н.В. Гоголем и критиком-радикалом В.Г. Белинским ещё в 1847 году¹, Солженицын солидаризируется с последним!

Андрей Прокофьевич Тюрин, сильный характером бригадир, верит в ветхозаветного Бога мщения, наказующего людей за содеянное ими зло. Командиры, изгнавшие его из армии за то, что он сын кулака, сами были расстреляны в годы террора. Тюрин вспоминает, как, узнав об этом, он перекрестился и сказал: «Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь»². Хотя тут же говорит, что в 1937 году было совершенно не важно, «<...> были они пролетарии или кулаки. Имели совесть или не имели...». Кроткая и смиренная вера Алёшки резко отличается от суровости, присущей вере Тюрина. «Молиться надо о духовном, — говорит Алёшка, — чтоб Господь с нашего сердца накипь злую снимал...»

Шухов же не воспринимает ни Бога карающего, ни Бога спасающего: «Я ж не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите?» Иван Денисович может жить в месте, созданном злодеями, где «закон — тайга», но он отказывается признать, что каждый человек получает либо вечное проклятие, либо вечное блаженство. Его тихий вопрос является выражением инстинктивного отрицания — не Бога, но Системы, объявившей его и других эзков политическими «грешниками» и отправившей их в эту ледяную преисподнюю.

«Земля, что сердце к чувству хоть одно пробудит, / Вместит в себя и рай, и вечный ад» (*Эмилия Бронте*). Сердце Ивана Денисовича никогда не бывает глухо к чувству. В этом созданном людьми аду он сохранил нравственную независимость и человеческое достоинство, а потому, несмотря ни на что, остался свободным человеком.

¹ В книге «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) Гоголь идеализирует русского мужика, изображая его смиренным и набожным; в своём ответном письме Гоголю Белинский утверждает, что русский народ — «это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нём ещё много суеверия, но нет и следа религиозности» (*Белинский В.Г. Избранные статьи*. Саратов, 1974. С. 58).

² Это был один из отрывков, которые Солженицына попросили вычеркнуть, когда он представил «Один день...» для публикации в журнале «Новый мир». Писатель отказался: «Но тут предлагали уступить за счёт Бога и за счёт мужика, а этого я обещался никогда не делать» (*Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом*. С. 52).

А. Газизова

**КОНФЛИКТ ВРЕМЕННОГО И ВЕЧНОГО
В ПОВЕСТИ А. СОЛЖЕНИЦЫНА
«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹**

Содержание «Одного дня Ивана Денисовича» говорит о том, как человек из народа соотносит себя с насильно навязанной реальностью и её идеями. Поэтому самое глубокое впечатление мы получаем не от характера Ивана Денисовича, его выразительной фактуры, деталей внешнего поведения и речевого жеста. Здесь многое узнаваемо по ярким народным типам, традиционным для русской литературы — от классики до наших дней. Самое сильное впечатление производят на нас мысли Шухова, переданная монологической речью тайна его внутренней жизни. Точнее сказать, нас захватывает мышление бывшего крестьянина и солдата, а теперь рядового зэка.

Автор умело скрылся за спиной своего героя. Он не душит нас своим всезнайством, а деликатно соблюдает дистанцию и рассчитывает на вдумчивого читателя, на медленное чтение, которое только и возможно здесь.

Начнём, пожалуй, с мысли, до которой додумался Иван Денисович. Окончился рабочий день, все возвращались в лагерь. И вот эта мысль: «К вахте сходятся пять дорог, часом раньше на них все объекты толпились. Если по этим всем дорогам да застраивать улицы, так не иначе на месте этой вахты и шмона в будущем городе будет главная площадь. И как теперь объекты со всех сторон прут, так тогда демонстрации будут сходитья»². Так непрямым словом названа чёрная дыра беспамятства, где окажется звездообразный центр нового города. Он не будет живым и потому, что сегодня по завтрашним улицам ходят на работу градостроители-рабы: утром — на объекты, вечером — обратно. Зэки ходят по лагерному правилу, руки держа сзади, а голову опустив. Колонны идут, «как на похороны». «И видно тебе, — досадует Иван Денисович, — только ноги у передних двух-трёх да клочок земли, утопанной, куда своими ногами переступить. От времени до времени какой конвоир крикнет: “Ю — сорок восемь! Руки назад!” “Бэ — пятьсот два! Подтянуться!”» И, объясняя кому-то, с кем мысленно

¹ Литература в школе. 1997. № 4. Автор — профессор кафедры русской литературы XX века МШУ. — *Примеч. сост.*

² *Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича. М., 1963.* Далее цитаты даются по этому изданию. — *Здесь и далее примеч. А. Газизовой.*

говорит внутри себя, Шухов скажет: «Снегу не было уже с неделю, дорога проторена, убита». И «проторена», и «убита». Сразу. Как можно быть этому рядом? Одно слово длит дорогу, другое — прекращает. Для нормальных представлений о дороге это невозможно, но произошёл глобальный сбой времени, реальность первостроителей и реальность праздничных демонстраций на главной площади будущего города разведены и никогда не сойдутся. Найдено очень сильное эмоциональное выражение катастрофы: путь прекращается убийством.

Мне кажется, в этом нервном «узле» можно найти то, что заставляет А. Солженицына писать книги. Ими он хочет связать обе реальности, чтобы преодолеть бездну распавшихся времён. «Где мне о нас прочесть, о нас? Только через сто лет?»¹ — спрашивает смертельно больной бывший зэк Шулубин в «Раковом корпусе». Первым же опубликованным произведением — повестью «Один день Ивана Денисовича» писатель отвечал на этот вопрос. И название дал ей, понятное каждому зэку, — «Щ-854», и конкретизировал его для тех, кто не носил вместо имени и фамилии лагерный номер: «Один день из жизни зэка». Первоначальное название изменено было по совету А. Твардовского, и вышло правильно, потому что А. Солженицын написал книгу не об ужасах особого каторжного лагеря как такового, а о том, как обыкновенный зэк умеет выжить и остаться самим собой, складывая *свой* день внутри лагерного распорядка.

Писатель создал художественный образ судьбы человека, а не документальный портрет. Хорошо сказал об атом Виктор Некрасов: «Ведь это не сенсационное разоблачение, это — народная точка зрения»². И ещё он назвал повесть «жизнеутверждающей вещью». Здесь каждое слово и точно, и верно: народная точка зрения определила выбор героя, тон и пафос в изображении конфликта временного и вечного. Ни на секунду не прекращается мыслительная активность Ивана Денисовича Шухова. Он хронометрирует лагерное время по часам и минутам, всё, что видит его «острый глаз», описывает, во всё вникает, вдумываясь. Зэку часов не положено, и он привык определять время по большим приметам — космическим, природным — и по маленьким, ему лишь ведомым. Здесь ему приспособиться удалось, связи были понятны и устойчивы. Но ещё было «ихье» время, вне здравого смысла и привычного ритма.

¹ Солженицын А.И. Избранная проза: Рассказы. Раковый корпус. Повесть. М., 1990. С. 658.

² Цит. по: Решетовская Н. Восхождение // Культурно-просветительная работа. 1989. № 9. С. 46.

За плен давали сначала десять лет, потом за него же — двадцать пять. Окончание срока *для них* ничего не значило, его могли продлевать бесконечно, ничего не объясняя. Верить в «ихье» время было нельзя: «Шухову и приятно, что так на него все пальцами тычут: вот, он-де срок кончает, — но сам он в это не больно верит. Вон, у кого в войну срок кончался, всех до особого распоряжения держали, до сорок шестого года. У кого и основного-то сроку три года было, так пять лет пересидки получилось. Закон — он выворотной. Кончится десятка — скажут, на тебе ещё одну. Или в ссылку. <...> Так вот живёшь об землю рожей, и времени-то не бывает подумать: как сел? да как выйдешь?»

Они, рассуждал Иван Денисович, не подготовились как следует к началу войны, а десять лет лагеря получил он, попавший в плен и бежавший из него в первые же месяцы войны.

Вот и кавторанг Буйновский уверенно и зычно «отрубил», что и солнце теперь выше всего не в полдень стоит, как от веку было:

«— А с тех пор декрет был, и солнце выше всего в час стоит.

— Чей же это декрет?

— Советской власти!»

Иван Денисович «<...> и спорить не стал. Неуж и солнце ихим декретам подчиняется?». Крестьянское знание говорило, что такого быть не может, но краткий ужас он всё-таки пережил, и воспоминание о нём осталось. Замечательно передано в тексте, как от замешательства Шухов перешёл к сомнению и с крестьянской основательностью, «сощурясь», проверил солнце «на счёт кавторангова декрета».

К слову сказать, Буйновский олицетворяет тип идеологизированного человека. Он создан новым временем, не отягчён знанием о многоликости жизненных форм и парадоксальном их превращении, количественные признаки правильного человека в нём ещё не перешли в качественно новые. Поэтому он не мог трезво соотнести свой прежний статус с лагерным, чтобы мудро начать перестраиваться, чтобы не сломаться сразу, не впасть в истерику отчаянья, как это случилось на утреннем шмоне, за что он получил десять суток строгого карцера — опасное для жизни наказание. Привыкнув командовать на миноносцах, он кричал надзирателям, обыскивающим эзков:

«— Вы п р а в а не имеете людей на морозе раздевать! Вы д е в я т у ю статью уголовного кодекса не знаете!..

<...> Вы не советские люди! <...> Вы не коммунисты!»

В описываемое время у Буйновского не прошло ещё трёх месяцев лагерного срока, ему предстояло постепенно превратиться «из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотритель-

ного ээка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отвёрстанные ему двадцать пять лет тюрьмы».

А опытный лагерник силён извечным навыком сопротивления превосходящей силе: «<...> кряхти да гнишь. А упрёшься — переломишься». Двойственной реальности он противопоставляет двойственное поведение. Бежавший не раз из немецкого плена, переживший Бухенвальд, «тихий, бедолага» Сенька Клевшин говорил: «Залупаться не надо было! <...> Будешь залупаться <...> пропадёшь». Сильным и гордым людям типа кавторанга Буйновского такие правила эковского выживания кажутся унижительными, глупыми, может быть. Открытого возражения им в «Одном дне Ивана Денисовича» нет, но в «Раковом корпусе» оно есть. Приведу цитату, в ней прямой вопрос и такой же прямой ответ о правоте народного терпения, опирающегося на силу, что «гнётся, да не ломится, не ломится, не валится»:

«— Да неужели ж весь народ из дураков состоит? — вы меня извините!

— Народ умён — да жить хочет <...> пережить — народный закон»¹.

В одном из публицистических выступлений А. Солженицын сказал о «степени безнадёжности» и «степени надежды». «Степень безнадёжности» писатель уравнивает «степенью надежды» на то качество народа, что пересиливает всякую злую силу. Это качество — внутренняя свобода. Эталон внутренней свободы, эстетическое её воплощение — высокий старик Ю-81, против которого за вечерним ужином оказался Иван Денисович.

Шухов знал, что «<...> он по лагерям да по тюрьмам сидит несчётно и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали», но вблизи рассмотрел его впервые. Дальнейшее описание приведу полностью, оно стоит того. А. Солженицын придал ему форму стихотворения в прозе, настолько велико восхищение идеальным человеком:

«Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он ещё сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего — волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще упёрлись в своё. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщерблённой, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие дёсны жевали хлеб за зубы. Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до

¹ Солженицын А.И. Избранная проза... С. 621.

камня тёсаного, тёмного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться при-дурком. А засело-таки в нём, не примирится: трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а — на тряпочку стира-ную». Этот словесный портрет позволяет заглянуть за предел человече-ской стойкости и ощутить мощь абсолютного иммунитета к насилию.

Стушённая символика образа зэка Ю-81 очевидна, она и рассчи-тана на то, чтобы вызвать у читателя сильнейшее впечатление и дать простор его мысли. Трагическое достоинство, каменное упорство, этический максимализм, отрешённость от суеты напоминают нам о библейском страстотерпце Иове, о мифических титанах и шекспиров-ском короле Лире, если вообразить, что и они попали в каторжный лагерь навечно. Как соотносён с ним Иван Денисович?

Ю-81 описан шуховским словом, скрытая его поэтичность только подчёркивает восхищение и любованье им. Есть ещё тайная близость, и зэк Щ-854 никогда не ест в шапке, как бы холодно ни было, с пищей бережлив, но не жаден, никогда не «шакалит». А если не оставить без внимания выбор букв и цифр для номерных знаков, то можно соот-нести их, размышляя так: Щ-854 — один из предпоследних в тысяче, а Ю-81 — в сотне. И того и другого лагерная однозначность спихивает в цифровой блок, округлённый пулями. Символика алфавита, наобо-рот, приближает «Щ» и «Ю» к личностному «я». Чтобы подкрепить возможность такого рассуждения, приведу признание А. Солженицы-на, в котором «я» акцентировано, повторено дважды и потому внима-ние задерживается на нём: «Мне очень повезло, что я был в лагере и, главное, что я выжил там»¹: «я» выжило, чтобы найти себя в искусстве и оживить в нём лики тех, кого упрятали за алфавитно-цифровыми знаками. Разросшееся личностное «я» заставило писателя страдать о миллионах жертв и возвращать их имена и судьбы в нашу память.

Какую ниву палачи топтали,
Давили беспощадным колесом.
О, если б все замученные встали
И рассказали правду обо всём!²

Идея активной памяти и правды о ГУЛАГе, поэтически выражен-ная В. Боковым, стала сегодня общепризнанной. А. Солженицын был

¹ Солженицын А.И. О своих книгах и о себе // За рубежом. 1989. № 31. С. 23.

² Боков В. Из тех лет // Дружба народов. 1989. № 4. С. 134.

одним из первых, кто взялся за её реализацию в литературе и внедрение в общественное сознание. Он предан этой идее и сегодня.

А. Твардовский хвалил начинающего писателя за то, что он не сделал героем повести Цезаря Марковича. Можно добавить, что на роль героя могли бы претендовать и кавторанг Буйновский, и Ю-81. А. Солженицыну понятна была похвала поэта, написавшего «Василия Тёркина». Конечно, Иван Денисович появился не без влияния опыта А. Твардовского, но в следовании ему сразу заметно и отталкивание: контрастен жизненный материал, контрастен психологический портрет героя. Василий Тёркин всегда в центре описываемых событий, он любит балагурить, показать себя и свою скромность: «К чему мне орден? // Я согласен на медаль». Поэт, вступая в повествование, усиливает громкие интонации тёркинского голоса, ему нужно, чтобы все увидели, услышали героя, восхитились русским характером:

То серьёзный, то потешный,
 Нипочем, что дождь, что снег,
 В бой, вперёд, в огонь крошечный, —
 Он идёт, святой и грешный,
 Русский чудо-человек.

И театральные инсценировки поэмы насыщены шумными массовыми сценами, звуковыми эффектами, но и они не заглушают громкости Тёркинского голоса. А если представить спектакль «Один день Ивана Денисовича»? Звук и свет должны быть убавлены, никаких шумовых эффектов. Мне кажется, не нужно изображать шарканья эковских подошв, гула осаждающей столовую голодной толпы или бранчливых окриков надзирателей, чтобы не впадать в банальность. Поведение ээка Шухова резко отличается от тёркинского, и голос у него тихий, к тому же он шепелявит, и говорить он складно и распространённо, эпически повествуя, не умеет. Высказывания его предельно лаконичны и «сгущены», пояснения к ним потребуют многих страниц. Ни одно из высказываний вслух, адресованное многим, не создало массовой сцены, не изменило её хода или характера.

Пришлось ему, например, выручать посылку Цезаря, чтобы не попала она на глаза вороватым надзирателям и ээкам, вот он и пошёл на вечернюю поверку не как обычно, прячась в толпе «зверехитрого племени» и оттягивая выход на мороз, а появился на крыльце барака первым, как на сцене, и громко, озорно, по-тёркински ко всем обратился:

«— Чего испугались, придурня? Сибирского мороза не видели? Выходи на волчье солнышко греться! Дай, дай прикурить, дядя!

Прикурил в сених и вышел на крыльцо».

Дальше по принятым правилам драматургии должна была пойти массовая сцена, но здесь её нет. Никто не ответил Шухову, никто не подыграл чёрному юмору преисподней, прозвучал одинокий голос дерзко подбадривающего себя человека — и всё. (Автор неоднократно рисовал подобные ситуации, когда обрывался возможный диалог не по вине Шухова, и этим он заставлял остро ощутить его одиночество.)

В основном Шухов говорит внутри себя. Во внутреннем общении Шухов не ищет диалога, душа его как бы настроена на передачу свидетельств о лагерной жизни, а ум — чтобы выжить в ней. Он хронометрирует лагерное время и будто сообщает обо всём, что видит, слышит, понимает, оценивает, и лишь иногда он просто думает, отключаясь от сигналов опасности и гложущей заботы о хлебе насущном.

Слово героя сопровождает авторский комментарий, открывающий то, чего не мог знать зэк Шухов. Писатель умело спрятался за своего героя и своё отношение к нему ввел в подтекст, рассчитывая на вдумчивое чтение книги. Он выделил его среди других, дал ему слово, чтобы видна стала его душа и известны её страдания и радости. За одну из них (радость хорошо сделанной работы) Шухов готов был заплатить страшным лагерным наказанием.

« — Кончили, мать твою за ногу! — Сенька кричит. — Айда!

Носилки схватил — и по трапу.

А Шухов, хоть там его сейчас конвой псами травы, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал — и через стенку, слева, справа. Эх, глаз — ватерпас! Ровно! Ещё рука не старится.

Побежал по трапу».

Хороша была его кирпичная кладка!

Лагерная машина без видимых сбоев работала, уничтожая тело и дух людей, приносимых ей в жертву, но справиться со всеми одинаково не могла. За пределами досягаемости оставались мысли и воля к внутренней свободе. Не случайно А. Солженицын построил своё повествование на переживаниях и думах Ивана Денисовича, в котором трудно заподозрить сложную духовную и интеллектуальную жизнь. И самому Шухову в голову не приходит взглянуть на усилия своего ума иначе как житейски: «Дума арестантская — и та несвободная, всё к тому ж возвращается, всё снова ворошит: не нащупают ли пайку в матрасе? в санчасти освободят ли вечером? посадят капитана или не

посадят? и как Цезарь на руки раздобыл своё бельё тёплое? Наверно, подмазал в каптёрке личных вещей, откуда ж?»

Оценим работу его сознания с позиции автора, поставившего перед ним сложнейшую интеллектуальную задачу: найти себя, три своих времени и выжить достойно, укрепив в себе человека. Доверие писателя к герою покоится на том, что неразличимый в толпе «серый зэк» с этой задачей справился, избегая зла, опираясь на добро. В чём заключалась шуховская задача?

1. Он не мог жить в привычном ритме космоса, природы, напрямую с ним сообразуясь. Он насильно с ними разлучён.

2. От ритма крестьянской жизни и устойчивого миропорядка тоже отлучён — и, как видно, навсегда. Даже вернувшись домой, он не попадёт снова в этот ритм, который попросту разрушен. Жена пишет, что мужиков «с войны половина вовсе не вернулась, а какие вернулись — колхоза не признают: живут дома, работают на стороне». Иные в красилёй фальшивых ковров превратились и носятся по всей стране даже на самолётах, но не в поисках ремесла и дела, а за длинным и лёгким рублем. Шухову не нравится их заработок, «лёгкий, огневой», он не любит «лёгких денег», что и «не весят ничего», и, мечтая о деревне, хотел бы ремёслами своими жизнь поправить: «<...> неуж он себе на воле ни печной работы не найдёт, ни столярной, ни жестяной?» Но уверенности в возвращении не было: «Вот только из-за лишения прав не примут никуда, да домой не пустят <...>». Да и дома в полном смысле не существовало уже, и духовные связи с ним расшатались.

3. Лагерное время — часть «ихьего» и тоже от него не зависит. В этой точке разлада Иван Денисович осознаёт свою участь как трагическую. «По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что завтра, что через год да чем семью кормить. Обо всём за него начальство думает — оно, будто, и легче». Но автор поднимает своего героя до размышлений о трагической участи всех из-за сбоя времени. Вспомним те пять лагерных дорог. Прошлое, настоящее и будущее не сойдутся в круге вечности, и это печалит зэка Шухова.

Лагерная жизнь, как она ни регламентирована, предлагала зэкам выбор: были палачи и надзиратели, «придурки» и осведомители, «доходяги» и просто «серые зэки». Шухов выбрал последнее, но и там определился по-своему, тихо и незаметно для всех стал праведником. И тем вручил себя вечности. Об этом говорят кольцевая композиция повести и сюжет вполне благополучного, «ничем не омрачённого, почти счастливого» лагерного дня: «Засыпал Шухов, вполне удовлетворенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили,

на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся». Вот и день сложился.

Сделать выбор — не значит всё решить раз и навсегда. Каждый день и час, каждую минуту Шухову приходилось выбирать между добром и злом, силой и слабостью, достоинством и унижением, избегая лобовых, однозначных решений. Самое трудное в выборе — найти опору. В чём нашёл её для праведничества Иван Денисович? Ведь он как сын века был с Богом в раздоре, от почвы оторван, дома, семьи и свободы лишён. Сознание его было расщеплено. В размышлениях над этим вопросом я обратила внимание на то, что в речевую материю, из которой соткан солженицынский герой, сделаны редчайшие вкрапления ласкательных суффиксов: «одеяльце, тонкое, немытенькое», «иглочка с ниточкой» да «волчье солнышко» в январскую ночь. Эта ласкательность подчёркнута, а не общеупотребительна, как в словах «тапочки», «пайка» и других. Почему сделаны эти вкрапления? Подумаем.

«Одеяльце, тонкое, немытенькое» как-никак греет, «иглочка с ниточкой» выручает, а «волчье солнышко» означает народный нрав: «так у Шухова в краю ино месяц в шутку зовут». Но шутке этой с холодом и смертью (знак месяца) придан особый, зэковский смысл: все терпят волчий голод и холод, но нет свободы волчьей. (Шухов так и подумал — «зверехитрое племя».) А шуховский смысл этой шутки означает, что он-то, как свободный волк, вышел на охоту за добычей.

Ласкательно названы А. Солженицыным три фольклорных предмета, они и указывают на опору самостоянья, призрачную и реальную одновременно. Мысли и внутренняя свобода оставались вне пределов досягаемости лагерной машины, ведь этому зэку помогал древний опыт народа, живший в нём. Поэтому Иван Денисович умело складывает свой распорядок внутри лагерного, ещё успевает и другим услужить, помочь, утешить словом и поделиться крохами еды и курева. В соответствии с этикой «серых зэков» он не упустит, однако, случая обмануть, обвести вокруг пальца, грубо толкнуть того, кого презирает, — охранников, надзирателей, стукачей, доходяг... Он готов их понять, посочувствовать их тяжкому жребию, но уважать не может. С удовольствием подстроил он каверзу, вылив воду после мытья полов на дорожку, где ходило лагерное начальство, чтоб заледенела.

Таким образом, на страшном лагерном материале построил Александр Исаевич Солженицын свою философию бесконечно маленького и одинокого человека, который мешает отлаженной машине насилия

производить одномерных людей тем только, что во всякую минуту жизни остаётся личностью. Иван Денисович Шухов соответствует идеальным представлениям писателя о качествах народного духа и ума, дающих надежду на его возрождение.

В тихом его сопротивлении насилию выразились с огромной впечатляющей силой те народные качества, что не считались столь уж необходимыми в пору громких социальных перемен. А. Солженицын вернул в литературу героя, в котором соединились терпение, разумность, расчётливая сноровистость и услужливость, умение приспособиться к нечеловеческим условиям, не потеряв лица, мудрое понимание и правых, и виноватых, привычка напряжённо думать «о времени и о себе».

В. Акаткин

ПО КОМ ЗВОНИТ РЕЛЬС...¹

До сих пор укором и болью отдаётся в груди тот самый прерывистый звон — молотком об рельс у штабного барака, что прозвенел в предрассветной мгле на одном из бесчисленных островков ГУЛАГа. И поныне зовёт он нас на большой всенародный сбор, побуждая выйти из своих «бараков» и взглянуть окрест на всё содеянное.

Но, может, не то и не так увидим мы, пока не отстоялись наши души от наваждений и помутнений, пока клубятся за порогом утопические туманы, пока не ударил большой колокол истины и не разогнал утренний свет греховное хищное воинство, со всех сторон обложившее нас боевыми отрядами?..

Повесть «Один день Ивана Денисовича», вроде бы такая тихая, сдержанная, будничная, взорвала непробиваемые и непроницаемые ворота ГУЛАГа, сорвала фальшивые радужные покровы с передовой страны социализма и показала нас самим себе во всей роковой неприглядности. Мир знал о многом и ранее (Иван Солоневич и другие ещё в 30-е годы рассказали кое-что о великом эксперименте), но теперь это был звон изнутри, «оттуда» — не торопливые слова раздосадованного, обиженного беглеца, а неспешная, сдержанная речь простого человека из-за колючей проволоки, которой нельзя не поверить.

Трудно, сложно, с бесчисленными вопросами и недоумением, с горючим стыдом, праведным гневом и восхищением читался тогда

¹ Филологические записки. 1998. № 11.

«Один день Ивана Денисовича». Как не похожа была эта повесть на всё, что мы вчера изучали в школе, а сегодня доучивали на студенческих скамьях!.. И книга какая-то несолидная, маленькая, в мягкой обложке, и фамилия автора непривычная, нелитературная, трудновыговариваемая — язык сломаешь, и сам он не из тех богов, чьи парадные портреты висят по стенам. Да и пишет он о том, о чём не говорилось на уроках, — о чём-то дальнем-дальнем, утаённом, нас не касающемся... Но как строго и печально глядит он на меня с обложки, словно предупреждая, что книга эта — только начало, только заявка на что-то ещё более суровое и грозное, от чего он нас пока бережёт...

Прочитав повесть до конца, сжав зубы, неожиданно восклицаешь: боже, как всё это напоминает нашу послевоенную деревенскую жизнь, всё, что было перед глазами дома, в колхозе, в окрестных сёлах! Но как же можно так открыто писать об этом?! Ведь это только мы сами, про себя, должны знать, как мы живём на самом деле, ведь такая правда не для большой литературы, призванной воспитывать на хороших примерах, учить, вести куда-то. А порой и такие мысли приходили на ум голодному студенту: у тебя, Иван Шухов, хотя бы хлеб ежедневный с мутной баландой был, а мы ведь и того нередко не имели, зубами щёлкали, зелёные пышки из травы-муравы, давясь, ели, опухали с голоду и прозрачными, смиренными делались. Колючей проволоки и вышек, правда, не было, но куда и зачем побежишь за околицу?

Я носился с этой книгой, словно с редкостной находкой, словно сам там побывал и всё-всё узнал из первых рук. Но постепенно стал понимать: а не всем она по вкусу и по нраву — не те картины, слова и запахи, какие-то там эскизы снуют, а не привычные помещики, разночинцы или комиссары; придумано, дескать, это всё, вытащено со свалки ради момента или потехи... Сытые, благополучные, на служебные верхи вознесённые морщились и нос воротили от этой книги, будто от общественного нужника. Не хотели признавать за своего Ивана Шухова, а ведь это вчерашний крепостной мужик шагнул на страницы повести, тот самый, об освобождении которого так мечтала русская классика. У него и другие родственники есть в стране победившего социализма — герои Шолохова, Платонова, Твардовского, в особенности Никита Моргунок вкупе с Василием Тёркиным.

Но у Солженицына всё по-другому, всё вниз пошло, тут новая мораль, новые нормы поведения куются — подневольные, лагерные, уголовные: без бога, без правды и справедливости, тут закон — тайга. И всем на всё плевать: начальству на эсков, а этим на начальство вместе со всем лагерем. И только одно государство — незримое, над-

мирное, чужое и жестокое — давит всех, кромсая правых и виноватых. И растекалась ядовитой лужей по всей России эта уголовная мораль — помесь нигилизма, анархизма и рабства, и заражала миллионы, в особенности молодёжь. Какое уж тут «перевоспитание», чем так гордился сам Горький и его подручные в книге об истории строительства Беломорско-Балтийского канала имени Сталина, изданной в 1934 г. Перевоспитание, конечно, происходило, только в обратную сторону. Всё тут на излом, навыворот, всё подчинено логике неволи. Но и воля была не лучше, по её же подобию лагеря устраивались.

Больно смотреть, как превращался из «властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного зэка» кавторанг Буйновский. Но только этот, второй человек и мог тут выжить, а не первородный, настоящий Буйновский. Ибо настоящий, ходивший по морю и вокруг Европы, и Великим Северным путём, умер бы, но не взял лишнюю, незаконную порцию овсянки. А второй взял и рад. Так вот и ломался человек, ломался народ ведущей страны в лагере социализма. Интеллигенция здесь хотя и вместе с остальными за колючей проволокой сидит, да на другие работы ходит и на другом языке разговаривает: «<...> так редко русские слова попадают, слушать их — всё равно как латышей или румын»...

Обстоятельства здесь выше и сильнее человека, прямо-таки гора неодолимая, так придавили его, что он почти и не трепыхается. От подъёма до отбоя — всё через насилие, окрики, унижения, обыски, мордобой, угрозы сгноить в карцере. Только в работе слегка забывается человек, в ней зло отступает перед созиданием, правят усердие, смекалка и способности, а не дуло автомата. Хочет или нет Иван Денисович на волю, он и сам не знает. Тут ведь «дело привычное», а там вдруг ещё хуже будет? В своё время здорово ему попадало за это от бойких критиков, но они ведь не сидели с ним в лагере, доводы его им были неведомы. «Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями заглохнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать!» — поучает его баптист Алёшка. И Шухов не противоречит. Действительно, всё на воле растеряли...

Повесть Солженицына привлекла внимание миллионов читателей прежде всего новым материалом. Но не только. В ней новая интонация, новый ритм повествования, новый язык. Материал этот, до каждой мелкой детали, подвергнут тонкой художественной обработке, в ней ничего лишнего, торопливо публицистического, нарочитого. Кроме того, не всё тут в материале. Повесть сильна своим подтекстом, намёками, умолчаниями, едва обозначенными выходами во всю нашу

жизнь, в национальную историю. Автор тут многолик и многоглаз, он видит всё и говорит от имени всех — начиная от Ивана Денисовича и кончая страной в целом. Тут не только отдельные, едва намеченные судьбы, но и парадоксы нашей истории, злключения страны, для которой идея всегда была выше человека, а если она не срабатывала, искали причину в отдельных людях, клеймили «врагов», «вредителей», «предателей». А виноваты по-настоящему мы сами, все до единого, потому что так или иначе клюнули на ложную идею...

На кафедре советской литературы, где духовно царствовал певец нового мира Маяковский, повесть Солженицына поначалу была встречена приветливо и слегка снисходительно: вещь всё-таки разрешённая, к тому же правда в ней частная, отошедшая в прошлое, с верного пути не сойдёт. На этой волне даже тему курсовой утвердили: дерзай, только особого значения не придавай и голову не сломай... Но вот когда вокруг Солженицына загремели настоящие бои, когда догадались, что «Одним днём» он на весь наш строй, вместе с Октябрём и колхозами, замахивается, — тут уж церемониться не стали: кафедра, мол, антисоветчиками не занимается... Настойчивость моя ни к чему не привела, научный руководитель напрочь от меня отказался.

И вот моя зелёная тетрабочка с библиографией, конспектами и юношескими рассуждениями о причинах культа личности отложена в сторону, до лучших времён. Позднее, когда я собрался писать диссертацию по Солженицыну, пришлось упрятать в стол, в укромное место, и небольшую книжечку в мягкой обложке, изданную в 1963 г. «Советским писателем» с предисловием Твардовского. А потом, когда компетентные органы всерьёз за дело взялись, пришлось зашить этот «компромат» в тряпицу, чтобы дети не увидали и не проговорились где-нибудь.

Однако имя Солженицына звучало повсюду: все, что он писал, выросло, как находящая гроза, которая и грянула с появлением «Архипелага ГУЛАГ». Изданную за кордоном и тайно доставленную в Союз, эту книгу читали невероятными темпами и дозами, сутками не смыкая режущих глаз, чтобы успеть в отпущенные сроки. Вместе с этой книгой ожил вновь и Шухов Иван Денисович, но теперь уже на фоне бескрайнего зла, поднятого со дна человеческого бытия неистовыми ревнителями перманентной революции. Все злодеяния режима автор терпеливо собрал и переплавил в своё гневное слово, потому что свято верил: достаточно назвать зло — и оно будет побеждено. Разрушая одну утопию, писатель начинал создавать другую. Иван Денисович был мудрее.

Наследие Солженицына ещё не изучено. Придёт время — и его поставят в один ряд с великими протестантами российской истории, которым выпал жребий разрушения, но почти не оставлено сил и средств на созидание. Тяжкая это роль. Героическая, жертвенная, но опасная, потому что приходится постоянно иметь дело со злом, выискивать и преувеличивать его масштабы, чтобы оно не осталось незамеченным, и, напротив, невольно обходить и умалять добро, представлять его наивным и слабосильным. Преимущественно борясь со злом, постепенно свыкаешься с ним как с неизбежностью, и уже каким-то случайным, незаконным кажется добро. В духовной жизни России критический пафос стал преобладающим, зёрна отрицания проросли повсюду, забывая всходы добра. Вот так наша страна — нормальная, как и все другие, стала «империей зла», какой-то чёрной дырой на карте, ей уже нет места среди остальных государств.

Как только Солженицын почувствовал край этой бездны отрицания, он со всей истовостью стал искать последние скрепы, на которых удержится Российское государство. Он обратился к провинции, к земству, к религии и монархии, к правде и совести. Не поздно ли? Красное (или какое там ещё?) колесо разрушения раскрутилось так, что остановить его, рук не поломав, невозможно. Кто отважится? Кто в горящую избу войдёт? Или снова проболтаем, пока всё погорит, и разойдёмся по своим баракам до очередного удара об рельс? По ком же он звонил в предрассветной холодной мгле?

Не только по замученным и убиенным, но и по всем нам, загнанным за колючую проволоку. Звонил по всем призванным одолеть зло...

О. Алейников

**ОСОБЕННОСТИ ПОДЦЕНЗУРНОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ:
«ЗАПИСКИ ИЗ МЁРТВОГО ДОМА» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
И «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА¹**

Рассыпанные по главам «Архипелага ГУЛАГ» ссылки на жизненный и творческий опыт создателя «Записок из Мёртвого дома» обособывают линию анализа: уместно сопоставление текстов двух писателей — параллельное обращение к «опыту художественного исследования», «особым заметкам о погибшем народе». Нельзя не заметить у

¹ Филологические записки. 1998. № 11.

обоих писателей склонности при изображении общей жизни на каторге во многом отпращиваться от жанровой традиции «хождения по мукам»: путь их героев пролегает по сотворённой на земле преисподней. Вместе с тем «Записки из Мёртвого дома» задумывались Достоевским для подцензурной печати («Я убеждён, что напишу совершенно, в высшей степени цензурно»¹, — сообщал он брату в письме от 9 октября 1859 г.), тогда как, работая над текстом «Архипелага ГУЛАГа», Солженицын даже не предполагал увидеть свою книгу опубликованной в Советском Союзе. Проблема подцензурного повествования, установка на творческое усвоение приёмов легализации запретного материала были особенно важными для Солженицына во второй половине 1950-х годов, в период создания повести «Щ-854», впоследствии получившей название «Один день Ивана Денисовича» и опубликованной символически — через сто лет после «Записок из Мёртвого дома». В свете заявленной темы правильнее поэтому искать точки соприкосновения в произведениях, вынесенных в название статьи.

На подцензурное повествование ощутимый отпечаток накладывает внетекстовая действительность, официальные запреты. В различные эпохи последние, разумеется, не совпадают. Напомним, в частности, что в середине XIX в. цензурным запретам в России подвергались произведения в том случае, если: 1) они могли поколебать учение Русской Православной Церкви, авторитет «её преданий и образов» или всеобщую «историю догматов христианской веры»; 2) в сочинениях содержалось «что-либо нарушающее неприкосновенность самодержавной власти» или пропагандировалось что-либо «противное коренным государственным постановлениям». Не могли быть напечатаны произведения, вызывающие неуважение к «императорскому дому», к воинскому мундиру (на театральную сцену, например, актёрам разрешалось выходить не в воинском мундире, а в пожарном). Запретам подвергались также произведения, в которых оскорблялись «добрые нравы и благопристойность», а также «честь какого-либо лица».

К началу 1960-х годов советская цензура также имела целый реестр запретов, особый перечень материалов и сведений, запрещённых к публикации. За создание или распространение произведений, по официальному определению, направленных на подрыв основ Советского государства, граждане СССР преследовались в уголовном порядке по статьям 70 УК «За антисоветскую агитацию и пропаганду» и 190 «Распространение антисоветской литературы». Кроме того, существовали

¹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 23. С. 349. — Здесь и далее примеч. О. Алейникова.

запреты, связанные с требованиями неразглашения государственной тайны (в справочниках Главлита тема «мест заключения», например, специальным пунктом была причислена к такого рода тайнам). Запрет накладывался и на произведения, «очерняющие» или «искажающие» отдельными фактами социалистическую действительность, и на произведения, расхопившиеся с идеологическими официальными установками. Следовало, в частности, умалчивать о социальных конфликтах (например, между привилегированной партийно-советской номенклатурой и обычными людьми, между разными национальностями и т.п.). Не могли быть напечатаны произведения, «пропагандирующие образ жизни», чуждый советской идеологии; пресекались любые попытки, так сказать, художественно реабилитировать религию.

В своих решениях цензоры Главлита зачастую руководствовались ещё и выработанной за десятилетия консервативной эстетической интуицией. В печать практически не могли попасть произведения, нарушающие стилистическую норму предшествовавшей эпохи¹. Словесные формулы и клише официальной пропаганды (например, любые образования со словами «партия», «ленинизм», «коммунизм», «социализм») не допускалось употреблять в двусмысленном лексико-семантическом контексте. Рассказчик был обязан подтверждать и на уровне конкретной стилистики свою политическую благонадёжность. Типы повествования, ориентированные на социально окрашенное, разговорное слово, не соответствовали авторитарному стилю эпохи, на десятилетия нейтрализовавшему языковую стихию русской прозы.

В условиях подцензурного повествования выбору социального (и, стало быть, языкового) статуса рассказчика придаётся исключительно важное значение. В «Записках из Мёртвого дома» специально подчёркивается, что биография героя отличается от реальной биографии писателя, отбывшего срок по политическому обвинению. Повествование ведётся от лица вымышленного рассказчика Александра Петровича Горянчикова, осуждённого за уголовное преступление, а его рукопись издаёт ещё один реально не существовавший человек, какой-то коренной житель Сибири. (Впрочем, даже такая двойная передаточная инстанция не избавила книгу от прекращения публикации на четвёртой главе в еженедельнике «Русский мир».)

Нет автобиографического героя и в повести Солженицына. Характерно, что незадолго до завершения работы над произведением писатель отправил в редакции журналов резкие критические заметки

¹ Именно об этом, о «незаконной» стилистике, писал, обращаясь к IV съезду писателей, Л. Копелев в ответ на знаменитое письмо А. Солженицына. См.: *Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве: 1956–1980. М., 1990. С. 207.*

о выходявшей в начале 1960-х годов мемуарной литературе, полагая, что зависимая от цензуры мемуаристика не может ничего сказать читателю о проблемах, выдвинутых «мрачной эпохой». Но и «рукописи в рукописи» у Солженицына нет. Любопытно, что при первом знакомстве с повестью А. Твардовский сразу отверг мысль о любой мистификации, о подставном авторе: важным условием «проходимости» произведения было отсутствие даже намёка на литературную искусственность, на обычную для русской прозы XIX в. игру с читателем.

Лагерь в повести, по точному определению А.С. Берзер, показан «глазами мужика», картина удостоверена тем, что рассказчик по необходимости говорит «от имени себе подобных». О факультативной, так сказать, сверхэстетической задаче, возлагавшейся писателем на этот выбор героя и на забытые в то время формы повествования, Солженицын впоследствии расскажет в «Очерках литературной жизни»:

«Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв. Так и сбилось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот эта его доконная мужицкая суть <...>»¹.

Цензурные запреты практически исключают подробное описание жизненного материала, прямые аналогии и оценки, открытость авторской позиции. Очевидно, поэтому первые отзывы о произведениях Солженицына и Достоевского содержат одну общую подробность. Известно, что у председателя императорского цензурного комитета появились сомнения в возможности публикации «Записок из Мёртвого дома». Цензор опасался, что люди, «удерживаемые от преступления единственно строгостью наказаний», не приняли бы «человеколюбивый образ действий правительства» за «слабость закона». Картины каторжной жизни, по его мнению, выглядели у писателя приукрашенными.

Известен и отзыв В. Шаламова о повести «Один день Ивана Денисовича» как о произведении, в котором изображён лагерь «лёгкий», не совсем настоящий... «Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами. <...> Хлеб оставляют в матрасе. В матрасе! Да ещё набитом! Да ещё и подушка есть! Работают в тепле. <...> Где этот чудный лагерь?»² — писал создатель «Колымских рассказов» вскоре после выхода солженицынской повести.

¹ Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни. Paris: YMCA-Press, 1975. С. 27.

² Шаламов В. Из литературного наследия // Знамя. 1990. № 7. С. 67, 63–64. (См. также с. 49–60 наст. изд. — Примеч. сост.)

Чтобы увидеть произведения опубликованными, прозаики, конечно же, должны были идти на уступки: приглушать авторский голос, о важном говорить бегло, как о малосущественном, исключать из повествования или изменять отдельные сюжетные линии. Но эти уступки имели свои пределы. Не раз отмечалось, что в первой главе «Записок из Мёртвого дома» рассказывается об отцеубийце из дворян. Затем выясняется, что этот человек оказался на каторге безвинно. «Прибавить больше нечего, нечего говорить и распространяться о глубине трагического в этом факте», — негодует рассказчик. Может создаться впечатление, что сам по себе приведённый факт настолько красноречив, а герой настолько потрясён такой вопиющей несправедливостью, что ему недостаёт слов для осуждения судебного произвола. На самом же деле за этим патетическим заострением скрывается иное. Как установлено, военный суд только разжаловал подпоручика Ильина в рядовые за неблаговидное поведение. Покушение на отцеубийство не было доказано, но император собственноручно решил его судьбу. Наложив на судебное решение резолюцию «Отцеубийца не может служить в рядах войск...», он сослал разжалованного офицера «в каторжные работы на двадцать лет». Обстоятельства этой истории изначально не могли пройти через предварительную цензуру. И всё же Достоевский не отказался включить её усечённый сюжет в окончательный текст произведения.

Нередко в «Записках из Мёртвого дома» появляются художественно мало чем оправданные дополнения, как будто отстоящие от основного корпуса повествования. Этому есть объяснение. Там, где зарисовки и наблюдения в полной мере не отвечают требованиям цензуры, в повествование включаются так называемые «отступления» и «авторские примечания», специально оговаривающие каждый такой случай. Чаще всего рассказчик переводит план изображения в точно не определённое им прошедшее время, но далее, словно противореча себе, продолжает подробно разъяснять, казалось бы, лишь попутно упомянутую особенность каторжного существования. И делает это, кстати сказать, чаще всего с пафосом, говорящим о жизненности явления, ставшего предметом его рассуждений. Вот характерный пример:

«Здесь уже я сделаю одно отступление. К несчастью, такие выражения: “Я царь и бог” и много других подобных этому были в немалом употреблении в старину между многими из командиров. Надо, впрочем, признаться, что таких командиров остаётся уже немного, а может быть, и совсем перевелись. Замечу тоже, что особенно щеголяли и любили щеголять такими выражениями большею частью командиры,

сами вышедшие из нижних чинов. <...> Эта нахальность самовозвеличения, это преувеличенное мнение о своей безнаказанности рождает ненависть в самом покорном человеке и выводит его из последнего терпения. <...> Боже мой! да *человеческое* обращение может очеловечить даже такого, на котором давно уже потускнел образ божий. С этим-то “несчастливыми” и надо обращаться наиболее по-человечески. Это спасение и радость их»¹.

Иногда, предвосхищая запрет цензора, писатель использует сноски, опять-таки защищая текст фактором времени: «Всё, что я пишу здесь о наказаниях и казнях, было в моё время, — говорится в примечании к одной из глав о тюремном госпитале. — Теперь, я слышал, всё это изменилось и изменяется».

Таковы примеры. Но дают ли они основание принять точку зрения В.Я. Лакшина и согласиться с тем, что «цензурные опасения не раз толкали Ф.М. Достоевского под руку, и тогда его перо послушно выводило пугливые оговорки, которых ему самому было бы совестно...»?² Рассмотрим те же ссылки на прошлое. На первый взгляд перед нами вынужденные уступки цензуре. И только. Но примечательно, что точная хронология всех этих экскурсов в прошлое не обозначена. Зато в главе «Товарищи» словно нечаянно делается уточнение, указывающее внимательному читателю на реальный, а не сконструированный для цензора момент повествования. Сообщая о благотворном влиянии заключённых из дворян на каторжные порядки, рассказчик считает важным заметить, что «большая масса ссыльных дворян» уже давно, «ещё лет тридцать пять тому назад», в Сибирь «явилась вдруг разом». Характерны в данном случае эти «вдруг» и «разом»; намёк на причину этого внезапного «пополнения» вполне прозрачен. Живущему в пореформенной России читателю несложно совершить простое арифметическое действие, чтобы понять, что речь идёт не просто о дворянах, а о политических заключённых, не о случайном прибытии «большой массы», а о героях 14 декабря 1825 г. ...В свете сказанного иным становится и смысл приведённых выше отступлений и ссылок. О каком же давнем времени может идти речь, если время, определённое рассказчиком как «моё время», совпадает со временем непосредственного повествования?

Чтобы обойти ограничения и запреты, Достоевский использовал и другие приёмы (впоследствии — со второй половины 1960-х годов

¹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 4. С. 90–91.

² Лакшин В. Биография книги // Ф.М. Достоевский. Записки из Мёртвого дома. М., 1965. С. 11.

особенно — они будут применяться и русской литературой XX в.). Одним из них можно считать приём мнимой алогичности высказываний персонажей. В главе «Претензия», предостерегая Горянчикова от участия в выступлении каторжников, подавших жалобу начальству на плохое питание, некий поляк из дворян говорит герою: «Вспомните, за что мы пришли сюда. Их просто высекут, а нас под суд». Если поверить, что на каторгу Александр Петрович попал за уголовное преступление, фраза оказывается совершенно бессмысленной. Но слова эти намекают на общность взглядов и судьбы Горянчикова и политических заключённых.

Подчас в «Записках из Мёртвого дома» заявляет о себе и косвенная полемика с цензурой. Так, в главе о каторжном театре на сцене появляется писарь в военном мундире (как известно, запрещённом для постановок). Прибегает Достоевский и к символическим иносказаниям. Такова, например, сцена в бане. По силе изображения одна из самых заметных в «Записках...», она прозрачно соотнесена с образным рядом дантовской «Божественной комедии». Каторжная баня названа адом с вполне объяснимым художественным заданием. Её порог переступает главный герой «Записок из Мёртвого дома», ранее названный уголовным преступником. Но в этой сцене грехопадение героя символически опровергается его местоположением, пока каторжники парятся, — в первом круге. Как известно, в дантовской космогонии место это предназначалось без вины виноватым грешникам — некрещёным умершим младенцам. И Александр Петрович Горянчиков по аналогии оказывается таким же...

Говоря о творческом усвоении и развитии принципов подцензурного повествования во второй половине XX в., необходимо иметь в виду, что допустимые в XIX в. символические иносказания, откровенно вовлекающие читателя в семантически значимую игру, эзопов язык, рассчитанный на понятные, вполне прозрачные аналогии, к моменту создания повести Солженицына не могли быть в полной мере востребованы. Разрешались нейтральные эвфемизмы, прямо не называвшие явления и предполагавшие лишь некоторую информированность читателя о сути сообщения. Сама общественно-политическая жизнь второй половины 1950-х изобиловала примерами новоизобретённой лексики и фразеологии, подменявшей подлинный смысл высказывания штампами официальной пропаганды («культ личности», «возврат к ленинским принципам партийного руководства», «отдельные нарушения социалистической законности» и т.п.).

Цензуру пугали символические названия произведений. Поскольку дозволялась критика лишь отдельных сторон социалистического

общества, обобщение, содержавшееся в подобном названии, означало переход на другой — по масштабу — уровень восприятия и оценки. Поэтому редакторы искали замену символическим и откровенно публицистическим названиям. Чтобы избежать в первом случае многозначности, во втором — прямой авторской оценочности, подбирались достаточно нейтральные названия, подчёркивавшие частный характер событий. С согласия Солженицына авторский вариант названия повести «Щ-854 (Один день из жизни одного зэка)», который соединял публицистическое и символическое задания, был изменен на «Один день Ивана Денисовича».

Прямых ссылок на опыт русской прозы XIX в. в повести Солженицына нет и не могло быть в связи с особо пристальным вниманием цензоров к возможным аналогиям. И всё же отдельные приёмы подцензурного повествования, принятые в «Записках из Мёртвого дома», были творчески развиты Солженицыным в «Одном дне Ивана Денисовича» (особенно в кратких исторических экскурсах героев и рассказчика). Так, перемещая повествование в прошлое, зачастую Солженицын опускает подробности, не выстраивает всю цепочку событий, предоставляя читателю возможность связать отдельные эпизоды и факты в завершённую картину и личной, и всеобщей трагедии. Об одном из эстонцев, увезённых родителями ещё ребенком в Швецию, только сказано, что «<...> он вырос и самодумкой назад — в Эстонии институт кончат»¹. Что произошло дальше — неизвестно, только читатель видит этого персонажа на нарах, по соседству с Иваном Денисовичем. Рассказчик же уточняет, словно восполняя недосказанное: «А эстонцев сколь Шухов ни видал — плохих людей ему не попадалось».

Сходным образом охарактеризован в повести и Сенька Клевшин, трижды бежавший из немецкого плена, бывший узником Бухенвальда и теперь, после вполне понятных читателю, но не названных событий, тихо отбывающий срок в советском каторжном лагере. Благодаря экскурсам в прошлое героев (что мотивируется общей сюжетной ситуацией) писателю удалось рассказать в небольшом по объёму произведении и об участии русских пленных 1941–1942 гг., и о трагедии коллективизации, и — в рассказе бригадира Тюрина — намекнуть читателям о крестьянском видении участи палачей. (Кстати, после того как повесть была прочитана Н.С. Хрущёву и им одобрена, именно слова из этого рассказа: «Всё ж ты есть, создатель, на небе. Долго терпишь да больно бьёшь» — помощник Хрущёва просил снять. Сделать это Сол-

¹ Здесь и далее цит. по: Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича. М., 1963. — Примеч. сост.

женицын отказался и, возможно, поэтому в предисловии к журнальной публикации А. Твардовский был вынужден специально сказать о «горькой памяти тридцать седьмого года».)

Сообщаемые рассказчиком скудные сведения о прошлом самого героя дают понять, что изображённый в повести «день, ничем не омрачённый, почти счастливый», нельзя отождествлять с реальной жизнью сталинских лагерей. На эту особенность повествования впервые обратил внимание В. Шаламов в ноябре 1962 г.:

«Настоящий лагерь в повести тоже показан, и показан очень хорошо: этот страшный лагерь — Ижма Шухова — пробивается в повести, как белый пар сквозь щели холодного барака. Это тот лагерь, где работяг на лесоповале держали днём и ночью, где Шухов потерял зубы от цинги, где блатари отнимали пищу, где были вши, голод, где по всякой причине заводили дело. <...> Это грозное, страшное былое Вам удалось показать, и показать очень сильно, сквозь эти вспышки памяти Шухова, воспоминания об Ижме»¹.

В воспоминаниях оголодавшего Ивана Денисовича прошлое, предшествовавшее его службе в Красной Армии, двухдневному немецкому плену и советскому лагерю, хронологически не конкретизировано, но многозначительно разделяется только на два пласта: на «раньше», когда в деревне ели «картошку — целыми сковородами, кашу — чугунками», и «ещё раньше», когда ели «мясо — ломтями здоровыми». Как можно поделить довоенное время на две части, читатель вправе решать сам². Не только косвенная, но и прямая полемика с советской цензурой в повести Солженицына содержится в эпизодах обсуждения фильмов С. Эйзенштейна, в неприятии теории социального заказа.

Любопытно, что иные принципиально важные характеристики времени и «нравов» эпохи приводятся в «Одном дне Ивана Денисовича» как бы между прочим, выносятся за скобки как уточнения, необходимые лишь для полноты информации. Так, например, происходит при описании занятых расчётами надзирателей: «<...> они покинули шашки и сон и спорили, по сколько им дадут в январе пшена (в посёлке с продуктами было плохо, и надзирателям, хотя карточки давно кончились, продавали кой-какие продукты отдельно от поселковых, со скидкой)». Так происходит и при изображении мира вольных: «Ко-

¹ Шаламов В. Указ. изд. С. 63–64. (См. также с. 50–51 наст. изд. — *Примеч. сост.*)

² Впоследствии, готовя роман «В круге первом» для легальной публикации, Солженицын продолжит использовать сходные приёмы. Но в изменившейся общественной ситуации такие, например, «неосторожные» высказывания, как «ступени лубянские стёрты за тридцать лет», вызовут резкое неприятие редакторов: «значит, падает тень и на Дзержинского?» См.: *Солженицын А.И.* Бодался телёнок с дубом. С. 93.

лонна прошла мимо деревообделочного, построенного ээками, мимо жилого квартала (собирали бараки тоже ээки, а живут вольные), мимо клуба нового (тоже ээки всё, от фундамента до стенной росписи, а кино вольные смотрят), и вышла колонна в степь <...>». Рассказчик словно бы не настаивает на сказанном, но смысл его эмоциональных замечаний превышает рамки обычных уточнений, подсказывая читателю, что окружающий советских людей мир реального социализма вполне реально создаётся рабским трудом заключённых.

Обращает на себя внимание и характер использования в повествовании отдельных языковых клише эпохи. В частности, слегка изменённое «стахановец» употребляется в ироничном контексте, «советские люди» и «коммунисты» — в почти трагикомической ситуации. Зато понятные только посвящённым «сын ГУЛАГа» и «Кировский поток» никак не расшифровываются. В отличие от «Записок из Мёртвого дома» повествование в «Одном дне Ивана Денисовича» в целом рассчитано на частично уже осведомлённого читателя, способного не только понять смысл подобных высказываний, но и реконструировать поразившую их реальную действительность.

Разумеется, были сделаны Солженицыным и неизбежные уступки цензуре и редакторам. В журнальной публикации кавторанг Буйновский резко отзывался о западноукраинских повстанцах — в отдельном издании повести осуждение бендеровцев писателем было снято. Хотя в повести баптист Алёшка цитирует Евангелие (для подцензурной русской литературы середины XX в. сам по себе случай уникальный!), посвящённый в мысли героя рассказчик как бы вскользь дистанцируется от этих слов: «<...> они ведь, эти баптисты, любят агитировать <...>». И самому Ивану Денисовичу приписаны слова, в отрицательном свете подающие знакомого ему сельского священника. Кроме того, почти повсеместно в повести библейские источники в тексте адаптируются арестантским способом восприятия жизни. «— Из всего земного и брэнного молиться нам господь завещал только о хлебе насущном, — убеждённо читал своему соседу по нарам Алёша: — “Хлеб наш насущный даждь нам днесь!”

— Пайку, значит? <...>» — спрашивает Шухов, переводя язык Священного Писания на более привычное ему лагерное наречие.

И всё же именно в этой взаимообращённости столь разнородных типов мышления и их словесного выражения мы видим не столько уступку цензуре, сколько важную содержательную особенность повествования — его ориентацию на тип героя, на какое-то время уверовавшего в то, что и мироздание может быть переписано по ка-

торжным меркам. Именно поэтому ежедневный ритуал обновления лагерных номеров в сознании Ивана Денисовича ассоциируется с церковным миропомазанием, а старик художник, рисующий тюремную цифирь на шапках, уподобляется священнику, совершающему обряд крещения.

Тем важнее решение Солженицына выбрать в качестве окончательного названия повести не прежнее «Щ-854», а предложенный А. Твардовским вариант «Один день Ивана Денисовича», подчёркивающий внутреннюю способность героя к самостоятельному восприятию и оценке действительности. Тем принципиальнее представляются нам те символические иносказания-параллели, которые появляются в повести. До погружения в привычную трудовую стихию Шухов готов поверить в придуманный Буйновским новый закон советской власти об изменении графика движения солнца: «Неуж и солнце ихим декретам подчиняется?» После рабочего дня уже не Ивану Денисовичу, а кавторангу приходит очередь удивляться, когда он слышит от Шухова, как народное поверье объясняет исчезновение месяца с неба: «У нас так говорили: старый месяц бог на звёзды крошит». Характерно, что именно этот символический способ трактовки событий вызывал решительное несогласие некоторых редакторов «Нового мира», по сложившейся в советских журналах традиции осуществлявших функцию предварительной цензуры. И только особое отношение к повести А. Твардовского и Н. Хрущёва позволило опубликовать текст без серьёзных купюр.

«Не тон, а точка зрения удивительна — искренняя, естественная, христианская», — писал Л. Толстой Н. Страхову о «Записках из Мёртвого дома» 26 сентября 1880 г. Сходным образом мы вправе охарактеризовать и солженицынский шедевр: важнейшим качеством повести является, разумеется, не сообщение всей правды о советских каторжных лагерях (такой задачи писатель перед собой не ставил), а общая насыщенность повествования фактами и их осмысление с позиций христианской и народной нравственности.

Есть, на наш взгляд, и ещё одно очень важное сходство в произведениях А.И. Солженицына и Ф.М. Достоевского. В изображении прозаиков лагерь, каторга выступают миром, живущим по своим особым законам, но одновременно этот мир есть и естественное продолжение породившего его государства. В художественном обосновании подобного соотношения — главный смысл произведений Солженицына и Достоевского. Именно он не был замечен цензурой.

О. Павлов

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК В XX ВЕКЕ¹

Александр Солженицын в зазеркалье каратаевщины

Писателя Александра Солженицына с самого момента его появления в литературе оглашали «новым Толстым» и по сей день приравнивают его к «новому Толстому» или пеняют на «нового Толстого», кем он будто бы так и не стал. Но те, кто ждали этого второго пришествия — да так и не дождались, усматривая эгоизм самоназначенного мессии уже только в затворничестве Солженицына, и тогда видимое выдавали за невидимое. В основе своей Толстой и Солженицын как личности не имеют ничего общего, кроме заурядного совпадения человеческих черт. Будь то самоограничение или волевое осознание своих целей у Толстого и у Солженицына, это не натруженные мессинским призванием мускулы, а черты характера; человеческие черты, врождённые или воспитанные, то есть явившиеся ещё, быть может, и до того момента, как стали они собственно писателями.

Но соизмерять личности Толстого и Солженицына — это как землю мерить с воздухом или воду с огнём. Это не просто *иные* — это взаимоотталкивающиеся творческие стихии. Солженицын — борец. Толстой — созерцатель. Один взывал жить не по лжи, что подразумевало борьбу, возмущение. Другой исповедовал под конец жизни непротивление злу, смирение. Сердцевина личности Толстого — в мучительном отношении ко всем институтам современного ему русского общества, будь то собственность или брак, в котором он мечтал отыскать прежде всего нравственную гармонию, тогда как сердцевина личности Солженицына — изгойство. Толстой верил в мировую волю, эту веру воплотил в «Войну и мир»; Солженицын — волю мировую в «Красном колесе» разъял на осколки и судьбы, растворил в почти почасовой хронике исторических событий. Толстой полагал, что приносит своему народу какое-то страдание. Солженицын — что избавляет от страданий свой народ. Иначе сказать, один ощущал себя чужим и одиноким в своих убеждениях, тогда как другой писал от имени миллионов.

Но нет сомнений, что Толстой жил в сознании Солженицына уже как художник. Иван Денисович — из того же вещества, что и Платон Каратаев. В первый и единственный раз, в написанной дебютом вещи, в Солженицыне отразился Толстой в том виде, в каком только и мог

¹ Дружба народов. 1998. № 12.

он отразиться, — образом героя и духом повествования; а «Один день Ивана Денисовича» посчитали духовным и художественным продолжением толстовской прозы — началом «нового Толстого». Но, как это уже было в русской литературе, схватили с восторгом не того и понесли не туда. Солженицын заявил свой взгляд на этот образ: он Толстого не продолжал, а с Толстым спорил.

«Один день Ивана Денисовича» — это вещь прямого столкновения. Бывают взрывы, их называют «направленными»; таким вот «направленным взрывом», в смысле выхода энергии, был этот рассказ, заряженный от русской жизни, будто от гигантской живой турбины, которую во вращение приводили и реки, и ветры, и вся людская, мерянная на лошадиную, сила. Этой машиной, махиной, молохом был уподобленный миру лагерный барак. Отечественная война или, сказать иначе, передел мира образца 1812 года давал энергию такого же свойства, на которой написал Толстой уже не рассказ, а эпопею, но важно понять, что и рассказ, и эпопея здесь были только сферой этой самой энергии — энергии распада мира.

Писатель как личность, преломляя в себе эту энергию, должен не разрушиться — должен выдержать силу её напряжения в себе. Распад мира — это ещё не распад человека, человеческой личности, но если мир распадается, то распадается он на атомы, и эти атомы — люди. Или эти атомы всё разрушают, жизнь лишается смысла — и «всё завалилось в кучу бессмысленного сора», когда «будто вдруг выдернута была та пружина, на которой всё держалось и представлялось живым» (Толстой, «Война и мир»); или же всё-таки что-то даёт жизни смысл, ту самую пружину. Писатель, как проводник, воплощается в одном из атомов человеческого вещества — в том, где он чувствует, что энергия распада претворяется этим атомом, этой человеческой личностью в энергию жизни. Потому для русской литературы есть неизбежный герой.

Этот герой был неизбежным для Толстого и для Солженицына в том смысле, как неизбежно русский писатель становится проводником национальной метафизической энергии катастрофы, распада, сопротивляясь которой духовно он добудет неизбежно этот атом восстановления мира. Солженицын также неизбежно написал Ивана Денисовича, как и Толстой своего неизбежного героя. Иначе сказать, он мог ничего не знать про Платона Каратаева, но Иван Денисович Шухов явился бы ко времени, хоть и был бы не таков. Таков же он вышел потому, что был направлен не иначе, как от зеркала каратаевщины; но направлен — не значит, что «отражён». Он вышел прямо из этого зер-

кала, шагнул из него, как из другой реальности, вылупляясь на свет из зазеркалья каратаевщины, будто птенец из скорлупы.

Платон Каратаев, «каратаевщина» — это то, куда был направлен Толстой, но притом отыскал он в этом мужике не основу русского мироздания, а породил гигантский фантом. Взрыв произошёл, но это был тот взрыв, с таким направлением, который спрессовал из почти космических песчинок и пыли вселенную человека и народа, что родились не из жизни, а из вакуума, из толстовской «энергии заблуждения». Этот новорождённый из хаоса человек Толстого, самого своего творца, вовсе не умилял: Толстой изобразил его в том духе, в каком и подал его животную тень — длинную, на коротких ножках, «лиловую собачонку». Подобно тому как собачонка эта «очень скоро и очень ловко бежала на трёх лапах», так и Платоша — весело и ловко бежит, только «о двух» лапах, меж абсурда кровавого войны и лубочно-солнечных миражей мира. В описании собачонки дан Толстым уже иронический взгляд на олицетворение «всего русского, доброго и круглого», вырастающий, впрочем, под конец и до трагического: воя собачонки над местом, где французский конвой пристрелил доходягу солдата, откуда отшатнуло Пьера Безухова дальше по дороге, будто от царства мёртвых. Платошу своего Толстой оставил в том царстве мёртвых, а вот лиловая собачка — она на другой день конвой догоняет, объявляется живой.

Но Толстой глядел на Каратаева и вполне серьёзно. Мгновениями ясно чувствуешь этот его серьёзный, страждущий взгляд, который он только прячет в иронической усмешке. Говорить аристократу о любви к мужику в середине девятнадцатого века надо осторожно, с усмешкой — Пьер различает Каратаева в полутьме барака по запаху, и так вот, по запаху, и различали тогда мужицкую Россию: Толстой усмехается, обманывает для приличия «собачонкой», чтобы не шибало в нос и не отвращать от чтения, а сам до неприличия любит этим русским мужиком — язычеством его, как молится Фролу и Лавру на «лошадиный праздник»; мудрёным словесам; безвинными его страданиями... Он любит праведником, какие есть в народе и на которых, должно быть, стоит Россия, но нет их в его дворянском непростодушном сословии.

Все сословия в России кормятся от плоти этого праведника: эту псаху мужичью и празднуем мы с Толстым. На жертвенной крови русского мужика и покоится основание нашего мирозданья. Волей-неволей, но Толстой возводит в Каратаеве этот храм — храм мужика-на-крови,

в котором скоро не усмотрит он места и для Бога. А по Евангелию от Толстого — верует русская интеллигенция. Верует то особенное словие людей, которое взяло на себя добровольно миссию служения *общему*, то есть в конечном счёте самому безлично-общему, что только есть в России, — не принадлежащему самому себе *народу*.

Многое в «Одном дне Ивана Денисовича» совпадает деталями, обрисовкой, обстоятельствами с толстовской легендой о Платоне Каратаеве, так что порой кажется, что совпадения направлены, сознательны. Однако здесь и важно отделить сознательные совпадения в Шухове и Каратаеве от бессознательных — того, что есть в таком герое уже даже не типического, а архетипического (ведь это, повторимся, *атом* человека, то есть не тип, из жизни взятый, в жизни подсмотренный да обобщённый — это архетип, обобщённое природой, историей).

Архетипическое, бессознательное совпадение — в обстоятельствах. Это главное обстоятельство — *барак*. И с Иваном Денисовичем Шуховым, и с Платоном Каратаевым знакомимся мы в бараке. Этот человек, на которого каждый из своего века глядели Толстой и Солженицын, был не подневольный, не просто угнетённый, а заключённый, лишённый свободы даже в передвижении. Заключение, барак, такая вот несвобода, превращающая людей в одну сплошную безликую массу сдавленных друг с другом тел — это среда, где и высечется из массы атом человека, который, по Толстому, не мыслит себя отдельно, а имеет смысл только как частица целого, так что «каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнью»; а по Солженицыну — не верит ни в рай, ни в ад, считая их обманом, и, не желая жизни вечной, бессмертия души, не понимает своего интереса в жизни, кроме исполнения самых простых нужд, так что «он не знал, хотел он воли или нет». Этот человек в заточении обретал самого себя и неожиданно раскрывался в природных своих чертах — в сырости барачных прорастало семя, что должно было прорасти, будь ему земная-то жизнь волей. Этот человек абсурдным образом омужичивается именно в бараке, в неволе. А прорастало в нём семя христианское-крестьянское, но по-рабски уродливое. Рабство дало ему лживую свободу, безысходную свободу, свободу тайного действия. У Достоевского в «Записках из Мёртвого дома», где в подземелье каторги обнаруживает он галерею лиц и душ из народа, встречается тоже точно такой вот атом — Чекунов; человек с такой душой и лицом, даже повадками, как у Шухова и Каратаева. Это тот добровольный раб, который старался прислуживать герою

«Записок» в остроге, — как бы душевный раб, потому что услужить старался именно по доброй воле. Образы душевных рабов потом двоятся и троятся у Достоевского — это и Акулькин муж, и Смердяков, и мужик Марей... Но, повторюсь, этот атом человека не подглядывали и не писали его, как с натуры; именно он, уже как не тип, а как архетип русского человека, рождал сложное и чем-то кровно-тяжеловатое, тягостное к себе отношение — тот самый *серьёзный* взгляд. Серьёзность отношения порождала в свой черёд тот эффект, как если бы кусочек глины лип к рукам и из этого кусочка уж начинали лепить, ваять на свой взгляд фигурку, — эффект переноса на фигурку собственного скрытого внутреннего смысла, так что фигурка стала магической, мистической, имела уж особый, сокровенный смысл. Такой сокровенный смысл стала иметь в русской литературе фигурка ДУШЕВНОГО РАБА; в общеупотребительном стыдливом понимании — фигурка МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА.

Метафорическое «маленький человек» сначала для обозначения только фигурки Каратаева употребляет настойчиво и Толстой, зная, что каратаевы в России — это вовсе не люди в правах своих, а крепостные рабы. Так же бессознательно направлен был Солженицын отыскать в лагерном бараке, уподобленном миру, магическую фигурку маленького человека, тоже, однако, зная, что шуховы в России Советской — рабы; но именно человеческое, а не рабское желает видеть и Солженицын в судорогах выживания да повадках уже советского лагерного раба.

Сознательные совпадения у Каратаева с Шуховым — это детали. Именно детали возможно без труда изменить, подменить на другие, но Солженицын деталями будто б сознательно и сталкивает Шухова с Каратаевым, а уже только своей обрисовкой продолжает он линии скрытые или недописанные Толстым, давая свою дальнейшую версию каратаевщины, но вольно или невольно уже только разоблачая, что было скрыто за фантомом, за недосказанностью.

Уже начало «Одного дня Ивана Денисовича» — это раскрытие всех деталей, зароненных Толстым в полуслове. Сказано у него, что Каратаев ходил за чужими посылками, без разъяснения, отчего ж это было нужно ему, а Шухов, как нарочно, с этой мысли начинает день, и с первой страницы нам Солженицын разъясняет: за посылкой мужичок этот сбегает, чтобы услужить; это одна из «лагерных подработок», но вот только подработать может лишь тот, «кто знает лагерную жизнь». Подработать: «<...> шить кому-нибудь из старой подкладки

чехол на рукавички; богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вокруг кучи, не выбирать, или пробежать по каптёркам, где кому надо услужить, поднести или поднести что-нибудь; или идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку — тоже накормят <...>». Ремеслом этим владеет Каратаев — из *деталей* этого ремесла выживания, что даны Толстым, разворачивает уже *картину* жизни лагерной, самого выживания Солженицын.

Нескоро, но совпадает ещё одна важная деталь: мы узнаём, что Шухов не какой-нибудь заключённый, а солдат и что его барак теперь — это по сути продолжение плена. Так и Каратаев — солдат; и он в балаган засажен как пленный, а это состояние и подразумевает — безвинный. Не за грехи, а по велению рока засажены в барак два русских солдата — осколочки двух величайших для своих веков войн. Этот рок войны лишил личной судьбы, и солдат весь во власти его. Судьбы нет. Жизнь, где корни были этой судьбы, прекращена — вот то, что и сделали этот атом человека поневоле-то «частью целого». Ещё деталь в обрисовке — Шухов и Каратаев женоподобны, слащаво-мягенько говорят, «с нежно-певучей лаской, с которой говорят старые русские бабы». Если мужчине не служит женщина, жена, а по солдатской службе забыли они своих жён, то женское является в его характере. Все служки так или иначе женоподобны, зато их избалованные холёные господа напитываются неожиданно мужественной грубой силой. Барство внешне воинственно, по-мужски крепко, потому ему прислуживают. А у Солженицына читается и другая неожиданная мысль: его Иван Денисович никогда не мог быть хозяином, не мог быть господином в своей семье, потому что столько денег, чтоб её содержать, никак нельзя было ему честно заработать. И снова, если не хозяин, не господин, хоть уже и в семье, то мужская сила убывает. Мягкость, кротость в Иване Денисовиче и Каратаеве является будто б не от душевной силы, а от слабости душевной. «Младшего-то нарядчика разве Шухов боится <...>»; а вот пугается в балагане по-бабьи Каратаев, когда Пьер громко возмущается о расстрелянных: «— Тц, тц... — сказал маленький человек. — Греха-то, греха-то? — быстро прибавил он...» Какого греха-то? Кого он боится? Кругом ведь свои, да и то храпят вповалку, а французы из конвоя русской речи-то не поймут. Значит, боится сам себя, страхом уже бессознательным, страхом слабости своей, добровольно себя страхом угнетая, когда даже нет для него причины.

Жизнью барачной, рабской в России разрушено прежде всего мироздание семьи. Бабы стали за мужиков — там, в них, есть та сила, что

убыла по-рабски в их мужьях; что это за сила — расследовать будет Солженицын в «Матрённом дворе», а Толстой — во всех своих женских образах, которые тем его и притягивали, что в русской женщине чувствовал он неосознанно сокрытую другую волю к жизни, сохранившийся заповедник души, где всё ещё можно было спастись от затлости балагана, барака.

Внутри повествования как у Толстого, так и у Солженицына введены также легенды человеческих судеб, но где есть обобщения, схожие с библейскими притчами, — рок уже как Божья воля, причинность временная раскрыта уже как причинность вечная. Легенда о безвинном купце — катарсис по Толстому, катарсис, которым разрешается бытие для Платона Каратаева. И тоже о безвинно виноватом — это сказ бригадира Тюрина, легенда о комвзвода, и это катарсис, но детально другой. Купец, оклеветанный в убийстве, мучаясь за чужой грех, понимает так, что мучается за свои грехи и по воле Божьей, потому что «мы все, говорит, Богу грешные»; с ним встречается на каторге настоящий убийца, раскаивается, но, как приходил указ выпустить невинного купца на волю, стали искать, а он помер — «его уж Бог простил». Тюрин же, уличённый как сын кулака, после своих и не мучений, а мытарств, продолжая жить, вспоминает, что позднее узнал о судьбе своих командиров-судей: «<...> расстреляны в тридцать седьмом. Там уж были они пролетарии или кулаки. Имели совесть или не имели... Перекрестился я и говорю: “Всё ж ты есть, создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь”».

Солженицын однажды высказал прямо свою личную версию Каратаева. Насколько была она для него определяющей в его собственной работе, то есть имела ли на неё такое же прямое влияние, — об этом утверждений его нет. Не соглашался же он с Толстым так, будто б Каратаев принадлежал не толстовской эпопее, а самой жизни: он, Каратаев, вовсе не всепрощенец и не такой уж простодушно «круглый», так вот утверждал Солженицын, он хитрит, ловчит, понимая по-своему, что в этом мире да почём... Что же затаилось в Каратаеве, какая такая душа? Все душевные качества каратаевщины проявляются ясно, резко в Шухове, принимая вовсе другой смысл.

Является не праведный человек, а «правильный зэк». Праведности нет, а есть правила, неписаные лагерные рабские законы: «Вкальвай на совесть — одно спасение». Но в том, что делал Каратаев ради спасения, исполняя правила жизни в бараке, Толстой увидел глазами уже другого своего героя, Безухова, — осмысленность и праведность му-

равья, что тащит и тащит свою соломинку в общую кучу, созидавая мир и жизнь. Безухов различил мужика в бараке по запаху, но ведь и мужик без ошибки различил в полутьме, в потерявшем свои сословные одежды человеку, барина — не иначе ведь тоже по запаху: «— А много вы нужды увидали, барин? А? — сказал вдруг маленький человек». После делится с ним он «важнейшей» из супа картошечкой, а откуда она у него? почему вдруг-то *барина* подкормил?

Вся суть в том, что вот перед нами два природно русских человека, барин да мужик; тот, кто ничего не умеет сам себе добыть, и который — всегда себе зарабатывает, кому «деньги приходили только от честной работы». Служить — это и есть честная работа душевного раба, а чтобы работать да выживать, нужен ему так вот душевно барин, хозяин.

Тут уже не один атом, а два, в своём соединении: Каратаев — Безухов, Шухов — Цезарь. Мужики — и через сто лет солдаты, а господа сменяли профессию; Цезарь не граф и не дворянского сословия, а, видимо, из творческой интеллигенции, но этот советский интеллигент — барин. Что удивительно, барством не веет от конвоя, от начальства, но шибает от Цезаря, хоть он в бараке такой же арестант, как и Иван Денисович. Шухов же притягивается именно к Цезарю как магнитом; как магнитом притягивает во тьме крошечной барака мужика к барину. Между двумя этими людьми, этими атомами есть такая вот притягательная сила даже в бараке, потому что Цезарю «разрешили» носить чистую городскую шапку, а Безухову «разрешили» выбирать, в каком балаганчике, с офицерами или с солдатами, сидеть. Француз-конвоир тоже никогда б не поделился табачком с Каратаевым, а с Безуховым ему есть о чём говорить, Безухова он угощает как равного. И потому барин так важен становится мужику, что только через барина может просыпаться и ему крошка табачку: манит запрещённое, манит та действительная явная свобода, воля, которая в самом есть только как тайное действие.

Мужик будто б воспроизводит в служении рабском барину свою мечту о свободе.

Но Цезарь делает то, на что Иван Денисович, работяга, неспособен уже нравственно: Цезарь устроил себе и в бараке полубарскую жизнь тем, что смог «подмазать» начальству, а ещё потому, что вовсе-то не постыдился взять в услужение себе подобных, поставить себя во всех смыслах выше таких же, как сам, собригадников, — выше шуховых. А на каком основании? А на том, даже внешнем, что ему не о чем было с ними говорить, что он с ними общих не имел мыслей и прочее, скажем, об искусстве. Из всех Цезарь близок только с кавторангом,

остальные — не ровня, и если даст он Ивану Денисовичу окурочек, то за службу, а не по душе.

Шухов, раб лагерный, способен без всякой выгоды вдруг пожалеть Цезаря. Такой же жалостью к Безухову способен проникнуться и Платоша Каратаев. Но вот и Безухову было не о чем говорить с Каратаевым — он только его *слушал*. Окажись Безухов на сталинской каторге — быть ему, как и Цезарю, придурком, сживал бы тоже в на-топленной конторке. Даже когда должны Каратаева пристрелить как собаку — нечего Пьеру сказать, и жалости существенной к издыхающему солдату нет; потому нет жалости, потому не жалеет, что слабее ведь он этого мужика, — даже умирая доходягой, тот оказывается духом своим сильней барина. Оказывается, барин в России душевно слабее своего раба! Но не иначе и Каратаев ждал, как ждал Иван Денисович, стоя столбиком при Цезаре, что заметит его Безухов да «угостит покурить», но и о нём — *не помнили*.

Загадка другая — почему барак для мужика становится как дом родной? Для него работа — свобода. Что считает Шухов в лагере *своим* — всё, до чего коснулся своим-то трудом. Он кладёт и стену лагерную, как свою. Ему жалко обломка пилки, и он рискует с ней жизнью, потому что жалко уже-то как своего. Что воля, что неволя, будто ничего у него не отнимают. Но единоличие, с другой стороны, тому же Шухову в мыслях его о колхозных мужиках, что не ходят на *общие работы*, ради своего огорода и прочее, отчего-то претит. Он *общее* воспринимает как своё — вот разгадка. Он делает для людей, то есть во имя *общего*, как для себя. Для барина ж своё — это то, что он отделил себе от общего. Только конторка для Цезаря — своя, и он не ходит на лагерные *общие работы*, потому что именно работать может только единолично, только для себя.

Но в то же время в барстве есть неожиданное моральное превосходство над мужиком: чего нельзя честно заработать, то Иван Денисович или Каратаев умыкнёт, сворует — лишнюю порцайку или обрезков на обмоточки. Вот и скармливает Платоша «важнейшую картошку» Безухову, и тот съедает с восторгом жизни, не согрешив, а ведь могла это быть та картошина, которую б Каратаев умыкнул, своровал из котла, как делает это без зазрения совести Иван Денисович¹, — с него-то, с мужика русского, станется, «что он, миску стережа, из неё картошку выловил». Так подкармливает русский мужик безгрешного русского барина ворованной картошкой, продлевая-то барский век!

¹ Здесь автор статьи ошибочно приписывает Шухову действия «шакала» Фетюкова. — *Примеч. сост.*

Но ловчить на лету — для мужика «правильно», потому что нет в его голове мыслей о праведности, а есть та простая, вот уж именно простодушная мысль, что мир никому не принадлежит, а если и принадлежит, то всем, — и это правильное, справедливое положение мира. Каратаев в солдаты попадает, как в наказание, потому что поймали на порубке в чужом лесу, понимай так, что в барском. Так вот, для барина грех — это когда мужик дровишек в его лесу нарубил. А мужик и не подумает, что грешит, для него всегда подспудно этот барский лес был ничьим, общим, всечеловеческим. И за такие грехи — не заставишь мужика мучиться. Потому есть ложь в том, что Каратаев умиляется, когда Бог ему смерть дал, будто грехи простил, но нет лжи в том, что Иван Денисович крестится, когда надо пронестись над гибелью, а «с благодарностью» за спасение уже не крестится.

Толстой хотел видеть религиозный тип в Каратаеве; Солженицын в Шухове — увидел без прикрас честную земную мужицкую веру, проговорив, что страдает Иван Денисович не за Бога и главный его вопрос: за что?! Так и Безухов не понимает: за что?! за что страдают люди безвинные? И это вопрос, который чуть не отменяет в России Бога. В царство Божье возвращает «счастливый билет» Иван Денисович, но это же и карамазовский вопрос, вопрос уже для человека, по-господски просвещённого, образованного. В России будто б никто — ни мужики, ни бары — не в силах верить в такого Бога, каков он есть, но как духовные рабы уж в высшем порядке жаждут душевно Господина, Хозяина над собой: жаждут *другого* Бога с такой силой, что уже ему и служат и верят, как если б не пусто это место, — как бы где-то там он уже есть, тот создатель, что долго терпит, да больно бьёт! Вопрос — за что?! — решается почти ветхозаветной мезьей жизни; таким сиротством, таким раскольничеством, что вся-то жизнь уходит в барак, где грехи всех сваливаются в один грех, в одно греховное месиво; «Я ж не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите?»

Солженицын миловал Ивана Денисовича — не казнил. Он сродняется с ним душой, оставляет кое-где недосказанности, чтобы было ему куда расти, но честно сам же описывает, что расти ему только и можно — от сих до сих. Шухов почти освободился, почти отбыл свой срок, но на свободу уйдёт — делать, как на лагерной фабричке, всё равно что зэк, дешёвые крашенные коврики... «Один день Ивана Денисовича» — это не лагерь, увиденный глазами мужика; это лагерь, увиден-

ный глазами Писателя. Солженицын заблуждался, когда утверждал, что Толстой писал *свободно* — в силу своих обстоятельств эти два писателя свои взгляды самые сокровенные всё же глубоко запрягивали, отбрасывали от сокровенного обманную тень. Хоть был сокровенен Толстому этот мужик, а вот оглушил он его, принизил лиловой кривоногой собачкой.

Солженицыну ж, кажется, в рассказе его был сокровенным не только Иван Денисович, но и мелькнувший под самый конец рассказа человек — и мелькнувший-то не иначе, как тенью Ивана Денисовича:

«Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он ещё сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего — волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще упёрлись в своё. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщерблённой, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие дёсны жевали хлеб за зубы. Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что не много выпадало ему за все годы отсидиваться придурком. А засело-таки в нём, не примирится: трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в роспесках, а — на тряпочку стираную».

Только в полуслове даны детали, только взгляд молчаливый указывает — вот он! Тот, который знает, за что терпит. Но и терпение его — это не всепрощение, а это терпение в непокорности, в сопротивлении окружающим нечистотам и злу. Это тот человек, в ком сохранилось достоинство человеческое. Не раб и не барин — человек. Тот, что не покорился общему во зле и жить не стал по тем правилам, что и все. Но ни Толстой, ни Солженицын так и не сознались до конца и не произнесли *свободно*, что Каратаев и Шухов были лишены всех человеческих прав, были примерными рабами.

Сострадая рабам, желая видеть в рабских, рождённых в неволе чертах русского человека не темноту и порчу, а свет страдальческий, добровольно обманывалось и всё сословие русских писателей. Всё это сословие — свободное, — вместо того чтоб проклясть рабское и в человеке, и в жизни, раскаивалось безуховыми да цезарями в своём барстве, а каратаевыми да шуховыми избывало виноватость за свободу своего-то положения перед поработённым русским мужиком.

Раба в России это сословие не осуждало и проклинали, а жалело да любило, делая само рабство уже религиозным, надмирным каким-то состоянием, видя в рабах святость да праведность. Иван Денисович, по Солженицыну, оказывается в конце концов тоже праведником, за праведность всё он и прощает ему, однако из-за плеча этого праведника указал нам уже не на раба, а на человека — на того, кто «трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол». Этот стойк, узник своей совести — такое же русское явление, что и раб душевный. Солженицын написал этот образ в помощь Ивану Денисовичу, желая видеть уже двух этих русских людей — праведника и стойка — основой, твердь. Но что скрепляет своим душевным рабством Иван Денисович? Кажется, только рабство он и делает в своей душе сильней.

Так по пути ли им?

Солженицын, наделяя Шухова частичкой своей души и прошлого, сам не обратился в это ж обаятельное рабство своей судьбой: любя шуховых, сострадая шуховым, и он-то в своей жизни «трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол». Но, с другой стороны, Солженицын писал уже в ту эпоху, когда, как сахар в кипятке, для большинства русских людей растворилось понятие Родины, понятие их русскости и общности как народа. У одних не было ничего за душой, кроме советского их настоящего. У тех, кто призывал восстать из скотского состояния, — у стойков — было сильным убеждение, что все они жили в советское время не на своей родной земле, а в «системе», в «коммунистической империи», будто с рожденья надо знать, что та земля, где ты родился по воле Божьей, — это не родина, а чужое тебе «системное» образование, где уже затаился в твоём же народе внутренний враг, душитель твоей свободы.

Это отражение зеркальное советского иезуитского духа воспитывало уже в людях свободомыслящих ту же чуждость, как у бездомных, — что у них ничего родного и святого, кроме пресловутой этой «свободы». Солженицыну в Иване Денисовиче было сокровенным, что этот человек хранил в себе чувство родины... Всё кругом родное, хоть и скотское. Страшно восстать — страшно рушить родное. Страшно бежать, потому что некуда бежать со своей родины. «Но люди и здесь живут». Этот камушек и пронёс за пазухой Солженицын в литературу, заgrimированный для тех и других с «Одним днём Ивана Денисовича» под мужика. Катастрофу Солженицын почувствовал в том, что некому Россию полюбить, будто б нет её у русского человека, родины-то. Катастрофа — это лагерный русский народ без своей

земли и чувства родины да лагерная русская земельюшка — без своего народа, что давно уж никому не родина. А с этой своей простодушной любовью к родине, ко всему родному и делается Иван Денисович неожиданно стойким и главным для Солженицына человеком, его-то *атомом восстановления*.

Где находит успокоение, согласие духовное с миром главный русский человек, где ж его «счастливый день» — это стало развязкой обоих творений, что власть имеет только в их хрупких, сотворённых пределах. А что, если попадётся в декабристы Безухов? А что, если на другой раз не обманет Иван Денисович вертухая, пронося что-то запретное на зону? Круги расходятся и расходятся — недаром замысливал Достоевский «Житие великого грешника», потому что никогда в судьбе русского человека первым кругом ничего не кончалось, а скорее даже, что наоборот — первый круг только давал разгона рокового судьбе. «Красное колесо» должно было провести нас всеми этими кругами, но круги ж расплылись дальше и дальше; стоило одолеть один круг истории, как трещали узлы и возникал на горизонте тот, что и не предполагался, — колесо не катилось, а обхватывало обручем своего рокового бесконечного кольца.

Но Солженицын в «Одном дне Ивана Денисовича» показал то, что кроется внутри этих кругов. Он же осмелился показать всю несостоятельность власти духовной, как двулично интеллигентство, что налагает моральные запреты на естество, чтобы себя же в моральном и социальном положении возвысить над естеством простонародья. Солженицын не создал духовного учения, потому что его ЭНЕРГИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ и его одиночество человека непримирившегося никак не могли обрасти толпой, пускай даже ревнителей да сподвижников. Литература — это главное дело его жизни, сфера его долга и ответственности как художника, но не вершина для влияния... Человек верующий, обретший веру, он не проповедовал власть духовную Церкви. Не преломилась в личности его и сама Власть. Он остался от неё в отдалении, не сближаясь с ней, даже для борьбы. «Письмо к вождем», «Как нам обустроить Россию», его политическая проза — это не заявка на Власть, а гражданское к ней послание человека, далёкого в силу своей любви к России от всякой политики.

Солженицын и есть — русский человек в XX веке, и не один он был таков; тот русский человек, что отыскал в этом веке и правду, и свободу, и веру. Отыскал, будто лучик света, свой ясный да прямой путь.

С. Кормилов**«МЫ ЗАБЫЛИ, ЧТО ТАКИЕ ЛЮДИ БЫВАЮТ»¹***Ахматова и Солженицын*

В воспоминаниях Наталии Роскиной об Ахматовой есть одна существенная ошибка: «Когда вышел номер “Нового мира” с “Одним днём Ивана Денисовича” и Солженицын стал необыкновенно популярен, он захотел побывать у Ахматовой <...>»² На самом деле их заочное и очное знакомство произошло до выхода «Одного дня...», до всеобщей популярности его автора и отразилось на ахматовской творческой биографии. В первой половине сентября 1962 года у Анны Андреевны кончился комаровский дачный сезон. В записной книжке появились два помеченные латинскими цифрами I и II стихотворения, связанные не только размером, но и содержанием. Одно, четырёхстрочное: «[Что] Как? — тебе ещё мало по-русски / [Что] И — ты хочешь на всех языках? / Знать, как круты подъёмы и спуски / И почём у нас совесть и страх?» (ЗК. С. 257) — при жизни Ахматовой не публиковалось; с изменениями («А, тебе ещё мало по-русски...», без вопросительных знаков) оно было включено в цикл, или, вернее, подборку «Вереница четверостиший». В нём просвечивает тема поэта, оставшегося в своей стране и перенёсшего с ней великие страдания, и восприятия всего этого со стороны, из-за границы, где не имели даже приблизительного представления о том, что творилось в СССР при Сталине и что преодолевалось непоследовательно («подъёмы и спуски»).

Второе, восьмистрочное стихотворение лишь внешне не столь крамольно. Оно более автобиографично.

Вот она, плодоносная осень, —
 Поздно вато её привели,
 А пятнадцать божественных вёсен
 Я подняться не смела с земли.

¹ Литературное обозрение. 1999. № 1. С. 25–29.

² Роскина Н. «Как будто прощаюсь снова...» // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 538. Далее этот сборник обозначается в тексте буквой В. Другие используемые сокращения: АА — Ахматова А. Сочинения: В 2 т. / Сост. и подг. текста М.М. Кралина. М., 1990; ЗК — Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). М; Torino, 1996; НГ — Готхарт Н. Двенадцать встреч с Анной Ахматовой // Вопросы литературы. 1997. Вып. 2; АН — Найман А. Рассказы об Анне Ахматовой // Конец первой половины XX века. М., 1989; ЛЧ — Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М., 1997. — *Здесь и далее примеч. С. Кормилова.*

Я так близко её [рассмотрела] разглядела,
К ней приникла, её обняла,
И она в обречённое тело
Силу тайную тайно лила.

(ЗК. С. 257–258)

Речь идёт, разумеется, не об урожае колхозных полей. «Плодоносная осень» не сама пришла в силу смены сезонов, её «привели». Истёк неполный год после XXII съезда КПСС с его открытиями и более резким, чем на XX съезде, разоблачением культа личности. Ахматова ощущает моральный подъём после особенно тягостных для неё лет: пятнадцать вёсен отделяло наступившее время от погромного августовского постановления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» (1946). Мотив подмены весны исключительной осенью повторяется у Ахматовой спустя ровно сорок лет после стихотворения «Небывалая осень построила купол высокий...» (размер другой, но метр один: тогда был пятистопный анапест, теперь трёхстопный; при небольшом количестве написанного Ахматовой связь ощутима). Там светлые ожидания лирической героини порождал приход некоего «спокойного» человека, друга, здесь — изменение «климата», отнюдь не природного. Это понятно. Но откуда двойной эпитет «тайную», «тайно»? «Оттепель» была публичной. Нет ли тут намёка на некую душевную силу, пока ещё открыто о себе не заявившую? Под текстом стихотворения в записной книжке помечено: «Завтра уезжаю. 12 сент.<ября> 1962. Конец Комарова» (ЗК. С. 258).

Около 12 сентября Ахматова в принципе уже могла познакомиться с машинописью рассказа Солженицына и, уж во всяком случае, слышать о ней, ходившей по рукам, если не от ленинградских, то от многочисленных московских друзей. После дачного сезона она поехала в Москву. В записи Л.К. Чуковской от 19 сентября рассказывается о разговоре с Ахматовой, начавшемся в 12 часов, — видимо, этого же дня, хотя по тексту можно предположить, что и одного из предыдущих (ЛЧ. Т. 2. С. 508). К тому времени Анна Андреевна прочитала «Один день з/к» (так называлась машинопись) и сказала Чуковской: «Эту повесть о-бя-зан прочитать и выучить наизусть — *каждый гражданин* изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза» (там же. С. 512).

Ожидание решения вопроса о публикации Солженицына, вне сомнения, способствовало если не созданию стихотворения «Вот она, плодоносная осень...», то появлению у Ахматовой мысли предложить его для напечатания массовым тиражом — в газету. Первоначально намечалась «Литературная газета» (ЗК. С. 249), а появилось стихотворение вместе с двумя другими (из цикла «Шиповник цве-

тёт»: «В разбитом зеркале» и «Говорит Дидона»), также отчётливо автобиографическими, 26 октября, как ни странно, в официальной газете «Литература и жизнь», заслужившей прозвище «Литература и смерть»: контекст, на первый взгляд сугубо личного содержания, притупил бдительность тупых редакторов, не понявших весьма прозрачных аллегорий плодоносной осени и пятнадцати вёсен. Ахматовой только пришлось наряду с незначительными изменениями в тексте сделать одно значительное — пожертвовать эпитетом «божественных» и написать «блаженнейших» (АА. Т. 1. С. 292), что противоречит смыслу произведения, реальным фактам (для Ахматовой «божественные» вёсны отнюдь не были блаженными) и никак не может считаться «авторской волей» (это стоит учесть публикаторам). «Силу тайную тайно лила» в ахматовскую героиню земля, которую автор в своё время не «бросил <...> на растерзание врагам». За это к Ахматовой особое уважение испытывал Солженицын: «Да начиная с 17-го года всё отдаём, все отдают, — так оно вроде легче. Уже сколько поддались этой ошибке — переоценили силы *их*, недооценили свои. А были же люди — Ахматова, Пальчинский, кто не поехал, кто отказался в 1923 году подписать заявление на лёгкий выезд»¹. Александру Исаевичу ещё предстояло продемонстрировать верность своей земле, отвергая не раз предоставлявшуюся возможность «лёгкого выезда».

Произведения Ахматовой он знал хорошо, и тоже не только опубликованные. После первой встречи с ним, состоявшейся благодаря Л.З. Копелеву 28 октября 1962 года в Москве у Марии Петровых, Анна Андреевна рассказывала:

«— Я прочитала ему... Он сказал: “Я так и думал, что вы не молчите, а пишете что-то, чего нельзя печатать”. “Поэму” («Поэма без героя» не была тогда опубликована. — С.К.) знает наизусть. О ней говорит так: “Сначала всё непонятное-непонятное, а потом понятное-понятное”. Обо мне сказал мне слова, которые я слышать не могу. Нет, не о Пушкине. Да, о России. *И он тоже!*.. Вы понимаете, конечно, что это значит: услышать *их от него...*» (ЛЧ. Т. 2. С. 532–533).

А.Г. Найману Ахматова передала эти смущавшие её и такие дорогие ей слова. «Прочитала “сиделок тридцать седьмого”². Он сказал: “Это

¹ Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни // Новый мир. 1991. № 1. С. 10.

² Имеется в виду стихотворение «Все ушли, и никто не вернулся...», написанное или начатое в 30-е годы и восстановленное или дописанное в 1960-м, где есть строки:

Осквернили пречистое слово,
 Растоптали священный глагол,
 Чтob с сиделками тридцать седьмого
 Мыла я окровавленный пол.

не вы говорите, это Россия говорит». Я ответила: «В ваших словах соблазн». Он возразил: «Ну что вы! В вашем возрасте...» Он не знает христианского понятия» (АН. С. 136). Из-за «соблазна» Ахматова и «не могла слышать» эти слова.

Н.А. Роскина справедливо оценила отношение Анны Андреевны к А.И. Солженицыну: «О свидании с ним она рассказывала в необычных для неё тонах. Ведь она привыкла к тому, что к ней приходят на поклон, а тут пришёл человек, которому она сама готова была и хотела поклониться» (В. С. 538). В последний период жизни Ахматова вела себя в отношении властей, как правило, осторожно, внешне даже демонстрировала свою лояльность¹. В собственноручной записи о визите Солженицына слова в скобках — обозначение места встречи и настоящая фамилия писателя — не псевдоним, под которым «Щ-854 (Один день одного зэка)» был предложен в редакцию «Нового мира», — поставлены позднее, видимо, когда пришло осознание того, что конспирация не нужна: «Вчера (28-го) у меня (у Маруси в Москве) был Рязанский (Солженицын). Впечатление ясности, простоты, большого человеческого достоинства. С ним легко с первой минуты» (ЗК. С. 253).

С точки зрения собственно литературных достоинств Ахматова поставила «Щ-854» гораздо выше знаменитой повести кумира тогдашней молодёжи:

«В “Старике и море” Хемингуэя подробности меня раздражают. Нога затекла, одна акула сдохла, вдел крюк, не вдел крюк и т.д. И всё ни к чему. А тут каждая подробность нужна и дорога...» (ЛЧ. Т. 2. С. 512).

Но больше волновало Анну Андреевну общественное значение предстоящей публикации. Впервые правда о сталинских лагерях, пусть ещё не о самом страшном, могла быть явлена всему миру. По свидетельству Л.К. Чуковской, А.Г. Наймана, Вяч. Вс. Иванова, Н.А. Роскиной, Н. Готхарта (ЛЧ. Т. 2. С. 533, 535; АН. С. 136; В. С. 483, 538; НГ. С. 266), Ахматова предсказала Солженицыну мгновенную всемирную славу и опасалась, выдержит ли он её. Мотив испытания славой — один из важных в ахматовской поэзии: «<...> от счастья и славы / Безнадёжно дряхлеют сердца» («Вижу выцветший флаг над таможенной...», 1913), «<...> притащится слава / Погремушкой над ухом трещать» («Кое-как удалось разлучиться...», 1921); в 60-е годы сделан набросок: «Молитесь на ночь, чтобы вам / Вдруг не проснуться

¹ См.: Лосиевский И. Анна Всея Руси: Жизнеописание Анны Ахматовой. Харьков, 1996. С. 186–187.

знаменитым»¹, — возможно, в прямой связи с этим разговором. «Славы² не боится, — записала Ахматова. — Наверное, не знает, какая она страшная и что влечёт за собой» (ЗК. С. 253). «Пастернак не выдержал славы, — говорила она Солженицыну. — Выдержать славу очень трудно, в особенности позднюю». Александр Исаевич в ответ говорил о своих крепких нервах, о том, что он выдержал лагеря (ЛЧ. Т. 2. С. 533); по другому свидетельству, возможно, менее достоверному, так как более позднему, сказал: «Я человек железный» (НГ. С. 266). Вместе с тем Ахматова записала и потом передала Г.В. Глекину³ его слова: «Я только боялся сойти с ума в тюрьме» (ЗК. С. 253). Мотив безумия — также важнейший в ахматовской поэзии, в частности в «Реквиеме», отсюда и внимание к нему в разговоре.

Появление в печати «Одного дня Ивана Денисовича» Анна Андреевна считала событием эпохальным, 16 ноября 1962 года, в день выхода 11-го номера «Нового мира» (о чём она ещё не знала), говорила Л. Чуковской, что не уедет в Ленинград, пока не подержит его в руках: «Хочу убедиться, что новая эпоха настала» (ЛЧ. Т. 2. С. 551). А позже, в марте 1964-го: «Счастлива, что дожила до Солженицына» (ЛЧ. Т. 3. С. 187). Не только до его произведений — до появления такой личности. Восторженные оценки Солженицына-человека Чуковская фиксирует не раз:

«Све-то-но-сец! — сказала она торжественно и по складам. — Свежий, подтянутый, молодой, счастливый. Мы и забыли, что такие люди бывают. Глаза, как драгоценные камни. Строгий, слышит, что говорит. (“Слышит себя”, “слышит, что говорит” — это высокая похвала в её устах). <...> О, Лидия Корнеевна, видели бы вы этого человека! Он непредставим. Его надо увидеть самого, в придачу к “Одному дню з/к”. <...> Это человек поразительный, не только писатель”. Анна Андреевна снова о Солженицыне: “Никогда не видывала подобного человека. Огромный человек”» (ЛЧ. Т. 2. С. 532–533, 551; Т. 3. С. 27). «С яростью — иначе назвать не могу: именно с яростью — говорила об Ардове, который о Солженицыне отозвался презрительно» (ЛЧ.

¹ «Вы через короткое время станете всемирно известным. Это тяжело. Я не один раз просыпалась утром знаменитой и знаю это» — так передаёт ахматовские слова А.Г. Найман (АН. С. 136). Н.А. Роскина сохранила их в другой редакции: «Понимаете ли вы, что через несколько дней вы будете самым знаменитым человеком в мире, и это, может быть, будет тяжелее всего, что вам пришлось пережить?» (В. С. 538).

² Подчёркнуто в тексте А. Ахматовой.

³ «Опять много говорили о Солженицыне. Он сам сказал ей, что больше всего боялся сойти с ума ТАМ» (Глекин Г. Встречи с Ахматовой: Из дневниковых записей 1959–1966 годов // Вопросы литературы. 1997. Вып. 2. С. 312. Запись от 20 ноября 1962 года).

Т. 2. С. 565), хотя в квартире писателя-юмориста (а потому, наверно, скептика) В.Е. Ардова и его жены Н.А. Ольшевской на Ордынке Ахматова жила чаще и дольше, чем у каких-либо других своих друзей. Жизнестойкость Солженицына воплощалась для Анны Андреевны в сохранённой молодости: «Ему 44 года <...>. Выглядит на 35. Лицо чистое, ясное. Спокоен, безо всякой суеты и московской деловитости. С огромным достоинством и ясностью духа» (АН. С. 136). Отмечалась и интеллигентность Солженицына: «Александр Исаевич глубоко интеллигентный человек», и он «великолепно знает музыку» (НГ. С. 266).

При этом Ахматова несколько не была настроена ему льстить. Возможно, она отвратила его от увлечения поэтическим творчеством. «Он принёс мне поэму. Она автобиографична. И спросил, стоит ли за неё бороться. Я сказала, что одного моего мнения недостаточно, пусть даст ещё кому-нибудь. Он сказал, что ему достаточно моего мнения. Я сказала, что бороться за эту поэму не стоит» (НГ. С. 266). Об этом писала в феврале 1963 года и Л.К. Чуковская, которой Ахматова передала слова автора поэмы: она «помогла мне всё перенести, выжить, остаться живым». На свой вопрос о том, хороша ли поэма («не в смысле печатания»), ответ она «получила уклончивый. Не понравилось ей, что ли? — размышляла Лидия Корнеевна. — И она не хочет признаться из уважения к автору? Нет, на неё не похоже. Ведь бранила же она мне рассказ Солженицына “Случай на станции Кречетовка” (и, между прочим, совершенно зря)» (ЛЧ. Т. 3. С. 28). Солженицын читал Ахматовой две из одиннадцати глав поэмы «Дороженька», которая осталась неопубликованной (там же. С. 341). При первой встрече он также читал ей свои стихи. На настойчивый вопрос Чуковской ответ был более определённым — негативным:

«— Уязвимы во многих отношениях, — уклонилась Анна Андреевна» (ЛЧ. Т. 2. С. 533). Уклончивость ответа на вопрос о стихах Солженицына отметила и Н.А. Роскина. «Из стихов видно, что он любит природу», — сказала ей Ахматова (В. С. 538).

Прямолинейный Солженицын в долгу не остался. О прочитанном ему «Реквиеме» он заявил: «Это была трагедия народа, а у вас — только трагедия матери и сына». Роскина пишет: «Она повторила мне эти слова со знакомым пожатием плеч и лёгкой гримасой» (В. С. 538). «Про мои стихи сказал не должное», — появилось в записной книжке (ЗК. С. 253). Чуковская тоже писала, что «А.И. Солженицын, выслушав “Реквием”, сказал Анне Андреевне: “Жаль, что в ваших стихах речь идёт всего лишь об одной судьбе”. А.А. сама рассказала мне об этих словах Александра Исаевича, дивясь им и не соглашаясь с ними.

“Разве одною судьбою нельзя передать судьбу миллионов?” — говорила она. “Разве “Эпилог” к “Реквиему” — это уже не судьба миллионов”, — говорила я. “Да ведь и сам Солженицын “Одним днём з/к”, одною судьбой изобразил многолетние судьбы миллионов”. <...> Не согласившись сначала с Солженицыным, Ахматова впоследствии, по видимому, всё-таки приняла его слова во внимание: стихи, содержащие во втором четверостишии слова:

И когда, обезумев от муки,
Шли уже осуждённых полки —

включены были Анной Андреевной в “Реквием”, я полагаю, как результат замечания, сделанного Солженицыным» (ЛЧ. Т. 2. С. 562).

То, что стало вступлением к «Реквиему» («Это было, когда улыбался...», 1940), ранее существовало в качестве самостоятельного стихотворения. Его включение в поэму-цикл вопреки отрицательному мнению Чуковской (ЛЧ. Т. 2. С. 561), думается, было художественно оправданным и усилило народную тему «Реквиема», который был прочитан Солженицыну и без автоэпиграфа «Нет, и не под чуждым небосводом, / И не под защитой чуждых крыл, — / Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был» из стихотворения «Так не зря мы вместе бедовали...» (1961). Полностью «Реквием», до того хранившийся в памяти автора и его друзей, был зафиксирован в нескольких машинописных экземплярах только 8 декабря 1962 года (В. С. 643; ЛЧ. Т. 2. С. 560–561)¹, после публикации лагерного рассказа Солженицына и явно не без влияния этого события. Появление эпиграфа Чуковская отметила как новость для неё, а в позднейшем сообщила, что посоветовал Ахматовой использовать эти строки для эпиграфа Л.З. Копелев (ЛЧ. Т. 2. С. 561), благодаря которому та и познакомилась с Солженицыным. Так что Солженицын сыграл видную роль в творческой истории ахматовского «Реквиема». Исходил он, вследствие незнания многих текстов, всё же из ограниченного представления об Ахматовой. В феврале 1963 года она говорила: «А знаете, Александр Исаевич удивился, когда я сказала, что люблю Некрасова. Видимо, он представлял себе меня этакой чопорной дамой. <...> А Некрасова не любить разве можно? Он так писал о пахаре, что нельзя было не рыдать» (ЛЧ. Т. 3. С. 29). Но ошибка прозаика помогла поэту усилить одно из важнейших своих произведений.

¹ 16 декабря о том же писал в дневнике Г. Глекин, добавляя: «Академик Виноградов сказал об этом цикле, что он “народен”» (Глекин Г.В. Указ. изд. С. 312–313).

Кстати, «дамой» Солженицын Ахматову действительно считал, только в более высоком смысле. Н.Д. Солженицына, жена писателя, сообщает: «Высота сводов, которые она (Ахматова. — С.К.) выстроила, и чистота воздуха внутри этих сводов всегда очень влекли А<лександр> И<саевича>. Он относился к ней как к высокой-высокой Даме русской поэзии. Даме с большой буквы»¹.

В сентябре Ахматова ставила в один ряд три произведения о репрессиях — свой «Реквием», повесть Л. Чуковской «Софья Петровна» и «Один день з/к» (ЛЧ. Т. 2. С. 536). Позже, уверовав в возможность опубликования «Реквиема» на родине, она стала принижать его разоблачительный пафос по сравнению с «Иваном Денисовичем» и даже стихами Б. Слуцкого на эту тему. Её неправоту отмечал 9 декабря 1962 года в «Дневнике, которого я не веду» Ю.Г. Оксман. Он отговаривал Ахматову включать «Реквием» в состав её нового сборника, полагая, что это может погубить всю книгу. «Их пафос, — писал Оксман об этих стихах, — перехлёстывает проблематику борьбы с культом, протест поднимается до таких высот, которые никто и никогда не позволит захватить именно ей. <...> Она защищалась долго, утверждая, что повесть Солженицына и стихи Бориса Слуцкого о Сталине гораздо сильнее разят сталинскую Россию, чем её “Реквием”» (В. С. 643). Ошибочное мнение Ахматовой о собственном творческом подвиге говорит, однако, о том, сколь велик был в её глазах творческий подвиг А.И. Солженицына.

«Реквием» был отвергнут даже «Новым миром». Солженицын пробился в печать благодаря «верной догадке-предчувствию», что «к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв»². Ахматова же в сентябре 1963-го говорила о главном редакторе «Нового мира»: «Он переживает за смоленских крестьян, а я ему глубоко безразлична» (НГ. С. 286)³.

Солженицын в 1962 году посещал Анну Андреевну неоднократно, подарил машинопись «Одного дня...» (НГ. С. 266). 4 ноября были записаны слова Ахматовой: «Я достаю свой сборник для Александра

¹ Солженицына Н.Д. Писатель должен быть силой объединяющей, а не разъединяющей: Беседа с К. Кедровым // Известия. 1992. 23 июля.

² Солженицын А.И. Указ. изд. С. 18. Н.С. Хрущёв объявил А.Т. Твардовскому о решении печатать «Один день...» 20 октября (там же. С. 29), практически за неделю до знакомства Ахматовой и Солженицына.

³ Чуковская писала также: «В 1963 году в руки А.Г. Дементьева (заместителя Твардовского. — С.К.) попал “Реквием” Анны Ахматовой. Какова была его судьба внутри редакции, кто явился инициатором отвержения — какую роль сыграл тут “политический комиссар”, как называет Дементьева Солженицын <...>, мне неизвестно» (ЛЧ. Т. 3. С. 338).

Исаевича» (ЛЧ. Т. 2. С. 540). Очевидно, в том же ноябре она подобрала для него «9 стихотворений» (ЗК. С. 262), включая цикл «Черепки» и миниатюрную дилогию «Из чёрных песен». Среди них преобладают антитоталитаристские стихи, но дилогия — против идеи эмиграции, в стихотворении «Ты напрасно мне под ноги мечешь...» есть отзвук той же темы и строка «Ночь со мной и *всегдашняя* Русь» — всегдашняя: пророчица Ахматова интуитивно угадала исключительную важность этой темы для Солженицына, когда её актуальности в отношении него ещё ничто не предвещало. В заключительной миниатюре «Черепков» («Кому и когда говорила...») — некрасовский мотив («Музу засекали мою») опять-таки до того, как Солженицын узнал, что Ахматова любит Некрасова, и мотив сумасшествия в связи с темой репрессий («каторга сына сгноила»): «А мне в сумасшедшей палате / Валяться — великая честь», — что уже является чем-то вроде ответа на слова Солженицына о том, как он боялся сойти с ума. В 1963 году Ахматова включила его в списки тех, кому нужно дать текст «Поэмы без героя» (ЗК. С. 279) и «Реквиема» (ЗК. С. 304, 314; ЛЧ. Т. 3. С. 18). В её записную книжку кем-то был вписан рязанский адрес Александра Исаевича (ЗК. С. 329). Под датой 27 июня (1963 года) Ахматова отметила, как в дневнике: «Вечером Солженицын с женой (9 час.)», 1 января 1964-го, перечисляя звонивших ей, записала: «Тел<ефон> от Твардовского и Солженицына», а в 1965-м в день Покрова: «Звонил S. Придёт в понед<ельник>» (ЗК. С. 377, 419, 677). В списке «Кому¹ 7 стихотворений» стоит тоже «S» (ЗК. С. 543): написав в 1963 году цикл «Полночные стихи. Семь стихотворений», Анна Андреевна среди первых его читателей видела для себя и Солженицына, хотя цикл отнюдь не антитоталитарный, а лично-философический, впрочем, включающий и сравнение «Как вышедшие из тюрьмы», и слова о своём вынужденном поэтическом молчании: «...я, кому убийцей быть / Божественного слова предстояло...». Есть Солженицын и в списке «Кому дать книгу 65 <г.>», то есть итоговый ахматовский сборник «Бег времени» (ЗК. С. 573, 574).

«О “Матрёнином дворе” Анна Андреевна отозвалась высоко.

— Да... Удивительная вещь... Удивительно, как могли напечатать... Это пострашнее “Ивана Денисовича”... Там можно всё на культ личности спихнуть, а тут... Ведь у него не Матрёна, а вся русская деревня под паровоз попала и вдребезги... Мелочи тоже удивительные... Помните — чёрные брови старика, как два моста друг другу навстречу?.. Вы заметили: у него скамьи и табуретки бывают то живые, то мёртвые... А тараканы под обоями шуршат? Запомнили? Как далёкий шум оке-

¹ Подчёркнуто в тексте А. Ахматовой.

ана! И обои ходят волнами... А какая замечательная страница, когда он вдруг видит Матрёну молодой... И всю деревню видит молодой, то есть такую, какая она была до всеобщего разорения... Заметили вы, что древняя, древнее всех, бабка над гробом Матрёны думает: “Надоело мне вас провожать”. Вас — покойников, тех, кто моложе её, кому бы ещё жить да жить» (ЛЧ. Т. 3. С. 16). 14 февраля 1963 года Ахматова и Г.В. Глекин «говорили, конечно же, о Солженицыне <...> и вдруг она сказала о себе: “Я та самая старуха из Солженицына, которая говорит, что ей надоело всех провожать на тот свет”»¹. Подобные настроения встречаются в её поэзии с начала 20-х годов; двустрочный набросок 1958 года «Непогребённых всех — я хоронила их, / Я всех оплакала, а кто меня оплачет?» кажется прямым предварением мыслей солженицынской старухи, хотя по содержанию гораздо шире. Имя Матрёны стало для Ахматовой как бы нарицательным. «Тоже Матрёна», — говорила она о матери Ники Николаевны Глен, у которой тогда жила в Москве (АН. С. 22).

После появления «Матрёнина двора» столь пострадавшая от официозной критики Ахматова предсказала Солженицыну, что его скоро будут бранить, спросила, выдержит ли он, ведь это хуже, чем выдерживать прокурора: «Если выдержали прокурора, нельзя быть уверенным, что выдержите *это*» (ЛЧ. Т. 3. С. 49). 8 ноября 1964-го, вскоре после снятия Хрущёва, Ахматова вместе с Чуковской читала письмо её отца Корнея Ивановича.

«В Союзе Писателей выступил Друзин и заявил, что пора призвать к ответу этих хрущёвцев: Твардовского и Солженицына.

— Солженицына? — переспросила Анна Андреевна. — ещё бы, давно пора! Ведь это *он* призвал *их* к ответу. “Он весь как Божия гроза”. С первого же дня я у него спрашивала, понимает ли он, что скоро его начнут терзать» (ЛЧ. Т. 3. С. 248). Солженицын тогда ответил: «Конечно!» (ЛЧ. Т. 3. С. 27).

Н.А. Роскина, назвав отношение Ахматовой к «Матрёнину двору» восторженным, добавляет: «Другие рассказы Солженицына понравились ей значительно меньше, “Для пользы дела” совсем не понравилось. Также и пьеса; о пьесе она сказала: “Какая-то средневековая”. Но в общем, кажется, это был единственный современный советский прозаик, кроме Зощенко, который её по-настоящему интересовал» (В. С. 538). «Случай на станции Кречетовка» она сочла неправдивым рассказом, а его героя — «склеенным». Возражения Н.Н. Глен, говорившей, «что у нас такие люди были — искренне правозащитные <...> и даже в большом количестве и повсюду» (ЛЧ. Т. 3. С. 16), не убедили её.

¹ Глекин Г.В. Указ. изд. С. 313.

«Анна Андреевна сердилась. Повторяла: “Не было таких людей. О таких в газетах сочиняют. Он его из бумаги склеил. От Солженицына мы другого ждём, только правды, а не этих выдуманных добродетелей”» (ЛЧ. Т. 3. С. 17). Надо отметить, что от Ахматовой доставалось и Льву Толстому, а Чехова она критиковала многократно.

Солженицын не сказал Анне Андреевне ни о том, что у него в 1950-е годы был рак (НГ. С. 266), ни о своей работе над крупными произведениями. 17 октября 1963 года в Комарове Ахматова спросила Чуковскую, читала ли она «главы из романа — те, где говорится о свидании заключённых с жёнами. Я ответила: да, читала, — пишет Лидия Корнеевна. — В Москве, у его друзей.

— Почему же он мне не дал их, ни словечком о них не обмолвился? Он был у меня в Ленинграде. Я ещё в самом начале нашего знакомства сразу прочла ему “Реквием”. А он мне глав о том же самом не дал и даже не упомянул о них. Я так им всегда восхищалась, так счастлива, что до него дожила. За что же он меня обидел?» (ЛЧ. Т. 3. С. 81). Ахматова повторяла свою жалобу на эту обиду (там же. С. 82, 93–94), но слова «А я ещё подумаю, прощать его или не прощать» произнесла «уже без горечи и не без юмора» (там же. С. 82). Чуковская, пытаясь оправдать Солженицына, ссылалась на тематические различия его и ахматовских произведений. Но в позднейших примечаниях к запискам об Ахматовой отметила: «Впоследствии А. Солженицын горько сожалел о своём промахе. “Я круто ошибся”, — писал он в первом издании своих очерков литературной жизни “Бодался телёнок с дубом” (Paris: YMCA-Press, 1975. С. 261). Дело было в том, что Александр Исаевич заподозрил Ахматову в обычной “человеческой слабости” — “неспособности держать тайны...” — и потому не дал “читать своих скрытых вещей, даже “Круга” — такому поэту! современнице! уж ей бы не дать?! — не смел. Так и умерла, ничего не прочтя» (ЛЧ. Т. 3. С. 364).

Огорчило Ахматову и неучастие Солженицына в хлопотах об Иосифе Бродском (март 1964 года). Она привела слова К. Паустовского о том, что в «Одном дне Ивана Денисовича» «звучат антиинтеллигентские ноты», однако тут же их и опровергла, признав мнение Константина Георгиевича ошибочным. Ахматова сказала: «...наша интеллигенция приняла не меньше страданий, чем наш народ. Сам-то он, Солженицын, кто? — народ или интеллигенция? Кто читает и почитает его: народ или интеллигенция? Разделение мнимое и никчёмное. В особенности после ежовщины и войны» (ЛЧ. Т. 3. С. 187–188).

Столь непростым и всё же плодотворным было взаимодействие двух очень непохожих, но крупнейших и одинаково честных талантов.

Т. Вознесенская

ЛАГЕРНЫЙ МИР АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА: ТЕМА, ЖАНР, СМЫСЛ¹

Лагерная тема исследуется Солженицыным на уровне разных жанров — рассказа, документального повествования большого объёма («художественное исследование», по определению самого писателя), драматического произведения и киносценария — и занимает в его творчестве особенно значимое место, открывая его перед читателем «Одним днём Ивана Денисовича» и помещая в центр «Архипелаг ГУЛАГ». Это место определяется тем, что лагерь оказывается наиболее ёмким символом русской жизни послереволюционного периода.

При единстве темы разные жанры, являясь особыми способами осмысления жизни, требуют разного отбора материала, создают разный тип конфликтности, разнятся возможностями выражения авторской позиции.

«Архипелаг ГУЛАГ», со всей необычностью его художественной формы, оказывается характернейшим выражением Солженицына — художника и человека, отказывающегося принимать традиционные классификации и деления как в литературе, так и в жизни. Его «художественное исследование», с современной точки зрения принадлежащее публицистике, если смотреть на него из других, более древних культур, скажем античности, включающей в художественный круг историческое повествование, ораторскую прозу, эстетические и философские труды, — конечно, литература, художественность, которая в своей нерасчлённости соответствует глобальности поставленной задачи.

«Архипелаг...» дал возможность решить две необходимые для Солженицына задачи — полноту объёма, которая выражается и в стремлении к многосторонности исследования лагерной жизни (всё), и в многочисленности участников (все), и максимально прямое выражение авторской позиции, непосредственное звучание собственного голоса.

Обращение Солженицына к драматической форме («Республика труда», входящая в драматическую трилогию «1945 год» как третья часть) кажется совершенно естественным именно из-за того, что пьеса, в идеале требующая воплощения на сцене, которая ограничивает размерами сценической площадки изображённый мир, по самой

¹ Литературное обозрение. 1999. № 1.

своей природе тяготеет к видению этого мира как некоей целостности (название шекспировского театра «Глобус» прямо указывает на это). Непосредственное и сильное эмоциональное воздействие театра на зрителя тоже служит аргументом в выборе формы. Но, с другой стороны, изображение мира, в котором человек ограничен в проявлении своей личностной активности, противоречит самой природе драматического сюжета, основанного на свободном действии-выборе. Видимо, именно это, а не та неискущённость новичка, незнакомого со стольичной театральной практикой, о которой говорит сам Солженицын в книге «Бодался телёнок с дубом», привело к художественной неудаче.

Лишь один поворот лагерной темы изначально насыщен драматизмом (конфликтностью, проявляемой через действие), и это — попытка обретения свободы. Мотивы жизни, смерти, верности, предательства, любви, возмездия требуют драматической реализации, грубая же и нечеловеческая сила давления и уничтожения («танк» — одновременно как реальный образ и как ёмкий символ этой силы) ярче всего воплощается средствами эпической изобразительности. Отсюда — сценарная форма трагедии «Знают истину танки!», вернее, не просто сценарий как первая ступенька к осуществлению законченного произведения — фильма, а уже законченное литературное произведение, где применение двух экранов или монтажный стык, оговорённый автором в самом начале, есть не более чем обнажение эпического приёма переключения (пространственного, временного или эмоционального). Любое обнажение приёма стимулирует сознательность восприятия читателя/зрителя, в данном случае либо усилением выразительности единого действия с помощью монтажного деления его на элементы (в сценах убийства стукачей смена крупных кадров: грудь — рука, взмахивающая ножом, — удар), либо созданием системы контрастов — от контраста времени и места (ресторанный оркестр в начальных сценах обрамления, настоящее время — лагерьный оркестр, возвращающийся в прошлое), контраста обитателей этих двух миров (чистая ресторанный публика — грязные лагерные ээки) до контраста лжи и правды, данного зримо (политрук рассказывает солдатам ужасы о чудовищах, вредителях и антисоветчиках — ботанике Меженинове, Мантрове и Федотове, — а в тёмном нижнем углу экрана одновременно вспыхивает уменьшенный кадр с мирно штопающим носок ботаником, со светлыми лицами мальчиков).

Кажется, не может быть ничего более противоположного в решении лагерной темы, чем этот сценарий и «Один день Ивана Денисовича». Отметим лишь некоторые, самые заметные случаи: прежде все-

го, противоположность в отборе событий (гибель заваленных землей заключённых; неудавшийся побег; подкоп; убийства стукачей; убийство стукачами Гавронского; штурм тюрьмы; освобождение женского барака; танковая атака; расстрел оставшихся в живых), — событий, исключительных в сценарии, а в рассказе рутинно-обыденных: здесь даже то небольшое, что может выделить день из ряда обыкновенных (освобождение от работ по болезни или карцер за проступок), дано лишь как возможное (в одном случае желанное, в другом — страшное), но не осуществлённое.

Другая важная проблема, которую здесь лишь наметим, — проблема авторского голоса. Если в «Одном дне...» голос автора, отделённый от голоса героя, появляется лишь несколько раз (знаком, указывающим на присутствие авторской точки зрения, служит многоточие, которое в начале абзаца вводит голос автора, и оно же в начале одного из следующих абзацев возвращает нас к точке зрения героя): в рассказе о Коле Вдовушкине, занимающемся «непостижимой» для Шухова литературной работой, или о Цезаре, который курит, «чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то», — и каждый раз это выход за пределы понимания или осведомлённости героя. При этом конфликта точек зрения автора и героя нет. Это особенно заметно в авторском отступлении об обедающем кавторанге: «Он недавно был в лагере, недавно на общих работах. Такие минуты, как сейчас, были (он не знал этого) особо важными для него минутами, превращавшими его из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного ээка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отвёрстанные ему двадцать пять лет тюрьмы», сменяющемся обычной несобственно-прямой речью: «А по Шухову, правильно, что капитану отдали. Придёт пора, и капитан жить научится, а пока не умеет». Авторское побочное замечание о Буйновском: «<...> он не знал этого» — противопоставляет капитана одновременно общему знанию и автора, и Шухова.

В сценарии авторский голос имеет иную функцию. Здесь важно не совмещение или, напротив, различие видения-знания автора и героев (в «фильме» автор как бы видит-рассказывает всё происходящее перед ним), а общая точка зрения автора и условного зрителя. Поэтому автор вглядывается в картину, как вглядывается в неё сидящий в зале, подбирает более точные слова, уясняет дело для себя и нас: «И вдруг из крайнего ряда — здоровенный парнюга с глупым лицом — нет, с лицом затравленным! — нет, с обезумевшим от ужаса!» Под дулами автоматов люди падают на дорогу: «<...> может, и убило кого?» — не-

знание и напряжённое ожидание объединяют повествователя и читателя. И общей становится фольклорно-песенная тональность переживания: «Как ветер кладёт хлеба — так положило волной заключённых. В пыль! на дорогу! (может, и убило кого?) Все лежат!»

Но если важно установить общее авторско-читательское поле эмоционального напряжения, то ещё более важно увидеть то, что происходит, как с тобой, вернее с нами происходящее: «<...> летят мотоциклы. Их восемь. Сзади каждого — автоматчик. Все на *нас!* <...> Разъезжаются вправо и влево, чтоб охватить *нас* кольцом.

Бьют. *Здесь, в зрительном зале, бьют!*» (курсив мой. — Т.В.).

То, что трагедия, по самому классическому устройству своему как будто удалённая от обычной жизни (персонажи — герои мифов и истории, цари и принцы, религиозные подвижники и великие преступники; события — гибельные и исключительные), имеет самое непосредственное отношение к жизни каждого, знали и родоначальники жанра, греки. В знаменитом четвёртом стасиме софокловского «Царя Эдипа», после того как открылась перед героем и хором страшная истина его жизни и ещё раз вспомнились преступления — убийство отца, совокупление с матерью, — каких не делал *никогда никто*, — хор поёт об *общей* доле людей:

Люди, люди! О смертный род!
Жизнь земная, увы, тщета!
.....
О злосчастный Эдип! Твой рок
Ныне уразумею, скажу:
Нет на свете счастливых.

(Пер. С.В. Шервинского)

Совмещение «там» и «тогда» и «здесь» и «сейчас», «лагерь» и «зрительный зал» — найденный Солженицыным способ выразить общую судьбу тех, кто пережил лагерную трагедию, и тех, кто был от этого избавлен. Избавлен, но не освобождён от причастности к ней.

В «Одном дне Ивана Денисовича» невозможно представить ничего подобного. Повествование здесь безадресное, в нём нет и не может быть прямого обращения вовне. Тип повествования, замкнутый сознанием героя, адекватен создаваемой в рассказе картине мира. Образ лагеря, самой реальностью заданный как воплощение максимальной пространственной замкнутости и отгороженности от большого мира, осуществляется в рассказе в такой же замкнутой временной структуре одного дня. Ошеломляющая правдивость, о которой говорит каж-

дый пишуший об этом шедевре Солженицына, задаётся не только на уровне высказываний или событий, но и на самом глубине произведения — на уровне хронотопа.

Пространство и время этого мира проявляют свою особенность в контрастном сопоставлении с другим или другими мирами. Так, главные свойства лагерного пространства — его отгороженность, закрытость и обозримость (стоящий на вышке часовой видит всё) противопоставляют открытости и беспредельности природного пространства — степи. Внутри свои единицы закрытого пространства — барак, лагерь, рабочие объекты. Самая характерная черта лагерного пространства — заграждение (с постоянными деталями его устройства: сплошной забор — заострённые столбы с фонарями, двойные ворота, проволока, ближние и дальние вышки — мы встречаемся и здесь, и в пьесе, и в сценарии), и потому при освоении нового объекта «прежде чем что там делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих натягивать — чтоб не убежать». Структура этой фразы точно воспроизводит порядок и значение образа пространства: сначала мир описывается как закрытый, потом — как несвободный, причём именно на вторую часть (не зря выделяемую интонационно) падает основное ударение. Перед нами возникает, казалось бы, чёткая оппозиция лагерного мира с набором присущих ему признаков (закрытый, обозримый, несвободный) и мира внешнего с его признаками открытости, беспредельности и — следовательно — свободы. Эта противоположность оформлена на речевом уровне в назывании лагеря «зоной», а большого мира «волей». Но на деле подобной симметрии нет. «Свистит над голой степью ветер — летом суховейный, зимой морозный. Отроду в степи той ничего не росло, а меж проволоками четьрьмя — и подавно». Степь (в русской культуре образ-символ воли, усиленный столь же традиционным и то же значащим образом ветра) оказывается приравнена к несвободному, заключённому пространству зоны: и здесь и там этой жизни нет — «отроду ничего не росло». Оппозиция снимается и в случае, когда большой, внешний мир наделяется свойствами лагерного: «Из рассказов вольных шофёров и экскаваторщиков видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили <...>», и, напротив, лагерный мир неожиданно обретает чужие и парадоксальные свойства: «Чем в каторжном лагере хорошо — свободы здесь *от пуза*» (курсив А. Солженицына. — Т.В.). Речь здесь идёт о свободе слова — праве, которое перестаёт быть общественно-политической абстракцией и становится естественной необходимостью для человека говорить как хочет и что хочет, свободно и беззапретно:

«А в комнате орут:

— Пожалее-ет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, допухам!»

Слова, немислимые на «воле».

Большой советский мир проявляет новые свойства — он лжив и жесток. Он создаёт миф о себе как о царстве свободы и изобилия и за посягательство на этот миф беспощадно карает: «В усть-ижменском (лагере. — *Т.В.*) скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают». В малом мире лагеря больше жестокости, меньше лжи, и сама ложь здесь иная — не политически-абстрактная, а человечески понятная, связанная с противостоянием и ненавистью внутри лагеря, с одной стороны, лагерного народа, заключённых, с другой — всех, кто над ними, от начальника лагеря до солдат-конвоиров. Главная ложь приговоров и показаний («Считается по делу, что Шухов за измену родине сел») осталась там, за порогом лагеря, и здесь начальству как будто нет в ней нужды, но характерно, что заключённые чувствуют, что всё здесь устроено на лжи и что эта ложь направлена против них. Врёт термометр, недодавая градусов, которые могли бы освободить их от работы: «— Да он неправильный, всегда брешет, — сказал кто-то. — Разве правильный в зоне повесят?» И собственная ложь эков — необходимая часть выживания: пайка, спрятанная Шуховым в матрас; сворованные им за обедом две лишние миски; взятки, которые несёт бригадир нарядчику, чтобы бригаде досталось место работы получше; показуха вместо работы для начальства — всё это оформляется в твёрдое заключение: «А иначе б давно все подошли, дело известное».

Другие свойства лагерного мира обнаруживаются во второй составляющей хронотоп характеристике — характеристике времени. Важность её задана и в самом названии рассказа, и в композиционной симметрии начала и конца — самая первая фраза: «В пять часов утра <...>» — точное определение начала дня и — одновременно — повествования. А в последней: «Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый» — совпадают конец дня и собственно рассказа. Но эта фраза не совсем последняя, она последняя в сюжетно-событийном ряду. Финальный же абзац, отделённый двумя пустыми строками, структурно воссоздаёт образ времени, заданный в рассказе. Финал делится на две части: первая: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три» — как будто воплощает непредставимую абстракцию срока «десять лет», переводя её в настолько же житейски непредставимое для человека количество

единиц во второй: «Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...» — уважительное выделение трёх дней (такой малости по сравнению с тысячами!) определяет отношение к дню как концентрации целой жизни.

Антитеза «время абстрактное — время реально-человеческое» не единственная; частично совпадает с ней ещё более важная оппозиция «чужое—своё». «Своё» время обладает чувственной конкретностью — сезонностью («сидеть Шухову ещё немало, зиму-лето да зиму-лето») или определённой дневного распорядка — подъём, развод, обед, отбой. Точное время, измеряемое часами, — голая абстракция: «Никто из эков никогда в глаза часов не видит, да и к чему они, часы?», и потому недостоверно; фактическая точность подвергается сомнению как слух: «Всё ж *говорят*, что проверка вечерняя бывает в девять. <...> А в пять часов, *толкуют*, подъём» (курсив мой. — Т.В.). Максимальное выражение не своего времени — «срок». Он измеряется абстрактными, не зависящими от дела осуждённого «десятками» («Это полоса была раньше такая счастливая: всем под гребёнку десять давали. А с сорок девятого такая полоса пошла — всем по двадцать пять, невзирая»), в отличие от времени, измеряемого моментами, минутами, часами, днями, сезонами; «срок» неподвластен основному закону времени — течению, движению: «Сколь раз Шухов замечал: дни в лагере катятся — не оглянись. А срок сам — ничуть не идёт, не убавляется его вовсе».

Оппозиция «своего—чужого» одна из основных в рассказе. Она может быть и пространственной (для Ивана Денисовича «своё» пространство — это прежде всего то место в бараке, где располагается его 104-я бригада; в санчасти он садится на самый краешек стула, «показывая невольно, что санчасть ему чужая»), и пространственно-временной: прошлое и родной дом — целостность его жизни — невозвратно отдалены и отчуждены от него. Сейчас писать домой — «что в омут дремучий камешки кидать. Что упало, что кануло — тому отзывать нет». Прежнее домашнее пространство перестаёт быть родным, оно осознаётся как странное, сказочное — как жизнь тех крестьян-красилёй, о которых рассказывает в письме жена: «И ездят они по всей стране и даже в самолётах летают, <...> а деньги гребут тысячами многими, и везде ковры малюют <...>».

Дом — необходимая для человека данность — это не «там и тогда», а «здесь и сейчас», и потому домом становится лагерный барак — после работы на морозе расстёгивать одежду для обыска не страшно:

«<...> Домой идём.

Так и говорят все — «домой».

О другом доме за день и вспомнить некогда».

Как понятие «дом» ведёт за собой понятие «семья» (семьей: «Она и есть семья, бригада» — называет бригаду Иван Денисович), так пространственно-временная антитеза «своё—чужое» естественно становится антитезой внутри мира людей. Она задаётся на нескольких уровнях. Во-первых, это наиболее предсказуемая оппозиция эзков и тех, кто отряжен распоряжаться их жизнью, — от начальника лагеря до надзирателей, охранников и конвоиров (иерархия не слишком важна — для эзков любой из них «гражданин начальник»). Противостояние этих миров, социально-политических по своей природе, усилено тем, что дано на уровне природно-биологическом. Не могут быть случайными постоянные сравнения охранников с волками и собаками: лейтенант Волковой («Бог шельму метит», — скажет Иван Денисович) «иначе как волк, не смотрит», надзиратели «зарьялись, кинулись, как звери», «только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись», «вот собаки, опять считать!» — о них же, «да драть тебя в лоб, что ты гавкаешь?» — о начальнике караула.

Ээки же — беззащитное стадо. Их пересчитывают по головам:

«<...> хоть сзади, хоть спереди смотри: пять голов, пять спин, десять ног»; «— Стой! — шумит вахтёр. — Как баранов стадо. Разберись по пять!»; хлопец Гопчик — «телёнок ласковый», «тонюсенький у него голосочек, как у козлёнка»; кавторанг Буйновский «припёр носилки, как мерин добрый».

Эта оппозиция волков и овец легко накладывается в нашем сознании на привычное басенно-аллегорическое противопоставление силы и беззащитности («Волк и ягнёнок») или, как у Островского, расчётливой хитрости и простодушия, но здесь важнее другой, более древний и более общий смысловой пласт — связанная с образом овцы символика жертвы. Для лагерной темы, общий сюжет которой — жизнь в царстве нежизни и возможность (Солженицын) либо невозможность (Шаламов) для человека в этой нежизни спастись, сама амбивалентность символа жертвы, соединяющего в себе противоположные смыслы смерти и жизни, гибели и спасения, оказывается необычайно ёмкой. Содержательная ценность оппозиции заключена в её в связанности с проблемой нравственного выбора: принять ли для себя «закон волков», зависит от человека, и тот, кто принимает его, обретает свойства прислуживающих волчьему племени собак или шакалов (Дэр, «десятник из эзков, сволочь хорошая, своего брата-эзка хуже собак гоняет», заключённый, заведующий столовой, вместе с надзира-

телем расшвыривающий людей, определяется единым с надзирателем словом: «Без надзирателей управляют, полканы»).

Эки превращаются в волков и собак не только когда подчиняются лагерному закону выживания сильных: «Кто кого сможет, тот того и гложет», не только когда, предавая своих, прислуживаются к лагерному начальству, но и когда отказываются от своей личности, становясь толпой, — это самый трудный для человека случай, и никто не гарантирован здесь от превращения. Так в разъярённую толпу, готовую убить виновного — заснувшего молдаванина, проспавшего проверку, — превращаются ждущие на морозе пересчёта эки: «Сейчас он (Шухов. — Т.В.) зяб со всеми, и лютел со всеми, и ещё бы, кажется, полчаса подержи их этот молдаван, да отдал бы его конвой толпе — разодрали б, как волки телёнка!» (для молдаванина — жертвы — остаётся прежнее имя «телёнок»). Вопль, которым толпа встречает молдаванина — волчий вой:

« — А-а-а! — завопили эки! — У-у-у!»

Другая система отношений — между заключёнными. С одной стороны, это иерархия, и лагерная терминология — «придурки», «шестёрки», «доходяги» — ясно определяет место каждого разряда. «Снаружи бригада вся в одних чёрных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неравно — ступеньками идёт. Буйновского не посадишь с миской сидеть, а и Шухов не всякую работу возьмёт, есть пониже». Антитеза «свое—чужое» оказывается в этом случае оппозицией верха и низа в лагерном социуме («Очень спешил Шухов и всё же ответил прилично (помбригадир — тоже начальство, от него даже больше зависит, чем от начальника лагеря)»; фельдшера Колю Вдовушкина он называет Николаем Семёнычем и снимает шапку, «как перед начальством»).

Другой случай — выделение стукачей, которые противопоставлены *всем* лагерникам как *не совсем люди*, как некие отдельные органы — функции, без которых не может обойтись начальство. Нет доносителей — нет возможности видеть и слышать, что происходит среди *людей*. «Нам выкололи гла-за! Нам отрезали у-ши!» — кричит лейтенант Бекеч в сценарии, точными словами объясняя, что же такое стукачи.

И наконец, третий и, возможно, наиболее трагически-важный для Солженицына случай внутренней оппозиции — противопоставление народа и интеллигенции. Эта проблема, кардинальная для всего девятнадцатого века — от Грибоедова до Чехова, отнюдь не снимается в веке двадцатом, но мало кто ставил её с такой остротой, как Солженицын. Его угол зрения — вина той части интеллигенции, которой народ *не виден*. Говоря о страшном потоке арестов крестьян в 1929–1930 гг., который почти не заметила либеральная советская интеллигенция шести-

десятих, сосредоточившаяся на сталинском терроре 1934–1937 гг. — на уничтожении *своих*, он как приговор произносит: «А между тем не было у Сталина (и у нас с вами) преступления тяжелей»¹. В «Одном дне...» Шухов видит интеллигентов («москвичей») как чужой народ: «И лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадают, слушать их — всё равно как латышей или румын». Точно так же больше века назад Грибоедов говорил о дворянах и крестьянах как о разных народах: «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесён был иностранец <...> он, конечно бы, заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племён, которые не успели ещё перемешаться обычаями и нравами»². Резкость оппозиции особенно чувствуется потому, что традиционное национальное отчуждение у Солженицына практически снято: общность судьбы ведёт к человеческой близости, и Ивану Денисовичу понятны и латыш Кильдигс, и эстонцы, и западный украинец Павло. Человеческое братство создаётся не вопреки, а скорее благодаря национальной отмеченности, которая даёт полноту и яркость большой жизни. И ещё один мотив (правда, максимально реализованный лишь в сценарии) — мотив возмездия — требует разнонационального соединения людей: в «Танках» неофициальный трибунал, осуждающий на смерть стукачей, это кавказец Магомет, литовец Антонас, украинец Богдан, русский Климов.

«Образованный разговор» — спор об Эйзенштейне между Цезарем и стариком каторжанином X-123 (его слышит Шухов, принёсший Цезарю кашу) — моделирует двойную оппозицию: во-первых, внутри интеллигенции: эстет-формалист Цезарь, формула которого «искусство — это не *что*, а *как*» (курсив А. Солженицына. — *Т.В.*), противопоставлен стороннику этического осмысления искусства X-123, для которого «к чёртовой матери ваше “как”, если оно добрых чувств во мне не пробудит!», а «Иван Грозный» есть «гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании», и, во-вторых, оппозиция интеллигенции—народа, и в ней Цезарь и X-123 *равно* противопоставлены Ивану Денисовичу. На малом пространстве эпизода — всего страница книжного текста — Солженицын трижды показывает — Цезарь не замечает Ивана Денисовича: «Цезарь трубку курит, у стола своего развалиясь. К Шухову он спиной, не видит.

<...>

¹ Солженицын А.И. Собр. соч.: В 8 т. М., 1990. Т. 5: Архипелаг ГУЛАГ. С. 27. — *Здесь и далее примеч. Т. Вознесенской.*

² Грибоедов А.С. Сочинения. М., 1988. С. 383–384.

Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху <...>.

<...>

<...> Цезарь совсем об нём не помнил, что он тут, за спиной». Но и «добрые чувства» старого каторжанина направлены только на своих — на память «трёх поколений русской интеллигенции», и Иван Денисович ему незаметен.

Это непростительная слепота. Иван Денисович в рассказе Солженицына не просто главный герой — он обладает высшей авторитетностью повествователя, хотя по скромности своей вовсе не претендует на эту роль. Основной повествовательный приём, от которого писатель отказывается ради авторской речи всего несколько раз, и очень ненадолго, — несобственно-прямая речь заставляет нас видеть изображаемый мир прежде всего глазами Шухова и понимать этот мир через его сознание. И потому центральная проблема рассказа, совпадающая с проблематикой всей новой (с начала XIX века) русской литературы, — обретение свободы — приходит к нам через проблему, которая осознаётся Иваном Денисовичем как главная для его жизни в лагере, — выживание.

Простейшая формула выживания: «своё» время + еда. Это мир, где «двести грамм жизнью правят», где черпак щей после работы занимает высшее место в иерархии ценностей («Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни»), где об ужине говорится: «Вот он, миг короткий, для которого и живёт зек». Пайка, спрятанная около сердца, символична. Время измеряется едой: «Самое сытное время лагернику — июнь: всякий овощ кончается, и заменяют крупой. Самое худое время — июль: крапиву в котёл секут». Отношение к еде как к сверхценной идее, способность целиком сосредоточиться на ней определяют возможность выживания. «Кашу ест ротом безчувственным, она ему не впрок», — говорится о старом интеллигенте-каторжанине. Шухов именно *чувствует* каждую ложку, каждый проглоченный кусок. Рассказ полон сведений о том, что такое магара, чем ценен овёс, как спрятать пайку, как корочкой выедать кашу, в чём польза плохих жиров.

Жизнь — высшая ценность, человеческий долг — спасение себя, и потому перестаёт действовать традиционная система запретов и ограничений: сворованные Шуховым миски каши — не преступление, а заслуга, эковская лихость, Гопчик свои посылки по ночам в одиночку ест — и здесь это норма, «правильный будет лагерник».

Поразительно другое: нравственные границы хоть изменяются, но продолжают существовать, и более того — служат гарантией челове-

ческого спасения. Критерий прост: нельзя изменять — ни другим (как стукачи, сберегающие себя «на чужой крови»), ни себе.

Неизживаемость нравственных привычек, будь то неспособность Шухова «шакалить» или давать взятки или «выканье» и обращение «по отечеству», от которого не могут отучить западных украинцев, — оказывается не внешней, легко смываемой условиями существования, а внутренней, природной устойчивостью человека. Эта устойчивость определяет меру человеческого достоинства как внутренней свободы в ситуации максимального внешнего отсутствия её. И чуть ли не единственным средством, помогающим осуществить эту свободу и — следовательно — позволяющим человеку выжить, оказывается работа, труд. «<...> Так *устроен* (курсив мой. — Т.В.) Шухов по-дурацкому, и никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули». Работа определяет людей: Буйновский, Фетюков, баптист Алёшка оцениваются по тому, какие они в общем труде. Работа спасает от болезни: «Теперь, когда Шухову дали работу, вроде и ломать перестало». Работа превращает «казённое» время в «своё»: «Что, гадство, день рабочий такой короткий?» Работа разрушает иерархию: «<...> сейчас работой своей он с бригадиром сравнялся». И главное, она уничтожает страх: «<...> Шухов, хоть там его сейчас конвой псами трави, отбежал по площадке назад, глянул».

Свобода, измеренная не высотой человеческого подвига («Знают истину танки!»), а простотой ежедневной рутины, с тем большей убедительностью осмысливается как естественная жизненная необходимость.

Так в рассказе об одном дне жизни советского лагерника совершенно естественно смыкаются две большие темы русской классической литературы — искание свободы и святость народного труда.

П. Басинский

НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ¹

40 лет назад ноябрьском номере «Нового мира» была напечатана повесть «Один день Ивана Денисовича». Её автор, до этого никому в литературном мире не известный 43-летний рязанский учитель математики Александр Исаевич Солженицын, в считанные дни стал знаменитостью.

¹ Литературная газета. 2002. 27 ноября / 3 декабря.

Я отправился в редакционную библиотеку и разыскал № 11 «Нового мира» за 1962 год. Увидел то, что и ожидал увидеть: отсутствие части номера от стр. 7 до стр. 74, а также густо замазанную чернилами соответствующую позицию в «Содержании». Это я видел и в других библиотеках.

На обложке номера красными чернилами наискосок написано: «Поставить на полку». То есть после изъятия идейно неправильных страниц (до того одобренных ведущими советскими писателями, главными редакторами газет, Идеологическим отделом ЦК и лично главой Советского государства) *всё остальное* можно использовать. В самом деле: ну зачем уничтожить продукт целиком? В этой бережливости есть даже что-то трогательное.

Любопытно взглянуть на обычный номер «Нового мира» тех лет *в отсутствие Солженицына*. Он открывается стихами Эдуардаса Межелайтиса в переводах Давида Самойлова и Станислава Куняева. Между прочим, и стихи хороши, и переводы, видимо, прекрасные. «Гимн утру»:

Сперва различают на слух
луч, в стёкла стучащийся звонко,
чистейший и утренний звук —
звук солнца — медного гонга.
.....
И человек пробуждается.

Крепко, мастерски, ничего не скажешь! Но вспоминаются другие строчки: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стекла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать».

Утро «Одного дня...» начиналось сразу же за «Гимном...» Межелайтиса—Самойлова.

Ведь когда человек
хочет стать человеком,
он должен сначала проснуться.
И когда человек
хочет строить, творить, работать...

Что тут возразишь? Чтобы работать, человек должен проснуться. Должен? Должен. А поэт должен написать об этом как можно краси-

вее. Должен? Да не должен, разумеется! Но подразумевается, что должен. Должен советский поэт красиво описать утро рабочего человека!

«В те годы восстановление социалистической законности и ленинских норм партийной жизни оздоравлиюще подействовало на психологию людей, побудило думать смелее, шире, мужественнее» (из статьи В. Лакшина о Павле Нилине в этом же номере «НМ»).

Неправда? Да нет, вроде бы правда... Но мёртвыми словами высказанная. Не своими.

«Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто подыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать». Это Солженицын.

А вот Самуил Маршак:

Питает жизнь ключом своим искусство.
Другой твой ключ — поэзия сама.
Иссяк один — в стихах не стало чувства.
Забыв другой — струна твоя нема.

Не сразу поймёшь, что в этих стихах *не то*. Наконец понимаешь: эти стихи можно изложить прозой. Попробуйте — нетрудно. В этой поэзии нет поэзии. И жизни нет. Она написана о самой себе.

Итальянские очерки Виктора Некрасова. Очень интересные. Видно, что по уши влюблён в Рим, во Флоренцию, в Венецию. В итальянское кино, которым в то время бредили русские интеллигенты. «Забрались в вагоны, забили сетки своими чемоданами. Тронулись. Я открыл окно и высунулся... Высунулся и оказался в фильме “Машинист”!.. Кто ведёт поезд? Я не удержался и заглянул в переднее окно электровоза. Можете смеяться надо мной, но там сидел Пьетро Джерми. Честное слово!» В этот пафос, хотя и несколько наивный, нельзя не поверить. Но здесь же: «— Скажите, пожалуйста, что самое интересное было у вас в Италии (или в Америке)? На первых порах я затруднялся на это прямо ответить. Сейчас могу. Самое интересное — это споры».

Споры? Но где они? Самое интересное? «...об этом позже». Сейчас же о том, что «самое приятное». Рим, Флоренция... Ах!

«— Рис? Рис по другой норме идёт, с рисом ты не равняй!

— Рис! Пшёнку с рисом ты не равняй!» (А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»).

Повесть Александры Бруштейн «Простая операция» об удалении у старого человека глазной катаракты. Хорошо написана, а главное — и сегодня будет читаться пожилыми людьми. Старость и есть старость. Катаракта и в Африке катаракта.

Но... И катаракты советский человек так просто не удалял. Он удалял её со смыслом. Вспоминая о встречах с Николаем Островским. Вспоминая слова «не сдаваться!».

«Засыпал Шухов вполне удовлетворенный. На dniu у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножёвкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся.

Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый.

Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три.

Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...» Это самый конец «Денисовича».

А в общем, хороший номер получился у Твардовского в ноябре 1962 г. Ровный, сильный. Даже без Солженицына. Но ни один из вошедших в него текстов не изменил мир ни на йоту. Многие сегодня полагают, что так оно и должно быть с литературой. Так безопаснее. Наверное. Но перечитывают всё же «Денисовича».

В. Мамонтов

ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹

40 лет назад в журнале «Новый мир» вышла знаменитая повесть Александра Солженицына

Было: как смело, как правдиво, обличительно. Задевала почему-то особенно история о том, как заглавный герой «прятал ножёвочку», чтоб пронести её в барак, сделать ножик. Не для того, чтоб начкару горло перерезать. Просто построгать чего, улучшить страшную жизнь... Каким же приниженным, укатанным казался мне Иван Денисович, терпевший всё это!

Сегодня стало: как правдиво, как горько, как светло.

С текстом, понятно, ничего не произошло. Произошло со мной. Сегодня как-то видней, что история Ивана Денисовича Шухова не только про то, как сталинская мясорубка перемальвает народ. Она про то, что его не перемелешь. Хотя...

Много позже Солженицын в «Нобелевской лекции» напишет уже о мировой мясорубке. «Всё меньше стесняясь рамками многовековой

¹ Комсомольская правда. 2002. 16 ноября.

законности, нагло и победно шагает по всему миру насилуе, не заботясь о том, что его бесплодность уже много раз проявлена и доказана в истории... “Бесы” Достоевского — казалось, провинциальная кошмарная фантазия прошлого века, на наших глазах расползаются по всему миру, в такие страны, где и вообразить их не могли, — и вот угонами самолётов, захватами заложников, взрывами и пожарами последних лет сигналият о своей решимости сотрясти и уничтожить цивилизацию! И это вполне может удалиться им. Молодёжь — в том возрасте, когда ещё нет другого опыта, кроме сексуального, когда за плечами ещё нет годов собственных страданий и собственного понимания, восторженно повторяет наши русские опороченные зады XIX века, а кажется ей, что открывает что-то новое».

Это написано ровно тридцать лет назад. «Иван Денисович» — сорок. А кажется — вчера. Летят года, а «...те же старые пещерные чувства — жадность, зависть, необузданность, взаимное недоброжелательство, на ходу принимая приличные псевдонимы вроде классовый, расовой, массовой, профсоюзной борьбы, рвут и разрывают наш мир... Любая профессиональная группа, как только находит удобный момент вырвать кусок, хотя б и не заработанный, хотя б и избыточный, — тут же вырывает его, а там хоть всё общество развалилось».

А Иван Денисович всё прячет в рукавице *ножёвочку*, пытаясь облегчить своё бытие. Спрячет — и рад. Жив — и ладно.

Жив ли?

Н. Солженицына

40 ЛЕТ КАК ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА¹

Именно с этой книги началось постепенное исчезновение архипелага ГУЛАГ

Публикация «Одного дня Ивана Денисовича» — явление, для жизни и судьбы Советского Союза знаковое. Впервые появился мощный литературный рассказ о самой запретной теме «режимной страны социализма» — лагерях.

В самом деле, главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский сумел убедить членов своей редколлегии в необходимости публикации и вопреки сопротивлению «литературоведов в штатском» довёл текст до глаз Хрущёва, а тот, в свою очередь, настоял на том,

¹ Российская газета. 2002. 19 ноября.

чтобы Политбюро ЦК КПСС приняло решение о публикации рассказа. «...Верная догадка-предчувствие у меня в том и была, — писал Александр Солженицын впоследствии, — к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв. Так и сбилось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот эта его dokonная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелома, да и поранее».

Наш разговор — с женой и помощницей нобелевского лауреата — Наталией СОЛЖЕНИЦЫНОЙ.

Беседу вел Александр Шуплов

— Наталия Дмитриевна, реальный Иван Денисович Шухов существовал в жизни?

— С Шуховым, героем «Одного дня Ивана Денисовича», Александр Исаевич сохраняет постоянную душевную связь, хотя точно такого зэка в жизни не было: фамилия и внешний вид взяты от пожилого солдата из батареи, которой командовал Солженицын на войне. У солдата Шухова судьба была, к счастью, совсем другая — он никогда не был арестован и никогда не сидел. Несомненно, что связь с этим первым произведением проходит через всю жизнь не только Александра Исаевича, но и многих читателей Солженицына. После публикации «Ивана Денисовича» у многих простых людей образ Шухова и Солженицына сливались. Александр Исаевич получил в своё время немало писем, которые так и начинались: «Здравствуйте, дорогой Иван Денисович...» Хотя, сами понимаете, разница между автором и героем большая...

— Для вашей семьи «Иван Денисович» стоит в одном ряду с тем, что написал Солженицын, или выделяется?

— За себя могу сказать: конечно, выделяется. Я ведь тоже, как и миллионы людей, узнала Солженицына через эту повесть — и ахнула. Потом были напечатаны ещё четыре рассказа его в том же «Новом мире» — и всё, отрезали. Мы все жадно ловили в самиздате каждую новую страницу Солженицына, упивались романом «В круге первом», «Раковым корпусом», но любовь и благодарность к «Ивану Денисовичу» не затмевались. Права Мариэтта Чудакова, сказавшая об «Иване Денисовиче», уже в перестройку, на одном из первых вечеров, посвя-

щённых Солженицыну (мы ещё были в Вермонте, нам ещё и гражданства тогда не вернули): «Эта вещь сработана на века...» Именно «Иван Денисович» — и вслед за ним «Матрёна» сделали Солженицына народным писателем.

Что касается наших мальчиков, то для них, сколько я помню, «Один день» был первым произведением отца, которое они прочитали сами. Вот «Матрёнин двор» им прочитал вслух отец. А «Ивана Денисовича» они читали самостоятельно — лет в десять, в двенадцать. Читать они начали рано, читали много.

— *Вам доводилось слышать «Ивана Денисовича» в исполнении автора?*

— Да! И существуют даже две записи «Ивана Денисовича» в авторском чтении. Надо сказать, Александр Исаевич читает очень хорошо: ведь он — несбывшийся артист и в своё время поступал в студию Завадского, когда того сослали в Ростов. Завадский его принял, но всё же Солженицына отклонили по слабости голосовых связок. А то — кто знает? — мы могли бы потерять писателя. Так вот, Александр Исаевич — хороший чтец. В 1982 году, к двадцатилетию выхода повести, его первый раз попросили записать целиком «Ивана Денисовича» для Би-би-си. Эту запись Би-би-си передавала на Советский Союз и затем выпустила на кассетах. Второй раз повесть была записана два года назад: мы тогда предприняли — у себя дома, но на современном оборудовании — запись многих малых произведений Александра Исаевича в его чтении. Запись получилась замечательная и очень высокого качества. Я счастлива, что мы это сделали. Надеюсь, когда дойдут руки, мы издадим эти записи и все желающие смогут их услышать. Пока же не хватает времени: идёт работа над книгами.

— *Страницы «Бодался телёнок с дубом», посвящённые истории «Ивана Денисовича», читаются как остросюжетный психологический роман с конфликтами и героями — политиками и писателями, снабжены более поздними добавлениями. Появляются ли новые материалы, связанные с историей публикации повести?*

— Существенно новое нам неизвестно, хотя за прошедшие годы появилось много параллельных воспоминаний, среди них — членов редколлегии «Нового мира», где был опубликован «Иван Денисович». Сейчас в «Знамени» печатаются исключительно интересные дневниковые записи Твардовского.

— У Александра Исаевича отношение к Твардовскому было неоднозначным, судя по тому же «Телёнку»...

— Вы совершенно ошибаетесь. У Солженицына отношение к Александру Трифоновичу всегда было вполне однозначно. Другое дело, что Твардовский был человеком сложным, эта сложность усиливалась временем, которое его ломало, и обстоятельствами, иногда непосильными. Но Александр Исаевич всегда любил Александра Трифоновича. В «Телёнке» дан взволнованный и живой портрет Твардовского, а упрёки, что каких-то его слабостей Солженицын не скрыл, безосновательны, с ними Твардовский более живой, чем без них. Лучшего портрета пока никто не написал, по-моему.

— Каково сейчас отношение Александра Исаевича к Хрущёву, который сыграл важнейшую роль в публикации «Ивана Денисовича»?

— Если говорить о роли Хрущёва в печатании «Ивана Денисовича», то оценка эта не изменилась. Не знаю, чья заслуга, личной ли воли Хрущёва или Хрущёвым двигал кто-то высший, но, бесспорно, без него ни в коем случае такая вещь в Советском Союзе не могла бы появиться. А по общему признанию, именно с «Ивана Денисовича» начались глубинные изменения в жизни страны. Что касается роли его в жизни страны, то тут Александр Исаевич и раньше относился к Хрущёву как к недостаточно серьёзному человеку, который многое мог бы сделать, но не сделал. В то же время человек Хрущёв был живой, и уж за что ему можно точно поклониться, так это за то, что он распустил лагерь. Сажали при Ленине, сажали при Сталине, сажали при ком угодно, но именно Хрущёв лагерь распустил и выпустил на волю миллионы неповинных людей. Это перевешивает то дурное и нелепое, что он сделал.

— Принято считать, что в 1962 году как раз месяц с момента публикации «Ивана Денисовича» и до выставки в Манеже, на которой Хрущёв познакомился с работами художников-нонконформистов, стал временем либерализма в России.

— Момент публикации «Ивана Денисовича» открыл новую эпоху, её можно называть «эпохой либерализма», можно называть «оттепелью». Но считать, что эпоха эта кончилась через месяц, неверно. Ведь ясно, что, когда Хрущёв попытался откатить назад и стучать кулаком на художников, это дело было обречённое. Тогда это могло казаться новым «оледенением», чем-то страшным, но теперь, на расстоянии, видно, что с «Иваном

Денисовичем» лёд тронулся и возвращение назад было безнадежным. Даже длительный брежневский период, «застой», который сейчас некоторые поминают с удовольствием, был лишь притормаживанием.

— *Как обстоят дела с изданием «Одного дня Ивана Денисовича» в последние годы?*

— С «Иваном Денисовичем» и «Матрёниным двором» издательские дела обстоят хорошо главным образом потому, что эти две вещи вошли в школьную программу. Поэтому их много публикуют — и отдельными книжками, и в школьных хрестоматиях, и во «взрослых» антологиях малой прозы. Вот в самое последнее время вышло два издания «Ивана Денисовича» для школьников — с предисловием и комментариями Людмилы Сараскиной.

Так уж Бог уладил, что «Иван Денисович» был впервые опубликован в Советском Союзе. Важность этого нельзя переоценить. Публикация повести у нас на родине имела глобальное значение: вся мировая пресса находилась в то время в руках не то что левой, а почти радикальной интеллигенции и в случае публикации «Ивана Денисовича» за рубежом просто не поверила бы этой страшной правде. Именно с «Ивана Денисовича» начался процесс, который сдвинул Европу и весь мир с позиций симпатий к коммунизму. Хотя, бесспорно, главная заслуга здесь принадлежит «Архипелагу ГУЛАГ».

— *У многих осталась на памяти встреча Президента Путина с Александром Исаевичем. Поддерживаются ли сейчас контакты Владимира Путина и Александра Солженицына?*

— Регулярных звонков нет.

— *Как здоровье Александра Исаевича, над чем ему работается?*

— Здоровьем нельзя особенно похвастаться, но и жаловаться тоже не приходится, поскольку Александр Исаевич всё время говорит, что никогда не думал дожить до такого возраста. Состояние здоровья у него стабильное, он много работает, хотя в последнее время ему стало трудно ходить: сказывается старая лагерная травма — работая в литейке, он поднимал огромные тяжести... Но все трудности пожилых лет Александр Исаевич принимает очень смиренно, считая, что в жизни и так ему отпущено больше, чем он надеялся. А пока у него много планов — завершить начатые произведения. Работы всегда много, не помню, чтобы было иначе. И сыновья, хотя и совсем в других профессиях, тоже неуёмно работают.

— Собираются сыновья вместе дома?

— Постоянно живёт и работает в России старший, Ермолай. Он женился на русской девушке и подарил нам двух внуков — Катерину и Ивана Ермолаевичей. Они растут рядом с нами, что нас очень радует. Младший наш сын, Степан, тоже собирается перебраться в Россию, правда, он должен найти соответствующую работу, а его профессия пока здесь мало востребована. Средний сын Игнат связан с оркестром в Филадельфии, он много путешествует с гастрольями по Западу: музыканты — граждане мира. Но, как минимум, два раза в год Степан и Игнат приезжают домой.

— От имени читателей «Российской газеты» мы поздравляем вас с издательским юбилеем «Ивана Денисовича», передайте Александру Исаевичу пожелание здоровья и свершения творческих планов. Мы вас любим!

— Спасибо большое! Это чувство нас постоянно достигает и помогает сохранять силы.

В. Чертков

ПО РЕЛЬСАМ, ПО ПРИОБСКОЙ ДОРОГЕ...¹

Александру Солженицыну — 85

Из биографии Александра Исаевича:

Окончил в Ростове-на-Дону среднюю школу, в 1941 году — физико-математический факультет университета. Специального литературного образования не имеет. Перед самой войной заочно учился в Московском институте философии, литературы и истории. В 41-м призван рядовым и год спустя после окончания артиллерийского училища назначен командиром батареи. На фронте до февраля 1945-го. Награждён двумя орденами. В звании капитана был арестован (в его письмах обнаружили критику Сталина). Приговорён к восьми годам заключения. В 1957-м реабилитирован.

Сорок с лишним лет назад, оказавшись в командировке на Северном Урале, я стал свидетелем обсуждения творчества начинающего тогда писателя.

¹ Южные горизонты. 2003. 11/17 декабря.

...Офицеры материли Солженицына. В вагоне навряд ли кто знал это имя, вдруг мелькнувшее на страницах «Нового мира», тем более в этом ночном вагоне, бегущем по только что уложенной колее от Ивделя к Оби. Малочисленный штатский люд, возможно, думал: «Энкавэдэшники полощут своего сослуживца».

Поезд шёл в зоне лагерей по рельсам начала 60-х, и ехали в нём те, кто правил местными зэками. Вот в мозгу «гражданина начальника» не укладывалось, что кто-то, а не он стал вдруг повелевать поступками подневольных людей. Может, это сильно — поступками, но началось брожение умов, и человек, брошенный на колени, неожиданно начал подниматься в рост. И меньше стало заискивающих взглядов, к которым так привыкли, ощущая свою силу, эти офицеры в советской форме.

— Чего он там такого написал? Как бы почитать — ведь не достанешь...

— Один день зэка-психа... Не то Ивана Даниловича, не то Ивана Денисовича.

— Денисовича...

— Переплёт стальной сделали, суки, чтобы, значит, не затрепалась книжица, и передают её под большой залог, из отряда в отряд. Читают взахлёб, сволочи.

— И я её тоже взахлеб, ночь напролёт... Но это что же выходит — всё, на чём стоим, в распыл, на обозрение, точно в цирке, мать его...

— Не у нас ли он сидел? Эх, знать бы заранее...

Вагон подбрасывало на плохо подогнанных стыках. Коптила свеча в фонаре под потолком, кто-то блевал с жуткого перепоя, кто-то стучал по бачку прикованной к нему цепью кружкой, проверяя наличие влаги, кто-то выл: «Шапку украли, отдайте!»

Вагон был «элитный», куда не всех... Здесь хоть не дрались и не грозили «пером» — здесь сидел у входа, охраняя нас, мешковатый солдат. И было ясно, что в этом вагоне места для Александра Исаевича не существует. Он болтался где-то на подножке, и в этой чёрной ночи со свечным огарком кто-то остервенело, яростно разжимал его пальцы, вцепившиеся в поручни вагона, всюю стараясь, чтобы он полетел под откос, в болото приобской тайги. Снова?

Он был для нас просто человеком из России. А кто он, откуда, в какой среде рос — ничего не знали, да особенно и не задумывались тогда над этим, читая взахлёб «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор».

В. Акимов

ПРОЗРЕНИЕ¹

*К 40-летию публикации рассказа А.И. Солженицына
«Один день Ивана Денисовича»*

Многие люди старшего и среднего поколения, которые в 1960-е гг. следили за новинками советской литературы, главным образом по толстым журналам, несомненно, помнят, какое ошеломляющее впечатление на них произвело появление в № 11 журнала «Новый мир» за 1962 г. (вышедшего, правда, с задержкой) повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Это было событие, потрясшее не только литературную, но и общественную жизнь страны. Первый вопрос, который возникал у читателя, — как такое могли напечатать, как это пропустили цензоры?! Повесть читали и перечитывали, передавали из рук в руки. Книжки журналов зачитывали до дыр. Получив от друзей на одну ночь, делали фотокопии, чтобы оставить их у себя, и потом вновь и вновь обращаться к этому потрясающему свидетельству скрытой многие годы от нас жизни за колючей проволокой. С особой остротой и болью вчитывались в повесть те, кто непосредственно прошёл «школу ГУЛАГа» или у кого родные и близкие не вернулись из колоний строгого режима.

Сорок лет — срок достаточный, чтобы разобраться, почему это небольшое по объёму литературное произведение вызвало столь острый резонанс в умах и душах людей 1960-х гг., и изменился ли взгляд на него сегодня, в начале XXI в. С просьбой поразмышлять на эту тему автор «Посева» Сергей Кастельский обратился к доктору филологических наук, профессору Санкт-Петербургского университета культуры и искусства Владимиру Михайловичу Акимову.

— *Владимир Михайлович, помните ли Вы, какое впечатление на Вас произвела повесть «Один день Ивана Денисовича» и какую роль её публикация сыграла в литературной и общественной жизни страны начала 1960-х гг.?*

— Прежде всего, хочу поправить Вас. Действительно, при публикации в «Новом мире» жанр этого произведения определялся как повесть. Но сам Александр Исаевич называет «Один день Ивана Денисовича» рассказом. Поэтому и я буду говорить «рассказ».

¹ Посев. 2003. № 1. Интервью доктора филологических наук В.М. Акимова, данное журналисту С. Кастельскому.

Я бы без малейшего преувеличения сказал, что и в истории нашей литературы, и в нашем сознании, и в нашем осмыслении пережитого в XX в. это произведение Солженицына было своеобразным переломным моментом.

Рассказ произвёл колоссальное впечатление, прежде всего тем, что сдёргивал завесу с таких обстоятельств и событий нашей жизни, которые даже после всех предыдущих разоблачений культа личности Сталина всё равно были ещё скрыты, таились за кулисами общественной жизни.

И дело не только в той новой, сенсационной, потрясающей информации (таким было моё впечатление, когда я, не отрываясь, прочитал этот рассказ), не только в трагизме того знания, которое мы получили. Я думаю, главное в рассказе Солженицына (теперь, на расстоянии в 40 лет, это отчётливо видно) заключается в другом. В том, что Александр Исаевич рассказал о духовном сопротивлении коренного русского человека (ведь Иван Денисович Шухов — это русский мужик, крестьянин), о его противостоянии тому насилию, которое здесь, в лагерной жизни, проявлялось с наибольшей, откровенной, грубой силой. Вот в чём, как мне кажется, суть этого произведения, когда смотришь на него сегодня. Не само по себе сенсационное знание, а прозрение глубинной, трагической природы нашей истории в XX в. и нашей способности к сопротивлению.

— *Почему Вы подчёркиваете, что Шухов мужик, крестьянин? Ведь за колючей проволокой оказалось немало представителей интеллигенции, деятелей науки и культуры?*

— Потому что именно уничтожение русского крестьянства — самая трагическая страница нашей новейшей истории. Ведь к началу XX в. крестьянство составляло подавляющее большинство русского населения. Это была «материковая» опора русской жизни. И вот эта опора оказалась разрушенной: самый здоровый слой общества был уничтожен, перемолот и перестал существовать к началу XXI в. Где сейчас крестьянство? Это, может быть, самое великое преступление вершителей наших судеб перед своим народом за последние века. Ведь происходило уничтожение народа. Причём всевозможными средствами.

Русское крестьянство уничтожали в эти страшные полвека несколько раз. (Особенно в первые полвека, к тому времени, когда рассказ был написан и опубликован.) Прежде всего, войны. Первая мировая война, потом Гражданская, потом Вторая мировая. И, конечно, раскулачивание. Напомню Вам о высылке русской научной, культур-

ной и философской интеллигенции за границу в 1922 г. Это было раскулачивание (если так можно выразиться). А следом за тем шло раскулачивание. Последовательно уничтожалась и элита русского народа, и его коренной слой — крестьянство. Сейчас, на значительном временном расстоянии от этих событий, мы это чувствуем с особенной остротой. Во всей нашей жизни.

— *Создание колхозов в послевоенные годы Вы тоже рассматриваете как продолжение угнетения крестьянства?*

— Создание колхозов — это во многом продолжение лагерного режима. Ведь они были огорожены незримой колючей проволокой. Своего рода колхозный ГУЛАГ. Особенно после советско-германской войны. Я позволю себе вспомнить один разговор с Фёдором Александровичем Абрамовым (у нас были доверительные отношения). Он спросил меня как-то во время наших разговоров наедине: «Вы знаете, что такое ВКП(б)?» Я сказал: «Разумеется. Это — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)». Он ответил: «Это — Второе крепостное право (большевиков)». Я ручаюсь за точность этой информации.

Вот почему сегодня на рассказ Солженицына нужно смотреть с такой точки зрения. Но прежде напомним о том, как рассказ появился.

После реабилитации Солженицын получает возможность работать в литературе. И в самом конце 1950-х очень быстро, за короткий срок он пишет рассказ об одном дне жизни зэка Шухова. Вот как сам Александр Исаевич рассказывает об этом: «Как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днём. Семь лет мысль эта лежала так просто.

Попробую-ка я написать один день одного зэка. Сел, и как полилось! Со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней. Я невероятно быстро написал “Один день Ивана Денисовича”».

— *С публикацией этого рассказа, наверное, было немало проблем?*

— Действительно, когда рассказ был написан, встал вопрос: куда его нести?

В те годы репутацию самого смелого имел журнал «Новый мир» и его главный редактор А.Т. Твардовский. Рукопись пришла туда «самотёком» (было в то время такое выражение). Солженицына в то время никто не знал, рекомендовать его было некому. Его друг Лев Копелев принёс рассказ в редакцию и передал редактору отдела прозы. Тот, ознакомившись

с рукописью, увидел, что это, как говорится, «ничто». И передал её самому Александру Трифоновичу. И «тот, — я цитирую Солженицына, — лёгши вечером с ней “почитать”, через две-три страницы встал, оделся, перешёл за бессонную ночь дважды — и тотчас же начал борьбу за издание.

Наконец, решение о напечатании рассказа принято не как-нибудь, а в Политбюро, в октябре 1962 г. под личным давлением Хрущёва». Сложными путями Твардовский добрался до Хрущёва. А Хрущёв Твардовского уважал. И добился, чтобы на Политбюро было принято решение о публикации рассказа. Потому что цензура, конечно, не могла пропустить его. Вот такова история публикации рассказа «Один день Ивана Денисовича».

— *Насколько современно выглядит главная идея рассказа сегодня?*

— Повторяю, главное в рассказе, сущность его — это борьба за духовное выживание русского крестьянина, русского человека в страшных лагерных условиях. И в этом сопротивлении герой Солженицына оказался победителем. Лагерный режим, да и вообще режим той эпохи, размывал человека, превращая его в лагерную пыль. Должен заметить, что эта метафора превращения человека в пыль впервые возникает в дневниках М.М. Пришвина: «Мы превращаемся в организованную пыль». И это написано в 1930 г.! Лагерная тема возникла уже позднее. Противостояние этому превращению человека в лагерную пыль и есть смысл рассказа. По Солженицыну, и в этих нечеловеческих условиях нужно сохранить, защитить, отстоять в себе человека. Добавлю — в любых, в том числе и в современных условиях.

И вот, читая рассказ, мы час за часом проживаем этот день вместе с героем: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака <...>». Просыпается Иван Денисович, но, против обыкновения, не встаёт — ему нездоровится. Хотя знает: у него есть свободное время, можно заняться до построения, до выхода на лагерные, каторжные работы какими-то своими делами. Он вспоминает уроки своего первого лагерного бригадира, старого лагерного волка Кузёмина, который как-то сказал: «Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто подыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать».

Вот суть лагерной философии. А как сказано, какая точность русского слова, какой опыт вместился в трёх фразах, определяющих границы человеческого выживания в лагере! *Погибает тот, кто падает духом, кто становится рабом больной или голодной плоти, кто не в силах укрепить себя изнутри, устояв и перед искушением подобрать*

объедки, и перед немощью тела, надеющегося на исцеление, которое придёт извне. А вернее всего погибает тот, кто нравственно падает ниже всех, кто губит свою душу, становясь доносчиком.

Это на самой первой странице рассказа. И вот с этой мыслью мы и начинаем проникать в сюжет «Одного дня Ивана Денисовича». Это первое.

Что дальше? А дальше — работа. Я довольно внимательно читал «лагерную литературу». Знаю, как читающие люди воспринимали её. И мне кажется, недооценена очень важная сторона сюжета рассказа и вообще солженицынского взгляда на мир.

Позволю себе вспомнить, что однажды я с Солженицыным беседовал наедине. Это был 1963 или 1964 г. Он рассказывал о том, что у него была страшная, смертельная болезнь, «но Бог меня спас от этой болезни, потому что мне нужно было мою работу выполнить. И эта работа меня спасла».

Работа спасает и Шухова. Главным духовным, не производственным, а именно духовным центром его жизни в этот день было то, что он работал на совесть. Работает для себя. Не на *них*, а на себя работал. Он не может работать спустя рукава, в нём сохранился народный ген трудолюбия всех предшествующих поколений русских людей. В течение веков в русском народе происходила своего рода духовная селекция, трудовая селекция. Кто хорошо работал, тот хорошо жил, тот выживал, тот продолжал себя в потомстве.

Началась работа, «и — как вымело все мысли из головы. Ни о чём Шухов сейчас не вспоминал и не заботился, а только думал — как ему колена трубные составить и вывести, чтоб не дымило». Потом он стену кладёт (работает каменщиком на ТЭЦ — как и Солженицын работал каменщиком на подобной стройке). И работает так, чтобы, как говорится, «комар носа не подточил». Кончается рабочий день. Уже подали сигнал. Всё. Съём. Уходите с объектов. Но «<...> Шухов, хоть там его сейчас конвой псами травы, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал — и через стенку, слева, справа. Эх, глаз — ватерпас! Ровно! Ещё рука не старится». Шухов закончил работу и смотрит, хорошо ли он поработал. Потому что он работал для себя, для души. *Он себя спасал хорошей работой.* Это второй главный итог этого дня.

И наконец, третье. Это забота о других. Кузёмин говорил: «Люди и здесь живут». Да, именно *люди* живут. Потому что они ведут себя как люди. Выживанию в лагере нужно упорно учиться. Шухов в столовой неожиданно получает две миски каши вместо одной. Ну, суматоха, по-вара обсчитались. Кому он передаёт лишнюю миску? Кавторангу Буй-

новскому. Тому, кто только попал в лагерь и обживаетеся. Кавторанг Буйновский в глазах мужика Шухова — многоопытный советский морской офицер, привлекательная, симпатичная фигура. По Шухову, правильно, что лишнюю миску каши капитану отдали. Придёт пора, и он научится жить в лагере. Не беда, что пока не умеет. Научится.

Хочу обратить Ваше внимание ещё на один очень важный момент рассказа. Рядом со словами Шухова о миске насущной каши в следующем эпизоде идёт разговор о такой же насущности пищи духовной.

В обеденный перерыв в прорабской кинорежиссёр Цезарь Маркович ведёт сложный, острый разговор с каторжанином X-123. Идёт спор о фильме Эйзенштейна «Иван Грозный». «Кривлянье! — <...> сердится X-123. — Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! <...> Гении не подгоняют тракторку под вкус тиранов!» Цезарь Маркович ему возражает: «Но слушайте, искусство — это не *что*, а *как*». А каторжанин на это: «Нет уж, к чёртовой матери ваше “как”, если оно добрых чувств во мне не пробудит!» Это близкая Солженицыну мысль: искусство не может замыкаться от мира людей в свои изыски, существовать мимо реальной жизни.

Так и рассказ «Один день Ивана Денисовича» — это углубление в подлинную, истинную жизнь и каждого человека, и всего народа. Потрясающее впечатление производит рассказ своей (извините за учёное слово) концептуальной напряжённостью, осуществлённостью главной мысли от начала к концу.

И вот его финал: «Засыпал Шухов вполне удовлетворенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили <...> в обед он закосил кашу <...>. И не заболел, перемогся. Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый». И дальше, после интервала: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три». Вот так нужно жить все эти 3653 дня, жить, сопротивляясь, жить, отстаивая своё существование. Каждый час, каждую минуту, каждую секунду в каждом из этих дней. «Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...» Вот самые последние фразы рассказа. Такой глубокий, мудрый, трагический юмор в этой последней фразе!

Я думаю, что приход Солженицына в литературу с рассказом «Один день Ивана Денисовича» был не только сенсационной информацией, но он был и прозрением, которое так необходимо нам для нашего нынешнего выживания. Для того чтобы каждый день нашей жизни сегодня проходил так, как у Ивана Денисовича. В борьбе за своё человеческое достоинство.

ГЕРОИ ВРЕМЕНИ. ИВАН ДЕНИСОВИЧ¹

Пётр Вайль: Центральный персонаж повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» стал именем нарицательным. Но не совсем и не всем понятно, каким именно.

Бывают ли такие люди в жизни, похож ли он на Платона Каратаева и какова вообще роль Толстого в солженицынской прозе? Вдохновенные страницы о лагерной работе советского заключённого Ивана Денисовича Шухова — это прославление рабского труда или гимн творчеству? Уничтожает или закаляет лагерь? Кто в этом прав, Шаламов или Солженицын? Что происходит, когда художник становится публицистом? Если повесть — шедевр, то своего времени или на века? Зачем читать «Один день Ивана Денисовича» сегодня?

Эти вопросы мы обсудим в очередной программе из цикла «Герои времени». В ней принимают участие: культуролог Наталья Иванова, режиссёр и литератор Олег Ковалов, писатель Анатолий Стреляный, литературовед Людмила Сараскина.

Вопрос Наталье Ивановой. Если сказать: «Ну, этот человек совсем как Иван Денисович!», — возникает образ? Что вы подумаете о таком человеке?

Наталья Иванова: Я подумаю, что, во-первых, это человек незлобивый, трудолюбивый, спокойный, неглупый, очень трезво относящийся к тому, что мы называем религией. Человек, который нацелен на то, чтобы, выживая каждый день, всё-таки выиграть жизнь так, как он её видит. Я таких людей встречала очень редко — в которых сочетались бы такие противоположные, казалось бы, качества. Я даже не помню, кого бы я могла сравнить с Иваном Денисовичем.

Пётр Вайль: Это что, такой идеальный образ получается?

Наталья Иванова: Не то чтобы идеальный, в нём сочетание довольно разных черт, но целиком образ получается положительный.

Пётр Вайль: О своих первых ощущениях по прочтении повести, напечатанной в журнале «Новый мир» в ноябре 1962 года, Анатолий Стреляный.

Анатолий Стреляный: С «Иваном Денисовичем» связано одно читательское переживание людей того времени: оказывается, об этом можно писать. Вот такое дополнительное удовольствие очень важно. Даже жалко, что нынешним оно не доступно. Об этом, оказывается, можно писать, причём как об обычной части нашей обычной совет-

¹ Радио Свобода. 12 ноября 2010 г. Автор и ведущий — Пётр Вайль. Гости: Наталья Иванова, Людмила Сараскина, Олег Ковалов, Анатолий Стреляный.

ской жизни. Это настоящая литература. Не просто про лагеря, про этот ужас, а высокая литературная техника, художественное произведение. Произведение, в полном смысле, изящной словесности. Противоречие — ужасная жизнь и изящное изображение её — давало нам возможность наслаждения искусством. Я помню, одна моя приятельница сказала: «А ты знаешь, мне хочется *туда*». Вот результат настоящего искусства. Изображён человек, весь смысл жизни которого в том, чтобы как-то выжить, а читательнице хочется туда.

Пётр Вайль: Совсем иное ощутил человек другого поколения — Олег Ковалов.

Олег Ковалов: При первом прочтении меня повесть разочаровала. Я прочитал её довольно поздно, уже после службы в армии. Очень много слышал о том, какую суровую правду сказал Солженицын о лагерях и какие ужасы расписаны в этой маленькой повести. Меня она разочаровала именно тем, что я не обнаружил в ней ни публицистического накала, которого ожидал, ни особых ужасов лагерной жизни. Тем более что после службы в армии я ожидал более жёсткого слова о тоталитарной системе.

Пётр Вайль: У студентки филфака, будущего литературоведа Людмилы Сарскиной впечатления были сугубо литературные.

Людмила Сараскина: Я немедленно стала это сопоставлять с «Записками из Мёртвого дома» — уже была такой филологиней. Стала сопоставлять эти вещи, чтобы понять, как авторы относятся к своему опыту «мёртвого дома». Как сопрягаются и сравниваются омская карта Достоевского и лагерь Солженицына.

Пётр Вайль: Солженицын пишет, что у Достоевского по лагерью ходили гуси. Естественно, что в советской зоне они бы и шагу не прошли. А что для вас было похожим и что отличным?

Людмила Сараскина: В солженицынском тексте меня безмерно поражало то, что выбранный герой — не автор. Это не его судьба, он не писатель, а герой, очень отличающийся от того, что я уже знала о Солженицыне. Человек без университетского образования, не офицер, а колхозник, простолюдин. Я долго пыталась разобраться, почему так. Мне казалось, что, наверное, привычнее было бы для читателя, чтобы об опыте своих переживаний человек рассказал от первого лица. И когда поняла, почему было сделано не так, почему выбран герой-простолюдин, — поняла секрет высочайшего успеха и того кредита доверия, который получил Солженицын уже спустя годы, когда именно на этого Ивана Денисовича пришло колоссальное количество писем от таких же простых людей. Причём интересно: Солженицын

писал о ГУЛАГе образца 50-го года, а письма, которые к нему приходили, уже были не от сталинских зэков, а от хрущёвских. И они писали, что ничего не изменилось, всё точно так же. То есть — они поверили. Я не знаю, поверили бы они, если бы это рассказывал интеллигент, образованный человек, офицер, прошедший ту школу жизни, которую прошёл Солженицын.

Пётр Вайль: «Один день Ивана Денисовича» ошеломил. В нём всё было необычным — герой, тема, стиль, язык. Это можно было принять или отвергнуть. Нужно было встроить в своё сознание или не встроить.

Анатолий Стреляный: Вспоминаю, как случайно познакомился с человеком в известном смысле историческим. Он был помощником Шепилова, кандидата в члены Политбюро, министра иностранных дел. От него, едва ли не от первого, я услышал вот это суждение: «Разве можно смотреть на действительность через тюремную решетку?» Этот тип претензий насчитывал к тому времени уже несколько сотен лет.

Людмила Сараскина: Многие его упрекали в том, что он очень мягко всё показал. Что показан лагерь, в котором человек может остаться человеком. Мне-то кажется, что это как раз замечательно. Хотя, разумеется, человек не создан для пыток. Но всё-таки то, что в человеке остаётся присутствие духа и достоинство, — это очень важно.

Анатолий Стреляный: В то время ещё немного было людей, которые откровенно рассказывали, что там было. Когда я спрашивал, бывало, так ли всё изображено, отвечали: да. Чаще говорили, что было ещё хуже. Что, видимо, связано с воздействием художественной стороны дела. С тем самым эффектом, что «хочется туда». Но людей, которые бы говорили, что это враньё, я не встречал.

Людмила Сараскина: Значительное число писем прислали надзиратели. Сотрудники НКВД, которые были глубоко возмущены всем абсолютно. Там Иван Денисович развенчивался со всех сторон. НКВД тогдашнее никак не могло это принять.

Пётр Вайль: Разоблачение Сталина и правда о сталинских лагерях к тому времени насчитывали уже шесть лет. Поражала не столько тема, не столько её сильная художественная подача, сколько главный герой. К таким героям не привыкли.

Анатолий Стреляный: Вопрос о том, какой человек Иван Денисович, хороший или плохой, для подражания или нет, делать ли с него жизнь, — эти вопросы, разумеется, десятиклассники того времени задавали. Обсуждению этого были посвящены классные часы. Есте-

ственно, хороший человек, хороший, нормальный человек, который занят тем, чтобы достойно выжить. И люди, которые не мудрствовали, а просто читали, любили этого человека. А как иначе? Если бы мне пришлось сидеть, а мысль об этом в те годы, естественно, возникала, то я предпочел бы сидеть с Иваном Денисовичем. Мы бы нашли с ним общий язык, и мы бы не обидели друг друга.

Людмила Сараскина: В Иване Денисовиче мне симпатично его внимание к мелочам жизни, наблюдательность человека, который организует в себе, делая это стихийно и интуитивно, всё то, что помогает выжить и не стать «шакалом». Мне очень импонирует в нём нравственное отношение к самому себе без формулирования этой нравственной позиции. Он не человек рефлексии, он человек прямого, конкретного поведения. Я недавно написала предисловие к сборнику рассказов специально для школьников в издательстве «Детская литература». И мне было очень важно посмотреть, нет ли где-то сбоя у Солженицына в его отношении к герою. Нет ли где-то такого места, где он, как говорится, «прокальвается» и разрешает своему персонажу видеть, чувствовать, переживать, страдать больше, глубже, иначе как-то, чем это делал бы простой человек. Мне кажется, что Солженицын всё-таки справился с этой задачей, и сделал это виртуозно.

Пётр Вайль: Иван Денисович хороший человек, но очень редкий хороший человек, как считает Наталья Иванова.

Наталья Иванова: Сам тип Ивана Денисовича — исчезающий, если не исчезнувший из русской жизни. Вот такой человек с его протестантской этикой и с его одновременным, что парадоксально, нестяжательством. Такого типа сейчас нет.

Олег Ковалов: Служа в армии, я таких людей встречал. Некоторых солдат из глубинки посылали работать на бане, на конюшне, и я рассмотрел умные лица этих людей, которых все считали дурачками. Присматриваясь к ним, я понял, что они знают о жизни больше меня, работают лучше меня и умнее меня. Только молчат. Я считаю, что в жизни, если бы я встретил Ивана Денисовича, он бы мне очень нравился.

Пётр Вайль: Людмила Сараскина таких людей в жизни не встречала.

Людмила Сараскина: Нет, вокруг меня люди были более благополучные, с более благополучной судьбой. Но по чертам характера, по манере поведения, по тому совестливому, честному отношению к жизни у меня был самый ближайший человек, про которого я могу сказать — да, это мог быть Иван Денисович. Это мой отец Иван Ми-

хайлович Сараскин, который прошёл фронт, всю войну. Он из таких же простых крестьян Поволжья. Корову и лошадь, которые у них были, отняли, их признали за середняков и, как это называлось, «мягко раскулачили» — отняли всё, что у них было, и одиннадцать из четырнадцати детей умерли от голода, умерли также отец и мать. Мой отец оказался в числе трёх выживших, пришёл пешком в Москву, где началась его самостоятельная, взрослая, полностью сиротская жизнь. Он был человек, который способен только за свой счёт строить свою жизнь, никогда не шакалить и всё уметь руками. Мне не надо далеко ходить.

Пётр Вайль: Наталья Иванова обосновывает своё суждение об исключительности характера и типа Ивана Денисовича.

Наталья Иванова: Для меня Иван Денисович — представитель протестантской этики, которой на самом деле у нас почти не существует. Как тип — это человек протестантской этики. Он, правда, когда с баптистом Алёшей говорит, достаточно скептически относится к баптизму, так же как и к православию, но, исходя из его рассуждений, уже понятно, что он к этой стороне духовности тяготеет. А исходя из образа жизни, он просто готовый протестант.

Пётр Вайль: Когда мы это говорим, то имеем в виду, что в протестантизме, особенно в крайних его течениях, трудолюбие, добросовестность и честность полагаются знаком богоизбранности. А это нас сразу же относит к Толстому, который в известной степени был представителем протестантизма российского извода. Он это не оформлял таким образом, но в Толстом такие тенденции довольно сильны. Может быть, неслучайно первое, что возникает при чтении «Ивана Денисовича», — это Толстой?

Олег Ковалов: Мы знаем, что, когда Солженицын появился в литературе, его многие сравнивали со Львом Толстым. Вероятно, все имели в виду некий реалистический и эпический взгляд на действительность. В то время как, мне кажется, толстовская традиция совсем в другом. Мы помним знаменитые рассуждения Толстого в романе «Война и мир»: «Большая часть людей того времени не обращала внимание на общий ход дел, а руководствовалась только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени. Те же, кто пытался понять общий ход дел и самоотверженно, с геройством хотели участвовать в нём, были самыми бесполезными членами общества. Они видели всё наизусть, и всё, что они делали для пользы, оказывалось бесполезным вздором». Вот критики упрекали Ивана Денисовича за бескрылость, за то, что он занят устройством своих личных дел в лагере, что он хитроват, что он немножечко лов-

чит, не опускаясь, тем не менее, до стукачества, что он не думает про общее положение дел в стране и даже не спрашивает у более развитых заключённых о том, что в мире происходит. Человек принял условия игры. Но именно такие люди и развалили лагерную систему, потому что тоталитарный режим стоит на социальных мифах, социальных догмах, но человек, который заботится о личном благе, отчасти сохраняет и живую душу, вносит жизнь в догму. Его мелкие, каждодневные усилия разламывают, размывают догмы, и, в конце концов, побеждает он, в конце концов, росток пробивается через асфальт.

Пётр Вайль: Людмила Сараскина тоже уточняет ставшую хрестоматийной похожесть Солженицына и Толстого.

Людмила Сараскина: Есть уже такая устойчивая параллель с Платоном Каратаевым. Я не вижу здесь каратаевского. Мне кажется, что Иван Денисович хотя это типический, вечный русский герой, но в нём есть явные следы XX века, следы той советской системы, которая человека ломала по-другому, чем крепостное право, ломала иначе. Герой, хотя он вечный, несёт на себе следы своего времени. Это очень важно.

Пётр Вайль: Важно отметить, что мы пытаемся по мере сил следовать за читателями и критиками 60-х и вообще советских лет, которые воспринимали и обсуждали Ивана Денисовича, да и Платона Каратаева, скорее как живого человека, чем как литературного героя. Так его написал автор, таков был литературный обиход того времени.

Анатолий Стреляный: Мне припоминается статья Лакшина об «Иване Денисовиче». Твардовский, прочитав статью, сказал очень деликатно: «Вы знаете, что касается пожеланий, может быть, вы бы что-то сказали о том, о чём в школьных учебниках говорят. О художественных особенностях этого произведения». И что сделал Лакшин? Он поставил три звёздочки в конце своей статьи и, как настоящий советский журналист, которому редактор сделал замечание, чтобы от него отделаться, написал абзац о художественных особенностях. И когда вся эта подноготная редакционная стала известна, я испытал большое огорчение, потому что очень уважал Лакшина. Я не встречал человека, который бы любил русскую литературу и знал её больше, чем Лакшин. Вот такое его отношение к художественной стороне меня огорчило.

Олег Ковалев: Иван Денисович более скептичен, чем Платон Каратаев, менее округл, более колюч, более практичен. При всей недалёкости, более интеллектуален, более цепок, и его образ более реалистичен.

Наталья Иванова: У меня первое, что возникает при чтении «Ивана Денисовича», не Толстой, а реальный человек, который находится между русским и советским. Реальный человек, который, при том что

был вынужден жить в определённых условиях, тем не менее, изворачиваясь, иногда и подвирая, иногда и хвостом помахивая тому, кого он считает начальством, иногда и угождая, тем не менее сохраняет в себе удивительно позитивное (не люблю этого слова) отношение к жизни. Он говорит и думает о том, что он будет делать после лагеря, — будет красилём. Вот он рассуждает, каким красилём он будет, планирует будущее. Это же удивительный характер.

Олег Ковалов: Интересно сравнить Ивана Денисовича с Василием Зотовым из рассказа «Случай на станции Кречетовка». Действительно, прекрасный советский юноша, который думает только о пользе страны. Но вот Иван Денисович остался человеком, а чистый, идеальный советский юноша Вася Зотов, лучший человек системы, не Ежов, не Вышинский, не мерзавец, юноша-идеалист, — посылает в лагерь невинного человека. На нём строится лагерь. На идеалисте, который думает про общее дело, но озабочен только интересами родины. А Иван Денисович — собой.

Пётр Вайль: Продолжаем разговор с Натальей Ивановой. Иван Денисович — такой вариант Робинзона Крузо.

Наталья Иванова: Конечно. У меня вообще любимая книга в жизни — «Робинзон Крузо». И может быть, такое узнавание прототипа возникало, когда я в детстве читала «Ивана Денисовича».

Пётр Вайль: А вы читали книгу Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени»?

Наталья Иванова: Я её не только читала, я её печатала в журнале «Знамя».

Пётр Вайль: Великолепная книга, и это ещё один «Робинзон Крузо». Невероятный советский опыт: как люди своим ремеслом, трудом, сплочённостью выживают, как они строят этот мир из каких-то, действительно, обломков кораблекрушения.

Наталья Иванова: Я и своего деда помню таким же. У него под Москвой был домик, и он этот дом и этот сад обустроивал. Несмотря на то что на него бесконечно что-то наезжало в нашей жизни, он сделал так, что дом и сад были для него убежищем. А когда у него всё это отняли, он умер.

Людмила Сараскина: Хрущёв, благодаря которому солженицынский текст увидел свет и началось грандиозное шествие его по русской и по мировой литературе, плакал, когда читал. Над чем именно плакал? Над тем местом, где Иван Денисович любовно и бережно, сберегая цемент, аккуратно и быстро укладывает стенку. В его восприятии Иван Денисович настолько слился с образом автора, что, когда Хрущёв встретил Солженицына, называл его просто Иваном Денисовичем.

Пётр Вайль: Эпизод, над которым расплакался Хрущёв, вызвал самые, пожалуй, ожесточённые споры. Критики говорили: «Иван Денисович получает восторженное удовольствие от работы, но ведь это подневольный, рабский труд».

Анатолий Стреляный: Этих придира, которые более правозащитники, чем сам Иисус Христос, я в 62-м году не встречал. Позже, естественно, о них слышал.

Людмила Сараскина: Тот, кто хотя бы немножко знаком с биографией Солженицына, с его лагерной судьбой, никогда ему такого упрёка не сделает. Потому что Солженицын попадает в 50-м году в Экибастуз после сравнительно спокойного пребывания на разных шарашках, где он занимался фактически профессией — секретной телефонией, мог много читать, много писать. А в Экибастузе — первая в его жизни ручная профессия, ремесло каменщика. Переживания кирпичной кладки — это переживания самого Солженицына, и это совсем не рабский труд. На работе человек может сохраниться и выжить.

Пётр Вайль: Труд как выживание, как сохранение — действительно очевидные переключки с основами протестантской этики, о которой говорила Наталья Иванова.

Наталья Иванова: Она в народе была достаточно сильная. Я знаю людей, которых сажали, потом ссылали, и на каждом новом месте они строили свой замечательный дом, у них дом опять отбирали, куда-то перегоняли, и они там опять строили. Это же есть в народе. Но такие вот стихийные протестанты, которые по своему составу личности, составу крови относятся к жизни как к явлению, в котором нужно постоянно действовать. Вот Иван Денисович хочет быть красилём, он в своём роде художник, но ещё важнее, что он хочет работать сам на себя. Он существо внутренне независимое.

Пётр Вайль: То есть после лагеря он хочет не влиться в коллектив колхозный, а быть кустарём-одиночкой.

Наталья Иванова: Главное, себя приложить к делу как индивидуальность. Вот эта сцена, где он ставит рекорд как каменщик. Он не хочет, чтобы всё было косо и кривое, а хочет, чтобы такое пряменькое. Он не хочет быть позади всех. По возможности он хочет себя проявить. Я бы не сказала, что Солженицын здесь пишет человека, который рабски трудится и поэтому ставит такие стахановские рекорды. Иван Денисович — это в какой-то степени солженицынский автопортрет того времени. Не того времени, когда он был в лагере, а времени, когда он его писал. Он очень много своего вложил.

Пётр Вайль: За героем повести стоит её автор.

Анатолий Стреляный: «Иван Денисович» поразил нас концентрацией знаний, совершенно необычных суждений. Вот как проходит мельком замечание интеллигентного собеседника. Помните спор о кино? Один говорит: «<...> гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании». Это о фильме «Иван Грозный». Как? Оказывается, о гениальном произведении гениального Эйзенштейна можно вот так сказать? Это ведь то же самое, что обвинять Солженицына в том, что он воспевал рабский труд.

Олег Ковалов: Мне очень не нравится публицистика Солженицына. Ерунду, которую он писал про Синявского, про образованцев, — бог знает что. Но как художник он нарисовал совершенно иную картину. Как бы иронически ни был подан Цезарь Маркович, кинорежиссёр, образ-то обаятельный получился. И показано, что у них нет никаких противоречий с Иваном Денисовичем. Они помогают друг другу. Иван Денисович — это поразительный человеческий тип, который для всех является своим.

Людмила Сараскина: Конечно, это не герой моего романа. Мне было бы очень интересно узнать, как бы получилось, если б героем стал такой человек, как Солженицын, образованный, прошедший офицерский путь. Но спустя годы то, что я хотела прочитать в «Иване Денисовиче», я прочитала в «Архипелаге ГУЛАГе». Без «Ивана Денисовича» он был бы невозможен, как «Иван Денисович» был бы невозможен, если бы Солженицыну не выпал Экибастуз.

Пётр Вайль: Солженицын не только сделал своим героем простого, никак не литературного человека, но и бросил вызов тем святыням российского общества, которые были незыблемы в советскую эпоху, — идеалам русской словесности. Ещё более жёстко это сделал другой писатель, повествовавший о лагерях, — Варлам Шаламов.

Олег Ковалов: И «Один день Ивана Денисовича», и «Колымские рассказы» пронизаны полемикой с традициями русской классической литературы XIX века и с её образами. Скажем, как начинается рассказ «На представку» Варлама Шаламова? «Играли в карты у коногона Наумова». Это же пародия на начало «Пиковой дамы» Пушкина: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». Шаламов вину за колымские и прочие лагеря возлагает на русскую литературу. Он говорит, что самый главный виновник в тоталитарной системе, идейный вдохновитель — это вовсе не Ленин, а Лев Толстой, который пытался перевоспитать людей. Интересно, что Шаламов описывает литературу мёртвой. Играют блатные в карты, которые сделаны из обложки тома Виктора Гюго: литература гуманистическая потерпела полный крах.

Профиль Гоголя украшает портсигар блатного в этом же рассказе. Сентиментальные строки Есенина наколоты на плечах и на груди у блатных. Юрий Карякин очень интересно писал о том, что финальный спор Ивана Денисовича с Алёшкой-баптистом на нарах о смысле жизни представляет собой высокую пародию на разговор Алёши Карамазова с Иваном Карамазовым. Стоит ли вернуть всевышнему билет, если мир не праведен. Атеиста Ивана Солженицын отдаёт Ивану Денисовичу. Он спорит с Алёшей с точки зрения трезвого, скептического и атеистически настроенного именно Ивана Карамазова.

Наталья Иванова: Чем очень интересен «Иван Денисович» и «Архипелаг», который вырос из него? Тем, что там и там есть концепт народа. Лагерь — это Ноев ковчег, в котором каждой твари по паре, в котором присутствуют все социальные слои России того времени. Он ведь очень умно сделал, что включил и эстонцев, и баптистов, и московских евреев-интеллигентов — как Цезарь Маркович.

Наталья Иванова: Но тем не менее внутренние солженицынские противоречия там назревали. Поэтому кого-то он всё-таки выделяет как «образованщину». Кому-то всё-таки ставит жестокий знак минус.

Пётр Вайль: Вот этим киношникам, например, которые обсуждают фильмы Эйзенштейна.

Наталья Иванова: Это очень важно. Если прочитать сейчас «Один день Ивана Денисовича» и его работу о Бродском, где он говорит, мол, плохо, что Бродский мало побыл в ссылке, что ему это было бы на пользу. И конец Ивана Денисовича, когда этих дней в жизни Ивана Денисовича насчитывалось три тысячи шестьсот пятьдесят три, из-за високосных годов три лишних дня набегало. И когда сейчас Солженицын говорит, что если бы ещё посидели, то лучше бы писали, то думаешь: боже мой, какой длинный путь!

Пётр Вайль: Пользуясь вашей терминологией, это путь от протестантской этики Ивана Денисовича к православной идее страдания.

Наталья Иванова: Да, идея того, что, не пострадав, ничего не сотворишь.

Пётр Вайль: В этом смысле антипод Солженицына в лагерных описаниях — Варлам Шаламов.

Наталья Иванова: Удивительно, что Варлам Шаламов был сыном священника и при этом несёт отрицание самой идеи страдания. Это очень важно.

Пётр Вайль: Солженицын сам в своё время честно написал, что лагерный опыт Шаламова был горше, чем его. Шаламов считает, что лагерь раздавливает человека до насекомого, а Солженицын придер-

живается той точки зрения, что человек, прошедший лагерь, закаливается и выходит духовно обогащённым, в конечном счёте.

Людмила Сараскина: Каждому человеку, который получил такое испытание, приходится переживать его индивидуально и самостоятельно. Известно, что Достоевский, проведя четыре года в омской каторге, а это было одно из самых суровых тогдашних мест каторжных, благодарил судьбу и Бога за то, что тот дал ему эти переживания. И Солженицын вслед за Достоевским потом скажет: «Благословляю тебя, тюрьма». Конечно, человеку, который пережил нечеловеческие условия, огромный срок, голодный до полусмерти режим, — ему такие слова не выговорить. Но мы не можем переживаниями одного писателя упрекать другого писателя за его переживания.

Олег Ковалов: Оба настолько талантливые литераторы, что каждый делает убедительной свою картину мира. Шаламов внутри себя очень убедителен. Однако, перечитывая его сейчас, мы видим, что он не так уж далёк от поэтики повести Солженицына, как это ни странно. Перечитывая «Колымские рассказы», вдруг видишь, что не так уж все и сломлены, а многие поднимаются на бунт. Картина лагеря многоцветна даже в том аду, который описал Шаламов. Важен даже не объект описания, а этическая позиция рассказчика. Жёсткий Шаламов пишет о том, что лагерь — это целиком отрицательный опыт, который гнёт человека в дугу и человек нравственно деградирует. Главным обвинением лагерной системе является сам рассказчик у Шаламова, который вполне кажется сломленным. Человек, убитый лагерем живо. Солженицын же рисует картину Ярошенко «Всюду жизнь». Парадоксально, что эту картину я вспомнил, потому что она изображена на обложке книги Лимонова «По тюрьмам». Лимонов, как известно, резко отрицательно относился ко всему тому, что написал Солженицын. Но, по сути, сейчас он написал нечто аналогичное картине Ярошенко и повести «Один день Ивана Денисовича».

Пётр Вайль: Действительно, у каждого своя правда, правда жизни, но не нужно забывать, что мы говорим всё-таки о книгах, о словесности.

Анатолий Стреляный: Я помню, как раздражали такие умствования, что, мол, как художник он ничего собой не представляет, он берёт тематикой, содержанием, сенсационными разоблачениями. Нас, меня и моих друзей, это раздражало. Мы в таких суждениях видели неискренность или в лучшем случае плохую литературную подготовку. И «Архипелаг ГУЛАГ» произвёл огромное воздействие на людей потому, что это прежде всего большое художественное произведение.

Пётр Вайль: Олег Ковалов обращает внимание на то, как работал Солженицын над «Иваном Денисовичем», как менялась книга со временем.

Олег Ковалов: Есть два «Ивана Денисовича». Один — та повесть, которую советские люди прочитали в 62-м году. Во-первых, её облегчал сам Солженицын, для представления в редакцию, как он сам писал об этом. Во-вторых, какие-то коррективы внесла редакция «Нового мира», правда, незначительные. Социальный пафос повести был загнан в подтекст. Дышала сама глубина. Второй «Иван Денисович» — тот, который был написан Солженицыным, где было очень много социально откровенных мест. Сейчас мне кажется, что хороша и та, и эта книга. Одна хороша подтекстом, а другая зримыми, внятыми картинками. Это же повесть XX века. А XX век основан на зрительных впечатлениях — кино, фотография, живопись. Невозможно забыть усы Цезаря Марковича, скульптурное описание заиндевевших усов на морозе, или глаза Алёши-баптиста, которые, как две свечечки, светятся в лагерном бараке. Начальная версия более плотская, более изобразительная. От печатной вещи ощущение серого бушлата.

Пётр Вайль: Анатолий Стреляный, при том что является безусловным поклонником солженицынского художественного дара, считает, что единственный серьёзный упрёк повести «Один день Ивана Денисовича» может быть сделан как раз за избыточную художественность.

Анатолий Стреляный: Мне кажется, литературная техника, изящество литературное всё-таки чуть-чуть чересчур бросается в глаза. Помню, я всё время восклицал: «Как сделано!» Если бы я написал художественную вещь, то хотел бы, чтобы человек её читал и не думал, как она сделана. Но хотя та моя приятельница, которая говорила, что ей «хочется туда», — её не сбивала литературная техника.

Пётр Вайль: А к дальнейшему Солженицыну, позднему, это относится? Как сказал Вагрич Бахчанян: «Как поссорился Александр Исаевич с Иваном Денисовичем».

Анатолий Стреляный: Солженицын в своей публицистике есть персонаж. Не самый положительный персонаж, но хорошо изображённый. Вот если к Солженицыну-публицисту, Солженицыну-политологу, исследователю относиться таким образом, по-моему, мы всё поставим для себя на своё место. Бессознательно Солженицын в своей публицистике изображает героя по фамилии Солженицын, — героя, с которым иметь дело часто не хочется.

Пётр Вайль: Что такое Солженицын после 60-х годов? Очень редко обращают внимание на то, как разнообразно он пробовал себя в художе-

ственной литературе. Его первые вещи все написаны по-разному: «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кречетовка», «Матрёнин двор», «Для пользы дела». Он каждый раз не только пробует новое содержание, но и новый стиль, почти что новый жанр. Это поиски. Но потом он как-то вырывается к публицистической художественности.

Наталья Иванова: Да, конечно. Я-то считаю, что чем шире становится деятельность Солженицына-идеолога, тем уже становится поле деятельности Солженицына-писателя. Чем дальше, тем он больше сокращает свою художественную деятельность и тем больше занимается идеологией. «Красное колесо» — это идеологический роман, и его сейчас читать гораздо труднее, чем «Один день Ивана Денисовича».

Пётр Вайль: Людмила Сараскина напоминает, что с этой маленькой повести началась солженицынская большая форма. С самой повести и с пришедших на неё откликов.

Людмила Сараскина: Это ведь были не просто читательские письма, это были свидетельские показания, которые были отобраны числом 227, — то, что составило потом основу «Архипелага ГУЛАГа». Так что одно зацепило другое. Я «Архипелаг ГУЛАГ» ставлю вообще как жанровое открытие. В XX веке «Архипелаг ГУЛАГ» можно сравнить только с таким феноменальным текстом, каким в XIX веке было «Белое и думы». Это нечто в этом жанре. Но, честно говоря, для меня самое большое, самое значительное и самое мне интересное, уже с моим человеческим опытом и интересом к истории, — это, конечно, «Красное колесо». Потому что я его рассматриваю как произведение, в котором герои Достоевского доживают до начала Первой мировой войны. Для меня в «Красном колесе» смыкается мир XIX века и мир XX века.

Наталья Иванова: Художественной работой был и «Архипелаг ГУЛАГ»; хотя там очень много документов и фактов, это такой опыт художественного исследования, как он сам его назвал, но тем не менее слово «художественный» я бы здесь подчеркнула.

Пётр Вайль: Такие книги вообще можно перечесть по пальцам.

Наталья Иванова: Я считаю, что «Архипелаг» вообще вещь уникальная.

Пётр Вайль: А по воздействию таких в русской литературе я могу назвать только две — «Отцы и дети» Тургенева и «Что делать?» Чернышевского. Книги, которые изменили жизнь многих тысяч людей. Именно конкретно изменили жизнь. Люди были такими, а стали другими. В западной литературе такая «Хижина дяди Тома» — книжка, которая во многом отменила рабство в Америке. «Архипелаг ГУЛАГ» вбил клин в коммунизм.

Наталья Иванова: К тому же ещё и повлиял на западное понимание того, чем на самом деле является Советский Союз и коммунистическая власть. Я сказала бы, что «Отцы и дети» и «Что делать?» исчерпали силу своего художественного воздействия, а «Архипелаг ГУЛАГ» относится к бессмертным книгам, он никогда не кончится. Я вчера перечитала «Один день Ивана Денисовича». С ним ничего не случилось, а первый раз я его прочла ещё ребёнком, когда он был напечатан в «Новом мире»! Он так же затягивает. Но, конечно, сейчас виднее его художественная изощрённость, то, что он написан настоящим мастером. Что касается «Архипелага ГУЛАГа», то я думаю, что времена пройдут, он не будет восприниматься так остро и так жарко, может быть, он перейдёт в сферу исторического свидетельства. Так бывает с книгами, как «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Робинзон Крузо» стали детскими книгами. «Архипелаг» тоже может стать чтением для подростков и молодых читателей, как историческая литература. В отличие от его романов «Раковый корпус», «В круге первом».

Пётр Вайль: Потому что очень художественно смелая вещь. Реалии уходят, с чем будут сравнивать солженицынские лагеря через пятьдесят лет? Но вот соблазн социализма, который существует всегда, — по нему, конечно, «Архипелагом ГУЛАГом» нанесён страшный удар. Тут залог длительного воздействия, может быть.

Наталья Иванова: Я очень сожалею, что у нас нигде нет музея под названием «Архипелаг ГУЛАГ» по типу музея Холокоста. Почему его нет? Это вопрос к небесам. Чего мы только ни открываем, какие памятники только ни ставит Церетели, какие деньги ни грохаются неизвестно на что, а вот на музей, в котором были бы собраны свидетельства, от тачек до роб, были бы выставлены нары, карты этого архипелага, издания самой книги, кинокадры. У меня концепт есть, а музея нет.

Пётр Вайль: Музея нет, но есть книги Солженицына. Ряд, открытый «Иваном Денисовичем».

Олег Ковалов: Эта книга как колесо — органичная, гармоничная. В любое время она может повернуться к читателю неожиданной стороной. Вот Войнович написал книгу о Солженицыне «Портрет на фоне мифа». Он написал, что «Иван Денисович», конечно, шедевр, но шедевр своего времени. Я с этим не согласен. Не бывает шедевров своего времени. Бывает просто шедевр или не шедевр. Мне кажется, что это шедевр, который останется навсегда.

Пётр Вайль: Навсегда ли и для кого?

Анатолий Стреляный: Сейчас такие книги массово, конечно, не читаются. Другие книги сейчас читаются, их и называть не хочется.

Такое время. Время художества не проходит и никогда не пройдёт, но средства художественного выражения, естественно, меняются, и экран своё дело делает. Но сейчас как раз восстанавливается то, с чего начиналось, — круг любителей литературы, любителей изящной словесности. Круг сузился до нужных размеров, и вот в этом круге «Один день Ивана Денисовича», конечно, на самом почётном месте.

Пётр Вайль: Олег Ковалов вспоминает о своём первом прочтении «Ивана Денисовича», о дальнейшем, более глубоком понимании и настаивает на том, что повесть Солженицына очень актуальна сегодня.

Олег Ковалов: Тогда я не понял там главного, что поражает сейчас. Мы думали, что Солженицын нарисовал модель советской репрессивной системы. Сейчас, перечитывая повесть, видишь с изумлением, что Солженицын нарисовал модель воли, модель общества, системы ценностей, с иерархией, социальными типами и с тем, как человек относится к репрессивной системе. О том, как должен человек вести себя, находясь внутри репрессивного государства. Должен ли он сражаться, или приспособиться, приняв правила игры, или делать маленькие дела во имя какого-то гипотетического будущего. Вся сложность проблематики повести Солженицына открывается только сейчас, когда жизнь подтверждает правоту повести. Не я умнее становлюсь, а время наступает такое, что идёт пора самоопределения для каждого гражданина: как он должен вести себя внутри реальности.

М. Николсон

ИВАН ДЕНИСОВИЧ: МИФЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ¹

Один из многочисленных мифов, которыми обросли за четыре десятилетия личность и творчество Солженицына, возник из естественного желания хотя бы с оговорками отождествить его дебют в журнале «Новый мир» в 1962 году с первоначальной стадией его развития как художника вообще. Фурор, вызванный выходом в свет такого, казалось бы, совершенно непроходимого для советской цензуры рассказа, захватил воображение публики не одной страны, и предположение, что «Один день Ивана Денисовича» и есть первенец новоявленного

¹ Печатается по: «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына: Художественный мир. Поэтика. Культурный контекст: Сб. науч. трудов / Под ред. А.В. Урманова. Благовещенск, 2003. Автор приносит благодарность Марии Щиголёвой за помощь при переводе этой статьи на русский язык.

писателя, оказалось заманчивым и долговечным. Это обобщение сохраняет силу, особенно по отношению к восприятию Солженицына на Западе. В Советском Союзе и других социалистических странах официальное признание писателя вскоре после публикации «Одного дня» оборвалось, тем самым загоняя в сумеречную зону самиздата такие произведения, как «В круге первом» и «Раковый корпус». В других же странах общественный и критический интерес к автору «Одного дня» долго не ослабевал. Произведения, написанные Солженицыным раньше, но по дате опубликования последующие, нередко воспринимались как очередные, свидетельствующие якобы о развитии в каком-то направлении или об упадке, о созревании или увядании таланта писателя. Очередность созданных автором вещей оставалась предметом сравнительно сухим, отвлечённым и утвердилась не скоро. Даже те, кто имел доступ к хронологии жизни Солженицына, долго оперировали сложившимися представлениями о том, будто бы он принял за создание не только «Ракового корпуса», но и романа «В круге первом» уже после появления «Одного дня» или будто бы «Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное колесо» возникли из новых взглядов и настроений писателя, относящихся к концу шестидесятых годов¹.

Англичанин Фрэнсис Баркер относится к суровым критикам этого «позднего» творчества Солженицына. В книге «Солженицын: политика и форма» (1977) он выделяет как доминанту «Одного дня» открытость, демократичность, «критический эмпиризм» и считает, что от этого первоначального направления Солженицын постепенно отклонялся, поддавшись соблазну сквозных символических систем, опирающихся на авторское всеведение (начиная с книг «Раковый корпус» и «В круге первом»), и дописавшись в «Августе Четырнадцатого» и «Архипелаге ГУЛАГ» до реакционного национализма, мистицизма и авторитарности — «идеологии, лишённой в конечном счёте всякого художественного интереса»². Но даже у тех исследователей, кто не разделяет ни марксистских предпосылок, ни категоричности критики Баркера, нередко чувствуется аналогичная ностальгия по какому-то неосложнённому «протоСолженицыну», будто бы олицетворённому в сдержанном, недосказанном рассказе «Один день Ивана Денисовича».

¹ Таких ошибок тщательно избегает, например: *Halperin D. Continuities in Solzhenitsyn's Ethical Thought // Solzhenitsyn in Exile. Critical Essays and Documentary Materials. Ed. by John B. Dunlop, et al. Stanford: Hoover Institution Press, 1985. P. 267–283. — Здесь и далее примеч. М. Николсона.*

² *Barker F. Solzhenitsyn: Politics and Form. L.: Macmillan, 1977. P. 101.*

Было бы странно, если бы шестидесятые годы, когда Солженицын перешёл в средний возраст, не сопровождалось никакими переменами в мировоззрении писателя, если бы не было никакого укрепления или затвердения его взглядов и нрава, не говоря уже о воздействии славы, пришедшей в одночасье, и о продолжительной дуэли с властями, освещённой неутомимой западной прессой. Выделяя «Один день» как стержневое произведение, нельзя терять из виду, что роман «В круге первом», опубликованный в 1968-м, имел несколько авторских редакций до того, как Солженицын приступил к созданию «Одного дня» в 1959-м; что черновик нескольких глав «Архипелага ГУЛАГ» он набросал за год до начала работы над рассказом; что работа над повестью «Раковый корпус» осуществлялась поочередно с подпольным писанием «Архипелага»¹ или, наконец, что «Август Четырнадцатого», с которым Баркер ознакомился с некоторой брезгливостью в английском переводе 1972 года, относится, хоть и косвенно, к проекту, составленному студентом Солженицыным в 1936-м, — т.е. за двадцать с лишним лет до «Одного дня» — и даже включает сохранившиеся из того времени главы.

На нижеследующих страницах замысел рассказа рассматривается на фоне творчества Солженицына сороковых и пятидесятых годов. Обсуждаются приписываемые «Одному дню» «открытость» формы и отсутствие эмблематического и поучительного момента. Рассказ, которым писатель дебютировал, представляет собой вовсе не начало, а скорее эту, предпринятый *in medias res* (в глущь вещей).

* * *

Наше представление о творчестве и литературных проектах Солженицына в годы заточения остаётся схематичным, но оно значительно дополнилось накануне нового тысячелетия опубликованием избранных стихов и прозы этого периода². Лишённый в лагере возможности писать и сохранять написанное, он прибег к мнемоническому приёму сочинения стихов в памяти («Это было, конечно, насилие над жанром»; VII, 75) и долго воздерживался от публикации плодов этих

¹ Начатый в 1963-м, оттеснённый одно время началом «Красного колеса», «Раковый корпус» продвигался «на поверхности» в промежутках между зимами 1965/66 и 1966/67 годов, когда Солженицын продолжал работу над «Архипелагом ГУЛАГ» в уединении и сравнительной безопасности эстонского «укривища». См.: Солженицын А.И. Собр. соч.: В 7 т. М.: Центр «Новый мир», 1990. Библиотека журнала «Новый мир». Т. 4. С. 363; Т. 7. С. 412–413. Далее ссылки на это издание приводятся с указанием на номер тома и страницы по образцу: (IV, 363) и т.п.

² Солженицын А.И. Протеревши глаза. М.: Наш дом — L'Age d'Homme, 1999.

многолетних занятий. Особенно интригует появление ранних текстов именно в метрической и рифмованной форме, которая не исключает, но, по крайней мере, осложняет переделку их впоследствии. Насколько мне известно, утверждение Солженицына, что он перестал сочинять стихи в 1953 году, не оспаривалось. Однако среди обвинений, выдвигаемых против него, иногда встречается и подозрение, что писатель не прочь привести ранние произведения в соответствие со своими сегодняшними убеждениями¹. Хотя выбор публикуемых стихов подлежит главным образом его контролю, нет оснований полагать, что Солженицын когда-нибудь возвращался к брошенному жанру с намерением перекроить старые стихи на новый лад. Это и позволяет нам обратиться к корпусу лагерных и ссыльных стихов как к указателю настроений и стремлений писателя в преддверии его работы над «Одним днём».

В частности, здесь мы обнаруживаем отрывки и целые стихотворения, которые предвещают мотивы, свойственные творчеству Солженицына после «Одного дня», что ещё больше подрывает анахронические предположения Баркера и других солидарных с ним исследователей. «Мистическое» открытие духовной свободы в глуби круга неволи звучит уже в стихотворении 1946 года, где «невесомая мысль» парит под «свод[ами] серы[ми] старой добротной тюрьмы»² задолго до того, как массивная церковь-тюрьма марфинской шарашки, превратившаяся в ковчег, отчалила и поплыла по ночному небу над порабощённой Москвой³, и ещё раньше того, как в «Архипелаге ГУЛАГ» бесправный зэк будет смотреть сверху, «Межзвёздным Скитальцем», на собственное подконвойное тело (V, 412). Парадоксальный и спорный возглас Солженицына, «Благословение, тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!» (VI, 412) — чувствуется уже в строках 1950 года:

Я отвык от внешнего движенья —
От того, что называют *волей*.
Душу новую, как новое растение,
Я ращу в себе в недоброй гнили тюрем,
И растением этим я доволен⁴.

¹ См. обвинение в статье: *Медведев Ж.* Russia and Brezhnev // *New Left Review*. 1979. № 117 (September-October). P. 25.

² Воспоминание о Бутырской тюрьме, 1946 // *Солженицын А.И.* Протеревши глаза. С. 180.

³ «Те, кто плыли в ковчеге, были невесомы сами и обладали невесомыми мыслями» (II, 7).

⁴ Отсюда не возвращаются, 1950 // *Солженицын А.И.* Протеревши глаза. С. 187.

Одна из любимых мыслей и метафор Солженицына в конце шестидесятых и в течение семидесятых годов встречается, полностью сформулированной, в объёмной поэме «Дороженька» — хранилище большинства его наизусть выученных лагерных стихов:

Между армиями, партиями, сектами проводят
Ту черту, что доброе от злого отличает дело,
А она — она по сердцу каждому проходит,
Линия раздела¹.

Эта совершенно немарксистская, скорее толстовская² вера в абсолютную нравственность, постигаемую лично и интуитивно, проходит красной нитью через зрелое творчество писателя, и та же самая колеблющаяся линия, разделяющая добро и зло в глубине каждого человеческого сердца, описывается в кульминационной главе «Архипелага ГУЛАГ» — «Восхождение» (VI, 411). Как видим, она проведена автором за десятилетие до осуществления замысла «Щ-854» и лет за двадцать до выдворения Солженицына за пределы Советского Союза. Местами такие размышления о сущности совести и нравственности облекаются в чисто христианскую лексику:

И теперь, возвращённую мерою
Надчерпнувши воды живой, —
Бог Вселенной! Я снова верую!
И с отрешимся был Ты со мной...³

Рассмотрим, как яркий пример устойчивости этого круга тем, русский патриотизм, которым Солженицын вызвал неодобрение части своих поклонников на Западе в 1971-м, когда вышел в свет «Август Четырнадцатого». Нерациональная любовь студента Сани Лаженицына к родине («Россию жалко»), такая якобы чуждая автору «Одного дня», вторит не менее мистическому рефрену «За что я тебя [Русь] люблю»⁴ в главе «Дым отечества» поэмы «Дороженька». И эти поиски продолжались в Экибастузском лагере, месте действия «Одного дня»:

¹ Дороженька, 1948–1953 // Там же. С. 150.

² «Что в мире нет виноватых, / Хотел я провесть, как Толстой» (Триумвирам, 1953) // Там же. С. 207.

³ Акафист, 1952 // Там же. С. 199. Впервые: VI, 411.

⁴ Дороженька // *Солженицын А.И. Протеревши глаза*. С. 170. Впервые, как фрагмент, в: *Вестник РХД (Париж)*. 1976. № 1 (117). С. 148–154.

Россия! Росий несхожих
 Наслушал и высмотрел я.
 Но та, что всех дороже —
 О, где ты, Россия моя?¹

Наконец, в декабре 1953-го, собираясь уехать из посёлка Кок-Терек на почти безнадежное лечение запущенной злокачественной опухоли, Солженицын написал стихи, в которых христианское созерцание смерти сливается с мечтой о судьбе России:

Смерть — не как пропасть, а смерть — как гребень,
 Кряж, на который взнеслась дорога.
 Блещет на чёрном предсмертном небе
 Белое Солнце Бога.

И, обернувшись, в лучах его белых
 Вижу Россию до ледяных венцов —

 Больше не видеть тебя мне распятой,
 Больше не звать Воскресенья тебе...²

Процитированные примеры свидетельствуют: отсутствие или неявное звучание в рассказе «Один день» отдельных тем и настроений не доказывает, что они были далеки от мыслей автора в те дни, когда он взялся за работу над этим произведением. Но для возникновения замысла рассказа, для фона, на котором он создавался, важна не та или другая отдельно взятая тема, а характерная для Солженицына в пятидесятые годы дихотомия — напряжение между, с одной стороны, духовной отрешённостью, возвышением и созерцательностью, то есть моментом трансцендентальным, и с другой — порывами весьма земными, практическими, включая готовность броситься в атаку.

Первая из этих тенденций проявляется, временами в буквальной форме, как своего рода уход в «обитель дальнюю». Уже за десятилетие до появления первого варианта рассказа «Матрёнин двор», повествователь которого мечтает «затесаться и затеряться в самой нутряной России» (III, 123), в одном из лагерных стихотворений читаем:

¹ Россия?, 1952 // *Солженицын А.И.* Протеревши глаза. С. 197. Впервые в: Вестник РХД. 1976. № 1 (117). С. 155–157.

² «Смерть — не как пропасть, а смерть — как гребень...», 1953 // *Солженицын А.И.* Протеревши глаза. С. 210.

Мне б теперь — да в село Алтая,
Где и поезд не будит тишь,
.....
Мне — в Алтай бы! Высоким стремленьям
Отдал дань я, и будет с меня.
.....
Мне б — избёнку пониже...¹

Местами поэт высоко ценит сдержанность («...если б только мог / К людям терпеливым стать»²). Он учится видеть «прозрачно — без гнева, без клятвы»³, и убеждает себя, что из прав узника важна не месть, а способность стать «...безгневным сыном / Безудачливой русской земли»⁴.

Но чувствуется, что такие минуты духовного прозрения или преобразования достигаются ценой ожесточённой внутренней борьбы с противоположными силами:

*Пусть вглуби нас обиды сгорят вперезной,
А наружу мы бросим — побеги живые! —
И тогда лишь всплывёт над усталой страной
Долгожданное Солнце России*⁵.

«Избёнка пониже» представляется автору каким-то тихим приютом, но и здесь подспудно обитает неистовый порыв разоблачать и свидетельствовать:

*Еду вырыть такую нору кротовью,
Чтобы даже женщина, спящая рядом,
Не видала листочков, прочерченных кровью*⁶.

И порой эта противоположная тенденция одерживает верх, проявляясь в строках, лишённых всякого утомления, буколического бегства от действительности, терпения, христианского прощения. На их место заступают пыл, энтузиазм, призыв к действию, к физическому сопротивлению и к жертве. Либеральные поклонники Солженицына в Западной Европе и Америке, которые убеждали себя в шестидесятые

¹ Мечта арестанта, 1946 // Там же. С. 181.

² Отсюда не возвращаются, 1950 // Там же. С. 188.

³ «Смерть — не как пропасть...», 1953 // Там же. С. 210.

⁴ Право узника, 1951 // Там же. С. 194.

⁵ Там же. Курсив мой. — М.Н.

⁶ Прощание с каторгой, 1952 // Там же. С. 200. Курсив мой. — М.Н.

и семидесятые годы, что его сопротивление советской власти совместно с реформистской мечтой о каком-то «социализме с человеческим лицом», были бы поражены, узнав, что в 1946-м он надеялся, что Россия будет когда-нибудь спасена «закланной» молодёжью, тем поколением, закалённым войной и ГУЛАГом, к которому принадлежал и он¹. А к началу пятидесятых годов, времени зарождения замысла «Одного дня», Солженицыну предвидится уже настоящий бунт:

Кто Россию в трусости обносит
Паутиной проволоки и вахт,
Тех исправит только пушек посвист
Да разрывов бессердечный крихт.
.....
И сквозь тысячи тюремных унижений
Я солдатом чувствую себя.

Оттого-то я гляжу с издёвкой
На чекистов: гневу не пара.
Будет час! — и я вольюсь с винтовкой
В русское протяжное «ура!..»².

Наконец, в стихотворении, относящемся к 1953 году, выдвигается как предвестие возрождения истинной России не только какой-то расплывчатый «глухой ночной выстрел обрезный», но уже именно «бунт лагерный»³. В таких строках слышится не столько солженицынское отрицание собственной юношеской ленинской революционности, сколько перевод этого экзальтированного чувства в новое русло, трансформация его в новую борьбу, в праведный бунт. Более того, в некоторых стихах нашло отражение мощное воздействие, оказанное на писателя конкретными событиями экибастузской голодовки, кенгирского мятежа и беспорядков в других лагерях накануне смерти Сталина.

Данный экскурс показывает, что рядом с вполне понятным желанием свидетельствовать о происшедшем, создать памятник погибшим, дать отпор виновникам — вплоть до мечты о вооружённом восстании против ставшего ненавистным режима, существует в поэтической мысли Солженицына-зэка и заметная тяга к созерцательной, трансцендентной перспективе, к той сфере, где тяжелейшие страдания и

¹ См.: Воспоминание о Бутырской тюрьме, 1946 // *Солженицын А.И.* Протеревши глаза. С. 180.

² «Что-то стали фронтовые вёсны...», 1951 // Там же. С. 195.

³ См.: Напутствие, 1953 // Там же. С. 209.

лишения предоставляют возможность победы иного порядка. И, как он временами осознаёт, эта раздвоенность уже сулит его творчеству сложности. В лагерях он узнает: «...что клясть, что ненавидеть, / Что кричать — наука не хитра»¹. Но как же создать из судеб тех, «Кто в рёве моря заморён в молчаньи Соловков, / Бессудно в ночь полярную убит на Воркуте»², повесть спокойную, «немстительную»? Мы полагаем, что данные размышления и колебания составляют неотъемлемую часть общего фона, на котором в 1959 году появился «Один день». Однако не стоит забывать и о том, что на этом же фоне создавались и другие лагерные произведения, относящиеся к тому же периоду и рассказывающие о том же самом лагере. По жанру эти произведения существенно отличаются друг от друга, так что пора перейти к рассмотрению вопроса о применении Солженицыным разных жанровых форм на подступах к «Одному дню».

* * *

К анализу литературных проектов Солженицына сороковых–пятидесятых годов необходимо подходить с осторожностью, так как собственные его воспоминания на эту тему разбросаны по разным произведениям, а независимые свидетельства крайне малочисленны. В юношеском творчестве Солженицына просматриваются пробы пера в различных жанрах — к примеру, помимо стихотворных опытов в сороковые годы наблюдается явный интерес к жанру короткого рассказа. Было бы неразумно ожидать устоявшихся планов и неукоснительной последовательности от пылкого и амбициозного молодого человека, который из студенчества попадает в потрясения военных лет. Тем не менее особый интерес вызывает прослеживающееся уже в юные годы желание создать произведение монументальное как по масштабу, так и по цели своей, «большую книгу о революции»³, работу историческую не только в смысле тематики развлекательного исторического романа. Первая попытка работы над таким проектом у Солженицына состоялась в 30-е годы, ещё во время его студенчества, и включала в себя серьёзные архивные исследования поражения Самсонова под Танненбергом. Рассказ об этом событии Солженицын считал необходимой прелюдией к описанию распада старого режима. Тем не менее всё свидетельствует о том, что данное повествование, в значительной степени продиктован-

¹ Отсюда не возвращаются, 1950 // Там же. С. 188.

² Дороженька // Там же. С. 100.

³ См.: Интервью журналу «Ле Пуэн» (декабрь 1975) // Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1995–1997. Т. 2. С. 321.

ное восприятием десятилетним мальчиком «Войны и мира»¹, никогда не планировалось автором как «просто» объективное: для такого предприятия требовались воображение, необходимое для воссоздания атмосферы минувшей эры, интуиция — для описания внутреннего мира исторических персонажей, способность проецировать собственный автобиографический опыт на действующих лиц. Да и сам сюжет не привязывался автором исключительно к далёкому прошлому. В письме, датированном 1944 годом, Солженицын пишет о будущем повествовании как о «художественн[ой] истори[и] *послеоктябрьских лет*»². Любовь Солженицына к революционной идее распространялась от октября 1917-го и далее к мировой революции, которую ещё только предстояло осуществить (всё более и более вопреки Сталину). Н.А. Решетовская пересказывает мечту мужа-фронтовика о том, как его детище охватит огромную историческую эпоху от начала Первой мировой войны до окончательной победы революции в глобальном масштабе. «Мой муж рассматривал войну против гитлеровской Германии, — пишет она, — в свете этого замысла. В конечном счёте Великая Отечественная война должна вызвать великий революционный пожар»³.

В течение сороковых годов Солженицын неоднократно и тщетно принимался за длинный автобиографический рассказ о приключениях бывшего студента и страстного ленинца, переброшенного на шестой, то есть фронтовой, «курс». Не состоялся во время войны его «Шестой курс», исчезли в печях Лубянки блокноты его «Военного дневника», «ещё одного погибшего на Руси романа» (V, 103), а под грандиозным названием «История одного дивизиона» был написан в марфинской шарашке только фрагмент в пяти главах, переименованный потом в «Люби Революцию». Прочитированные выше строки напоминают нам, что этот злосчастный военный эпос, может быть, не так существенно отличается от задуманного исторического повествования, посвящённого ещё не завершённой революции⁴.

¹ См.: Интервью с Даниэлем Рондо для парижской газеты «Либерасьон» // *Солженицын А.И.* Публицистика. Т. 3. Ярославль: Верхняя Волга. С. 196.

² См. письмо А.И. Солженицына первой жене. Цит. по: *Решетовская Н.А.* В споре с временем. Б.м.: Изд-во АПН, 1975. С. 43. Курсив мой. — *М.Н.*

³ *Reshetovskaya N. Sanya: My Life with Aleksandr Solzhenitsyn.* Indianapolis; N.Y.: Bobbs-Merrill, 1975. P. 42. Обратный пер. с англ. Эти строки не включены в русскоязычные версии воспоминаний. Зато они встречаются в ит. изд.: *Rescetovskaia N. Mio marito Solgenitsyn.* Milano: Teti editore, 1974. P. 33.

⁴ Когда в конце восьмидесятых годов Солженицын прекратил работу над «Красным колесом», он указал в приложении на ряд эпилогов, последний из которых относится к 1945 году. См.: *Солженицын А.И.* Красное колесо: Повествование в отмеренных сроках: В 10 т. М.: Воениздат, 1993–1997. Т. 10. С. 693.

Как бы то ни было, отметим, что в эти годы Солженицына привлекает жанр повествования не только объёмного, но прежде всего линейного по структуре, протянутого во времени, в котором автобиографический протагонист нащупывает свою «дороженьку», пробираясь между грозными историческими событиями. Саму поэму «Дороженька» можно с оговорками рассмотреть как вариант той же самой одиссеи, причём она была написана главным образом от первого лица, как и «История одного дивизиона»⁵.

В жанровых поисках начала пятидесятых годов больше всего интригует новый поворот Солженицына к драматизации своего военного, тюремного и лагерного опыта. Общеизвестно, что он ещё школьником активно интересовался театром, и ему доводилось с того времени не раз самому играть на сцене. Период с 1951-го по 1954-й, охватывающий бóльшую часть пребывания Солженицына в Экибастузском лагере и начало кок-терекской ссылки, он посвящает прежде всего созданию ряда пьес: «Пир победителей», «написанный» в стихах, первоначально как очередная глава «Дороженьки», потом «Пленники» («Декабристы без декабря»), частью в стихах, частью в прозе, и, наконец, уже по освобождению из лагеря, — драма «Республика труда» («Олень и шалашовка»). Обратим внимание на то, что, оказавшись на воле, Солженицын горел желанием написать не лаконичный рассказ, а натуралистичную, остросюжетную драму с длинным списком действующих лиц. Однако нельзя сказать, что это «театральное» ученичество пропало даром для будущего автора «Одного дня». Ощущение на собственной авторской шкуре императива драматических единств, логики ограничения во времени и в пространстве, практической потребности не описывать, а показывать путём диалога и действия — всё это могло служить противовесом линейному повествовательному напору сороковых лет и, в частности, жанру исторического и автобиографического *roman-fleuve*⁶. Возвращение Солженицына к прозе в 1955 году сопровождается многозначительной переменой.

⁵ См. рукописные страницы на трофейной немецкой бумаге, воспроизведённые в: Солженицын А.И. Протеревши глаза. С. 300–301 и 306–307. Когда лозунг «Люби революцию» служил одним из возможных заглавий исторической эпопеи, он был овеян революционной романтикой рассказа Б. Лавренёва «Марина», откуда и заимствован. Однако к концу пятидесятых годов Солженицын иронически применил ставшее уже лишним название к переписываемому военному эпосу «История одного дивизиона».

⁶ Не имеется в виду какое-либо теоретическое увлечение классическими единствами, от чего Солженицын отказался. См.: Телеинтервью на литературные темы с Н.А. Струве (март 1976) // Солженицын А.И. Публицистика. Т. 2. С. 421.

Вместо того чтобы вновь включиться в прерванное прозаическое повествование, Солженицын выбирает новый «остров» ГУЛАГа — не тюрьму контрразведки СМЕРШ, как в «Пленниках», и не лагерный пункт «Калужская застава», как в «Республике труда», а марфинскую шарашку, место действия романа «В круге первом». Недостаёт пока ещё твёрдой текстологической почвы для обсуждения ранних вариантов этого романа. Более того, шарашка являлась по своей природе замкнутым пространством независимо от каких-либо «театральных» пристрастий автора. Но всё-таки в ходе работы он не только воспользовался присущими герметически закрытому учреждению символическими и аллегорическими возможностями, но и выделил из своего трёхлетнего пребывания там отрезок всего трёх с лишним дней, строго ограничил движущую силу «детективного» сюжета и дал повествованию разрастись в сторону, «паратактически»¹ окружая главную тему дополнительными и контрастными «кругами» и вариациями. Повествование велось с самого начала от третьего лица², но так, чтобы систематически вызывать и другие голоса и перспективы. Хочется поэтому предложить гипотезу, что именно роман «В круге первом», возникший в середине пятидесятых годов, является стержневым для творчества Солженицына, указывая вперёд как на последующие «полифонические» повествования, так и на малую прозу, в которой используется потенциал закрытых помещений и мифологизированных пространств («Матрёнин двор», «Захар-Калита»). День Ивана Денисовича ведёт нас ненавязчиво, но, как мы увидим, с рассчитанным ритмом через круги барака, зоны, объекты, ТЭЦ, причём воспроизведение речи и своеобразной точки зрения героя не скрывает его роли как голоса из хора. Не удивительно, что Солженицын решил воскресить его через несколько лет — уже не как персонаж, а как голос свидетеля — в своём «Архипелаге ГУЛАГ».

* * *

В течение 1958–1959 годов Солженицын обратился не однажды, а трижды к обстановке Экибастузского лагерного пункта, каким он его знал в начале пятидесятых. Впервые, весной 1958-го, он сделал преждевременную, как оказалось, попытку написать «Архипелаг ГУЛАГ». Работа была отложена за неимением достаточного материала, но уже

¹ См.: *Kasack W. Solshenizyn: Der erste Kreis der Hölle // Der russische Roman. Herausgegeben von Bodo Zelinsky. Düsseldorf: August Bagel Verlag, 1979. S. 385.*

² В личном письме Н.Д. Солженицыной ко мне (от 9 ноября 2001 г.) приводятся ответы А.И. Солженицына на мои текстуальные вопросы.

тогда Солженицын успел составить общий план произведения и набросать несколько глав, основанных на собственном опыте и на опыте близких друзей, — значит, тех глав, посвящённых забастовке и беспорядкам в Экибастузе (и, в предварительной форме, в Кенгире), которые потом были включены в часть 5 «Архипелага ГУЛАГ»¹. Летом и ранней осенью 1959 года он опять вернулся в те же самые места, чтобы написать первую авторскую редакцию рассказа «Щ-854», будущего «Одного дня Ивана Денисовича». А по пятам «Одного дня» последовала третья трактовка экибастузского опыта. Как только Солженицын окончил первую версию рассказа осенью 1959 года, он вновь обратился к сенсационному содержанию уже набросанных глав «ГУЛАГа», на сей раз, однако, выбрав жанр литературного киносценария. Так возник сценарий «Знают истину танки». Следует иметь в виду это сходство произведений, между которыми был в некотором смысле втиснут «Щ-854».

Черновик глав «Архипелага ГУЛАГ», предшествующих «Одному дню», не общедоступен, но их тема и атмосфера передаются уже в названиях соответствующих глав в окончательном варианте книги: «Когда в зоне пылает земля», «Цепи рвём на ощупь», «Сорок дней Кенгира» и др. Что касается сценария, написанного чуть ли не в одном духе с «Одним днём», не нужно прибегать к догадкам. После 1959 года в текст были внесены только частные и другие малозначительные поправки. Здесь, даже больше, чем в «Архипелаге ГУЛАГ», Солженицын создаёт апофеоз «ветерка революции», который поднялся в лагерях в начале пятидесятых годов и ещё ждал своего историка. В основе произведения лежат действительные события, развернувшиеся в Экибастузском и Кенгирском лагерях. Его персонажи действуют на фоне побегов, расправы с применением пыток, возникновения движения сопротивления, голодовки, забастовки, убийства стукачей, штурма БУРа (внутренней лагерной тюрьмы), кровавого подавления мятежа при поддержке бронетанковых сил. События, уже говорящие за себя, обсуждаются и комментируются зэками, способными дать себе отчёт в политическом и нравственном значении совершаемого. Представители того «закланного» поколения, о котором Солженицын рассказывал в лагерных стихах, стоят перед дилеммой: взявшись за оружие в советском лагере, они станут контрреволюционерами или истинными революционерами?

Жанр и стилистические средства, используемые Солженицыным в «Танках», соответствуют торжественности замысла. Тут не к месту

¹ См. там же.

ни лаконичное преуменьшение, ни сценические ограничения театра. Текст стилизован под съёмочный сценарий «для экрана переменной формы», с указанием, например, передвижения кинокамеры, ракурса, вида перехода от одного кадра к другому, музыкального и вообще звукового сопровождения. Технические указания сплетаются с ремарками, часто лирическими или риторическими, которые побуждают и направляют эмоциональные отзывы зрителя-читателя. Приведём пример из ночной сцены, где бунтующие зэки бросаются на штурм БУРа:

«В музыке — штурм, в музыке — мятеж!

На белом снегу и в полосах света от окон бараков хорошо видны фигурки бегущих. Они с брусьями, с палками. Бегут! Бегут!

Музыка: лучше смерть, чем эта позорная жизнь! В этой волне нельзя остановиться! Готовы бежать с ними и мы!

Близко

в полутьме — отрешённые лица бегущих! Они слышат этот марш, которому остановка — смерть!»¹

Кажется, трудно себе представить манеру писания более отдалённой от только что созданного, сравнительно сдержанного описания «ничем не омрачённого» дня Ивана Денисовича. В те недели, стиснутые между попытками Солженицына сдержать клятву, а значит, засвидетельствовать, разоблачить, провозгласить, вдохновить, он возвратился к идее, возникшей у него на работе каменщиком зимой 1950/51 года в Экибастузе и отложенной, так сказать, про запас. А почему бы не попытаться передать чудовищную суть ГУЛАГа косвенно, описывая с ограниченной точки зрения неинтеллигента один обыкновенный день в сносном лагере?²

Хотя некоторые литературоведы с самого начала нашли в лагере Ивана Денисовича «символический микрокосм» Советского Союза или в герое живую аллегорию общечеловеческой фигуры «уцелевшего»³, большинство из них сосредоточились на известных

¹ *Солженицын А.И.* Собр. соч.: В 20 т. Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1978–1991. Т. 8: Пьесы и киносценарии. С. 485. Первая жена Солженицына, пианистка, вспоминает о том, как он любил работать над сценарием под звуки «Революционного этюда» Шопена. См.: *Решетовская Н.А.* Александр Солженицын и читающая Россия. М.: Сов. Россия, 1990. С. 43.

² См.: *Солженицын А.И.* Телеинтервью на литературные темы с Н.А. Струве (март 1976) // Публицистика. Т. 2. С. 424.

³ См., например: *Hayward M.* Solzhenitsyn's Place in Contemporary Soviet Literature // *Slavic Review*. Vol. 23, No. 3 (1964). P. 432–436; *Pres T. de.* The Heroism of Survival // *Aleksandr Solzhenitsyn. Critical Essays and Documentary Materials*. Ed. by J.B. Dunlop et al. Belmont, Mass.: Nordland, 1973. P. 45–62.

качествах лаконизма и сдержанности, на обыденной, деловой передаче быта, режима и интерьера лагеря, на клаустрофобической кругообразности структуры рассказа и мастерском употреблении в нём несобственно-прямой речи, чтобы вводить читателя в мир восприятий Ивана Денисовича¹. Всё вместе взятое способствовало возникновению иллюзии, что этот скудный, почти документальный очерк воодушевляется, очеловечивается голосом и мировоззрением своего политически наивного, но смекалистого и добросовестного героя без вмешательства и манипуляций автора-повествователя. Возможность расширения смысла читаемого осталась в компетенции читателя и не навязывалась ему. Или, по словам Фрэнсиса Баркера: «<...> система нравственных оценок, в свете которой предстаёт эмпирический “факт” “Одного дня Ивана Денисовича”, оставалась неизменно внешней и тем самым неразрушительной по отношению к произведению»².

Баркер рад отметить отсутствие того, что ему не нравится в «Архипелаге ГУЛАГ» или в «Августе Четырнадцатого». Но налицо доля самообольщения. Мы уже установили, что многие из поздних взглядов и свойств Солженицына на самом деле укоренились ко времени возникновения «Одного дня». В частности, нельзя отмахнуться от лагерных стихов или объяснить как аномальное явление одновременное с рассказом создание «Танков». В ответ на мой вопрос, какое из этих произведений наиболее точно отражает его «дух» в 1959 году, Солженицын написал: «Весь мой дух был в “Танках”. Даже “Щ-854” в исходном варианте уже огромное нарочитое смягчение»³.

Само задание создать именно такой день подразумевает существенное смягчение. Самоцензура, которой рассказ потом подвергался, — вторичный по сравнению с этим фактор⁴. Но допустим, что в «Одном дне» мы не слышим ни рёва танковых моторов, ни «Революционного этюда» Шопена, не видим ни пылающей в зоне земли, ни кровавой расправы со стукачами. Всё-таки кажется маловероятным, что Солженицыну действительно удалось изгнать из рассказа собственную идейную концепцию тех лет, свой порыв к нравственным обобщениям, оставив их «внешними» по отношению к тексту. Не забудем избитую

¹ См. наиболее полную библиографию ранних отзывов о Солженицыне: *Fiene D. Alexander Solzhenitsyn: An International Bibliography of Works by and about Him, 1962–1973*. Ann Arbor: Ardis, 1973.

² *Barker F. Op. cit.* P. 101.

³ Письмо от 9 ноября 2001 г. Подчёркнуто в оригинале.

⁴ Александр Исаевич с удивлением узнал, что художественная ткань скорее улучшается при политическом облегчении текста. См.: *Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни*. М.: Согласие, 1996. С. 17.

истину, по которой великими писателями считаются те, кто наиболее искусно скрывают свой дидактизм. Солженицын, по собственному признанию, «решился на Шухова как на линию наибольшего сопротивления». Это указывает на процесс сжатия пружины¹.

Разумеется, «Один день» не отличается по всем пунктам от других экибастузских произведений. Не раз, как мы увидим, повествовательная точка зрения в рассказе напоминает съёмочную². Отдельные мотивы кочуют из одного текста в другой. Во всех этих произведениях затрагивается, например, незавидная участь эзков, принуждаемых строить собственную тюрьму. В «Танках» несколько страниц отдано сцене, в которой бригада эзков укладывает камни в стену полупостроенной тюрьмы. Бывший студент Володя Федотов, особенно остро ощущающий иронию такой ситуации, спрашивает: «Как мы можем так низменно жить?» — и ругает «трезвую трусость», проявляемую ими, «цыплячьими революционерами»³. В 5-й части «Архипелага ГУЛАГ» глава «Цепи, цепи...» подтверждает автобиографичность этой сцены и включает в себя стихотворение «Каменщик», сочинённое Солженицыным по такому же поводу («Боже мой! Какие мы бесильные! / Боже мой! Какие мы рабы...»⁴). В этих стихах, относящихся к 1950-му, году зарождения замысла «Одного дня», в небе над злополучной стройкой реет коршун — точно такой же, как и тот, что кружит над головой понурого Федотова в «Танках». Показательно, что в «Одном дне» эта тема открыто затрагивается всего один раз, и то как бы мимоходом: Буйновского ведут в карцер; перед тем как описываются суровые условия содержания в нём, мы читаем: «Сами клали БУР, знает 104-я [бригада]» (III, 111).

Но «Один день» не всегда бывает таким сдержанным. И в «Архипелаге», и в «Танках» отмщение лагерным доносчикам представлено как предвестье открытого восстания. В частности, в «Танках» лозунг «Нож в сердце стукача» осуществляется буквально и крупным планом:

«Снова взлёт руки. С ножа каплет кровь. И струйкой потекла из раны.

Клубится, клубится экран, как дым извержения.

Удар!! — и поворот дважды!

¹ Цит. по: *Решетовская Н.А.* Александр Солженицын и читающая Россия. С. 60.

² См. также: *Curtis J.M. Dos Passos, Eisenstein, and Film // Solzhenitsyn's Traditional Imagination.* Athens: University of Georgia Press, 1984. P. 143–168.

³ *Солженицын А.И.* Собр. соч.: В 20 т. Т. 8. С. 440.

⁴ *Солженицын А.И.* Протеревши глаза. С. 192.

И в музыке эти удары! [...]

Протяжный болезненный человеческий крик:

— А-а-а-а-а-а-а-а-а-а...»¹

Как ни чужд такой пафос повествовательной манере и общей тональности «Одного дня», убийство стукачей пробивается и в «почти счастливый» день Ивана Денисовича. Совсем не случайно в рассказе сообщается, что «сука» Пантелеев остаётся в зоне после ухода на работу остальных эзков 104-й бригады и «опять будет стучать на кого-то»² (III, 23–24). Не зря Шухов строит догадки о том, как мехзаводцам удалось пронести орудия убийства в лагерь (там же, 87). На «объекте» даже разгорается спор о стукачах. Когда бригада сидит у печи, Иван Денисович вслух размышляет о том, что по сравнению с его семилетним пребыванием «на севере» жизнь в Особлаге «поспокойней». Фетюков возмущается, но тут в разговор вмешивается Павло:

«— Поспокойнэй! — Фетюков шипит <...>. — Людей в постелях режут! Поспокойнэй!..

— Нэ людын, а стукачів! — Павло палец поднял, грозит Фетюкову» (там же, 50).

Разговор обрывается, но тема продолжает занимать Ивана Денисовича на уровне повествовательной функции. Оказывается, что «чего-то новое в лагере началось». Отрывок, в котором кратко описываются недавние события, оканчивается словами: «Чудно... Такого в бытовых не было. Да и здесь-то не было...». Но, оказывается, это только прелюдия. После обеда, когда солнце стоит высоко над ТЭЦ, кладка доходит до кульминации. Каменщики, волей-неволей поглощённые *своей* работой, больше не чувствуют мороза и вновь, хотя бы на короткое время, обретают свободу и чувство собственного достоинства. Но тут появляется десятник Дэр, сам из заключённых. Увидев на окнах украденный Шуховым и Кильдигсом толь, он приходит в ярость и угрожает бригадиру новым сроком. И вот тут сказывается это «чего-то новое». Тюрин сам бросается на Дэра:

«— Прошло ваше время, заразы, срокá давать. Ес-сли ты слово скажешь, кровосос, — день последний живёшь, запомни!

Трясёт бригадира всего. Трясёт, не уймётся никак.

И Павло остролицый прямо глазом Дэра режет, прямо режет.

¹ Солженицын А.И. Собр. соч.: В 20 т. Т. 8. С. 455.

² Подозрения Ивана Денисовича подтверждаются в конце дня: «Ничего он не болен, сука» (III, 100).

— Ну что вы, что вы, ребята! — Дэр бледный стал — и от трапа подалше.

Ничего бригадир больше не сказал, поправил шапку, мастерок поднял изогнутый и пошёл к своей стене.

И Павло с лопатой медленно пошёл вниз.

Ме-едленно...

Да-а... Вот она, кровь-то резаных этих... Трех зарезали, а лагеря не узнать» (III, 71; курсив мой. — М.Н.).

До сих пор разные подробности, относящиеся к кровопролитию, лишь констатировались. Павло, очевидно, одобряет происшедшее, но однозначного одобрения со стороны смешанной инстанции Шухова/рассказчика¹ ещё не было, скорее любопытство, удивление. Эпизод с Дэром разительно отличается от предыдущего. Уверенность Тюрина («прошло ваше время») связана с этим «чем-то новым», появившимся в лагере. Повествователь не менее персонажа заражён его боевым духом, восхищён развёртывающейся сценой. Стремление к *зрительности* изображения, причастность повествователя к происходящему, выразительность и пафос «реплик», вплоть до риторических повторов, — отсюда до формы литературного киносценария только один шаг. Выделенные мною курсивом строки, которые и с Ивана Денисовича снимают нейтральность, отсутствовали в советских изданиях 1962 и 1963 годов, но относятся, как подтвердил автор, не к какой-то поздней редакции, а именно к доновомирскому варианту рассказа². Они напоминают восхищение, испытываемое Федотовым после убийства в «Танках» стукачей: «— Ах, как хорошо у нас дышится! Что за воздух стал!»³ Нельзя воспринять этот отрывок иначе как победу справедливого гнева над марионеточным тиранством, расшатанным проявленным духом сопротивления. На мгновение личное духовное самоутверждение во время кладки стены ТЭЦ оказывается связанным с возможностью победы совсем другого порядка. Чувствуется веяние революции. Расстояние между рассказом и киносценарием сокращается.

Можно возразить, что это столкновение нетипично для рассказа как целого; что преобладающая сдержанность повествования не рассеивается тем, что текст время от времени приобретает «неуместную» дальнорочность и многозначительность. Бывают случаи, когда читатель узнаёт о лагерной обстановке больше, чем сам Иван Денисо-

¹ В дальнейшем в таких случаях для краткости говорится об Иване Денисовиче.

² См. письмо от 9 ноября 2001 г.

³ *Солженицын А.И.* Собр. соч.: В 20 т. Т. 8. С. 464.

вич, — например, о скрытном стихотворчестве неквалифицированного фельдшера Вдовушкина, «[работе] для Шухова непостижимой» (III, 19). Но как нам относиться в данном контексте к такой знаменитой сцене, как спор Цезаря Марковича с эком X-123 об Эйзенштейне и сущности искусства? Иван Денисович кажется здесь посторонним человеком, незванным гостем на интеллектуальном пире. Вскоре мы узнаём, что «лопотанье» этих москвичей ему всё равно как латышский или румынский язык (там же, 94). В частности, он не способен согласовать притязания нравственного «что» в искусстве и технического «как» и пропускает мимо ушей возражение X-123: «Нет уж, к чёртовой матери ваше “как”, если оно добрых чувств во мне не пробудит!» (там же, 59). Но не будем упрекать Ивана Денисовича в том, что он не улавливает слов поэта, гордившегося тем, что «чувства добрые... лирой пробуждал». Сам Цезарь Маркович, готовый простить великому кинорежиссёру его уступки тирану, прослушал невысказанное продолжение: «Что в мой жестокий век восславил я свободу / И милость к падшим призывал» (курсив мой — М.Н.). А на замёрзшего работягу, принёсшего ему из столовой обед, он даже не посмотрел, «будто каша сама приехала по воздуху». Осмысление этой сцены разыгрывается на уровне, далёком от восприятия простого зэка из мужиков.

Хотя в рассказе такие хрестоматийные случаи немногочисленны, просвечивает в нём систематическое сплетение намёков на нравственный абсолютизм, а также на человеческое поведение сквозь призму этого абсолюта. Они проникают в трезвую фактографичность и немногословность текста и в конечном счёте подрывают их. Следующие примеры можно было бы сгруппировать под заголовками «Дух Усть-Ижмы» и «Небесные светила», но они срastaются в ходе повествования.

В начале «Одного дня» Иван Денисович вспоминает совет, данный Кузёминым, его первым бригадиром, на лесоповале в 1943 году. Спустя несколько страниц узнаём, что в тот же год Иван Денисович «доходил» цингой и дизентерией в северном лагере Усть-Ижма. Тень этого сурового места нависает над сегодняшним днём как напоминание о смерти, но и как ориентир, как точка опоры. Суть известных «заветов» Кузёмина в том, что человек, поглощённый мыслью о выживании любой ценой, действует в ущерб собственной моральной жизнеспособности: «<...> подыхает... [тот,] кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать» (III, 7–8; курсив А.И. Солженицына). Возражение Ивана Денисовича, что стукачи, наоборот, процветают, опровергается, как мы видели, по ходу рассказа. И здесь Кузёмин оказывается прав, и авторитет его наставления всё возрастает,

сопровожаемый лейтмотивами родства, закаливания страданием и особенной манерой статичного, монументального, вневременного изображения. Сам Кузёмин запечатлелся в памяти Шухова в определённом месте и позе: отделённым от зоны в ночном лесу, окружённым своими однобригадниками, прижавшимися друг к другу у костра; он по-отцовски делится своим жизненным опытом. «Старый лагерный волк» с двенадцатилетним стажем, Кузёмин формулирует закон выживания, основанный на самоограничении, и эстафетой передаёт его Шухову («крепко запомнились слова»).

Бригадир Тюрин тоже оказывается «выпускником» Усть-Ижмы. Он взял Ивана Денисовича в свою бригаду на основании этого их общего опыта. Тюрин был арестован в самом начале тридцатых годов, года за два до Кузёмина. И он — «сын ГУЛАГа», воплощение лагерных традиций и обычаев. По прибытии эков на работы мы видим, вновь глядя глазами Ивана Денисовича, элементы мифического или образного представления. Поза Тюрина наделяется романтическими и легендарными чертами. Широкоплечий, он непоколебим перед лицом стихии: «Стоит против ветра — не поморщится, кожа на лице — как кора дубовая». Иван Денисович не решается прервать его «высокую думу». Тюрин суров, но справедлив, и Иван Денисович признаётся себе в том, что зависит от бригадира полностью. Позднее, в полутьме «укривища» недостроенной ТЭЦ, вся бригада ютится вокруг убогой печурки, «как семья большая» (III, 61), и слушает, как Тюрин рассказывает о своём аресте. «Бригадира лицо рябое освещено из печи. Рассказывает без жалости, как не об себе» (там же, 62). Здесь настолько сильно прослеживаются параллели с Кузёминым, что данную тему можно и не развивать. Периодически в мрачном рассказе Тюрина проscalъзывают знаки высшей справедливости. Девушка, которая помогла ему в бегах, позднее появляется в его лагере, и он может отплатить ей за доброту. Командир, отнёсшийся к двадцатидвухлетнему красноармейцу Тюрину с жестокостью и презрением, как это и принято было в то время при обращении с сыном кулака, был сам расстрелян в 1937 году. «Перекрестился я и говорю: “Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь”» (там же). Тюрин относится к породе людей, которые не могут есть, не сняв шапки с головы, и он сидит у печурки, доедая свою баланду и одновременно потчует свою «семью» этими воспоминаниями, — седовласый, но неукротимый.

И последний, на этот раз немой апофеоз данной истины — старый эк Ю-81, которого Иван Денисович видит в столовой в конце дня. Мы так и не узнаем его имени и названий многочисленных лагерей и

тюрем, в которых он сидел, нам сообщается только то, что он «сидит несчётно, сколько советская власть стоит» (III, 102)¹. Всё это способствует усилению его обобщённо-символической, универсализирующей функции. Здесь уже не «сын ГУЛАГа», а скорее «дух ГУЛАГа». Мы знаем, что Ю-81 знаком с такой насмешкой судьбы, как строительство собственной тюрьмы: одно из его последних страданий было облечено в форму дня рабского труда на строительстве пугающего «социалистического городка» — где в голом поле заключённые должны сначала построить вокруг себя забор, а уж затем приступить к строительству «города будущего»². У него нет ни волос, ни зубов, он истощён, его руки черны и покрыты трещинами, но он сидит перед Иваном Денисовичем буквально не сгибаясь:

«Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он ещё сверх скамейки под себя что подложил. <...> Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщерблённой, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту» (там же).

Лицо и поза Ю-81 говорят сами за себя. Ему нет необходимости делиться мудростью Усть-Ижмы. Он сам — её воплощение, как статуя или икона. Его лицо не освещено пламенем костра или печурки, но, тем не менее, от него исходит свет. Его поза описывается как спокойная, вещая, вознесённая над суматошной лагерной прозой:

«Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще упёрлись в своё. <...> Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фтиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного» (там же).

И последнее наше впечатление о нём даёт жест столь же бессмысленный в контексте ГУЛАГа, сколь вызывающий и непреложный.

«А засело-таки в нём [Ю-81], не примирится: трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в роспесках, а — на тряпочку стираемую» (там же, 103).

¹ Упоминание о советской власти было вычеркнуто из первых изданий рассказа. См.: Новый мир. 1962. № 11; Роман-газета. 1963. № 1 (277); книжный вариант: М.: Сов. писатель, 1963.

² Удивительно, что в первых опубликованных вариантах рассказа сохранился ряд ссылок на соцгородок (или соцбытгородок — в некоторых эпизодах новомирской версии и в первом книжном издании). Хотя одна часть строившегося города Экибастуза действительно носила это название, трудно не уловить аллегорический намёк на связь между социализмом, постройкой светлого будущего, с одной стороны, и образом максимального страдания и самопорабощения — с другой. Не менее смелой кажется и сцена, в которой предвидится, что главная площадь будущего города придётся как раз на место, где теперь расположена вахта лагеря и площадка для обыска (III, 88).

Иван Денисович сознательно разглядывает его. Мы так и не узнаем, связывает ли он чудачество Ю-81 с собственным неприятием царящего в столовой беспорядка и грязи, где другие едят, не снимая шапок, или с собственной способностью переживать в рабском труде мгновения высвобождённого творчества, что мы наблюдали в момент описания нелепой, но в то же время опьяняющей кладки камня несколькими часами ранее. Однако мы не сомневаемся в том, что Иван Денисович понимает увиденное.

Как и в других случаях, здесь стоит проявить осторожность, чтобы смысл текста не был искажён произвольным отбором ссылок. В нашей аргументации пока что приведены лишь три кандидата на образную, аллегорическую силу: первому из них, Кузёмину, отведено всего несколько строк; характеристики Тюрина разбросаны по тексту несколько больше, чем можно представить себе из моего краткого описания; и только последнему герою, Ю-81, посвящены чётко выделенные тридцать строк. На контраргумент в отношении того, что такие описания не характерны по статистике всего текста в целом, можно ответить ссылками на дальнейшие примеры, когда из текста становится понятно больше, чем написано. Здесь можно рассмотреть в качестве такого примера описание повседневного лагерного инвентаря — ложек.

Понаблюдав вместе с Иваном Денисовичем за тем, как поднимается и опускается надщерблённая ложка потрёпанного судьбой, но не сломленного Ю-81, мы далее читаем: «Однако Шухову некогда было долго разглядывать его. Окончивши есть, ложку облизнув и засунув в валенок, <...> вышел» (III, 103). Возможно, Солженицын отстраняется от продолжения этой сцены, чтобы её эмблематический смысл не разорвал тщательно создаваемую лаконичность. Но ложка Шухова немало важна для того, что мы только что наблюдали. С одной стороны, она наделяется практической функцией и появляется в рассказе вместе с самодельными масками от ветра, тайниками в матрасах, краденными мастерками, описания и перечисления которых так живо воссоздают лагерную реальность. Но у ложки есть и более высокое предназначение. Первый раз за «сегодня» ложка появляется в сцене завтрака:

«Шухов вытянул из валенка ложку. Ложка та была ему дорога, прошла с ним весь север, он сам отливал её в песке из алюминиевого прохода, на ней и наколка стояла: “Усть-Ижма, 1944”»¹ (там же, 15).

¹ В «Архипелаге ГУЛАГ» рассказывается о том, как Солженицын, навсегда покидая лагерь, взял с собой ложку, отлитую им самим на литейке, хотя, по одному из лагерных суеверий, её необходимо «швырнуть тюрьме, чтобы тюрьма за тобой не гналась» (VII, 295).

В обед Иван Денисович достаёт из валенка не просто ложку, а свою «ложку “Усть-Ижма, 1944”» (III, 55). Эта «метка» должна утвердиться в голове читателя, потому как ложка была отлита через год после того, как Иван Денисович заглянул в лицо смерти в Усть-Ижме и узнал кузёминский кодекс выживания посредством само-ограничения. Чуть позже, на стройке, Ивану Денисовичу приходится исполнять роль отца. Гопчик, который, как сообщается читателю, Ивану Денисовичу почти как сын, находит кусок алюминиевой проволоки: «Иван Денисыч! На ложки хорошая проволока. Меня научите ложку отлить?» (там же, 45). В образе Гопчика нет ничего святого, да и Ивана Денисовича тяжело представить в роли наставника, делящегося с сидящими у костра зэками собственными глубокими убеждениями. Однако с уверенностью можно сказать, что Иван Денисович не научит Гопчика лизать чужие миски, надеяться на лазарет или выслуживаться перед начальством, донося на товарищей по несчастью.

Во всех этих случаях контекст придаёт простым и необходимым артефактам черты некоего талисмана, знака непоколебимой этики в тени северных лагерей и смерти. Очевидно, что «символизирующий» импульс в данном рассказе не привязывается исключительно к небольшому числу нетипичных эпизодов, но находит менее явные подтверждения в тексте. И как последний пример насыщенности этого якобы «открытого» текста и обычного дня символическим потенциалом рассмотрим, что происходит после описания ужина в лагерной столовой. Нам сообщается, что у Ивана Денисовича нет времени наблюдать за старым зэком Ю-81, он убирает свою ложку и выходит на улицу:

«Месяц стоял куда высоко и как вырезанный на небе, чистый, белый. Небо всё было чистое. И звёзды кой-где — самые яркие. Но на небо смотреть ещё меньше было у Шухова времени» (там же, 103).

Отрывок характерен тем, что, ступив на время значимость представляемого, повествование круто поворачивается к практическим соображениям, как будто не позволяя себе никакой нарочитости или напыщенности. Что может быть более естественным для Ивана Денисовича, чем повнимательней приглядеться к необычному зэку, пусть и ненадолго? Какой крестьянин не заметит походя, как выглядит небо? Однако яркий свет звёзд в данном случае играет немало важную роль, передавая традиционное эмблематическое значение.

Разумеется, что этот контрапункт солнца—луны—звёзд не остался незамеченным¹, но давайте проследим за тем, как он ненавязчиво создаёт определённый этический континуум и тем поддерживает более резонирующие моменты, связанные с Усть-Ижмой.

Иван Денисович просыпается и видит квадрат абсолютно чёрного неба, освещённого искусственным светом трёх лагерных фонарей. Покидая свой барак с надзирателем, он, правда, видит, что на небе стали заметны звёзды, но вдоль забора и барака «так много их [фонарей] было натыкано, что они совсем засветляли звёзды» (III, 11). А к моменту, когда он стал облизывать ложку после завтрака, «было всё так же темно в небе, с которого лагерные фонари согнали звёзды» (там же, 16). Таким образом, день Ивана Денисовича начинается с небесных тел, гонимых искусственным лагерным освещением в этом самом большом и обезличенном из всех огороженных пространств, в которых мы его наблюдаем. Даже когда на смену ночи приходит день, в этом действии есть что-то зловещее: «<...> небо с восхода зеленело и светлело. И тонкий, злой потягивал с восхода ветерок» (там же, 23). 104-я бригада покидает лагерь и идёт по морозу и злому ветру к другому, меньшему по размеру закрытому пространству — месту работ. Когда заключённые достигают цели, «солнце встаёт большое, красное, как бы во мгле» (там же, 35), но само по себе оно не приносит радости. Радует и улыбается только Алёша-баптист, наиболее духовно восприимчивый из эков. В сознании Ивана Денисовича метеорологические перипетии начинаются позднее, когда солнце, свет которого пока ещё пробивается сквозь утренний туман, сыграло оптическую шутку над ним и Кильдигсом, когда они пересекают «объект»:

«Солнце уже поднялось, но было без лучей, как в тумане, а по бокам солнца вставали — не столбы ли? — кивнул Шухов Кильдигсу.

— А нам столбы не мешают, — отмахнулся Кильдигс и засмеялся. — Лишь бы от столба до столба колючку не натянули <...>» (там же, 41).

Бригада-семья собирается в ещё более закрытом пространстве — в корпусе будущей ТЭЦ, который стоит на возвышении и

¹ См. следующие примеры из двух недавно опубликованных англоязычных книг об «Одном дне Ивана Денисовича»: Porter R. *Epic Traits and the Tolstoyan Dimension // Solzhenitsyn's «One Day in the Life of Ivan Denisovich»*. L.: Bristol Classical Press, 1997; *Tempest R. The Geometry of Hell: The Poetics of Space and Time in «One Day in the Life of Ivan Denisovich» // One Day in the Life of Ivan Denisovich. A Critical Companion*. Ed. by Alexis Klimoff. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1997. (См. также рус. перев. на с. 550–562 наст. изд. — *Примеч. сост.*)

открывает вид на весь объект. Заключённые стекаются к центральной точке — печурке. Солнечный свет рассеял последний утренний туман и вместе с ним иллюзию того, что солнце заодно с угнетателями эзков:

«Солнце выше подтянулось, мглицу разогнало, и столбов не стало — и алым заиграло внутри. Тут и печку затопили дровами ворованными. Куда радостней!

— В январе солнышко коровке бок согрело! — объявил Шухов» (там же, 45).

Иван Денисович приветствует царствующее солнце по-домашнему, пословицей, и это как бы закрепляет их союз, который становится всё тесней и восстанавливает Шухова против советской власти в лице по-прежнему ортодоксально настроенного ээка капитана Буйновского. Читателю понятно, что Иван Денисович настроен скептически в отношении того, что солнце подчинится советскому указу и войдёт в зенит в час дня, а не к обеду, как «всем дедам известно» (Там же, 47). Но сомнений, «на чьей стороне» солнце, не остаётся, и ещё до того, как он полностью погрузится в абсурдную, но приносящую удовлетворение гонку против времени и против коллег-каменщиков, Иван Денисович наблюдает победу восходящего солнца — на этот раз не над оптической иллюзией, а над реальным забором по периметру объекта:

«<...> и вышки чёрные, и столбы заострённые, под колючку. Сама колючка по солнцу видна, а против — нет. Солнце яро блещет, глаз не раскроешь» (там же, 65).

В этой обстановке развёртывается сцена кладки стен ТЭЦ, окружённая и усиленная другими имеющими резонанс эпизодами (которые, как мы видели, варьируются от зарождающегося бунта до скрытого цитирования Пушкина). Но, может быть, мы всего лишь гонимся за символикой, перерывая текст в поисках высшего смысла? Большая часть повествования в настоящем времени относится к повседневности, к мелким деталям, к технике жизни и выживания. В этом плане возвышенный творческий порыв Ивана Денисовича наполнен парадоксами. В практическом отношении такой трудовой энтузиазм может представляться бессмысленным: «От работы лошади дохнут» (там же, 19). Труд ээка приносит больше пользы его тюремщикам, чем товарищам по бригаде, и главное здесь не сама работа, а хитрость, взятки, «туфта»: «От процентовки больше зависит, чем от самой работы» (там же, 44). И что за семья из 104-й бригады со стукачом Пантелеевым и «шакалом» Фетюковым? На вопрос: «Кто арестанту главный враг?»,

следует ответ: «Другой арестант» (III, 88). И этот тезис обобщается фразой: «Кто кого сможет, тот того и гложет» (там же, 53). На каждого неотёсанного, но справедливого Тюрина найдётся другой бригадир, который работой в могилу загонит. Как же в такой ситуации можно воспеть гордые мучения Ю-81, когда самые последние страдания персонажа на строительстве забытого Богом Соцгородка пришлось ему пережить из-за Ивана Денисовича или, по крайней мере, из-за Тюрина, чей талант давать взятки и выкупать 104-ю бригаду из беды пришёлся так кстати? Это им предназначалось провести день, возводя для себя тюремный забор с колючей проволокой, чтобы приняться за свой каторжный труд, который не может принести никакого удовлетворения. Какие общие цели можно себе представить у этих измученных судьбой «сынов Усть-Ижмы»?

В прозе Солженицына часто прослеживается желание прикоснуться к некоей более высокой моральной или исторической истине, которая бы пролила свет на смятение дум и дел человеческих. Мы уже наблюдали, как происходит движение к свету, теплу и сплочённости параллельно с передвижениями во всё более узкие и защищённые пространства, которым сопутствует духовный подъём. В разгар дня на вершине бугра, на самом верху ТЭЦ, под покровительством сияющего непоработённого солнца, Иван Денисович и, по крайней мере, часть бригады входят в рабочий ритм, который кажется насмешкой над целеустремлённым стахановским движением и соцсоревнованием в лучших сталинских традициях. В данном случае высший смысл такого труда заключается в шатком товариществе, но больше всего в личном творчестве и самоуважении каждого. Здесь мы видим самый яркий пример такой конфигурации в творчестве Солженицына — реальное пронизано идеальным, но не пляшет под его дудку.

По мере приближения дня Ивана Денисовича к концу мы ожидаем, что солнце постепенно уйдёт в туман или темноту и наступит царство всемогущих фонарей по периметру зоны. Но именно этого не происходит. В спешке используя остаток строительного раствора, Иван Денисович замечает, как солнце «с красинкой заходит и в туман вроде бы седенький» (там же, 73), точно так же, как оно вставало утром. И месяц при своём первом появлении «нахмурился багрово» (там же, 78). Но, несмотря на хмурость, это «месяц-то, батюшка» (там же), и он побуждает Ивана Денисовича, переполненного «триумфом» успешной кладки и вновь обрётённой верой в себя, бросить вызов казённому рационализму Буйновского. После того как Иван Денисович

защитил своё простецкое деревенское объяснение насчёт того, что «старый месяц Бог на звёзды крошит» (там же), луна, «волчье солнышко» (там же, 113), как его позднее назовёт Шухов, заменяет собой настоящее «солнышко», как добрый союзник. Сначала лагерные фонари грозятся восстановить свою власть над вернувшимися с работы зэками: «<...> вся площадка для шмона как солнцем залита» (там же, 87). Но, когда Иван Денисович спешит к столовой, где будет рассматривать зэка Ю-81, верх одерживает уже луна: «На дворе всё светлей в сиянии месячном. Фонари везде поблекли <...>» (там же, 96). Вряд ли случайно, что фонари, царящие над миром заточения и подневольного труда, должны отступить, когда показывается эта квинтэссенция человеческой выносливости. Этим мы завершили цикл. Иван Денисович уходит с места «встречи» с Ю-81, не упустив из виду, что «<...> месяц стоял куда высоко и как вырезанный на небе, чистый, белый. Небо всё было чистое. И звёзды кой-где — самые яркие» (там же, 103).

Последние две цитаты обрамляют стержневую сцену — эпизод, в котором текст меньше всего скуден и нейтрален. Звёзды выступают на небе, с тем чтобы бросить вызов тиранству фонарей. И когда Иван Денисович на сон грядущий в последний раз обращает внимание на ночное небо, бессилие искусственных источников света подчёркивается:

«Высоко месяц вылез! Ещё столько — и на самом верху будет. Небо белое, аж с сузеленью, звёзды яркие да редкие. Снег белый блестит, баракон стены тож белые — и фонари мало влияют» (там же, 113).

Такими способами и приёмами текст подпитывает деревенское суеверие Ивана Денисовича. День идёт на убыль, зэки возвращаются обычным своим маршрутом через круги всё более широкие и менее дружелюбные. Утро придёт, заполненное новыми заботами. Но всё-таки динамика пути, проложенного Иваном Денисовичем, не указывает на спуск. Солнце и его союзники не опалили ему крылья, а поддерживали его. Если читатель вынесет из этого дня не только удручающую проекцию на долгие годы вперёд («Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три»), то ему будет способствовать в этом не скудный, открытый текст, а текст, пропитанный ощущением возможного Восхождения, которое не отличается по своей сути от аналогичного пафоса «Архипелага ГУЛАГ» (если посмотреть вперёд). Приобретённый в течение этого дня импульс продолжается и после отхода ко сну и знаменует собой (если посмотреть назад) то же самое «Возвращение к звёздам», о котором Солженицын писал в 1953 году:

Нам жёлтая зона, слепя фонарями,
Лгала, что померкла Вселенная звёзд, —
Но тех же Плеяд озаренье над нами,
Того же Стрельца полыхающий грозд.

Над тьмью тупого жестокого века
Какою надеждой вы блещете мне —
Кипяще, немислимо белая Вега
И факел Юпитера в Божьем огне!¹

Как мы видели, трудовые и личные победы Ивана Денисовича оказываются не случайным фактом лагерной жизни, но занимают место в сети тщательно переплетённых образов и мотивов. На уровне этих подспудных процессов достигнутые им успехи не могут свести на нет ни Усть-Ижма, ни смерть. Может быть, Бог и в самом деле крошит старый месяц на новые звёзды?

* * *

Фрэнсис Баркер, использовавший «Один день» как кнут, которым можно высечь позднего Солженицына, утверждал, что «система нравственных оценок, в свете которой предстаёт эмпирический “факт” “Одного дня Ивана Денисовича”, оставалась неизменно внешней и тем самым неразрушительной по отношению к произведению». В этом он не прав. Абсолютные оценки присутствуют и глубоко укоренились в этом произведении. Правда, они очень редко комментируются с точки зрения героя и повествователя, но это вполне закономерно: такковы исходные условия самой формы, выбранной Солженицыным для данного конкретного опыта. Абсолютные оценки, как и политические страсти, мучившие Солженицына в те годы, максимально сжаты в этом тексте (с пользой сжаты, как он сам впоследствии признал), но такая сжатость делает их скорее противоположными баркеровскому определению их как внешних. Они пробиваются сквозь щели в полу, как только Солженицын отпускает сознательно наложенные на собственную композицию ограничения.

¹ Возвращение к звёздам, 1953 // *Солженицын А.И.* Протеревши глаза. С. 202.

А. Урманов

**«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»
КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ ГУЛАГА¹**

«Один день Ивана Денисовича» (1959) — первое произведение А. Солженицына, увидевшее свет. Именно этот рассказ, опубликованный более чем сотысячным тиражом в 11-м номере журнала «Новый мир» за 1962 год, принёс автору не только всесоюзную, но и по сути мировую известность. В журнальной версии «Один день...» имел жанровое обозначение «повесть». В книге «Бодался телёнок с дубом» (1967–1975) Солженицын поведал, что назвать это произведение повестью («для весу») автору предложили в редакции «Нового мира». Позже писатель высказал сожаление, что поддался внешнему давлению: «Зря я уступил. У нас смыкаются границы между жанрами и происходит обесценение форм. “Иван Денисович” — конечно рассказ, хотя и большой, нагруженный»².

Значение произведения А. Солженицына не только в том, что оно открыло прежде запретную тему репрессий, задавало новый уровень художественной правды, но и в том, что во многих отношениях (с точки зрения жанрового своеобразия, повествовательной и пространственно-временной организации, лексики, поэтического синтаксиса, ритмики, насыщенности текста символикой и т.д.) было глубоко новаторским.

**ШУХОВ И ДРУГИЕ:
МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ЛАГЕРНОМ МИРЕ**

В центре произведения А. Солженицына — образ простого русского человека, сумевшего выжить и нравственно выстоять в жесточайших условиях лагерной неволи. Иван Денисович, по словам самого автора, — образ собирательный. Одним из его прототипов был солдат Шухов, воевавший в батарее капитана Солженицына, но никогда не сидевший в сталинских тюрьмах и лагерях. Позже писатель вспоми-

¹ «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына: Художественный мир. Поэтика. Культурный контекст: Сб. науч. трудов / Под ред. А.В. Урманова. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003. С. 37–77.

² Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни // Новый мир. 1991. № 6. С. 20. — *Здесь и далее примеч. А. Урманова.*

нал: «Вдруг, почему-то, стал тип Ивана Денисовича складываться неожиданным образом. Начиная с фамилии — Шухов, — влезла в меня без всякого выбора, я не выбирал её, а это была фамилия одного моего солдата в батарее, во время войны. Потом вместе с этой фамилией его лицо, и немножко его реальности, из какой он местности, каким языком он говорил»¹. Кроме того, А. Солженицын опирался на общий опыт заключённых ГУЛАГа и на собственный опыт, приобретённый в Экибастузском лагере. Авторское стремление к синтезу жизненного опыта разных прототипов, к совмещению нескольких точек зрения обусловило выбор типа повествования. В «Одном дне Ивана Денисовича» Солженицын применяет очень сложную повествовательную технику, основанную на попеременном слиянии, частичном совмещении, взаимодополнении, взаимоперетекании, а иногда и расхождении точек зрения героя и близкого ему по мироощущению автора-повествователя, а также некоего обобщённого взгляда, выражающего настроения 104-й бригады, колонны или в целом эков-работяг как единого сообщества. Лагерный мир показан преимущественно через восприятие Шухова, но точка зрения персонажа дополняется более объёмным авторским видением и точкой зрения, отражающей коллективную психологию эков. К прямой речи или внутреннему монологу персонажа иногда подключаются авторские размышления и интонации. Доминирующее в рассказе «объективное» повествование от третьего лица включает в себя несобственно-прямую речь, передающую точку зрения главного героя, сохраняющую особенности его мышления и языка, и несобственно-авторскую речь. Помимо этого встречаются вкрапления в форме повествования от первого лица множественного числа типа: «А миг — наш!», «Дорвалась наша колонна до улицы...», «Тут-то мы их и обжать должны!», «Номер нашему брату — один вред...» и т.д.

Взгляд «изнутри» («лагерь глазами мужика») в рассказе чередуется со взглядом «извне», причём на повествовательном уровне этот переход осуществляется почти незаметно. Так, в портретном описании старика-каторжанина Ю-81, которого в лагерьной столовой разглядывает Шухов, при внимательном чтении можно обнаружить чуть заметный повествовательный «сбой». Оборот «его спина отменна была прямизною» (104)² вряд ли мог родиться в сознании бывшего колхоз-

¹ Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1995–1997. Т. 2. 1996. С. 427.

² Здесь и далее рассказ «Один день Ивана Денисовича» цит. по: Солженицын А.И. Собр. соч.: В 9 т. 1958–1999. Т. 1: Рассказы. М.: ТЕРРА, 1999. Текст цитируется по данному изданию с указанием страниц в скобках.

ника, рядового бойца, а ныне прожжённого «зэка»¹ с восьмилетним стажем общих работ; стилистически он несколько выпадает из речевого строя Ивана Денисовича, еле заметно диссонирует с ним. По всей видимости, здесь как раз пример того, как в несобственно-прямую речь, передающую особенности мышления и языка главного героя, «вкрапляется» чужое слово. Остаётся понять — является ли оно авторским или же принадлежит Ю-81. Второе предположение строится на том, что А. Солженицын обычно строго следует закону «языкового фона»: то есть так строит повествование, чтобы вся языковая ткань, в том числе и собственно авторская, не выходила за круг представлений и словоупотребления персонажа, о котором идёт речь. А так как в эпизоде речь заходит о старике-каторжанине, то нельзя исключить возможности появления в данном повествовательном контексте речевых оборотов, присущих именно Ю-81.

О долагерном прошлом сорокалетнего Шухова сообщается не много: до войны он жил в небольшой деревушке Темгенёво, имел семью — жену и двух дочерей, работал в колхозе. Собственно «крестьянского», правда, в нём не так уж и много, колхозный и лагерный опыт заслонил, вытеснил некоторые «классические», известные по произведениям русской литературы крестьянские качества. Так, у бывшего крестьянина Ивана Денисовича почти не проявляется тяга к матушке-землице, нет воспоминаний о корове-кормилице. Для сравнения можно вспомнить, какую значительную роль в судьбах героев деревенской прозы играют коровы: Звездоня в тетралогии Ф. Абрамова «Братья и сестры» (1958–1972), Рогуля в повести В. Белова «Привычное дело» (1966), Зорька в повести В. Распутина «Последний срок» (1972). Вспоминая своё деревенское прошлое, о корове по имени Манька, которой злые люди прокололи вилами брюхо, рассказывает бывший вор с большим тюремным стажем Егор Прокудин в киноповести В. Шукшина «Калина красная»

¹ Об этом слове А. Солженицын вспоминает в статье, посвящённой истории взаимоотношений с В. Шаламовым: «<...> на очень ранней поре возник между нами спор о введённом мною слове “зэк”: В.Т. решительно возражал, потому что слово это в лагерях было совсем не частым, даже редко где, заключённые же почти всюду ябски повторяли административное “зе-ка” (для шутки варьирова его — “Заполярный Комсомолец” или “Захар Кузьмич”), в иных лагерях говорили “зык”. Шаламов считал, что я не должен был вводить этого слова и оно ни в коем случае не привьётся. А я — уверен был, что так и влипнет (оно оборотливо, и склоняется, и имеет множественное число), что язык и история — ждут его, без него нельзя. И оказался прав. (В.Т. — нигде никогда этого слова не употребил.)» (Солженицын А.И. С Варламом Шаламовым // Новый мир. 1999. № 4. С. 164). Действительно, в письме к автору «Одного дня...» В. Шаламов писал: «Кстати, почему “зэк”, а не “зэка”. Ведь это так пишется: з/к и склоняется: зэка, зэкою» (Знамя. 1990. № 7. С. 68).

(1973). В произведении Солженицына подобные мотивы отсутствуют. Кони (лошади) в воспоминаниях Ш-854 тоже не занимают какого-либо заметного места и мимоходом упоминаются лишь в связке с темой преступной сталинской коллективизации: «В одну кучу скинули <ботинки>, весной уж твои не будут. Точно, как лошадей в колхоз сгоняли» (13); «Такой мерин и у Шухова был, до колхоза. Шухов-то его приберегал, а в чужих руках подрезался он живо. И шкуру сего сняли» (76). Характерно, что этот мерин в воспоминаниях Ивана Денисовича предстаёт безымянным, безликим. В произведениях же деревенской прозы, рассказывающих о крестьянах советской эпохи, кони (лошади), как правило, индивидуализированы: Пармён в «Привычном деле», Игренька в «Последнем сроке», Весёлка в «Мужиках и бабах» Б. Можяева и т.д. Безымянная кобыла, купленная у цыгана и «отбросившая копыта» ещё до того, как её обладатель сумел добраться до своего куреня, естественна в пространственно-этическом поле полулюмпенизированного деда Щукаря из романа М. Шолохова «Поднятая целина». Не случайна в этом контексте и такая же безымянная «телушка», которую Щукарь «подвалил», чтобы не отдавать в колхоз, и, «от великой жадности» объевшись варёной грудинкой, вынужден был в течение нескольких суток беспрестанно бегать «до ветру» в подсолнухи.

У героя А. Солженицына нет сладостных воспоминаний о святом крестьянском труде, зато «<...> в лагерях Шухов не раз вспоминал, как в деревне раньше ели: картошку — целыми сковородами, кашу — чугунками, а ещё раньше, по-без-колхозов, мясо — ломтями здоровыми. Да молоко дули — пусть брюхо лопнет» (37). То есть деревенское прошлое воспринимается скорее памятью изголодавшегося желудка, а не памятью истосковавшихся по земле, по крестьянскому труду рук и души. У героя не проявляется ностальгии до деревенскому «ладу», по крестьянской эстетике. В отличие от многих героев русской и советской литературы, не прошедших школы коллективизации и ГУЛАГа, Шухов не воспринимает отчий дом, родную землю как «утраченный рай», как некое сокровенное место, к которому устремлена его душа. Возможно, это объясняется тем, что автор хотел показать катастрофические последствия социальных и духовно-нравственных катаклизмов, потрясших в XX столетии Россию и существенно деформировавших структуру личности, внутренний мир, саму природу русского человека. Вторая возможная причина отсутствия у Шухова некоторых «хрестоматийных» крестьянских черт — опора автора рассказа прежде всего на реальный жизненный опыт, а не на стереотипы художественной культуры.

«Из дому Шухов ушёл двадцать третьего июня сорок первого года» (31), воевал, был ранен, отказался от медсанбата и добровольно вернулся в строй, о чём в лагере не раз сожалел: «<...> Шухов вспомнил медсанбат на реке Ловать, как он пришёл туда с повреждённой челюстью и — недотыка ж хренова! — доброй волею в строй вернулся» (19). В феврале 1942-го на Северо-Западном фронте армию, в которой он воевал, окружили, многие бойцы попали в плен. Иван Денисович же, пробыв в фашистском плену всего два дня, бежал, вернулся к своим. Развязка этой истории содержит скрытую полемику с рассказом М.А. Шолохова «Судьба человека» (1956), центральный персонаж которого, бежав из плена, был принят своими как герой. Шухова же, в отличие от Андрея Соколова, обвинили в измене: будто он выполнял задание немецкой разведки: «Какое ж задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание» (49). Эта подробность ярко характеризует сталинскую систему правосудия, при которой обвиняемый сам должен доказывать собственную вину, предварительно придумав её. Во-вторых, приведённый автором частный случай, касающийся как будто бы только главного героя, даёт основания предположить, что «Иванов Денисовичей» проходило через руки следователей так много, что те были просто не в состоянии каждому солдату, побывавшему в плену, придумать конкретную вину. То есть на уровне подтекста речь здесь идёт о масштабах репрессий.

Кроме того, как заметили уже первые рецензенты (В. Лакшин), данный эпизод помогает глубже понять героя, смирившегося с чудовищными по несправедливости обвинениями и приговором, не ставшего протестовать и бунтовать, добиваясь «правды». Иван Денисович знал, что если не подпишешь — расстреляют: «В контрразведке били Шухова много. И расчёт был у Шухова простой: не подпишешь — бушлат деревянный, подпишешь — хоть поживёшь ещё малость» (50). Иван Денисович подписал, то есть выбрал жизнь в неволе. Жестокий опыт восьми лет лагерей (семь из них — в Усть-Ижме, на севере) не прошёл для него бесследно. Шухов вынужден был усвоить некоторые правила, без соблюдения которых в лагере трудно выжить: не спешит, в открытую не перечит конвою и лагерному начальству, «кряхтит и гнётся», лишний раз не «высовывается».

Шухов наедине с самим собой, как отдельная личность отличается от Шухова в бригаде и тем более — в колонне эков. Колонна — тёмное и длинное чудовище с головой («уж голову колонны шмонали»), плечами («колыхнулась колонна впереди, закачалась плечами»), хвостом («хвост на холм вывалил») — поглощает заключённых, превращает

их в однородную массу. В этой массе Иван Денисович незаметно для самого себя меняется, усваивает настроение и психологию толпы. Забыв о том, что сам он только что работал «звонка не замечая», Шухов вместе с другими зэками озлобленно кричит на проштрафившегося молдавана:

«А толпу всю и Шухова зло берёт. Ведь это что за стерва, гад, падаль, паскуда, загребанец? <...> Что, не наработался, падло? Казённого дня мало, одиннадцать часов, от света до света? <...>

<...>

— У-у-у! — люлюкает толпа от ворот.

<...>

— Чу-ма-а! Шко-одник! Шушера! Сука позорная! Мерзотина! Стервоза!!

И Шухов тоже кричит:

— Чу-ма!» (82–84).

Другое дело — Шухов в своей бригаде. С одной стороны, бригада в лагере — это одна из форм порабощения: «<...> такое устройство, чтоб не начальство зэков понукало, а зэки друг друга» (44). С другой — бригада становится для заключённого чем-то вроде дома, семьи, именно здесь он спасается от лагерного нивелирования, именно здесь несколько отступают волчьи законы тюремного мира и вступают в силу универсальные принципы человеческих взаимоотношений, универсальные законы этики (хотя и в несколько урезанном и искажённом виде). Именно здесь зэк имеет возможность ощутить себя человеком.

Одна из кульминационных сцен рассказа — развёрнутое описание работы 104-й бригады на строительстве лагерной ТЭЦ. Эта бесчисленное число раз прокомментированная сцена даёт возможность глубже постичь характер главного героя. Иван Денисович, вопреки усилиям лагерной системы превратить его в раба, который трудится ради «пайки» и из страха наказания, сумел остаться свободным человеком. Даже безнадежно опаздывая на вахту, рискуя попасть за это в карцер, герой останавливается и ещё раз с гордостью осматривает сделанную им работу: «Эх, глаз — ватерпас! Ровно!» (78). В уродливом лагерном мире, основанном на принуждении, насилии и лжи, в мире, где человек человеку — волк, где проклят труд, Иван Денисович, по меткому выражению В. Чалмаева, вернул себе и другим — пусть ненадолго! — ощущение изначальной чистоты и даже святости труда.

В этом вопросе с автором «Одного дня...» принципиально расходился другой известный летописец ГУЛАГа — В. Шаламов, который в своих «Колымских рассказах» утверждал: «В лагере убивает работа — поэто-

му всякий, кто хвалит лагерный труд, — подлец или дурак»¹. В одном из писем к Солженицыну Шаламов высказал эту мысль и от своего имени: «Те, кто восхваляет лагерный труд, ставятся мной на одну доску с теми, кто повесил на лагерные ворота слова: “Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства” <...>. Нет ничего циничнее <этой> надписи <...>. И не есть ли восхваление такого труда худшее унижение человека, худший вид духовного растрепания? <...> В лагерях нет ничего хуже, оскорбительнее смертельно-тяжёлой физической подневольной работы <...>. Я тоже “тянул, пока мог”, но я ненавидел этот труд всеми порами тела, всеми фибрами души, каждую минуту»².

Очевидно, не желая соглашаться с подобными выводами (с «Колымскими рассказами» автор «Ивана Денисовича» познакомился в конце 1962 года, прочитав их в рукописи, позиция Шаламова была ему известна также по личным встречам и переписке), А. Солженицын в написанной позже книге «Архипелаг ГУЛАГ» вновь скажет о радости созидательного труда даже в условиях несвободы: «Ни на что тебе не нужна эта стена и не веришь ты, что она приблизит счастливое будущее народа, но, жалкий, оборванный раб, у этого творения своих рук ты сам себе улыбнёшься».

Ещё одной формой сохранения внутреннего ядра личности, выживания человеческого «я» в условиях лагерного нивелирования людей и подавления индивидуальности является использование заключёнными в общении между собой имён и фамилий, а не эковских номеров. Так как «назначение имени — выражать и словесно закреплять типы духовной организации», «тип личности, онтологическую форму её, которая определяет далее её духовное и душевное строение»³, утрата заключённым своего имени, замена его номером или кличкой может означать полное или частичное распадение личности, духовную смерть. Среди персонажей «Одного дня...» нет ни одного, полностью утратившего своё имя, превратившегося в *номер*. Это касается даже опустившегося Фетюкова.

В отличие от лагерных номеров, закрепление которых за эками не только упрощает работу надзирателей и конвоиров, но и способствует

¹ Шаламов В.Т. Воскрешение лиственницы: Рассказы. М.: Художественная литература, 1989. С. 324. Правда, в письме к Солженицыну сразу после публикации «Одного дня...» Шаламов, «переступая через своё глубокое убеждение об абсолютности зла лагерной жизни, признавал: “Возможно, что такого рода увлечение работой [как у Шухова] и спасает людей”» (Солженицын А.И. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов // Новый мир. 1999. № 4. С. 163).

² Знамя. 1990. № 7. С. 81, 84.

³ Флоренский П.А. Имена // Социологические исследования. 1990. № 8. С. 138, 141.

ет размыванию личностного самосознания узников ГУЛАГа, их способность к самоидентификации, имя позволяет человеку сохранить первичную форму самопроявления человеческого «я». Всего в 104-й бригаде 24 человека, но выделены из общей массы, включая Шухова, четырнадцать: Андрей Прокофьевич Тюрин — бригадир, Павло — помбригадира, кавторанг Буйновский, бывший кинорежиссёр Цезарь Маркович, «шакал» Фетюков, баптист Алёша, бывший узник Бухенвальда Сенька Клевшин, «стукач» Пантелеев, латыш Ян Кильдигс, два эстонца, одного из которых зовут Эино, шестнадцатилетний Гопчик и «здоровенный сибиряк» Ермолаев.

Фамилии персонажей нельзя назвать «говорящими», но, тем не менее, некоторые из них отражают особенности характера героев: фамилия Волковой принадлежит по-звериному жестокому, злобному начальнику режима; фамилия Шкуропатенко — зэку, рьяно исполняющему обязанности вертухая, словом, «шкуре». Алёшей назван всецело поглощённый размышлениями о Боге молодой баптист (здесь нельзя исключать аллюзийную параллель с Алёшей Карамазовым из романа Достоевского), Гопчиком — ловкий и плутоватый юный зэк, Цезарем — мнящий себя аристократом, вознёсшийся над простыми работягами столичный интеллигент. Фамилия Буйновский под стать гордому, готовому в любой момент взбунтоваться заключённому — в недавнем прошлом «звонкому» морскому офицеру.

Однбригадники чаще называют Буйновского *кавторангом*, *капитаном*, реже обращаются к нему по фамилии и никогда — по имени-отчеству (подобной чести удостоиваются только Тюрин, Шухов и Цезарь). Кавторангом его именуют, возможно, потому, что в глазах зэков с многолетним стажем он ещё не утвердился как личность, остался прежним, долагерным человеком, *человеком — социальной ролью*. В лагере Буйновский ещё не адаптировался, он всё ещё ощущает себя морским офицером. Потому, видимо, своих собригадников и называет «краснофлотцами» (9), Шухова — «матросом» (79), Фетюкова — «салагой» (70).

Едва ли не самый длинный перечень антропонимов (и их вариантов) у центрального персонажа: Шухов, Иван Денисович, Иван Денисыч, Денисыч, Ваня. Надзиратели именуют его на свой лад: «Ще-восемьсот пятьдесят четыре», «чушка», «падро».

Говоря о типичности этого персонажа, нельзя упускать, что портрет и характер Ивана Денисовича выстраиваются из неповторимых черт: образ Шухова — *собираТЕЛЬный, типический*, но вовсе не *усреднённый*. А между тем нередко критики и литературоведы делают

акцент именно на типичности героя, его неповторимые индивидуальные особенности отводя на второй план или вовсе ставя под сомнение. Так, М. Шнеерсон писала: «Шухов — яркая индивидуальность, но, пожалуй, типологические черты в нём преобладают над личностными»¹. Ж. Нива не увидел в образе Щ-854 принципиальных отличий даже от дворника Спиридона Егорова — персонажа романа «В круге первом» (1955–1968). По его словам, «Один день Ивана Денисовича» — «это “отросток” от большой книги (Шухов повторяет Спиридона) или, скорее, сжатый, сгущённый, популярный вариант эковской эпопеи», «“выжимка” из жизни зэка»².

В интервью, посвящённом 20-летию выхода «Одного дня Ивана Денисовича», А. Солженицын высказался как будто бы в пользу того, что его персонаж — фигура преимущественно типическая, по крайней мере, таким он задумывался: «Ивана Денисовича я с самого начала так понимал, что <...> это должен быть самый рядовой лагерник <...> самый средний солдат этого ГУЛАГа <...>»³. Но буквально в следующей фразе автор признался, что «иногда собирательный образ выходит даже ярче, чем индивидуальный, вот странно, так получилось с Иваном Денисовичем».

Понять — почему герой А. Солженицына сумел и в лагере сохранить свою индивидуальность, помогают высказывания автора «Одного дня...» о «Колымских рассказах». По его оценке, там действуют «не конкретные особенные люди, а почти одни фамилии, иногда повторяясь из рассказа в рассказ, но без накопления индивидуальных черт. Предположить, что в этом и был замысел Шаламова: жесточайшие лагерные будни истирают и раздавливают людей, люди перестают быть индивидуальностями <...>. Не согласен я, что настолько и до конца уничтожаются все черты личности и прошлой жизни: так не бывает, и что-то личное должно быть показано в каждом»⁴.

В портрете Шухова встречаются *типические* детали, делающие его почти неразличимым, когда он находится в огромной массе зэков, в лагерной колонне: двухнедельная щетина, «бритая» голова (15), «зубов нет половины» (33), «ястребиные глаза лагерника» (107), «пальцы закалелые» (25) и т.д. Одевается он точно так же, как и основная масса зэков-работяг. Однако в облике и повадках солженицынского героя есть и *индивидуальное*, писатель наделил его немалым числом отличительных

¹ Шнеерсон М. Александр Солженицын: Очерки творчества. Frankfurt a/M: Посев, 1984. С. 112. (См. также с. 399 наст. изд. — *Примеч. сост.*)

² Нива Ж. Солженицын / Пер. с фр. М.: Художественная литература, 1992. С. 64, 65.

³ Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. Ярославль: Верхняя Волга, 1997. С. 23.

⁴ Солженицын А.И. С Варламом Шаламовым // Новый мир. 1999. № 4. С. 164.

особенностей. Даже лагерную баланду Щ-854 ест не так, как все. «В любой рыбе ел он всё, хоть жабры, хоть хвост, и глаза ел, когда они на месте попадались, а когда вываливались и плавали в миске отдельно — большие рыбы глаза — не ел. Над ним за то смеялись» (16). И ложка у Ивана Денисовича имеет особую метку, и мастерок у персонажа особенный¹, и лагерный номер у него начинается на редкую букву.

Не зря В. Шаламов отмечал, что «художественная ткань <рассказа> так тонка, что различаешь латыша от эстонца». Неповторимыми портретными чертами в произведении А. Солженицына наделён не только Шухов, но и все остальные выделенные из общей массы лагерники. Так, у Цезаря — «усы чёрные, слитые, густые» (25); баптист Алёша — «чистенький, приумытый» (21), «глаза, как свечки две, теплятся» (117); бригадир Тюрин — «в плечах здоров, да и образ у него широкий», «лицо <...> в рябинах крупных, от оспы», «кожа на лице — как кора дубовая» (34–35); эстонцы — «оба белые, оба длинные, оба худощавые, оба с долгими носами, с большими глазами» (37); латыш Кильдигс — «краснолицый упитанный» (39), «румяный», «толстощёкий» (65); Шкуропатенко — «жердь кривая, бельмом уставился» (59). Максимально индивидуализирован и единственный развёрнуто представленный в рассказе портрет зэка — старого каторжанина Ю-81.

Подробного, развёрнутого портрета главного героя, напротив, автор не даёт. Он ограничивается отдельными деталями внешности персонажа, по которым читатель должен самостоятельно воссоздать в своём воображении целостный образ Щ-854. Писателя привлекают такие внешние подробности, по которым можно составить представление о внутреннем содержании личности. Отвечая одному своему корреспонденту, приславшему самодельную скульптуру «Зэк» (воссоздающую «типический» образ лагерника), Солженицын писал: «Иван ли Денисович это? Боюсь, что всё-таки нет <...>. В лице Шухова обязательно должна проглядывать доброта (как бы она ни была задавлена) и юмор. На лице же Вашего зэка — только суровость, огрубелость, ожесточённость. Всё это верно, всё это и создаёт обобщённый образ зэка, но... не Шухова»².

Судя по приведённому высказыванию писателя, существенной особенностью характера героя является отзывчивость, способность к состраданию. В этой связи не может восприниматься простой слу-

¹ Подробно о функции предметных образов в рассказе «Один день Ивана Денисовича» см.: Урманов А.В. Поэтика прозы Александра Солженицына. М.: Прометей, 2000. С. 133–145.

² Цит. по: Решетовская Н.А. Александр Солженицын и читающая Россия. М.: Советская Россия, 1990. С. 172.

чайностью соседство Шухова с христианином Алёшей. Несмотря на иронию Ивана Денисовича во время разговора о Боге, несмотря на его утверждение, что он не верит в рай и в ад, в характере Щ-854 отразилось в том числе и православное мироощущение, для которого свойственно прежде всего чувство жалости, сострадания. Казалось бы, трудно представить себе положение худшее, чем у этого бесправного лагерника, однако сам он не только о своей судьбе печалится, но и сопереживает другим. Иван Денисович жалеет жену, которая много лет в одиночку растила дочерей и тянула колхозную лямку. Несмотря на сильнейшее искушение, вечно голодный зэк запрещает присылать ему посылки, понимая, что жене и без того нелегко. Сочувствует Шухов баптистам, получившим по 25 лет лагерей. Жаль ему и «шакала» Фетюкова: «Срока ему не дожить. Не умеет он себя поставить». Шухов сочувствует неплохо устроившемуся в лагере Цезарю, которому приходится ради сохранения привилегированного положения отдавать часть присылаемых ему продуктов. Щ-854 иногда сочувствует охранникам («<...> тоже им не масло сливочное в такой мороз на вышках топтаться») и конвоирам, на ветру сопровождающим колонну («<...> им-то трюпочками завязываться не положено. Тоже служба не важная»).

В 60-е годы критики нередко упрекали Ивана Денисовича в том, что он не сопротивляется трагическим обстоятельствам, смирился с положением бесправного зэка. Такую позицию, в частности, обосновывал Н. Сергованцев¹. Уже в 90-е высказывалось мнение, что писатель, создав образ Шухова, якобы оклеветал русский народ. Один из наиболее последовательных сторонников такой точки зрения — Н. Федь утверждал, что Солженицын выполнил «социальный заказ» официальной советской идеологии 60-х годов, заинтересованной в переориентировке общественного сознания с революционного оптимизма на пассивную созерцательность. По словам автора журнала «Молодая гвардия», официальная критика нуждалась в «эталоне этакого ограниченного, духовно сонного, а в общем равнодушного человека, не способного не то что на протест, а даже на робкую мысль какого-либо недовольства», и подобным требованиям солженицынский герой будто бы отвечал как нельзя лучше:

«Русский мужик в сочинении Александра Исаевича выглядит трусливым и глупым до невозможности <...>. Вся философия жизни Шухова сводится к одному — к выживанию, несмотря ни на что, любой це-

¹ См.: Сергованцев Н. Трагедия одиночества и «сплошной быт» // Октябрь. 1963. № 4. С. 198–207. (См. также с. 129–132 наст. изд. — *Примеч. сост.*)

ной. Иван Денисович — опустившийся человек, у которого воли и самостоятельности хватает лишь на то, чтобы “набить брюхо” <...>. Его стихия — подать, поднести что-нибудь, пробежать до общего подъёма по каптёркам, где кому надо услужить и т.п. Так и бегаёт он, как пёс, по лагерю <...>. Его холуйская натура двойственна: к высокому начальству Шухов полон подобострастия и затаённого восхищения, а к низшим чинам питает презрение <...>. Истинное удовольствие Иван Денисович получает от пресмыкательства перед обеспеченными заключёнными, особенно если они нерусского происхождения <...>. Солженицынский герой живёт в полной духовной прострации <...>. Примирение с унижением, несправедливостью и мерзостью привело к атрофированию всего человеческого в нём. Иван Денисович — законченный м а н к у р т, без надежд и даже какого-либо просвета в душе. Но это же явная солженицынская н е п р а в д а, даже какой-то у м ы с л: принизить русского человека, лишний раз подчеркнуть его якобы рабскую сущность»¹.

В отличие от Н. Федя, крайне тенденциозно оценивающего Шухова, В. Шаламов, за плечами которого было 18 лет лагерей, в своём разборе произведения Солженицына писал о глубоком и тонком понимании автором крестьянской психологии героя, которая проявляется «и в любознательности, и природно цепком уме, и умении выжить, наблюдательности, осторожности, осмотрительности, чуть скептическом отношении к разнообразным Цезарям Марковичам, да и всевозможной власти, которую приходится уважать». По словам автора «Колымских рассказов», присущие Ивану Денисовичу «умная независимость, умное покорство судьбе, и умение приспособиться к обстоятельствам, и недоверие — всё это черты народа».

Высокая степень приспособляемости Шухова к обстоятельствам не имеет ничего общего с униженностью, с потерей человеческого достоинства. Страдая от голода не меньше других, он не может позволить себе превратиться в подобие «шакала» Фетюкова, рыскающего по помойкам и вылизывающего чужие тарелки, униженно выпрашивающего подачки и перекладывающего свою работу на плечи других. Делая всё возможное для того, чтобы и в лагере оставаться человеком, герой Солженицына, тем не менее, отнюдь не Платон Каратаев. Свои права он готов при необходимости отстаивать силой: когда кто-то из зэков пытается отодвинуть с печки поставленные им на просушку валенки, Шухов кричит: «Эй! <...> ты! рыжий! А валенком в рожу если? Свои

¹ Федь Н. Страшные судьбы человеческие // Молодая гвардия. 1993. № 5/6.

ставь, чужих не трог!» (116). Вопреки распространённому мнению о том, что герой рассказа относится «робко, по-крестьянски почтительно» к тем, кто представляет в его глазах «начальство», следует напомнить о тех непримиримых оценках, которые даёт Шухов разного рода лагерным начальникам и их пособникам: десятнику Дэру — «свиньячья морда»; надзирателям — «псы клятые»; начкару — «остолоп», старшему по бараку — «сволочь», «урка». В этих и подобных им оценках нет и тени того «патриархального смирения», которое иногда из самых благих побуждений приписывают Ивану Денисовичу.

Если и говорить о «покорности перед обстоятельствами», в чём иногда упрекают Шухова, то в первую очередь следовало бы вспомнить не его, а Фетюкова, Дэра и им подобных. Эти нравственно слабые, не имеющие внутреннего «стержня» герои пытаются выжить за счёт других. Именно у них репрессивная система формирует рабскую психологию.

Драматический жизненный опыт Ивана Денисовича, образ которого воплощает некоторые типические свойства национального характера, позволил герою вывести универсальную формулу выживания человека из народа в стране ГУЛАГа: «Это верно, кряхти да гнись. А упрёшься — переломишься» (38). Это, однако, не означает, что Шухов, Тюрин, Сенька Клевшин и другие близкие им по духу русские люди покорны всегда и во всём. В тех случаях, когда сопротивление может принести успех, они отстаивают свои немногочисленные права. Так, например, упрямым молчаливым сопротивлением они свели на нет приказ начальника передвигаться по лагерю только бригадами или группами. Такое же упорное сопротивление колонна зэков оказывает начкару, долгое время продержавшему их на морозе: «Не хотел по-человечески с нами — хоть разорвись теперь от крику» (86). Если Шухов и «гнётся», то только внешне. В нравственном же отношении он оказывает системе, основанной на насилии и духовном растлении, сопротивление. В самых драматических обстоятельствах герой остаётся человеком с душой и сердцем и верит, что справедливость торжествует: «Сейчас ни на что Шухов не в обиде: ни что срок долгий, <...> ни что воскресенья опять не будет. Сейчас он думает: переживём! Переживём всё, даст Бог кончиться!» (103). В одном из интервью писатель говорил: «А коммунизм захлебнулся, собственно, в пассивном сопротивлении народов Советского Союза. Хотя внешне они оставались покорными, но работать под коммунизмом, естественно, не хотели <...>»¹.

¹ Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. С. 408.

Разумеется, и в условиях лагерной несвободы возможен открытый протест, прямое сопротивление. Такой тип поведения воплощает Буйновский — бывший боевой морской офицер. Столкнувшись с произволом конвоиров, кавторанг смело бросает им: «Вы не советские люди! <...> Вы не коммунисты!» — и при этом ссылается на свои «права», на 9-ю статью УК, запрещающую издевательство над заключёнными. Критик В. Бондаренко, комментируя этот эпизод, называет кавторанга «героем», пишет о том, что он «ощущает себя как личность и ведёт себя как личность», «при личном унижении восстаёт и погнубить готов»¹ и т.п. Но при этом упускает из виду причину «героического» поведения персонажа, не замечает, из-за чего тот «восстаёт» и даже «погнубить готов». А причина здесь слишком прозаична, чтобы быть поводом для гордого восстания и тем более героической гибели: при выходе колонны эков из лагеря в рабочую зону охранники записывают у Буйновского (чтобы заставить вечером сдать в каптёрку личных вещей) «жилетик или напузник какой-то. Буйновский — в горло <...>» (27). Критик не почувствовал некоторой неадекватности между уставными действиями охраны и столь бурной реакцией кавторанга, не уловил того юмористического оттенка, с которым смотрит на происходящее главный герой, в общем-то сочувствующий капитану. Упоминание о «напузнике», из-за которого Буйновский вступил в столкновение с начальником режима Волковым, отчасти снимает «героический» ореол с поступка кавторанга. Цена его «жилетного» бунта оказывается в общем-то бессмысленной и несоразмерно дорогой — кавторанг попадает в карцер, про который известно: «Десять суток здешнего карцера <...> — это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулёз, и из больничек уже не вылезешь. А по пятнадцать суток строгого кто отсидел — уж те в земле сырой» (112).

ЛЮДИ ИЛИ НЕЛЮДИ?

(о роли зооморфных сравнений)

Частое использование зооморфных сравнений и метафор — важная черта поэтики Солженицына, имеющая опору в классической традиции. Их применение — наиболее короткий путь к созданию наглядных экспрессивных образов, к выявлению главной сути человеческих характеров, а также к опосредованному, но весьма выразительному

¹ Бондаренко В. Стержневая словесность: О прозе Александра Солженицына // Литературная Россия. 1989. № 21. С. 11. (См. также с. 443 наст.изд. — *Примеч. сост.*)

проявлению авторской модальности. Уподобление человека животному даёт возможность в некоторых случаях отказаться от развёрнутой характеристики персонажей, так как применяемые писателем элементы зооморфного «кода» имеют прочно закреплённые в культурной традиции и потому легко угадываемые читателями значения. А это как нельзя лучше отвечает важнейшему эстетическому закону Солженицына — закону «художественной экономии».

Однако иногда зооморфные сравнения могут восприниматься и как проявление упрощённых, схематичных представлений автора о сути человеческих характеров — прежде всего это касается так называемых «отрицательных» персонажей. Присущая Солженицыну склонность к дидактизму и морализаторству находит разные формы воплощения, в том числе проявляясь в активно используемых им аллегорических зооморфных уподоблениях, более уместных в «нравоучительных» жанрах — в первую очередь в баснях. Когда эта тенденция властно заявляет о себе, писатель стремится не к постижению тонкостей внутренней жизни человека, а к тому, чтобы дать свою «завершающую» оценку, выраженную в иносказательной форме и имеющую откровенно нравоучительный характер. Тогда-то в образах людей начинает угадываться аллегорическая проекция животных, а в животных — не менее прозрачная аллегория на людей. Самый характерный пример подобного рода — описание зоопарка в повести «Раковый корпус» (1963–1967). Откровенная иносказательная направленность этих страниц приводит к тому, что томящиеся в клетках животные (винторогий козёл, дикобраз, барсук, медведи, тигр и др.), которых рассматривает во многих отношениях близкий автору Олег Костоглов, становятся по преимуществу иллюстрацией человеческих нравов, иллюстрацией типов человеческого поведения. Ничего необычного в этом нет. По словам В.Н. Топорова, «животные в течение длительного времени служили некоей наглядной парадигмой, отношения между элементами которой могли использоваться как определённая модель жизни человеческого общества <...>»¹.

Наиболее часто *зоонимы*, применяемые для именованя людей, встречаются в романе «В круге первом», в книгах «Архипелаг ГУЛАГ» и «Бодался телёнок с дубом». Если посмотреть на произведения Солженицына под таким углом зрения, то тогда *архипелаг ГУЛАГ* предстанет чем-то вроде грандиозного зверинца, который населяют «Дракон» (властелин этого царства), «носороги», «волки», «псы», «кони»,

¹ Топоров В.Н. Животные // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1991. Т. 1. С. 440.

«козлы», «гориллоиды», «крысы», «ежи», «кролики», «ягнята» и тому подобные существа. В книге «Бодался телёнок с дубом» известные «инженеры человеческих душ» советской эпохи тоже предстают как обитатели «зверофермы» — на этот раз писательской: тут и К. Федин «с лицом порочного волка», и «полканистый» Л. Соболев, и «волковатый» В. Кочетов, и «отъевшаяся лиса» Г. Марков...

Сам склонный видеть в персонажах проявление животных черт и свойств, А. Солженицын нередко наделяет такой способностью и героев, в частности Шухова — главного героя «Одного дня Ивана Денисовича». Изображённый в этом произведении лагерь населяет множество зооподобных существ — персонажей, которых герои рассказа и повествователь многократно именуют (или сравнивают с) *собаками, волками, шакалами, медведями, лошадьми, баранами, овцами, свиньями, телятами, зайцами, лягушками, крысами, кориунами* и т.д., — в которых проступают или даже превалируют повадки и свойства, приписываемые или на самом деле присущие этим животным.

Иногда (это бывает крайне редко) зооморфные сравнения разрушают органическую целостность образа, размывают контуры характера. Такое обычно происходит при чрезмерном обилии сравнений. Явно избыточны зооморфные сравнения в портретной характеристике Гопчика. В образе этого шестнадцатилетнего заключённого, вызывающего у Шухова отцовские чувства, контаминированы свойства сразу нескольких животных: «розовенький, как поросёнок» (40); «Он — телёнок ласковый, ко всем мужикам ластится» (45); «Гопчик, как белка, лёгкий — по перекадинам взобрался <...>» (46); «<...> Гопчик сзади зайчишкой бежит» (51); «Тонюсенький у него голосочек, как у козлёнка» (54). Героя, в портретном описании которого совмещены черты *поросёнка, телёнка, белки, зайчишки, козлёнка*, а кроме того, *волчонка* (надо полагать, Гопчик разделяет общее настроение голодных и озябших эзков, которых держат на морозе из-за заснувшего на объекте молдаванина: «<...> ещё бы, кажется, полчаса поддержки их этот молдаван, да отдал бы его конвой толпе — разодрали б, как волки телёнка!» (83)), весьма трудно представить, увидеть, как говорится, воочию. Ф.М. Достоевский считал, что, создавая портрет персонажа, писатель должен отыскать главную идею его «физиономии». Автор «Одного дня...» в данном случае этот принцип нарушил. «Физиономия» Гопчика не имеет портретной доминанты, а потому его образ теряет отчётливость и выразительность, оказывается размытым.

Проще всего было бы считать, что антитеза *звериное (животное)* — *человечное* в рассказе Солженицына сводится к противопоставлению

палачей и их жертв, то есть создателей и верных слуг ГУЛАГа, с одной стороны, и лагерных узников — с другой. Однако такая схема разрушается при соприкосновении с текстом. В какой-то мере, применительно прежде всего к образам тюремщиков, это, может быть, и справедливо. Особенно в эпизодах, когда они сравниваются с собакой — «по традиции “низким”, презираемым животным, символизирующим крайнюю отверженность человека от себе подобных»¹. Хотя здесь скорее не сравнение с животным, не зооморфное уподобление, а использование слова «собаки» (и его синонимов — «псы», «полканы») в качестве ругательства. Именно с этой целью обращается к подобной лексике Шухов: «Сколько за ту шапку в кондей перетаскали, псы клятые» (17); «Хоть бы считать-то умели, собаки!» (80); «Вот собаки, опять считать!» (84); «Без надзирателей управляются, полканы» (98) и т.д. Конечно, для выражения своего отношения к тюремщикам и их пособникам Иван Денисович использует как ругательства слова-зоонимы не только с *собачьей* спецификой. Так, десятник Дэр для него — «свинячья морда» (71), каптёр в камере хранения — «крыса» (108)².

В рассказе встречаются и случаи прямого уподобления конвоиров и надзирателей собакам, причём, следует подчеркнуть, собакам злым. Зоонимы «собака» или «пёс» в таких ситуациях обычно не применяются, *собачью* окраску получают действия, голоса, жесты, мимика персонажей: «Да драть тебя в лоб, что ты гавкаешь?» (87); «Но надзиратель оскалился <...>» (120); «— Ну! Ну! — рычал надзиратель» (120) и т.д.

Соответствие внешнего облика персонажа внутреннему содержанию его характера — приём, характерный для поэтики реализма. В рассказе Солженицына по-звериному жестокой, «волчьей» натуре начальника режима соответствует не только внешность, но даже фамилия: «Вот Бог шельму метит, фамильицу дал! — иначе, как волк, Волковой не смотрит. Тёмный, да длинный, да насупленный — и носится быстро» (26). Ещё Гегель отмечал, что в художественной литературе образом животного обычно «пользуются для обозначения всего плохого, дурного, незначительного, природного и недуховного <...>»³. Уподобление в «Одном дне Ивана Денисовича» служителей

¹ Эпитейн М.Н. «Природа, мир, тайник вселенной...»: Система пейзажных образов в русской поэзии. М.: Высшая школа, 1990. С. 133.

² Кстати, тюремщики тоже обращаются к словам-зоонимам, чтобы выразить своё презрительное отношение к энкам, которых они не признают за людей: «— Ты хоть видал когда, как твоя баба помы мыла, чушка?» (14); «— Стой! — шумит вахтёр. — Как баранов стадо» (28); «— По пять разбираться, головы бараны <...>» (99) и т.д.

³ Гегель Г.В.Ф. Эстетика. В 4 т. М.: Искусство, 1968–1973. Т. 2. С. 165.

ГУЛАГа хищным животным, зверям имеет вполне объяснимую мотивацию, так как в литературной традиции «зверь — это прежде всего инстинкт, торжество плоти», «мир плоти, освобождённой от души»¹. Лагерные надзиратели, охранники, начальство в рассказе Солженицына часто предстают в облике хищных зверей: «И надзиратели <...> кинулись, как звери <...>» (26). Заключённые, напротив, уподобляются овцам, телятам, лошадям. Особенно часто с конём (меринном) сравнивается Буйновский: «С ног уж валится кавторанг, а тянет. Такой мерин и у Шухова был <...>» (76); «Осунулся крепко кавторанг за последний месяц, а упряжку тянет» (47); «Кавторанг припёр носилки, как мерин добрый» (76). Но и другие однобригадники Буйновского во время «стахановской» работы на ТЭЦ уподобляются лошадям: «Подносчики — как лошади запышенные» (75); «Снизу Павло прибежал, в носилки впрягшись <...>» (там же) и т.д.

Итак, по первому впечатлению, автор «Одного дня...» выстраивает жёсткую оппозицию, на одном полюсе которой — кровожадные тюремщики (*звери, волки, злые собаки*), на другом — беззащитные «травоядные» эки (*овцы, телята, лошади*). Истоки этой оппозиции восходят к мифологическим представлениям скотоводческих племён. Так, в *поэтических воззрениях славян на природу*, «губительная хищность волка по отношению к лошадям, коровам и овцам представлялась <...> аналогичною с тою враждебною противоположною, в какую поставлены тьма и свет, ночь и день, зима и лето»². Однако концепция, основанная на установлении зависимости *нисхождения человека по лестнице биологической эволюции до низших тварей* от того, к кому он принадлежит — к палачам или жертвам, начинает пробуксовывать, как только объектом рассмотрения становятся образы заключённых.

Во-первых, эки (казалось бы, существа сугубо страдательные, безвинные жертвы преступного режима) в восприятии Шухова и повествователя далеко не всегда вызывают положительную оценку. Это нашло отражение в целом ряде зооморфных уподоблений и сравнений. Так, Фетюков не только постоянно именуется «шакалом», но и ведёт себя соответственно — «шакалит». Своими повадками он часто напоминает именно шакала, поэтому не случайно, что в восприятии Шухова этот лагерник наделяется атрибутами животного: «Фетюков по первым дням на кавторанга даже хвост поднял <...>» (44–45). Од-

¹ См.: Фёдоров Ф.П. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига: Зинатне, 1988. С. 306.

² Афанасьев А.Н. Древо жизни: Избранные статьи. М.: Современник, 1982. С. 164.

нако снижающие зооморфные уподобления используются не только применительно к деградировавшему Фетюкову. Тот же кавторанг в одном из эпизодов сравнивается с насекомым-паразитом: «Так вот быстрая вошка всегда первая на гребешок попадает» (112). Отрицательную оценочность получает в рассказе сравнение голодных зэков с хищными птицами: «(Если кто не доест и от себя миску отодвинет — за неё как коршуны хватаются <...>)» (102). Разрушая начавшую было выстраиваться в сознании читателя оппозицию *палачи/звери—жертвы/люди*, автор (глазами центрального персонажа) начинает усматривать звериные качества не только у охранников, но и у их подопечных. В восприятии Шухова зэки могут превращаться в «зверехитрое племя» (114). В одном из эпизодов, наблюдая за тем, как старший барака и надзиратель «в зады шугают» не спешащих выходить на вечернюю проверку заключённых, Иван Денисович про себя приговаривает: «Так их, зверей!» (115).

Во-вторых, в системе ценностей, накрепко усвоенных Шуховым в лагере, *хищность* далеко не всегда воспринимается как отрицательное качество. Вопреки издавна укоренившейся традиции¹ в ряде случаев даже уподобление зэков волку не несёт отрицательной оценочности. Напротив, волками Шухов за глаза, но уважительно именует самых авторитетных для него в лагере людей — бригадиров Кузёмина («<...> старый был лагерный волк») и Тюрина («А и думать надо, прежде чем на такого волка идти <...>») (7, 74). В данном контексте уподобление хищнику свидетельствует не об отрицательных «звериных» качествах (как в случае с Волковым), а о положительных человеческих — зрелости, опытности, силе, мужестве, твёрдости.

Применительно к заключённым-работягам традиционно отрицательные, снижающие зооморфные уподобления далеко не всегда оказываются негативными по своей семантике. Так, в ряде эпизодов, построенных на уподоблении зэков собакам, отрицательная модальность становится почти незаметной, а то и вовсе исчезает. Высказывание Тюрина, обращённое к бригаде: «Не нагреем <машинный зал> — помёрзнем как собаки...» (40), или взгляд повествователя на бегущих к вахте Шухова и Сеньку Клевшина: «Запалились, как собаки бешеные <...>» (78), не несут отрицательной оценочности. Скорее наоборот: подобные параллели лишь усиливают сочувствие к героям. Даже когда Андрей Прокофьевич обещает «в лоб огреть» своих однобригадников, сунувшихся к печке, прежде чем оборудовать рабочее место, реакция Шухо-

¹ Ср.: «Волк по своему хищному, разбойничьему нраву получил в народных преданиях значение враждебного демона» (Афанасьев А.Н. Указ. изд. С. 163).

ва: «Битой собаке только плеть покажи» (45), указывающая на покорность, забитость лагерников, вовсе не дискредитирует их. Сравнение с «битой собакой» характеризует не столько эзков, сколько тех, кто превратил их в запуганных существ, не смеющих послушаться бригадира и вообще «начальство». Тюрин использует уже сформированную ГУЛА-Гом «забитость» заключённых, причём заботясь об их же благе, думая о выживании тех, за кого он несёт ответственность как бригадир.

Напротив, когда речь заходит об оказавшихся в лагере столичных интеллектуалах, по возможности старающихся избежать общих работ и вообще контактов с «серыми» эзками и предпочитающих общаться с людьми своего круга, сравнение с собаками (причём даже не злобными, как в случае с конвоирами, а лишь обладающими острым чутьём) вряд ли свидетельствует о симпатии к ним героя и повествователя: «Они, москвичи, друг друга издаля чуют, как собаки. И, сойдясь, всё обнюхиваются, обнюхиваются по-своему» (96). Кастовая отчуждённость московских «чудаков» от повседневных забот и нужд простых «серых» эзков получает завуалированную оценку через сравнение с обнюхивающимися собаками, которое и создаёт эффект иронического снижения.

Таким образом, зооморфные сравнения и уподобления в рассказе Солженицына имеют амбивалентный характер, и их смысловая наполненность чаще всего зависит не от традиционных, устоявшихся значений басенно-аллегорического или фольклорного типа, а от контекста, от конкретных художественных задач автора, от его мировоззренческих представлений.

Активное использование писателем зооморфных сравнений исследователи обычно сводят к теме духовно-нравственной деградации человека, оказавшегося участником драматических событий русской истории XX столетия, втянутого преступным режимом в круговорот тотального государственного насилия. А между тем проблема эта включает в себе не только социально-политический, но и экзистенциальный смысл. Она имеет самое непосредственное отношение и к авторской концепции личности, к эстетически претворённым представлениям писателя о сущности человека, о цели и смысле его земного бытия.

Принято считать, что Солженицын-художник исходит из христианской концепции личности: «Человек для писателя — существо духовное, носитель образа Божьего. Если же в человеке исчезает нравственное начало, то он уподобляется зверю, в нём преобладает животное, плотское»¹. Если спроецировать эту схему на «Один день Ивана

¹ Белопольская Е.В. Роман А.И. Солженицына «В круге первом»: Опыт интерпретации. Ростов-на-Дону: Изд-во Ин-та массовых коммуникаций, 1997. С. 157.

Денисовича», то на первый взгляд она как будто бы справедлива. Из всех портретно представленных героев рассказа не имеют зооморфных уподоблений лишь несколько, в том числе Алёшка-баптист — едва ли не единственный персонаж, который может претендовать на роль «носителя образа Божьего». Этот герой сумел духовно устоять в схватке с бесчеловечной системой благодаря христианской вере, благодаря твёрдости в отстаивании незыблемых этических норм.

В отличие от В. Шаламова, считавшего лагерь «отрицательной школой», А. Солженицын концентрирует внимание не только на негативном опыте, который приобретают заключённые, но и на проблеме устояния — физического и особенно духовно-нравственного. Лагерь растлевает, превращает в животных прежде всего и преимущественно тех, кто слаб духом, у кого нет твёрдого духовно-нравственного стержня.

Но и это ещё не всё. Лагерь не является для автора «Одного дня Ивана Денисовича» главной и единственной причиной искажения в человеке его изначального, природного совершенства, заложенного, «запрограммированного» в нём «богоподобия». Здесь хочется провести параллель с одной особенностью творчества Гоголя, о которой писал Бердяев. Философ усмотрел в «Мёртвых душах» и других произведениях Гоголя «аналитическое расчленение органически цельного образа человека». В статье «Духи русской революции» (1918) Бердяев высказал весьма оригинальный, хотя и не во всём бесспорный взгляд на природу таланта Гоголя, назвав писателя «инфернальным художником», обладавшим «совершенно исключительным по силе чувством зла» (как тут не вспомнить высказывание Ж. Нива о Солженицыне: «Он, пожалуй, самый мощный художник Зла во всей современной литературе»?)¹. Приведём несколько высказываний Бердяева о Гоголе, которые помогают лучше понять и произведения Солженицына: «У Гоголя нет человеческих образов, а есть лишь морды и рожи <...>. Со всех сторон обступали его безобразные и нечеловеческие чудовища. <...> Он верил в человека, искал красоты человека и не находил его в России. <...> Его великому и неправдоподобному художеству дано было открыть отрицательные стороны русского народа, его тёмных духов, всё то, что в нём было нечеловеческого, искажающего образ и подобие Божье»². События 1917 года были восприняты Бердяевым как подтверждение гоголевского диагноза: «В революции раскрылась всё

¹ Нива Ж. Указ изд., 1992. С. 94.

² Бердяев Н.А. Духи русской революции // Из глубины: Сб. статей о русской революции. М.: Изд-во МГУ, 1990. С. 59.

та же старая, вечно гоголевская Россия, нечеловеческая, полузвериная Россия харь и морд. <...> Тьма и зло заложены глубже, не в социальных оболочках народа, а в духовном его ядре. <...> Революция — великая проявительница, и она проявила лишь то, что таилось в глубине России»¹.

Отталкиваясь от высказываний Бердяева, сделаем предположение, что, с точки зрения автора «Одного дня Ивана Денисовича», ГУЛАГ обнажил и проявил основные болезни и пороки современного общества. Эпоха сталинских репрессий не породила, а лишь обострила, довела до предела жестокосердие, равнодушие к чужим страданиям, душевную чёрствость, безверие, отсутствие твёрдого духовно-нравственного фундамента, безликий коллективизм, зоологические инстинкты — всё, что накапливалось в русском обществе в течение нескольких столетий. ГУЛАГ стал следствием, результатом ошибочного пути развития, которое избрало человечество в Новое время. ГУЛАГ — закономерный итог развития современной цивилизации, отказавшейся от веры или превратившей её во внешний ритуал, во главу угла поставившей социально-политические химеры и идеологический радикализм или же отвергшей идеалы духовности во имя безоглядного технического прогресса и лозунгов материального потребления.

Ориентацией автора на христианское представление о природе человека, стремлением к совершенству, к идеалу, который христианская мысль выражает в формуле «богоподобия», можно объяснить обилие зооморфных уподоблений в рассказе «Один день Ивана Денисовича», в том числе применительно к образам заключённых. Что касается образа главного героя произведения, то, разумеется, и он не является образцом совершенства. С другой стороны, Иван Денисович отнюдь не обитатель зверинца, не зооподобное существо, утратившее представление о высшем смысле человеческого бытия. Критики 60-х годов часто писали о «приземлённости» образа Шухова, подчёркивали, что круг интересов героя не простирается дальше лишней миски баланды (Н. Сергованцев). Подобные оценки, звучащие и по сей день (Н. Федь), вступают в явное противоречие с текстом рассказа, в частности с фрагментом, в котором Иван Денисович сравнивается с птицей: «Теперь-то он, как птица вольная, выпорхнул из-под тамбурной крыши — и по зоне, и по зоне!» (96). Это уподобление — не только форма констатации подвижности главного героя, не только метафорический образ, характеризующий стремительность перемещений Шухова по лагерю: «Образ птицы в соответствии с поэтической тради-

¹ Бердяев Н.А. Указ изд. С. 60, 62.

цией указывает на свободу воображения, полёт духа, устремлённого к небесам»¹. Сравнение с «вольной» птицей, подкрепляемое многими другими аналогичными по смыслу портретными деталями и психологическими характеристиками, позволяет сделать вывод о наличии у этого героя не только «биологического» инстинкта выживания, но и духовных устремлений.

БОЛЬШОЕ В МАЛОМ

(искусство художественной детали)

Художественной деталью принято называть выразительную подробность, выполняющую в произведении важную идейно-смысловую, эмоциональную, символично-метафорическую роль. «Смысл и сила детали в том, что в бесконечно малое вмещено целое»². К художественной детали относят подробности исторического времени, быта и уклада, пейзажа, интерьера, портрета.

В произведениях А. Солженицына художественные детали несут настолько значимую идейно-эстетическую нагрузку, что без их учёта понять авторский замысел в полном объёме практически невозможно. В первую очередь это относится к его раннему, «подцензурному» творчеству, когда писателю приходилось прятать, уводить в подтекст самое сокровенное из того, что он хотел донести до приученных к эзопову языку читателей 60-х годов.

Только следует отметить, что автор «Ивана Денисовича» не разделяет точку зрения своего персонажа Цезаря, который считает, что «искусство — это не что, а как» (60). По Солженицыну, правдивость, точность, выразительность отдельных деталей художественно воссоздаваемой действительности мало что значит, если при этом нарушена историческая правда, искажена общая картина, сам дух эпохи. По этой причине он скорее на стороне Буйновского, который в ответ на восхищение Цезаря выразительностью деталей в фильме Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин» парирует: «Да... Но морская жизнь там кукольная» (83).

К числу деталей, которые заслуживают особого внимания, относится лагерный номер главного героя — Щ-854. С одной стороны, он

¹ Эпштейн М.Н. «Природа, мир, тайник вселенной...»: Система пейзажных образов в русской поэзии. М.: Высшая школа, 1990. С. 129.

² Добин Е.С. Сюжет и действительность. Искусство детали. Л.: Советский писатель, 1981. С. 303.

является свидетельством некоторой автобиографичности образа Шухова, так как известно, что лагерный номер автора, отбывавшего срок в Экибастузском лагере, начинался на эту же букву — Щ-262. Кроме того, обе составляющие номера — одна из последних букв алфавита и близкое к пределу трёхзначное число — заставляют задуматься о масштабах репрессий, подсказывают проницательному читателю, что общее число заключённых только в одном лагере могло превышать двадцать тысяч человек. Нельзя не обратить внимания ещё на одну подобную деталь: на то, что Шухов работает в 104-й (!) бригаде. Один из первых читателей тогда ещё рукописного «Одного дня Ивана Денисовича» — Лев Копелев сетовал, что произведение А. Солженицына «перегружено ненужными деталями». Критика 60-х тоже часто писала о чрезмерном увлечении автора лагерным бытом. Действительно, он уделяет внимание буквально каждой мелочи, с которой сталкивается его герой: подробно рассказывает о том, как устроен барак, вагонка, карцер, как и что едят заключённые, где они прячут хлеб и деньги, во что обуваются и одеваются, как подрабатывают, где добывают курево и т.д. Такое повышенное внимание к бытовым деталям оправдано прежде всего тем, что лагерный мир дан в восприятии героя, для которого все эти мелочи имеют жизненно важное значение. Подробности характеризуют не только уклад лагерной жизни, но и — косвенным образом — самого Ивана Денисовича. Часто они дают возможность понять внутренний мир Щ-854 и других эзков, те моральные принципы, которыми руководствуются персонажи. Вот одна из таких деталей: в лагерной столовой заключённые выплёвывают на стол попадающиеся в баланде рыбные косточки, и, только когда их скапливается много, кто-нибудь смахивает косточки со стола на пол, и там они «дохрястывают»: «А прямо на пол кости плевать — считается вроде бы неаккуратно» (15)¹. Ещё один сходный пример: в неотопляемой столовой Шухов снимает шапку — «как ни холодно, но не мог он себя допустить есть в шапке» (15–16). Обе эти, казалось бы, чисто бытовые подробности свидетельствуют о том, что у бесправных лагерников сохранилась потребность в соблюдении норм поведения, своеобразных правил этикета. Эзки, которых пытаются превратить в рабочую скотину, в безымянных рабов, в «нумера», остались людьми, хотят быть людьми, и об этом автор говорит в том числе и опосредованно — через описание подробностей лагерного быта.

¹ В.Т. Шаламов по поводу этого эпизода возражал автору: «Только рыбу <в лагере> едят с костями — это закон» (Знамя. 1990. № 7. С. 69). (См. также с. 59 наст. изд. — *Примеч. сост.*)

Среди наиболее выразительных деталей — повторяющееся упоминание о ногах Ивана Денисовича, засунутых в рукав телогрейки: «Он лежал на верху вагонки, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, а в телогрейку, в один подвёрнутый рукав, сунув обе ступни вместе» (8); «Ноги опять в рукав телогрейки, сверху одеяло, сверху бушлат, спим!» (120). На эту деталь обратил внимание и В. Шаламов, написавший автору в ноябре 1962 года: «Ноги Шухова в одном рукаве телогрейки — всё это великолепно»¹.

Интересно сравнить солженицынский образ со знаменитыми строчками А. Ахматовой:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Художественная деталь в «Песне последней встречи» является знаком, несущим «информацию» о внутреннем состоянии лирической героини, поэтому данную подробность можно назвать *эмоционально-психологической*. Роль детали в рассказе Солженицына принципиально иная: она характеризует не переживания персонажа, а его «внешнюю» жизнь — является одной из достоверных подробностей лагерного быта. Иван Денисович засовывает ноги в рукав телогрейки не по ошибке, не в состоянии психологического аффекта, а по причинам сугубо рациональным, практическим. Такое решение ему подсказывает долгий лагерный опыт и народная мудрость (по пословице: «Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги — в тепле!»). С другой стороны, деталь эту нельзя назвать чисто *бытовой*, так как она несёт и символическую нагрузку. Левая перчатка на правой руке лирической героини Ахматовой — знак определённого эмоционально-психологического состояния; ноги Ивана Денисовича, засунутые в рукав телогрейки, — ёмкий символ *перевёрнутости*, аномальности всего лагерного бытия в целом.

Значительная часть предметных образов произведения Солженицына используется автором одновременно и для воссоздания лагерного быта, и для характеристики сталинской эпохи в целом: парашная бочка, вагонка, тряпочки-намордники, фронтовые осветительные ракеты — символ войны власти с собственным народом: «Как этот лагерь, Особый, зачинали — ещё фронтовых ракет осветительных боль-

¹ Там же.

но много было у охраны, чуть погаснет свет — сыпят ракетами над зоной, <...> война настоящая» (17). Символическую функцию в рассказе выполняет подвешенный на проволоке рельс — лагерное подобие (точнее — *подмена*) колокола. «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стёкла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать» (7). Как утверждает Х.Э. Керлот, колокольный звон — «символ созидательной силы»; а поскольку источник звука висит, «на него распространяются все мистические свойства, которыми наделяются подвешенные между небом и землёй объекты»¹. В изображаемом писателем «перевёрнутом», десакрализованном мире ГУЛАГа происходит важная знаковая подмена: место колокола, по форме напоминающего небесный свод, а потому символически связанного с миром *горним*, занимает «толстой проволокою подхваченный, <...> обындивевший рельс», висящий не на колокольне, а на обычном столбе (11). Утрата сакральной сферической формы и замена материальной субстанции (твёрдая сталь вместо мягкой меди)² соответствуют изменению свойств и функций самого звука: удары надзирательского молотка по лагерному рельсу напоминают не о вечном и высоком, а о проклятии, довлеющем над заключёнными, — об изнуряющем подневольном рабском труде, раньше времени сводящем людей в могилу.

ДЕНЬ, СРОК, ВЕЧНОСТЬ

(о специфике художественного время-пространства)

Один день лагерной жизни Шухова и неповторимо своеобразен, так как это, во-первых, не условный, не «сборный», не абстрактный день, а вполне определённый, имеющий точные временные координаты, наполненный в том числе и неординарными событиями, и, во-вторых, в высшей степени типичный, ибо состоит из множества

¹ Керлот Х.Э. Словарь символов / Пер. с англ. М.: REFL-Book, 1994. С. 253.

² Интересная трактовка символических свойств этих двух металлов содержится в работе Л.В. Карасёва: «Железо — металл недобрый, inferнальный <...> металл сугубо мужской и милитаристский»; «Железо становится оружием или напоминает об оружии»; «Медь — материя иного свойства <...>. Медь мягче железа. Её цвет напоминает цвет человеческого тела <...> медь — металл женский <...>. Если же говорить о смысле, более близких уму русского человека, то среди них прежде всего окажутся церковность и государственность меди»; «Агрессивному и беспощадному железу медь противостоит как металл мягкий, защищающий, страдающий» (Карасёв Л.В. Онтологический взгляд на русскую литературу / Рос. гос. гуманитар. ун-т. М., 1995. С. 53–57).

эпизодов, деталей, которые характерны для любого из дней лагерного срока Ивана Денисовича: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три» (121).

Почему один-единственный день заключённого оказывается настолько содержательно ёмким? Во-первых, уже в силу внелитературных причин: этому способствует сама природа дня — наиболее универсальной единицы времени. Мысль эту исчерпывающе выразил В.Н. Топоров, анализируя выдающийся памятник древнерусской литературы — «Житие Феодосия Печерского»: «Основным квантом времени при описании исторического микро-плана выступает д е н ь , и выбор именно дня как времени в ЖФ неслучаен. С одной стороны, <он> самодостаточен, самодовлеющ <...>. С другой стороны, день наиболее естественная и с начала Творения (оно само измерялось днями) установленная Богом единица времени, приобретающая особый смысл в соединении с другими днями, в той череде дней, которая и определяет “макро-время”, его ткань, ритм <...>. Для временной структуры ЖФ как раз и характерна всегда предполагаемая связь дня и последовательности дней. Благодаря этому “микро-план” времени соотносится с “макро-планом”, любой конкретный день как бы подвёрстывается (хотя бы в потенции) к “большому” времени Священной истории <...>»¹.

Во-вторых, таков и был изначально замысел А. Солженицына: представить изображённый в рассказе день заключённого квинтэссенцией всего его лагерного опыта, моделью лагерного быта и бытия в целом, средоточием всей эпохи ГУЛАГа. Вспоминая о том, как возник замысел произведения, писатель говорил: «был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником, и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днём»²; «достаточно описать один всего день самого простого работяги, и тут отразится вся наша жизнь»³.

Так что заблуждается тот, кто считает рассказ А. Солженицына произведением исключительно на «лагерную» тему. Художественно воссозданный в произведении день заключённого разрастается до символа целой эпохи. Автор «Ивана Денисовича», наверное, согласился бы с мнением И. Солоневича — писателя «второй волны» русской

¹ Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства на Руси. М.: Гнозис: Школа «Языки русской культуры», 1995. С. 625.

² Солженицын А.И. Публицистика. Т. 2. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1996. С. 424.

³ Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1996. С. 21.

эмиграции, — высказанным в книге «Россия в концлагере» (1935)¹. «Ничем существенным лагерь от “воли” не отличается. В лагере если и хуже, чем на воле, то очень уж ненамного — конечно, для основных масс лагерников, рабочих и крестьян. Всё, что происходит в лагере, происходит и на воле. И наоборот. Но только в лагере всё это нагляднее, проще, чётче <...>. В лагере основы советской власти представлены с чёткостью алгебраической формулы». Иначе говоря, изображённый в рассказе Солженицына лагерь является уменьшенной копией советского общества, копией, сохраняющей все важнейшие черты и свойства оригинала.

Одним из таких свойств является то, что время природное и время внутрилагерное (и шире — государственное) не синхронизируются, движутся с разной скоростью: дни (они, как уже было сказано, являются наиболее естественной, Богом установленной единицей времени) следуют «своим чередом» (8), а лагерный срок (то есть временной отрезок, определяемый репрессивной властью) почти не движется: «А конца срока в этом лагере ни у кого ещё не было» (27); «<...> дни в лагере катятся — не оглянись. А срок сам — ничуть не идёт, не убавляется его вовсе» (47–48). Не синхронизируются в художественном мире рассказа также время заключённых и время лагерного начальства, то есть время народа и время тех, кто олицетворяет власть: «<...> заключённым часов не положено, время за них знает начальство» (19); «Никто из зэков никогда в глаза часов не видит, да и к чему они, часы? Зэку только надо знать — скоро ли подъём? до развода сколько? до обеда? до отбоя?» (115).

И спроектирован лагерь таким образом, чтобы выбраться из него было практически невозможно: «<...> всякие ворота всегда внутри зоны открываются, чтоб, если зэки и толпой изнутри на них напёрли, не могли бы высадить» (92). Те, кто превратил Россию в «архипелаг ГУЛАГ», заинтересованы, чтобы в этом мире ничего не менялось, чтобы время либо вовсе остановилось, либо, по крайней мере, управлялось их волей. Но даже им, казалось бы, всевластным и всемогущим, не под силу совладать с вечным движением жизни. Интересен в этом смысле эпизод, в котором Шухов и Буйновский спорят о том, когда солнце находится в зените.

В восприятии Ивана Денисовича солнце как источник света и тепла и как естественные природные часы, отмеряющие время человеческой жизни, противостоит не только лагерному холоду и мраку, но и самой власти, породившей чудовищный ГУЛАГ. Власть эта заключает

¹ Солоневич И. Россия в концлагере // Кубань. 1991. № 1–8.

в себе угрозу всему миру, так как стремится нарушить естественный ход вещей. Подобный смысл можно усмотреть в некоторых «солнечных» эпизодах. В одном из них воспроизводится диалог с подтекстом, который ведут два эка: «Солнце уже поднялось, но было без лучей, как в тумане, а по бокам солнца вставали — не столбы ли? — кивнул Шухов Кильдигсу.

— А нам столбы не мешают, — отмахнулся Кильдигс и засмеялся. — Лишь бы от столба до столба колючку не натянули, ты вот что смотри» (41). Смеётся Кильдигс не случайно — его ирония направлена на власть, которая натужно, но тщетно пытается подчинить себе весь Божий мир. Прошло немного времени, «солнце выше подтянулось, мглицу разогнало, и столбов не стало <...>» (46).

Во втором эпизоде, услышав от кавторанга Буйновского, что солнце, в «дедовские» времена занимавшее высшее положение на небосводе ровно в полдень, теперь, в соответствии с декретом советской власти, «выше всего в час стоит», герой, по простоте поняв эти слова буквально — в том смысле, что оно подчиняется требованиям декрета, тем не менее не склонен верить капитану: «Вышел кавторанг с носилками, да Шухов бы и спорить не стал. Неуж и солнце ихим декретам подчиняется?» (48). Для Ивана Денисовича совершенно очевидно, что солнце никому не «подчиняется», поэтому и спорить об этом нет резона. Чуть позже, пребывая в спокойной уверенности, что солнце ничто не может поколебать — даже советская власть вместе с её декретами, и желая лишний раз удостовериться в этом, Щ-854 ещё раз смотрит на небо: «И солнце тоже Шухов проверил, сощурясь, — насчёт кавторангова декрета» (52). Отсутствие в следующей фразе упоминаний о небесном светиле доказывает, что герой убедился в том, в чём никогда и не сомневался, — что никакая земная власть не в силах изменить извечные законы мироустройства и остановить естественное течение времени.

Перцептуальное время героев «Одного дня Ивана Денисовича» по-разному соотносено со временем историческим — временем тотального государственного насилия. Физически находясь в одном пространственно-временном измерении, они ощущают себя чуть ли не в разных мирах: кругозор Фетюкова ограничен колючей проволокой, а центром мироздания для героя становится лагерная помойка — средоточие главных его жизненных устремлений; бывший кинорежиссёр Цезарь Маркович, избежавший общих работ и регулярно получающий с воли продуктовые посылки, имеет возможность мыслями жить в мире кинообразов, в воссоздаваемой его памятью и воображением ху-

дожественной реальности фильмов Эйзенштейна. Перцептуальное пространство Ивана Денисовича тоже неизмеримо шире ограждённой колючей проволокой территории. Этот герой соотносит себя не только с реалиями лагерной жизни, не только со своим деревенским и военным прошлым, но и с солнцем, луной, небом, степным простором — то есть с явлениями природного мира, которые несут в себе идею беспредельности мироздания, идею вечности.

Таким образом, перцептуальное время-пространство Цезаря, Шухова, Фетюкова и других персонажей рассказа совпадает не во всём, хотя сюжетно они пребывают в одних и тех же временных и пространственных координатах. Локус Цезаря Марковича (кинофильмы Эйзенштейна) знаменует некоторую удалённость, дистанцированность персонажа от эпицентра величайшей народной трагедии, локус «шакала» Фетюкова (помойка) становится знаком его внутренней деградации, перцептуальное пространство Шухова, включающее солнце, небо, степной простор, — свидетельством нравственного восхождения героя.

Как известно, художественное пространство может быть «точечным», «линейным», «плоскостным», «объёмным» и т.д.¹ Наряду с другими формами выражения авторской позиции оно обладает ценностными свойствами. Художественное пространство «создаёт эффект “закрытости”, “тупиковости”, “замкнутости”, “ограниченности” или, напротив, “открытости”, “динамичности”, “разомкнутости” хронотопа героя, то есть раскрывает характер его положения в мире»². Создаваемое А. Солженицыным художественное пространство чаще всего называют «герметичным», «замкнутым», «сжатым», «уплотнённым», «локализованным». Такие оценки встречаются практически в каждой работе, посвящённой «Одному дню Ивана Денисовича». В качестве примера можно процитировать одну из последних по времени статей о произведении Солженицына: «Образ лагеря, самой реальностью заданный как воплощение максимальной пространственной замкнутости и отгороженности от большого мира, осуществляется в рассказе в такой же замкнутой временной структуре одного дня»³.

Отчасти подобные выводы справедливы. Действительно, общее художественное пространство «Ивана Денисовича» складывается

¹ См.: Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М.: Просвещение, 1988. С. 253.

² Головки В.М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. М.: Ставрополь, 1995. С. 269.

³ Вознесенская Т. Лагерный мир Александра Солженицына: тема, жанр, смысл // Литературное обозрение. 1999. № 1. С. 21. (См. также с. 614 наст. изд. — Примеч. сост.).

в том числе и из имеющих замкнутые границы пространств барака, санчасти, столовой, посылочной, здания ТЭЦ и т.д. Однако подобная замкнутость преодолевается уже тем, что центральный персонаж постоянно передвигается между этими локальными пространствами, он всегда находится в движении и не задерживается надолго ни в одном из лагерных помещений. Кроме того, физически находясь в лагере, перцептуально герой Солженицына вырывается за его пределы: взгляд, память, мысли Шухова обращены и к тому, что находится за колючей проволокой — и в пространственной, и во временной перспективах.

Концепция пространственно-временного «герметизма» не учитывает и то обстоятельство, что многие малые, частные, казалось бы, замкнутые явления лагерной жизни соотнесены с историческим и метаисторическим временем, с «большим» пространством России и пространством всего мира в целом. У Солженицына *стереоскопическое* художественное видение, поэтому создаваемое в его произведениях авторское концептуальное пространство оказывается не *плоскостным* (тем более горизонтально ограниченным), а *объёмным*. Уже в «Одном дне Ивана Денисовича» чётко обозначилось тяготение этого художника к созданию даже в границах произведений малой формы, даже в жёстко ограниченном жанровыми рамками хронотопе структурно исчерпывающей и концептуально целостной художественной модели всего мироздания.

Известный испанский философ и культуролог Хосе Ортега-и-Гассет в статье «Мысли о романе» говорил о том, что основная стратегическая задача художника слова заключается в «изъятии читателя из горизонта реальности», для чего романисту необходимо создать «замкнутое пространство — без окон и щелей, — так чтобы внутри был неразличим горизонт реальности»¹. Автор же «Одного дня Ивана Денисовича», «Ракового корпуса», «В круге первом», «Архипелага ГУЛАГ», «Красного колеса» постоянно напоминает читателю о реальности, находящейся за пределами внутреннего пространства произведений. Тысячами нитей это внутреннее (эстетическое) пространство рассказа, повести, «опыта художественного исследования», исторической эпопеи связано с пространством внешним, внеположным по отношению к произведениям, находящемся за их пределами — в сфере внехудожественной реальности. Автор не стремится притупить у читателя «чувство действительности», напротив, он постоянно «вытал-

¹ Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры / Пер. с исп. М.: Искусство, 1991. С. 285–287.

кивает» своего читателя из мира «беллетристического», художественного в мир реальный. Точнее, он делает взаимопроницаемой ту грань, которая, по мысли Ортеги-и-Гассета, должна наглухо отгораживать внутреннее (собственно художественное) пространство произведения от внешней по отношению к нему «объективной реальности», от реальной исторической действительности.

Событийный хронотоп «Ивана Денисовича» постоянно соотносится с реальностью. В произведении немало упоминаний о событиях и явлениях, находящихся за пределами воссоздаваемого в рассказе сюжета: о «батьке усатом» и Верховном Совете, о коллективизации и жизни послевоенной колхозной деревни, о Беломорканале и Бухенвальде, о театральной жизни столицы и кинофильмах Эйзенштейна, о событиях международной жизни: «<...> про войну в Корее спорят: оттого-де, что китайцы вступились, так будет мировая война или нет <...>» (105) и о прошедшей войне; о курьёзном случае из истории союзнических отношений: «Это перед ялтинским совещанием, в Севастополе. Город — абсолютно голодный, а надо вести американского адмирала показывать. И вот сделали специально магазин, полный продуктов <...>» (110) и т.д.

Принято считать, что основу русского национального пространства составляет горизонтальный вектор¹; что важнейшей национальной мифологемой является гоголевская мифологема «Русь-тройка», знаменующая «путь в бесконечный простор»; что Россия «катится: её царство — даль и ширь, горизонталь»². Колхозно-гулаговская Россия, изображённая А. Солженицыным в рассказе «Один день Ивана Денисовича», если и катится, то не по горизонтали, а по вертикали — отвесно вниз. Сталинский режим отнял у русского человека *бесконечный простор*, лишил миллионы узников ГУЛАГа свободы передвижения, сконцентрировал их на замкнутых пространствах тюрем и лагерей. Не имеют возможности свободно передвигаться в пространстве и остальные обитатели страны — прежде всего беспаспортные колхозники и полукрепостные рабочие.

По словам В.Н. Топорова, в традиционной русской модели мира возможность свободного передвижения в пространстве обычно связывается с таким понятием, как воля. Этот специфический национальный концепт основывается на «экстенсивной идее, лишённой целенаправленности и конкретного оформления (туда! прочь! вовне!) — как

¹ См.: Минакова А.М. Поэтический космос М.А. Шолохова. М.: Прометей, 1992. С. 35.

² См.: Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М.: Изд. группа «Прогресс» — «Культура», 1995. С. 181.

варианты одного мотива “лишь бы уйти, вырваться отсюда”». Что происходит с человеком, когда его лишают *воли*, лишают возможности хотя бы в бегстве, в движении по бескрайним русским просторам попытаться найти спасение от государственного произвола и насилия? По мнению автора «Одного дня Ивана Денисовича», воссоздающего именно такую сюжетную ситуацию, выбор здесь небольшой: либо человек попадает в зависимость от внешних факторов и, как следствие, нравственно деградирует (то есть, выражаясь языком пространственных категорий, скатывается вниз), либо обретает внутреннюю свободу, становится независимым от обстоятельств — то есть выбирает путь духовного возвышения. В отличие от *воли*, которая у русских чаще всего связана с идеей бегства от «цивилизации», от деспотической власти, от государства со всеми его институтами принуждения, с в о б о д а, напротив, есть «понятие интенсивное и предполагающее целенаправленное и хорошо оформленное самоуглубляющееся движение <...>. Если волю ищут вовне, то свободу обретают внутри себя»¹.

В рассказе Солженицына такую точку зрения (практически один к одному!) высказывает баптист Алёша, обращаясь к Шухову: «Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями заглохнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать!» (119). Иван Денисович, который и сам иногда «не знал, хотел он воли или нет», тоже заботится о сохранении собственной души, но понимает это и формулирует по-своему: «<...> он не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался» (107). В отличие от набожного Алёшки, который живёт чуть ли не одним «святым духом», полуязычник-полухристианин Шухов выстраивает свою жизнь по двум равноценным для него осям: «горизонтальной» — бытовой, житейской, физической — и «вертикальной» — бытийственной, внутренней, метафизической»². Таким образом, линия сближения этих персонажей имеет вертикальную направленность. Идея же *вертикали* «связана с движением вверх, которое, по аналогии с пространственным символизмом и моральными понятиями, символически соответствует тенденции к одухотворению»³. В этой связи представляется неслучайным, что именно Алёшка и Иван Денисович занимают верхние места на вагонке, а Цезарь и Буйновский — нижние: двум последним

¹ Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 239–240.

² См.: Непомнящий В.С. Поэзия и судьба: Над страницами духовной биографии А.С. Пушкина. М., 1987. С. 428.

³ Керлот Х.Э. Указ. изд. С. 109.

персонажам ещё только предстоит найти путь, ведущий к духовному восхождению. Основные этапы восхождения человека, оказавшегося в жерновах ГУЛАГа, писатель, основываясь в том числе и на собственном лагерном опыте, чётко обозначил в интервью журналу «Ле Пуэн»: борьба за выживание, постижение смысла жизни, обретение Бога¹.

Таким образом, замкнутые рамки изображённого в «Одном дне Ивана Денисовича» лагеря определяют движение хронотопа рассказа прежде всего не по горизонтальному, а по вертикальному вектору — то есть не за счёт расширения пространственного поля произведения, а за счёт развёртывания духовно-нравственного содержания.

С. Красовская

«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»: ИРОНИЯ В КОМПОЗИЦИОННО-ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ²

А.И. Солженицына, как, впрочем, всякого большого художника, трудно вписать в прокрустово ложе какой-либо теории, объяснить, пользуясь парадигмой одной художественной модели. Эта закономерность распространяется на все аспекты художественного мира писателя, в том числе и на его манеру повествования.

Т. Винокур, вспоминая своё впечатление от первого знакомства с «Одним днём Ивана Денисовича» в теперь уже далёком 1962 году, писала, что больше всего её поразило беспримерное, необычное своеобразие стиля: «Стилистически безукоризненно выполненное переплетение прямой, несобственно-прямой и косвенной речи накладывается на общую для всех ранних повестей “разговорную” речевую канву»³.

При этом повествовательной доминантой является несобственно-прямая речь. Если пользоваться нарративной типологией австрийского нарратолога Ф. Штанцеля, то повествование в солженицынской повести не может быть охарактеризовано ни как гетеродиегетический

¹ См.: Солженицын А.И. Публицистика. Т. 2. С. 322–333.

² «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына: Художественный мир. Поэтика. Культурный контекст: Сб. науч. трудов / Под ред. А.В. Урманова. Благовещенск, 2003. Благовещенский государственный педагогический университет. — *Здесь и далее примеч. С. Красовской.*

³ Винокур Т. С Новым годом, шестьдесят вторым... // Вопросы литературы. 1991. № 11/12. С. 48–69. (Текст статьи опубликован на официальном сайте А.И. Солженицына: <http://solzhenitsyn.ru>. — *Примеч. сост.*)

аукториальный тип (рассказ ведётся от третьего лица — лица всеведущего безымянного повествователя), ни как акториальный тип с повествованием от лица героя — персонажа, так как нарративная модель произведения включает в себя элементы как первого, так и второго типа. От первого — форма повествования от лица всеведущего безымянного повествователя, от второго — способы передачи дискурса акторов: внешний дискурс (слова персонажа, произнесённые вслух) передаётся прямой речью (монологом и диалогом), а внутренний дискурс «транспонируется» в косвенную или несобственно-прямую речь. Более гибкой нам представляется типология, предлагаемая отечественными исследователями Н.А. Кожевниковой и Е.Г. Муценок. Исходя из неё, повествование, организованное чужой точкой зрения, переданной через чужую речь (именно таким является повествование в солженицынской повести), представляет собой несобственно-авторское повествование, или, по-другому, усечённый сказ¹. Характеризуя данную повествовательную модель, Н.А. Кожевникова отмечает, что часто несобственно-авторское повествование вырастает из несобственно-прямой речи. Оно есть распространение несобственно-прямой речи на конструктивные элементы, традиционно закреплённые за авторской речью. Однако, хотя «эти две повествовательные формы не всегда возможно чётко разграничить — близость несобственно-авторского повествования к несобственно-прямой речи усугубляется тем, что оно легко переходит в несобственно-прямую речь или включает её в себя, — они принципиально отличаются друг от друга закреплённостью за разными конструктивными элементами произведения. Несобственно-прямая речь — приём передачи речи героя, несобственно-авторское повествование — способ описания и повествования. <...> несобственно-прямая речь соотносена с прямой речью персонажа, несобственно-авторское повествование — с авторской речью»². Такое определение, на наш взгляд, намного точнее выражает сущностные характеристики и коммуникативные цели повествовательной модели исследуемой нами повести. Попытаемся разобраться в них. По мнению Т. Винокур, такая модель способствует максимальному слиянию образа автора и героя: «Если в “Матрёенином дворе” он (Солженицын. — С.К.) достаточно резко противопоставляет авторскую и персонажную речь, а в “Станции

¹ См.: Кожевникова Н.А. О типах повествования в советской прозе // Вопросы языка современной русской литературы. М., 1971. С. 103–107, 150–163; Муценок Е.Г., Скобелев В.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1978. С. 201–207.

² Кожевникова Н.А. Указ. изд. С. 104–105.

Кречетовке” главный упор делает на вторую <...>, то здесь (в «Одном дне Ивана Денисовича». — С.К.) он сливает образ автора и героя воедино»¹. Позволим себе не согласиться с этим выводом, вернее, с его односторонностью. Об автобиографизме «лагерных» произведений писателя сказано немало и небезосновательно, однако полное отождествление автора с его героем вряд ли уместно. И позиция автора, на наш взгляд, много сложнее, чем полное приятие точки зрения героя, сопереживание ему. На размышление в этом направлении толкает сам текст, точнее, избранная автором манера повествования: несобственно-авторское повествование, выросшее из несобственно-прямой речи и сориентированное на характерность изложения. Анализируя случаи вывода повествования из «авторской шуховской» в «авторскую солженицынскую» речь и наоборот, Т. Винокур выделяет следующие функции несобственно-прямой речи: 1) расширение тематических, а следовательно, и образных, языковых сфер повести; 2) слияние автора и героя, подчёркивание своего сопереживания герою, выражение своей непосредственной причастности к изображаемым событиям; 3) столкновение «психологических результатов противоположного жизненного опыта». Главной из них, как видно из предыдущих высказываний исследовательницы, является всё же слияние автора и героя. Действительно, это так. Писатель стремится воспроизвести события так, как они преломляются в сознании героя, и вследствие этого ослабляет противопоставленность своей речи манере героя. Однако такое объяснение не может быть исчерпывающим. Чужое слово имеет двойственную природу: оно одновременно изображающее и изображённое, оно передаёт точку зрения героя и одновременно характеризует самого героя, давая автору свободу для выражения своего отношения к нему. Несобственно-прямая речь — очень гибкий языковой инструмент, и в руках искусного мастера слова она полифункциональна. Её суть — в со- и противопоставлении «двух смысловых пластов, формирующих план рассказчика и план персонажа, и в выражении путём такого со-противопоставления субъективно-оценочной подтекстовой авторской модальности»². Важнейшей чертой несобственно-прямой речи является дистанцирование её автора от изображаемого им. Выступление автора в двух ролях — и как лица, говорящего от своего имени, и как лица, воспроизводящего чужую точку зрения и речь, — способствует субъективной многоплановости изображе-

¹ Винокур Т. Указ. изд. С. 52.

² Походня С.И. Языковые виды и средства реализации иронии. Киев: Наукова думка, 1989. С. 96.

ния. До сих пор рассматривалась главным образом биографическая, речевая близость автора и героя, а их несовпадение, противопоставленность упускались из виду. Тем не менее игнорировать их нельзя, так как они объективно существуют в самой форме повествования. Остаётся выяснить характер авторской модальности по отношению к своему герою. Сразу надо отметить, что в тексте наблюдаются случаи прямой авторской оценки Шухова. Так, например: «<...> и хоть шуметь и качать права (курсив А. Солженицына) он, как человек робкий (курсив мой. — С.К.), не смел, но всякому арестанту и Шухову давно понятно, что, честно вешая, в хлеборезке не удержишься»¹; «<...> он весь напрягся в ожидании, и желанней ему сейчас был этот хвостик сигареты, чем, кажется, воля сама, — но *он бы себя не уронил* (курсив мой. — С.К.) и так, как Фетюков, в рот бы не смотрел» (21); «Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры братья. Для них развязность нужна, нахальство, милиции на лапу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого, и в лагере не научился» (29); «Но так устроен Шухов по-дурацкому, и никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули» (70); «Но он не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался» (98).

Однако такой способ не является ведущим и отражает лишь одну грань субъективно-оценочной модальности — приятие и сочувствие. Это то, что лежит на поверхности текста. Однако в авторской оценке героя звучат подчас и иронические обертоны, те самые, что размывают сказовую повествовательную структуру повести и напоминают о том, что повествование хоть и несобственно-, но всё-таки авторское и последнее слово — за автором, дающим окончательные оценки изображаемому герою и событиям. Способы выражения авторской модальности, в том числе и иронической, в такой повествовательной модели, как анализируемая нами, представляют особый интерес для исследования в силу своей неординарности. Так как соотношение между несобственно-прямой речью и объективным авторским повествованием сильно сдвинуто и несобственно-прямая речь распространилась на конструктивные элементы, традиционно закреплённые за авторской речью (портрет, пейзаж, интерьер, ретроспективное повествование), то авторское повествование остаётся самостоятельным в боль-

¹ Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича // Собр. соч.: В 7 т. М.: ИНКОМ НВ, 1991. Т. 3: Рассказы. С. 18. Далее текст цитируется по данному изданию с указанием страниц в скобках.

шей степени как конструктивная, композиционная форма. Поэтому основной способ реализации иронической модальности в повести, на наш взгляд, можно охарактеризовать как ассоциативный и композиционный. Сразу заметим, что солженицынская ирония в повести, в целом имеющей позитивный смысл, далека от простого антифразиса, и потому гамма иронических окказиональных смыслов достаточно сложна, как и механизм, их порождающий. Итак, выделяемые нами приёмы реализации иронии в повести: 1) лексический повтор; 2) индивидуально-речевые особенности персонажа; 3) упоминание автором об особенностях произношения героя; 4) изображение автором особенностей поведения героя. Кратко рассмотрим каждый из них.

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПОВТОР (тождественный и синонимический)

Повторы — не столь традиционные средства выражения иронии, однако именно они являются важным условием реализации скрытого, тонкого типа иронии — «ассоциативной иронии». По наблюдениям исследователя этого феномена, «реализация переносных значений в этом случае происходит постепенно, новые значения возникают градуально. Градуальное приращение новых значений требует больших контекстов, поэтому ассоциативная ирония реализуется чаще в мегаконтексте»¹. Это явление в повести можно наблюдать на примере глагола *бежать* и контекстуально синонимичных ему слов (причём все они участвуют в описании главного героя): *наддать, нырнуть, погнать, проскользнуть, поспешить, броситься, выпорхнуть, метнуться, прошнырнуть, пробиться, переть, пронырнуть, рыскать*. На протяжении повествования они встречаются не менее 25 раз. По мере разворачивания текста количество и частотность употреблений этих глаголов увеличиваются, что приводит к их качественному преобразованию: упомянутые лексические единицы постепенно полностью меняют свою изначальную семантику на ироническую. Благодаря лексическому повтору все перечисленные слова сближаются между собой, объединяются одной смысловой доминантой, одной общей архисемой, не свойственной ни одному из них в прямом, буквальном употреблении, — архисемой со смыслом «самоуничужение». Возникает она не сразу и не даётся в контексте непосредственно, а рождается при возникновении сложных ассоциаций, появляющихся в процессе

¹ Походня С.И. Указ. изд. С. 63.

сближения слов. Так из простого глагола движения, характеризующего скорость, глагол *бежать* превращается в синоним понятий *суетиться*, *выживать через самоуничтожение*. Подробнее эти примеры будут рассмотрены ниже, в разделе «Изображение автором особенностей поведения героя».

Ещё один лексический повтор, на наш взгляд, заслуживает внимания. Дважды в повести, в начале и в конце, повторяется слово *житуха*. Создавая своеобразное обрамление, оно становится знаковым. В начале повести Шухов, вспоминая о том, как получил новые ботинки, а «в декабре валенки подоспели», говорит: «житуха, умирать не надо» (10). И в конце описанного автором рабочего дня, «подводя итоги», Шухов тоже радуется: «Вот хлеба четыреста, да двести, да в матрасе не меньше двести. И хватит. Двести сейчас нажать, завтра утром пятьсот пятьдесят улупить, четыреста взять на работу — житуха!» (98). Это слово нельзя назвать нейтральным. Произнесённое с восклицательной интонацией, оно несёт в себе оттенок иронии. Шухов не только радуется элементарному теплу и сытости, но одновременно иронизирует над своим «малым» счастьем. Солженицын несколько раз подчёркивает, что «<...> черпак обжигающих вечерних пустых щей для него сейчас <...> дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни» (84); «Вот он, миг короткий, для которого и живёт экз.

Сейчас ни на что Шухов не в обиде: ни что срок долгий, ни что день долгий, ни что воскресенья опять не будет. Сейчас он думает: переживём!» (94).

Автор присоединяется к своему герою и горько иронизирует над трагической жизненной ситуацией, которая, однако, благодаря иронии теряет свою однозначность: «Но люди и здесь живут» (5).

ИНДИВИДУАЛЬНО-РЕЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРСОНАЖА

Сразу стоит отметить, что повествование в «Одном дне...» последовательно соотнесено с главным персонажем и основано на особенностях его речи, что позволяет говорить об установке на характерность повествования, на создание определённого типа героя. Используя в своём повествовании индивидуально-речевые особенности персонажа, автор решает двойную задачу: с одной стороны, обрисовывает характер героя, с другой — выражает своё отношение к нему и его взглядам.

Итак, речь Шухова очень колоритна и по ритмико-интонационному рисунку, и по лексическому составу, сориентирована на разговорное

просторечье. Установку на разговорность обнаруживает и синтаксис: инверсии, повторы, конструкции аффективного синтаксиса, эллипсы. Речь изобилует народными пословицами и поговорками, присказками: «Это верно, кряхти да гнись. А упрёшься — переломишься» (34); «За что не доплатишь, того не доносишь» (29); «От работы лошади дохнут» (17); «Долго ли, коротко ли — вот все три окна толем зашили» (42); «На Шухове-то всё казённое, на, щупай — грудь да душа <...>» (24); «Битой собаке только плеть покажи» (40); «Кто кого сможет, тот того и гложет» (48); «Заячья радость: мол, лягушки ещё и нас боятся» (80). Как видим, в пословицах, поговорках выражается жизненное кредо Шухова. Перед читателем не только конкретный герой, но тип русского человека, потёртого жизнью, часто пригибаемого к земле, однако не потерявшего любви к жизни, выжившего благодаря природной мудрости и смекалке. Иногда кажется, что Солженицын почти мифологизирует своего героя, придавая ему черты сказочного героя, некоего Иванушки (имя героя свидетельствует в пользу такого предположения: *Иван* ассоциируется с русским человеком вообще, даже скорее с мифом о русском человеке). Шухов надевает маску наивного простака иногда для того, чтобы «обезоружить» своим простодушием начальство: «— За что, гражданин начальник? — придавая своему голосу больше жалости, чем испытывал, спросил Шухов».

«— Ты хоть видал когда, как твоя баба помыла, чушка?

Шухов распрямился, держа в руке тряпку со стекающей водой. Он улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, прорезанных цингой в Усть-Ижме в сорок третьем году, когда он доходил. <...>

— От бабы меня, гражданин начальник, в сорок первом году отставили. Не упомню, какая она и баба» (11).

А иногда для того, чтобы посмеяться, разыграть окружающих:

«— Так что ж, по-твоему, — дивится капитан, — каждый месяц луна новая?

— А что чудного? Люди вон что ни день рождаются, так месяцу раз в четыре недели можно?

— Тьфу! — плюнул капитан. — Ещё ни одного такого дурного матроса не встречал. Так куда же старый девается?

— Вот я ж и спрашиваю тебя — куда? — Шухов зубы раскрыл.

— Ну? Куда?

Шухов вздохнул и поведал, шепелявя чуть:

— У нас так говорили: старый месяц Бог на звёзды крошит.

— Вот дикари! — Капитан смеётся. — Никогда не слыхал! Так ты что ж, в Бога веришь, Шухов?

— А то? — удивился Шухов. — Как громыхнёт — пойдешь не поверь!

— И зачем же Бог это делает?

— Чего?

— Месяц на звёзды крошит — зачем?

— Ну, чего не понять! — Шухов пожал плечами. — Звёзды-то от времени падают, пополнять нужно» (72).

Внутренние монологи Шухова, чаще всего переданные в форме несобственно-прямой речи, сохраняющей особенности его синтаксиса и лексики, обнаруживают его природный ум, мудрость и точность в оценке людей и ситуаций.

Как уже говорилось, несобственно-прямая речь является повествовательной доминантой произведения, именно она делает повествование несобственно-авторским, что, в свою очередь, позволяет автору использовать речевую маску героя и в своих интересах, непрямо, но исподволь проявлять оценочную модальность, в том числе и ироническую. Ярким примером создания тонкого иронического смысла в повести может послужить использование автором аффективного или эмоционального синтаксиса. Известна ироническая транспозиция восклицательных предложений в трёх направлениях: 1) предложения восклицательные по форме — презрительно-отрицательные по содержанию; 2) предложения восклицательные по форме — угрожающе-утвердительные по содержанию; 3) предложения притворно-восхвалительные по форме — осуждающе-отрицательные по содержанию. Надо заметить, что ни одного из этих типов транспозиции у Солженицына мы не обнаружили, зато сочли возможным выделить другой «солженицынский» тип предложений: радостно-восклицательные по форме — грустно-утвердительные по своему глубинному содержанию. Например: автор описывает действия Шухова вечером перед проверкой: «Стелиться Шухову дело простое: одеяльце черноватенькое с матраса содрать, лечь на матрас (на простыне Шухов не спал, должно, с сорок первого года, как из дому; ему чудно даже, зачем бабы простынями занимаются, стирка лишняя), голову на подушку стружчатую, ноги — в телогрейку, сверх одеяла — бушлат, и —

— Слава тебе, Господи, ещё один день прошёл!» (107); и после последней вечерней проверки: «Ладно. Ноги опять в рукав телогрейки, сверху одеяла, сверху бушлат, спим! Будут теперь всю ту вторую половину барака в нашу половину перепускать, да нам-то горюшка нет» (110). Таких примеров в повести можно найти множество. Вот ещё один — очень яркий: «Эх, да и повалили ж! повалили зэки с крыльца! — это старший барака с надзирателем их в зады шугают! Так их,

зверей!» (105). Подобные примеры обнаруживают характер авторской иронии в повести — она не презрительна, не уничтожающая, она фило-софична и грустна.

Тот же принцип использования автором речевой маски героя обнаруживается и на лексическом уровне. Первое, что обращает на себя внимание в лексике героя, — это не просторечье, насыщенное диалектизмами (оно мотивировано социальным происхождением героя — крестьянин из российской глубинки), не жаргон (его присутствие также легкообъяснимо — восьмилетнее пребывание в зоне не прошло даром, крепко вошло в сознание и язык), а огромное количество слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Нам даже показалось возможным выделение нескольких тематических и ситуативно обусловленных лексических групп.

1) Описание лагерного начальства разных уровней: придя в санчасть, Шухов, на всякий случай, снимает перед фельдшером Вдовушкиным шапку «как перед начальством», и в переданной автором внутренней речи героя, направленной на фельдшера, мы обнаруживаем уменьшительно-ласкательные определения: «Потом, глядя на *беленький-беленький чепчик* (здесь и далее курсив мой. — С.К.) Вдовушкина, Шухов вспомнил медсанбат на реке Ловать <...>»; на разводе обновлял экамп номера лагерный «живописец» — «старик с бородкой *седенькой*» (21); жестокого лейтенанта Волкового Шухов, иронизируя, «жалует»: «Вот Бог шельму метит, *фамильщицу* дал! — иначе как волк Волковой не смотрит» (22); «из земли еды не выколотишь, больше, чем *начальничек* тебе выпишет, не получишь» (48).

Из этих примеров становится очевидным истинное отношение Шухова к власти над ним имущим — снисходительно-ироническое, выражаемое как раз в словах с уменьшительно-ласкательными суффиксами. В этих случаях взгляд автора максимально приближен к точке зрения героя, о чём свидетельствует заимствование автором специфических особенностей шуховской речи, например слова автора: «А в дежурке сидел фельдшер — молодой парень Коля Вдовушкин, за чистым *столиком*, в *свеженьком* белом халате — и что-то писал» (15). Любопытно, что автор называет фельдшера просто по имени — Колей, передавая точку зрения Шухова, именует Николаем, и, наконец, сам Шухов, обращаясь к нему, зовет Николаем Семёновичем. И всё это в контексте трёх соседних абзацев. Здесь авторская ирония двунаправлена — на Колю, который занимает не своё место, и на Ивана Денисовича, который снимает перед ним шапку, как перед начальством, и называет по имени-отчеству.

2) Комплекс одежды Шухова. Отношение его к своей одежде, казённой, худой одежде лагерника, необыкновенно бережное и ласковое: «Намордник дорожный, *тряпочка*»; «руки озябли в худых *рукавичках*»; «Тогда достал хлебушек в белой *тряпице* и, держа её в *запазушке* <...>. Хлеб он пронёс под двумя *одежками* <...>». И думается, не только потому, что она защищает его каждый день от холода, но и потому, что одежда определяет границы его личного, свободного существования. В этом смысле одежда оказывается пространством, в котором разворачивается индивидуальная жизнь героя: к рубашке Шухов пришил недозволенный в зоне кармашек, в котором хлеб прячет, в рукавице пронёс в зону недозволенную же ножовку. Ничего так жалко не было Шухову за восемь лет, как «ботинков» «с простором на две тёплых портянки» (удивительный образ — простор/пространство, очень точно передаётся ощущение дефицита пространства).

И эта индивидуальная особенность речи героя также оказывается в арсенале авторской иронии. Описывая конец «счастливого» шуховского дня, передавая радостное возбуждение героя, Солженицын вновь использует его лексику:

«Только от хорошего дня развеселился Шухов, даже и спать вроде не хочется.

Стелиться Шухову дело простое: одеяльце черноватенькое с матраца содрать, лечь на матрац <...>» (107); «укрылся с головой *одеяльцем*, тонким, *немытеньким*» (111). В ироническом противоречии оказываются радостное удовлетворение Шухова и убогие обстоятельства этой радости. В результате сама радость обесценивается, нищает. Объектом авторской иронии здесь оказывается не герой, а сама ситуация, обстоятельства его жизни.

3) Комплекс еды. Описанию процесса еды в повести автор уделяет значительное внимание. Отношение героев к еде и манера есть характеризуют их. Суетится и торопится шакал Фетюков, заглядывая другим в рот и мечтая вылизать чужие миски. С достоинством, сняв шапку, ест бригадир. Старик Ю-81 не уходит головой в миску, как все, а высоко носит ложки ко рту. А.В. Урманов отмечает, что и Шухову А. Солженицын не даёт этических оценок, «он лишь обращает внимание на то, что Шухов хранит хлеб в “белой тряпице”, в специально пришитом к внутренней стороне телогрейки “карманчике белом”»¹, сохраняя тем самым верность многовековому славянскому обычаю,

¹ Урманов А.В. Предметный мир повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» // Проблемы художественного миромоделирования в русской литературе XIX–XX веков: Сб. науч. трудов. Вып. 4 / Под ред. А.В. Урманова, С.И. Красовской. Благовещенск, 1999. С. 79.

по которому хлеб «требует к себе особо почтительного и почти религиозного отношения». Такое отношение, очевидно, свойственно и самому Солженицыну, поэтому немудрено, что хлеб и вообще еду автор и герой называют ласково: «<...> из тряпицы беленькой достал свой незамёрзлый полукруглый кусочек верхней корочки»; «Тогда достал хлебушек в белой тряпице <...>»; «Сперва жижицу одну прямо пил, пил»; «Средняя такая картошинка, морожена, конечно, с твердинкой и подслащённая»; «<...> каждый рыбий хребтик и плавничок надо прожевать <...>».

4) Предметы быта и инструменты — это те вещи, что заполняют пространство барака и рабочей зоны и очеловечивают, даже одомашнивают его. Исследуя предметный мир повести, А.В. Урманов отмечает, что «пристальный интерес А. Солженицына к предметной реальности обусловлен особенностями мировосприятия главного героя, сквозь призму зрения которого в основном и показан лагерный мир. <...> изображённые в “Одном дне...” предметные образы и картины характеризуют не только уклад лагерной жизни, но и — косвенным образом — самого Ивана Денисовича»¹. К этому справедливому выводу можно добавить, что для характеристики героя значим не только «набор» предметов, его окружающих, но и то, как он их называет: «Кто в зону зайдёт, наклоняется: там щепочка, здесь щепочка, нашей печке огонь» (31); «Эх, к печечке бы!..»(32); «Хорошо бы подвёмничек на ТЭЦ работал» (38); «растворные корытца»(39); «Надо будет со старой кладки топориком лёд сколоть да веничком промести» (42); «славный можно будет ножичек сделать, с кривеньким острым лезом» (99); «за свою верёвочную опоясочку» (55); «А газетка у Шухова есть» (57); «поднял уголёк» (там же); «есть молоточек слесарный да топорик» (39). Такой своеобразный способ наименования вещей, конечно же, характеризует Шухова как созидателя, любящего свои орудия труда, но не только. Таким образом названные, предметы одухотворяются, мифологизируются, приобретают самостоятельное бытие, превращаются в почти волшебных помощников, спасающих от стужи и голода, охраняющих от злого человека.

5) Явления природы: солнце, ветер, туман, снег — все помощники героя, и называет их Шухов исключительно ласково: «Да, солнышко на заходе. С краснинкой заходит и в туман вроде бы седенький» (67); «а месяц-то, батюшка, нахмурился багрово, уж на небо весь вылез. И ущербляться, кесь, чуть начал» (72); «матерьальчику бы! матерьяльчику! Снежку, значит» (35); «Солнце выше подтянулось,

¹ Урманов А.В. Указ. изд. С. 73.

мглицу разогнало» (41); «В январе *солнышко коровке* бок согрело! — объявил Шухов» (там же); «Шухов поднял голову на небо и ахнул: небо чистое, а *солнышко* почти к обеду поднялось. *Диво дивное*: вот время за работой идёт!» (42). Из приведённых примеров становится очевидно, что Шухову свойственно одухотворение явлений природы, берущее свои истоки в старинных славянских преданиях. Герой принадлежит ещё к той крестьянской культуре, в которой человек не мыслится отдельно от природы, в ней и в труде черпает силы. Безусловно, автору это близко и дорого, но так же очевидно, что сам он уже не одухотворяет природу как его герой — в его пейзажных зарисовках мы не найдём «солнышка», «снежка», «мглицы», «тумана седенького». Его взгляд — беспристрастный взгляд реалиста, которому открываются иные картины: «Солнце взошло красное, мглистое над зоной пустой: где щиты сборных домов снегом занесены, где кладка каменная начатая да у фундамента и брошенная, там экскаватора рукоять переломленная лежит, там ковш, там хлам железный, канав понарыто, траншей, ям наворочено <...>» (31).

Как видим, автор и герой отнюдь не тождественны друг другу, а регулярно разводятся.

Те случаи, когда автор надевает речевую маску героя, глубоко мотивированы, обусловлены авторской интенцией, нередко желанием выразить отстранённое, ироническое отношение к героям ли, к самому Шухову или к ситуации.

УПОМИНАНИЕ АВТОРОМ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОИЗНОШЕНИЯ ГЕРОЯ

У Шухова в произношении есть специфическая особенность — он шепелявит. Об этом писатель упоминает на первых страницах повести: «Он улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, прореженных цингой в Усть-Ижме в сорок третьем году, когда он доходил. <...> А теперь только шепелявенье от того времени и осталось» (11). И далее, время от времени, Солженицын упоминает об этой особенности, причём интересен не столько сам факт упоминания, сколько контекст, в котором это происходит. Так, Шухов начинает шепелявить, когда заговаривает с начальством: «— Дозвольте заметить, — прошепелявил он, а с насмешечкой, — что если слой толстый сейчас ложить, весной эта ТЭЦ потечёт вся» (66). Когда отмечает сносность лагерного режима: «— Не-ет, братцы... здесь поспокойнэй, пожалуй, — прошепелявил

он. — Тут съём — закон. Выполнил, не выполнил — катись в зону. И гарантийка тут на сто грамм выше. Тут — жить можно. Особый — и пусть он особый, номера тебе мешают, что ль? Они не весят, номера» (45). Или когда заискивает перед богатым бригадником: «— Так я это... Цезарь Маркович... — шепелявит Шухов. — Может, пойду?» (87). Из авторской ремарки в первом примере видно, что, скорее всего, Шухов всегда шепелявит в разговоре с начальством, нарочно уничижая себя этим дефектом. Противопоставление *прошепелявил, но с насмешечкой* выражает противопоставление двух психических состояний героя — смирения и вызова. Два других примера доказывают, что шепелявение проявляется именно в компромиссных ситуациях, когда Шухов смиряется со своей участью и социальной ролью. И это та ситуация и то психическое состояние, которые автор вряд ли готов разделить со своим героем, а потому иронизирует над ним.

ИЗОБРАЖЕНИЕ АВТОРОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ГЕРОЯ

Описывая один день из лагерной жизни Ивана Денисовича, Солженицын многократно обращает внимание на манеру передвижения своего героя, выражающуюся, соответственно, в глаголах движения и в других словах с этим значением. Буквально в самом начале повести, знакомя читателя с обычаями зоны, автор делает акцент на различии в манере передвижения свободных надзирателей и зэков: «Скрипя валенками по снегу, *быстро пробежали* зэки по своим делам <...>. У всех у них голова ушла в плечи, бушлаты запахнуты, и всем им холодно не так от мороза, как от думки, что и день целый на этом морозе пробыть».

А Татарин в своей старой шинели с замусленными голубыми петлицами *шёл ровно*, и мороз как будто совсем его не брал» (8–9). Шухов, как и большинство зэков, делает всё бегом: «Трусцой побежал Шухов в барак» (17); «вошёл внутрь и быстренько притянул за собой дверь (спеша, чтоб не крикнули на него: “Эй, ты, вахлак, дверь закрывай!”)» (53); «нырнул в растворную» (55); «И погнал, и погнал наружный ряд к Сеньке навстречу» (62–63). Ускоренный ритм шуховского вечера также передаётся через повтор форм глагола *бежать* и синонимичных ему слов: «Шухов *побежал* догонять своих» (83); «Вышел Шухов с брюхом набитым, собой довольный, и решил так, что хотя отбой будет скоро, а *сбегать-таки* к латышу. И, не заноса хлеба в девятый, он *шажисто погнал* в сторону седьмого барака» (95); «А на двор выйдя,

сразу опять *бегом и бегом* к себе. Чтобы Цезаря не пропустить, как тот с посылкой *вернётся*» (98); «Его глаза, ястребиные глаза лагерника, *обежали, проскользнули вмиг* по разложенной на койке и на тумбочке цезаревой посылке» (98); «Шухов кивнул и, *как белка, быстро залез* наверх» (107); «Да *бегом* к своей вагонке, да на подпорочку ногу *закинул — шасть!* — и уж наверху» (110).

Очевидно, быстрота и проворность, с которой Шухов управляется со своими и не только своими делами, помогает ему выжить в лагере. Это форма выживания. Он как волк, которого, как известно по пословице, ноги кормят. У него нет привилегированного положения в бригаде, как у бригадира и его помощника Павло, нет богатых родственников, отправляющих посылки, как у Цезаря Марковича, нет даже принадлежности к интеллигенции, как у кавторанга и того же Цезаря. Все они могут позволить себе не торопиться и не терять своё достоинство. Так, в сцене обеда автор показывает, как закосивший две порции Шухов торопится с едой, чтобы получить лишнюю миску каши, а рядом спокойно обедает Павло: «Вот эту минуту надо было сейчас всю собрать на еду и, каши той тонкий пласт со дна снимая, бережно в рот доносить, а там языком переминать. Но приходилось *поспешить*, чтобы Павло увидел, что он уже кончил, и предложил бы ему вторую кашу. <...>

Смуглый молодой Павло, однако, *спокойно* ел свою двойную <...>» (51).

Благодаря проворности и услужливости Шухова может не ронять себя Цезарь: «Шухов *бросился* мимо БУРа, меж бараков — и в посылочную. А Цезарь *пошёл, себя не роняя, размеренно*, в другую сторону, где вокруг столба уже кишмя кишело, а на столбе была прибита фанерная дощечка и на ней карандашом химическим написаны все, кому сегодня посылка» (85). На чьей стороне здесь автор? Думается, что ни на чьей. Вернее, на своей, авторской, равноудалён и от Шухова, и от Павло, и от Цезаря. «— Нет, нет, — улыбнулся Цезарь, — ужин сам ешь, Иван Денисыч!

Только этого Шухов и ждал! Теперь-то он, как птица вольная, *выпорхнул* из-под тамбурной крыши — и по зоне, и по зоне!

Снуют эки во все концы!» (88). Здесь глаголы движения эмоционально окрашены, наполнены явным ироническим смыслом и подкреплены аффективным синтаксисом — восклицательными предложениями, повтором и эллипсом.

Ещё контрастнее и ироничнее противопоставление поведения в столовой Шухова и старика Ю-81. Солженицын очень подробно описывает «путь» Шухова в столовую, акцентируя его суетливость, по-

спешность и подчёркивая чрезмерную радость по поводу предстоящего ужина: «забежал Шухов в барак» (88); «метнулся Шухов к своей койке, на ходу бушлат с плеч скидывая. Бушлат — наверх, рукавицы с ножёвкой — наверх, *шупанул* матрас в глубину — утренний кусок хлеба на месте! Порадовался, что зашил.

И бегом — наружу! В столовую!

Прошнырнул до столовой, надзирателю не попавшись» (88–89); «*скорей, скорей* к крыльцу, среди чёрных всех одинаковых бушлатов дознаться во теми, здесь ли ещё 104-я» (90); «углядел Шухов перед самым крыльцом вроде Сеньки Клевшина голову, *обрадовался жутко*, давай скорее локтями туда *пробиваться*» (там же); «и Шухов тоже *прёт силодёром*» (91); «ногами кому-то в колена *ткнулся*, его по боку огрели, матернули пару раз, а уж он *пронырнул*» (там же); «Шухов его туда же подносом *двинул*, куда тянет, он отлетел к столбу, с подноса руки сорвались. Шухов — поднос под мышку и *бегом* к раздаче» (92). Как видим, авторская ироническая модальность находит выражение здесь не только на уровне лексикки, но и на ритмико-интонационном, синтаксическом уровне. Эллиптические конструкции, аффективный синтаксис (восклицания) передают крайнее напряжение героя, его взволнованность, приподнятость настроения, которые входят в противоречие с прозаичностью и обыденностью повода, их вызывающего. И вот после всех испытанных волнений у дверей столовой и борьбы за подносы, уже спокойно доедая свою баланду, Шухов замечает старика Ю-81, который по воле автора оказался сидящим напротив героя: «Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною <...>. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще упёрлись в своё. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщерблённой, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. <...> Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного. <...> А засело-таки в нём, не примирится: трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в роспесках, а — на тряпочку стираную» (95). Во всём облике старика, в его манере есть обнаруживается то, чего лишён Шухов, — аристократизм духа и стоицизм, непримиримость — то, что близко самому автору.

Как видим, Шухов противопоставляется и Цезарю, и кавторангу, и Алёшке-баптисту, однако прямое со- и противопоставление по модели поведения идёт с «шакалом» Фетюковым и стариком Ю-81. Несколько раз (в столовой, в эпизоде с сигаретой Цезаря) подчёркивается безусловное нравственное превосходство Шухова над Фетюковым, да и

многими другими зэками. Но старик ещё выше Шухова. Лагерной иерархии насилия, грубости, хамства он противопоставляет иерархию силы духа и человеческого достоинства. Шухов же — герой компромисса. В его поведении иногда проскальзывает шутовство, свойственное шуту самоуничижение¹. Так, не забывает Шухов лишний раз при встрече с надзирателем шапку снять, ни за что прощения попросить, а то и услужить, а то и досадить, но исподтишка (мытьё полов в надзирательской). Постоянно герой подчёркивает свою неприхотливость, малость и незначительность: в санчасти «Шухов сел на скамейку у стены, на самый краешек, только-только чтоб не перекувырнуться вместе с ней» (16); в зоне, на лютом морозе «А избеж печки — всё одно хорошо» (32); «Ладно, мы и тут, в уголку, ничего» (там же). Такая модель поведения позволяет Шухову устоять, сохранить себя и своё человеческое достоинство. Если можно так сказать, эта модель архетипична: за внешним простодушием и шутовством скрывается природный ум, смекалка, мудрость. И актуализируется она в тяжёлые времена, когда демонстрировать свой ум становится неумным. Поэтому Шухов и говорит, что Дэр ведёт себя неумно — «ум выставляет». Но, так или иначе, герой время от времени надевает маску простодушного и, соответственно, вызывает иронию, но не уничижительную, а грустную.

Как видим, избранная автором гибкая повествовательная модель полностью отвечает авторским замыслам: с одной стороны, максимально приблизиться к персонажу, сделать его язык своим, изобразить действительность сквозь призму видения героя, а с другой — дать объективную картину мира. И здесь, в повести, выполненной почти в сказовой манере, А. Солженицын остаётся верен самому себе — последнее слово остаётся за автором, ему принадлежат окончательные оценки героев и событий, в которых он не знает компромисса. Бескомпромиссность суждений и оценок Солженицына известна, не надо напоминать, каким язвительным, саркастичным, прямым он может быть. Повесть же является Солженицына как мастера тонкой, искусно выполненной иронии, не презрительно-уничижительной, но грустной и философской.

¹ Фамилия солженицынского героя, случайно или нет, но созвучна фамилии платоновского героя из повести «Сокровенный человек» — Пухова. И в самих образах можно обнаружить типологическое сходство: то же шутовство, за которым прячется жизненная мудрость. Платоновский Фома Егорович Пухов осознаёт смысл своего скромного существования как сопротивление природного чувства искусственным, ложным условиям. Это сопротивление становится залогом сохранения природного равновесия и гармонии человека с миром. Пожалуй, то же самое можно сказать и об Иване Денисовиче Шухове, изо всех сил пытающемся очеловечить, гармонизировать чудовищную, искусственно созданную лагерную жизнь.

Н. Рубинштейн

КАК МЫ ЧИТАЛИ «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹

В Ленинграде ноябрь — это уже зима, а иногда и похуже зимы. На ноябрьские (седьмое-восьмое) падает снег с дождём, щёки обдирает наждачным ветром. Световой день — часа четыре. Ждать больше нечего. И тут из Москвы из самых верных источников приходит слух о какой-то лагерной повести, которую будто бы Твардовский лично ходил визировать в Кремль. И Никита дал добро. И уже некоторым счастливым на ночь и перепечатку давали. Но пересказывать никто не брался — невозможное дело, главное — это как написано, там такой язык... Со времен Лескова не было... Только одну смешную подробность рассказали уже тогда. Язык там лагерный, со всеми вытекающими последствиями. В печать нельзя. И придумали одну букву заменить на другую, «х» на «ф». Так что «маслице — фуяслице» и «уберите эту фуёвину» в редакции «Нового мира» стали говорить даже раньше, чем вышел в свет одиннадцатый номер.

Папа ждёт эту повесть и самому своему ожиданию не верит. Лет, говорит, через сто, не раньше.

(Так, спустя четверть века Юлия Вишневецкая отказывалась доверять сообщениям о происходящих переменах: «Не поверю, пока своими глазами не увижу отпечатанное в советской типографии “Собачье сердце”».)

Однако голубая книжка «Нового мира» с опозданием, но приходит. Папа куда-то скрывается, чтобы её читать. Видно, плачет и не хочет, чтоб мы с мамой видели.

Я работаю в две смены в школе рабочей молодёжи в Сестрорецке, в шерамыге, как тогда говорили. Четырежды в неделю уезжаю ранней электричкой и возвращаюсь последней. Два дня в неделю провожу в больнице за Охтинским мостом, в которой погибает от туберкулёза моя подруга Ляля З.²

Ляля старше меня на пять лет. Она аспирантка. Занимается, как принято у нас на кафедре, народовольческими журналами. У неё аскетически строгий облик, чистый лоб, глубоко посаженные серые глаза

¹ URL: <http://inphuzoria.livejournal.com/60486.html>.

² Ляля З. — Людмила Иосифовна Зенькович (1933–1962), аспирантка кафедры русской литературы Ленинградского государственного института им. А.И. Герцена. Занималась прозой русских писателей-разночинцев 60–70-х годов XIX в. В частности, особенно увлечённо — прозой и публицистикой А.О. Новодворского. Как и герой ее исследований, умерла от чахотки, не дожив до 30 лет.

за тёмной тяжёлой оправой, рот в ниточку, волосы убраны в тощую косичку, скрученную на затылке. Если бы выбилась какая волосина, Ляля считала бы себя растрёпанной. Она и сама похожа на девушку из народовольческой среды, которой посвящены её труды и дни. Мы дружны уже несколько лет, и Ляля с трудом совмещает внутри себя привязанность ко мне и неодобрение моего образа жизни. Я не соответствую её высоким стандартам: ленюсь, разбрасываюсь, мало бываю в библиотеке, ничего не делаю к сроку, провожу своё время чёрт знает с кем. Чтобы усостыжить меня, Ляля взволакивала на своём тощем хребте рюкзаки книг на мой пятый этаж без лифта. И я, усостыжившись, всё-таки, несмотря на случившуюся несчастную любовь, добила свой диплом. Туберкулёзом Ляля болеет уже давно, с войны. Пока была мала, жила в санаториях, училась в лесной школе. Став взрослой, лечиться как следует не хотела — бесполезно, для семьи дорого, жаль времени, и вообще оскорбительно всё это диспансерное лечение. Теперь у неё открытая форма и более или менее понятно, что дело идёт к концу. Она ожесточается всё больше. Раздражается, когда родители или сестра приносят ей дорогие деликатесы. Нас она подозревает, что мы не носим ей книг, потому что боимся потом от них заразиться. Врачи вообще-то не велют ей читать, напрягаться, работать. И со зрением у неё неважно. Вот слушай музыку, отдыхай...

С тех пор как слух о лагерной повести дошёл до нас, я страстно хочу принести эту повесть Ляле. Я рассказываю ей, я обещаю достать, я клянусь не читать без неё ни строчки. Мы уже знаем это новое имя — Солженицын. Ему сорок с чем-то. Кажется, он учитель где-то в провинции.

И — наконец! — папа отдаёт мне журнал, и я еду к Ляльке в больницу.

— Принесла?

— Принесла! Но только за взятку – за бульон и котлету. Ешь.

Худая, как из Освенцима. Сидит в высоко поставленных подушках, сняла очки, слушает... Приступая, я думаю, как бы не оказалось, что да, прекрасно, конечно, но... Почти всегда сверхожидание приводит к разочарованию. Но у этой повести мгновенная и цепкая хватка. И все опасения с двух строк отлетают враз.

Мы читали — то есть я читала Ляле, — по-моему, два дня. С перерывами на молчание. Обсуждали ли — не помню. Вот как молчали подолгу — помню.

Холодрыга за окном и в тексте, больничная скудость и барачный быт, Лялькина обречённость и безысходная судьба героев книги — всё

это как-то пересекалось и накладывалось одно на другое. А когда закончили читать, мы обе были, странно сказать, счастливы, словно получили некую благую, персонально нам посланную весть. Ляля сказала:

— Вот и продолжилась русская литература. Теперь пойдёт. Сколько вы ещё разного прочтёте. Даже мне краешек выпал.

Задумано было на следующей неделе читать «Один день» снова. Но у Ляли началась общая интоксикация, с бредом, беспамятством и редкими короткими просветами. Так что больше нам с ней уже читать не пришлось.

М. Барыкова

**ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
В РАССКАЗЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»¹**

Интерес А.И. Солженицына к русскому устно-поэтическому творчеству во многом продиктован особенностями фольклора как формы традиционной народной культуры. Обширный паремиологический материал содержится в художественных и публицистических текстах писателя, в том числе и относящихся к раннему периоду его творчества. В статье проводится комплексный анализ пословиц и поговорок, при этом паремии, обнаруженные в тексте рассказа «Один день Ивана Денисовича»², рассматриваются в трёх аспектах: с точки зрения их тематической отнесённости, особенностей функционирования и формы. Такого рода анализ предполагает рассмотрение основных характеристик пословиц и поговорок, используемых в бытовом общении и художественном тексте.

В народном быту пословицы и поговорки служили руководящими принципами деятельности, т.е. выполняли социорегулятивную функцию. В процессе своего существования этот фольклорный жанр подвергался некоторой «шлифовке», однако неизменной осталась наставительно-назидательная направленность пословично-поговорочных изречений. Кроме того, неотъемлемым элементом содержания посло-

¹ Вестник Воронежского государственного университета. Сер. «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2009. № 1.

² См.: Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича // Солженицын А.И. Рассказы. М., 1990. Далее ссылки на текст рассказа даются по этому изданию с указанием страниц в скобках (например: 1, с. 33). — *Здесь и далее примеч. М. Барыковой.*

виц и поговорок является «цитатность», ссылка на авторитет общепринятого мнения. Значит, пословицы выступают формулами чужой мудрости и опыта, средством аргументации.

Очевидно, что пословицы и поговорки ситуативны. Употребляясь в конкретной ситуации, пословицы ставят всю ситуацию в связь с какой-либо общеизвестной закономерностью.

Благодаря традиционной языковой форме пословицы легко и прочно запоминаются и воспроизводятся в речи. Пословичные формулы «подстраиваются» под динамику языка, видоизменяются, а не создаются заново. Результат варьирования или трансформации обязательно должен вызвать в памяти слушателя традиционную форму и смысл.

Очевидно, что тематический отбор пословичного материала продиктован темой рассказа, повествующего об одном дне из жизни заключённого. Паремии отражают три наиболее существенные стороны его быта: нелёгкую и навязанную, оттого нежеланную работу, чувство голода, сопровождающее заключённого в течение дня и ночи, и взаимоотношения в лагерном обществе. Автор осознанно включил в свой текст не разнообразный фольклорный материал, а лишь тот, что позволил ему проиллюстрировать изображённые в рассказе ситуации и дать им народную оценку.

1. Трудовая деятельность в лагере¹:

а) отношение к лагерному труду у заключённого негативное (что отражено в структуре предложений с отрицанием в качестве предиката):

«Лёгкие деньги — они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не допла tiшь, того не доносишь» (1, с. 33).

«Испыток — не убыток, не попробовать ли в санчасти *косануть*, от работы на денёк освободиться?» (1, с. 9; 2, с. 166);

б) лагерь учит подстраиваться под его условия:

«Это верно, кряхти да гнишь. А упрёшься — переломишься.

Алексей лицо в ладони окунул, молчит. Молитвы читает» (1, с. 38; 2, с. 125).

2. Человеческие взаимоотношения:

а) отношения определяются социальным положением человека:

¹ См. подробнее о характеристике трудовой деятельности в работах А.И. Солженицына: Барыкова М.И. Объективация концепта «Трудовая деятельность» в творчестве А.И. Солженицына (на материале пословиц и поговорок) // Известия Научно-координационного центра по профилю «филология» (ВГУ — ВОИПКиПРО). Воронеж: ВОИПКиПРО, 2007. Вып. V. Далее ссылки на эту работу даются указанием страниц в скобках (например: 2, с. 166).

«Вдовушкин протянул руку за термометром, посмотрел.

— Видишь, ни то ни сё, тридцать семь и две. <...> Сходи уж лучше за зону.

Шухов ничего не ответил и не кивнул даже, шапку нахлобучил и вышел.

Тёплый зяблого разве когда поймёт?» (1, с. 20; 2, с. 54);

б) сила играет определяющую роль:

«И все те, кто воруют, киркой сами не вкальвают. А ты — вкальвай и бери, что дают. И отходи от окошка.

Кто кого сможет, тот того и гложет» (1, с. 53; 2, с. 92).

3. Голод:

«Ужинал Шухов без хлеба: две порции, да ещё с хлебом, — жирно будет, хлеб на завтра пойдёт. Брюхо — злодей, старого добра не помнит, завтра опять спросит» (1, с. 102; 2, с. 185).

Художественный текст оказывает своё влияние на воспроизводство пословиц и поговорок, чем и обусловлены разного рода трансформации фольклорного материала. В произведении А.И. Солженицына частотны следующие явления:

1. Воспроизводство пословиц и поговорок потиповым моделям¹:

«Миски нести — не рукавом трясти. Плавно Шухов переступает, чтобы подносу ни толчка не передалось <...>» (1, с. 100).

2. Лексические и (или) грамматические изменения отдельных словоформ в пословице:

«Так что пусть завидует, кому в чужих руках всегда редька толще, а Шухов понимает жизнь и на чужое добро брюха не распяливает» (1, с. 107).

3. Развёртывание пословицы:

«Ужинал Шухов без хлеба: две порции, да ещё с хлебом, — жирно будет, хлеб на завтра пойдёт. Брюхо — злодей, старого добра не помнит, завтра опять спросит» (1, с. 102).

4. Свободный пересказ (парафраз) при заданности некоторых опорных слов и с возможным изменением образности:

«Лёгкие деньги — они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь» (1, с. 33).

5. Возникновение образности, изменение её характера или её утрата:

¹ Типология пословичной трансформации приведена по кн.: *Благова Г.Ф.* Пословица и жизнь: личный фонд русских пословиц в историко-фольклористической ретроспективе. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2000.

«Человек — дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет — свою голову туда добавишь» (1, с. 28).

Лексическая трансформация остаётся для писателя наиболее доступной. Она позволяет приблизить пословичный текст к современности и тем самым делает аксиологическую наполненность паремии более очевидной для современного носителя языка.

Комплексный анализ предполагает исследование и функционального аспекта употребления пословиц и поговорок. Нами выявлены следующие функции пословично-поговорочных единиц:

1. Оценочная функция:

«Быстро — хорошо не бывает. Сейчас, как все за быстротой погнались, Шухов уж не гонит, а стену доглядает» (1, с. 74).

2. Информативная функция:

«А в лагере понадобилось на каменщика — и Шухов, пожалуйста, каменщик. Кто два дела руками знает, тот ещё и десять подхватит» (1, с. 70).

3. Итоговая функция:

«Перекрестился я и говорю: “Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь”» (1, с. 62; 2, с. 22). Для репрезентации данной функции характерно постпозитивное расположение фольклорного текста.

4. Причинная функция:

«Испыток — не убыток, не попробовать ли в санчасти *косануть*, от работы на денёк освободиться?» (1, с. 9).

5. Характерологическая функция:

«Так что пусть завидует, кому в чужих руках всегда редька толще, а Шухов понимает жизнь и на чужое добро брюха не распыливает» (1, с. 107).

В тексте А.И. Солженицына встречаются и близкие к фольклорным формулы, имеющие форму умозаключения и построенные по принципам русской традиционной пословицы или поговорки, обобщающие социальный опыт:

«Писать теперь — что в омут дремучий камешки кидать. Что упало, что кануло — тому отзыва нет» (1, с. 31) (характерологическая функция).

«А в лагерях Кильдигс только два года, но уже всё понимает: не выкусишь — не выпросишь» (1, с. 40) (информативная функция).

Паремия позволяет писателю объяснить новую для человека ситуацию, установить её соотносённость с некой моделью, репрезентируемой пословицей. Таким образом, употребление пословиц и поговорок

в художественном произведении делает его не только выразительным, но и действенным.

В рассказе «Один день Ивана Денисовича» пословицы и поговорки, безусловно, являются стилистическим средством. Их отбор осуществляется А.И. Солженицыным на функционально-смысловой основе. Важным является и образ, ассоциирующийся у писателя с репрезентируемой ситуацией: работа — «ловля вшей», осуждённые — «битые собаки». В рассматриваемом рассказе ассоциативно-образный принцип отбора языковых средств подчинён ситуативно-тематическому принципу и дополняет его.

Тематика, оценка, образная основа, форма паремии могут изменяться в художественном произведении в соответствии с замыслом автора. Однако А.И. Солженицын максимально бережно относится к устному народному творчеству, стараясь выбирать из имеющегося пословичного фонда наиболее подходящие для решения художественной задачи единицы.

СОДЕРЖАНИЕ

Через полвека (<i>вступительная статья П. Спиваковского</i>)	5
От составителей	12

Перед публикацией (1961–1962)

<i>В. Радзишевский</i> . Из истории публикации «Одного дня Ивана Денисовича»	15
<i>К. Чуковский</i> . Литературное чудо	20
<i>С. Маршак</i> . Правдивая повесть	22
<i>М. Лифшиц</i> . О повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»	26

Борьба за «Ивана Денисовича» (1962–1965)

<i>К. Симонов</i> . О прошлом во имя будущего	29
<i>Г. Бакланов</i> . Чтоб это никогда не повторилось	31
<i>В. Ермилов</i> . Во имя правды, во имя жизни	35
<i>П. Косолапов</i> . Имя новое в нашей литературе	39
<i>А. Дымшиц</i> . Жив человек	40
<i>И. Кашицкий</i> . «Один день Ивана Денисовича». Критика и библиография	45
<i>В. Шаламов</i> . Письмо А.И. Солженицыну	49
<i>Г. Скульский</i> . Вся правда	61
<i>Е. Бройдо</i> . Такому больше никогда не бывать! Заметки о повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»	64
<i>И. Чичеров</i> . Во имя будущего	67
<i>А. Чувакин</i> . Суровая правда. О повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»	72
<i>В. Литвинов</i> . Да будет полной правда	76
<i>Л. Афонин</i> . «Чтоб вдаль глядеть наверняка»	77
<i>А. Астафьев</i> . Солнцу не прикажешь	80

<i>Н. Кружков.</i> Так было, так не будет. О повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» («Новый мир», № 11)	84
<i>М. Нольман.</i> Счёт тяжких дней	88
<i>В. Ильичёв.</i> Большая правда	90
<i>Ф. Самарин.</i> Так не будет!	95
<i>Л. Фоменко.</i> Большие ожидания. Заметки о художественной прозе 1962 года	100
<i>Г. Ломидзе.</i> Несколько мыслей	106
<i>Г. Минаев.</i> В редакцию «Литературной газеты»	109
<i>Ф. Кузнецов.</i> День, равный жизни	111
<i>Ф. Чапчахов.</i> Номера и люди	121
<i>Н. Сергованцев.</i> Трагедия одиночества и сплошной быт...	129
Литература социалистического реализма всегда шла рука об руку с революцией. Из интервью главного редактора журнала «Новый мир» А.Т. Твардовского корреспонденту Юнайтед Пресс Интернейшнл в Москве Г. Шапиро	132
<i>К. Чуковский.</i> Вина или беда?	133
<i>В. Иванов.</i> Не приукрашен ли герой? Письмо в редакцию	139
<i>С. Артамонов.</i> О повести Солженицына	142
<i>В. Паллон.</i> Здравствуйтесь, кавторанг	157
<i>А. Ставицкий.</i> За малым — многое	161
<i>В. Сурганов.</i> А надо помнить	162
<i>В. Лакшин.</i> Иван Денисович, его друзья и недруги	176
Общий труд критики (Редакционный дневник)	216
Ответственность! К годовщине встречи руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства	222
<i>Н. Сергеев.</i> Преддверье...	225
Высокая требовательность. Из редакционной почты	227
<i>В. Лакшин.</i> В редакцию «Литературной газеты»	231
<i>От редакции</i>	234
<i>Ю. Карякин.</i> Эпизод из современной борьбы идей	238
<i>Д. Лукач.</i> Социалистический реализм сегодня	254
<i>А. Захарова.</i> Главному редактору «Известий», гор. Москва	276
<i>Е. Гнедин.</i> Выход из лабиринта	286
<i>Т. Винокур.</i> О языке и стиле повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»	294

Из партийных и правительственных архивов (1963–1974)

Записка Министерства культуры СССР о нежелательности экранизации в США повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»	311
Справка Главной редакции политических публикаций АПН о зарубежных откликах на книгу А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»	312
Записка Идеологического отдела ЦК КПСС об отсутствии предложений со стороны Л. Коэна об экранизации повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»	320
Записка Идеологического отдела ЦК КПСС о результатах работы Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства	321
Записка прокуратуры СССР и КГБ при СМ СССР о мерах в связи с распространением анонимного документа с анализом повести «Один день Ивана Денисовича»	324
Приказ Главного управления по охране государственных тайн в печати	326

«Один день Ивана Денисовича» глазами русской эмиграции (1962–1984)

<i>Е. Гаранин.</i> «Повесть, после которой писать по-старому нельзя...». Об «Одном дне Ивана Денисовича» А. Солженицына	329
<i>Д. Шагаров.</i> Писатель Некрасов о «радостной весте». От спец. корреспондента «Посева»	339
<i>Р. Гуль.</i> А. Солженицын и соцреализм: «Один день Ивана Денисовича»	342
<i>З. Шаховская.</i> О правде и свободе Солженицына	356
<i>Епископ Александр (Семёнов Тянь-Шанский).</i> «День Ивана Денисовича»	359
<i>А. Оболенский.</i> Алёша Достоевского и Солженицына. Доклад, прочитанный 29 июня 1972 г. на симпозиуме о Солженицыне в Norwich University (США)	361
<i>Р. Плетнёв.</i> Один день Ивана Денисовича	368
<i>Д. Безруких.</i> Труд народа. «Парадокс Ивана Денисовича»	378

<i>Г. Герлинг-Грудзинский. Егор и Иван Денисович</i>	386
<i>М. Шнеерсон. Великое противостояние душ</i>	392

Преодолевая запреты (СССР, 1988–1989)

<i>Л. Воскресенский. Здравствуй, Иван Денисович!</i>	409
«Учиться терпимости к живущим». Отклики на статью Елены Чуковской	414
Больше сдержанности, меньше эмоций. Что занимает взбудораженные умы взрослых людей: диалоги в цифрах	427
<i>А. Хийр. Жить не по лжи! К 70-летию (11 декабря)</i> А.И. Солженицына	430
<i>П. Паламарчук. Александр Солженицын: путеводитель</i>	433
<i>В. Бондаренко. Стержневая словесность. О прозе Александра</i> Солженицына	437

Свободное обсуждение (с 1990)

<i>М. Чудакова. Сквозь звёзды к терниям. Смена литературных</i> циклов	449
<i>А. Латынина. Крушение идеократии. От «Одного дня Ивана</i> Денисовича» к «Архипелагу ГУЛАГ»	452
<i>А. Белинков. Почему был напечатан «Один день Ивана</i> Денисовича»	457
<i>В. Акимов. «...Но люди и здесь живут!»</i>	471
<i>Л. Токер. Некоторые особенности повествовательного метода</i> в «Одном дне Ивана Денисовича»	488
<i>Ю. Андреев. Размышления о повести А. Солженицына</i> «Один день Ивана Денисовича» в контексте литературы начала 60-х годов	498
<i>В. Лакшин. Первое слово о советской каторге</i>	514
<i>А. Немзер. Непредусмотренный голос</i>	515
<i>А. Молько. Повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана</i> Денисовича» на уроках литературы	517
<i>А. Климов. Иван Денисович и крестьянская точка зрения</i>	529
<i>Р. Темпест. Геометрия ада: поэтика пространства и времени</i> в повести «Один день Ивана Денисовича»	550

<i>А. Газизова.</i> Конфликт временного и вечного в повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»	563
<i>В. Акаткин.</i> По ком звонит рельс... ..	572
<i>О. Алейников.</i> Особенности подцензурного повествования: «Записки из Мёртвого дома» Ф.М. Достоевского и «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына	576
<i>О. Павлов.</i> Русский человек в XX веке. Александр Солженицын в зазеркалье каратаевщины	587
<i>С. Кормилов.</i> «Мы забыли, что такие люди бывают». Ахматова и Солженицын	600
<i>Т. Вознесенская.</i> Лагерный мир Александра Солженицына: тема, жанр, смысл	611
<i>П. Басинский.</i> Ничего, кроме правды	622
<i>В. Мамонтов.</i> Перечитывая «Ивана Денисовича». 40 лет назад в журнале «Новый мир» вышла знаменитая повесть Александра Солженицына	625
<i>Н. Солженицына.</i> 40 лет как один день Ивана Денисовича. Именно с этой книги началось постепенное исчезновение архипелага ГУЛАГ	626
<i>В. Чертков.</i> По рельсам, по приобской дороге... Александру Солженицыну — 85	631
<i>В. Акимов.</i> Прозрение. К 40-летию публикации рассказа А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»	633
Герои времени. Иван Денисович (<i>Радио Свобода</i>)	639
<i>М. Николсон.</i> Иван Денисович: мифы происхождения	653
<i>А. Урманов.</i> «Один день Ивана Денисовича» как зеркало эпохи ГУЛАГа	681
<i>С. Красовская.</i> «Один день Ивана Денисовича»: ирония в композиционно-повествовательной структуре произведения	714
<i>Н. Рубинштейн.</i> Как мы читали «Один день Ивана Денисовича»	730
<i>М. Барыкова.</i> Пословицы и поговорки в рассказе А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»	732

И-11 «Ивану Денисовичу» полвека: Юбилейный сборник (1962–2012) / Сост. П.Е. Спиваковский, Т.В. Есина; вступ. ст. П.Е. Спиваковского. — М.: Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына: Русский путь, 2012. — 742 с.

ISBN 978-5-85887-403-4

Пятьдесят лет назад на страницах журнала «Новый мир» (№ 11 за 1962 год) появился рассказ А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», о котором заговорила не только вся наша страна, но и весь мир. Однако очень скоро это произведение в Советском Союзе практически оказалось под запретом, который длился почти тридцать лет. И только с наступлением перестройки «Иван Денисович» снова занял место в ряду русской литературной классики.

Статьи, представленные в настоящем сборнике, в полной мере отражают этот долгий путь.

УДК 82.0
ББК 83.3(2 Рос)6

«Ивану Денисовичу» полвека
Юбилейный сборник
1962–2012

Составители П.Е. Спиваковский, Т.В. Есина

Редактор *Т.В. Есина*
Художник *И.И. Антонова*
Корректор *И.В. Леонтьева*
Компьютерная верстка *Л.А. Фирсовой*

Подписано в печать 22.10.12. Формат 70 x 100/16.
Тираж 1000 экз. Заказ № 1558

ЗАО «Издательство «Русский путь»». 109240, г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Тел.: (495) 915-10-47. E-mail: info@rp-net.ru. Сайт издательства: www.rp-net.ru
Сайт магазина «Русское Зарубежье»: www.kmrz.ru

Типография «Наука» 121099, г. Москва, Шубинский переулок, д. 6

ISBN 978-5-85887-403-4



9 785858 874034